

11304<sub>p</sub>

44

кая распыленность левого крыла социали-  
стического движения чрезвычайно затруд-  
няет решение пех задач, которые уже теперь  
ставит перед ним история. Поэтому уже  
пошлым делом, когда Б. С. П. приняла со-  
ветскую платформу и примкнула к III Интер-  
националу, возникла мысль объединить  
первые группы в одну коммунистическую пар-  
тию. Расчет при этом был тот, что, с од-  
ной стороны, ни одна из существующих орга-  
низаций в отдельности не располагает ре-  
сурсами и способностями для выполне-  
ния стоящей перед ней работы, а с дру-  
гой, обладающих этими ресурсами, у дру-  
гой стороны, у другой стороны, у другой  
стороны, у другой стороны, у другой



891

СОКРАЩЕННАЯ

ИСТОРИЧЕСКАЯ

И-48 с.ч.ч. VI

2127

# ХРЕСТОМАТІЯ.

ПОСОБІЕ ПРИ ИЗУЧЕНІИ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ ДЛЯ УЧЕНИКОВЪ  
СТАРШИХЪ КЛАССОВЪ СРЕДНЕУЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЙ.

Часть VI.



Издание второе, дополненное.

СОСТАВИЛЪ

11304p

В. Покровскій.

Цена 2 руб.

Въ первомъ изданіи допущено Уч. Ком. Мин. Нар. Просвѣщенія.

МОСКВА.

Типографія Г. Лиснера и Д. Собко,  
Воздвиженка, Крестовоздвиж. пер., д. Лиснера.

1905.





RAHIZITATIA

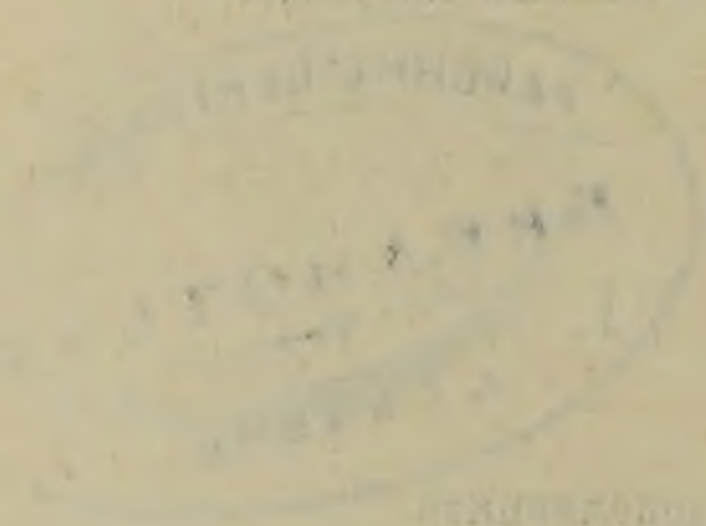
244

XXE

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED



244

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED



RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED



## Предисловіе

Въ VI части „Сокращенной исторической хрестоматіи“ составитель имѣлъ цѣлью дать біографическія свѣдѣнія о С. Аксаковѣ, Григоровичѣ, Гончаровѣ, Островскомъ, Тургеневѣ и Л. Толстомъ, поскольку эти послѣднія обрисовываютъ личность автора и могутъ служить объясненіемъ его литературной дѣятельности, охарактеризовать произведенія каждого изъ писателей, опредѣлить особенности ихъ творчества и начертать ихъ духовный обликъ.

Во второмъ изданіи помѣщены слѣдующія новыя статьи:

„Деревня“, Изъ „Воспоминаній“ Григоровича. — Общее содержаніе повѣсти „Деревня“, Семеvскаго. — Новизна содержанія „Деревни“ и произведенное ею впечатлѣніе, Изъ „Филологическихъ Записокъ“ за 1900 и 1902 г. — Антонъ Горемыка, Острогорскаго. — Отношеніе публики и критики къ „Антону Горемыкѣ“, при первомъ появленіи этой повѣсти въ печати, Изъ „Филологическихъ Записокъ“ за 1900 1902 г. — „Бобыль“, Семеvскаго. — Свѣтлыя и темныя стороны жизни крестьянина-пахаря по сочиненіямъ Григоровича: „Пахарь“, „Четыре времени года“, „Кошка и Мышка“, „Свѣтлое Христово Воскресеніе“, „Мать и дочь“ и „Бобыль“, Острогорскаго. — Общее содержаніе и характеристики дѣйствующихъ лицъ въ „Переселенцахъ“, Изъ „Библіотеки для чтенія“ за 1857 г. — Природа въ произведеніяхъ Григоровича, Щукина. — Григоровичъ и Тургеневъ, Острогорскаго. — Художественное и общественное значеніе сочиненій Григоровича, Милюкова. — Воспитательное значеніе сочиненій Григоровича, Щукина. — Общественное настроеніе сороковыхъ годовъ и отраженіе его на литературной дѣятельности Григоровича, его же. — Отношеніе Григоровича къ своимъ предшественникамъ, его же. — Молодой Адуевъ, герой „Обыкновенной исторіи“, какъ представитель романтизма на почвѣ крѣпостного права, Бѣлинскаго, изъ „Филол. Зап.“ за 1902 г. — Жизненные условія, при которыхъ выросли и опредѣлились Адуевы,



*Ор. Миллера.* — Автобіографическія черты въ „Обыкновенной исторіи“, *Ляцкого.* — Обломовъ, какъ герой переходной эпохи, *Александровскаго.* — Обломовщина, какъ одно изъ свойствъ русской жизни, *Добролюбова.* — „Обломовъ“ и его критики, *Ор. Миллера.* — Автобіографическія черты въ „Обломовъ“, *Ляцкого.* — Дореформенная помѣщичья жизнь и новые люди въ „Обрывъ“, *Головина.* — Старое и молодое поколѣніе въ „Обрывъ“, *Ор. Миллера.* — Лучше поздно, чѣмъ никогда, *Чуйко.* — Гончаровъ, его пріемственная связь съ Пушкинымъ, особенности его таланта сравнительно съ Гоголемъ, Тургеневымъ и Островскимъ, *Морозова.* — Самодурство и его растлѣвающее вліяніе, *Добролюбова.* — Общая картина жизни, нарисованная Островскимъ въ „Грозъ“, *Добролюбова.* — Островскій, какъ выразитель коренныхъ основъ русскаго быта, *Анненкова.* — Островскій, какъ народный поэтъ, *Ор. Миллера.* — Крѣпостное право и „Записки охотника“, *Семевскаго.* — Дневникъ лишняго человѣка, *Дружинина.* — Культъ женщины у Тургенева, *Маркова.* — Сила и искренность чувства, жажда дѣятельнаго добра, нѣжная и беззаветная любовь къ идеалу человѣческой личности — характерныя черты Елены, *Чернышева.* — Стремленіе къ идеалу и воплощеніе его въ совмѣстной жизни и дѣятельности съ любимымъ человѣкомъ, какъ носителемъ возвышенныхъ идей — составляютъ единственный источникъ счастливой и разумной жизни Елены, *Басистова.* — Поэтический образъ Елены, выросшей среди несвойственной обстановки и разцвѣтшей подъ вліяніемъ любви, *К-го.* — Воспитательное значеніе сочиненій Тургенева, *Синовскаго.* — Тургеневъ, какъ художникъ-гражданинъ, *Миллера.* — Постепенное измѣненіе жизни какъ неизбежное слѣдствіе метаморфозъ души — основная идея „Дѣтства и отрочества“, *Бар. Дистерло.* — Форма и содержаніе „Дѣтства и отрочества“ и способъ изображенія, *Анненкова.* — Художественныя достоинства „Дѣтства и отрочества“, *Изъ „Отечественныхъ Записокъ“ 1854 г.* — Общее содержаніе и идея разсказа „Казаки“, *Цабеля.* — Дѣйствующія лица въ разсказѣ „Казаки“ и ихъ характерныя черты, *Маркова.*

**В. Покровскій.**



## ОГЛАВЛЕНІЕ.

	Стран.
С. Т. Аксаковъ, какъ писатель національнаго направленія, <i>Головина</i> .	1
Среда, гдѣ росъ Аксаковъ, и культурныя вліянія на него въ дѣтствѣ, <i>Архангельскаго</i> .	5
Казанская гимназія и ея благотворное вліяніе на Аксакова, <i>Архангельскаго</i> .	29
Аксаковъ въ университетѣ, <i>его же, Лонгинова</i> .	41
Литературныя и театральныя знакомства Аксакова, <i>Лонгинова</i> .	58
Портретная галерея „Семейной хроники“ и „Воспоминаній“, <i>Дудышкина</i> .	65
Художественныя типы „Семейной хроники“, <i>Анненкова</i> .	67
Природа и люди въ „Семейной хроникѣ“, <i>Дудышкина</i> .	80
Художественныя стороны „Семейной хроники“, <i>Изъ „Русской Бесѣды“ за 1856 г.</i>	101
Языкъ „Семейной хроники“, <i>Анненкова, Дудышкина</i> .	116
Значеніе „Семейной хроники“, <i>Анненкова</i> .	120
„Воспоминанія“ Аксакова и ихъ значеніе, <i>Анненкова</i> .	122
Общее содержаніе „Дѣтскихъ годовъ внука Багрова“, <i>М. де-Пуле</i> .	132
Органическая связь „Дѣтскихъ годовъ внука Багрова“ и Семейной хроники“, <i>Бекетова</i> .	135
Русская жизнь и люди города и деревни въ „Дѣтскихъ годахъ внука Багрова“, <i>Шевырева</i> .	139
Педагогическое значеніе „Дѣтскихъ годовъ внука Багрова“, <i>М. де-Пуле</i> .	149
Аксаковъ, какъ писатель и человѣкъ, <i>Лонгинова</i> .	154
Домашнее ученіе и школьныя годы Григоровича, <i>Архангельскаго</i> .	159
Литературныя связи и кружки, способствовавшіе развитію таланта Григоровича, <i>его же</i> .	163
Путешествіе Григоровича и остальные годы его общественной и литературной дѣятельности, <i>Бороздина</i> .	169
Общій обзоръ литературной дѣятельности Григоровича, <i>Мизинова</i> .	172
Особенности творчества Григоровича, <i>его же</i> .	175
Художественныя произведенія изъ народнаго быта въ ихъ отношеніи къ дѣйствительности, <i>Анненкова</i> .	196
„Деревня“, <i>Изъ „Воспоминаній“ Григоровича</i> .	201
Общее содержаніе повѣсти „Деревня“, <i>Семевскаго</i> .	202
Новизна содержанія „Деревни“ и произведенное ею впечатлѣніе, <i>Изъ „Филологическихъ Записокъ“ за 1900 и 1902 г.</i>	203
Антонъ Горемыка, <i>Острогорскаго</i> .	204
Отношеніе публики и критики къ „Антону Горемыкѣ“, при первомъ появленіи этой повѣсти въ печати, <i>Изъ Филологическихъ Записокъ за 1900 и 1902 г.</i>	206
„Бобыль“, <i>Семевскаго</i> .	207



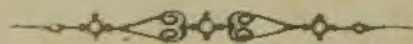
Свѣтлыя и темныя стороны жизни крестьянина-пахаря по сочиненіямъ Григоровича: „Пахарь“, „Четыре времени года“, „Кошка и Мышка“, „Свѣтлое Христово Воскресеніе“, „Мать и дочь“ и „Бобыль“, <i>Острогорскаго</i> . . . . .	208
Художественная сторона и идея романа „Рыбаки“, <i>Анненкова</i> . . . . .	216
Картины русской природы и крестьянскаго быта въ романѣ „Рыбаки“ Изъ „Отеч. Записокъ“ 1953 г. . . . .	220
Общее содержаніе и характеристики дѣйствующихъ лицъ въ „Переселенцахъ“, Изъ „Библіотеки для чтенія“ за 1857 г. . . . .	235
Природа въ произведеніяхъ Григоровича, <i>Щукина</i> . . . . .	243
Григоровичъ и Тургеневъ, <i>Острогорскаго</i> . . . . .	248
Значеніе литературной дѣятельности Григоровича, какъ народнаго писателя, <i>Архангельскаго</i> . . . . .	253
Художественное и общественное значеніе сочиненій Григоровича, <i>Милюкова</i> . . . . .	257
Воспитательное значеніе сочиненій Григоровича, <i>Щукина</i> . . . . .	262
Общественное настроеніе сороковыхъ годовъ и отраженіе его на литературной дѣятельности Григоровича, <i>его же</i> . . . . .	264
Отношеніе Григоровича къ своимъ предшественникамъ, <i>его же</i> . . . . .	266
Значеніе Григоровича въ области живописи и художественной промышленности, <i>А. О.</i> . . . . .	268
Дѣтскіе года Гончарова, Изъ „Обозрѣній“ за 1876 г., изъ „Воспоминаній“ . . . . .	271
Гончаровъ въ университетѣ. Изъ „Воспоминаній“ Гончарова. . . . .	273
Путешествіе Гончарова и его литературная дѣятельность, <i>Соловьева</i> . . . . .	287
Творчество Гончарова, <i>Мережковскаго</i> . . . . .	301
Объективная художественность и свѣтлый юморъ, какъ отличительныя черты таланта Гончарова, <i>Острогорскаго</i> . . . . .	310
Художественный символизмъ въ произведеніяхъ Гончарова, <i>Мережковскаго</i> . . . . .	315
Молодой Адуевъ-герой „Обыкновенной исторіи“, какъ представитель романтизма на почвѣ крѣпостного права, <i>Бѣлинскаго, изъ „Филол. Зап.“ за 1992 г.</i> . . . . .	317
Жизненные условія, при которыхъ выросли и опредѣлились Адуевы, <i>Ор. Миллера</i> . . . . .	339
Автобіографическія черты въ „Обыкновенной исторіи“, <i>Ляукаго</i> . . . . .	346
Личность Обломова, <i>Мизина, Дружинина</i> . . . . .	352
Обломовъ, какъ герой переходной эпохи, <i>Александровскаго</i> . . . . .	366
Обломовщина, какъ одно изъ свойствъ русской жизни, <i>Добролюбова</i> . . . . .	379
„Обломовъ“ и его критики, <i>Ор. Миллера</i> . . . . .	411
Автобіографическія черты въ „Обломовѣ“, <i>Ляукаго</i> . . . . .	420
Галерея мужскихъ портретовъ въ произведеніяхъ Гончарова, <i>Мережковскаго</i> . . . . .	431
Галерея женскихъ портретовъ въ произведеніяхъ Гончарова, <i>Острогорскаго, Мережковскаго, Александровскаго</i> . . . . .	437
Дореформенная помѣщичья жизнь и новые люди въ „Обрывѣ“, <i>Головина</i> . . . . .	463
Старое и молодое поколѣніе въ „Обрывѣ“. <i>Ор. Миллера</i> . . . . .	470
Лучше поздно, чѣмъ никогда, <i>Чуйко</i> . . . . .	478
Гончаровъ, его пріемственная связь съ Пушкинымъ; особенности его таланта сравнительно съ Гоголемъ, Тургеневымъ и Островскимъ, <i>Морозова</i> . . . . .	496
Народныя симпатіи Гончарова, <i>Незеленова</i> . . . . .	505
Островскій до поступленія на службу, <i>Носа</i> . . . . .	507
Служебная дѣятельность Островскаго и первые его литературные труды, <i>его же</i> . . . . .	508
Островскій и кружокъ „Молодого Москвитянина“, <i>Фаресова и Барсукова</i> . . . . .	512
Самобытныя вліянія, пережитыя Островскимъ, <i>Иванова</i> . . . . .	522
Вліяніе путешествія Островскаго по Россіи на его творчество, <i>его же</i> . . . . .	526



	Стран.
Островскій на службѣ при Императорскомъ театрѣ, <i>его же</i> . . . . .	531
Послѣдніе дни жизни Островскаго, <i>Максимова</i> . . . . .	534
Самодурство и его растлѣвающее вліяніе, <i>Добролюбова</i> . . . . .	537
Бытовое и художественное значеніе комедіи Островскаго: „Свои люди—сочтемся“, <i>Евстаѣева</i> . . . . .	550
„Свои люди—сочтемся“ Островскаго и „Бригадиръ“ Фонвизина, <i>Селина</i> . . . . .	556
Чтеніе комедіи „Свои люди — сочтемся“ въ разныхъ кругахъ московскаго общества, <i>Барсукова</i> . . . . .	579
Художественная и бытовая стороны комедіи Островскаго „Бѣдная невѣста“, <i>Григорьева</i> . . . . .	582
Персонажи „Бѣдной невѣсты“, <i>Дружинина</i> . . . . .	594
Чтеніе комедіи „Бѣдная невѣста“ на раутѣ, <i>Барсукова</i> . . . . .	596
Содержаніе „Грозы“, <i>Дудышкина</i> . . . . .	598
Художественный колоритъ „Грозы“, <i>Плетнева</i> . . . . .	601
Стихи русской жизни, нарисованныя въ „Грозѣ“, <i>Незеленова</i> . . . . .	603
„Гроза“, какъ показатель направленія художественнаго творчества Островскаго, <i>Галахова</i> . . . . .	618
Общая картина жизни, нарисованная Островскимъ въ „Грозѣ“, <i>Добролюбова</i> . . . . .	624
„Бѣдность не порокъ“, <i>Миллера</i> . . . . .	638
Художественное и національное значеніе комедій Островскаго, <i>Евстафьева</i> . . . . .	649
Островскій, какъ выразитель коренныхъ основъ русскаго быта, <i>Анненкова</i> . . . . .	655
Островскій, какъ народный поэтъ, <i>Ор. Миллера</i> . . . . .	659
Новизна содержанія и формы комедій Островскаго, <i>Григорьева</i> . . . . .	663
Вліяніе Островскаго на артистовъ, <i>Носа</i> . . . . .	670
Первоначальное воспитаніе Тургенева въ связи съ впечатлѣніями и вліяніями ранняго дѣтства, <i>Мурье</i> . . . . .	673
Пребываніе И. С. Тургтнева въ пансіонѣ и университетахъ, <i>его же</i> . . . . .	679
Путешествіе Тургенева за границу и возвращеніе на родину. Первые его литературные труды, <i>его же</i> . . . . .	683
Тургеневъ за границей среди русской интеллигентной молодежи 40-хъ годовъ, <i>Соловьева</i> . . . . .	687
Тургеневъ въ кружкѣ молодыхъ литераторовъ на родинѣ, <i>его же</i> . . . . .	689
Пребываніе Тургенева за границей съ 1847 г., <i>Вятринскаго</i> . . . . .	693
Тургеневъ на юбилей Пушкина, <i>Иванова</i> . . . . .	698
Послѣдніе годы жизни Тургенева, <i>его же</i> . . . . .	700
Среда и природа въ „Запискахъ охотника“, <i>Незеленова</i> . . . . .	707
Бытовая и художественная стороны въ „Запискахъ охотника“, <i>Анненкова</i> . . . . .	724
Главнѣйшіе мотивы поэзіи въ „Запискахъ охотника“, <i>Иванова</i> . . . . .	726
Поэтическая прелесть языка и содержанія въ „Запискахъ охотника“, <i>Мельхиора де-Воллоэ</i> . . . . .	732
Поэтический идеализмъ и рельефная дѣйствительность въ „Запискахъ охотника“, <i>Дича</i> . . . . .	741
Крѣпостное право и „Записки охотника“, <i>Семевскаго</i> . . . . .	742
Общественное значеніе „Записокъ охотника“, <i>Миллера</i> . . . . .	753
Причины успѣха „Записокъ охотника“, <i>Доннинова</i> . . . . .	763
„Муму“ и „Постоялый дворъ“, <i>Незеленова</i> . . . . .	765
Дневникъ лишняго человѣка, <i>Дружинина</i> . . . . .	768
Рудинъ — сынъ своего времени, <i>его же</i> . . . . .	778
Отрицательныя черты въ Рудинѣ, <i>Чернышева</i> . . . . .	787
Положительныя стороны въ Рудинѣ, <i>Буренина</i> . . . . .	800
Среда и люди въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“, <i>Евстаѣева</i> . . . . .	808
„Дворянское гнѣздо“, какъ чуткое отраженіе дѣйствительности, <i>Анненк.</i> . . . .	818
Личность Лизы въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“, <i>Овсяннико-Куликовскаго</i> . . . . .	850
Общественное значеніе романа „Наканунъ“, <i>Евстаѣева</i> . . . . .	854
Дѣйствующія лица въ романѣ „Наканунъ“, <i>его же, К.</i> . . . .	855



	Стран.
Культъ женщины у Тургенева, <i>Маркова</i> . . . . .	866
Сила и искренность чувства, жажда дѣятельнаго добра, нѣжная и беззавѣтная любовь къ идеалу человѣческой личности — характерныя черты Елены, <i>Чернышева</i> . . . . .	922
Стремленіе къ идеалу и воплощеніе его въ совмѣстной жизни и дѣятельности съ любимымъ человѣкомъ, какъ носителемъ возвышенныхъ идей — составляютъ единственный источникъ счастливой и разумной жизни Елены, <i>Басистова</i> . . . . .	930
Поэтическій образъ Елены, выросшей среди несвойственной обстановки и разцвѣтшей подъ вліяніемъ любви, <i>К-го</i> . . . . .	935
Природа въ произведеніяхъ Тургенева, <i>Арсеньева</i> . . . . .	867
Творчество Тургенева, <i>Овсяннико-Куликовскаго</i> . . . . .	877
Истинность изображенія въ сочиненіяхъ Тургенева, <i>Брандеса</i> . . . . .	882
Правдивость, изящество содержанія и чувство мѣры въ изображеніи дѣйствительности — какъ отличительныя свойства таланта Тургенева, <i>Шмидта</i> . . . . .	892
Простота фабулы, реальность изображенія и личный элементъ въ сочиненіяхъ Тургенева, <i>Меримэ</i> . . . . .	896
Воспитательное значеніе сочиненій Тургенева, <i>Синовскаго</i> . . . . .	898
Тургеневъ, какъ художникъ-гражданинъ, <i>Миллера</i> . . . . .	903
Тургеневъ, какъ писатель и человѣкъ, <i>Страхова</i> . . . . .	912
„Дѣтство, Отрочество и Юность“ Толстого, какъ художественная автобіографія автора, <i>Овсяннико-Куликовскаго</i> . . . . .	937
Постепенное измѣненіе жизни, какъ неизбежное слѣдствіе метаморфозъ души — основная идея „Дѣтства и отрочества“, <i>Бар. Дистерло</i> . . . . .	954
Форма и содержаніе „Дѣтства и отрочества“ и способъ изображенія, <i>Анненкова</i> . . . . .	963
Художественныя достоинства „Дѣтства и отрочества“, <i>Изъ „Отечественныхъ Записокъ“ 1854 г.</i> . . . . .	970
Личное участіе Толстого въ оборонѣ Севастополя, <i>Левенфельда</i> . . . . .	973
Военный бытъ въ изящной литературѣ до Толстого, <i>Дружинина</i> . . . . .	985
Типы и картины въ военныхъ разсказахъ Толстого, <i>Дудышкина</i> . . . . .	988
Правдивость и самобытность военныхъ разсказовъ Толстого, <i>Дружинина</i> . . . . .	1007
Общее содержаніе и идея разсказа „Казакъ“, <i>Цабеля</i> . . . . .	1014
Дѣйствующія лица въ разсказѣ „Казакъ“ и ихъ характерныя черты, <i>Маркова</i> . . . . .	1018
Общее содержаніе и построеніе „Войны и мира“, <i>Цабеля</i> . . . . .	1036
Лица и событія въ романѣ „Война и миръ“, <i>Бадена</i> . . . . .	1039
Русское образованное общество въ романѣ „Война и миръ“, <i>Цабеля</i> . . . . .	1073
Смыслъ произведенія Толстого „Война и миръ“, <i>Страхова</i> . . . . .	1082
„Война и миръ“, какъ художественное цѣлое, <i>его же</i> . . . . .	1088
Художественность, объективность, образность и правдивость, какъ отличительныя черты романа „Война и миръ“, <i>его же</i> . . . . .	1094
Природа въ произведеніяхъ Толстого, <i>Арсеньева</i> . . . . .	1102
Творчество Толстого, <i>Мережковскаго</i> . . . . .	1110





## С. Т. Аксаковъ, какъ писатель національнаго направленія.

Въ образованномъ русскомъ обществѣ съ конца тридцатыхъ годовъ все сильнѣе поднимается тревожный вопросъ: съ какой стати терпѣть такое униженіе могущественному русскому народу, съ какой стати ему добровольно отказываться отъ самостоятельной родной культуры, такъ сказать, обезличивать себя, оставаясь вѣчнымъ данникомъ западной цивилизаціи? Исторія не только дала русскому народу очень опредѣленную фizioномію, — его національныя черты вдобавокъ отличаются большою рѣзкостью и содержатъ въ себѣ много новаго. И по своему религіозному чувству и по семейному и общественному складу онъ не только отличается отъ народовъ романо-германскаго Запада, но быть его даже содержитъ задатки будущаго обновленія этого самаго Запада. Задатки эти, правда, сохранили грубый, незаконченный видъ, но виною тому насильственный переворотъ, остановившій ростъ народной жизни, чтобы налѣпить на нее снаружи форму жизни Запада, и оторвавшій отъ народной массы ея передовую, наиболѣе развитую часть, обольщенную блескомъ европейской культуры. Вновь образовавшаяся школа поставила себѣ задачей сомкнуть порванную цѣпь русской исторіи и оживить загдохнувшіе ростки національнаго развитія. Становясь, такимъ образомъ, въ оппозицію реформѣ Петра, эта школа вовсе не думала возвращаться назадъ и разрывать съ европейскимъ просвѣщеніемъ; она хотѣла только привить это просвѣщеніе къ родному стволу,



чтобы оно перестало быть обманчивою вывѣскою и, претворившись въ народныхъ понятіяхъ, создало особый, самостоятельный типъ русской культуры. То обстоятельство, что перестали жить по-русски у насъ высшіе классы, придавало даже новому направленію передовой, демократическій характеръ и дѣлало его подозрительнымъ для тогдашнихъ властей. Одѣваясь въ народный костюмъ, строго соблюдая религіозные обряды и очищая свою рѣчь отъ иностранныхъ словъ, вожди народившагося славянофильства по необходимости должны были искать въ простомъ народѣ, въ мужикѣ, чистыя, нетронутыя формы русской жизни. Такимъ образомъ, по странной игрѣ насмѣшливой судьбы, крестьянскій тулупъ и зипунъ, ношеніе бороды и строгая православная обрядность превратились въ какіе-то прогрессивные, демократическіе символы. Много было, конечно, дѣланиости и комизма въ этомъ святочномъ переряживаніи себя въ мужика со стороны такихъ высококультурныхъ людей, какъ Хомяковъ, Кирѣевскій и К. Аксаковъ, и въ томъ, какъ передѣлывали они московскую старину, находя въ ней черты гуманности и свободы, было много самообольщенія. Но во всемъ этомъ было и нѣчто почтенное и плодотворное, — стремленіе изучить и поднять русское простонародіе и въ то же время стряхнуть съ себя приниженное искательство передъ Западомъ, то нелѣпое поведеніе культурнаго выскочки, въ которомъ обвиняли не безъ основанія нашихъ подражателей Европы.

Имѣлась, впрочемъ, у славянофильской программы и другая сторона, отъ которой была даже заимствована кличка, приданная цѣлой школою. Если русскому народу — думали славянофилы — и удалось создать обширное государство, то прочія отрасли славянской расы не только разрознены, но и находятся, сверхъ того, подъ чужимъ владычествомъ. Пробудить чувство племенной солидарности между ними, вызвать у каждой изъ нихъ стремленіе сохранить и поддержать родной языкъ и культуру и добиться политической независимости — вотъ та широкая цѣль, которую они себѣ поставили. Мерещилось при этомъ, конечно, что объединителемъ славянства и старшимъ братомъ въ союзѣ станетъ русскій народъ. Такимъ образомъ, революціонная идея объ освобожденіи славянскихъ народностей совпала съ идеей совершенно иного рода — съ объединеніемъ этихъ народностей



подъ русской державой. Эта двойственность придаетъ славянофильству много оригинальнаго въ исторіи русской литературы и привело его къ заключенію самыхъ противоположныхъ союзовъ: то съ передовою частью русскаго общества во имя демократизма, то съ консервативными его отѣвками, во имя старины. Но было у славянофиловъ и другое, еще болѣе коренное внутреннее противорѣчіе. Будучи одновременно сторонниками славянскаго единства и русскаго народнаго склада, они совершенно упускали изъ виду, что исторія внесла въ бытъ западныхъ славянъ много такихъ чертъ, которыя русскому быту совершенно чужды и, притомъ, не согласны между собою, — какъ сильное развитіе дворянства и католицизма у чеховъ и поляковъ и полное отсутствіе словности у сербовъ и болгаръ. Помирить между собою эти разношерстные свойства было задачею едва ли выполнимою.

И за все время существованія славянофильства замѣтно въ немъ постоянное колебаніе между двумя полюсами его доктрины — между пропагандой славянскаго единства, съ одной стороны, и культомъ русской самобытности — съ другой. На противорѣчій этихъ двухъ сторонъ славянофильской программы и основано довольно таки искусственное дѣленіе цѣлой школы на двѣ группы — на чистыхъ славянофиловъ и такъ называемыхъ почвенниковъ. У первыхъ будто бы преобладаетъ стремленіе осуществить особые идеалы славянской расы, насколько они выразились и въ русскомъ народѣ, вторые удовлетворяются восхваленіемъ русской дѣйствительности, въ томъ числѣ русскаго государственнаго строя. Признавая за славянствомъ вообще и за русскимъ народомъ въ особенности право на самостоятельную историческую роль, чистые славянофилы не дѣлаютъ себѣ иллюзій насчетъ слабыхъ сторонъ русскаго національнаго характера и несовершенствъ русскаго общественнаго склада. Ихъ произведенія богаты громкими обличеніями этихъ несовершенствъ. Они поклоняются не реальнымъ формамъ родной жизни, а тѣмъ высокимъ задаткамъ, которые, по ихъ мнѣнію, содержатся въ понятіяхъ и вѣрованіяхъ русскаго народа. У нихъ оказывается, такимъ образомъ, много общаго съ ученіемъ либеральныхъ западниковъ, такъ какъ идеалы у нихъ одинаковы, съ тою лишь разницею, что западники находятъ идеалы эти осуществленными въ европейской культурѣ, а



славянофилы отыскиваютъ ихъ въ полубезсознательныхъ стремленіяхъ русскаго народа. Въ то же время многіе изъ почвенниковъ, какъ Достоевскій, Страховъ, Ап. Григорьевъ, постоянно указываютъ на одну черту русскаго характера — на глубокое смиреніе русскаго человѣка и на способность его увлекаться идеей общечеловѣческаго братства. Достаточно указать на извѣстную рѣчь Достоевскаго, сказанную на Пушкинскомъ торжествѣ. Единственнымъ признакомъ, могущимъ служить для раздѣленія славянофиловъ на двѣ группы, является бѣльшая или меньшая степень ихъ увлеченія славянскимъ единствомъ. Но и этотъ признакъ годится развѣ, какъ отличіе позднѣйшихъ славянофиловъ отъ ихъ предшественниковъ: съ теченіемъ времени, въ самомъ дѣлѣ, благодаря разочарованіямъ послѣдней восточной войны, общеславянская идея постепенно меркнетъ, и славянофильская школа все болѣе становится строго національной, усвоивая себѣ принципъ: „Россія — для русскихъ“. Но и въ этомъ отношеніи она лишь слѣдуетъ примѣру цѣлой Европы, гдѣ повсюду послѣднія тридцать лѣтъ національный антогонизмъ сталъ проявляться сильнѣе.

Мы не станемъ здѣсь изучать славянофильское движеніе въ трехъ главныхъ областяхъ, въ которыхъ оно выразилось особенно замѣтно — философской, религіозной и политической. Поэты и публицисты славянофильства, — Хомяковъ, Тютчевъ, Мей, братья Аксаковы и Кирѣевскій, — при всей своей высокой талантливости стоятъ внѣ рамокъ настоящаго труда. Я задался цѣлью прослѣдить лишь развитіе идей, проявившихся въ области романа, и я такъ долго остановился на славянофильствѣ лишь затѣмъ, чтобы выяснитъ ту своеобразную точку зрѣнія, на которую стала у насъ цѣлая литературная школа въ совершенномъ противорѣчій съ главнымъ теченіемъ нашей литературы. Мы видѣли, что теченіе это относилось къ русской дѣйствительности отрицательно и сообразно этому представляло себѣ задачу лучшихъ людей, какъ борьбу либо противъ общественнаго склада, или противъ другихъ сторонъ національнаго характера. Понятно, что славянофилы не могли сдѣлать ни того ни другого: они уважали общественные порядки, при всѣхъ ихъ несовершенствахъ, какъ продуктъ исторіи, а народный характеръ былъ имъ дорогъ. Недостатки того и другого они приписывали лишь



позвращенію родного склада, и потому задача истинно русскаго человѣка представлялась имъ какъ возвращеніе къ родной почвѣ, какъ строгое соблюденіе національныхъ обычаевъ. А въ болѣе широкомъ смыслѣ, въ смыслѣ требованія общечеловѣческой нравственности, они указывали на одну преобладающую черту въ народномъ характерѣ, на которой, по ихъ мнѣнію, слѣдуетъ основать нравственное усовершенствованіе. Черта эта — смиренное незлобіе русскаго человѣка и его способность къ всепрощенію. Эта черта служитъ главнымъ мотивомъ не только въ творчествѣ единственнаго романиста, прямо примыкающаго къ славянофильству, С. Аксакова, но и двухъ писателей, имѣющихъ съ славянофильствомъ лишь косвенную связь — Достоевскаго и Льва Толстого.

*Головинъ.*

### **Среда, гдѣ росъ Аксаковъ, и культурныя вліянія на него въ дѣтствѣ.**

Исторія литературнаго развитія С. Т. Аксакова представляетъ явленіе въ высшей степени любопытное. Въ теченіе болѣе тридцати лѣтъ своей авторской дѣятельности онъ почти ничѣмъ не выдавался изъ ряда другихъ пишущихъ, — почти не былъ замѣчаемъ читателями, — и вдругъ, уже на склонѣ лѣтъ, въ послѣдніе 10 — 12 лѣтъ своей жизни, повидимому, совершенно неожиданно, сразу пріобрѣтаетъ себѣ славу первокласснаго писателя... Пятнадцать лѣтъ, на студенческой скамьѣ, онъ выступаетъ ярымъ шишковистомъ, противникомъ Карамзина, а черезъ сорокъ лѣтъ чуть не опережаетъ Гоголя; по крайней мѣрѣ, въ произведеніяхъ послѣдняго нѣкоторыя критики начинаютъ видѣть его вліяніе... Въ высшей степени любопытно послѣдить эту духовную исторію его развитія — отмѣтить и указать всѣ тѣ умственные и, вообще, духовныя условія и вліянія, которымъ онъ подвергался, которыя его окружали, начиная съ самыхъ первыхъ лѣтъ его жизни и въ теченіе долгаго послѣдующаго періода, до появленія его знаменитыхъ книгъ, отчасти развивая,



но больше тормозя и задерживая обнаруженіе его геніальнаго литературнаго таланта... Критикой уже тогда было замѣчено, что Аксаковъ „умственно росъ и развивался всю жизнь“; „его воспитывали всѣ поэты и писатели русскіе, начиная отъ Ломоносова и до Гоголя, даже до его послѣдователей“... Передъ нимъ прошло нѣсколько замѣчательныхъ эпохъ русской литературы, и каждая изъ нихъ питала и развивала его умственно и литературно... Дѣйствительно, вліянія были сложны и разнообразны. Можно сказать, это были вліянія всего хода нашей литературы за всю первую половину текущаго столѣтія. Біографія такого писателя въ нѣкоторомъ отношеніи является исторіей литературы за цѣлый длинный періодъ.

Настоящій очеркъ посвящается самымъ первымъ годамъ жизни Аксакова — его дѣтству и студенчеству: уже здѣсь, въ этомъ періодѣ, было много условій, чрезвычайно благоприятствовавшихъ умственному и, вообще, духовному развитію будущаго писателя.

---

Сергѣй Тимоѣевичъ Аксаковъ по своему рожденію (родился въ Уфѣ, 20 сентября 1701 г.) принадлежалъ къ старинной, небогатай полупомѣщичьей, получиновничьей семьѣ и самое раннее дѣтство провелъ на далекихъ окраинахъ, нынѣшнихъ Уфимской и Оренбургской губерній, тогдашняго уфимскаго намѣстничества. Чрезвычайно рельефную характеристику своихъ родителей дѣлаетъ самъ писатель въ „Семейной хроникѣ“ и „Дѣтскихъ годахъ“, рассказывая исторію женитьбы своего отца, — мелкаго уфимскаго чиновника, „тихаго, скромнаго, застѣнчиваго, ко всѣмъ ласковаго“, — на блестящей аристократкѣ, свѣтской красавицѣ, единственной дочери товарища намѣстника Уфимскаго края... „Никто въ городѣ не могъ подумать, замѣчаетъ авторъ, чтобы Софья Николавна (такъ онъ называетъ въ „Хроникѣ“ свою мать, вмѣсто настоящаго ея имени — Марья Николаевна) вышла замужъ за Алексѣя Степаныча (то-есть, Тимоѣея Степановича)...“ Контрастъ былъ дѣйствительно сильный... Невѣста была красивая, бойкая и живая дѣвушка, по-тогдашнему



весьма образованная, „начитанная, чуть не ученая, понимавшая всѣ высшіе интересы“, была „остроумна, ловка, блистательна въ свѣтскомъ обществѣ, — съ твердымъ, надменнымъ, неуступчивымъ характеромъ...“ Первые годы ея дѣвчества представляли много особеннаго. Отецъ ея рано овдовѣлъ и вскорѣ женился на другой; вторая жена его, гордая и красивая, съ первыхъ же поръ возненавидѣла свою молоденькую, но уже начинавшую хорошѣть, падчерицу. Дѣвочка была „неуступчиваго нрава“, съ ней надо было бороться, и злоба мачехи не знала предѣловъ. Мачеха поклялась, что дерзкая тринадцатилѣтняя дѣвочка, кумиръ отца и цѣлаго города, будетъ жить въ дѣвичьей, ходить въ выбойчатомъ платьѣ, будетъ горничною и нянькой у своихъ новыхъ братьевъ и сестеръ, и буквально сдержала клятву: „черезъ два или три года Сонечка жила въ дѣвичьей, одѣвалась, какъ черная служанка, мыла и чистила дѣтскую“... Жизнь сдѣлалась столь невыносимой, что дѣвушка пришла къ мысли о самоубійствѣ... Чудесный случай спасъ ее, и столь сильно подѣйствовалъ на впечатлительную шестнадцатилѣтнюю дѣвушку, что она, и безъ того религіозная, съ того момента сдѣлалась еще болѣе религіозной; она какъ-то вдругъ возмужала, какъ будто нравственно переродилась, и твердо рѣшилась „страдать, терпѣть и жить“, обрѣкши себя какъ бы на подвижничество... Она „все исполняла, что приказывали, все переносила спокойно; никакія унижительныя наказанія не вызывали слезъ, не доводили ее до обморока, какъ это прежде бывало“... Къ прежнему обыкновенному ея названію „мерзкая дѣвчонка“ теперь присоединился эпитетъ: „отчаянная и мерзкая дѣвчонка“... Но вдругъ все измѣнилось: на третьемъ году мачеха умираетъ, и загнанная, бывшая въ пренебреженіи у всѣхъ, дѣвушка неожиданно дѣлается полноправною и безконтрольною хозяйкой въ домѣ, можно сказать, даже всей семьи, такъ какъ отецъ, ея, вскорѣ послѣ смерти жены, разбивается параличомъ, и хотя живетъ еще нѣсколько лѣтъ, даже занимаетъ должность, но уже не сходитъ съ постели... Испытавшая и пережившая не по лѣтамъ, семнадцатилѣтняя дѣвушка быстро превращается въ совершенную женщину, — мать, хозяйку, дѣлается даже офиціальною дамой, такъ какъ по болѣзни отца принуждена перѣдко принимать городскія



власти, чиновниковъ отца и другихъ лицъ общества, волей неволей знакомятся съ дѣловыми бумагами, ведетъ офиціальную переписку, — словомъ, дѣлается „настоящемъ правителемъ дѣлъ отцовской канцеляріи“... Постоянно занятая заботами о больномъ отцѣ и его офиціальными дѣлами, дѣвушка вмѣстѣ съ этимъ не оставляетъ безъ воспитанія и своихъ младшихъ братьевъ и сестеръ (которыхъ на ея рукахъ теперь было пять человѣкъ); мало того, слѣдя за ихъ уроками, она вмѣстѣ съ ними сама принимается учиться, пополняетъ свое упущенное образованіе, быстро овладѣваетъ французскимъ языкомъ, читаетъ на немъ книги, быстро научается даже на немъ говорить. По поводу помѣщенія одного изъ маленькихъ братьевъ въ Москву знакомится заочно съ А. О. Анничковымъ, а черезъ него съ извѣстнымъ Н. П. Новиковымъ и вступаетъ съ ними въ переписку. „Оба пріятели до того плѣнились краснорѣчивыми письмами неизвѣстной барышни съ береговъ рѣки Бѣлой, изъ Башкиріи, — рассказываетъ сынъ-писатель, — что присылали ей всѣ замѣчательныя сочиненія въ русской литературѣ, какія тогда появлялись, и это, конечно, больше всего способствовало ея образованію. Всѣ, по-тогдашнему, умные и образованные люди, попавшіе въ Уфу, спѣшили познакомиться съ Софьей Николаевной, плѣнялись ею и никогда ее не забывали“. Бóльшая часть этихъ знакомствъ впоследствии перешла въ тѣсныя дружескія связи; въ числѣ такихъ друзей даровитой дѣвушки, помимо Анничкова и Новикова, были: В. В. Романовскій, Л. Ю. Авенаріусъ, П. И. Чичаговъ, Р. Б. Мертваго, В. И. Ичанскій. Такова была будущая мать нашего писателя. Совсѣмъ другимъ человѣкомъ, по своему умственному развитію, былъ женихъ этой дѣвушки, будущій ея мужъ и отецъ писателя. По характеристикѣ сына, онъ „не могъ даже вполнѣ понимать и цѣнить ее“. Это былъ „бѣлый, розовый“ (что именно и не нравилось Софьѣ Николаевнѣ), по мнѣнію всѣхъ, „простенькій деревенскій дворянчикъ, смѣлый и застенчивый, какъ красная дѣвица, совершенно неразвитой, никогда ничѣго не читавшій, кромѣ двухъ, трехъ глушѣйшихъ романовъ, въ родѣ *Любовнаго Вертограда* <sup>1)</sup> или

<sup>1)</sup> *Любовный Вертоградъ или непреодолимое постоянство Камбера и Арисены. Перевесъ съ португальскаго Теодоръ Эмпиъ. С.-Пб. 1763.*



Аристия и Телазин<sup>1)</sup>), да Русскаго Цусеника<sup>4</sup>. Всѣ его интересы не простирались дальше ловли перепелокъ на дудки да соколиной охоты. Всѣмъ онъ казался какимъ-то „забитымъ“, „недальнимъ“; по совершенному незнанію свѣтскаго обращенія, по неловкости и робости, онъ могъ, по отзыву самой невѣсты, съ перваго раза произвести даже впечатлѣніе „дурачка“. Товарищъ намѣстника, Зубовъ, его начальникъ и будущій тесть, имѣлъ о немъ понятіе, „какъ о человѣкѣ самомъ ничтожномъ“. Единственными достоинствами этого молодого человѣка были чистое, неиспорченное сердце, цѣльность, непосредственность натуры, выросшей на широкомъ лонѣ природы, въ непосредственной близости къ этой природѣ. беззавѣтная любовь къ выбранной имъ дѣвушкѣ и, прибавимъ, его нѣкоторое состояніе, казавшееся для блестящей, но не имѣвшей у себя ничего, его невѣсты все же значительнымъ... Мать будущаго писателя выходила замужъ „по расчету“: при всемъ своемъ общественномъ положеніи и образованіи, невѣста имѣла „пребольшой порокъ“, по выраженію одного изъ лицъ семейной хроники, „была бѣдна, у нея ровню ничего не было“; въ случаѣ смерти старика-отца, на ея рукахъ оставалось пять человѣкъ дѣтей-сиротъ. Впередъ у нея была нужда и бѣдность. Къ тому же ее подкупала безотвѣтная любовь къ ней ея жениха, льстившая ея самовластному характеру и образовавшейся уже привычкѣ къ преобладанію... Совершенное неравенство умственнаго развитія, общаго строя характеровъ, вообще всѣхъ интересовъ, начавшее рѣзко обнаруживаться еще до свадьбы, хорошо чувствуемое и сознаваемое невѣстой, заставлявшее ее передъ самымъ вѣнцомъ переживать минуты страшныхъ сомнѣній и колебаній, — осталось навсегда. Мать Аксакова не была счастлива въ своей семейной жизни, — ей не удалось „перевоспитать“ своего мужа, какъ она мечтала. Разность въ умственномъ развитіи, въ умственныхъ интересахъ и вкусахъ ея и ея мужа продолжала болѣзненно сказываться во всю ихъ послѣдующую совмѣстную жизнь. Единственнымъ утѣшеніемъ для нея стали дѣти, и, несчастная, какъ жена, она всю жизнь исключительно жила чувствомъ матери.

Таковы были отецъ и мать. Рядомъ съ ними, могуществен-

<sup>1)</sup> *Полное имя Аристия и Телазин*. Перев. съ французскаго. С.-Пб., 1764.



нѣйшимъ факторомъ въ духовномъ развитіи ребенка уже съ самаго ранняго дѣтства является сельская, деревенская природа. На ея лонѣ протекла бѣольшая часть первыхъ семи лѣтъ жизни будущаго писателя. Живая, неподкрашенная природа охватываетъ ребенка своими силами и впечатлѣніями съ самыхъ первыхъ моментовъ его жизни. Можно сказать, — эта природа даже какъ бы вызываетъ его къ самой жизни: слабый, хилый отъ рожденія, ребенокъ, долго страдавшій какою-то странною болѣзнію, общимъ разслабленіемъ, чувствуетъ себя лучше и покойнѣе только среди полей и лѣсовъ, во время дороги, въ безпрестанныхъ поѣздкахъ съ родителями изъ города въ деревню и обратно. Мать скоро замѣчаетъ такое благотворное вліяніе поѣздовъ и свѣжаго воздуха и уже нарочно ѣздитъ съ больнымъ ребенкомъ по подгороднымъ деревушкамъ своимъ братьевъ и знакомыхъ помѣщиковъ; одна изъ такихъ поѣздовъ оказывается даже особенно благодѣтельной<sup>1)</sup>. „Величіе красоты Божьяго міра“ вообще съ самыхъ дѣтскихъ лѣтъ окружаетъ ребенка. Городской домъ Аксаковыхъ стоялъ на Уфѣ,

---

<sup>1)</sup> „Одинъ разъ, — рассказываетъ нашъ писатель, — не знаю куда, свѣлали мы большое путешествіе; отецъ былъ съ нами. Дорогой довольно рано, поутру, почувствовалъ я себя такъ дурно, такъ я ослабѣлъ, что принуждены были остановиться; вынесли меня изъ кареты, постлали постель въ высокой травѣ лѣсной поляны, въ тѣни деревьевъ, и положили почти безжизненнаго. Я все видѣлъ и понималъ, что около меня дѣлали. Слышалъ, какъ плакалъ отецъ и утѣшалъ отчаянную мать, какъ горячо она молилась, поднимая руки къ небу. Я все слышалъ и видѣлъ явственно, и не могъ сказать ни одного слова, не могъ пошевелиться, — и вдругъ точно проснулся и почувствовалъ себя лучше, крѣпче обыкновеннаго. Лѣсъ, тѣнь, цвѣты, ароматный воздухъ мнѣ такъ понравились, что я упросилъ не трогать меня съ мѣста. Такъ и простояли мы тутъ до вечера. Лошадей выпрягли и пустили на траву близехонько отъ меня, и мнѣ это было пріятно. Гдѣ-то нашли рудниковую воду; я слышалъ, какъ толковали объ этомъ; развели огонь, пили чай, а мнѣ дали выпить отвратительной римской ромашки съ рейнвейномъ, приготовили кушанье, обѣдали и всѣ отдыхали, даже мать моя спала долго. Я не спалъ, но чувствовалъ необыкновенную бодрость и какое-то внутреннее удовольствіе и спокойствіе. Или, вѣрнѣе сказать, я не понималъ, что чувствовалъ, но мнѣ было хорошо. Уже довольно поздно вечеромъ, несмотря на мои просьбы и слезы, положили меня въ карету и перевезли въ ближайшую на дорогѣ татарскую деревню, гдѣ и ночевали. На другой день поутру я чувствовалъ себя свѣжѣе и лучше противъ обыкновеннаго. Мнѣ стало вѣсь часъ отъ часу лучше, и черезъ нѣсколько мѣсяцевъ я былъ уже почти здоровъ. Двѣнадцатичасовое лежанье въ травѣ, на лѣсной полянѣ, дало первый благоприятный толчокъ моему разслабленному тѣлесному организму“. (Полное собр. сочиненій С. Т. Аксакова, изд. Мартынова, I, стр. 239—240, 242).



на косогорѣ; съ параднаго крыльца дома рѣка Бѣлая „была видна почти во всю свою ширину“. Дѣтская выходила окош- камп въ садъ, „и посаженная подъ ними малина, — вспо- минаетъ писатель, — росла такъ высоко, что на цѣлую чет- верть заглядывала къ нимъ въ окно“. Первая поѣздка въ Багрово (Аксаково) производитъ цѣлый переворотъ въ дѣтскомъ умѣ ребенка и разомъ необыкновенно расширяетъ его кругозоръ, оставляя на его воспріимчивой душѣ множество самыхъ разно- образныхъ впечатлѣній. Близость ребенка къ природѣ и влія- ніе ея впечатлѣній значительно увеличиваетъ и облегчаетъ отецъ ребенка. Онъ перѣдко заранѣе знакомитъ сына со многими предметами и явленіями природы, стараясь дать поспѣльные отвѣты на его многочисленные и постоянные во- просы. Иногда цѣлыя ночи проводитъ онъ въ такихъ бесѣ- дахъ съ маленькимъ сыномъ, — и эти бесѣды производятъ столь сильное впечатлѣніе, что ребенокъ долго не можетъ заснуть. Вообще отецъ, по непосредственности своей натуры и любви къ природѣ, чуткости къ ея явленіямъ и умѣнью наслаждаться ими, очень близокъ къ своему маленькому сыну, — и обаяніе природы одинаково сильно дѣйствуетъ на нихъ обоихъ. „Посреди разговоровъ мы оба какъ-то задумались, — вспоминаетъ объ одномъ случаѣ Аксаковъ-сынъ, — и долго просидѣли, не говоря ни одного слова. Небо свер- кало звѣздами, воздухъ былъ наполненъ благовоніемъ отъ засыхающихъ степныхъ травъ, рѣчка журчала въ оврагѣ, костеръ пылалъ“... Отецъ вообще сочувствуетъ дѣтскимъ интересамъ ребенка. „Онъ ходилъ со мной, — вспоминаетъ писатель, — поглядывать за птичками въ садовыхъ кустахъ; ходилъ со мной въ грачевую рощу и очень сердился на гра- чей, что они сушатъ вершины березъ, ломая вѣтки для устрой- ства своихъ уродливыхъ гнѣздъ, даже грозился разорить ихъ. Какъ былъ отецъ доволенъ, увидя въ первый разъ медуницу! Онъ научилъ меня легонько выдергивать лиловые цвѣтки и сосать бѣлые сладкіе ихъ корешки. И какъ онъ еще болѣе обрадовался, услыша издали, также въ первый разъ, пѣніе варакушки. „Ну, Сережа, — сказалъ онъ мнѣ, — теперь всѣ птички начнутъ пѣть: варакушка первая запѣваетъ“... Отецъ рассказываетъ сыну о степи, какъ она хороша и свѣжа весной, въ началѣ лѣта; о степныхъ птицахъ, „которые подъ ко- нецъ лѣта уже не кричатъ, а прячутся съ молодыми дѣтьми



по низкимъ ложбинамъ“, о Демѣ, какъ привольно на ней удить, о кибиткахъ калмыковъ и т. д.; вмѣстѣ съ отцомъ ребенокъ собираетъ „прекрасные, точно обточенные, довольно длинныя, похожіе на сахарныя головки камешки, называемые чортовыми пальцами, набиваетъ ими свои карманы и долго пристаётъ къ отцу съ вопросомъ: „что за звѣрь чортъ, имѣющій такіе крѣпкіе пальцы?...“ Отецъ съ жаромъ рассказываетъ маленькому сыну, сколько птицъ водится, напримѣръ, на Бѣлой, сколько тамъ рыбы, сколько рождается тамъ всякихъ ягодъ, сколько озеръ, какіе чудесные тамъ водятся лѣса...

Природа, со всѣми чудными ея красотами, не забывается ребенкомъ, и среди городской жизни сельскія впечатлѣнія лишь на время, иногда, подавляются новостью городскихъ впечатлѣній; но вообще городъ скоро начинаетъ надоѣдать ребенку. Городская природа кажется ему слишкомъ бѣдною въ сравненіи съ сельскою. Городской садъ въ Уфѣ ему „противенъ“, и послѣ привольныхъ, полей, озеръ и лѣсовъ, ребенку „гадко и смотрѣть“ на этотъ „садишко съ тощими яблонями“, и онъ съ грустью вздыхаетъ о „блаженной деревенской жизни“... Ребенокъ особенно не можетъ утерпѣть въ городѣ при наступленіи весны; приближеніе весны производитъ на него какое-то особое, почти раздражающее впечатлѣніе... Нужно припомнить у писателя его описаніе весенняго вскрытія Бѣлой, чтобы видѣть всю силу страстнаго отношенія ребенка къ явленіямъ природы<sup>1)</sup>. Возбужденію особенно содѣйствуютъ безпрестанные разговоры ребенка съ отцомъ и Евсеемъ (дядькой ребенка), которые радуются приближенію весны, какъ непосредственные деревенскіе люди, и притомъ, какъ охотники. Они поощряютъ чувство ребенка и съ увлеченіемъ наперерывъ рассказываютъ ему, „какъ сначала обтаютъ горы, какъ побѣгутъ съ нихъ ручьи, какъ спустятъ прудъ, разольется полая вода, пойдетъ вверхъ по полямъ рыба, какъ начнутъ ловить ее вятелями и мордами; какъ прилетятъ лѣтнія птица, запоютъ жаворонки, проснутся сурки и начнутъ свистать, сидя на заднихъ лапкахъ по своимъ сурчинамъ, какъ зазеленѣютъ луга, одѣнется лѣсъ, кусты, и зальются, зацелкаютъ въ нихъ соловьи“... Ихъ восторженные, горячія слова западаютъ глубоко ребенку въ душу,

---

<sup>1)</sup> См. соч. I, 329—330.



пробуждаютъ въ немъ какія-то неясныя, томительныя и сладкія чувства. Близость, чуткость къ непосредственной природѣ невидимо, но неразрывно связываетъ мальчика съ отцомъ и дядькой; „только намъ тропмъ, — отцу, мнѣ и Евсеичу, — вспоминаетъ писатель, — было не грустно и не скучно смотрѣть на почернѣвшія крыши и стѣны строеній и голые сучья деревъ, на мокреть и слякоть, на грязные сугробы снѣга, на лужи мутной воды, на сѣрое небо, на туманъ сѣраго воздуха, на снѣгъ и дождь, то вмѣстѣ, то попеременно падашіе изъ потемнѣвшихъ низкихъ облаковъ... Заключенный въ домъ, потому что въ мокрую погоду меня и на крыльцо не выпускали, я, тѣмъ не менѣе, слѣдилъ за каждымъ шагомъ весны. Въ каждой комнатѣ, чуть не въ каждомъ окнѣ, были у меня замѣчены особенные предметы или мѣста, по которымъ я производилъ мои наблюденія: изъ нашей спальни съ одной стороны виднѣлась Челябинская гора, оголявшая постепенно свой крутой и круглый взлобокъ, съ другой — часть рѣки, давно растаявшаго Бугуруслана, съ противоположнымъ берегомъ; изъ гостиной чернѣлись проталины на Кудринской горѣ, особенно около круглаго родниковаго озера, въ которомъ мочили конопли; изъ залы стеклянѣлась лужа воды, подтоплявшая грачевую рощу; изъ бабушкиной и тетушкиной горницы видно было гумно на высокой горѣ и множество сурчинъ по ней, которыя съ каждымъ днемъ освобождались отъ снѣга. Шире, длиннѣе становились грязныя проталины, полнѣе наливалось озеро въ рощу, и, проходя сквозь заборъ, уже показывалась вода между капустныхъ грядъ въ нашемъ огородѣ. Все замѣчалось мною точно и внимательно, и каждый шагъ весны торжествовался, какъ побѣда. Съ утра до вечера бѣгалъ я изъ комнаты въ комнату, становясь на свои наблюдательныя сторожевыя мѣста. Чтеніе, письмо, игры съ сестрой, даже разговоры съ матерью — все вылетѣло у меня изъ головы. О томъ, чего не могъ видѣть своими глазами, получалъ я безпрестанныя извѣстія отъ отца, Евсепча, изъ дѣвичьей и лакейской: „прудъ посниѣлъ и надулся, ѣздить по немъ опасно, мужикъ съ возомъ провалился, подпруда подошла подъ водяныя колеса, молоть ужъ нельзя, пора спускать воду; Антошкинъ оврагъ ночью прошелъ, да и Мордовскій напружился и почерпѣлъ, скоро никуда нельзя будетъ проѣхать; дорожки начали проваливаться, въ кухню



не пройденъ: Мазанъ провалился съ миской щей и щи пролилъ, мостки снесло, вода залила людскую баню, — вотъ что слышалъ я безпрестанно; равнодушно принимались всѣ такіа извѣстія. Грачи давно расхаживали по двору и начали вить гнѣзда въ грачевой рощѣ. Скворцы и жаворонки тоже прилетѣли; и вотъ стала появляться настоящая птица, дичь, по выраженію охотниковъ. Отецъ съ восхищеніемъ рассказывалъ мнѣ, что видѣлъ лебедей, такъ высоко летѣвшихъ, что едва могъ разглядѣть ихъ, и что гуси потянулись большими стаицами. Евсенчъ видѣлъ нырковъ и кряковыхъ утокъ, опустившихся на прудъ, видѣлъ дикихъ голубей, по гумнамъ дроздовъ и пигалицъ около родниковъ... Съ каждымъ днемъ извѣстія становились чаще, важнѣе, возмутительнѣе... Но вотъ, наконецъ, Евсенчъ съ азартомъ объявляетъ, что всякая птица валомъ валить, безъ перемежки!... Ребенокъ далѣе уже не можетъ терпѣть. Съ помощью отца, горячихъ слезъ и убѣжденій, мать позволяетъ ребенку, тепло одѣвшись, посидѣть на крылечкѣ, и открывшееся передъ нимъ величественное пробужденіе вездѣ и всюду жизни поражаетъ его<sup>1)</sup>... Все отступаетъ передъ этою живою природой, — и мальчикъ не можетъ ни на чемъ сосредоточиться... Сама мать начинаетъ ревновать его къ природѣ. „Теперь ты, кажется, очнулся. — замѣчаетъ она ему какъ-то: — а вѣдь ты былъ точно помѣшанный. Ты ни въ чемъ не принималъ участія, ты забылъ, что у тебя есть мать“...

Но не одними силами и явленіями своими привязывала къ себѣ ребенка природа: она не оттѣсняла собой передъ нимъ и живыхъ людей. Ребенокъ очень рано знакомится съ крестьянскимъ бытомъ, его радостями и трудами... Еще въ первую поѣздку въ Багрово, шестилѣтняго ребенка поражаетъ невиданный имъ дотолѣ нарядъ чувашскихъ женщинъ, которыя ходятъ „въ бѣлыхъ рубашкахъ, вышитыхъ красною шерстью, носятъ какіе-то черные хвосты, а голова ихъ и грудь увѣшаны серебряными, и крупными и самыми мелкими, деньгами: все это звенитъ и брякаетъ на нихъ при каждомъ движеніи“, его изумляетъ огромная чувашская изба, закопченная дымомъ и покрытая лоснящеюся сажей съ потолка до самыхъ лавокъ, широкія, устланныя поперекъ досками, лавки, печь безъ трубы,

---

<sup>1)</sup> См. соч. II, 29—32.



горящая лучина вмѣсто свѣчи, ущемленная въ такъ называемый свѣтецъ“...

Съ крестьянскимъ міромъ сближаетъ ребенка также самъ отецъ, онъ объясняетъ ему значеніе различныхъ предметовъ крестьянскаго обихода, дѣлится съ нимъ своими радостями и опасеніями насчетъ предстоящаго урожая, нерѣдко беретъ сына съ собой въ поле, гдѣ шестилѣтній ребенокъ впервые видитъ передъ собой тяжелыя крестьянскія работы; первое знакомство съ ними производитъ на него столь сильное впечатлѣніе, что сохраняется ребенкомъ всю жизнь... „Невыразимое чувство состраданія къ работающимъ съ такимъ напряженіемъ силъ, на солнечномъ зноѣ, охватило мою душу, — замѣчаетъ онъ, — и много разъ потомъ, бывая на жнитвѣ, я всегда вспоминалъ это первое впечатлѣніе“... Знакомясь съ многочисленностью и разнообразіемъ этихъ работъ, ихъ трудностью, ребенокъ приходитъ къ мысли, что „крестьяне и крестьянки гораздо насъ искуснѣе и ловчѣе, потому что умѣютъ то дѣлать, чего мы не умѣемъ“. У ребенка является даже желаніе самому поучиться этимъ работамъ: „Я сравнивалъ себя, — воспоминаетъ писатель, — съ крестьянскими мальчиками, которые цѣлый день, отъ восхода до заката солнечнаго, бродили взадъ и впередъ, какъ по песку, по рыхлымъ десятинамъ, которые ѣли хлѣбъ да воду, и мнѣ стало совѣстно, стыдно, и рѣшился я просить отца и мать, чтобы меня заставили бороновать землю... Черезъ нѣсколько времени дѣйствительно мнѣ позволили попробовать бороновать землю. Оказалось, что я никуда не годенъ: не умѣю ходить по вспаханной землѣ, не умѣю держать вожжи и править лошадыю, не умѣю заставить ее слушаться. Крестьянскій мальчикъ шелъ рядомъ со мной и смѣялся“...<sup>1)</sup> Ребенокъ невольно проникается уваженіемъ къ крестьянскому труду и начинаетъ любить этихъ простыхъ, добрыхъ людей.

Интересы и воззрѣнія этого міра въ значительной степени поддерживаются и ближайшимъ лицомъ къ ребенку — дядькой Евсепчемъ. Этому Евсепчу необходимо отвести вообще видное мѣсто въ ряду ближайшихъ воспитателей будущаго писателя. Евсепчъ — одно изъ самыхъ симпатичныхъ лицъ, введенныхъ въ „Хронику“. Оберегая ребенка отъ всего дурного

---

<sup>1)</sup> Соч. II, стр. 51.



и безирравственнаго. Евсепчъ покровительствуетъ ему въ его здоровыхъ увлеченіяхъ, вмѣстѣ съ нимъ живетъ одною жизнью съ природой, и образнымъ своимъ языкомъ знакомитъ своего питомца съ живою народною рѣчью... Языкъ будущаго писателя уже здѣсь, въ бесѣдахъ съ Евсепчемъ, обогащается обширнымъ запасомъ тѣхъ живыхъ, чисто народныхъ словъ и оборотовъ, знаніе которыхъ и умѣнье пользоваться которыми составили впослѣдствіи одну изъ важнѣйшихъ особенностей писателя... Вліяніе Евсепча, впрочемъ, шло и дальше; ребенокъ вообще любитъ „разсуждать съ нимъ обо всемъ“ и нерѣдко приводитъ старика втупикъ своими вопросами<sup>1)</sup>...

Были и другія связи съ этимъ міромъ. Несмотря на то, что мать Аксакова, какъ „горожанка“, не поощряла сближенія своего сына съ міромъ и бытомъ простого народа, не любила ни деревенскихъ пѣсенъ, ни хороводовъ, ни святочныхъ игръ и т. п. увеселеній, „не понимала“ ихъ да и не знала ихъ хорошенько, ребенку все же нерѣдко удается, хотя и урывками, знакомиться со всѣмъ этимъ. Пѣсни и голоса Матрени, въ поѣздкахъ за грибами, западаютъ въ душу ребенка, и онъ очень сожалеетъ, что его мать не любитъ слушать этихъ деревенскихъ пѣсенъ“ и запрещаетъ пѣть ихъ дома, въ дѣвчье<sup>2)</sup>. Благодаря теткѣ, тихонько отъ матери, ребенокъ попадаетъ на святочные простонародныя игры; его рассказъ показываетъ, какое сильное впечатлѣніе производили онѣ на него<sup>3)</sup>. Въ то же время дворовая дѣвушка

<sup>1)</sup> Соч. II, стр. 21.

<sup>2)</sup> Ib. II, 64.

<sup>3)</sup> „Моя мать,—разсказываетъ писатель,—была горожанка, не понимала и не любила ни хороводовъ, ни свадебныхъ и подблюдныхъ пѣсенъ, ни святочныхъ игрищъ, даже не знала ихъ хорошенько. Съ большимъ трудомъ уступала она иногда просьбамъ тетки: позволить мнѣ посмотреть на нихъ; тетка же, какъ деревенская дѣвушка, все это очень любила; она устраивала иногда святочные игры и пѣсни у себя въ комнатѣ, и сладкіе, чарующіе звуки народныхъ родныхъ напѣвовъ, долетая до меня изъ третьей комнаты, волновали мое сердце и погружали меня въ какое-то непонятное раздумье. Мнѣ было очень досадно, что не позволяли не только самому участвовать, но даже присутствовать на этихъ играхъ, и, вслѣдствіе такого строгаго запрещенія, меня соблазнили, наконецъ, обманывать свою умную и такъ горячо любимую мать. Разумѣется, я сначала просился и приставалъ съ вопросами къ моей матери: для чего она не пускаетъ меня на игрища? Мать отвѣчала мнѣ рѣшительно и строго: „что тамъ бываетъ много глупаго, гадкаго и неприличнаго, чего мнѣ ни слышать ни видѣть не должно, потому что я еще дитя, не умѣющее различить хоро-

203  
=



Нарана знакомить ребенка съ міромъ русскихъ народныхъ сказокъ, а няня, несмотря на всѣ запрещенія, все же успѣваетъ сообщить украдкой своему питомцу „кое-какія свѣдѣнія о букѣ, домовыхъ и мертвецахъ“.

Но не одна природа съ крестьянскимъ міромъ составляла дѣтскую атмосферу будущаго писателя; столь же сильное впечатлѣніе производила на него книга... Деревенская жизнь среди полей и лѣсовъ постоянно чередовалась съ пребываніемъ въ городѣ, и здѣсь страсть къ чтенію вполне вступила въ свои права. Если чувство къ природѣ развивалъ въ ребенкѣ его отецъ, то здѣсь, въ чтеніи, больше руководила мать... Мы воспользуемся собственными воспомина-ніями нашего писателя, чтобы познакомиться съ характеромъ той духовной пищи, которою на самыхъ первыхъ порахъ питался умъ ребенка.

Первая книга, которая попала въ его руки, была *Зеркало*

шаго отъ дурного“. А какъ я ничего дурного не видѣлъ, или видя не понималъ, въ чемъ оно состоитъ, то повиновался неохотно, безъ внутренняго убѣжденія, даже съ неудовольствіемъ. Тетка же моя съ своими сѣнными дѣвчушками говорили совсѣмъ другое; онѣ утверждали, „что у матери моей такой уже нравъ, что она всѣмъ недовольна и что все деревенское ей не нравится, что оттого она нездорова; что ей самой не весело, такъ она хочетъ, чтобъ и другіе не веселились“. Такія слова вкрадчиво западали въ мой дѣтскій умъ, и слѣдствіемъ того было, что одинъ разъ тетка уговорила меня посмотреть игрища тихонько, — завернувъ съ головой въ шубу и отдавъ на руки здоровенной своей дѣвкѣ Матренѣ, отправилась со мной въ столярную избу, гдѣ ожидала насъ, переряженная въ медвѣдей, индѣекъ, журавлей, стариковъ и старухъ, вся дѣвчья и вся молодая дворя. Несмотря на сальные вонючіе огарки, даже дымную лучину, плохо освѣщавшую просторную избу, несмотря на душливый мефитическій воздухъ, сколько было истинной веселости на этихъ деревенскихъ игрищахъ! Чудные голоса святочныхъ пѣсень, уцѣлѣвшіе звуки глубокой древности, отголоски невѣдомаго міра, еще хранили въ себѣ живую обаятельную силу и властвовали надъ сердцами неизмѣримо далекаго потомства! Какимъ-то хмелемъ веселья, оцѣненіемъ радости проникнуты были всѣ. Взрывы звонкаго, дружнаго смѣха часто покрывали и пѣсни и рѣчи. Это были не актеры и актрисы, представляющіе кого-то, для удовольствія другихъ, себя выражали одушевленные пѣсельники и плясуньи, себя тѣшили онѣ отъ избытка сердца, и каждый зритель былъ увлеченное дѣйствующее лицо. Все пѣло, плясало, говорило, хохотало — и въ самомъ разгарѣ, въ чадѣ шумнаго общаго веселья, тѣ же сильные руки заворачивали меня въ шубу и стремительно уносили изъ волшебнаго сказочнаго міра. Долго я не засыпалъ въ эти ночи и долго странные образы плясали и пѣли вокругъ меня, и не разставались со мною даже въ сновидѣніяхъ“. (Соч. II, стр. 209—211).



*Добродѣтели*<sup>1)</sup>), книга легендарно-поучительнаго содержанія; онъ очень скоро выучилъ ее наизусть, и она ему подошла. Послѣ „Зеркала добродѣтели“, ребенокъ принялся за чтеніе *Домашняго Лѣчебника Бухана*<sup>2)</sup>). Книгу эту позволила ему читать сама мать, указавъ въ ней тѣ мѣста, которыя могли интересовать ребенка, — многочисленныя разбросанныя въ книгѣ описанія травъ, солей, кореньевъ, вообще медицинскихъ снадобій, упоминавшихся въ лѣчебникѣ. Описанія эти чрезвычайно нравились ребенку, и даже много лѣтъ послѣ, уже въ зрѣломъ возрастѣ, онъ нерѣдко перечитывалъ ихъ съ большимъ удовольствіемъ.

Благодаря одному изъ знакомыхъ матери, старикъ Аничкову, чтеніе ребенка вскорѣ значительно расширилось: въ его руки попало нѣсколько книгъ *Дѣтскаго Чтенія* Новикова. Это было для ребенка настоящимъ событіемъ: „Я такъ обрадовался, — воспоминаетъ Аксаковъ, — что чуть не со слезами бросился на шею старикъ и, не помня себя, запрыгалъ и побѣждалъ домой, оставя своего отца бесѣдовать съ Аничковымъ... Боясь, чтобы кто-нибудь не отнялъ моего сокровища, я пробѣжалъ прямо черезъ сѣни въ дѣтскую, легъ въ свою кроватку, закрылся пологомъ, развернулъ первую часть, и позавылъ все меня окружающее. Когда отецъ воротился и со смѣхомъ разсказалъ матери все происходившее у Аничкова, она очень встревожилась, потому что и не знала о моемъ возвращеніи. Меня отыскали лежащаго съ книжкой. Мать разсказывала мнѣ потомъ, что я былъ точно какъ помѣшанный: ничего не говорилъ, не понималъ, что мнѣ говорятъ, и не хотѣлъ идти обѣдать. Должны были отнять книжку, несмотря на горькія мои слезы. Угроза, что книги отнимутъ совсѣмъ, заставила меня удержаться отъ слезъ, встать и даже обѣдать. Послѣ обѣда я схватилъ книжку и читалъ до вечера. Разумѣется, мать положила конецъ такому изступленному чтенію: книги заперла въ свой комодъ и выдавала мнѣ по

<sup>1)</sup> *Зеркало добродѣтели и благодарствія для дѣтей*, соч. Г. Кейля, переводъ съ нѣмецкаго, съ 89 сообразными ему картинками. М. 1794.

<sup>2)</sup> *Полный и особый домашній лѣчебникъ*, сочиненный какъ для предохраненія здравія надлежащими средствами, такъ и для пользованія болѣзней всякаго рода, съ показаніемъ причинъ, признаковъ и наипаче разпознавательныхъ, и проч. Англійское сочиненіе г. Бухана, переводъ съ французскаго, 5 частей. М., 1790—1791; въ 1809—1813 гг. вышло второе изданіе.



одной части, и то въ извѣстные, назначенные ею часы. Книжекъ всего было двѣнадцать, и тѣ не по порядку, а разрозненныя. Оказалось, что это не полное собраніе *Дѣтскаго Чтенія*, состоявшаго изъ 20-ти частей. Я читалъ свои книжки съ восторгомъ, и, несмотря на разумную бережливость матерп, прочелъ все съ небольшимъ въ мѣсяць. Въ дѣтскомъ умѣ моемъ произошелъ совершенный переворотъ, и для меня открылся новый міръ. Я узналъ въ „разсужденіи о громѣ“, что такое молнія, воздухъ, облака; узналъ образованіе дождя и происхожденіе снѣга. Многія явленія въ природѣ, на которыя я смотрѣлъ безсмысленно, хотя и съ любопытствомъ, получили для меня смыслъ, значеніе, и стали еще любопытнѣе. Муравьи, пчелы и особенно бабочки съ своими превращеніями изъ яичекъ въ червяка, изъ червяка въ хризалиду, и наконецъ изъ хризалиды въ красивую бабочку — овладѣли моимъ вниманіемъ и сочувствіемъ; я получилъ непреодолимое желаніе все это наблюдать своими глазами. Собственно нравоучительныя статьи производили менѣе впечатлѣнія; но какъ забавляли меня „смѣшной способъ ловить обезьянъ“ и басня о старомъ волкѣ, котораго всѣ пастухи отъ себя прогнали! Какъ восхищался я „золотыми рыбками“...<sup>1)</sup> „Дѣтское Чтеніе“ Новикова было дѣйствительно лучшее дѣтское изданіе, какое только существовало у насъ не только въ XVIII, но и во всю первую половину XIX-го в.<sup>2)</sup> Рядомъ съ нимъ

---

<sup>1)</sup> Соч. I, стр. 247—248.

<sup>2)</sup> Характеръ и направленіе Новиковскаго „Дѣтскаго Чтенія“ указываются въ предисловіи, которымъ открывался журналъ, и въ которомъ издатель, обращаясь къ своимъ юнымъ читателямъ, объясняетъ „причину, намѣреніе и содержаніе предпринимаемыхъ „листокъ“: „причина, побудившая насъ къ изданію ихъ, есть та, что доселѣ на отечественномъ нашемъ языкѣ не было ничего, чтобы служило собственно для дѣтскаго чтенія; почему дѣти, учащіяся по-французски и по-нѣмецки, должны были довольствоваться чтеніемъ французскихъ и нѣмецкихъ книгъ... Всякому, кто любитъ свое отечество, весьма прискорбно видѣть многихъ изъ насъ, которые лучше знаютъ по-французски нежели по-русски, и которые вмѣсто того, чтобы, какъ говорится, съ матернимъ млекоу всасывать въ себя любовь къ отечеству, всасываютъ, питаются, возвращаютъ и укореняютъ въ себѣ разныя предубѣжденія противъ всего, что только отечественнымъ называется. Намѣреніе наше есть то, чтобы всѣмъ молодымъ охотникамъ до чтенія доставить упражненіе на природномъ нашемъ языкѣ... Содержаніе сего журнала будетъ хотя различное, но нужное и соразмѣрное вашему возрасту, вашимъ силамъ и вашему развивающемуся еще понятію. Во-первыхъ, будемъ мы помѣщать въ немъ моральныя, или нравоучи-



можно поставить еще *Дѣтскую Библіотеку* Кемне, переведенную на русскій языкъ въ концѣ прошлаго вѣка Шишковымъ, съ которой, какъ увидимъ, Аксаковъ также рано познакомился... *Дѣтское Чтеніе* на цѣлый рядъ лѣтъ служило духовною пищей будущему писателю; онъ не разъ читалъ свои книжки и перечитывалъ. Позже въ руки ребенка попалъ *Сонникъ*<sup>1)</sup> и какая-то театральная пьеса подъ заглавіемъ: *Драматическая Пустельга*. Обѣ книжки произвели сильное впечатлѣніе на умъ ребенка; онъ „выучилъ наизусть, что какой сонъ значить, и долго любилъ толковать сны свои и чужіе. долго вѣрилъ правдѣ этихъ толкованій, „и только въ университетѣ, — прибавляетъ писатель, — совершенно истребилося во мнѣ это суевѣріе“<sup>2)</sup>. О второй пьесѣ: *Драматическая Пустельга*, онъ замѣчаетъ: „и точно, это была пустельга... Но какъ она мнѣ нравилась!“ Содержаніе пьесы было совершенно пустое, но тѣмъ не менѣе „съ этого времени глубоко зашла въ мой умъ склонность къ театральнымъ сочиненіямъ“...<sup>3)</sup>

Вскорѣ бібліотека ребенка расширилась еще двумя новыми книгами: *Дѣтскою Библіотекою* Кемне, въ переводѣ Шиш-

тельныя пьесы, то-есть такія, изъ которыхъ вы можете научиться должностямъ вашимъ къ Богу, общему нашему Отцу, Который насъ любитъ и отъ Котораго получаемъ мы все добро, что мы имѣемъ; должностямъ къ государю, родителямъ и наставникамъ вашимъ, чрезъ которыхъ Богъ благодѣянія Свои на васъ изливаетъ; должностямъ вашимъ ко всемъ людямъ и къ самимъ себѣ. Чтеніе такихъ пьесъ послужитъ къ рожденію во молодыхъ сердцахъ такихъ чувствованій, безъ которыхъ человекъ въ жизни благополученъ и доволенъ быть не можетъ. Онѣ помогутъ вамъ нѣкогда сдѣлаться угодными вашему Творцу и добрыми гражданами вашего отечества. Во-вторыхъ, для обогащенія ума вашего, журналъ нашъ будетъ содержать въ себѣ пьесы изъ физики, натуральной исторіи, географіи и нѣкоторыхъ другихъ наукъ, которыя будутъ доставлять вамъ свѣдѣнія о разныхъ вещахъ, кои знать вамъ нужно. Итакъ главнымъ предметомъ сихъ листовъ будетъ польза ваша; но притомъ постараемся мы дѣлать ихъ вамъ пріятными, для того, чтобы вы полюбили свою пользу“...

<sup>1)</sup> *Сонникъ, или объясненіе сновъ, заключающихся сномъ людямъ, съ нужными примѣчаніями, мнѣніемъ двухъ знаменитыхъ писателей о разныхъ видѣніяхъ и прачинѣ оныхъ, о сложеніи человеческого тѣла и зависящей отъ онаго нравственности, съ 45 извѣстіями о снахъ, какіе кому были и что по онымъ случилось, и столѣтняго греческаго старца астрономическая таблица, показывающая знаніе сновъ.* С.-Пб. 1784; второе изданіе—С.-Пб. 1791 г.

<sup>2)</sup> Соч. I, стр. 300.

<sup>3)</sup> Соч. I, стр. 301.



кова<sup>1)</sup>), и *Исторіи о младшемъ Кирѣ и о возвратномъ походѣ десяти тысячъ грековъ, сочиненія Ксенофонта*<sup>2)</sup>). *Дѣтская Библіотека* привела ребенка въ восхищеніе; особенно нравились ему помѣщенные тамъ дѣтскія пѣсни. Нѣкоторыя изъ этихъ стихотвореній нашъ писатель и послѣ называлъ „истинными сокровищами для маленькихъ дѣтей“... Не менѣе нравился ребенку и Ксенофонтъ, дѣлающійся позже даже „любимымъ чтеніемъ“ будущаго писателя. „И теперь, замѣчаетъ черезъ пятьдесятъ лѣтъ писатель, такъ помню эту книгу, какъ будто она не сходила съ моего стола; даже наружность ея такъ врѣзалась въ моей памяти, что и точно гляжу на нее и вижу чернильные пятна на многихъ страницахъ, протертыя пальцемъ мѣста и завернувшіеся уголки нѣкоторыхъ листовъ. Сраженіе младшаго Кира съ братомъ своимъ Артаксерксомъ, его смерть въ этой битвѣ, возвращеніе десяти тысячъ грековъ подъ враждебнымъ наблюденіемъ многочисленнаго персидскаго воинства, греческая фаланга, дорійскія пляски, безпрестанныя битвы съ варварами и, наконецъ, море, путь возвращенія въ Грецію, которое съ такимъ восторгомъ увидѣло храброе воинство, восклицая: „Θαλάττα! Θαλάττα!“—все это такъ сжилось со мною, что я и теперь помню все съ совершенною ясностью“<sup>3)</sup>). Дальнѣйшими книгамъ, которыя попали въ руки ребенка, были: *Древняя Россійская Вивліоѡика*<sup>4)</sup>), *Россиада* Хераскова<sup>5)</sup>) и

1) *Дѣтская библіотека*, перевелъ съ нѣмецкаго Александръ Шишковъ. 2 части, С.-Пб. 1788. Книга эта, въ качествѣ дѣтскаго чтенія, дѣйствительно, отличалась большими достоинствами и издавалась у насъ много разъ: уже въ 1806 году мы видимъ 4-е ея изданіе; болѣе позднія относятся къ 1820—1846 годамъ.

2) *Исторія о младшемъ Кирѣ и о возвратномъ походѣ 10.000 грековъ*. Переводъ съ французскаго. С.-Пб. 1762.

3) Соч. I. 313—315.

4) *Древняя Россійская Вивліоѡика*, содержащая въ себѣ собраніе древностей русскіихъ, до исторіи, географіи и генеологіи (родословія) русскіихъ касающихся, какъ-то: древнія посольства въ другія государства, грамоты великихъ князей и государей русскіихъ, описаніе царскихъ свадебъ, разныя сочиненія древнихъ русскіихъ авторовъ и многія другія весьма рѣдкія и любопытства достойныя историческія достопамятности. Изд. Николая Новикова. 10 частей, С.-Пб. 1772—1774. Въ 1788—1789 годахъ въ Москвѣ вышло второе изданіе, болѣе чѣмъ вдвое увеличенное, въ 20 частяхъ.

5) *Россиада*, эпическая поэма, въ 12 пѣсняхъ, соч. М. Хераскова. М., 1779. Последующія изданія: М. 1786, М. 1801, М. 1807, и въ „Полн. собр. соч.“ Хераскова.



*Полное собраніе сочиненій Сумарокова.* „Заглянувъ въ *Вивлю-оуку*, — рассказываетъ онъ, — я оставилъ ее въ покоѣ, а *Россіаду* и сочиненія Сумарокова читалъ съ жадностью и восторженнымъ увлеченіемъ“. Однимъ изъ любимыхъ занятій ребенка дѣлается читать матери вслухъ *Россіаду*, при чемъ мать давала ему различныя объясненія. „Я обыкновенно читалъ, — вспоминаетъ онъ, — съ такимъ горячимъ сочувствіемъ. воображеніе мое такъ живо воспроизводило лица любимыхъ моихъ героевъ: Мстиславскаго, князя Курбскаго и Палецкаго, что я какъ будто видѣлъ и зналъ ихъ давно; я *дорисовывалъ* ихъ образы, *дополнялъ* ихъ жизнь и съ увлеченіемъ описывалъ ихъ паружность; я подробно рассказывалъ, что они дѣлали передъ сраженіемъ и послѣ сраженія, какъ совѣтовался съ ними царь, какъ благодарилъ ихъ за храбрые подвиги, и прочая, и прочая. Мать смѣялась, а отецъ удивлялся и одинъ разъ сказалъ: „Откуда это у тебя берется? Ты не сдѣлайся лгунишкой“... Какимъ совершенствомъ казалось мнѣ изображеніе князя Мстиславскаго!

Сей мужъ въ сраженіяхъ не дерзокъ былъ, не злобенъ;  
Но твердому кремню являлся онъ подобенъ,  
Который сильный огонь въ то время издаетъ,  
Когда поверхность кто его желѣзомъ бьетъ.

„Гидромиръ и Астолонъ были личные враги мои, и я скорбѣлъ душой, что Гидромиръ не былъ убитъ въ единоборствѣ съ Палецкимъ. Я восхищался и казанскими рыцарями, которые —

Въ уста вложивъ кинжалъ и въ руки взявъ мечи,  
Которые у нихъ сверкали, какъ лучи,  
.....  
И войска нашего ударили въ ограду.  
Какъ стадо лебедей скрывается отъ граду,  
Такъ войска по холмамъ отъ ихъ мечей текли,  
Злодѣи скоро бы вломиться въ станъ могли,  
Когда бъ не прекратилъ сію кроваву сѣчу  
Князь Курбскій съ Палецкимъ, врагамъ текущи встрѣчу.

„Послѣдніе два стиха, — прибавляетъ писатель, — произносилъ я съ гордостью и наслажденіемъ“...<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Соч., I, стр. 355—356.



Одновременно съ Россіадою и сочиненіями Сумарокова, будущій писатель знакомится со сказками *Шехеразады*<sup>1)</sup>, которыя совершенно ребенка „сводятъ съ ума“. „Кажется, еще ни одна книга не возбуждала во мнѣ такого участія и любопытства“, говоритъ Аксаковъ. „Прибѣгу, бывало, въ ту отдѣльную комнату, въ которой мы съ матерью спали, разверну Шехеразаду, такъ чтобы только прочесть страничку, и забудусь совершенно. Одинъ разъ, замѣтивъ, что меня нѣтъ, мать отыскала меня, читающаго съ такимъ увлеченіемъ, что я не слыхалъ, какъ она приходила въ комнату и какъ ушла потомъ. Она привела съ собою Чичагова (одного изъ давнишнихъ знакомыхъ матери, который и далъ ребенку „Тысячу и одну ночь“), и я долго не замѣчалъ ихъ присутствія, не слыхалъ и не видѣлъ ничего: только хохотъ Петра Ивановича (Чичагова) заставилъ меня опомниться“...<sup>2)</sup> „Всѣ сказки мнѣ нравились, — замѣчаетъ Аксаковъ въ другомъ мѣстѣ: — я не зналъ, которой отдать преимущество! Онѣ возбуждали мое дѣтское любопытство, приводили въ изумленіе неожиданностью диковинныхъ приключеній, воспаляли мои собственныя фантазіи. Геніи, заключенные то въ колодезь, то въ глиняномъ сосудѣ, люди, превращенные въ животныхъ, очарованныя рыбы, черная собака, которую съчетъ прекрасная Зобеша и потомъ со слезами обнимаетъ и цѣлуетъ... Сколько загадочныхъ чудесъ, при чтеніи которыхъ духъ занимался въ груди! Съ какою жадностью, съ какимъ ненасытнымъ любопытствомъ читалъ я эти сказки, и въ то же время я зналъ, что все это выдумка, настоящая сказка, что этого нѣтъ на свѣтѣ и быть не можетъ“... „Мало того — продолжаетъ онъ, — что я самъ читалъ по обыкновенію съ увлеченіемъ и съ восторгомъ, я потомъ рассказывалъ сестрицѣ и тетускѣ читанное мною съ такимъ горячимъ одушевленіемъ, что, самъ того не примѣчая, дополнялъ рассказы Шехеразады многими подробностями своего изобрѣтенія: я гово-

<sup>1)</sup> *Тысяча и одна ночь*, сказки арабскія, переводъ съ арабскаго на французскій г. Голландомъ, а съ сего на русскій языкъ Алексѣемъ Филатовымъ. 12 частей, М. 1762—1771. Второе изданіе, М. 1776—1784. Третье изданіе, М. 1789. Четвертое — М. 1796. Въ 1794—1795 годахъ въ Москвѣ вышло *Тысячи и одной ночи продолженіе*, переводъ съ французскаго, 8 частей; другой переводъ „продолженія“ вышелъ въ Смоленскѣ, съ французскаго, въ 1795 году.

<sup>2)</sup> Соч. I, стр. 415.



рилъ обо всемъ мною читанномъ, точно какъ будто самъ тутъ былъ и самъ все видѣлъ. Возбудивъ вниманіе и любопытство моихъ слушательницъ и удовлетворя ихъ желаніе, я сталъ перечитывать имъ вслухъ арабскія сказки, и добавленія моей собственной фантазіи были замѣчены и обнаружены тетушкой и подтверждены сестрицей. Тетушка часто останавливала меня говоря: „А какъ же тутъ нѣтъ того, что ты намъ рассказывалъ? Стало-быть, ты все это отъ себя выдумалъ? Смотри, пожалуй, какой ты хвастунъ! Тебѣ вѣрить нельзя“... Такой приговоръ очень меня озадачилъ и заставилъ задуматься. Я былъ тогда очень правдивый мальчикъ и терпѣть не могъ лжи; а здѣсь я самъ видѣлъ, что точно прилагалъ много на Шехеразаду. Я самъ былъ удивленъ, не находя въ книгѣ того, что, казалось мнѣ, я читалъ въ ней и что совершенно утвердилось въ моей головѣ. Я сталъ осторожниѣе и наблюдать за собою, покуда не разгорячался: въ горячности же я забывалъ все, и мое пылкое воображеніе вступало въ безграничныя свои права<sup>1)</sup>.

Въ Чурасовѣ, имѣніи бабушки, гдѣ родители Аксакова одно время довольно долго гостили вмѣстѣ съ дѣтьми, въ рукахъ семилѣтняго ребенка очутилась цѣлая библіотека. „Я не замедлилъ воспользоваться этимъ сокровищемъ, — рассказывать онъ, — и съ позволенія Прасковьи Ивановны (бабушки), по выбору матери, бралъ оттуда книги, которыя читалъ съ великимъ наслажденіемъ. Первая попавшаяся мнѣ книга была *Кадмъ и Гармонія*, сочиненіе Хераскова<sup>2)</sup>, и его же *Поллидоръ, сынъ Кадма и Гармоніи*<sup>3)</sup>. Тогда мнѣ очень нравились эти книги, а напыщенный мѣрпый языкъ стихотворной прозы казался мнѣ совершенствомъ. Потомъ прочелъ я *Арфаксадъ, галдейская повѣсть*<sup>4)</sup>, не помню, чье сочиненіе, и *Нума*,

1) Соч. I, стр. 418—419.

2) *Кадмъ и Гармонія, древнее повѣствованіе*, 2 ч., М. 1786. Второе изданіе — М. 1793; третье — М. 1800; четвертое — М. 1807. Также въ „Полн. собр. соч.“ Хераскова.

3) *Поллидоръ, сынъ Кадма и Гармоніи*, соч. М. Хераскова, 3 ч. М. 1794. Второе изданіе—М. 1801; третье—М. 1806.

4) *Арфаксадъ, галдейская вымышленная повѣсть*. содержащая въ себѣ образъ жизни и нравовъ древнихъ восточныхъ народовъ, новыя возстановленія чиновначалія, ии проверженіе вредной независимости; соединенія обществъ, царствъ, воздвиженіе городовъ; первоначальныя причины военныхъ дѣйствій. Сочиненіе



или процвѣтающій Римъ, тоже Хераскова<sup>1)</sup>, и много другихъ книгъ въ этомъ родѣ. Я заглядывалъ также въ романы; они воспламеняли мое участіе и любопытство, но мать не позволяла мнѣ читать ихъ, и я пробѣгалъ нѣкоторыя страницы только украдкой, потихоньку, въ чемъ, однако, признавался матери и за что она очень снисходительно меня журила. Такимъ образомъ мнѣ удалось заглянуть въ *Алкивиада*<sup>2)</sup>, въ *Графа Вальмонта или заблужденіе разсудка*<sup>3)</sup> и въ *Достопамятную жизнь Кларисы Гарловъ*<sup>4)</sup>. Не скоро потомъ удалось мнѣ прочесть эти книги вполнѣ, но отрывки изъ нихъ такъ глубоко запали въ мою душу, что я не переставалъ о нихъ думать и только тогда успокоился, когда прочелъ. Наконецъ, тутъ же попался *Мои бездѣлки* Карамзина и его же изданіе разныхъ стихотвореній разныхъ сочинителей, подъ названіемъ *Аониды*. Эти стихотворенія уже были не то, что Сумарокова и Хераскова. Я почувствовалъ эту разницу, хотя содержаніе ихъ меня не удовлетворяло, несмотря на ребячій возрастъ<sup>5)</sup>. Черезъ годъ, у той же бабушки, ребенокъ читаетъ нѣсколько новыхъ романовъ, какъ-то: *Векфильдскаго священника*<sup>6)</sup> и *Герберта, или прощай богатство*<sup>7)</sup>; изъ нихъ особенно нравилась ему своею таинственностью *Жельзная маска*<sup>8)</sup>, интересъ которой „уве-

козловскаго дворянина Петра Захарьина, 6 частей. М. 1793—1796. Второе изданіе вышло въ Николаевѣ въ 1798.

<sup>1)</sup> *Иума или процвѣтающій Римъ*. М. 1768; второе изданіе — М. 1793; третье — М. 1800. Въ 1782 въ Петербургѣ вышелъ нѣмецкій переводъ.

<sup>2)</sup> *Алкивиадъ*, соч. Мейснера, перев. съ нѣмецкаго Николай Осиповъ, 4 ч., С.-Пб. 1794—1802.

<sup>3)</sup> *Графъ Вальмонтъ, или заблужденіе разсудка*, письма, собранныя и обнаруженныя Г. М., поднесенныя королевѣ французской въ 1775 году Жирардомъ. Переводъ съ франц. г-жи Ниловой. Семь частей, Тамбовъ 1793—1796.

<sup>4)</sup> *Достопамятная жизнь дѣвочки Кларисы Гарловъ*, истинная повѣсть. Англійское твореніе Г. Ричардсона, съ присовокупленіемъ къ тому оставшихся по смерти ея писемъ и духовнаго завѣщанія. Перев. съ франц. Н. Осипова и Петра Квнд. 6 ч. С.-Пб. 1791.

<sup>5)</sup> Соч. II, стр. 20.

<sup>6)</sup> *Векфильдскій священникъ*, англійское сочиненіе г. Гольдсмита, перевелъ съ французскаго Николай Страховъ, 2 ч. М. 1786.

<sup>7)</sup> *Гербертъ, или прощай богатство*, правоучительныя и забавныя англійскія письма, переводъ съ французскаго, 3 части. М. 1792.

<sup>8)</sup> *Жельзная маска, или удивительныя приключенія отца и сына*. Перев. съ франц. 3 части. С.-Пб. 1766.



личивался тѣмъ, что это была не выдумка, а истинное происшествіе, какъ увѣрялъ сочинитель“<sup>1)</sup>. Около того же времени ребенокъ знакомится съ Ломоносовымъ, Державинымъ и Дмитріевымъ; нравятся ему также стихотворенія И. М. Долго-рукова<sup>2)</sup>.

Кромѣ того, ребенокъ нерѣдко читалъ вслухъ для матери во время ея болѣзни, — для развлеченія больной, а иногда и для усыпленія. Аксаковъ запомнилъ только одну изъ этихъ книгъ: пятнадцатитомную *Жизнь англійскаго философа Клевеленда*<sup>3)</sup>. Съ родителями же читалъ Аксаковъ еще два романа: какого-то *Франчишко Петратіо* и *Приключенія Бенделя*<sup>4)</sup>, которыя какъ своимъ глупымъ содержаніемъ, такъ и нелѣпымъ, безграмотнымъ переводомъ возбуждали такой сильный смѣхъ, что „все слушатели (въ томъ числѣ отецъ и мать) буквально валялись отъ хохота“...

Говоря вообще, нельзя не замѣтить, что среда эта была въ высшей степени благопріятною для духовнаго развитія будущаго писателя. Отецъ и мать его противоположностью своихъ характеровъ, вкусовъ и симпатій какъ нельзя лучше дополняли одинъ другого и разностью своихъ вліяній чрезвычайно много способствовали разносторонности развитія своего ребенка. Какъ это было замѣчено, въ отцѣ ребенка преобладало направленіе практическое; это былъ сынъ природы, жившій заодно съ нею, умѣвшій понимать ее и наслаждаться ею; онъ почти исключительно занятъ своимъ хозяйствомъ и влечетъ сына къ природѣ, къ лѣсамъ, озерамъ, къ занятіямъ и быту простого народа, — знакомитъ его съ сельскими работами, наконецъ, увлекаетъ его удочкой и ружьемъ... Въ характерѣ матери преобладаетъ чувство и размышленіе; она воспитана городомъ; вмѣсто природы мать влечетъ ребенка „къ внутренней жизни, къ бесѣдѣ съ собою, къ молитвѣ в книжкамъ, къ размышленію и вопросамъ“. Дѣлу отца помогаетъ Евсепчъ, весь окружающій

<sup>1)</sup> Соч. II, стр. 85.

<sup>2)</sup> Соч. I, стр. 356, II стр. 52—53, 87—89.

<sup>3)</sup> *Письма англійскія, или приключенія г-жи Клевеландши, описанныя ею самою*. Пер. съ франц. Н. Осиповъ, 2 ч., С.-Пб. 1788. Болѣе позднія изданія — С.-Пб. 1790—1791, С.-Пб. 1794.

<sup>4)</sup> *Достопамятныя приключенія Паль Бенделя, сына стокопльскаго рыбака, имъ самимъ сочиненныя*. Переводъ съ нѣмецкаго, 2 ч., Москва 1789.



ребенка крестьянскій міръ и вся природа, звонкія пѣсни Матрешы, сказки Палашы; стремленіямъ матери — ея городскіе друзья, снабжающіе ребенка книжками.

Разнообразію и благотворности вліяній какъ нельзя лучше отвѣчаетъ богато одаренная, чрезвычайно воспріимчивая и впечатлительная натура самого ребенка. Отъ матери ребенокъ получилъ страстный, увлекающійся характеръ; отъ отца — любовь къ природѣ, чуткость къ ея явленіямъ, особенную поэтичность натуры. Въ ребенкѣ рано обнаруживается необыкновенная пытливость. Ничто не проходитъ для него безслѣдно; все вызываетъ въ немъ вопросы, сомнѣнія. При этомъ все дѣйствуетъ на него съ несравненно большею силой, чѣмъ на другихъ дѣтей; всѣмъ онъ увлекается, и увлекается до самозабвенія, до болѣзненности; его желанія быстро превращаются „въ болѣзненные устремленія всѣхъ чувствъ къ одному предмету“, — и пока онъ не достигаетъ желаемаго, онъ ничѣмъ не можетъ заниматься, скучаетъ, прывередничаетъ. Когда же его желаніе, наконецъ, удовлетворяется, — онъ „сходитъ съ ума отъ радости“. Когда ребенку удается поймать на удочку первую рыбку, онъ „весь дрожитъ, какъ въ лихорадкѣ, и, совершенно не помня себя отъ восторга схватываетъ свою добычу обѣими руками и бѣжитъ показывать матери, и задыхаясь, запинаясь отъ горячности, увѣряетъ ее, ссылаясь на своего дядьку Евсепча, что точно онъ самъ вытащилъ эту прекрасную рыбку“<sup>1)</sup>. Когда у одиннадцатилѣтняго ребенка отнимаютъ ружье и наотрѣзъ запрещаютъ ему ходить на охоту, — онъ „плачетъ, реветъ какъ маленькое дитя, валяется на полу, рветъ на себѣ волосы, едва не рветъ всѣ свои книги и тетради“<sup>2)</sup>. Рядомъ съ поэтичностью, необыкновенною нервозностью и со страстною любовью къ природѣ, натура ребенка отличается необычайною мягкостью, какою-то женственностью. Страстное желаніе поудать вмѣстѣ съ отцомъ сейчасъ же пропадаетъ въ шестилѣтнемъ ребенкѣ, когда онъ видитъ, что матери это очень непріятно, что она отпустила его противъ своего желанія, недовольна имъ и беспокоится о немъ; ему дѣлается грустно, онъ не можетъ наслаждаться своимъ удовольствіемъ, оно теряетъ свою цѣну, онъ скучаетъ и возвращается къ ма-

<sup>1)</sup> Соч. I, стр. 259.

<sup>2)</sup> Соч. II, стр. 255.



терп. Когда его бабушка при немъ бьетъ за что-то дворовую дѣвочку. — эта сцена такъ поражаетъ ребенка, что бабушка навсегда дѣлается для него страшною, и онъ больше не заглядываетъ въ ея комнату“... Онъ не любитъ своего дѣдушку за то, что тотъ часто сердится, и изъ его комнаты ему слышатся какіе-то „страшные, жалобные крики“... Видѣнное въ училищѣ производитъ на ребенка потрясающее впечатлѣніе: онъ дрожитъ всѣмъ тѣломъ и не смѣетъ пошевелинуться, наконецъ, раздражается страшнымъ гнѣвомъ на учителя, высѣкшаго ученика; этотъ учитель кажется ребенку злодѣемъ, разбойникомъ на большой дорогѣ, котораго нужно бы казнить, какъ преступника. Мальчикъ инстинктивно любитъ простыхъ, добрыхъ крестьянъ и жалѣетъ ихъ въ ихъ тяжелыхъ работахъ. Раннее чтеніе и частыя бесѣды съ матерью рано развиваютъ ребенка; онъ кажется старше своихъ сверстниковъ и гораздо выше ихъ по своему развитію. Ихъ общество не удовлетворяетъ его, и онъ любитъ уединяться въ себя. Это, въ свою очередь, еще болѣе увеличиваетъ нервность натуры и склонность къ рефлексу. Въ головѣ ребенка появляются мысли и вопросы, о которыхъ другія дѣти его лѣтъ не имѣютъ ни малѣйшаго понятія... Ко всему этому присоединилась необыкновенно богатая фантазія, такъ перерабатывающая все имъ читаемое, что мальчика называютъ „лгунишкой“, когда онъ начинаетъ пересказывать прочтенныя книжки... Между тѣмъ это былъ весьма правдивый мальчикъ, — и встрѣчаемая имъ „проза жизни“ вызываетъ въ немъ постоянные вопросы и недоумѣнія... Ласковость и покорность совсѣмъ ему неизвѣстныхъ крестьянъ удивляютъ ребенка, и онъ недоумѣваетъ, почему эти люди „намъ рады, и за что они насъ любятъ?“ Онъ спрашиваетъ отца, что такое барщина? Кто такой Мironычъ (староста), который можетъ такъ много зла дѣлать крестьянамъ и т. д. Сопровождая отца по хозяйству и слушая его разговоры со старостой Мironычемъ, ребенокъ нерѣдко задумывается, и въ его головѣ нерѣдко возникаютъ недоумѣнія: „За что страдаетъ больной старичокъ? Что такое злой Мironычъ?... Почему отецъ не позволилъ матери тотчасъ прогнать Мironыча? Стало, отецъ можетъ это сдѣлать? Зачѣмъ же онъ не дѣлаетъ? Вѣдь онъ добрый“...<sup>1)</sup> Ребенку непонятно, онъ

<sup>1)</sup> Соч. I, стр. 271.



недоумѣваетъ, „отчего сначала говорили о МIRONычѣ, какъ о человѣкѣ зломъ, а простились съ нимъ, какъ съ человекомъ добрымъ?“ И онъ никакъ не можетъ освоиться съ мыслью, что „MIRONычъ можетъ драться, не переставая быть добрымъ человекомъ“...<sup>1)</sup> Видъ обрабатываемыхъ полей, работы крестьянъ — вызываютъ въ ребенкѣ рядъ новыхъ думъ и сравненій, и онъ пристаётъ къ отцу со множествомъ новыхъ вопросовъ. Голова ребенка такъ сильно работаетъ, что нерѣдко отецъ затрудняется отвѣчать на его вопросы, и тогда отцу помогаетъ мать, хотя иногда ея отвѣты вызываютъ въ ребенкѣ только новыя недоумѣнія... Отъ отца и матери онъ бѣжитъ къ Евсѣичу, и „разсуждаетъ съ нимъ обо всемъ“... Передъ нами ребенокъ нервный, впечатлительный, необыкновенно увлекающійся, но чрезвычайно даровитый, страшно любознательный, много читающій и уже надъ многимъ начавшій задумываться и недоумѣвать...

*Архангельскій.*

### Казанская гимназія и ея благотворное вліяніе на Аксакова.

Въ началѣ января 1799 года семплѣтній Аксаковъ въ первый разъ случайно пріѣзжаетъ съ родителями въ Казань, и у отца тогда же является мысль о помѣщеніи сына въ мѣстную гимназію. Но мать сначала и слышать не хотѣла объ этомъ, — ее поражала одна мысль о возможности разстаться со своимъ маленькимъ сокровищемъ. Полная невозможность дать сыну образованіе въ Уфѣ, при отсутствіи тамъ всякихъ средствъ къ этому, еще меньшая возможность научить чему-либо серьезно сына въ деревнѣ, — заставили, однако, мать постепенно свыкнуться съ ужасною мыслью о необходимости разстаться съ сыномъ. Въ декабрѣ того же 1799 года Аксаковы вторично пріѣзжаютъ въ Казань и помѣщаютъ сына въ гимназію казеннымъ пансіонеромъ. Мать не въ силахъ была даже проститься съ ребенкомъ и уѣхала отъ сына тихонько, не простившись. Но этого не могла вынести и она сама: отъѣхавъ отъ Казани на 90 верстъ, — мать рѣши-

<sup>1)</sup> Соч. I, стр. 277.



тельно не въ силахъ была ѣхать далѣе, не повидавшись и не простившись съ ребенкомъ, — и одна, безъ мужа, возвратилась въ Казань, чтобы еще разъ обнять сына...

Съ широкаго раздолья оренбургскихъ степей и луговъ восьмилѣтній ребенокъ такимъ образомъ почти неожиданно для него попалъ въ тѣсное казенное заведеніе. Естественно, что вся обстановка этого заведенія, всѣ его порядки, весь бытъ его, все кажется ему страннымъ, дикимъ, противнымъ. Самое зданіе гимназіи представляется ему какимъ-то заколдованнымъ замкомъ (о которыхъ онъ читалъ въ книжкахъ), — тюрьмой, гдѣ онъ будетъ колодникомъ... Дѣтскій организмъ не вынесъ; ребенокъ быстро сталъ чахнуть, съ нимъ сдѣлалось что-то въ родѣ падучей, и его должны были скорѣе взять обратно. Нуженъ былъ цѣлый годъ подготовительной жизни въ деревнѣ, чтобы ребенокъ наконецъ привыкъ къ мысли, что отъ гимназіи ему не уйти. Въ августѣ 1801 года его вторично, и на этотъ разъ окончательно, отдають въ гимназію. Впрочемъ, теперь онъ былъ помѣщенъ приходящимъ, и жилъ на частной квартирѣ.

Казанская гимназія только-что передъ этимъ, года за три (въ 1798 году), была возобновлена и преобразована. Основанная въ 1758 году, въ 1788 году гимназія закрылась, по недостатку денежныхъ средствъ, и возобновлена была лишь черезъ десять лѣтъ, по указу императора Павла. При этомъ возобновленіи она получила новое устройство, сравнительно со своимъ прежнимъ видомъ, — и явилась учебнымъ заведеніемъ съ весьма широкимъ объемомъ преподаванія; это была не гимназія въ настоящемъ смыслѣ этого слова, а какое-то болѣе высшее учрежденіе, напоминающее, какъ справедливо было замѣчено, послѣдующіе лицей. Цѣлью воспитанія и ученія въ гимназіи полагалось, чтобы „со временемъ можно было получать людей способныхъ болѣе къ гражданской жизни и къ военной и гражданской службѣ, нежели къ состоянію, отличающему ученаго человека, для которыхъ есть въ государствѣ другія высшія училища“. Въ гимназіи преподавались: православный катехизисъ, языки: русскій, латинскій, нѣмецкій, французскій и татарскій, — правописаніе и „хорошій слогъ на русскій языкъ“, логика, „правоученіе или практическая философія“, исторія священная и гражданская „и особенно исторія русскаго государства“. географія все-



общая и „наиболѣе географія російской имперіи“, математическая географія, арифметика, геометрія, тригонометрія, механика, гражданская архитектура, артиллерія, фортификація, тактика, физика, натуральная исторія, химія, гидравлика, землевѣдѣніе, „законопоскуство, и наиболѣе практическое“, рисованіе, танцовальное искусство, фехтовальное и музыка. Для каждаго предмета точно указывался объемъ преподаванія. Такъ, напримѣръ, славянскій языкъ долженъ былъ проходиться вмѣстѣ съ русскимъ; преподаваніе русскаго языка тѣлилось на три класса: въ первомъ обучали чтенію, письму и начальнымъ основаніямъ этимологій, во второмъ — излагались остальные части грамматики, „занимая учащихся разными мелкими сочиненіями“, въ третьемъ — „показывали правила чистаго слога, реторики и поэзіи, подкрѣпляя оныя частыми упражненіями въ сочиненіяхъ, которыя учитель долженъ разбирать практически“. Для усовершенствованія воспитанниковъ въ собственныхъ сочиненіяхъ были устраиваемы даже особыя упражненія: требовалось, чтобы „воспитанники по воскреснымъ днямъ читали съ кафедры сочиненія свои и на чужестранныхъ языкахъ, но въ особенности на отечественномъ“. Какъ можно надѣяться, — читаемъ въ постановленіи, — что сіе оживитъ еще болѣе соревнованіе талантовъ, поощритъ дѣятельность молодыхъ умовъ, дастъ живость характеру и силу произношенію, то полагается, чтобы всякій воскресный день, по крайней мѣрѣ, двое были приготовлены для кафедры, чтобы они обрабатывали какой-нибудь сюжетъ историческій, выводя всегда моральную цѣль, или бы сочиняли и прямо разсужденіе о матеріяхъ легкихъ, не выше ихъ силъ и по мѣрѣ образованія, чтобы не гонялись за пышными словами и выраженіями, но одна бы простота украшала ихъ штиль и хорошее расположеніе мыслей, сдѣлавъ пріятнымъ цѣлое“. По окончаніи каждаго мѣсяца преподаватели подавали вѣдомости, отмѣчая въ нихъ, какъ кто занимался изъ учениковъ и велъ себя на урокахъ по мѣстному предмету. Въ особыхъ рапортахъ директору ежемѣсячно доносилось также, что пройдено за это время преподавателемъ. Такъ въ вѣдомости, дошедшей до насъ отъ 1802 года, между прочимъ, указывалось: „Учитель Пбрагимовъ показалъ объ отмѣткахъ голоса особенныхъ, какъ-то: о выходкѣ и протяженіи, напряженіи и образованіи къ изображенію мыслей



словомъ и въ особеннoсти о механизмѣ поэзіи древней и новой съ показаніемъ всѣхъ родовъ правилъ стиховъ, а изъ славянской грамматики пройдены начальныя правила о буквахъ и складахъ, родахъ именъ существительныхъ и произведеній ихъ. Лучшихъ учениковъ занималъ переложеніями стиховъ въ прозу и обратно, также размноженіемъ предложений и разбираніемъ періодовъ и перечнями изъ двухъ небольшихъ прозаическихъ сочиненій“... Въ высшемъ российскомъ классѣ учитель Левицкій занимался — „поправкой сочиненій, критическимъ разбираніемъ, декламаціей и переложеніемъ“. Два раза въ годъ были экзамены: передъ рождественскими праздниками и лѣтнимъ „вакатомъ“; первые носили частный характеръ, послѣдніе были публичные и производились съ особенною торжественностью — въ присутствіи приглашенныхъ родителей учениковъ и почетныхъ гостей города. Послѣднимъ предлагалось при этомъ угощеніе, и по тому времени, вѣроятно, значительное: иногда за разъ тратилось съ этою цѣлью изъ специальныхъ средствъ болѣе 200 рублей.

Составъ преподавателей Казанской гимназіи съ самаго начала былъ весьма удовлетворительный, — историкъ гимназіи называетъ его даже „отличнымъ“: воспитанники имѣли полную возможность получить хорошую подготовку для разныхъ служебныхъ обязанностей „гражданской жизни“, какъ въ военной, такъ и въ гражданской службѣ. Большинство преподавателей были воспитанниками Московскаго университета, и, по отзыву одного изъ самыхъ раннихъ питомцевъ гимназіи, „были люди просвѣщенные и трудолюбивые, знавшіе свое дѣло“. Наиболѣе выдавался въ ряду преподавателей гимназіи Карташевскій, читавшій математику, — человекъ ученый, принадлежавшій, по отзыву его питомца, Аксакова, „къ небольшому числу тѣхъ людей, нравственная высота которыхъ встрѣчается очень рѣдко и вся жизнь которыхъ есть строгое проявленіе этой высоты“... Потомъ мы еще встрѣтимся съ этимъ человекомъ; здѣсь замѣтимъ только, что этотъ отзывъ вовсе не былъ пристрастнымъ. Другимъ преподавателемъ математики въ гимназіи былъ Запольскій. Это былъ человекъ весьма даровитый, и въ Московскомъ университетѣ, въ которомъ онъ учился, принадлежалъ къ самымъ выдающимся по дарованіямъ студентамъ; въ теченіе универ-



ситетскаго курса за успѣхи онъ былъ награжденъ два раза золотою медалью и еще разъ серебряною. Въ бытность свою преподавателемъ гимназіи онъ изобрѣлъ какіе-то особыя астрономическіе солнечныя часы, весьма сложныя, поставленныя имъ на дворѣ гимназическаго дома, за что его наградили даже чиномъ. Позже мы его встрѣтимъ въ числѣ первыхъ адъюнктовъ открытаго уже тогда Казанскаго университета. Преподавателями русскаго и славянскаго языковъ и російской словесности были: Ибрагимовъ и Левицкій; Ибрагимовъ преподавалъ въ низшемъ и среднемъ классахъ, Левицкій — въ старшемъ; Ибрагимовъ, впрочемъ, былъ несравненно даровитѣе послѣдняго; онъ имѣлъ особенное значеніе въ умственномъ развитіи нашего писателя. Левицкій впоследствии назначенъ былъ адъюнктомъ университета. Встрѣтимся еще и съ четвертымъ преподавателемъ Эрнхомъ, имѣвшимъ славу и у своихъ учениковъ и у начальства „большого лингвиста“ и читавшимъ въ гимназіи языки латинскій и французскій. Карташевскій, Запольскій, Левицкій, Ибрагимовъ, Эрнхъ были воспитанниками Московскаго университета. Изъ другихъ преподавателей, воспитанниковъ Московскаго университета, отмѣтимъ: Петровскаго, учителя артиллеріи и фортификаціи, Куликова, преподавателя латинскаго и французскаго языковъ въ низшихъ классахъ и фехтованія, Ахметова, учителя нѣмецкаго языка, и Птенцова, учителя чистописанія и русскаго языка въ низшемъ классѣ. Однимъ изъ даровитыхъ преподавателей при самомъ началѣ гимназіи былъ также законоучитель Красновидовъ; по отзыву одного изъ своихъ учениковъ, „онъ имѣлъ даръ краснорѣчія и увлекательности въ разсказѣ, такъ что къ нему въ классъ сходились прочіе учителя и посторонніе слушатели; онъ, не оставляя начатаго текста, размножалъ предметъ и своимъ разсказомъ увлекалъ слушателей, такъ что, слыша звонокъ перемены класса, питомцы просили его о продолженіи разсказа“. Онъ, впрочемъ, скоро умеръ.

Гимназія открыта была на 40 казенныхъ воспитанниковъ изъ дворянъ и на 40 изъ разночинцевъ; кромѣ того, въ гимназію позволялось принимать пансіонерамъ и своекоштныхъ учениковъ изъ дворянъ и изъ другихъ „свободныхъ состояній“ не свыше 300 человекъ. Въ классахъ, по уставу, „дворяне должны были сидѣть за особливымъ отъ разночинцевъ



столомъ: обѣденный столъ и ужинъ, также и постели, имѣть въ особенныхъ комнатахъ“. Впрочемъ, учителямъ предписывалось „разночпицевъ не презирать, но преподавать имъ ученіе съ равнымъ для всѣхъ радѣніемъ“. Тѣлесныхъ наказаній не было, „ибо, говорилось въ уставѣ, оныя вмѣсто чаяннаго истребленія ожесточаютъ нравъ и уничтожаютъ душу“. Впрочемъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, все же „келейно наказывали розгами“... Заведеніе вообще имѣло своею цѣлью, чтобы ученики не только получали свѣдѣнія въ наукахъ, но чтобы могли „образовать душу свою по добрымъ и благу общественному полезнымъ правиламъ“.

Приводимъ еще нѣсколько бытовыхъ чертъ внутренней жизни заведенія изъ воспоминаній одного изъ первыхъ ея воспитанниковъ: „Ученіе было классическое. Учились поутру отъ 8 до 12 часовъ, а послѣ обѣда — отъ 2 до 7 часовъ; по субботамъ, послѣ обѣда, по случаю бани, классовъ не было... Столъ былъ порядочный, и кушанья всѣмъ одинакія. Обѣдъ состоялъ изъ трехъ блюдъ въ будни, и изъ четырехъ въ праздникъ; поутру давали горячее молоко зимой, а въ Великій постъ — сбитень; въ полудни холодное молоко и булку... Пансіонеры и полупансіонеры должны были имѣть свои ложки и бѣлье. Ложки вѣшались для сохраненія отъ кражи и при выходѣ отдавались; бѣлье мѣнялось... Передъ обѣдомъ, ужиномъ, завтракомъ и полдникомъ очередной гимназистъ читалъ приличныя молитвы, а въ воскресенье и табельные дни было провозглашеніе къ многолѣтію царской фамиліи и пѣли всѣ хоромъ „многая лѣта“. Послѣ ужина, не ближе получаса, ложились спать. Иногда послѣ ужина заставляли бѣгать по залѣ для сваренія нищи...

Гимназическое ученіе Аксакова продолжалось всего только три съ половиной года (съ августа 1801 по февраль 1805 г.); но и этотъ короткій періодъ времени имѣлъ весьма важное значеніе въ его общемъ образованіи и развитіи. Прежней тоски по дому мальчикъ теперь уже не чувствовалъ; онъ быстро сошелся съ товарищами, „завелъ себѣ нѣсколько пріятелей въ гимназіи и полюбилъ ее“. Нашлись общіе интересы, родилось желаніе сообщества другъ съ другомъ. Въ своихъ воспоминаніяхъ Аксаковъ, впрочемъ, мало говоритъ о гимназическихъ урокахъ; только объ урокахъ по русской словесности онъ вспоминаетъ подробно. Онъ отзы-



вается съ восторгомъ объ упомянутомъ нами преподавателѣ этого предмета въ гимназій, Ибрагимовъ. „Этотъ человекъ, замѣчаетъ онъ, имѣлъ большое значеніе въ моемъ литературномъ направленіи, и память его драгоценна для меня. Онъ первый ободрилъ меня и, такъ сказать, толкнулъ на настоящую дорогу“... Воспоминая о характерѣ его уроковъ, Аксаковъ сообщаетъ нѣкоторыя подробности преподаванія и своихъ успѣховъ въ этомъ предметѣ: „Ибрагимовъ диктовалъ свою славянскую грамматику для тѣхъ, кто ея еще не слушалъ и у кого ея не было; обыкновенно одинъ ученикъ писалъ подъ диктовку на классной доскѣ, а другіе списывали продиктованное. Ибрагимовъ объяснялъ не довольно подробно и не такъ понятно; для слушавшихъ грамматику вторично этого толкованія было достаточно, но мало для учениковъ новыхъ, а особенно для двѣнадцатилѣтнихъ мальчиковъ, какимъ былъ я и многіе другіе. По счастью, въ это время занимался мною дома Григорій Ивановичъ (Карташевскій); онъ объяснилъ мнѣ „Введеніе въ славянскую грамматику“, въ которомъ излагался взглядъ на грамматику общую: безъ объясненія я понялъ бы этотъ взглядъ такъ же плохо, какъ и другіе ученики. Имѣя у себя заранѣе полный списокъ славянской грамматики, я просмотрѣлъ ее всю въ воскресные дни, и на темныя для меня мѣста попросилъ объясненія у Григорія Ивановича. Это было мнѣ въ послѣдствіи очень полезно. Наконецъ, уже въ исходѣ сентября, черезъ шесть недѣль послѣ начала ученія, маленькая татарская фигурка Ибрагимова, прошедъ нѣсколько разъ по длинному классу съ тетрадкой въ рукѣ, вмѣсто обыкновенной диктовки, вдругъ приблизилась къ отдѣльнымъ скамьямъ новыхъ учениковъ. Сердце у меня сильно забило. Ибрагимовъ сталъ предлагать всѣмъ ученикамъ, переведеннымъ изъ нижняго класса, разные вопросы изъ пройденныхъ имъ „Введенія“ и двухъ главъ грамматики въ томъ порядкѣ, какъ сидѣли ученики; порядокъ же былъ слѣдующій: сначала сидѣли казенные гимназисты, потомъ пансіонеры, полупансіонеры и, наконецъ, своекоштные. На вопросы Ибрагимова изъ грамматики кое-какъ еще отвѣчали, но изъ „Введенія“ рѣшительно никто ничего не зналъ: ясное доказательство, что его не понимали. Дошла очередь до меня. Изъ грамматики я отвѣчалъ свободно и удовлетворительно. Послѣ каждаго отвѣта Ибрагимовъ говорилъ: „пре-



красно“. Отвѣты мои заинтересовали его, и вмѣсто трехъ, четырехъ, онъ задалъ мнѣ вопросовъ двадцать. Всѣ отвѣты были равно удачны. Ибрагимовъ безпрестанно улыбался во всю ширину своего огромнаго татарскаго рта и наконецъ сказалъ: „Прекрасно, прекрасно и прекрасно! Посмотримъ теперь, что скажетъ Введеніе“. Отвѣты мои продолжали быть вполне удовлетворительны. Онъ пробовалъ сбивать меня, и не сбывъ, потому что я говорилъ понимая предметъ, а не выучивъ наизусть одни слова. Ибрагимовъ пришелъ въ совершенное изумленіе и восхищеніе. Онъ осыпалъ меня всевозможными похвалами, вызвалъ изъ-за стола, приказалъ забрать всѣ классныя тетрадки и книжки, взялъ за руку, подвелъ къ первому столу и, сказавъ: „вотъ ваше мѣсто“, посадилъ меня третьимъ, а учениковъ было слишкомъ сорокъ человѣкъ. Такое торжество и во снѣ мнѣ не снилось“... И нѣсколько ниже: „Въ классѣ російской словесности, у того же самаго Ибрагимова, успѣхи мои были также блестящи; здѣсь преподавался синтаксисъ русскаго языка и производились практическія упражненія, состоявшія изъ писанья подъ диктовку и изъ *переложенія стиховъ въ прозу*. Диктовка была намъ очень полезна, сколько для правописанія, столько и для образованія нашего вкуса, потому что Ибрагимовъ выбиралъ лучшія мѣста изъ *Карамзина, Дмитриева, Ломоносова и Хераскова*, заставлялъ читать вслухъ и объяснялъ ихъ литературное достоинство. Онъ самъ не находилъ пользы въ „предложеніяхъ“. И, только исполняя программу, раза два заставлялъ насъ ими заниматься. Вмѣсто того онъ упражнялъ насъ въ сочиненіи небольшихъ пьесъ на заданныя темы“.

Для того времени преподаватель этотъ былъ, повидимому, дѣйствительно выдающимся. Ученики послѣ вспоминали о немъ съ необыкновенною любовью и уваженіемъ. Это былъ „человѣкъ даровитый, горячо любилъ литературу, былъ очень остроуменъ“, замѣчаетъ Аксаковъ. „Онъ имѣлъ, говоритъ Вл. Панаевъ, необыкновенную способность заставить полюбить себя и свои лекціи, самъ писалъ, особливо стихами, прекрасно, и, обладая тонкимъ вкусомъ, такъ умѣлъ показывать намъ погрѣшности въ нашихъ сочиненіяхъ, что смѣшленный ученикъ не дѣлалъ уже въ другой разъ ошибки, имъ замѣченной, а иногда слегка и осмѣянной... Почитаю себя многимъ ему



обязаннымъ“. Ибрагимовъ былъ большимъ почитателемъ Карамзина; повѣсти: „Бѣдная Лиза“, „Паталья боярская дочь“ казались ему „прелестными“. Учениковъ своихъ больше всего упражнялъ въ сочиненіяхъ, и, кажется, считалъ такіа сочиненія важнѣйшимъ средствомъ для развитія учащихся. Очень много также говорить въ пользу познаній Ибрагимова составленный имъ самостоятельно учебникъ славянской грамматики, которой предшествовало какое-то общее введеніе, хотя этотъ учебникъ, какъ мы видѣли, не всегда былъ понятенъ ученикамъ. Успѣхи у него Аксакова были во все продолженіе гимназическаго курса блестящи. Нѣсколько слабѣе были успѣхи Аксакова въ другихъ предметахъ, но все же не ниже среднихъ. Отъ 1802 года до насъ дошла вѣдомость объ успѣхахъ учениковъ и поведеніи; здѣсь между прочимъ читаемъ: „Ученикъ Сергѣй Аксаковъ — изъ арифметики *отличенъ, хорошъ* (т.-е. въ поведеніи); изъ російскаго — *отличенъ, тихъ* (въ поведеніи); изъ чистописанія — *прилеженъ, тихъ*; изъ французскаго — *прилеженъ, тихъ*; изъ катихизиса — *не худъ, смиренъ*; изъ рисованія — *слабъ, хорошъ* (т.-е. въ поведеніи), изъ музыки — *прилеженъ, хорошъ*.

Очень скоро, сверхъ классныхъ уроковъ, у девятилѣтняго Аксакова начались особыя домашнія занятія, по личному плану и подъ непосредственнымъ руководствомъ его воспитателя, Г. П. Карташевскаго (у котораго и жилъ Аксаковъ). Планъ, составленный для этихъ занятій Карташевскимъ, былъ планъ „общаго легкаго, преимущественно литературнаго образованія“. „Онъ (Карташевскій) выписалъ для меня, — рассказываетъ Аксаковъ, — множество книгъ. Сколько могу припомнить, это были: *Ломоносовъ, Державинъ, Дмитриевъ, Ганнибалъ и Хемницеръ*. У меня были уже *Сумароковъ и Херасковъ*, но Григорій Ивановичъ никогда не читалъ ихъ со мною. На французскомъ языкѣ были выписаны: *Масильонъ, Флешье и Бурдалу*, какъ проповѣдники; *сказки Шехеразады, Донъ-Кихотъ, Смерть Авеля, Гесперовы Идилліи, Векфильдскій священникъ, двѣ Патаальныя исторіи*, и въ томъ числѣ одна съ картинками, какихъ авторовъ — не знаю. Натуральная исторія была для меня самою привлекательною наукой. Другихъ книгъ не припомню; но были и еще какія-то. Воспитатель мой прежде всего занялся со мной *иностранными языками*, преимущественно француз-



скимъ, въ которомъ я, да почти и всѣ ученики, былъ очень слабъ: въ три мѣсяца я могъ свободно чѣтать и понимать всякую французскую книгу. Первая прочитанная и переведенная мною статья была изъ французской хрестоматіи: *Les aventures d'Aristonoy*, непосредственно послѣ нея я началъ чѣтать и переводить Шехеразаду, а потомъ Донъ-Кихота. Нѣкоторыя мѣста мнѣ не позволялось чѣтать, и я съ точностію исполнялъ приказаніе. Боже мой! какъ было весело учиться по такимъ веселымъ и увлекательнымъ книгамъ! Даже теперь, по прошествіи пятидесяти лѣтъ, я вспоминаю съ живѣйшимъ удовольствіемъ объ этихъ чтеніяхъ; помню, съ какимъ нетерпѣніемъ дожидался я назначеннаго для нихъ времени, почти всегда немедленно послѣ обѣда... Когда я довольно успѣлъ во французскомъ языкѣ, — продолжаетъ Аксаковъ, — чтеніе русскихъ писателей, преимущественно стихотворцевъ, сдѣлалось главнѣйшимъ нашимъ занятіемъ. Григорій Ивановичъ такъ хорошо, такъ понятно объяснялъ мнѣ красоты поэтическія, мысль автора и достоинство выраженій, что моя склонность къ литературѣ скоро обратилась въ страстную любовь. Безъ всякаго успѣха съ моей стороны, я выучивалъ всѣ лучшіе стихи изъ Державина, Ломоносова и Канниста, которые выбиралъ для меня мой строгій воспитатель: стихотворенія же Пв. Пв. Дмитріева, какъ образцовыя тогда по чистотѣ и правильности языка я узналъ наизусть почти всѣ. Мы очень мало читали русской прозы, вѣроятно, оттого, что мой наставникъ не былъ доволенъ тогдашними прозаиками. Достойно замѣчанія, что онъ не читалъ съ мною Карамзина, кромѣ нѣкоторыхъ *Писемъ Русскаго Путешественника*, и не позволилъ мнѣ имѣть въ моей библіотекѣ *Моиъ Бездѣлокъ*. Я читалъ уже прежде все написанное Карамзинымъ, зналъ на память и съ жаромъ декламировалъ *Прощаніе Гектора съ Андроматой* и *Опытную Соломонову Мудрость*. Я поспѣшилъ было похвалиться этимъ передъ своимъ наставникомъ, но онъ поморщился и сказалъ, „что первая пьеса не даетъ понятія о Гомерѣ, а вторая объ Экклезіастѣ“, и прибавилъ: „Карамзинъ не поэтъ, и лучше эти пьесы совсѣмъ позабыть“. Я былъ очень изумленъ; объ пьесы мнѣ нравились, и я продолжалъ декламировать ихъ потихоньку, когда мнѣ случалось одному гулять въ саду. Сочинять мнѣ не позволялось, и я наслаждался



этимъ удовольствіемъ или въ классѣ у Ибрагимова, или дома, также потяхоньку“. Воспитатель его былъ противъ такихъ, слишкомъ раннихъ, авторскихъ упражненій; по его мнѣнію, такія сочиненія обыкновенно бываютъ состоящими изъ чужихъ фразъ, нахвачанныхъ изъ разныхъ книгъ, такъ что по сочиненіямъ этимъ даже нельзя судить, имѣетъ ли ребенокъ свое собственное дарованіе. „Надобно — говорилъ онъ, — чтобы молодой человекъ набрался хорошихъ примѣровъ и образовалъ свой вкусъ, читая сочинителей стройно и правильно“... „Ты думаешь, — замѣтилъ Карташевскій однажды тому же Ибрагимову, — я всего Державина даю ему читать! Напротивъ, онъ знаетъ стихотвореній двадцать, не больше, а Дмитріева знаетъ всего“...

Безспорно, объясненія, которыя давалъ при чтеніяхъ своему воспитаннику руководитель, въ значительной степени расширяли умственный горизонтъ ребенка, способствовали большому осмысленію и пониманію читаемаго, вообще могли могущественно дѣйствовать на его умственное и эстетическое развитіе. Нельзя не отмѣтить отношенія воспитателя къ Карамзину. Отношеніе это нѣсколько неясно, но вообще Карташевскій смотритъ на него какъ-то холодно, даже враждебно, — совсѣмъ не такъ, какъ, напримѣръ, Ибрагимовъ... Карташевскій не читаетъ съ своимъ воспитанникомъ Карамзина, не позволяетъ мальчику пріобрѣтать въ свою бібліотеку карамзинскихъ изданій, не только не поощряетъ въ воспитанникѣ возникавшихъ у того симпатій къ Карамзину, но прямо предубѣждаетъ его противъ Карамзина, замѣчая, что „Карамзинъ — не поэтъ“, что стихи Карамзина, которые такъ нравились ребенку, „лучше совсѣмъ позабыть“... Эти холодно-враждебныя отношенія къ реформѣ Карамзина воспитателя не могли не отразиться и на взглядахъ воспитанника, и, намъ кажется, уже здѣсь, въ этомъ вліяніи литературныхъ симпатій воспитателя, нужно видѣть коренную причину тѣхъ воззрѣній, которыя съ такой страстностью обнаружались у будущаго писателя, нѣсколько позже, на студенческой скамьѣ, гдѣ онъ, несмотря на поголовное увлеченіе всѣхъ своихъ товарищей Карамзинымъ, выступилъ крайнимъ и жаркимъ защитникомъ шишковскихъ воззрѣній.

Ни классные уроки ни домашнія литературныя занятія не заглушали однако въ ребенкѣ его врожденной любви къ при-



родѣ, его страстныхъ порывовъ къ ней. Когда послѣ годичнаго пребыванія въ гимназій, ребенокъ отправился на вакать домой, въ деревню, едва сѣлъ онъ въ дорожную кибитку и выѣхалъ въ поле, — дыханіе природы „охватываетъ все его существо“, и изъ его головы „ментально вылезаютъ и гимназія, и товарищи, и учителя, и книги, и уроки“... „Послѣ временнаго, — замѣчаетъ онъ, — какъ будто забытія или охлажденія, еще горячѣе и уже еще сознательнѣе полюбилъ я красоты Божьяго міра“... „Однажды, — вспоминаетъ онъ въ другомъ мѣстѣ, — когда Григорій Ивановичъ (Карташевскій) читалъ со мною серіозную книгу на французскомъ языкѣ и, сидя у раствореннаго окна, старался объяснить мнѣ какую-то мысль, неясно мною понимаемую, вдругъ куликъ-красноножка зазвенѣлъ своими мелодическими трелями, загнувъ кверху свои крылья и вытянувъ длинныя, красныя ноги, плавно опустился на берегъ пруда противъ самаго окошка. — я вздрогнулъ, книга выпала у меня изъ рукъ, и я бросился къ окну. Наставникъ мой былъ изумленъ. Я, задыхаясь, повторялъ: „Куликъ, куликъ-красноножка, сѣлъ на берегъ близехонько, вонъ онъ ходитъ“... Но Григорій Ивановичъ не понималъ чувства охотника и сурово приказалъ мнѣ сѣсть и продолжать. Я повиновался, и хотя не смотрѣлъ на кулика, но слышалъ его голосъ; кровь бросилась мнѣ въ лицо, и я не понималъ ни одного слова въ моей книгѣ“...<sup>1)</sup>

Въ гимназій въ мальчикѣ возникаетъ новая страсть, зачатки которой были положены уже раньше и которой съ этого времени онъ остается вѣренъ потомъ на всю жизнь, — страсть къ театру. Случайно попавши въ театръ, онъ „грезитъ видѣнными пьесами день и ночь“, становится столь разсѣяннымъ, что „не можетъ совершенно заниматься ученіемъ“...

Страсть растетъ въ немъ съ каждымъ днемъ. Онъ выучиваетъ наизусть всѣ видѣнныя имъ на сценѣ пьесы и тихонько отъ воспитателя разыгрываетъ самъ передъ собой, совершенно одинъ, всѣ роли этихъ пьесъ, запираясь съ этою цѣлью въ своей комнатѣ или уходя въ пустыя антресоли... Это было общимъ увлеченіемъ гимназистовъ, которому покровительствовалъ и ихъ учитель, Ибрагимовъ, нерѣдко,

---

<sup>1)</sup> Соч. II, стр. 248.



въ виду спектакля, даже нарочно нѣсколько раньше прекращавшій свои уроки (спектакли тогда начинались въ 6 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> часовъ, а классы оканчивались только въ 6).

Гимназія, общество товарищей вообще сильно развиваютъ даровитаго мальчика, вызываютъ и создаютъ въ немъ новые интересы и вкусы. Товарищеская атмосфера, чтеніе, подъ руководствомъ образованнаго воспитателя, писателей русскихъ и иностранныхъ, постоянное непосредственное общество серьезнаго руководителя, — все это рѣшительно и быстро развиваетъ богатую натуру ребенка, и вообще дѣйствуетъ на него чрезвычайно благотворно въ смыслъ общаго его умственнаго развитія. Рядомъ со страстью къ театру, являются стремленія литературныя и первыя попытки авторства. Аксаковъ сблизается, а потомъ и дружится, съ однимъ изъ своихъ товарищей, Александромъ Панаевымъ, „страстнымъ любителемъ театра и русской словесности“, уже на гимназической скамьѣ издававшимъ рукописный журналъ, и, по примѣру товарища, самъ начинаетъ „тихонько пописывать“, храня, впрочемъ, эту тайну даже отъ своего друга. Черезъ годъ талантъ однако не скрывается болѣе, и въ 1806 г., въ университетѣ, Аксаковъ вмѣстѣ съ тѣмъ же Панаевымъ уже предпринимаетъ изданіе новаго рукописнаго журнала, „болѣе серьезнаго“ сравнительно съ гимназическимъ... Но это было уже въ университетѣ. *Архангельскій.*

---

### Аксаковъ въ университетѣ.

Уже съ годъ ходили въ городѣ слухи о предстоящемъ учрежденіи въ Казани университета. Въ декабрѣ 1804 года, наконецъ, было получено офиціальное извѣстіе, что 5-го ноябрю уставъ Казанскаго университета подписанъ государемъ... Въ половинѣ января въ конторѣ Казанской гимназіи, бывшей тогда единственнымъ „высшимъ“ учебнымъ заведеніемъ Казани, получено было отъ попечителя Румовскаго, жившаго въ Петербургѣ, предписаніе объ очищеніи и протапливаніи надлежащимъ образомъ въ нижнемъ этажѣ гимназическаго дома комнатъ, означенныхъ на планѣ № 8 и кладовой № 7; тогда же стало извѣстно о скоромъ пріѣздѣ въ Казань попечи-



теля, который ѣхалъ основывать университетъ... 13-го февраля Румовскій дѣйствительно пріѣхалъ въ Казань, и на другой же день, 14-го февраля, въ гимназическую залу собраны были преподаватели и все начальство гимназій; попечитель прочиталъ собранію утвердительную грамоту и уставъ университета, передалъ то и другое совѣту для храненія, объявилъ о назначеніи профессоровъ и адъюнктовъ, которые тутъ же были приведены къ присягѣ на служеніе возникающему университету, поручилъ совѣту избрать достойнѣйшихъ учениковъ къ поступленію въ университетъ, и закрылъ собраніе... Основаніе Казанскаго университета совершилось... Черезъ педѣлю, въ особомъ собраніи, было объявлено, что 33 воспитанника гимназій изъ старшаго отдѣленія, „произведены въ студенты“. Въ числѣ этихъ гимназистовъ, „произведенныхъ въ студенты“, былъ и Сергѣй Аксаковъ.

Въ своихъ воспоминаніяхъ Аксаковъ живо передаетъ этотъ важный моментъ своей жизни. „Въ одинъ вечеръ собралось къ Григорію Ивановичу (его воспитателю, у котораго онъ жилъ) много гостей: двое новыхъ пріѣзжихъ профессоровъ, правитель канцеляріи попечителя, Петръ Ивановичъ Соколовъ, и всѣ старшіе учителя гимназій, кромѣ Яковкина (директора), собрались довольно поздно, такъ что я ложился уже спать; гости были веселы и шумны; я долго не могъ заснуть и слышалъ ихъ всѣ громкіе разговоры и взаимныя поздравленія: дѣло шло о новомъ университетѣ, о назначеніи въ адъюнкты и профессора гимназическихъ учителей. Григорій Ивановичъ былъ назначенъ адъюнктъ-профессоромъ въ новомъ университетѣ вмѣстѣ съ Иваномъ Ипатычемъ Левицкимъ и Эрихомъ (преподаватели гимназій). Изъ разсказовъ ихъ я также узналъ, что Яковкинъ (директоръ гимназій) былъ прямо сдѣланъ ординарнымъ профессоромъ русской исторіи и назначался инспекторомъ казенныхъ студентовъ, о чемъ всѣ говорили съ негодованіемъ, считая такое быстрое возвышеніе Яковкина незаслуженнымъ, по ограниченности его ученыхъ познаній. Я вслушался также, что, говоря о студентахъ, Григорій Ивановичъ громко сказалъ: „за своего *Телемака*, господа, я ручаюсь“. Я догадался, что и меня хотятъ сдѣлать студентомъ, на что я никакъ не могъ надѣяться, потому что еще не дослушалъ курса въ высшихъ классахъ и ничего не зналъ въ математикѣ. На другой день, поутру, Григорій Ивановичъ



еще спать, когда я уѣхалъ въ гимназію. Я спѣшилъ сообщить новость своимъ товарищамъ, но тамъ уже все знали черезъ сына Яковкина, который былъ страшный толстякъ и весьма ограниченныхъ способностей. Онъ хвастался, что и его сдѣлаютъ студентомъ, надъ чѣмъ все смѣялись. Лучшіе ученики въ высшемъ классѣ, слушавшіе курсъ уже во второй разъ, конечно, надѣялись, что они будутъ произведены въ студенты; но обо мнѣ и нѣкоторыхъ другихъ никто и не думалъ. Въ тотъ же день сдѣлался извѣстенъ списокъ назначаемыхъ въ студенты; изъ него узнали мы, что все ученики старшаго класса, за исключеніемъ двухъ или трехъ, поступятъ въ университетъ, и мы съ Яковкинымъ. Съ восторгомъ воспоминаетъ далѣе Аксаковъ объ этой начальной зарѣ казанскаго студенчества: „шумная радость одушевляла всехъ. Все обнималось, поздравляли другъ друга и давали обѣщаніе съ неутомимымъ рвеніемъ заняться тѣмъ, чего намъ не доставало, такъ чтобы черезъ нѣсколько мѣсяцевъ намъ не стыдно было называться настоящими студентами. Сейчасъ былъ устроенъ латинскій классъ, и бѣольшая часть будущихъ студентовъ принялось за латынь... Нельзя безъ удовольствія и безъ уваженія вспомнить, — продолжаетъ онъ, — какою любовью къ просвѣщенію, къ наукамъ, было одушевлено тогда старшее юношество гимназій. Занимались не только днемъ, но и по ночамъ. Все похудѣли, все перемѣнилось въ лицахъ, и начальство принуждено было принять дѣятельныя мѣры для охлажденія такого рвенія. Дежурный надзиратель всю ночь ходилъ по спальнямъ, тушилъ свѣчки и запрещалъ говорить, потому что и впотьмахъ повторяли другъ другу отвѣты въ пройденныхъ предметахъ. Учителя были также подвигнуты такимъ горячимъ рвеніемъ учениковъ и занимались съ ними не только въ классахъ, но во всякое свободное время, по всемъ праздничнымъ днямъ... Григорій Ивановичъ читалъ на дому для лучшихъ математическихъ студентовъ прикладную математику; его примѣру послѣдовали и другіе учителя. Такъ продолжалось и въ первый годъ послѣ открытія университета“...

Не безъ сожалѣнія мы однако должны замѣтить, что въ этомъ общемъ увлеченіи будущій знаменитый писатель принималъ мало участія. Въ эту пору своей жизни онъ оказался ниже своихъ товарищей... Восторженно привѣтствуя въ воспоми-



наніяхъ это далекое время своей жизни, авторъ прибавляетъ: „я могу безпристрастно говорить о немъ, потому что не *участвовалъ* въ этомъ высокомъ стремленіи, которое воодушевляло преимущественно казенныхъ воспитанниковъ и пансіонеровъ: своекоштные какъ-то мало принимали въ этомъ участія, и мое *учение шло своей обычной чередой*, подъ руководствомъ моего воспитателя. Когда всѣ мои товарищи, „произведенные въ студенты“, съ необыкновеннымъ, чисто юношескимъ увлеченіемъ бросились на изученіе латинскаго языка, „чтобы черезъ нѣсколько мѣсяцевъ не стыдно было называться настоящими студентами“, я не послѣдовалъ, — замѣчаетъ писатель, — этому похвальному примѣру *по какому-то глупому предубѣжденію къ латинскому языку*“. „До сихъ поръ не понимаю, — прибавляетъ онъ съ сожалѣніемъ, — отчего Григорій Иванычъ, будучи самъ сильнымъ латинистомъ, позволилъ мнѣ не учиться по-латыни“...

Лекціи въ университетѣ начались съ осени 1805 года... Но уже въ январѣ 1807 г. будущій писатель подаетъ просьбу объ увольненіи его изъ университета; его бывшій воспитатель, Карташевскій, не задолго передъ этимъ, по недоразумѣніямъ и служебнымъ непріятностямъ оставившій професуру и перешедшій изъ Казани на службу въ Петербургъ, убѣдилъ родителей Аксакова, что молодому человѣку вмѣсто казанскихъ наукъ будетъ гораздо полезнѣе поступить на службу... Тотчасъ же, за подачей прошенія, Аксаковъ перестаетъ ходить на лекціи, — и университетская жизнь для него кончается... Такимъ образомъ, нашъ „первый студентъ“ пробылъ въ университетѣ всего около полутора года. Когда онъ былъ „произведенъ“ въ студенты, ему шелъ лишь четырнадцатый годъ; когда оставилъ университетъ, — не было и пятнадцати лѣтъ съ половиной... Что же вынесъ изъ стѣнъ университета этотъ ребенокъ-юноша? Что дало ему полутора-годовое пребываніе въ нашемъ университетѣ?...

Наличный составъ университета въ самомъ началѣ былъ весьма не обширенъ. Въ моментъ основанія, весь преподавательскій персоналъ состоялъ изъ 2 профессоровъ: Яковкина и Цеплина, и 4 адъюнктовъ: Карташевскаго, Запольскаго, Левицкаго и Эриха, переименованныхъ въ адъюнкты изъ преподавателей Казанской гимназіи. Вскорѣ къ нимъ прибавленъ пятый — Протасовъ, по медицинѣ. Въ теченіе



1805—1806 г. было еще назначено пять профессоров-иностранцевъ: Германъ, Бюнеманъ, Сторль, Фуксъ и Эвестъ, и двое русскихъ: Городчанinovъ и Каменскій... Таковы были научныя силы возникшаго университета за время пребыванія въ немъ Аксакова. При своей немногочисленности, силы эти были далеко не равномерны, и нѣкоторыя далеко не давали и того, чтѣ должны были бы давать...

Университетъ былъ устроенъ наскоро и это не могло не отразиться и на его первоначальномъ персоналѣ и на всемъ характерѣ университетской науки въ первое время. Это былъ дѣйствительно „младенческій составъ“ университета. Дѣлений на факультеты не было, да и не могло быть при указанномъ количествѣ профессоровъ. Студенты слушали самыя разнообразныя предметы: языки греческій и латинскій, математику, физику, русскую исторію, русскую словесность, географію, статистику, анатомію, естественную исторію и т. д. Не было ни курсовъ ни переходовъ на нихъ; экзамены носили особый „семейный“ характеръ. Сами преподаватели не держались своихъ спеціальностей, — да, кажется, не вполне точно и отдавали себѣ отчетъ въ нихъ. „Предметы преподаванія до того были перепутаны, — говоритъ Аксаковъ, — и совѣтъ испытателей смотрѣлъ на это такъ не строго, что, напримѣръ, адъюнктъ-профессоръ Запольскій, читавшій опытную физику, показывалъ на экзаменѣ наши сочиненія о предметахъ философскихъ, а иногда чисто литературныхъ, и это никому не казалось страннымъ... Запольскій, — продолжаетъ Аксаковъ, — любилъ пофилософствовать, былъ послѣдователь и поклонникъ Канта; на каждой лекціи по физикѣ онъ непременно припутывалъ „Критику чистаго разума“... Лучшее всего было поставлено естествознаніе, и профессоръ этого предмета, Фуксъ, одинъ, — по выраженію Аксакова, — „торжествовалъ на экзаменахъ съ своей натуральною исторіей“... Впрочемъ, нужно замѣтить, отъ университета тогда и не ожидали строгихъ спеціалистовъ; „въ ту пору начатковъ просвѣщенія, правительство желало имѣть скорѣе людей образованныхъ, чѣмъ спеціалистовъ, и въ университетѣ главнымъ образомъ имѣлось въ виду преподаваніе тѣхъ предметовъ, „которымъ необходимо должны учиться всѣ, желающіе быть полезными себѣ и отечеству, какой бы родъ жизни и какую бы службу ни избрали“...



Итакъ, въ научномъ отношеніи университетъ нашъ не могъ дать многого будущему писателю... „Мало вынесъ я научныхъ свѣдѣній изъ университета, — сознается самъ писатель. — Во всю жизнь я чувствовалъ недостаточность этихъ научныхъ свѣдѣній, особенно положительныхъ знаній, и это много мнѣ мѣшало и въ служебныхъ дѣлахъ и въ литературныхъ занятіяхъ“. Тѣмъ не менѣе, университетская жизнь будущаго писателя далеко не прошла для него безслѣдною въ общей исторіи его духовнаго развитія. Его умственные и духовные интересы продолжаютъ здѣсь не только свое дальнѣйшее развитіе, но приобрѣтаютъ также значительное разнообразіе и полноту... Прежде всего, университетъ поддержалъ и развилъ въ немъ великій даръ, вложенный въ его натуру, — интересъ и любовь къ природѣ. Университетъ не только помогъ еще сильнѣе укорениться въ душѣ будущаго писателя этой страсти, но далъ ей отчасти и научную поддержку. Лекціи профессора естествознанія увлекаютъ юношу, и онъ слушаетъ ихъ, по его выраженію, „съ жадностью“. Во всей студенческой молодежи этого времени мы видимъ какое-то особое увлеченіе естествознаніемъ... Профессоръ заражаетъ своихъ слушателей страстью къ собиранію насѣкомыхъ, и увлеченіе это быстро овладѣваетъ юношами. Увлеченіе раздѣляетъ немногочисленный студенческій кружокъ какъ бы на два враждебныхъ лагеря; каждый съ юношескимъ безпристрастіемъ оцѣниваетъ взаимныя достоинства двухъ составлявшихся студенческихъ коллекцій насѣкомыхъ; одни хвалятъ больше коллекцію у казенныхъ студентовъ (Тимьянскаго и Кайсарова), другіе — у своекоштныхъ (Аксакова и Панаева). Собиратели сообщаютъ товарищамъ о своихъ добычахъ, дѣлятся съ ними по этому поводу своими радостями и печальми, тѣ понимаютъ ихъ увлеченія и сочувственно относятся къ ихъ удачамъ и несчастіямъ... Не могу не напомнить здѣсь тѣхъ страницъ въ воспомнаніяхъ нашего писателя, гдѣ онъ со свойственною ему яркостью и живостью рисуетъ это юное увлеченіе тогдашнихъ казанскихъ студентовъ. Разсказавши подробно, какъ онъ вмѣстѣ съ товарищемъ Панаевымъ провелъ весь предшествовавшій праздничный день въ ловлѣ бабочекъ и собираніи насѣкомыхъ, Аксаковъ продолжаетъ: „на другой день поутру явился мы съ Панаевымъ въ университетъ, за полчаса до начала



лекцій, чтобы успѣть рассказать о своихъ пріобрѣтеніяхъ и чтобы узнать, удачна ли была ловля нашихъ соперниковъ: мы знали, что они также собирались идти за городъ. Признаться, мы думали похвастаться своею добычей и предполагали, что преимущество останется на нашей сторонѣ. Но только мы вошли въ дортуары, какъ нѣсколько человѣкъ студентовъ, принимавшихъ болѣе живое участіе въ предпріятіи Тимьянскаго и Кайсарова, встрѣтили насъ громкими восклицаніями: „Ну, господа, какихъ бабочекъ наловили Тимьянскій съ Кайсаровымъ, такъ это чудо! Вамъ ужъ этихъ не достать; и какую пропасть наловили всякихъ рѣдкихъ насѣкомыхъ! Они и теперь возятся съ ними наверху, въ аудиторіи Фукса; даже Кавалера Подалиріуса достали!“ Мы съ Панаевымъ были очень озадачены и смущены такимъ извѣстіемъ. Особенно Кавалеръ какъ громомъ поразилъ насъ. Тутъ узнали мы отъ своихъ словоохотливыхъ, товарищей, что вчера Тимьянскій и Кайсаровъ, вмѣстѣ еще съ тремя студентами, Поповымъ, Петровымъ и Кинтеромъ, уходили на цѣлый день за городъ къ Хижицамъ и Зилантову монастырю (верстахъ въ 4 или 5 отъ Казани), что они брали съ собой особый большой ящикъ, въ которомъ помѣщались доски для раскладыванія бабочекъ и сушки другихъ насѣкомыхъ, что всего они набрали штукъ 70. Мы поспѣшили на верхъ и тамъ своими глазами убѣдились, что торжество на сторонѣ нашихъ противниковъ. Они поймали по нѣскольку экземпляровъ всѣхъ бабочекъ, пойманныхъ вчера мною и Панаевымъ, кромѣ Барашковъ и Хмелевой ночной бабочки, да сверхъ того болѣе десяти неизвѣстныхъ намъ видовъ; но что всего важнѣе, они поймали Кавалера Подалиріуса. Когда я взглянулъ на него, во всей красѣ и величинѣ разложеннаго на доскѣ, со шпорами на заднихъ крыльяхъ, сердце у меня забилося отъ удовольствія и зависти... Тимьянскій видѣлъ наше смущеніе и съ торжествующею улыбкой сказалъ: „Вотъ, господа, я вамъ показываю всѣхъ нашихъ бабочекъ, покажите же и вы намъ своихъ“. Панаевъ отвѣчалъ, что экземпляровъ у насъ мало, слѣдовательно, показывать нечего, но что, пожалуйста, мы привеземъ завтра или послѣзавтра, когда бабочки всѣ высохнутъ, особенно одна очень толстая, Хмелевая бабочка. „Развѣ у васъ есть ночная Хмелевая? спросилъ Тимьянскій съ удивленіемъ:—вѣдь это рѣдкость“. Я отвѣ-



чалъ, что есть, что я нашелъ ее въ дуплѣ... Замѣтно было, что Тимьянскій въ свою очередь позавидовалъ Хмелевой бабочкѣ; это насъ утѣшило. Когда же мы вышли, то Панаевъ весело сказалъ мнѣ: „А видѣлъ ли ты, какъ нечисто, неопрятно разложены у нихъ всѣ бабочки? Вѣдь онѣ нашимъ въ слуги не годятся!“ Хотя я не обращалъ на это обстоятельство особеннаго вниманія, но тутъ припомнилъ, что Панаевъ совершенно правъ, и мы оба, успокоенные, бодро отправились слушать профессорскія лекціи“. И черезъ нѣсколько страницъ далѣе: „Спустя два дня повезли мы нашъ ящикъ, съ тридцатю пятью экземплярами бабочекъ, въ университетъ, на показъ своимъ товарищамъ. Въ одну минуту всѣ сошлись смотрѣть ихъ, и конечно, всякій видѣлъ превосходство нашего собранія относительно цѣлости, свѣжести и правильности раскладки нашихъ бабочекъ. Разумѣется, наружность бросилась въ глаза всѣмъ, но Тимьянскій очень хорошо видѣлъ, понималъ и цѣнилъ, такъ сказать, внутреннее достоинство нашего собранія... Онъ сдѣлалъ замѣчаніе, что бабочки слишкомъ вычурно разложены, какъ-то на показъ, и что имъ дано неестественное положеніе. Если въ послѣднемъ обвиненіи была своя доля правды, то это не наша вина; этотъ способъ былъ принятъ всѣми натуралистами. Я поспѣшилъ сказать о томъ въ наше оправданіе и прибавилъ въ оправданіе натуралистовъ, что денныя бабочки часто принимаютъ точно такое положеніе, въ какомъ раскладываются... Но Тимьянскій не соглашался и доказывалъ, что его способъ раскладыванія гораздо натуральнѣе; многіе приняли его сторону, многіе—нашу, изъ этого вышелъ споръ, и мы разстались съ своими соперниками, хотя безъ явнаго неудовольствія, но съ холодностію“. Нельзя не любоваться на эти горячіе споры и вмѣстѣ не видѣть, что увлеченіе носило далеко не мелко-дилетанскій характеръ. Увлеченіе опирается на весьма основательное знакомство съ предметомъ и серіозныя знанія. Припомните также, съ какою любовью и знаніемъ дѣла относятся эти юные собиратели къ своимъ коллекціямъ, съ какимъ трудолюбіемъ относятся къ дѣлу. Увлеченіе не ограничивается собираніемъ собственно однихъ только бабочекъ; собираются сотни разныхъ другихъ насекомыхъ... Будущій писатель въ своей квартиркѣ отводитъ цѣлую комнату, „совершенно отдѣльную, исключительно для помѣ-



щенія, на особыхъ столахъ, стеклянныхъ ящичковъ съ картонными крышками, картонныхъ коробокъ и даже большихъ стеклянныхъ банокъ, въ которыхъ должны были сидѣть разные черви и гусеницы, достаточно снабженные тѣми травами и растеніями, которыя служатъ имъ обыкновенною пищею“. Нельзя не подивиться этой любви, съ какой относятся къ своимъ коллекціямъ собиратели: „Каждый день по нѣскольку разъ наблюдалъ я, — замѣчаетъ будущій писатель, — за моими питомцами, и это доставляло мнѣ большое наслажденіе“.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, университетъ значительно подвинулъ общее литературное развитіе своего питомца, способствовалъ въ извѣстной степени формированію и выработкѣ его общаго міровоззрѣнія, полагая основаніе его будущимъ общественнымъ симпатіямъ и воззрѣніямъ. Несмотря на недостаточность и вообще слабость тогдашнихъ научныхъ силъ нашего университета, у него было могущественное средство, которымъ онъ больше всего могъ вліять на умственное развитіе своихъ питомцевъ: этимъ средствомъ была молодая, честная, увлекающаяся товарищеская среда... Въ этой молодежи было много свѣжаго и возбуждающаго. Въ этой средѣ, какъ мы видѣли, значительно развиты были и научные интересы: этой средѣ были присущи, въ весьма значительной степени, и интересы литературные и вообще умственные... Не говоримъ уже объ увлеченіяхъ театромъ, о горячихъ студенческихъ спорахъ по поводу игры артистовъ, о личномъ исполненіи и декламированіи студентами различныхъ ролей въ кругу товарищей, о спорахъ и хлопотахъ, ссорахъ и различныхъ юныхъ волненіяхъ по устройству спектаклей въ самомъ университетѣ и т. п.; не говоримъ и объ этомъ рукописномъ журналѣ, который издается однимъ изъ студентовъ еще съ гимназической скамьи, и участіе въ которомъ очень скоро, также еще съ гимназіи, начинаетъ принимать и нашъ будущій писатель, впервые дѣлая опыты собственнаго авторства... Не говоря о всемъ этомъ, — вся атмосфера студенческой жизни представляла собой много свѣжихъ и здоровыхъ соковъ для умственного и нравственнаго питанія. Сейчасъ мы приведемъ отзывъ самого нашего писателя объ этомъ времени его студенческой жизни; предварительно припомнимъ замѣчаніе другого тогдашняго студента Казанскаго университета, младшаго товарища Аксакова, Вл. Панаева; хотя отзывъ



этотъ и носить нѣсколько идиллическій характеръ, но подъ этою идилліей все же не могло не скрываться и фактическаго основанія: „Счастливо было это время моего пребыванія въ университетѣ, — воспоминаетъ онъ о кружкѣ своихъ ближайшихъ товарищей: — занятія науками, особливо исторіей и словесностью, и дружба самая нѣжная, самая возвышенная услаждали юные дни мои. Свободное время отъ уроковъ и забавъ посвящали мы сужденіямъ о предметахъ высокихъ или изящныхъ: подвиги героевъ, черты самоотверженія, торжество добродѣтели, творенія великихъ писателей и поэтовъ — вотъ что составляло преимущественно предметъ нашихъ разговоровъ, нашихъ помысленій, наполняло сердца наши и души; мы были самыми благородными, самыми честными молодыми людьми. и въ добавокъ — жаркіе патріоты, готовые положить жизнь на алтарь отечества...“ Панаевъ воспоминаетъ о томъ увлеченіи, которымъ тогда пользовался еще Державинъ въ средѣ студенческой молодежи. Для самого Панаева, это былъ какой-то кумиръ, но и всѣ товарищи Панаева словесники, „бредили Державинымъ“ и въ свободное время „на перебой“ читали его стихи... „Во всѣхъ углахъ, бывало, — воспоминаетъ Панаевъ, — раздаются: то ода *Богу*, то *На смерть Менцера*, *На взятіе Цамбала*, *На рожденіе на свѣтъ порфиророднаго отрока*, *Къ Фелицу*, *Къ богатому сосѣду*, *Вельможа*, *Водопадъ* и пр.“ Авторъ приведенныхъ воспоминаній, былъ студентомъ въ Казани въ 1807 — 1810 годахъ, значить, годами тремя позже Аксакова; но вотъ что рассказываетъ Аксаковъ о своихъ собственныхъ товарищахъ, — рассказъ его ярче всего рисуетъ передъ нами тѣ умственные интересы, которыми жила, которымъ отдавалась со свойственною юности страстью окружавшая нашего писателя студенческая молодежь. Приводимъ рассказъ цѣлкомъ: „Въ 1806 году, — рассказываетъ Аксаковъ, — я былъ своекоштнымъ студентомъ Казанскаго университета. Мнѣ только что исполнилось пятнадцать лѣтъ. Несмотря на такую раннюю молодость, у меня были самостоятельныя и, надо сознаться, довольно дикія убѣжденія; напр., я не любилъ *Карамзина* и, съ дерзостью самонадѣяннаго мальчугана, смѣялся надъ сло-гомъ и содержаніемъ его мелкихъ прозаическихъ сочиненій! Это такъ неестественно, что и теперь осталось для меня загадкой. Я не могъ понять сознательно недостатковъ Ка-



рамзина... *Понятія мои путались, и я, браня прозу Карамзина, былъ въ восторгъ отъ его плохихъ стиховъ, отъ Прощанія Гектора съ Андромахой и отъ Опытной Соломоновой мудрости. Я терпѣлъ жестокія зоченія отъ товарищей, которые все были безусловными поклонниками и обожателями Карамзина.* Въ одно прекрасное утро, предъ началомъ лекцій (т.-е. до восьми часовъ), входилъ я въ спальныя комнаты казенныхъ студентовъ. Вдругъ поднялся шумъ и крикъ: „Вотъ онъ, вотъ онъ!“ И толпа студентовъ окружила меня. Всѣ въ одинъ голосъ осыпали меня насмѣшливыми поздравленіями, что „нашелся еще такой же уродъ, какъ я, и профессоръ Городчаниновъ, лишенный отъ природы вкуса и чувства къ прекрасному, который ненавидитъ Карамзина и ругаетъ эпоху, произведенную имъ въ литературу, закосяблѣый славянороссъ, старовѣръ и гасильникъ, который осмѣлился напечатать свои старозавѣтныя остроты, и надъ кѣмъ же? надъ Карамзинымъ, надъ этимъ гениемъ, который пробудилъ къ жизни нашу тяжелую, сонную словесность!...“ Народъ былъ молодой, горячій, и почти каждый выше и старше меня: одинъ обвинялъ, другой упрекалъ, третій возражалъ, какъ будто на мои слова, прибавляя: „А, ты теперь думаешь, что ужъ твоя взяла!“ или: „А, ты теперь, пожалуй, скажешь: вотъ вамъ доказательство!“ и пр. и пр. Изумленный и даже почти испуганный, я не говорилъ ни слова, и несмотря на то, *чуть-чуть не побили меня за дерзкія рѣчи.* Я не скоро могъ добиться, въ чемъ состояло дѣло. Наконецъ, загадка объяснилась: наканунѣ вечеромъ одинъ изъ студентовъ получилъ книгу Шишкова: *Разсужденіе о старомъ и новомъ слоѣ*, которую читали вслухъ напролетъ всю ночь, и только что кончили, и которая привела молодежь въ бѣшенство. Вспомнили сейчасъ обо мнѣ, вообразили, какъ я этому обрадуюсь, какъ подниму носъ, — и весь гнѣвъ съ Шишкова упалъ на меня. Среди крика и шума, по счастью, раздался звонокъ, и всѣ заспѣшили на лекцію, откуда я ушелъ домой обѣдать. Послѣ обѣда я прошелъ прямо въ аудиторію, а въ шесть часовъ вечера, не заходя къ студентамъ, что прежде всегда дѣлалъ, отправился домой. Въ продолженіе сутокъ буря утихла, и на другой день никто не нападалъ на меня серьезно. Я выпросилъ почитать книгу Шишкова у счастливаго ея обладателя; и че-



резъ мѣсяцъ выписалъ ее изъ Москвы, а также „*Прибавленіе къ разсужденію о старомъ и новомъ слоѣ*“. Эти книги совершенно свели меня съ ума. И всякому человѣку, в пятнадцатилѣтнему юношѣ пріятно увидѣть подтвержденіе собственныхъ мнѣній, которыя до тѣхъ поръ никѣмъ не уважались, надъ которыми смѣялись всѣ, в которыя часто поддерживалъ онъ самъ уже *изъ одного упрямства*: точно въ такомъ положеніи находился я. Можно себѣ представить, какъ я обрадовался книгѣ Шишкова, человѣка уже не молодого, достопочтеннаго адмирала, извѣстнаго писателя по ученой морской части, сочинителя и переводчика „Дѣтской Библіотеки“, которую я еще въ ребячествѣ вытвердилъ наизусть! Разумѣется, я призналъ его неопровержимымъ авторитетомъ, мудрѣйшимъ и ученѣйшимъ изъ людей! Я *увѣровалъ въ каждое слово его книги, какъ въ святыню!*... Русское мое направленіе и враждебность ко всему иностранному укрѣпились сознательно, и теплое чувство національности выросло до исключительности. Я не смѣлъ обнаружить ихъ вполнѣ, встрѣчая во всѣхъ товарищахъ упорное противодѣйствіе, и долженъ былъ хранить мои убѣжденія въ глубинѣ души, отчего они въ тишинѣ и покоѣ достигли огромныхъ и *неправильныхъ* размѣровъ. Такъ шло все время до моего отъѣзда изъ Казани“...

Приведенный фактъ въ высшей степени важенъ и въ общемъ, историко-литературномъ отношеніи, и въ частности, въ личной біографіи нашего писателя. Замѣтимъ предварительно, что эти горячія столкновенія и споры, принимавшіе такой страстный характеръ вслѣдствіе самой юности спорившихъ (Аксакову, напримѣръ, въ это время было всего пятнадцать лѣтъ), и сами по себѣ имѣли могучую, развивающую силу, и вообще могли много способствовать общему духовному развитію. Они не могли не дѣйствовать возбуждающе, и въ этомъ уже одномъ могло заключаться весьма существенное значеніе для будущаго писателя этой окружавшей его студенческой среды. Но тутъ была и другая, еще болѣе важная сторона. Это всеобщее и страстное увлеченіе Карамзиннымъ чрезвычайно много говоритъ въ пользу самаго умственного развитія всей этой студенческой молодежи, а вмѣстѣ и той умственной атмосферы, которая окружала нашего писателя. Припомнимъ, что литературныя реформы Карамзина въ то время далеко еще не были дѣломъ обще-



признаннымъ, это было нововведеніе, которому только немногіе открыто и прямо сочувствовали; большинство же смотрѣло недовѣрчиво и сторонилось... Сочувствіе себѣ Карамзинъ преимущественно встрѣчалъ въ Москвѣ; въ Петербургѣ его было меньше. „Въ то время, какъ въ Москвѣ, — говорятъ одинъ изъ историковъ нашей литературы этого времени, — Карамзинъ, давая свободу и живость своей литературной рѣчи, вмѣстѣ съ тѣмъ увлекалъ читателей гуманною чувствительностью своихъ разсказовъ, какъ Дмитріевъ, остроумно осмѣявъ тяжелую напыщенность прежняго стихотворства, старался сообщить легкость и плавность русскому стиху, — въ Петербургѣ продолжали усердно сочинять по старымъ образцамъ высокопарныя оды, плаксивыя элегіи и холодныя сатиры. При отсутствіи здѣсь свѣжихъ дарованій, при полномъ почти незнакомствѣ съ новыми явленіями иностранной словесности, интересы литературные сосредоточивались преимущественно на вопросахъ языка, слога и литературной формы, да и въ этой области свободное творчество почти всегда могло столкнуться съ требованіями педантической рутины“... Сочувствіе карамзинской реформы въ Петербургѣ „съ трудомъ прокладывало себѣ путь въ общество. Тотъ же самый *Сѣверный Вѣстникъ*, который въ началѣ 1804 года напечаталъ статью противъ Шишкова за Карамзина, уже во второй половинѣ того же года принужденъ былъ помѣстить на своихъ страницахъ насмѣшливые отзывы объ авторѣ „Бѣдной Лизы“... Характернымъ является и слѣдующій фактъ. Въ 1806 году Яковкинъ доноситъ изъ Казани попечителю Румовскому о желаніи одного изъ студентовъ, нѣкоего В. Перевощикова (впослѣдствіи бывшаго профессоромъ русской словесности въ Казанскомъ университетѣ), приступить къ переводу извлеченій изъ книги Баттё, съ прибавленіемъ къ переводу „нужнѣйшаго и о россійской словесности“; Яковкинъ просилъ у попечителя разрѣшенія на такой переводъ. Румовскій, одобряя намѣреніе студента, въ отвѣтъ пишетъ Яковкину: „Я позволяю, чтобы онъ (Перевощиковъ) занялся переводомъ сей книги, только желательно бы для меня было, чтобы примѣры изъ россійскихъ писателей, которые прибавлять онъ намѣренъ, старался паче заимствовать изъ лучшихъ нашихъ писателей, какъ-то: изъ Ломоносова, Сумарокова, Хераскова и проч., а не изъ ны-



иѣшнихъ сочинителей *Аллай*... Между тѣмъ академикъ Румовскій былъ однимъ изъ просвѣщенѣйшихъ людей того времени... Въ виду сказаннаго, намъ болѣе понятно и недовѣрчивое отношеніе къ Карамзину воспитателя Аксакова, Карташевскаго. Аксаковъ въ приведенномъ отрывкѣ замѣчаетъ: „Мои понятія путались, и я, браня прозу Карамзина, былъ въ восторгѣ отъ его плохихъ стиховъ“... Эта спутанность понятій, кажется, была прямымъ результатомъ вліянія на него его воспитателя. И у воспитателя, какъ и у воспитанника, въ данномъ случаѣ, понятія путались. И замѣтимъ, эта спутанность взглядовъ на Карамзина была тогда едва ли не самой распространенною: рядомъ съ нею шли или безусловное поклоненіе, или столь же безусловная брань... Карташевскій былъ однимъ изъ наиболѣе образованныхъ людей того времени, и взгляды его не могли быть и, дѣйствительно, далеко не были исключеніемъ. Мнѣнія о Карамзинѣ путались во всей тогдашней нашей литературѣ, путались во всемъ тогдашнемъ русскомъ обществѣ... Казанскіе студенты, товарищи Аксакова, были, вѣроятно, тогда самыми горячими поклонниками Карамзина во всей Казани. И вообще, эти карамзинскія увлеченія казанскихъ студентовъ далеко не были явленіемъ обычнымъ, эти увлеченія на первый взглядъ могутъ показаться даже необъяснимыми, загадочными. Но, очевидно, въ Казанскомъ университетѣ, рядомъ съ „чиновникомъ россійской словесности“, Городчаниновымъ, была какая-то другая рука, направлявшая молодыя студенческія головы въ другую сторону, какая-то другая могущественная сила, питавшая студентовъ болѣе свѣжею и здоровою пищей... Едва ли этой силой не былъ Ибрагимовъ. Гимназія въ то время помѣщалась въ тѣхъ же стѣнахъ, гдѣ былъ и университетъ: послѣдній представлялся даже чѣмъ-то неотдѣлимымъ отъ гимназіи; гимназисты жили сообща со студентами; многіе изъ послѣднихъ, слушая университетскія лекціи, въ то же время продолжали посѣщать и гимназическіе уроки. При такихъ условіяхъ Ибрагимовъ имѣлъ полную возможность быть близко къ студентамъ и вліять на ихъ увлеченія... Мы уже говорили, что Ибрагимовъ былъ однимъ изъ страстныхъ поклонниковъ Карамзина; въ увлеченіи этомъ его укорялъ и Карташевскій... Ибрагимовъ же, во главѣ нѣсколькихъ студентовъ, явился потомъ и главнымъ инициаторомъ устройства при



университетъ особаго „Общества любителей російской словесности“, членомъ котораго на самыхъ первыхъ порахъ дѣлается и студентъ Аксаковъ... Какъ бы то ни было, въ виду указаннаго еще довольно замѣтнаго противодѣйствія или, по крайней мѣрѣ, недовѣрія и въ обществѣ и въ литературѣ къ карамзинскимъ стремленіямъ, поклоненіе Карамзину, его обожаніе со стороны казанскихъ студентовъ, повторяемъ, говорятъ чрезвычайно много въ ихъ пользу, въ пользу степени развитія въ нихъ умственныхъ интересовъ и литературнаго вкуса, въ пользу той среды, въ которой они жили, которая окружала и Аксакова. Эта молодая, горячая среда, такъ беззавѣтно увлекающаяся Карамзинымъ и готовая такъ энергично защищать его идеи, не могла не быть могучею образовательною силой, не могла не дѣйствовать и на будущаго нашего писателя. Правда, онъ борется съ этимъ всеобщимъ увлеченіемъ, противостоитъ ему, но противостоитъ, какъ и самъ откровенно замѣчаетъ, „иногда и изъ одного упрямства“...

Стихи Карамзина и ему самому очень нравились... Упрямство, въ свою очередь, значительно поддерживалось, конечно, и взглядами руководителя, Карташевскаго... Книга Шишкова, подъ конецъ пересилила все, но раньше, до чтенія этой книги, атмосфера свѣжаго воздуха не могла не дѣйствовать; тѣмъ болѣе что въ это болѣе раннее время, какъ замѣчаетъ самъ Аксаковъ, его „понятія путались“... Едва ли поэтому, уже не здѣсь, въ этой молодой средѣ, скрывались тѣ явленія, которыя впоследствии помогали Аксакову, при всемъ его литературномъ консерватизмѣ, замѣчать слабыя стороны въ сомнительно-великихъ произведеніяхъ тѣхъ сомнительныхъ знаменитостей, въ родѣ Шатрова, Хвостова, Николева, которыми такъ восхищались передъ будущимъ писателемъ и Шишковъ и другіе его петербургскіе друзья... Едва ли уже не здѣсь въ этихъ горячихъ студенческихъ спорахъ, не были заложены въ будущемъ знаменитомъ писателѣ, незамѣтно для него и помимо его самого, задатки чего-то другого, лучшаго, задатки тѣхъ неясныхъ литературныхъ стремленій, которыя заставляли его нерѣдко какъ бы инстинктивно не удовлетворяться и порицаніями и восторгами Шишкова, зародыши тѣхъ стремленій, которыя влекли его на свѣжую дорогу, которыя помогли ему въ концѣ-концовъ осплечь всѣ ложно-



классическія путы, такъ долго по волѣ судьбы окружавшія его умственно, и сдѣлалъ Аксакова великимъ писателемъ...

Во всякомъ случаѣ, самъ писатель считалъ себя весьма многимъ обязаннымъ своему, хотя и краткому, пребыванію въ университетѣ, и придавалъ весьма большое значеніе своей студенческой жизни, не въ смыслѣ пріобрѣтенія здѣсь какихъ-либо спеціальныхъ знаній, а въ смыслѣ общаго своего духовнаго развитія и облагороженія... Съ самыми искренними и теплыми симпатіями вспоминаетъ писатель объ этомъ раннемъ періодѣ своей жизни. „Тутъ было, — говоритъ онъ, — много добрыхъ, благотворныхъ началъ, прочно подвигавшихъ на пути образованности искренно желавшихъ учиться; немного было пріобрѣтено свѣдѣній научныхъ, но зато они вошли въ плоть и кровь учащихся, вполне были усвоены ими и способствовали самобытному развитію молодыхъ умственныхъ силъ“... Какъ ни мало, можетъ-быть, сдѣлалъ университетъ въ научномъ отношеніи для будущаго великаго писателя, университетъ бесспорно былъ для него могучею образовательною и развивающею силой! И благодарный писатель не забылъ этого... Какъ много въ исторіи своего общаго духовнаго развитія приписывалъ онъ университету, сколь многимъ чувствовалъ себя ему обязаннымъ, показываетъ его горячее, восторженное обращеніе къ порѣ его студенческой жизни, которымъ онъ заканчиваетъ свои мемуары этого періода. Прощаясь съ ней въ своихъ воспоминаніяхъ, писатель привѣтствуетъ ее, какъ лучшую, наиболѣе высокую и чистую пору своей жизни: „Прощай, шумная, молодая, учебная жизнь!... Прощайте, первые невозвратные годы юности, пылкой, ошибочной, неразумной, но чистой и благородной! Ни свѣтъ ни домашняя жизнь со всѣми ихъ дрянностями еще не помрачили вашей ясности! Стѣны гимназій и университета, товарищи, — вотъ что составляло полный міръ для меня. Тамъ разрѣшались молодые вопросы, тамъ удовлетворялись стремленія и чувства! Тамъ былъ судъ, осужденіе, оправданіе и торжество! Тамъ царствовало полное презрѣніе ко всему низкому и подлому, ко всѣмъ своекорыстнымъ расчетамъ и выгодамъ, ко всей житейской мудрости, и глубокое уваженіе ко всему честному и высокому, хотя бы и безразсудному. Память такихъ годовъ неразлучно живетъ съ человекомъ и непримѣтно для него освѣщаетъ и направляетъ его



шаги въ продолженіе цѣлой жизни, и куда бы его ни затащили обстоятельства, какъ бы ни втоптали въ грязь и тину, она выводитъ его на честную, прямую дорогу! Я, по крайней мѣрѣ, за все, что сохранилось во мнѣ добраго, считаю себя обязаннымъ гимназіи, университету, общественному ученію и тому живому началу, которое вынесъ я оттуда...

*Архангельскій.*

При поступленіи въ университетъ Аксаковъ сдѣлался ревностнымъ посѣтителемъ казанскаго театра, гдѣ удалось ему увидѣть и игру славнаго Плавильщикова. Вскорѣ въ университетъ устроилась труппа изъ студентовъ, и Аксаковъ являлся на сценѣ въ первыхъ роляхъ, особенно въ пьесахъ Коцебу. Успѣхи его въ игрѣ и декламации были блистательны, и онъ уже въ зрѣлыхъ лѣтахъ оставался долго однимъ изъ лучшихъ актеровъ домашнихъ спектаклей въ Петербургѣ и Москвѣ. Онъ былъ также превосходный чтецъ, и до самой старости сохранялъ это искусство, которое усовершенствовалъ въ себѣ смолodu. Въ то же время начались литературныя занятія Аксакова. Въ числѣ его товарищей по гимназіи было нѣсколько человекъ, составившихъ родъ литературнаго общества, къ которому принадлежалъ и Аксаковъ. Это были: Панаевы, Княжевичи, Алехинъ, Оминъ, Перевощиковъ и др. Эти молодые люди были послѣдователями сентиментальнаго направленія школы Карамзина и издавали рукописный журналъ „Аркадскіе пастушки“. Сотрудники подписывали свои статьи пдлическими псевдонимами Амита, Дамона, Дафниса и пр. Аксаковъ началъ заниматься стихотворствомъ съ 1805 г. и дебютировалъ въ кругу своихъ товарищей пьесою „Къ соловью“, которая была не что иное, какъ риторическое упражненіе на тему о жестокой красавицѣ, впрочемъ, существовавшей только въ воображеніи молодого стихотворца. Въ 1806 г. Аксаковъ и А. Панаевъ издавали рукописный „Журналъ нашихъ занятій“. И при самомъ началѣ своего авторскаго поприща, шестнадцати лѣтъ Аксаковъ выказывалъ уже рѣдкую самостоятельность мѣній, совершенно независимыхъ отъ общаго направленія его друзей. Это было какъ бы первымъ проявленіемъ той оригинальности, которою онъ отличался впослѣдствіи и которая поставила его въ лите-

ратурѣ нашей какъ бы особнякомъ. Въ то время, когда его товарищи увлекались слезливымъ и мечтательнымъ тономъ произведеній неудачныхъ послѣдователей Карамзина, Аксаковъ одинъ инстинктивно чувствовалъ приторность такого направленія. Въ 1805 г. до казанскихъ студентовъ дошла вышедшая еще въ 1803 г. книга Шишкова, „Разсужденіе о старомъ и новомъ слогѣ“, направленная противъ языка Карамзина и его школы. Она произвела негодованіе въ молодыхъ студентахъ, но Аксаковъ обрадовался ей. Онъ изучалъ ее, несмотря на насмѣшки своихъ друзей; гордился тѣмъ, что имѣетъ за себя авторитетъ Шишкова, и, не зная его лично, уже почувствовалъ къ нему глубокое уваженіе, какъ къ великому писателю и знатоку языка, какимъ онъ казался ему въ то время. Въ мартѣ 1807 г. Аксаковъ вышелъ изъ университета и получилъ аттестатъ, въ которомъ, по словамъ его, были прописаны успѣхи его даже въ такихъ наукахъ, какія онъ зналъ только по наслышкѣ. *Лончиновъ.*

---

### Литературныя и театральныя знакомства Аксакова.

Въ концѣ 1807 г. Аксаковъ переѣхалъ съ семействомъ въ Москву. Онъ болѣе всего занимался тогда театромъ, на которомъ отличался Плавильщиковъ. Весною 1808 г. семейство Аксаковыхъ пріѣхало въ Петербургъ и, уѣзжая оттуда черезъ два мѣсяца, оставило его уже на службѣ переводчикомъ комиссіи составленія законовъ. Первые знакомства Аксакова въ Петербургѣ были слѣдующія. Старинный пріятель его семейства, В. В. Романовскій, былъ другомъ извѣстнаго Лабзина, главы петербургскихъ мартинистовъ, которыхъ ученіе тогда было очень распространено. Послѣдователи его составляли тѣсный союзъ, въ которомъ развился духъ жестокой нетерпимости, доходившей почти до фанатизма; Лабзинъ и Романовскій были въ немъ совершенными деспотами. Рабство къ нимъ прочихъ адептовъ не имѣло границъ и доходило до того, что они иногда должны были подавлять въ себѣ самыя естественныя и заветныя чувства, чтобы не нарушить расположенія духа своихъ наставниковъ. Разу-



мѣется, изъ Аксакова думали сдѣлать прозелита этой секты, но его здравый умъ и прямой, открытый нравъ возмутились отъ такихъ неестественныхъ и унижительныхъ отношеній между петербургскими мартинистами. Онъ отдѣливался отъ ихъ предложеній и забавлялся, дѣлая ихъ иногда жертвами забавныхъ мистификацій. Аксаковъ сталъ рѣже посѣщать честнаго, но фанатическаго Романовскаго и бывалъ чаще у крестнаго своего отца, извѣстнаго Д. Б. Мертваго и у А. С. Шишкова, у котораго сдѣлался вскорѣ домашнимъ человекомъ. Онъ узналъ, наконецъ, того, который еще въ Казани казался ему гениемъ, и не разочаровался сначала ни въ его литературной непогрѣшимости, которая только послѣ оказалась ему сомнительною, ни въ высокихъ его нравственныхъ качествахъ, которыя глубоко уважалъ и впоследствии. Шишковъ любилъ Аксакова, какъ сына, и безпрестанно читалъ съ нимъ Ломоносова и другихъ своихъ любимыхъ авторовъ, которыхъ сочиненія такъ искусно декламировалъ его молодой другъ. Въ домѣ Шишкова Аксаковъ видѣлъ Мордвинова, Кутузова, Дмитріева, Шаховскаго, Шихматова, Висковатаго и пр. Посѣщая безпрестанно Шишкова, Аксаковъ увлекся направлениемъ, господствовавшимъ между его друзьями, которые, по своему тогдашнему славянофильскому предубѣжденію, восхищались, напр., стихами Шихматова и считали „Дмитрія Донскаго“ Озерова чуть не святотатствомъ. Однако, здравый вкусъ молодого Аксакова удерживалъ его отъ слишкомъ рѣзкихъ односторонностей. Время и опытъ излѣчили его впоследствии отъ всякихъ пристрастій. Страсть къ театру и къ декламации заставила Аксакова сблизиться съ извѣстнымъ актеромъ Шушерпинымъ, жившимъ тогда въ Петербургѣ на покой. Шушерпинъ пристрастился къ молодому человеку и почти каждый день бесѣдовалъ съ нимъ о драматическомъ искусствѣ. Пользуясь совѣтами его, Аксаковъ болѣе и болѣе совершенствовалъ свою игру на домашнихъ театрахъ у Шишковыхъ и др. У Шушерпина узналъ онъ актеровъ: старика Шумскаго и Яковлева и драматическихъ писателей: Ильина, Гнѣдича, Языкова и др. Въ началѣ 1812 г. въ Москвѣ, Аксаковъ сталъ переводить для Шушерпина стихами Лагарпову трагедію „Филоктетъ“, напечатанную уже впоследствии (1816 г.). Въ это же время познакомился онъ съ московскими литераторами: Кокошкинымъ, Ивановымъ,

Мерзляковымъ, Каченовскимъ, Глинкой, Шатровымъ, Вельяшевымъ-Волынцевымъ, Николевымъ и др., и окончательно вступилъ въ литературный міръ. Время нашествія Наполеона и слѣдующіе два года Аксаковъ провелъ въ деревнѣ. Въ 1814 г. онъ побывалъ въ Петербургѣ и въ концѣ 1815 г. пріѣхалъ въ Москву, откуда опять ѣздилъ въ Петербургъ. Тогда-то познакомился онъ съ Державинымъ, который чрезвычайно полюбилъ его за мастерское чтеніе своихъ одъ, и узналъ Загоскина, съ которымъ впослѣдствіи былъ истинно друженъ. Въ 1816 г. Аксаковъ женился на Ольгѣ Семеновнѣ Заплатиной и потомъ прожилъ въ деревнѣ до августа 1820 г. Пріѣхавъ въ это время въ Москву, Аксаковъ еще ближе сошелся съ литературнымъ и театральнымъ міромъ. Онъ напечаталъ переводъ 10-й сатиры Буало (1821 г.) и былъ выбранъ въ члены московскаго общества любителей россійской словесности. Къ этому же времени относятся его лучшіе сценическіе успѣхи на домашнихъ театрахъ Кокошкина и князя И. М. Долгорукова. Кромѣ того, Аксаковъ помѣщалъ стихи и разныя статьи въ „Вѣстникъ Европы“. Въ августѣ 1821 г. онъ опять уѣхалъ въ Оренбургскую губернію и возвратился въ Москву не ранѣе сентября 1826 г. Занимаясь въ деревнѣ хозяйствомъ и охотою, Аксаковъ не забывалъ литературы: переводилъ Буало и французскихъ трагиковъ и велъ переписку съ молодымъ поэтомъ Писаревымъ, съ которымъ близко сошелся еще въ Москвѣ. Въ 1826 г. Аксаковъ нашелъ въ Москвѣ многихъ друзей своихъ. Кокошкинъ былъ директоромъ театра, при которомъ служили также Загоскинъ, Писаревъ, А. Н. Верстовскій. Этотъ кружокъ, къ которому принадлежали также М. А. Дмитріевъ и кн. Шаховской, переселившійся въ Москву, составлялъ общество Аксакова. Въ 1827 г. онъ былъ опредѣленъ въ цензора и занималъ эту должность до 1833 г. Въ теченіе этого времени онъ перевелъ „Скупого“ и „Школу мужей“, комедіи Мольера (переводъ не былъ напечатанъ, но пьесы играны на сценѣ), помѣщалъ разныя статьи, особенно о московскомъ театрѣ въ „Московскомъ Вѣстникѣ“ Погодина, „Атенеѣ“ Павлова, „Галатеѣ“ Ранча, „Молвѣ“ Надеждина, которою и завѣдывалъ въ теченіе 1832 г., и участвовалъ въ „Трудахъ общества любителей россійской словесности“. Дружба его съ названными выше писателями, которые были во враждебныхъ отношеніяхъ къ „Московскому



Телеграфу“, поставили его въ непріязненные столкновенія съ Полевымъ, неутомимымъ въ нападкахъ на Аксакова и его друзей. Въ 1834 г. Аксаковъ былъ сдѣланъ инспекторомъ межевого училища. Заведеніе это было совершенно преобразовано и названо „Константиновскимъ межевымъ институтомъ“. Аксаковъ, подъ главнымъ вѣдѣніемъ котораго было произведено это преобразование, стоявшее ему много трудовъ, былъ назначенъ инспекторомъ института. Заботливость его о заведеніи была такъ велика, что здоровье его оттого въ потерпѣло и, по просьбѣ своего семейства, онъ вышелъ въ отставку въ началѣ 1839 г. Аксаковъ ѣздилъ въ деревню нѣсколько разъ для свиданія съ родителями, умершими въ преклонной старости. Его мать прожила до 1833 г., а отецъ до 1837 г. До сихъ поръ жизнь Аксакова не представляетъ еще тѣхъ явленій, которыя ознаменовали его дальнѣйшее поприще. Онъ пріобрѣлъ издавна любовь и уваженіе знавшихъ его, какъ честиѣйшій и добрѣйшій изъ людей, примѣрный семьянинъ, вѣрный другъ; его знали за любителя литературы, знатока сценическаго искусства; его мнѣніями дорожили, и самъ Пушкинъ признавалъ справедливыми отзывы Аксакова о своихъ произведеніяхъ. Но журнальныя статьи, переводы французскихъ классиковъ и пр. не обличили его истиннаго дарованія и призванія. Сила этого авторскаго дарованія какъ бы дремала, не попавъ на настоящую дорогу. Таланту Аксакова суждено было высказаться, когда онъ былъ въ лѣтахъ зрѣлыхъ, и этимъ счастливымъ обстоятельствомъ онъ не мало обязанъ Гоголю. Аксаковъ познакомился съ Гоголемъ въ то время, когда большинство нашихъ журналистовъ и вообще литераторовъ враждебно или, по крайней мѣрѣ, недовѣрчиво и безпокойно смотрѣло на этотъ новый талантъ, заговорившій языкомъ еще неслыханнымъ и образами, еще небывалыми въ нашей литературѣ. Аксаковъ, съ своимъ сочувствіемъ къ природѣ и тонкимъ эстетическимъ чувствомъ, принадлежалъ къ небольшому еще числу сторонниковъ Гоголя, восхищавшагося его поэтическими произведеніями. Когда Гоголь выступилъ на новое поприще, воспроизводя и осмѣивая современные нравы, число его враговъ увеличилось, особенно при появленіи „Ревизора“. Когда дѣло шло о постановкѣ „Ревизора“ на московской сценѣ, Аксаковъ предложилъ автору, бывшему въ Петербургѣ, свои услуги и опытность по этому

дѣлу. Съ этихъ поръ завязались дружескія отношенія Гоголя и Аксакова, котораго авторъ „Ревизора“ горячо любилъ, такъ же какъ и все семейство Аксаковыхъ. Во время своихъ безчисленныхъ переѣздовъ въ Россіи и за границей, Гоголь былъ въ постоянной перепискѣ съ Аксаковымъ, и письма его исполнены самыхъ дружескихъ изліяній и нѣжной заботливости о далекомъ другѣ и его семействѣ. Въ это время Аксаковъ сталъ испытывать свои силы въ новомъ для него родѣ. Онъ вздумалъ сосредоточить свою творческую дѣятельность на изображеніи картинъ природы степного края, который изучилъ, близко странствуя по его обширнымъ пространствамъ и охотясь съ ружьемъ или удочкой за безчисленнымъ населеніемъ его степей, лѣсовъ и водъ. Первый опытъ Аксакова въ этомъ родѣ „Буранъ“ относится еще къ 1834 г. Но воспроизведеніе картинъ природы, создаваемыхъ не одною силою творчества, но и пережитыхъ, такъ сказать, художникомъ, естественно влекло его къ воспоминанію тѣхъ обстоятельствъ, которыя сопровождали знакомство съ ними. Въ памяти автора возставала вся обстановка его дѣтства, юношества: люди, его окружавшіе, съ ихъ правами, характерами, преданіями, разсказами о быломъ и т. д. Природа, и безъ того оживленная чувствомъ поэта, выикавшего съ такою любовью въ ея тайны и красоты, оживлялась еще болѣе присутствіемъ среди ея человека съ его дѣятельностью, страстями. Можетъ-быть, такимъ путемъ создалась „Семейная хроника“, которой отрывки Аксаковъ читалъ Гоголю, кажется, еще въ 1840 г. Но первый отрывокъ изъ нея появился въ печати только въ 1840 г. въ „Московскомъ Сборникѣ“ безъ имени автора. Съ этого времени начинается настоящее литературное поприще Аксакова, которому тогда было уже 55 лѣтъ. Въ 1847 г. вышли „Записки объ уженъѣ рыбы“ (2-е изд. 1854 г., 3-е 1856 г.); въ 1852 г. — „Записки ружейнаго охотника Оренбургской губерніи“ (2-е изд. 1852 г., 3-е 1857 г.); въ 1855 г. — „Разказы и воспоминанія охотника“ (2-е изд. 1856 г.); въ 1856 г. — „Семейная хроника и „Воспоминанія“ (2-е изд. въ томъ же году); въ 1858 г. — „Дѣтскіе годы Багрова-внука“ и „Разныя сочиненія“, гдѣ собраны были статьи, напечатанныя имъ въ „Русской Бесѣдѣ“ и другихъ изданіяхъ. Особый успѣхъ имѣла въ публикѣ „Семейная хроника“. Личныя отношенія,



духъ партій — все смолкло при появленіи этого превосходнаго произведенія, и всѣ голоса слились въ одинъ общій, искренній гулъ похвалъ. Аксаковъ пріобрѣлъ уже почетное мѣсто въ литературѣ своими сочиненіями объ охотахъ всякаго рода. Прелесть разсказа, удивительный по живописности и оригинальности языкъ, глубокое пониманіе природы дѣлали эти произведенія обаятельными не для однихъ охотниковъ, но и для всякаго читателя, одареннаго чувствомъ изящнаго. Но „Семейная хроника“ прежде поставила Аксакова на степень первокласснаго писателя. Этому успѣху особенно способствовалъ новый элементъ, внесенный авторомъ въ свое произведеніе. Въстѣ съ мастерскими картинами, которыя достигли въ „Хроникѣ“ высшей степени совершенства, въ ней увидѣли поразительное истинною и художественностью изображеніе характеровъ изъ стараго русскаго быта. Ясно было, что канва разсказовъ — была, что все это не могло иначе быть, но интересъ любопытныхъ мемуаровъ поглощался истинно-поэтическимъ воспроизведеніемъ лицъ и событій: въ подробностяхъ о нихъ невозможно было провести черту между тѣмъ, что дѣйствительно и что принадлежитъ творчеству поэта. „Хроника“ останется всегда однимъ изъ замѣчательныхъ произведеній русской литературы. Дальнѣйшія сочиненія Аксакова были имъ написаны, какъ сказано, въ послѣдніе четыре года его жизни. Его „Литературныя и театральныя воспоминанія“ представляютъ, кромѣ того, важный матеріалъ для исторіи литературы. Послѣдніе годы своей жизни Аксаковъ провелъ въ Москвѣ и подмосковной деревнѣ Абрамцовѣ, за исключеніемъ поѣздки въ Оренбургскую губернію въ 1851 г. и нѣкоторыхъ разъѣздовъ въ Петербургъ и пр. Домъ его былъ однимъ изъ пріятнѣйшихъ въ Москвѣ. Нравственное вліяніе Аксакова было ощутительно не въ одномъ его семействѣ. Прямѣрный супругъ, отецъ, братъ, онъ былъ и образцомъ друзей, къ которому смѣло шли за совѣтомъ и помощью его многочисленные друзья. Онъ умѣлъ съ перваго раза пріобрѣтать любовь и довѣріе всякаго и никому не отказывалъ въ своемъ содѣйствіи или участіи, а напротивъ, самъ вызывался на услуги. Это была душа чистая, исполненная христіанскихъ чувствъ, и, въ то же время, умъ свѣтлый, прямой, соединенный съ характеромъ откровеннымъ, возвышеннымъ, энергическимъ. Онъ сохранялъ до глубокой ста-

рости, среди тяжелых недуговъ, участіе ко всему прекрасному и силу воли вмѣстѣ съ какою-то младенческою ясностью души. Писатели и ученые оказывали особое уваженіе Аксакову. Въ этотъ послѣдній періодъ своей жизни, кромѣ упомянутыхъ книгъ, Аксаковъ написалъ нѣсколько статей, помѣщенныхъ въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“, „Москвитинѣ“, „Московскомъ Сборникѣ“, „Русскомъ Вѣстникѣ“, „Молвѣ“ и „Русской Бесѣдѣ“. Аксаковъ отличался силою и крѣпостью тѣлосложенія, чему не мало способствовали частыя прогулки и занятіе охотою. Но здоровье его начало страдать еще лѣтъ за двѣнадцать до кончины. Болѣзнь глазъ принудила его надолго запереться въ темной комнатѣ, и непріученный къ сидячей жизни, Аксаковъ разстроилъ отчасти свой организмъ, лишись притомъ одного глаза. Бодрость, впрочемъ, никогда не покидала его, даже въ послѣдніе годы жизни, когда болѣзнь его развивалась болѣе и болѣе и заставляла его почти постоянно сидѣть въ четырехъ стѣнахъ. Онъ былъ живъ и впечатлителенъ попрежнему; ясность духа его была невозмутима. Весною 1858 г. болѣзнь Аксакова приняла весьма опасный характеръ и стала причинять ему жесточайшія страданія; но онъ переносилъ ихъ съ чрезвычайною энергіею и терпѣніемъ. Послѣднее лѣто провелъ онъ на дачѣ близъ Москвы и, несмотря на тяжелую болѣзнь, имѣлъ силу въ рѣдкія минуты облегченія наслаждаться природою и диктовать новыя свои произведенія, которыя ничѣмъ не напоминаютъ того, въ какія тяжелыя минуты они созданы. Сюда принадлежитъ „Собраніе бабочекъ“, вышедшее въ свѣтъ ужъ послѣ его смерти въ „Братчѣ“, сборникъ въ пользу бѣдныхъ казанскихъ студентовъ, которымъ онъ особенно интересовался. Осенью 1858 г. Аксаковъ переехалъ въ городъ и всю слѣдующую зиму провелъ въ ужасныхъ страданіяхъ. Ни помощь лучшихъ врачей ни заботы семьи не могли спасти его жизни. Однако онъ продолжалъ еще иногда заниматься и написалъ статью „Зимнее утро“, „Встрѣчу съ мартинистами“, послѣднее изъ напечатанныхъ при жизни его сочиненій, появившееся въ „Русской Бесѣдѣ“ 1859 г., и повѣсть „Наташа“, которая напечатана въ томъ же журналѣ. Весной не оставалось уже надежды, и онъ умеръ 30 апрѣля 1859 г. Къ поименованнымъ выше литературнымъ трудамъ Аксакова слѣдуетъ прибавить переводъ съ французскаго четырехъ по-



слѣднихъ частей романа В.-Скотта „Певериль“, первая часть котораго переведена А. Писаревымъ (М. 1830 г., 12<sup>о</sup>). „Семейная хроника“ переведена на нѣмецкій языкъ С. Рачинскимъ и издана въ Лейпцигѣ въ 1847 г. *Лопиновъ.*

## Портретная галлерей „Семейной хроники“ и „Воспоминаній“.

О чемъ же говоритъ авторъ въ этой „Хроникѣ“ и въ этихъ „Воспоминаніяхъ“? Что это такое? То ли, что мы привыкли называть мемуарами? Нѣтъ, должны мы отвѣтить. Еще „Воспоминанія“ подойдутъ подъ этотъ разрядъ литературы, но „Хроника“ — никогда. Въ „Воспоминаніяхъ“, какъ бываетъ въ мемуарахъ, говорится о томъ, что можетъ интересовать каждого: о Державинѣ, Шишковѣ, объ открытіи университета въ К., о Плавильщиковѣ, Шушеринѣ, Яковлевѣ... историческихъ личностяхъ или учрежденій, которыя могутъ показаться занимательными. Но что намъ за дѣло до какого-то Багрова, Куролесова, о которыхъ говорится въ „Хроникѣ“ и которыми мы, въ художественномъ отношеніи, дорожимъ, однакожъ, больше, чѣмъ „Воспоминаніями“ о Державинѣ, Шишковѣ и другихъ? Съ какой точки можетъ насъ интересовать переселеніе Багрова изъ Симбирской губерніи въ Оренбургскую? На какомъ основаніи имѣетъ право авторъ описывать намъ какого-нибудь Куролесова и его похождения? Понятно, что эти лица могутъ заинтересовать насъ только въ той мѣрѣ, къ какой ихъ жизнь будетъ заключать въ себѣ что-нибудь характерное, типическое для русскаго общества, въ той мѣрѣ, къ какой она, говоря проще, будетъ приближаться къ повѣсти и роману, и, наконецъ, въ той мѣрѣ, въ какой самое описаніе ихъ жизни будетъ имѣть литературныя достоинства. Слѣдовательно, при оцѣнкѣ этой части книги Аксакова мы должны руководствоваться совершенно другими условіями, нежели при оцѣнкѣ „Воспоминаній“. Въ одномъ мѣстѣ мы будемъ смотрѣть на автора, какъ на художника, въ другомъ какъ на лѣтописателя. Если въ первомъ случаѣ мы будемъ требовать отъ Багрова и Куролесова того, чего требуемъ отъ художественно-созданныхъ лицъ изъ

русского общества, то во второмъ мы будемъ довольны, если авторъ сообщитъ намъ нѣсколько любопытныхъ, но еще неизвѣстныхъ подробностей о лицахъ, для насъ интересныхъ. Эту разницу не слѣдуетъ забывать при оцѣнкѣ книги Аксакова.

И въ „Хроникѣ“ и въ „Воспоминаніяхъ“ передъ нами проходитъ рядъ лицъ. Однихъ мы знаемъ, какъ сказали выше, другихъ совсѣмъ не знали до выхода книги Аксакова, и которыя обязаны своею литературною жизнью перу автора. Но сколько ни существуетъ разницы въ пріемахъ, которыми авторъ долженъ былъ руководствоваться при описовкѣ тѣхъ и другихъ лицъ, всѣ они вмѣстѣ составляютъ одну портретную галерею, достойную изученія. Мы говоримъ портретную, потому что весь талантъ автора посвященъ былъ на описовку лицъ. Въ строгомъ смыслѣ, въ „Хроникѣ“ нѣтъ повѣсти, хотя авторъ и задумалъ-было сдѣлать ее изъ встрѣчи Багрова съ Куролесовымъ но портреты есть, великолѣпные портреты; есть и жизнь. На ряду съ этою жизнью мы можемъ поставить у того же автора, по мастерству изображенія, только картины природы и жизни, разсѣянной въ лѣсахъ, лугахъ, болотахъ и рѣкахъ, которыя тамъ живописно были схвачены въ первомъ произведеніи Аксакова: „Запискахъ ружейнаго охотника“. Багровы, Куролесовы, Софья Николаевна, въ нашемъ воображеніи, какъ бы дополняютъ картину, прежде нарисованную, и дополняютъ ее изображеніемъ человека, обитателя этихъ лѣсовъ, этихъ безпредѣльныхъ полей. Въ обоихъ сочиненіяхъ — въ такихъ оригинальныхъ рамкахъ заключившихъ русскую жизнь — талантъ одинъ и тотъ же; даже манера, пріемы одни и тѣ же. Какъ тамъ возставала передъ нами жизнь вѣшней природы въ живыхъ картинахъ, такъ въ новомъ сочиненіи жизнь русского человека XVIII столѣтія представлена въ видѣ художественныхъ портретовъ; какъ тамъ авторъ, сильный талантомъ чувствовать красоты вѣшней природы, съ своихъ описаній, искусственно, шагъ за шагомъ описывалъ мѣстность, схватывая и поэзію ея и въ то же время оставаясь вѣрнымъ тому уголку этой природы, который онъ описывалъ; такъ и въ „Хроникѣ“ авторъ, задумавшій на основаніи лицъ, ему близко знакомыхъ, создать нѣчто въ родѣ романа или повѣсти, не переступилъ дѣйствительности, не пожертвовалъ ею въ пользу художественнаго вымысла, котораго необхо-



димо требовало искусство. Онъ только на дѣйствительно существующее смотрѣлъ какъ художникъ, но не позволилъ себѣ нигдѣ перерабатывать эту дѣйствительность для своихъ художническихъ видовъ. Поэтому-то мы и сказали, что какъ въ „Запискахъ охотника“, такъ и въ „Хроникѣ“ авторъ силенъ однимъ и тѣмъ же — портретами и картинами съ натуры, художнически-сдѣланными. И въ томъ и въ другомъ сочиненіи одинаково видишь, какъ постоянно авторъ крѣпко держится за фактъ, или за то, что дѣйствительно было; какъ онъ этотъ фактъ, на основаніи художническихъ приемовъ, старается сдѣлать чѣмъ-то въ родѣ типа, такъ, чтобъ въ немъ отражалось все множество подобныхъ же лицъ и подобныхъ же картинъ природы; какъ вездѣ, однимъ словомъ, онъ соединяетъ въ одно цѣлое и историческій матеріалъ и его художественную обработку, знаніе природы и художественное ея описаніе. Эти два приема постоянно борются въ авторѣ, и въ тѣхъ матеріалахъ, которые онъ старался обработать въ своей „Хроникѣ“, приемы эти также столкнулись. Дѣйствительность помѣшала этимъ матеріаламъ сдѣлаться романомъ, но художественный талантъ автора сдѣлалъ изъ лицъ „Хроники“ типическія лица. Поэтому-то мы и называли книгу Аксакова портретною галлереею.

*Дудышкинъ.*

## Художественные типы „Семейной хроники“.

Авторъ „Записокъ ружейнаго охотника“, „Разсказовъ и воспоминаній охотника“, книги „Объ уженьѣ“ и превосходной біографіи М. П. Загоскина выступилъ въ 1856 году съ новымъ произведеніемъ, которое, по достоинству изложенія, нисколько не уступаетъ поименованнымъ нами и уже справедливо оцѣненнымъ публикою, а по обилію, разнообразію и интересу своего содержанія далеко оставляетъ ихъ за собой и есть, конечно, одно изъ самыхъ важныхъ пріобрѣтеній отечественной литературы.

Книга С. Т. Аксакова дѣлится, какъ извѣстно, на „Семейную хронику“ фамиліи Багровыхъ и на особенныя воспоминанія автора. Принявъ за правило уважать всякое намѣреніе писателя, мы оставимъ это дѣленіе во всей его силѣ, но

только скажемъ, что въ „Семейной хроникѣ“ С. Т. Аксаковъ оказывается, по большей части, совсѣмъ не лѣтописецъ, а полнымъ и совершеннымъ творцомъ типовъ и характеровъ, какъ любой повѣствователь или романистъ. Въ „Воспоминаніяхъ“ совсѣмъ другое дѣло; тамъ выступаетъ впередъ очевидецъ, и рассказы его имѣютъ вѣрность и занимательность настоящихъ „Записокъ“, между тѣмъ какъ въ „Семейной хроникѣ“ на первомъ планѣ стоятъ авторъ и то, что мы называемъ свободнымъ творчествомъ. Нужды нѣтъ, если характеры и лица, выведенные въ ней, составлены по живымъ преданіямъ и воспоминаніямъ семейства Багровыхъ: они все-таки составлены авторомъ. Такъ точно составляются иногда лица многихъ чисто художественныхъ произведеній, принадлежащихъ, конечно, обществу, но не принадлежащихъ никому исключительно въ обществѣ. Слѣды обработки характера и предмета по законамъ художественности и свободного творчества видны на каждомъ шагу въ „Семейной хроникѣ“, и если лишаютъ ее достоинствъ лѣтописи и современной записки, то взамѣнъ сообщаютъ ей дорогія качества превосходнаго литературнаго созданія. Одно другого стоитъ. Во всей „Семейной хроникѣ“ только лицо скрытнаго, свирѣпаго и развратнаго Куролесова не обработано художнически и носитъ на себѣ печать голаго преданія; да оно и не могло быть обработано. Конечно, можно поспорить съ почетнымъ авторомъ, будто полное изображеніе такихъ лицъ невозможно потому, что представило бы повѣсть слишкомъ отвратительную (стр. 72). Гнусное и отвратительное въ этомъ случаѣ превращается въ способъ для достиженія высшихъ цѣлей: они образуютъ путь къ назиданію, къ строгому нравственному поученію: но дѣло въ томъ, что описаніе такого лица возможно лишь человѣку, бывшему очевидцемъ его поступковъ и наблюдателемъ его душевнаго состоянія. Даниловъ и Болотовъ могли бы изобразить его во всей подробности, не оскорбляя читателя, а, напротивъ, поучая картиной нравственнаго паденія человѣка, когда нѣтъ силы и мѣры для обузданія его дикой воли. Препятствіе состоитъ единственно въ томъ, что современному художнику невозможно угадать психическаго состоянія подобнаго существа, ясно сложить въ умѣ своемъ звѣрскія качества души его и указать ходъ развитія и самую сущность ихъ. Куролесовы дѣйствительно



нуждаются только въ дѣтскихъ: они виѣ искусства и художнику недоступны: а С. Т. Аксаковъ, какъ мы сказали, началъ и остался художникомъ въ „Семейной хроникѣ“ Багровыхъ. За исключеніемъ Куролесова, всѣ остальные лица „Хроники“ обдѣланы имъ въ смыслѣ собственной своей творческой мысли, приноровлены къ главному понятію, которое составилъ о нихъ самъ авторъ, очищены отъ всѣхъ случайностей, которыя въ жизни такъ часто путаютъ характеръ и насилуютъ его до измѣны самому себѣ. Вотъ почему „Семейную хронику“ считаемъ мы чисто литературнымъ произведеніемъ, несмотря на огромную долю настоящихъ, жизненныхъ чертъ, какія вошли въ составъ ея, и положительную истину всѣхъ событій, въ ней рассказываемыхъ. Съ этой точки зрѣнія мы будемъ смотрѣть на характеры и лица, выводимыя передъ нами художникомъ, и теперь же скажемъ, что онъ успѣлъ создать два типа, останавливающіе преимущественно вниманіе читателя и затемняющіе всѣ остальные въ его повѣствованіи — типъ Степана Михайловича Багрова и типъ Софьи Николаевны Зубиной (Женитьба молодого Багрова, стр. 97—164), дѣда и матери того Багрова, отъ имени котораго С. Т. Аксаковъ ведетъ самую хронику.

Конечно, въ русской литературѣ не много найдется типовъ, болѣе ясныхъ, исполненныхъ съ большей художественностью и болѣе благородныхъ. „Хроника“ открывается картиной переселенія Степана Михайловича Багрова съ семействомъ и крестьянами изъ Симбирской въ Оренбургскую губернію. Не будемъ останавливаться на описаніи роскоши и приволья новыхъ мѣстъ, отысканныхъ помѣщикомъ, на мастерскомъ изложеніи перваго поселенія крестьянъ въ благодатномъ краѣ, тогда еще пустынномъ. Все это сдѣлано съ тѣмъ чувствомъ истины и поэзіи, которымъ авторъ обладаетъ въ высшей степени. Видно, что онъ съ дѣтства жилъ охваченный всѣми явленіями мѣстной природы, долго пытался ея крѣпительными ощущеніями и принялъ въ себя мысль и душу ея. Это природный сынъ русской степи, и, когда заговорить онъ о ней, возстаютъ чудныя картины передъ читателемъ: вся груда впечатлѣній, накопленныхъ авторомъ долгимъ наблюденіемъ, выходитъ прозрачной, свѣтлой рѣкой въ его изложеніи, и рѣка эта катитъ безпрестанно свои чистыя волны, несетъ поминутно новыя подробности, новыя соображенія для кар-

тины и увлекаетъ за собой неудержимо сердце и воображеніе читателя. Нѣтъ возможности противиться теченію ея, когда разъ уже попала туда мысль ваша, и, замѣтите, въ превосходныхъ описаніяхъ автора не встрѣтимъ рѣзкой черты, вырванной у природы чрезвычайно напряженнымъ вниманіемъ, случайной подробности, радостно и торопливо схваченной наблюденіемъ: все полно, просто и взято въ обыкновенную мнунуту. Природа выказывается у автора только своими вѣчными сторонами и никогда не является въ видѣ куртизанки, разукрашенной на славу. Она поэтически обыкновенна и качествомъ этимъ подчиняетъ своему вліянію одинаково и грубый глазъ городского жителя и сердце, уже настроенное на любовь и сочувствіе къ ней. Въ нынѣшнемъ описаніи оренбургской мѣстности присоединилось ко всѣмъ другимъ качествамъ обыкновеннаго г. Аксакову изложенія еще новое: теплая и какая-то радостная благодарность природѣ за неисчислимые наслажденія, открытыя ею нашему автору почти съ самаго дня его рожденія. Описаніе пріобрѣтаетъ чудный лирическій оттѣнокъ, и дѣйствіе его на душу читателя удвояется.

Но спѣшимъ къ Степану Михайловичу Багрову. Онъ поселился въ новой своей деревнѣ, выросшей словно изъ земли по его мановенію, и авторъ приступаетъ къ разбору его характера. Чудное лицо возстаетъ тогда подъ его перомъ. По нашему мнѣнію, это типъ, имѣющій сильное родовое сходство съ типами Вальтера-Скотта, и вотъ когда только является въ литературѣ нашей нѣчто подобное съ способомъ воззрѣнія на міръ знаменитаго шотландца и съ его способомъ передавать образцы и лица. Степанъ Михайловичъ — это олицетвореніе доблести стараго поколѣнія, пропадающаго съ каждымъ днемъ, выраженіе той нравственной высоты, которая была ему доступна, а вмѣстѣ и выраженіе его недостатковъ. Степанъ Михайловичъ — патріархъ въ своемъ семействѣ и въ своемъ помѣстьѣ, передъ волей его трепещутъ всѣ, отъ мала до велика; но онъ патріархъ не по одной только власти родоначальника, главы дома, хозяина. Онъ выше всѣхъ окружающихъ его и по строгимъ понятіямъ о чести, правдѣ, прямотѣ, за которыми неусыпно слѣдитъ кругомъ себя; онъ строго наказываетъ малѣйшее отступленіе отъ той нравственной идеи, которой можетъ считаться живымъ и единственнымъ предста-



втелемъ въ семействѣ. Мы сказали единственнымъ потому, что новое поколѣніе, какъ видно изъ рассказовъ С. Т. Аксакова, уже плохо понимаетъ нравственную идею отца, тяготеетъ ею и сильно нуждается во внѣшнихъ, матеріальныхъ, физическихъ побужденіяхъ для сохраненія ея въ цѣлости. Не будемъ говорить, въ какихъ формахъ производятся эти ограниченія произвола, эти спасительныя наказанія отступниковъ, возвращающія ихъ опять, хотя и не на долгое время, подъ власть нравственной идеи и того, кто состоитъ единственнымъ ея обладателемъ. Формы эти принадлежатъ духу вѣка и времени. С. Т. Аксаковъ имѣетъ еще то сходство съ Вальтеръ-Скоттомъ, что нисколько не робокъ передъ обычаями, даже отжившими, хорошо понимаетъ ихъ историческую необходимость и ни на кого не слагаетъ отвѣтственности за нихъ. На первыхъ страницахъ своего повѣствованія онъ говоритъ: „Дѣдушка, сообразно духу времени, разсуждалъ по-своему: наказать виноватаго мужика тѣмъ, что отнять у него собственные дни, — значитъ, вредить его благосостоянію, т. е. своему собственному“. Слѣдствіе, которое вытекаетъ изъ такого правила, было понятно и другимъ подсудимымъ ему, кромѣ мужика. Какимъ же образомъ явилось то раздвоеніе въ семьѣ Багровыхъ, которое лучше всѣхъ чиселъ и этнографическихъ соображеній возвѣщаетъ, что Степанъ Михайловичъ принадлежитъ уже къ послѣднимъ родоначальникамъ въ его духѣ? Всѣ окружающіе выросли подъ его мощной рукой и зоркимъ глазомъ; тѣ, которые пришли извнѣ, подчинялись его вліянію до потери всякаго самостоятельнаго чувства; понудительныхъ средствъ, тоже не мало находилось въ его рукахъ, и не скупъ былъ онъ на нихъ, повидному, и, со всѣмъ тѣмъ, какъ власть его, такъ и нравственное направленіе безпрестанно нарушаются, и даже, судя по нѣкоторымъ намекамъ, еще смѣлѣе въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ они сильнѣе требовали подчиненности и уваженія. Съ замѣчательнымъ художническимъ инстинктомъ С. Т. Аксаковъ рассказываетъ шалости домашнихъ съ человекомъ, который шутокъ не любилъ вообще, а, наконецъ, въ статьѣ: „Михайло Максимовичъ Куролесовъ“ — явное и страшное нарушеніе со стороны семейства основныхъ правилъ главы дома. Воспользовавшись отлучкой его, семейство Степана Михайловича рядомъ мелкихъ хитростей, основан-

ныхъ на мелкотѣ побужденій и отсутствіи всякаго нравственнаго начала, выдаетъ молодую Багрову, двоюродную сестру старика, замужъ за человѣка, ужаснаго по душевнымъ качествамъ, и приводитъ ее на край гибели, которую прямой и чрезвычайно прозорливый Степанъ Михайловичъ уже ясно видѣлъ и старался отклонить. Въ третьемъ разсказѣ, „Женитьба молодого Багрова“, обнаруживается съ меньшимъ успѣхомъ, конечно, но не съ меньшимъ упорствомъ злое и коварное себялюбіе домочадцевъ старика Багрова въ отношеніи невѣсты и потомъ жены его сына; потребна была вся твердость главы семейства, вся относительно неизмѣримая, нравственная высота его, чтобъ не поддаться ничтожной интригѣ, опутавшей его со всѣхъ сторонъ, и увидеть за ней настоящее дѣло. Какъ изъяснить мелкоту всѣхъ нравственныхъ свойствъ, душевную ограниченность людей передъ такимъ примѣромъ, подъ такой дисциплиной и при такомъ неутомимомъ требованіи истины и благородства въ чувствахъ? Дѣло только отчасти поясняется тѣмъ, что глава не всегда былъ вѣренъ самому себѣ и не всегда могъ служить образцомъ для другихъ. На этого почтеннаго и, въ сущности, добросердечнаго человѣка нападали, при случаѣ, такіа вспышки гнѣва и бѣшенства, что онъ превращался въ звѣря, и только долгій, глубокій сонъ возвращалъ ему потерянный умъ (стр. 31). Конечно, подобныя явленія способны ослабить нравственное впечатлѣніе; но они, во-первыхъ, были въ духѣ вѣка, съ котораго еще не сошла дикая энергія, признакъ силы безъ разумнаго управленія ею; а во-вторыхъ, за этими явленіями оставалось непомраченное поле всѣхъ другихъ высокихъ качествъ. Степанъ Михайловичъ былъ благодѣтелемъ околота, и притомъ благодѣтелемъ, не считавшимъ своихъ пожертвованій; удивительная чуткость къ добру и достоинству рѣдко оставляла его; онъ умѣлъ чувствовать свои недостатки и косвенно просить въ нихъ извиненія, какъ въ той превосходной сценѣ, когда, послѣ ужаснаго пароксизма бѣшенства, онъ со слезами на глазахъ встрѣчаетъ смѣлую невѣстку и говоритъ: „Вотъ и больная невѣстка себя не пожалѣла, встала, одѣлась и пришла развеселить старика“... Причины, стало-быть, надо искать въ другомъ мѣстѣ, и, по нашему мнѣнію, онѣ открываются сами собой въ разсказѣ, хотя авторъ не намекнулъ на нихъ ни однимъ словомъ. Сте-



панъ Михайловичъ есть олицетвореніе одной власти въ семействѣ, и ею только связывается съ членами его, за исключеніемъ кровной любви, не всегда достаточной для правильнаго воспитанія людей, какъ мы знаемъ изъ обыденныхъ примѣровъ слѣпой любви отцовъ и матерей къ дѣтямъ. Нравственныхъ началъ онъ не дѣлилъ съ ними благодушно, изъ глубины сердца, а думалъ вызвать ихъ и укрѣпить одной властью. Глава дома въ этомъ духѣ уже поспѣлъ въ самомъ себѣ свое осужденіе и начало неуспѣха въ благихъ намѣреніяхъ. Онъ также самъ собою доказываетъ невозможность продолженія системы въ будущемъ, въ наслѣдникахъ. Форма, внѣшній уставъ благонравія были для него важнѣйшимъ дѣломъ воспитанія, и дѣйствительно случается иногда, что форма, подчиняя молодую душу, вызываетъ подъ конецъ и самое содержаніе, но это совершается чрезвычайно медленно, и притомъ съ опасностью чего-либо не досмотрѣть въ формѣ, сдѣлать послабленіе въ требованіяхъ, — и тогда прощай вся долгая работа образованія ума и сердца! Кто же не можетъ сдѣлаться всегдашнимъ и повсемѣстнымъ сторожемъ впечатлѣній человѣка, особенно такого, который спѣшитъ набрать впечатлѣній отовсюду? Большею частію наружная форма признается тогда подвластною, какъ необходимость, соблюдается какъ уставъ, а мысль и сердце гуляютъ по проселочнымъ дорогамъ, колючимъ и бойкимъ, что именно и случилось съ женскою частью семейства Багрова. Вотъ почему нравственное распаденіе въ нѣдрахъ его насъ не удивляетъ: оно совершенно естественно; вотъ почему также нисколько не огорчаетъ насъ и постепенное уничтоженіе въ жизни типовъ, подобныхъ Степану Михайловичу, несмотря на нравственное достоинство ихъ. Они отходятъ къ прошлому, къ исторіи, конечно, съ сочувствіемъ нашимъ, но безъ малѣйшаго сожалѣнія. Мѣсто ихъ должны занять другіе люди, которые отыщутъ лучшій способъ для семейнаго устройства — въ убѣжденіи, что нравственныя начала, внушенныя открытымъ сердцемъ главы дома, развиваются потомъ вообще всѣми членами его. Багровъ все-таки существо эгоистическое: онъ вѣруетъ въ одно дѣйствіе своей власти, наслаждается ею и ею испорченъ.

Не нужно повторять, что мы беремъ на свою отвѣтственность мысли и выводы, здѣсь изложенные: С. Т. Аксаковъ

держится вообще въ новомъ произведеніи своемъ только своей задачей — художественнаго разсказа, и далекъ отъ выводовъ; но въ томъ-то и великое значеніе всякаго строгаго и вѣрнаго повѣствованія, что заключенія, которыхъ оно совсѣмъ не искало, и о которыхъ никогда не думало, являются неизбежно сами собою въ умѣ читателя. Мы будемъ еще говорить о нѣкоторыхъ помѣхахъ, встрѣченныхъ авторомъ на пути исключительно художественной обработки своего предмета, а теперь повторимъ только, что типъ стараго Багрова, съ его физической и душевной крѣпостью, съ какой-то полнотой достоинствъ и недостатковъ, выраженъ имъ удивительно ярко и цѣльно. Въ хроникѣ каждаго семейства, вѣроятно, отыщется лицо, какъ двѣ капли воды схожее съ тѣмъ, которое представилъ намъ С. Т. Аксаковъ. Типъ этотъ даже знакомъ нѣкоторымъ изъ насъ по воспоминаніямъ дѣтства, по опыту, и если до сихъ поръ литература наша не обратила на него вниманія, то оплошность эта можетъ быть объяснена только однимъ предположеніемъ: литература наша занята преимущественно настоящимъ, у нея слишкомъ много дѣла подъ рукой, и еще некогда ей оглядываться назадъ и разбирать прошлое.

Рядомъ со старикомъ Багровымъ, авторъ выводитъ лицо женщины, Софьи Николаевны, которая дополняетъ картину прежняго общества, и какъ дополняетъ! Новый характеръ можетъ служить и соответственнымъ изображеніемъ, *pendant*, къ характеру Степана Михайловича: та же энергія, то же строгое пониманіе долга и чести, но уже съ болѣе развитой головой и съ женской потребностью славы, свѣтскаго успѣха и поклоненія, даже съ примѣсью нѣкоторой хитрости. Нравственныя основанія у обоихъ тѣ же, но одинъ — степной малограмотный помѣщикъ, пользующійся властью съ рожденія; а другая — горожанка, добившаяся власти надъ обществомъ умомъ и волей. Испытавъ въ первой молодости своей горькія и унизительныя гоненія, чуть-чуть не приведшія ея къ грѣху самоубійства, она выходитъ изъ нихъ, закаленная на борьбу, но уже съ высокимъ уваженіемъ къ самой себѣ. Необычайнымъ успіемъ воли, она возвращаетъ время, потерянное для образованія, становится почти ученой женщиной, замѣченной вскорѣ весьма дѣльными умами обѣихъ столицъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ пристраиваетъ дѣтей своей преж-



ней сожительницы, воспитываетъ меньшихъ братьевъ и ведетъ за отца, разбитого параличомъ, всю административную переписку по его должности товарища уфимскаго намѣстника. Есть какое-то торжество и наслажденіе самимъ собою во всѣхъ ея работахъ, семейныхъ занятіяхъ, даже въ дѣвичьей скромности. Торжество увеличивается, когда она является въ свѣтъ, гдѣ ея красота, ловкость въ танцахъ, а главное умъ и способность держать въ почтеніи зависть и злобу женщинъ, болѣе ея достаточныхъ и болѣе знатныхъ по происхожденію, отстраняютъ возможность всякаго соперничества. При изображеніи этого замѣчательнаго характера, С. Т. Аксаковъ предоставилъ полную волю своему творческому таланту; но онъ списывалъ образецъ прямо съ лица, такъ сказать, и едва-едва только намекалъ на другія боковыя стороны его, оставляя ихъ почти всегда въ полусвѣтѣ.

Мы видимъ, такимъ образомъ, въ рассказѣ его двѣ ясныя струи: полное созданіе, когда дѣло идетъ о положительныхъ качествахъ образца, и удивительную сдержанность, когда становятся необходимо присутствіе и вводъ тѣней. Обработывая лицо въ смыслѣ пзъясненія высокихъ свойствъ его души, авторъ пользуется всѣми правами художника, и пользуется ими безгранично. Жизнь, преданіе, изустный рассказъ, видимо, дали ему только первый простой очеркъ, которому онъ уже сообщилъ всю полноту жизни и всю теплоту красокъ. Для этого онъ на каждомъ шагу угадываетъ тончайшіе оттѣнки мыслей своего образца, подмѣчаетъ нѣжнѣйшія движенія его сердца, разоблачаетъ глубокія тайны его души, не всегда ясныя ему самому въ минуты дѣйствованія, — словомъ, создаетъ характеръ, какъ настоящій художникъ. Лѣтопись, фактическая истина преданія, жизнь, воспоминанія являются здѣсь только матеріалами для творческаго таланта его. Лицо взято изъ нашего прежняго быта; но оно поставлено и освѣщено не съ простодушной вѣрностью „современной записки“, а съ искусствомъ, жаромъ, и сноровкой знатока въ постановкѣ и въ освѣщеніи. Превосходная психическая разработка характера еще увеличивается у автора съ появленіемъ молодого Багрова — будущаго мужа Софьи Николаевны. Алексѣй Степановичъ Багровъ представляется здѣсь типомъ барскаго сына прежняго столѣтія, мало образованнымъ, ограниченнымъ, робкимъ — и отъ домашняго

строгаго воспитанія и отъ неслыханныхъ продѣлокъ, какія испыталъ онъ въ первой военной службѣ своей. Какой-то нѣмецкій генералъ совершенно безвинно приказалъ отсчитать молодому дворянину триста палокъ и положить его за мертво. И этотъ человѣкъ, добрый, небогатый, слабый по характеру и понимающій свое бѣдное, нравственное и матеріальное положеніе, влюбляется до безумія въ блестящую Софью Николаевну, смиряетъ козни сестеръ противъ невесты своей, вынуждаетъ согласіе старика Багрова на свадьбу (который, между прочимъ, играетъ тутъ роль истинно трогательную, благородную), а что главное и что предшествовало послѣднему — склоняетъ къ своей отчаянной и молчаливой любви гордую и самолюбивую дѣвушку. Какъ могло это сдѣлаться? Здѣсь является намъ опять авторъ во всей силѣ художническаго своего таланта снова творцомъ, разрабатывающимъ лѣтопись и преданіе по собственнымъ соображеніямъ. Софья Николаевна нисколько не влюблена въ искателя ея руки, и первою мыслью ея было испытать свойство и крѣпость его страсти. Долго борется она съ собою, и, наконецъ, соглашается на свадьбу, когда уже не остается сомнѣнія въ истинѣ чувства, одушевляющаго молодого человѣка; но согласіе свое выдаетъ она капля по каплѣ, такъ сказать, а послѣднее рѣшеніе держитъ до минуты отъѣзда въ церковь.

Въ срединѣ разсказа являются впервые у автора бѣглые, тонкіе намеки на дополнительные черты ея характера, который мы видѣли только съ лицевой стороны доселѣ. Это доброе и благородное сердце сдѣлалось властолюбивымъ отъ постоянного торжества въ свѣтѣ; презрѣніе къ окружающимъ развило въ немъ увѣренность въ себѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ породило отчасти рѣзкость мысли, слова и вспыльчивость; сознаніе своего превосходства, своей нравственной высоты ослабило, въ нѣкоторой степени, мягкое, примиряющее начало, столь свойственное природѣ женщины: она выходитъ за Багрова, чтобъ облагородить и возвысить мужа и семью, но возвысить и облагородить посредствомъ власти и господства. Съ удивительной глубиной, но вмѣстѣ какъ-то просто и осторожно, рисуетъ авторъ психическое состояніе этого твердаго, нравственнаго и вообще сильно привлекательнаго существа передъ минутами неравнаго брака, и мы можемъ



считать рассказъ его примѣромъ тонкаго и почтительнаго обращенія съ предметомъ описанія, которое нисколько не исключаетъ, однакоже, истины. Подобное сочетаніе правды и снисхожденія возможно только художнику. Тѣмъ досаднѣе становится читателю, когда художникъ вдругъ покидаетъ предметъ свой на полдорогѣ. Онъ именно вводитъ Софью Николаевну въ новую семью ея, въ ту сферу, гдѣ она должна дѣйствовать и которая должна обнаруживать успѣхъ и несостоятельность ея притязаній на власть въ семействѣ, но при встрѣчѣ съ старикомъ Багровымъ оканчиваетъ статью и задерживаетъ завѣсу. Читатель лишенъ существенной части ея біографіи, той именно, которая бы открыла великую моральную сторону ея жизни; онъ только предчувствуетъ, что нарушеніе законнаго равенства въ семействѣ не обходится для женщины безъ сильной борьбы, тяжелыхъ ударовъ и страданій сердца, даже при успѣхѣ. Не видя, какими послѣдствіями сопровождался бракъ, заключенный подъ вліяніемъ весьма сложныхъ причинъ, онъ не можетъ удержаться отъ нѣкотораго тяжелаго чувства, рождаемаго обыкновенно всякой неполнотой произведенія. Дѣйствительно, характеръ, образъ и самая мысль рассказа не доросли до настоящаго своего предѣла. Художникъ остановился тутъ передъ лѣтописью и не захотѣлъ продолжать той мастерской борьбы съ нею или, лучше, того преобразованія ея въ художественный рассказъ, какое составляетъ отличительную и самую назидательную сторону „Семейной хроники Багровыхъ“. Нельзя никакъ подумать, чтобы онъ истощилъ уже всю свою силу на предшествовавшихъ описаніяхъ; гораздо основательнѣе полагать, что онъ встрѣтилъ или въ самой лѣтописи, или въ побочныхъ обстоятельствахъ достаточные поводы для прекращенія поэтической работы своей, черты которой старались мы уловить. Черезъ нѣсколько времени работы и уже въ другихъ рассказахъ, не касающихся семейства Багровыхъ, мы встрѣчаемъ, если не ошибаемся, Софью Николаевну, какъ пѣживѣющую и даже героическую мать: значитъ, она нисколько не потеряла перваго облика, показаннаго намъ авторомъ въ „Женитьбѣ Багрова“, — вотъ все, что остается теперь отъ второй половины ея жизни, отъ замужества. Затѣмъ мы не только не отвергаемъ у автора права остановиться тамъ, гдѣ онъ пожелалъ и гдѣ ему казалось необходимо, но готовы благо-

дарить его огъ души и за ту часть пути, которая имъ пройдена. Вспомнимъ, что значитъ обдѣлка и переработка лѣтописи, еще столь жьвой и близкой къ людямъ, что самыя простыя и беззлобивыя ея указанія могутъ быть принимаемы за нареканіе и осужденіе, и подивимся у автора какъ мастерскому труду надъ лѣтописью, такъ и нравственной смѣлости, которая поддерживала его въ этомъ трудѣ.

Намъ остается изъ „Семейной хроники“ еще одинъ только рассказъ: „Михайло Максимовичъ Куролесовъ“. Мы замѣтили прежде, что характеръ этотъ не могъ быть обдѣланъ художнически по существу своему. Онъ слишкомъ нагъ, односложенъ и простъ въ свирѣпыхъ своихъ наклонностяхъ. Обработка этого лица съ помощью искусства могла бы только испортить его, ослабить выраженіе, замѣнить грубыя черты чѣмъ-либо другимъ и перетолковать вообще его фпзіономію. Куролесовъ есть полное достояніе лѣтописи: чѣмъ больше станемъ пояснять его художническимъ способомъ, тѣмъ непонятнѣе и темнѣе будетъ онъ дѣлаться. Это странный сумасшедшій, для изображенія котораго достаточенъ одинъ журналъ его дѣйствій. Но въ простой лѣтописи онъ имѣетъ значеніе необъятное и глубоко поучительное. С. Т. Аксаковъ выбиралъ сказанія лѣтописи или преданія съ осмотрительностью и осторожностью опытнаго литератора; но изъ немногихъ и, по собственному его сознанію, не самыхъ крупныхъ чертъ вышло лицо, способное поразить благодѣтельнымъ ужасомъ читателя и заставить призадуматься всякаго мыслящаго человѣка не объ одномъ Куролесовѣ. Что было бы, если бы мы могли имѣть полную лѣтопись? Со всѣмъ тѣмъ, еще и тутъ, при исключительномъ господствѣ преданія, встрѣчаются у автора нашего яркіе проблески художническаго поясненія и дополненія лицъ, тамъ, гдѣ возможно было ихъ ввести: таковы, напримѣръ, весь рассказъ о долгихъ отлучкахъ Куролесова изъ семейства и стараніе его сохранить въ тайнѣ отъ жены и родныхъ ея исторію своихъ преступленій и т. д.

Къ этому слѣдуетъ прибавить, что обстановка Куролесова уже опять имѣетъ всѣ качества и всю свободу художественной кисти. Его женитьба на молодой сиротѣ, вкрадчивость его и постепенный ходъ примпренія съ старикомъ Багровымъ, полная, слѣпая довѣренность жены къ его качествамъ и ужасъ



ея, когда она узнаетъ его характеръ, наконецъ, безпредѣльная любовь ея къ недостойному мужу, устоявшая даже послѣ варварскаго обращенія, посягательство на ея жизнь и свободу — все это изложено такъ правильно, постепенно и разумно, какъ никогда не бываетъ въ жизни. Жизнь, конечно, должна имѣть въ общности тотъ же самый смыслъ; но въ ходѣ своемъ и въ подробностяхъ она не такъ послѣдовательна, не такъ ясна и отличается большею разнообразностью, весьма часто произволомъ, капризами, яркими временными противорѣчїями своей собственной цѣли. Примѣръ находится въ той же самой статьѣ С. Т. Аксакова. Окончаніе ея имѣетъ у автора опять совершенно лѣтописный характеръ. Старикъ Багровъ собираетъ слугъ и крестьянъ своихъ, и ѣдетъ выручать свою родственницу, жену Куролесова, избитую и заключенную имъ въ тюрьму. Онъ является въ логовище злодѣя, какъ земная кара его преступленіямъ, и мысль читателя, художнической инстинктъ его налагаютъ на Багрова обязанность заключить эту повѣсть темныхъ жестокостей и быть орудіемъ, если не возмездія преступнику, то, по крайней мѣрѣ, наказанія его посредствомъ отнятія власти, униженія и ограниченія его. На дѣлѣ выходятъ, однакоже совсѣмъ иначе: лѣтопись говорить, что Багровъ удовольствовался освобожденіемъ родственницы и оставилъ преслѣдователя ея въ покоѣ. Мало того: когда хотѣлъ онъ принудить къ законнымъ мѣрамъ для уничтоженія его губительной дѣятельности, то нашелъ неодолимое препятствіе въ родственницѣ, только что спасенной имъ: у нея вдругъ пробудилась безграничная страсть къ мужу... Наказаніе вышло изъ другого событія и, въ смыслъ художническаго воззрѣнія, неправильнымъ образомъ... Онъ умеръ, когда никто не ожидалъ. Мы не говоримъ, чтобы художническое разрѣшеніе всей этой повѣсти могло быть лучше, полнѣе, удовлетворительнѣе того, которое постаралось ей дать само теченіе жизни: мы не любимъ сравнивать достоинства и силы искусства съ достоинствами и силами жизни, потому что это совершенно бесплодно, такъ какъ у нихъ различное происхожденіе и различныя дороги, — мы только стараемся показать, какимъ образомъ склопна художническая мысль направлять событіе, и какимъ образомъ ведетъ и управляется съ ними настоящая жизнь. Анненковъ.

---

## Природа и люди въ „Семейной хроникѣ“.

Жалѣемъ, что здѣсь не мѣсто говорить подробно о той манерѣ описанія природы, которая являлась у насъ съ выходомъ въ свѣтъ перваго сочиненія Аксакова. Но намъ нужно знать смыслъ этихъ описаній, ибо безъ него одна половина книги останется темною, да и взглядъ автора на другую сторону жизни — на людей не совсѣмъ полнымъ.

Обыкновенно изъ описаній природы вы можете догадываться о многомъ, совсѣмъ противоположномъ тому, что описываетъ авторъ. Встрѣчаясь лицомъ къ лицу съ природою, авторъ невольно высказывается весь. То, что не договаривается, то подразумевается. Это чувство къ природѣ такъ сильно, что въ произведеніяхъ искусства оно играетъ вторую роль послѣ любви къ женщинѣ. Это одно изъ тѣхъ лучшихъ зеркалъ, въ которомъ яснѣе чѣмъ во многомъ выражается нашъ взглядъ на вещи, на людей, на общество и на міръ.

Посмотрите на живописца, который ищетъ въ природѣ яркихъ ландшафтовъ и, слѣдовательно, въ самой природѣ любить искусство, т.-е. то, что удовлетворяетъ художественнымъ его требованіямъ: какъ онъ вездѣ и во всемъ будетъ гнаться за извѣстными сочетаніями свѣта и тѣней, за разнообразіемъ картинъ, ихъ яркостью и блескомъ — словомъ за ландшафтомъ! Съ какимъ негодованіемъ такой художникъ отвернется отъ множества картинъ, описанныхъ Аксаковымъ! Болота, кустарники, никому неизвѣстныя и незамѣтныя рѣчки, подъ рукою Аксакова оживаютъ, такъ же какъ и необозримыя степи той же мѣстности — и дѣлаются прекрасны. „Все, что существуетъ въ мірѣ, все то благо, все добро“, вы слышите голосъ автора изъ-за каждой такой картины.

Писатель, который смотритъ на природу только какъ живописецъ, никогда не сладитъ бы съ этими описаніями. Они у него вышли бы черезчуръ яркими; онъ не умѣлъ бы сдерживать себя, потому что въ природѣ искалъ бы однихъ рельефныхъ красокъ. Такой писатель, изображая жизнь людей, будьте увѣрены, станетъ хвататься непременно за одніе выпуклыя, рѣзкія ихъ черты; изображая человека, онъ непре-



мѣнно представить вамъ его одностороннимъ, дать скорѣе ему свои мысли и свои чувства, нежели образъ мыслей и образъ чувствъ описываемаго лица передать въ полной формѣ и такими, какими онѣ принадлежатъ этому человеку. Манера его вездѣ будетъ одинокова — и при описаніи человека и при описаніи природы.

Потомъ, и во-вторыхъ, въ этихъ описаніяхъ вы чувствуете, что авторъ любитъ природу не вслѣдствіе какого-нибудь убѣжденія, какъ крайность, противоположную другой крайности — другой, которую онъ ненавидитъ. Авторъ не прячется отъ людей среди этой природы, онъ не бѣжитъ къ ней отъ общества, которое ему надоѣло — нѣтъ, онъ любитъ ее... можетъ-быть, больше людей, можетъ-быть, меньше... но ему нѣтъ никакого дѣла въ этомъ случаѣ, что дѣлаютъ люди и какъ они дѣлаютъ. Это для него не смѣна города деревней, а такое же наслажденіе, какъ мышленіе, какъ чувствованіе, какъ и всѣ другія отправленія нашей души. Возьмемъ, для примѣра, въ этомъ случаѣ Лермонтова: когда онъ хвалитъ природу въ извѣстномъ своемъ стихотвореніи „Родина“, вы изъ-за похвалъ постоянно видите другую сторону жизни и понимаете, что похвалы его русской природѣ, какъ онѣ ни естественны и поэтичны, все-таки не больше, какъ одна половина картина той жизни, которая обрисована въ другихъ стихотвореніяхъ. Вы чувствуете у него, что любовь къ природѣ вызвана враждою къ людямъ, и потому въ стихахъ лежатъ какая-то отравляющая горечь. „Я люблю“, говоритъ онъ,

Ея степей холодное молчанье,  
Ея лѣсовъ безбрежныхъ колыханье,  
Разливы рѣкъ ея, подобные морямъ;  
Проселочнымъ путемъ люблю скакать въ телѣгѣ  
И, взоромъ медленнымъ пронзая ночи тѣнь,  
Встрѣчать по сторонамъ, вздыхая о почлегѣ,  
Дрожащіе огни печальныхъ деревень.  
Люблю дымокъ спаленной жнивы,  
Въ степи кочующій обозъ,  
И на холмѣ, средь желтой жнивы,  
Чету бѣлѣющихъ березъ.  
Съ отрадой, многимъ незнакомой,  
Я вижу полное гумно,  
Избу, покрытую соломой,  
Съ рѣзными ставнями окно;

И въ праздникъ, вечеромъ росистымъ,  
Смотрѣть до полночи готовъ  
На пляску съ топаньемъ и свистомъ  
Подъ говоръ пьяныхъ мужичковъ.

У Аксакова этого нѣтъ. Его любовь къ природѣ ничего не доказываетъ: онъ любитъ ее — потому что любить. Любить, какъ родныхъ, любить, какъ дорогую мать, любить природу, потому что она столько, сколько и самые близкіе люди, и такъ же щедро надѣлила его молодость прекрасными впечатлѣніями! Перечитайте его возвращеніе изъ гимназіи въ деревню (на 230—231 стр.), и вы поймете, что значать наши слова. Въ этомъ мастерскомъ описаніи тѣхъ чувствъ, которыя постепенно рождались въ авторѣ, по мѣрѣ приближенія его къ деревнѣ, столько неподдѣльной, простой поэзіи, что чтеніе ихъ способно сдѣлать самаго равнодушнаго зрителя природы идилликомъ.

Но въ этой любви еще меньше того пониманія природы, которое вездѣ старался проводить Гёте и Шиллеръ. Ихъ любовь къ природѣ глубока, какъ философскія системы Шеллинга и Гегеля. Они были поэты, и потому ихъ описанія природы художественны. Но если бъ они и не были поэтами, въ ихъ любви къ природѣ былъ бы все-таки свой особенный, глубокий смыслъ. Для нихъ каждое растеніе, каждое явленіе природы было проявленіемъ жизни, разлитой всюду, всѣмъ намъ общей, и потому всѣмъ намъ близкой. Эти люди любили природу и по идеѣ столько же, сколько по художественному инстинкту.

Нечего и говорить, что у Аксакова нѣтъ и слѣдовъ этого третьяго взгляда на природу; онъ не допрашивается ея тайнъ, ему нѣтъ до нихъ дѣла: онъ любитъ природу, повторяемъ, потому что она доставила ему тысячи удовольствій, потому что она слилась въ одно со всѣми лучшими его воспоминаніями, потому что она, какъ лучшій другъ, вездѣ помогала ему быть счастливымъ. И потому посмотрите, сколько трогательнаго въ его обращеніи къ степной природѣ, несмотря, на то, что здѣсь выражены жалобы, повидимому, странныя для образованнаго человѣка. Однакожъ въ своемъ возрѣніи авторъ правъ. Онъ жалѣетъ, зачѣмъ населяются степи, зачѣмъ это людное населеніе гонитъ прежнюю тишину необозримыхъ пространствъ, въ которыхъ такъ привольно было



человѣку, какъ птицѣ и рыбѣ. Это можетъ показаться забавно, но авторъ, повторяемъ, по-своему, какъ художникъ, правъ:

„Боже мой, какъ, я думаю, была хороша тогда эта дикая, дѣвственная, роскошная природа! — Пѣть, ты уже не та теперь, не та, какою даже и я зазналъ тебя — свѣжею, цвѣтущею, неизмѣтною отовсюду набѣжавшимъ разнороднымъ народонаселеніемъ! Ты не та, но все еще прекрасна, такъ же обширна, плодородна и бесконечно разнообразна, Оренбургская губернія!... Дико звучать два эти послѣднія слова! Богъ знаетъ, какъ и откуда зашелъ тутъ *буря*... Но я зазналъ тебя, благословенный край, еще Уфимскимъ намѣстничествомъ!... Свѣтлы и прозрачны, какъ глубокія, огромныя чаши, стоятъ озера твои — Кандры и Каратабынь. Многоводны и многообильны разнообразными породами рыбъ твои рѣки, то быстро текущія по долинамъ и ущельямъ между отраслями Уральскихъ горъ, то свѣтло и тихо незамѣтно бѣгущія по ковылистымъ степямъ твоимъ, подобно яхонтамъ, нанизаннымъ на нитку. Чудны эти степныя рѣки, всѣ изъ безчисленныхъ, глубокихъ водоемовъ, соединяющихся узкими и мелкими протоками, въ которыхъ только и примѣтно теченіе воды. Въ твоихъ быстрыхъ родниковыхъ ручьяхъ, прозрачныхъ и холодныхъ какъ ледъ, даже въ жары знойнаго лѣта, бѣгущихъ подъ тѣнью деревъ и кустовъ — живутъ всѣ породы форелей, изящныхъ по вкусу и красивыхъ по наружности, скоро пропадающихъ, когда человѣкъ начнетъ прикасаться нечистыми руками своимъ къ дѣвственнымъ струямъ ихъ свѣтлыхъ прохладныхъ жилищъ. Чудесной растительностью блистаютъ твои тучныя черноземныя, роскошныя луга и поля, то бѣлѣющіе весной молочнымъ цвѣтомъ вишенника, клубничника и дикаго персика, то покрытые лѣтомъ, какъ краснымъ сукномъ, ягодами ароматной полевой клубники и темною вишнею, зрѣющею позже и темнѣющею къ осени. Обильною жатвой награждается лѣнивый и невѣжественный трудъ пахаря, кос-какъ, и кой-гдѣ всковырявшаго жалкою сохою или неуклюжимъ сабаномъ твою плодотворную почву! Свѣжи, зелены и могучи стоятъ твои разнородныя черныя лѣса, и рои дикихъ пчелъ шумно паселяютъ нерукотворныя борти твои, занося ихъ душистымъ липовымъ медомъ. И уфимская куница, болѣе всѣхъ уважаемая, не перевелась еще въ лѣсистыхъ верховьяхъ рѣкъ

Уфы и Бѣлой! Мирны и тихи патріархальныя первобытныя обожатели и хозяева твои, кочевыя башкирскія племена! Много уменьшились, но еще велики, многочисленны, конскіе табуны и рогатыя и бараны стада ихъ. Еще по прежнему, послѣ жестокой, бурной зимы, отоцалые, исхудалые, какъ зимнія мухи, башкирцы съ первымъ весеннимъ тепломъ, съ первымъ подножнымъ кормомъ, выгоняютъ на привольныя мѣста, на половину передохшіе отъ голода табуны и стада свои, перетаскиваясь и сами за ними, съ женами и дѣтьми... И вы никого не узнаете черезъ двѣ или три недѣли! Изъ лошадиныхъ остововъ явятся бодрые и неутомимые кони, и уже степной жеребецъ гордо и строго пасетъ косякъ кобылицъ своихъ, не подпуская къ нему ни зѣбры ни человѣка!... Раздобрѣли тощія, зимнія стада коровъ, полны питательной влагой вымя и сосцы ихъ. Но что башкирцу до ароматнаго коровьяго молока: уже поспѣлъ живительный кумысъ, закисъ въ кобыльихъ *турсукахъ*<sup>1)</sup>, и все, что можетъ пить, отъ грудного младенца до дряхлаго старика идетъ доньяна цѣлительный благодатный, богатырскій напитокъ, и дивно исцѣляютъ всѣ недуги голодной зимы и даже старости: полнотой одѣваются осунувшіяся лица, румянцемъ здоровья покрываются блѣдныя, впалыя щеки. Но странный и грустный видъ представляютъ покынутыя селенія! Наскачетъ иногда на нихъ, ничего подобнаго не видавшій, заѣзжій путешественникъ, и поразится видомъ опустѣлой, какъ будто вымершей деревни! Дико и печально смотритъ на него окна разбросанныхъ юртъ съ бѣлыми трубами, лишенныя пузырчатыхъ оконницъ, какъ человѣческія лица съ выткнутыми глазами... Кой-гдѣ лаетъ на привязи сторожевой голодный песъ, котораго изрѣдка навѣщаетъ и кормитъ хозяинъ, кой-гдѣ мяучитъ одичалая кошка, сама промышляющая себѣ пищу, — и никого больше, ни одной души человѣческой.

„Какъ живописны и разнообразны, каждая въ своемъ родѣ, лѣсная, степная и гористая твоя полоса, особенно послѣдняя, по скату Уральскаго хребта, всѣми металлами богатая, золотопосная полоса!... Но впрочемъ, заговорился я, говоря о моей прекрасной родинѣ“.

Хотя все это описаніе сдѣлано чистѣйшею прозою, однако

---

<sup>1)</sup> Мѣшокъ изъ сырой кожи.



мы ставимъ его на ряду только съ описаніемъ природы Пушкина въ послѣдній періодъ его дѣятельности, по смѣлости, съ которою авторъ не обѣгаетъ ни одного предмета, необходимаго для картины, хотя бы казалось съ перваго взгляда, и не поэтическаго! А сколько подобныхъ, и еще лучшихъ описаній въ „Запискахъ ружейнаго охотника“! Это описаніе не скользитъ по верху предмета, оно касается его сущности, оно доходитъ до самаго корня этой степной жизни.

Такъ-то вотъ изображаетъ и людей Аксаковъ. Ни добро ни зло не направляютъ его пера въ ту или другую сторону; и добро, и зло, какое только есть въ людяхъ, все идетъ въ его картину, какъ одинаково удобный матеріалъ. Не какъ

..... дьякъ, въ приказѣ посѣдѣлый,  
Спокойно зрѣтъ на правыхъ и виновныхъ,  
Добру и злу внимая равнодушно,  
Не вѣдая ни жалости ни гнѣва,

но какъ художникъ, который чувствуетъ и добро и зло, и всѣмъ этимъ пользуется по-своему, для своей цѣли, рисуетъ намъ людей и картины природы Аксаковъ. Изъ описаній автора мы видимъ, что онъ понимаетъ и трудъ *пахаря* — лѣнливый и невѣжественный, точно такъ же какъ понимаетъ и Багрова, отъ долгаго житія въ деревнѣ одичавшаго, Багрова, котораго онъ очень любитъ; понимаетъ и все семейство Багрова: слѣдовательно, обо всемъ, прежде нежели начать описывать, составилъ себѣ ясное и твердое понятіе... Оттого-то такою поражающею красотою и блещетъ „Хро-ника“: въ ней нѣтъ мѣста недоумѣнію, и недомолвки имѣютъ своимъ источникомъ другія, лично принадлежащія автору, причины. Какая любовь въ отдѣлкѣ такихъ лицъ, какъ Багровъ и Куролесовъ! Ужъ одно то обстоятельство, что авторъ очень хорошо понимаетъ и Багрова и Куролесова, что онъ равно видитъ достоинства и недостатки этихъ лицъ, для насъ неизвѣстныхъ, невольно должно повести насъ къ рѣшенію слѣдующаго главнаго и единственнаго вопроса: что жъ заставило автора описывать эти лица, въ исторіи неизвѣстныя, на взглядъ автора совсѣмъ не идеально-прекрасныя? Какая цѣль автора? Что онъ хотѣлъ сказать изображеніемъ этихъ лицъ? Зачѣмъ онъ употребилъ весь свой талантъ на эти портреты? Зная уже, какъ остороженъ авторъ въ описаніи всего, какъ мало онъ любитъ передѣлывать жизнь

въ пользу или во вредъ тѣхъ или другихъ убѣжденій, мы на этомъ должны остановиться, потому что имѣемъ дѣло съ взглядомъ провицательнымъ, съ талантомъ опытнымъ, крѣпкимъ, знающимъ силу своего пера. Чѣмъ, какою стороною могутъ насъ поразить Багровъ и Куролесовъ? Что новаго дадутъ они нашей литературѣ въ настоящее время? Имѣютъ ли они значеніе для нынѣшняго ея развитія?

Постараемся отвѣтить на всѣ эти вопросы, но прежде, мы полагаемъ, нужно дать читателю хоть самое поверхностное понятіе, кто такіе эти Багровъ и Куролесовъ. Мы должны будемъ довольствоваться въ этомъ случаѣ отдѣльными чертами характеровъ того и другого и чувствуемъ, что уничтожимъ ту полноту очерка, какую находимъ у автора, потому что вполне передать эти характеры и не переписать всей „Хроники“ невозможно — такъ тѣсно связанъ у Аксакова рассказъ и постепенное уясненіе характеровъ. Попробуемъ сдѣлать, что можемъ.

И Багровъ и Куролесовъ, оба характера сильные, непреклонные и въ нѣкоторыхъ случаяхъ жестокие до звѣрства. Оба они мало образованы или совсѣмъ не образованы, если не считать образованіемъ умѣнья читать и писать; оба они дѣятельны, оба прекрасно устроили свои имѣнія и не только не разорили, но, напротивъ, обогатили крестьянъ. Несмотря на страшныя жестокости Куролесова, вотъ какое осталось воспоминаніе о немъ у крестьянъ:

„Не могу умолчать, что лѣтъ черезъ сорокъ, сдѣлавшись владѣльцемъ Парашина (гдѣ безчинствовалъ Куролесовъ) внукъ Степана Михайловича нашелъ въ крестьянахъ свѣжую благодарную память объ управленіи Михайла Максимовича (Куролесова), потому что чувствовали постоянную пользу многихъ его учрежденій: забыли его жестокость, отъ которой страдали преимущественно дворовые, но помнили умѣнье отличать праваго отъ виноватаго, работающаго отъ лѣниваго, совершенное знаніе крестьянскихъ нуждъ и всегда готовую помощь. Старикъ рассказывали, улыбаясь, что у Куролесова была поговорка: „плутуй, воруй, да концы хороши, а попался, такъ не пеняй“.

На это просимъ обратить особенное вниманіе, потому что такое доброе воспоминаніе крестьянъ о своемъ баринѣ показываетъ, что Куролесовъ, отъ природы лютый и свирѣпый,



не былъ однакожъ со всѣми свирѣпъ. Что касается до Багрова, то этого крестьяне обожали, хотя и его нельзя было назвать, какъ увидимъ ниже, снисходительнымъ. И Куролесовъ и Багровъ, оба были отличные хозяева. Багровъ руководствовался вотъ какими правилами:

„Онъ не торчалъ день и ночь при крестьянскихъ работахъ, не стоялъ часовымъ при ссыпкѣ и отсыпкѣ хлѣба; смотрѣлъ рѣдко да мѣтко, какъ говорятъ русскіе люди, и, ужъ прошу не прогнѣваться, если же замѣчалъ что дурное, особенно обманъ, то уже не спускалъ никому. Дѣдушка, сообразно духу своего времени, рассуждалъ по-своему: наказать виноватаго мужика тѣмъ, что отнять у него собственные дни — значить вредить его благосостоянію, т.-е. своему собственному; наказать денежнымъ взысканіемъ — тоже; разлучить съ семействомъ, отослать въ другую отчину, употребить въ тяжелую работу — тоже, и еще хуже, ибо отлучка отъ семейства — несомнѣнная порча; прибѣгнуть къ полиціи... Боже, помилуй, да это казалось такимъ срамомъ и стыдомъ, что вся деревня принялась бы быть по виноватомъ, какъ по мертвомъ, а наказанный счелъ бы себя опозореннымъ, погибшимъ. Да и надо сказать, что дѣдушка мой былъ строгъ только въ пылу гнѣва: прошелъ гнѣвъ, прошла и вина“.

Но зато, въ пылу гнѣва, огъ Багрова одинаково доставалось всѣмъ, и въ семействѣ онъ былъ звѣрь:

„Этотъ добрый, благодѣтельный и даже снисходительный человѣкъ, омрачался иногда такими вспышками гнѣва, которыя искажали въ немъ образъ человѣческій и дѣлали его способнымъ на ту пору къ жестокимъ, отвратительнымъ поступкамъ. Я видѣлъ его такимъ въ моемъ дѣтствѣ, что случилось много лѣтъ позже того времени, про которое и рассказываю — и впечатлѣніе страха до сихъ поръ живо въ моей памяти! Какъ теперь гляжу на него: онъ прогнѣвался на одну изъ дочерей своихъ, кажется, за то, что она солгала и заперлась въ обманѣ: двое людей водили его подъ руки; узнать было нельзя моего прежняго дѣдушку; онъ весь дрожалъ, лицо дергали судороги, свирѣпый огонь лился изъ его глазъ, помутившихся, потемнѣвшихъ отъ ярости. „Подайте мнѣ ее сюда!“ вопилъ онъ задыхающимся голосомъ... Между тѣмъ, не только виноватая, но и всѣ другія сестры и даже брать ихъ съ молодою женою и маленькимъ сыномъ убѣждали

изъ дому и спрятались въ рощу, окружавшую домъ; даже тамъ ночевали; только молодая невѣстка воротилась съ сыномъ, боясь простудить его, и провела ночь въ людской избѣ. Долго бушевалъ дѣдушка на просторѣ, въ опустѣломъ домѣ. Наконецъ, повалился въ изнеможеніи на постель и впалъ въ глубокой сонъ, продолжавшійся до ранняго утра слѣдующаго дня“.

И не забудьте, что Багровъ очень любилъ свою жену, Арину Васильевну! Мало того: при заключеніи брака онъ былъ, вѣроятно, очень разборчивъ, потому что:

„Древность дворянскаго рода была конькомъ его, и хотя у него было 180 душъ крестьянъ, но, производя свой родъ Богъ знаетъ по какимъ документамъ, отъ какого-то варяжскаго князя, онъ ставилъ свое семисотлѣтнее дворянство выше всякаго богатства и чиновъ. Онъ не женился на одной весьма богатой и прекрасной невѣстѣ, *которая ему очень нравилась*, единственно потому, что прадѣдушка ея былъ не дворянинъ“!

Но привести одну черту свирѣпости характера Багрова, значитъ совершенно исказить эту личность. Это былъ человекъ характера открытаго и честнаго.

„Не было человека, кто бы ему не вѣрилъ; его слово, его обѣщаніе было крѣпче всякихъ духовныхъ и гражданскихъ законовъ. Природный умъ его былъ здравъ и свѣтелъ. Онъ былъ истиннымъ благодѣтелемъ дальнихъ и близкихъ, старыхъ и новыхъ своихъ сосѣдей, особенно послѣднихъ, по ихъ незнанію мѣстности, недостатку средствъ и по разнымъ надобностямъ, всегда сопровождающимъ переселенцевъ. Полные амбары дѣдушки были открыты всѣмъ — бери что угодно. „Сможешь — отдай при первомъ урожаѣ; не сможешь — Богъ съ тобой“. Съ такими словами раздавалъ дѣдушка щедрою рукою хлѣбные запасы!... Къ этому надо прибавить, что онъ былъ такъ разуменъ, такъ снисходителенъ къ просьбамъ и нуждамъ, такъ неизмѣнно вѣренъ каждому своему слову, что скоро сдѣлался истиннымъ оракуломъ вновь заселяющагося уголка Оренбургскаго края. Мало того, что онъ помогалъ, онъ воспитывалъ нравственно своихъ сосѣдей! Только правдою можно было получить отъ него все. Кто разъ солгалъ, разъ обманулъ, то и не ходи къ нему на господскій дворъ... Со всѣхъ сторонъ ѣхали и шли къ нему за совѣтомъ, судомъ и приговоромъ — и свято исполнялись



они! И зналъ внуковъ, правнуковъ тогдашняго поколѣнія, благодарной памяти которыхъ въ изустныхъ разсказахъ переданъ былъ благодѣтельный и строгій образъ Степана Михайловича, не забытаго еще и теперь“.

Таковъ былъ Багровъ; такой характеръ выведенъ авторомъ на сцену дѣйствія, и понятно, сколько исторически-вѣрныхъ представленій изъ русской старины, теперь минувшей, ожило въ нашемъ воображеніи. Кто хочетъ увидѣть ее, пусть читаетъ книгу Аксакова. И этотъ характеръ, правдивый, твердо стоявшій на своей главной опорѣ, нравственной, сошелся въ жизни съ другимъ — съ Куролесовымъ. Мы видѣли уже нѣкоторыя черты этого характера, во многомъ сходнаго съ Багровымъ, но въ основаніи своемъ совершенно несходнаго. Куролесовъ не понравился Багрову, когда пріѣхалъ къ нему.

„Съ перваго взгляда это можетъ показаться страннымъ: отчего бы не понравился? У молодого маіора были нѣкоторыя качества, которыя, какъ будто бы симпатизировали съ свойствами Степана Михайловича; но у старика кромѣ здраваго ума и свѣтлаго взгляда было то нравственное чутье людей честныхъ, прямыхъ и правдивыхъ, которое чувствуетъ съ перваго знакомства съ человѣкомъ неизвѣстнымъ — кривду и неправду его, для другихъ не замѣтную, которое слышитъ зло подъ благовидною наружностью и угадываетъ будущее его развитіе. Ласковыя рѣчи и почтительный тонъ не обманули Степана Михайловича, и онъ сразу отгадалъ, что тутъ скрываются какія-нибудь плутни. При томъ дѣдушка былъ самой строгой и скромной жизни, и слухи, еще прежде случайно дошедшіе до него, такъ легко извиняемые другими, о безпутствѣ маіора поселили отвращеніе къ нему въ цѣломудренной душѣ Степана Михайловича, и хотя онъ самъ былъ горячъ до бѣшенства, но недобрыхъ, злыхъ и жестокихъ безъ гнѣва людей — терпѣть не могъ“.

Этотъ Куролесовъ, который такъ не нравился Багрову, женился однако, съ помощью разныхъ хитростей, на двоюродной сестрѣ Степана Михайловича, любимой его родственницѣ, сиротѣ и богатой наслѣдницѣ. Куролесова соблазнило богатое наслѣдство, и онъ хитростью и ласками умѣлъ привлечь на свою сторону всѣхъ женщинъ, такъ что онѣ — трепетавшія отъ одного взгляда Багрова — на этотъ разъ всѣ

измѣнили ему, всѣ обманули его. Куролесовъ женился и началъ хозяйничать въ жениномъ имѣніи съ усердіемъ и дѣятельностью изумительными. Онъ переселилъ крестьянъ, выстроилъ особое село, далеко отъ той деревни, гдѣ жила жена, и опять явился удивительнымъ хозяиномъ. Но какъ только онъ все устроилъ, какъ только у него осталось много свободного времени, которое онъ не зналъ куда дѣвать, всѣ зловѣщіе признаки его характера, его свирѣпости и любви къ разгулу начали развиваться и приняли характеръ чудовищный. Натура его, не сдерживаемая нравственными побужденіями, какъ у Багрова, исказилась совершенно. Свирѣпость, при окружающихъ его обстоятельствахъ, при существовавшей обстановкѣ, обратилась въ крвожадность. Онъ предался оргіямъ и на нихъ забывалъ все. Во время одной изъ подобныхъ оргій онъ былъ застигнутъ врасплохъ своею женою, любимую сестрою Багрова, противъ его воли вышедшею замужъ за Куролесова. Жена узнала съ ужасомъ о всѣхъ продолжкахъ мужа и печально явилась къ нему въ село. Уличенный ею въ своей безпорядочной жизни, Куролесовъ, совершенно забывшись, поступилъ съ нею такъ же дерзко, какъ поступалъ съ другими. Улика и справедливые укоры жены возбудили въ немъ, вмѣсто раскаянія и страха, одну злобу — и онъ заперъ свою полумертвую жену въ подвалъ. Объ этомъ-то обо всемъ вдругъ дали знать трое бѣжавшихъ слугъ Багрову, такъ нѣжно любившему свою двоюродную сестру. „Можно себѣ представить, что такое было съ Степаномъ Михайловичемъ, когда онъ узналъ о случившемся въ Парашинѣ!... Параша, сидящая въ подвалѣ уже третій день, можетъ-быть давно умершая, представилась съ такою ясностью его живому воображенію, что онъ вскочилъ какъ безумный, побѣжалъ по своему двору, по деревнѣ, изступленнымъ голосомъ сзывая дворовыхъ и крестьянъ. Всѣ сбѣжались, прискакали изъ полей, кого не было дома. Всѣ, сочувствуя отчаянному горю любимаго господина, кричали единогласно, что они всѣ ѣдутъ и пѣшкомъ идутъ выручать Прасковью Ивановну... И вотъ черезъ нѣсколько часовъ, трое роспусковъ, запряженныхъ тройками лихихъ господскихъ коней, съ двѣнадцатью чело-вѣками отборныхъ молодцовъ изъ дворовыхъ и крестьянъ и съ людьми, бѣжавшими изъ Парашина, вооруженными ружьями, саблями, рогатинами и желѣзными вилами, скакали по пара-



шинской дорогѣ. Къ вечеру выѣхали еще двое роспусковъ на лучшихъ крестьянскихъ лошадяхъ, съ десятью вооруженными людьми и поскакали по той же парашинской дорогѣ на подмогу Степану Михайловичу“...

Въ этомъ мѣстѣ разсказа Аксакова у читателя дыханіе стѣсняется отъ драматичности сцены, такъ мастерски подготовленной между Багровымъ и Куролесовымъ. Что будетъ, невольно спрашиваетъ онъ себя, предвидя столкновеніе двухъ такихъ непреклонныхъ характеровъ... Вотъ драма изъ нашей прошедшей жизни, драма, нисколько не подкрашенная фантазіей и потому имѣющая всю доказательность факта!

Но что жъ было, какъ встрѣтились Багровъ и Куролесовъ? Здѣсь мы напомнимъ читателю о томъ столкновеніи искусства и исторіи въ новомъ произведеніи Аксакова, о которомъ уже говорили. До сихъ поръ разсказъ веденъ былъ художникомъ и удовлетворялъ всѣмъ требованіямъ искусства. Читатель приготовился встрѣтить и развязку драмы, вполнѣ художественную; но авторъ рѣшилъ ее, какъ правдивый историкъ и — не удовлетворилъ художественнаго инстинкта читателя. Читатель остается недоволенъ — доказательство, что если писатель однажды задумалъ воспользоваться историческимъ матеріаломъ, какъ художникъ, онъ долженъ оставаться вѣренъ искусству до конца. Хотя требованія исторіи неотразимы въ области лѣтописи, но въ искусствѣ они должны подчиняться другимъ требованіямъ. Въ этихъ столкновеніяхъ хуже всего чувствуется, что искусство имѣетъ свою особую область, свои требованія, свои законы, и каждое постороннее вмѣшательство нарушаетъ его художественную гармонію. Понимаешь, какую правду сказалъ Аристотель, повидимому, высказывая парадоксъ, что въ искусствѣ болѣе правды, нежели въ исторіи; что исторія доказываетъ правдивость одного извѣстнаго случая, а искусство доказываетъ правдивость извѣстной общей мысли. Вотъ развязка драмы: „Только начала заниматься лѣтняя заря, нагрянули (Багровъ съ дворовыми и крестьянами) на широкій господскій дворъ и подѣхали прямо къ извѣстному подвалу, находившемуся возлѣ самаго флигеля, въ которомъ жилъ Куролесовъ. Степанъ Михайловичъ бросился въ подвалъ и началъ стучать кулакомъ въ деревянную дверь. Слабый голосъ спросилъ: „Кто тутъ?“ Дѣдушка узналъ голосъ сестры своей, прослезился отъ радости,

что засталъ ее живою, и, крестясь, громко закричалъ: „Слава Богу! Это я, братъ твой Степанъ Михайловичъ, ничего не бойся!“ Онъ послалъ кучера, лакея и стараго слугу Прасковьи Ивановны заложить коляску, въ которой она прѣхала изъ Чурасова, поставилъ шесть человѣкъ съ ружьями, саблями и рогатинами у входа въ выходъ, а самъ съ остальными, съ помощью топоровъ и желѣзнаго лома, принялся отбивать дверь. Въ одну минуту она была сломана; Степанъ Михайловичъ своими руками вынесъ Прасковью Ивановну, положилъ ее на роспуски, съ одной стороны посадилъ возлѣ нея вѣрную горничную, а съ другой стороны сѣлъ самъ, и со всеми людьми спокойно сѣхалъ со двора. „Какъ же все это случилось, спросятъ меня? Неужели никто не видалъ этого происшествія? Куда дѣвался Михайла Максимовичъ и его вѣрные слуги? Неужели онъ ничего не зналъ, или его не было дома?... Нѣтъ, многіе слышали и видѣли освобожденіе Прасковьи Ивановны; Михайла Максимовичъ былъ дома, даже зналъ, что происходитъ — и не осмѣлился показаться изъ своего флигеля“.

Какую жъ причину приводитъ авторъ такого недраматическаго окончанія такъ искусно завязанной драмы? Причину ту, что такъ было на самомъ дѣлѣ, и онъ не могъ перемѣнить факта.

— Да, есть нравственная сила праваго дѣла, передъ которою уступаетъ мужество неправаго дѣла. Михайла Максимовичъ зналъ твердость духа и безстрашную отвагу Степана Михайловича, зналъ неправость своего дѣла, и несмотря на свое бѣшенство и буйную смѣлость — уступилъ свою жертву безъ спора“.

Однакожъ эта нравственная сила праваго дѣла, которая въ большей мѣрѣ была на сторонѣ Прасковьи Ивановны, когда она явилась къ мужу, нисколько не подѣйствовала на Куролесова? Остается одно разрѣшеніе драмы: трусость Куролесова — но по тѣмъ силамъ, которыя выказалъ этотъ человѣкъ, или, по крайней мѣрѣ, какъ онъ былъ изображенъ передъ нами Аксаковымъ, объ этой трусости мы меньше всего могли догадываться. Тогда нужно было дать намъ прежде это почувствовать. Трусы иногда бываютъ лютѣе самихъ храбрыхъ людей: но тогда въ характерѣ ихъ долженъ быть отбѣнокъ, котораго не видимъ въ Куролесовѣ.



Это одинъ эпизодъ изъ жизни Багрова. Другой составляетъ „Женитьба молодого Багрова“, гдѣ роль Степана Михайловича также драматична. Онъ далъ своему сыну согласіе на такой бракъ, противъ котораго шло все семейство, даже его родовыя убѣжденія, весьма крѣпкія, какъ мы видѣли выше. Однимъ словомъ, онъ опять поступилъ прекрасно. Но въ этомъ отрывкѣ больше всего приковываетъ къ себѣ вниманіе женское лицо, нарисованное съ такимъ же мастерствомъ, какъ и самъ старикъ Багровъ. Однакожъ, какъ ни мастерски нарисовано это лицо, оно не имѣетъ того историческаго значенія, которое будетъ играть въ нашей литературѣ Багровъ. Софья Николаевна — уже женщина образованная, слѣдовательно рѣзко отдѣляется отъ всѣхъ другихъ; образъ ея мыслей и чувствъ дѣлаетъ ее близкою нашему времени, а не прошедшему. Она въ своемъ лицѣ не рождаетъ въ насъ воспоминаній изъ давноминувшаго, ея привычки и нравъ дѣлаютъ ее существомъ особеннымъ посреди мѣста, въ которомъ она живетъ. И потому этимъ женскимъ лицомъ мы дорожимъ въ другомъ отношеніи. Извѣстно, что въ нашей литературѣ мало женскихъ лицъ съ характерами рѣзко, но психологически-вѣрно очерченныхъ, характеровъ сильныхъ, взятыхъ не изъ фантазіи автора, а изъ дѣйствительной жизни. Такова Софья Николаевна, одаренная сильной волей и сильной любовью *материнской*; любви, въ собственномъ смыслѣ слова, мы въ этой женщинѣ не видѣли, и бракъ ея былъ дѣломъ трудныхъ обстоятельствъ и расчета съ ея стороны; но со всѣмъ тѣмъ сколько поэзіи въ ея материнской любви! Если сю можно любоваться и дивиться ей, какъ умѣла она сама воспитать себя и потомъ переломить себя, когда выходила замужъ за человѣка, къ которому не чувствовала ничего, кромѣ сожалѣнія, такъ нельзя не любить ее такою, какою она является уже въ „Воспоминаніяхъ“ автора. Поучительна въ искусствѣ автора, въ которомъ онъ рисуетъ это женское лицо, слѣдующая черта: Софья Николаевна — женщина начитанная и даже ученая, но во всей ея жизни авторъ нигдѣ не старается ее возвысить ни ученымъ разговоромъ ни безплодными сожалѣніями деревенской жизни, которая ниже всѣхъ ея душевныхъ желаній, ни романтичностью, ни сентиментальностью, какъ болѣзненными признаками чего-то высшаго въ натурѣ. Авторъ очень хорошо, по нашему мнѣнію,

чувствовалъ, что если всѣми этими избитыми средствами и легко выдвинуть впередъ любимое имъ лицо, зато сами эти средства недостойны искусства, потому что составляютъ общія мѣста, разсужденія и доказываютъ только, что авторъ не совладѣлъ съ тѣмъ характеромъ, который взялся изобразить. Въ Софѣ Николаевнѣ образованіе срослось съ ея характеромъ, слилось съ нимъ, и она одними своими поступками возвышается надъ всѣмъ остальнымъ, и въ этой образованной женщинѣ, во всякомъ словѣ, во всякомъ ея поступкѣ видишь жизнь, а не фразу, не идею. Удивительное соединеніе ума, образованности, силы воли и жизни! Чувствуешь, что такая женщина дѣйствительно существовала, и что подобныя ей существуютъ, но въ нашей литературѣ ихъ еще нѣтъ.

Два лучшія лица рассказовъ Аксакова, Багровъ и Софья Николаевна, такія поучительныя и съ такимъ мастерствомъ описанныя, изображены авторомъ безъ помощи тѣхъ ресурсовъ, къ которымъ обыкновенно прибѣгаютъ наши повѣствователи, т.-е. безъ помощи любви, какъ главной дѣйствующей страсти. Въ Багровѣ это понятно:

„Онъ мало понималъ романическую сторону любви, и мужская его гордость оскорблялась влюбленностью сына, которая казалась ему слабостью, униженіемъ, дрянностью въ мужчинѣ“. Черта замѣчательная и въ особенности важная въ примѣненіи къ нашей старинной допетровской жизни! Черта, которою многое поясняется, а еще больше уничтожается фальшивыхъ драмъ, фальшивыхъ историческихъ романовъ, гдѣ наши степенные бояре безъ ума влюбляются въ красавицъ подъ романтическими фатами. Но Софья Николаевна, такъ страстно обожающая своего сына... она способна къ увлеченіямъ, несмотря на то, что была вынуждена вступить въ бракъ по расчету. Мы чувствуемъ, что лишились одной изъ превосходныхъ страницъ ея жизни, на которыя авторъ опустилъ покрывало. Лучшей стороны ея мы не видѣли.

Вотъ и всѣ лица „Семейной Хроники“, на которыхъ мы хотѣли остановить вниманіе читателя. Но поспѣшимъ прибавить, что это только главныя дѣйствующія лица въ той жизни, которую авторъ изобразилъ съ мастерствомъ, давно нами невиданнымъ. Послѣ „Капитанской дочки“ и „Дубровскаго“ мы не читали рассказовъ, которые были бы такъ богаты историческимъ матеріаломъ и въ то же время такъ



полны въ художественномъ отношеніи. Манера Аксакова, повторяемъ, больше всего напоминала намъ манеру Пушкина въ повѣстяхъ послѣднихъ его лѣтъ: та же чистота въ отдѣлкѣ лицъ, то же глубокое знаніе жизни, та же прочность въ созданіи. Это не карточные домики, которые разрушаются черезъ пять или десять лѣтъ; имъ суждено долго жить и жизнью этою они обязаны будутъ, кромѣ художественныхъ причинъ, обилію историческаго матеріала, въ нихъ скрытаго. Потому что художественное произведеніе, какъ бы оно ни было привлекательно по своей отдѣлкѣ, если оно только поверхностно, т.-е. только картинно и не имѣетъ подъ собою прочной подкладки, скоро станетъ во второй разрядъ литературныхъ произведеній.

Типъ Багрова навелъ насъ на слѣдующія размышленія. Онъ напомнилъ намъ другія лица, и нельзя не отдать справедливости нашимъ новѣйшимъ писателямъ, что, съ помощью таланта ихъ, типъ стариннаго русскаго человѣка, крѣпкаго немногими, ясно усвоенными практическими правилами, которыя для него составляютъ всю энциклопедію наукъ, начинается обрисовываться ярче и ярче. Откуда бы ни брали его, будетъ ли то Багровъ, будетъ ли то Русаковъ, или старый рыбакъ — вездѣ чувствуешь, что авторы на прямой дорогѣ къ характеристикѣ этого сильнаго своею практичностью, здравымъ смысломъ и весьма не многими, зато непоколебимыми понятіями. Вездѣ чувствуешь, что авторы ищутъ то лицо, которое дало нашему старинному обществу типъ, ему лично принадлежащій. Вездѣ это лицо принимаетъ разные оттѣнки, смотря по тому, выгоднѣе или невыгоднѣе его обстановка; Багровъ ли это, помѣщикъ временъ намѣстничества, или простой рыбакъ, который свою силу, свой характеръ можетъ выказать только въ семьѣ; Русаковъ ли то, поле дѣйствія котораго немного обширнѣе, чѣмъ у рыбака. Чѣмъ больше развернется этотъ характеръ, т.-е. чѣмъ больше кругъ его дѣйствія, тѣмъ и характеръ его становится яснѣе. Такимъ образомъ старикъ Багровъ несравненно выше и Русакова и рыбака, не въ одномъ художественномъ отношеніи, но и въ историческомъ смыслѣ. Но основа всѣхъ этихъ характеровъ одна и та же. Въ жизни — великая практичность; въ семьѣ — полное самовластіе, въ области идей и въ смыслѣ нравственномъ — немногія обиходныя правила, почерпнутыя

изъ жизни и укрѣпленныя обычаемъ той же жизни. И надъ всѣмъ этимъ, какъ высшее разрѣшеніе задачъ человѣческой мудрости — религіозное чувство, которое ихъ не оставляетъ ни въ жизни обыкновенной, ни въ тѣхъ затруднительныхъ ея кризисахъ, гдѣ всякій другой человѣкъ готовъ пошатнуться въ ту или другую сторону. Это типъ человѣка, такъ сказать, крѣпко сплоченнаго, который многое можетъ сдѣлать въ жизни, который въ состояніи вынести на своихъ плечахъ самыя затруднительныя обстоятельства. Въ жизни дѣйствительной, въ большинствѣ, онъ, тѣснимый практическимъ умомъ, часто, можетъ-быть, жертвовалъ безукоризненностью своей нравственности исторической пользѣ, былъ то, что называется „себѣ на умѣ“, и тогда уже онъ представлялъ исключительное господство практичности надъ всѣми другими силами души. Тогда онъ умѣлъ и терпѣть (хотя въ семьѣ былъ самовластенъ) и хитрить, хотя въ подчиненныхъ не любилъ хитрости, и съ помощью этихъ двухъ новыхъ силъ способенъ былъ управиться съ татаринномъ, вытерпѣть все, что только можетъ вытерпѣть человѣкъ и, перехитривъ своего врага, отъ котораго во время борьбы позаимствовался многимъ, немягкимъ въ своемъ характерѣ. Но это, какъ мы сказали уже, другой оттѣнокъ того же типа. Во всякомъ случаѣ, занимательно слѣдить за этимъ не блестящимъ характеромъ, но прочнымъ, и по складу своего ума, и по простотѣ незатѣйливыхъ привычекъ, и по упрямству воли, и непреклонности характера въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ. Въ немъ чувствуешь что-то желѣзное — и мы назвали бы этотъ характеръ дѣйствительнымъ богатыремъ русской исторіи, если бъ эти слова не относились у насъ къ извѣстнымъ только сказочнымъ личностямъ.

Мы сказали, что основа этого характера остается одна и та же, несмотря на то, что кругъ его дѣятельности расширяется. Мы увѣрены, что встарину характеръ этотъ господствовалъ, и большинство лицъ, по простотѣ своихъ нравственныхъ и практическихъ убѣжденій, походило другъ на друга столько же, сколько старшій рыбакъ Григоровича похожъ на Русакова г. Островскаго, а Русаковъ на Багрова. Всѣ эти лица относятся къ нашей старинѣ, и мы готовы признать напередъ типомъ характера стариннаго человѣка — людей въ родѣ Багрова. Это цвѣтъ старинной жизни, потому что въ немъ практическія убѣжденія *урасновѣщены* нравствен-



ними, а между тѣми и другими можетъ быть борьба, столкновение, чего въ другомъ оттѣнкѣ подобнаго рода людей, у которыхъ практичность взяла перевѣсъ надъ всѣмъ, не можетъ быть: тамъ грубый здравый смыслъ давитъ все то, что носитъ на себѣ оттѣнокъ мысли и чувства, въ примѣненіи къ жизни безполезныхъ; тамъ и нравственные убѣжденія нестойки, и характеръ отъ своего однообразія теряетъ поэзію.

Итакъ, мы говорили, что смотримъ на Багрова, какъ на типъ, принадлежащій старинной нашей жизни. Но не можемъ никакъ представить себѣ новѣйшаго человѣка въ этой простой, нравственной и умственной формѣ. Этому новѣйшему человеку не будетъ доставать той твердости убѣжденій, которыя принадлежать старинному человеку, сложившемуся изъ немногихъ убѣжденій, выведенныхъ, вдобавокъ, не изъ отвлеченныхъ теорій, а изъ случаевъ обыденной жизни, убѣжденій, которыхъ зато ничѣмъ и не сокрушишь. Такіе люди идутъ прямо къ цѣли, которую гораздо легче вывести изъ круга ежедневныхъ заботъ, изъ ряда немногихъ легко усвоенныхъ понятій, нежели изъ множества разнообразныхъ мнѣній, осаждающихъ и голову и сердце его. Отъ этого старинные люди кажутся полнѣе, законченнѣе въ художественномъ отношеніи: въ нихъ видишь и начало и конецъ, между тѣмъ какъ у современнаго человѣка видишь множество побужденій, а цѣль ихъ теряется во мракѣ, и потому художникъ, описывающій современныя личности, самъ постоянно теряется въ отвлеченностяхъ, какъ и тѣ лица, которыя онъ взялся описывать. И художникъ проигрываетъ... Проигрываетъ уже тѣмъ, что онъ безпрестанно долженъ имѣть дѣло съ понятіями, идеями, не перешедшими еще въ жизнь, между тѣмъ какъ другой его собратъ, взявшійся представить личность стариннаго человека, имѣетъ дѣло съ фактами, событіями, съ жизнью точною, едва не математически рассчитанною. Тамъ, гдѣ въра въ немногія правила жизни не колеблется, эти правила можно принять за исходные математическіе пункты, изъ которыхъ ужъ жизнь станетъ развиваться также послѣдовательно, какъ изъ одной математической теоремы развивается другая, развивается правильно, не оставляя сомнѣній въ душѣ того, кому ее доказали. Слѣдовательно, художнику, всмотрѣвшемуся въ подобныя лица, создать ихъ нетрудно, какъ кажется съ перваго взгляда, когда судишь о нихъ по полной и простой

законченности этихъ фигуръ. Посмотрите на нашу литературу послѣдняго времени: сколько лицъ явилось вполне законченныхъ, принадлежащихъ преимущественно провинціальной жизни; лицъ, которыя развивались подъ вліяніемъ немногихъ умственныхъ и нравственныхъ условій, подъ вліяніемъ правилъ, извлеченныхъ изъ обихода семейной и общественной жизни: всѣ они ясны, точны, и читатель ничего больше отъ нихъ не требуетъ.

Итакъ, главное достоинство этихъ фигуръ, какъ мы сказали, — ихъ законченность, опредѣленность, ясность, точность, за которою мысль читателя не ищетъ ничего: они всѣ на виду, и ихъ твердый характеръ, ихъ немногія убѣжденія и ихъ исключительно практическій смыслъ. Художникъ, взявшійся нарисовать подобное лицо, выигрываетъ тѣмъ какъ мы сказали, что передъ глазами читателя смѣло мечетъ черту за чертою, изъ числа немногихъ свойствъ этихъ характеровъ; но онъ въ то же время и проигрываетъ: проигрываетъ больше, нежели другой художникъ, взявшій на себя трудъ опредѣлить личность не такую простую, болѣе сложную, не опредѣлившуюся еще, во многомъ отвлеченную. Проигрываетъ отъ того, что въ большей части этихъ практическихъ характеровъ мало поэзіи. Въ Багровѣ мы ее замѣчаемъ, когда начинается борьба съ другимъ, для Багрова отвлеченнымъ понятіемъ, которому онъ долженъ уступить: съ любовью сына, которому онъ даетъ согласіе на бракъ, и въ любви старика Багрова къ сестрѣ, — любви, повидимому, ни на чемъ неоснованной кромѣ какихъ-то требованій сердца. Въ обоихъ случаяхъ видишь, что душа этого человѣка была бы доступна многому высокому, если бы она не загрубѣла въ узкой обстановкѣ жизни. Но въ большей части несложныхъ практическихъ натуръ нѣтъ борьбы; въ нихъ есть постоянное преобладаніе одной или нѣсколькихъ мыслей, твердо усвоенныхъ. Вы напередъ знаете, какъ подобный характеръ поступитъ въ томъ или другомъ случаѣ, потому что знаете два или три правила его обиходной жизни. Его умственная сторона не работаетъ или работаетъ только въ практическомъ смыслѣ. Она примѣняетъ одно и то же начало къ десяти случаямъ, встрѣтившимся въ ежедневной жизни. Но въ этой умственной жизни нѣтъ той борьбы, которая происходитъ отъ вторженія враждебныхъ идей, осаждающихъ основныя правила, враждебныхъ



потому что онѣ колеблютъ прочія практическія правила. Гдѣ нѣтъ внутренней борьбы, тамъ нѣтъ и душевной драмы: есть властвованіе одной мысли надъ другою; есть точность, ясность, опредѣленность. Но при такихъ отношеніяхъ, какія мы видимъ у Багрова къ женѣ и къ семейному порядку, эта опредѣленность отношеній, слишкомъ возвышающая одну сторону, не представляетъ поэзіи, а въ нравственномъ отношеніи мало ручательствъ въ прочности такого порядка.

Куролесовъ представляетъ другую сторону этихъ практическихъ людей, уже опасную для общества, если ихъ стремленіе къ дѣятельности не удерживается моральными, какъ у Багрова, или общественными узами. Природа этого человѣка сильна и въ одномъ отношеніи богаче натуры Багрова; Куролесовъ начинаетъ тяготиться деревенскою жизнью, тогда какъ Багровъ постоянно ею доволенъ и ничего лучше не желаетъ; но въ этомъ стремленіи выйти изъ монотонной и недѣятельной жизни, онъ бросается въ ту крайность, которая можетъ быть только у человѣка вполне необразованнаго и притомъ безнравственнаго. Будь Куролесовъ настолько доступенъ вліянію идей, насколько у него достаетъ сметки на каждое практическое дѣло; будь душа этого человѣка занята какою-нибудь мыслью въ безконечные праздные дни; будь она подготовлена къ принятію какого-нибудь благороднаго помысла, — вѣрно, Куролесовъ не кончилъ бы свой вѣкъ въ безобразныхъ оргіяхъ. Безъ нравственной опоры, безъ всякой благотѣльной умственной пищи, этотъ человѣкъ, желавшій дѣятельности и осужденный къ бездѣйствію среди раболѣпствующей толпы; безъ видовъ въ будущемъ, потому что здравая мысль его видѣла одну постоянную вереницу однообразныхъ дней; безъ помысловъ благородныхъ, которыхъ не могла дать ему окружающая жизнь и не заронило въ немъ воспитаніе, этотъ человѣкъ представляетъ характеристическое явленіе стариннаго нашего общества, имѣющее глубокое историческое значеніе. Въ этомъ отношеніи мы очень дорожимъ этимъ безобразнымъ въ нравственномъ отношеніи типомъ. Все, что было хорошаго въ этомъ человѣкѣ — его положительный умъ, его дѣятельность, его справедливая строгость въ деревенскомъ хозяйствѣ — все извращалось, все надоѣдало ему, и тогда всѣ требованія его ума и сердца выражались въ чудовищныхъ оргіяхъ. Подобныя оргіи — един-

ственная поэтическая, хотя и грубая, безобразная сторона, которую можно назвать цвѣтомъ его жизни. Но каковъ чело-вѣкъ, такова и поэзія его. Дальше и лучше подобные люди не могутъ представить ничего, никакой поэзіи. Все остальное для нихъ не существуетъ. Для нихъ міръ ограничивается деревней, общество — дворней, интересы — оргіей! Поучительный для выводовъ характеръ, поучительнѣе Багрова! Всматриваясь только въ этихъ людей, понимаешь всю ту благодѣтельную переѣну, которую можетъ сдѣлать въ нихъ образованіе, расширивъ ихъ умственный, нравственный и общественный горизонтъ. Вѣдь сила въ этомъ чело-вѣкѣ много, какъ паровъ въ машинѣ желѣзной дороги, но имъ не дано направленія, и вся эта сила вмѣсто того, чтобъ везти по данному направленію множество вагоновъ и пассажировъ, разрываетъ котель и причиняетъ смерть всѣмъ окружающимъ. Его увлеченія, хотя и грубыя, непремѣнно доказываютъ только одно, что характеръ этотъ требовалъ болѣе тщательнаго воспитанія. Люди, подобные Куролесову, — пятна на обществѣ людей, подобных Багрову, людей, твердо опредѣлившихся на нѣсколькихъ обиходныхъ идеяхъ: они пятна нашего стариннаго общества и презняго нашего необразованія. Людей этихъ можно назвать глухими симптомами скрытой болѣзни, и чѣмъ природа подобныхъ людей сплнѣе, тѣмъ больше въ нихъ бѣды. Переходъ отъ трезвой дѣятельности къ безумной оргіи, какъ переходъ отъ старинной заунывной пѣсни къ плясовой, составлялъ характеристическую черту нашей старины; но онъ влекъ за собою большую опасность для другихъ, въ людяхъ, подобныхъ Куролесову, природная сила которыхъ, извращенная грубою жизнью, находила себѣ благопріятную обстановку. Всѣ подобные характеры доказывали одно: потребность вырваться изъ той монотонной старинной жизни, составившейся изъ немногихъ непреложныхъ началъ, въ которой законодателями служили Багровы и Русаковы. Куролесовы искали чего-то новаго, но какъ сами не знали, чего ищутъ, то и представляли явленія только отрицательныя, протестъ противъ обыденной жизни.

Сдѣлаемъ маленькое отступленіе, возьмемъ другой примѣръ — Любима Торцова въ комедіи г. Островскаго „Бѣдность не порокъ“. Лицо это непохоже на Куролесова настолько же, сколько и Багровъ непохожъ на Куролесова:



и Багровъ и Любимъ Торцовъ одинаково тверды въ своихъ нравственныхъ убѣжденіяхъ, которыхъ не имѣетъ Куролесовъ, но, по нашему мнѣнію, причины, сдѣлавшія Любима Торцова такимъ, какъ онъ намъ является въ драмѣ, — тѣ же, которыя изъ характеровъ, подобныхъ Куролесову, дѣлаютъ страшилища для общества. При общественной обстановкѣ, въ которой жилъ Любимъ Торцовъ, онъ могъ сдѣлаться только гулякой, вреднымъ для себя; Куролесовъ былъ вреденъ для общества. Само собою, что подобныя лица не могутъ служить примѣромъ русской удали, русскаго чувства, русскаго молодечества. И то, и другое, и третье, мы намѣрены понимать несравненно выше, благороднѣе и полезнѣе для общества.

Всѣ подобныя лица — историческіе факты, которые требовали объясненія, и мы приложили къ нимъ свое, какъ умѣли. Противъ фактовъ говорить нельзя; нужно взять фактъ себѣ въ помощь и доказывать имъ что-нибудь, потому что лица, подобныя Багрову и Куролесову, иногда лучше всякой исторіи показываютъ намъ наше прежнее общество.

*Дудышкинъ.*

## Художественныя стороны „Семейной хроники“.

Авторъ прежде всего выступилъ предъ нами съ сочиненіями, посвященными охотѣ, съ „Записками объ уженьи“, съ „Записками ружейнаго охотника“, „Разказами и воспоминаніями охотника“. Намъ кажется, что, издавая эти книги, авторъ самъ не вполне ясно чувствовалъ свое призваніе. Онъ придавалъ книгамъ своимъ, какъ кажется, утилитарное значеніе. Объ этомъ свидѣлствуетъ все построеніе этихъ книгъ, и различіе перваго, болѣе сухого изданія книги объ уженьи отъ втораго, болѣе поэтическаго. Но, по нашему мнѣнію, собственно утилитарнаго-то значенія онѣ и не имѣютъ. Если смотрѣть съ этой точки зрѣнія, въ книгахъ его много лишняго, много лишнихъ описаній, бесполезныхъ для охотника, не имѣющихъ прямой практической приложимости, и въ то же время многого недостаетъ, чего могъ бы пожелать охотникъ, чтобы практически пользоваться книгой. Книга его, — мы говоримъ о лучшей, т.-е. полнѣйшей по отношенію къ вну-

тревнему возрѣнію книгѣ, — „Запискахъ ружейнаго охотника“, — напротивъ, имѣетъ, какъ замѣчено было уже и всѣми, вполне поэтическое значеніе. Она можетъ быть опредѣлена, какъ художественное воспроизведеніе безкорыстнаго соприкосновенія человѣка съ природой. Такова собственно и есть охота. Она сама по себѣ есть прекрасное явленіе, какъ прекрасно всякое безкорыстное, одушевленное увлеченіе; она вдвойнѣ прекрасна, потому что не есть увлеченіе бездѣйственное, она — вся движеніе, вся борьба. Но успокоительно дѣйствуетъ на васъ видъ этой борьбы, ибо предъ вами нѣтъ сознанаго невиннаго страданія. Жертва борьбы — природа, не сознающая и не свободная, не имѣющая нравственнаго значенія. Авторъ, съ одной стороны, описываетъ намъ природу, какъ одну изъ сторонъ, едва было мы не сказали, — какъ одинъ изъ моментовъ этой борьбы. Съ художническимъ тактомъ онъ рисуетъ намъ ее настолько, насколько нужно, чтобы выступила она для возбужденія прекраснаго ощущенія. Онъ старается подмѣтить въ ней жизнь тамъ, гдѣ она замѣтна: слѣдитъ за проявленіями любви въ селезняхъ, дупеляхъ, перепелкахъ, тетеревахъ, подмѣчаетъ всѣ ихъ движенія, въ которыхъ видно это чувство; описываетъ хитрость птицы: осторожность гусей, охраняемыхъ своими ночными стражами; ловкость гоголя, ускользающаго отъ самой вѣрной руки и отъ самаго мѣткаго выстрѣла въ одинъ мигъ, по одному звуку спускаемаго курка; притворство утки, притворяющейся хромою и больною, лишь бы только защититъ своихъ дѣтей, лишь бы только отвести отъ нихъ чуткую собаку и неумолимаго охотника; особенность стрепета, умѣющаго спрятаться около васъ самихъ, на той самой дорогѣ, по которой вы ѣдете, и обманывающаго васъ, — вольно или невольно, Богъ его знаетъ, — своимъ, какъ будто отдаленнымъ, а между тѣмъ очень близкимъ отъ васъ крикомъ... Онъ возбуждаетъ участіе къ птицѣ, истребляемой охотникомъ, вводя васъ въ ея жизнь, приближая эту жизнь къ вашей жизни, заставляя ее дѣйствовать, чувствовать, почти даже мыслить по-вашему. Итакъ, вотъ она, изображенная со всѣми способами къ борьбѣ, со всѣми орудіями обороны, со всѣми правами на ваше участіе. вмѣстѣ съ тѣмъ, ту же жизнь наноситъ онъ и на мертвую бездушную природу, какъ на поприщѣ этой борьбы. Дерево у него задумывается, болото, какъ живое, колеблется



подъ ногами или засасываетъ въ себя неосторожнаго охотника. „Отраденъ видъ густого лѣса въ знойный полдень, освѣжителинъ его чистый воздухъ, успокоительна его внутренняя тишина, и пріятенъ шелестъ листьевъ, когда вѣтеръ порой пробѣгаетъ по его вершинамъ! Его мракъ имѣетъ что-то таинственное, неизвѣстное; голосъ звѣря, птицы, человека измѣняются въ лѣсу, звучать другими странными звуками. Это какой-то особый міръ, и народная фантазія населяетъ его сверхъестественными существами, „лѣшими“ и „лѣсными дѣвками“, такъ же какъ рѣчные озерные омуты — „водяными чертовками“; но жутко въ большомъ лѣсу во время бури, хотя внизу и тихо; деревья скрипятъ и стонутъ, сучья трещать и ломаются. Невольный страхъ нападаетъ на душу, и заставляетъ человека бѣжать на открытое мѣсто“. Если природа сама и не живетъ собственнымъ чувствомъ, — она возбуждаетъ въ жизни ваше чувство и фантазію! Но вотъ передъ вами и охотникъ, весь отданный этой борьбѣ, отданный съ безкорыстнымъ увлеченіемъ. Съ самой ранней весны, еще до зимняго исхода, онъ смотритъ на любимое свое ружье, безъ всякой нужды нѣсколько разъ снимаетъ его со стѣны, пересмотритъ и вычиститъ. Не разъ выходитъ онъ на воздухъ, чтобы посмотрѣть, не начался ли прилетъ. Наступаетъ весна. Съ замираніемъ сердца слышитъ онъ разноголосый крикъ летучаго населенія степи; онъ бѣжитъ, преодолеваетъ всѣ препятствія, какія составляетъ ему осторожность птицы, неудобство мѣстности, дальность разстоянія; увязаетъ въ болотѣ, тонетъ въ согнившемъ деревѣ, измученный, усталый, онъ забываетъ свою усталость, чтобы подстеречь дорогую ему птицу. Но онъ дорожитъ ею совсѣмъ не какъ средствомъ прибытка; онъ отвращается добычливой охоты, гдѣ не дается птицѣ полный просторъ и свободы, гдѣ отъ охотника не требуется ловкости и труда, гдѣ для него нѣтъ препятствія; ему совѣстно убивать птицу, опьянѣвшую отъ любви и не замѣчающую грозящей ей опасности, даже не помышляющую о ней въ своемъ страстномъ упоеніи. Словомъ, онъ любитъ истребляемую имъ птицу, со всѣмъ горячимъ участіемъ, съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдя за ея образомъ жизни, выиская въ ея нравъ, интересуясь каждымъ ея движеніемъ. Итакъ, повторимъ, что сказано нами гораздо выше: здѣсь главное мѣсто занимаетъ не природа и не красота природы сама по

себѣ, напротивъ, жизнь, соприкасающаяся съ природою, и красота безкорыстнаго соприкосновенія. Авторъ не описываетъ явленій во всей самостоятельной красотѣ ихъ, насколько она для нихъ возможна: онъ указываетъ ее, насколько она возбуждаетъ охотника. И въ довершеніе прекраснаго ощущенія, вызываемаго полнымъ миромъ человѣка съ природою, природа является у него, насколько она другъ, а не врагъ человѣку, и препятствіе невинное, легко преодолимое, даже препятствіе, котораго самъ ищетъ и которымъ самъ наслаждается человѣкъ!

Но художественно изображенная охота возбуждаетъ ваше сочувствіе только отрицательно. Васъ увлекаетъ процессъ этой борьбы только своимъ безкорыстіемъ, отсутствіемъ мелкихъ эгоистическихъ интересовъ. Но въ сущности эта борьба пуста: ибо жизнь, съ которою борется охотникъ, ея противодействие и препятствія, которыя ему нужно преодолевать, все это — вымысль. Сочувствіе и любовь охотника къ своимъ жертвамъ также пусты: ибо они обращены на природу, не имѣющую нравственнаго достоинства. Перейдите маленькую черту, и успокоивающее, а отчасти трогательное впечатлѣніе превратится въ комическое. Въ комическомъ характерѣ явится предъ вами человѣкъ, бросающій важные интересы жизни, чтобы отдаться наслажденію, ничтожному и пустому самому по себѣ. Та прекрасная природа, живая и возбуждающая ваше участіе, явится предъ вами грязнымъ, туманнымъ, сырýmъ, крайне непріятнымъ болотомъ или однообразнымъ, не успокоивающимъ вашего взора полемъ. И самъ охотникъ въ пыли, наполовину въ грязи, съ едва переводимымъ дыханіемъ слѣдящій за движеніями маленькой птички, истощающій запасъ силы, ума и искусства, чтобы убить ее, — не комическое ли явленіе? Итакъ, нужно много такта, много живого, свѣжаго воззрѣнія, чтобы освѣтить эту картину. Нужно много имѣть въ запасѣ нравственно-художественнаго воззрѣнія, чтобы черезъ самое это отсутствіе всякихъ положительныхъ интересовъ внести въ васъ смутный, едва слышимый образъ высшихъ интересовъ, имѣющихъ положительное право на сочувствіе!

Яснѣе это воззрѣніе, положительнѣе права на сочувствіе въ новой книгѣ г. Аесакова, гдѣ изображается уже не природа и не жизнь среди природы и съ природою, но жизнь



сама среди себя. Талантъ автора и здѣсь остается, по преимуществу, талантомъ описательнымъ: тамъ, гдѣ касается онъ природы, выходятъ самыя лучшія ландшафтыя страницы книги; но описанія по отношенію къ главному содержанію книги составляютъ второстепенное; природа здѣсь только обстановка жизни, поприще, на которомъ вращается дѣятельность Багровыхъ, Куролесовыхъ, Аксаковыхъ и пр., изображенія ея только дополняютъ цѣлостное впечатлѣніе, которое производитъ въ насъ положительное содержаніе самой жизни. Передъ вами — горячая прямота Степана Михайловича Багрова, ненавидящаго всякія кляузы, лицемеріе, всякую ничтожность и мелочность, переселяющагося ради этого въ далекій край, гдѣ онъ скоро сталъ благодѣтелемъ, совѣтникомъ, отцомъ всего околотка. Это натура — грубая и не воздѣланная, но сочувствующая просвѣщенію и уважающая его въ лицѣ своей невѣстки. Недостатокъ рефлексіи, приобретаемой образованіемъ, онъ замѣняетъ тѣмъ нравственнымъ чутьемъ, которымъ глубоко нравственная, цѣльная натура угадываетъ ложь и гадость въ человѣкѣ, какъ бы ни была хороша ея наружность; натура, — не уступающая никакому оболъщенію, напротивъ, все ломающая и сокрушающая на своей прямой дорогѣ, жертвующая прямою всѣмъ, всѣмъ безъ исключенія, даже собственными своими сердечными, дорогими чувствами, спокойствіемъ, здоровьемъ, почти счастьемъ горячо любимой семьи. Передъ вами — строгая твердость Прасковьи Ивановны, сначала беззаботной дѣвочки, дававшей волю своимъ дѣтскимъ желаньямъ во всей невинной широтѣ ихъ, но вдругъ перемѣнившаяся послѣ замужества, когда природная широта и твердость характера должна явиться уже не въ игрушкахъ, а въ болѣе серьезныхъ предметахъ жизни, тяготившейся прежде своимъ непотатчикомъ братомъ, и потомъ вдругъ горячо ему преданной. „Прочла ли она въ его глазахъ, полныхъ слезъ при встрѣчѣ съ нею, сколько скрывается любви подъ суровою наружностью и жестокимъ самовластіемъ этого человѣка? Было ли это темное предчувствіе будущаго, или неясное пониманіе единственной своей опоры и защиты? Почувствовала ли она безсознательно, что изъ всѣхъ баловницъ и потатчицъ ея ребяческимъ желаніямъ — всѣхъ больше любилъ ее грубый братъ, противникъ ея счастья, не влюбившій любимаго ею мужа?... Не знаю, но для всѣхъ было поразительно, что

прежняя легкомысленная, равнодушная къ брату дѣвочка, не понимавшая и не признававшая его правъ и своихъ къ нему обязанностей, имѣющая теперь всѣ причины къ чувству неприязненному за оскорбленіе любимой бабушки, — вдругъ сдѣлалась не только привязанною сестрою, но горячею дочерью, которая смотрѣла въ глаза своему двоюродному брату, какъ нѣжно и давно любимому отцу, нѣжно и давно любящему свою дочь...“ Но твердость и широта ея характера явилась въ полномъ видѣ только тогда, какъ вытерпѣла она пятисуточное свое голодное заключеніе въ подвалѣ, не измѣнивъ разъ выраженному желанію прекратить дальнѣйшія злодѣйства своего мужа, — и она вытерпѣла бы до конца! — и когда по смерти своего злодѣя-мужа заплакала и пожалѣла о его безпокаянной смерти. Предъ вами цѣлый Григорій Ивановичъ, возвышенное, до деликатной щекотливости добросовѣстное чувство долга, — чувство, насилующее свою мягкую натуру, вынуждающее у ней несвойственную холодность и суровый видъ. Шишковъ, — безкорыстная, до самозабвенія доходящая преданность идеѣ общаго блага, какъ оно ни было понимаемо, — съ твердостью, съ упорствомъ, съ мученическимъ постоянствомъ служащій своимъ идеямъ, несмотря на озлобленныхъ и торжествующихъ противниковъ. „Эту твердость называли упрямствомъ, изувѣрствомъ; но Боже мой, какъ бы я желалъ многимъ добрымъ людямъ настоящаго времени поболѣе этого упрямства, этой горячей ревности!...“ Тихія, цѣломудренныя отношенія Угличинскихъ, въ атмосферѣ которыхъ все такъ оживляется, что почти совсѣмъ завядшіе цвѣты снова расцвѣтаютъ, — проявленія неизмѣримой материнской любви, рѣшающейся на опасности страшныя и мужчинѣ, для спокойствія малютки сына, дружескія отношенія мальчика-братца съ дѣвочкой-сестрицей, картина учащагося юношества, пылкаго, благороднаго, съ безкорыстно-честными стремленіями, наконецъ, вообще чувства семейныхъ и территоріальныхъ привязанностей, столько воспитывающихъ нравственно человѣка, сохраняющихъ его честь и чистоту... И надъ всѣмъ этимъ паритъ общій смыслъ всей нашей жизни, — воззрѣніе, безпристрастное и къ старымъ грубымъ формамъ, и къ недавней цивилизованности, и сочувствующее прямо и ясно только просвѣщенію...

Да, въ этой книгѣ слышите вы столько художественно воспро-



изведенной правды, столько нравственной чистоты, столько, чувствуете, положено въ ней сочувствію къ доброму, и единственно къ доброму, что, не обинуясь, мы поставили бы ее въ число первыхъ книгъ къ нравственному воспитанію юношества. Ея художественное изложеніе увлекаетъ васъ: истина, передаваемая въ образахъ, принимается не головой, не однимъ знаніемъ, часто чуждымъ и виѣшнимъ вашей жизни, но всею воспріемлемостью души. Какъ и всегда бываетъ съ прекраснымъ, оно захватываетъ всю вашу душу, заставляетъ проживать весь изложенный и положенный здѣсь ходъ мысли и чувства, а между тѣмъ сколько добраго, — Боже мой, сколько добраго возбуждается чрезъ это въ васъ, какія глубоко залегшія, полуглушенныя чувства выхватываются изъ васъ! Какъ изъ душной комнатной спертой атмосферы вышедши на свѣжій воздухъ, вы чувствуете себя среди этого міра лучше, свѣжѣе, чище, вы духовно воспитываетесь. Прочь, прочь отъ этой пошлости, отъ этой величавой пустоты и ничтожнаго величія, благообразнаго порока и малодушной доброты, прочь отъ всей этой дряни, которою, — увы! — столько богатъ современный намъ вѣкъ и которою съ такою грустною вѣрностью, съ такой оскорбляющею услужливостью угощаетъ насъ современная намъ литература!...

Когда мы сказали, что эта правда, эта чистота, это безпристрастное ко всякой формѣ жизни сочувствіе къ добру выражено въ нововышедшей книгѣ Аксакова художественно, и потомъ даже прибавили, — въ образахъ: то само собой разумѣется, что все это высказывается самою изображаемою жизнью, ея ходомъ, свободными, разнообразными дѣйствіями описываемыхъ лицъ, и только изрѣдка изливается въ видѣ неудержимаго личнаго чувства. Если бы передъ нами было чисто творческое произведеніе искусства, то, конечно, мы спросили бы при этомъ: вполнѣ ли вѣрны дѣйствительности эти изображаемыя дѣйствія и лица? Но предъ настоящею книгою подобный вопросъ неумѣстенъ: авторъ рисуетъ съ натуры, и описываемыя имъ лица и дѣйствія не выдуманы. Однакоже мы должны въ этомъ отношеніи отдать справедливость художническому такту автора. Въ своихъ описаніяхъ онъ не ограничивается, во-первыхъ, одною общою постановкою изображаемыхъ лицъ и дѣйствій; съ отчетливостью, какой иногда можетъ позавидовать послѣдователь натуральной

школы, передаетъ онъ особенности рѣчи того или другого лица, его обыкновенный костюмъ, походку, ничего не значащія, повидимому, привычки и вообще разныя мелочи, которыми сопровождается наша внѣшняя жизнь. Но, съ другой стороны, все это возвышается имъ до типическаго выраженія. во всемъ свѣтитъ внутреннее и общее, характеръ ли цѣлаго лица, или даже характеръ всей извѣстной жизни. Калиновъ, подожокъ Степана Михайловича, домашній холстъ, изъ котораго шились ему рубашки, тихая походка Шишкова, едва волочившаго ноги и ничего предъ собой не видѣвшаго, какія-нибудь, повидимому, не значащія и совершенно ненужныя для насъ лица, Ванька Мазанъ и Танайченко съ выпитымъ жбаномъ хозяйской бражки, мельникъ Болтуненко, капитанша Арстова, даже котъ Тимошка и кошка Машка — все это, несмотря на видимую свою незначительность, оказывается необходимо нужнымъ для объясненія общаго смысла исторической личности или цѣлага отдѣла жизни; и отнимите это, — вы почувствуете, что изображеніе не такъ полно или не такъ ясно. Этимъ художническимъ умѣньемъ пользоваться мелочами жизни г. Аксаковъ возвышаетъ свое произведеніе до чистаго искусства, во всемъ высокомъ смыслѣ этого слова. И оно дѣйствительно таково. Какъ чистый художникъ беретъ вертящуюся около него мелочь жизни, очищаетъ ее и возводитъ ее до типическаго выраженія, такъ то же самое дѣлаетъ и нашъ авторъ. Все различіе между нимъ и чистымъ художникомъ только въ томъ, что вниманіе послѣдняго разсѣяно по всей широтѣ дѣйствительности, откуда онъ выбираетъ самъ, что ему угодно, а не средоточено и не облегчено въ то же время готовымъ, даннымъ уже кружкомъ жизни, готовыми уже личностями. Но и это различіе такъ ли существенно, какъ думаютъ?

Понятно, что такая законченность изображенія, въ которой общій смыслъ выражается въ глубоко вѣрныхъ дѣйствительности и въ главномъ даже прямо снятыхъ съ нея мелочахъ жизни, дѣлаетъ самую красоту жизни только относительною. Нами уже замѣчено было выше, что такова необходимая судьба искусства. Возводя мелочь жизни до типически-прекраснаго выраженія, отрѣшая ее отъ той матеріальной живости, съ какою является жизнь въ дѣйствительности, оно низводитъ въ то же время самую истину съ чистой отрѣшен-



ности, въ какой она является въ понятіи. Оно изображаетъ ее среди грязной, ложной обстановки, и представляетъ намъ какъ цѣль или результатъ жизненной борьбы, или просто какъ пробивающійся свѣтъ сквозь грубую кору животной жизни. Это — необходимое условіе живости его произведеній. Мы напоминаемъ здѣсь о немъ, чтобы пояснить, почему при внутренней правдѣ и чистотѣ, которою дышитъ разсматриваемое нами произведеніе, не всѣ однакожъ лица, изображаемыя въ немъ, безусловно прекрасны. Вы сочувствуете жизни, которую изображаетъ авторъ, сочувствуете въ ея высшемъ общемъ смыслѣ, любите даже эти частныя лица, — однакожъ не каждой чертѣ изображаемой жизни несете нравственное одобреніе. Хороша сама по себѣ прямота Степана Михайловича, но въ какихъ формахъ она выражается! Вы уважаете, преклоняетесь предъ высотой Шишкова, и въ то же время онъ смѣшонъ вамъ своими странностями. Какая пустота жизни Угличинныхъ, хотя и заслуживающихъ вашей любви! Непріятенъ многими чертами Шущеринъ; грязна дикая натура Яковлева; комично увлеченіе Державина. Странно было бы также назвать заслуживающими сочувствія выходки сестеръ Алексѣя Степановича, главнаго надзирателя К. и директора, покровительствующаго негодяю вахмистру. П, наконецъ, предъ вами цѣлый образъ Куролесова, вопіющее нарушеніе человѣческихъ правъ, попраніе самыхъ священныхъ, присущихъ требованій, образъ, отъ котораго вы отернулись бы, въ дѣйствительности съ содроганіемъ... Но въ томъ-то тайна искусства, въ томъ-то и достоинство нашего автора, что грязная обстановка, грубыя формы, чудовищные образы — все это является покореннымъ общему пролегающему здѣсь воззрѣнію на жизнь; и вы чувствуете себя успокоеннымъ, не оскорбляетесь изображеніями, даже сочувствуете этимъ лицамъ и любите ихъ, — только, впрочемъ, не Куролесова. Авторъ не утверждаетъ на проявленіяхъ животности въ человѣкѣ, не представляетъ ихъ, какъ самостоятельныя явленія, но изображаетъ ихъ, какъ форму откровенія высшихъ началъ или какъ безразличную обстановку, или, наконецъ, ставитъ тутъ же, рядомъ съ ними, положительно прекрасную черту, которою примиряетъ васъ съ жизнью, и которою въ то же время само собою казнится рядомъ стоящее безобразіе. Степанъ Михайловичъ бьетъ свою Аришу, заставляетъ для за-

бавы своей драться людей на кулачкахъ. Но его обращеніе съ женой является здѣсь только формою, въ которой обнаруживается прямота его характера. Какъ мы сказали, онъ жертвуетъ своей прямотѣ всѣмъ, жертвуетъ своимъ семейнымъ спокойствіемъ, своею любовью, слѣдовательно, своими же интересами, жертвуетъ своимъ здоровьемъ, — слѣдовательно, самъ же себя и наказываетъ. Тѣмъ безобиднѣе для нашего чувства грубья его выходки, что не слышится при этомъ чувства оскорбленія въ самыхъ его жертвахъ. Ни Арина Васильевна ни Ванька Мазанъ не протестуютъ противъ правъ Степана Михайловича. Они находятъ это въ порядкѣ вещей; они чувствуютъ себя даже стоящими этого. „Лучше бей меня, да своего добра не руби“, вотъ какъ разсуждаетъ Арина Васильевна. Мазанъ и Танайченко, съ своей стороны, вступаютъ въ бой между собой не съ самоотверженіемъ, а съ удовольствіемъ и даже съ увлеченіемъ, и самъ Степанъ Михайловичъ принужденъ унимать ихъ легко разгорающійся задоръ. Что сказали мы о Степанѣ Михайловичѣ, то болѣе или менѣе относится и ко всѣмъ. Вы смѣтаетесь надъ странностями Шишкова, но нарушается ли смѣхомъ чувство вашего уваженія къ этой личности? Не удваивается ли даже оно представленіемъ, что смѣшная разсѣянность есть только обнаруженіе всецѣлаго погруженія въ великое общее дѣло? И не готовы ли будете вы, встрѣтивъ такое лицо въ дѣйствительности, не только отказаться отъ всякаго надъ нимъ смѣха, но даже поблажать его забавнымъ привычкамъ, убаюкивать его, и поблажать и убаюкивать ради общечеловѣческихъ, высоко-нравственныхъ требованій, изъ уваженія къ высоко-нравственному характеру этого лица, чтобы облегчить ему осуществленіе высокаго одушевленія, слѣдовательно, выразить нравственное участіе въ его высокой дѣятельности? Больны грубья выходки сестеръ Алексѣя Степановича, но вы почти прощаете ихъ: въ нихъ выражается любовь къ брату, любовь, правда, грубая, наполовину эгоистическая, но все-таки любовь. Авторъ говоритъ, что „женитьба брата на комъ бы то ни было не-премѣнно досадила бы всѣмъ“. Однако чувствуется какъ-то, что сватайся Алексѣй Степановичъ на богатой дворянкѣ древняго происхожденія и такъ же необразованной, какъ все его собственное семейство, любовь къ брату переселила бы въ страхъ всѣ прочіе расчеты, хотя и больно было бы тогда,



въ свою очередь, за Алексѣя Степановича. Таковъ неизбѣжный законъ жизни, таково неизбѣжное слѣдствіе безчисленнаго переплетенія интересовъ, безчисленнаго разнообразія въ нравственномъ развитіи и личныхъ потребностяхъ лицъ, сталкивающихся и связанныхъ между собою. Невзраченъ главный надзиратель; но не уничтожается ли производимое имъ непріятное впечатлѣніе проявляющимся тутъ же рядомъ материнскимъ чувствомъ? Съ художественной точки зрѣнія. Къ—въ даже необходимъ для возбужденія прекрасно-нравственнаго ощущенія. Безъ его жалостныхъ поступковъ, чувство неизмѣримой материнской любви, безкорыстное сочувствіе Упадышевскаго и Беннса остались бы не раскрытыми; изображаемыя лица не имѣли бы счастья прибавить къ своей дѣятельности нѣсколько высокихъ поступковъ, и вы лишились бы наслажденія нравственно участвовать въ чувствахъ и дѣятельности этихъ прекрасныхъ лицъ. Наконецъ, самъ Куролесовъ, самостоятельно злое лицо, сколько ни возбуждаетъ негодованія своими звѣрскими поступками, но ихъ изображеніе не возмущаетъ нравственнаго чувства. Болѣе жалѣешь объ этомъ извергѣ, ибо видишь въ немъ явленіе скорѣе патологическое, нежели нравственное. Особенный смыслъ получаютъ и менѣе тягостное впечатлѣніе производятъ его поступки съ своею дворнею, когда видишь, что ими самъ собою наказывается порокъ, казнится грязная живогность, заслуживающая казни, какъ рассуждалъ и Степанъ Михайловичъ: „крестьянамъ жить у него можно, а дворовые — всѣ негодяи, пускай терпятъ за свои грѣхи“. Среди другой жизни, среди лицъ, нравственно развитыхъ, нѣтъ успѣха Куролесову и онъ существовать не можетъ, какъ не могло имѣть силы его звѣрство надъ Прасковьей Ивановной. Ужасная картина заключенія жены болѣе возбуждаетъ чувство уваженія къ твердости ея, нежели отвращенія къ ея мужу. И, наконецъ, не удовлетворяется ли нравственное чувство вполнѣ, когда предъ нами сцена освобожденія Прасковьи Ивановны, когда злодѣй съ боязнью и ожесточеннымъ равнодушіемъ, а холопы его съ недоумѣніемъ смотрятъ на пріѣзжихъ гостей. „Да, есть нравственная сила праваго дѣла, передъ которымъ уступаетъ мужество неправаго человѣка!“ Это чувство утѣшительное, и за доставленіе этого утѣшенія невольно миришься съ ужаснымъ обра-

зомъ Куролесова! Словомъ. въ цѣлой книгѣ нигдѣ нѣтъ отрицанія жизни личнымъ, условнымъ, ограниченнымъ воззрѣніемъ, и нигдѣ нѣтъ личнаго равнодушія, тѣмъ менѣе — услажденія пошлостью жизни. Что бы сдѣлалъ иной, любящій самостоятельное изображеніе пошлости, съ такимъ происшествіемъ, каково описываемая въ „Воспоминаніяхъ“ женитьба Ашенбрейнера на Марьѣ Христофоровнѣ Вильфингъ! Но авторъ коротко, безъ участія рассказалъ эту исторію, какъ бы прошелъ мимо нея. Въ другомъ мѣстѣ, послѣ описанія жизни Угличинныхъ, чтобы не дать чувству обольститься ея милостивой наружностью, одною краткою художественною чертою, проведенною въ концѣ разсказа, авторъ выражаетъ весь смыслъ этой пошлой жизни. „Долго звучалъ во мнѣ гармоническій строй этой жизни, долго чувствовалъ я какое-то грустное умиленіе, какое-то сожалѣніе о потерѣ того, что имѣть казалось такъ легко, что было подъ руками. Но когда задавалъ я себѣ вопросъ: не хочешь ли быть Васильемъ Васильевичемъ?... Я пугался этого вопроса, и умиленное впечатлѣніе мгновенно исчезало“.

Это подчиненіе изображаемыхъ явленій господствующей въ произведеніи истинѣ должно быть естественно. Нужно, чтобы жизнь сама себѣ давала разрѣшеніе, чтобы въ ходѣ ея была видна послѣдовательность: иначе никакое примиреніе не примиритъ васъ, никакое разрѣшеніе не успокоитъ. Соблюдена ли въ „Хроникѣ“ такая послѣдовательность? Этотъ вопросъ, собственно говоря, также не приложимъ къ разсматриваемой книгѣ, потому что здѣсь ходъ изображаемой жизни дается самою дѣйствительностью, съ которой прямо снимаетъ авторъ свои изображенія. Но мы задаемъ его для того, чтобы указать и съ этой стороны на художественный тактъ автора. Идя вѣрно за дѣйствительностью, передавая событія, какъ они происходили на самомъ дѣлѣ, авторъ оговаривается тамъ, гдѣ дѣйствительность идетъ невѣрно сама себѣ. „Эта романтическая затѣя въ такомъ человѣкѣ, какимъ явится въ послѣдствіи Михайла Максимовичъ, всегда меня удивляла“, замѣчаетъ онъ по поводу названій, которыя далъ Куролесовъ своимъ деревнямъ въ честь имени, отчества и фамиліи жены. Въ особенности же тактъ автора обнаруживается тамъ, гдѣ соблюденіе внутренней послѣдовательности зависѣло вполне отъ него самого. Мы должны здѣсь, по



преимуществу, указать на заключительныя мѣста, которыми часто оканчиваются его рассказы, и которыя обыкновенно въ одномъ замкнутомъ образѣ передаютъ смыслъ всего предшествовавшаго изображенія. Эти мѣста и сами по себѣ всѣ вышли чрезвычайно удачны. Но въ нихъ-то особенно слышимъ строгую сообразность и послѣдовательность, которою проникнуты рассказы автора: на нихъ всегда какъ бы напращивается сама душа, ихъ ждетъ она. Таково, напримѣръ, окончаніе „женитьбы молодого Багрова“. „Извѣстіе о скоромъ пріѣздѣ молодыхъ произвело тревогу и суету въ тихомъ, слишкомъ простомъ домѣ деревенскихъ помѣщиковъ. Надобно было почиститься, пріодѣться, принарядиться. Певѣстка, городская модница, привыкла жить по-барски, даромъ что бѣдна: осудить, осмѣять. — такъ думали и говорили всѣ, кромѣ старика. Особыхъ и свободныхъ комнатъ не было, надобно было вывести Танюшу изъ ея горницы, выходившей угломъ въ садъ, на прозрачный Бугуруслапъ съ его зелеными кустами и голосистыми соловьями. Танюшѣ очень не хотѣлось перейти въ передбанникъ, но другого мѣста не было; всѣ сестры жили въ домѣ, а Каратаевъ и Ерлыкинъ спали на сѣнникѣ. За день до пріѣзда молодыхъ привезли кровать, штофный занавѣсъ, гардины: пріѣхалъ и человѣкъ, умѣющій все это уставить и приладить. Танюшину комнату отдѣляли въ нѣсколько часовъ. Степанъ Михайловичъ посмотрѣлъ, полюбовался, а женщины кусали отъ зависти губы. Наконецъ, прискакалъ передовой съ извѣстіемъ, что молодые остановились въ мордовской деревнѣ Пойкино, въ восьми верстахъ отъ Багрова, гдѣ они переодѣнутся и часа черезъ два пріѣдутъ. Все пришло въ движеніе. Хотя старикъ еще съ утра послалъ за священникомъ, но какъ онъ еще не пріѣзжалъ, то послалъ гонца верхомъ поторопить его. Между тѣмъ въ Пойкинѣ происходила также забавная суматоха. Молодые ѣхали на перемѣнныхъ по проселочной дорогѣ, и потому надобно было посылать передового для заготовленія лошадей отъ деревни до деревни. Въ Пойкинѣ всѣ знали Алексѣя Степановича еще дитятей, а Степана Михайловича считали отцомъ и благодѣтелемъ. Вся деревня отъ мала до велика душъ 600 мужеска и женска пола, сбѣжались къ той пзбѣ, гдѣ должны были остановиться молодые. Софья Николаевна едва ли видала вблизи мордву, и потому одежда мордовокъ, необыкновенно

рослыхъ и здоровыхъ дѣвокъ, ихъ вышитыя красною шерстью бѣлыя рубахи, ихъ черные шерстяные пояса или хвосты, грудь и спина и головные уборы, обвѣшанные серебрянными деньгами и колокольчиками, очень ее заинтересовали. Но когда она услышала простыя, грубыя, но искреннія восклицанія всей толпы на изломанномъ нѣсколько русскомъ языкѣ, то радостныя привѣтствія, то похвалы и добрыя желанія, — она и смѣялась и даже плакала: „ай, ай, Алеша, какой жена тебѣ Богъ далъ. Ай, ай, хороша, говорили старики и старухи; а отца, наша Степанъ Михайловичъ, то-то рада будетъ! Ну, дай вамъ Богъ, дай Богъ“. Когда же молодая, переодѣвшись въ пышное городское платье, вышла садиться въ карету, то въ народѣ поднялся такой гулъ радостныхъ похвалъ, что даже лошади перепугались. Молодые, подаривъ, десять рублей на вино всему міру, отправились въ дорогу.

„Позади господскаго гумна, стоящаго на высокой горѣ, показался высокій экипажъ. „Ѣдутъ, Ѣдутъ“ раздалось по всему дому, и вся дворня, а вскорѣ и всѣ крестьяне сбѣжались на широкій господскій дворъ, а молодежь и ребяташки побѣжали навстрѣчу. Старикъ Багровъ со всѣмъ семействомъ вышли на крыльцо; Арина Васильевна въ шелковомъ шушунѣ и юбкѣ и съ шелковымъ гарнитуровымъ съ золотыми травочками платкомъ на головѣ, и Степанъ Михайловичъ въ какомъ-то стародавнемъ сюртукѣ, выбритый и съ платкомъ на шеѣ, стояли на верхней ступенькѣ крыльца; одинъ держалъ образъ Знаменія Божіей Матери, а другая — коровай хлѣба съ серебряной солонкой. Золовки и два зятя стояли около нихъ. Экипажъ подкатилъ къ крыльцу, молодые вышли, упали старикамъ въ ноги, приняли ихъ благословеніе, и расцѣловались съ ними и со всѣми ихъ окружающими; едва кончила молодая эту церемонію и обратилась опять ко свекру, какъ онъ схватилъ ее за руку, поглядѣлъ ей пристально въ глаза, изъ которыхъ катились слезы, самъ заплакалъ, крѣпко обнялъ, поцѣловалъ и сказалъ: „Слава Богу, пойдѣмъ же благодарить Его“. Онъ взялъ невестку за руку, провелъ въ залу сквозь тѣсную толпу, поставилъ возлѣ себя, и священникъ, ожидавшій ихъ въ полномъ облаченіи, возгласилъ: „Благословенъ Богъ нашъ, всегда нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ“.

Надобно прочесть это мѣсто въ связи со всѣмъ предыду-



щимъ, знать характеръ Степана Михайловича и Софьи Николаевны, все первоначальное нежеланіе старика имѣть ее своей невѣсткой, знать все различіе ихъ привычекъ, образа мыслей и воспитанія, чтобъ почувствовать сообразіе, необходимость именно такой, а не иной ихъ встрѣчи. Такая именно хлопотня должна была произойти въ сельскомъ домѣ необразованныхъ Багровыхъ, и въ этомъ именно она должна была состоять. Такъ и не иначе должна была вести себя невѣстка. Доказывать это было бы долго и довольно неудобно. Мы выписали рассказъ о пріѣздѣ молодыхъ въ Багрово болѣе потому, что онъ и самъ въ себѣ очень хорошъ. Но вотъ заключеніе, полная умственность котораго и внутреннее сообразіе легко могутъ быть понятны и безъ чтенія всего рассказа, потому что для этого нужно знать не частные характеры тѣхъ или другихъ лицъ, а просто только душу человѣческую. Въ „Первомъ періодѣ гимназіи“ авторъ, описавъ, все томленіе тоски своей по родномъ домѣ, болѣзнь, въ которую онъ впалъ отъ этой тоски, препятствія, почти неодолимая, къ своему возвращенію домой, такъ рассказываетъ, наконецъ, о своемъ пріѣздѣ, — пріѣздѣ девятилѣтняго мальчика:

„Версты за четыре до Аксакова, на самой межѣ нашего владѣнія, я проснулся, точно кто-нибудь разбудилъ меня: когда проѣхали мы между Липовымъ и Общимъ колкомъ и выѣхали на склонъ горы, должно было немедленно открыться наше Аксаково, съ огромнымъ прудомъ, мельницей, длиннымъ порядкомъ избъ, домовъ и березовами рощами. Я безпрестанно спрашивалъ кучера: „не видно ли деревни? И когда онъ сказалъ, наконецъ, наклоняясь къ переднему окошку: „вотъ наше Аксаково какъ на ладонкѣ“ — я сталъ такъ убѣдительно просить мою мать, что она не могла отказать мнѣ и позволила сѣсть съ кучеромъ на козлахъ. Не берусь передать, что чувствовало мое сердце, когда я увидѣлъ милое мое Аксаково! Нѣтъ словъ на языкѣ человѣческомъ для выраженія такихъ чувствъ...

„Во все теченіе моей жизни я продолжалъ испытывать, приближаясь къ Аксакову, подобныя ощущенія; но два года тому назадъ, послѣ двѣнадцатилѣтняго отсутствія, также довольно рано, подѣзжалъ я къ тому же Аксакову; сильно билось мое сердце отъ ожиданія, я надѣялся прежнихъ радостныхъ волненій. Я вызвалъ милое прошедшее, и рой

воспоминаній окружилъ меня... но не весело, а болѣзненно, мучительно подѣйствовали они на мою душу, и мнѣ стало невыразимо тяжело и грустно. Подобно волшебнику, который, вызвавъ духовъ, не умѣетъ съ ними сладить, и не знаетъ, куда отъ нихъ дѣваться, — не зналъ я, какъ прогнать мои воспоминанія, какъ успокоить нерадостное волненіе. Старые мѣха не выдерживаютъ молодого вина, и старое сердце не выноситъ молодыхъ чувствъ... но тогда, Боже мой, что было тогда!

„Нѣсколько разъ я чувствовалъ стѣсненіе въ груди и готовъ былъ упасть; но я молчалъ, крѣпко держался за ручку козелъ и за кучера, и стѣсненіе проходило само-собою. — Быстро скатилась карета подъ изволокъ, переѣхала черезъ плохой мостъ на Бугурусланѣ, завязла-было въ топку у Крутца, но выхваченная сильными конями, пронеслась мимо камышей, пруда, деревни — и вотъ нашъ сельскій домъ, и на крыльцѣ его отецъ съ милой моей сестрицей. Когда мы подъѣхали, она всплеснула ручками и закричала: „братецъ Сереженька на козлахъ!“... Выбѣжала тетка и вывела брата, кормилица вынесла маленькую мою сестру! Сколько объятій, поцѣлуевъ, радости, вопросовъ и отвѣтовъ! Сбѣжалась вся дворня, даже крестьяне, случившіеся дома, и куча мальчишекъ и дѣвочекъ“...

Глубокая естественность и почти необходимость именно такихъ проявленій радости послѣ перваго продолжительнаго и съ такими томленіями соединеннаго отсутствія изъ родного дома для мальчика чувствуется сама собою. И прибавимъ, всѣ подробности, какъ въ этомъ, такъ особенно въ приведенномъ выше разсказѣ, столько нужны для полной естественности того и другого изображенія, могли ли быть написаны по памяти? Очевидно, что часть изъ нихъ произведены чистою фантазіею автора и свидѣлствуютъ такимъ образомъ о его художническомъ тактѣ.

*Изъ „Русской Бесѣды“ за 1856 г.*

### Языкъ „Семейной хроники“.

Художественное настроеніе души есть и первый источникъ художественнаго созданія. Мало того, что особенное настроеніе души помогло С. Т. Аксакову легко переступить



такія преступленія, въ которыхъ запутался бы менѣе серьезный писатель, но оно еще отразилось въ самой формѣ его повѣствованія, въ его слогѣ. Съ послѣднихъ произведеній С. Т. Аксакова, слогъ его и вообще изложеніе признаны были образцовыми, по правильности, чисто-русскому складу, народному ритму и музыкальности ихъ. Спрашивается: откуда взялась эта сладостная рѣчь у С. Т. Аксакова, о которой не имѣютъ понятія наши грамматикъ и самозванные блюстители чистоты языка? Слогъ писателя, какъ и стихъ поэта, рождается изъ художническаго настроенія души. Безцвѣтная правильность языка въ писателѣ есть признакъ пустоты его душевнаго состоянія, подобно тому какъ неуклюжесть языка есть признакъ негармоническаго, нехудожественнаго образованія его мысли. Писатель рѣдко отличается достоинствомъ слога, когда развлеченъ воспоминаніями чужихъ образцовъ или когда мало сосредоточенъ въ себѣ, въ собственной мысли. Ему можетъ вредить даже излишнее стараніе достичь точности выраженія и часто вредитъ суетливая бѣготня за предметами, которые у настоящаго художника всѣ спокойно лежатъ внутри его, въ сознаніи. Изложеніе пріобрѣтаетъ качества неувольной прелести съ той минуты, когда писатель обращается къ самому себѣ, къ собственной мысли и находитъ ее въ полномъ художническомъ настроеніи, въ должной ясности, твердости и простотѣ. Если мысль его проникнута еще вдобавокъ, какъ у С. Т. Аксакова, чисто національными качествами, то правильное состояніе души его обнаруживается магическою рѣчью, обворожающей сердце, даже иногда при незначительномъ содержаніи произведенія; а при важности его такая рѣчь уже навсегда приковываетъ сущность произведенія къ уму, воображенію и памяти читателя. Таково происхожденіе чуднаго русскаго слога, какимъ отличалась, напримѣръ, „Капитанская дочка“ Пушкина, таково также происхожденіе удивительнаго языка рассказовъ С. Т. Аксакова, и, по нашему мнѣнію, языкъ этотъ имѣетъ много общаго и родственнаго съ языкомъ знаменитаго романа Пушкина, какъ по отвращенію къ роскоши и нарядности, такъ и по способности обнимать каждое явленіе, каждую черту мысли и душевнаго движенія самымъ обыкновеннымъ, всеобщимъ и естественнымъ оборотомъ русской рѣчи.

*Анненковъ.*

Прежде всего мы отдадимъ должную похвалу языку „Хроники“, разумѣя здѣсь не ту правильную стилистику, которая ни разу не погрѣшитъ противъ синтаксиса, не ту гладкость и щеголеватость фразы, которую легко найти у многихъ новѣйшихъ молодыхъ писателей, даже не ту прозрачность правильного языка, изъ-за которой, какъ изъ-за хрустала, видна каждая бездѣлка — нѣтъ, мы хвалимъ въ Аксаковѣ ту неуловимую народность языка, которая умѣетъ давать слову чисто русское значеніе, взятое не изъ книги, а изъ жизни; ту народность въ языкѣ, которую можетъ пріобрѣсти авторъ съ чутьемъ только вслѣдствіе продолжительнаго опыта, долгой жизни посреди народа, а не посреди книгъ. Хвалимъ то спокойное, истинно художническое теченіе рѣчи, которое какъ бы составляетъ удѣлъ извѣстныхъ уже лѣтъ; поставимъ на видъ, наконецъ, и то умѣнь пользоваться словами, чисто народными, можетъ-быть, и областными, котораго однакожъ нельзя пріобрѣсти однимъ исключительнымъ изученіемъ областныхъ словарей. Однимъ словомъ, читая сочиненіе Аксакова мы видимъ, что русская жизнь и русская природа — а не книги — дали языку „Хроники“ ту самобытную, прочную цвѣтистость, краски которой не стираются легко, какъ изъ народности легко не выбрасываются характеристическія черты. Языкъ у Аксакова отъ того хорошъ, что смыслъ, скрытый въ этомъ языкѣ, чисто русскій. Такой языкъ пріобрѣтается только тогда, когда писатель насквозь проникнется жизнью народа. И мы очень рады, что изученіе книги Аксакова даетъ намъ случай еще разъ сказать, что въ наше время писатель долженъ дѣйствовать на умъ и сердце читателя не тою риторическою стилистикою, поборники которой живы еще до сихъ поръ, и которой легко достигнуть не выѣзжая, напр., изъ Петербурга, если только запасться терпѣньемъ изучить всѣ тонкости русскаго синтаксиса; но тою живою рѣчью, которая совершенно совпадаетъ съ знаніемъ русской жизни. — Шагъ въ языкѣ огромный, для котораго еще не найдено и мѣрки въ нашей грамматикѣ; но тѣмъ не менѣе онъ существуетъ, и стремленіе къ нему, такъ ясно замѣтное у всѣхъ писателей — потому что оно тѣсно соединено съ новѣйшимъ направленіемъ нашей литературы — обѣщаетъ намъ результаты плодотворныя. Теперь уже мы можемъ указывать на книгу Аксакова, какъ на ту послѣднюю



ступень, до которой достигъ языкъ въ наше время, а разборъ этой книги будетъ поучителенъ и въ грамматическомъ отношеніи, хотя мы не намѣрены разлагать рѣчь автора на предложенія простыя и сложныя, главныя и придаточныя и т. п. Разборъ „Хроники“ будетъ поучителенъ и въ томъ отношеніи, что наглядно докажетъ, до какой степени тѣсно соединены въ писателѣ и изученіе жизни и выраженіе этой жизни, до какой степени, для того, чтобъ писать по-русски, нужно знать эту жизнь, и здѣсь на первомъ планѣ должны стоять, само-собою, не гармоническіе вопросы, а скорѣе историческіе. Въ послѣднія десять лѣтъ мы ничего подобнаго не читали на русскомъ языкѣ, развѣ, можетъ-быть, книгу, написанную тѣмъ же авторомъ подъ спеціальнымъ заглавіемъ: „Записки ружейнаго охотника“, хотя книга эта имѣетъ больше интереса для неспеціалистовъ, нежели для охотниковъ въ тѣсномъ смыслѣ слова.

Трудно найти книгу въ русской литературѣ, въ которой бы языкъ и содержаніе гармонизовали до такой степени! Не думайте, чтобъ Аксаковъ для болѣе русскаго выраженія извращалъ принятую нами грамматическую и синтактическую конструкцію, какъ нѣкоторые; не думайте, чтобъ онъ жертвовалъ ею въ пользу условнаго языка нашихъ присловіи, поговорокъ, пословицъ, въ которыхъ слова для сжатости и часто для ритма или пропускаются, или употребляются несовсѣмъ въ точномъ смыслѣ, и въ которомъ отъ этого предложенія дѣлаются какими-то обрубленными — совсѣмъ нѣтъ: онъ никогда не прибѣгаетъ къ этой устарѣлой манерѣ тѣхъ нашихъ литераторовъ, которые въ складѣ русской пословицы видѣли весь грамматическій складъ русскаго языка. Онъ идетъ тою же дорогою, которою всѣ мы идемъ, но на этомъ пути онъ умѣетъ каждую вещь назвать ее именемъ, о каждомъ предметѣ сказать намъ по-русски. Въ этомъ его сила. Онъ не пропуститъ ни одной краски, которая попадаетъ ему на пути; зато онъ и не посмотритъ ни на одинъ предметъ сквозь стекло, окрашивающее предметы въ одинъ цвѣтъ. Въ немъ правда языка показываетъ правду предмета, простота слога — простоту мысли.

*Дудышкинъ.*

## Значеніе „Семейной хроники“.

Нѣтъ сомнѣнія, С. Т. Аксаковъ оказалъ немаловажную услугу русской публикѣ новой книгой своей. Онъ представилъ картину стараго, хотя еще не очень давняго быта нашего въ поразительныхъ чертахъ, ознакомилъ насъ съ понятіями и правами эпохи наглядно и, наконецъ, отдалъ на оцѣнку и общій приговоръ всѣ эти энергическіе характеры, которые издали представляются воображенію величавыми, а вблизи теряютъ многое изъ своего значенія, особенно когда въ нѣкоторыхъ изъ нихъ замѣтно природное отсутствіе нравственныхъ началъ, врожденная глухота къ первымъ, основнымъ правиламъ человѣческаго общежитія. Но все это онъ могъ сдѣлать только на одномъ условіи — на условіи художническаго пониманія предмета и на условіи художническаго обращенія съ предметомъ описанія. Способъ изложенія, порожденный правильнымъ душевнымъ настроеніемъ; какимъ всегда бываетъ настроеніе художественное, позволилъ ему смѣло прикоснуться къ весьма чувствительнымъ мѣстамъ нравственнаго состоянія человѣка и общества. Вооруженный всѣми средствами настоящаго, чистаго искусства, онъ исцѣляетъ рану въ то время, какъ раскрываетъ ее: искусство играетъ тутъ всегдашнюю свою роль Ахиллова копья, имѣвашаго силу врачевать удары, имъ же нанесенные. Въ полнотѣ и спокойствіи описаній С. Т. Аксакова подробности картины не имѣютъ своего собственнаго смысла: умъ, разумѣется, правильно употребляемый, ничего другого въ нихъ не отыщетъ, ничего не заподозритъ, кромѣ существенныхъ частей самаго созданія, которое въ цѣломъ является глубокимъ поученіемъ, мудростью, изложенной посредствомъ живыхъ образовъ и характеровъ. Такъ выходятъ на свѣтъ художественныя произведенія, до того сильныя красотой, гармоніей внутренняго своего устройства, что передъ ними умолкаютъ всѣ притязанія и невольно успокаиваются какъ праздное исцаніе намековъ, сближеній, такъ и болѣзненная недовѣрчивость къ истинѣ и откровенности. „Семейная хроника“ Багровыхъ путемъ искусства миновала щекотливость семейныхъ понятій о приличіи, не подавъ имъ повода жаловаться на пристрастное развитіе одной какой-либо стороны въ ущербъ другой,



а главное — тѣмъ, что авторъ не сдѣлалъ изъ фамильныхъ преданій средства для заявленія своей собственной страсти, своихъ личныхъ наклонностей, хотя бы въ сущности и заслуживающихъ уваженія. Онъ обошелся съ преданіемъ почтительно, не какъ съ своимъ дѣломъ, а какъ съ дѣломъ общимъ. И не только успокоена имъ, такимъ образомъ, робость фамильнаго благоговѣнія къ предкамъ, но, твердымъ осмотромъ предмета съ всѣхъ сторонъ, глубокимъ пониманіемъ его во всѣхъ видахъ и при всѣхъ освѣщеніяхъ, успокоена еще другая, сильнѣйшая робость — робость, которую вообще чувствуетъ всякая публика передъ быстрымъ рѣшеніемъ вопросовъ, передъ яркою выставкою одной какой-либо части представленія, вмѣсто цѣлаго представленія. Само собою разумѣется, что содержаніе произведенія можетъ быть обширно, можетъ быть и мало, смотря по выбору и склонностямъ автора; но если содержаніе имѣетъ эстетическій характеръ, и если произведеніе высказало все свое содержаніе вполне, то оно уже неспособно породить соблазнъ.

Цѣлость мысли, образа и картины есть уже вѣрный залогъ ихъ истины, благородства и пользы; только обломки и оторванные части предмета, которыя самовольно стараются выдать себя за полный предметъ и всегда отличаются пестрымъ цвѣтомъ и яркими несогласованными красками (гдѣ же сообщать настоящій видъ обломку, когда не знаемъ истиннаго выраженія цѣлаго!), только эти необсужденные клочки картины и могутъ смущать воображеніе читателя. Какой бы суровый, обличительный характеръ ни имѣло содержаніе, какихъ бы чувствительныхъ мѣстъ человѣческой души ни касалось, художественная полнота изображенія обращаетъ его тотчасъ же въ предметъ эстетическаго наслажденія для ума и сердца. Тутъ нѣтъ мѣста сомнѣнію, а большое мѣсто поученію, жаждѣ добра и усовершенствованія. Только неполнота, отрывчатость, вспышка имѣютъ видъ внезапнаго нападенія, дикій, вооруженный характеръ, угловато становятся передъ читателемъ, заявляя свое грубо происхожденіе и удаляя тѣмъ самымъ его довѣріе и способность эстетической воспріимчивости явленій. Вотъ почему толки о разныхъ видахъ искусства, чисто художественномъ и художественно общественномъ, кажутся намъ не совсѣмъ основательными: есть только одинъ путь для искусства, и этимъ путемъ оно высказываетъ все, что должно

высказать. Особенно въ нашей литературѣ неизмѣримо важно значеніе художническаго способа представленія жизни; отъ примѣненія или отъ устраненія его писателями зависитъ большая или меньшая важность литературы, какъ воспитателя современнаго общества, большее или меньшее обиліе затронутыхъ и разрѣшенныхъ вопросовъ, большая или меньшая полнота въ содержаніи. Книга С. Т. Аксакова имѣетъ для насъ важное значеніе, какъ живая свидѣтельница всего того, что можно обратить въ достояніе публики, на основаніи художественной обработки предмета. Значеніе ея увеличивается, когда вспомнимъ то ровное состояніе духа, ту зоркость глаза во всѣ стороны, такъ сказать, строгость обсужденія нравственныхъ уклоненій и теплоту чувства при изображеніи человека вообще, которыя замѣтны въ ней на каждой страницѣ, и которыя уже совершенно необходимы для объясненія предмета посредствомъ искусства.

Анненковъ.

### „Воспоминанія“ Аксакова и ихъ значеніе.

„Воспоминанія“ открываются четырьмя большими статьями, занимающимися описаніемъ двукратнаго поступленія молодого автора въ к—ую гимназію, занятій и впечатлѣній его тамъ и, наконецъ, принятія его въ университетъ, только что образованный тогда изъ высшихъ классовъ гимназій. Картины общественнаго воспитанія въ концѣ прошлаго и началѣ нынѣшняго столѣтія еще никѣмъ не была тронута у насъ, сколько мы знаемъ. Нѣсколько чрезвычайно любопытныхъ и чрезвычайно важныхъ подробностей для составленія ея находится въ книгѣ С. Т. Аксакова, но полнаго понятія о тогдашнемъ состояніи преподаванія и вообще о духѣ воспитанія она не даетъ. Многихъ можетъ удивить подобное отсутствіе существеннаго дѣла въ авторѣ, который особенно замѣчателенъ способностью видѣть и отыскивать его вездѣ, и, однакожъ, самая неполнота содержанія, въ этомъ случаѣ, есть великое доказательство добросовѣстности „Воспоминаній“ и — скажемъ болѣе — она-то и составляетъ прелесть ихъ. „Воспоминанія“ суть не иное что какъ автобіографія. Искренность и правда автобіографіи всегда выражаются тѣмъ, что писатель сохра-



няетъ тотъ самый уровень мысли, который былъ ему свойственъ въ извѣстное время его развитія, и не поднимаетъ его насильно соображеніями, взятыми изъ другой эпохи жизни. Простота, нѣкоторая ограниченность автобіографіи въ извѣстное время сообщаютъ ей благородство, перазлучность прямою.

При этомъ слѣдуетъ замѣтить, что, можетъ-быть, ни въ какой біографіи хронологія не имѣетъ такого важнаго значенія, какъ въ біографіи нашего автора. Онъ былъ слабымъ, нѣжнымъ, чувствительнымъ и сосредоточеннымъ въ себѣ ребенкомъ и былъ весьма долгое время. Характеръ первой юности онъ сохраняетъ даже при вступленіи въ свѣтъ, и черты простодушія, развитой фантазіи и сердечной доброты, какъ намъ кажется, весьма ясно видны и тогда, какъ онъ уже знакомится съ Шушериннымъ, Державиннымъ и Шишковымъ. Опытность, познаніе людей и глубокіе выводы жизни пришли къ нему гораздо позже и почти такъ, какъ нарастаютъ одинъ за другимъ слои многолѣтняго дерева: они пришли вмѣстѣ съ временемъ; онъ не гонялся за ними. Въ гимназій молодой авторъ былъ весь погруженъ въ свои ощущенія, въ болѣзни и страданія своего маленькаго, внутренняго міра и только прислушивался къ работѣ сердца и чувства. Кромѣ природы, съ которой уже онъ и тогда сросся почти въ одну сущность, онъ отдавалъ требованіямъ внѣшняго міра свое прилежаніе память, природныя способности, но не осматривалъ его съ зоркостью, въ какой иногда бываютъ способны дѣти другихъ наклонностей, и съ умомъ болѣе пытливымъ. Надо читать въ книгѣ С. Т. Аксакова описаніе тоски перваго его поступленія въ гимназію, развившейся до страшной нервической болѣзни, возвращенія его къ полямъ, лѣсамъ и прудамъ своей родины, наконецъ, яснаго зародыша наблюдательности, которая горько дѣйствуетъ на него и снова гонитъ въ гимназію, гдѣ онъ опять связывается тонкими, живыми нитями съ отсутствующимъ и страстно любящимъ его семействомъ: все это такой задушевный романъ, какихъ не много и въ самыхъ богатыхъ литературахъ. Онъ дѣлаетъ читателя причастнымъ умиленію, горестямъ и торжествамъ юности. Но въ романѣ этомъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, давленіе внѣшняго міра на умъ молодого человѣка уже чувствуется весьма слабо или, по крайней мѣрѣ, тутъ видно общее дѣйствіе окружающаго

на его фантазію, а не на частныя характерныя его подробности, по которымъ оно только и становится ясно для посторонняго. Потребны были весьма важныя и, такъ сказать, необыкновенныя событія, чтобъ въ эту эпоху жизни вывести молодого человѣка изъ его созерцанія, изъ его внутренняго ограниченнаго міра и обратить къ наблюдательности, къ живому приему внѣшнихъ явленій. Такими событіями были для него происшествіе въ гимназій, весьма хорошо обрисовывающее мягкій, снисходительный характеръ времени (стр. 311—315), открытіе университета, первый домашній спектакль въ стѣнахъ его, разрывъ съ наставникомъ своимъ, благороднымъ Григоріемъ Иваповичемъ, и т. д. Тутъ является у автора обыкновенное мастерство крупно и ясно выставить происшествіе, не употребляя для того никакихъ чрезвычайныхъ мѣръ и усилій и только слѣдя за простымъ, естественнымъ ходомъ его развитія. Если не было толчка его мысли, она оставалась спокойной; если событіе не имѣло особенной цѣпкости, событіе проходило, не затрогивая въ немъ наблюдательности и стремленія разобратъ его внутренній смыслъ. Общество, городъ, его театръ, гимназическая жизнь ложились на душу молодого человѣка и отражались въ мыслящей способности его, какъ видно изъ описаній автора, легко и почти никогда не имѣли для него яркихъ, выпуклыхъ сторонъ, невольно останавливающихъ на себѣ иной юношескій взглядъ. Вотъ почему всѣ эти предметы явились у автора, добросовѣстнаго въ высокой степени и вѣрнаго своему дѣлу, какъ нѣчто общее, безъ сильныхъ оттѣнковъ, безъ игры свѣта и тѣни, болѣе какъ простое созерцаніе, чѣмъ какъ живая, поразительная картина, и это имѣетъ своего рода прелесть. Такими они были дѣйствительно для молодого человѣка и такъ отражались на нравственномъ его существѣ, если не ошибаемся, еще долгое время и въ другихъ сферахъ, куда онъ былъ закинутъ. Дальнѣйшее теченіе жизни уже объяснило ихъ потомъ, гораздо позже, открыло ихъ смыслъ, значеніе, и воспоминаніе додѣлало ту работу мысли, которой недоставало при началѣ.

Само собой разумѣется, что у юноши, глубоко сосредоточеннаго въ себѣ, не могли остаться въ памяти характерныя черты тогдашняго преподаванія, какъ мы уже сказали, и что первый возрастъ далъ нашему автору мало существенныхъ



воспоминаній о состояніи разныхъ частей науки и общаго ихъ пониманія со стороны воспитателей. Но крайней мѣрѣ, мы не находимъ въ книгѣ картины тогдашняго воспитанія: однѣ легкія, разбросанныя черты ея и намеки заставляютъ скорѣе догадываться, чѣмъ видѣть, что гораздо болѣе встрѣчалось притязаній на преподаваніе и науку, чѣмъ самаго преподаванія и науки. Лица, занимавшіяся этой важной отраслью общественной службы, висчатлѣлись на воображеніи созерцательнаго юноши тоже однимъ общимъ выраженіемъ своимъ: въ нихъ мало своеобразія, исключительныхъ примѣтъ, характерныхъ признаковъ, потому что, въ свое время, они не были подмѣчены авторомъ, а сбереглись у него только ходячія изображенія лицъ, составляемыя обыкновенно дѣтскимъ міромъ, общиною, какъ эпопел. Робкая, свѣтлая и застѣнчивая душа ребенка чуждалась даже подробнаго осмотра товарищей, и, несмотря на удачное изображеніе нѣкоторыхъ типовъ, слишкомъ выдавшихся впередъ и бывшихъ въ личныхъ столкновеніяхъ съ нимъ, каково, напримѣръ, изображеніе талантливаго и мрачнаго студента Дмитріева, въ цѣломъ весьма мало тронуть весь этотъ разнообразный міръ характеровъ съ его насмѣшливостью, самобытностью и частыми карикатурными феноменами. О подмѣткѣ тонкихъ психическихъ явленій въ себѣ и другихъ тоже не могло быть и рѣчи, потому что все нравственное существо молодого человѣка представляется намъ, какъ невозмутимо свѣтлая, тихая и прозрачная рѣка, дно которой открыто для всякаго глаза. И какъ понятно становится, что юноша, погруженный исключительно въ самого себя, начинаетъ мало-по-малу пристращаться къ декламациі, къ чтенію и развиваетъ страсть свою до пламенной любви къ театру. Чтеніе или декламація доставляютъ ему готовыя и уже совсѣмъ отдѣланныя мысли и ощущенія, за которыми такъ трудно было ему слѣдить на сторонѣ и проблеска которыхъ не давала ему ясная, спокойная душа его. Онъ погружается въ науку чтенія образцовъ всѣми способностями ума, сердца своего, изучаетъ въ нихъ тончайшіе оттѣнки чувства, идеи, и присвоитъ себѣ: наука чтенія или декламациі дѣлается задачей его жизни, его призваніемъ и поглощаетъ всѣ его стремленія.

Здѣсь надо подивиться одной характеристической чертѣ тогдашняго общества. Говорятъ, обыкновенно, что публика

стала наслаждаться складомъ русскаго стиха только съ Пушкина. Можетъ-быть, это и справедливо въ отношеніи публики, массы читателей, но образованные люди наслаждались русскимъ стихомъ и до Пушкина, какъ доказывается, несомнѣнно, „Воспоминаніями“. Одной способностью чтенія, правильной и умной декламаціи, молодой человѣкъ, при самомъ вступленіи въ свѣтъ, открываетъ себѣ двери въ дома почти всѣхъ литературныхъ знаменитостей, и наконецъ, литераторовъ-сановниковъ, какими были А. С. Шишковъ и Державинъ. Всѣ они дорожатъ звукомъ и оборотомъ русской рѣчи, каждый по-своему, съ изумительной горячностью, и любятъ ее до ревности, педантства, исключительности. Кой-гдѣ еще и теперь встрѣчаются почтенные остатки этого времени, которое такъ сильно было занято успѣхами языка и литературы. Правда и то, что понятіе о литературѣ, какъ о сильномъ средствѣ образованія и преуспѣянія, было общимъ въ молодости нашего автора и встрѣчалось на всѣхъ ступеняхъ общественной іерархіи. Правда еще и то, что авторъ нашъ засталъ борьбу между Шишковымъ и Карамзинымъ, между старымъ и новымъ слогомъ, если не въ полномъ разгарѣ, то еще далеко не на исходѣ; по влеченіямъ своего вкуса и своихъ наклонностей онъ пристроился къ прогивникамъ нововведеній и тѣмъ самымъ открылъ себѣ свободный доступъ въ ихъ дома и семейства: такъ еще неразрывно связаны были общественныя отношенія и общественныя добродѣтели съ литературными убѣжденіями: но мы остановимся на этой, тоже важной біографической подробности, показывающей намъ молодого человѣка, съ первымъ шагомъ пробуждающагося сознанія, приверженцевъ старыхъ понятій и хладнокровнымъ зрителемъ новаго литературнаго движенія, открывающаго столѣтіе.

Можно полагать, что изъ юнаго поколѣнія, родившагося почти наканунѣ великаго спора, не было и десятка молодыхъ людей, которые бы оказались ревнителями старыхъ образцовъ, ихъ способа изложенія и любимыхъ ими темъ. С. Т. Аксаковъ самъ рассказываетъ, какъ одинъ разъ товарищи напали на него всей гурьбой, подозрѣвая въ немъ сочувствіе къ врагамъ новаго движенія, которыхъ называли тогда клеветниками, и чуть не приколотили его въ честь Карамзина, о которомъ онъ ничего дурного и не помышлялъ (стр. 458). Однакожъ, онъ принадлежалъ изъ дѣтства къ малому числу ровесниковъ,



устранившихся отъ общаго дѣла эпохи и не сочувствовавшихъ ему. Конечно, тутъ немалую роль играло вліяніе чрезвычайно умнаго наставника Григорія Ивановича Кар., который возставалъ противъ ищканія молодыхъ людей „Бѣдной Лизой“, „Натальей, боярскою дочерью“ и пр., основательно думая, что чуть ли не содержаніе этихъ произведеній не мѣшаетъ строгому развитію умовъ; но тутъ была и другая причина. Сердце молодого человѣка сильно было наклонено къ принятію отвлеченныхъ представленій великаго, высокаго, даже громкаго и питалось ими съ наслажденіемъ. Недостатокъ живого наблюденія и отсутствіе страстности въ природѣ его, чистой, благородной и ясной, какъ кристалль, должны были породить холодность къ дѣйствительной жизни, и первыя произведенія, гдѣ она являлась, хотя и принаряженная нѣсколько, нашли его глухимъ и нечувствительнымъ. Какъ вообще декламаторы и чтецы, по преимуществу, онъ могъ оторваться отъ пошлости и скуки обыденнаго существованія только посредствомъ сильнаго раздраженія, производимаго необыкновенными, высокими или мистическими представленіями. Въ нихъ обрѣталъ онъ только поэзію, подобно тому какъ въ правильной французской комедіи находилъ достаточное изображеніе настоящаго, будничнаго хода дѣйствительности. Отсюда, по нашему мнѣнію, ранній, охранительный оттѣнокъ, появившійся въ его литературныхъ мнѣніяхъ, который удивляетъ читателя и кажется признакомъ необычайной нравственной стойкости, особенно въ такихъ лѣтахъ. Но стойкость эта, если разсмотрѣть поближе, не заключаетъ въ себѣ ничего достойнаго подражанія и, вдобавокъ, весьма много способна мѣшать развитію человѣка.

Намъ кажется, что въ признаніи и изслѣдованіи новаго литературнаго явленія, завладѣвшаго умами современниковъ, проявляется гораздо болѣе твердости духа, чѣмъ въ отрицаніи его и спокойномъ житѣ на старыхъ, совсѣмъ готовыхъ началахъ, освобождающихъ мысль отъ всякой дѣятельности. Подчиниться новому явленію, когда оно уже глубоко начинается пускать корни въ убѣжденіяхъ, и подчиниться ему даже съ нѣкоторымъ насиліемъ своей природы есть, конечно, нравственная доблесть, стоящая упорства въ любимыхъ мнѣніяхъ и вкусахъ. Къ тому же, благородное усиліе надъ самимъ собою вознаграждаются при этомъ случаѣ сторицею и немед-

ленно. Оно открываетъ тотчасъ значеніе и будущность новаго явленія, слабыя его стороны, которыя нужно еще разработать, и сразу обращаетъ человѣка въ живого дѣателя, имѣющаго передъ собой широкое попрѣще, гдѣ онъ можетъ трудиться съ полнымъ сознаніемъ всего, что есть въ направленіи, и всего, чего ему недостаетъ. Есть великая мудрость въ подчиненности новымъ зародышамъ духовной дѣятельности. Невольная или умышенная остановка, при старыхъ формахъ и представленіяхъ, неизбежно связана съ ограниченіемъ мысли, со стѣсненіемъ воли и выбора, съ бѣдностью путей, уже ясно означенныхъ напередъ, и, наконецъ, съ нѣкоторою узкостью взгляда на искусство, природу и человѣка: новое направленіе всегда можетъ понять и усвоить себѣ хорошую сторону прежняго, изъ котораго вышло, между тѣмъ какъ направленіе, уже обойденное, чуждается, обыкновенно, всякой мировой сдѣлки и лишено поэтому цѣлаго круга возникшихъ идей, со всѣми ихъ выводами. Ранній, охранительный характеръ, родившійся, какъ мы видѣли, изъ самыхъ потребностей нравственной природы автора, опредѣлилъ потомъ и цвѣтъ всей литературной его дѣятельности. Онъ долго держалъ его въ ограниченной сферѣ любимыхъ предпочтеній, избранныхъ образцовъ, — словомъ, установленныхъ мнѣній, и, несмотря на глубокое чувство жизни и истины, мѣшалъ его развитію и пробужденію въ немъ самостоятельнаго творческаго таланта. Съ годами только отходила мало-по-малу односторонность воззрѣнія на людей и предметы; сущность тѣхъ и другихъ становилась яснѣй, и открылось богатое содержаніе для независимой мысли, вступившей во всѣ права свои. Мы видимъ теперь въ книгѣ С. Т. Аксакова, кромѣ ея содержанія, овладѣвающаго всѣмъ вниманіемъ читателя, еще другое, не менѣе важное и поучительное качество. Оно показываетъ намъ, какъ жизнь однимъ теченіемъ своимъ, однимъ процессомъ своего развитія освобождаетъ человѣка, надѣленнаго прямою силой сердца и жаждой истины, отъ случайныхъ помѣхъ воспитанія, укрѣпляетъ и совершенствуетъ природу его, сообщаетъ зоркость взгляда и широту мысли до того, что человѣкъ свободно исполняетъ обязанность историческаго судіи, и, наконецъ, даже поднимаетъ талантъ, долго затаенный въ немъ, до поразительной высоты. Но всѣ дары эти могутъ быть только удѣломъ человѣка, смотрѣвшаго весьма строго на самую



жизнь, на всѣ ея явленія, на обязанности, возлагаемыя ею: никогда не приходятъ они къ тому, кто сидѣлъ сложа руки или употреблялъ ее для своихъ эгоистическихъ, корыстныхъ цѣлей... И когда послѣ долгаго искуса наступаютъ для подобнаго человѣка минуты творчества, созданія его поражаютъ соединеніемъ мудрости старца въ выводахъ съ жаромъ и увлеченіемъ юноши въ представленіяхъ. Вся книга С. Т. Аксакова носитъ этотъ характеръ, и имъ же преимущественно отличается послѣдній отдѣлъ „Воспоминаній“ — описаніе его знакомствъ съ Шушеринымъ, Шишковымъ и Державинымъ.

Здѣсь авторъ нашъ собралъ все, что удержала его память отъ молодыхъ годовъ, но привелъ въ порядокъ и сообщилъ выраженіе подробностямъ уже въ эпоху полного обладанія самимъ собой, при совершенномъ развитіи спокойной, здоровой и многосторонней мысли. Разсказъ о Шушеринѣ написанъ въ 1852 году; немного раньше или позже, вѣроятно, произведены и остальные. Изъ соединенія драгоцѣннѣйшихъ извѣстій о прошломъ времени съ ясностью ума, обсуждающаго былое, произошли эти повѣствованія, равно поражающія и того, кто ищетъ одной живой картины прежняго быта, и того, кто ищетъ въ немъ объясненій и плодотворныхъ выводовъ для настоящаго.

Скажемъ одно: въ разсказахъ С. Т. Аксакова заключено русское образованное общество первой четверти настоящаго столѣтія. Когда наступитъ время судить о немъ и о важнѣйшихъ его дѣятеляхъ на полныхъ правахъ историка, разсказы С. Т. Аксакова сдѣлаютъ предметомъ подробнаго изученія. Они и теперь вызываютъ историческій трудъ почти каждой страницей своей, каждымъ превосходнымъ описаніемъ, назначеннымъ, повидимому, только для обновленія картины прошлаго въ памяти самого автора. Имя С. Т. Аксакова будетъ произноситься часто въ нашей литературѣ, когда склонится она къ строгому и серіозному обслѣдованію пройденнаго и прожитаго. За непрерывнымъ, поглощающимъ интересомъ его описаній свѣтится ясно фізіономія самого общества той эпохи, его требованія, страсти, предрасудки. „Воспоминаніямъ“ С. Т. Аксакова суждено породить комментаторовъ и изыскателей. Съ окончаніемъ ихъ еще не все дѣло кончено; въ нихъ заключаются матеріалы для дальнѣйшаго развитія; обыкновенное свойство созданій, исполненныхъ жизни и

мысли. Они оставляютъ по себѣ блестящую струю, подобно тому какъ въ южныхъ моряхъ образуется огненная полоса за кораблемъ: на эту струю идей, рождаемую ходомъ полного творческаго произведенія, и будетъ обращена анализирующая способность изыскателей, когда придутъ изыскатели. Въ разсказѣ о Шущеринѣ, напримѣръ, имѣющемъ въ виду только театральнѣйшій бытъ эпохи, характеры актеровъ и авторовъ, подробности ихъ жизни и отношеній между собою, сколько находится указаній на духовное состояніе общества, на степень его развитія и воспитанія!

Въ „Воспоминаніяхъ“ С. Т. Аксакова о литературныхъ дѣятеляхъ начала нынѣшняго столѣтія встрѣчаются поминутно черты, оброненныя авторомъ вскользь, почти невольно, какъ вырывается иногда мѣткое словцо у человѣка, и эти самородки повѣствованія, такъ сказать, образуютъ драгоцѣннѣйшее пріобрѣтеніе для историка. Большею частію они относятся къ такимъ сторонамъ изображаемаго лица, которыя именно составляютъ часть его организма, живой нервъ въ его физическомъ и нравственномъ существѣ. Глазъ изыскателя усматриваетъ ихъ въ тысячѣ другихъ подробностей, болѣе крупныхъ по наружности, не менѣе связанныхъ съ природою человѣка. При помощи этихъ драгоцѣнныхъ замѣтокъ, онъ можетъ различить въ человѣкѣ то, что нанесено на него духомъ времени, обстоятельствами, и то, что составляетъ зерно и основу его нравственнаго бытія. Мало того: этими же драгоцѣнными чертами можно провѣрить истину самаго повѣствованія во всѣхъ его изгибахъ: да онѣ также даютъ и матеріалы для пристроекъ къ нему по указаніямъ, въ немъ же отысканнымъ. Такъ разрастается, обыкновенно глубоко, истинное и мудрое повѣствованіе, и не надо быть большимъ пророкомъ, чтобъ предсказать эту участь и „Воспоминаніямъ“ С. Т. Аксакова.

Читатель замѣтитъ, что мы не дѣлаемъ почти никакихъ выписокъ изъ книги нашего автора, полагая, что каждый изъ нихъ теперь уже знакомъ съ ея содержаніемъ и способомъ изложенія. Ограничиваемся и въ настоящемъ случаѣ, для подтвержденія нашихъ словъ, самой незначительной цитатою изъ нея. Извѣстно, что С. Т. Аксаковъ показалъ намъ въ лицѣ А. С. Шишкова, этого мужа двойной славы, политической и литературной, типъ благороднаго ревнителя просвѣщенія съ младенчески-доброю душою, съ разсѣянностями и стран-



ностями, къ какимъ способна только чистая человѣческая натура; но, благодаря всему этому, роль историка русской литературы въ отношеніи къ автору „О старомъ и новомъ слоѣ“ становится совершенно не та, какой она была доселѣ. Непремѣнной задачей историка уже дѣлается разрѣшеніе вопроса, что принадлежитъ въ филологическихъ и историческихъ его изысканіяхъ стремленію къ ясной, вполне сознательной цѣли, и что принадлежитъ дѣйствию обыкновеннаго, свойственнаго ему чудачества, безъ отношенія къ истинѣ, призванію и поставленной имъ цѣли? Мы знаемъ также, по темнымъ слухамъ и смутнымъ преданіямъ, что къ спору о старомъ и новомъ слоѣ примѣшивались обѣими воюющими сторонами вопросы, чуждые изящной литературѣ или, по крайней мѣрѣ, не прямо къ ней относящіеся, и что этими посторонними соображеніями должно объяснять какъ необычайный жаръ полемики, такъ и продолжительное ея существованіе, когда торжество новыхъ формъ было уже почти упрочено. Въ книгѣ С. Т. Аксакова встрѣчается, по этому вопросу, одна черта, брошенная имъ вскользь и принадлежащая къ семейнымъ тѣмъ жизненнымъ подробностямъ, о которыхъ сейчасъ говорено было. „Въ 1836 году я опять ѣздилъ въ Петербургъ. Здоровье А. С. Шишкова и особенно зрѣніе очень ослабѣли; но я нашелъ его бодрымъ духовно и даже иногда веселымъ. Онъ почти ощупью отыскалъ въ шкапѣ нужную ему книгу, доставалъ ее и заставлялъ меня кое-что прочесть вслухъ. Въ одной рукописной его книгѣ (не помню, какъ она называлась) читалъ я, признаюсь, съ предубѣжденіемъ и недовѣрчивостью предсказаніе о будущей судьбѣ Европы... Увы! все исполнилось и исполняется съ поразительной вѣрностью. Шишковъ говорилъ мнѣ, что онъ, одиннадцать лѣтъ тому назадъ, письменно предсказалъ за годъ одно важное событіе, но что тогда только смѣялись надъ нимъ, да и послѣ, когда предсказаніе исполнилось, никто не обратилъ на него вниманія“ (стр. 512—513).

Черта эта уже позволяетъ намъ предполагать съ достовѣрностью, что и прежде существовала склонность вводить въ литературную сферу занятій постороннія ей соображенія, противъ чего, какъ мы знаемъ, сильно ратовали лучшіе умы той эпохи. Такими жизненными чертами книга С. Т. Аксакова изобилуетъ. Онѣ являются даже въ чудномъ описаніи старца

Державина, пережившаго громаднѣйшій талантъ свой и почти ребячески потѣшающагося трагедіями своими. Повторяемъ, мы не могли принять на себя многосложный трудъ представить всѣ выводы и заключенія, какіе способна дать книга автора; но онъ уже неизбеженъ послѣ ея появленія, и, притомъ, трудъ этотъ будетъ заключать въ себѣ преимущественно исторію образованности нашего общества. Какъ можетъ быть иначе? „Воспоминанія“ даютъ средство объяснить сценическую или литературную дѣятельность человека его жизнью; а жизнь, подъ перомъ такого автора, какъ С. Т. Аксаковъ, является всегда, какой бы части онъ ни коснулся, съ отроутками и нитями, глубоко уходящими въ нѣдра общества. Къ этимъ животрепещущимъ нитямъ и отроуткамъ позднѣйшій историкъ, работающій по указаніямъ современниковъ, и привязываетъ дѣло собственныхъ рукъ, свою собственную задачу.

Кончаемъ статью нашу однимъ замѣчаніемъ. Если послѣдняя и высшая цѣль всякой литературы состоитъ въ томъ, чтобы привести общество къ самопознанію, къ открытію нравственныхъ силъ, дѣйствовавшихъ въ немъ прежде, и тѣхъ, какія еще могутъ дѣйствовать въ немъ, то книга С. Т. Аксакова принадлежитъ къ тѣмъ утѣшительнымъ явленіямъ, которыя способствуютъ этому великому назначенію литературы. Она именно возникла изъ потребности осмотрѣть себя и своихъ. Съ другой стороны, мы также не ошибемся, причисливъ ее къ произведеніямъ нашей изящной словесности, способнымъ не только поддержать возникающее сочувствіе публики къ литературѣ, но вызвать его, если бы оно было обращено на другіе предметы, и укрѣпить, если бы первыя проявленія его еще не совсѣмъ были свободны отъ предубѣжденія. Счастливъ авторъ, который можетъ поставить свое имя на трудѣ, имѣющемъ въ виду эту двойную цѣль и достигающемъ ее по мѣрѣ своихъ силъ и способностей.

Анненковъ.

### Общее содержаніе „Дѣтскихъ годовъ внука Багрова“.

Герой „Дѣтскихъ годовъ“ Сережа Багровъ, мальчикъ отъ 5 до 10 лѣтъ, сынъ оренбургскаго помѣщика Алексѣя Степановича и Софьи Николаевны Багровыхъ, внукъ знамени-



таго Степана Михайловича, знакомаго читателямъ изъ „Семейной хроники“. Дѣйствіе происходитъ въ послѣдніе годы прошлаго столѣтія. Книга состоитъ изъ 20 отдѣловъ, или главъ, въ которыхъ авторъ показываетъ разныя эпохи изъ жизни своего героя, или ставитъ его въ новыя положенія къ окружающимъ его людямъ, къ тому маленькому міру, въ которомъ вращалась жизнь его. Самъ Сережа является дѣйствующимъ лицомъ и рассказчикомъ. Онъ начинаетъ свое повѣствованіе отрывочными воспоминаніями изъ самыхъ раннихъ лѣтъ дѣтства: кормилица, сестра, мать смутно представляются въ его воображеніи. Болѣзненный ребенокъ Сережа хорошо помнитъ только то мучительное время, когда онъ былъ обреченъ всѣми въ неизбѣжную добычу смерти, отъ которой спасла его нѣжная, горячая любовь матери; естественно, что и мальчикъ по выздоровленіи сталъ питать къ ней то же чувство. Послѣдовательныя воспоминанія нашего героя начинаются съ жизни въ Уфѣ. Природа, любовь къ которой развилась въ мальчикѣ, чудесное (проявляющееся въ народныхъ сказкахъ и повѣрьяхъ), чтеніе занимаютъ его всего болѣе. Болѣзнь Софьи Николаевны заставляетъ Багровыхъ ѣхать въ Оренбургъ, при чемъ рѣшено было завести дѣтей къ старику-дѣду, С. М. Багрову. Путешествіе происходило лѣтомъ: переправа черезъ рѣку Бѣлую, ночлегъ въ полѣ, новая переправа черезъ величавую Дѣму, новый ночлегъ въ чувашской деревнѣ, пріѣздъ въ село Парашино, принадлежавшее Прасковѣ Ивановнѣ Куролесовой, осмотръ парашинскихъ табуновъ, родниковъ, мельницы, уборка ржи и т. п. — все это сильно занимало впечатлительнаго мальчика. Поѣздка отъ Уфы до Багрова положила начало той страсти, который онъ впоследствии предался съ полнымъ самозабвеніемъ — уженью. Старикъ Багрова, дѣдъ и бабка, не полюбились Сережѣ: пребываніе его въ Багровѣ вмѣстѣ съ родителями и потомъ, когда они уѣхали въ Оренбургъ, одного съ сестрою, оставило въ немъ самыя непріятныя, самыя горькія воспоминанія; только любовь имъ самимъ нѣжно любимой сестры нѣсколько облегчала скорбь бѣднаго мальчика; здѣсь же началась также взаимная любовь между нимъ и дядькой его Евсенчемъ. Потомъ мы опять видимъ Сережу въ Уфѣ зимою. Онъ выводитъ намъ на сцену новыя лица: своихъ дядей, учителя, нѣкоторыхъ знакомыхъ; рассказываетъ о впечатлѣніи, которое

произвела на него школа, куда матери вздумалось однажды послать его. На слѣдующее лѣто герой нашъ пустился къ своимъ роднымъ въ деревню Сергѣевку, гдѣ великолѣпное озеро Кіпшки, а особенно уженіе и полукочевая жизнь въ кибиткѣ (мать его пила кумысъ, а въ Сергѣевкѣ дома не было), поглощаютъ все его вниманіе. Здѣсь получилъ онъ первое понятіе о предметахъ, ему незнакомыхъ: о ружейной охотѣ, которую онъ страстно полюбилъ, о собираніи ягодъ, о ловлѣ перепеловъ. По возвращеніи въ Уфу, Сережа, естественно, долженъ былъ скучать однообразіемъ городской жизни; зима обратила его къ чтенію и чаще заставляла быть съ матерью и сестрой. Смерть императрицы Екатерины II и извѣстіе о безнадежномъ состояніи дѣда — самыя яркія воспоминанія изъ этого періода его жизни. Последнее обстоятельство заставляетъ семейство молодыхъ Багровыхъ ѣхать зимою въ деревню Степана Михайловича. Эта поѣздка обогащаетъ Сережу новыми впечатлѣніями: ѣзда зимой, смерть дѣла, страхъ ребенка при этомъ роковомъ актѣ въ нашей жизни, горесті отца и матери, отчасти грустныя, отчасти комическія сцены, послѣдовавшія за смертью покойника, произвели на него самое безотрадное вліяніе, въ особенности поразила его смерть дѣда, но добрая натура мальчика превозмогла ужасъ, обладавшій его душою: онъ входитъ въ дѣдушкину комнату, спустя нѣсколько дней послѣ его смерти, и читаетъ по немъ Псалтирь. По возвращеніи въ Уфу Сережа испыталъ и горе и радость: отчаянная болѣзнь любимой матери и рожденіе брата были тому причиной. Послѣ смерти отца Алексѣй Степановичъ выходитъ въ отставку и ѣдетъ на постоянное житіе въ Багрово, гдѣ вступаетъ въ права полнаго хозяина. Здѣсь, въ этой деревнѣ, нашъ Сережа въ своей сферѣ: онъ не любитъ городской замкнутой жизни; въ Багровѣ онъ на свободѣ, лицомъ къ лицу съ обожаемой имъ природой. Мальчикъ страстно полюбилъ все Багровское. Да и нельзя было и не полюбить, по причинѣ множества еще неиспытанныхъ наслажденій, новыхъ лицъ, новыхъ картинъ природы: осень, возка и молотба хлѣба, чтеніе арабскихъ сказокъ, зима, весна, встрѣча Свѣтлаго праздника, чудныя картины половодья, посѣвъ хлѣба, сѣнокосъ, потомъ опять осень — сколько новыхъ наслажденій, сколько благихъ впечатлѣній доставило все это Сережѣ! Если не самая жизнь въ Чурасовѣ у бабушки



Прасковьи Ивановны Куролесовой, такъ похожая на городскую Уфимскую, то поѣздка къ ней изъ Багрова доставляла Сережѣ новыя удовольствія и способствовала къ расширенію его кругозора: посѣщеніе села Никольскаго, принадлежавшаго г. Д., лѣтняя, осенняя и зимняя переправа черезъ Волгу, вѣздъ въ Симбирскую гору — все это было для него ново, поразительно. На предполагаемой поѣздкѣ въ Казань оканчивается исторія дѣтства Сережи.

*М. де-Пуле.*

---

### Органическая связь „Дѣтскихъ годовъ внука Багрова“ и „Семейной хроники“.

Когда лѣтъ тридцать тому назадъ вышла въ свѣтъ маленькая книжка, скромно озаглавленная „Записки объ уженъи рыбы“, всѣ ее прочитали съ восхищеніемъ и признали, въ своемъ родѣ, за художественно-литературный образецъ. Всѣхъ поразило въ ней, со стороны внутренняго содержанія, необычайно свѣжее чувство природы, а со стороны формы — неподражаемый русскій языкъ. Слышалось притомъ, что содержаніе и форма тутъ взаимно обусловлены другъ другомъ: какъ будто именно въ даръ за прямо-русскую душу художника ему дался и это прямо-русскій языкъ.

Впослѣдствіи авторъ этой книжки занялъ первенствующее мѣсто въ ряду современныхъ писателей такими капитальными произведеніями, какъ „Семейная хроника“ и Дѣтскіе годы Багрова внука“. Многіе изъ критиковъ тогдашняго времени желали опредѣлить его значеніе въ русской литературѣ и старались объяснить его литературный характеръ. Иное было сказано вѣрно, иное нѣтъ.

Намъ кажется, что именно уже въ первомъ своемъ сочиненіи, въ этихъ „Запискахъ объ уженъи рыбы“, будущій авторъ „Семейной хроники“ самъ далъ ключъ къ разумѣнію всей своей послѣдующей дѣятельности. Съ удивительной ясностью и простотой, лучше всѣхъ другихъ, самъ онъ далъ возможность опредѣлить: въ чемъ его самобытность. Въ самомъ дѣлѣ, если бъ кто спросилъ насъ: въ чемъ заключается вообще духъ произведеній С. Т. Аксакова, въ чемъ состоитъ

его литературный характеръ, — мы сочли бы за лучшее, въ отвѣтъ на это, привести собственные слова автора „Записокъ объ уженъи рыбы“; мы, пожалуй, привели бы еще и одинъ замѣчательный эпиграфъ, случайно приложенный къ этой книгѣ. Вотъ эти прекрасныя слова: „Чувство природы врожденно намъ отъ грубаго дикаря до самаго образованнаго человѣка. Противоестественное воспитаніе, насильственные понятія, ложное направленіе, ложная жизнь — все это вмѣстѣ стремится заглушить мощный голосъ природы, и часто заглушаетъ или даетъ искаженное развитіе этому чувству. Конечно, не найдется почти ни одного человѣка, который былъ бы совершенно равнодушенъ къ такъ называемымъ красотамъ природы, то-есть къ прекрасному мѣстоположенію, живописному далекому виду, великолѣпному восходу или закату солнца, къ свѣтлой мѣсячной ночи; но это еще не любовь къ природѣ: это любовь къ ландшафту, декораціямъ, къ призматическимъ преломленіямъ свѣта; это могутъ любить люди самыя черствыя, сухіе... Ихъ любовь къ природѣ внѣшняя, наглядная, они любятъ картинки, и то ненадолго; смотря на нихъ, они уже думаютъ о своихъ пошлыхъ дѣлшкахъ и спѣшатъ домой, въ свой грязный омутъ, въ пыльную душную атмосферу города... Но Богъ съ ними. Деревня, не подмосковная, далекая деревня, въ ней только можно чувствовать полную, не оскорбленную людьми жизнь природы. Деревня, миръ, тишина, спокойствіе! Безыскусственность жизни, простота отношеній! Туда бѣжать отъ праздности, пустоты и недостатка интересовъ; туда же бѣжать отъ неутомимой, внѣшней дѣятельности, мелочныхъ своекорыстныхъ хлопотъ, бесплодныхъ, бесполезныхъ, хотя и добросовѣстныхъ мыслей, заботъ и попеченій! На зеленомъ цвѣтущемъ берегу, надъ темною глубиоу рѣки или озера, въ тѣни кустовъ, подъ шатромъ исполинскаго осокора или кудрявой ольхи, тихо трепещущей своими листьями въ свѣтломъ зеркалѣ воды, на которомъ колеблются или неподвижно лежатъ наплавки ваши, улягутся мнимыя страсти, утихнутъ мнимыя бури, разсыплются самолюбивыя мечты, разлетятся несбыточныя надежды. Природа вступить въ вѣчныя права свои, вы услышите ея голосъ, заглушенный на время суетней, хлопотней, смѣхомъ, крикомъ и всею пошлостью человѣческой рѣчи. Вмѣстѣ съ благовоннымъ, свободнымъ, освѣжи-



тельнымъ воздухомъ, вдохнете вы въ себя безмятежность мысли, вротость чувства, снисхожденіе къ другимъ и даже къ самому себѣ. Непримѣтно, мало-по-малу разсѣется это недовольство собою, эта презрительная недовѣрчивость къ собственнымъ силамъ, твердости воли и чистотѣ помысловъ — эта эпидемія нашего вѣка, эта черная немочь души, чуждая здоровой натурѣ русскаго человѣка, но заглядывающая и въ намъ за грѣхи наши“.

Не правда ли, въ этихъ приведенныхъ словахъ сказалось уже цѣлое направленіе, цѣлая будущая программа, такъ блистательно оправданная потомъ послѣдующими сочиненіями автора? Кто читалъ эти строки еще въ то время, когда онѣ были напечатаны въ первый разъ, то-есть задолго до появленія послѣдующихъ сочиненій С. Т. Аксакова, стяжавшихъ ему нынѣшнюю славу, тотъ невольно еще тогда думалъ: авторъ не даромъ такой удивительный знатокъ и русской природы и нашей родной рѣчи. Не даромъ у него проронился и этотъ намекъ о „здоровой натурѣ русскаго человѣка“. И хотѣлось еще, прочитавъ эти строки, сказать ему: покажите же намъ, наконецъ, эту „здоровую натуру русскаго человѣка“, этихъ простыхъ русскихъ людей, если вы ихъ знаете на самомъ дѣлѣ. Пушкинъ, повидимому, сулилъ намъ это, говоря:

Я опишу простыя рѣчи  
Отца или дяди старика,  
Дѣтей условленные встрѣчи  
У старыхъ липъ, у ручейка,

и умеръ рано. Гоголь, повидимому, хотѣлъ того же — и изнемогъ.

И вотъ, именно въ отвѣтъ на такіе запросы, явились напослѣдокъ „Семейная хроника“, потомъ „Дѣтскіе годы Багрова внука“; русское чувство, наконецъ, утолилось этими мастерскими картинами и живыми типами русской жизни и русскаго быта — хотя, правда, и въ тѣсномъ уголкѣ „Хроники“, именно семейной. Намъ припоминается удачное выраженіе изъ одной лучшей критики, по поводу „Дѣтскихъ годовъ Багрова внука“. Ото всей книги — сказано въ ней — вѣетъ какимъ-то особеннымъ благосостояніемъ душевнымъ, и это душевное благосостояніе, по мѣрѣ чтенія, переливается въ душу самого читателя. Совершенно вѣрно; удач-

нѣе нельзя бы и передать того впечатлѣнія, которое вообще производятъ на душу сочиненія нами разбираемаго писателя; но должно признаться, что это „душевное благосостояніе“, о которомъ говорить критикъ автора, подъ конецъ всего и есть не что другое, какъ та же „здоровая натура русскаго человѣка“, о которой сказалъ самъ авторъ.

А вотъ и этотъ эпиграфъ, о которомъ мы сказали, что онъ былъ неслучайно приложенъ къ „Запискамъ объ уженьи“. Онъ состоитъ изъ слѣдующихъ стиховъ:

Есть однако примиритель,  
Вѣчно юный и живой,  
Чудотворецъ и цѣлитель —  
Ухожу къ нему порой.  
Ухожу я въ міръ природы,  
Въ міръ спокойствія, свободы,  
Въ царство рыбъ и куликовъ,  
На свои родныя воды,  
На просторъ степныхъ луговъ,  
Въ тѣнь прохладную лѣсовъ  
И — въ свои молодые годы.

Ну есть ли это опять въ нѣкоторомъ родѣ цѣлая программа всей литературной дѣятельности нашего автора и даже его литературная характеристика?

Въ самомъ дѣлѣ, прочитавъ его увлекательное описаніе царства рыбъ, всѣ съ нетерпѣніемъ ожидали продолженія записокъ о царствѣ куликовъ, гдѣ картины природы — этого чудотворца и цѣлителя, этого міра спокойствія и свободы — должны были выступить еще ярче и шире въ обаятельныхъ описаніяхъ. Но когда, дѣйствительно, въ отвѣтъ этимъ ожиданіямъ, появились „Записки ружейнаго охотника Оренбургской губерніи“, въ нихъ до такой степени живо сказалось, что описанныя авторомъ воды, лѣса и степи — ему родныя мѣста, что невольно просилось еще, чтобъ онъ населилъ, наконецъ, и живымъ людскимъ населеніемъ эти свои родныя воды и степи... „Семейная хроника“ уже наговаривалась сама собою. Но, въ свою очередь, и воспоминанія объ этихъ родныхъ мѣстахъ, куда переселился „дѣдушка Степанъ Михайловичъ“, у автора сливались съ воспоминаніями собственнаго дѣтства; это всякій слышалъ въ каждой строкѣ, читая „Семейную хронику“ — при всей такъ называемой объек-



тивности возсозданныхъ въ ней лицъ. Не даромъ и приведенные стихи эпитафиа объ уходѣ въ міръ природы, на просторъ степныхъ луговъ, на свои родныя воды, въ тѣнь прохладную лѣсовъ, вѣнчались заключительнымъ стихомъ:

И — въ свои молодые годы.

„Дѣтскіе годы Багрова внука“ явились, такимъ образомъ, необходимымъ заключительнымъ звеномъ художественныхъ созданій автора; ими достойно завершилось его творчество: ими, говоря языкомъ художественной критики, циклъ всѣхъ его сочиненій замкнулся самъ въ себѣ.

Трудно сказать: какому изъ двухъ капитальныхъ произведеній С. Т. Аксакова — „Семейной хроникѣ“ или „Дѣтскими годами Багрова внука“ — отдать предпочтеніе въ художественномъ совершенствѣ? Если въ „Семейной хроникѣ“ всѣ типы представляются очерченными рѣзче и крупнѣе, если мѣстами само содержаніе представляется оживленнѣй и драматичнѣй, если затрогиваемые ею мотивы иногда глубже и наконецъ, отъ начала до конца въ ней больше лиризма зато въ „Дѣтскихъ годахъ Багрова внука“ отъ начала до конца поражаетъ удивительная ясность, такъ сказать, тонина поэзіи, которая еще постоянно скрадывается чисто эпическимъ спокойствіемъ гармонически-стройнаго разсказа. Про „Дѣтскіе годы Багрова внука“ вообще можно сказать, что это цѣлая дѣтская эпопея.

Наконецъ, этотъ неподражаемый русскій языкъ С. Т. Аксакова, въ которомъ у него рѣшительно нѣтъ соперниковъ, именно въ „Дѣтскихъ годахъ“ достигаетъ своего высшаго предѣла. Въ связи съ какою-то цѣломудренною чистотою, которою вѣетъ отъ всѣхъ его произведеній, именно еще этотъ языкъ дѣлаетъ то, что всѣ его книги составятъ любимѣйшую бібліотеку русскихъ дѣтей и нашей школы.

*Бекетовъ.*

---

## Русская жизнь и люди города и деревни въ „Дѣтскихъ годахъ внука Багрова“.

Двѣ главные силы даны Провидѣніемъ ребенку — Аксакову для того, чтобы совершилось его развитіе: онѣ въ его отцѣ и

матери. Въ отцѣ олицетворена жизнь практическая; это сынъ природы, умѣющій владѣть ею; воля влечетъ его къ дѣламъ хозяйства, которыми онъ безпрестанно занятъ. Въ матери живутъ чувство и размышленіе: она воспитана болѣе городомъ, чѣмъ деревнею; въ ней воля сосредоточена вся въ любви къ сыну.

Отецъ и мать, воплощая въ самихъ себѣ жизнь и ученье, волю и размышленіе, нисколько не уничтожаютъ другъ друга въ воспитаніи сына, а только дополняютъ себя взаимно. Отецъ влечетъ Сережу къ природѣ, къ селамъ, полямъ, рѣкамъ, озерамъ, къ удочкѣ и ружью, къ работамъ сельскимъ; мать — ко внутренней жизни, къ бесѣдѣ съ собою, къ молитвѣ и книжкамъ, къ размышленію и вопросамъ.

Мать Сережи принадлежитъ къ числу самыхъ счастливыхъ, самыхъ полныхъ созданій русской поэзіи, заимствованныхъ изъ міра русской жизни. Чѣмъ болѣе вглядываешься въ ея образъ, тѣмъ живѣе предъ вами выступаетъ онъ, и тѣмъ сильнѣе ваше къ нему сочувствіе. Этотъ образъ выносила въ душѣ своей такая же любовь сыновняя, какая прежде у груди матери лелѣяла сына. Взглянешь на нее, какъ психологъ: сколько оттѣнковъ души женской въ ней отыщешь! Взглянешь, какъ педагогъ — и увидишь воочию всю важность значенія матери въ воспитаніи сына.

Ея противорѣчія увлеченіямъ Сережи къ природѣ и охотѣ вводятъ только эти естественныя наклонности человѣка въ границы и даютъ имъ болшую правильность. Вспомнимъ, когда онъ въ первый разъ принесть въ жертву матери наслажденіе возникавшей въ немъ страсти къ удочкѣ или когда она упрекнула его въ томъ, что онъ ее забылъ для природы, и онъ зарыдалъ съ чувствомъ раскаянія на груди ея, — развѣ эти противорѣчія матери остановили или поколебали въ немъ развивавшееся чувство природы? Нисколько. Напротивъ, это чувство естественное, просвѣтленное чувствомъ человѣческимъ, получило возможность болѣе сознательнаго развитія. Нѣтъ полнаго воспитанія человѣка безъ противодѣйствій: то, что дано ему природою, разовьется еще правильнѣе, когда обуздается размышленіемъ.

Исторія участія матерей въ воспитаніи есть та неисповѣдимая, недоступная намъ книга, которой тайны извѣстны только Существу всезнающему. Этихъ подвиговъ и заслугъ



почти не знаетъ человѣчество: это жертвы, безсознательной силой самой чистой любви ему на землѣ приносимыя. Какъ часто не вѣдаютъ о нихъ даже и тѣ, которые были ихъ предметомъ! Взять изъ этой таинственной книги хотя нѣсколько страницъ и внести ихъ въ біографію дѣтства есть уже великая заслуга не только передъ русскими людьми, но и передъ людьми вообще. Лицу матери, озаряющему дѣтскіе годы Багрова, конечно, отдала бы справедливость всякая просвѣщенная критика.

Но кромѣ этихъ двухъ силъ, даруемыхъ Провидѣніемъ человѣку при его рожденіи, кромѣ отца и матери, есть еще третья, таящаяся въ немъ самомъ. Для изслѣдованія этой силы много богатыхъ данныхъ предлагаютъ дѣтскіе годы. Эта личность души сказывается непрерывно въ Сережѣ рядомъ вопросовъ, которые возбуждаетъ въ немъ всякое новое событіе, его поражающее. Откуда берутся они? Что движетъ ихъ? Здѣсь невольно приходитъ мысль о Томъ, Кто чрезъ бессмертную искру, влагаемую Имъ въ человѣка при рожденіи, открываетъ дѣтямъ то, что таитъ отъ премудрыхъ и разумныхъ.

Перейдемъ отъ двухъ главныхъ лицъ, дѣйствующихъ на ребенка, въ лицамъ второстепеннымъ. Сюда принадлежитъ прежде всего старшее поколѣніе, въ которомъ олицетворенъ патриархальный деревенскій бытъ: отживающій дѣдушка на своихъ кожаныхъ бреслахъ съ мѣдными шишаками, бабушка въ окруженіи женской дворни, съ своей работой надъ козымъ пухомъ, и тетушка Татьяна Степановна съ своимъ таинственнымъ амбаромъ. Это также дѣти природы, воспитанныя на ея лонѣ; но она никогда не возбуждала въ нихъ ни одного душевнаго чувства: они пользовались ею, погружались въ ней, но никогда не отрѣшались отъ нея, а потому и не могли никогда ее сильно и сознательно почувствовать. Ихъ изображеніе въ дѣтскомъ эпосѣ ясно показываетъ, что не исключительное воспитаніе на лонѣ природы составляетъ главную тему выведеннаго въ немъ дѣйствія. Багровъ уважаетъ этотъ міръ по семейнымъ отношеніямъ, но въ немъ самомъ нѣтъ никакого къ нему живого сочувствія. Сережа ощутилъ весь гнетъ этого патриархальнаго міра, когда, по отъѣздѣ матери, остался въ немъ одинъ съ своей сестрицей. Онъ заслонилъ отъ него даже и природу, къ которой его влекла природа собственной

души его. Мать, противорѣчившая его влеченіямъ, гораздо сильнѣе ихъ въ немъ развивала, нежели эти дѣти природы, воспитанныя на ея лонѣ. Сережа болѣе боится своего дѣдушки, чѣмъ его любить; а наказаніе, произведенное бабушкою надъ одной изъ дѣвокъ за нечисто выбранный козій пухъ, совершенно удалило его отъ нея.

Смерть дѣдушки и всѣ страхи, при этомъ испытанные Сережей, составляютъ одинъ изъ прекрасныхъ эпизодовъ дѣтскаго эпоса. Но въ этомъ патріархальномъ быту отмѣчены спокойнымъ наблюдателемъ его и такія стороны, которымъ, пожалуй, можно не сочувствовать, но въ которыхъ, при безпристрастіи, нельзя не признать своей хорошей стороны. Эти люди природы крѣпки на душевное чувство: оно не лишаетъ ихъ ни сна ни аппетита. Развитіе въ насъ душевнаго личнаго чувства бываетъ намъ источникомъ многихъ душевныхъ наслажденій, но зато сколько внутреннихъ страданій и лишеній оно намъ стоитъ! Если бы оно было умѣрено въ насъ не грубымъ матеріализмомъ природы, какъ въ этихъ людяхъ, а силою высшаго духа, какъ это встрѣчается иногда въ русскихъ, тогда, конечно, духовное и всякое развитіе наше было бы полнѣе и совершеннѣе. Замѣчательно еще въ этомъ быту уваженіе къ старшинству, возведенное въ семейное начало и доходящее до какого-то отвердѣлаго обычая: безъ старшаго въ домѣ жить не могутъ. Ему приносятъ въ жертву свою личность, какъ охранителю, какъ оберегателю всѣхъ и cadaго. Татьяна Степановна, несмотря на свой возрастъ, подвигаетъ скамеечку Софьѣ Николаевнѣ, какъ старшей въ домѣ, не изъ рабскаго униженія, а по тому же глубокому семейному началу, которое имѣетъ весьма важное значеніе въ жизни и совершенное разрушеніе котораго, вызванное нѣкоторыми злоупотребленіями, не привело семейства наши къ счастью.

Есть и младшее поколѣніе при Сережѣ: сестрица и братецъ. Вспомнимъ прекрасную пластическую группу дѣдушки и двоихъ дѣтей: какъ сестрица спрыгиваетъ съ колѣнъ его, подбѣгаетъ къ братцу, обнимаетъ и цѣлуетъ его и потомъ опять всползаетъ къ дѣдушкѣ на колѣни; а когда дѣдушка, грубый въ самыхъ ласкахъ, спрашиваетъ ее: что ты, козулька, вскочила? отвѣчаетъ ему: „захотѣлось братца поцѣловать“ — сестрица вся тутъ, и вся жизнь ея въ этомъ словѣ. Правда, что она заслонена въ семьѣ умственнымъ превосходствомъ



и старшинствомъ лѣтъ своего братца, но нравственное существо ея такъ высоко, что, несмотря на всѣ злыя внушенія окружающихъ родныхъ, зависть ни разу не омрачила ея чистаго сердца и не нарушила ни на минуту дружбы ея съ братцемъ. А между тѣмъ, какъ она необходима была для его развитія! Кто бы раздѣлилъ съ нимъ и облегчилъ ему первое его одиночество? Кто бы принялъ въ сердце первыя его тайны? Кто бы съ такимъ вниманіемъ выслушивалъ его и помогалъ первому развитію его способностей? Кого пугалъ бы онъ первыми вымыслами своего живого дѣтскаго воображенія? Этого и мать не могла бы сдѣлать: все это чистая жертва сестры, это ея не всегда цѣнимое участіе въ воспитаніи брата, одна изъ безчисленныхъ женскихъ жертвъ, извѣстныхъ Богу, а не людямъ.

Сережа растетъ не въ большой, многочисленной семьѣ: это его особенность. Никто изъ старшихъ братьевъ и сестеръ не заслонилъ собою его развитія: это его выгода. Рожденіе младшаго братца, первыя съ нимъ свиданія въ его колыбелькѣ и заботы о немъ принадлежатъ къ числу прекрасныхъ эпизодовъ дѣтскаго эпоса, столько близкихъ къ сердцу каждаго, кто можетъ припомнить въ дѣтствѣ своемъ подобныя событія.

За міромъ семьи слѣдуетъ міръ ея челядинцевъ, обыкновенно называемый дворнею. Ни въ чемъ такъ не обнаруживается нравственное превосходство матери Сережи надъ другими матерями, какъ въ томъ, что она глубоко сознала эту язву семей и простерла свой охранительный покровъ на сына, можетъ-быть, даже до излишества. Особенно торжествуетъ сила ея ума надъ челядью Чурасовской, которая могла всего вреднѣе подѣйствовать на ея ребенка, но Софья Николаевна проницательнымъ умомъ своимъ и инстинктомъ материнскаго чувства умѣла изъ этой дворни отдѣлить самое счастливѣйшее изъ ея исключеній — неоцѣненнаго Евсенча. Вотъ дядька, котораго лучше не выдумаетъ никакая педагогія и котораго могла создать только полная русская жизнь, взятая лучшею ея стороною, а опредѣлить къ сыну — разумная любовь матери. Выборъ Софьи Николаевны служитъ для критиковъ лучшимъ доказательствомъ тому, что она не противилась сближенію сына своего съ природою, когда приставила къ нему чело-вѣка, который весь дышалъ живымъ ея чувствомъ.

Русская жизнь, еще вполне согласная съ природою и не-

тронутая никакою ложью и развратомъ, произвела эту крѣпкую, здоровую душой и тѣломъ натуру. Простымъ нравственнымъ чувствомъ Евсенчъ понялъ чистоту того дѣтскаго міра, въ которомъ долженъ вырастать его соколикъ-баринъ, и сталъ достойнымъ орудіемъ и помощникомъ матери въ дѣлѣ храненія этой чистоты такъ, чтобы никакая порча не могла къ ней прикоснуться; но охраняя свое дитя отъ всякой нечистоты, онъ не заслонилъ отъ него русскую жизнь и природу, а, напротивъ, явился самъ живымъ проводникомъ ихъ къ душѣ ребенка. Какъ кстати всегда его анекдоты изъ жизни русскаго народа! Какъ самъ превращается онъ въ ребенка, когда удить рыбу или ловить птицъ съ Сережей! А какъ чувствуетъ самъ онъ природу — и лучшее изъ ея явленій — весну! Какъ свѣжи, какъ страстны его вѣсти о веснѣ и о всѣхъ ея признакахъ! Голубемъ ковчегу влетаетъ онъ къ запертому въ комнатѣ своему питомцу и веселитъ его и лакомитъ всякой вѣсточкой о лучшемъ времени года! Онъ же — и первый наставникъ Сережи въ родномъ языкѣ, и сколько поэзіи у него въ выраженіяхъ! „Солнце стояло дерева въ два!“ „Вотъ лещъ-то — ровно заслонъ!“ Сюда присоединить можно и поэтическое слово Параши о волжской полыньѣ: это Волга дышитъ! и слово Миронича о пашнѣ, что трава въ ней не отрыгнетъ. Это школа народнаго языка безцѣнная, незамѣнимая: кто имѣлъ счастье съ малыхъ лѣтъ учиться въ ней, тотъ никогда не измѣнитъ его силѣ. Сюда же отнести должно и русскія пѣсни Матрешы во время поѣздки за груздами и сказку ключницы Пелагеи объ аленькомъ цвѣточкѣ, которая въ художественно-народномъ изложеніи приложена къ дѣтскимъ годамъ.

Но Параша и Мироничъ, несмотря на поэзію ихъ языка, не принадлежатъ къ тѣмъ явленіямъ сельскаго міра, которыя полезно дѣйствовали на ребенка. Параша дышитъ уже надменнымъ духомъ дворни, презирающей крестьянскія работы. „Вотъ нашли какую невидаль!“ говоритъ она со смѣхомъ Сережѣ, когда онъ рассказывалъ сестрѣ съ жаромъ о крестьянскихъ работахъ. „Очень нужно сестрицѣ вашей знать, какъ крестьяне молотятъ да кладутъ“.

Намъ остается этотъ самый міръ, эта община, крестьяне-земледѣльцы, но мы коснемся ихъ, когда перейдемъ къ природѣ, оживляемой сельскими работами.



Пора перейти къ городу. Городъ Уфа и городская жизнь, проникшая въ самыя деревни, имѣютъ также вліяніе на дѣтство Сережи. Здѣсь тѣ же двѣ стороны, какъ и въ деревнѣ: свѣтлая и темная. Аничковъ, снабжающій Сережу книгами, Чичаговъ, дѣйствующій на него своимъ литературнымъ образованіемъ, его дядя, приносящіе любовь къ искусству изъ университетскаго пансіона, домъ Прасковьи Ивановны, украшенный картинами и снабженный библіотекой, оркестръ музыки, предлагающій первое музыкальное впечатлѣніе Сережѣ, а всего болѣе наша литература, изъ обѣихъ столицъ проникающая сильно въ деревню — вотъ лучшая сторона этого міра, еще далеко не развитого. Но есть и темная: таково ужасное впечатлѣніе народнаго училища; такова пустая жизнь, не знающая, чѣмъ убить время; таковы безсмертныя наши карты, этотъ опиумъ русскаго міра въ людяхъ, боящихся мысли, усыпляющій мысль и въ натурахъ страстныхъ волнующій страсти.

Здѣсь, въ этой пустотѣ городской жизни, совершается одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ эпизодовъ въ дѣтствѣ Багрова. Оба дяди Сережи и пріятель ихъ Волковъ отъ нечего дѣлать вздумали дразнить ребенка. Весьма рано развилось въ немъ чувство собственности: любовь отца и матери назвала новопріобрѣтенную землю по его имени Сергѣевкой. Сладко повторялъ онъ слова: моя Сергѣевка. На это чувство собственности, только что зародившееся, и на нѣжную любовь къ сестрицѣ вздумали посягнуть большаки, желавшіе дразнить Сережу. Увѣрили его, что Волковъ беретъ сестрицу въ невѣсты и за ней приданое — Сергѣевку. Все это дразненіе кончилось ужасно горькими сценами въ семействѣ и болѣзнью Сережи, довольно важною.

Весь этотъ эпизодъ прямо снятъ съ природы, и можетъ дать поводъ педагогу къ извлеченію своихъ наблюденій надъ семейнымъ воспитаніемъ. Дразнить дѣтей, или мистифицировать, у насъ до сихъ поръ не вышло изъ обычая. Въ семьяхъ это бываетъ обыкновенно дѣломъ или, правильнѣе, бездѣльемъ праздныхъ старшихъ родственниковъ. Иные считаютъ это даже пріемомъ педагогическимъ, служащимъ къ упражненію воли и характера. Но такіе насильственные пріемы оставляютъ гораздо болѣе вредныхъ, нежели полезныхъ, слѣдовъ на питомцѣ. Хорошая натура, конечно, все перенесетъ съ

пользою для себя, какъ это и было съ Сережею, но не всегда такъ бываетъ.

Изъ городскихъ лицъ, созданныхъ общественною жизнью Россіи въ Петровскомъ періодѣ, всѣхъ ярче, всѣхъ живѣе выступаетъ Прасковья Ивановна Куролесова, особенно по дружбѣ и симпатіи, которыя сблизили ее съ Софьей Николаевной. Она сама едва не сдѣлалась жертвою варварской стороны древняго быта; но необыкновенный умъ, чувство женское и богатство спасли ее и помогли ей создать себѣ въ деревнѣ кругъ общественный, весьма пріятный. Личность, сильно развитая въ ней, есть плодъ новой жизни и даже граничить съ эгоизмомъ. Дорогою цѣною купивъ свою свободу, она дорожитъ этою свободою и въ другихъ и всего болѣе щадитъ ее въ тѣхъ, которые гостятъ у нея. Зная по опыту, что Софьѣ Николаевнѣ не очень-то привольно въ той патріархальной атмосферѣ, куда привела ее судьба, она влечетъ ее къ себѣ, въ міръ своей свободы, развитія личныхъ душевныхъ чувствъ и сельскаго досуга. Она не любитъ дѣтей, потому что и въ нихъ видитъ узы патріархальнаго быта, — и въ обращеніи съ ними сохранила даже нѣкоторые грубые приемы патріархальности, которые очень не нравятся чувствительному Сережѣ. Но эгоизмъ, умѣренный ея умомъ и любезностью въ общественныхъ отношеніяхъ, простираетъ она до порока въ отношеніяхъ къ тѣмъ, которые отъ нея лично зависятъ. Рядомъ съ тѣмъ свѣтлымъ міромъ, который она себѣ создала, живетъ темный міръ ея матеріальной развращенной дворни. Онъ отдѣленъ отъ нея бездною: она не признаетъ его нравственнаго бытія и терпитъ его, какъ необходимую вещь для ея барскихъ прихотей Патріархальныя связи Багровыхъ съ ихъ дворнею гораздо чище и нравственнѣе тѣхъ, въ которыя поставили Прасковью Ивановну съ ея дворнею личный эгоизмъ и городская цивилизація. Нѣтъ доступа нѣжному чувству въ ней къ этимъ людямъ, которые ей служатъ. Вотъ изъ этого міра, заброшеннаго и обезображеннаго барскою прихотью, уже нѣтъ никакой возможности выйти Евсенчу — и будь дѣти у Прасковьи Ивановны, воспитаніе ихъ не могло бы обойтись безъ заморскихъ нянекъ и дядекъ, которые отучили бы ихъ и отъ отечества, и отъ русскаго народа, и отъ нашей природы.

Весьма замѣчательно, что ни въ городѣ ни въ деревнѣ



мы не встрѣчаемъ у Багровыхъ такъ называемыхъ городскихъ, которые въ деревняхъ гораздо чаще встрѣчаются и наѣзжаютъ въ гости въ наше время. Не такъ было въ золотые годы дѣтства Сережина. Это стихія была новая: она тогда еще не такъ вторгалась въ сельскую жизнь, потому что отвлеченный бумажный міръ, по недостатку знанія грамоты, еще не оспливалъ тогда крѣпкаго міра жизни. Но замѣсто городскихъ есть человѣкъ, полусельскій, полугородской, Пантелей Григорьевичъ, приказная строка въ лицахъ, самъ слѣпой, какъ рапсодъ Гомеровъ, но вдохновенно импровизирующій просьбы, куда хотите, хоть бы въ Сенатъ, хоть на Высочайшее.

Пребываніе Сережи въ городѣ, сосредоточивая его вниманіе на книгахъ и предлагая большія средства къ образованію, развивало его голову и сердце къ принятію болѣе сознательному впечатлѣній природы; а временная разлука съ деревней только сильнѣе питала любовь къ красотамъ ея. Къ тому же губернскіе города наши, особливо въ то время, не такъ удалены были цивилизаціею отъ сельской жизни, чтобы заставить вовсе забыть деревню. Разливъ рѣки Бѣлой подъ Уфою былъ однимъ изъ драматическихъ зрѣлищъ природы, сильно подѣйствовавшихъ на Сережу.

Дѣтя и природа такъ поставлены лицомъ къ лицу въ этомъ эпосѣ, что ихъ взаимное дѣйствіе другъ на друга и сближеніе другъ съ другомъ составляютъ главное его дѣйствіе, въ которомъ олицетворена творческая мысль художника. Всѣ прочія силы примыкаютъ къ этой мысли, содѣйствуя или препятствуя ея эпическому развитію. Что касается до картинъ природы, то самые противники произведенія отдаютъ его автору справедливость. Здѣсь красоты такъ ярки и такъ доступны всѣмъ, что похвалы имъ переходятъ въ общее мѣсто. Не распространяясь о томъ, что всѣмъ извѣстно, и не дѣлая выписокъ, которыми, конечно, мы могли бы украсить свою критику, — замѣтимъ только, что природа у художника является не въ однихъ прекрасныхъ отрывочныхъ описаніяхъ, которыя мы встрѣтить можемъ и у другихъ повѣствователей, но сама живетъ и дышитъ въ эпосѣ, какъ что-то одушевленное, своею внутреннею таинственною душою говорящее душѣ человѣка. Языкъ ея составленъ изъ безчисленныхъ звуковъ и безчисленныхъ красокъ. Въ него входятъ и шумные голоса и волны

рѣкъ ея: Бѣлой, Дѣмы, Пка, Бугуруслана и Волги. Каждая изъ нихъ, какъ живая сила міра Божія, ведетъ свою бесѣду съ душой питомца природы. Она говоритъ и въ Парашинскихъ рудникахъ, бьющихъ свѣжими ключами изъ лоно земли и напоминающихъ собою картины Одиссея, и въ этой веснѣ — милліонами травъ и цвѣтовъ, пронзающихъ землю, и милліонами птицъ, голосащихъ въ воздухѣ... Вспомнимъ притомъ, что это языкъ природы первобытной, почти непочатой человекомъ, съ ея дубами въ 1200 лѣтъ, съ ея кочевыми башкирцами въ 12 пудовъ вѣсу и 12 вершковъ росту, съ безконечнымъ животнымъ населеніемъ, наполняющимъ ея воды, лѣса и воздухъ.

Природа, какъ живая, одушевленная наставница, дѣйствующая на своего питомца, предлагаетъ ему и средства для поучительныхъ забавъ. Самыя игрушки Сережины, по большей части, не изъ игрушечнаго магазина, а изъ ея завѣтныхъ сокровищъ. Это — галька, собранная по берегамъ рѣкъ, белемниты Парашинскихъ родниковъ, червячки, превратившіеся въ хризолиды, птички, наловленныя силками, и милый его Сурка, спасенная имъ собачка, предметъ шалости и любви его. Замѣчательно, что игрушки, доставленныя ему природою, Сережа пріучается беречь, не ломаетъ ихъ и не портитъ.

Но природа, какъ бы ни была одушевленно представлена художникомъ, все останется не полна безъ человека, безъ его труда, орошающаго потомъ лица ея землю. Мертвъ будетъ ландшафтъ, не оживленный образомъ человека. Это понималъ художникъ — и потому у него природа вездѣ за одно съ тѣмъ, для кого она назначена. Страдная пора жнитва, возка сноповъ на гумно, молотьба гречи, весенняя пашня, шумный, звонкій веселый сѣнокосъ принадлежать къ числу тѣхъ гомерическихъ картинъ, которыми оживлено и превосходно осмыслено дѣтство, проведенное Сережею въ деревнѣ.

Ничто такъ плодотворно и такъ нравственно не дѣйствуетъ на первый нашъ возрастъ, какъ зрѣлище этихъ работъ, присутствіе при нихъ. Оно знакомитъ съ землею, дружитъ насъ съ народомъ, пріучаетъ цѣнить полезный и великій трудъ его. Какъ прекрасно это невыразимое чувство состраданія къ работающимъ, которое во время жнитва осянуло въ первый разъ душу Сережи! Какъ хорошо его побужденіе отвѣдать самому потоваго крестьянскаго труда, когда онъ просится



бороновать землю, и какъ полезеть ему урокъ, что онъ для того никуда не годится!

*Шевыревъ.*

## Педагогическое значеніе „Дѣтскихъ годовъ внука Багрова“.

Поэзіей дѣйствительной жизни проникнуты „Дѣтскіе годы внука Багрова“ отъ первой до послѣдней страницы. Читатели встрѣчаютъ здѣсь лица, знакомыя имъ изъ „Семейной хроники, но въ другихъ положеніяхъ: все семейство стараго умирающаго С. М. Багрова, изящный образъ страстной, развитой выше своихъ современницъ Софьи Николаевны, добраго флегматическаго Алексѣя Степановича. Прасковья Ивановна Куролесова является въ совершенно новомъ видѣ. Не говоримъ о другихъ лицахъ, вновь введенныхъ авторомъ, очерченныхъ имъ болѣе или менѣе подробно, но играющихъ второстепенную роль въ его разсказѣ. Замѣтимъ другихъ между ними Пантелей Григорьевичъ, знаменитый ходокъ по тяжбынымъ дѣламъ, вѣрнопостной человѣкъ стараго Багрова, „старецъ великаго ума и памяти“, по выраженію автора. Не станемъ также распространяться о художественномъ воспроизведеніи тогдашняго быта, эпохи послѣднихъ годовъ прежняго столѣтія. Съ нашей точки зрѣнія, главный интересъ книги сосредоточивается на Серезѣ, его матери, сестрѣ, отцѣ и превосходномъ изображеніи картинъ окружающей его природы. Сереза получилъ отъ матери страстный, воспріимчивый характеръ, отъ отца любовь къ природѣ, въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова. Натура мальчика была въ высшей степени поэтична: только этимъ свойствомъ ея можно объяснить его горячую любовь къ природѣ, доходящую до самозабвенія, до сумасшествія, по словамъ матери; его тоску и задумчивость, повидимому, безъ всякихъ причинъ, но на самомъ дѣлѣ происходившую всегда въ то время, когда онъ былъ стѣсненъ въ своихъ любимыхъ привычкахъ, когда не имѣлъ возможности предаться своимъ естественнымъ наклонностямъ; его раннюю любовь къ чтенію книгъ, къ слѣшанію сказокъ, изъ которыхъ послѣднія не только не усыпляли его, какъ надѣялась мать, но оживляли и прогоняли всякій сонъ; его богато развитую фантазію, которая рабо-

тала до такой степени, что изъ правдиваго мальчика дѣлала его какимъ-то лгунишкой, въ то время когда онъ пересказывалъ прочитанныя повѣсти; какую-то, наконецъ, мягкость и женственность его натуры. Раннее чтеніе и вліяніе образованной матери слишкомъ рано его развили. Отчасти сознательно, отчасти по инстинкту онъ понимаетъ то, о чемъ другія дѣти его лѣтъ не имѣютъ ни малѣйшаго понятія: отсюда необыкновенный интересъ его разсказа. Сколько справедливаго, нравственнаго, глубоко трогательнаго и вмѣстѣ съ тѣмъ успокоительнаго въ отношеніяхъ его къ матери, сестрѣ, отцу и ко всему окружающему міру — въ особенности же къ матери. Какъ хорошъ выходитъ, по его разсказамъ, вѣрный слуга его „милой сестрицы“. Исторіей этого мальчика заинтересуется всякій мыслящій образованный человѣкъ, тѣмъ болѣе заинтересуется ею все обучающееся русское поколѣніе, дѣти и юноши, въ которыхъ ярче горитъ пламень поэтическаго чувства, чѣмъ въ насъ, въ людяхъ взрослыхъ, охлажденныхъ опытами жизни. Главнѣйшею задачею нашего русскаго воспитанія, домашняго и общественнаго, должно быть прежде всего развитіе гуманности.

Мать его, женщина, знакомая съ Новиковымъ, слѣдовательно принадлежавшая къ лучшимъ, передовымъ людямъ той эпохи, привыкшая къ городской жизни, хотя не понимала красотъ природы, хотя не любила деревни и чуждалась жизни крестьянъ, но это отчужденіе происходило не отъ презрѣнія къ ихъ быту, а скорѣе отъ деликатности натуры, ненавидѣвшей всякое униженіе человѣческаго достоинства, всякое проявленіе усердія, состоявшаго въ цѣлованіи ручекъ, въ поклонахъ до земли и т. п. Но та же Софья Николаевна горячо слушаетъ разсказъ сына о старомъ засыпкѣ, оставленномъ отъ работы Алексѣемъ Степановичемъ, встрѣтившемъ сопротивленіе на этотъ счетъ со стороны Мироньча, сейчасъ хочетъ призвать и разбранить Мироньча, отставить его отъ должности, написать о немъ теткѣ П. И. Куролосовой; та же Софья Николаевна, побѣжденная скромностію чувствъ старо-багровскихъ крестьянъ, плачетъ при встрѣчѣ съ ними. Образъ добродушнаго Алексѣя Степановича невольно представляется читателю при каждой картинѣ природы, при каждой сценѣ изъ крестьянской жизни: отецъ Сережи вездѣ является какимъ-то добрымъ гепіемъ. Сколько



благодушія въ его привѣтливыхъ словахъ: *Богъ помоги*, съ которыми онъ обращается къ своимъ подчиненнымъ, работающимъ въ полѣ! Но тотъ же добрый Алексѣй Степановичъ, встрѣтивъ сопротивленіе въ своихъ распоряженіяхъ касательно улучшенія судьбы стараго засыпки со стороны Миронича, мстящаго бѣдному старику за буянство внука, выходитъ изъ себя и говоритъ несвойственнымъ ему голосомъ: „Такъ ты за вину внука наказываешь больного дѣдушку? Да ты взыскивай съ виновнаго“. Сынъ такого отца и такой матери, мальчикъ съ поэтической душою, Сережа съ раннихъ годовъ полюбилъ всѣмъ сердцемъ простого русскаго человѣка и поцѣлъ святость трудовъ его. Добрый мальчикъ чувствуетъ внутреннюю дрожь, слушая разговоръ отца съ Мироничемъ по поводу все того же стараго засыпки; смотря на жнитву хлѣба, онъ пропикается невыразимымъ чувствомъ состраданія къ работающимъ на солнечномъ зноѣ, „и много разъ потомъ“, продолжаетъ онъ, „бывая на жнитвѣ я всегда вспоминалъ это первое впечатлѣніе“; при взглядѣ на вспаханную ниву, въ которую бросали крестьяне сѣмена, надежду будущаго урожая, онъ крѣпко задумывается и самъ рѣшается бороновать землю; онъ не любитъ и боится своего дѣдушки, за то, что тотъ часто сердится, за то, что слышитъ „какіе-то страшные и жалобные крики“, раздающіеся изъ его комнаты; онъ бѣгаетъ отъ своей бабушки, потому что она была въ его присутствіи крестьянскую дѣвочку ременной плеткой. А любовь его къ русской пѣснѣ и сказкѣ, любовь къ дядькѣ Евсенчу и какое-то благоговѣніе передъ слѣпымъ Пантелеемъ Григорьичемъ... Нѣтъ, Сережа — высоконравственное дитя! А потому и педагогъ и воспитатель, заботящіеся о развитіи гуманности въ русскомъ дитяти, пусть не усомнятся дать въ руки своихъ питомцевъ исторію его дѣтства. Что бы ни сказала эстетическая критика объ этой книгѣ, педагогическая должна сказать, что отъ ней, отъ исторіи Сережи, вѣетъ поэзіей жизни, истинною, благостью; что книга эта единственное, радостное явленіе въ литературѣ, долгое чаяніе нѣсколькихъ поколѣній русскихъ дѣтей. Нѣтъ ничего сентиментальнаго, манерности, фразерства, приторной поддѣлки подъ дѣтскій говоръ: авторъ, сочиняя свою книгу, конечно, не предвидѣлъ педагогическаго ея значенія, а потому она и вышла превосходна. Если живое воспроиз-

ведение прошлой жизни не будетъ оцѣнено дѣтymi ранняго возраста, зато ими будетъ оцѣнено и понято много другого, чего желать надобно болѣе, особенно для дѣтей, обучающихся въ школахъ, и преимущественно въ школахъ закрытыхъ: при чтеніи сочиненія Аксакова съ особенною живостью выступаетъ семейная жизнь и невѣдомою силою овладѣваетъ душою читателя. Сколько картинъ, то свѣтлыхъ и радостныхъ, то проникнутыхъ глубокой грустью! Не говоря уже о любви, разлитої, такъ сказать, по всему сочиненію, такія сцены, какъ болѣзнь матери, рожденіе брата, ночь подъ Свѣтлое Воскресеніе, глубокая горестъ отца послѣ смерти матери его, Арины Васильевны, не прочтеть равнодушно никто, въ комъ еще бьется сердце: подобныя сцены спасительно дѣйствуютъ на душу, и тѣмъ болѣе на молодую душу.

Теперь слѣдовало бы сказать что-нибудь о множествѣ превосходныхъ картинъ природы, которыми такъ богато сочиненіе С. Т. Аксакова, но затрудняемся указать на лучшія; особенно хороши въ этомъ отношеніи двѣ главы: *Пріѣздъ на постоянное житіе въ Багрово* и *Первая весна въ деревнѣ*. Для примѣра приводимъ одно описаніе, въ которомъ и другъ нашъ Сережа принимаетъ дѣятельное участіе.

„Вскорѣ зачернѣлись полосы вспаханной земли, и подѣхавъ, я увидѣлъ, что крестьянинъ, уже не молодой, мѣрно и бодро ходилъ взадъ и впередъ по десятинѣ, разсѣвая вокругъ себя хлѣбныя сѣмена, которыя доставалъ изъ лукошка, висѣщаго у него черезъ плечо. Издали за нимъ шли три крестьянина съ сохами; запряженные въ нихъ лошадки казались малы и слабы, но онѣ не останавливаясь и безъ напряженнаго усилія, взрывали сошками черноземную почву, рассыпая рыхлую землю направо и налево, разумѣется, не новъ, а мякоть, какъ называлась тамъ нѣсколько разъ паханная земля; за ними тащились три бороны съ желѣзными зубьями, запряженные такими же лошадками; ими управляли мальчики. Несмотря на утро и еще весеннюю свѣжесть, всѣ люди были въ однѣхъ рубашкахъ, босикомъ и съ непокрытыми головами. И весь этотъ, повидимому, тяжелый трудъ производится легко, бодро и весело. Глядя на эти правильно и непрерывно движущіяся фигуры людей и лошадей, я забылъ окружающую меня красоту весенняго утра. Важность



и святость труда, которыхъ я не могъ тогда вполнѣ понять и оцѣнить, глубоко поразили меня. Отецъ пошелъ на вспаханную, но еще не заборонованную десятину, сталъ что-то мѣрять своей палочкой и считать; а я, оглянувшись вокругъ себя и увидя, что въ разныхъ мѣстахъ много людей и лошадей двигались такъ же мѣрно и въ такомъ же порядкѣ взадъ и впередъ, — я крѣпко задумался, самъ хорошенько не зная о чемъ. Отецъ, воротясь и найдя меня въ такомъ же положеніи, спросилъ: „что ты, Сережа?“ Я отвѣчалъ множествомъ вопросовъ о работающихъ крестьянахъ и мальчикахъ, на которые отецъ отвѣчалъ мнѣ удовлетворительно и подробно. Слова его запали мнѣ въ сердце. Я сравнивалъ себя съ крестьянскими мальчиками, которые цѣлый день, отъ восхода до заката солнечнаго, бродили взадъ и впередъ, какъ по песку, по рыхлымъ десятинамъ, которые кушали хлѣбъ да воду — и мнѣ стало совѣстно, стыдно, и рѣшился я просить отца и мать, чтобы меня заставили бороновать землю. Полный такихъ мыслей воротился я домой, и принялся передавать матери мои впечатлѣнія и желаніе работать. Она смѣялась, а я горячился; наконецъ, она съ важностью сказала мнѣ: „Выкинь этотъ вздоръ изъ головы: пашня и бороныба — не твое дѣло. Впрочемъ, если хочешь попробовать — я позволяю“. Черезъ нѣсколько времени дѣйствительно мнѣ позволили попробовать бороновать землю. Оказалось, что я никуда негоденъ: не умѣю ходить по вспаханной землѣ, не умѣю держать вожжей и править лошадыю, не умѣю заставить ее слушаться. Крестьянскій мальчикъ шелъ рядомъ со мной и смѣялся. Мнѣ было стыдно и досадно, и я никогда уже не поминалъ объ этомъ“.

Что касается до приложенія къ книгѣ сказки *Аленькій цвѣточекъ* — это роскошный подарокъ, который авторъ сдѣлалъ не однимъ дѣтямъ, но и вообще нашей литературѣ.

Итакъ, „Дѣтскіе годы Багрова внука“ удовлетворяютъ всѣмъ требованіямъ, которыя мы возложили на книги для чтенія, служащія руководствомъ для первоначальнаго изученія русскаго языка. Сочиненіе это, написанное перомъ образцоваго писателя, рассказываетъ исторію дитяти, внутреннюю исторію нашего тогдашняго общества, проникнуто правдой и поэзіей, богато превосходными картинами природы; при составленіи его не было никакой напередъ западшей мысли, ничего

утилитарнаго. Въ дѣлѣ воспитанія это незамѣнимая книга: никакіе дѣтскіе журналы, никакія съ утилитарною цѣлію составленныя книги для чтенія не могутъ идти съ нею въ сравненіе.

*М. де-Пуле.*

### Аксаковъ, какъ писатель и человѣкъ.

30-го апрѣля, 1859 г. во всѣхъ кругахъ московскаго общества сообщали другъ другу вѣсть, печалившую всякаго, кто узнавалъ ее: въ этотъ день, въ 3 часа пополудни скончался патріархъ нашей литературы, Сергѣй Тимоѣевичъ Аксаковъ. Долговременная мучительная болѣзнь его была извѣстна всѣмъ и оставляла мало надежды на выздоровленіе, но, несмотря на то, какъ-то не хотѣлось вѣрить, что все уже кончено, что не стало человѣка, который съ такой энергіей воли боролся такъ долго со страданіями физическими, не хотѣлось вѣрить, что прервалась жизнь, драгоцѣнная не для одной его семьи, не для однихъ его друзей, но для всякаго, кому дороги русская мысль и русское слово.

Подъ впечатлѣніемъ искренней скорби, возбужденной утратою, хотимъ мы сказать нѣсколько словъ въ память покойнаго, котораго сердечно любили и высоко почитали, какъ писателя и какъ человѣка.

Литературное поприще и авторская извѣстность Аксакова представляютъ собою что-то чрезвычайно оригинальное и рѣдкое. Страсть къ чтенію и ученію была ему внушена съ дѣтскихъ лѣтъ матерью, женщиною высокаго ума и замѣчательнаго образованія. Первые его литературные опыты относятся еще ко времени пребыванія въ гимназій и университетѣ; но преобладающею его страстью было драматическое искусство. Занимаясь имъ постоянно и усердно и пользуясь наставленіями мастеровъ этого дѣла, онъ достигъ высокой степени совершенства въ чтеніи и былъ однимъ изъ лучшихъ актеровъ-любителей и чтецовъ, какихъ только можно было представить. Смолоду онъ былъ большимъ поклонникомъ Шишкова. Тетральныя знакомства еще въ то время свели его съ міромъ литературнымъ: первая болѣе серіозная попытка его на авторскомъ поприщѣ имѣла цѣль чисто сценическую. Мы говоримъ о переводѣ Лагарпова Филоктета (М. 1812),



предпринятомъ для прощальнаго бенефиса Шумерина. Послѣ того Аксаковъ помѣщалъ статьи и стихи въ прозѣ въ „Вѣстникѣ Европы“, перевелъ 10-ю сатиру Буало (М. 1821), но все это не было исключительнымъ для него занятіемъ и ничѣмъ не отличалось отъ уровня тогдашней посредственности, наводнявшей старинные журналы. Позже Аксаковъ также проводилъ время въ кругу, преимущественно посвятившемъ себя театру, а не собственно литературѣ, въ обществѣ Шаховскаго, Загоскина, Кокошкина, Писарева. Критическія статьи его въ „Московскомъ Вѣстникѣ“ и потомъ въ „Молвѣ“ также имѣли предметомъ болѣе театръ, чѣмъ литературныя произведенія. Кромѣ того, когда-то онъ перевелъ для сцены „Школу мужей“ и „Скупого“ Мольера, но комедіи эти напечатаны не были. Словомъ, до 40-хъ годовъ ничего не предвѣщало въ немъ того истиннаго художника, того превосходнаго стилиста, какимъ явился онъ уже въ преклонныхъ лѣтахъ и какимъ оставался до конца своей жизни, когда никакія тяжкія страданія не могли охладить въ немъ живости поэтическаго призванія.

Первый, кто оцѣнилъ и полюбилъ новое направленіе таланта Аксакова, былъ другъ его, Гоголь, восхищавшійся отрывками изъ его „Хроники“ въ рукописи, когда высокое вдохновеніе, постигшее автора, было еще тайной для публики. Начало „Семейной хроники“ было помѣщено въ „Московскомъ Сборникѣ“ 1846 г. (стр. 403) обратило на себя вниманіе нѣкоторыхъ знатоковъ дѣла. Но публика познакомилась съ истиннымъ талантомъ Аксакова только при появленіи „Записокъ объ уженъи рыбы“ (М. 1847). Живость описаній природы и прелесть разсказа въ этой книгѣ не могли не поразить читателей и были причиной того, что, несмотря на спеціальность предмета, она имѣетъ постоянный успѣхъ. Второе сочиненіе Аксакова было тоже спеціальное, это „Записки ружейнаго охотника Оренбургской губерніи“ (М. 1852). Тутъ было для художника болѣе простора: царство птицъ со всѣмъ разнообразіемъ наружнаго ихъ вида, привычекъ, особенностей; лѣса, степи, озера, болота, ими обитаемыя, весь этотъ малоизвѣстный и поэтическій міръ жилъ подъ перомъ Аксакова, какъ бы какимъ-то волшебствомъ. Читая его увлекательную книгу, вы постигали тайны этого міра, чувствовали, что онъ оживленъ передъ вами человѣкомъ, который съ нимъ

сжился и знаетъ его не по одному изученію и наблюденію, но и при помощи того поэтическаго пониманія природы, которое дается въ удѣлъ немногимъ. Третья книга Аксакова также говорила объ охотахъ разнаго рода: это „Разказы и воспоминанія охотника“ (М. 1855). Она появилась въ то время, когда имя автора было уже достаточнымъ ручательствомъ за успѣхъ въ публикѣ, которая нашла въ ней тѣ высокія достоинства, какія была въ правѣ ожидать, и раскупила ее такъ, что черезъ годъ потребовалось новое изданіе (М. 1856).

Между тѣмъ, во время появленія названныхъ нами книгъ, стали печататься въ „Москвитянинѣ“ статьи Аксакова въ другомъ родѣ, который у насъ долженъ былъ сдѣлаться также какъ бы исключительнымъ его достояніемъ, новою областью, завоеванною имъ по неоспоримому праву таланта и своеобытности. Рядъ этихъ произведеній начался біографіей Загоскина („Москвит.“ 1853) и статьёю: „Яковъ Емельяновичъ Шуперинъ“ („Москв.“ 1854). Родъ этихъ произведеній есть какой-то особый родъ разказовъ, гдѣ собственныя воспоминанія и впечатлѣнія автора такъ тѣсно связаны съ изображеніемъ личностей и происшествій, которыя онъ описываетъ, что трудно опредѣлить, то ли или другое преобладаетъ въ разказѣ, представляющемъ, такимъ образомъ, удивительную соразмѣрность частей, рѣдкую художественную цѣльность и гармонію. Эта изумительная способность сливаться съ избраннымъ предметомъ, истиннымъ или вымышленнымъ, но такимъ образомъ, что читатель, чувствуя постоянное присутствіе художника, не можетъ провести рѣзкую границу между тѣмъ, гдѣ кончается истина, и гдѣ начинается творчество фантазіи, составляетъ особенность таланта и прелесть произведеній Аксакова. Не удивительно, что, при такой оригинальности и силѣ дарованія, творенія его, написанныя чуднымъ русскимъ языкомъ, согрѣтыя теплотою чувства, проникнутыя свѣтлыми благородными мыслями, выражающія какую-то младенческую юность души, сдѣлались драгоцѣнными всему читающему міру. Торжествомъ его таланта было появленіе „Семейной хроники“ и „Воспоминаній“ (М. 1856). Мы не будемъ распространяться объ огромномъ успѣхѣ этого превосходнаго произведенія: оно въ памяти у всѣхъ; въ нѣсколько мѣсяцевъ не осталось въ продажѣ ни одного экземпляра, и потребовалось новое



изданіе (М. 1856). Послѣ выхода „Хроники“ Аксаковъ издалъ „Дѣтскіе годы Багрова внука“ (М. 1858) и помѣщалъ въ журналахъ рядъ статей подъ заглавіемъ: „Литературныя и театральныя воспоминанія“, которыя съ присовокупленіемъ нѣкоторыхъ другихъ вышли въ свѣтъ отдѣльною книгою, названною: „Разныя сочиненія“ (М. 1858). „Въ русской Бесѣдѣ“ (1851, кн. 1) помѣщена „Встрѣча съ мартинистами“, послѣдняя статья его, напечатанная при его жизни.

Послѣднія сочиненія Аксакова написаны въ промежуткахъ тяжелыхъ болѣзненныхъ припадковъ, обратившихся въ жестокую хроническую болѣзнь, которая прекратила его прекрасную жизнь. Нельзя не изумляться силѣ его духа, нельзя не умилиться передъ его покорностью волѣ Провидѣнія; читая эти страницы, въ нихъ видишь ту же ясность души, то же величавое спокойствіе художника, которыми отличался онъ и прежде. Многіе не могли не быть тронутыми, слушая, какъ старшій сынъ его, за мѣсяцъ до его кончины, читалъ въ публичномъ засѣданіи Общества любителей русской словесности отрывокъ изъ повѣсти своего умирающаго отца, вѣрнаго своему поэтическому призванію на смертномъ одрѣ, въ предсмертныхъ мученіяхъ привѣтствующаго еще съ прощальною улыбкой молодость, любовь, весну, природу, все, чѣмъ красенъ Божій міръ, что такъ зналъ и любилъ тотъ, про кого можно сказать съ поэтомъ:

Съ природой одною онъ жизнью дышалъ.

Мы сказали уже, что въ произведеніяхъ Аксакова трудно провести границу между истинною и вымысломъ. Вообще онъ принадлежитъ къ числу тѣхъ, въ которыхъ почти невозможно отличить писателя отъ человѣка; и какъ писатель и какъ человѣкъ, онъ былъ одинаково чтимъ и любимъ всѣми, хоть сколько-нибудь знавшими его. Какъ ни превосходны его произведенія, но не будь авторомъ ихъ такой человѣкъ, едва ли бы достигъ этотъ авторъ того почета, который выражался ему въ литературѣ при всякомъ случаѣ. Во всякомъ литературномъ собраніи вспоминали о немъ о первомъ; всякое литературное предпріятіе дорожило его мнѣніемъ; всякій литераторъ считалъ долгомъ и удовольствіемъ быть у него, только что пріѣдетъ въ Москву, лучшіе писатели обращались къ нему,

какъ въ безпристрастнѣйшему судѣ. Благородство чувствъ и помысловъ, участіе ко всему благому и честному, неподкупная правдивость, сердечное радушіе, готовность ободрить всякій благородный трудъ, отчужденіе отъ всякой исключительности и духа партій, жизнь безупречная, всегда согласная въ поступкахъ со словами, безпредѣльная доброта, — вотъ что влекло къ нему, можетъ-быть, болѣе, чѣмъ его авторскія дарованія, вотъ отчего съ нимъ бывало такъ легко, такъ привольно сердцу съ первой съ нимъ встрѣчей. Онъ былъ гордостью нашей литературы и по своимъ сочиненіямъ и по личному характеру; онъ былъ украшеніемъ русскаго общества, какъ одинъ изъ благороднѣйшихъ его представителей. Какъ христіанинъ, какъ гражданинъ, какъ семьянинъ, какъ человѣкъ — онъ можетъ служить образцомъ настоящаго русскаго чело-вѣка, въ лучшемъ и высокомъ его значеніи.

Около полутора года длилась послѣдняя болѣзнь Аксакова, переносившаго ее съ истинно-христіанскимъ терпѣніемъ. Когда прошедшею осенью онъ переѣхалъ съ дачи во вновь нанятый для него домъ на Кисловѣ, онъ спросилъ: „Какая у насъ приходская церковь?“ Ему отвѣчали: „Бориса и Глѣба“. — „Въ этомъ домѣ я и умру“, сказалъ онъ; „въ этомъ приходѣ отпѣвали Писарева, тутъ и меня будутъ отпѣвать“. Предчувствіе не обмануло его.

Въ воскресенье 3-го мая церковь свв. Бориса и Глѣба наполнилась множествомъ народа; многочисленные друзья покойнаго, почти всѣ здѣшніе литераторы и ученые, наконецъ, люди всѣхъ знаній пришли проститься съ бездыханнымъ тѣломъ, которое оживлялъ безсмертный духъ, оставившій неизгладимые и благотворные слѣды посѣщенія своего въ здѣшнемъ мірѣ. Всѣ прощались съ чѣмъ-то роднымъ, дорогимъ сердцу. Гробъ Аксакова на рукахъ былъ перенесенъ въ Симоновъ монастырь и внесенъ въ ворота при пѣніи торжественной пѣсни: „Христосъ воскрес!“ Весеннее солнце освѣщало едва зазеленѣвшія деревья и поля; въ воздухѣ чувствовалось первое дыханіе весны, оживляющей природу, съ обновленіемъ которой скрылся отъ насъ навѣкъ тотъ, кто такъ умѣлъ любить и понимать чудную красоту великаго Божьяго міра.

Могила Аксакова находится недалеко отъ восточной стѣны трапезы Никольской церкви Симонова монастыря.

*Лонгиновъ.*



## Домашнее ученіе и школьные годы Григоровича.

Дмитрій Васильевичъ Григоровичъ родился 19 марта 1822 года.

Трудно представить для начальнаго воспитанія и развитія будущаго „народнаго“ писателя болѣе неблагопріятныя условія, чѣмъ тѣ, какія окружали Григоровича въ ранніе годы его жизни. Отецъ, — родомъ малороссъ, отставной гусарь, помѣщикъ, — умеръ вскорѣ послѣ рожденія ребенка, и воспитаніе послѣдняго всецѣло пало на обязанности матери — француженки-эмигрантки, или, вѣрнѣе, бабушки со стороны матери — шестидесятилѣтней старухи-француженки, поклонницы Вольтера, „насквозь пропитанной понятіями, господствовавшими во Франціи въ концѣ прошлаго вѣка“, черствой, безсердечной женщины, считавшей себя къ тому же очень опытной въ дѣлѣ воспитанія, изъ полного подчиненія которой во всю жизнь не выходила ея дочь, мягкая, уступчивая по характеру, мать писателя.

Раннее дѣтство Григоровича протекло въ деревнѣ — небольшомъ имѣніи въ Каширскомъ уѣздѣ Тульской губерніи, куда семья переѣхала еще при жизни отца. Воспитаніе носило исключительно французскій характеръ. До восьмилѣтняго возраста у Григоровича не было въ рукахъ ни одной русской книжки; ребенка заставляли зубрить французскіе глаголы, твердить вокабулы и т. д. Русскою грамотою будущій писатель научился отъ своихъ дворовыхъ крестьянъ, преимущественно отъ стараго отцовскаго камердинера Николая, который любилъ ребенка, какъ будто бы онъ былъ „десять разъ его роднымъ сыномъ“. Ребенокъ былъ неразлученъ съ Николаемъ. „По цѣлымъ часамъ — вспоминаетъ писатель — караулилъ онъ, когда меня пустятъ гулять, бралъ

на руки, водилъ по полямъ и рощамъ, рассказывалъ разные приключенія и сказки... За весь холодъ и одиночество моей дѣтской жизни я отогрѣвался только, когда былъ съ Николаемъ. Когда рѣшено было везти меня въ Москву и наступила минута разставанья съ Николаемъ, я, какъ изступленный, съ крикомъ бросился ему на шею, истерически рыдалъ, кричалъ и такъ крѣпко обхватилъ его руками, что пришлось силой меня оторвать“.

Повидавъ родительскій кровъ, ребенокъ, „плохо читалъ по-русски“ и притомъ съ „иностраннымъ акцентомъ, чѣмъ вызывалъ насмѣшки своихъ сверстниковъ-товарищей. Впрочемъ, помимо вліянія Николая, въ обстановкѣ ранняго дѣтства будущаго писателя были и нѣкоторыя другія условія, которыя также должны были парализовать общій господствовавшій тонъ воспитанія и дѣйствовать на ребенка благотворно. Его мать жила въ деревнѣ довольно уединенно; она мало водилась съ сосѣдями-помѣщиками и, напротивъ, очень близко ставила себя къ быту простого народа. По всему уѣзду, среди сосѣднихъ крестьянъ, она извѣстна была какъ весьма искусная „лѣкарка“, и къ ней отовсюду изъ окрестныхъ мѣстъ приходило и пріѣзжало множество простого народа, не только за совѣтами, но часто и за лѣкарствами. Вообще, домашняя обстановка Григоровича не носила обычнаго тогдашняго помѣщичьяго характера, и, по словамъ писателя, „не имѣла ничего общаго съ бытомъ сосѣдей-помѣщиковъ того времени“. Крестьяне здѣсь были отпущены на оброкъ еще Григоровичемъ-отцомъ, и ребенку не приходилось около себя видѣть тяжелыхъ картинъ злоупотребленія помѣщичьей властью. Напротивъ, рассказы, которые иногда приходилось ему слышать объ этихъ злоупотребленіяхъ, всегда производили на него сильное впечатлѣніе. „Въ нашемъ домѣ, — замѣчаетъ въ своихъ „Воспоминаніяхъ“ писатель, — и тѣни не было ничего подобнаго“.

Иностранный характеръ продолжаетъ сохранять воспитаніе и нѣсколько лѣтъ послѣ переселенія ребенка изъ родительскаго дома въ Москву, куда лѣтъ десяти увозятъ его для помѣщенія, сначала въ одной изъ гимназій, потомъ, вскорѣ, когда въ гимназій ребенокъ заболѣлъ и его должны были взять, — въ одномъ изъ частныхъ иностранныхъ пансіоновъ. Собственно это былъ не пансіонъ; Григоровичъ былъ помѣ-



щенъ въ иностранномъ семействѣ, у одной содержательницы моднаго магазина (г-жи Монигетти), у которой было три сына: желая дать имъ образованіе, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, желая, „чтобъ оно обошлось дешевле“, она придумала брать къ себѣ на домъ воспитанниковъ; за извѣстную годовую плату они пользовались помѣщеніемъ, столомъ и урокомъ. Атмосфера въ семьѣ была артистическая; она отражалась и на воспитаніи дѣтей. Въ ряду другихъ элементарныхъ предметовъ дѣтей учили рисованію и танцамъ; старшій сынъ хозяйки готовился къ поступленію въ Академію Художествъ. Преподаваніе происходило на французскомъ языкѣ. У Монигетти Григоровичъ пробылъ три года. Его умственные способности за это время, по его собственному сознанію, „не подвинулись ни на одинъ градусъ“. Особенно хромало попрежнему знаніе русскаго языка: мальчикъ не былъ въ состояніи „сочинить и написать по-русски самаго простого дѣтскаго письма“; къ матери онъ писалъ по-французски...

Въ 1835 г. Григоровичъ былъ переведенъ въ Петербургъ: мать рѣшила отдать его въ Инженерное училище. Съ переездомъ въ Петербургъ французскій характеръ образованія замѣняется русскимъ; въ подготовительномъ пансіонѣ, куда помѣщенъ былъ Григоровичъ и гдѣ пробылъ около двухъ лѣтъ, все преподаваніе шло на русскомъ языкѣ; къ тому же учитель русскаго языка, „сжалившись“ надъ ребенкомъ, обратилъ на него особенное вниманіе: „онъ, — вспоминаетъ писатель, — принялся за меня съ особымъ усердіемъ, заставлялъ писать подъ диктовку, исправлялъ мою рукопись, разъяснял ошибки“...

Въ 1836 году Григоровичъ, хотя и съ трудомъ, выдержалъ экзаменъ въ училище и сдѣлался „кондукторомъ“ (такъ назывались воспитанники училища въ отличіе отъ кадетъ). Поступленіе его сюда было, впрочемъ, ошибкой. Григоровичъ съ дѣтства не чувствовалъ ни малѣйшей склонности къ математикѣ и вообще къ точнымъ наукамъ; математика ему совсѣмъ не давалась. Его влекло искусство, и въ училищѣ съ охотой и серіозно онъ занимается только имъ. Григоровичъ бралъ отдѣльные уроки у акад. Тамаринскаго и подъ его руководствомъ цѣлые дни проводилъ за рисованіемъ, горя желаніемъ „вырваться на волю“, освободиться отъ ненавистныхъ обязательныхъ наукъ. „Пройдя какимъ-то

образомъ во второй классъ, предшествующій послѣднему, я пришелъ къ сознанію, — говоритъ писатель въ своихъ „Воспоминаніяхъ“, — что дальше идти нѣтъ мнѣ возможности. Логарисмы окончательно меня сокрушили; зная, что впереди меня ожидаютъ еще какія-то страшныя дифференціальныя исчисленія, я рѣшился во что бы то ни стало упросить матушку (главнымъ образомъ, бабушку), взять меня изъ училища“... Одинъ случай съ трагикомическими послѣдствіями помогъ несчастному инженеру, и Григоровичъ поступилъ въ Академію Художествъ.

Общее образованіе и развитіе будущаго писателя, за время пребыванія его въ Инженерномъ училищѣ, впрочемъ, значительно подвинулось. Главнымъ образомъ онъ былъ обязанъ этимъ случайному обстоятельству: въ одно время съ нимъ „кондукторомъ“ училища былъ и другой будущій русскій писатель — Ф. М. Достоевскій. Серіозностью возрѣній и вообще развитіемъ послѣдній значительно превосходилъ товарищей. Григоровичъ быстро подпадаетъ его вліянію, — весьма благотворному, по словамъ самого Григоровича. „Достоевскій во всѣхъ отношеніяхъ былъ выше меня по развитости, — замѣчаетъ онъ въ „Воспоминаніяхъ“, — его начитанность изумляла меня. То, что сообщалъ онъ о сочиненіяхъ писателей, имени которыхъ я никогда не слыхалъ, было для меня откровеніемъ... Первыя литературныя сочиненія, читанныя мною на русскомъ языкѣ, были сообщены мнѣ Достоевскимъ“... Умственное превосходство Достоевскаго сказывалось и на другихъ товарищахъ; кромѣ Григоровича, около Достоевскаго образовалось нѣчто въ родѣ литературнаго кружка, „который держался особо и сходился, какъ только выпадала свободная минута“. Членовъ кружка связывала общая страсть къ чтенію: читалось все безъ разбору, что ни попадало подъ руку и что тайкомъ приносилось въ училище. Нерѣдко бывали и литературныя споры, впрочемъ, незамысловатыя. „Я вступалъ въ горячій споръ съ Достоевскимъ, — вспоминаетъ, напр., Григоровичъ, — доказывая, что Рафаэль Санціо значитъ Рафаэль святой, такъ прозванный за его великія творенія; Достоевскій доказывалъ, что Санціо обозначаетъ только фамилію художника, — съ чѣмъ я никакъ не хотѣлъ согласиться“...

Помимо вліянія начитаннаго Достоевскаго, Григоровичъ въ это же время, въ бытность свою въ училищѣ, случайно



знакомится съ Некрасовымъ. Послѣдній передъ тѣмъ только что издалъ небольшую книжку своихъ стиховъ („Мечты и звуки“, С.-Пб. 1840), и чтобы чѣмъ-нибудь существовать, занимался передѣлками и переводами французскихъ пьесъ для театра... Знакомство на первыхъ порахъ ограничилось, впрочемъ, лишь простымъ визитомъ.

Григоровичъ и въ Академіи Художествъ пробылъ однако недолго. Достигнувъ того, чего такъ страстно желалъ, Григоровичъ какъ-то скоро охладѣлъ къ искусству... Вынесенныя изъ Академіи впечатлѣнія описаны авторомъ въ повѣсти „Неудавшаяся жизнь“, проникнутой автобіографическимъ характеромъ. Выйдя изъ Академіи, Григоровичъ поступаетъ на службу въ канцелярію директора Императорскихъ театровъ, Гедеонова.

Такова была „школа“, пройденная Григоровичемъ. Многого она не дала, да и не могла дать. Личнымъ усердіемъ и ученикъ похвалиться не могъ: годъ отъ году онъ учился „неохотѣе, хуже“...

Гораздо больше, чѣмъ школѣ, будущій писатель былъ обязанъ, повидимому, собственному личному чтенію, — и въ этомъ отношеніи, особенно важнымъ для него было, какъ мы видѣли, вліяніе Достоевскаго... *Архангельскій.*

### Литературныя связи и кружки, способствовавшіе развитію таланта Григоровича.

Еще въ Академіи художествъ Григоровичъ началъ увлекаться театромъ, преимущественно, впрочемъ, его кулисами. Эти увлеченія еще болѣе усиливаются на службѣ; послѣдняя даже поддерживала и развивала ихъ... Страсть къ театру теперь чередуется въ будущемъ писателѣ со страстью къ чтенію. Все это приводитъ постепенно молодого театральнаго чиновника къ первымъ литературнымъ работамъ. Послѣднія, впрочемъ, долго носятъ крайне случайный характеръ. Прочитавъ драму Сулье „Eulalie Pentnos“, Григоровичъ дѣлаетъ переводъ на русскій языкъ подъ заглавіемъ „Наслѣдство“; съ грѣхомъ пополамъ пьеса была даже поставлена на сцену. Затѣмъ принимается за передѣлку водевиля „Шампанское и опиумъ“.

Все это сблизило будущего писателя съ литературнымъ міромъ. По поводу названнаго водевиля Григоровичъ знакомится, а потомъ сближается съ В. Г. Зотовымъ, однимъ изъ плодovitыхъ тогдашнихъ театральныхъ писателей и съ его семьей. Литературная атмосфера этого семейства, полная осмысленнаго труда, дѣйствуетъ чрезвычайно благотворно на выступающаго писателя. Черезъ своего пріятеля, артиста Леонова, жившаго въ это время вмѣстѣ съ издателемъ „Энциклопедическаго лексикона“ Плюшаромъ, служившимъ, какъ представитель богатой книжной фирмы, своего рода литературнымъ центромъ, — Григоровичъ знакомится съ послѣднимъ и переводитъ для него съ французскаго небольшія повѣсти и анекдоты. Одновременно съ этимъ Григоровичъ знакомится съ Гречемъ, сыномъ извѣстнаго Н. П. Греча, также передѣлываетъ для него съ французскаго какую-то повѣсть, по собственному выраженію переводчика „верхъ нелѣпости“, тѣмъ не менѣе издавную Гречемъ подъ заглавіемъ: „Эрленбургскій священникъ“. Въ 1842—1843 гг. Григоровичъ возобновляетъ свое знакомство съ Некрасовымъ и на этотъ разъ становится къ нему въ болѣе близкія отношенія. Некрасовъ тогда еще пробивался своими литературными трудами; но его энергія, неутомимая дѣятельность дѣйствовали на всѣхъ необыкновенно возбуждительно. Такое же впечатлѣніе они произвели и на начинающаго писателя. „Жить также своимъ трудомъ, сдѣлаться также литераторомъ, казалось мнѣ“, вспоминаетъ Григоровичъ, „чѣмъ-то поэтическимъ, возвышеннымъ, цѣлью, о которой только и стоило мечтать. Я не давалъ себѣ покоя, придумывая сюжеты для оригинальной повѣсти“.

У писателя является „страстное желаніе написать что-нибудь свое“. Некрасовъ поддерживалъ и развивалъ это страстное стремленіе къ литературному труду и немедленно сдѣлалъ Григоровича въ своихъ литературныхъ предпріятіяхъ ближайшимъ помощникомъ. Впрочемъ, Некрасовъ въ этомъ случаѣ болѣе дѣйствовалъ, кажется, съ чисто эгонистической, коммерческой цѣлью. Онъ сталъ поручать молодому человѣку, стремившемуся къ литературному труду, разныя работы для различныхъ издававшихся имъ тогда книжекъ, альманаховъ и сборниковъ. Такъ, по порученію Некрасова, Григоровичъ изъ десятка французскихъ брошюръ, трактовавшихъ о тан-



цахъ польки и „редовы“, составляетъ одну, подъ заглавіемъ (оно было придумано заранѣе Некрасовымъ) „Полька въ Петербургѣ“; пишетъ, по порученію Некрасова, предисловіе къ сборникамъ: „Зубоскаль“, „Первое апрѣля“, составляетъ брошюру о Крыловѣ и т. д. Къ этому времени относится появленіе въ печати первыхъ рассказовъ Григоровича: „Театральная карета“, „Собачка“, „Штука полотна“. Последняя была помѣщена также въ одномъ изъ сборниковъ Некрасова.

Такого рода литературная дѣятельность, однако, не удовлетворяла выступавшаго писателя. Къ этому времени почти уже окончательно сложились литературные взгляды и стремленія Григоровича. Своимъ идеаломъ онъ ставитъ Гоголя. „Писать наобумъ, дать волю своей фантазіи, сказать себѣ: „и такъ сойдетъ“, казалось мнѣ, — пишетъ онъ объ этомъ времени, — равносильнымъ безчестному поступку. У меня, кромѣ того, — продолжаетъ онъ, — тогда уже пробуждалось влеченіе къ реализму, желанію изображать дѣйствительность такъ, какъ она въ самомъ дѣлѣ представляется, какъ ее описываетъ Гоголь въ „Шинели“, повѣсти, которую я съ радостію перечитывалъ“.

„Около этого времени, — рассказываетъ Григоровичъ, — въ иностранныхъ книжныхъ магазинахъ стали во множествѣ появляться небольшія книжки подъ общимъ заглавіемъ: „физиологіи“, каждая книжка заключала описаніе какого-нибудь типа жизни. Родоначальникомъ такого рода описаній служило извѣстное парижское изданіе: „Французы, описанные сами собой“. У насъ тотчасъ явились подражатели. Некрасову, практическій умъ котораго всегда стоялъ на сторожѣ, пришла мысль издать что-нибудь въ этомъ родѣ; онъ придумалъ изданіе въ нѣсколькихъ книжкахъ: „Физиологія Петербурга“. Сюда, кромѣ типовъ, должны были войти бытовые сцены и очерки изъ петербургской уличной и домашней жизни. Некрасовъ обратился ко мнѣ, прося написать для перваго тома одинъ изъ такихъ очерковъ“. Со стороны Некрасова это была первая важная услуга, оказанная начинавшему писателю: онъ натолкнулъ послѣдняго на первый серіозный литературный трудъ... Григоровичу пришла мысль взять для описанія бытъ петербургскихъ шарманщиковъ; рѣшившись остановиться на этой трудной задачѣ, онъ приступилъ къ ея выполненію съ пріемами самаго строгаго натуралиста. „Я прежде всего, рассказываетъ онъ, занялся

собираніємъ матеріала. Около двухъ недѣль бродилъ я по цѣлымъ днямъ въ трехъ Подъяческихъ улицахъ, гдѣ преимущественно селились тогда шарманщики, вступалъ съ ними въ разговоръ, заходилъ въ невозможныя трущобы, записывалъ потомъ до мелочи все, что видѣлъ и о чемъ слышалъ. Обдумавъ планъ статьи и раздѣливъ его на главы, я, однакожь, съ робкимъ, неувѣреннымъ чувствомъ приступилъ къ описанію“. Результатомъ изученій былъ очеркъ „Петербургскіе шарманщики“, помѣщенный въ первой части изданнаго Некрасовымъ въ 1845 г. сборника: „Физиологія Петербурга,“ — первая работа, которая обратила вниманіе Бѣлинскаго на молодого писателя и которая поставила послѣдняго на его настоящую дорогу.

Вмѣстѣ съ окончательнымъ выясненіемъ литературныхъ стремленій, около этого времени совершается общій переломъ въ умственной жизни нашего писателя. Связи его съ Достоевскимъ теперь особенно усиливаются. Теперь они даже живутъ на одной квартирѣ. У нихъ было двѣ комнаты съ кухней; одну комнату занималъ Достоевскій, другую — Григоровичъ. Прислуги не было; самоваръ ставили сами, за булками и другими припасами отправлялись тоже сами. Каждый получалъ приблизительно рублей по 50, но денегъ этихъ имъ хватало лишь на первыя двѣ недѣли, — послѣднія двѣ передъ получкою не обѣдали, а пробавлялись лишь ячменнымъ кофе съ бѣлымъ хлѣбомъ и чаемъ. Это было время, когда Достоевскій оканчивалъ свой знаменитый романъ: „Бѣдные люди“. Вмѣстѣ съ Достоевскимъ Григоровичъ увлекается теперь Бальзакомъ. Достоевскій только что передъ тѣмъ окончилъ переводъ „Евгенія Грандэ“. И Достоевскій и Григоровичъ ставятъ въ это время Бальзака выше всѣхъ современныхъ французскихъ писателей.

Около того же времени Григоровичъ знакомится съ кружкомъ братьевъ Бекетовыхъ. Послѣднее было рѣшительнымъ моментомъ въ умственномъ развитіи писателя. Григоровичъ такъ рассказываетъ въ своихъ „Воспоминаніяхъ“:

„Собирались, большею частію, вечеромъ. При множествѣ посѣтителей (сходилось иногда до пятнадцати человѣкъ) бесѣда рѣдко могла быть общею; рѣдко останавливались на одномъ предметѣ, — развѣ уже выдвигался вопросъ, который всѣхъ одинаково затрогивалъ; большею частію раз-



бивались на кучки и въ каждой шелъ свой отдѣльный разговоръ. Но кто бы ни говорилъ, о чѣмъ бы ни шла рѣчь, — касались ли событій въ Петербургѣ, въ Россіи, за границей, обсуждался ли литературный или художественный вопросъ, — во всемъ чувствовался приливъ свѣжихъ силъ, живой нервъ молодости, проявленіе свѣтлой мысли, внезапно рожденной въ увлеченіи разгоряченнаго мозга; вездѣ слышался негодующій, благородный порывъ противъ несправедливости... Кругу Бекетова, — продолжаетъ писатель, — я многимъ обязанъ. До того времени, какъ я сдѣлался постояннымъ его членомъ, мои мыслительныя способности облекались точно туманомъ. Бесѣды съ Достоевскимъ никогда не переходили предѣловъ литературы; весь интересъ жизни сосредоточивался на ней одной. Читалъ я, правда, много, но читалъ безъ всякаго выбора, — все, что попадало подъ руку, читалъ исключительно романы, повѣсти, жизнеописанія художниковъ. Я ни надъ чѣмъ не задумывался сколько-нибудь серіозно; общественные вопросы меня нисколько не интересовали. Впечатлительный и страстный, я очертя голову бросался въ жизнь, отдаваясь минутному увлеченію. Многое, о чемъ не приходило мнѣ въ голову, стало теперь занимать меня; живое слово, отрезвляющее умъ отъ легкомыслія, я впервые услышалъ только здѣсь, въ кружкѣ Бѣлинскаго. Успѣхъ моего умственнаго развитія выразился уже тѣмъ, что моему самолюбію было больно за мою отсталость противъ многихъ изъ бывшихъ товарищей. Литературными моими попытками и тѣмъ, что онѣ печатались, нечѣмъ было гордиться; я вполне уже признавалъ ихъ незначительность и незрѣлость. Последнюю мою повѣсть „Сосѣдка“, написанную въ промежутокъ этого времени, я почти стыдился признавать за свою. Я чувствовалъ, что дальше такъ идти нельзя, что каждый, пожалуй, опередитъ меня, и я останусь затеряннымъ. Внутренній голосъ подсказывалъ мнѣ, что во мнѣ что-то есть, что я могу что-то сдѣлать, могу пойти впередъ, — но для этого нужны другія условія, нужно прежде всего, разстаться съ праздною жизнью и оставить Петербургъ. Я такъ и сдѣлалъ. Написавъ макушкѣ о моемъ намѣреніи, я въ 1846 году съ наступленіемъ весны, уѣхалъ въ деревню“.

Послѣ четырехмѣсячнаго усилившаго труда была готова задуманная имъ повѣсть, и авторъ повезъ ее въ Петербургъ.

Повѣсть носила заглавіе: „Деревня“, и въ томъ же 1846 г. была напечатана въ декабрьской книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ“.

Время появленія „Деревни“ и „Антонъ Горемыки“ было медовымъ мѣсяцемъ въ литературной жизни Григоровича. Прославленные повѣсти сблизили автора съ молодымъ кружкомъ редакціи „Современника“. Григоровичъ особенно сближается съ Боткинымъ и Дружининымъ; сближается также съ В. Майковымъ, Далемъ, Сахаровымъ, Гребенкой; входитъ въ кружокъ князя Вл. Ѳ. Одоевскаго, гр. В. А. Соллогуба; въ Москвѣ знакомится съ Н. Ф. Павловымъ, Н. П. Озеровымъ. Возвеличенный отзывомъ и восторгами Бѣлинскаго, Григоровичъ рѣшается окончательно посвятить себя изученію народной жизни и вскорѣ надолго поселяется въ деревнѣ. Годы 1847—1855, проведенные Григоровичемъ въ деревенскомъ уединеніи, — годы наиболѣе усиленной его литературной дѣятельности; послѣ двухъ знаменитыхъ повѣстей, этими годами исчерпывается почти вся послѣдующая литературная дѣятельность Григоровича. Его произведенія теперь быстро слѣдуютъ одно за другимъ, съ необыкновенной плодовитостью. За этотъ періодъ въ печати являются рассказы, повѣсти и романы: „Бобыль“ (1847) и „Капельмейстеръ Сусликовъ“ (1848), „Похожденія Накатова или недолгое богатство“ (1849), „Четыре времени года“ (1849), „Неудавшаяся жизнь“ (1850), „Свѣтлое Христово Воскресеніе,“ — простонародное повѣрье (1851), „Свистульникъ“, — фізіологическій очеркъ (1851), „Мать и дочь“ (1851), „Проселочныя дороги“, — романъ безъ интриги (1852—1853), „Смедовская долина“ (1852), „Зимній вечеръ“ (1852), „Рыбаки“ (1853), „Прохожій“, — святочный рассказъ (1854), „Столичные родственники“ (1856), „Пахарь“ (1856), „Школа гостепріимства“ (1857), „Переселенцы“ (1855—1856) и нѣсколько позже: „Въ ожиданіи порома“ (1857), „Пахотникъ и бархатникъ“ (1859) и нѣк. др.

Весной 1858 года Григоровичъ покидаетъ деревню и отъ мирнаго сельскаго конопляника отправляется, по порученію морского министерства, въ морское путешествіе кругомъ Европы.

*Архангельскій.*



## Путешествіе Григоровича и остальные годы его общественной и литературной дѣятельности.

Въ 1858 году Григоровичъ совершилъ путешествіе въ эскадрѣ Средиземнаго моря. Замѣтки объ этомъ путешествіи отличаются яркостью красокъ, множествомъ любопытныхъ бытовыхъ наблюденій и порой очень удачнымъ юморомъ. Правда, и здѣсь много такихъ подробностей, которыя имѣютъ анекдотическій характеръ; но здѣсь эта анекдотичность, не-пріятно дѣйствующая на читателя въ романахъ и повѣстяхъ Григоровича, оказывается очень кстати и придаетъ еще болѣе интереса описанію, такъ что „Корабль Ретвизанъ“ занимаетъ, несомнѣнно, одно изъ почетныхъ мѣстъ среди русскихъ путешествій и можетъ быть поставленъ вслѣдъ за Гончаровскимъ „Фрегатомъ Палладой“, этимъ *chef d'œuvre* омъ литературы подобнаго рода. Одной изъ важныхъ особенностей, сближающихъ оба эти описанія, является стремленіе къ параллелямъ между своимъ русскимъ и заграничнымъ, но у Григоровича это стремленіе сильнѣе, чѣмъ у Гончарова, и оно приводитъ его очень часто къ самымъ грустнымъ размышленіямъ о нашей бѣдности и культурной отсталости, при чемъ, конечно, болѣе всего припоминается ему излюбленный имъ деревенскій бытъ.

По возвращеніи изъ морского путешествія Григоровичъ началъ печатать въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ новое свое произведеніе, въ которомъ онъ хотѣлъ изобразить два поколѣнія: отживающихъ помѣщиковъ стараго закала и новыхъ, молодыхъ, мечтающихъ о сближеніи съ народомъ; однако была напечатана только первая часть, подъ заглавіемъ „Два генерала“, и широкій планъ остался невыполненнымъ. Здѣсь прежде всего помѣшали хозяйственные дѣла, такъ какъ мать Григоровича передала ему управленіе имѣніемъ, а это было сопряжено съ массою хлопотъ. Въ результатѣ этого хозяйничанья выяснилось, что оно не можетъ обезпечить Григоровича, и что, по его выраженію, надо предпринять что-нибудь рѣшительное. „Расчитывать на литературный трудъ“, говоритъ Григоровичъ, „для меня рискованно: я писалъ медленно, копотливо; плата была тогда умѣренная. Я помню очень хорошо, что когда въ „Современникѣ“ Тургеневу, Гончарову и мнѣ назначена была плата по шестидесяти рублей

съ листа, въ редакціяхъ другихъ журналовъ поднялся страшный гвалтъ; говорили, что при такихъ безумныхъ платахъ нѣтъ возможности издавать журналъ, что это равно разоренію и т. д. Я рѣшился ѣхать въ Петербургъ и искать мѣста, которое не мѣшало бы мнѣ продолжать мои литературныя занятія“. Однако литературнымъ занятіямъ суждено было прекратиться: Григоровичъ на 20 лѣтъ замолчалъ. Литературной работѣ помѣшали и хозяйственныя хлопоты и новая служба, очень подходившая къ исконнымъ художественнымъ вкусамъ Григоровича и цѣликомъ поглощавшая его время, и, наконецъ, для наиболѣе важныхъ литературныхъ работъ Григоровича уже прошла пора: врагъ, противъ котораго онъ боролся болѣе десяти лѣтъ, былъ уже сломленъ и доживалъ послѣдніе свои дни въ ожиданіи 19-го февраля.

Въ поискахъ службы Григоровичъ обратился къ С. А. Гедеонову, директору Императорскаго Эрмитажа. „Должность секретаря Эрмитажа была мнѣ предложена съ величайшею готовностью; полагалось при этомъ только условіе: прежде чѣмъ получить это мѣсто, я долженъ былъ сдѣлать описаніе всѣхъ отдѣленій Эрмитажа въ такой формѣ, чтобы оно могло служить руководствомъ для посѣтителей. Часть осени и зиму я провелъ за этою работою. Когда она была окончена и напечатана подъ заглавіемъ „Прогулка по Эрмитажу“, я узналъ, что обѣщанное мнѣ мѣсто отдано дальнему родственнику тогдашняго начальника Гедеонова. Почти въ то же время происходили выборы въ секретари общества поощренія художествъ. Оно было мнѣ предложено, и я охотно согласился; новая обязанность приближала меня къ художественной сферѣ, близкой моему вкусу. Я думалъ найти время продолжать литературныя занятія, но ошибся. На свѣтѣ пѣтъ маленькаго дѣла: все зависитъ отъ того, насколько примешь его къ сердцу и будешь ему искренно преданъ. Дѣло, порученное мнѣ, заинтересовало меня съ самаго начала, и чѣмъ больше я входилъ въ него, тѣмъ больше оно меня завлекало. Планы различныхъ романовъ и повѣстей лежали пока подъ спудомъ; я и при другихъ, болѣе благопріятныхъ, условіяхъ никогда не могъ написать строчки въ Петербургѣ, теперь же и по давню нельзя было объ этомъ думать“. Время Григоровича цѣликомъ поглощалось художественными выставками, организаціей музея общества поощренія художествъ, заботами о



рисовальной школы. Последняя может называться смѣло его дѣтищемъ, — столько онъ положилъ въ нее труда. Не знаемъ, вышли ли изъ нея замѣчательные живописцы, но огромная ея заслуга передъ русскимъ обществомъ заключается въ распространѣніи въ массѣ извѣстныхъ художественныхъ свѣдѣній, въ выработкѣ извѣстнаго эстетическаго вкуса, и въ этомъ дѣлѣ, конечно, первая роль принадлежитъ главному руководителю школы. О томъ, съ какою любовью относился Григоровичъ къ этому своему дѣтищу, мы можемъ узнать изъ воспоминаній бывшей ученицы школы. Вотъ одинъ характерный эпизодъ: „Очень интересенъ былъ обзоръ древней скульптуры въ Эрмитажѣ подъ руководствомъ Григоровича. Зайдя въ концѣ мая въ школу, онъ предложилъ ученицамъ собраться на другой день послѣ экзаменовъ въ Эрмитажъ. Собралось всего 12 чело-вѣкъ, и мы начали обзоръ нижнихъ галлерей древней скульптуры. Осматривали все очень внимательно. Григоровичъ объяснялъ чрезвычайно толково, съ знаніемъ дѣла, ясно, просто, краснорѣчиво, обращая вниманіе на многое, прежде нами уже видѣнное, но пропускавшееся безъ вниманія. Перейдя затѣмъ во второй этажъ, мы и тамъ останавливались только передъ статуями, рѣшившись этотъ день посвятить исключительно скульптурѣ“. Само собою разумѣется, что такихъ прогулокъ бывало немало, и вполне понятно ихъ высокое эстетически-образовательное значеніе для довольно разношерстнаго состава учениковъ школы.

Ясно, что всѣ эти заботы и хлопоты не могли оставлять досуга для литературной дѣятельности. За весь двадцатилѣтній періодъ пріостановки Григоровичемъ написано было лишь два разсказа, но съ 1882 г. писательская работа возобновляется, а за послѣдніе годы появились, кромѣ „Литературныхъ воспоминаній“, заключающихъ любопытный матеріалъ не только для біографіи Григоровича, но и для характеристики многихъ литературныхъ дѣятелей, и такія замѣчательныя вещи, какъ „Гуттаперчевый мальчикъ“ и „Акробаты благотворительности“. Въ этихъ произведеніяхъ послѣднихъ годовъ передъ нами тотъ же Григоровичъ, какимъ онъ былъ и до перерыва своего писательства. Тѣ же достоинства и тѣ же недостатки. Изъ достоинствъ, конечно, ярче всего свѣтитъ его гуманизмъ, или филантропія. На нашъ взглядъ, сохраненіе этого гуманизма до глубокой старости и въ такую

притомъ эпоху, когда все, казалось, ополчилось противъ гуманизма, когда выступало яростное человѣконенавистничество, — есть признакъ рѣдкой духовной свѣжести. Изъ устъ Григоровича намъ звучалъ тотъ ободряющій голосъ лучшихъ временъ нашей литературы, который и въ жизни совершилъ столько хорошаго... Пусть даже будетъ признано, что по таланту Григоровичъ былъ писатель второстепенный, но все же его человѣчность есть нѣчто настолько свѣтлое, его боевая работа дала въ свое время такіе благіе результаты, что его имя навсегда останется въ ряду славныхъ именъ подвижниковъ нашей литературы и общественного прогресса.

*Бороздинъ.*

---

### Общій обзоръ литературной дѣятельности Григоровича.

Какимъ разнообразіемъ дышатъ всѣ его произведенія за все время. Предположимъ, вы берете для чтенія его первыя повѣсти 40-хъ годовъ. Пробѣгая ихъ, вы не имѣете возможности сосредоточиться на одномъ какомъ-нибудь лицѣ, на одномъ опредѣленномъ мѣстѣ. Предъ вами не одна Обломовка или Малиновка, какъ у Гончарова, не два-три выдающихся героя; напротивъ, въ этихъ мелкихъ эскизахъ васъ поразило большое разнообразіе лицъ, мѣстностей, сценъ. Вы начали читать повѣсти одну за другой, и не стрый калейдоскопъ очутился предъ вашими глазами. Иногда вы унесетесь съ поэтомъ на одну изъ отдаленныхъ петербургскихъ улицъ, къ высокимъ стѣнамъ домовъ, къ тусклымъ фонарямъ въ какомъ-нибудь переулкѣ, и здѣсь подъ мѣрные удары дождя по крышамъ и мостовымъ слушаете заунывную музыку бѣднаго шарманщика. Иногда авторъ унесетъ васъ своимъ рассказомъ на четвертый этажъ какого-нибудь Щербакова переулка въ столицѣ, гдѣ собрались два пріятеля-чиновника, гдѣ за стѣной раздастся пѣніе:

Ты не бойся, моя радость,  
Не грусти, моя краса!

Иногда вы попадаете вмѣстѣ съ авторомъ на именины дочерей какого-нибудь коллежскаго секретаря, гдѣ предъ



вами и три модницы-дочки, и типичная Саввишна, и самъ коллежскій секретарь Оома Оомичъ Крутобрюшковъ, и ловкіе танцоры изъ средняго круга. За этимъ сейчасъ же новая картина. Вы очутились въ деревнѣ... Осень. Холодно. Изъ улицы образовалась грязная лужа; густой туманъ затянулъ все село; всѣ крестьяне, спасаясь отъ дождя и вѣтра, сидятъ дома, одна только сиротка Акуля стоитъ у рѣки и сторожитъ своихъ гусей. И передъ вами развертывается вся печальная жизнь этой Акули, начиная съ ея дѣтства и кончая смертью, когда при похоронахъ ее провожаетъ до могилы ея несчастная дочь Дуня. Не успѣли вы отдѣлаться отъ впечатлѣній этой „Деревни“ (такъ называется рассказъ), а предъ вами поэтъ успѣлъ набросать новыя сцены, новыя лица. Предъ вами длинной вереницей проходятъ одна за другой картины изъ жизни несчастнаго Антона-Горемыки: и управляющій, и добрые господа, и сцена на постояломъ дворѣ, ярмарка въ провинціальномъ городѣ, и сцена отправки колодниковъ; все это смѣняетъ одно другое и поражаетъ васъ разнообразіемъ и пластичною красотою рисунка.

Впечатлѣніе отъ „Антон-Горемыки“ еще не исчезло, а вы, перевернувъ нѣсколько страницъ, уже очутились на новомъ мѣстѣ, среди новой обстановки. Предъ вами помѣщица, кумушки-приживалки, больной старикъ, съ сухощавой грудью, въ дырявой рубахѣ, умирающій за околицей. Отъ „Антон-Горемыки“ вы попали къ бездомному, безпріютному бобылю. Вы находитесь подъ тяжелымъ впечатлѣніемъ полныхъ трагизма сценъ, вы не можете еще отдѣлаться отъ давящаго васъ кошмара, и вдругъ предъ вами другая картина. Предъ вами провинціальный городъ, провинціальный театръ, старикъ-вапельмейстеръ Сусликовъ, провинціальные актеры и трагикъ Громиловъ. Едва вы кончили съ Сусликовымъ, едва успѣли увидать, какъ онъ умиралъ въ комнатѣ станціоннаго зрителя, предъ вами опять деревня: предъ вами, какъ живой, стоитъ въ своемъ синемъ кафтанѣ, въ ситцевой рубашкѣ съ мѣднымъ гребешкомъ за поясомъ, кулакъ-фабрикантъ Никаноръ Ивановичъ. Прошла минута, и вы опять въ Петербургѣ. Вы въ средѣ jeunesse dorée съ улыбкой слушаете разговоръ о продѣлкѣ надъ пріятелями, пустые разговоры о лошадяхъ, о караковыхъ же-

ребцахъ. Вамъ, можетъ-быть, стало скучно. Поэтъ угадываетъ какъ будто это. Онъ васъ уводитъ въ среду художниковъ, въ ресторанъ Юргенса. Кругомъ слышны горячіе споры объ искусствѣ, мечты о славѣ и Италіи. Предъ вами проходятъ тяжелыя сцены изъ жизни неудавшагося талантливаго художника Андреева. Вы видите Андреева, начиная отъ его занятій въ академіи и кончая его печальной жизнью почтмейстера въ какомъ-то глухомъ провинціальномъ городишкѣ.

Но и Андреевъ исчезъ. Вы оставили его съ пріятелемъ около кладбища, на которомъ подъ жидкой ветелкой схоронена его сестра, и опять очутились въ деревнѣ. Предъ вами картина села въ Свѣтлое Христово воскресенье, предъ вами Андрей со своей дочерью Ласточкой, предъ вами сельскій храмъ во время заутрени и разложенный костеръ чумаковъ. Вы очутились въ мірѣ народныхъ легендъ, изящно обработанныхъ художникомъ-поэтомъ. Вдругъ предъ вами новая сцена. Вы прогуливаетесь съ авторомъ на берегу Оки, встрѣчаете тамъ порченную и ея мать. Не успѣли вы прочесть эту повѣсть „У порома“, въ ушахъ вашихъ какъ будто все еще раздаются слова несчастной матери: „не отъ человека, касатикъ, а отъ Господа Бога“, — предъ вами красавецъ Невскій проспектъ, напудренный, завитой Сви-стувкиниъ, и комическое происшествіе на балу, неудачная покупка дома, покупка ленточекъ, — все это своимъ комизмомъ развлекаетъ васъ и помогаетъ вамъ отдѣлаться отъ тяжелыхъ сценъ въ повѣсти „Мать и дочь“.

Такъ разнообразны первые мелкіе рассказы и очерки Григоровича, написанные имъ въ сороковыхъ годахъ. Но эти маленькія летучія брошюрки были только прелюдіе другихъ, болѣе крупныхъ произведеній. Съ начала 50-хъ годовъ являются большіе романы поэта; онъ выдвигаетъ впередъ, если можно такъ выразиться, свою артиллерию: въ 1852—1853 годахъ онъ обрабатываетъ обширную картину захолустной помѣщичьей жизни — романъ „Проселочныя дороги“. Одновременно почти съ этимъ выходитъ въ свѣтъ лучшее, самое душевное произведеніе Григоровича — „Рыбаки“ (явилось въ концѣ 1852 года). Черезъ нѣсколько лѣтъ, въ 1855—56 г. написаны были „Переселенцы“, вышла эта объемистая повѣсть о несчастной семьѣ переселенныхъ на новыя мѣста



крестьянъ. Какъ будто утомленный долгой работой надъ многолѣтними повѣстями, Григоровичъ въ концѣ 50-хъ годовъ снова ворочается къ своимъ маленькимъ мелкимъ памфлетамъ и пишетъ „Школу гостепріимства“ (1857), „Столичные родственники“ (1856), „Въ ожиданіи порома“ (1857), „Пахарь“ (1856), „Кошка и мышка“ (1857), „Пахотникъ и бархатникъ“ (1859). И, наконецъ, вся эта кипучая литературная дѣятельность Григоровича замыкается крупнымъ произведеніемъ, послѣдней прощальной пѣснью — дневникомъ заграничной поѣздки, „Кораблемъ Ретвизаномъ“. Это было уже предъ самымъ началомъ 60-хъ годовъ. Начало уже свѣтать. Послышался „благовѣстъ прощенья“, и старый, какъ будто утомленный поэтъ сложилъ свое перо, ушелъ мирно съ литературной сцены, заснулъ послѣ работы до своего вторичнаго пробужденія. Изъ бойкаго памфлетиста вышелъ исправный секретарь Общества поощренія художествъ, толкователь и знатокъ искусства; Дмитрій Васильевичъ, авторъ „Деревни“ и „Антоня-Горемыки“, сталъ прежнимъ художникомъ Митей, и опять „старые мастера“ — художники овладѣли его вниманіемъ. *Мизиновъ.*

## Особенности творчества Григоровича.

Въ чемъ заключаются пріемы, эта „лѣстница“, представленная поэтомъ для того, чтобы читатель могъ взобраться по ней до пониманія его произведеній?

Самый любимый первый пріемъ Григоровича — это вывести излюбленное идеальное лицо. Идеальныя лица взяты у Григоровича почти всѣ изъ деревни, за исключеніемъ одного рассказа „Неудавшаяся жизнь“, гдѣ идеалистъ взятъ изъ среды культурнаго класса. Впрочемъ, и въ деревнѣ Григоровичъ иногда не находилъ ихъ: по его мнѣнію, человекъ, отставшій отъ деревни, вносившій въ эту обитель мира и идеаловъ смуту, начала городской цивилизаціи, — фабричный непригоденъ былъ для идеальнаго лица: оттого-то типы Захара въ „Рыбакахъ“ и Мишахъ въ „Смедовской долиинѣ“ отрицательные. Поэтъ искалъ идеаловъ у земли, въ глуши, въ отдаленныхъ деревняхъ. Тамъ, по мнѣнію поэта, и были

всѣ тѣ качества, которыхъ лишена была цивилизація. Что касается до типа Андреева, то появленіе его весьма просто объяснимо: Григоровичъ былъ, сказано, половиной души отданъ спеціально искусству, вотъ почему и явилась идеальная фигура талантливаго художника Андреева. Просматривая произведенія Григоровича, на каждомъ шагу видишь идеалистовъ, „сермяжныхъ героев“, какъ называетъ ихъ и самъ Григоровичъ. Спротка Акуля въ рассказѣ „Деревня“, Катерина въ „Переселенцахъ“, отчасти Дуня въ „Рыбакахъ“ — все это женскіе характеры идеальныя. Это лица, съ устъ которыхъ не сорвется ни одного упрека, это идеалы труда, доброты, честности. Обратите вниманіе на Катерину въ „Переселенцахъ“. Это — олицетвореніе труда. Вся семья Тимоеева въ Марьинскомъ держится благодаря ей. Она все устраиваетъ сама на новомъ мѣстѣ поселенія и выполняетъ при этомъ случаѣ данное ею обѣщаніе. Когда въ домѣ нѣтъ лошади, мужъ ея, Лапша, бросаетъ работу, она одна занимается полемъ, достаетъ зерна, лошадей, допахиваетъ ниву. На новомъ поселеніи, за неимѣніемъ другой работы, она ставитъ заплаты на крестьянскія коротайки и этимъ содержитъ семью. Въ Катеринѣ, по Григоровичу, идеалъ труда. Но поэтъ не ограничивается этимъ. Суровая съ перваго взгляда, Катерина была одной изъ добрейшихъ натуръ. Она не хуже матери ухаживаетъ за сумасшедшей Дуней; оставить послѣднюю на произволъ судьбы значить, по словамъ Катерины, „грѣхъ принять на душу свою“. Она боится оставить больную на попеченіе господъ; она боится, что безъ нея Дуню закидаютъ грязью даже деревенскіе ребята. Катерина добра ко всѣмъ, и поэтому она предлагаетъ все въ распоряженіе пріѣзжаго торговца. О честности ея не можетъ быть и рѣчи: когда она вступаетъ на скотный дворъ, прекращаются въ первый же мѣсяцъ всякія плутни, и все тамъ идетъ иначе.

Такихъ же идеалистовъ выбираетъ Григоровичъ среди мужскихъ типовъ деревни. Цѣлый рядъ ихъ выведенъ въ его рассказахъ: „славный, добрый, смиренный мужикъ“ (по отзыву фабричнаго) Антонъ-Горемыка, Андрей въ рассказѣ „Свѣтлое Христово Воскресеніе“, больной старикъ въ „Бобылѣ“; Ваня въ „Рыбакахъ“, безкорыстно оплакивающій дядю Акима и охарактеризованный Кондратіемъ въ такихъ словахъ: „добрая



ласковая душа! Памятенъ ему всякъ человѣкъ“, — все это одни идеалы. Сюда же относится Петя въ „Переселенцахъ“, отказывающійся отъ всякихъ процентовъ, Анисимычъ въ „Пахарѣ“, Савелій въ „Кошкѣ и мышкѣ“. Чтобы ознакомиться съ идеалами Григоровича, можно остановиться на самыхъ задумшевныхъ типахъ поэта — на Глѣбѣ и дѣдушкѣ Кондратіи въ „Рыбакахъ“.

На первый взглядъ Глѣбъ, старый рыбакъ Оки, можетъ показаться неидеальнымъ типомъ; его, пожалуй, можно назвать человѣкомъ спекуляціи, барышникомъ. Онъ принимаетъ къ себѣ въ домъ Акима и Григорія. И почему? Здѣсь нѣтъ мѣста какимъ-либо возвышеннымъ идеаламъ, здѣсь все дѣлается изъ расчета: „Глѣбъ, говоритъ Григоровичъ, смекнулъ, что двоихъ выгодно оставить у себя въ домѣ. Акимъ будетъ работать только изъ-за хлѣба, а Григорій впослѣдствіи можетъ стать лишнимъ столбомъ, опорой и надеждой дома“. Возьмите отношенія Глѣба къ семьѣ; здѣсь опять вездѣ утилитарный взглядъ. Сноха для него только „новая работница на смѣну старухѣ“. Глѣбъ вездѣ крайній экономъ. Какъ ему непріятна свадьба Григорія! Съ горечью съ сердцѣ отворяетъ онъ завѣтнымъ витымъ ключомъ сундучокъ въ своей каморкѣ и жертвуетъ на эту свадьбу. Самъ поэтъ замѣтилъ въ одномъ мѣстѣ про Глѣба, что въ немъ нерѣдко „замѣчался тотъ грубый эгоизмъ, который часто встрѣчается въ семьянистомъ мужикѣ“. Таковы между прочимъ черты Глѣба. Но рядомъ есть еще и другія. Этотъ старикъ, воспитанный среди глуши, среди патріархальнаго быта, удержалъ въ себѣ много старины. Отцовская власть его не знаетъ предѣловъ: въ дѣлахъ хозяйственныхъ, семейныхъ никто не можетъ подать голоса; 20-лѣтніе сыновья не могутъ отойти за версту отъ дома, жену свою онъ пригласилъ только разъ въ жизни посоветоваться, отпускать ли изъ дому Гришуху.

Но эти, повидимому, отрицательныя качества ступшевываются въ описаніи Григоровича. Отцовская власть Глѣба, мы видимъ, не приводитъ къ худымъ результатамъ. Глѣба нельзя укорять за то, что онъ преслѣдовалъ все дурное въ семьѣ: примѣръ старшихъ сыновей, вышедшихъ изъ-подъ отцовской власти, показываетъ намъ, что осталось безъ Глѣба: Ваня, послѣ возвращенія на родину, узналъ о нихъ, что

они перессорились и проживали, Богъ знаетъ, гдѣ. Что вышло бы изъ Григорія, если бы не было власти старика? Что было бы, намъ извѣстно, потому что извѣстно, что сдѣлалъ Григорій, когда не стало Глѣба. Нельзя, съ другой стороны, строго относиться и къ финансовой оцѣнкѣ лицъ у Глѣба, къ его скопидомству. Человѣкъ, который до 60 лѣтъ, иногда по колѣно въ замерзшей рѣкѣ, добывалъ себѣ гроши и клалъ въ сундукъ, человѣкъ, не знавшій покоя цѣлую трудовую жизнь, могъ пожалѣть, что его трудовыя деньги идутъ на свадьбу Гришки, свадьбу, не особенно ему пріятную. У Глѣба и не могло быть оцѣнки лицъ другой, кромѣ финансовой: онъ самъ цѣнилъ себя, какъ рабочаго вола, и потому не терпѣлъ, чтобы Акимъ, Григорій или кто другой жилъ на счетъ его стариковскаго труда. Но совсѣмъ иначе поступилъ Глѣбъ съ Кондратіемъ: онъ ясно видѣлъ, что съ Кондратія нечего спрашивать того, что можно спросить съ Григорія, тутъ пропала у него меркантильная точка зрѣнія, и онъ отъ души предлагалъ уголъ Кондратію.

Въ другихъ отношеніяхъ старый рыбакъ у Григоровича не возбуждаетъ никакихъ сомнѣній. Это идеаль, „сермяжный герой“. Это такое же олицетвореніе трудолюбія, какъ и другіе герои Григоровича. „Богъ труды любитъ“, — вотъ завѣтъ Глѣба, вотъ то религіозное вѣрованіе, которому оставался всю жизнь вѣренъ рыбакъ Оки. Онъ всегда слѣдуетъ этому завѣту. Лѣтомъ и весной просыпается онъ вмѣстѣ съ жаворонками, зимою и осенью вмѣстѣ съ солнцемъ; онъ не спитъ даже тогда, когда все кругомъ поконится сномъ, когда еще спятъ куры и голуби, завернувши головки подъ свои пушистыя перья. Глѣбъ въ работѣ не отстаетъ отъ здоровой молодежи, отъ сыновей и работниковъ. Убѣжденіе Глѣба не заключается въ томъ, что у человѣка долженъ быть хлѣбъ, потому что есть ротъ; онъ сердечно вѣрилъ, что Бога можно благодарить только молитвой и трудомъ. Накапунѣ смерти этотъ старикъ, подъ проливнымъ дождемъ, ѣдетъ въ лодкѣ по Окѣ и ловитъ неводомъ рыбу. Ока была для него ареной труда, она укачала его силы, но онъ не проклялъ ее за это: полумертвый, онъ садится на лавкѣ, глядитъ на бурную рѣку и посылаетъ ей прощальный привѣтъ: „Прощай, кормилица! Намъ уже больше не видѣться съ тобой“. Разстаться съ трудомъ, умирать, оставить свой не-



водъ для Глѣба значило слишкомъ много: когда онъ въ послѣдній разъ оторвался отъ лодокъ и черезъ силу пошелъ къ дому, ему казалось, что онъ несетъ на себѣ гробъ близкаго родственника.

Рядомъ съ этимъ беззавѣтнымъ трудомъ въ Глѣбѣ замѣчательная сила характера. „Въ продолженіе 60-лѣтней жизни — говоритъ Григоровичъ — Глѣбъ не зналъ, что значитъ отчаиваться, плакать, убиваться, падать духомъ“. Возьмите сцену прощанія Глѣба съ сыномъ: онъ говоритъ здѣсь женѣ, что лишніе проводы — лишнія слезы; возвратившись домой, онъ не спитъ, не пьетъ, только лежитъ на своихъ вершахъ, и въ то же время говоритъ женѣ: „у меня, — чтобъ я этихъ слезъ не видѣлъ!“ И рядомъ съ этимъ желѣзнымъ характеромъ въ Глѣбѣ какая-то мягкость, веселость: смѣясь онъ работаетъ; поострптъ и надъ Акимомъ и поиграетъ съ дѣтьми; на лицѣ его вы не видите ни постоянной суровости ни грусти. Вмеѣстѣ съ тѣмъ подъ этимъ желѣзнымъ равнодушіемъ Глѣба скрыты глубокія нравственныя силы. Какъ онъ любилъ своего сына! Онъ не могъ вспомнить о немъ, онъ груститъ о немъ на свадьбѣ пріемыша; онъ, и умирая, говоритъ о немъ: „не забывайте о немъ всѣ; передайте ему мое благословеніе; умиралъ старикъ, скажите, умиралъ, его поминаячи“; вотъ слова, которыя произносилъ умирающій старый рыбакъ.

Въ Глѣбѣ воплотился идеаль Григоровича, идеаль человека, не тронутаго культурой, представителя глубокой старины. А рядомъ съ этой фигурой стоитъ другая фигура — дѣдушки Кондратія.

Въ этомъ старикѣ не было той физической мощи, какая была въ Глѣбѣ. Захаръ подъ пьяную руку не могъ похвастать предъ своими товарищами шириною плечъ и высотой груди Кондратія, какъ онъ хвасталъ ими въ Глѣбѣ. Но духовный міръ Кондратія выше Глѣбовскаго. Это такой же беззавѣтный поклонникъ труда, какъ и Глѣбъ. „Пока Господь грѣхамъ терпитъ, не отымаетъ рукъ, пока глаза видятъ, долженъ всякъ человекъ трудиться, какія бы ни были его лѣта: труды наши — та же молитва передъ Господомъ“, — вотъ заповѣдь дѣдушки Кондратія. Онъ трудится, потому что, по его убѣжденію, должна трудиться всякая тварь, начиная съ муравья и мошки и кончая человекомъ. Кондратій трудится, потому что въ „трудахъ жили святые отцы“, потому что трудились и сами

апостолы Христовы. Трудится по Кондратію значило радоваться въ жизнь. И старикъ остался до гроба вѣренъ этому убѣжденію: онъ трудится на озерѣ, трудится пастухомъ, ковыряя лапти, трудится даже тогда, когда отъ старости дрожитъ рука и кочадыкъ не попадаетъ въ лапти (ему было около 90 лѣтъ). Благодаря труду, Кондратій всегда сохранялъ личную независимость, и его нельзя было попрекнуть взятымъ кускомъ хлѣба; его, напр., Анна и Дуня уговариваютъ перейти къ нимъ, а онъ отвѣчаетъ, что его не оставитъ Богъ, какъ не оставляетъ Онъ маленькихъ птишекъ. Даже его не могъ уговорить въ этомъ и Глѣбъ. „Нѣтъ, видно, тебя не уломаешь“, говоритъ онъ. Если даже Кондратій и сказалъ Глѣбу, что придетъ къ нему послѣ за помощью, то здѣсь не видѣлъ „поклона“: „земля землѣ не кланяется“, сказалъ онъ оригинально въ отвѣтъ.

Такимъ образомъ по идеаламъ Кондратій стоитъ не ниже Глѣба. Но есть пункты, гдѣ личность Кондратія стоитъ выше товарища его. Практическій Глѣбъ узко понималъ слово „трудъ“: книга для него „пустое дѣло“, „доля рыбака не книжки читать, а неводъ таскать“. Вотъ почему Глѣбъ неодобрительно смотрѣлъ на занятія Вани. Почему у Глѣба выработался такой взглядъ, сказать трудно: можетъ-быть, на него подѣйствовалъ примѣръ одного „книжнаго человѣка“, пьяницы Кавычки, и потому-то онъ составилъ себѣ невыгодное понятіе о „грамотникѣ“ или, какъ онъ выражался, „о дычкѣ“. Дѣдушка Кондратій, наоборотъ, дорожитъ грамотой: онъ учитъ Григорія и Ваню и называетъ грамоту „добрымъ дѣломъ“. Сколько было радости у Кондратія, когда онъ получилъ письмо отъ Вани послѣ долгой, многолѣтней разлуки. И другія черты Кондратія какъ-то мягче, иѣжиде, чѣмъ у Глѣба. У него нѣтъ суровости, строгости отца Вани. Кондратій добродушно обращается съ Дуней, онъ не держитъ ее въ такой опеѣ, какъ Глѣбъ, онъ не соглашается съ Глѣбомъ въ томъ, что Гришкѣ нужно переломать ребра. „Отнимъ не поможешь, — говоритъ кротко Кондратій: — не тронь ты его, пуще не грози, не подымай рукъ, побоями да страхомъ ничего не сдѣлаешь. Переговори лучше добрымъ словомъ, возьми кротостью, терпѣніемъ“. Такъ отвѣтилъ Кондратій на предложеніе Глѣба — погрѣть Гришкѣ бока. Этою-то мягкостью и отличается 90-лѣтній старикъ отъ своего



говарива. Мягкость его сказалась и въ самомъ виѣшеннѣ видѣ: это не былъ физически бодрый старикъ, какъ Глѣбъ: Глѣбъ казался ему самому дубомъ, котораго не сломить буря; свѣтло-голубые глаза Кондратія смотрѣли съ какою-то дѣтскою простотою, у него не было мужественнаго, энергическаго, румянаго лица Глѣба, не было быстрыхъ пронизывающихъ, пылавшихъ въ минуту досады глазъ, не было пышныхъ черныхъ, кудрявыхъ волосъ Глѣба.

Таковы герои Григоровича въ „Рыбакахъ“. Поэтъ выдвинулъ ихъ: онъ нарочно выставилъ ихъ идеалы, особенно идеалъ труда, чтобы этимъ подкупить читателя, онъ нашелъ ихъ въ той глуши, которую любилъ такъ самъ, въ той глуши, гдѣ, по его словамъ, „хранятся сокровища добра и правды“. Онъ доказалъ читателю, что идеаловъ надо искать въ не-испорченной деревнѣ. Но этого мало. Иной читатель безучастно могъ пройти мимо этого героя, могъ не симпатизировать идеаламъ этихъ поэтическихъ образовъ. Григоровичъ не возбудилъ бы такимъ образомъ симпатіи къ своему герою, тѣмъ болѣе, что краски его иногда такъ радужны, такъ веселятъ глазъ (особенно въ „Рыбакахъ“), что читателю нѣтъ надобности превращаться въ филантропа, въ душѣ его могло бы пробудиться одно даже чувство удовольствія при чтеніи прекрасныхъ картинъ рыбацкой жизни. Наконецъ, самая проповѣдь о трудѣ, извѣстно, всегда, какъ и всякое поученіе, мало даетъ иногда результата. Поэтому нужно было задѣть другія стороны, подѣйствовать съ иной стороны. Отсюда вытекаетъ другой пріемъ Григоровича.

Прочитывая Григоровича, обращая вниманіе на типы сермяжныхъ героевъ, читатель невольно замѣтитъ одну сторону творчества поэта. Оказывается, большинство героевъ Григоровича — это несчастные страдальцы, это идеальные мученики. Для поэта мало выставить идеальныхъ Петю или Катерину, мало этихъ свѣтлыхъ образовъ, успокоивающихъ душу читателя, ему нужно заставить ихъ страдать, ему нужно пробудить въ читателѣ жалобное чувство къ своему сермяжному герою. У Григоровича, можно сказать, вездѣ одно страданіе. У него страдаетъ бѣдный шарманщикъ среди глухихъ улицъ Петербурга; у него страдающей выведена Акуля въ „Деревнѣ“, страдаетъ Антопъ-Горемыка, страдаетъ бобыль, страдаетъ Андрей съ Ласточкой, страдаетъ мать съ су-

масшедшей дочерью въ разсказѣ „У порома“; романъ „Переселенцы“ безошибочно можно назвать Одиссеей страданій семьи Лапиш. Героевъ Григоровича всѣ обижаютъ, бьютъ; ихъ плохо кормятъ, ихъ бьютъ за каждаго пропавшаго утенка; ихъ бьютъ, такъ сказать, и снаружи и внутри: бьютъ и внѣ дома, бьютъ подъ пьяную руку и домашніе; ихъ посылаютъ черезъ силу работать. Идеалисты Григоровича обливаются слезами; у нихъ нерѣдко исхудалая грудь, они дѣлать часто свою радость только съ животными, они фигурируютъ въ качествѣ колодниковъ; несчастныя идеальныя дѣти у Григоровича дрожатъ отъ холода, — словомъ, всѣ претерпѣваютъ массу и физическихъ и нравственныхъ страданій. И перо поэта какъ-то особенно умѣетъ отбѣнять эти сцены страданій. Позволю себѣ для примѣра напомнить одну изъ этихъ сценъ. Въ концѣ повѣсти „Деревня“ везутъ на кладбище Акулину. Григорій подвязалъ веревками гробъ къ розвальнямъ, для „куража“ выпилъ немного, приладился на край гроба, нахлобучилъ на глаза шапку, махнулъ вожжами и ѣдетъ. Дочь Акулины, Дуня, которая прежде, стояла ли стужа, шелъ ли дождь, пекло ли солнце, всюду ходила за матерью, нарочно въ этотъ день заперта въ камору.

„Вьюга злилась, — продолжаетъ Григоровичъ. — Дорогу заметало. Цѣлая горы снѣгу разсыпались на голову Григорію. Онъ, ошеломленный виномъ, ни на что не обращалъ вниманія и только хлесталъ и стегалъ клячу, которая, то и дѣло, вязла въ оврагахъ. Вдругъ, посреди завыванія вѣтра и шума метелицы, ему послышались крики. Онъ оглянулся. Въ мутныхъ волнахъ, между сугробами, сломя голову, бѣжала Дунька. Григорій приподнялся на облучкѣ и погрозилъ ей. „Пошла, пострѣль, домой! Пошла домой! Замерзнешь. Пошла домой!“ кричалъ онъ и съ остервененіемъ колотилъ клячу. Хмель успѣлъ обуять его. Удары сыпались за ударами. Лошадь несла во всю мочь. Изрѣдка оборачивался Григорій назадъ. „Пошла домой, пострѣль! — горланилъ онъ: — Пошла домой! Вотъ я те окаянную!“ А Дунька все бѣжала и бѣжала...

„Вьюга становилась сильнѣе. Снѣжные вихри и ледяной вѣтеръ преслѣдовали ребенка, и забирались ему подъ худенькую его рубашонку и обдавали его посицѣвшія ножки и повергали его въ сугробы, но онъ все бѣжалъ, все бѣжалъ... Вой вѣтра становился слышнѣе и слышнѣе. То взрывалъ онъ снѣж-



ные хребты и яростно крутили ихъ въ замутившемся небѣ, то гналъ передъ собой необозримую тучу снѣга и, казалось, силится затопить поля, лѣса, все Кузьминское со всѣми его жителями, амбарами, угодьями и господскими хоромами“.

Въ этой сценѣ — образчикъ художественнаго пафоса Григоровича, образчикъ глубокаго человѣческаго сочувствія къ бѣдному ребенку. Изъ этой сцены видно, какъ умѣетъ поэтъ подбирать мастерски краски для своихъ печальныхъ картинъ. Таковы картины „Деревни“. „Переселенцы“, эта Одиссея страданій, есть цѣлая вереница печальныхъ картинъ съ начала до конца. Поэтъ какъ будто нарочно задался цѣлью ввести читателя въ эту мрачную картинную галерею, такъ или иначе связанною съ исторіей семьи Катерины. Онъ вамъ опишетъ домъ въ деревнѣ, отсутствіе даже засова у воротъ, полусгнившій соломенный навѣсъ, еле державшійся на кривыхъ столбахъ, падающую ригу, поломанныя орудія хозяйства, запущенный дворъ. — Такова первая изъ картинъ. За ней идетъ другая: семья ужинаетъ обглодками хлѣба, приправленными кисленькимъ квасомъ. И за этими двумя потянулись эти картины до безконечности: сумасшедшая Дарья, уводъ сына Степана, похищеніе слѣпыми странниками Пети, покиданіе родного клочка земли, сопровождаемое плачемъ всѣхъ; несчастія на новыхъ мѣстахъ; печальная жизнь мальчика Пети у Верстана, постоянныя затрецины и пинки, путешествіе ребенка въ знойные, нестерпимые дни, постоянная боязнь за Мишу; полная тревогъ жизнь маленькаго бѣглеца и т. д. — все это какъ-то мрачно, печально.

Не удивительно поэтому, что повѣсти и рассказы Григоровича производили въ свое время на пессимистически настроенныхъ людей 40-хъ и 50-хъ годовъ страшное, подавляющее впечатлѣніе. Траурная кайма повѣсти соотвѣтствовала трауру души современниковъ поэта. Въ одномъ изъ номеровъ тогдашняго „Современника“ Бѣлинскій нашелъ повѣсть „Антонъ-Горемыка“ и вотъ что писалъ послѣ Боткину: „Повѣсть измучила меня. Читая ее, я все думалъ, что присутствую при экзекуціяхъ. Страшно!“ Въ другомъ мѣстѣ онъ пишетъ: „перечитывать Антона я не буду, хотя всегда перечитываю по нѣскольку разъ всякую русскую повѣсть, которая мнѣ понравится. Ни одна русская повѣсть не производила на меня такого страшнаго, гнетущаго, мучительнаго,

удушающаго впечатлѣнія. На этомъ примѣрѣ Бѣлинскаго мы видимъ, какъ дѣйствовали въ свое время рассказы Григоровича. Не составляли исключенія въ данномъ случаѣ даже „Рыбаки“: надъ жалостной сценой проводовъ Вани, вѣроятно, плакала не одна чувствительная душа: „слезы навертываются на глаза, — говоритъ одинъ изъ людей 50-хъ годовъ, — когда читаешь эти съ неподдѣльнымъ чувствомъ написанныя страницы“. А между тѣмъ „Рыбаки“ — одна изъ свѣтлыхъ картинъ галлерей Григоровича. Нужно замѣтить при этомъ, что особенно мрачнымъ колоритомъ отличаются первыя мелкія повѣсти поэта: „Антонъ-Горемыка“, „Бобыль“, „Деревня“ (первыя двѣ въ 1848 г., а послѣдняя въ 1846 г.). Здѣсь вездѣ страданіе или смерть, это безпросвѣтная, душная почъ безъ капли свѣту, безъ малѣйшей прохлады. Отчего такъ было, сказать трудно: можетъ-быть, мрачнѣе думать poeta заставляла жизнь, можетъ-быть, въ этихъ густыхъ краскахъ сказалась молодость, которая всегда, извѣстно, и горячо любить и горячо ненавидѣть. Но потомъ, или по не зависящимъ отъ поэта обстоятельствамъ, или потому что

Броженіе юности унялось,  
Остепенился вдругъ поэтъ,

Григоровичъ сталъ сглаживать темныя, густыя штрихи, онъ началъ вводить особаго рода примиряющій элементъ. Если онъ прежде раздражалъ читателя сплошь до конца, если читатель прежде закрывалъ книгу среди „мучительнаго, гнетущаго“ впечатлѣнія, то насколько иначе было въ позднѣйшую пору! Поэтъ началъ успокоивать читателя, онъ сталъ давать ему возможность отдохнуть отъ тяжелыхъ сценъ, онъ сталъ вставлять въ свои произведенія болѣе свѣтлыя, успокоивающія глазъ картины. Читатель, кончивъ повѣсть, уже скорѣе долженъ былъ оставить ее наполовину примиренный, потому что Григоровичъ сталъ рисовать въ концѣ повѣсти не одни страданія; его герои-идеалисты уже не умирали, они становились счастливыми, передъ читателемъ въ концѣ повѣсти была убаюкивающая первы картина спокойной, счастливой жизни. Возьмите въ противоположность „Деревнѣ“ (1846 года), гдѣ въ концѣ повѣсти многострадальную сироту везутъ на кладбище, рассказъ Григоровича „Зимній вечеръ“ (1853 года). Здѣсь въ концѣ предъ вами не голодный Яша,



не голодная дѣти, не холодная, нетопленная комната бѣдняка, а всѣ веселы, сыты, всѣ танцуютъ, ярко пылаетъ затопленная печка. То же самое въ „Переселенцахъ“. Въ концѣ повѣсти здѣсь помещены сцены, которыя заставляютъ забыть всѣ страданія героевъ; злодѣи уже получили достойное возмездіе, и торжествуетъ невинность. Въ концѣ повѣсти Петя съ добрымъ торговцемъ ѣдутъ отъ урядника и въ верстахъ 100 отъ Сосновки встрѣчаютъ конвойныхъ и колодниковъ, между которыми идетъ и злодѣй Верстанъ; дядя Мизгирь, достойный сотрудникъ Верстана, въ концѣ романа убитъ товарищами; Филиппъ, мучившій семью Катерины, фигурируетъ на судѣ и получаетъ наказаніе. Переменились въ концѣ романа и Бѣлицыны, главные виновники страданій: въ концѣ романа Бѣлицына сожгла все, чему поклонялась вначалѣ. Не страдаетъ уже и Петя: обласканный помещиками, онъ уже учится столярному ремеслу, онъ неразлученъ съ семьей; одни только грустные воспоминанія объ умершемъ товарищѣ, мальчикѣ Мишѣ, тревожатъ лишь душу ребенка. Въ концѣ повѣсти Катерина уже скотницей; она занимаетъ видное мѣсто въ дворѣ. Поэтъ въ концѣ „Переселенцевъ“ не забылъ даже Фуфаева, того весельчака-нищаго, который несъ больного Мишу на своихъ рукахъ, который всегда защищалъ Петю: Фуфаевъ въ концѣ повѣсти снова живетъ въ Марьинскомъ, всѣми обласканный, накормленный: онъ весело отдуваетъ щеки и гордится своей волюшкой. То же происходитъ и въ „Рыбакахъ“: здѣсь въ концѣ романа нѣтъ страданій Дуни, Ваня безсрочно-отпускнымъ является черезъ 15 лѣтъ обратно и живетъ съ ней; въ надлежащія мѣста отправлены и два злодѣя — Захаръ и Гришка: одинъ сосланъ въ Сибирь, другой лежитъ на днѣ Оки. Вездѣ тишь, гладь и благодать Божья, „все вѣетъ миромъ и прохладой“.

Такъ сгладили поэтъ въ позднѣйшихъ своихъ произведеніяхъ свои темныя краски, съ спокойной душой закрывалъ его повѣсть читатель.

Указавъ читателю на то, что идеалъ нужно искать въ деревнѣ и притомъ въ деревнѣ, полной несчастій, Григоровичъ все-таки думалъ, что читатель мало растроганъ, что у него остались кое-какія сомнѣнія. Въ самомъ дѣлѣ, читатель могъ спросить поэта: неужели идеалисты одѣты одной сермягой?

неужели и въ культурномъ человѣкѣ, о которомъ забыла филантропія, нѣтъ идеаловъ Глѣба, Кондратія, Катерины или кого-нибудь изъ подобныхъ лицъ? неужели если свѣтло внизу, такъ темно въ то же время вверху? неужели городская цивилизація отстала передъ идеальной деревней?

Поэтъ какъ будто чувствуетъ это возраженіе, и новыя картины уже не деревни, а города, одна за другой проходятъ передъ читателемъ. Здѣсь уже не сермяжные герои, здѣсь выведенъ герой въ приличной, щеголеватой одеждѣ, здѣсь типъ взятъ сверху. И что же въ результатѣ? Читатель съ удивленіемъ смотритъ на эти новыя лица и видитъ только одни контрасты прежнимъ. Поэту, кажется, хочется добить павшаго врага, хочется показать, что нечего искать идеаловъ въ культурномъ слоѣ. Конечно, онъ могъ бы этого не сдѣлать. Можно было бы напунѣ 60-хъ годовъ и въ верхнемъ слоѣ отыскать Глѣба, Кондратія, можно бы указать на нихъ читателю. Возьму одинъ примѣръ даже еще изъ эпохи до 40-хъ годовъ. Въ 30-хъ годахъ въ Московскомъ университетѣ учился молодой человѣкъ, сынъ помѣщика Воронежской губерніи. Посмотрите, что онъ пишетъ въ своихъ письмахъ роднымъ и знакомымъ. „Много минутъ провели мы человѣчески... Душа проситъ воли, умъ — пищи, жизнь — дѣятельности. Я сижу, работаю, надѣюсь сидѣть и работать еще больше... Можетъ-быть, науки со временемъ совершенно замѣнятъ мнѣ жизнь, начало этому я уже вижу“... Онъ собирается путешествовать и пишетъ: „Мнѣ нужно поучиться до отъѣзда. Я стыжусь своего невѣжества въ многихъ вещахъ“. Студентъ 30-хъ годовъ весь поглощенъ чисто человѣческими интересами: онъ живетъ театромъ, литературой, Шекспиромъ, Шиллеромъ, Гёте, Виландомъ, Гюго, пробуетъ силы на поприщѣ литературы (пишетъ драму и стихи), живетъ университетскою наукой, замышляетъ писать исторію театра, поглощенъ вопросами философіи. А между тѣмъ этотъ идеалистъ уже въ то время, на студенческой скамьѣ, былъ больной физически человѣкъ, который, по выходѣ изъ университета, прожилъ только около 6 лѣтъ. Этотъ студентъ былъ Н. Станкевичъ. Можно было Григоровичу найти въ 40-хъ и 50-хъ годахъ такихъ же людей. Но онъ не искалъ ихъ; онъ въ одномъ мѣстѣ своей повѣсти „Проселочныя дороги“ выразился такимъ образомъ про высшій слой: „благодаря



просвѣщенію — говоритъ онъ здѣсь, — разливающему благодатные лучи по всему пространству нашего отечества, людей, упорно косиющихъ въ невѣжествѣ, у насъ очень мало. А между тѣмъ самъ нарочно отыскиваетъ одного изъ малыхъ сихъ; онъ здѣсь ловитъ только одни отрицательные типы; онъ нарочно отыскиваетъ ихъ въ глубинѣ „Проселочныхъ дорогъ“. Ему не хочется какъ будто, чтобы его идеаль, его сермяжный герой, стушевывался въ ряду другихъ свѣтлыхъ фигуръ; ему хочется, чтобы тотъ свѣтился ярче среди окружающей темноты. У Григоровича является, мы видимъ, новый приѣмъ — дѣйствовать на читателя контрастомъ.

Приѣмъ этотъ одинъ изъ любимыхъ у поэта. Достаточно прочесть даже иногда одно заглавіе разсказа, и уже нечего даже и читать, напр., „Пахотника и бархатника“, чтобы убѣдиться въ этомъ приѣмѣ Григоровича: онъ — въ самомъ заглавіи. Самъ Григоровичъ даже пишетъ по поводу этого своего литературнаго приѣма въ одномъ мѣстѣ слѣдующее: „позвольте теперь — говоритъ онъ — перенести васъ изъ унылой деревушки, утопающей въ грязи и облитой дождемъ, прямо въ центръ Петербурга. Переходъ, конечно, очень рѣзокъ, но тѣмъ лучше, мнѣ кажется. Безъ контрастовъ и неожиданныхъ переходовъ отъ худого къ хорошему, отъ мрачнаго къ веселому и обратно, не только романы и повѣсти, но и самая жизнь была бы однообразна и, слѣдовательно, невыносимо скучна“ („Пахотникъ и бархатникъ“). Въ этихъ ироническихъ словахъ поэтъ самъ указалъ намъ на свою любимую манеру — прибѣгать къ контрастамъ.

И дѣйствительно, эти контрасты, какъ нарочно, есть почти во всѣхъ произведеніяхъ Григоровича. Вездѣ, въ противоположность сермяжнымъ героямъ, беззавѣтнымъ труженикамъ, людямъ характера и стойкихъ нравственныхъ началъ, людямъ силы и воли, у поэта выведены лица культурнаго класса съ мелкими страстями, безъ опредѣленнаго нравственнаго облика, съ ничтожными низменными побужденіями; вездѣ идеальной и несчастной жизни простого человѣка у поэта противопоставляется счастливая, беззаботная, обеспеченная, лишенная всякихъ высокихъ стремленій, жизнь верхняго помѣщичьяго злая. Такой контрастъ вы найдете въ „Антонъ-Горемыкѣ“, въ „Бобылѣ“, въ „Переселенцахъ“. Рядомъ съ кровельщикомъ, упавшимъ и разбившимъ грудь

о бревна, большимъ старикомъ, этимъ бобылемъ, умпрающимъ за околицей, помертвѣлыя уста котораго только шепчуть о пощаде, вы непременно найдете жизнь добродѣтельной старушки, приказавшей выслать бобыля за околицу и одарившей его какою-то цѣлебной травкой, старушки, окруженной массой всевозможныхъ приживалокъ. Рядомъ съ Акулей всегда у поэта непременно встрѣтится какая-нибудь представительница культуры, разсуждающая о „глупости“ Акулины; рядомъ съ Антономъ вы найдете непременно блаженствующаго за самоваромъ Карла Карловича со своей супругой. Рядомъ съ трудовой жизнью своего идеальнаго героя поэтъ выведетъ непременно какого-нибудь Бондаревского и Бѣлостоцкаго, занятого кофейнями, весь талантъ убившаго на то, чтобы перегнать карету Клары Петровны. Онъ выведетъ людей, съ дѣтства интересующихся однимъ зеркаломъ, людей, которые три мѣсяца отказываются отъ обѣда, чтобы купить себѣ брелоки къ часовой цѣпочкѣ, и мечги которыхъ заключены въ галстукѣ *la à papillon*. Поэтъ ищетъ вездѣ такихъ лицъ. Онъ идетъ въ самыя захолустья, чтобы найти тамъ необходимый контрастъ. И его находка увѣличивается успѣхомъ. Какимъ удовольствіемъ дышитъ лицо поэта, какъ радостно свѣтятся его глаза, когда онъ, отрекомендовавъ читателю Глѣба, Кондратія, Ваню, сейчасъ же подводитъ новаго знакомаго, Аристарха Ѳедоровича Балахнова или Попельковскаго. Поэтъ, кажется, на верху счастья. Онъ съ удовольствіемъ знакомитъ, съ скрытою радостью, васъ съ этимъ новымъ лицомъ. Онъ пишетъ все: какъ виситъ у Балахнова его портретъ надъ письменнымъ столомъ съ надписью: „стою за правду“; какъ поэтъ, представитель культуры говорить всѣмъ, что „истина должна освѣтить мысли“, какъ онъ всѣмъ жалуется на то, что приходится „на каждомъ шагѣ встрѣчать забвеніе того, что возвышенно и достойно“; какъ онъ въ то же время занятъ только однимъ дѣломъ — побить на выборахъ своего соперника, какъ онъ разоряетъ семью, не уплачиваетъ долговъ, какъ онъ занятъ всякими мелочными заботами о свадьбѣ Порфирія Павловича. Такъ же опишетъ поэтъ и другого новаго знакомаго, Попельковскаго. Вы узнаете отъ него сейчасъ всю немногосложную біографію этого человѣка: постоянныя разсказы про фортуна, про скупую тетку, про наследство въ 300.000, про свое якобы хорошее



образованіе и рядомъ съ этимъ выпрашиваніе постоянно сигаръ у собесѣдника, постоянный заемъ какихъ-нибудь двухъ рублей на извозчика; полное отсутствіе идеаловъ, — вотъ біографическія черты новаго знакомаго.

Чтобы познакомиться поближе съ этими контрастами Григоровича, возьмемъ самый лучшій изъ нихъ, такой типъ, въ которомъ поэтъ замѣчалъ уже нѣкоторую симпатію своимъ вкусамъ, — типъ Бѣлицыныхъ въ „Переселенцахъ“, тѣхъ людей, которыхъ поэтъ вывелъ для контраста своей идеальной Катериной.

Какіе здѣсь идеалы, какая здѣсь жизнь?

Идеалъ Бѣлицыныхъ — спокойное, комфортабельное существованіе. Сама Бѣлицына въ деревнѣ мысленно занята устройствомъ своей гостиной въ Петербургѣ: она мечтаетъ постоянно о комодѣ во вкусѣ Помпадуръ, она думаетъ затмить своей обстановкой другіе дома столицы. Самъ Бѣлицынъ мечтаетъ объ англійскомъ паркѣ, о дорожкахъ, клумбахъ; онъ мечтаетъ о томъ, какъ сдѣлать шире прудъ, какъ прорубить просѣку черезъ садъ; онъ думаетъ посадить посреди двора липу, чтобы придать дому англійскій характеръ. Удовольствія составляютъ утопію Бѣлицыныхъ, а мечты о морскихъ заграницныхъ купаньяхъ смѣняются мечтами о житьѣ въ Петергофѣ, о гуляньяхъ и музыкѣ. Когда въ деревню пришло письмо отъ знакомой Бѣлицыной, въ которомъ осмѣивался горохъ, морковь и отшельничество ея, въ которомъ упоминалось о гостиной во вкусѣ Людовика XV, то оба супруга съ завистью и печалью прочитали эти строки. Бѣлицыны пробуютъ трудиться, но неудачно: нѣсколько дней они сидятъ за счетами, записками, докладами; въ теченіе нѣсколькихъ часовъ они выслушиваютъ скотницу и Герасима, но проходитъ мимолетное чувство, запрягается экипажъ, хозяева бросаютъ счеты и бумаги, и поѣздъ двигается къ Петербургу. Трудовая жизнь осталась позади, и о ней сохраняется одно лишь грустное воспоминаніе. Бѣлицыны не лишены идеаловъ. Въ нихъ много доброты, много добраго сердца. Бѣлицынъ приходитъ въ негодованіе при слухахъ о мести мужиковъ Тимошеею; онъ обѣщается устроить судьбу несчастной семьи, отыскать пропавшаго Петю. Бѣлицынъ, растоганный, говоритъ Катеринѣ, что онъ приметъ въ ней участіе, что это его долгъ, долгъ христіанина; онъ

въ своей соломенной шляпѣ, въ сопровожденіи Герасима идетъ въ клѣтъ, гдѣ лежитъ больной Тимошей, онъ освѣдомляется о его здоровьѣ, ему хочется послать за докторомъ: онъ мечтаетъ объ устройствѣ больницы въ Марьинскомъ, онъ засиживается въ кабинетѣ, пишетъ проектъ ся и выставляетъ цифру за цифрой. Жена раздѣляетъ симпатіи мужа. Она также добра, какъ и самъ Бѣлицынъ: она собственными руками надѣваетъ на голову ребенка Катерины чепчикъ, она даритъ платокъ и нѣсколько денегъ, она также увлечена проектомъ больницы. Но всѣ эти идеалы отзываются непрактичностью, не даютъ результатовъ. Жизнь окружающихъ незнакома Бѣлицынымъ. О такихъ несчастіяхъ, какія были у Лапи, они читали только въ повѣстяхъ и романахъ; они только иногда вмѣсто дѣла складываютъ руки и поднимаютъ добрые глаза къ небу, моля о защитѣ. Число полей, десятинъ въ каждомъ полѣ, свойство почвы, выраженія: „яровое“, „паръ“, „въ клину“ — все темно для Бѣлицына. Онъ не знаетъ ничего о своихъ строеніяхъ, онъ не можетъ опредѣлить ихъ пригодности. Онъ знаетъ баварскую и саксонскую методы обработку земли, но ничего не знаетъ объ ихъ примѣненіи на практикѣ. Окружающіе всѣ для него неясны, и онъ съ удивленіемъ рассказываетъ женѣ слѣдующій эпизодъ: „Одинъ изъ мужиковъ срубилъ березу: я далъ ему денегъ и вдругъ узнаю, что часъ тому назадъ онъ опять попался! И гдѣ же? Онъ снова рубилъ у того дерева, у котораго мы поймали его“. Особенно непрактичны оказались Бѣлицыны въ вопросѣ о переселенцахъ. Мечты сдѣлать деревянные навѣсы для скота и незнаніе того, что лѣсъ дорогъ въ степной полосѣ, незнаніе того, что гурты гоняютъ громадными партіями, что гуртовщики рѣдко становятся подъ навѣсъ, — все это отозвалось печально на переселенцахъ. По непрактичности Бѣлицыны оба похожи другъ на друга: одну можно было обмануть всякой скотницѣ, другого могъ провести всякій мужикъ. Это незнаніе жизни разбило всѣ идеалы благотворительныхъ супруговъ, мечтательныхъ идеалистовъ. Кипучій хозяинъ уже началъ вести съ управляющимъ апатичные разговоры: длинными стали казаться Бѣлицынымъ дни въ деревнѣ: хозяинъ пересталъ даже ходить на скотный дворъ, не поддерживали бодрости духа ни катанье на лодкѣ ни прогулки въ лѣсу. Всякое петербургское письмо



раздражало идеалистовъ. Всѣ мечты о благотворительности разлетѣлись въ прахъ, обѣщанія спасти Петю не были выполнены. Семья переселенцевъ, утомленная и разбитая, вернулась, потративъ время и силы, на старое пенсилье.

Таковъ типъ культурнаго человѣка, помѣщика, нарисованный Григоровичемъ въ противоположность сермяжному Глѣбу или Катеринѣ. Неустойчивость въ основныхъ взглядахъ, мечтательный идеализмъ сквозятъ здѣсь въ каждой чертѣ. А это между тѣмъ одинъ изъ лучшихъ типовъ! Что же сказать о другихъ контрастахъ? Здѣсь не мѣшаетъ сдѣлать одно замѣчаніе. Отъ этого пріема Григоровича рисовать самые прозаическіе, будничные типы культурнаго человѣка, изображать людей безъ глубокихъ страстей, безъ порывовъ къ идеаламъ, происходитъ то, что иногда и скучно и утомительно читать его нѣкоторые романы. Таковы, напр., „Проселочныя дороги“. „Дочитать его до конца — говоритъ одинъ изъ критиковъ — дѣло большого труда, и рѣдко кто на это отваживается“; другому изъ критиковъ „добрые люди говорили, что онъ не прочтетъ и 50 страницъ этого творенія“; какой-то изъ рецензентовъ разъ даже замѣтилъ про „Проселочныя дороги“, что онъ проѣхалъ ихъ только изъ-за пріятной компаніи съ Дмитріемъ Васильевичемъ Григоровичемъ. Самъ поэтъ даже какъ будто чувствовалъ и самъ въ одной изъ главъ (VIII) извинился предъ читателемъ. И дѣйствительно, читая романъ, будто ѣдешь по тряской, овражистой и проселочной дорогѣ“ и отъ постоянного мельканія однообразныхъ луговъ, осинъ, буераковъ и овраговъ начинаешь нечувствительно засыпать; словно утомленный путникъ, кончивши романъ, закроешь книгу и невольно скажешь: „слава Богу, пріѣхали!“

Но не удовольствовался поэтъ ни деревенскими идеалами своими, ни своими страдающими героями, ни отрицательными типами культурнаго класса. Ему все казалось, что читатель не понялъ его мысли, что лѣстница, приставленная имъ къ поэтическому созданію, не хвагаетъ до подлежащей степени, что нужно яснѣе высказаться, чтобы не было сомнѣнія. И новые пріемы пущены въ ходъ.

Григоровичъ начинаетъ ради обдѣленнаго человѣка глумиться прямо, открыто надъ тѣмъ, что не встрѣчаетъ его сочувствія: онъ начинаетъ открытую апологетику своихъ

идеальныхъ лицъ. У читателя не остается уже никакихъ сомнѣній, и задача поэта выполнена.

Прочитывая нѣкоторыя повѣсти Григоровича вы нерѣдко наталкиваетесь на проническій, сатирическій строй фразы. Критики 50-хъ годовъ поэтому нерѣдко говорили про Григоровича, что онъ большой острякъ, что въ каждомъ словѣ его „много соли, даже перцу“ („Библ. для Чт.“ 1853). Такимъ же былъ, кстати можно замѣтить, Григоровичъ не только въ литературѣ, но въ обыденной жизни, въ своемъ пріятельскомъ кружкѣ. Его считали веселымъ собесѣдникомъ, мастеромъ рассказывать смѣшные анекдоты, товарищемъ всяческихъ проказъ. Такъ отзывается о немъ въ „Воспоминаніяхъ“ Фетъ. Въ другихъ „Воспоминаніяхъ“ (Арсеньева) передается рассказъ о томъ, что за ужиномъ у графа Ламберта Григоровичъ въ такой юмористической формѣ рассказалъ про свое путешествіе, что всѣ присутствовавшіе страдали отъ истерического хохота. Эта пропія, свойственная Григоровичу, и есть новый способъ добить противника. Ее вы встрѣтите у Григоровича тамъ, гдѣ онъ рисуетъ отрицательные типы, гдѣ нѣтъ мѣста его симпатіи. Такой пропіей пропитаны, напр., многія мѣста „Деревни“ или „Антоня-Горемыки“. Вы читаете сцену, гдѣ господа знакомятся съ Акулей, читаете характеристику Карла Карловича и сейчасъ чувствуете злую пропію въ каждой строкѣ. Берете вы заключительныя строки „Бобыля“, гдѣ описывается сцена, какъ уѣзжаютъ на дрожкахъ „съ доброй мѣрой картофеля и цѣлымъ коромъ новостей“ приживалки, и вамъ ясны будутъ антипатіи автора. Но особенно пропія замѣтна въ „Проселочныхъ дорогахъ“. Можно даже совсѣмъ не читать романа, а только пробѣжать одни заглавія, и вы сразу угадываете отношеніе поэта къ выведеннымъ типамъ. Вотъ напр. заглавіе XIV главы: „Желчь начинаетъ кипѣть въ величавой груди Аристарха“, или заглавіе XXI главы: „Аристархъ Ѳедоровичъ, вѣрный своей цѣли, увеселяетъ Порфирія Павловича и вмѣстѣ съ тѣмъ не забываетъ дѣлать своихъ“. Изъ этихъ заглавій прямо чувствуете, какъ относится поэтъ къ Балахнову. Это предчувствіе, дѣйствительно, оправдывается, когда начинаешь читать повѣсть, особенно когда читаешь высокопарныя фразы, какими описаны чувства Балахнова. Григоровичъ иногда даже открыто признавался предъ читателемъ въ томъ, что онъ смѣется,



глумится надъ выведеннымъ типомъ: „надъ ними, право, подчасъ не грѣшно посмѣяться“, говоритъ онъ про типы въ „Проселочныхъ дорогахъ“. Онъ прямо заявлялъ иногда, что его романъ „есть собраніе забавныхъ сценъ, лицъ, заслуживающихъ насмѣшки“. Сопоставьте эти ироническія фразы поэта съ величаво-спокойнымъ торжественнымъ тономъ, какимъ написаны „Рыбаки“, и вы сейчасъ увидите, что въ „Рыбакахъ“ нѣтъ шутокъ; надъ вами здѣсь незримо носится духъ самого автора, сочувствующаго и Глѣбу, и Ванѣ, и дѣдушкѣ Кондратію.

Но если Григоровичъ глумился надъ несочувственными для него лицами, если онъ здѣсь не соблюдалъ величаваго спокойствія чистаго художника, то же онъ дѣлалъ и въ другихъ случаяхъ. Онъ не прочь былъ иногда прервать нить разсказа и преподнести читателю уже не поэзію, а просто самую обыкновенную прозаическую проповѣдь или внушительное замѣчаніе. Предъ вами въ такихъ случаяхъ уже не поэтъ, предъ вами трибунъ, ораторъ, громащій съ своей высоты противника. Такіе перерывы, вставки не рѣдки у Григоровича. Въ одномъ мѣстѣ романа „Переселенцы“ поэтъ разсказываетъ о Машѣ. Сообщивъ о томъ, что Маша осталась равнодушной къ чудесному вечеру, обнимавшему степь, что она ни разу не взглянула на ясное небо, не любовалась солнечнымъ закатомъ, Григоровичъ вдругъ дѣлаетъ такое отступленіе, спеціально обращаясь къ читательницамъ: „не спѣшите заключать, мои читательницы, передистывающія страницы этой повѣсти вашими нѣжными пальчиками, не спѣшите заключать, что молоденькой мужичкѣ свойственно думать о мукѣ и картофелѣ, чѣмъ устремлять мысли къ предметамъ возвышеннымъ, которые васъ одниѣхъ занимать могутъ. Поэзія ваша не столько составляетъ принадлежность исключительно одаренной природы, сколько, попросту, находится въ зависимости отъ счастливой обстановки жизни. Если вы восхищаетесь солнечнымъ закатомъ, если устремляете къ небу прекрасные глаза и такъ мило произносите: „Oh, que c'est beau!“ повѣрьте, это доказываетъ только, что вамъ нечего думать о недостаткѣ муки и картофеля; если ваши близкіе, если ваши дѣти здоровы и сыты, сердце ваше спокойно и радостно бьется, вамъ очень пріятно гулять по полю послѣ чая или удобно сидѣть на балконѣ въ ожиданіи

чая съ отличнымъ бѣлымъ хлѣбомъ и привлекательными тар-тинками. Право, такъ! Не спѣшите дѣлать заключеніе о грубыхъ душевныхъ свойствахъ такого-то человѣка, справьтесь прежде объ обстоятельствахъ человѣка, тогда уже и заключайте“.

Предъ вами въ этихъ строкахъ не поэтъ. Здѣсь вы видите, авторъ прямо беретъ подъ свою защиту Машу, созданный имъ идеалъ; онъ громитъ людей, не раздѣляющихъ его взгляды, онъ сердится, онъ старается предупредить всякое возраженіе, онъ превращается въ памфлетиста, въ проповѣдника. И такихъ вставочныхъ поученій не мало въ произведеніяхъ Григоровича и въ другихъ мѣстахъ. Такое же, напр., поученіе попадаетъ въ другомъ мѣстѣ тѣхъ же „Переселенцевъ“, гдѣ авторъ оправдываетъ своихъ некульгурныхъ героевъ противъ обвиненія въ утилитаризмѣ: въ этомъ мѣстѣ Григоровичъ опять дѣлаетъ отступленіе и совѣтуетъ читателю самому натошакъ сѣсть въ темную и холодную избу, проспѣть въ ней сутки и тогда уже обвинять его героя въ томъ, что у него нѣтъ поэтическихъ восторговъ, что онъ не понимаетъ, напр., живописности рѣки или березы; „тогда, говоритъ Григоровичъ, для васъ живописная рѣчка не стоила бы гроша, если бы въ ней тотчасъ нельзя было наловить налимовъ, лучина тогда сдѣлалась бы самымъ естественнымъ назначеніемъ самага живописнаго дерева“. Опять и въ этомъ мѣстѣ нѣтъ ни капли поэзіи, здѣсь одно поученіе, одна проповѣдь. Особенно непоэтичными можно назвать послѣднія повѣсти Григоровича, напр. „Неслужащіе“, „Почтенные люди, обремененные семействомъ“, „Очерки современныхъ нравовъ“. Всѣ они могутъ назваться скорѣе какими-нибудь трактатами и далеки отъ поэзіи.

Таковъ былъ Григоровичъ наканунѣ 60-хъ годовъ. Цѣлыя 20 лѣтъ училъ онъ читателя искать обѣтованной земли въ деревнѣ. Подчасъ причудливыми, фантастическими красками рисовалъ онъ своему читателю эту примитивную землю и цивилизацію; поэтъ твердилъ ему, что тамъ, въ этой деревнѣ, красота, тамъ идеалы, и напрасно онъ будетъ искать ихъ въ другомъ мѣстѣ. Григоровичъ убѣждалъ читателя, во имя челоѣколюбія помочь этой обѣтованной землѣ, гдѣ все такъ прекрасно, все такъ полно поэзіи, но гдѣ въ то же время такъ много страданія, такъ много горя. Искалѣченными



образами, жалостными сценами старался затронуть чувство состраданія своего читателя. Въ Григоровичѣ лучше, чѣмъ въ комъ-либо, замѣтно неотразимое вліяніе духа времени. Время филантропін, время тяжелой тоски о земныхъ несовершенствахъ, время борьбы разныхъ началъ, время, все, даже поэзію, сводившее къ практическимъ гуманнымъ задачамъ, время лихорадочной дѣятельности вполне отразилось на личности поэта. И Григоровичъ, подобно другимъ, мечталъ о счастіи человѣчества; онъ плакалъ надъ своимъ идеаломъ; онъ ненавидѣлъ сильною ненавистью противника; онъ глумился надъ нимъ, онъ пѣлъ въ тонъ времени печальныя пѣсни; онъ сыпалъ сарказмами; онъ громилъ проповѣдями; онъ торопился лихорадочно не упустить времени; онъ былъ такъ же плодовитъ на произведенія, какъ плодovitо было само время. Мятежная пора какъ нельзя лучше отразилась на мятежныхъ чертахъ поэта. Въ Григоровичѣ не было спокойствія, индифферентной любви ко всему, это поэтъ бурной, ознаменованной борьбою разныхъ началъ, эпохи. Все это, мы видѣли, замѣтно на его произведеніяхъ. Они порождены были временемъ; они пропитаны его идеалами. И люди той эпохи понимали родного имъ поэта; они видѣли, что этотъ поэтъ „плоть отъ плоти ихъ и кость отъ костей ихъ“. Они привѣтствовали каждую его повѣсть и мучились вмѣстѣ съ поэтомъ: „мысли грустныя и важныя“ — какъ выразился Бѣлинскій — являлись послѣ чтенія его произведеній. И самъ поэтъ жертвовалъ для времени всѣмъ. Онъ почти пренебрегъ совѣмъ тѣмъ искусствомъ, къ которому рвался съ дѣтства. Онъ горячо, страстно вмѣшался въ водоворотъ борьбы, слился съ эпохой. Кто хочетъ поэтому изучить общій характеръ 40-хъ и 50-хъ годовъ, тотъ по необходимости долженъ раскрыть повѣсти Григоровича: въ нихъ вся эпоха, съ ея свѣтлыми и темными сторонами:

Но эпоха 40-хъ и 50-хъ годовъ прошла.

Тучи промчатся, — солнце блеснетъ:

Горе не вѣчно, — радость придетъ, —

пѣлъ поэтъ. Пришло 19-е февраля, пришла и радость для людей 50-хъ годовъ. Просіяли лица, снята была траурная одежда. Филантропическіе идеалы осуществлены; нечего больше было плакать, лихорадочно бѣгать взадъ и впередъ,

нечего посылать проклятія. Вмѣстѣ съ эпохой сошелъ со сцены и Григоровичъ. Въ праздничный день, среди веселаго иира не было мѣста его плачущей музѣ. „Голосъ остался, да пѣть нечего“, сказалъ разъ про себя Тургеневъ. Эти слова могъ бы повторить про себя и Григоровичъ: ему дѣйствительно, нечего было пѣть. Въ началѣ 60-хъ годовъ онъ принялся было за составленіе книжекъ для народа, редактировалъ между прочимъ историческіе рассказы подъ заглавіемъ „Знаменитые русскіе люди изъ простолюдиновъ“, редактировалъ сборникъ пѣсень и пословицъ, но скоро оставилъ это, замолкъ; онъ погрузился въ міръ спеціально искусства, онъ сталъ жить той половиной души, о которой почти забылъ раньше.

*Мизиновъ.*

### Художественныя произведенія изъ народнаго быта въ ихъ отношеніи къ дѣйствительности.

„Рыбаки“ романъ Григоровича невольно возбуждаетъ потребность отдать отчетъ о рядѣ литературныхъ произведеній съ тѣмъ же направленіемъ, какимъ онъ отличается. Созданія, въ основаніи которыхъ лежатъ жизнь и обычаи простого народа, замѣтно расплодилось у насъ во всѣхъ формахъ, и уже начали составлять яркую и, скажемъ, утѣшительную черту современной литературы. Много новыхъ элементовъ для романа, повѣсти и комедій открыли даровитые писатели на этомъ поприщѣ; много оригинальныхъ лицъ и физіономій, принадлежащихъ исключительно русскому міру, ввели они въ дѣло, и на многіе, доселѣ еще невѣдомые источники патетическаго, страстнаго и комическаго успѣли они указать намъ. Бодрость и сила, отличающія всегда плоды свѣжей, не тронутой почвы, сообщаются и этимъ народнымъ произведеніямъ и чувствуются даже тогда, когда, отстранивъ мысленно и съ усиліемъ, разумѣется, родовую привязанность къ лицамъ, выводимымъ ими, вы стараетесь взглянуть на нихъ, какъ чужой на чужого. Чувствуется присутствіе оригинальной мысли въ этихъ изображеніяхъ новаго міра, открытаго авторами, который по самой своей замкнутости и своеобразности представляетъ вмѣстѣ со многими затрудненіями



(о чемъ будемъ сейчасъ говорить) и много выгодъ для писателя. Такъ, произведенія изъ народнаго быта всегда сжатѣе, сосредоточеннѣе, чѣмъ тѣ, которыя захватываютъ разнородные круги общества, а потому и дѣйствуютъ сильнѣе послѣднихъ на воображеніе въ минуты самаго чтенія; они не имѣютъ причинъ заниматься анализомъ тонкихъ душевныхъ ощущеній, и потому кажутся здоровыми на видъ; они, наконецъ, проще въ завязкѣ, которая не можетъ быть сложна по существу самаго дѣла, и потому кажутся особенно величавыми на первый взглядъ.

Отдавъ полную справедливость качествамъ, отличающимъ новое направленіе въ литературѣ, и всей душой желая еще большаго его развитія, мы, однакожъ, должны предостеречь публику отъ недоразумѣнія, которое легко можетъ возникнуть по поводу его. Многіе, и въ томъ числѣ, вѣроятно, нѣкоторые изъ писателей этого рода, думаютъ, что просто-народная жизнь можетъ быть введена собственно въ литературу во всей своей подробности, безъ малѣйшаго ущерба для истины, цвѣта и значенія своего. По нашему крайнему разумѣнію, это весьма важная ошибка, способная породить (и порождающая) безплодныя стремленія къ такой цѣли, которая врядъ ли можетъ быть достигнута. Литературная передача всякаго явленія имѣетъ свои неизбѣжныя правила, пріемы, манеру, которымъ долженъ подчиниться матеріалъ самый непокорный, и которые налагаютъ клеймо свое на самый гордый и самостоятельный предметъ. Что бы ни дѣлалъ авторъ для тщательнаго сохраненія истины и оригинальности въ своихъ лицахъ, онъ принужденъ наложить краску искусственности на нихъ, какъ только принялся за литературное описаніе. Желаніе сохранить рядомъ другъ подлѣ друга требованія искусства съ настоящимъ, жесткимъ ходомъ жизни, произвести эстетическій эффектъ и вмѣстѣ цѣликомъ выставить бытъ, мало подчиняющійся вообще эффекту, — желаніе это кажется намъ неисполнимымъ. Еще хуже бываетъ, когда коснется дѣло до выраженія нравственнаго достоинства, присущаго лицамъ простонародья. Здѣсь является опять литературное пониманіе его, почасту расходящееся съ простымъ, менѣе требовательнымъ пониманіемъ самаго круга. Есть, наконецъ, множество строгихъ представленій въ литературѣ, безспорно принимаемыхъ всѣми, какъ

фундаментъ, на которомъ легко, прилично и удачно могутъ быть построены завязка и интересъ разсказа. Въ извѣстной степени представленія эти не чужды никакому классу; но они никакъ не составляютъ обязанности или несчастія для простаго человѣка, и авторъ принужденъ иногда гнуть постороннее лицо подъ ними къ землѣ только силою своего произвола. Къ этому прибавить надо добрую часть книжныхъ истинъ, вмѣшивающуюся, разумѣется, невольно отъ самого автора, въ его сужденіе и сообщающую завязкѣ совсѣмъ другой цвѣтъ, чѣмъ тотъ, подъ которымъ является она невооруженному глазу человѣка. Въ этомъ перечетѣ разныхъ литературныхъ условій нельзя забыть и того, что въ арсеналѣ беллетристическаго произведенія есть всегда множество поясненій, развязокъ и окончательныхъ соображеній, готовыхъ къ услугамъ писателя, который долженъ только владѣть талантомъ правильнаго выбора; но они, случается иногда, не составляютъ ни малѣйшаго объясненія, никакой развязки дѣлу въ глазахъ человѣка, знакомаго съ нимъ настоящимъ образомъ. Такъ, истина жизни и литературная истина въ смѣшеніи своемъ отнимаютъ другъ у друга цѣлыя, иногда весьма характерныя части. Этимъ даже можно объяснить отчасти явленіе, уже замѣченное многими. Грамотный, но еще не развитой простолюдинъ, читая грубыя изображенія самого себя, не читаетъ поясненій своей жизни, дѣлаемыхъ поэзіей и литературой. Дѣйствительно, они должны многое скрыть въ его глазахъ: такъ, очертанія крыльца и забора итальянской пизы пропадаютъ въ гущѣ плюща и винограда, обвиняющихъ ихъ со всѣхъ сторонъ.

Мы весьма далеки отъ мысли обвинить всѣхъ нашихъ разсказчиковъ въ тѣхъ погрѣшностяхъ, которыя перечислены нами теперь; напротивъ, мы видимъ во всѣхъ тщательное стараніе обойти ихъ. Но это самое и доказываетъ, что онѣ дѣйствительно существуютъ, и что не всегда могутъ быть обойдены. Простонародную такъ называемую литературу никакъ нельзя сравнить съ тѣми группами разсказовъ, какіе еще недавно существовали у насъ: ни съ разсказами объ идеальныхъ художникахъ, томящихся въ дѣйствительности, ни съ свѣтскими повѣстями, гдѣ калейдоскопически противопоставлено внѣшнее изящество благородству простаго, робкаго чувства и пр. Тѣ брали преимущественно свои типы



изъ воображенія, расналенного ночной работой, просто-народные рассказы берутъ свои типы изъ жизни и, какъ мы сказали, часто даютъ имъ выраженіе глубокое и сильно затрогивающее чувство читателя. Со всѣмъ тѣмъ общій характеръ рассказовъ послѣдняго рода заключается именно въ томъ столкновеніи искусства съ выбраннымъ предметомъ, о которыхъ сейчасъ говорено было. Почти въ каждомъ рассказѣ видите вы тяжелую борьбу между литературной манерой и бытомъ, который подчиняется ей не совсѣмъ охотно. Есть напряженіе со стороны писателя и добрая цѣль изворотовъ, которыя не укрываются отъ глазъ читателя. Борьба писателя переходитъ и на чтеца его, и какое-то необъяснимое сомнѣніе идетъ объ руку съ невольнымъ увлеченіемъ отъ рассказа. По окончаніи чтенія вы побѣждены авторомъ, благодаря многимъ превосходнымъ частностямъ, столь изобилующимъ въ новыхъ произведеніяхъ, благодаря мастерскимъ описаніямъ, яркимъ освѣщеніямъ картинъ, что составляетъ неотъемлемую принадлежность этой школы, благодаря, наконецъ, чертамъ глубоко и вѣрно подмѣченнымъ въ жизни; но когда возвращаетесь вы къ основной мысли произведенія, сужденіе ваше опять двоятся. Въ душѣ вашей рождается смутное и неопредѣленное чувство. Вы знаете, что рассказъ превосходенъ: но вы спрашиваете: много ли въ немъ истины самой по себѣ, и такъ ли сказывается она въ извѣстное время и въ извѣстномъ мѣстѣ?

Довольно замѣчательно, что, сличеніемъ разныхъ произведеній одного и того же рода, вопросъ, заданный вами себѣ самому, не разрѣшается, а напротивъ, еще больше запутывается. Кто не знаетъ изъ русскихъ читателей, что въ небольшихъ рассказахъ, гдѣ дѣло собственно въ подмѣткѣ внѣшней фзіономіи простолюдина, въ описаніи обычая, привычекъ его, въ изложеніи формальныхъ его отношеній къ другимъ людямъ и, наконецъ, въ уловленіи характеристическихъ частныхъ его быта и природы, гдѣ онъ движется, школа произвела нѣсколько образцовыхъ вещей. Таковы нѣкоторые рассказы Тургенева, Писемскаго, Кокорева и многіе эпизоды самого Григоровича и пр. То же самое можно сказать и о вводныхъ лицахъ у другихъ писателей, не занимавшихся преимущественно тѣмъ отдѣломъ, о которомъ говоримъ. Вѣрность подлинному типу и истина самага

представленія бросаются вездѣ въ глаза читателя. Наслажденіе это еще увеличивается отъ разнообразія средствъ, какія употребляются писателями для выраженія типовъ, встрѣченныхъ имъ. Родъ таланта, свойственный каждому изъ авторовъ, его художественскіе способы, освѣщеніе, какое преимущественно любитъ онъ давать своимъ представленіямъ, наконецъ, уголъ зрѣнія, подъ которымъ онъ наблюдаетъ ихъ, — все это, вмѣстѣ съ живостью изображаемаго предмета, оставляетъ въ насъ вполне цѣльное впечатлѣніе. Совсѣмъ другое бываетъ, когда писатель переходитъ къ идеализаціи быта, другими словами: къ открытію мысли, движущей его, къ скрытымъ душевнымъ ощущеніямъ и къ поводамъ, опредѣляющимъ его убѣжденія, привязанности, отвращенія. Здѣсь писатель становится въ противорѣчіе почти съ каждымъ изъ своихъ читателей, имѣющимъ о томъ же предметѣ свои мысли, а также почти и съ каждымъ собратомъ своимъ по ремеслу. На этой общей почвѣ писатели, представляющіе такое множество точекъ соприкосновенія, уже не сходятся... То, что одному кажется естественнымъ выводомъ изъ всей жизни человѣка, то другому кажется искусственной прибавкой со стороны біографа; гдѣ одинъ видитъ ограниченную потребность, тамъ другой открываетъ только случайность и т. д. Метода приложенія чувствъ и мыслей, имѣющихъ уже права гражданства въ образованномъ мірѣ, къ жизни на всѣхъ концахъ общества имѣетъ и защитниковъ и противниковъ, сражающихся доводами одинаково сильными, т.-е. произведеніями, въ которыхъ искусно развито то или другое убѣжденіе. Изъ разногласія этого отдѣляется, однакоже, для наблюдательнаго глаза, одна непреложная истина. Смущенный читатель начинаетъ догадываться, что настоящее существо дѣла, слово разгадки, которое должно примирить всѣхъ, какъ древняя рѣка Алфей, бѣжитъ подъ землею, и что вмѣсто дѣла наружу бросается только литературное пониманіе его, какъ свѣжая растительность, доказывающая несомнѣнное существованіе источника. Но литературное пониманіе уже не имѣетъ достаточной очевидности, чтобы подчинить себѣ мысли, убѣжденія читателя. Будучи дѣломъ личнаго произвола, оно тѣмъ же личнымъ произволомъ и можетъ быть отстранено. Это не капиталъ, имѣющій одну установленную цѣнность, а фондъ, упадающій и возвышающійся



смотря по развитію и состоянію мысли въ обществѣ и по ея направленію. Такимъ образомъ, литературное произведеніе является намъ, какъ дерево висячихъ садовъ, поднятое на огромную высоту, выращенное на почвѣ, тщательно собранной тамъ, и, при всей пышности своей, не имѣющее того залога настоящей растительной жизни, какая свойственна дереву, самобытно поднявшемуся на родной землѣ и глубоко пустившему въ нее корни свои. *Анненковъ.*

### „Деревня“.

Въ своихъ *Воспоминаніяхъ* Д. В. Григоровичъ подробно рассказываетъ исторію новаго произведенія которое было имъ написано въ тиши деревенскаго уединенія.

„Я сознавалъ, — пишетъ онъ, — что пришелъ конецъ моимъ мытарствамъ, что пора одуматься, пора прійти въ себя, приняться за настоящую работу и доказать, что мои порывы къ литературѣ не были мимоходными капризами, но признакомъ врожденнаго призванія“...

Долго не попадалось подходящаго сюжета; но случай помогъ дѣлу: „Къ матушкѣ, — рассказываетъ писатель, — привезли больную молодую бабу. За обѣдомъ матушка рассказала ея исторію. Ее противъ воли выдали замужъ за грубаго молодого парня, котораго также приневолили взять ее въ жены; онъ возненавидѣлъ ее, чему не мало способствовали его сестры, началъ ее бить въ трезвомъ и пьяномъ видѣ и заколотилъ почти до смерти; баба была въ злѣйшей чахоткѣ и врядъ ли могла пережить весну. Она говорила, что ей легче умереть, чѣмъ жить; ее сокрушала только судьба дочки, двухлѣтней дѣвочки: онъ и ее заколотитъ на смерть, говорила она. Рассказъ этотъ произвелъ на меня сильное впечатлѣніе. Сюжетъ повѣсти былъ найденъ. Я тотчасъ же принялся его обдумывать и приводить въ повѣствовательную форму. Знакомый съ простонароднымъ русскимъ языкомъ только по рѣдкимъ книгамъ, которыя удавалось читать, я сталъ усердно его изучать практически, проводилъ время на мельницѣ, бесѣдуя съ помольцами, разговаривалъ съ нашими крестьянами, стараясь прислушаться къ складу

ихъ рѣчи, записывалъ выраженія, казавшіяся мнѣ особенно характерными и живописными... Первые главы стоили мнѣ немовѣрнаго труда. Французскій языкъ, которымъ меня питали до тринадцатилѣтняго возраста, все еще по временамъ давалъ себя чувствовать; я долго иногда путался, приписывая ту фразу, которая должна была выпукло и пластично выразить то, что хотѣлось сказать... Каждую главу передѣлывалъ я, переписывалъ по нѣскольку разъ, вымарывая, переправляя въ ней все, что чуть-чуть казалось неладнымъ...

*Изъ „Воспоминаній“ Григоровича.*

---

### Общее содержаніе повѣсти „Деревня“.

Здѣсь описана печальная жизнь крестьянской дѣвушки-сироты, много горя перпѣвшей еще въ дѣтствѣ и юности въ чужой семьѣ, а затѣмъ насильно выдаваемой замужъ, по капризу барина (который думаетъ, что оказываетъ ей благодѣяніе) за парня, которому вовсе не нравится и вся семья котораго не желаетъ этого брака. Повѣсть оканчивается смертью несчастной женщины, замученной мужемъ. Сцены, когда баринъ объявляетъ свою волю роднѣ жениха, отчаяніе невѣсты, пѣсни и пляска передъ барскими хоромами для увеселенія господъ, приходъ молодыхъ на поклонъ къ помѣщику — все это написано не особенно ярко, но было большою новостью въ литературѣ.<sup>1)</sup> Авторъ, видимо, желалъ показать, сколько горя можетъ причинить человѣкъ, даже и не злой, но плохо знающій крестьянскую жизнь и, между тѣмъ, вооруженный почти неограниченной властью надъ крестьянами свои вотчины. На Бѣлинскаго эта повѣсть произвела очень благопріятное впечатлѣніе.

*Семевскій.*

---

<sup>1)</sup> Тургеневъ въ своихъ литературныхъ воспоминаніяхъ говоритъ о повѣсти Григоровича, что „это первая попытка сближенія нашей литературы съ народной жизнью, первая изъ нашихъ деревенскихъ исторій — *Dorfgeschichten*. Написана она была языкомъ нѣсколько изысканнымъ, не безъ сентиментальности, но стремленіе къ реальному воспроизведенію крестьянскаго быта несомнѣнно“.



## Новизна содержания „Деревни“ и произведенное ею впечатлѣніе.

Въ повѣсти, сюжетомъ которой послужило дѣйствительно деревенское происшествіе, рассказывалась исторія бѣдственной жизни и смерти крестьянской сироты, выданной замужъ по приказанію барина за грубаго мужика, буяна, пьяницу и драчуна. Исторія немногосложна, но рассказана она была съ искреннимъ сочувствіемъ къ горю сиротки; въ ней было замѣтно наблюденіе надъ жизнію деревни; въ ней рельефно изображена и темнота и грубость и безправность народная. Весь рассказъ дышитъ чувствомъ грусти, общимъ печальнымъ тономъ. Но главное, необыченъ былъ выборъ сюжета для рассказа. Простонародная жизнь въ наготѣ ея, съ обыденной обстановкой, до сихъ поръ еще ни разу не была предметомъ литературнаго изображенія. Рассказъ „Деревни“ былъ первенцемъ произведеній изъ простонароднаго быта. Немудрено, что рассказъ обратилъ на себя общее вниманіе, заставивъ заинтересоваться имъ и современную критику. Это была собственно первая повѣсть, рисовавшая бытъ народный въ самой голой правдѣ и тѣмъ самымъ ближе всего подошедшая навстрѣчу зараждавшимся въ обществѣ симпатіямъ къ крестьянскому люду. Самъ Григоровичъ придавалъ, очевидно, особое значеніе новому, непривычному для тогдашнихъ читателей сюжету своего произведенія. „Хотя рассказчикъ этой повѣсти“, говоритъ онъ, „чувствуетъ неизъяснимое наслажденіе говорить о просвѣщенныхъ, образованныхъ и принадлежащихъ къ высшему классу людей; хотя онъ вполне убѣжденъ, что самъ читатель несравненно болѣе интересуется ими, нежели грубыми, грязными и вдобавокъ еще глупыми мужиками и бабами, однако онъ перейдетъ скорѣе къ послѣднимъ, какъ лицамъ, составляющимъ, увы! главный предметъ его повѣствованія“. Успѣхъ деревни сблизилъ автора ея съ такими лицами, какъ Даль (Казакъ Луганскій), авторомъ многочисленныхъ маленькихъ этнографическихъ рассказовъ изъ народнаго быта, и съ Сахоровымъ, авторомъ двухтомныхъ „Сказаній русскаго народа“. Знакомство съ такими писателями, осо-

бенно съ Далемъ, обогатили Григоровича знаніемъ народнаго языка.

*Изъ „Филологическія Записки“ за 1900 и 1902 г.*

---

### Антонъ Горемыка.

Антонъ-Горемыка — одна изъ лучшихъ русскихъ повѣстей, справедливо доставившихъ автору извѣстность, основана на очень интересномъ мотивѣ — опытъ крестьянъ забытой бариномъ деревни, разоренныхъ въ конецъ управляющимъ, послать отъ имени всѣхъ жалобу, на послѣдняго, барину. Результатъ этой жалобы, писанной единственнымъ зажиточнымъ работающимъ мужикомъ Антономъ, — сдача женатаго брата послѣдняго въ солдаты, разореніе Антона и, наконецъ, отправленіе въ острогъ его самого. Первое, на что здѣсь должно быть обращено вниманіе — это готовность Антона послужить общему дѣлу и страданія, претерпѣнныя имъ однимъ за всѣхъ. Сблизъ нѣсколько мелодраматически конецъ (Антонъ попадаетъ въ лѣсъ къ разбойнику брату и подозрѣвается въ ограбленіи вмѣстѣ съ нимъ кунца; личность старухи Архаровны). авторъ тѣмъ не менѣе искусно проводитъ постепенное развитіе въ честномъ человѣкѣ отчаянія и, наконецъ, доводитъ Антона почти до готовности даже на преступленіе. Жаль только, что причина гоненія Антона со стороны управляющаго выясняется только во второй половинѣ повѣсти. Но тѣмъ не менѣе интересъ возбужденъ съ самаго ея начала. Такъ первыя двѣ главы знакомятъ съ бѣдственнымъ положеніемъ страдальца, несмотря на всю свою бѣдность дѣлящагося послѣднимъ кускомъ съ побитой рушкой и воспитывающаго дѣтей брата, къ которымъ Антонъ относится такъ тепло (сцены въ лѣсу съ племянникомъ, возвращеніе домой, встрѣча съ племянницей, ласки къ дѣтямъ въ избѣ). Требованіе управляющимъ подушныхъ заставляетъ Антона отправиться въ городъ на ярмарку продавать свою единственную лошадь, кормилицу-Пѣгашку; но ее крадутъ на постояломъ дворѣ, и бѣднякъ попадаетъ въ разбойничій притонъ къ брату Ермолаю. Послѣдняя глава — отправленіе Антона вмѣстѣ съ разбойниками въ острогъ — полна



высокаго потрясающаго драматизма, еще болѣе усиливающагося контрастомъ двухъ братьевъ, изъ коихъ Антонъ остается все тѣмъ же, только окончательно уже убитымъ, пассивнымъ страдальцемъ, какимъ является и во всей повѣсти. Кромѣ героя, на которомъ сосредоточивается интересъ, слѣдуетъ еще обратить вниманіе на изображеніе самого народа. Подавленный нуждой, онъ или ходитъ пришибленный, какъ Антонъ, или пьянствуетъ, или крадетъ и мошенничаетъ, какъ рыжій мужикъ на постояломъ дворѣ; или же, думая только о себѣ, грабитъ своего же ближняго, какъ мельникъ Аксентій. Тупой на соображеніе, дѣйствующій только подъ вліяніемъ минуты, этотъ народъ, хотя и увлекается подчасъ участіемъ къ судьбѣ товарища, какъ это было съ постояльцами въ городѣ, когда украли Антонову лошадь; но переходъ внутреннихъ движеній въ немъ внезапенъ и быстръ: добро идетъ рядъ объ рядъ съ лихомъ, и часто одно вѣнчается другимъ почти мгновенно. Стоитъ плуту дворнику сказать рѣшительно нѣсколько словъ, и толпа вполне соглашается съ ихъ справедливостью, помогаетъ бѣдняку глупыми совѣтами, и, сprovадивъ его, уже начинаетъ заподозрѣвать въ мошенничествѣ и самого Антона; стоитъ подошедшему фабричному изъ одной съ Антономъ деревни рассказать о причинѣ его бѣдственнаго положенія, причинѣ вражды къ нему управляющаго, участіе уже опять на сторонѣ горемыки. Не ищите въ этомъ народѣ никакой выдержки: стадное чувство и постоянное памятованіе о томъ, что „своя шкура дороже“, — вотъ что движетъ имъ, вотъ почему и не удастся жалоба барину. Закричалъ на мужика управляющій. „Кто, говоритъ, писалъ на меня жалобу? Мы оплошали, сробѣли; ну, а какъ видимъ, дѣло то больно плохо подступило, не сдобровать, доконаетъ, всѣ въ одинъ голосъ Антона и назвали“. (Разсказъ фабричнаго.) Плохо также геремыкѣ рассчитывать и на народное участіе, сочувствіе къ какому бы то ни было, хоть самому ужасному, горю. Смѣхъ старика надъ бѣгущимъ за лошадью ополоумѣвшимъ Антономъ, равнодушіе кузнеца Вавилы, набивающаго колодки на Антона, праздное любопытство этой толпы взрослыхъ дѣтей къ колодкамъ: — Эки штуки!... Занятно больно. А что, дядя Вавило, я, чай, куда тяжелы станутъ. Гдѣ ты ихъ срубилъ, дядя Вавило? — эти черствыя слова

про челоуѣка, принявшаго на одного себя отвѣтъ за цѣлый міръ — „Подѣломъ ему, мошеннику... подѣломъ... что вы его, братцы, разбойника, жалѣете?!“ — все это такія черты грубости и безчеловѣчія, на которыя слѣдуетъ обратить вниманіе юноши для того, чтобы онъ, любя народъ, понималъ, какія живутъ въ этомъ народѣ, рядомъ съ прекраснѣйшими качествами, страшные пороки, глубоко вкоренившіеся въ народные нравы.

*Острогорскій.*

### Отношеніе публики и критики къ „Антону Горемыкѣ“, при первомъ ея появленіи въ печати.

Несчастія, постигшія Антона, его трагическая участь, изображены Григоровичемъ мастерски. Повѣсть и до настоящаго времени производитъ впечатлѣніе, когда народный бытъ, съ его неустройствомъ и неурядицами, значительно исчерпанъ уже многими талантливыми писателями.

Тогда же Антонъ Горемыка произвелъ прямо потрясающее впечатлѣніе. Предъ читателями повѣсти стоялъ краснорѣчивый фактъ, выхваченный изъ жизни, доказывающій весь ужасъ положенія безправнаго мужика, въ которое онъ поставленъ рабскимъ состояніемъ. Это былъ яркій протестъ противъ крѣпостного права<sup>1)</sup>. Несоотвѣтствіе окончанія повѣсти съ ходомъ дѣйствія не уничтожило ея значенія и вліянія на общество. Она появилась въ такой моментъ, когда общество достигло степени развитія, при которой не могло считать положеніе простого народа нормально и хладнокровно къ этому относиться; когда лучшіе русскіе люди изстрадались и измучились отъ сознанія народнаго безправія и темноты; когда, однимъ словомъ, струны общественнаго сознанія слишкомъ ужъ туго были натянуты. Григоровичъ

---

<sup>1)</sup> Повѣсть исполнила тогдашнюю цензуру. Она появилась въ печати, благодаря гуманному цензору Никитенко, для спасенія повѣсти сочинившему для нея свое окончаніе. Въ первоначальномъ своемъ видѣ повѣсть кончилась тѣмъ, что крестьяне, доведенные до крайности злоупотребленіями управляющаго, поджигаютъ его домъ и бросаютъ въ огонь самого управляющаго. Никитенко пощадилъ управляющаго и заставилъ крестьянъ предъ отправленіемъ на поселеніе каяться и просить у міра прощенія. Въ теперешнемъ своемъ видѣ повѣсть имеетъ окончаніе, несоотвѣтствующее ни тому, ни другому варианту.



съ силой ударилъ по этимъ струнамъ и вызвалъ въ сердцахъ современниковъ самый горячій отзвукъ.

Съ появленіемъ „Антонъ Горемыка“ за Григоровичемъ устанавливается репутація народнаго писателя, отъ котораго ожидается многое въ будущемъ. Бѣлинскій призналъ „Антонъ Горемыку“ истинно художественнымъ произведеніемъ: „Антонъ Горемыка“, писалъ критикъ, „больше, чѣмъ повѣсть, это — романъ, въ которомъ все вѣрно основной идеѣ, все относится къ ней, завязка и развязка свободно выходятъ изъ самой сущности дѣла. Несмотря на то, что внѣшняя сторона разсказа вертится на пропажѣ мужицкой лошадепки; несмотря на то, что Антонъ мужикъ простой, вовсе не изъ бойкихъ и хитрыхъ, онъ — лицо трагическое въ полномъ значеніи этого слова. Эта повѣсть трогательная, по прочтеніи которой въ голову невольно тѣсняются мысли грустныя и важныя. Желаемъ отъ всей души, чтобы Григоровичъ продолжалъ идти по этой дорогѣ, на которой отъ его таланта можно ожидать много“.

*Изъ Филологическихъ записокъ за 1900 и 1902 и.*

### „Б о б ы л ь“.

Въ напечатанномъ въ 1848 году разсказѣ „Бобыль“ Григоровичъ рисуетъ ужасную судьбу дряхлаго старика, крѣпостного крестьянина, которому негдѣ головы приклонить. Вотъ уже девятый годъ, какъ съ него сняли тягло; онъ одинокъ, у него нѣтъ семьи, нѣтъ также земли и избенки. Онъ жилъ на хлѣбахъ у крестьянина, пока могъ еще работать, а теперь никто не хочетъ его держать; помѣщикъ же, несмотря на обязанность возлагаемую на него закономъ, не допускать до нищенства своихъ крестьянъ, и не думалъ о немъ заботиться. Горемычная его жизнь кончается тѣмъ, что онъ умираетъ въ полѣ, въ ужасную осеннюю ночь, такъ какъ даже одна болѣе сурдобольная помѣщица, занимающаяся лѣченіемъ крестьянъ, выгоняетъ его на вьюгу и непогоду изъ опасенія, что, въ случаѣ его смерти, ей не раздѣлаться съ судомъ. Этотъ разсказъ былъ хорошимъ отвѣтомъ на слова крѣпостниковъ и тѣхъ жертвъ, которыя приносятъ де помѣщики для обезпеченія пропитанія своихъ крестьянъ.

*Семевскій.*

Свѣтлыя и темныя стороны жизни крестьянина-пахаря по сочиненіямъ Григоровича: „Пахарь“, „Четыре времени года“, „Конка и Мышка“, „Свѣтлое Христово Воскресеніе“, „Мать и дочь“ и „Бобыль“.

Страсный любитель природы и тихой деревенской жизни въ всей ея простотѣ, авторъ во многихъ мѣстахъ своихъ сочиненій отдаетъ явное предпочтеніе труду земледѣльческому передъ фабричнымъ; но не потому, чтобы онъ самъ былъ врагомъ фабрикъ, способствующихъ развитію промышленности, а потому, что фабричная жизнь, при настоящемъ своемъ состояніи, не только мало способствуетъ увеличенію народнаго благосостоянія, а еще, напротивъ, народъ спаваетъ, портитъ его нравственность и часто ведетъ земледѣльца или рыбака къ конечному разоренію. Такое пристрастіе къ пахатному труду и простотѣ нравовъ породило прекрасную идиллію „Пахарь“, представляющую какъ бы эпическое развитіе *Писни пахаря* Кольцова. Встрѣтивъ въ полѣ молодого парня, Савелья — идеаль пахаря молодца, сына, вполне достойнаго своего батюшки, — авторъ освѣдомлялся объ его отцѣ, и узнаетъ, что старикъ лежитъ дома больной уже три дня. Этотъ-то древній старикъ, дѣятельный не по лѣтамъ Анисимычъ, и есть герой, къ трогательной, тихой смерти котораго привязанъ весь рассказъ. Это — типъ „трудолюбиваго, оловяго пахаря стараго вѣка“, все болѣе и болѣе выводящійся съ упадкомъ воздѣлыванія земли на счетъ фабричнаго промысла; — этотъ человекъ совершенно сжился съ своимъ полемъ съ самаго младенчества и до старости сохранилъ „необычайную кротость нрава, чистоту мыслей и благочестіе“. Нѣтъ тутъ не науки, которую замѣняетъ знаніе однѣхъ примѣтъ, нѣтъ даже корысти, стремленія къ деньгамъ; богатство пахаря — хлѣбъ: его даетъ ему вволю пива и трудъ, и старикъ готовъ подѣлиться хлѣбомъ съ каждымъ: *хлѣбъ — оло святое, — не то что деньги, деньги отъ человека, онъ ихъ выдумалъ, онъ ихъ и олаетъ; а хлѣбъ — даръ Божій*. И такъ сроднился Анисимычъ съ природой, такъ вошелъ въ свое любимое пахатное дѣло, что мало и интересуется дѣлами мірскими. Какъ особенной



милости, просилъ онъ всегда, чтобы избавили его отъ всякой почетной должности, и никогда не бывалъ ни старостой ни даже сотскимъ. Но, тѣмъ не менѣе, его высококонравственная личность почиталась въ деревнѣ такъ, что безъ старика ни обходилось ни одной сходки, ни дѣлежа, ни разбора семейныхъ распрей, и всѣ подчинялись его неллиципріятному приговору. Такъ, тихо и мирно, безъ бурь и потрясеній, за исключеніемъ отпуска одного изъ сыновей въ солдаты, протекала эта честная жизнь труда, и добрую память по себѣ оставилъ Анисимычъ и въ своихъ дѣтяхъ, и во всемъ околѣдѣ.

*Четыре времени года*, изъ жизни цѣлаго дружнаго, трудового крестьянскаго семейства, одна изъ лучшихъ вещей Григоровича. Эта идиллія, очень разнообразная по содержанію, знакомитъ читателя, едва ли, не со всѣми главнѣйшими интересами крестьянской жизни. Тутъ и пахата съ различными предположеніями объ урожаѣ, отъ котораго будетъ зависеть уплата оброка, и остатокъ денегъ, съ которымъ можно было бы женить сына, и молитва о дождѣ, и радость всей деревни, когда дождь пошелъ; жатва и жница съ больнымъ ребенкомъ, несущая мужу въ поле обѣдъ, и поэтический обрядъ наряженья снопа, когда „хлѣба снятаго уродилось волюшку“, осенній отлетъ ласточекъ и свадьба; картина деревни при первомъ морозѣ, зимнія игры ребятишекъ, отдача оброка, за которымъ еще остались деньжишки про случай, и радость семьи, получившей за свой годовой трудъ сытый покой и довольство на зиму; наконецъ, и вечеръ съ отцомъ на горячей печи, и тихая бесѣда старушки съ невесткой и дѣтьми за прялкой. Эта же повѣсть ознакомитъ и съ значеніемъ въ крестьянскомъ быту коровы, отъ продажи которой, по ходу разсказа, зависитъ свадьба сына. Сцены, какъ похваливаетъ корову старикъ-отецъ, а воркунья-жена опасается, какъ бы скотина отъ похвалы не извелась, обмахиванье коровы вербою при выгонѣ скотины въ первый разъ въ поле, ругань бабъ изъ за-коровы, торгъ ея — одинъ изъ лучшихъ въ повѣсти, точно такъ же, какъ и покупка дѣдомъ на радостяхъ говядины, черныхъ котовъ для снохи и гостинцевъ для ребятишекъ. По отрадному впечатлѣнію, оставляемому повѣстью въ читателѣ, она, едва ли, не самая идиллическая изъ всѣхъ повѣстей Григоровича; одинъ только

образъ бѣдной Дарьи, хоронящей своего единственнаго ребенка, подобно пушкинской тучѣ, наводитъ унылую тѣнь на свѣтлую картину. Тѣмъ же характеромъ индивидуальнаго изображенія семейныхъ радостей и горя всего болѣе подходитъ къ *Пахарю* повѣсть „*Кошка и мышка*“, въ которой точно также контрастомъ съ радостнымъ рожденіемъ первенца-ребенка — главнымъ фактомъ разсказа — выставлена смерть всѣхъ тропхъ дѣтей бѣдняка Андрея. Здѣсь также множество интересныхъ подробностей: возвращеніе мальчика Гришутки съ боченкомъ для водки, припасенной для крестинъ, и его отправленіе за водкой, біографія дѣдушки Савелья, семейныя радости и приготовленія къ крестинамъ, возвращеніе дѣдушки домой, неожиданная смерть и похороны новорожденнаго. Все это — сцены, полныя трогательной простоты и граціи, точно такъ же, какъ рожденіе новаго внука, заставившаго забыть всѣ прошлыя горести. Но въ этой повѣсти есть уже, кромѣ смерти перваго ребенка, и элементъ драмы. Этотъ элементъ является здѣсь въ покупкѣ Гришуткой водки въ чужомъ откупѣ, за что Савелья притягиваютъ къ суду.

Къ числу бытовыхъ народныхъ картинъ, съ тѣмъ же индивидуальнымъ семейнымъ характеромъ, относятся два небольшихъ разсказа: *Прохожій* и *Свѣтлое Христово Воскресенье*. Первый — анекдотъ о томъ, какъ бѣднякъ-крестьянинъ, Алексѣй, пустилъ къ себѣ почевать какого-то больного старика, который, въ награду за радушное гостепріимство, передъ смертью завѣщалъ ему кладъ; второй — народное повѣрье о какихъ-то таинственныхъ чумакахъ, обогатившихъ мужика посредствомъ чудесныхъ угольевъ. Въ томъ и другомъ разсказѣ изображается, собственно, не что иное, какъ избитое въ дѣтскихъ повѣстяхъ вознагражденіе добродѣтели и честной бѣдности; но не на эту случайную, даже чудесную награду должно быть обращено вниманіе читателя. Оба разсказа представляютъ деревенскіе проводы главнѣйшихъ годовыхъ праздниковъ: святокъ и почи на Свѣтлое Воскресенье, и кромѣ того, нѣсколько симпатичныхъ образовъ крестьянъ. Первый разсказъ начинается яркимъ контрастомъ. Въ страшную метель, въ Васильевъ вечеръ, бредетъ, приближаясь къ деревнѣ, одинокій прохожій, а между тѣмъ крестьяне весело готовятся къ проводамъ праздника. Цѣлый рядъ народныхъ обычаевъ: выбрасыванье хлѣбныхъ зеренъ изъ



рукава ребятишками, подборъ эгихъ зеренъ хозяйкой для будущаго урожая, ряженъе дѣвокъ и парцей, колядскія пѣсни подъ окномъ, обрядъ „смыванія лихоманки“, дающій поводъ представить типъ знахарки, гаданье дѣвицы подъ окномъ, шутки и проказы ряженой молодежи на улицѣ и вечеринка у старосты. Все это дастъ много матеріала этнографическаго, за коимъ выступаютъ рѣзко очерченныя народныя характеры, особенно, староста, старостиха, парни и бѣднякъ Алексѣй, прогнанный изъ-за суетвѣрнаго страха съ вечеринки и возвращающійся домой къ одинокой старушкѣ-матери. Эти послѣднія сцены, вмѣстѣ съ приходомъ и смертью прохожаго, написаны искусно и тепло. Тѣми же качествами отличаются въ другомъ разсказѣ (*Свѣтлое Христоново Воскресенье*) описаніе бѣдной избы хозяина-вдовца Андрея, его отношеній къ единственной четырехлѣтней дочкѣ, съ которой онъ идетъ къ заутренѣ, дорога Андрея, въ церковь по пути съ батрачкой Дарьей, сопоставленіе двухъ бѣдняковъ, сочувствующихъ горькому положенію другъ друга; далѣе очень хорошо изображеніе полной народомъ церкви передъ заутреней, торжественнаго начала ся, христосованья, грустнаго возвращенія въ избу, гдѣ нѣтъ даже горячаго угля, чтобы затеплить предъ образомъ свѣчку (суетвѣрный страхъ заставляеть сосѣдей отказать Андрею даже и въ углѣ), и, наконецъ, навазанная жадность сосѣдей, пережегшихъ угольями одежду. — Все это умѣетъ передать поэтъ такъ интересно и ярко, всѣмъ этимъ дастъ столько живаго матеріала.

Если во всѣхъ, до сихъ поръ разсмотрѣнныхъ нами, произведеніяхъ Григоровича индивидуальныя выставляются почти исключительно *свѣтлыя* стороны крестьянской жизни, радости пахаря, его добродѣтели семейныя, его прилежный, настойчивый трудъ, вознаграждающійся сытымъ довольствомъ — то въ другихъ повѣстяхъ авторъ выставляетъ картины невѣжества, порока, жестокости, грубаго эгоизма, пьянства, гуненядства и поражающей нищеты; — словомъ, не скрываетъ и тѣхъ пороковъ, которые такъ обыкновенны въ нашемъ народѣ и нерѣдко бываютъ причиною гибели и отдѣльных личностей, и цѣлыхъ семей. Здѣсь необходимо встрѣчается поэтъ и съ одной изъ главныхъ причинъ народныхъ бѣдствій — съ крѣпостнымъ правомъ, изображеннымъ у него со всею наготою потрясающей душу правды.

Страшной жертвой поразительнаго невѣжества, грубости, безчеловѣчія, является эта помѣшанная, двадцатидвухлѣтняя, высокая, блѣдная, худая, съ продолговатымъ лицомъ и необыкновенно тонкими чертами, въ безобразныхъ лохмотьяхъ, Маша, прижимающая къ груди палку, которую спеленала она тряпьемъ на подобіе грудного младенца“. (*Мать и дочь*). Что же за причина сумасшествія этой, нѣкогда первой во всемъ селѣ красавицы, хороводницы, на которую и чужіе-то люди дивовались, — этой мастерицы на всякую работу, а потомъ отличной жены и матери? А причина вотъ какая. На Святой пришелся приходскій праздникъ. Отгуляли гулянки и разошлись по избамъ спать. „Въ Машиной избѣ народу было много:“ три брата женатыхъ, окромя ея мужа. Ночью золовка Дарья, вѣроятно, какъ и всѣ прочіе, подгулявшая ради праздника, „заспала своего ребенка, однолѣтка съ Машинымъ“, на бѣду звавшася такъ же, какъ и ея сынъ, Петрушкой. „Дарья всполохнулась, да и давай кричать, что есть мочи:“ „Батюшки! Петрушка померъ!“ Машѣ и показись съ просонья, что померъ ея парнишко. Бросилась она съ полатей; съ перепугу-то зыбки не найдетъ; да и гдѣ найти? давка, тѣснота! темно, хоть глазъ выколи; она и давай метаться, какъ угорѣлая; ударилась со всего маха объ земь, мечется, кричитъ: запужалась больно съ просонья-то! Они-то, рассказываетъ старуха-мать, въ толкъ тогда и не взяли, да зачали ее бить; она еще пуще; они взяли, связали ее, да и стащили въ сѣни... И не то, чтобы изъ злобы какой: а просто народъ съ похмѣлья; къ тому же и грѣхъ такой прилучился... Ну, какъ пришли это они опосля въ сѣни, смотрятъ: Маша моя сидитъ посреда пола, сидитъ да бормочетъ не вѣсть что... никого; даже дѣтей не признаетъ... Съ той самой поры повредилась... Какъ же отнеслись къ несчастной мужъ и его родные, которые всѣ прежде не могли ею нахвалиться? Она роднымъ опротивѣла. Вѣстимо, кабы лаской да бережью брали, оно, можетъ статься, и такъ-бы прошло, отлегло-бы по-маленьку; ну, а какъ противна стала, и давай они поѣдомъ ѣсть ее... Знамо, дурость то наша крестьянская!“ Къ этимъ простодушнымъ словамъ прибавлять нечего; но какъ же отнеслась старуха къ своему несчастью: понимаетъ ли она его? пробовала ли поискать хоть доктора, свезти дочь въ городъ — въ больницу? Судя по ея разсказу,



она, отчасти, какъ будто, и понимаетъ главную причину своего горя; но, съ другой стороны, простой умъ недовольствуется причинами простыми, какъ бы очевидны онѣ ни были. Старухѣ кажется, что дочку извели, и тащится она въ глухую, суровую, ненастную осень, съ сознаваемою опасностью простудить больную, которая рветъ на себѣ послѣднюю, плохую, одежонку, верстъ за пятьдесятъ въ Беззубово: „добрые люди сказываютъ, живетъ вишь тамъ какой-то мужичокъ, — порчу, говорятъ, отводитъ всякую. Охъ, извели мою Машу, извели, родимый!“ Что же сказалъ мужичокъ, чѣмъ утѣшилъ старуху? Она возвращается такая спокойная, кроткая, утѣшенная надеждой на выздоровленіе несчастной. Мужичокъ сказалъ; „Не отъ человѣка, говорятъ, отъ Господа Бога! Тутъ, говорятъ, человѣкъ не властенъ, на то Его святая воля!“ По словамъ автора, „старушка укрѣпилась вѣрою, и теперь будетъ переносить съ святою покорностію, терпѣливо и безропотно удары Провидѣнія“. Конечно, слава Богу, если можетъ укрѣпить человѣка религія; но потрясающій результатъ невѣжества и безчеловѣчія существуетъ; и подобныхъ результатовъ въ огромной массѣ нашего народа гибель... Примѣръ такового результата представленъ въ повѣсти „Деревня“. У больной и хилой скотницы рождается дочь. Мать умираетъ въ родахъ. Какъ же относится въ сиротѣ міръ? Бабья ссора изъ-за дырявыхъ обносковъ покойницы, тутъ же, у неуспѣвшаго еще охладѣть трупа, встрѣчаетъ первый плачъ дѣвочки, по жребію доставшейся на воспитаніе новой скотницѣ, Домнѣ. А у той цѣлыхъ полдюжины своихъ дѣтей, и она тутъ же „проголосила, что жутко будетъ проклятому пострѣлу, навязавшемуся ей на шею“. И вотъ, женщина, въ сущности, вовсе не злая и не жестокая, а просто безалаберная, „нервная“, раздражительная, готовая хоть на комъ-нибудь выместить собственные домашнія неудовольствія, сварливая баба начинаетъ воспитывать дѣвочку. „Бьетъ и колотитъ она сиротку, лается на нее такъ, что хоть воешь изъ избы бѣги; усопшую мать не оставитъ даже въ покоѣ, и при каждомъ ударѣ такого наговоритъ на покойницу, чего и вовсе не было“. „За что бьешь, дурища, дѣвочку?“ спрашиваютъ воспитательницу! — „А такъ, для будущности пригодится“, отвѣчаетъ Домна, совершенно оправдывая слова автора: „страсть къ битью, подзатыльникамъ,

пинкамъ, нахлобучкамъ, затрещинамъ — не послѣдняя страсть въ простомъ человѣкѣ. II растеть несчастный ребенокъ подъ побоями, руганью и попреками, съ семи лѣтъ уже приставленный смотрѣть за гусями; — растеть среди условій, губящихъ множество ему подобныхъ, въ самыхъ раннихъ лѣтахъ дѣтства, среди грубѣйшихъ суевѣрныхъ рассказовъ глупыхъ деревенскихъ бабъ, да валькъ-побирушекъ переходящихъ, и — выходитъ изъ ребенка дѣвушка загнанная, робкая, слабосильная, заключенная въ себѣ самой, глубоко чувствующая свое горькое положеніе, сдѣлавшееся еще хуже съ возвращеніемъ домой съ фабрики мужа Домны, пьяницы и буяна. Но вотъ, пріѣхавшій изъ чужихъ краевъ баринъ захотѣлъ показать женѣ еще никогда невиданную ею крестьянскую свадьбу, и бѣдняжку выдаютъ замужъ неволею, по барскому приказу, за Григорія, а тотъ начинаетъ, вмѣстѣ съ своей родней, поѣдомъ ѣсть ни въ чемъ неповинную жену, вдобавокъ оказывающуюся слабой, болѣзненной работницей. Побой, къ которымъ поощряетъ его „сѣдой, какъ лунь, мужикъ:“ — „пѣстуй, пѣстуй ее, пускай-де знаетъ мужа: оно добро“ — въ конецъ разстраиваютъ и безъ того слабое здоровье Акулины. Намѣренно доводятъ ее до могилы мужнина родня, и Акулина умираетъ, оставивъ на произволь судьбы дочь. Мученія, претерпѣваемые Акулиной съ перваго же дня замужества, безобразія вѣчно пьянаго мужа, сцена, когда ее, полумертвую, выгоняютъ въ рубищѣ на холодъ, смерть ее, и, наконецъ, раздирающая сцена похоронъ, когда пьяный мужъ пускаетъ вскачь розвальни съ плохо сколоченнымъ гробомъ, за которымъ бѣжитъ съ крикомъ и воплемъ ребенокъ — дочь покойницы — все это такая потрясающая, голая правда, что мы даже не рѣшаемся предложить эту повѣсть для чтенія дѣтямъ, но особенно рекомендуемъ ее для назиданія народу.

То же отсутствіе всякаго состраданія къ больному, страдающему человѣку, та же грубость правовъ, равнодушіе къ несчастію ближняго рельефно выставлены въ небольшомъ прекрасномъ рассказѣ *Бобыль*. Никто изъ цѣлой толпы ввалившейся на скотный дворъ поглазѣть на разбитаго грудью восьмидесяти-лѣтняго кровельщика, притащившагося за девяносто верстъ, который, не будучи въ состояніи идти далѣе, на родину, упалъ на скотномъ дворѣ, „никто не тронулся



съ мѣста: всѣ глядѣли на него, вылуия глаза, съ какимъ-то притупленнымъ любопытствомъ“. Видятъ, что на бѣднякѣ лица нѣтъ, что онъ, того и гляди, Богу душу отдастъ, и никому изъ цѣлой деревни не приходитъ въ голову пріютить старика, помочь ему. Мало того, — его насильно ставятъ на ноги, нахлобучиваютъ на голову шанку и ведутъ вонъ изъ избы. „Опустивъ голову, бѣднякъ безмолвно притащился въ сѣни, преслѣдуемый шумною толпою, которая чуть не сшибла съ ногъ его вожаковъ, ругавшихся на всѣ бока; но, когда его вывели на улицу, когда неумолимый дождь началъ снова колотить его въ спину, когда студеные лохмотья рубашки, вздуваемые свирѣпымъ вѣтромъ, начали хлестать въ его изнуренную грудь, старикъ поднялъ голову, и помертвѣлыя уста его невнятно прошептали о пощадѣ: но яростное завываніе бури заглушало слова страдальца, и его повлекли прямо къ околицѣ“, за границу владѣній помѣщицы, гдѣ бѣднякъ къ утру и умеръ.

Но что же побуждаетъ къ такому безчеловѣчному поступку не только загрубѣлую дворню, но и добрейшую старушку помѣщицу, хотѣвшую-было и полѣчить больного и приказавшую даже положить старичку въ сумку на дорожку бѣлаго хлѣба. Да то же соображеніе, какое побудило мужика у Пушкина оттолкнуть трупъ утопленника: „Судъ наѣдетъ, отвѣчай-ка... Съ нимъ я въ вѣкъ не разберусь“... Эта боязнь суда, какъ нельзя лучше, выражается въ слѣдующихъ словахъ помѣщицы, когда она узнаетъ, что къ трупу, найденному на чужой землѣ, уже пріѣхалъ становой: „Божья Матерь! Святой Сергій угодникъ... охъ! — простонала наконецъ Марья Петровна; головка ея тряслась сильнѣе обыкновеннаго, и теплыя благодарственныя слезы текли по изсохшимъ ея щекамъ“. А за этой боязнью суда видится и другое, столь общее и нашему простолюдину, и даже образованному классу, соображеніе, высказываемое въ этомъ же рассказѣ прижибалкою: „Богъ съ нимъ! Своя рубашка въ тѣлу ближе“. Набожная помѣщица-благодѣтельница собольтзнуетъ о несчастенькомъ: сама идетъ навѣстить его на скотный дворъ, готовить ему лѣкарства; но при первой мысли о вѣроятности смерти чужого мужика, сопряженной съ хлопотами, а можетъ быть и взяткой, велитъ выгнать его на вѣрную смерть на чужой землѣ. А народъ такъ даже и не собольтзнуетъ, а про-

сто грубо выталкиваетъ старика: „что съ нимъ больно кобесниться, ведите его, и все тутъ; чего ждете? Небось хотите, чтобъ померъ, да всѣмъ бѣды накликалъ!“

*Острогорскій.*

## Художественная сторона и идея романа „Рыбаки“.

Григоровичъ создалъ романъ въ трехъ частяхъ изъ исторіи одного рыбацкаго семейства. Легко видѣть, какая тяжелая задача предстояла автору — развить въ формѣ художественнаго романа жизнь до того несложную, что первое слово каждаго лица заключаетъ въ себѣ всѣ остальные его рѣчи, и первая мысль отражаетъ ужъ цѣлый рядъ мыслей, какія будутъ приходить къ нему во все существованіе его. Однакожъ авторъ исполнилъ свое дѣло съ замѣчательнымъ искусствомъ и твердой рукой. Ни разу не отрываетесь вы отъ романа съ усталостью или недоброжелательнымъ чувствомъ, благодаря мастерскимъ очеркамъ, посредствомъ которыхъ ярко представлены глазамъ вашимъ типическія лица, въ родѣ лѣниваго старика Акима, испорченнаго и кичливаго чада сельскихъ фабрикъ Захара, вялаго, но коварнаго цѣловальника Герасима и проч. Эти ловкіе очерки, весьма похожіе на эскизы художниковъ, еще обставлены подробностями, которыя добавчиваютъ поражающую истинность и оригинальность ихъ. Дудочки Акима, которыми любитъ онъ забавлять дѣтей, притонъ Герасима, табачный кисетъ и фабричное общество Захара, гдѣ онъ играетъ роль дяди, — все это исполнено жизни и природы. Рѣдкая изъ нашихъ *tableau de genre* содержитъ столько характерныхъ подробностей, сколько ихъ собрано вокругъ каждаго лица въ романѣ. Авторъ даже не забылъ мелочей, уже дѣйствительно принадлежащихъ больше живописи, чѣмъ собственно описанію, какъ, напримѣръ, нѣкоторыя подробности въ фигурѣ молодой Дуни, моющей бѣлье на ручейкѣ, и проч. Съ инстинктомъ рисовальщика останавливается онъ также на эффектахъ, какіе имѣютъ, при извѣстномъ освѣщеніи дня или ночи, плетень, уголь избы, рука, отбрасывающая тѣнь на лицо, и проч. и проч.; да и тотъ же инстинктъ рисовальщика преобладаетъ и въ его описаніяхъ мѣстности и природы. Тутъ



гораздо болѣе живописи, т.-е. старанія подмѣтити краски и формы предметовъ, чѣмъ поэтическаго созерцанія и передачи прямыхъ впечатлѣній. Въ такомъ духѣ представлены, впрочемъ, съ несомнѣннымъ искусствомъ, картины весны, бури на Окѣ и всего театра дѣйствія, а въ описаніи ярмарки села Комарева, ночлега гуртовщиковъ подъ открытымъ небомъ, и во многихъ другихъ описаніяхъ авторъ достигъ широты изложенія и кисти, нечасто встрѣчающихся вообще въ его картинахъ. Со всѣмъ тѣмъ узелъ романическаго интереса составляютъ не эти превосходныя частности и не эти вводныя лица, а борьба стараго поколѣнія простолюдиновъ, представителями котораго являются всегда суровый рыбакъ Глѣбъ Савиновъ и всегда кроткій дѣдушка Кондратій, съ молодымъ поколѣніемъ, изображеннымъ въ лицахъ пріемыша и дѣтей Глѣба. Тутъ развивается настоящая драма, отъ столкновенія двухъ противоположныхъ настроеній, — драма, въ которой новое поколѣніе, за исключеніемъ только молодого Вани, обрисованнаго, впрочемъ, довольно слабо, пожертвовано въ правдивномъ отношеніи типамъ стараго времени. Авторъ на сторонѣ прошлаго и бывалыхъ людей. Они у него даже упорны, безпечны, гнѣвны съ достоинствомъ, между тѣмъ какъ страсти и склонности потомковъ ихъ поставлены на низшую степень, и по инстинкту, и по выраженію, и по цѣли своей. Такъ ли это въ самомъ дѣлѣ, мы не знаемъ, да, вѣроятно, и самъ авторъ, спрошенный добросовѣстно, не могъ бы отвѣчать на вопросъ съ полнымъ убѣжденіемъ. Для насъ ясно, что это только литературная мысль, имѣющая мало общаго съ настоящимъ бытомъ, но безъ которой уже не могъ бы существовать романъ. Что это мысль счастливая — безспорно; что на ней движется весь механизмъ романа, со всѣми своими колесами и поршнями — тоже безспорно; но что она обязана существованіемъ только литературной необходимости, бросается въ глаза съ перваго раза. Это не существенная черта самой жизни, а только пружина автора, безъ которой нельзя было бы поднять и самую жизнь. Такъ, впрочемъ, всегда случается, лишь только вводится въ литературу и искусство простонародный бытъ. Онъ требуетъ помощи извнѣ, мысли, взятой со стороны, для оживленія своего. Это совсѣмъ не то, когда онъ сочиняетъ про себя, какъ извѣстно. Съ минуты появленія своего въ словесности простонародный бытъ требуетъ

уже драгомана, а драгоманъ дѣлается при этомъ столь же значителенъ, какъ самъ довѣритель, и весьма часто важнѣе своего довѣрителя.

Чѣмъ ближе вглядываешься въ романъ Григоровича, тѣмъ яснѣе видишь, что литературная выдумка просачивается сквозь всѣ слои и толщи и проникаетъ почти во всѣ его представленія наравнѣ съ чертами изъ дѣйствительнаго быта. Извѣстно всякому, что романъ требуетъ строгой послѣдовательности и правильного развитія характеровъ. Для успѣха романа надобно, чтобы каждое его лицо въ каждую минуту было вѣрно самому себѣ. Такъ создавались всѣ хорошіе романы въ Европѣ, и Григоровичъ не могъ измѣнить, разумѣется, существенныхъ условій этого рода произведеній. Глѣбъ Савиновъ на каждой страницѣ романа сохраняетъ у него постоянно свою суровую, дѣльную, взыскательную фізіономію. Ни разу не расправляются добродушіемъ черты его лица, и ни разу онъ не забывается. Даже въ минуту смерти набѣгаютъ тѣ же самыя морщины на лобъ его, какія мы видѣли при первомъ съ нимъ знакомствѣ, хотя, надо сказать, описаніе смерти Глѣба Савинова и какого-то вдохновеннаго усиленнаго труда передъ нею принадлежатъ къ лучшимъ страницамъ талантливаго рассказчика. То же самое видѣли мы и въ отношеніи добродушнаго, покорнаго судьбѣ Кондратія: онъ кротокъ во всякую минуту своей жизни, всегда говоритъ одиѣ мягкія успокаивающія рѣчи, и ни одной ноты не взялъ онъ во все свое существованіе ни выше ни ниже надлежащаго. Та же система однообразнаго повторенія родовыхъ признаковъ лица, такъ сильно дѣйствующая на воображеніе читателя, прилагается и къ второстепеннымъ лицамъ романа. Между двумя сыновьями Глѣба, Петромъ и Василиемъ, установились особыя отношенія, въ которыхъ Петръ играетъ главную роль, Василій находится подъ нравственнымъ вліяніемъ старшаго брата. Когда возвращаются они черезъ нѣсколько лѣтъ опять въ отцовскій домъ и на сцену романа, Петръ снова играетъ роль руководителя, Василій снова находится подъ тлетворнымъ господствомъ его. И мы нисколько не намѣрены ставить въ вину автора этого тверженія задовъ, если смѣемъ такъ выразиться: оно принадлежитъ къ извѣстнымъ необходимымъ, безъ которыхъ авторъ романа обойтись не можетъ, какъ мастеръ — безъ своего инструмента, и которыя



способствуютъ ему для выраженія характера вышукло и для произведенія особеннаго впечатлѣнія на память читателя. Мы только спрашиваемъ: въ какомъ отношеніи необходимость эта находится къ жизни и къ истинѣ? Положительнаго отвѣта мы опять дать не можемъ, но можемъ заключить а priori, что лицо изъ простаго быта чаще всякаго другого должно срываться съ голоса и чаще переходить на другую сторону, потому что оно лишено тѣхъ искусственныхъ подпорокъ, которыя удерживаютъ человѣка весь вѣкъ на одномъ мѣстѣ и въ одномъ чувствѣ. Нѣтъ достаточныхъ причинъ, чтобы онъ подпалъ дѣйствию моральнаго столбняка, изъ котораго составляются романистами типы, наиболѣе яркіе и наиболѣе живущіе въ воспоминаніи читателя. Онъ — человѣкъ впечатлѣнія, а не принятой заранѣе мысли, которая, наконецъ, вырастается въ плоть и кости; онъ не наблюдаетъ за собой со строгостью школьнаго учителя и не ведетъ счета ошибкамъ или проступкамъ своимъ. Какъ живое лицо, онъ, разумѣется, имѣетъ опредѣленныя черты и наклонности; но состояніе общественнаго мнѣнія въ его кругѣ не такъ сурово, чтобы держать его постоянно въ одной позѣ и не позволять частыхъ отлучекъ по сторонамъ. Признаемся, все это кажется намъ очевиднымъ, и романъ Григоровича еще болѣе укрѣпляетъ въ насъ мнѣніе, что отъ передачи въ искусствѣ хода простонародной жизни можно ожидать много наслажденія, картинъ, оригинальныхъ лицъ, превосходныхъ описаній, но врядъ ли настоящаго познанія ея, какъ предмета для обсужденія и заключенія. А между тѣмъ многіе изъ писателей и весьма большое число читателей имѣютъ въ виду именно эту послѣднюю цѣль; но это все равно, что по вышинѣ египетской пирамиды судить о ростѣ людей, построившихъ ее.

Съ благодарностью къ автору оставляемъ мы его романъ, доставившій намъ много прекрасныхъ минутъ, и не упоминаемъ даже о нѣкоторой искусственности языка, которая замѣчается въ рѣчахъ его дѣйствующихъ лицъ всякій разъ, какъ они начинаютъ разсуждать. Но наружѣ это языкъ простонародья, со всѣми пріемами своими, и, однакожъ, вы чувствуете, что это языкъ не подслушанный, а сочиненный. Изрѣдка проглядываютъ въ немъ фразы, видимо придуманныя авторомъ для выраженія какой-либо отвлеченной мысли, влагаемой въ уста

простолюдина. Фраза тогда по конструкціи и виду совершенно простонародна; но въ ней видится рука автора и даже процессъ ея составленія, а въ отношеніи самого говорящаго лица она кажется скорѣе затверженною на память, чѣмъ такой, которая безъ вѣдома сорвалась съ его языка. При попыткѣ передать отвлеченныя мысли простонародья, и притомъ въ самомъ ходу дѣйствія, подобныя фразы должны являться, и разборомъ ихъ мы могли бы еще разъ подтвердить все теперь сказанное о неизбѣжномъ вмѣшательствѣ самого сочинителя въ повѣсть, рассказываемую имъ, о неизбѣжныхъ порывахъ, гдѣ авторъ долженъ иногда говорить за свои лица, какъ скрытый подъ полотномъ комедіантъ — за свои куклы. Общее превосходное впечатлѣніе цѣлаго романа Григоровича, конечно, скрываетъ эти недостатки; но они существуютъ, и въ менѣе обдуманыхъ, менѣе художественныхъ рассказахъ являются глубоко и ярко. Вмѣстѣ съ публикой, мы ждемъ отъ Григоровича новыхъ произведеній въ томъ же родѣ, и ждемъ съ живымъ участіемъ. Кромѣ прямого удовольствія, каждое изъ нихъ возбуждаетъ еще много вопросовъ и мыслей по поводу своего содержанія — свидѣтельство почти несомнѣнное, что содержаніе взято изъ вѣдръ жизни и привязано къ намъ тонкими, неразрывными нитями. *Анненковъ.*

---

## Картины русской природы и крестьянскаго быта въ романѣ „Рыбакъ“.

Любимъ ли мы, русскіе, природу? Какъ описывали эту природу наши, русскіе писатели? и чему мы удивлялись, чѣмъ мы восхищались прежде, нежели осмотрѣлись и стали восхищаться нашими полями, нашими рѣками? На эту мысль невольно навело насъ заключеніе романа Григоровича „Рыбакъ“: „Я былъ на Волгѣ въ первые годы моего дѣтства. Въ памяти моей успѣли изгладиться живописные холмы, лѣса и села, которые на протяженіи многихъ и многихъ сотенъ верстъ смотрятся въ свѣтлыя благодатныя волжскія воды. Судьба забросила меня въ другую сторону, перенесла на другую рѣку: съ тѣхъ поръ я не разлучался съ Окою. Не знаю, обдѣлила ли меня судьба, или наградила, знаю только,



что, проживъ двадцать-пять лѣтъ сряду на Окѣ, я ни разу не жаловался. Я скоро сроднился съ нею, и теперь люблю ее, какъ вторую отчизну. Не вините же меня въ пристрастіи, — въ нѣкоторыхъ случаяхъ пристрастіе извинительно, — не вините же, если берега Оки, ея окрестности и маленькія рѣчки, въ нее впадающія, кажутся мнѣ краше и живописнѣе другихъ береговъ, мѣстностей и рѣчекъ Россіи. Не стану распространяться о преимуществахъ одной рѣки передъ другою, не скажу, напримѣръ, что Ока пространнѣе Волги и тому подобное... Тутъ же сознаюсь, что необъятное, обаяющее раздолье, жизнь и кипучая одушевленная дѣятельность принадлежатъ Волгѣ. Ока же молчаливѣе, мельче и безрыбнѣе — по крайней мѣрѣ, въ нашихъ мѣстахъ. Она вполне оживляется только въ половодье. Въ остальное время года, и особенно лѣтомъ, рѣдко увидите вы на ней нескончаемые караваны расшивъ; не промелькнутъ передъ очами вашими вереницы громадныхъ судовъ и барокъ, нагруженныхъ богатствомъ цѣлаго края; рѣдко услышите вы тѣ звонкіе клики и удалыя, веселящія сердце пѣсни бурлаковъ, которыя немолчно говорятъ, раздаются на Волгѣ. Не тревожатъ также Оку колеса пароходовъ: невозмутимо гладкою скатертью стелятся ея мирныя воды. Барка цѣликомъ повторяется на ровной ея поверхности, — повторяется вмѣстѣ съ высокимъ бородатымъ рулевымъ въ круглой бараньей шапкѣ, — повторяется съ соломеннымъ шалашомъ, служащимъ работникамъ защитой отъ дождя и зноя, съ бѣлой костлявой бичевой клячей, которая, смиренно стоя на носу и пережевывая тощее сѣно, терпѣливо ждетъ своей участи. Огонекъ, зажженный ночью на баркѣ, отражается въ водѣ, какъ въ зеркалѣ. Въ знойную лѣтнюю пору Ока оживляется, по большей части, однѣми бѣлыми чайками или рыболовами, снующими, какъ угорѣлые, по всѣмъ возможнымъ направленіямъ. На песчаныхъ отмеляхъ, выдающихся иногда изъ середины рѣки, — отмеляхъ, усыянныхъ мелкими, бѣлыми, какъ сахаръ, раковинами, покрытыми кой-гдѣ широкими пахучими листьями лопуха, трещать цѣлыя полчища коростелей, чибисовъ, куликовъ, кой-гдѣ надъ ними, стоя на одной ногѣ и живописно изогнувъ шею, высится сѣрая цапля. Къ вечеру водворяется совершеннѣйшая тишина; какъ словно приостанавливается тогда даже самое теченіе: поверхность рѣки не дрогнетъ. Съ такою отчетли-

востью повіоряется въ водѣ высокій хребетъ нагорнаго берега, что нѣтъ никакой возможности опредѣлить границы между водою и землею: берегъ кажется продолженіемъ рѣки. Въ этомъ часто темномъ отраженіи начинаютъ сверкать, какъ искры, играющія рыбы, появляются круги, и долго потомъ дрожатъ серебряныя, разбѣгающіяся нити. Тихо, безъ шума, безъ погрома, отрываются тогда отъ берега легкіе челноки рыбаковъ, которые спѣшатъ забросить свои верши.

„Не знаю, какъ вамъ, мой читатель, но что до меня касается, люблю я эту торжественную тишину посреди широкаго простора водъ, замкнутаго высокимъ, величественно живописнымъ берегомъ. Въ виду природы на душу впечатлительную нисходятъ иногда минуты невообразимо благодатныя и свѣтлыя. Душа превращается какъ будто тогда въ глубокое, невозмутимо тихое, прозрачное озеро, отчетливо отражающее въ себѣ голубое небо, надъ нимъ раскинувшееся, и весь міръ, его окружающій. Достаточно уже ничтожнаго звука, чтобы докучливо потревожить сладкую задумчивость. Малѣйшій шумъ въ эти созерцательныя минуты возмущаетъ душу такъ же точно, какъ возмущается заснувшая поверхность озера отъ слабаго прикосновенія: все давнымъ-давно уже смолкло, а между тѣмъ водяной кругъ все еще дрожитъ на его ровномъ зеркалѣ... Къ тому же, тишина никогда не бываетъ безмолвна. Чуткій, счастливый слухъ всегда сумѣетъ передать душѣ таинственно робкіе, но гармоническіе напѣвы...

„Итакъ, тишина, въ которую большую часть года погружены берега Оки, придаетъ имъ въ глазахъ моихъ еще новую прелесть. Особенно пріятно любоваться высокимъ берегомъ, спускаясь въ лодкѣ внизъ по теченію отъ Серпухова до Коломны“.

„То покрытый плотной кудрявой чащей орѣшника или молодого дубняка, то спускаясь къ водѣ ярко-зелеными закругленными, какъ куполъ, холмами, то исполосованный пашнями на подобіе шахматной доски, берегъ этотъ перерѣзывается иногда пропастями, глубина которыхъ даетъ еще сильнѣе чувствовать подъемъ хребта подъ поверхностью рѣки. Виды измѣняются непрерывно: точно вы стоите на мѣстѣ, и развертываютъ передъ вами громадную панораму. Кой-гдѣ, по зеленымъ косогорамъ, то плавнымъ, то крутымъ, лѣнятся села, вьются тропинки, кажущіяся издали нѣжными полос-



ками, нарисованными тонкою, прихотливою кистью. Тамъ и сямъ бѣлѣютъ монастыри и скромныя деревенскія церкви, съ зеленѣющими кровлями и блистающими на солнцѣ крестами. Нерѣдко, между кремнистыми, отвѣсными обрывами, открываются, какъ бы для контраста, свѣтлыя улыбающіяся долины. Рѣзвые ручьи и маленькія рѣчки, въ родѣ Смедвы, мѣстами заслоненныя ветлами, живописно извиваются посреди ярко-зеленыхъ лощинъ, покрытыхъ мелкимъ березнякомъ. Иногда весь берегъ представляетъ одну сплошную, синеватую стѣну сосноваго бора, который не прерывается цѣлыя версты. На песчаныхъ прибрежныхъ отмеляхъ мелькаютъ кой-гдѣ лачужки рыбаковъ, съ прислоненными къ нимъ баграми и саками, съ раскинутымъ бреднемъ, лежащими неподалеку вершами и черными, опрокинутыми кверху, насквозь просмоленными челноками. Мѣстами берегъ, подмытый водой, осыпался весь сверху донизу и отвѣсною стѣною стоитъ надъ водой, показывая свои мѣловые, глиняные и песчаные слои, пробуравленные порками стрижей, водяныхъ ласточекъ. Въ такихъ мѣстахъ этихъ птицъ появляется обыкновенно несмѣтное множество. Надъ ними, въ неизмѣримой вышинѣ неба, вы уже непременно увидите беркута, родъ орла: распластавъ дымчатыя крылья свои, зазубренныя по краямъ, распушивъ хвостъ и издавая слабый крикъ, похожій на пискъ младенца, онъ стоитъ неподвижно въ воздухѣ или водить плавные круги, постепенно понижаясь къ добычѣ. Мѣстами берегъ удаляется, расходится амфитеатромъ и даетъ мѣсто значнымъ лугамъ, оживленнымъ одинокими столѣтними дубами, подъ тѣнью которыхъ отдыхаетъ стадо ближней деревни. Но всего не опишешь! Однимъ словомъ, великолѣпная, непрерывная, блестящая панорама, которая ждетъ еще своего поэта и живописца. Но поэты и живописцы... впрочемъ, намъ нѣтъ до этого дѣла.

„Не думайте, однакожь, что луговой берегъ не имѣлъ также прелести. Есть время въ году, когда онъ кажется еще разнообразнѣе нагорнаго берега. Время это — Петровки. Не мѣшаетъ вамъ сказать мимоходомъ, что луга эти въ общей сложности могутъ составить добрый десятокъ маленькихъ германскихъ герцогствъ; они проходятъ непрерывною лептою черезъ нѣсколько губерній, — однимъ словомъ, длина ихъ равняется длинѣ Оки. Въ ширину простираются они среднимъ числомъ верстъ на восемь, и оканчиваются тамъ, гдѣ начи-

наются лѣса и села. Ближе не селятся къ рѣкѣ, за водопольемъ. Къ іюлю пространство это представляетъ сплошное море травъ, въ которыхъ крестьянскіе ребяташки могутъ свободно прятаться, какъ въ лѣсу. Міріады душистыхъ цвѣтовъ и растеній разливаютъ въ вечернемъ воздухѣ свое благоуханіе. Въ знойный полдень, пестрое цвѣтное море какъ словно зыблется и переливается изъ края въ край, хотъ вѣтеръ не трогаетъ ни однимъ стебелькомъ. Сюда-то въ Петровки стекается народъ изъ окрестныхъ деревень и толпы косарей, которыхъ заблаговременно нанимаютъ къ этому времени жители Комарева, Горь, Болотова, Озеръ и другихъ. Въ нашемъ простонародѣ покосъ считается празднествомъ. Все является сюда въ воскресной пестротѣ своей. Если бы собрать весь кумачъ, всѣ платки, понявы, пестрыя рубашки и позументъ, которые пестрѣютъ здѣсь во время покоса, можно бы, кажется, покрыть ими пространство въ пятьдесятъ верстъ окружности. Народъ располагается кучками, артелями или даже цѣлыми вотчинами, каждая семья подлѣ своей подводы, подлѣ котелка. Три недѣли сряду проживаетъ здѣсь нѣсколько тысячъ человѣкъ. Подымитесь на нагорный берегъ, — подымитесь ночью и взгляните тогда на луга: костры замелькаютъ передъ вами, какъ звѣзды, имъ конца нѣтъ въ обѣ стороны, они пропадаютъ за горизонтомъ... Съ восходомъ солнца весь этотъ луговой берегъ представляетъ картину самаго полного, веселаго оживленія. Косари выстраиваются въ одну линію, и дружно звеня косами, начинаютъ подвигаться къ рѣкѣ, укладывая направо и налево тучные ряды травы, перемежанной съ клеверомъ, душистою галкой, кашкой, медуницей и сотнями другихъ цвѣтовъ. Такъ подвигаются они, однакожъ, цѣлыя дѣти недѣли, между тѣмъ, какъ бабы и дѣвки, слѣдуя за ними съ граблями, ворочаютъ сѣно или навиваютъ его островерхими стогами. Вотъ тогда-то полюбуйте́сь этими лугами, полюбуйте́сь въ праздникъ, когда по всему ихъ протяженію, несется одинъ общій говоръ тысячи голосовъ и одна общая пѣснь: точно весь русскій людъ собрался сюда на какое-то семейное празднество! Давно уже наступила ночь, давно зажглись костры. Ужъ заря брезжить на востокѣ, ужъ серебряный серпъ мѣсяца клонится къ горизонту и блѣднѣетъ, а пѣснь, между тѣмъ, все еще не умолкаетъ... и нѣтъ, кажется, конца этой пѣснѣ, какъ нѣтъ конца этимъ раздоль-



нымъ лугамъ. Пѣснь эту затянули еще, можетъ-быть, въ далекой губерніи, и вотъ понеслась она — понеслась дружнымъ неумолкаемымъ хоромъ и постепенно разливаясь мягкими волнами все дальше и дальше, до самой Нижегородской губерніи, а тамъ, подхваченная волжскими косарями, пойдетъ до самой Астрахани, до самаго Каспійскаго моря!... и если пѣснь эта, если видъ этихъ луговъ не порадуешь тогда вашего сердца, если душа ваша не дрогнетъ, но останется равнодушною, совѣтую вамъ пощупать тогда вашу душу; не каменная ли она... а если не каменная, то ужъ вѣрно способна только оживляться за преферансомъ и волноваться при словахъ: „пасъ, ремизъ, куплю“ и прочей дрянн...“

Прочитавъ эту прекрасную картину береговъ Оки, мы невольно спросили сами у себя: почему это простое описаніе такъ трогаетъ насъ, хотя на берегахъ Оки нѣтъ тѣхъ величественныхъ скалъ, которыя старался прославить Батюшковъ своею „Финляндією“, нѣтъ Граубиндена и Сенъ-Готарда, съ вершины которыхъ путешественники наши наслаждались „прекрасною натурою“, какъ тогда говорили.

Кто припомнитъ старинныя знаменитыя картины „натуры“, тотъ согласится, что въ нихъ играли роль или необыкновенно величественная природа, какую находимъ въ Швецаріи, Америкѣ, Индіи, или самая сладкая пастушеская жизнь, подъ предлогомъ которой описывали тихія рѣчки и свѣтлые ручейки, пурпуровый закатъ солнца и селянина, медленно возвращающагося въ скромную хижину свою. Отъ этого описанія были двухъ родовъ: грандіозныя, какъ, напримѣръ, описаніе Финляндіи Батюшкова, или сладкія, пастушескія идилическія передѣлки на всевозможный ладъ Виргилія, Теокрита, Делія. Какъ далеко отъ всѣхъ этихъ описаній до слѣдующаго, напримѣръ, всѣмъ извѣстнаго:

„Абакумъ Оыровъ! ты, братъ, что! гдѣ, въ какихъ мѣстахъ шатаешься? Запесло ли тебя на Волгу и возлюбилъ ты вольную жизнь, приставши къ бурлакамъ?... И въ самомъ дѣлѣ, гдѣ теперь Оыровъ? гуляетъ шумно и весело на хлѣбной пристани, порядившись съ купцами. Цвѣты и ленты на шляпѣ, гдѣ веселится бурлацкая ватага, прощаясь съ женами, высокими, стройными, въ монистахъ и лентахъ; хороры, пѣсни, кипитъ вся площадь, а носильщики между тѣмъ при крикахъ, браняхъ и понуканьяхъ, нацѣпляя крючкомъ

по девяти пудовъ себѣ на спину, съ шумомъ сыплютъ горохъ и пшеницу въ глубокія суда, валяютъ кули съ овсомъ и крупой, и далече виднѣются по всей площади кучи наваленныхъ въ пирамиду, какъ ядра, мѣшковъ, и громадно выглядываетъ весь хлѣбный арсеналь, пока не перегрузится весь въ глубокія суда-сурики и не понесется гусемъ вмѣстѣ съ весенними льдами безконечный флотъ. Тамъ-то вы наработаетесь бурлаки! и дружно, какъ прежде гуляли и веселились, примитесь за трудъ и потъ, таща лямку подъ одну безконечную, какъ Русь, пѣсню“.

Какое огромное разстояніе, между такимъ чисто русскимъ, живописнымъ и звучнымъ описаніемъ волжской пристани и прежними идеальными, другъ на друга похожими описаніями! И однакожъ это измѣненіе совершилось, благодаря повѣйшимъ нашимъ писателямъ. Болѣе всего способствовали къ воспроизведенію нашей русской природы романы, взятые изъ жизни деревенской и повѣсти изъ нашего простоароднаго быта. Съ того времени, какъ писатели наши измѣнили возвышенный строй своей лиры и спустились съ горныхъ вершинъ, съ тѣхъ поръ мы начали встрѣчать мало-по-малу и описаніе нашей природы. Въ неподдѣльную картину этой природы вошла и неподдѣльная картина жизни деревенской, людей, которые преимущественно живутъ среди природы. Когда въ описаніи начали играть роль не Филемонъ, а Глѣбъ Савиновъ, или дѣдушка Кондратій, не Бавкида, а тетушка Анна, тогда для насъ сдѣлались недостаточны всѣ общія мѣста: жаворожки, которые выются утромъ надъ пахаремъ, во время его работы; густая зелень листьевъ, которая даетъ прохладу въ жаркій полдень, и румяный закатъ солнца, который золотитъ воду и хижину усталого рыбака. Для русскихъ крестьянъ сдѣлалась необходима обстановка чисто русская, и такимъ образомъ, мы начали изучать свою природу только тогда, когда обратились къ жизни народной, простой. Описанія природы начали насъ занимать, потому что посреди этой природы идетъ своимъ чередомъ жизнь, которая насъ интересуется.

Такимъ образомъ, мы возвратились къ роману Григорьевича, который происходитъ на берегахъ Оки, такъ прекрасно описанной авторомъ „Рыбаковъ“. Мы начали съ конца, съ заключенія, съ описанія природы, посреди которой происходитъ романъ: обратимся теперь къ ходу дѣйствія.



Хотя романъ Григоровича и въ четырехъ частяхъ, но дѣйствіе въ немъ собственно немного. Рыбакъ, у котораго трое сыновей, беретъ къ себѣ въ домъ пріемыша. Онъ рассчитываетъ, что все-таки работникомъ въ домѣ больше, а на случай, если придется отбывать рекрутскую повинность — и рекрутъ подрастетъ къ тому времени. На другомъ берегу Оки, противъ пзбы Глѣба Савинова, живетъ еще рыбакъ, старикъ Кондратій съ молоденькой дочкой Дуней. Въ Дуню влюбляются — влюбляются сильно, страстно — сынъ рыбака Глѣба, Ваня, и пріемышъ Гриша. Дуня съ своей стороны влюбляется только въ пріемыша. А между тѣмъ, старики-рыбаки, какъ бы условясь между собою, смекаютъ, что не худо бы имъ сына своего, Ваню, женить на Дунѣ. Въ это время Ваня подслушиваетъ разговоръ пріемыша съ Дуней и узнаетъ, что эти счастливцы взаимно любятъ другъ друга. Ваня покорень своей несчастной звѣздѣ.

„Слишкомъ знакомый голосъ (Дуни) прозвучалъ въ ушахъ Вани, и вслѣдъ за тѣмъ что-то бѣлое быстро промелькнуло передъ его глазами. Въ то же время Гришка остановился противъ него и загородилъ ему дорогу. Ваня отодвинулся въ сторону и продолжалъ слѣдить за бѣлымъ пятномъ, которое исчезло въ темнотѣ.

„— Чего тебѣ надѣтъ?! удушливымъ голосомъ произнесъ Гришка, становясь снова передъ товарищемъ и такъ близко наклоняясь къ его лицу, что тотъ почувствовалъ теплоту его прерывающагося дыханія.

„Ваня слегка отслонилъ его рукою и, не повернувъ даже головы, продолжалъ смотрѣть въ ту сторону, куда скрылось бѣлое пятно.

„— Чего тебѣ надѣтъ?! яростно повторилъ Гришка, приподымая въ замѣшательствѣ кулаки и скрежеща зубами.

„Ваня повернулъ тогда къ нему лицо свое, отступилъ шагъ назадъ и сказалъ спокойнымъ голосомъ, въ которомъ замѣтно было, однакожь, легкое колебаніе:

„— Полно, братъ, чего ты бѣснуешься? Я, вѣдь, давно все знаю; тапться вамъ отъ меня нечего. Богъ съ вами, я вамъ не помѣха.

„— Какая? въ чемъ помѣха? проговорилъ Гришка сраженный, повидимому, спокойствіемъ своего противника.

„ — Перестань, братецъ! кого ты здѣсь морочишь? продолжалъ Ваня, скрестивъ на груди руки и покачивая головой. Самъ знаешь, про что говорю. Я для этого болѣе и пришелъ, хотѣлъ сказать вамъ: Господь, молъ, съ вами; я вамъ не помѣха! А насчетъ т.-е. злобы либо зависти какой, я ни на нее, ни на тебя никакой злобы не имѣю: живите только по закону, какъ Богомъ приказано...

„ — Ой ли? насмѣшливо перебилъ Гришка.

„Ваня отступилъ нѣсколько шаговъ и потупилъ голову.

„ — Господь тебѣ судья, когда такъ! сказалъ онъ твердымъ, хотя грустнымъ голосомъ.

„Затѣмъ онъ медленно повернулся къ рѣкѣ и пошелъ къ челноку“.

Но старики-отцы не знаютъ ничего о такомъ благородномъ самоотверженіи Вани, и Глѣбъ Савиновъ, выбравъ удобную минуту, беретъ съ собою Ваню и идетъ къ дѣдушкѣ Кондратію сватать сына. Старикъ радъ-радехонекъ, что дочка его идетъ въ хорошій домъ, но Дуня поблѣднѣла, а Ваня поникъ головой. Говорить своимъ отцамъ они не смѣютъ про душевныя тайны, а старики дивятся, что это дѣти ихъ не радуются такому счастью и повѣсили головы. Старики, уладивъ дѣло, между собою калякуютъ о томъ, о семъ, а больше ни о чемъ, и въ это время Глѣбъ мимоходомъ сообщаетъ Кондратію, что скоро наборъ и что Гришка, пріемышъ, пойдетъ въ солдаты. Въ то же время лицо Дуни, которая стояла у двери, покрылось зеленоватою блѣдностью и стало недвижно. Раскрывъ поблѣднѣвшія губы, вытянувъ шею, она смотрѣла сухими глазами, полными безумнаго замѣшательства, въ уголъ, гдѣ сидѣли старики. Секунду спустя, глаза ея помутнились, грудь ея поднялась, губы и ноздри задрожали. „Все существо ея (говоритъ Григоровичъ) превратилось, казалось, въ одинъ отчаянный вопль“. Дуня, однакожъ, заглушила рыданія и быстро скользнула въ дверь.

..На этотъ разъ Ваня мало ужъ заботился о томъ, что говорилъ отецъ. Онъ думалъ свою думу, — повидимому, крѣпкую, горькую думу. Сношенія Дуни съ пріемышемъ давно были ему извѣстны; отчаяніе, обнаруженное ею, ничего, слѣдовательно, не раскрыло ему новаго; какъ ни горько было ему отказаться отъ рыбаковой дочки, онъ успѣлъ, однакожъ, давно свыкнуться съ своей долей. Воля отца, рѣ-



звившагося отправить Гришку, вѣсть объ удаленіи его со всѣми послѣдствіями для рыбаковой дочки, — можетъ сѣсться, даже для пріемыша, — вотъ что возмущало душу молодого парня. Пѣтъ никакой возможности вѣрно передать внутреннія движенія челоѣка въ минуты сильной тревоги: въ эти минуты челоѣкъ, говоря относительно, перестрадаетъ и переживаетъ болѣе, чѣмъ въ цѣлые годы тихаго, невозмутимаго существованія. Скорбь парня постепенно, казалось, сосредоточивалась и уходила въ его душу. Молодое лицо его, встревоженное горемъ, мало-по-малу дѣлалось покойнѣе; но, подобно озеру, утихающему послѣ осенней бури, лицо Вани освѣщалось печальнымъ, холоднымъ свѣтомъ; молодая черта его точно закалялась подъ вліяніемъ какой-то непреклонной рѣшимости, которая съ каждой секундой все болѣе и болѣе созрѣвала въ глубинѣ души его. Такъ сильно отдался онъ подъ конецъ своимъ мыслямъ, что казалось, не замѣтилъ даже дочки рыбака, которая успѣла ужъ вернуться въ избу, стояла у двери и смотрѣла на него распухшими отъ слезъ глазами“.

Когда старики-отцы вышли изъ избы, Ваня подошелъ къ Дуни и сказалъ слѣдующія торжественныя слова:

„— Дуня, не сокрушайся... полно! не будетъ этого!!... Я... я... говорилъ вамъ (тутъ голосъ его какъ будто слегка задрожалъ)... я говорилъ вамъ: я вамъ не помѣха!.. Полно, не плачь... я ослобожу его!

„Сказавъ это, онъ провелъ пальцами по глазамъ и отвернулъ голову. Минуту спустя, Ваня выходилъ изъ лачуги“.

Когда старый рыбакъ съ сыномъ воротился домой, они нашли въ избѣ сотскаго, который пріѣхалъ повѣстить о выдачѣ рекрута. На другой день, утромъ, разсердили стараго рыбака старшіе сыновья, которые просились на заработки въ рыбацкія слободы. Въ это утро Глѣбъ Савиновъ былъ мраченъ и грозенъ, какъ туча; все въ домѣ трепетало отъ одного его взгляда. Старикъ давно собирался проучить старшихъ своихъ сыновей, которые начинали попивать и пошаливать, какъ говорилъ онъ. Случай ему представился, когда сыновья эти начали проситься въ рыбацкія слободы. Вотъ какъ описываетъ авторъ Глѣба во время размолвки съ дѣтьми.

„Глѣбъ былъ въ самомъ дѣлѣ страшенъ въ эту минуту: сѣрые, сухіе вудри его ходили на макушкѣ, какъ будто ихъ

раздувалъ вѣтеръ; зрачки его сверкали въ налитыхъ кровью бѣлкахъ; поздри и побѣлѣвшія губы судорожно вздрагивали; высокій лобъ и щеки старика были покрыты блѣдно-зелеными полосами; грудь его колыхалась изъ-подъ рубашки, какъ взволнованная рѣка, разбивающая вешній ледъ. Ступеньки крылечка затряслись подъ его тяжелыми шагами. Очутившись на дворѣ, онъ остановился, какъ бы для того, чтобы перевести дыханіе, и вдругъ быстро повернулся къ двери крыльца, торжественно приподнялъ обѣ руки и произнесъ задыхающимся голосомъ:

„ — Не будетъ вамъ, непослушники, отцовскаго моего благослов... Но тутъ онъ остановился; голосъ его какъ словно оборвался на послѣднемъ словѣ, и только сверкающіе глаза, все еще устремленные на дверь, силились, казалось, досказать то, чего не рѣшался выговорить языкъ. Онъ опустилъ сжатые кулаки, отступилъ шагъ назадъ, быстрымъ взглядомъ окинулъ дворъ, снова остановилъ глаза на двери крыльца и вдругъ вышелъ за ворота, какъ будто воздухъ тѣснаго двора мѣшалъ ему дышать свободно“.

Когда Глѣбъ вышелъ за ворота, младшій сынъ Ваня подошелъ къ отцу и объявилъ ему, что намѣренъ идти въ рекруты за пріемыша.

Выслушавъ это, Глѣбъ Савиновъ вспыхнулъ. Онъ началъ осыпать сына упреками, припоминалъ его дѣтство, грозилъ ему — ничто не помогало.

„ — Ваня! воскликнулъ старикъ, все еще не потерявшій надежды убѣдить сына: — Ваня! вспомни! тебя ли не любилъ? тебя ли не отличалъ я?... Съ измалѣтства отличалъ я тебя отъ твоихъ братьевъ! Ты былъ моимъ любимцемъ, ненагляднымъ сыномъ моимъ! Ты моя надежда! И ты хочешь покинуть меня своею охотой, — на старости лѣтъ покинуть хочешь! старуху свою, мать, покинуть хочешь!... Ваня, вспомни... или ты не знаешь?... вѣдь и братья твои насъ покидаютъ... Чѣмъ жъ, также сиротами хочешь ты стариковъ оставить?... Опомнись! Что ты дѣлаешь?... Ваня!...“

Ваня остается при своемъ, и тогда отецъ продолжаетъ:

„ — Ну, послушай... вотъ... вотъ, что я скажу тебѣ: кинемъ жребій, Ваня!... ну, такъ, хочешь для виду кинемъ!... кому выпадетъ, пуцай хоть тотъ знаетъ, по крайности, пуцай знаетъ... что ты за него пошелъ...“



Сынъ и на это не согласился. Глѣбъ закрылъ лицо руками, сдѣлалъ безнадежный жестъ и безотраднымъ взглядомъ окинулъ Оку. Увидѣвъ старуху-жену, онъ закричалъ ей, махая руками:

„— Ступай сюда! ступай, старуха.

„Старушка, ковыляя, подошла къ мужу и сыну.

„— Вотъ,—сказалъ Глѣбъ, уже разбитымъ голосомъ: — вотъ послунай его, коли сердце твое крѣпко...

„Пспуганная мать бросилась къ сыну. Тотъ опустилъ голову и молчалъ. Глѣбъ въ короткихъ, отрывистыхъ словахъ, передалъ женѣ намѣреніе Вани.

„— Батюшка! закричала старуха: — батюшка, помилуй!

„И, какъ безумная, повалилась мужу въ ноги.

„— Проси его! проговорилъ Глѣбъ, захлебываясь отъ слезъ. хотя глаза его были сухи: — его проси, старуха! заключилъ онъ, указывая на Ваню.

„— Ваня!... батюшка!... помилуй! прокричала мать, бросаясь сыну въ ноги.

„— Но Ваня не отвѣчалъ: онъ поддерживалъ только мать и рыдалъ навзрыдъ, обливая ее лицо слезами.

„Тутъ ужъ и самого старика слеза прошибла; онъ медленно подошелъ къ женѣ, положилъ ей широкую ладонь свою на голову и произнесъ прерывающимся голосомъ:

„— Терпи, старая голова, въ кости скована! При этомъ онъ провелъ ладонью по глазамъ своимъ, тряхнулъ мокрыми пальцами по воздуху и, сказавъ: „Будь воля Божія!“ пошелъ быстрыми шагами по берегу, все дальше.

Также хороша и слѣдующая затѣмъ глава: „Проводы“ сына въ дорогу. Когда Ваня ушелъ, стараго Глѣба какъ будто ничто не занимало.

„Во всю остальную часть дня, въ обѣдъ, въ ужинъ, старый рыбакъ ни разу не показался въ избѣ. Отсутствіе его замѣтила подъ конецъ и тетушка Анна. Старушка отправилась отыскивать мужа. Безпокойство еще пуще овладѣло ею, когда, обойдя клѣтушки и навѣсы, она не нашла Глѣба. Наконецъ, послѣ долгихъ розысковъ, увидѣла она его лежащаго навзничъ на грудѣ старыхъ вершей, въ самомъ темномъ, отдаленномъ углу двора. Голова стараго рыбака и верхняя часть его туловища были плотно укутаны полубубкомъ. Онъ не спалъ, однакожъ. Старушка явственно

разслышала тяжелые вздохи, сопровождаемые именами Петра, Василя и Вани. Анна вернулась къ избѣ, сѣла на крылечко и снова заплакала. Такъ провела она всю ночь. На зарѣ она снова подошла къ мужу. Глѣбъ лежалъ неподвижно на своихъ вершахъ. Глухіе, затаенные вздохи, сопровождаемые именами сыновей, по прежнему раздавались подъ полушубкомъ. Весь этотъ день прошелъ точно такъ же, какъ вчерашній: Глѣбъ не показывался въ избѣ, не пилъ, не ѣлъ и продолжалъ лежать на своихъ вершахъ. Тоска смертельная овладѣла тогда старушкой. Когда она увидѣла, что и на третій день точно такъ же не было никакой переменѣ съ мужемъ, безпокойство ея превратилось въ испугъ: и безъ того ужъ такъ пусто было въ домѣ, такъ печально глядѣли навѣсы!

Однакожъ, въ этотъ день, когда она медленно шла къ избамъ, она прямехонько наткнулась на Глѣба; Глѣбъ всталъ съ вершей.

„Мужественное лицо стараго рыбака было красно-багроваго цвѣта, какъ будто онъ только что вышелъ изъ бани, гдѣ парился черезъ мѣру. Черты его исчезали посреди опухлости, которая особенно рѣзко проступала вокругъ глазъ, оттѣняемыхъ мрачно-нависнувшими бровями. Старушка замѣтила съ удивленіемъ, что въ эти три дня мужъ ея поспѣдѣлъ совершенно.

„Горе старушки уступило на минуту мѣсто безпокойству, которое пробудила въ ней наружность мужа.

„— Батюшка! Христось съ тобою! На тебѣ, вѣдь, лица касатикъ, нѣту! воскликнула она, опуская руки: — вотъ почитай третьи сутки не пилъ, не ѣлъ ничегохонько! Что мудренаго! Ужъ не хвороба ли какая заѣла тебя? Помилуй Богъ! продолжала она, между тѣмъ, какъ мужъ мрачно глядѣлъ въ совершенно противоположную сторону: — ты бы на себя-то поглядѣлъ: весь распухъ, лицо красное, красное... должно быть, кровь добре привалила... О-охъ, ты, батюшка, до грѣха, сходилъ бы въ Сосновку — кровь кинулъ... все бы маленько поотлегло... сходи-ка съ Богомъ... право-ну!

„Глѣбъ провелъ ладонью по лицу, разгладилъ морщины и повернулъ голову къ женѣ.

„— Вотъ что, старуха, — произнесъ онъ твердымъ голосомъ и, повидимому, не обращая вниманія на предшество-



важныя слова жены: — поuche въ Комаревѣ ярмарка. Схожу — не навернется ли работникъ: безъ него пельзя. Погоревали, поплакали довольно, пора и за дѣло приниматься. Остаешься теперь одна въ дому: пособить некому... не до слезъ теперь. Одна за все, про все... Поплакала, погоревала, ну и довольно“.

Эти сцены прощанья, проводовъ и гореванья оставшихся стариковъ принадлежатъ, по нашему мнѣнію, къ лучшимъ страницамъ, какія когда-либо написалъ Григоровичъ. Глѣбъ на этотъ разъ покинулъ свою излишнюю твердость, и его просьбы къ любимому сыну остаться дома, или, по крайней мѣрѣ, впнууть жребій кому идти въ рекруты; его трехдневное лежанье на версахъ послѣ проводовъ сына — есть верхъ правды, подмѣченной Григоровичемъ. Слезы навертываются на глаза, когда читаешь эти прекрасныя, съ неподдѣльнымъ чувствомъ написанныя страницы.

Прощаньемъ этимъ въ началѣ третьей части, собственно кончается романъ. Приемышъ женится на Душѣ; и когда старикъ Глѣбъ умираетъ, Гришка знакомится съ фабричными, которые его спавляютъ и научаютъ всему дурному. Онъ проматываетъ состояніе, нажитое долгими трудами Глѣба, начинаетъ воровать и однажды попадаетъ въ кражѣ. Уходя отъ сыщиковъ, онъ бросается въ Оку и тонетъ. Дуня съ маленькимъ ребенкомъ остается сиротой. Черезъ пятнадцать лѣтъ на родину возвращается какой-то безсрочно-отпускной солдатъ и отыскиваетъ Дуню. Это — рыбакъ Ваня, выслужившій свой срокъ.

Вотъ общій ходъ романа, его завязка и развязка. Она дала поводъ къ двумъ-тремъ прекрасно написаннымъ сценамъ, которыя мы привели выше. Все остальное въ романѣ посвящено описанію жизни рыбаковъ, жизни фабричной, а отчасти крестьянской, гдѣ мы также встрѣтили много прекрасныхъ страницъ, написанныхъ съ чувствомъ.

Любуясь нашими земледѣльческими деревнями, гдѣ найдете „вы ту простую, безхитростную жизнь, тотъ здравый житейскій смыслъ, который заключается въ безусловной покорности и полномъ примиреніи съ скромной долей, опредѣленной Провидѣніемъ“, авторъ сравниваетъ съ ними фабричныя деревни, въ которыхъ почти нѣтъ семейной жизни, и гдѣ нравы утрачиваютъ свою простоту. Сравненіе это само собою сдѣлано

авторомъ въ пользу земледѣльческихъ деревень, въ которыхъ „семейная жизнь служитъ залогомъ истиннаго счастья“.

Это такъ, но Захаръ, — олицетворенная фабричная дѣятельность, со всѣми ея недостатками, не совсѣмъ удался автору и гораздо лучше онъ выражаетъ мысль автора, нежели представляетъ живое лицо. Это не ложное лицо, это какой-то агрегатъ всего дурного, въ контрастъ Глѣбу Савинову, въ которомъ очень много хорошаго, особенно много домовитости. Какъ всякое лицо, въ которое хотятъ вмѣстить слишкомъ широкую идею, отзывается больше книгою, нежели жизнью, такъ и Захаръ, часто говоритъ и дѣйствуетъ, какъ старинный зломысль. Дядюшка Акимъ, которому авторъ не далъ никакого особеннаго назначенія и призванія, кромѣ, развѣ, исключительнаго права дѣлать скворечницы, вышелъ полнѣе, хотя онъ и самое ничтожное лицо въ романѣ.

Точно такъ же можно сдѣлать автору еще нѣсколько замѣчаній, которыя, не уменьшая собственно художественнаго достоинства романа, поражаютъ какъ-то непріятно при чтеніи, какъ промахи, на которые авторъ не обратилъ вниманія отъ поспѣшной работы.

Но совсѣмъ тѣмъ мы отдаемъ полную справедливость такимъ поэтическимъ описаніямъ, какъ мы привели въ началѣ этой статьи; отдаемъ справедливость Григоровичу за то, что онъ избранный имъ въ романѣ міръ описываетъ съ любовью, хотя этотъ міръ не нуждался бы въ идеализаціи для того, чтобы быть интереснымъ для каждаго образованнаго человека. Мы хотимъ, чтобы изображаемый бытъ былъ жизнью дѣйствительно существующею, а не мерцалъ въ воображеніи автора. Отъ этого мы нашли, что Глѣбъ Савиновъ безъ надобности суровъ и какъ-то фальшиво величавъ, безпрестанно потирая свой высокій лобъ широкою ладонью. Это не значить, чтобы весь характеръ Глѣба Савинова мы находили фальшивымъ — нѣтъ; въ немъ нѣсколько переложено красокъ при исполненіи, а задуманъ онъ совершенно вѣрно. Домовитость, строгость, упрямство характера, скуповатость для пользы своего же дома — все это черты такія общія и всѣмъ знакомыя, что противъ нихъ и говорить нечего.

*Изъ „Отеч. Записокъ“ 1853.*



## Общее содержаніе и характеристика дѣйствующихъ лицъ въ „Переселенцахъ“.

Доброе, очень милое и образованное семейство помѣщика Бѣлицына, промотавшись немного въ столицѣ, пріѣхало къ себѣ въ деревню. Ни помѣщикъ ни помѣщица не знаютъ хорошенько сельской жизни, но, отчасти тронутые безконечнымъ радушіемъ и довѣрчивостью своихъ крестьянъ, отчасти смутно сознавая свои обязанности въ отношеніи къ нимъ, они съ горячностью принимаются за улучшеніе ихъ быта. Главнѣйшимъ образомъ вниманіе ихъ обращено на самое бѣдное и печальное семейство въ цѣлой деревнѣ — на семейство мужика Лапши. Бѣлицынъ, добрякъ, отъ румянаго и добродушнаго лица котораго не хочется оторваться, начинаетъ суетиться, дѣлать различные хозяйственные проекты, но цѣлымъ днямъ не выпускаетъ изъ своего дѣловаго кабинета управителя Герасима, но, какъ слѣдуетъ ожидать, все у него выходитъ незрѣло, суетливо, онъ кидается на первую попавшуюся ему на глаза частность и упускаетъ изъ виду главное. Жена его пока тоже мало знаетъ толку въ хозяйствѣ, но съ самоотверженіемъ вступаетъ въ разговоры съ коровницею; даже французенка-гувернантка, увлеченная общимъ потокомъ, даритъ свои ботинки крестьянской дѣвушкѣ, въ полномъ убѣжденіи, что это для нея очень приличная обувь. Крошечная Мерп, дочка помѣщицы, раскрываетъ красивенькую бонбоньерку съ конфетами и очень наивно и нежеманно предлагаетъ ихъ запачканнымъ ребятишкамъ мужика Лапши, которые не выпускаютъ изъ рукъ юбки матери и, при такомъ неожиданномъ предложеніи, стремительно и съ испугомъ укрываются за отцовскую спину.

Словомъ, и помѣщикъ, и молоденькая свѣтская помѣщица, и гувернантка, и маленькая Мерп — рѣшительно въ восхищеніи, что пріѣхали въ деревню.

Въ одну изъ самыхъ горячихъ минутъ проектированія по части хозяйственныхъ преобразованій, Бѣлицыну пришла мысль о саратовскомъ лугѣ, который около десяти лѣтъ не приносилъ ему рѣшительно никакихъ доходовъ, и которымъ завладѣла мелко-помѣстная саратовская помѣщица. Планъ его расширился: его восхитила мысль о переселеніи на са-

ратовскій лугъ семейства Лапши, объ устройствѣ тамъ колодезя, мазанки, о собраніи доходовъ съ гуртовщиковъ, и т. д. Позвали Лапшу и его жену Катерину, которые, натерпѣвшись всевозможныхъ непріятностей и наговоровъ въ родной деревнѣ, очень охотно согласились на такое переселеніе. Тотчасъ выданы имъ деньги на дорогу, написано объяснительное письмо госпожѣ Ивановой, самовольно завладѣвшей лугомъ Бѣлицыныхъ, и переселенцы, напутствуемые искренними благословеніями добрыхъ помѣщиковъ, завистью сосѣдокъ и сосѣдовъ мужиковъ, тронулись въ путь, въ Саратовскую губернію.

Тутъ семейство помѣщика, снова отправившееся въ Петербургъ, отходитъ на задній планъ романа, и авторъ сосредоточиваетъ все свое вниманіе на переселенцахъ.

Вотъ виѣшній узелъ романа. Читатель скоро забываетъ о Бѣлицыныхъ и весь погружается въ радости и огорченія, въ труды, заботу и тревогу простой обыденной жизни семейства Лапши. Авторъ такъ обстоятельно, толково и художественно вмѣстѣ рисуетъ эту сельскую жизнь, что читатель сочувствуетъ ей, живетъ вмѣстѣ съ переселенцами и, увлеченный интересомъ разнообразныхъ картинъ, дружно и незамѣтно идетъ объ руку съ этими простыми героями до послѣдней страницы романа.

Излагать во всей подробности сюжетъ „Переселенцевъ“ считаемъ лишнимъ. Мы обратимъ вниманіе только на главное: на характеры дѣйствующихъ лицъ, на сцены, замѣчательныя въ томъ или другомъ отношеніи, на торжество, удачу и неудачу автора. Это будетъ интереснѣе и, главное, болѣе относится къ сущности нашего дѣла.

Характеры, рельефнѣе другихъ выдающіеся въ романѣ: переселенецъ Лапша, жена его Катерина и нищій Фуфаевъ, не говоря уже о нѣкоторыхъ эпизодическихъ лицахъ слегка, но мастерски очерченныхъ.

Лапша отчасти сродни дядѣ Акиму, въ „Рыбакахъ“, но совершенно въ другомъ родѣ. Онъ преоригинальное лицо: деревенскій трутень, такъ же какъ и Акимъ, но трусливый и робкій, ничего не дѣлающій, вѣчно охающій и ахающій, желающій показать, но совершенно безуспѣшно, что онъ дескать, хоть и одержимъ тяжкими болѣзнями, но что онъ голова всего, а баба его Катерина не болѣе не менѣе, какъ



пустынная и вздорная баба. А ужъ какъ трусливъ и что за размазня-человѣкъ этотъ Лапша. При первой маленькой неудачѣ, онъ теряется до основанія, безнадежно заваливается на печку, стонетъ такъ жалостливо и томно, что вчужѣ дѣлается жаль человѣка. „Эхъ — подумаешь — убили совершенно обстоятельства бѣднаго горемыку!“ Ничего не бывало: Лапшѣ до обстоятельствъ и дѣла пѣтъ, онъ всѣ заботы взваливаетъ на жену, ему и нуждушки пѣтъ, какъ бы по-собить стѣснительному положенію своего семейства, онъ бряхтитъ себѣ да стонетъ, стонетъ да бряхтитъ, словно этимъ облегчаетъ домашнее горе, словно бряхтеньемъ поправляетъ растроенныя обстоятельства. И какія непріятности встрѣчаются съ этимъ запечнымъ страдальцемъ: отправится онъ изъ избы въ ригу, чтобъ всхрапнуть маленько подъ предлогомъ болѣзни. Чтожъ, кажется, хорошо задумано, но и тутъ постигаютъ его удары судьбы. Украдкой, тишкомъ и ползкомъ, въ ригу является родной его братъ, бродяга Филиппъ, много напакостившій въ деревнѣ и давно бѣжавшій, — онъ начинаетъ давить и стращать Лапшу, угрожаетъ ему поджогомъ — краснымъ пѣтухомъ — и требуетъ денегъ. Лапша жалокъ въ эту минуту, а отъявленный воръ и мошенникъ Филиппъ такъ ловко и самостоятельно обращается съ нимъ, что тотчасъ видно, что Лапша боится его до смерти, что Филиппъ не въ первый разъ дѣлаетъ подобное посѣщеніе.

Лапша до такой степени разслабленъ нравственно и физически, такъ жалокъ, что встрѣтившись, однажды, съ мужикомъ Карпомъ и кузнецомъ Пантелеемъ, онъ совершенно раскисъ и растерялся. Причина-то была растеряться: онъ былъ долженъ Карпу, потребовавшему у него возвращеніе долга; но дѣло въ томъ, что когда и кузнецъ и Карпъ начали его бранить, называть мошенникомъ и укорять братомъ Филиппомъ, съ которымъ онъ будто бы дѣйствуетъ за-одно, — Лапша скорчилъ жалкую мину и безнадежно распласталъ руки, такъ что даже маленькій сынншка его не выдержалъ и своимъ дѣтскимъ голосомъ закричалъ:

— Ахъ нѣтъ, не мошенникъ! не мошенникъ! подхватилъ мальчикъ, выставляя впередъ кудрявую свою голову.

— Ты что, щенокъ? — заговорилъ кузнецъ.

— Ахъ нѣтъ, не щенокъ!.. Сами ребяга твои щенки... а дядя Василій не мошенникъ! — сказалъ мальчикъ.

— Молчи! пришибу!

— Не смѣешь! — сказалъ мальчикъ съ такимъ смѣлымъ видомъ; какого отецъ во всю жизнь свою не посмѣлъ выказать".

Вообще лицо Лапши представлено Григоровичемъ мастерски. Несмотря на свою оригинальность, лицо это очень естественно: любая деревня имѣетъ своего Лапшу.

Другой, еще болѣе замѣчательный типъ въ „Переселенцахъ" — типъ истинно — дѣловой русской крестьянки — представленъ въ лицѣ Катерины, жены Лапши. Съ перваго разу она непріятно обдастъ васъ своимъ холоднымъ видомъ; вы думаете, что непрерывныя копотливныя заботы и обязанности матери многочисленной семьи сдѣлали ее только сухой, недоверчивой и заботливой хозяйкой. Но, познакомившись съ нею ближе, вы тотчасъ увидите, что ваше предположеніе ошибочно: она добра, не криклива и не заносчива, какъ большая часть дѣловыхъ женщинъ, никогда не попрекаетъ своего лѣнтяя мужа, знаетъ какъ нельзя лучше настоящую ему цѣну, но не даетъ чувствовать ему на каждомъ шагѣ своего превосходства. Она бьется, несчастная, какъ рыба объ ледъ, все дѣлаетъ, обо всѣхъ заботится и не жалуется сосѣдкамъ на свои заботы и домашніе недостатки, жалѣетъ и щадитъ возмугительнаго лѣнивца Лапшу, горячо и крѣпко любитъ свое семейство. Это прекрасное лицо, энергическое, простое, не сознающее вполнѣ своего достоинства, характерное и мягкое — одно изъ знаменитыхъ лицъ Григоровича, которымъ онъ можетъ смѣло гордиться. Попытки создать подобное лицо встрѣчались у многихъ писателей проstonароднаго быта, они были отчасти и у самого Григоровича въ прежнихъ его произведеніяхъ, но всѣ эти попытки оставались только попытками. Дѣло въ томъ, что подобное лицо всегда выходило точно выколоченное изъ стали, накаленной до красна, всѣ другія стороны были приколочены и забиты слишкомъ усерднымъ художественнымъ золоткомъ, такъ что подобное лицо, вмѣсто истинной характеристики, обыкновенно торчало какимъ-то напряженнымъ литературнымъ коломъ. Между тѣмъ, посмотрите, какіе естественные переливы въ энергическомъ характерѣ Катерины: какъ она слаба, безразсудна во время пропажи своего Петруши, похищеннаго нищими, какъ она, практическая жен-



щина. рыдаетъ и кружится вокругъ кустовъ, какъ будто ея двѣнадцатилѣтній Петруша крошечная безсловесная щенка, которую легко можно было припрятать подъ кусты. Посмотрите, какъ эта Катерина, стѣсненная обстоятельствами, въ своей лачужкѣ — мазанкѣ, караулить саратовскій лугъ, безнадежно поджидая гуртовщиковъ со стадами; какъ она, въ тоже время, безъ усталости приспѣшиваетъ дюжины полторы заплатъ въ коротайкѣ, которую, отдалъ починить ей, за ничтожное вознагражденіе, одинъ изъ мужичковъ сосѣдней деревушки. Лохмотья, предназначенныя для заплатъ и лохмотья самой коротайки, лежатъ на ея колѣняхъ; съ правой руки ея, на старомъ тулупчикѣ, валяется послѣдній ея маленькій ребенокъ; слѣва, между моткомъ нитокъ и ножницами, виднѣется ломоть хлѣба, къ которому время отъ времени, прибѣгаетъ она. Три старшихъ ея мальчугана шумно и весело кричатъ, прыгая съ ломтемъ хлѣба въ рукахъ и поглядывая на волчка, который виляетъ своимъ хвостомъ и устремляетъ какой-то страстно — нетерпѣливый взглядъ на каждаго мальчугана, когда который-нибудь изъ нихъ подноситъ хлѣбъ къ губамъ. Уперевъ угловатые локти въ востлявыя колѣни; положивъ голову между ладолями, Лапша глядитъ съ видомъ тоски и изнеможенія въ степь, которая разстилается передъ его глазами... О чемъ думаетъ Лапша — этого онъ вѣрно и самъ не можетъ растолковать; но все равно, каковъ бы ни былъ ходъ его мыслей, онѣ поминутно прерываются тяжелымъ башлемъ. Опять новая забота для бѣдной женщины; хотя мужъ не былъ для нея надежнымъ помощникомъ, но она ясно видитъ, что это не то, когда Лапша, бывало, притворно покашливалъ себѣ днемъ, а ночью спалъ какъ убитый, — нѣтъ, теперь онъ дѣйствительно, подался замѣтно, и хворость его прибавляетъ ей лишнюю заботу. А заботъ-то у ней, неудачъ и безъ того много...

Отношенія Катерины къ семейству и мужу описованы удивительно: она щадитъ этого несчастнаго трутня, несмотря на то, что онъ былъ причиною потери бѣднаго Петруши, любимаго ея сына. И какъ отличался при этомъ Лапша, какъ онъ сразу провалился, желая сдѣлать практическое дѣло!.. Вотъ какъ это было: однажды вечеромъ постучались нищіе; Катерина подала имъ корку хлѣба, но они стали

проситься позволить имъ переночевать, предлагая за это по копейки съ человѣка:

„ — Гдѣ тутъ съ вами возиться! самимъ тѣсно! — сердито возразила Катерина.

Лапша дернулъ жену за рукавъ и отвелъ ее въ сторону.

— Вотъ вѣдь ты какая! — шепнулъ онъ тономъ упрека и какъ бы подразнивая ее: — *сама ругаешься, говоришь: такой я, сякой, а сама что дѣлаешь?..* Все черезъ тебя выходить... Четыре копейки даютъ — не пущаешь... Завтра бы деньги-то Карпу отдалъ... А все я во всемъ виноватъ... То-то же вотъ и есть! — добавилъ онъ съ выраженіемъ, которое ясно показывало, что онъ вѣрилъ въ дѣльность своихъ словъ. Катерина только плюнула и пошла убирать со стола. Но Лапша не обратилъ на это вниманія. Чтобъ окончательно доказать женѣ несправедливость ея обвиненій и показать себя передъ нею дѣловымъ заботливымъ хозяиномъ, онъ направился къ окну и началъ даже торговаться съ нищими; но такъ какъ ему не уступали, и въ сущности его не столько занимала прибыль, сколько появленіе новыхъ лицъ, бесѣда съ ними и сладкая перспектива высказать имъ несправедливыя гоненія судьбы и людей, онъ тотчасъ же согласился на все, т.-е. на четыре копейки“.

Этотъ нелѣпый человѣкъ, желая сдѣлать практическое дѣло, тайкомъ отъ жены отдаетъ нищимъ своего сына въ вожаки за тринадцать рублей, полагая, что это дастъ ему возможность расплатиться съ долгами. Но нищіе разомъ смекнули съ кѣмъ имѣютъ дѣло, надули его какъ пошлаго дурака, прибили и, не заплативши ни копейки, увели парнишку. Какъ жалокъ и печаленъ въ эту минуту Лапша, напесній въ простотѣ сердечной самой страшный ударъ для своего семейства!..

Какъ читатель, проникнутый интересомъ повѣствованія, сердится на эту тощую фигуру, примиряется съ ними ради его немощи и нравственного безсилія, но порою съ негодованіемъ отворачивается отъ этого бездарнаго мужика...

Честь и слава Григоровичу, что онъ умѣлъ совладать съ такими трудными типами, какъ Лапша и въ особенности Катерина. Признаемся, что во всѣхъ нашихъ произведеніяхъ изъ проstonароднаго быта — лица, подобнаго Катеринѣ, мы не встрѣчали. Это лицо — истинное торжество таланта Григоровича.



Что же касается до нищаго Фуфаева, принадлежащаго тоже къ крупнымъ лицамъ въ романѣ, то онъ очень удался нашему автору. Надо замѣтить, что эти нищіе въ числѣ главныхъ дѣйствующихъ лицъ романа, такъ какъ съ бродяжническою ихъ судьбою связывается судьба Петруши, сына переселенцевъ. Они чрезвычайно какъ разнообразятъ романъ, и, самыми простыми и весьма естественными своими похождениями, способствуютъ его интересу и оживленію. Нищихъ этихъ три: Верстанъ, багровый, дюжій старикъ, широкоплечій, которому, кажется, не составитъ большого труда хоть цѣлаго жеребенка взвалить къ себѣ на плечи. Онъ по деревнямъ и на ярмаркахъ прикидывается слѣпымъ, поетъ густымъ басомъ, вообще же онъ сильно плутоватый человѣкъ, способный на все тяжкое. Другой нищій называется дядя Мизгирь, слабый мямлящій старикашка, трусливый и жадный, который бережно и съ замѣтной нѣжностью обходится съ своею лѣвою ногою, гдѣ у него, за лаптемъ, хранятся скопленные деньги. Третій нищій слѣпой и слѣпой въ буквальномъ смыслѣ, потому что первые два только прикидываются слѣпцами, — называется Фуфаевъ. Этотъ слѣпецъ преинтересная особа: онъ необыкновенно веселъ, болтливъ, насмѣшливъ и, несмотря на грязную и трудную жизнь бездомнаго скитальца, въ немъ еще уцѣлѣло кой-что человѣческое. Какъ ловко онъ подсмѣивается надъ жадностью дяди Мизгирия, какъ умѣетъ кстати и добродушно кольнуть угрюмаго Верстана, какой великій мастеръ заводить новыя знакомства, подружиться со всякимъ. Хорошо выпить и хорошо уснуть. Съ живымъ и съ необыкновенно подвижнымъ умомъ, онъ неистощимъ на ловкія прибаутки. Онъ скоморохъ въ душѣ, но ласковъ съ своимъ маленькимъ вожакомъ, умѣетъ подсластить и свое и чужое горе и сжился съ своею жизнью, какъ рыба съ водою. А ужъ какой мастеръ этотъ веселый слѣпецъ на пѣсни, — онъ такъ нестерпимо трещитъ своимъ козлинымъ голосомъ, такъ раскатисто и съ увлеченіемъ разливается на ярмаркахъ, что хоть кого оглушить. Смотришь-затянулъ:

„Жилъ себѣ сла-а-вень богатъ человѣкъ,  
Пилъ, ѣлъ сладко, кормилъ хорошо.“

И тутъ же подхватить:

„Лежитъ Лазарь, ле-жить весь изра-а-нень,  
Съ убожествомъ, съ немочью.“

А въ степи, за околицей, смотришь — хватить и веселенькую:

„Какъ на дружкѣ-то кафтанъ  
Гармишелсый;  
Какъ на дружкѣ-то штаны  
Черны-бархатны;  
Какъ на дружкѣ-то чулки  
Бѣлы-шелковые;  
Есть смазные сапоги,  
Красна оторочъ;  
Есть и шляпа со перомъ  
И перчатка съ серебромъ“.

Вообще хорошее и вѣрное лицо нищій Фуфаевъ; характерно и рельефно вылилось оно у Григоровича. Этотъ жалкій слѣпецъ безпечень, добродушно золь на языкъ, болтливъ и хитеръ въ разговорѣ, но далеко не хитеръ на дѣлѣ. Конечно, ни одинъ изъ его товарищей — нищихъ не въ состояніи, сдѣлать такого ловкаго и проникательнаго соображенія, какъ онъ, но дѣло въ томъ, что онъ плохо воспользуется этимъ, да и лѣнь возьметъ къ тому же свое.

Къ сожалѣнію, подробно распространяться о лицахъ романа Григоровича мы не можемъ. Скажемъ только, что сцены, съ нищими прекрасны. Они нисколько не уступаютъ самымъ интереснымъ сценамъ изъ жита-бытя переселенцевъ и возбуждаютъ одинаковое вниманіе. Къ числу не слабыхъ, но болѣе блѣдныхъ сценъ мы относимъ послѣднія заключительныя страницы: Бѣлицыны дорисованы какъ то наскоро. Они производятъ впечатлѣніе торопливаго и неполнаго финала, придѣланнаго къ прекрасной вступительной увертюрѣ и къ самому отчетливому выполненію всего остальнаго. Этотъ финалъ естественъ въ основаніи, но слѣдовало выполнить его гораздо послѣдовательнѣе. Финальная нота важна потому, что она существенная частица основной идеи всего цѣлаго.

Въ заключеніе скажемъ нѣсколько словъ о другихъ лицахъ. Въ „Переселенцахъ“ нѣкоторыя второстепенныя и даже третъестепенныя лица схвачены такъ ловко и бойко, что получаютъ самую цѣльную фізіономію. Такова, наприкладъ, молодцоватая мелкопомѣстная помѣщица Анисья Петровна Иванова, которая своимъ бѣлымъ коленкоровымъ чепцомъ, плотно окутывающимъ ее голову, издали, ни-дать-ни-



взять, напоминаетъ сѣдую голову стараго, гладко остриженного солдата. Когда она брала за хохоль своего покойнаго супруга, то покойникъ въ этихъ случаяхъ только прижимался къ стѣнѣ и на всякое новое потряхиваніе супруги приговаривалъ: „А зачѣмъ шла за сердитаго? а зачѣмъ шла за сердитаго?“ По этой бабы-грозы боялся не одинъ только ея покойникъ: по наружности греческая Бобелина, а по внутреннимъ свойствамъ настоящая русская мелкопомѣстная вдова, она не давала никому потачки. Эта баба, — лицо впрочемъ, не новое въ нашей литературѣ — въ сердцахъ обыкновенно пѣнилась и плескалась, какъ раскупоренная бутылка съ шипучкой. Надо было видѣть, какъ она взбѣсилась на Катерину, когда послѣдняя, послѣ дальняго путешествія, явилась къ ней переговорить на счетъ саратовскаго луга. А въ сущности, эта баба — гроза вовсе не злая и всѣми силами хлопочетъ выдать замужъ свою сироту-племянницу. Недурны также становой Соломонъ Степановичъ и писарь становаго, расхаживающій по ярмаркѣ и страдающій зубною болью, которую проклиналъ не столько самъ писарь, сколько мужики, собравшіеся къ торгу. Гуртовщикъ Карякинъ, востроглазая деревенская запѣвалка, вся состоящая изъ суеты и безпокойства; Пьяшка, дѣвица Тютеева, нѣсколькими чертами охарактеризованная весьма удачно. Маленькими, мелочными событіями и лицами никогда пренебрегать не слѣдуетъ; Григоровичъ это доказалъ, какъ нельзя лучше, многими сценами и лицами въ „Переселенцахъ“. Ни въ одномъ изъ его прежнихъ романовъ не встрѣчалось столько ловкихъ и мѣткихъ сравненій, такой обильной и разнообразной наблюдательности, какъ въ „Переселенцахъ“.

*Изъ „Библіотеки для чтенія“ за 1857 г.*

## Природа въ произведеніяхъ Григоровича.

Самый сюжетъ романа „Рыбаки“ очень не сложенъ; но сколько здѣсь прекрасныхъ картинъ природы! Всѣ четыре времени года, поскольку они отражаются въ явленіяхъ природы, находятъ здѣсь свое изображеніе; мы встрѣчаемъ

въ романѣ описаніе весны, лѣта, осени и зимы. Предъ нами проходятъ картины: наступленія весны и весенней оттепели („Рыбаки“, гл. I): весенняго водополя (гл. XII и XIII): картина весенняго дня вообще (XVII гл.), картина весенняго дня на рѣкѣ (XIV гл.), картина лѣтняго вечера (гл. IX), ненастнаго дня къ концу осени (гл. VII), картина наступленія зимы (VIII гл.) и т. д. и т. д. Масса такихъ художественныхъ описаній и въ другомъ большомъ романѣ Григоровича: „Переселенцы“. Здѣсь мы встрѣчаемъ блестящія описанія: грозы (ч. III, гл. IV), жаркаго лѣтняго полдня (ч. III, гл. II), лѣтняго утра (ч. III, гл. VII), яснаго осенняго вечера (ч. V, гл. III), звѣздной осенней ночи (ч. V, гл. VI) и др. Мелкіе рассказы Григоровича также переполнены описаніями природы высокой художественной силы. Можно сказать, что природа средней полосы Россіи въ произведеніяхъ Григоровича изображена въ высшей степени художественно. Въ этомъ изображеніи чувствуется любящая природу душа, способная понимать и цѣнить ея красоты. Замѣчательно, что въ изображеніи природы Григоровичъ не истощимъ, и его описанія и картины отличаются большимъ разнообразіемъ, особенно, если мы примемъ во вниманіе, что районъ наблюденій автора очень не широкъ. Авторъ какъ бы открываетъ все новыя и новыя красоты въ природѣ.

Особенное пристрастіе къ изображенію картинъ природы и умѣнье изобразить любую изъ нихъ, представить ее со всѣми деталями, не упустить изъ вниманія ни одной черты и всему дать надлежащій тонъ и мѣсто, несомнѣнно находится въ связи съ тѣмъ обстоятельствомъ, что Григоровичъ былъ художникомъ по своему образованію и наклонностямъ. Его описанія и представляютъ изъ себя дѣйствительныя картины природы, которыя ничего не стоитъ художнику перенести цѣликомъ на полотно. Вотъ примѣръ подобнаго рода описаній изъ его первой новѣсти: „Деревня“, посвященной изображенію народнаго быта.

„Предъ нею (предъ дѣвочкой Акулей) широко стлался зеленый лугъ; медленно и плавно расхаживали по немъ бѣлые, какъ снѣгъ, гуси; селезни и пестрыя утки, подвернувъ голову подъ сизое крылышко, лежали тамъ и сямъ неподвижными группами. Далѣе сверкала рѣка со своими обрывистыми берегами, обросшими лопухомъ и кустарни-



ками, изъ которыхъ мѣстами выбивались длинныя сухіе стебли дикаго щавеля и торчали фіолетовыя верхушки колючаго репейника. За рѣкою видѣлось черное, взбороненное поле; далѣе, вправо, мѣстность подымалась горою. По главнымъ ея отлогостямъ, изрѣзаннымъ промоинами и проточинами, разрастался постепенно все выше и выше сосновый лѣсокъ; мѣстами рыжее высохшее дерево, вырванное съ корнемъ весеннею водою, перекидывалось всякимъ мостомъ. Влѣво тянулось пространное болото, камышъ, кочки, и черныя кустарники покрывали его на всемъ протяженіи“ и т. д.<sup>1)</sup>

По этому образцу можно судить вообще о манерѣ Григоровича въ изображеніи картинъ природы, хорошихъ и слабыхъ сторонахъ его художественныхъ описаній. Предъ читателемъ развертывается ландшафтъ, описанный со всею добросовѣстностью внимательнаго наблюдателя. Это въ полномъ смыслѣ картина съ натуры, даже, вѣрнѣе сказать, фотографія: такъ и чувствуется, что авторъ скопировалъ эту картину съ натуры, во всей ея непркосновенности. Автора за нарисованной картиной читателю не видно; это описаніе въ высшей степени объективное. Объективность характерная черта отношенія автора къ изображаемой природѣ. Въ результатѣ такого отношенія являются блестящія картины природы, но, такъ сказать, — не преломленныя въ субъективномъ, внутреннемъ я писателя и потому не дающія читателю настроенія: такія описанія могутъ удивлять своею правдою, соотвѣтствіемъ дѣйствительности, но мало задѣваютъ чувство читателя. Подобное изображеніе картинъ природы приближается къ перечисленію деталей къ тщательному перечню отдѣльныхъ явленій и подробностей. Отъ нихъ отзывается холодомъ, потому что за ними не чувствуется страдающей или наслаждающейся жизнью человѣческой личности, которая переноситъ на природу свои настроенія, надѣляетъ ее человѣческими свойствами и, одухотворивши ее, дѣлаетъ участницей своей собственной жизни. Такія объективныя описанія природы, какія мы видимъ у Григоровича, производятъ бѣльшее впечатлѣніе, взятые отдѣльно, помѣщенные въ хрестоматіяхъ; но въ цѣль-

<sup>1)</sup> Т. 1, 93—94 стр.

номъ произведеніи они стоятъ особнякомъ, они органически не связаны съ ходомъ дѣйствія, съ развертывающеюся въ произведеніи человѣческой жизнью и потому, несмотря на всю ихъ художественность, могутъ служить помѣхой читателю, слѣдующему за развитіемъ дѣйствія въ романѣ; они затагиваютъ это развитіе, не находя ни въ чемъ достаточнаго оправданія себѣ, кромѣ склонности автора къ ихъ изображенію. Таково большинство описаній картинъ природы автора.

Но встрѣчаются и у него страницы, гдѣ онъ какъ бы оставляетъ свою обычную манеру и одушевляетъ нарисованныя картины образами, взятыми изъ человѣческой жизни, сближаетъ жизнь природы съ жизнью человѣка и заставляетъ природу сочувствовать послѣднему. Получаются сильныя изображенія природы, уже тѣсно связанныя съ развивающеюся предъ читателемъ человѣческою жизнью и вмѣстѣ создающія настроеніе въ читателѣ.

Такова, напримѣръ, картина поздней осени и наступленія зимы въ VIII гл. романа: „Рыбаки“. „Уныло воетъ вѣтеръ въ дождливую, холодную осень. Прислушайтесь: слышите, съ какимъ суетливымъ безпокойствомъ шаритъ онъ вокругъ cadaго кусточка и стебля, какъ будто отыскивая тамъ что-то забытое или утраченное. Онъ заглядываетъ въ каждое дупло, въ каждую скважину; подымаетъ каждый поблекшій листокъ, каждую травку и, какъ путникъ, вернувшійся на родину, который, вмѣсто уютнаго крова, находитъ всюду одну глухую пустыню, мчится далѣе къ темному лѣсу, неся на плечахъ своихъ гряды сизыхъ тучъ — нажитое богатство! Но помертвѣлый лѣсъ, окутанный туманнымъ своимъ савапомъ, не встрѣчаетъ уже его ласковою рѣчью, не киваетъ ему привѣтливо курчавой головою. Отчаянный ревъ вѣтра смѣняется тогда тоскливымъ плачемъ и ропотомъ. Сѣрыя тучи нависли и нахмурились. Поля, лощины и лѣса окропились прощальною слезою. И вотъ снова, какъ бы негодуя на свою слабость, вѣтеръ однимъ махомъ подобралъ сизыя тучи, бросился къ опушкѣ и, взметнувшись вихремъ, помчался далѣе, увлекая на пути мокрые желтыя листья. Этотъ унылый вой, неотвязчиво надрывающій сердце; ненастье и слякоть, его сопровождающія, прискучили даже поселянину, привыкшему ко всякимъ невгодамъ. Но вотъ



пришла, наконецъ, и „зимняя Матрена“, поднялась зима на ноги; прилетѣли морозы съ „железныхъ горъ“. Рѣка стала. Рѣзко зазвучали колеса на колкой, мерзлой дорогѣ; захрустѣли въ колесахъ ледяныя иглы, весело блеснули на солнцѣ длинныя ледяныя сосульки, облѣпившія бахромою окна и кровли избушекъ. Выпалъ первый снѣгъ. Шумною толпой выбѣгаютъ рабятишки на побѣлѣвшую улицу; въ волоковыя окна выглядываютъ сморщенные лица бабушекъ; крестясь или радостно похлопывая рукавицами, показываются изъ-за скрипучихъ воротъ отцы и старыя дѣды, такіе же почти бѣлые, какъ самый снѣгъ, который продолжаетъ валить пушистыми хлопьями. Наступила пора всеобщаго отдыха. Работы рѣшены: ужъ обмолотились. Съ трудомъ вызовешь теперь мужичка изъ теплой избы, окутанной соломой, перертой жердями и полузанесенной снѣгомъ. Развѣ приведется съѣздить въ сосѣдній лѣсъ за валежникомъ, или нужда велитъ идти съ обозомъ. И снова спѣшитъ онъ въ теплую избу свою. Котко летятъ его пустыя санишки по буграмъ и раскатамъ, нетерпѣливо взглядываетъ онъ изъ-подъ рогожи въ снѣжную даль... „Прочь съ дороги!“ Тамъ, сквозь сумерки, уже мелькаетъ огонекъ, привѣтливо подымается витая струя дыма надъ трубнымъ горшочкомъ. Чаще и чаще онъ покрикиваетъ на клячу; но кляча сама уже почуяла стойло и во всю скачь помчалась съ косогора.

Сладко вѣдь отдохнуть и порасправить кости послѣ тяжкаго страднаго лѣта и многозаботной осени<sup>1)</sup>...

Такого же характера изображеніе природы въ началѣ XVII-й главы романа: „Рыбаки“... „Тусклый, сѣренькій день. Сводъ неба какъ будто опустился, прилегъ въ раздумьи надъ молчаливой землею. Если бъ не теплота воздуха, не запахъ молодой, только что распустившейся зелени, можно бы было подумать, что весна неожиданно смѣнилась осенью. Въ началѣ весны часто встрѣчаются такіе дни. Они похожи на задумчивое прекрасное лицо молодой дѣвушки. Вся природа вдругъ стихнетъ — стихнетъ, какъ рѣзвый ребенокъ, выпущенный на волю, который, не надѣясь на свои силы и не въ мѣру отдавшись шумному крикливому веселью, падаетъ вдругъ, утомленный, на траву

---

1) Т. V, стр. 166—167.

и сладко засыпаетъ... Въ такіе дни вы звука не услышите. Все живущее какъ будто сдерживаетъ дыханіе, готовится къ чему-то, снова собирается съ силами къ шумному празднеству лѣта. Стада безмолствуютъ, какъ бы опьяненные крѣпкимъ куреніемъ распускающихся растеній, которые, за недостаткомъ солнечныхъ лучей, стелются надъ землею: животныя припали къ злачной травѣ, опустили головы или лѣниво бродятъ по окрестности. Птицы сопливо дремлютъ на вѣткахъ, проникнутыхъ свѣжимъ, молодымъ сокомъ; насекомыя притаились подъ древесною корою или забились въ тѣсныя пласты моху, похожіе, въ безконечно-уменьшенномъ видѣ, на непроходимые сосновые лѣса; муха не прожужжитъ въ воздухѣ; самъ воздухъ боится, кажется, нарушить торжественную тишину и не трогаеть ни однимъ стебелькомъ, не подымаетъ даже легкаго пуха, оставленнаго на лугахъ молодыми, только что вылупившимися гусенятами" и т. д.<sup>1)</sup>). Къ сожалѣнію, подобныя описанія природы у Григоровича очень рѣдки; общій же колоритъ его описаній холодно-безстрастный, пунктуально-объективный. Несмотря на это, описанія природы въ его произведеніяхъ, по справедливости, признаются классическими въ нашей литературѣ: наблюдательность автора и чутье вѣстаго художника выручаютъ ихъ недостатокъ.

Щукинъ.

## Григоровичъ и Тургеневъ.

И Тургеневъ и Григоровичъ изображаютъ крестьянскую, и, отчасти, помѣщичью жизнь; и у того и другого цѣлая вереница разнообразныхъ типовъ, множество описаній русской природы, деревенскихъ пейзажей, избъ и т. д.; у того и другого самое теплое отношеніе къ народу, его скорбямъ и печалямъ, ѣдкая насмѣшка и осужденіе тѣхъ, кто заставлялъ народъ страдать; у обонхъ, наконецъ есть извѣстная художественная мѣра въ изображеніи грязи, почему ими обонми никогда не оскорбляется нравственное чувство читателя. Но на этомъ и кончается сходство. Тургеневъ въ *Запискахъ охотника* ограничивается маленькими очерками

<sup>1)</sup> Т. V., стр. 258—259.



типа, и обыкновенно изображаетъ его только въ извѣстный моментъ своей съ нимъ встрѣчи; изъ прежней жизни лица приводится иногда нѣсколько рѣзкихъ чертъ, — и только. Пошелъ охотникъ далѣе — и вотъ уже встрѣтилось новое лицо, другое, третье: снова чудный, полный глубокаго смысла, эскизъ, надъ которымъ читатель взрослый, образованный, задумается и удовлетворится вполне: но юноша и простолюдинъ могутъ, хотя и поразиться имъ, но также скоро и забыть его за другими яркими изображеніями совершенно иныхъ типовъ. Мало того, *Записки охотника* — вещи слишкомъ глубокія, тонкія, слишкомъ серіозныя, именно въ самой своей простотѣ, не очень-то легко поддающія уразумѣнію и полной оцѣнкѣ ума, не привыкшаго къ анализу. Онѣ требуютъ опытнаго руководителя, который сумѣлъ бы разъяснить ихъ, обратить вниманіе дѣтей, и особенно народа, привыкшаго къ нелѣпымъ сказкамъ, къ кудрявому вымыслу, на ту или другую, неподдавшуюся анализу, черту, объяснить смыслъ изображаемаго явленія, почему въ самостоятельномъ чтеніи, особенно въ первый разъ, для неопытнаго читателя Тургеневъ — писатель очень не легкій. Самая сжатость его рассказовъ, дѣлающая ихъ такими художественными, требуетъ извѣстной зрѣлости мысли. Григоровичъ, напротивъ, никогда не ограничивается очерками. Взявъ извѣстное лицо, или семейство, онъ подробно, даже иногда слишкомъ подробно, рассказываетъ цѣлую его исторію, начиная съ дѣтства, съ образованія семейства, до самой смерти лица, до разложенія семьи (*Рыбаки, Переселенцы, Пахарь*). Въ этомъ случаѣ онъ напоминаетъ обстоятельностью своихъ описаній Диккенса, котораго напоминаетъ также драматичностью рассказовъ, любовью къ яркимъ, потрясающимъ, эффектамъ (напр. послѣднія сцены въ *Антонъ-Горемыкъ*, кража быка, ночь на Окѣ, въ *Рыбакахъ*; покража нищими мальчика въ *Переселенцахъ* и мн. др.), а также великолѣпными изображеніями дѣтскихъ характеровъ и обиліемъ трогательныхъ семейныхъ сценъ. Подобно Диккенсу же, Григоровичъ мастеръ заинтересовать читателя интригою рассказа, который онъ ведетъ мастерски, несмотря на всю его сложность и разнообразіе лицъ и событій, такъ что невольно приковываетъ къ себѣ вниманіе читателя. И это-то мастерство, разнообразіе и драматичность рассказа, нерѣдко потрясаю-

щая до глубины души (напр. прощаніе переселенцевъ съ родиною, смерть Глѣба и прощаніе съ Ваней въ *Рыбакахъ*, пропажа Антоновой лошади, смерть Бобыля), это-то подробное изложеніе повѣсти, какъ отдѣльнаго случая изъ жизни, или цѣлыя художественныя біографіи лицъ и семей въ соединеніи съ большей, такъ сказать, доступностью изложенія для массъ, чѣмъ у строгаго, скупого на подробности, великаго портретиста Тургенева, дѣлаетъ Григоровича особенно цѣннымъ именно въ смыслѣ воспитательно-образовательнаго значенія для дѣтей и народа. Но эта же любовь къ подробностямъ, къ обстоятельности разсказа, не говоря уже о множествѣ иногда довольно блѣдныхъ описаній природы и мѣстностей (въ „Смедовской долины“, напримѣръ, пѣтъ шестнадцать страницъ приходится на разсказъ едва только семь; въ *Пахарь* на одни описанія и лирику до четырнадцати страницъ), приводитъ автора къ растянутости и даже совершенно лишнимъ разговорамъ и сценамъ. (Напр. въ *Рыбакахъ*: цѣлая глава XI *Прохожіе* или въ XV и XIX черзчуръ подробные разговоры стариковъ, многія подробности въ *Переселенцахъ* и др.). Это необходимо имѣть въ виду воспитателю и чтецу для народа: очень многое у Григоровича слѣдуетъ просто опускать, связывая читаемое краткой устной передачей опущеннаго, насколько это нужно для пониманія хода дѣла. Григоровичъ и разнообразіе, почему, пожалуй, и полезіе, въ смыслѣ знакомства съ большимъ количествомъ жизненныхъ фактовъ, чѣмъ Тургеневъ. Послѣдній — спеціалистъ собственно крѣпостного права съ точки зрѣнія его губительнаго вліянія и на крестьянъ и на господъ, почему и крестьяне и господа являются у него, очень естественно, чаще всего со стороны отрицательной. Не забывая, какъ мы видѣли, человѣческихъ симпатичныхъ сторонъ даже тамъ, гдѣ можно было бы, кажется, заглухнуть, загибнуть, все человѣческое, Тургеневъ, по-преимуществу, рисуетъ картины скорби, горя, страданій, конечно, въ прямой зависимости отъ этого же крѣпостного права, — и въ этомъ огромная не только художественная, но и гражданская заслуга поэта. Григоровичъ, собственно, этою цѣлью не задается, хотя и въ этомъ смыслѣ у него есть вещи потрясающія (*Антонъ-Горемыка*, *Переселенцы*, *Бобыль*); онъ просто любитъ вообще народъ и хочетъ, чтобы послѣдній узнали и



полюбили читатели; чтобы оживилась и взволновалась его рассказами душа тѣхъ, кто не окаменѣлъ еще до такой степени, чтобы „оживляться только за преферансомъ и волноваться при словахъ: „пасъ“, „ремизъ“, „куплю“ и прочей дрянн“... У Григоровича вы знакомитесь и съ рыбацкимъ промысломъ, и съ фабричною жизнью, и съ ярмарками, и съ народными праздниками, и съ жизнью нищихъ, и съ бытомъ шарманщиковъ и акробатовъ, — такъ что этнографическій матеріалъ у Григоровича несравненно богаче, чѣмъ у Тургенева, почему и самая жизнь простонародья обнимается читателемъ несравненно полнѣе. При этомъ авторъ, хотя и изображаетъ множество личностей страдающихъ, уродливыхъ, надломленныхъ, порочныхъ, но эти люди страдают и уродуются не только изъ-за помѣщика или управляющаго, но и изъ-за другихъ соціальныхъ причинъ (семейный деспотизмъ, невѣжество, растлѣвающая жизнь на фабрикахъ, пьянство, взглядъ на женщину, лѣность, узкій эгоизмъ съ равнодушіемъ къ бѣдѣ ближняго, недостатокъ разумной дѣятельности для натуръ широкихъ). Но, рядомъ съ потрясающей правдой народныхъ бѣдствій и страданій, рядомъ съ личностями — отребьемъ общества, авторъ любитъ изображать и простое, тихое счастье и радости простолюдина, личности непреклонной силы и настойчивости, честнаго, тяжелаго упорнаго труда, на которомъ только и можетъ основаться благосостояніе (Пахарь, Глѣбъ и Кондратій въ *Рыбакахъ*, Савелій въ повѣсти *Кошка и мышка* и друг.):— сцены въ родѣ семейнаго вечера, благодарственной молитвы за трудъ, крестинъ, свадьбы — у него однѣ изъ лучшихъ, и образы матерей, женъ, дочерей, отцовъ, дѣдовъ, — словомъ, типы семейные, поражаютъ своею трогательною простотою, полной величайшей силы любви, а иногда даже и тонкой деликатности и нѣжности. Здѣсь кстати коснуться одного, весьма важнаго, упрека, который не разъ ему дѣлала ему критика, — будто рассказы его страдают сентиментальностію и излишней идеализаціей простонародной жизни, что, впрочемъ, объясняется временемъ, въ которое нужно было возбуждать особенное сочувствіе къ народу. Вотъ что говоритъ по этому поводу самъ авторъ въ послѣдней страницѣ одного изъ лучшихъ своихъ произведеній „Рыбаки“: „Не стану утруждать читателя описаніемъ этой сцены (свиданіе Вани

съ Дуней и дѣдушкой Кондратіемъ). И безъ того уже найдется много людей, которые обвиняютъ меня въ излишней сентиментальности, излишнихъ, ни къ чему не ведущихъ, изліяніяхъ, обвиняютъ въ неестественности и стремленіи къ идеаламъ, изъ которыхъ всегда не вѣсть что выходитъ... и проч. Доскажу въ нѣсколькихъ словахъ исторію моихъ сермяжныхъ героевъ. Дѣйствительно, если сравнить Григоровича съ многими писателями, такъ называемой, *натуральной* школы, думавшими, что, изображая одну грязь жизни во всей ея отвратительности, они идутъ по стопамъ великаго Гоголя, или даже—съ нѣкоторыми писателями другими, у которыхъ, кромѣ ругани, да народной дурости, почти ничего и нѣтъ, то произведенія этого, уже давно почти замолкшаго, литературнаго дѣятеля могутъ показаться человѣку, мало знакомому съ нашимъ простонародьемъ, особенно удаленнымъ отъ городовъ и не испорченнымъ еще фабричною жизнью, черезчуръ идеализированными. Дѣйствительно и то, что авторъ, подобно Диккенсу, любитъ оканчивать свои, даже самыя печальныя повѣсти, идиллическимъ счастіемъ (*Переселенцы, Рыбаки, Кошка и мышка, Прохожіи* и нѣкоторыя другія); — по рядомъ съ личностями положительными, напр. Глѣбъ, Савелій, у него является много и личностей отрицательныхъ Гришка, Захаръ; да и въ изображеніи самыхъ лучшихъ людей изъ крестьянъ онъ не закрываетъ глазъ на ихъ недостатки и темныя заблужденія. Такъ, въ личности напр. самого Глѣба, представленнаго очень симпатичнымъ, рядомъ съ качествами, заставляющими его уважать, встрѣчаемъ такія черты, какъ самый грубый деспотизмъ главы дома, самодурное упрямство и эгоизмъ очень мелкаго свойства. Что же касается изображенія народныхъ добродѣтелей, то онѣ почти исключительно семейныя, зависящія, до нѣкоторой степени, отъ нашего родового быта, который, какъ можно видѣть почти изъ всѣхъ произведеній поэта, отнюдь не представленъ съ одной только розовой стороны. Да и представляетъ авторъ эти добродѣли преимущественно въ старикахъ-дѣдахъ, да женщинахъ, по самой натурѣ своей болѣе привязанныхъ къ семейству. Такимъ образомъ, сермяжные герои представлены авторомъ такъ, что, выставляя темныя черты ихъ характеровъ, авторъ не только не закрывалъ глазъ на свѣтлыя, но, напротивъ, оста-



навливался на нихъ подробнѣе и представлялъ ихъ особенно тепло. За такой способъ представленія народной жизни, если и можно назвать его идеалистомъ, воспитатель долженъ быть особенно благодаренъ автору, такъ этотъ способъ, внося въ душу юноши начало трогательнаго, поселяетъ въ ней особенное участіе въ народнымъ несчастіямъ и радостямъ, къ его интимной сердечной жизни, закрытой отъ глазъ наблюдателя непроницаемой грубой внѣшностью. Идеализація Григоровича не есть плодъ сентиментальнаго воображенія; она коренится въ дѣйствительныхъ, хотя, относительно, и рѣдкихъ, хорошихъ сторонахъ нашего народа; поэтъ, какъ художникъ, творческимъ талантомъ своимъ сдѣлалъ ихъ только ярче, и рельефнѣе.

*Острогорскій.*

### Значеніе литературной дѣятельности Григоровича, какъ народнаго писателя.

Общій періодъ литературной дѣятельности Григоровича занималъ собою не болѣе 10—12 лѣтъ и въ своемъ характерѣ и направленіи вполнѣ опредѣлялся двумя первыми разсказами: „Деревней“ и „Антономъ-Горемыкой“. Разсказами, повѣстями и романами изъ простонародной жизни, главнымъ образомъ, опредѣляется и, вообще, мѣсто Григоровича въ исторіи нашей новѣйшей литературы — его значеніе, какъ писателя. Произведенія изъ простонароднаго быта дали ему имя; они навсегда и сохранятъ это имя въ ряду нашихъ отечественныхъ писателей. Что касается до всего остальнаго, написаннаго Григоровичемъ въ своей литературной дѣятельности, — онъ нерѣдко касался и другихъ сторонъ русской жизни, помимо быта простого народа, но все это не выходило изъ ряда посредственной беллетристики... Высочайшей заслугой Григоровича было то, что онъ однимъ изъ самыхъ первыхъ выступилъ въ своихъ произведеніяхъ на новый литературный путь, однимъ изъ самыхъ первыхъ писателей обратился къ изображенію простого народа, русскаго крестьянскаго міра. Вмѣстѣ съ авторомъ „Записокъ охотника“, идея народности у Григоровича впервые получила реальное приложеніе, — литературнымъ героемъ впервые являлся народъ.

сѣрая народная масса. Одновременно съ первыми разсказами изъ „Записокъ охотника“, въ „Деревнѣ“ и „Антонѣ Горемыкѣ“ Григоровича, и въ цѣломъ рядѣ послѣдовавшихъ затѣмъ его разсказовъ, очерковъ, романовъ — русскому просто-народью впервые отводилось высокое подобающее ему мѣсто въ родной литературѣ. Правда, русскій народъ и прежде нерѣдко появлялся на страницахъ русской повѣсти, комедіи, романа, иногда даже съ полной жизненной реальностью изображенія, какъ напр. у Пушкина и Гоголя; но всѣ эти появленія народа имѣли все же больше случайный, эпизодическій характеръ: народъ захватывался литературной картиной или какъ общій фонъ, или мимоходомъ, какъ бы въ роли статиста, простой обстановки. Полноправнымъ литературнымъ героемъ народъ впервые выступилъ лишь въ „Запискахъ охотника“ и въ произведеніяхъ Григоровича. Въ лицѣ Тургенева и Григоровича наша литература впервые со своей долженствующей серіозностью и внимательностью приступила къ изученію и художественно-реальному изображенію русскаго крестьянскаго міра, впервые вполнѣ серіозно рѣшилась взяться за изображеніе крестьянской бабы, мужика-голыша, рыбака, нищаго, акробата, фабричнаго и цѣлаго ряда другихъ подобныхъ „сермяжныхъ героев“... Наша литература впервые теперь какъ бы окончательно теряла свой изящный барскій тонъ, принимая характеръ литературы „мужицкой“... Въ послѣднемъ отношеніи, со стороны реальности изображенія, Григоровичъ идетъ какъ бы гораздо дальше „Записокъ охотника“, почему и вызвалъ на себя со стороны нѣкоторыхъ критиковъ обвиненія въ утрировкѣ мрачными красками, — критиковъ, которымъ вполнѣ нравились рассказы изъ „Записокъ охотника“... Дѣйствительно, тамъ читатель, по крайней мѣрѣ, находился на свѣжемъ воздухѣ; Григоровичъ повелъ его въ грязную, вурную, мужицкую избу... У Григоровича „сермяжные герои“ впервые явились передъ публикой во всей своей деревенской обстановкѣ, въ рваныхъ зипунахъ и грязныхъ онучахъ, со всѣми своими „болѣзными“ пуждами и бѣдами... Давно назрѣвшія и въ обществѣ и литературѣ потребности въ изученіи народнаго быта теперь впервые получали серіозное удовлетвореніе.

Жизнь простого народа охватывается въ произведеніяхъ Григоровича, дѣйствительно, съ самыхъ различныхъ сторонъ,



во всей ея полнотѣ. Передъ читателемъ проходить длинная вереница самыхъ разнообразныхъ крестьянскихъ типовъ и характеровъ, безконечный рядъ самыхъ различныхъ сторонъ и перипетій крестьянскаго житья-бытья, со всѣми его будничными событіями, радостями и скорбями. Это — цѣлая эпопея „крестьянства“, иногда довольнаго и счастливаго, но чаще — загнаннаго, подавленнаго, забитаго нуждой и всякими „тѣснотами“... Несчастія и бѣды иногда зависятъ и отъ невѣжества, лѣни „героевъ“, но, обыкновенно и чаще — отъ ихъ общей обстановки, отъ притѣсненій „лихихъ людей“. Какъ и въ жизни, драма чередуется съ семейными радостями, даже идилліей; рассказъ нерѣдко подергивается какой-то идиллической дымкой. Прибавимъ даже: у писателя иногда можно встрѣтить тонъ нѣсколько искусственный; деревенскіе герои изрѣдка какъ бы теряютъ свою „сермяжную“ естественность и на мгновеніе готовы перейти въ „пейзажъ“... Но это лишь исключенія, частности. Вообще, писатель вѣренъ дѣйствительности, и указанные отклоненія, болѣе или менѣе замѣтныя въ отдѣльных мѣстахъ, не мѣшаютъ общей вѣрности рассказа. Суровая дѣйствительность не только не скрывается, не затушевывается писателемъ, напротивъ, выступаетъ со всею яркостью и иногда поражающей реальностью. Писатель старается рисовать жизнь во всей ея жизненной правдѣ, не утаивая ея хорошихъ сторонъ, но и не налегая исключительно на грязь и пошлость; мрачныя краски, впрочемъ, невольно берутъ перевѣсъ въ картинѣ...

Не идеализируя своихъ „сермяжныхъ героевъ“, писатель тѣмъ не менѣе любитъ ихъ, — эта любовь передается и читателю: теплое, сердечно-правдивое отношеніе автора къ его „сермяжнымъ“ героямъ, всюду разлитыя въ его произведенія, горячая любовь и участіе къ судьбѣ „горемычныхъ“ Антоновъ сообщаются и читателю, заставляютъ его задумываться...

Но писатель любить не слѣпо. Онъ хорошо видитъ и сознаетъ дурныя стороны своихъ героевъ. Онъ не скрываетъ поражающаго невѣжества описываемой имъ крестьянской среды, царящаго здѣсь суевѣрія, страшной грубости нравовъ, нерѣдко безчеловѣчія и жестокости, апатичной лѣни, наконецъ, этой стадности выведенной толпы. Нѣкоторыя сграницы Григоровича въ этомъ отношеніи напоминаютъ атмо-

сферу „Власти тьмы“... Съ свѣтлыми „индивидуальными“ сценами у писателя чередуются картины грубаго эгоизма пьянства и нищеты, злорадства несчастію ближняго, тупого равнодушія къ гибели собственнаго брата-крестьянина, общей развращенности фабричной среды. Читателя чаще всего охватываетъ тяжелое чувство: онъ видитъ предъ собой народъ, подавленный нуждой, — народъ, который или ходитъ пришибленнымъ „горемыкой“, какъ Антопъ, или пьянствуетъ и мошенничаетъ, думая только о себѣ и грабя своего же брата-крестьянина, какъ мельникъ Авксентій; или превращается прямо въ стадо, которое помнитъ лишь о томъ, что „своя шеура дороже“... Припомнимъ, напр., эту толпу, которая, подъ вліяніемъ минутнаго стаднаго страха, головой выдаетъ управляющему Антона...

Общій главный источникъ гнетущей атмосферы писатель видитъ въ крѣпостномъ правѣ. Это — главная и основная причина „горемычной“ судьбы выводимыхъ Антоновъ. Эта сторона дѣйствительности особенно отѣняется писателемъ въ его первыхъ произведеніяхъ, — въ этомъ и сосредоточивалось ихъ главное общественное значеніе для своего времени. „Деревня“ показала, сколько горя, несчастія можетъ принести крестьянской бабѣ даже добрый въ сущности баринъ, желающій даже „поблагодѣтельствовать“. „Антопъ Горемыка“ наглядно рисовалъ то отчаяніе, до котораго можетъ дойти самый смиренный и честный крестьянинъ подъ невыносимымъ гнетомъ безысходной нужды, ежедневныхъ оскорбленій и насмѣяній, всей давящей обстановки безысходнаго рабства... Рабство превращаетъ народъ въ тупую, апатичную толпу, равнодушно относящуюся къ несчастію бѣдняка: припомнимъ смѣхъ старика надъ бѣгущимъ за лошадыю ополоумѣвшимъ Антономъ, — это равнодушіе кузнеца Вавилы, набивающаго Антопу на ноги арестантскія колодки...

Произведенія Григоровича особенно богаты этнографическимъ содержаніемъ. Передъ читателемъ въ яркихъ картинахъ развертывается вся жизнь народа, со всѣми бытовыми ея подробностями, со всѣми ея мелкими обыденными чертами, со всѣмъ богатымъ разнообразіемъ ея мелочей. Тутъ передъ нами не только крестьянская, земледѣльческая работа, но весь міръ „христианства“ — рыбаки, фабричные, офени-торгаши, бродяги-нищіе и т. д.



Нельзя не отмѣтить, въ заключеніе, нѣкоторыхъ виѣшнихъ недостатковъ разсказа нашего писателя — ихъ нерѣдко излишней растянутости. Писатель часто какъ бы злоупотребляетъ своимъ мастерскимъ талантомъ въ описаніямъ, картинамъ, и подробностями изложенія утомляетъ читателя... Многіе его разсказы, — особенно, — романы, значительно бы выиграли, если бы были сокращены даже на цѣлую треть.

*Архангельскій.*

---

## Художественное и общественное значеніе сочиненій Григоровича.

Русская литература сороковыхъ и пятидесятихъ годовъ надолго оставитъ по себѣ прекрасную память въ русскомъ обществѣ. Она подарила ему значительное количество высоко-художественныхъ произведеній, пробудила въ немъ самосознаніе и жизненные силы, вызвала важные насущные вопросы и даже намѣтила пути и способы къ ихъ рѣшенію. Вѣрнымъ и разностороннимъ изображеніемъ русскаго общества, его экономическаго и интеллектуальнаго состоянія литература этого времени, въ формѣ произведеній и искусства, поставила на твердую почву не мало общественныхъ задачъ, которыя предстояло рѣшить въ болѣе или менѣе близкомъ будущемъ. Такое въ высокой степени плодотворное направленіе выразилось въ цѣлой группѣ талантливыхъ писателей, сколько замѣчательныхъ въ художественномъ отношеніи, столько же и по гражданской заслугѣ предъ отечествомъ. Къ числу наиболѣе крупныхъ, въ такомъ смыслѣ, дѣятелей этого періода русской литературы принадлежатъ Дмитрій Васильевичъ Григоровичъ. Вышедшее полное собраніе его сочиненій даетъ поводъ бросить взглядъ на существенныя стороны его замѣчательнаго дарованія и означитъ мѣсто, занимаемое имъ въ русской литературѣ.

Въ ряду многочисленныхъ произведеній Григоровича прежде всего обращаютъ на себя вниманіе какъ въ художественномъ, такъ и въ общественномъ значеніи, его романы, повѣсти и разсказы изъ крестьянскаго быта. Въ нихъ онъ является глубокимъ знатокомъ и талантливымъ живописцемъ природы и народной жизни средней полосы Россіи, въ чер-

тахъ и краскахъ, подмѣченныхъ съ замѣчательною наблюдательностію и мастерски выраженныхъ. Едва ли у кого-нибудь изъ русскихъ писателей можно найти такую богатую галерею картинъ, представляющихъ разнообразныя пейзажи и явленія русской природы въ различныя времена года, и всевозможныя бытовыя сцены изъ народной жизни, обставленныя типичными лицами. Обиліе разбросанныхъ въ романѣ Григоровича описаній нисколько не утомляетъ читателя, какъ не утомитъ его обзоръ коллекцій ландшафтовъ и жанровыхъ картинъ большого мастера. Довольно прочесть прекрасныя страницы, посвященныя описанію побережій Оки, весенняго водополья на ней или Смедовской долины, чтобы видѣть, какъ авторъ глубоко чувствуетъ и съ какимъ высокимъ искусствомъ умѣетъ изображать своеобразныя красоты русской природы. Такъ же вѣрны и живописны картины русской деревни, со всей обстановкой ея трудового быта, то привлекающаго довольствомъ, то поражающаго нуждою и бѣдностью, съ присущею имъ патриархальною простотою и коренными или прививными пороками. Наконецъ, цѣлый рядъ разнообразныхъ типовъ — пахарь, рыбакъ, пастухъ, бродячіе торгаши, цыгане, фабричныя, слѣпые-нищіе, съ характерными особенностями ихъ жизни и самаго языка, — все это отличается правдою и оригинальностью рисунка, свѣжестью и блескомъ красокъ.

Кромѣ художественнаго достоинства, романы и повѣсти Григоровича изъ сельскаго быта имѣютъ и другое, еще болѣе важное, значеніе, по которому они должны занять выдающееся мѣсто въ исторіи русской литературы и общественнаго развитія. Въ нихъ авторъ, какъ бы въ предвидѣніи наступающихъ реформъ въ строѣ русскаго общества, представилъ въ поразительно вѣрныхъ образцахъ тяжелое положеніе крестьянъ подъ гнетомъ крѣпостнаго права, при отсутствіи правильнаго суда и земскаго устройства. Вопросъ о ненормальности этого положенія затрогивался и у другихъ русскихъ писателей, какъ, напримѣръ, у Тургенева и Писемскаго, но никто не раскрылъ такъ смѣло и прямо, съ такой очевидною ясностью настоятельной необходимости близкаго освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, какъ Григоровичъ. Онъ взглянулъ на этотъ вопросъ не съ внѣшней стороны, не въ частныхъ злоупотребленіяхъ



помѣщичьей власти, а со стороны существеннаго вреда самаго крѣпостного права. При этомъ ясно обнаруживается, какъ бѣдствовали и даже гибли люди честныхъ и доброжелательныхъ помѣщиковъ, вслѣдствіе только неправильныхъ между ними отношеній. Такова основная мысль въ цѣломъ рядѣ произведеній талантливаго беллетриста.

Въ прекрасной глубоко-трогательной повѣсти „Антонъ Горемыка“ Григоровичъ выставилъ плачевную судьбу честнаго и трудолюбиваго крестьянина, который гибнетъ за то, что, по мірскому приговору, написалъ барину, постоянно живущему въ Петербургѣ, жалобу на притѣсненіе управляющаго. Письмо перехватываютъ, и мужикъ горько платится за свою грамотность. Управляющій, тоже крѣпостной чело-вѣкъ, начинаетъ его преслѣдовать, отбираетъ у него удобную землю, совершенно разоряетъ его съ семьею и, наконецъ, доводитъ до ссылки на поселеніе. Передъ читателями проходитъ съ поразительными подробностями вся эта печальная драма, съ той минуты, когда „Горемыка“, подъ угрозою наказанія, ведетъ продавать послѣднюю свою лошадь на уплату оброка, до мрачной развязки его участи передъ этапной телѣгой, при столахъ навсегда покидаемой семьи. Романъ „Переселенцы“ представляетъ не менѣе печальную судьбу крестьянскаго семейства, которое безъ вины должно покинуть родную деревню и отцовскія могилы и итти въ далекій, незнакомый край, на нныя условія жизни. И къ этому невольному переселенію принуждаетъ бѣдняковъ не жестокость и самодурство помѣщика. Онъ, напротивъ, желаетъ имъ искренно добра, а между тѣмъ дѣлаетъ зло единственно по незнакомству съ бытомъ крестьянъ и ихъ насущными потребностями. Такая же грустная картина крѣпостного права открывается въ повѣсти „Деревня“. Въ ней рассказывается, какъ баринъ, проживавшій обыкновенно въ столицѣ и за границей, вздумалъ провести одно лѣто въ своемъ имѣніи. Тамъ встрѣчаетъ онъ свою крѣпостную дѣвушку, бѣдную, загнанную сироту и, съ филантропическимъ желаніемъ устроить ея судьбу, выдаетъ ее замужъ; но она попадаетъ въ семью, гдѣ ее ненавидятъ, бьютъ, изнуряютъ непосильной работой, и несчастная погибаетъ жертвой необдуманной воли помѣщика, нисколько ни злого и доброжелательнаго. Въ очеркѣ „Бобыль“ описывается, какъ восьми-

десятилѣтній старикъ, у котораго отобрали пашню, въ холодную и ненастную осень, на пути отъ больницы, куда его не приняли, заходить въ деревню челоѣколюбивой старушки-помѣщицы, но его удаляютъ оттуда во избѣжаніе хлопотъ передъ судомъ, въ случаѣ смерти бѣдняка, и онъ умираетъ на дорогѣ. Подобное же значеніе имѣютъ и нѣкоторые другіе повѣсти и рассказы автора изъ крестьянскаго быта. Все это наглядно показываетъ, въ какой степени благотѣльны были реформы, совершенныя потомъ державною волею императора Александра II. Если русская литература содѣйствовала подготовленію общества къ осуществленію этихъ реформъ, то, несомнѣнно, что значительная доля заслуги по этому предмету принадлежитъ Д. В. Григоровичу.

Нѣкоторые изъ русскихъ тенденціозныхъ критиковъ находили, будто Григоровичъ въ своихъ сочиненіяхъ изъ крестьянскаго быта идеализируетъ русскую народную жизнь и нравы. Такое мнѣніе едва ли можно признать справедливымъ. Обвиненіе это, очевидно, возникло изъ того односторонняго реализма, который смотрѣлъ на народъ исключительно съ отрицательной точки зрѣнія и, схватывая его темныя и грубыя стороны, считалъ всякія симпатичныя отношенія къ свѣтлымъ явленіямъ его жизни искусственными. Сочувствіе къ лучшимъ сторонамъ народнаго характера казалось этимъ псевдо-реальнымъ критикамъ романическою сентиментальностью. Напротивъ, Григоровичъ, въ изображеніи крестьянскаго быта и нравовъ, гораздо ближе къ дѣйствительности, чѣмъ тѣ беллетристы-народники, которые фотографировали однѣ уродливыя черты этой среды. Онъ одинаково вѣрно представляетъ все, что есть въ этой средѣ честнаго и привлекательнаго, и все, что изъ нея выходитъ грубаго и отталкивающаго. Въ самомъ объективномъ его романѣ „Рыбаки“, гдѣ представленъ бытъ крестьянъ свободныхъ, не придавленныхъ крѣпостнымъ правомъ, на ряду съ свѣтлыми явленіями и лицами, показаны черты весьма печальныя и выведены типы людей далеко некрасиваго закала. Ясно, что Григоровичъ не идеалистъ, а художникъ реальный, въ лучшемъ смыслѣ этого слова.

Въ другой серіи произведеній Григоровича, въ которыхъ изображается провинціальный помѣщичій бытъ и городская жизнь такъ называемаго интеллигентнаго круга,



видно также обширное знаніе этой среды и тонкая наблюдательность въ подробностяхъ какъ ви́шней, такъ и внутренней ея стороны. Обстановка губернской жизни и интересы провинціального дворянства, блестящая пустота свѣтскаго общества и столичная суетность такъ же хорошо извѣстны автору, какъ и бытъ деревенскаго населенія. Но здѣсь онъ обращается преимущественно къ отрицательнымъ сторонамъ жизни, хотя рисуетъ ихъ не столько съ обличительно-сатирической цѣлью, сколько съ желаніемъ показать ея смѣшныя особенности. Подъ вліяніемъ такого взгляда въ изображеніи нравовъ и лицъ его рисунокъ становится слишкомъ рѣзкимъ и краски неумѣренно яркими. Лучшее сочиненіе Григоровича въ этой серіи — обширный романъ „Проселочныя дороги“. Это длинный рядъ сценъ и этюдовъ, не связанныхъ общею интригою, но представляющихъ одну цѣльную картину комическихъ сторонъ провинціальной жизни. Здѣсь существенный характеръ ея подмѣченъ очень вѣрно, но въ выведенныхъ лицахъ есть черты преувеличенныя, лишающія ихъ значенія вполне художественныхъ типовъ. Еще болѣе замѣтно это въ повѣстяхъ и рассказахъ изъ городского круга, каковы: „Похожденія Накатова“, „Столичные родственники“, „Школа гостепріимства“, „Свистулькинь“, — въ которыхъ комическія положенія и лица впадаютъ въ карикатурность. Но все это представляетъ столько забавныхъ сценъ и смѣшныхъ фигуръ, отличается такимъ неподдѣльнымъ весельемъ и остроуміемъ, что скрываетъ шаржировку, и каждый изъ этихъ оригинальныхъ рассказовъ читается съ большимъ, нигдѣ не ослабѣвающимъ интересомъ.

Тѣсныя рамки бібліографическаго отзыва не позволяютъ ни войти въ подробное разъясненіе высказаннаго здѣсь взгляда, ни представить характеристику другихъ произведеній плодovitости автора. Необходимо однако замѣтить, что въ ряду ихъ не мало прекрасныхъ сочиненій, которыя отличаются своеобразными достоинствами. Нельзя не упомянуть о романѣ „Два генерала“, гдѣ схвачены характерныя черты провинціального быта въ эпоху, послѣдовавшую за эмансипаціей крестьянъ, о повѣсти „Пахатникъ и бархатникъ“, въ которой сопоставлены нужды и интересы людей труда и разсѣянной жизни. Въ рассказахъ „Петер-

бургскіе шарманщики“ и „Гуттаперчивый мальчикъ“ читатели находятъ мастерскіе этюды изъ жизни того особаго класса столичнаго пролетаріата, который добываетъ свой нищенскій кусокъ хлѣба уличной музыкой и балаганными потѣхами. Святочный рассказъ „Прохожій“ можетъ служить образцомъ сочиненій, прославленныхъ Диккенсомъ; а повѣсть „Неудавшаяся жизнь“, взятая изъ быта художниковъ, представляетъ такія же, вѣрно подмѣченныя черты этого быта, какія находимъ у Гоголя въ повѣстяхъ „Портретъ“ и „Невскій проспектъ“. Д. В. Григоровичъ справедливо пользуется извѣстностью практическаго знатока въ области художествъ, и очевидно подтвержденіе этого можно найти въ его сочиненіяхъ. Стоитъ прочесть въ его рассказахъ о заграничной поѣздкѣ на кораблѣ „Ретвизанъ“ описаніе копенгагенскаго музея Торвальдсена, луврской галлерей, соборовъ и художественныхъ сокровищъ въ Кадиксѣ и Севильѣ, чтобы оцѣнить его глубокія знанія и эстетическій вкусъ въ различныхъ отрасляхъ искусства. Это еще болѣе выясняется изъ его статей: „О картинахъ англійскихъ живописцевъ въ Лондонѣ“ и „Художественное образованіе въ приложеніи къ промышленности на всемірной парижской выставкѣ“. Въ нихъ высказано мною замѣчательныхъ сужденій, сколько важныхъ для художниковъ, столько же любопытныхъ для всѣхъ образованныхъ людей, интересующихся искусствомъ.

*Милуковъ.*

## Воспитательное значеніе сочиненій Григоровича.

Въ произведеніяхъ Д. В. Григоровича мужикъ впервые появился въ русской беллетристикѣ въ связи съ бытовымъ и семейнымъ укладомъ своей жизни и прочно занялъ въ ней свое мѣсто. Нѣсколько идеальное освѣщеніе этой жизни и самаго мужика не сгладило характерныхъ чертъ его внутренней фیزیономіи: она выступила довольно рельефно и заставила обратить на себя вниманіе общества. Въ этомъ смыслѣ Григоровичъ, по всей справедливости, долженъ быть признанъ прямымъ родоначальникомъ той школы писателей, которая получила имя народнической.



Народники шли уже по проложеннымъ слѣдамъ и часто перепѣвали темы, намѣченныя уже нашимъ писателемъ.

Въ смыслѣ знанія народной жизни и изображенія ея нуждъ и темныхъ сторонъ они пошли дальше своего учителя, но въ художественной обработкѣ народныхъ типовъ никто изъ нихъ не возвысился до учителя.

Тотъ періодъ народной жизни, который изображенъ Григоровичемъ, уже остался далеко позади современнаго поколѣнія; освобожденная отъ рабства, деревня шагнула значительно впередъ; у нея появились новыя нужды, новое горе; народились и новыя деревенскіе типы. Несмотря на медленный темпъ народной жизни, многое въ ней измѣнилось съ того времени, въ какое изображалъ ее Григоровичъ.

Кто захочетъ изучить русскую деревню и ея жизнь въ настоящее время, тотъ обратится къ другимъ художественнымъ источникамъ, а не къ сочиненіямъ Григоровича. Можно безъ преувеличенія сказать, что съ этой стороны произведенія Григоровича уже теряютъ свое значеніе. Но эти произведенія долго не потеряютъ своего значенія для школы и народа. Въ произведеніяхъ Григоровича есть одинъ вѣчный, неувядаемый элементъ, который даетъ имъ высокое воспитательное значеніе: это — гуманная проповѣдь любви къ меньшему брату, постоянное напоминаніе, что мужикъ — такое же разумное существо, чувствующее и страдающее, какъ и люди, поставленные въ болѣе благопріятныя условія жизни; что онъ часто и благороднѣе и чище этихъ людей; что темнота крестьянина должна возбуждать не отвращеніе въ нему, а чувство сожалѣнія и стремленіе внести въ эту темноту посильный свѣтъ. Незаурядный художественный талантъ автора дѣлаетъ эту проповѣдь и краснорѣчивой и убѣдительною. И она не утратила своего значенія и въ настоящее время. А въ то время, когда она впервые раздалась, она была звукомъ колокола, будившимъ русское общественное самосознаніе и подготовившимъ почву для великаго дѣла — освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости. Въ этомъ громадная, историческая заслуга Д. В. Григоровича.

*Щукинъ.*

---

## Общественное настроеніе сороковыхъ годовъ и отраженіе его на литературной дѣятельности Григоровича.

Еще сильнѣе было вліяніе на нашего писателя со стороны общественнаго настроенія того времени, на которое падаетъ начало и расцвѣтъ его литературной дѣятельности. Если бы мы не обратили вниманія на характеръ той эпохи, когда началъ писать свои народные рассказы Григоровичъ, то направленіе литературной его дѣятельности осталось бы совершенно непонятнымъ.

Нашъ писатель — истый и типичнѣйшій представитель эпохи сороковыхъ годовъ. Какъ „война рождаетъ геросвъ“, такъ и каждая эпоха общественной жизни выдвигаетъ выразителей своихъ стремленій и чаяній. Сороковые года даютъ цѣлую яркую картину русской общественной жизни. Стоитъ только припомнить имена литературныхъ представителей этой эпохи, чтобы понять роль ея въ развитіи общественнаго самосознанія: это время дѣятельности знаменитыхъ кружковъ славянофиловъ и западниковъ, уже разошедшихся во взглядахъ на значеніе прошлаго русской исторіи и на средства осуществленія исторической миссии русскаго народа, но сходящихся въ общихъ искреннихъ желаніяхъ блага этому народу: это время пылкихъ статей Бѣлинскаго, время кипучей дѣятельности Кирѣевскихъ и К. Аксакова. Во всѣхъ горячихъ спорахъ и статьяхъ того времени слышится одна доминирующая нота: желаніе добра народу, стремленіе осмыслить ходъ его исторической жизни. Отсюда прекрасное знакомство представителей этой эпохи съ исторіей, съ бытомъ народа, — стремленіе собрать памятники народной словесности. Общественное настроеніе, которымъ характеризуются сороковые года, возникло и развилось подъ самыми сложными вліяніями. На русской почвѣ ему предшествовала насквозь проникнутая гуманными взглядами поэтическая дѣятельность Пушкина и Гоголя, зна-



комство русскаго общества съ горемъ и радостями простого народа по пѣснямъ Кольцова. А со стороны Европы широкой волной нахлынули идеи философіи Шеллинга, Фихте, Гегеля. Извѣстно, какъ горячо, напимѣръ, эти идеи интересовали кружокъ Станкевича, въ которомъ долгое время, во имя ихъ мирно уживались Бѣлинскій рядомъ съ К. Аксаковымъ, Катковъ рядомъ съ Бакунинымъ. Отъ теоретическихъ разсужденій обращались къ обсужденію явленій дѣйствительной жизни. Къ этому подавала поводъ и сама философія. Ученіе Гегеля о Тріединомъ въ исторіи, о необходимости націи, которая воплотила бы въ себѣ идею абсолютнаго, заставляло искать такую націю и усматривать признаки ея въ родномъ народѣ. Оказывало свое вліяніе и оживленіе общественныхъ вопросовъ въ европейской жизни, тамошнія симпатіи къ демократизму. Къ намъ шли произведенія Диккенса, протестанта противъ несовершенствъ общественнаго устройства Англіи; шли произведенія Жоржъ-Зандъ, исполненныя горячей проповѣди за освобожденіе отъ установившихся общественныхъ рамокъ. Подъ всѣми этими вліяніями создалась особенная сфера, которою дышали люди сороковыхъ годовъ, — сфера пропитанная гуманитарными взглядами, горячей любовью къ народу. Этотъ основной тонъ эпохи, какъ нельзя, лучше отразился и въ твореніяхъ писателей, воспитавшихся подъ ея вліяніемъ, — писателей, которыхъ съ необыкновенною щедростью выдвинула эта эпоха, которые сдѣлались украшеніемъ русской литературы: во главѣ ихъ стоятъ такія имена, какъ Тургеневъ, Толстой, Достоевскій.

Духъ сороковыхъ годовъ вѣетъ и въ произведеніяхъ Григоровича. И въ свою очередь то обстоятельство, что его сердце билось въ унисонъ настроенію общества, послужило главной причиной успѣха его первыхъ произведеній изъ народнаго быта.

*Щукинъ.*

---

## Отношеніе Григоровича къ своимъ предше- ственникамъ.

Несправедливо было бы отрицать связь характера литературной дѣятельности Григоровича съ тѣмъ, что дала русская литература до него, и съ эпохой, когда писалъ Григоровичъ. Связь эта существуетъ и очевидна. Изъ писателей несомнѣнное вліяніе на направленіе литературной дѣятельности Григоровича оказали — изъ русскихъ: Пушкинъ и Гоголь, изъ иностранныхъ — въ особенности Жоржъ-Зандъ и Диккенсъ.

Пушкинъ, этотъ гуманѣйшій изъ поэтовъ, хотя и не изображавшій спеціально народнаго быта, но понявшій русскій народъ и постигшій его, по выраженію Достоевскаго, „въ такой глубинѣ и обширности, какъ никогда и никто, обнаруживши въ своихъ произведеніяхъ горячую любовь къ нему, которая заставила его высказать благородное пожеланіе:

Увижу ли народъ не угнетенный  
И рабство, падшее по манію царя,

былъ первымъ и главнымъ учителемъ нашего писателя.

Натурализмъ Гоголя, его обращеніе къ изображенію отрицательныхъ явленій русской жизни, его смѣхъ сквозь слезы надъ не нормальностями ея, — смѣхъ, полный сочувствія къ погрязшему въ нравственной тьмѣ собрату; его поэтическія изображенія сельской природы и нравовъ въ „Вечерахъ на хуторѣ близъ Диканьки“ также подготовляли почву для появленія произведеній изъ простонароднаго быта съ той гуманной окраской, которую мы находимъ у Григоровича.

Жоржъ-Зандъ въ сороковые года была любимѣйшею европейскою писательницею. Громаднымъ успѣхомъ пользовались ея рассказы изъ жизни французскихъ крестьянъ. Прикрашенные идиллическимъ изображеніемъ сельской жизни, эти рассказы должны были служить подтвержденіемъ горячей проповѣди этой писательницы о необходимости свободы



отъ цѣпей различныхъ общественныхъ условностей, дающихъ свободное проявленіе человѣческой личности. Въ общемъ тонѣ народныхъ произведеній Григоровича, въ нѣскольکو сентиментальной и идиллической окраскѣ крестьянскаго быта чувствуется манера Жоржъ-Зандъ.

Не менѣе замѣтно на произведеніяхъ Григоровича и вліяніе англійскаго писателя Диккенса. Яркое изображеніе послѣднимъ участи различнаго рода горемыкъ, страдающихъ отъ несовершенствъ общественнаго устройства, нашло въ сердцѣ русскаго писателя горячій откликъ и оставило ясныя слѣды на его творествѣ. Вліяніе Диккенса на Григоровича чувствуется не только въ выборѣ послѣднимъ сюжетовъ для народныхъ произведеній, изображающихъ въ большинствѣ случаевъ различные заключенія и неурядицы въ бытовой жизни крестьянъ въ противовѣсъ широкой и безпечальной помѣщичьей жизни, но также въ широкомъ и подробномъ воспроизведеніи описываемаго быта съ особеннымъ пристрастіемъ въ сценахъ изъ семейной и дѣтской жизни и въ юмористическомъ изображеніи дѣйствительности, что составляетъ характерныя черты романовъ англійскаго писателя.

Даже на технической сторонѣ произведеній Григоровича отразились черты творчества Диккенса: введеніе, напр., часто встрѣчаемыхъ у Григоровича отдѣльныхъ рассказовъ, владываемыхъ въ уста дѣйствующихъ лицъ и не имѣющихъ связи съ развертывающимся въ произведеніи повѣствованіемъ, составляетъ несомнѣнный результатъ подражанія нашего писателя знаменитому англійскому романисту.

Есть у Григоровича произведеніе, представляющее изъ себя непосредственное, самое близкое подражаніе этому писателю: это романъ — „Проселочныя дороги“, сильно напоминающій романъ Диккенса: „Записки Пиквикскаго Клуба“ здѣсь цѣликомъ воспроизведенъ безсмертный образъ одного изъ героевъ этого романа — Джингля, съ его характернымъ лаконическимъ стилемъ въ лицѣ нѣкоего Попельковскаго. Копія вышла несравненно слабѣе своего оригинала, но сохранила всѣ его существенныя черты.

*Щукинъ.*

## Значеніе Григоровича въ области живописи и художественной промышленности.

Въ области живописи и художественной промышленности Григоровичемъ оказаны громадныя услуги, повидимому, еще недостаточно оцѣненныя. Вліяніе его въ „Обществѣ поощренія художниковъ“ было въ высшей степени полезно для этого маленькаго, но весьма важнаго учрежденія, которому наше молодое искусство было очень многимъ обязано. Григоровичъ неуклонно направлялъ „Общество“ къ его главной цѣли — воспитанію талантливыхъ художниковъ, такъ сказать, пропущенныхъ нашей Академіей или развившихся внѣ ея. Въ этомъ отношеніи довольно указать на попеченія, какими Григоровичъ окружилъ одного изъ даровитѣйшихъ нашихъ пейзажистовъ, Васильева, къ прискорбію унесеннаго смертью почти въ самомъ началѣ поприща.

Руководимое Григоровичемъ „Общество поощренія художниковъ“ представляло собою какъ бы частную Академію, во многомъ дополнявшую и поправлявшую Академію официальную. Эта частная Академія была менѣе проникнута классическою рутинною и болѣе доступна новымъ вѣяніямъ и теченіямъ въ искусствѣ. Въ ней жилъ литературный духъ, котораго сильно недоставало казеннымъ академикамъ, и она была ближе, роднѣе молодымъ талантамъ. Въ 70-хъ годахъ маленькіе ежегодные конкурсы на преміи „Общества“ привлекали общее вниманіе и сочувствіе, и на этихъ конкурсахъ нерѣдко можно было видѣть произведенія, мало уступавшія тому, что выставяла Академія.

Еще большее значеніе имѣетъ дѣятельность Григоровича, какъ учредителя и перваго собирателя художественно-промышленнаго музея. Это учрежденіе всецѣло обязано его обширнымъ знаніямъ и неутомимой энергіи коллекціонера. Григоровичъ каждый годъ ѣздилъ за границу, изучилъ тамошніе музеи, заказывалъ копіи моделей, посѣщалъ лавчонки *bric-à-brac*, нерѣдко пріобрѣтая тамъ за безцѣнокъ замѣчательныя вещи, и вообще былъ и создателемъ и душою перваго



у насъ собранія художественно-промышленныхъ образцовъ. Увлеченіе его этимъ дѣломъ съ годами только росло, какъ росло и самое дѣло: музей пріобрѣлъ помѣщеніе въ собственномъ зданіи, возникла рисовально-живописная школа и т. д.

Личность Григоровича была какъ бы создана для такихъ культурно-общественныхъ предпріятій. Всегда живой, воодушевленный, въ высшей степени общительный, онъ умѣлъ располагать нужныхъ людей къ интересующему его дѣлу и возбуждать жизнь тамъ, куда проникало обаяніе его неумолимой энергіи и его остроумной, мѣткой, сангвинической рѣчи. Тѣсныя круги нашего высшаго свѣтскаго общества должны были по достоинству оцѣнить оживленіе, вносимое имъ въ ихъ среду. Наполовину французъ по происхожденію, Григоровичъ отличался всѣми качествами умнаго, блестяще-образованнаго, всегда интереснаго собесѣдника. Про него можно было сказать, что его разговоръ часто давалъ больше, чѣмъ его литературныя произведенія.

Вліяніе Григоровича на нашихъ художниковъ было важно именно въ томъ отношеніи, что онъ какъ бы создавалъ связь между пластическими искусствами и литературою. Въ противоположность съ европейскими столицами, въ Петербургѣ было очень мало общенія между писателями и художниками. Между тѣмъ нигдѣ искусство не состояло въ такой зависимости отъ литературныхъ теченій, какъ именно у насъ съ 60-хъ годовъ. Реалистическая критика и натуралистическая беллетристика того времени совершенно подчинили себѣ возникшую тогда русскую школу. Но это было какое-то эпидемическое подчиненіе, распространявшееся заразнымъ путемъ, огульно и зачастую пелѣпо. Художники подпали давленію низшихъ теченій, не замѣчая, что въ журналистикѣ это было только преходящее судорожное движеніе, и какъ бы не подозревая, что надъ литературою новыхъ формъ и тенденцій стояла зрѣлая художественная литература, еще блиставшая въ то время всѣми своими лучшими именами. Случалось такъ, что богатые прелестными образами и картинами произведенія Тургенева, гр. Толстого, Гончарова проходили совершенно безслѣдно для вдохновенія художниковъ, тогда

какъ произведенія новыхъ авторовъ, съ ихъ отрицательнымъ народничествомъ и фальшивою тенденціозностью, чуть не цѣликомъ переносились на полотно нашихъ художественныхъ выставокъ. Блестящая и тонкая игра настроеній въ поэзіи Майкова, Фета, Полонскаго точно такъ же ничего не говорила нашимъ художникамъ, и они охотнѣе искали мотивовъ въ какихъ-нибудь сатирическихъ куплетахъ, распѣваемыхъ съ подмостковъ. Объясняется это, конечно, слабымъ образовательнымъ уровнемъ большинства тогдашнихъ художниковъ и отсутствіемъ общенія ихъ съ писателями, составлявшими настоящую литературную силу.

А. О.

---



## Дѣтскіе годы Гончарова.

Иванъ Александровичъ Гончаровъ родился въ Симбирскѣ 6 іюня 1813 года. Первоначальное образованіе онъ получилъ въ пансіонѣ священника, жившаго въ имѣніи княгини Хомской за Волгою. Въ занятіяхъ съ дѣтьми принимала участіе и жена священника — иностранка, обучавшая учениковъ иностраннымъ языкамъ, при чемъ преподаваніе послѣднихъ шло тѣмъ успѣшнѣе, что языки усвоивались не только теоретически, но и практически. Самъ священникъ, человѣкъ съ довольно обширнымъ по тому времени образованіемъ, съ особенною любовью занимался съ своими учениками, при чемъ старался передать имъ знанія не только тѣхъ или другихъ учебныхъ предметовъ, но и развить въ нихъ любовь къ литературнымъ произведеніямъ и съ этою цѣлью прочитывалъ отрывки изъ сочиненій лучшихъ писателей какъ древнихъ, такъ и новѣйшихъ. Такія чтенія, сопровождаемыя толковыми объясненіями мѣсть, которыя могли быть непонятными для молодыхъ слушателей, съ раннихъ лѣтъ развили въ Гончаровѣ любовь къ произведеніямъ изящной словесности, такъ что еще въ молодые годы онъ довольно ознакомился съ сочиненіями Державина, „Недорослемъ“ Фонвизина и хорошо изучилъ сочиненія Хераскова и Озерова. Такимъ образомъ задатки послѣдующихъ дарованій, сдѣлавшихъ имя Гончарова извѣстнымъ всѣмъ и каждому, нашли себѣ развитіе въ самые ранніе годы его дѣтства. Но кромѣ литературныхъ произведеній молодой Гончаровъ съ громаднымъ увлеченіемъ прочитывалъ всякаго рода путешествія и въ особенности тѣ изъ нихъ, гдѣ въ полуфантастической формѣ описывались всякаго рода далекія земли, населенныя народами столь странными по своимъ правамъ, обычаямъ, одеждѣ и пр. Изъ книгъ, наиболѣе удовлетворявшихъ пыл-

кое воображеніе молодого чтеца были, по-преимуществу, путешествія Кука и Крашенинникова. Кромѣ того, ему особенно нравились также романы Вальтера Скотта, которые прочитывались съ глубокимъ интересомъ.

*Изъ „Обозрѣнія“ за 1876 г.*

---

„Домъ у насъ былъ, какъ рассказываетъ Гончаровъ въ своихъ „Воспоминаніяхъ“, что называется, полная чаша, какъ, впрочемъ, было почти у всѣхъ семейныхъ людей въ провинціи, не имѣющихъ по близости деревни. Большой дворъ, даже два двора, со многими постройками: людскими, конюшнями, хлѣвами, сараями, амбарами, птичникомъ и баней. Свои лошади, коровы, даже козы и бараны, куры и утки — все это населяло оба двора. Амбары, погреба, ледники переполнены были запасами муки, разнаго пшена и всяческой провизіи для продовольствія нашего и обширной дворни. Словомъ, цѣлое имѣніе, деревня.

„Кромѣ нашей семьи, т.-е. моей матери, сестеръ и брата, оставшагося въ Москвѣ въ университетѣ по болѣзни еще на годъ, у насъ въ домѣ проживалъ одинъ отставной морякъ. Назову его Якубовъ. Выйдя въ отставку, онъ пріѣхалъ въ свою деревню, или деревни: у него ихъ было двѣ, съ тремя стами душъ крестьянъ въ обѣихъ, верстахъ въ полутора отъ города. Но одинокому холостяку вскорѣ наскучило тамъ: сельскаго хозяйства онъ не понималъ и не любилъ, и онъ переселился въ губернскій городъ.

„Губернскіе города, подальше отъ столицы, были, до желѣзныхъ дорогъ, оживленными центрами общественной жизни. Помѣщики съ семействами, по дальнему разстоянію отъ Москвы, проводили зиму въ своемъ губернскомъ городѣ. Наша губернія особенно славилась отборнымъ обществомъ родовитыхъ и богатыхъ дворянъ. Якубовъ случайно замѣтилъ красивый, свѣтлый и уютный деревянный флигель при нашемъ довольно большомъ каменномъ домѣ, выходившемъ на три улицы — и нанялъ его, не предвидя, что проживеть въ немъ почти полвѣка и тамъ умереть. Якубовъ былъ крестнымъ отцомъ насъ, четверыхъ дѣтей. По смерти нашего отца, онъ болѣе и болѣе привыкалъ къ нашей семьѣ, потомъ принялъ участіе въ нашемъ воспитаніи. Это занимало его, на-



полняло его жизнь. Добрый морякъ окружилъ себя нами, принялъ насъ подъ свое крыло, а мы привязались къ нему дѣтскими сердцами, забыли о настоящемъ отцѣ. Онъ былъ лучшимъ совѣтникомъ нашей матери и руководителемъ нашего воспитанія.

„Якубовъ былъ вполнѣ просвѣщенный человѣкъ. Образованіе его не ограничивалось техническими познаніями въ морскомъ дѣлѣ, пріобрѣтенными въ морскомъ корпусѣ. Онъ дополнялъ его непрестаннымъ чтеніемъ — по всѣмъ частямъ знанія, не жалѣлъ денегъ на выписку изъ столицъ журналовъ, книгъ, брошюръ. Какъ, бывало, прочтаетъ въ газетѣ объявленіе о книгѣ, которая, по заглавію, покажется ему интересною, сейчасъ посылаетъ требованіе въ столицу. Романовъ и вообще беллетристики онъ не читалъ и зналъ всѣхъ тогдашнихъ крупныхъ представителей литературы больше понаслышкѣ. Выписывалъ онъ книги историческаго, политическаго содержанія и газеты.

„По смерти нашего отца, Якубовъ умными совѣтами, заботливымъ руководствомъ нашего воспитанія и образованія, превосходилъ и родного отца.

„Я останавливаюсь на этомъ старикѣ, потому что онъ заслуживаетъ вниманія, не только какъ представитель своего времени вообще, но и какъ человѣкъ въ особенности.

„Это былъ чистый самородокъ честности, чести, благородства и той прямоты души, которою славятся моряки, и притомъ съ добрымъ, теплымъ сердцемъ. Все это хорошо выражается англійскимъ словомъ „джентльменъ“, котораго тогда еще не было въ русскомъ словарѣ. Въ обращеніи онъ былъ необыкновенно привѣтливъ, а съ дамами до чопорности вѣжливъ и любезенъ“.

*Изъ „Воспоминаній“.*

---

## Гончаровъ въ университетѣ.

„Нашъ университетъ въ Москвѣ былъ святилищемъ не для однихъ насъ, учащихся, но и для ихъ семейства и для всего общества. Образованіе, вынесенное изъ университета, цѣнилось выше всякаго другого. Москва гордилась своимъ университетомъ, любила студентовъ, какъ будущихъ самыхъ

полезныхъ, можетъ-быть, громкихъ, блестящихъ дѣятелей общества. Студенты гордились своимъ званіемъ и дорожили занятіями, видя общую къ себѣ симпатію и уваженіе. Они важно расхаживали по Москвѣ, кокетничая своимъ званіемъ и малиновыми воротниками. Даже простые люди, и тѣ, при встрѣчахъ, ласково провожали глазами юношей въ малиновыхъ воротникахъ. Я не говорю объ исключеніяхъ. Въ разнословной и разнохарактерной толпѣ, при различіи воспитанія, нравовъ и привычекъ, являлись, конечно, и мало подготовленные къ серіозному ученію, и дурно воспитанные молодые люди, и просто шалуны и повѣсы. Иногда пробѣгали въ городѣ — впрочемъ рѣдкіе — слухи о шумныхъ пирушкахъ въ трактирѣ, о шалостяхъ, въ родѣ, напримѣръ, перемѣны ночью выѣсокъ у торговцевъ, или зазорныхъ пререканій съ полиціею и т. п. Но большинство студентовъ держало себя прилично и дорожило доброй репутаціей и симпатіями общества.

Эти симпатіи вливали много тепла и свѣта въ жизнь университета юношества. Духъ юноши поднимался; онъ расцвѣталъ подъ лучами свободы, падшими на него послѣ школьной или домашней педагогической неволи. Онъ совершалъ первый сознательный актъ своей воли, приходилъ въ университетъ самъ, его не отдають родители, какъ въ школу. Нѣтъ школьной методы преподаванія, не задають уроковъ, никто не контролируетъ употребленія имъ его часовъ, дней, вечеровъ и ночей.

Далѣе слѣдуютъ шаги все свободнѣе и сознательнѣе, достигается „степень зрѣлости“ безъ всякаго на нее гимназическаго диплома. Свободный выборъ науки, требующій сознательнаго взгляда на свое влеченіе къ той или другой отрасли знанія, и зарождавшееся изъ того опредѣленіе своего будущаго призванія — все это захватывало не только умъ, но и всю молодую душу. Университетъ отворялъ ему широкія ворота, не въ одну научную сферу, но и въ самую жизнь. Съ учебной почвы онъ ступаетъ на ученую. Умственный горизонтъ его раздвигается, передъ нимъ открываются перспективы и параллели наукъ и вся безконечная даль знанія, а съ нею и настоящая, законная свобода — свобода науки. Программы, инструкціи безсильны противъ свободы науки. Сжатая въ учебныхъ классахъ, какъ рѣбка въ тѣсныхъ



берегахъ, она съ университетской кафедрѣ изливается широкимъ и вольнымъ потокомъ. Между профессоромъ и слушателями устанавливается живой токъ передачи жадному вниманію ихъ ея откровеній, истинъ, гипотезъ. Этой свободы не даютъ или не давали (такъ какъ я говорю о прошломъ) другія изъ высшихъ гражданскихъ, военныхъ или духовныхъ заведеній.

Я не говорю, чтобы свободѣ этой не полагалось преградъ: страхъ, чтобы она не окрасилась въ другую, т.-е. политическую окраску, заставлялъ начальство слѣдить за лекціями профессоровъ, хотя проблески этой ненаучной свободы проявлялись болѣе внѣ университета; свободомысліе почерпалось изъ другихъ, неуниверситетскихъ источниковъ. Въ университетахъ молодежь, болѣе чѣмъ въ другихъ заведеніяхъ, ограждена серіозною содержательностію занятій отъ многихъ опасныхъ увлеченій, заносимыхъ туда извнѣ, больше издалека...

Я и братъ мой, и еще нѣкоторые прежніе школьные товарищи, вмѣстѣ готовились къ вступительному экзамену и вмѣстѣ подали просьбу ректору университета. Это было въ августѣ 1831 года: 1830-й — былъ холерный годъ, и лекцій не было. Бывшимъ уже въ университетѣ студентамъ не зачли этого года. Братъ и я поступали — онъ въ юридическій факультетъ, а я въ филологическій, или, какъ тогда назывались они — первый „этико-политическимъ“, а второй — „словеснымъ“.

Личный составъ нашихъ профессоровъ былъ очень удачный, съ малыми, едва замѣтными исключеніями. Первымъ считали мы — и по старшинству лѣтъ и по достоинствамъ, М. Т. Каченовскаго. Это былъ тонкій, аналитическій умъ, скептикъ въ вопросахъ науки и отчасти, кажется, во всемъ; при этомъ — строго справедливый и честный человекъ. Онъ читалъ русскую исторію и статистику; но у него была масса познаній по всѣмъ частямъ. Онъ зналъ древніе и новыя языки, иностранныя литературы, но особенно обширны были его познанія въ исторіи и во всемъ, что входитъ въ ея сферу — археологія и проч. Любимая его часть въ исторіи была этнографія. Особенную симпатію онъ питалъ къ польскимъ историкамъ (самъ онъ былъ родомъ изъ Малороссіи и выказывалъ явное расположеніе къ своимъ землякамъ) и лѣтописцамъ. И томилъ же онъ насъ по-

дробностями происхожденія однихъ народовъ и племенъ отъ другихъ! До сихъ поръ иногда будто слышишь его рассказы о развѣтвленіяхъ народовъ, болѣе всего — о финскихъ племенахъ, далѣе о печенѣгахъ, о половцахъ, о торкахъ, берендѣяхъ, черныхъ клобукахъ, о томъ, что сѣверные и южные славяне — никакъ не одно, а два различныя племена, сошедшіяся съ противоположныхъ сторонъ, съ сѣвера и съ юга, и т. д. Когда онъ касался послѣдняго излюбленнаго имъ вопроса о различіи происхожденія сѣверныхъ и южныхъ русиновъ, или вообще какого-нибудь спорнаго въ исторіи вопроса, щеки его, обыкновенно блѣдныя, загорались алымъ румянцемъ и глаза блистали сквозь очки, а въ голосѣ слышался задоръ прежняго редактора „Вѣстника Европы“. Онъ мысленно видѣлъ предъ собою своихъ ученыхъ противниковъ и поражалъ ихъ стрѣлами своего неумолимаго анализа. Онъ терпѣть не могъ никакихъ мнѣевъ въ исторіи и начиналъ лекціи русской исторіи съ Владимира, предупредивъ насъ, что онъ не станетъ повторять басенъ, которыя мы слышали въ школѣ, напримѣръ объ оригинальномъ мщеніи Ольги за смерть Игоря, о змѣѣ, ужалившей Олега, о кожаныхъ деньгахъ, — особенно о кожаныхъ деньгахъ. Какъ теперь помню его подлинныя слова: „Какъ могъ Карамзинъ, человекъ съ необыкновеннымъ умомъ, допустить, чтобы могли быть въ обращеніи кожаные клочки, не обезпеченные никакой гарантіей!“ О шкурахъ кожаныхъ, представлявшихъ будто бы свою собственную цѣнность, онъ и слышать не хотѣлъ. Онъ отвергалъ также подлинность „Слова о полку Игоревѣ“, считая его позднѣйшей поддѣлкой, кажется XIV вѣка, о чемъ однажды вошелъ въ горячій споръ съ Пушкинымъ, котораго привезъ на лекцію министръ Уваровъ.

Здѣсь я сдѣлаю небольшое отступленіе по поводу этого, приснопамятнаго миѣ — конечно, и всѣмъ тогдашнимъ студентамъ — посѣщенія великаго поэта, тогда уже въ апогеѣ его славы. Когда онъ вошелъ съ Уваровымъ, для меня точно солнце озарило всю аудиторію: я въ то время былъ въ чадѣ обаянія отъ его поэзіи; я питался ею, какъ молокомъ матери; стихъ его приводилъ меня въ дрожь восторга. На меня, какъ благотворный дождь, падали строфы его созданій („Евгенія Онѣгина“, „Полтавы“ и др.). Его генію я и всѣ тогдашніе юноши, увлекавшіеся поэзіею, обязаны непосред-



ственнымъ вліяніемъ на наше эстетическое образованіе. Передъ тѣмъ однажды я видѣлъ его въ церкви у обѣдни — и не спускалъ съ него глазъ. Черты его лица вѣзались у меня въ памяти. И вдругъ этотъ геній, эта слава и гордость Россіи — передо мной въ пяти шагахъ! Я не вѣрилъ глазамъ. Читалъ лекцію Давыдовъ, профессоръ исторіи русской литературы.

„Вотъ вамъ теорія искусства“, сказалъ Уваровъ, обращаясь къ намъ, студентамъ, и указывая на Давыдова, „а вотъ и самое искусство“, прибавилъ онъ, указывая на Пушкина. Онъ эффектно отчеканилъ эту фразу, очевидно, заранее приготовленную. Мы всѣ жадно впились глазами въ Пушкина. Давыдовъ окончилъ лекцію. Рѣчь шла о „Словѣ о полку Игоревомъ“. Тутъ же ожидалъ своей очереди читать лекцію, послѣ Давыдова, и Каченовскій. Нечаянно между ними завязался, по поводу „Слова о полку Игоревомъ“, разговоръ, который мало-по-малу перешелъ въ горячій споръ. — „Подойдите ближе, господа, — это для васъ интересно“, пригласилъ насъ Уваровъ, и мы тѣсной толпой, какъ стѣной, окружили Пушкина, Уварова и обоихъ профессоровъ. Не умѣю выразить, какъ велико было наше наслажденіе — видѣть и слышать нашего кумира.

Я не припомню подробностей ихъ состязанія, — помню только, что Пушкинъ горячо отстаивалъ подлинность древнерусскаго эпоса, а Каченовскій вонзалъ въ него свой безпощадный аналитическій ножъ. Его щеки ярко горѣли алымъ румянцемъ, и глаза бросали молніи сквозь очки. Можетъ-быть, къ этому раздраженію много огня прибавлялъ и извѣстный литературный антагонизмъ между ними и Пушкинымъ. Пушкинъ говорилъ съ увлеченіемъ, но, къ сожалѣнію, тихо, сдержаннымъ тономъ, такъ что за толпой трудно было разслушать. Впрочемъ, меня занималъ не Игорьъ, а самъ Пушкинъ.

Съ перваго взгляда наружность его казалась невзрачною: средняго роста, худощавый, съ мелкими чертами смуглаго лица. Только когда взглядишься пристально въ глаза, увидишь задумчивую глубину и какое-то благородство въ этихъ глазахъ, которыхъ потомъ не забудешь. Въ позѣ, въ жестахъ, сопровождавшихъ его рѣчь, была сдержанность свѣтскаго, благовоспитаннаго человѣка. Лучше всего, по-моему, напоминаетъ его гравюра Уткина съ портрета Кипренскаго.

Во всѣхъ другихъ копіяхъ у него глаза сдѣланы слишкомъ открытыми, почти выпуклыми, носъ выдающимся — это не-вѣрно. У него было небольшое лицо и прекрасная, пропорціо-нальная лицу, голова, съ густыми, вудрявыми волосами.

Обращаюсь къ Каченовскому. Онъ отвергалъ участіе вся-кихъ сантиментовъ въ изученіи исторіи, а разнималъ ее холодной критикой, какъ анатомическимъ ножомъ трупъ. Мѣста священнымъ патріотическимъ чувствамъ въ наукѣ для него не было. Всѣ подобные спорные вопросы онъ, говорю, разбиралъ съ нѣкоторымъ раздраженіемъ въ лицѣ, въ голосѣ. Обыкновенно же онъ читалъ медленно, вяло, и пожалуй, если не вслушиваться глубоко въ его рѣчь, то и скучно: точно какъ старый дядька нехотя мямлитъ въ со-тый разъ сказку дѣтямъ, чтобъ усыпить ихъ. Нѣкоторые и засыпали или, по крайней мѣрѣ, дремали подъ его одно-образный, монотонный говоръ. Но всѣ, слѣдившіе за непре-рывной нитью его историческихъ рассказовъ, слушали съ глу-бокимъ интересомъ этотъ тонкій анализъ, въ которомъ самъ профессоръ никогда не приходилъ къ синтезу. Послѣдній возникалъ у слушателя самъ собою, по окончаніи лекціи или лекцій. Онъ принесетъ съ собой нѣсколько какихъ-то лист-ковъ, клочковъ пергамента, кнѣгу, лѣтопись какую-нибудь. Начнетъ съ подробности, мелочи и около нея опытной, твер-дой рукой начертитъ узоръ событія, подтвердитъ или опро-вергнетъ принятыя гипотезы и освѣтитъ эпоху со всѣхъ сто-ронъ. Однажды принесъ, наримѣръ, кнѣгу съ рисунками абраксасовъ, печатей новгородскихъ посадниковъ, и при этомъ объяснилъ способы управленія ихъ.

И всю исторію такъ читалъ, точно смотрѣлъ въ нее глу-боко, какъ въ бездну, сквозь свои критическія очки. Мы слушали, записывали: это и было программой его лекцій, безъ которой мы не знали бы что дѣлать на экзаменѣ, по-тому что онъ лекцій не давалъ. Да тогда почти и никто не давалъ ихъ, по крайней мѣрѣ, въ словесномъ факультетѣ.

Вмѣстѣ съ Каченовскимъ наше уваженіе и симпатію раз-дѣлялъ профессоръ *теоріи изящныхъ искусствъ и археоло-гій*, Н. П. Надеждинъ. Это былъ человѣкъ съ многосторон-нею, всѣмъ извѣстною ученостью по части философій, филологій. Его извѣстная диссертация о классицизмѣ и ро-мантизмѣ имѣла огромный успѣхъ и сразу сдѣлала ему имя



въ ученой литературѣ. Потомъ онъ получилъ кафедру и основалъ журналы: „Телескопъ“ и „Молву“. Это былъ самый симпатичный и любезный человѣкъ въ обращеніи, и какъ профессоръ онъ былъ намъ дорогъ своимъ вдохновеннымъ, горячимъ словомъ, которымъ вводилъ насъ въ таинственную даль древняго міра, передавая духъ, бытъ, исторію и искусство Греціи и Рима. Чего только не касался онъ въ своихъ импровизованныхъ лекціяхъ! Онъ читалъ на память, не привозя никакихъ записокъ съ собою. Память у него была изумительная. Онъ одинъ замѣнялъ десять профессоровъ. Излагая теорію изящныхъ искусствъ и археологію, онъ излагалъ и общую исторію Египта, Греціи и Рима. Говоря о памятникахъ архитектуры, о живописи, о скульптурѣ, наконецъ, о творческихъ произведеніяхъ слова, онъ касался и исторіи философіи. Излагая горячо, почти страстно, передъ нами сокровища знанія, онъ училъ насъ и мастерскому владѣнію рѣчи. Записывая только одинъ его лекціи, можно было научиться чистому и изящному складу русскаго языка.

А тутъ еще Шевыревъ, тогда молодой, свѣжій человѣкъ, принесъ намъ свой тонкій и умный критическій анализъ чужихъ литературъ, начиная съ древнѣйшихъ — индійской, еврейской, арабской — до новѣйшихъ западныхъ литературъ. Онъ тоже блисталъ изяществомъ рѣчи, но это была менѣе искренняя и кипучая рѣчь, чѣмъ у Надеждина, зато болѣе сдержанная, мѣрная, щегольская, заранее заготовленная, всегда тщательно обдуманная, обработанная. Онъ и читалъ по рукописи. Какъ благодарны мы были ему за этотъ безконечный рядъ какъ будто галлерей обширнаго музея — рядъ произведеній старыхъ и новыхъ литературъ, выставляемыхъ имъ передъ нами съ тщательною подготовкою, съ тонкой и глубокой критической оцѣнкой ихъ! И какъ не благодарить за безчисленные ключи, которые оба эти учителя намъ давали къ уразумѣнію всѣхъ еврейскихъ, греческихъ, римскихъ и новыхъ западныхъ произведеній ума и фантазіи, по лучшимъ старымъ и современнымъ критическимъ оцѣнкамъ, независимо отъ своей собственной? Долго, безъ такихъ умныхъ истолкователей, пришлось бы намъ потомъ самостоятельнымъ путемъ открывать глаза на библейскихъ пророковъ, на произведенія индійской поэзіи, на эпосы Гомера,

Данта, на Шекспира, до новѣйшихъ — французской, нѣмецкой, англійской литературѣ, словомъ — на все, что мы читали по ихъ указанію тогда и что дочитывали послѣ нихъ. Глубокій и благодарный поклонъ ихъ памяти!

Съ меньшей симпатіей или, говоря правду, вовсе безъ симпатіи, относились мы къ профессору исторіи русской литературы, хотя въ своемъ родѣ знаменитому — П. П. Давыдову. Эта знаменитость была какая-то дѣланная, съ натяжками. Въ обществѣ его принимали за то, чѣмъ онъ хотѣлъ казаться, но мы, юноши, чутко прозирали въ немъ что-то искусственное, декоративное. Высокаго роста, нѣсколько сутуловатый, съ довольно благообразнымъ лицомъ, умными сѣрыми глазами, съ мѣрными, округленными жестами, онъ держалъ себя съ условнымъ достоинствомъ; рѣчь его была плавная, исполнена приличія. Но отъ него вѣяло холодомъ, напускною величавостью, которая быстро превращалась въ позу покорности и смиренія при появленіи какой-нибудь важной персоны изъ начальства. Онъ считался универсальнымъ ученымъ: читалъ когда-то лекціи высшей алгебры, занялъ было кафедру философіи, но съ первыхъ же лекцій, кафедра была закрыта. При насъ онъ занималъ кафедру исторіи литературы, послѣ профессора Мерзлякова, — человека умнаго, даровитаго, старой школы. Я не засталъ его: онъ оставилъ кафедру за годъ или за два передъ моимъ вступленіемъ. Старше студенты симпатично вспоминали его умные, живые разборы произведеній тогдашней школы нашихъ классиковъ — Державина, Ломоносова, Фонвизина, Княжнина, Озерова и другихъ. Кажется, до новыхъ — Жуковского, Батюшкова, Пушкина — онъ не договаривался. Онъ, конечно, судя по воспоминаніямъ о немъ слушавшихъ его студентовъ, умѣлъ бы понять и оцѣнить по достоинству и этихъ — еще новыхъ — писателей. Самъ онъ писалъ не мало стихами, переводилъ изъ древнихъ классиковъ. Между прочимъ, онъ — авторъ общеизвѣстной пѣсни или романса: „Среди долины ровныя“, которая пѣлась тогда вездѣ, и теперь еще, можетъ-быть, поется въ скромныхъ провинціальныхъ углахъ.

На лекціи Давыдова собирались иногда и посторонніе слушатели, разные московскіе тузы, въ качествѣ гостей. Но ни эти гости ни студенты не выносили съ лекціи ничего особенно вѣскаго, замѣчательнаго, кромѣ болѣе или менѣе



красивыхъ фразъ, сквозь которыя видѣлась нагота мысли, содержанія. Сколько помню, одинъ годъ онъ читалъ теорію словесности, а другой — собственно исторію литературы. Особенно много распространялся онъ объ ораторскомъ искусствѣ: Квинтилианъ, Блэръ, Батте не сходили у него съ языка. Но самому ему не далась *ars oratoria*; искры, *feu sacré*, у него не было, и мы тихонько позѣвывали отъ скуки. О художественныхъ произведеніяхъ онъ передавалъ условную, ходячую оцѣнку ихъ, и когда останавливался на признанныхъ всѣми красотахъ — у него никогда не вырывалось горячаго слова его собственнаго сочувствія, даже когда приходилось ему приводить разныя мѣста, напримѣръ, изъ Пушкина, тогда въ разгарѣ его дѣятельности и славы. Мы глубоко уважали и горячо цѣнили Каченовскаго, любили Надеждина, Шевырева, а Ивана Ивановича Давыдова почитали за ученаго и... вмѣстѣ ловкаго, практическаго человѣка, по симпатіи, повторяю, у насъ къ нему не было.

Ловкимъ и практическимъ человѣкомъ мы считали его потому, что онъ былъ въ большомъ ходу въ московскомъ обществѣ, занималъ, кромѣ профессорской, другія должности (кажется, директора сиротскаго холернаго института) и былъ въ большомъ фаворѣ у министра. Потомъ это подтвердилось: онъ перешелъ на службу въ Петербургъ, на должность директора педагогическаго института, нахваталъ чиновъ, звѣздъ, и достигъ званія сенатора. Но и Иванъ Ивановичъ принесъ намъ значительную дозу пользы тѣмъ, что знакомилъ насъ такъ же, какъ и Надеждинъ съ Шевыревымъ, съ исторіею философіи и потомъ упражнялъ въ русскомъ словѣ практически. Онъ поручалъ двумъ студентамъ по очереди составлять перечень каждой прочитанной имъ лекціи и потомъ разбиралъ при всѣхъ ихъ трудъ. Эти перечни и служили намъ записками для экзаменовъ. Здѣсь приходилось на нашу долю выслушивать не мало умныхъ и дѣльных критическихъ замѣтокъ и полезныхъ совѣтовъ. Къ сожалѣнію, этотъ смотръ производился только одинъ разъ, а не всѣ три раза въ недѣлю на его лекціяхъ. Такіе практическіе уроки были бы намъ несравненно полезнѣе его разглагольствованій о Ломоносовѣ и Державинѣ, о Квинтилианѣ и Батте съ Блэромъ.

М. П. Погодинъ читалъ намъ всеобщую исторію и статистику — и то подъ конецъ, на третьемъ курсѣ. Собственно,

онъ принадлежалъ къ юридическому факультету, гдѣ читалъ русскую исторію. Совѣтъ университета вдругъ какъ будто спохватился, что мы, словесники, остаемся безъ кафедры всеобщей исторіи, и отрядилъ для этого дѣла Погодина. Онъ читалъ по Герену, скучно, безцвѣтно, монотонно и невнятно, но былъ очень щекотливъ, когда замѣчалъ въ комъ-нибудь невниманіе къ себѣ.

У Михаила Петровича тоже, какъ и Давыдова, было кое-что напускное и въ характерѣ его и въ его взглядѣ на науку. Мы чужали, что у него внутри меньше пыла, нежели сколько онъ заявлялъ въ своихъ историческихъ — ученыхъ и патріотическихъ настроеніяхъ, что къ правосудію онъ прибѣгалъ ради поддержанія тѣхъ или другихъ принциповъ, а не по импульсу искреннихъ увлеченій. Можетъ-быть, казалось мнѣ иногда, онъ про себя и раздѣлялъ какой-нибудь отрицательный взглядъ Каченовскаго и его школы на то или другое историческое событіе, но отстаивалъ послѣднее, если оно льстило патріотическому чувству, національному самолюбію, или касалось какой-нибудь народно-религіозной святыни и т. п. Помнится, онъ даже одну изъ своихъ лекцій въ этомъ смыслѣ называлъ: „Перчатка Строеву и Каченовскому“. Не знаю, подняли ли они эту перчатку?

Всѣ эти пятеро профессоровъ, — одни болѣе, другіе меньше, — какъ я сказалъ, имѣли вмѣстѣ огромное вліяніе на наше развитіе и образованіе. Зато объ остальныхъ нельзя было сказать и десятой доли того же.

Впрочемъ, эти остальные были профессора: греческой словесности — С. М. Пвашковскій, латинской — И. М. Снегиревъ, оба извѣстные ученые и знатоки чужихъ и своихъ древностей; потомъ лекторы французской и нѣмецкой литературъ — Декампъ и Кистеръ.

С. М. Пвашковскій, о которомъ я упоминалъ выше, былъ добродушнѣйшій старикъ, страстный любитель греческихъ классиковъ: между нами ходило мнѣніе, что онъ да какой-то протоіерей Успенскаго собора были первые эллинисты чуть ли не въ цѣломъ мірѣ. Пвашковскій въ теченіе многихъ десятилѣтій высидалъ свой греческій словарь; не знаю, высидалъ ли что-нибудь протоіерей.

Пвашковскій, углубившись на лекціи въ книгу, самъ какъ будто упражнялся вмѣсто насъ: онъ читалъ, перебивалъ



студентовъ (все больше на удареніяхъ), что не такъ читаютъ, не такъ понимаютъ или переводятъ, какъ онъ, съ сердцемъ спѣшилъ доказывать самъ, и потому никогда не могъ отличить знающихъ по-гречески отъ незнающихъ. Мы замѣтили эту его черту и искусно умѣли ею пользоваться, выжидая, когда онъ самъ доскажетъ „мудреное мѣсто“, и повторяли за нимъ. Онъ очень былъ доволенъ и ставилъ хорошіе баллы всѣмъ, т.-е. собственно самому себѣ. У него была странная привычка — шпиковать свою русскую рѣчь словомъ „будеть“ — некстати, безъ всякой надобности. „Скажите — будетъ — мнѣ, какъ вы понимаете — будетъ — вотъ этотъ стихъ — будетъ — въ третьей пѣсни Иліады“ и т. д., — говорилъ онъ. Сначала это забавляло, а потомъ мы привыкли, и для потѣхи приводили товарищей изъ другихъ факультетовъ послушать. Тѣ ушамъ не вѣрили и помпировали со смѣху.

Мы лукаво пользовались еще его добродушіемъ, чтобы сокращать лекціи. Онъ любилъ съ кѣмъ-нибудь изъ близко извѣстныхъ ему студентовъ, ходя взадъ и впередъ по аудиторіи, побесѣдовать. Для этого и командировался чаще всего кто-нибудь изъ вышедшихъ изъ семинаріи и знавшихъ по-гречески студентовъ. И они похаживали вдвоемъ и бесѣдовали, а мы всѣ бесѣдовали тихо про себя — иногда съ полчаса, такъ что на лекцію оставалось тоже полчаса.

Съ древностями греческими мы изъ его лекцій не вынесли никакого знакомства, кромѣ подробнѣйшихъ и скучнѣйшихъ описаній утвари, оружія и т. п., по какой-то, съ нѣмецкаго языка переведенной, прокисшей книгѣ — и заучивали для экзамена, потомъ забывали. Никакой общей идеи, никакого рисунка древняго быта, никакого взгляда, синтеза — ничего не могъ намъ дать этотъ почтенный греческій книгоѣдъ; онъ давалъ одну букву, а духъ отсутствовалъ. За него сдѣлали это дѣло Надеждинъ и Шевыревъ.

И. М. Снегиревъ, профессоръ латинской словесности и древностей, былъ очень замѣчательною фигурой во многихъ отношеніяхъ. Вкрадчивый, тонкій, но въ то же время циничный, безцеремонный, съ нами добродушный — онъ разбиралъ римскихъ писателей, такъ себѣ, тоже съ одной только чисто лингвистической стороны, мало знакомя насъ, какъ и Ивашковскій, съ духомъ и исторіею древнихъ. Кажется, ему до нихъ мало было дѣла, а намъ мало было дѣла

до него. Онъ, какъ иногда казалось мнѣ, будто притворялся знатокомъ римскихъ древностей. Мы были другъ къ другу равнодушны и уживались съ нимъ очень хорошо. Онъ же иногда умѣлъ сдабривать лекціи остротами и анекдотами: балагурство было, кажется, господствующею чертою его характера. Онъ и въ обществѣ имѣлъ репутацію буфона и наживалъ себѣ однимъ этимъ, кромѣ разныхъ другихъ продѣлокъ, много враговъ. Онъ исподтишка мастеръ былъ посмѣяться надъ всякимъ, кто попадется подъ руку, и, говорятъ, нерѣдко „лилъ свои пули“ передъ митрополитомъ Филаретомъ, у котораго (и вообще у высшаго духовенства) онъ былъ принятъ на короткой ногѣ, благодаря болѣе всего своимъ познаніямъ въ русскихъ, особенно въ церковныхъ древностяхъ, которыя дались ему больше, чѣмъ римскія.

Дека́мпа можно было также назвать: *le superbe*. Это былъ значительно потертый и поношенный французъ стараго пошиба, съ задираніемъ головы и носа, съ напускною важностью во взглядѣ и въ тонѣ, съ округленною, напыщенною фразою, и прямой, какъ палка. Исторіею французской литературы назывался у него перечень писателей съ IX вѣка, съ поименованіемъ ихъ сочиненій и съ краткою, въ нѣсколько строкъ, установившеюся во французскихъ учебникахъ критическою оцѣнкою. Напыщеннымъ, изысканнымъ языкомъ онъ возвѣщалъ намъ эти заповѣди французскихъ критиковъ, не освѣщая ничего своимъ собственнымъ впечатлѣніемъ и взглядомъ. Да едва ли ли у него и было то и другое. Всякое живое слово или движеніе вывело бы его, пожалуй, изъ позы буддійскаго идола и нарушило статуарное величіе его фигуры. Говорятъ, онъ имѣлъ большой успѣхъ въ свѣтскихъ салонахъ — развѣ потому только, что онъ французъ, да за эту скульптурную величавость и за декламаціонный тонъ рѣчи. Конечно, для студентовъ не бесполезно было послушать часа три въ недѣлю такого красноречія — собственно для французскаго языка, не бесполезно также, въ смыслѣ упражненія, и заучить его тетрадку съ перечнемъ именъ и сочиненій, написанную хорошимъ, правильнымъ языкомъ.

Еще полезнѣе было писать сочиненія на задаваемые Декампомъ темы: онъ по очереди предлагалъ двѣ-три темы нѣсколькимъ студентамъ и потомъ, какъ Давыдовъ, разбиралъ на лекціи написанное. Задавая, онъ всегда педантически на-



значалъ, — какъ, бывало, наши старые риторы задавали хрѣн, — и программу, какъ писать. Напримѣръ, изъ Іліады задасть написать о прощеніи Гектора съ Андромахой, или изъ римской исторіи о какихъ-нибудь Гракхахъ: скажетъ тезисъ, потомъ *récapitulation*, потомъ развитіе и заключеніе, — такъ что самое сочиненіе выходило у всѣхъ гораздо короче программы. Ну, Богъ съ нимъ, съ французомъ, и съ нѣмцемъ тоже! — Эгооть все натуживался пересилить своимъ старческимъ, надтреснутымъ голосомъ говоръ студентовъ, которые не стѣснялись при немъ — и все напрасно: въ эгихъ усиліяхъ прошли всѣ два года его чтеній.

Упомяну еще о профессорѣ богословія, священникѣ Терновскомъ. Это былъ не то что „добрый батюшка“, а настоящій строгій профессоръ. Слушаніе его лекцій, не знаю почему, было обязательно для студентовъ юридическаго факультета во весь трехгодичный курсъ. Для прочихъ факультетовъ положено было слушать его только первый годъ. Одинъ годъ онъ читалъ догматическое, а другой — нравственное богословіе. Мнѣ пришлось прослушать послѣднее. Онъ читалъ скоро и много: въ часъ начитаетъ листовъ шесть писанныхъ и, кончая, — дасть программу прочитаннаго. На слѣдующей лекціи онъ вызоветъ кого-нибудь пересказать прочитанное въ прошлый разъ. Этого боялись и прятались за спины товарищей, чтобы онъ не вызвалъ. Отмѣткамъ его придавался особый вѣсъ. Получившій у него единицу не переводился на слѣдующій курсъ. Его подробныя, ученныя и сухія лекціи какъ-то мало вязались съ жизнью. Онѣ выучивались къ экзамену и потомъ забывались. Таковъ былъ персоналъ нашихъ университетскихъ преподавателей. Съ нимъ мы вступили на послѣдній университетскій 1833—1834 годъ: тогда курсъ для факультетовъ, кромѣ медицинскаго, былъ трехлѣтній. Для медиковъ полагалось четыре года.

Наконецъ, университетъ пройденъ. Въ іюнѣ 1834 года, послѣ выпускныхъ экзаменовъ, мы всѣ, какъ птицы, разлетѣлись въ разныя стороны. Мы съ братомъ уѣхали домой, на Волгу, гдѣ я, прожилъ около года, въ 1835 году переѣхалъ въ Петербургъ и остался тамъ навсегда.

Университетскій офиціальный курсъ кончился, но вліяніе университета продолжалось. Потерявъ изъ виду своихъ товарищей-словесниковъ, я не забылъ профессоровъ и ихъ

указаній. Въ Петербургѣ, тщательно изучая иностранныя литературы, я уже регулировалъ свои занятія по тому методу и по тѣмъ указаніямъ, которыя преподали намъ въ университетѣ наши вышеозначенные любимые профессора.

То же самое, конечно, болѣе и лучше меня, дѣлали современные мнѣ студенты: К. Аксаковъ, Станкевичъ, Бодянский, Сергѣй Строевъ. Не называю ихъ товарищами, потому что не былъ съ ними знакомъ. Я слыхалъ только тогда, что они, составляя одну группу и занимая одинъ уголъ въ обширной аудиторіи, собирались другъ у друга, читали, мѣнялись мыслями и едва ли не являлись въ печати уже тогда. Это, можетъ-быть, покажется страннымъ нынѣшнимъ студентамъ, что мы, собираясь ежедневно въ одной аудиторіи, могли быть другъ съ другомъ незнакомы. Это объясняется очень просто. Тогда студенты не составляли, какъ теперь\*), корпораціи и не были ни въ чемъ солидарны между собою, не имѣли никакихъ обязательныхъ другъ къ другу отношеній. Университетъ былъ просто правительственное учрежденіе, открывавшее свои двери для всѣхъ ищущихъ знанія. Мы собирались тамъ, какъ собираются на публичныя лекціи, въ церкви и т. п.

Не было никакой платы съ студентовъ; правительство помогало только, бѣднымъ студентамъ тѣмъ, что давало имъ квартиру и столъ. Стипендій никакихъ не было. Студенты приходили на лекцію и уходили, какъ посторонніи другъ другу лица. Никто не заботился о томъ, что тотъ или другой дѣлаетъ дома, чѣмъ онъ живетъ, чѣмъ особенно занимается. Поэтому у насъ не было никакихъ сходокъ, никакихъ сборовъ въ пользу немущихъ слушателей и, слѣдовательно, никакой студенческой кассы. Всѣ студенты дѣлились на группы близкихъ между собою товарищей, иногда прежнихъ соучениковъ въ школѣ или случайныхъ знакомыхъ, иногда просто сосѣдей на университетской скамьѣ.

Я сейчасъ упомянулъ о группѣ Станкевича, Строева и другихъ; потомъ была группа казенныхъ студентовъ, семинарисговъ, и много другихъ, мелкихъ кружковъ. Эти группы не сливались между собою, ничто не связывало ихъ другъ съ другомъ. Каждая группа имѣла свой центръ; члены ея

---

\*) Т.-е. въ началѣ 70-хъ годовъ



собирались между собою, вмѣстѣ вели записки лекцій, вмѣстѣ читали книги, готовились къ экзаменамъ — и, конечно, часто вмѣстѣ проводили время внѣ университета.

Студенты были раскиданы по всей обширной Москвѣ, сходились — кто пѣшкомъ, кто въ экипажѣ — на лекціи. Ничто не отвлекало отъ занятій тѣхъ, кто хотѣлъ заниматься, потому что другихъ обязательныхъ занятій, кромѣ лекцій, не было. Никакихъ баловъ, концертовъ, спектаклей, въ пользу неимущихъ слушателей, не давалось; не было сходовъ, студенты не являлись въ роли устроителей и распорядителей означенныхъ увеселеній, также не несли на себѣ заботъ рѣшать вопросъ о пособіяхъ болѣе нуждающимся товарищамъ и завѣдывать кассами. Все было патріархально и просто: ходили въ университетъ какъ къ источнику за водой, запасались знаніемъ кто какъ могъ, — и, кончивъ свои годы, расходились. Не берусь рѣшать: было ли это лучше, или хуже нынѣшняго. Полагаю, есть своя хорошая и своя дурная сторона медали. Хорошая — та, что студентъ, какъ сказано, не отвлекался ничѣмъ постороннимъ отъ своихъ прямыхъ занятій, что особенно удобно было въ московскихъ уголкахъ и затишьяхъ, отдаленныхъ отъ всякаго шума и суеты. Дурная сторона медали — это равнодушіе къ товарищамъ, изъ которыхъ многіе, очевидно, боролись съ нуждой. Теперь, кажется, юношеству облегчены средства, не только къ прохожденію курса, но обеспечена поддержка и послѣ, когда не посчастливится кончившему курсъ скорѣ пристроиться къ какому-нибудь дѣлу.

*Изъ „Воспоминаній“ Гончарова.*

---

## Путешествіе Гончарова и его литературная дѣятельность.

Въ 1852 г. Гончаровъ при содѣйствіи министра народнаго просвѣщенія А. С. Норова „былъ командированъ для исправленія должности секретаря при адмиралѣ (Путятинѣ) во время экспедиціи къ русскимъ американскимъ владѣніямъ“. Экспедиція имѣла опредѣленную цѣль — именно заключеніе торговаго договора съ Японіею, тогда еще безвѣст-

ной и таинственной страной, на берега которой почти не высаживались европейцы.

Въ началѣ дѣло налаживалось плохо. „И привычнымъ людямъ казалось трудно такое плаваніе, — говоритъ Гончаровъ, — а мнѣ, новичку, оно было еще невыносимо и потому, что у меня отъ осенняго холода возобновились жестокіе припадки, которыми я давно страдалъ, невралгїи съ головными и зубными болями. Въ каютѣ отъ вѣшняго воздуха съ дождемъ, отчасти съ морозомъ защищала одна рама въ маленькомъ окнѣ. Иногда я приходилъ въ отчаяніе. Какъ при этихъ боляхъ я выдержу двух- или трехгодичное плаваніе? Я слегъ и утѣшалъ себя мыслью, что, добравшись до Англіи, вернусь назадъ. И къ этому еще туманы, качка, холодъ!...“

Много прошло времени, пока настроеніе не стало ровнымъ и устойчивымъ. Первые мѣсяцы плаванія его психика находилась въ полной власти и распоряженіи погоды. „Было тепло, — пишетъ онъ, — мнѣ стало легче, я вышелъ на палубу. И теперь еще помню, какъ поразила меня прекрасная, тогда новая для меня, картина чужихъ береговъ, датскаго и шведскаго... Обаяніе, производимое величественною картиною этого моря и береговъ, возымѣло свое дѣйствіе падо мною. Я невольно отдавался ему, но потомъ опять возвращался къ своимъ сомнѣніямъ: привыкну ли я къ морской жизни, дадутъ ли мнѣ покой ревматизмы? Море и тянетъ къ себѣ, и пугаетъ — пока не привыкнешь къ нему“.

Лишь по приходѣ въ Англію забылись и страшныя и опасныя минуты, головная и зубная боль прошли, и фрегатъ, простоявши въ докахъ два мѣсяца, пустился далѣе. Гончаровъ забылъ и думать о своемъ намѣреніи воротиться. Хотя адмиралъ, узнавъ его болѣзни, соглашался было отпустить его. Впередъ, дальше — манило новое. „Тамъ, въ задумчивой дали, было тепло, и ревматизмы невѣдомы“. Мало-по-малу Гончаровъ привыкъ и къ корабельной качкѣ, и къ морскимъ терминамъ, научился писать рапорты, уснащая ихъ странными и даже дикими на первый взглядъ спеціальными выраженіями, освоился съ веселой, добродушной компаніей моряковъ и почувствовалъ себя, какъ дома. Въ дорогѣ, кромѣ спеціальныхъ секретарскихъ отчетовъ, Гончаровъ писалъ еще письма, печатавшіяся въ „Морскомъ Сборникѣ, —



и въ нихъ просто, безъ претензій, рассказывалъ свои впечатлѣнія. Изъ этихъ писемъ составилось въ послѣдствіи двухъ-томное описаніе плаванія: „Фрегатъ Паллада“.

„Фрегатъ Паллада“ — несомнѣнно одно изъ лучшихъ произведеній русской описательной литературы, — рѣдкая книга, доступная и образованнымъ и необразованнымъ, взрослымъ и дѣтямъ. Она не затруднитъ ничьего пониманія, не поработитъ ничьего воображенія, но дастъ просторъ мысли и фантазіи всякаго читателя. Съ этой точки зрѣнія „Фрегатъ Паллада“ обладаетъ неосцѣненными достоинствами. „Замѣтимъ, — говоритъ одинъ критикъ, — что при страсти, свойственной людямъ сороковыхъ годовъ, ко всякаго рода художественнымъ описаніямъ, особенно ландшафтамъ и бытовымъ картинамъ, никогда не процвѣтали у насъ въ такой степени путевые очерки, письма и впечатлѣнія, какъ въ сороковые и пятидесятые годы. Изъ особенно выдающихся такого рода литературныхъ памятниковъ упомянемъ: „Письма объ Испаніи“ В. Боткина, „Путевыя письма изъ Италіи“ П. Ковалевскаго, печатавшіяся въ концѣ 50-хъ годовъ въ „Отечественныхъ Запискахъ“. Но во главѣ подобныхъ произведеній по художественному значенію слѣдуетъ поставить „Фрегатъ Паллада“. Здѣсь во всей своей силѣ проявилось лучшее качество таланта Гончарова — мастерство изобрѣтательности, исполненное живой, осязательной пластичности и детальности. Картины тропической природы, африканскихъ и индѣйскихъ портовъ, гдѣ останавливался фрегатъ и предъ наблюдательными взорами художника развертывалась яркая, пестрая жизнь, совершенно чуждая всему, къ чему привыкли его взоры, словно какъ бы какого-то фантастически-сказочнаго характера, — все это представляетъ собою нѣчто единственное по своему совершенству и художественной высотѣ во всѣхъ европейскихъ литературахъ. Но какія волшебныя картины ни раскрываетъ передъ нами авторъ, онъ все-таки остается горячо любящимъ свою родину со всею блѣдностью и тусклостью ея сѣверной природы; ни на минуту не забываетъ онъ Россіи, и книга его полна остроумныхъ и мѣткихъ сравненій и сопоставленій картинъ или нравовъ чуждыхъ странъ съ родными. Въ то же время ни на минуту не покидаетъ Гончарова его добродушный, веселый юморъ; чудеса тропическихъ странъ не мѣшаютъ ему наблюдать

правы окружающих его русских моряковъ, начиная съ высшихъ чиновъ до приставленнаго къ нему денщика Оаддеева; каждое изображенное здѣсь лицо мало того что живетъ и дышитъ передъ вами, но и является въ высшей степени типичнымъ, и повседневная жизнь фрегата рисуется передъ вами во всѣхъ ея деталяхъ“.

Послѣ этой общей характеристики намъ необходимо поглубже заглянуть въ заграничныя впечатлѣнія Гончарова. Умному русскому человѣку дореформеннаго быта пришлось повидать чуть не весь свѣтъ и примѣнять свою, выработанную Обломовщиной и заграничнымъ воспитаніемъ, точку зрѣнія на самыхъ разнообразныхъ параллеляхъ и меридіанахъ. Это не можетъ не быть интереснымъ: мы услышимъ и увидимъ Гончарова всего, какъ онъ есть, во весь ростъ. Нигдѣ и никогда не говорилъ онъ такъ много отъ себя, нигдѣ и никогда не раскрывалъ онъ съ такой полнотою своего міросозерцанія, какъ именно въ „Фрегатѣ Паллада“. Это не исповѣдь, къ которой Гончаровъ никогда не былъ способенъ, а откровенная передача всѣхъ, даже мимолетныхъ, думъ, чувствъ, симпатій, гдѣ каждое слово на своемъ мѣстѣ, гдѣ нѣтъ ничего выдуманнаго, тѣмъ менѣе вымученнаго.

Однажды въ индійскомъ океанѣ, близъ мыса Доброй Надежды, Гончарову пришлось испытать сильный штормъ. — „Пошелъ дождь и началъ капать въ каюту, — рассказываетъ онъ. — Мѣсто, гдѣ я сидѣлъ, было самое удобное, и я удерживалъ его за собой до послѣдней крайности. Ревъ вѣтра долеталъ до общей каюты, размахи судна были все больше и больше. Штормъ былъ классическій во всей формѣ. Въ теченіе вечера приходили раза два за мною сверху звать посмотрѣть его. Рассказывали, какъ, съ одной стороны, вырывающаяся изъ-за тучъ луна озаряетъ море и корабль, а съ другой — нестерпимымъ блескомъ играетъ молнія. Одни думали, что я буду описывать эту картину. Но такъ какъ на мое покойное и сухое мѣсто давно уже были три или четыре кандидата, то я хотѣлъ досидѣть тутъ до ночи; но не удалось. Часовъ въ десять вечера жестоко поддало, валъ хлынулъ и разлился по всѣмъ палубамъ, на которыхъ и безъ того скопилось много дождевой воды. Она потоками устремилась въ люки, которыхъ не закрывали для воздуха. Цѣлые каскады начали хлестать въ каюту: на столъ, на скамьи,



на полъ, на насъ, не исключая и моего мѣста и меня самого. Нечего дѣлать — пришлось выйти на палубу. Мы выбирались наверхъ, темнота ужасная, вой вѣтра еще ужаснѣе. Не видно было, куда ступить. Вдругъ молнія. Она освѣтила кромѣ моря еще озеро воды на палубѣ, толпу народа, ткнувшаго какую-то снасть, да протянутые леера, чтобы держаться въ качку. Я шагаль въ водѣ черезъ веревки, сквозь толпу; добрался кое-какъ до дверей своей каюты и тамъ, ухватясь за кнехтъ, чтобы не бросило куда-нибудь въ уголь, пожалуй на пушку, остановился посмотрѣть хваленый штормъ. Молнія, какъ молнія, только безъ грома, если его за вѣтромъ не слышать. Луны не было. — „Какова картина?“ спросилъ меня капитанъ, ожидая восторговъ и похвалъ. — „Безобразіе, безпорядокъ“, отвѣчалъ я, уходя весь мокрый въ каюту переобуть обувь и бѣлье“.

Эту небольшую сцену критика давно уже отмѣтила, какъ чрезвычайно характерную для творца Обломова. Люди привыкли восхищаться необычайнымъ, поражающимъ, рѣдкимъ въ природѣ и жизни. Гончаровъ, проходя равнодушнымъ мимо яркихъ и случайныхъ эффековъ, относится гораздо внимательнѣе и любовнѣе къ простому и будничному. „Зачѣмъ оно, это дикое и грандіозное, — спрашиваетъ онъ себя, — море, на примѣръ? Богъ съ нимъ. Оно наводитъ только грусть на человѣка: глядя на него, хочется плакать. Сердце смущается робостью передъ необозримой пеленой водъ“.

Въ XIX вѣкѣ не было, кажется, ни одного поэта, который не восторгался бы моремъ. Оно — поэтическій символъ безконечнаго, таинственнаго. Оно шумитъ и бьется въ созвучіи съ гордой, оскорбленной душой Байрона, вызываетъ тихую печаль у Шелли. Въ богатомъ запасѣ его мелодій есть родныя для каждаго; но Гончарову оно представляется слишкомъ тревожнымъ. Онъ любитъ другія картины — родныя березы, густые кустарники, спокойную гладь озера, дымную избушку гдѣ-нибудь на косогорѣ. Онъ чувствуетъ себя хорошо и бодро среди дремлющей осенней природы, въ саду, въ аллеяхъ, усыпанныхъ пожелтѣвшими листьями, а бурное море... „Богъ съ нимъ!“ Горы и пропасти тоже мало его привлекаютъ. „Они созданы не для увеселенія человѣка. Онѣ грозны, страшны“. Въ нихъ природа какъ будто волнуется, сердится, угрожаетъ, чего-то ищетъ, куда-то мечется.

Обломовка понятнѣе, милѣе, она — „своя“. „Небо тамъ, кажется, напротивъ, ближе жметъ къ землѣ, но не съ тѣмъ, чтобы метать сильнѣе стрѣлы, а развѣ только, чтобы обнять ее покрѣпче, съ любовью; оно распростерлось такъ невысоко надъ головой, какъ родительская надежная кровля, чтобы уберечь, кажется, избранный уголокъ отъ всякихъ невзгодъ.

„Солнце тамъ ярко и жарко свѣтитъ около полугода и потомъ удаляется оттуда не вдругъ, точно нехотя, какъ будто оборачивается назадъ взглянуть еще разъ или два на любимое мѣсто и подарить ему осенью среди ненастья ясный, теплый день.

„Горы тамъ какъ будто модели тѣхъ страшныхъ, гдѣ-то воздвигнутыхъ горъ, которыя ужасають воображенія. Это рядъ отлогихъ холмовъ, съ которыхъ пріятно кататься, рѣзаясь, на спинеѣ или, сидя на нихъ, смотрѣть въ раздумьи на заходящее солнце.

„Рѣка бѣжитъ весело, шая и играя, она то разольется въ веселый прудъ, то стремится быстрой нитью или при-смирѣетъ, будто задумавшись, и чуть-чуть ползетъ по камешкамъ, выпуская изъ себя по сторонамъ рѣзвые ручьи, подъ журчанье которыхъ сладко дремлетъ“. „Да, Богъ съ ними — „этими воплями природы“, „этими спящими силами, ядовито издѣвающимися надъ гордой волей человѣка“; однообразныя картины родного Поволжья милѣе и ближе. Онѣ ласковѣе относятся къ человѣку, не раздражаютъ, не грозятъ ему ежеминутно гибелью, въ нихъ есть что-то даже материнское.

И гдѣ бы ни былъ Гончаровъ, какія бы чудеса свѣта ни осматривалъ онъ, какъ бы эффектны ни были море, горы и пропасти, онъ ни на минуту не забывалъ близкаго сердцу уголка. Его воображеніе, давно уже отрѣшившееся отъ романтической закваски, не требовало и не искало ничего поразительнаго, экстраординарнаго. Ни буря ни вулканическія изверженія не находили отзвука въ его душѣ: его темпераментъ требовалъ порядка, покоя, — пожалуй дремоты.

Онъ отдавалъ дань красотѣ чуждой природы, но среди безчисленныхъ описаній, разбросанныхъ по страницамъ двухъ объемистыхъ томовъ „Фрегата Паллады“, чаще всего встрѣчаются описанія, имѣющія родной и привычный для нихъ автора колоритъ. Съ особеннымъ удовольствіемъ рисуетъ



онъ картины тихихъ вечеровъ, когда закатъ солнца прекращаетъ шумливую, безпокойную жизнь, когда такъ пріятно погружаться въ созерцательное настроеніе духа, свободно отдаваясь мимолетнымъ, почти неуловимымъ мечтамъ.

Его постоянно тянетъ къ отдыху, къ спокойному креслу, задушевной бесѣдѣ, спокойному молчанію гдѣ-нибудь на балконѣ. Онъ самъ добродушно подсмѣивается надъ такими обломовскими склонностями, но — „не искать же головолomныхъ приключеній, да и къ чему они?“ „Какое наслажденіе, — пишетъ онъ, — послѣ долгаго странствованія по морю, лечь спать на берегу, въ постель, которая не качается, гдѣ со стороны ничего не упадетъ, гдѣ надъ вашей головой не загремѣтъ ни бизань-шкотъ, ни гроттъ-бось, гдѣ ничто не шелохнется, думалъ я и вдругъ вспомнилъ, что здѣсь землетрясенія — обыкновенное, ежегодное явленіе. Избави Боже отъ такой качки“... Лучше ѣхать по гладкой, убитой дорогѣ, чѣмъ по ухабамъ, или по краямъ пропастей; лучше спокойно сидѣть на мѣстѣ, чѣмъ описывать вмѣстѣ съ кресломъ „никому невѣдомыя математическія линіи“; лучше наблюдать идиллію, чѣмъ трагедію; лучше слушать тихую мелодію, чѣмъ тревожные звуки вагнеровской музыки.

...А онъ мятежный просить бури,  
Какъ будто въ буряхъ есть покой...

этого мотива Гончаровъ не зналъ никогда.

Съ удивительнымъ искусствомъ люди устраиваются на землѣ такъ плохо, какъ нельзя хуже. Они не умѣютъ наслаждаться хорошей минутой, привычное быстро надоѣдаетъ имъ, въ погоняхъ за недостижимымъ, необычайнымъ тратятъ свои силы. А развѣ нельзя жить проще, лучше?... Однажды среди широкаго океана Гончарову показалось, что онъ увидѣлъ передъ собой настоящую идиллію, на которую особенно любовно откликнулась его душа. Чудная погода, только что прочитанныя книги — все это настроило его на ладъ Теокрыта, и онъ написалъ нѣсколько удивительныхъ страницъ. Мѣсто дѣйствія — тогда еще таинственные, мало извѣстные Ливійскіе острова.

„Да, это идиллія, брошенная среди безконечныхъ водъ Тихаго океана. Слушайте теперь сказку: Дерево къ дереву, листокъ въ листку такъ и прибраны, не спутаны, не смѣ-

шаны въ неумышленномъ безпорядкѣ, какъ обыкновенно дѣлаетъ природа. Все будто размѣрено, расчищено и красиво разставлено, какъ декораціи или на картинахъ Вато. Читаете, что люди, лошади, быки — здѣсь карлики, а куры и пѣтухи — великаны; деревья колоссальныя, а между ними чуть-чуть журчатъ серебряныя нити ручейковъ, да пріятно шумятъ театральныя каскады. Люди добродѣтельны, питаются овощами и ничего между собою, кромѣ учтивостей не говорятъ; иностранцы ничего, кромѣ дружбы, ласкъ да земныхъ поклоновъ, отъ нихъ добиться не могутъ. Живутъ они патріархально, толпой выходятъ навстрѣчу путешественникамъ, берутъ за руки, ведутъ въ дома и съ земными поклонами ставятъ предъ ними избытки своихъ полей и садовъ“...

„Что это? Гдѣ мы? Среди древнихъ пастушескихъ народовъ, въ золотомъ вѣкѣ? Ужели Теокрытъ въ самомъ дѣлѣ правъ? Все это мнѣ приходило въ голову, когда я шелъ подъ тѣнью акацій, миртовъ и банановъ; между ними видны кой-гдѣ пальмы. Я заходилъ въ сторону, шевелилъ въ кустахъ, разводилъ листья, смотрѣлъ на ползучія растенія и потомъ бѣжалъ догонять товарищей.

„Чѣмъ дальше мы шли, тѣмъ меньше вѣрилось глазамъ.

„Между деревьями, въ самомъ дѣлѣ, какъ на картинкахъ, жались хижины, окруженныя каменнымъ заборомъ изъ коралловъ, сложенныхъ такъ плотно, что любая пушка задумалась бы передъ этой крѣпостью; и это только, чтобы оградить какую-нибудь хижину. Я заглядывалъ за заборъ: миниатюрныя дома окружены огородомъ и маленькимъ полемъ. Въ деревнѣ заборъ былъ сплошной: на стѣнѣ, за стѣной росли деревья; изъ-за нихъ выглядывали цвѣты. Еще издали завидѣлъ я, что у воротъ стояли, опершись на длинныя бамбуковыя посохи, жители; между ними, съ важной осанкой, съ задумчивыми, серіозными лицами, въ широкихъ простыхъ, но чистыхъ халатахъ, съ широкимъ поясомъ, видѣлись, — совѣстно и сказать, — „старикъ“, непременно скажешь „старцы“, съ длинными сѣдыми бородами, съ зачесанными кверху и собранными въ пучокъ на маковѣ волосами. Когда мы подошли ближе, они низко поклонились, преклоняя головы и опуская внизъ руки. За нимъ боязливо прятались дѣти.

„Я любовался тѣмъ, что вижу, и дивился — не тропиче-



ской растительности, не теплomu, мягкому и пахучему воздуху, — это все было и въ другихъ мѣстахъ, а этой стройности, и прибранности лѣса, дороги, тропинокъ, садовъ, простотѣ одеждъ и патріархальному, почтенному виду стариковъ, строгому и задумчивому выраженію ихъ лицъ, нѣжности и застѣнчивости въ чертахъ молодыхъ; дивился также я этимъ землянымъ и каменнымъ работамъ, стоявшимъ столькихъ трудовъ: это муравейникъ или въ самомъ дѣлѣ индивидуальная страна, отрывокъ изъ жизни древнихъ. Здѣсь какъ все родилось, такъ, кажется, и не измѣнилось цѣлая тысячелѣтія. Что у другихъ смутное преданіе, то здѣсь современность, чистѣйшая дѣйствительность. Здѣсь еще возможенъ золотой вѣкъ.

„Лѣсъ, какъ садъ, какъ паркъ царя или вельможи. Вездѣ виденъ бдительный глазъ и заботливая рука человека, которая беретъ обильную дань съ природы, не искажая и не оскорбляя ея величія. Глядя на эти коралловые заборы, вы подумаете, что за ними прячутся такіе же крѣпкіе дома — ничего не бывало: тамъ скромно стоятъ грушечные домики, крытые черепицей, или бѣдныя хижины, въ родѣ хлѣбовъ, крытыя рисовой соломой, о трехъ стѣнахъ изъ тонкаго дерева, заплетеннаго бамбукомъ; четвертой стѣны нѣтъ: одна сторона дома открыта; она задвигается, въ случаѣ нужды, рамой, заклеенной бумагой, за неимѣніемъ стеколъ; это у зажиточныхъ домовъ, а у хижинъ вовсе не задвигается.

„Мы подошли къ красивому, обѣ одной аркѣ, надъ ручьемъ, мосту, сложенному плотно и массивно, тоже изъ коралловыхъ большихъ камней. Кто училъ этихъ дѣтей природы строить? невольно спросишь себя: здѣсь никто не былъ; какихъ-нибудь сорокъ лѣтъ узнали объ ихъ существованіи и въ первый разъ заглянули къ нимъ люди, умѣющіе строить такіе мосты; сами они нигдѣ не были. Это единственный уцѣлѣвшій клочокъ древняго міра, какъ изображаютъ его Библія и Гомеръ. Это не дикари, а народъ-пастыри, питающіеся отъ стадъ своихъ, патріархальные люди, съ полнымъ развитымъ понятіемъ о религіи, объ обязанностяхъ человека, о добродѣтели. Идите сюда повѣрять описанія библейскихъ и одиссеевскихъ мѣстностей, жилищъ, гостепріимства, первобытной тишины и простоты жизни. Васъ поразитъ мысль, что здѣсь живутъ двѣ тысячи лѣтъ безъ перемѣны. Люди,

страсти, дѣла — все просто, несложно, первобытно. Въ природѣ тоже красота и покой; солнце свѣтитъ жарко и румяно, воды льются тихо, плоды висятъ готовые. Книгъ, пороку и другого подобнаго разврата нѣтъ. Посмотримъ, что будетъ дальше. Ужели новая цивилизація тронетъ и этотъ забытый, древній уголокъ?”

Идиллія — это праздничное, случайное настроеніе духа, идилліями жить нельзя — особенно такому выдержанному спокойному человѣку, какъ Гончаровъ. Въ обычномъ настроеніи духа онъ является передъ нами, пожалуй даже просвѣщеннымъ европейцемъ, любящимъ комфортъ и культуру, и готовымъ ставить ихъ выше любой идиллической дикости. Обломовъ совершенно замолкаетъ въ немъ. Послѣ долгаго десятилѣтняго странствованія фрегатъ „Паллада“ бросилъ наконецъ якорь въ Нагасакскомъ рейдѣ. „Декорація бухты, рейда, со множествомъ лодокъ, страннаго города съ кучей сѣреныхъ домовъ, пролива съ холмами, эта зелень, яркая на близкихъ, блѣдная на дальнихъ холмахъ: все такъ гармонично, живописно, такъ не похоже на дѣйствительность, что сомнѣваешься, не нарисованъ ли весь этотъ видъ, не взять ли цѣликомъ изъ волшебнаго балета?”

„Что за заливцы, уголки, пріюты прохлады и лѣни образуютъ узоръ береговъ въ проливѣ? Вонъ тамъ идетъ глубоко въ холмъ ущелье, темное, какъ коридоръ, лѣсистое и такое узкое, что, кажется, ежеминутно грозитъ раздавить далеко запрятавшуюся туда деревеньку. Тутъ маленькая, обставленная деревьями бухта, сонное затишье, гдѣ всегда темно и прохладно, гдѣ самый сильный вѣтеръ чуть-чуть рябитъ волны: тамъ безпечно отдыхаетъ вытащенная на берегъ лодка, уткнувшись однимъ концомъ въ воду, другимъ въ песокъ“. Казалось бы, забыться и заснуть! Но нѣтъ. Гончаровъ умѣлъ держать себя въ рукахъ. Какъ человѣкъ европейски образованный, къ тому же представитель эпохи перелома, съ юности уже ощутившій новыя трудовыя вѣянія, — онъ понималъ, что роль Обломова и обломовщины кончена. Онъ отрывается отъ очаровательной полной лѣни и нѣги картины... „Но съ страннымъ чувствомъ, — говоритъ онъ, — смотрю я на эти игриво-созданные смѣющіеся берега; непріятно видѣть этотъ сонъ, отсутствіе движенія. Люди появляются рѣдко, животныхъ не видать; я только разъ



слышалъ собачій лай. Нѣтъ людской суеты, мало признаковъ жизни. Кромѣ караульныхъ лодокъ, другія робко и торопливо скользятъ у береговъ съ двумя-тремя голыми гребцами, съ слюнявымъ мальчишкой или остроглазой дѣвчонкой.

„Такъ ли должны быть населены эти берега? Куда спрятались жители? Зачѣмъ не шевелятся они толпой на этихъ берегахъ? Отчего не видно работы, возни, нѣтъ шума, гама, криковъ, пѣсенъ, словомъ, кипѣнія жизни или мышей бѣготни? по выраженію поэта. Зачѣмъ по этимъ широкимъ водамъ не снуютъ взадъ и впередъ пароходы, а тащится какая-то неуклюжая большая лодка, завѣшанная синими, бѣлыми, красными тканями. Откуда слышенъ однообразный звукъ „бумъ-бумъ-бумъ“ японскаго барабана? Это, скажутъ вамъ, фizenскій или сатсумскій князя объѣзжаютъ свои владѣнія“. „Зачѣмъ же такъ пусты и безжизненны эти прекрасные берега? Зачѣмъ такъ скучно смотрѣть на нихъ, до того, что и выйти изъ каюты не хочется? Скоро ли все это заселится, оживится?...“

Разумѣется, ни одинъ изъ этихъ вопросовъ не могъ бы прійти въ голову Ильѣ Ильичу Обломову. Онъ такъ искренне ненавидѣлъ „мышью бѣготню“, такъ глубоко презиралъ всякую суетливость, что хотя тоже, вѣроятно, не вышелъ бы изъ каюты, но почувствовалъ бы на душѣ глубокое умиленіе и удовлетворенность. Очень можетъ быть, что и самъ Гончаровъ не совсѣмъ искрененъ въ данномъ случаѣ. Что-то головное, заученное, дѣланное слышится въ его словахъ. Тонъ его рѣчи не простой, какъ обыкновенно, а нѣсколько приподнятый, въ словахъ много недоговореннаго. Именно головой, а не сердцемъ, не всѣмъ существомъ своимъ воспринялъ Гончаровъ европейскую культуру и удивленіе передъ цивилизаціей и пожеланіе этой послѣдней всяческаго благополучія. Оттого не совсѣмъ просты и живы его рѣчи по адресу культуры, какъ не просты и не живы Адуевы-дяди, Штольцы, Тушины.

Какъ бы оно ни было, въ обычномъ настроеніи духа онъ твердо держится разъ избранной позиціи. Замѣчательна общая оцѣнка, которую онъ даетъ Японіи и японцамъ:

... „Японскій народъ чувствуетъ сильную потребность въ развитіи, и эта потребность проговаривается во многомъ. При томъ онъ бѣдепъ, нуждается въ сообщеніи съ другими. Порядочные люди, особенно изъ переводчиковъ, обраща-

шихся съ европейцами, охаютъ, какъ я писалъ, отъ скуки и недостатка жизни умственной и нравственной. Низшій классъ тоже съ завистью и удивленіемъ посматриваетъ на наши суда, на людей, просить у насъ вина, жадно пьеть водку, хватаетъ брошенный кусокъ хлѣба, съ дѣтскимъ любопытствомъ вглядывается въ бездѣлки, ловить на лету въ своихъ лодкахъ какую-нибудь тряпку, прячетъ... Кликни только кличъ, и японцы толпой вырвутся изъ воротъ своей тюрьмы. Они общезнательны, охотно увлекаются новизной; и не преслѣдуй у нихъ шпионы, какъ контрабанду, каждое прошептанное съ иностранцами слово, обмѣненный взглядъ, наши суда сейчасъ же безъ всякихъ трактатовъ завалены бы были всевозможными товарами.

„Сколько у нихъ (японцевъ) жизни кроется подъ этой апатіей, сколько веселости, игривости. Куча способностей, дарованій — все это видно въ мелочахъ, въ пустомъ разговорѣ, но видно также, что нѣтъ только содержанія, что всѣ собственныя силы жизни перекипѣли, перегорѣли и требуютъ только новыхъ, освѣжительныхъ началъ. Японцы очень живы и натуральны; у нихъ мало такихъ нелѣпостей, какъ у китайцевъ; напримѣръ: тяжелой, педантической, устарѣлой и ненужной учености, отъ которой люди дурѣютъ. Напротивъ, они все вывѣдываютъ, обо всемъ спрашиваютъ и все записываютъ. Всѣ почти бывшіе въ Іедо голландскіе путешественники рассказываютъ, что къ нимъ нарочно посылали японскихъ ученыхъ, чтобы заимствовать что-нибудь новое и полезное. Между тѣмъ китайскій ученый не смѣетъ даже выразить свою мысль живымъ, употребительнымъ языкомъ: это запрещено; онъ долженъ выражаться, какъ показано въ книгахъ. Если японцы и придерживаются стараго, то изъ боязни только новаго, хотя и убѣждены, что это новое лучше. Они сами скучаютъ и зѣваютъ, тогда какъ у китайцевъ, по рассказамъ, этого нѣтъ“.

Я привелъ эти строки совсѣмъ не для того, чтобы читатель оцѣнилъ проницательность Гончарова, который понялъ японцевъ въ то время, когда тѣ не подавали еще признаковъ жизни, а по совершенно другой причинѣ. Дѣло въ томъ, что разсужденія, подобно только что цитированному, не останавливаютъ на себѣ особеннаго вниманія, встрѣтятся они въ какой-нибудь публицистической работѣ, тѣмъ болѣе въ жур-



налѣ. Но гдѣ у классиковъ нашей литературы вы найдете что-нибудь подобное? Вѣдь здѣсь дикое, сонное состояніе прямо противопологается развитію, культурѣ и прямо въ защиту послѣднихъ; здѣсь культура и развитіе считаются необходимыми для народа и полезными ему... „Клики только кличъ, и японцы толпой вырвутся изъ воротъ своей тюрьмы...“ Затѣмъ, будетъ ли отъ этого лучше, не промѣняетъ ли народъ свое спокойное, хотя бы сонное царство на мишуру и тревоги цивилизаціи, — да нужна ли, наконецъ, эта цивилизація? А безъ нея — „по правдѣ, по-мужицки, по-дурцки“ — развѣ нельзя? Гончаровъ даже не ставитъ себѣ этихъ вопросовъ, вѣроятно, потому, что они просто не существовали для него. Гомерическое благоразуміе, которымъ онъ обладалъ, никогда не позволяло ему вдаваться въ крайности, и онъ склонялся передъ жизненной необходимостью, довольный и спокойный, безъ сомнѣній, безъ протеста и колебаній въ душѣ. А между тѣмъ онъ и не думалъ закрывать глаза на правду жизни, какъ бы жестока она ни была. Онъ не думаетъ, напримѣръ, описывать радужными красками положеніе цивилизующихся народовъ, онъ даже сочувствуетъ ихъ страданіямъ въ процессѣ „приспособленія“, но эти страданія не возмущаютъ его, не срываютъ невольнаго проклятія... „Что дѣлать?...“ говоритъ онъ своимъ спокойнымъ, неторопливымъ голосомъ.

Я позволю себѣ привести квинтъ-эссенцію „европейскихъ“ взглядовъ Гончарова на культуру. Это извѣстное разсужденіе его о роскоши и комфортѣ.

„Роскошь — порокъ, уродливость, неестественное уклоненіе человѣка за предѣлы естественныхъ потребностей, развратъ. Развѣ не развратъ и не уродливость платить тысячу золотыхъ монетъ за блюдо изъ птичьихъ мозговъ или языковъ, или филе изъ рыбы, не потому, чтобъ эти блюда были тоньше вкусомъ прочихъ недорогихъ, а потому, что этихъ мозговъ и рыбъ не напасешься? Или не безуміе ли обѣдать на такомъ сервизѣ, какого нѣтъ ни у кого, хоть бы пришлось отдать за него половину имѣнія? Не глупость ли заковывать себя въ золото и каменья, въ которыхъ поворотиться трудно, или надѣвать кружева, чуть не изъ паутины, и бояться сѣсть, облокотиться?...“

„Тщеславіе и грубое излишество въ наслажденіяхъ — вотъ отличительныя черты роскоши. Оттого роскошь недолго-

вѣчна: она живетъ лихорадочною и эфемерною жизнью; никакіе врезы не достигаютъ до геркулесовыхъ столповъ въ ней; она падаетъ, истощившись въ насыщеніи, увлекая паденіемъ и торговлю. Рядомъ съ роскошью всегда таится невидимый ея врагъ — нищета, которая сторожитъ минуту, когда мишурная богиня зашатается на пьедесталѣ: она быстро, въ циническихъ лохмотьяхъ своихъ, сталкиваетъ царицу, садится на ея престолъ и гложетъ великолѣпные остатки. Помните не одну Венецію, а хотъ Испанію, на примѣръ: ужъ, кажется, трудно выдумать наряднѣе епанчу, а въ какую дырявую мантию нарядилась она послѣ! Да оди ли Испанія и Венеція?... Гдѣ роскошь, тамъ нѣтъ торговли; это конвульсивные, отчаянные скачки черезъ препятствія: перескачетъ, хватъ — внизъ и сломаетъ ноги.

„Не таковъ комфортъ: какъ роскошь есть безуміе, уродливое и неестественное уклоненіе отъ указанныхъ природою и разумомъ потребностей, такъ комфортъ есть разумное, выработанное до строгости и тонкости, удовлетвореніе этимъ потребностямъ. Для роскоши нужны богатства: комфортъ доступенъ при обыкновенныхъ средствахъ. Богачъ уберетъ свою постель валансьенскими кружевами; комфортъ потребуетъ тонкаго и свѣжаго полотна. Роскошь садится на пикростипрованномъ золоченомъ креслѣ, ѣстъ на золотѣ и серебрѣ; комфортъ требуетъ не золоченаго, но мягкаго, покойнаго кресла, хотя и не изъ рѣдкаго дерева; для стола онъ довольствуется фаянсомъ или, много, фарфоромъ. Роскошь потребуетъ рѣдкой дичи, фруктовъ не по сезону; комфортъ будетъ придерживать своего обыкновеннаго стола, но зато онъ потребуетъ его вездѣ, куда ни заброситъ судьба человека: и въ Африкѣ, и на Сандвичевыхъ островахъ, и на Нордъ-Капѣ — вездѣ нужны ему свѣжіе припасы, мягкая говядина, молодая курица, старое вино. Вездѣ онъ хочетъ находить то сукно и шелкъ, въ которое одѣваются въ Парижѣ, въ Лондонѣ, въ Петербургѣ; вездѣ къ его услугамъ долженъ быть сапожникъ, портной, прачка. Роскошь старается, чтобъ у меня было то, чего не можете имѣть вы; комфортъ, напротивъ, требуетъ, чтобъ я у васъ нашелъ то, что привыкъ видѣть у себя“.

Если миѣ скажутъ по поводу приведеннаго и многихъ подобныхъ ему разсужденій, что Гончаровъ писалъ письма



съ „Фрегата Паллады“ отчасти и какъ официальное лицо, связанное извѣстными обязательствами, то я отвѣчу, что придаю указанному обстоятельству очень мало значенія. Дѣло въ томъ, что Гончаровъ не сталъ бы кривить душой, какъ писатель, а, во-вторыхъ, подобные взгляды онъ высказывалъ не разъ и не только въ „Фрегатѣ Паллада“. Причину ихъ искать нужно поглубже — въ самой индивидуальности человѣка, условіяхъ его жизни, въ его ровномъ темпераментѣ, который бѣжитъ всякой крайности, умѣетъ дорожить жизнью, природой, творчествомъ съ здоровымъ аппетитомъ здороваго человѣка, тѣмъ болѣе такого, духъ котораго не помраченъ пресыщеніемъ и излишествами ряда предковъ.

---

*Соловьевъ.*

Возвратившись изъ путешествія, Гончаровъ, не оставляя службы, перешелъ только изъ министерства финансовъ въ министерство народнаго просвѣщенія и занялъ должность цензора, на которой оставался до тѣхъ поръ, пока дѣла печати не перешли въ вѣдомство министерства внутреннихъ дѣлъ. Годъ спустя послѣ того какъ издано было его сочиненіе „Фрегатъ Паллада“, напечатано новое его произведеніе — знаменитый романъ „Обломовъ“. Если до сихъ поръ имя Гончарова пользовалось только извѣстностью, то съ этого времени онъ уже пріобрѣтаетъ славу даровитѣйшаго писателя, сумѣвшаго въ замѣчательной степени уловить характерныя особенности русскаго человѣка. Съ тѣхъ поръ „Обломовщина“ стала словомъ нарицательнымъ, въ совершенствѣ объясняющимъ причины нашего медленнаго развитія, нашей неподвижности и постояннаго сна. Со времени напечатанія „Обломова“ прошло десять лѣтъ, въ которыя Гончаровъ работалъ надъ капитальнымъ произведеніемъ; отрывокъ изъ него былъ напечатанъ еще въ пятидесятыхъ годахъ. Новое произведеніе Гончарова — большой романъ „Обрывъ“, не произвело однако на публику сильнаго впечатлѣнія.

---

### Творчество Гончарова.

Однажды, на Индійскомъ океанѣ, близъ мыса Доброй Надежды, И. А. Гончарову, на знаменитомъ фрегатѣ „Паллада“,

пришлось испытать сильный штормъ. „Штормъ былъ классическій, во всей формѣ“, рассказываетъ онъ: „въ теченіе вечера приходили раза два за мной сверху звать посмотрѣть его. Рассказывали, какъ съ одной стороны вырывающаяся изъ-за тучъ луна озаряетъ море и корабль, а съ другой — нестерпимымъ блескомъ играетъ молнія. Они думали, что я буду описывать эту картину. Но какъ на мое покойное и сухое мѣсто давно уже было три или четыре кандидата, то я и хотѣлъ досидѣть тутъ до ночи“... Но не удалось. Вода случайно проникла черезъ открытые люки въ каюту. Дѣлать нечего, онъ неохотно поднялся и пошелъ на палубу. „Я посмотрѣлъ минутъ пять на молнію, на темноту и на волны, которыя все силились перелѣзть къ намъ черезъ бортъ.

„ — Какова картина? спросилъ меня капитанъ, ожидая восторговъ и похвалъ.

„ — Безобразіе, беспорядокъ! отвѣчалъ я, уходя весь мокрый въ каюту переобуть и бѣлье“.

Эта маленькая сценка чрезвычайно характерна для творца „Обломова“. Люди привыкли восхищаться необычнымъ, поражающимъ, рѣдкимъ въ природѣ и въ жизни. Гончаровъ, проходя равнодушно мимо яркихъ и случайныхъ эффектовъ, относится гораздо внимательнѣе и любовнѣе къ простому и будничному. „Зачѣмъ оно, это дикое и грандіозное?“ спрашиваетъ онъ себя при созерцаніи мирной обломовской природы: — „море, напримѣръ? Богъ съ нимъ. Оно наводитъ только грусть на человѣка: глядя на него, хочется плакать. Сердце смущается робостью передъ необозримой пеленой водъ“... Поэтъ, влюбленный въ реальную дѣйствительность, въ земной человѣческой міръ, чувствуетъ себя подавленнымъ величіемъ моря. Оно ему чуждо со своей мрачной, неразгаданной пѣснью, съ пѣснью о чемъ-то таинственномъ и темномъ, лежащемъ за гранью жизни. Горы и пропасти тоже его мало привлекаютъ. „Онѣ созданы, — говоритъ онъ, — не для увеселенія человѣка. Онѣ грозны, страшны“. Поэтому онъ обращается съ любовью къ тихому уголку будничной обломовской природы.

Небо тамъ, въ благословенной Обломовкѣ, „ближе жметъ къ землѣ, но не съ тѣмъ, чтобъ метать сильнѣе стрѣлы, а развѣ только, чтобъ обнять ее покрѣпче, съ любовью: оно распростерлось такъ невысоко надъ головой, какъ роди-



тельская надежная кровля, чтобъ уберечь, кажется, избранный уголокъ отъ всякихъ невзгодъ... Сердце такъ и просится спрятаться въ этотъ забытый всѣми уголокъ и жить никому невѣдомымъ счастьемъ. Все сулитъ тамъ покойную, долговременную жизнь до сѣдины волосъ и незамѣтную, сну подобную, смерть“.

Вотъ природа, какъ ни одинъ изъ новыхъ поэтовъ не понимаетъ ея, — природа, лишенная тайны, ограниченная и прекрасная, какой представляли ее древніе: декорация для идилліи оеокритовскихъ пастуховъ или, еще лучше, для счастья патріархальныхъ помѣщиковъ. Когда онъ видитъ дикое мѣсто, дѣвственное, не тронутое рукой человѣка, — ему не по себѣ, неуютно, онъ хочетъ населить, приручить нелюдимую природу, украсить ее благородными слѣдами человеческой цивилизаціи. Близъ Нагасаки смотритъ онъ на пустынные берега Японіи. Ему досадно. Зачѣмъ человѣкъ не владѣетъ этой чудной природой? „Вонъ тотъ холмъ, — восклицаетъ авторъ, — какъ онъ ни зеленъ, ни пріютенъ, но ему чего-то недостаетъ: онъ долженъ бы быть увѣнчанъ бѣлой колоннадой съ портикомъ или виллой съ балконами на всѣ стороны, съ паркомъ, съ бѣгущими по отлогостямъ тропинками. А тамъ, въ рытвинѣ, хорошо бы устроить спускъ и дорогу къ морю да пристань, у которой шпѣли бы пароходы и гомозились люди... Здѣсь бы хорошо быть складочнымъ магазинамъ, передъ которыми тѣснились бы суда съ лѣсомъ мачтъ...“

Вспомните великихъ романтиковъ, изгнанниковъ изъ общества, въ родѣ Байрона или Лермонтова. Природа имъ кажется прекрасной тогда только, когда она не тронута, не оскорблена рукою человѣка. Конечно, не пожелали бы они складочныхъ магазиновъ и дыма пароходовъ въ дикомъ первобытномъ пейзажѣ. Они радуются, что въ пустынѣ, немлющей Богу, не раздастся „въ торжественный хваленъ часъ лишь человѣка гордый гласъ“. Очевидно, что здѣсь мы встрѣчаемся съ двумя діаметрально-противоположными міросозерцаніями. Для Лермонтова „звуковъ небесъ замѣнить не могли скучныя пѣсни земли“; для Гончарова на землѣ — все, вся его любовь, вся его жизнь. Онъ не рвется отъ земли, онъ привязанъ къ ней вѣрноп и, подобно античнымъ поэтамъ, видитъ въ ней свою родину; прекрасный, уютный человѣческій міръ онъ не согласится отдать за звѣздныя

пространства неба, за чуждые тайны природы. Нравственный строй его, цельность и крепость души не надломлены современным недугомъ. Гончаровъ разсудкомъ понимаетъ пессимизмъ. Но въ сердце, въ плоть и кровь его не проникла ни одна капля яда. Зараза вѣка обошла, даже не задѣвъ счастливецъ! Романическая грусть Ольги въ третьей части „Обломова“ такъ же далека отъ скорби, разрушающей всѣ радости жизни, какъ тѣнь лѣтняго облачка далека отъ байроновской тьмы, поглотившей міръ.

Степень оптимизма писателя лучше всего опредѣляется его отношеніемъ къ смерти. Какъ же Гончаровъ относится къ смерти? Онъ почти о ней не думаетъ. Въ „Обыкновенной исторіи“ ему пришлось говорить о томъ, какъ умерла мать Александра Адуева, главнаго героя. Эта женщина — живой, яркій характеръ и занимаетъ важное мѣсто въ романѣ. Сынъ присутствуетъ при смерти. А между тѣмъ о кончинѣ ея два слова: „она умерла“. Ни одной подробности, ни одного ощущенія, никакой обстановки! Замѣьте, что Гончаровъ пишетъ въ эпоху, когда ужасъ смерти составляетъ одинъ изъ преобладающихъ мотивовъ литературы. Въ счастливой Обломовкѣ смерть — такой же прекрасный обрядъ, такая же идиллія, какъ и жизнь. Это, кажется, та самая „безболѣзненная, мирная кончина живота“, о которой молятся вѣрующіе. Адуевъ во второмъ своемъ періодѣ — примиренія съ жизнью — разсуждаетъ такъ: не страшна и смерть: она представляется не пугаломъ, а прекраснымъ опытомъ. И теперь уже въ душу вѣетъ невѣдомое спокойствіе“...

Обломовъ умеръ мгновенно, отъ апоплексическаго удара, никто и не видѣлъ, какъ онъ незамѣтно перешелъ въ другой міръ. Хозяйка „застала его, такъ же кротко покоящагося на одрѣ смерти, какъ на ложѣ сна“... „Что же стало съ Обломовымъ? — спрашиваетъ авторъ — гдѣ онъ? гдѣ? — На ближайшемъ кладбищѣ, подъ скромной урной, покоится тѣло его между кустовъ, въ тишинѣ. Вѣтки сирени, посаженные дружеской рукой, дремлютъ надъ могилой, да безмятежно пахнутъ полынью. Кажется, самъ ангелъ тишины охраняетъ сонъ его“. Вотъ спокойный взглядъ на смерть, какимъ онъ былъ въ древности, у великихъ, простыхъ и здоровыхъ людей. Смерть — только вечеръ жизни, когда легкія тѣни Элизіума слетаютъ на очи и смежаютъ ихъ для вѣчнаго сна.



Кто знаетъ, можетъ-быть, этотъ наивный взглядъ болѣе глубоку и вѣрнѣ, чѣмъ наипъ ужасъ, отчаяніе и судорожный трепетъ передъ смертію?

Александръ Адуевъ, человѣкъ еще молодой, но пресыщенный жизнью, входитъ въ старую деревенскую церковь. Тихое вечернее солнце озаряло иконы... Свѣжій вѣтерокъ врывался въ окно... Вверху, въ куполѣ, звучно кричали галки и чирикали воробьи... „Въ душѣ Александра пробуждались воспоминанія. Онъ мысленно пробѣжалъ свое дѣтство и юношество до поѣздки въ Петербургъ; вспомнилъ, какъ, будучи ребенкомъ, онъ повторялъ за матерью слова молитвы, какъ она твердила ему объ ангелѣ-хранителѣ... какъ она, указывая ему на звѣзды, говорила, что это очи божьихъ ангеловъ, которые смотрять на міръ и считаютъ добрыя и злыя дѣла людей; какъ небожители плачутъ, когда въ итогѣ окажется больше злыхъ, нежели добрыхъ дѣлъ. Показывая на синеву дальняго горизонта, она говорила, что это — Сіонъ“... Вотъ религія, какъ она представляется Гончарову, — религія, которая не мучитъ человѣка жгучей, неутолимой жаждой Бога, а ласкаетъ и согрѣваетъ сердце, какъ тихое воспоминанье дѣтства.

По изумительной *трезвости* взгляда на міръ, онъ приближается къ одному Пушкину. Тургеневъ опьяненъ красотой, Достоевскій — страданіями людей, Левъ Толстой — жаждой истины — и всѣ они созерцаютъ жизнь съ особенной точки зрѣнія. Дѣйствительность немного искажается, какъ очертанія предметовъ на взволнованной поверхности воды.

У Гончарова нѣтъ опьяненія. Въ его душѣ жизнь рисуется невозмутимо ясно, какъ мельчайшія былинки и далекія звѣзды отражаются въ лѣсномъ глубокомъ родникѣ, защищенномъ отъ вѣтра. Трезвость, простота и здоровье могучаго таланта, отсутствіе пессимизма имѣютъ въ себѣ что-то обаятельное, освѣжающее. Какъ бы ни были прекрасны созданія другихъ современныхъ писателей, въ нихъ почти всегда есть какой-нибудь темный уголъ, откуда вѣетъ на читателя холодомъ и ужасомъ. Такихъ темныхъ, страшныхъ угловъ нѣтъ у Гончарова. Все огромное зданіе его эпопей озарено ровнымъ свѣтомъ теплой, разумной любви къ человѣческой жизни.

Онъ понимаетъ не меньше другихъ темную сторону жизни. Наивный романтикъ Александръ Адуевъ, влюбленный въ стихи,

луну и Шиллера, свято вѣрующій въ любовь, дружбу и безкорыстіе людей, пріѣзжаетъ въ Петербургъ сороковыхъ годовъ изъ провинціальной глуши. Александръ влюбляется. Любовь измѣняетъ разъ, два... потомъ измѣняетъ дружба. Бѣдный романтикъ не выдерживаетъ, приходитъ въ отчаяніе. Эпизодъ слѣдующій: у бывшего поклонника Шиллера — плѣшь, почтенное брюшко, прекрасное жалованье и богатая невеста. Отъ прежнихъ идеаловъ — ни слѣда. „Ты, кажется, идешь по моимъ слѣдамъ?“ спрашиваетъ его дядя, чиновникъ-карьеристъ. — „Пріятно бы дядюшка!“ Дядя, скрестивъ руки на груди, смотрѣлъ нѣсколько минутъ съ уваженіемъ на племянника. — *II карьера и fortuna!* говорилъ онъ почти про себя, любясь имъ — ...Александръ, гордо, торжественно прибавлялъ онъ: — *ты моя кровь, ты — Адуевъ!* — *Такъ и быть, обними меня!*“

Тотъ же трагизмъ пошлости, спокойный, если можно такъ выразиться, будничныи трагизмъ — основная тема „Обломова“. Илья Ильичъ возвращается домой, навѣки разставшись съ Ольгой. Онъ убитъ горемъ, такимъ, отъ котораго люди умираютъ. Любовь, т.-е. послѣдняя надежда выкарабкаться изъ пошлости, — исчезла. Онъ знаетъ, что теперь ему нѣтъ спасенія отъ апатіи, отъ лѣни, отъ нравственнаго паденія. Онъ неминуемо долженъ погибнуть. Обломовъ „почти не замѣтилъ, какъ Захаръ раздѣлъ его, стащилъ сапоги и накиннулъ на него халатъ.“

„— Что это? спросилъ онъ только, поглядѣвъ на халатъ.“

„— Хозяйка сегодня принесла: вымыли и починили халатъ, — сказалъ Захаръ. *Обломовъ, какъ сълъ, такъ и остался въ креслѣ*“.

Плѣнительный юморъ Грибоѣдова и Гоголя почти совсѣмъ изсякъ въ русской литературѣ.

Вмѣсто прежняго смѣха, нашего добраго, стараго, могучаго юмора — у Тургенева, Толстого, Достоевскаго кой-гдѣ едва замѣтная слабая улыбка, болѣзненная, какъ скупой лучъ солнца въ сѣверную осень, а у Щедрина — рѣзкій, желчный, мучительный хохотъ; но юмора нѣтъ какъ нѣтъ. Гончаровъ въ этомъ случаѣ представляетъ отрадное исключеніе. Онъ первый, къ сожалѣнію, единственный, великій юмористъ послѣ Гоголя и Грибоѣдова. Захаръ, слуга Обломова, навѣки останется безсмертнымъ воплощеніемъ крѣпостнаго права, всего



смѣшного, жалкаго, уродливаго, чѣмъ рабство сказывается на людяхъ. Безконечная вереница слугъ — Василиса, Евсей, Анисья, Марина, Егорка, Улита, наконецъ, самъ Обломовъ — всѣ эти фигуры, не уступающія созданіямъ Гоголя, озарены *высокимъ комизмомъ*, который даетъ намъ не меньшее наслажденіе, чѣмъ идеальная красота.

Гомеръ въ описаніяхъ подолгу останавливался съ особенною любовью на прозаическихъ подробностяхъ жизни. Онъ до мельчайшихъ деталей изображаетъ, какъ его герои и полубоги ѣдятъ, пьютъ, принимаютъ ванну, спятъ, одѣваются. Для Гомера нѣтъ некрасиваго въ жизни. Такъ же наивно и просто, какъ онъ говоритъ о смерти великихъ мужей, о совѣтѣ боговъ, о разрушеніи Трои, онъ рассказываетъ о грязномъ платьѣ, которое отправилась мыть на рѣчку царская дочь Навзикая съ рабынями; онъ съ дѣтскимъ простодушіемъ описываетъ, какъ

Начали платья онѣ полоскать и потомъ, дочиста ихъ  
Вымывъ, по взмору на мелкоблестящемъ хрящѣ, наносимомъ  
На берегъ плоскій морскою волною, ихъ всѣ разостлали.

Такая же ангичная, свѣтлая любовь къ будничной сторонѣ жизни, такая же способность однимъ прикосновеніемъ преобразовать прозу дѣйствительности въ поэзію и красоту — составляетъ характерную черту таланта Гончарова. Перечтите „Сонъ Обломова“. Ёда, чаепитіе, заказываніе кушаній, болтовня, забавы старосвѣтскихъ помѣщиковъ принимаютъ здѣсь въ самомъ дѣлѣ гомеровскія, *идеальныя* очертанія. Вотъ какъ изображается смѣхъ этихъ счастливыхъ людей: „Хохоть разлился по всему обществу, проникъ до передней и до дѣвичьей, объялъ весь домъ, всѣ вспоминаютъ забавный случай, всѣ *хохочутъ доло, дружно, несказанно, какъ олимпійскіе боги*. Только начнутъ умолкать, кто-нибудь подхватитъ опять — и пошло писать“. И дальше почти на цѣлой страницѣ описывается этотъ гомерическій хохоть. Патріархальные нравы обломовскихъ помѣщиковъ до такой степени фантастичны, несовременны и своими эпическими размѣрами напоминаютъ сказку, что читатель нисколько не удивляется, когда Гончаровъ прямо изъ Обломовки переноситъ его въ героическую среду древнерусскихъ сказаній и былинъ.

Какъ все это не похоже на легкую, поверхностную манеру, на летучій, полунебрежный стиль современныхъ романистовъ!

Кажется, что творецъ Обломова покидаетъ здѣсь перо и беретъ за древнюю лиру; онъ уже не описываетъ — онъ воспѣваетъ нравы обломовцевъ, которыхъ не даромъ приравниваетъ къ *олимпійскимъ богамъ*. Это гораздо болѣе, чѣмъ бытовой жанръ новѣйшихъ писателей. Въ жанръ — только юморъ, а здѣсь, кромѣ юмора, *отблескъ высшей красоты*, напоминающей простодушныхъ поэтовъ древности.

Мы теперь по горло пресыщены внѣшней культурой комфортомъ, будничной стороною цивилизаціи. У Гончарова этого пресыщенія нѣтъ. Душа его обладаетъ той прелестной свѣжестью, благодаря которой великихъ эпическихъ поэтовъ, какъ дѣтей, занимаетъ и радуетъ каждый пустякъ въ природѣ, каждый уголокъ дѣйствительности. Мысль художника, какъ солнце, проникая въ самые темные и глубокіе закоулки жизни, озаряетъ ихъ ласковымъ свѣтомъ и на минуту дѣлаетъ прекрасными. Гончаровъ описываетъ комнату Обломова. Мы едва взглянули на героя, не слышали изъ устъ его ни одного слова, но уже знакомы съ нимъ по мельчайшимъ подробностямъ обстановки: по этой паутинѣ, фесто-нами лѣнящейся около картинъ, по запыленнымъ зеркаламъ, по пятнамъ на коврахъ, по забытому на диванѣ полотенцу, по тарелкѣ на столѣ, не убранной отъ вчерашняго ужина, съ солонкой и съ обглоданной косточкой, по пыльнымъ и пожелтѣвшимъ страницамъ давно развернутой и давно нечитанной книги, по номеру прошлогодней газеты, по чернильницѣ, изъ которой, „если обмокнуть въ нее перо, вырвалась бы развѣ только съ жужжаньемъ испуганная муха“. Окраска характера такъ сильна, что она кидаетъ свой отблескъ на всѣ приближающіеся предметы, какъ яркій свѣтъ, преломленный въ цвѣтной призмѣ.

Намъ чуется лѣнь, апатія, беспорядочность русскаго барина во вчерашней тарелкѣ Обломова съ обглоданной косточкой. Что можетъ быть, повидимому, значительнаго и характернаго въ томъ, какъ человѣкъ одѣваетъ туфли; а между тѣмъ Гончаровъ влагаетъ въ эту мелочь столько же содержания, сколько другіе поэты въ цѣлыя событія, монологи, катастрофы. Когда на душѣ Обломова было спокойно и тихо, когда жизнь его не трогала, и Штольцъ не звалъ къ дѣятельности, вставая съ постели, онъ, не глядя, привычнымъ движеніемъ *попадалъ ногами прямо въ туфли*. Но въ немъ



пробудились сомнѣнія, заговорило раскаяніе. „Теперь или никогда!“ „Быть или не быть!“ разсуждаетъ онъ. И вотъ Пля Ильичъ „приподнялся было съ кресла, но не попалъ сразу ногой въ туфлю и сѣлъ опять“.

Каждый изъ характеровъ, созданныхъ Гончаровымъ, громадное *идеальное* обобщеніе человѣческой природы. Обобщеніе, сврыгая идея поднимаютъ на недостижимую высоту микроскопическія подробности быта, дѣлаютъ ихъ художественными, прекрасными и цѣнными. Такъ, на горной высотѣ въ ясные вечера темный силуэтъ едва замѣтныхъ въ обыкновенное время зданій, деревьевъ, скалъ, вырѣзывается до мельчайшихъ подробностей на фонѣ свѣтлаго неба.

Гончаровъ показываетъ не только вліяніе характера на среду, на всѣ мелочи бытовой обстановки, но и обратно — вліяніе среды на характеръ. Каждый человѣческій образъ, созданный имъ — квинтъ-эссенція изъ всѣхъ настроеній, мыслей, желаній, страстей даннаго общества. Онъ слѣдитъ, какъ мягкія степныя очертанія холмовъ, какъ жаркое „румяное“ солнце Обломовки отразились на мечтательномъ, лѣнивомъ и кроткомъ характерѣ Ильи Ильича, какъ сырость, холодъ и мракъ глубокихъ ледниковъ и рабская должность сказались на нелюдимомъ, сосредоточенномъ нравѣ старой ключницы Улиты, этого полуфантастическаго крѣпостного гнома. Никто лучше его не понимаетъ тѣснаго взаимодействія соціальной среды и человѣка. Онъ выяснилъ до крайнихъ развѣтвленій, до неувимыхъ мелочей вліяніе такого громаднаго явленія, какъ крѣпостное право, на привычки, психологію страсти, идеалы нѣсколькихъ поколѣній. Въ этомъ смыслѣ Гончаровъ величайшій *соціологъ* въ новой русской литературѣ, какъ Достоевскій и Левъ Толстой — величайшіе *психологи*. Онъ разлагаетъ художественнымъ анализомъ ткань жизни до ея первоначальной клѣтки, изъ которой вышло все, весь организмъ общества. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ обладаетъ могучей способностью творческаго синтеза: воображеніе его создаетъ отдѣльные міры эпопей и потомъ соединяетъ ихъ въ стройныя системы. Онъ показываетъ, что однимъ и тѣмъ же вѣчнымъ законамъ добра и зла, любви и ненависти, которые производятъ въ исторіи перевороты, правятъ солнцами, подчинены и мельчайшіе, для толпы незримые, *атомы жизни*.

Мережковскій.

## Объективная художественность и свѣтлый юморъ. какъ отличительныя черты таланта Гончарова.

Еще въ 1848 г., говоря объ „Обыкновенной исторіи“, Бѣлинскій указалъ наиболѣе рельефную черту Гончаровскаго творчества, — чистую объективную *художественность*, удивительное умѣнье *рисовать*. „Изъ всѣхъ нынѣшнихъ писателей, — говоритъ Бѣлинскій, — онъ, одинъ, только онъ одинъ, приближается къ идеалу чистаго искусства, тогда какъ всѣ другіе отошли отъ него на неизмѣримое пространство, и тѣмъ успѣваютъ. Всѣ нынѣшніе писатели имѣютъ еще нѣчто, кромѣ таланта; онъ больше чѣмъ кто-нибудь теперь (1848), поэтъ, художникъ, и больше ничего“. Черезъ десять лѣтъ почти то же сказалъ и Добролюбовъ по выходѣ въ свѣтъ „Обломова“. „Въ умѣнии схватить образъ предмета, отчеканить, изваять его — заключается сильнѣйшая сторона таланта Гончарова“. На эту сторону таланта указываетъ и Дружининъ. „Мы всегда видѣли, и видимъ теперь, въ авторѣ „Обломова“ одного изъ сильнѣйшихъ современныхъ русскихъ художниковъ. Это художникъ чистый и независимый, художникъ по призванію и по всей цѣлости того, что имъ сдѣлано“. — Въ чемъ же истинная сила этого художника? Именно въ реальномъ, подробномъ и обстоятельном изображеніи, такъ сказать, *эпической* стороны жизни, во всѣхъ ея деталяхъ, мелочахъ, ускользающихъ обыкновенно отъ взгляда поверхностнаго наблюдателя; въ тонкой, рельефной обрисовкѣ природы, жилищъ, костюмовъ, личностей маленькихъ, ничтожныхъ, незамѣтныхъ, получающихъ полный интересъ подъ перомъ съ любовью рисующаго ихъ автора, который каждому изъ нихъ даетъ особый, точно изваянный изъ мрамора, образъ. Сила поэта не въ длинныхъ дебатахъ дядюшки съ племянникомъ, не въ отступленіяхъ и поученіяхъ, которыми авторъ иногда любитъ дополнять рассказъ, а именно тамъ, гдѣ онъ просто рисуетъ самую жизнь, какою представляется она его умственному оку.

Изъ произведеній Гончарова мы знакомимся съ Россіей, — не той Россіей, которую въ ея наиболѣе интеллигентныхъ представителяхъ (Рудинъ, Лаврецкій, Базаровъ) обрисовалъ Тургеневъ, или въ болѣзненныхъ, опять-таки исключитель-



ныхъ, личностяхъ, показали Достоевскій, — по съ той многолюдной, обиходной, будничной Россіей, какою она была еще очень недавно въ массѣ помѣщиковъ, чиновниковъ, аристократіи, дворовыхъ людей. И что всего цѣннѣе въ Гончаровѣ, — опъ эту Русь нисколько не идеализируетъ искусственно, никого и ничего не вытягиваетъ на пьедесталъ, а всему даетъ свое мѣсто и цѣну, такъ что всѣ эти люди и всѣ эти явленія жизни именно таковы, каковы они были на самомъ дѣлѣ. „Вотъ каковы высшія точки нашего умственного подъема, какъ онѣ выказались въ нашихъ мужчинахъ и женщинахъ“, говоритъ своими лишними людьми, Еленами и Маріаннами, Тургеневъ; „вотъ наши обыкновенныя исторіи и наши обыкновенныя женщины“, говоритъ Гончаровъ. Никого не превознося, ничему не удивляясь, ничему намѣренно не поучая, Гончаровъ рисуетъ совершенно реально то, что было; какъ пушкинскій Пименъ, описываетъ добро и зло, не мудрствуя лукаво, и именно тогда и великъ, когда не мудрствуетъ, а изображаетъ, что самъ видѣлъ и слышалъ.

Гончаровъ — *эпикъ* въ самомъ точномъ смыслѣ этого слова, и эпикъ прежде всего, — эпикъ, до нѣкоторой степени, напоминающій Гомера сравненіями, подробностью и обстоятельностью, такъ называемаго, эпического матеріала, т.-е. чертъ бытовыхъ, мѣста, времени, жилищъ, наружности, костюма и пр. Гомера же напоминаетъ онъ отчасти и строемъ большихъ романовъ-поэмъ.

Говоря о Гончаровѣ, какъ объ эпикѣ, напоминающемъ обстоятельностью, детальностью, и часто случайностью своихъ описаній Гомера, нельзя не сказать также еще нѣсколько словъ объ его рѣдкой *объективности*. Такъ Тургеневъ, на примѣръ, — поэтъ болѣе субъективный, лирическій, выражающій, по-преимуществу, то, что подходитъ подъ его настроеніе, большею частію, грустное, и этимъ колоритомъ своихъ впечатлѣній окрашивающій не только людей, но и природу, такъ Гончаровъ, наоборотъ, съ одинаковымъ интересомъ и полнымъ спокойствіемъ, точно фотографъ, изображаетъ и природу, самую разнообразную, и людей, и событія, будь они положительныя или отрицательныя, важныя или неважныя, трогательныя или забавныя, — такъ что трудно сказать, что у Гончарова описано лучше, — хозяйство ли Агаѣи Матвѣевны, или послѣобѣденный сонъ въ Обломовкѣ, по-

слѣднія ли минуты Наташи („Обрывъ“), или Оаддеевъ и англичане („Фрег. Паллада“). Сила Тургенева въ передачѣ впечатлѣній, обнаруживающихъ опредѣленно его задачу, мысль, высказываемую всегда съ горячимъ чувствомъ, почему онъ часто рассказываетъ отъ себя, поясняя и дополняя образъ самъ, или заставляя говорить о лицѣ другихъ (Рудинъ, Елена, Фаустъ); сила Гончарова въ широкихъ и тонкихъ картинахъ, именно такихъ, гдѣ онъ менѣе всего думаетъ поучать, при чемъ авторъ всегда описываетъ человѣка его же собственными словами. Описанія Гончарова почти всегда тоньше, полнѣе, рельефнѣе, чѣмъ у Тургенева; но, какъ у чистаго эпика, часто случайныя, мало значительныя; зато Тургеневъ всегда заранѣе знаетъ, что именно выбрать, какъ ярче выставить то или другое передъ глазами читателя, чтобы возбудить сильнѣе его мысль, глубже потрясти душу. У Тургенева не затеривается ни одна черта — все къ мѣсту и къ дѣлу; у Гончарова, на ряду съ важнымъ, множество прекрасныхъ, но не идущихъ къ дѣлу деталей, которыя затериваются въ массѣ фактовъ, такъ что, при всей его художественности, его романы, подчасъ скучноваты, и красоты его оцѣниваются не вдругъ, подобно картинамъ старинныхъ мастеровъ. Такой объективности и совершенства письма достигали у насъ только трое: Пушкинъ, графъ Л. Толстой и Гоголь.

Нѣтъ у Гончарова также лирической субъективности Тургенева, Достоевскаго, Гоголя или Диккенса; рѣдокъ потрясающій душу драматизмъ, который является какъ исключеніе, напр., въ сценѣ разрыва Адуева съ Наденькой. Не потрясать душу, подобно названнымъ нами выше писателямъ, не навести эту душу на глубокое и тяжелое раздумье надъ жизнью, а, напротивъ, успокоить ее, заставить предаться тихому, сладкому, чувству, увлечь прелестной мечтой, несбыточной, но все же милой, какъ идиллія Обломова; заставить забыться на лонѣ нѣжной матери-природы, уйти отъ шума городовъ въ деревенскую глушь, отъ праздногадоушливой суеты въ кругъ тихихъ семейныхъ радостей: — вотъ въ чемъ сила и прелесть *гончаровскаго* эпоса.

Но, какъ ни объективенъ эпосъ Гончарова, все же это эпосъ не народный, а художественный, т.-е. созданный не массой, а однимъ, сознательно наблюдающимъ жизнь, человекомъ, личность котораго, все-таки, хоть сколько-нибудь



въ немъ выразится. Вотъ что говоритъ писатель устами профессора въ „Литературномъ вечерѣ“. „Художникъ, конечно, не долженъ соваться своею особою въ картину, наполнять ее своимъ я — это такъ! Но его духъ, фантазія, мысль, чувство, должны быть разлиты въ произведеніи, чтобы оно было созданное живымъ духомъ тѣло, а не вѣрный очеркъ трупа, созданіе какого-то безличнаго чародѣя! Живая связь между художникомъ и его произведеніемъ должна чувствоваться зрителемъ или читателемъ; они, такъ сказать, съ помощью чувства автора наслаждаются картиною“.

Итакъ, постараемся, при всей объективности писателя, опредѣлить его отношеніе къ изображаемой дѣйствительности, такъ сказать, проникнуть въ самую личность творца, насколько высказалась она въ его творествѣ.

Характерныя черты въ самомъ романистѣ, всегда уважающемъ все высокое и прекрасное, можетъ-быть, и образовали въ немъ совсѣмъ особый наивный, какъ бы безразличный, сѣтливый юморъ, который рѣзко отличается отъ всегда грустнаго юмора Тургенева, и особенно Гоголя. Тургеневъ горько смѣется надъ бѣднымъ, *мишимъ* человѣкомъ, надъ кисейными барышнями, губящими себя по своей простотѣ и недомыслию, надъ безобразіями крѣпостного права. Гоголь сквозь смѣхъ плачетъ кровавыми слезами надъ Акакіемъ Акакіевичемъ, надъ пріобрѣтателемъ Чичиковымъ, надъ художникомъ и дѣвницами на Невскомъ проспектѣ, надъ чудачествами поссорившихся изъ-за гусака друзей или погибшими отъ застоя мысли старосвѣтскими помѣщиками. Диккенсъ съ ужасающимъ юмористическимъ паѳосомъ осмѣиваетъ безсердечіе и равнодушіе къ ближнему биржевыхъ королей, англійскую аристократію, уродливое воспитаніе. Для Гончарова безразлично, надъ чѣмъ не посмѣяться, лишь бы оно было въ самомъ дѣлѣ смѣшно, будь это бездушный чиновникъ, сгубившій жену — Петръ Ивановичъ Адуевъ, или дармоѣдъ казны Аяновъ; солдаты ли, ссадившіе себѣ отъ жары на спинѣ всю кожу (*Фр. Паллады*, т. V, 403), идіотическое ли равнодушіе къ побоямъ матросиковъ, распѣвающій ли въ Африкѣ романсы офицеръ (VI, 258), или Савелій, едва не убивающій полѣномъ развратницу-жену Маринку (*Обрывъ*). Словомъ, какого бы качества и значенія ни были представляющіяся поэту явленія жизни, они для него, какъ и для Райскаго, — только объектъ

созерцанія, одинаково возбуждающій въ немъ добродушную улыбку надъ человѣческими глупостями или уродливостями, нарушающими гармонію добра, красоты и правды. И если юморъ Тургенева можно назвать *грустно-меланхолическимъ*, Гоголя и Диккенса юморомъ *потрясающе-глубокимъ*; если ихъ юморъ потрясаетъ человѣка до горькой боли, до страха за человѣка, до страстной любви къ этому человѣку, нашему ближнему, какъ бы низко онъ ни палъ, — юморъ Гончарова — только *снисходительная, добродушная улыбка взрослого надъ балующимися дѣтьми*.

Но за этимъ безразличнымъ юморомъ, за этою, такъ сказать, нѣкоторою барственностью, аристократизмомъ нашего писателя, нельзя не замѣтить той широкой, благородной *чужанности*, которая разлита по всѣмъ его сочиненіямъ и дается только разностороннимъ образованіемъ и обращеніемъ между порядочными людьми. Что бы и кого бы Гончаровъ ни изображалъ, онъ никогда неосторожно не поглумится и видитъ въ каждомъ все-таки *человѣка*, доходя иногда до поразительно трогательныхъ изображеній. Вездѣ, при изображеніи явленій грязноватыхъ, оскорбляющихъ нравственное чувство или приличіе, въ сценахъ разыгравшейся физической страсти, поэтъ соблюдаетъ художественную мѣру и во-время опускаетъ занавѣсъ. Всюду является онъ горячимъ сторонникомъ честнаго упорнаго труда, поклонникомъ искусства, горячимъ защитникомъ науки, просвѣщенія, цивилизаціи. Стоитъ прочесть только, что говоритъ Гончаровъ о просвѣтительной миссіи англичанъ въ колоніяхъ, о путешествіяхъ прежде и теперь, о геологѣ, натуралистѣ и инженерѣ Бенѣ, о культурной жизни Лондона сравнительно съ нашей деревенской жизнью, о Востока съ его матеріальнымъ благосостояніемъ и глубокимъ умственнымъ спомъ, о просвѣщеніи восточной Сибири, — довольно прочесть, что въ романахъ Гончарова говорится о воспитаніи, чтобы признать въ авторѣ высокую степень культурности, невольно вліяющей и на читателя.

Обращаясь къ вопросу, что, по преимуществу, способенъ или, вѣрнѣе, любитъ изображать авторъ, и что, по свойству его таланта, ему особенно удастся, мы должны сказать, что наибольшей силы достигаетъ онъ въ изображеніи тихихъ картинъ природы и мирной патріархальной жизни. Изображенія семейныхъ сценъ и картинъ — это настоящіе шедевры.



которыми всегда будетъ гордиться въ Гончаровѣ русская литература, точно такъ же какъ и изображеніями *интимной жизни женскаго сердца* во всѣхъ ея перипетіяхъ, начиная отъ едва замѣтнаго зарожденія стыдливаго чувства до вспышекъ разыгравшейся страсти. Вообще консерваторъ въ томъ смыслѣ, что, хотя и признававшій необходимость прогресса, но опасующійся за то, чтобы вмѣстѣ со старымъ дурнымъ не было вырвано и то, что въ старомъ было хорошаго, — Гончаровъ старательно отыскиваетъ все это хорошее, и бережно собираетъ въ цѣнную сокровищницу своего творчества, чтобы передать въ назиданіе легкомысленному потомству примѣры простодушной религіозности, важности брачныхъ узъ, доброй хозяйственности, гостепріимства, крѣпости отношеній родственныхъ и дружескихъ, святости любви и нравственного долга.

*Острогорскій.*

## Художественный символизмъ въ произведеніяхъ Гончарова.

Въ поэзіи то, что не сказано и мерцаетъ сквозь красоту символа, дѣйствуетъ сильнѣе на сердце, чѣмъ на то, что выражено словами. Символизмъ дѣлаетъ самый стиль, самое художественное вещество поэзіи, одухотворительнымъ, прозрачнымъ, насквозь просвѣчивающимъ, какъ тонкія стѣнки алебастровой амфоры, въ которой зажжено пламя.

Символами могутъ быть и характеры. Санчо-Панса и Фаустъ, Донъ-Кихоть и Гамлетъ, Донъ-Жуанъ и Фальстафъ.

Сновидѣнія, которыя преслѣдуютъ человѣчество, иногда повторяются изъ вѣка въ вѣкъ, отъ поколѣнія къ поколѣнію сопутствуютъ ему. Идею такихъ *символическихъ характеровъ* никакими словами нельзя передать, ибо слова только опредѣляютъ, ограничиваютъ мысль, символы выражаютъ безграничную сторону мысли.

Гончаровъ истинно гармоничный и спокойный художникъ, творецъ живыхъ человѣческихъ душъ. Онъ беретъ характеры людей цѣликомъ, какъ живые продукты исторіи, природы, времени, общества. Никто такъ не заставляетъ жить своихъ героевъ на страницахъ книги отдѣльной, собственной

жизнью. Но вмѣстѣ съ тѣмъ типы Гончарова весьма отличаются отъ *исключительно бытовых* типовъ, какіе мы встрѣчаемъ, напр., у Островскаго и Писемскаго, у Диккенса и Теккерея. Помимо жизненной типичности Обломова, насъ привлекаетъ къ нему высшая красота вѣчныхъ комическихъ образовъ (какъ Фальстафъ, Донъ-Кихотъ, Санчо-Панса). Это не только Илья Пльичъ, котораго вы, кажется, вчера еще видѣли въ халатѣ, но и грамадное, идейное обобщеніе цѣлой стороны русской жизни.

Гончаровъ изъ всѣхъ нашихъ писателей обладаетъ вмѣстѣ съ Гоголемъ наибольшей способностью символизма. Каждое его произведеніе — художественная система образовъ, подъ которыми скрыта вдохновенная мысль. Читая ихъ, вы испытываете то же особенное, ни съ чѣмъ не сравнимое чувство широты и простора, которое возбуждаетъ грандіозная архитектура — какъ будто входите въ огромное, свѣтлое и прекрасное зданіе. Характеры — только часть цѣлаго, какъ отдѣльные статуи и барельефы, размѣщенные въ зданіи, — только рядъ символовъ, нужныхъ поэту, чтобы возвысить читателя отъ созерцанія частнаго явленія къ созерцанію вѣчнаго.

Способность философскаго обобщенія характеровъ чрезвычайно сильна въ Гончаровѣ; иногда она прорываетъ, какъ острее, живую художественную ткань романа и является въ совершенной наготѣ; напр. Штольцъ — уже не символъ, а мертвая аллегорія. Противоположность такихъ типовъ, какъ практическая Мароенька и поэтическая Вѣра, какъ эстетикъ Райскій и нигилистъ Волоховъ, какъ мечтательный Обломовъ и дѣятельный Штольцъ — развѣ это не чистѣйшій и, притомъ, непронизвольный, *глубоко реальный символизмъ*? Самъ Гончаровъ въ одной критической статьѣ признается, что бабушка въ „Обрывѣ“ была для него не только характеромъ живого человѣка, но воплощеніемъ Россіи. Помните ту геніальную сцену, когда Вѣра останавливается на минуту передъ образомъ Спасителя въ древней часовнѣ и тропинкой, ведущей къ *Обрыву*, къ бесѣдкѣ, гдѣ ждетъ ее Маркъ Волоховъ. Вѣра, какъ идеальное воплощеніе души современнаго человѣка, колеблется и недоумѣваетъ, гдѣ же правда — здѣсь, въ кроткихъ, строгихъ очахъ Спасителя, въ древней часовнѣ, или тамъ, за „Обрывомъ“, въ злобной, страшной и обязательной проповѣди новаго человѣка?



И такого поэта наши литературные судьи считали отживающимъ типомъ эстетика, точнымъ, но неглубокимъ бытописателемъ помѣщичьихъ нравовъ! Но когда отъ реалистической критики, отъ столь прославленныхъ ею *бытовыхъ* комедій и романовъ не останется ни слѣда, произведенія Гончарова, мало понятныя въ нашъ вѣкъ художественнаго матеріализма, возродятся въ полной, идеальной красотѣ. Онъ одинъ изъ величайшихъ въ современной европейской литературѣ творцовъ человѣческихъ душъ, *художниковъ-символистовъ*.

*Мережковский.*

---

### Молодой Адуевъ-герой „Обыкновенной исторіи“, какъ представитель романтизма на почвѣ крѣпост- ного права.

Авторъ „Обыкновенной Исторіи“ поэтъ, художникъ, и больше ничего. У него нѣтъ ни любви ни вражды къ создаваемымъ имъ лицамъ, они его не веселятъ, не сердятъ, онъ не даетъ никакихъ нравственныхъ уроковъ ни имъ ни читателю; онъ какъ-будто думаетъ: кто въ бѣдѣ, тотъ и въ отвѣтѣ, а мое дѣло сторона. Изъ всѣхъ нынѣшнихъ писателей, онъ одинъ, только онъ одинъ приближается къ идеалу чистаго искусства, тогда какъ всѣ другіе отошли отъ него на неизмѣримое пространство — и тѣмъ самымъ успѣваютъ. Всѣ нынѣшніе писатели имѣютъ еще нѣчто кромѣ таланта, и это-то нѣчто важнѣе самаго таланта и составляетъ его силу: у Гончарова нѣтъ ничего кромѣ таланта; онъ больше, чѣмъ кто-нибудь теперь поэтъ-художникъ. Талантъ его не первостепенный, но сильный, замѣчательный. Къ особенностямъ его таланта принадлежитъ необыкновенное мастерство рисовать женскіе характеры. Онъ никогда не повторяетъ себя, ни одна его женщина не напоминаетъ собою другой, и всѣ, какъ портреты, превосходны. Что общаго между грубой и злой, но по своему способной къ нѣжнымъ чувствамъ Аграфеной и между свѣтской женщиной, мечтательной и съ разстроенными нервами? И каждая изъ нихъ въ своемъ родѣ мастерское, художественное произведеніе. Мать молодого Адуева и мать На-

диньки — обѣ старухи, обѣ очень добры, обѣ очень любятъ своихъ дѣтей и обѣ равно вредны своимъ дѣтямъ, наконецъ, обѣ глупы и пошлы. А между тѣмъ это два лица совершенно различныя: одна барыня провинціальная стараго вѣка, ничего не читаетъ и ничего не понимаетъ, кромѣ мелочей хозяйства: словомъ, добрая внучка злой госпожи Простаковой; другая барыня столичная, которая читаетъ французскія книжки, ничего не понимаетъ, кромѣ мелочей хозяйства: словомъ, добрая правнучка злой госпожи Простаковой. Въ изображеніи такихъ плоскихъ и пошлыхъ лицъ, лишенныхъ всякой самостоятельности и оригинальности, иногда всего лучше высказывается талантъ, потому что всего труднѣе обозначить ихъ чѣмъ-нибудь особеннымъ. Что общаго между этою живою, вѣтреною, своеюправною, и немножко лукавою Надинькою и тою спокойною по наружности, но пожираемою внутреннимъ огнемъ Лизою? Тетка героя романа — лицо вводное, мимоходомъ очерченное, но какое прекрасное женское лицо! Какъ хороша она въ сценѣ, оканчивающей первую часть романа! мы не будемъ распространяться насчетъ мастерства, съ какимъ обрисованы мужскіе характеры: о женскихъ мы не могли не замѣтить, потому что до сихъ поръ они рѣдко удавались у насъ даже первостепеннымъ талантамъ; у нашихъ писателей женщина — или приторно сентиментальное существо, или семинаритъ въ юбкѣ, съ книжными фразами. Женщины Гончарова живыя, вѣрныя дѣйствительности созданія. Это новость въ нашей литературѣ.

Обратимся къ двумъ главнымъ мужскимъ лицамъ романа — молодому Адуеву и его дядѣ, Петру Ивановичу: о послѣднемъ нельзя не сказать, хотя нѣсколько словъ, говоря о первомъ, потому что онъ, противоположностію своею, еще болѣе оттѣняетъ героя романа. Говорятъ, типъ молодого Адуева — устарѣлый; говорятъ, что такіе характеры уже не существуютъ на Руси. Нѣтъ, не перевелись и на переведутся никогда такіе характеры, потому что ихъ производятъ не всегда обстоятельства жизни, но иногда сама природа. Родоначальникъ ихъ на Руси — Владимиръ Ленскій, по прямой линіи происходящій отъ гётевскаго Вертера. Пушкинъ первый замѣтилъ существованіе въ нашемъ обществѣ такихъ натуръ и указалъ на нихъ. Съ теченіемъ времени онѣ будутъ измѣняться, но сущность ихъ всегда будетъ таже самая...



Молодой Адуевъ, пріѣхавъ въ Петербургъ, мечтаетъ, съ какою радостію обниметъ своего обожаемаго дядю и въ какомъ восторгѣ будетъ отъ него дядя. Онъ останавливается въ трактирѣ — и боится, что дядя осердится на него, зачѣмъ онъ не пріѣхалъ прямо къ нему. Холодный пріемъ дяди разсѣиваетъ его провинціальныя мечты. До сихъ поръ молодой Адуевъ является больше провинціаломъ, нежели романтикомъ. Онъ даже непріятно былъ пораженъ тѣмъ, что дядя называлъ дуракомъ Заѣзжалова и дурою деревенскую тетку съ ея жолтымъ цвѣткомъ, приславшихъ къ нему преглупѣйшія письма. Провинціалы часто бываютъ очень смѣшны въ своихъ отношеніяхъ къ своимъ роднымъ и знакомымъ. Въ маленькихъ городкахъ жизнь однообразна, узка мелка, всѣ другъ друга знаютъ и если не враждуютъ между собою, то непременно пребываютъ въ нѣжнѣйшей дружбѣ: среднихъ отношеній почти нѣтъ. И вотъ изъ городка отправляется искать счастья въ столицу молодой человѣкъ; всѣ имъ интересуются, провожаютъ его, желаютъ ему всякаго счастья, просятъ не забывать. Онъ уже сдѣлался въ столицѣ пожилымъ человѣкомъ, родной городокъ его представляется ему какимъ-то смутнымъ видѣніемъ; подъ вліяніемъ новыхъ знакомствъ, отношеній, интересовъ, онъ давно перезабылъ и имена и лица людей, которыхъ такъ коротко зналъ въ дѣтствѣ, и помнить только о самыхъ близкихъ къ нему, да и то они представляются ему въ томъ видѣ, какъ онъ ихъ оставилъ, а вѣдь они съ тѣхъ поръ перемѣнились же. По ихъ письмамъ онъ видѣлъ, что у него съ ними нѣтъ ничего общаго; отвѣчая имъ, онъ поддѣлывается подъ ихъ тонъ, подъ ихъ понятія; удивительно ли, что онъ пишетъ къ нимъ рѣже и рѣже, наконецъ и совсѣмъ перестаетъ писать. Мысль о пріѣздѣ въ столицу родственника или знакомаго пугаетъ его столько же, какъ жителей пограничнаго города во время войны пугаетъ мысль, что непріятель пойдетъ ихъ дорогою. Въ столицѣ не понимаютъ заочной любви; здѣсь думаютъ, что любовь, дружба, пріязнь, знакомство поддерживаются личными отношеніями, а разлукой и отсутствіемъ охлаждаются и уничтожаются. Въ провинціи думаютъ совсѣмъ наоборотъ; вслѣдствіе однообразія жизни, тамъ удивительно развита склонность къ любви и дружбѣ. Тамъ рады всякому; мѣшать другъ другу, не давать покою — тамъ счи-

тается священнѣйшею обязанностію. Если кому-нибудь перестанутъ надобдѣть родственники и знакомые, онъ сочтетъ себя самымъ несчастнымъ, наиболѣе обиженнымъ человекомъ въ мірѣ. Когда къ провинціалу, живущему въ маленькомъ городкѣ, вдругъ наѣзжаютъ орда родственниковъ и обращаетъ его маленькій домикъ въ боченокъ, набитый сельдями онъ по наружности, не знаетъ какъ и радоваться; съ веселымъ лицомъ бѣгаетъ, суетится, угощаетъ всю эту толпу, а внутренно отъ всей души проклиная ее. А между тѣмъ попробуй-ка эти люди въ другой разъ остановиться не у него: онъ никогда имъ не проститъ этого. Такова ужъ патриархальная логика провинціи! И съ такой-то логикой пріѣзжаетъ иногда провинціаль въ столицу по дѣламъ со всѣмъ семействомъ своимъ. Въ столицѣ у него есть родственникъ, который лѣтъ ужъ двадцать какъ выѣхалъ изъ своего мѣстечка и давнымъ давно позабылъ всѣхъ своихъ родныхъ и знакомыхъ. Нашъ провинціаль летитъ къ нему съ распростертыми объятіями, съ милыми дѣтьми, которыхъ надо размѣстить по учебнымъ заведеніямъ, и обожаемою супругою, которая пріѣхала полюбоваться на столичные магазины модъ. Раздаются ахи, охи, крикъ, пискъ, визгъ. „А мы прямо къ вамъ, мы не смѣли остановиться въ трактирѣ!“ Столичный родственникъ блѣднѣетъ, не знаетъ, что дѣлать, что сказать; онъ похожъ на жителя города, взятаго непріателемъ, къ которому въ домъ ворвалась толпа предавшихся грабежу непріятельскихъ солдатъ. А между тѣмъ ему уже подробно изъяснено, какъ его любятъ, какъ его помнятъ, какъ о немъ безпрестанно говорятъ, и какъ на него надѣются, какъ увѣрены, что онъ непременно поможетъ опредѣлить Костиньку, Петиньку, Оединьку, Митиньку по корпусамъ, а Машеньку, Сашеньку, Любочку и Танючку въ институтъ. Столичный родственникъ видитъ, что отъ одной минуты зависятъ его гибель или спасеніе, собирается съ духомъ и съ холодною вѣжливостью объясняетъ непріятельскому отряду, что онъ никакъ не можетъ принять ихъ къ себѣ, что его квартира тѣсновата и для его собственнаго семейства, что въ корпуса и институты дѣти принимаются по экзамену и по узаконенному порядку, что тутъ не поможетъ никакая протекція, если нѣтъ вакантныхъ мѣстъ, или если дѣти старше или моложе пріемныхъ лѣтъ, или не выдержатъ



экзамена, а тѣмъ болѣе протекціи такого незначительнаго человѣка, какъ онъ, который, сверхъ того, служитъ совсѣмъ по другому вѣдомству и не знакомъ ни съ кѣмъ изъ начальниковъ учебныхъ заведеній. Разочарованные провинціалы удаляются въ бѣшенствѣ, вопіють противъ столичнаго эгоизма и развращенія и говорятъ о своемъ родственникѣ, какъ о чудовищѣ. А между тѣмъ это можетъ быть очень порядочный человѣкъ; вся вина его въ томъ, что онъ не захотѣлъ обратиться своей квартиры въ безобразный таборъ, лишитъ себя всякаго пріюта въ собственномъ домѣ, всякой возможности заниматься дѣлами службы въ тиши своего кабинета, принимать у себя по вечерамъ людей, или близкихъ ему, или полезныхъ и необходимыхъ ему по службѣ, и такимъ образомъ стѣснить себя, подвергнуть себя тяжкимъ лишеніямъ для людей, совершенно чуждыхъ ему, съ которыми бы онъ не захотѣлъ вести и обыкновеннаго знакомства. А между тѣмъ и эти провинціалы по-своему люди добрые и даже неглупые; вся вина ихъ въ томъ, что, отправляясь въ столицу, они увѣрены найти въ ней, за исключеніемъ огромности, великолѣпія и модныхъ магазиновъ, свой городокъ, съ тѣми же правами, обычаями и понятіями. Они по-своему любятъ роскошь и великолѣпіе, хотя и безъ вкуса, при средствахъ готовы изукрасить всячески свою залу и гостиную; о кабинетѣ не имѣютъ и понятія и не знаютъ зачѣмъ онъ; спальня и дѣтская у нихъ всегда самыя грязныя комнаты; имъ ничего не стоить потѣсниться и пожалѣться, понятіе о комфортѣ не существуетъ для нихъ, они привыкли къ тѣснотѣ, любятъ ее по пословицѣ: въ тѣснотѣ люди живутъ, да и жилимъ крѣпче пахнетъ. Они всякому рады и, по словамъ Петра Ивановича, хоть ночью ужинъ состряпаютъ. По замѣчанію его племянника, эта черта составляетъ добродѣтель русскихъ, съ чѣмъ Петръ Ивановичъ рѣшительно не согласенъ. „Какая тутъ добродѣтель“, — говоритъ онъ. — „Отъ скуки такъ всякому мерзавцу рады; милости просимъ, кушай сколько хочешь, только займи какъ-нибудь нашу праздность, помоги убить время, да дай взглянуть на тебя: все-таки что-нибудь новое; а кушанья не пожалѣемъ: это намъ здѣсь ровно ничего не стоитъ... Препротивная добродѣтель“. Петръ Ивановичъ выразилъ немного жестко, но не совсѣмъ несправедливо. Дѣйствительно, радушіе и гостепріимство провинціаль-

ное больше всего основывается на бездѣйствіи, праздности, скукѣ, привычкѣ. Силу столичныхъ людей они измѣряютъ не мѣстомъ, не связями, не вліяніемъ, а чиномъ, и отъ души увѣрены, что если кто дѣйствительный статскій совѣтникъ, такъ ужъ непременно всемогущая особа, которой стоитъ только сказать слово, чтобы сейчасъ рѣшили въ вашу пользу процессъ, тянувшійся пятьдесятъ лѣтъ, приняли вашихъ дѣтей въ учебное заведеніе, дали вамъ выгодное мѣсто, чинъ и орденъ. Откажете имъ въ какой-нибудь просьбѣ, при всемъ вашемъ желаніи исполнить ее, но по невозможности выполнить, — и вотъ вы самый безправственный человѣкъ въ мірѣ, вы зазнались подняли носъ, презираете провинціаловъ. А у нихъ первая добродѣтель — ни передъ кѣмъ не зазнаваться, не отказываться ни отъ чьего знакомства и быть готовымъ къ услугамъ всѣмъ и каждому. Правда, нигдѣ нѣтъ такого важничанья, ломанья, счета старшинствомъ, чинами, званіемъ; но этотъ порокъ, опасный для общаго мира и согласія, смягчается тамъ готовностію съежиться въ присутствіи человѣка, который хотя однимъ чиномъ выше, и въ то же самое время не уронитъ своего достоинства передъ тѣмъ, кто чиномъ ниже. Впрочемъ, эта добродѣтель процвѣтаетъ и въ столицѣ, хотя и въ болѣе тонкихъ формахъ. Но въ провинціи это дѣлается съ истинно аркадскою наивностію. „Э, братецъ (говоритъ богатый помѣщикъ или важный чиновникъ бѣдному помѣщику или чиновнику), ты меня вовсе забылъ, аль недоволенъ мной, или плохо кормлю; кажется, у меня для тебя всегда есть плошка за столомъ, шутъ ты гороховый!“ Бѣднякъ слегка сконфузится, бормочетъ извиненія, держась передъ своимъ патрономъ въ почтительной позѣ; но въ глазахъ его сіяетъ удовольствіе: онъ знаетъ гдѣ гнѣвъъ, тутъ и милость, и что въ иной брани больше любви, чѣмъ въ иной ласкѣ. „Ну, да хорошо, Богъ тебя проститъ, теперь пойдемъ-ка хлѣба-соли откусать, обѣдъ готовъ“. И оба довольны: одинъ, — что выполнилъ въ точности законы патріархальнаго гостепріимства и обласкалъ бѣднаго человѣка; другой, — что хорошо принять и обласканъ такою важною въ его глазахъ персоною. И этотъ бѣднякъ всегда предпочтетъ обществу совершенно равныхъ ему людей не только обществу аристократовъ его захолустья, но и обществу низшихъ ему людей, потому что онъ тогда только



и чувствуетъ свое достоинство, когда унижается передъ высшимъ и ломается передъ низшимъ. Конечно, это отнюдь не можетъ относиться ко всѣмъ провинціаламъ; вездѣ есть образованные, умные и достойные, но они вездѣ въ меньшинствѣ, а мы говоримъ о большинствѣ. Непосредственное вліяніе окружающей человѣка среды такъ на него сильно, что лучшіе изъ провинціаловъ бываютъ не чужды провинціальнымъ предразсудковъ, и на первый разъ теряются, пріѣхавши въ столицу.

Тутъ все дико имъ, все не такъ какъ у нихъ. Тамъ жизнь простая, нараспашу; ходятъ другъ къ другу во всякое время, безъ доклада. Приходитъ сосѣдъ къ сосѣду; въ прихожей или нѣтъ никого, или спитъ на грязномъ залавкѣ небритый лакей, или оборванный мальчишка, а спитъ онъ потому, что ему нечего дѣлать, хотя окружающая его грязь и вонь могли бы дать ему работы дна на два. И вотъ гость входитъ въ залу — нѣтъ никого; въ гостиную — тоже никого; онъ въ спальню — и вдругъ тамъ раздается визгливое ахъ; гость говоритъ въ пріятномъ замѣшательствѣ: извините-съ, медленно пятится въ гостиную, къ нему кто-нибудь выбѣгаетъ, изъясняетъ свой восторгъ отъ его посѣщенія, и оба смѣются надъ забавнымъ приключеніемъ. А здѣсь, въ столицѣ, все назаперти, вездѣ колокольчики, вездѣ неизбежное: какъ прикажете доложить? а потомъ то дома нѣтъ, то нездоровъ, то просятъ извинить — заняты; а когда примутъ, то, конечно, вѣжливо, но зато какъ равнодушно, холодно, никакого радушія, ни позавтракать, ни пообѣдать не пригласятъ...

Но обратимся къ герою „Обыкновенной исторіи“. Въ немъ есть чувство деликатности и приличія; хотя онъ и былъ увѣренъ, что дядя приметъ его съ восторгомъ и помѣститъ у себя въ кваргирѣ, однако какое-то темное чувство заставило его остановиться въ трактирѣ. Еслибъ онъ сдѣлалъ хорошую привычку разсуждать о томъ, что всего ближе къ нему, онъ пораздумался бы о темномъ чувствѣ, которое заставило его вѣхаться въ трактиръ, а не прямо на квартиру дяди, и скоро понялъ бы, что нѣтъ никакихъ причинъ ожидать отъ дяди другого пріема, кромѣ какъ развѣ равнодушно-ласковаго, и что нѣтъ у него никакихъ правъ на жительство у него въ кваргирѣ. Но къ несчастью, онъ привыкъ разсуждать только о любви, дружбѣ и другихъ высокихъ и да-

лекихъ предметахъ, и потому явился къ дядѣ провинціаломъ съ ногъ до головы. Исполненныя ума и здраваго смысла слова дяди ничего не растолковали ему, а только произвели на него тяжелое грустное впечатлѣніе и заставили его романтически страдать. Онъ былъ трижды романтикъ — по натурѣ, по воспитанію и по обстоятельствамъ жизни, между тѣмъ какъ и одной изъ этихъ причинъ достаточно, чтобъ сбить съ толку порядочнаго человѣка и заставить его надѣлать тьму глупостей. Нѣкоторые находятъ, что онъ съ своими вещественными знаками невещественныхъ отношеній и другими черезчуръ ребяческими выходками не совсѣмъ вѣроятенъ, особенно въ наше время. Не споримъ, можетъ-быть въ этомъ замѣчаніи и есть доля правды; да дѣло-то въ томъ, что полное изображеніе характера молодого Адуева надо искать не здѣсь, а въ его любовныхъ похожденіяхъ. Въ нихъ онъ весь, въ нихъ онъ представитель множества людей похожихъ на него какъ двѣ капли воды и дѣйствительно обрѣтающихся въ здѣшнемъ мірѣ. Скажемъ нѣсколько словъ объ этой не новой, но все еще интересной породѣ, къ которой принадлежитъ этотъ романтическій звѣрокъ.

Эта порода людей, которыхъ природа съ избыткомъ надѣляетъ первическою чувствительностію, часто доходящею до болѣзненной раздражительности (*susceptibilité*). Они рано обнаруживаютъ тонкое пониманіе неопредѣленныхъ ощущеній и чувствъ, любятъ слѣдить за ними, наблюдать ихъ и называютъ это — наслаждаться внутреннею жизнію. Поэтому они очень мечтательны и любятъ или уединеніе, или кругъ избранныхъ друзей, съ которыми бы они могли говорить о своихъ ощущеніяхъ, чувствахъ и мысляхъ, хотя мыслей у нихъ такъ же мало, какъ много ощущеній и чувствъ. Вообще они богато одарены отъ природы душевными способностями, но дѣятельность ихъ способностей чисто страдательная: иные изъ нихъ много понимаютъ, но ни одинъ неспособенъ что-нибудь дѣлать, производить; онъ немножко музыкантъ, немножко живописецъ, немножко поэтъ, даже при нуждѣ немножко критикъ и литераторъ, но всѣ эти таланты у него таковы, что онъ не можетъ ими пріобрѣсти не только славы или извѣстности, но даже выработать посредственное содержаніе. Изъ всѣхъ умственныхъ способностей въ нихъ сильно развиваются воображеніе и фантазія, но не та фан-



тазія, посредствомъ которой поэтъ творитъ, а та фантазія, которая заставляетъ человѣка наслажденіе мечтами о благахъ жизни предпочитать наслажденію дѣйствительными благами жизни. Это они называютъ жить высшею жизнію, недоступною для презрѣнной толпы, парить горѣ, тогда какъ презрѣнная толпа пресмыкается долу. Отъ природы они очень добры, симпатичны, способны въ великодушнымъ движеніямъ; но какъ фантазія въ нихъ преобладаетъ надъ разсудкомъ и сердцемъ, то они скоро доходятъ до сознательнаго презрѣнія къ „пошлomu здравому смыслу — этому, по ихъ мнѣнію, достоинству людей матеріальныхъ, грубыхъ и ничтожныхъ, для которыхъ не существуетъ высокаго и прекраснаго“; сердце ихъ, безпрестанно насилуемое въ его инстинктахъ и стремленіяхъ ихъ волею, подъ управленіемъ фантазій, скоро скудѣетъ любовью, и они дѣлаются ужасными эгоистами и деспотами, сами того не замѣчая, а, напротивъ того, будучи добросовѣстно убѣждены, что они самые любящіе и самоотверженные люди. Такъ какъ въ дѣтствѣ они удивляли всѣхъ раннимъ и быстрымъ развитіемъ своихъ способностей и оказывали, сколько своими достоинствами, столько же и недостатками, сильное вліяніе надъ своими сверстниками, изъ которыхъ нѣкоторые были гораздо выше ихъ, — естественно, что они были захвалены съ раннихъ лѣтъ и сами о себѣ возымѣли высокое понятіе. Природа и безъ того отпустила имъ самолюбія гораздо больше, нежели сколько нужно его для эклибра человѣческой жизни; удивительно ли, что легкіе и мало заслуженные блестящіе успѣхи усиливаютъ у нихъ самолюбіе до невѣроятной степени? Но самолюбіе въ нихъ бываетъ всегда такъ замаскировано, что они добросовѣстно не подозрѣваютъ его въ себѣ, искренно принимаютъ его за геніальное стремленіе къ славѣ, ко всему великому, высокому и прекрасному. Они долго бываютъ помѣшаны на трехъ завѣтныхъ идеяхъ: это — слава, дружба и любовь. Все остальное для нихъ не существуетъ; это, по ихъ мнѣнію, достояніе презрѣнной толпы. Всѣ роды славы для нихъ равно обольстительны, и сначала они долго колеблются, какой избрать путь для достиженія славы. Имъ и въ голову не приходитъ, что кто считаетъ себя равно способнымъ ко всѣмъ поприщамъ славы, тотъ не способенъ ни въ какому, — что самые великіе люди узнавали о своей геніальности не прежде,

какъ сдѣлавши сперва что-нибудь дѣйствительно великое и геніальное, и узнають это не по собственному сознанію, а по одобрительнымъ и восторженнымъ кликамъ толпы. И вотъ манить ихъ военная слава, имъ очень бы хотѣлось въ Наполеоны, но только не иначе, какъ на такомъ условіи, чтобъ имъ на первый случай дали подъ команду хоть не большую, хоть стотысячную армію, чтобъ они сейчасъ же могли начинать блестящій рядъ побѣдъ своихъ. Манить ихъ и гражданская слава, но не иначе, какъ на такомъ условіи, чтобъ имъ прямо махнуть въ министры и сейчасъ же преобразовать государство (у нихъ же всегда готовы въ головѣ превосходные проекты для всякаго рода реформъ, стоитъ только присѣсть да написать). Но какъ зависть людей сдѣлала невозможными такіе геніальные скачки для такихъ геніальныхъ людей, и требуетъ, чтобъ всякій начиналъ свое поприще сначала, а не съ конца, и на дѣлѣ, а не на словахъ только, доказалъ бы свою геніальность, то наши геніи поневолѣ скоро обращаются къ другимъ путямъ славы. Хватаются они иногда и за науку, но не надолго: сухая и скучная матерія, надобно много учиться, много работать, и нѣтъ никакой пищи сердцу и фантазій. Остается искусство; но какое же избрать? Архитектура, скульптура, живопись и музыка никакому генію не даются безъ тяжкаго и продолжительнаго труда, и, что всего хуже и обиднѣе для романтиковъ, сначала труда чисто матеріальнаго и механическаго. Остается поэзія — и вотъ они бросаются къ ней со всего размаху, и, еще ничего не сдѣлавши, въ мечтахъ своихъ украшаютъ себя огненнымъ ореоломъ поэтической славы. Главное ихъ заблужденіе состоитъ еще не въ нелѣпомъ убѣжденіи, что въ поэзіи нуженъ только талантъ и вдохновеніе, что кто родился поэтомъ, тому ничего не нужно учиться, ничего не нужно знать: у того дѣйствительно есть большой талантъ, тотъ силою самаго таланта скоро пойметъ нелѣпость этой мысли и начнетъ все изучать, ко всему прислушиваться и приглядываться. Нѣтъ, главное и гибельное ихъ заблужденіе состоитъ въ томъ, что они увѣрили себя въ своемъ поэтическомъ призваніи, какъ въ непреложной истинѣ, срослись съ этою несчастною мыслию, такъ что разочароваться въ ней значитъ для нихъ потерять всякую вѣру въ себя и въ жизнь, и въ цвѣтѣ лѣтъ сдѣлаться паралитическими старп-



камн. И вотъ нашъ романтикъ принимается писать стихи и говоритъ въ нихъ о томъ, о чемъ давно прежде него было сказано и великими и малыми поэтами и вовсе не поэтами. Онъ воспѣваетъ въ нихъ свои страданія, которыхъ не испыталъ, говоритъ о своихъ темныхъ надеждахъ, изъ которыхъ видно только то, что онъ самъ не знаетъ, чего хочетъ; простираетъ къ братьямъ людямъ горячія объятія и хочетъ разомъ прижать къ сердцу все человѣчество или горько жалуется, что толпа холодно отвернулась отъ его братскихъ объятій. Бѣднякъ не понимаетъ, что, сидя въ кабинетѣ, ничего не стоитъ вдругъ возгорѣться самою неистовою любовью къ человѣчеству, по крайней мѣрѣ, гораздо легче нежели провести безъ сна хотя одну ночь у постели трудно больного. Обыкновенно романтики придаютъ сграшную цѣну чувству, думаютъ, что только одни они надѣлены сильными чувствами, а другіе лишены ихъ, потому что не кричатъ о своихъ чувствахъ. Чувство, конечно, важная сторона въ натурѣ человѣка, но не всѣ и не всегда поступаютъ въ жизни сообразно съ своею способностію чувствовать глубоко и сильно. Случается и такъ, что иной, чѣмъ сильнѣе чувствуетъ, тѣмъ безчувственнѣе живетъ: рыдаетъ отъ стиховъ, отъ музыки, отъ живого изображенія человѣческихъ бѣдствій въ романѣ или повѣсти — и равнодушно проходитъ мимо дѣйствительнаго страданія, которое у него передъ глазами. Иной управляющій, изъ нѣмцевъ, со слезами восторга на глазахъ читаетъ своей Минхенъ какое-нибудь восторженное посланіе Шиллера къ Лаурѣ, и кончивши послѣдній стихъ, съ неменьшимъ удовольствіемъ идетъ пороть мужиковъ за то, что они осмѣлились робко намекнуть своему милостивому барину, что они не совсѣмъ довольны отеческими попеченіями управляющаго о ихъ благосостояніи, отъ которыхъ только одинъ онъ и жирѣетъ, а они все худѣютъ. — Стихи нашего романтика гладки, блестящи, не лишены даже поэтической обработки; хотя въ нихъ и довольно риторической водицы, однако въ нихъ мѣстами проглядываетъ чувство, иногда даже блеснетъ мысль (какъ отголосокъ чужой мысли), — словомъ, замѣтно что-то въ родѣ таланта. Стихи его печатаются въ журналахъ, многіе ихъ хвалятъ; а если онъ явится съ ними въ переходную эпоху литературы, онъ можетъ пріобрѣсти даже значительную извѣстность

Но переходныя эпохи литературы особенно гибельны для такихъ поэтовъ: ихъ извѣстность, пріобрѣтенная въ короткое время чѣмъ-то, и въ короткое же время исчезаетъ просто отъ ничего; сперва ихъ стихи перестаютъ хвалить, потомъ читать, а, наконецъ, и печатать. Но молодому Адуеву не удалось насладиться хотя на мгновеніе даже ложною извѣстностію: его не допустили до этого и время, въ которое онъ вышелъ съ своими стихами, и умный откровенный дядя. Его несчастіе состояло не въ томъ, что онъ былъ бездаренъ, а въ томъ, что у него вмѣсто таланта былъ полуталантъ, который въ поэзіи хуже бездарности, потому что увлекаетъ человѣка ложными надеждами. Вы помните, чего ему стоило разочарованіе въ своемъ поэтическомъ призваніи...

Дружба также дорого обходится романтикамъ. Всякое чувство, чтобъ быть истиннымъ, должно быть прежде всего естественно и просто. Дружба иногда завязывается отъ сходства, а иногда отъ противоположности натуръ; но во всякомъ случаѣ, она чувство невольное, именно потому, что свободное; имъ управляетъ сердце, а не умъ и воля. Друга нельзя искать, какъ подрядчика на работу, друга нельзя выбрать; друзьями дѣлаются случайно и незамѣтно; привычка и обстоятельства жизни скрѣпляютъ дружбу. Истинные друзья не даютъ имени соединяющей ихъ симпатіи, не болтаютъ о ней безпрестанно. ничего не требуютъ одинъ отъ другого во имя дружбы, но дѣлаютъ другъ для друга что могутъ. Бывали примѣры, что другъ не выносилъ смерти своего друга и умиралъ вскорѣ послѣ него; другой отъ потери своего друга изъ веселаго человѣка дѣлается на всю жизнь меланхоликомъ; а третій поскорбить потужить, да и утѣшится, но если онъ навсегда сохранить воспоминаніе, и оно будетъ для него вмѣстѣ и грустно и отрадно, онъ былъ истиннымъ другомъ умершаго, хотя не только не умеръ самъ отъ его потери, не сошелъ съ ума, не сдѣлался меланхоликомъ, но еще нашелъ силу быть довольно счастливымъ въ жизни и безъ друга. Степень и характеръ дружбы зависятъ отъ личностей друзей; тутъ главное, чтобъ не было въ отношеніяхъ ничего натянутого, напряженнаго, восторженнаго, ничего похожаго на долгъ и обязанность, а то иной готовъ и Богъ знаетъ на какія самопожертвованія для своего друга, чтобы сказать самому себѣ, а иногда и дру-



гимъ: „вотъ каковъ я въ дружбѣ!“ или: „вотъ къ какой дружбѣ я способенъ!“ Этотъ-то родъ дружбы обожаютъ романтики. Они дружатся по программѣ, заранее составленной, гдѣ съ точностію опредѣлены сущность права и обязанности дружбы; они только не заключаютъ контрактовъ съ своими друзьями. Имъ дружба нужна чтобъ удивить міръ и показать ему, какъ великія натуры въ дружбѣ отличаются отъ обыкновенныхъ людей, отъ толпы. Ихъ тянетъ къ дружбѣ не столько потребность симпатіи столь сильной въ молодые лѣта, сколько потребность имѣть при себѣ человека, которому бы они безпрестанно могли говорить о драгоцѣнной своей особѣ. Выражаясь ихъ высокимъ слогомъ, для нихъ другъ есть драгоцѣнный сосудъ для изліянія самыхъ святыхъ и завѣтныхъ чувствъ, мыслей, надеждъ, мечтаній и т. д.; тогда какъ въ самомъ то дѣлѣ въ ихъ глазахъ другъ есть лаханъ, куда они выливаютъ помой своего самолюбія. Зато они и не знаютъ дружбы, потому что друзья ихъ скоро оказываются неблагодарными, вѣроломными, извергами, и они еще сильнѣе злобствуютъ на людей, которые не умѣли и не хотѣли понять и оцѣнить ихъ....

Любовь обходится имъ еще дороже, потому что это чувство само по себѣ живѣе и сильнѣе другихъ. Сперва они сочиняютъ программу любви, потомъ ищутъ достойной себя женщины, а за неимѣніемъ таковой любятъ пока какую-нибудь: имъ ничего не стѣитъ велѣть себѣ любить, вѣдь у нихъ все дѣлаетъ голова, а не сердце. Имъ любовь нужна не для счастья, не для наслажденія, а для оправданія на дѣлѣ своей высокой теоріи любви. И они любятъ по тетрадкѣ и больше всего боятся отступить хотя отъ одного параграфа своей программы. Главная ихъ забота являться въ любви великими, и ни въ чемъ не унизиться до сходства съ обыкновенными людьми. И однакожъ въ любви молодого Адуева къ Надинькѣ было столько истиннаго и живого чувства; природа заставила на время молчать его романтизмъ, но не побѣдила его. Онъ бы могъ быть счастливъ надолго, но былъ только на минуту, потому что все самъ испортилъ. Надинька была умнѣе его, а главное попроще и естественнѣе. Капризное избалованное дитя, она любила его сердцемъ, а не головою, безъ теорій и безъ претензій на гениальность; она видѣла въ любви только ея свѣтлую и веселую сторону,

и потому любила какъ будто шутя — шалила, кокетничала, дразнила Адуева своими капризами. Но онъ любилъ „горестно и трудно“, весь задыхающійся, весь въ пѣнѣ словно лошадь, которая тащитъ въ гору тяжелый возъ. Какъ романтикъ, онъ былъ и педантъ: легкость, шутка оскорбляли въ его глазахъ святое и высокое чувство любви. Любя, онъ хотѣлъ быть театральнымъ героемъ. Онъ скоро все переболталъ съ Наденькой о своихъ чувствахъ, пришлось повторять старое, а Наденька хотѣла, чтобъ онъ занималъ не только ея сердце, но и умъ, потому что она была пылка, впечатлительна, жаждала новаго; все привычное и однообразное скоро наскучало ей. Но къ этому Адуевъ былъ человѣкъ самый неспособный въ мірѣ, потому что собственно его умъ спалъ глубокимъ и непробуднымъ сномъ: считая себя великимъ философомъ, онъ не мыслилъ, а мечталъ, бредилъ на яву. При такихъ отношеніяхъ къ предмету его любви, ему былъ опасенъ всякой соперникъ, — пусть онъ былъ бы хуже его, лишь бы только не походилъ на него и могъ бы имѣть для Наденьки прелесть новости, а тутъ вдругъ является графъ, человѣкъ съ блестящимъ свѣтскимъ образованіемъ. Адуевъ, думая повести себя въ отношеніи къ нему истиннымъ героемъ, черезъ это самое повелъ себя какъ глупый, дурно воспитанный мальчишка, и этимъ испортилъ все дѣло. Дядя объяснилъ ему, но поздно и бесполезно для него, что во всей этой исторіи былъ виноватъ только одинъ онъ. Какъ жалокъ этотъ несчастный мученикъ своей извращенной и ограниченной натуры въ послѣднемъ его объясненіи съ Наденькой и потомъ въ разговорѣ съ дядею! Страданія его невыносимы; онъ не можетъ не согласиться съ доводами дяди и между тѣмъ все таки не можетъ понять дѣло въ его настоящемъ свѣтѣ. Какъ! ему унизиться до такъ называемыхъ хитростей, ему, который затѣмъ и полюбилъ, чтобъ удивить себя и міръ своею громадною страстію, хотя міръ и не думалъ заботиться ни о немъ ни о его любви! По его теоріи, судьба должна была послать ему такую же великую героиню, какъ онъ самъ, и вмѣсто этого послала легкомысленную дѣвчонку, бездушную кокетку! Наденька, которая еще недавно была въ глазахъ его выше всѣхъ женщинъ, теперь вдругъ стала ниже всѣхъ ихъ! Все это было бы очень смѣшно, еслибъ не было такъ грустно. Ложныя причины производятъ



такія же мучительныя страданія, какъ и истинныя. Но вотъ мало-по-малу онъ перешелъ отъ мрачнаго отчаянiя къ холодному унынiю и, какъ истинный романтикъ, началъ щеголять и кокетничать „своею нарядною печалью“. Прошелъ годъ, и онъ уже презираетъ Паденьку, говоря, что въ ея любви не было нисколько героизма и самоотверженiя. На вопросъ тетки: какой любви потребовалъ бы онъ отъ женщины? онъ отвѣчалъ: я бы потребовалъ отъ нея первенства въ ея сердцѣ, любимая женщина не должна замѣчать, видѣть другихъ мужчинъ, кромѣ меня; всѣ они должны казаться ей невыносимы; я одинъ выше, прекраснѣе (тутъ онъ выпрямился), лучше благороднѣе всѣхъ. Каждый мигъ, прожитый не со мной, для нея потерянный мигъ, въ моихъ глазахъ, въ моихъ разговорахъ должна она почерпнуть блаженство и не знать другого; для меня она должна жертвовать всѣмъ: презрѣнными выгодами, расчетами, свергнуть съ себя деспотическое иго матери, мужа, бѣжать, если нужно, на край свѣта, сносить энергически всѣ лишенiя, наконецъ презрѣть самую смерть, — вотъ любовь!“

Бѣдный мечтатель увѣренъ, что въ его словахъ выразилась страсть, къ которой способны только полубоги, а не простые смертные; и между тѣмъ тутъ выразились только самое необузданное самолюбіе и самый отвратительный эгоизмъ. Ему нужно не любовницу, а рабу, которую онъ могъ бы безнаказанно мучить капризами своего эгоизма и самолюбія. Прежде, чѣмъ требовать такой любви отъ женщины, ему слѣдовало бы спросить себя, способенъ ли самъ заплатить такою же любовью; чувство увѣряло его, что способенъ, тогда какъ въ этомъ случаѣ нельзя вѣрить ни чувству ни уму, а только опыту, но для романтиковъ чувство есть единственный непогрѣшительный авторитетъ въ рѣшеніи всѣхъ вопросовъ жизни. Но если бы онъ и былъ способенъ къ такой любви, это бы должно было быть для него причиною бояться любви и бѣжать отъ нея, потому что это любовь не человѣческая, а зѣфирная, взаимное терзаніе другъ друга. Любовь требуетъ свободы; отдаваясь другъ другу по временамъ, любящіеся по временамъ хотятъ принадлежать и самимъ себѣ. Адуевъ требуетъ любви вѣчной, не понимая того, что чѣмъ любовь живѣе, страстнѣе, чѣмъ ближе подходитъ подъ любимый идеалъ поэтовъ, тѣмъ она кратко-

временнѣе, тѣмъ скорѣе охлаждается и переходитъ въ равнодушіе, а иногда и въ отвращеніе. И наоборотъ, чѣмъ любовь спокойнѣе и тише, т.-е. чѣмъ прозрачнѣе, тѣмъ продолжительнѣе: привычка скрѣпляетъ ее на всю жизнь. Поэтическая, страстная любовь — это цвѣтъ нашей жизни, нашей молодости; ее испытываютъ рѣдкіе, и только одинъ разъ въ жизни, хотя послѣ нѣе любятъ и еще нѣсколько разъ, да ужъ не такъ, потому что, какъ сказалъ нѣмецкій поэтъ, май жизни цвѣтегъ только разъ. Шекспиръ не даромъ заставилъ умереть Ромео и Юлію въ концѣ своей трагедіи: черезъ это они остаются въ памяти читателя героями любви, ея апофеозомъ; оставъ же онъ ихъ въ живыхъ, они представлялись бы намъ счастливыми супругами, которые сидя вмѣстѣ зѣваютъ, а иногда и ссорятся, въ чемъ вовсе нѣтъ поэзіи.

Но вотъ судьба послала нашему герою именно такую женщину, т.-е. такую же, какъ онъ, испорченную, съ вывороченнымъ на изнанку сердцемъ и мозгомъ. Сначала онъ утопалъ въ блаженствѣ, все забылъ, все бросилъ, съ утра до поздней ночи просиживалъ у ней каждый день. Въ чемъ же заключалось его блаженство? Въ разговорахъ о своей любви. И этотъ страстный молодой человѣкъ, сидя наединѣ съ прекрасною молодою женщиною, которая его любитъ и которую онъ любитъ, не краснѣлъ, не блѣднѣлъ, не замиралъ отъ томительныхъ желаній; ему довольно было разговоровъ о взаимной ихъ любви!.. Однакожъ сердечныя изліянія съ Тафаевой скоро начали утомлять его; онъ думалъ поправить дѣло предложеніемъ жениться. Коли такъ, то надо бы было поторопиться; но онъ только думалъ, что рѣшился, а въ самомъ то дѣлѣ ему только былъ нуженъ предметъ для новыхъ мечтаній. Между тѣмъ Тафасва начала смертельно надоѣдать ему своей привязчивой любовью; онъ началъ тиранить ее самымъ грубымъ и отвратительнымъ образомъ, за то, что уже не любилъ ея. Еще прежде этого онъ ужъ начиналъ понимать, что свобода въ любви вещь недурная, что пріятно бывать у любимой женщины, но также пріятно быть вправѣ пройти по Невскому, когда хочется, дообѣдать съ знакомыми и друзьями, провести съ ними вечеръ, — что, наконецъ, при любви можно не бросать и службы. Измучивши бѣдную женщину самымъ варварскимъ образомъ, взваливши на нее всю вину въ несчастіи, въ которомъ онъ былъ виноватъ



гораздо больше ея, — онъ рѣшился, наконецъ, сказать себѣ, что онъ ея не любитъ, и что ему пора покончить съ ней. Такимъ образомъ его глупый идеаль любви былъ вдребезги разбитъ опытомъ. Онъ самъ увидѣлъ свою несостоятельность передъ любовью, о которой мечталъ всю жизнь свою. Онъ увидѣлъ ясно, что онъ вовсе не герой, а самый обыкновенный человѣкъ, хуже тѣхъ, кого презиралъ, что онъ самолюбивъ безъ достоинствъ, требователенъ безъ правъ, заносчивъ безъ силы, гордъ и надутъ собою безъ заслуги, неблагодаренъ, эгоистъ. Это открытіе словно громомъ пришибло его, но не заставило его искать примиренія съ жизнью, пойти настоящимъ путемъ. Онъ впалъ въ мертвую апатію и рѣшился отомстить за свое ничтожество природѣ и человѣчеству, связавшись съ животнымъ Костяковымъ и предавшись пустымъ удовольствіямъ, безъ всякой охоты къ нимъ. Последняя его любовная исторія гадка. Онъ хотѣлъ погубить бѣдную страстную дѣвушку, такъ, отъ скуки. Отецъ дѣвушки далъ ему урокъ, страшный для его самолюбія: онъ обѣщалъ поколотить его; герой нашъ хотѣлъ съ отчаянія броситься въ Неву, но струсилъ. Концертъ, на который затащила его тетка, расшевелилъ въ немъ прежнія мечтанія и вызвалъ его на откровенное объясненіе съ теткою и дядею. Здѣсь онъ обвинилъ дядю во всѣхъ своихъ несчастіяхъ. Дядя по своему дѣйствительно кое въ чемъ сильно ошибался, но онъ былъ туго самымъ собою, не лгалъ, не притворялся, говорилъ по убѣжденію, что думалъ и чувствовалъ; если слова его подѣйствовали на племянника болѣе вредно, нежели полезно, въ этомъ виновата ограниченная, болѣзненная и поврежденная натура нашего героя. Это одинъ изъ тѣхъ людей, которые иногда и видятъ истину, но, рванувшись къ ней, или не допрыгиваютъ до нее, или перепрыгиваютъ черезъ нее, такъ что бываютъ только около нея, но никогда въ ней. Выѣзжая изъ Петербурга въ деревню, онъ расквитался съ нимъ фразами и стихами и прочелъ стихотвореніе Пушкина: „Художникъ варваръ кисти сонной“... Эти господа ни на часъ безъ монологовъ и стиховъ — такіе болтуны!

Онъ пріѣхалъ въ деревню живымъ трупомъ; нравственная жизнь была въ немъ совершенно парализована; самая наружность его сильно измѣнилась, мать едва узнала его. Съ нею онъ обошелся почтительно, но холодно, ничего ей

не открылъ, не объяснилъ. Онъ, наконецъ, понялъ, что между нимъ и ею нѣтъ ничего общаго, что еслибъ онъ сталъ ей объяснять, куда дѣвались его волосы, она поняла бы это такъ же, какъ Евсей и Аграфена. Ласки и угожденіе матери скоро стали ему въ тягость. Мѣста — свидѣтели его дѣтства, расшевелили въ немъ прежнія мечты, и онъ началъ хныкать о ихъ невозвратной потерѣ, говоря, что счастье въ обманахъ и призракахъ. Это общее убѣжденіе всѣхъ дряблыхъ, безсильныхъ, недоконченныхъ натуръ. Вѣдь кажется, опытъ достаточно показалъ ему, что всѣ его несчастія произошли именно оттого, что онъ предавался обманамъ и мечтамъ: воображалъ, что у него огромный поэтический талантъ, тогда какъ у него не было никакого, что онъ созданъ для какой то героической и самоотверженной дружбы и колоссальной любви, тогда какъ въ немъ ничего не было героическаго, самоотверженнаго. Это былъ человѣкъ обыкновенный, но вовсе не пошлый. Онъ былъ добръ, любящъ, и не глупъ, не лишенъ образованія; всѣ несчастія его произошли оттого, что будучи обыкновеннымъ человѣкомъ, онъ хотѣлъ разыграть роль необыкновеннаго. Кто въ молодости не мечталъ, не предавался обманамъ, не гонялся за призраками, и кто не разочаровывался въ нихъ, и кому эти разочарованія не стоили сердечныхъ судорогъ, тоски, апатій, и кто потомъ не смѣялся надъ ними отъ всей души? Но здоровымъ натурамъ полезна эта практическая логика жизни и опыта: они отъ нея развиваются и мужаютъ нравственно: романтики гибнутъ отъ нея...

Когда мы въ первый разъ читали письмо нашего героя къ теткѣ и дядѣ, писанное послѣ смерти его матери и исполненное душевнаго спокойствія и здраваго смысла, — это письмо подѣйствовало на насъ какъ то странно: но мы объяснили его себѣ такъ, что авторъ хочетъ послать своего героя снова въ Петербургъ затѣмъ, чтобы тотъ новыми глупостями достойно заключилъ свое донкихотское поприще. Письмомъ заключается вторая часть романа; эпилогъ начинается черезъ четыре года, послѣ вторичнаго пріѣзда нашего героя въ Петербургъ. На сценѣ Петръ Ивановичъ. Это лицо введено въ романъ не само для себя, а для того, чтобы своею противоположностію съ героемъ романа лучше отгѣнить его. Это набросило на весь романъ нѣсколько дидактическій



оттѣнокъ, въ чемъ многіе безъ основанія упрекали автора. Но авторъ умѣлъ и тутъ показать себя человѣкомъ съ необыкновеннымъ талантомъ. Петръ Ивановичъ — не абстрактная идея, живое лицо, фигура, нарисованная во весь ростъ кистью смѣлою, широкою и вѣрною. О немъ, какъ о человѣкѣ, судятъ или слишкомъ хорошо, или слишкомъ дурно, и въ обоихъ случаяхъ ошибочно. Одни хотятъ видѣть въ немъ какой-то идеаль, образецъ для подражанія: это люди положительные и разсудительные. Другіе видятъ въ немъ чуть не изверга: это мечтатели. Петръ Ивановичъ по своему человѣкъ очень хорошій; онъ уменъ, потому что хорошо понимаетъ чувства и страсти, которыхъ въ немъ нѣтъ, и которыя онъ презираетъ; существо вовсе не поэтическое, онъ понимаетъ поэзію въ тысячу разъ лучше своего племянника, который изъ лучшихъ произведеній Пушкина какъ то ухитрился набраться такого духа, какого можно было бы набраться изъ сочиненій фразеровъ и риторовъ. Петръ Ивановичъ эгоистъ, холоденъ по натурѣ, не способенъ къ великодушнымъ движеніямъ; но вмѣстѣ съ этимъ онъ не только не золъ, но положительно добръ. Онъ честенъ, благороденъ, не лицемеръ, не притворщикъ, на него можно положиться, онъ не обѣщаетъ чего не можетъ или не хочетъ сдѣлать, а что обѣщаетъ, то непременно сдѣлается. Словомъ, это въ полномъ смыслѣ порядочный человѣкъ, какихъ, дай Богъ, чтобъ было больше. Онъ составилъ себѣ непреложныя правила для жизни, сообразуясь съ своею натурою и съ здравымъ смысломъ. Онъ ими не гордился и не хвастался, но считалъ ихъ непогрѣшительно-вѣрными. Дѣйствительно, мантія его практической философіи была сшита изъ прочной и крѣпкой матеріи, которая хорошо могла защищать его отъ невзгодъ жизни. Каковы же были его изумленіе и ужасъ, когда, доживъ до боли въ поясницѣ и до сѣдыхъ волосъ, онъ вдругъ замѣтилъ въ своей мантіи прорѣху — правда одну только, но зато какую широкую. Онъ не хлопоталъ о семейственномъ счастьи, но былъ увѣренъ, что утвердилъ свое семейственное положеніе на прочномъ основаніи, — и вдругъ увидѣлъ, что бѣдная жена его была жертвою его мудрости, что онъ заѣлъ ее вѣкъ, задушилъ ее въ холодной и тѣсной атмосферѣ.

Какой урокъ для людей положительныхъ, представителей здраваго смысла! Видно, человѣку нужно и еще чего-нибудь

немного, кромѣ здраваго смысла! Видно, на границахъ-то крайностей больше всего и стережетъ насъ судьба. Видно, и страсти необходимы для полноты человѣческой натуры, и не всегда можно безнаказанно навязывать другому то счастье, которое только насъ можетъ удовлетворить, но всякій человѣкъ можетъ быть счастливымъ только сообразно съ собственной натурою! Петръ Ивановичъ хитро и тонко расчелъ, что ему надо овладѣть понятіями, убѣжденіями, склонностями своей жены, не давая ей этого замѣтить, вести ее по дорогѣ жизни, но такъ, чтобъ она думала, что сама идетъ; но онъ сдѣлалъ въ этомъ расчетѣ одну важную ошибку: при всемъ своемъ умѣ, онъ не сообразилъ, что для этого надо было выбрать жену, чуждую всякой страстности, всякой потребности любви и сочувствія, холодную, добрую, вялую, всего лучше пустую, даже немножко глупую. Но на такой онъ, можетъ-быть, не захотѣлъ бы жениться, по самолюбію; въ такомъ случаѣ ему слѣдовало вовсе не жениться.

Петръ Ивановичъ выдержанъ отъ начала до конца съ удивительною вѣрностію; но героя романа мы не узнаемъ въ эпилогѣ: это лицо вовсе фальшивое, неестественное. Такое перерожденіе для него было бы возможно только тогда, если бы онъ былъ обыкновенный болтунъ и фразеръ, который повторяетъ чужія слова, не понимая ихъ, наклепываетъ на себя чувства, восторги и страданія, которыхъ никогда не испытывалъ; но молодой Адуевъ, къ его несчастію, часто бывалъ слишкомъ искрененъ въ своихъ заблужденіяхъ и нелѣпостяхъ. Его романтизмъ былъ въ его натурѣ; такіе романтики никогда не дѣлаются положительными людьми. Авторъ имѣлъ бы скорѣе право заставить своего героя загдохнуть въ деревенской дичи въ апатіи и лѣни, нежели заставить его выгодно служить въ Петербургѣ и жениться на большомъ приданомъ. Еще бы лучше и естественнѣе было ему сдѣлать его мистикомъ, фанатикомъ, сектантомъ; но всего лучше и естественнѣе было бы ему сдѣлать его, напр., славянофиломъ. Тутъ Адуевъ остался бы вѣрнымъ своей натурѣ, продолжалъ бы старую свою жизнь, и между тѣмъ думалъ бы, что онъ и Богъ знаетъ какъ ушелъ впередъ, тогда какъ въ сущности онъ только бы перенесъ старыя знамена своихъ мечтаній на новую почву. Прежде онъ мечталъ о славѣ, о дружбѣ, о любви, а тутъ сталъ бы мечтать о народахъ и племенахъ,



о томъ, что на долю славянъ досталась любовь, а на долю тевтоновъ — вражда, о томъ, что во времена Гостомысла славяне имѣли высшую и образцовую для всего міра цивилизацію, что современная Россія быстро идетъ къ этой цивилизаціи, что этого не видятъ только слѣпые и ожесточенные разсудкомъ, а всѣ зрячіе и размягченные фантазіею давно это ясно видятъ. Тогда бы герой былъ вполнѣ современнымъ романтикомъ, и никому бы не вошло въ голову, что люди такого закала теперь уже не существуютъ...

Придуманная авторомъ развязка романа портитъ впечатлѣніе всего этого прекраснаго произведенія, потому что она неестественна и ложна. Въ эпилогѣ хороши только Петръ Ивановичъ и Лизавета Александровна до самаго конца; въ отношеніи же къ герою романа эпилогъ хоть не читать... Какъ такой сильный талантъ могъ впасть въ такую странную ошибку? Или онъ не совладалъ съ своимъ предметомъ? Ничуть не бывало! Авторъ увлекся желаніемъ попробовать свои силы на чуждой ему почвѣ — на почвѣ сознательной мысли — и пересталъ быть поэтомъ. Г. Гончаровъ рисуетъ свои фигуры, характеры, сцены прежде всего для того, чтобы удовлетворить своей потребности и насладиться своею способностію рисовать; говорить и судить и извлекать изъ нихъ нравственныя слѣдствія ему надо предоставить своимъ читателямъ. Главная сила таланта г. Гончарова — всегда въ изящности и тонкости кисти, вѣрности рисунка; онъ неожиданно впадаетъ въ поэзію даже въ изображеніи мелочныхъ и постороннихъ обстоятельствъ, какъ, напримѣръ, въ поэтическомъ описаніи процесса горѣнія въ каминѣ сочиненій молодого Адуева. Въ талантѣ г. Гончарова поэзія — агентъ первый, главный и единственный...

Несмотря на неудачный или, лучше сказать, на испорченный эпилогъ, романъ г. Гончарова остается однимъ изъ замѣчательныхъ произведеній русской литературы. Къ особеннымъ его достоинствамъ принадлежитъ, между прочимъ, языкъ чистый, правильный, легкій, свободный, льющійся. Разсказъ Гончарова въ этомъ отношеніи не печатная книга, а живая импровизація. Нѣкоторые жаловались на длинноту и утомительность разговоровъ между дядею и племянникомъ. Но для насъ эти разговоры принадлежатъ къ лучшимъ сторонамъ романа. Въ нихъ нѣтъ ничего отвлеченнаго, не идущаго къ дѣлу:

это — не диспуты, а живые, странные, драматическіе споры, гдѣ каждое дѣйствующее лицо высказываетъ себя, какъ человѣка и характеръ, отстаиваетъ, такъ сказать, свое нравственное существованіе. Правда, въ такого рода разговорахъ, особенно при легкомъ, дидактическомъ колоритѣ, наброшенномъ на романъ, всего легче было споткнуться хоть какому таланту; но тѣмъ больше чести г. Гончарову, что онъ такъ счастливо рѣшилъ трудную самую по себѣ задачу и остался поэтомъ тамъ, гдѣ такъ легко было сбиться на тонъ резонера.

*Бѣлинскій.*

Гончарова упрекали, да и теперь часто упрекаютъ за то, что онъ не создалъ новыхъ типовъ, а разрабатывалъ лишь данные Пушкинымъ и Гоголемъ. Гончаровъ на этотъ упрекъ совершенно справедливо отвѣчалъ, что „дѣло не въ изобрѣтеніи типовъ (да коренныхъ общечеловѣческихъ типовъ и немного), а въ томъ, какъ у кого они выразились, какъ связались съ окружающею ихъ жизнію, и какъ послѣдняя на нихъ отразилась“. И Гончаровъ не отрицалъ, что существуетъ сходство нѣкоторыхъ его героевъ съ типами Пушкина и Гоголя; онъ смиренно признавался: „Всѣ мы, беллетристы, только перерабатываемъ завѣщанный ими матеріалъ“. Главное вліяніе на свой талантъ Гончаровъ приписывалъ Пушкину: „онъ далъ намъ вѣчные образцы, по которымъ мы и учимся безсознательно писать, какъ живописцы по античнымъ статуямъ“<sup>1)</sup>. Однако, сравнивая романы Гончарова съ произведеніями двухъ указанныхъ великихъ писателей, мы можемъ замѣтить едва или не большее сходство съ Гоголемъ. Правда, въ своемъ первомъ романѣ нашъ писатель является ученикомъ Пушкина, далекимъ, впрочемъ, рабскаго подражанія своему учителю. Племянникъ Адуевъ — какъ бы олицетвореніе участи, какую Пушкинъ считалъ возможною для мечтателя Ленскаго, который, какъ и молодой Адуевъ, тоже „любилъ восторженную рѣчь“ и „славы сладкое мученье“:

Его душа была согрѣта  
Привѣтомъ друга, лаской дѣвъ.  
Онъ сердцемъ милый былъ невѣжда;

<sup>1)</sup> „Лучше поздно“... 8 т., стран. 239 и далѣе.



Его лелѣяла надежда,  
И міра новый блескъ, и шумъ  
Еще плѣняли юный умъ.  
Онъ забавлялъ мечтою сладкой  
Сомнѣнья сердца своего...  
Онъ вѣрилъ, что душа родная  
Соединиться съ нимъ должна;  
Что, безотрадно изнывая,  
Его вседневно ждетъ она:  
Онъ вѣрилъ, что друзья готовы  
За честь его принять оковы...

Уже въ этомъ описаніи нельзя не видѣть прототипа молодого Адуева. А вотъ и подлинное, только продолженное окончаніе „Обыкновенной исторіи“:

А можетъ быть и то: поэта  
Обыкновенный ждалъ удѣлъ:  
Прошли бы юношества лѣта,  
Въ немъ пылъ души бы охладѣлъ;  
Во многомъ онъ бы измѣнился,  
Разстался бъ съ музами, женился;  
Въ деревнѣ счастливъ и рогать,  
Носилъ бы стеганый халатъ;  
Узналъ бы жизнь на самомъ дѣлѣ,  
Подагру бъ въ сорокъ лѣтъ имѣлъ,  
Пилъ, ѣлъ, скучалъ, толстѣлъ, хирѣлъ  
И, наконецъ, въ своей постели  
Скончался бъ посреди дѣтей,  
Плаксивыхъ бабъ и лѣкарей.

Очевидно, Адуевъ — тотъ же Ленскій, но не Ленскій, идущій на дуэль изъ-за любимой дѣвушки, а Ленскій in potentia опошлѣвшій и бросившій свои поэтическіе восторги, правда, не для деревенскаго прозябанія, а во имѣ столичнаго бюрократизма; принявшій въ себя, такимъ образомъ, явленія позднѣйшаго времени русской жизни.

*Изъ „Филол. Зап.“ за 1902 г.*

### **Жизненные условія, при которыхъ выросли и опредѣлились Адуевы.**

Гончаровъ подробно рассказываетъ о томъ, какъ первоначально сложилась жизнь Александра Ѳедоровича... Она сложилась прежде всего въ деревнѣ, подъ вліяніемъ матери, ко-

торая внушала ему: „здѣсь ты одинъ всему господинъ“, — матери, которая въ немъ воспитала привычку считать всѣхъ вокругъ него обязанными угадывать каждое его желаніе, жить какъ бы только ему на угодѣ. „Нянька все пѣла ему въ колыбели, что онъ будетъ ходить въ золотѣ и не знать горя“. Вообще о слезахъ и бѣдствіи онъ зналъ только по слуху, какъ знаютъ о какой-нибудь заразѣ, которая не обнаружилась, но глухо гдѣ-то таится въ народѣ“. Мать, развившая въ немъ эгоистическія наклонности, умѣла какъ-то распорядиться такъ, что и самая религіозность, которую она ему, по-своему, проповѣдывала, способна была лишь питать въ немъ ту же эгоистическую закваску. При отправленіи его въ Петербургъ, говоря ему о Богѣ, о посѣщеніи церкви, она придаетъ этому значеніе какого-то исправнаго искательства высшей небесной протекціи; она пренаивно обѣщаетъ ему, что если бы самъ онъ сталъ въ этомъ отношеніи лѣниться, то она ему вымолитъ у Бога и чиновъ и крестовъ. Говоря о нищихъ, она соглашается, что надо, конечно, имъ помогать, потому что безъ этого не угодишь Богу, но что довольно, такъ сказать, только соблюдать обрядъ подаванія милостыни, вообще же много раздавать не слѣдуетъ, — надо копить для себя. Намекая на возможность выгодной жепитьбы въ Петербургѣ, она прямо говоритъ, что Сонечку, которая его полюбила въ деревнѣ, можно и въ сторону; „что она въ самомъ дѣлѣ воображаетъ! развѣ ты лучшей партіи не найдешь?“

Послѣ всего этого Бѣлинскій имѣлъ полное право назвать мать Адуева — „доброю внукой злой Простаковой“, а ея воспитаннаго Александра Оедоровича мы съ неменьшею справедливостью можемъ назвать своего рода „Митрофаномъ“. Для чего онъ ѣдетъ въ Петербургъ? Да онъ и самъ этого не знаетъ, онъ ѣдетъ искать чего-то. Не забудь при этомъ, что онъ однакоже кончилъ курсъ въ университетѣ. Онъ открываетъ собою въ нашей литературѣ рядъ питомцевъ университета, вышедшихъ изъ стѣнъ его крайне мало подготовленными для настоящей жизненной дѣятельности, для дѣйствительно полезнаго служенія обществу. Гончаровъ объясняетъ это обстоятельство особымъ направленіемъ тѣхъ людей, которыхъ приходилось тогда слушать въ университетѣ. Молодому Адуеву профессора твердили, что онъ пойдетъ далеко, т.-е., разумѣется, они не лично къ нему это относили, но



онъ это заключилъ изъ ихъ курсовъ; они ему рисовали такія мечтательно неопредѣленныя картины будущей дѣятельности, въ которыхъ онъ, подъ вліяніемъ разыгравшагося воображенія, легко могъ найти себѣ видное мѣсто. Это были картины дѣятельности чисто заоблачной, ради пользы и добра вообще, какой-то пользы и какого-то добра для всего человечества.

И вотъ онъ самолюбиво мечталъ о подобной пользѣ, въ сущности только потѣшая этимъ и особеннымъ образомъ развивая свой доморощенный эгоизмъ, т.-е. онъ мечталъ, что выдвинется далеко изъ ряда, какими-то особенно блистательными успѣхами, и что на него будутъ съ уваженіемъ указывать пальцемъ. Когда онъ пріѣзжаетъ къ дядюшкѣ и тотъ начинаетъ допытываться, ради чего онъ стремился въ столицу, А. Адуевъ говоритъ: „Меня влекло неодолимое стремленіе, надежда благородной дѣятельности; во мнѣ кипѣло желаніе уяснить и осуществить тѣ надежды, которыя толпились...“ и т. д. Но тутъ же и признается: „у насъ профессоръ эстетики такъ говорилъ“. Дядя переводитъ на обыкновенный языкъ эти вдохновенныя рѣчи профессора эстетики.

— Сколько я могу припомнить университетскія лекціи и перевести слова твои, ты пріѣхалъ сюда дѣлать карьеру и фортуны?

— Да, дядюшка, „карьеру“, — совершенно искренно сознается племянникъ.

Такимъ образомъ оказывается, что дядя сразу понялъ его, — понялъ, что въ сущности племянникъ стремится къ тому же, къ чему и онъ самъ стремился всю свою жизнь; только племянникъ пока еще прикрываетъ эту цѣль грудой фразъ, заимствованныхъ изъ курса эстетики.

Молодой Адуевъ ищетъ сначала литературной славы. Дѣло въ томъ, что славы на служебномъ поприщѣ на первыхъ порахъ не добьешься; если бы можно было разомъ подняться повыше — тогда бы другое дѣло! Но низшія приготовительныя ступени мало льстятъ самолюбію; между тѣмъ и литературная слава ему не дается: дядюшка даже прямо доказываетъ ему, что у него нѣтъ таланта, — и вотъ онъ весь уходитъ въ чувство любви къ дѣвушкѣ, съ которой случайно сошелся. Гончаровъ очень подробно описываетъ это воркованье голубковъ, но сущность его заключается въ слѣ-

дующемъ выразительномъ разговорѣ между А. Адуевымъ и Наденькой:

— Ужели есть горе на свѣтѣ? — спрашиваетъ она.

— Говорятъ, есть, да я не вѣрю.

— Какое же горе можетъ быть?

— Дядюшка говоритъ: бѣдность...

— Бѣдность! да развѣ бѣдные не чувствуютъ того, что мы теперь? вотъ ужъ они и не бѣдны.

— Дядюшка говоритъ, что имъ не до того, нужно пить, ѣсть...

— Фи, ѣсть! дядюшка вамъ неправду говоритъ. Я не обѣдала сегодня, а какъ я счастлива“...

Въ этомъ миломъ разговорѣ выражается все міросозерцаніе этихъ *праздныхъ мечтателей*. Что она не знаетъ горя и выражается такъ наивно, — это неудивительно при томъ тепличномъ воспитаніи, которое получила она, подобно многимъ барышнямъ; но что онъ, кончившій курсъ въ университетѣ, держится такихъ же дѣтскихъ воззрѣній, — вотъ что гораздо диковиннѣе, и объясняется только той безжизненностью, той отвлеченностью, которою такъ долго отличалась у насъ наука, потому-то и не бывшая въ состояніи исправлять недостатки домашняго барскаго воспитанія. Когда читаешь у Гончарова эти безконечныя сцены любви между А. Адуевымъ и Наденькой, то такъ и кажется, что они взялись разыграть роли того юноши и той дѣвицы изъ повѣсти А. Адуева, которые попали на какой-то необитаемый островъ и, живя на немъ, наслаждаются себѣ на просторѣ одной любовью. Искусственно уединившись отъ окружающаго ихъ многолюднаго міра, убаюкивая себя мечтою, что не существуетъ ни горя ни слезъ, Александръ Федоровичъ и Наденька только любятъ другъ на друга, — но читатель заранее чувствуетъ, что долго имъ такъ не прожить, что скоро ихъ одолѣетъ невыносимая скука. „Сердце Наденьки было занято, но умъ оставался празденъ: Александръ не позаботился дать ему пищи“, — и вотъ онъ мало-по-малу надоѣдаетъ ей, прежде чѣмъ она ему надоѣла, что, разумѣется, также случилось бы ранѣе или позже. Чтобы успокоить его оскорбленное самолюбіе, дядя помогаетъ ему завязать другой романъ: въ него влюбляется женщина, къ которой уже самъ онъ первый охлаждаетъ. Все это очень просто и понятно: *самые*



неглубокіе люди не могутъ совершенно уйти въ одно только чувство любви; жизнь наша неизбежно дѣлается пуста и скучна, если у насъ не завязаны связи съ обществомъ, если намъ не досталась хотя бы самая малая доля участія въ міровой работѣ. Но Александръ не понимаетъ настоящей причины своихъ неудачныхъ романовъ. Два раза разочаровавшись въ любви, онъ готовъ окончательно махнуть рукою на все, готовъ съ досады погрязнуть въ животной жизни; сближаясь съ какимъ-то совершенно неразвитымъ человѣкомъ, онъ случайно завязываетъ, уже просто отъ скуки, третій романъ, который чуть было не довелъ его до совершеннаго нравственнаго паденія. Послѣ всего этого, дядюшка оказывается правымъ въ своемъ недовѣрчивомъ взглядѣ на тѣ выпреннія фразы, которыя такъ обильно расточались племянникомъ. Но хотѣлъ ли Гончаровъ сказать этимъ, что собственное направленіе дядюшки совершенно вѣрно; хотѣлъ ли онъ заоблачному мечтателю, пустозвонному идеалисту Александру Ѳедоровичу противопоставить трезваго, практическаго дядю, какъ высокій жизненный идеалъ? вотъ вопросъ. Я думаю, что нашъ авторъ поставилъ дядюшку выше племянника только въ томъ смыслѣ, что первый, по крайней мѣрѣ, не обманываетъ себя и другихъ, что онъ искрененъ, что въ немъ нѣтъ ничего напускного, что онъ откровенно высказываетъ, къ чему стремится. „Цѣль моей жизни — успѣхъ, выгода, та же, что у тебя, Александръ, но ты не сознаешься въ этомъ, а я сознаюсь“, вотъ что, въ разныхъ видахъ, говоритъ онъ племяннику. Дядя не только прямо и, въ этомъ смыслѣ, честно племянника; онъ и гораздо умнѣе его, сразу разгадывая и обнажая его передъ нимъ самимъ. Къ тому же, при всемъ своемъ дѣловомъ эгоизмѣ, онъ менѣе эгоистъ, чѣмъ племянникъ; въ немъ есть извѣстная доброта и даже теплота, онъ совершенно искренно упрекаетъ А. Адуева въ томъ, что, жалуясь на человѣчество вслѣдствіе своихъ неудачъ въ любви, онъ забываетъ о нѣжной дружбѣ тетки и, что еще непростительнѣе, оставляетъ безъ писемъ свою старушку-мать, которая его безгранично любитъ. Тѣмъ не менѣе, Гончаровъ вовсе не хотѣлъ выставить дядюшку Петра Ивановича лицомъ образованнымъ; это ясно изъ того, что ему не удастся доставить счастіе своей женѣ. „Мужъ ея неутомимо трудился, и все еще трудится. Но что было глав-

ною цѣлью его трудовъ? Трудился ли онъ для общей человѣческой цѣли, для самаго труда, или только для мелочныхъ причинъ, чтобы пріобрѣсть между людьми чиновное и денежное значеніе? — это оставалось для нея загадкою, а между тѣмъ она внутренно томила чувствомъ нравственной неудовлетворенности. Петръ Ивановичъ, при своемъ умѣ, не могъ, канонецъ, не понять этого, и въ этомъ заключается его нравственная кара. Не ясно ли изъ этого, что Гончаровъ представляетъ и дядю стоящимъ на ложной дорогѣ? Но припомнимъ также мастерское описаніе присутственнаго мѣста, въ которое попадаетъ молодой Адуевъ въ началѣ романа: „Каждый день, каждый часъ, и сегодня, и завтра, и цѣлый вѣкъ бюрократическая машина работаетъ стройно, исправно, безъ отдыха, какъ будто нѣтъ людей: одни колеса да пружины“. А этотъ Юпитеръ-громовержецъ въ образѣ начальника отдѣленія: „откроетъ ротъ — и бѣжитъ Меркурій съ мѣдной бляхой на груди; протянетъ руку съ бумагой — и десять рукъ тянутся принять ее“. Можетъ ли быть, чтобы, рисуя такого Юпитера, нашъ авторъ видѣлъ въ немъ свой идеалъ? Бѣлинскій вовсе не думалъ этого, а указывалъ на вполне объективное отношеніе Гончарова ко всѣмъ его дѣйствующимъ лицамъ. Но странно, какимъ образомъ Бѣлинскій могъ находить неестественною развязку романа; какимъ образомъ могъ онъ думать, что вмѣсто прозаическаго брака, какимъ кончаетъ Александръ Адуевъ, вѣрнѣе было бы сдѣлать изъ него мистика, фанатика, сектанта. Едва ли все это не явилось у Бѣлинскаго подъ вліяніемъ желанія сказать, что можно бы было, наконецъ, сдѣлать изъ Александра „славянофила“, т.-е., съ точки зрѣнія Бѣлинскаго, заоблачнаго мечтателя особаго покроя. Въ такомъ приговорѣ нельзя не признать увлеченія. Едва ли изъ основательнаго разбора личности А. Адуева можно вывести, чтобы онъ годился въ какіе бы то ни было сектанты. Въ головѣ его, собственно говоря, даже вовсе и не было никакихъ идей, а былъ только напускной фразистый идеализмъ, подъ которымъ скрывались препошленькія эгоистическія наклонности, какъ это, впрочемъ, и указалъ Бѣлинскій въ первой половинѣ своей характеристики Александра Адуева.

*Ор. Миллеръ.*



Александръ Адуевъ, мы видимъ въ романѣ, отдѣлился отъ старины, и ошибочно Гончаровъ причислилъ его къ ней. Онъ ушелъ отъ своей родимой черемухи и сирени, отъ своего родного озера, отъ своей старушки — матери, носительницы старины, отъ всего, что его притягивало въ дѣтствѣ, на новую дорогу, въ университетъ и подчинился новымъ идеямъ. Это былъ первый шагъ къ новой жизни. Но теоріи университета все таки много гармонировали съ его прежней обстановкой, поэтому первый шагъ Адуева не былъ особенно труденъ. Онъ порвалъ связь со стариной. Въ дѣтствѣ Адуевъ видѣлъ не страданія, какъ другіе, а одно непрерывное счастье, и жилъ среди однѣхъ розовыхъ надеждъ. То же осталось у него и послѣ университета: онъ все мечтаетъ о какой то сладостной жизни, и радужныя краски все еще лежатъ на окружающемъ. „Жизнь, жизнь, какъ ты прекрасна!“ — твердилъ этотъ 20-лѣтней розовый юноша съ мягкими, шелковыми волосами и съ парюю задумчивыхъ голубыхъ глазъ. Самою наружностью, какъ видно, Адуевъ напоминалъ ребенка. Уединенная жизнь, безъ тревогъ и волненій въ дѣтствѣ, породила въ немъ какой то свѣтлый, мечтательный взглядъ на окружающее. Тотъ же взглядъ остался у него и послѣ университета: „если бы ты перестроилъ жизнь, — говоритъ ему дядя — то, я думаю, у тебя среди розовыхъ кустовъ гуляли бы попарно любовники и друзья“. Въ дѣтствѣ Адуевъ жилъ избалованнымъ ребенкомъ, отдѣленнымъ отъ окружающей толпы. То же осталось въ немъ и послѣ, когда онъ сталъ юношей; у него была какая-то особенная вѣра въ самого себя, онъ постоянно отдѣлялъ себя отъ толпы, онъ обходилъ въ своихъ произведеніяхъ „пошлыхъ героевъ, которые встрѣчаются на каждомъ шагу, которые мыслятъ и дѣлаютъ, какъ дѣлаетъ толпа“. Его идеаль были артисты, великіе поэты, корсары, жизнь которыхъ не походила на жизнь толпы, которые были выше ея цѣлою головою. И такого героя, между прочимъ, Адуевъ видѣлъ въ себѣ самомъ.

Но судьба заставила Александра сдѣлать второй шагъ, болѣе уже демократическій къ новизнѣ, она занесла его въ столицу; здѣсь Адуевъ встрѣтилъ совершенно иной міръ, другія мысли и теоріи, даже другую обстановку, другіе дома. Онъ долженъ былъ или подчиниться этой новизнѣ, представителемъ которой былъ его дядя, или уйти отъ нея, иначе

жизнь была бы невыносима. Онъ долженъ былъ разбить свои старыя вѣрованія и надежды, всѣ свои мечты о корсарахъ и герояхъ, все отвращеніе къ будничной жизни, къ толпѣ. Съ трудомъ, послѣ долгой борьбы, измученный Александръ, уступилъ новой жизни; ему хотѣлось бы удержать свою старину, свой прежній обликъ; его мягкая женственная натура долго боролась за старые идеалы. Но года сдѣлали свое: онъ уступилъ, такъ сказать, демократизовался, — онъ изъ мечтателя сдѣлался чиновникомъ — дѣльцомъ, одной изъ пружинъ машины; онъ по утрамъ занимался въ прозаическомъ департаментѣ, онъ съ высоты заоблачныхъ думъ спустился къ назему и картофелю; онъ потерялъ поэтическій языкъ, и у него явился „строгій, сжатый стиль“, онъ уже написалъ вторую повѣсть съ болѣе реальнымъ содержаніемъ; онъ потерялъ отчасти ту вѣру, въ которой его воспитала набожная мать. Словомъ, говоритъ Гончаровъ, „у Адуева не осталось ни одной мечты, ни одной розовой надежды; все было назади, туманъ разсѣялся, и предъ нимъ, какъ степь, растилалась голая дѣйствительность“. Самъ дядя призналъ это: „Александръ“, говоритъ онъ племяннику въ концѣ романа: „ты моя кровь, ты Адуевъ“. Эти слова дяди были похороннымъ звономъ надъ умершимъ молодымъ романтикомъ: Адуевъ въ 30 лѣтъ послѣ почти девятилѣтняго пребыванія въ столицѣ, началъ жить, по словамъ Гончарова, „той деревянной жизнью, какой жилъ его дядя“.

*Мизиновъ.*

### Автобіографическія черты въ „Обыкновенной исторіи“.

„Обыкновенная исторія“ была первымъ романомъ Гончарова по времени своего созданія; въ ней естественно искать и болѣе непосредственнаго отраженія автобіографическихъ чертъ самого автора.

Вчитываясь внимательно въ это произведеніе, нельзя не замѣтить, дѣйствительно, что все оно — скорѣе художественный мемуаръ, съ самонаблюденіемъ на первомъ планѣ, чѣмъ романъ, и менѣе всего какая бы то ни была „исторія“. Исторія предполагаетъ извѣстную послѣдовательность въ пере-



ходѣ героевъ изъ одного состоянія въ другое. Здѣсь же мы видимъ не то: въ цѣломъ рядѣ сценъ изображается борьба дяди съ племянникомъ, переходящая, наконецъ, въ примиреніе, въ полное совпаденіе въ одномъ типѣ. Дядя разочаровываетъ племянника въ его юношескихъ мечтахъ о любви и дружбѣ, осмѣиваетъ его творческіе опыты, его незрѣлый идеализмъ, излагаетъ предъ нимъ практическую философію жизни и — черезъ нѣсколько лѣтъ — убѣждается, что слова его не пропали даромъ, что племянникъ — живое воплощеніе дяди. И насколько много этихъ сценъ, дѣлающихъ чтеніе романа подѣ часъ утомительнымъ, настолько мало постепенности и равномерности въ изложеніи „исторіи“ въ узкомъ смыслѣ. Послѣдняя совершается за спиной читателя; о ней въ короткихъ словахъ рассказываетъ самъ Гончаровъ. „Прошло болѣе двухъ лѣтъ. Кто бы узналъ нашего провинціала?..“ — такъ связываетъ Гончаровъ начало и продолженіе своего повѣствованія, но это — чистая виѣшняя связь. Провинціаль измѣнился только по наружности — онъ возмужалъ, „черты лица созрѣли и образовали фizioномію“, и хотя Гончаровъ и добавляетъ, что „фizioномія обозначила характеръ“, однако внутренняя перемѣна еще не наступила. Александръ все тотъ же — вплоть до послѣдней главы, за которой слѣдуетъ знаменитый эпилогъ. Въ этой главѣ дана попытка раскрыть внутренній процессъ совершившихся въ Александрѣ перемѣнъ, — попытка, безъ которой совпаденіе дяди и племянника въ одномъ типѣ было необъяснимымъ и случайнымъ.

Поѣздка Александра Адуева, послѣ нѣсколькихъ лѣтъ службы въ столицѣ, можетъ найти себѣ параллель въ послѣдней поѣздкѣ Гончарова на родину, черезъ четырнадцать лѣтъ по окончаніи университетскаго курса. Мать нашла Александра Адуева похудѣвшимъ, задумчивымъ; волосы значительно порѣдѣли. Камердинеръ его, Евсей, объяснялъ эту перемѣну „писаньемъ“, которому ежедневно предавался его баринъ; запомнилъ онъ еще слово „разочарованный“, подслушанное въ отзывѣ Петра Ивановича объ Александрѣ, но другихъ, болѣе глубокихъ мотивовъ перемѣны въ баринѣ не могъ указать.

— Такъ-съ, резонно.

„Онъ взглянулъ на гувернантку, та улыбнулась, а я покраснѣлъ“...

Но вернемся къ „Обыкновенной исторіи“. „Прошло два-три мѣсяца“... „Такъ прошло года полтора“... Въ Александрѣ Адуевѣ, на протяженіи нѣсколькихъ страницъ, происходитъ, подъ вліяніемъ уединеннаго размышленія, то, что на языкѣ Петровъ Иваннычъ называется отрезвленіемъ, сознаніемъ сдѣланныхъ ошибокъ и готовностью идти на компромиссъ. „И что я здѣсь дѣлаю? за что вяну? — спрашиваетъ себя Александръ Адуевъ, уже тяготясь деревенскимъ бездѣльемъ. — Зачѣмъ гаснутъ мои дарованья? Почему мнѣ не блистать тамъ своимъ трудомъ?.. Теперь я сталъ разсудительнѣе. Чѣмъ дядюшка лучше меня? Развѣ я не могу отыскать себѣ дороги? Ну, не удалось до сихъ поръ, пора!.. нельзя же погибнуть здѣсь! Тамъ тотъ и другой — всѣ вышли въ люди... А моя карьера, а фортуна?“

Въ этихъ словахъ выразилась вся „исторія“ волшебного быстрого превращенія племянника въ дядю; по отношенію къ ней весь романъ является не болѣе, какъ введеніемъ. Другими словами, Гончаровъ не столько заботился о томъ, *какъ* племянникъ переходилъ въ дядю, сколько говорилъ намъ: вотъ какимъ былъ Петръ Ивановичъ въ молодости, и вотъ какимъ онъ сталъ, когда сдѣлался старше, разсудительнѣе, благоразумнѣе. Читателямъ предоставлялось судить, что было лучше; на нихъ же возлагалась и отвѣтственность за то или другое толкованіе заглавія романа.

Симпатіи Гончарова лежали всецѣло на сторонѣ дяди. Когда создавался романъ, авторъ и по годамъ и по міросозерцанію былъ весьма близокъ къ Петру Ивановичу. Хорошая половина жизни была уже отжита; раннія увлеченія и разочарованія, вмѣстѣ съ юношескимъ романтизмомъ, отошли въ область невозвратнаго прошлаго. О нихъ можно было вспоминать — когда съ улыбкой, когда съ легкимъ вздохомъ сожалѣнія, потому что въ нихъ было очень много хорошаго, теплаго, искренняго, было много наивной сердечной поэзіи. „Ахъ! еслибы я могъ еще вѣрить въ это! — думаетъ Александръ, вспоминая бесѣды матери о Богѣ и Божьихъ ангелахъ. Младенческія вѣрованія утрачены, а что я узналъ новаго, вѣрнаго?.. нічего: я нашелъ сомнѣнія, толки, теоріи... И отъ истины еще дальше прежняго... Къ чему этотъ расколъ, это умничанье?.. Боже!.. Когда теплота вѣры не грѣетъ сердца, развѣ можно быть счастливымъ! Счастливѣе ли я?...



Гончарову не трудно было взять вѣрный тонъ челоѣка, который рассказываетъ объ увлеченіяхъ и заблужденіяхъ своей собственной молодости, набрасывая на рассказъ легкую дымку провіи, но подъ этой дымкой еще теплится любовь къ тому, чѣмъ украшалась молодость, чѣмъ она жила, во что вѣрила, и легкая грусть кое-гдѣ сквозила между строкъ, проникнутыхъ, на первый взглядъ, неподдѣльнымъ юморомъ.

Исключая эпилога, писатель нигдѣ не ставитъ Петра Ивановича въ комическое положеніе, подобное тому, въ какое ставитъ онъ на каждомъ шагѣ Александра. Писатель не допускаетъ и мысли, чтобы дядя хотя на минуту пересталъ быть резоннымъ и вѣрнымъ себѣ. Принципы его выработаны разъ навсегда, взгляды ясны, житейская философія цѣльна и закончена. Низведи его Гончаровъ съ пьедестала, и романъ его получилъ бы совершенно другой смыслъ, смыслъ, который — кто знаетъ? — можетъ быть болѣе соотвѣтствовалъ бы заглавію „обыкновенной исторіи“, чѣмъ теперь, когда послѣднее является нѣкоторой загадкой. Вѣдь если переменна, совершившаяся въ Александрѣ, естественна и необходима въ жизни, если Петръ Ивановичъ представляется Гончарову положительной величиной въ обществѣ, личностью въ нѣкоторомъ родѣ идеальной, то, съ точки зрѣнія автора, обыкновенная исторія должна представляться исторіей прекрасной, достойной подражанія и сочувствія: въ такомъ случаѣ — побольше бы такихъ обыкновенныхъ исторій, и въ результатѣ окажется больше порядка въ общественной и домашней жизни, больше ясности въ сложныхъ челоѣческихъ отношеніяхъ, наконецъ, больше практической и государственной пользы.

Едва ли Гончаровъ задумывался надъ теоретической постановкой вопроса о значеніи Петра Ивановича какъ общественнаго типа, и о томъ, въ какихъ отношеніяхъ находится этотъ типъ къ общему смыслу романа и, въ частности, къ его заглавію. Это и для насъ вопросъ второстепенный. Важно то, что Александръ Адуевъ и Петръ Ивановичъ тождественны въ своей сущности и писаны, несомнѣнно, съ одного лица, только въ разные періоды его жизни.

Тождественность эта прямо поразительна. Біографія Александра оказывается весьма схожею съ біографіей Петра Ивановича въ молодости. Дѣтство обоихъ проходитъ въ оди-

наковыхъ условіяхъ; они получаютъ одинаковое воспитаніе, учатся въ университетѣ и — каждый въ свое время — одинаково относятся къ наукѣ, искусству, литературѣ. Оба, опять таки каждый въ свое время, влюбляются по нѣскольку разъ, сначала у себя на родинѣ, въ деревнѣ, гдѣ оба плачутъ надъ озеромъ, рвутъ желтые цвѣты, пишутъ въ одинаковыхъ выраженіяхъ влюбленные письма, потомъ въ столицѣ то очаровываются, то падаютъ съ небесъ, „бѣснуются, ревнуютъ“, наконецъ, остываютъ, становятся благоразумными и стараются забыть „глупости“ молодыхъ лѣтъ. Въ итогѣ у обоихъ — крупный чинъ, орденъ на шеѣ, лысина, сѣдина на вискахъ и въ бакенбардахъ, хорошее состояніе, а главное — одинаковое отношеніе къ благамъ жизни, одно и то же міросозерцаніе, вкусы, привычки... даже боль въ поясницѣ и манера выражаться, и та, по духу ближайшей родственности, перешла отъ старшаго къ младшему. Одна и та же личность — въ два разные момента. Въ стремленіи сопоставить эти моменты, сдѣлать изъ нихъ большую и малую посылку для вывода — „обыкновенная исторія“, — авторъ совершенно упустилъ изъ виду необходимость исторической перспективы при обрисовкѣ развитія каждого изъ героевъ. Петръ Ивановичъ лѣтъ на пятнадцать, на двадцать старше Александра. Въ эти пятнадцать, двадцать лѣтъ русская жизнь — заключимъ ее въ промежутокъ двадцатыхъ сороковыхъ годовъ, — несмотря на всѣ преграды, все же значительно ушла впередъ въ смыслѣ умственного и общественнаго самосознанія, въ смыслѣ отношенія къ кореннымъ явленіямъ своей современности. Эта сторона сама по себѣ совершенно не затронута въ романѣ, а между тѣмъ въ ней то и слѣдовало искать раскрытія общественнаго значенія романа, какъ оно представлялось автору. Въ этомъ отношеніи Гончаровъ не далъ ни одного намека на смѣну поколѣній, на борьбу отживающихъ традицій съ новыми вѣяніями, на все то, что создаетъ неизбѣжную и вѣчную разницу между отцами и дѣтьми, разницу, необходимость которой столько же коренится въ законахъ природы, сколько въ условіяхъ историческаго развитія общества. То, что мелькаетъ, какъ новое вѣяніе въ Александрѣ, въ свое время промелькнуло въ Петрѣ Ивановичѣ, и какъ въ одномъ, такъ и другомъ случаѣ, оставило послѣ себя слѣдъ въ воспоминаніяхъ, которыхъ впослѣдствіи стыдились оба героя



„Обыкновенной исторіи“. Словомъ, историческая точка зрѣнія была чужда Гончарову, когда онъ писалъ этотъ романъ: его занимала не послѣдовательность въ развитіи тѣхъ или иныхъ общественныхъ типовъ, какъ онъ наблюдалъ ихъ въ окружающей жизни, а собственные воспоминанія, попытка разобратъся въ томъ, чѣмъ онъ былъ пятнадцать, двадцать лѣтъ назадъ и чѣмъ сталъ, успокоившись отъ напрасныхъ стремленій и безплоднаго романтизма юношескихъ порывовъ.

Въ этомъ смыслѣ „Обыкновенную исторію“ можно назвать не романомъ, а художественной автобіографіей. Въ ней рассказана выработка формально-дѣловой, житейски-практической стороны міросозерцанія Гончарова, тотъ внѣшній укладъ его, которымъ онъ былъ въ частности къ людямъ, съ которыми онъ сталкивался въ повседневной жизни.

Эта сторона дѣловитой практичности, возведенной въ своего рода искусство, затронута и въ другихъ романахъ. Въ „Обрывѣ“ мы видѣли ее въ лицѣ Аянова. Въ „Обломовѣ“ ее олицетворяетъ заводчикъ Штольцъ, весьма напоминающій „тайнаго совѣтника и заводчика“ Петра Адуева, и столь же любезный сердцу Гончарова, скрасившаго, такъ или иначе, свое купеческое происхожденіе чиномъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника. И тотъ фактъ, что генералы обратились къ практической дѣятельности въ области промышленности и торговли, игралъ въ глазахъ нашего писателя немаловажную роль; отъ этого, казалось, возвышалось самое званіе промышленника и купца, самое дѣло пріобрѣтало оттѣнокъ особой порядочности и благородства. Раньше, говоритъ онъ въ своей исповѣди, считалось чуть не униженіемъ отдаваться практическому дѣлу заводчика. „Тайные совѣтники мало рѣшались на это. Чинъ не позволялъ, а званіе купца — не было лестно“.

Если бы Гончаровъ далъ себѣ трудъ провѣрить, сколько среди бюрократическихъ дѣльцовъ прошло на его глазахъ индивидуально-честныхъ Адуевыхъ и гуманныхъ Штольцевъ, онъ увидѣлъ бы, что таковыхъ было весьма немного. Не ими гордится русское общество, останавливаясь мыслью на недавнемъ прошломъ, о которомъ могъ говорить Гончаровъ: въ его настоящихъ, передовыхъ и чернорабочихъ дѣятеляхъ за этотъ періодъ было немного истыхъ бюрократовъ, въ духѣ Петра Ивановича, а бюрократовъ-заводчиковъ и того меньше.

Но Гончаровъ не дѣлалъ попытокъ провѣрять жизненность

своихъ типовъ, въ томъ значеніи, какое онъ придавалъ имъ, на примѣрахъ дѣйствительной жизни. И это, конечно, говорится не въ укоръ ему, — мы далеки отъ мысли предъявлять подобныя требованія къ художникамъ, — но когда послѣдніе, не довольствуясь созданіемъ образа, начинаютъ морализировать по поводу его, — ихъ невольно хочется иной разъ перенести изъ мастерской, изъ мерцающихъ сумерекъ вдохновенія и гармоніи, въ обычную людскую толпу, съ шумомъ и гамомъ, заботами и смѣхомъ повседневной жизни, такъ, чтобы они на время забыли свою палитру и краски, смѣшались съ толпой и въ хаосѣ ея разнородныхъ стремленій утопили свои личные интересы, личные радости и скорби.

Жизнь Гончарова рано приняла ровное и слишкомъ ужъ обособленное теченіе, чтобы явленія общественнаго или массоваго характера могли захватить и увлечь его. Можетъ быть, это теченіе какъ нельзя болѣе подходило къ необходимѣйшимъ условіямъ его творческой дѣятельности, менѣе всего требовавшей толчковъ и побужденій извнѣ, изъ жизни, изъ самаго горнила ея, гдѣ кипятъ страсти и бьется въ противорѣчіяхъ мысль, — но оно, это спокойствіе, дѣлало его мало отзывчивымъ на запросы окружающей среды, какъ только они выходили изъ круга идей извѣстнаго порядка, изъ рамокъ органически развившагося и ставшаго привычнымъ міросозерцанія.

Это характерное для Гончарова, привычное міросозерцаніе выражалось вполне опредѣленнымъ отношеніемъ къ служебнымъ обязанностямъ. Здѣсь Гончаровъ былъ человѣкомъ внѣшняго долга, добросовѣстнымъ работникомъ, однако никогда не доводившимъ своей исполнительности до настоящей, сознательной любви къ службѣ. Но едва ли не съ большей полнотой выражалось это міросозерцаніе въ томъ укладѣ и порядкѣ, который завелъ Гончаровъ у себя дома, куда уходилъ онъ и отъ назойливой суеты свѣтски-общественной жизни, и отъ „исполненія“ нужныхъ и ненужныхъ бумагъ.

*Ляцкий.*

### Личность Обломова.

Обломовъ — женственная, поэтическая натура: не даромъ Штольцъ называлъ его „поэтомъ“, даже нѣкоторые изъ критиковъ Гончарова называли его „народнымъ поэтомъ“. Это



былъ мягкій, добрый характеръ: не даромъ старый Захаръ поминалъ его на послѣдніе гроши и горько плакалъ на его могилѣ; не даромъ про него говорилъ его другъ: „многихъ людей встрѣчалъ я съ высокими качествами, но никогда не встрѣчалъ я сердца чище, свѣтлѣе и проще“; „душа Обломова, по словамъ Штольца, была чиста, какъ хрусталь“. Самъ Гончаровъ даже сказалъ объ Обломовѣ: „кто только случайно заглядывалъ въ эту свѣтлую, дѣтскую душу, тотъ уже не могъ отказать ему во взаимности“.

Эта добрая, мягкая натура Обломова и попала какъ разъ подъ ту ломку, которая совершалась въ жизни, и изъ него вышло нѣчто среднее, какое-то звено между прошлымъ и настоящимъ. Онъ во многомъ разошелся съ окружающей стариной: онъ далеко ушелъ отъ чиновника Судьбинскаго, міросозерцаніе котораго заключалось въ прибавкѣ жалованья, въ столовыхъ, квартирныхъ, отопленіи и освѣщеніи; онъ разошелся съ Пѣнкинымъ, который проповѣдывалъ презрѣніе къ падшему человѣку; онъ защищалъ старика Захара противъ Тарантьева. Объ окружающемъ старомъ у Обломова сформировалось самое невыгодное представленіе: ему рисовались въ жизни фигуры, симметрически расположенныя за карточными столами; въ окружающихъ не было ни искренняго смѣха ни симпатій; ему противны были люди, толкавшіеся по пяти лѣтъ въ прихожей, чтобы выиграть дѣло и обобрать другого. Въ молодые годы Обломовъ шелъ за вѣкомъ и не отставалъ отъ него: вмѣстѣ со Штольцемъ онъ ушивался поэтами, волновался, плакалъ; онъ изучалъ право и политическую экономію, онъ записывался съ учителемъ математики и осиливалъ круги и квадраты; онъ учился по-англійски; онъ занимался переводами и преподнесъ Штольцу въ день его именинъ переводъ Сея; онъ мечталъ даже о путешествіяхъ и германскихъ университетахъ; онъ читалъ Байрона, Руссо, Гёте, Шиллера и другихъ даже пріучилъ къ чтенію своихъ любимыхъ поэтовъ; молодымъ юношей Обломовъ твердилъ постоянно: „вся жизнь есть мысль“, и мечталъ о реформахъ жизни.

Такъ разошелся Обломовъ со стариной, со своей Обломовкой. Но эта старина наградила его однимъ качествомъ, котораго онъ не могъ сбросить съ себя; эта старина, жизнь среди патріархальныхъ, теплыхъ нравовъ провинціи, тяже-

лою цѣпью приковала этого новаго человѣка къ себѣ: эта цѣпь было то, что старина не сдѣлала его человѣкомъ съ характеромъ, помѣшала Обломову оторваться отъ нея. И въ результатѣ вышло „новое вино въ старыхъ мѣхахъ“, новый либераль въ старомъ баринѣ. Что такое Обломовъ, это нагляднымъ образомъ видно изъ слѣдующей, нарисованной Гончаровымъ, сцены. Обломовъ лежитъ на постели... Вдругъ онъ чувствуетъ какой-то приливъ новыхъ силъ. Онъ привстаетъ наполовину, онъ протягиваетъ руку, чтобы уничтожить какое-то зло, и снова падаетъ на постель; онъ повертывается на спину и бросаетъ грустный взоръ на заходящее солнце. Въ этой сценѣ прекрасно обрисованъ весь характеръ такихъ лицъ, какъ Обломовъ, лицъ, отвернувшихся отъ старины, но не порвавшихъ съ нею связи. Вотъ почему у читателя при чтеніи „Обломова“ получается какое-то двойственное впечатлѣніе: то ему рисуется старый баринъ, который спитъ и дремлетъ среди пыльной, небрежной, запущенной обстановки, у котораго въ чернильницѣ жужжать одни мухи, который боится двинуться, который не любитъ движенія и съ сокрушеніемъ говоритъ: „хоть бы исторія отдохнула“; то предъ читателемъ рисуется другое, болѣе свѣжее и свѣтлое, нѣчто болѣе симпатичное, чѣмъ этотъ спящій баринъ.

Всмотритесь въ Обломова, этого барина, лежащаго и спящаго, какъ говорятъ, на своей постели, которому только что исполнилось 30 лѣтъ (въ началѣ романа). Иногда на его лицѣ вы увидите слезы: онъ мечтаетъ о прошломъ, которое такъ сулило ему много; онъ съ грустью на лицѣ хоронитъ иногда самого себя, чувствуя, что его „затягиваетъ бездна“. Сколько бессонныхъ ночей провелъ этотъ „вѣчно спящій“ баринъ въ халатѣ! Обломовъ былъ сначала новымъ человѣкомъ, но его подавила старина, и вотъ онъ часто вскакивалъ ночью со своей постели и „плакалъ холодными слезами безнадежности по свѣтломъ, навсегда угаснувшемъ идеалѣ жизни, какъ плачутъ по дорогомъ усопшемъ“. Сколько страданій причиняетъ ему всякое напоминаніе объ этомъ идеалѣ! „Не напоминай, — говоритъ онъ въ одномъ мѣстѣ романа Штольцу: — не напоминай, не тревожь прошлаго! Не воротись! Съ тѣмъ міромъ, куда ты влечешь меня, я разстался навсегда! Ты не спаяешь двѣ разорван-



няя половины. И прирость къ этой ямѣ больнымъ мѣстомъ: попробуй оторвать, — будетъ смерть“. Сколько горечи и страданій заключается въ этихъ словахъ разбитаго параличомъ Обломова о больномъ мѣстѣ, о двухъ разорванныхъ половинахъ! Или вотъ еще одна сцена. Обломовъ лежитъ и противопоставляетъ себя другимъ; на его лицѣ видна грусть; онъ задумывается. Въ головѣ его, какъ птицы, пробужденныя внезапнымъ лучомъ солнца, носятся разные жизненные вопросы. Болѣзненно чувствуется ему, что въ немъ зарыто, какъ въ могилѣ, что-то хорошее, свѣтлое. „Тяжела была, — говоритъ Гончаровъ, — эта тайная исповѣдь предъ самимъ собою“. И Обломовъ такъ и умеръ страдальцемъ. На кладбищѣ, межъ кустовъ, въ затишьѣ, подъ вѣтвями сирени, посаженной дружеской рукой, нашелъ только успокоеніе этотъ человѣкъ, котораго хотѣла спасти Ольга, но котораго нельзя было спасти, конечно.

*Мизиновъ.*

„Сонъ Обломова“ — этотъ великолѣпнѣйшій эпизодъ, который останется въ нашей словесности на вѣчныя времена, былъ первымъ могущественнымъ шагомъ къ уясненію Обломова съ его обломовщиной. Романистъ, жаждущій разгадки вопросамъ, занесеннымъ въ его душу его же созданіемъ, — потребовалъ отвѣта на эти вопросы; за отвѣтами обратился онъ къ тому источнику, къ которому ни одинъ человѣкъ съ истиннымъ дарованіемъ не обращается напрасно. Ему надобно было, наконецъ, узнать, изъ-за какой же причины Обломовъ владѣетъ его помыслами, отчего ему миль Обломовъ, изъ-за чего онъ недоволенъ первоначальнымъ объективно-вѣрнымъ, но не полнымъ, не высказывающимъ его помысловъ Обломовымъ. Конечнаго слова на свои колебанія Гончаровъ сталъ выпрашивать у поэзіи русской жизни, у своихъ воспоминаній дѣтства, и, разъясняя прошлую жизнь своего героя, со всей свободой погрузился въ ту среду, которая ее окружала. Слѣдомъ за Пушкинымъ, своимъ учителемъ, по примѣру Гоголя, своего старшаго товарища, онъ ласково отнесся къ жизни дѣйствительной и отнесся не напрасно. „Сонъ Обломова“ не только освѣтилъ, уяснилъ и разумно опоэтизировалъ все лицо героя, но еще тысячею

невидимыхъ скрѣпъ связалъ его съ сердцемъ каждого русскаго читателя. Въ этомъ отношеніи „Сонъ“, самъ по себѣ разительный, какъ отдѣльное художественное созданіе, еще болѣе поражаетъ своимъ значеніемъ во всемъ романѣ. Глубокій по чувству, его внушившему, свѣтлый по смыслу, въ немъ заключенному, онъ въ то же время и поясняетъ и просвѣтляетъ собою то типическое лицо, въ которомъ сосредоточивается интересъ всего произведенія. Обломовъ безъ своего „Сна“ былъ бы созданіемъ неоконченнымъ, не роднымъ всякому изъ насъ, какъ теперь „Сонъ“ его разъясняетъ всѣ наши недоумѣнія, и, не давая намъ ни одного голаго толкованія, повелѣваетъ намъ понимать и любить Обломова. Нужно ли говорить о чудесахъ тонкой поэзіи, о лучезарномъ свѣтѣ правды, съ помощію которыхъ происходитъ это сближеніе между героемъ и его цѣнителями? Тутъ ничего нѣтъ лишняго, тутъ не найдете вы неясной черты, или слова, сказаннаго попусту, всѣ мелочи обстановки необходимы, всѣ законны и прекрасны. Описимъ Сусловъ, на крыльцо котораго можно было попасть не иначе, какъ ухватясь одной рукой за траву, а другою за кровлю избы — любезенъ намъ и необходимъ въ дѣлѣ уясненія; заспанный челядинецъ, дующій спросонья на квасъ, въ которомъ сильно шевелятся утопающія мухи, и собака, признанная бѣшеною за то только, что бросилась бѣжать отъ людей, собравшихся на нее съ вилами и топорами; и няня, засыпающая послѣ жирнаго обѣда съ предчувствіемъ, что Плюша пойдетъ затрогивать козла и лазить на галлерею, и сотни другихъ подробностей здѣсь необходимы, ибо содѣйствуютъ цѣлости и высокой поэзіи главной задачи. Тутъ сродство Гончарова съ фламандскими мастерами бьетъ въ глаза, сказывается во всякомъ образѣ. Или для праздної потѣхи всякіе художники, нами упомянутые, громадили на свое полотно множество мелкихъ деталей? или по бѣдности воображенія они тратили жаръ цѣлаго творческаго часа надъ какой-нибудь травкой, луковицей, болотной кочкой, на которую падаетъ лучъ заката, кружевнымъ воротничкомъ на камзолѣ тучнаго бургомистра? Если такъ, то отчего же они велики, почему они поэтичны, почему детали ихъ созданій слиты съ цѣлостью впечатлѣнія, не могутъ быть оторваны отъ идеи картины? Какъ же произошло, что эти истинные художники, такъ зоркіе на поэзію,



до такой степени освѣтившіе, опоэтизировавши жизнь своего родного края, бросались въ мелочи, сидѣли надъ подробностями? Видно, въ названныхъ нами мелочахъ и подробностяхъ таилось нѣчто большее, чѣмъ о томъ думаетъ иной близорукой составитель хитрыхъ теорій. Видно, трудъ надъ деталями былъ необходимъ и важенъ для уловленія тѣхъ высшихъ задачъ искусства, на которыхъ все зиждется, отъ которыхъ все питается и вырастаетъ. Видно, творя малую частность, художникъ не даромъ отдавался ей всей душою своею, и, должно-быть, творческій духъ его отражался во всякой подробности мощнаго произведенія, такъ, какъ солнце отражается въ малой каплѣ воды — по словамъ оды, которую мы учили наизусть еще ребятишками.

Итакъ „Сонъ Обломова“ расширилъ, узаконилъ и уяснилъ собою многозначительный типъ героя, — но этого еще не было достаточно для полноты созданія. Новымъ и послѣднимъ, рѣшительнымъ шагомъ въ процессъ творчества было созданіе Ольги Ильинской, — созданіе до того счастливое, что мы, не обинуясь, назовемъ первую мысль о немъ краеугольнымъ камнемъ всей обломовской драмы, самой счастливой мыслью во всей артистической дѣятельности нашего автора. Даже оставивши въ сторонѣ всю прелесть исполненія, всю художественность, съ которою обработано лицо Ольги — мы не найдемъ достаточныхъ словъ, чтобъ высказать все благотворное вліяніе этого персонажа на ходъ романа и развитіе типа Обломова. Обломовы выдають всю прелесть, всю слабость и весь грустный комизмъ своей натуры именно черезъ любовь къ женщинѣ. Безъ Ольги Ильинской и безъ ея драмы съ Обломовымъ не узнать бы намъ Ильи Ильича такъ, какъ мы его теперь знаемъ, безъ Ольгина взгляда на героя мы до сихъ поръ не глядѣли бы на него надлежащимъ образомъ. Въ сближеніи этихъ двухъ основныхъ лицъ произведенія все въ высшей степени естественно, каждая подробность удовлетворяетъ взыскательнѣйшимъ требованіямъ искусства, — а между тѣмъ сколько психологической глубины и мудрости черезъ него развивается передъ нами! Какъ живетъ и наполняетъ всѣ наши представленія объ Обломовѣ эта юная, горделиво-смѣлая дѣвушка, какъ сочувствуемъ мы стремленію всего ея существа къ этому незлобивому чудаку, отдѣлившемуся отъ окружающаго его міра, какъ страдаемъ мы

ея страданіемъ, какъ надѣмся мы ея надеждами, даже зная и хорошо зная ихъ несбыточность! Гончаровъ, какъ смѣлый знатокъ сердца человѣческаго, съ первыхъ сценъ между Ольгой и ея первымъ избранникомъ, отдалъ большую долю интриги комическому элементу. Его безподобная, насмѣшливая, бойкая Ольга, съ первыхъ минутъ сближенія, видитъ всѣ смѣшныя особенности героя, не обманываясь нисколько, играетъ ими, почти наслаждается ими и обманывается только въ своихъ расчетахъ на твердыя основы характера Обломова. Много разъ случалось слышать и даже читать выраженія недоумѣнія о томъ, „какъ могла умная и зоркая Ольга полюбить человѣка, неспособнаго перемѣнить квартиру и съ наслажденіемъ спящаго послѣ обѣда“. Духовный антагонизмъ Ольги съ обломовщиной, ея шутливое, затрогивающее отношеніе къ слабостямъ избранника, объясняется и фактами и существомъ дѣла. Факты сложились весьма естественно: дѣвушка, по натурѣ своей не увлекающаяся мишурой и пустыми свѣтскими юношами своего круга, заинтересована чудачкомъ, о которомъ умный Штольцъ рассказываетъ ей столько исторій любопытныхъ и смѣшныхъ, необыкновенныхъ и забавныхъ. Она сближается съ нимъ изъ любопытства, и нравится ему отъ нечего дѣлать, можетъ-быть вслѣдствіе невиннаго кокетства, а затѣмъ останавливается въ изумленіи передъ чудомъ, ею сдѣланнымъ.

Нѣжная, любящая натура Обломовыхъ вся озаряется черезъ любовь — и можетъ ли быть иначе съ чистою, дѣтски ласковой русской душою, отъ которой даже ея лѣность отгоняла растлѣніе съ искушающими помыслами. Илья Ильичъ высказался вполне черезъ любовь свою, и Ольга, зоркая дѣвушка, не осталась слѣпа передъ тѣми сокровищами, что передъ ней открылись. Вотъ факты внѣшніе, а отъ нихъ лишь одинъ шагъ до самой существенной истины романа. Ольга поняла Обломова ближе, чѣмъ понялъ его Штольцъ, ближе, чѣмъ всѣ лица, ему преданныя. Она разглядѣла въ немъ и нѣжность врожденную, и чистоту нрава, и русскую незлобивость, и рыцарскую способность къ преданности, и рѣшительную неспособность на какое-нибудь нечистое дѣло, и, наконецъ, — чего забывать не должно — разглядѣла въ немъ человѣка оригинальнаго, забавнаго, но чистаго и нисколько не презрѣннаго въ своей оригинальности. Разъ ставши на



эту точку, художникъ дошелъ до такой занимательности дѣйствія, до такой прелести во всемъ ходѣ событій, что неудавшаяся, печально кончившаяся любовь Ольги и Обломова стала и навсегда останется однимъ изъ обворожительнѣйшихъ эпизодовъ во всей русской литературѣ. Кто изъ стариковъ не зачитывался этими страницами, кто изъ воспріимчивыхъ юношей при чтеніи ихъ не чувствовалъ горячихъ слезъ на своихъ глазахъ? И какими простыми, часто какими комическими средствами достигнутъ такой небывалый результатъ! Какой страхъ, соединенный съ улыбкою, возбуждаютъ въ насъ эти безопечно-разнообразныя проявленія обломовщины въ борьбѣ съ истиной, дѣятельной жизнью сердца! Мы знаемъ, что время обновленія упущено, что не Ольгѣ дано поднять Обломова, а между тѣмъ, при всякой коллизіи въ ихъ драмѣ, сердце наше замираетъ отъ неизвѣстности. Чего мы не переживали при всѣхъ перипетіяхъ этой страсти, начиная хоть отъ той минуты, когда Пльа Ильичъ, глядя на Ольгу такъ какъ глядитъ на нее Кузьминична, — важно толкуетъ о томъ, что нехорошо и опасно видаться наединѣ, — до его страшнаго, послѣдняго свиданія съ дѣвушкой и до ея послѣднихъ словъ: „что сгубило тебя? нѣтъ имени этому злу!“ Чего только нѣтъ въ этомъ промежуткѣ, въ этой борьбѣ свѣта и тѣни, — отдающей намъ всего Обломова съ сближающей его съ нами таею, что мы мучимся за него, когда онъ, охая и скучая, пробирается въ оперу съ Выборгской стороны, — и озаряемся радостью въ тѣ минуты, когда въ его обломовскомъ, запыленномъ гнѣздѣ, при отчаянномъ лаѣ скачущей на цѣпи собаки, вдругъ является неожиданное видѣніе добраго ангела. Передъ сколькими частностями означеннаго эпизода добродушнѣйшій смѣхъ овладѣваетъ нами, и овладѣваетъ за тѣмъ, чтобъ тотчасъ же смѣниться ожиданіемъ, грустью, волненіемъ, горькимъ соболѣзнованіемъ къ слабому. Вотъ къ чему ведетъ насъ рядъ художественныхъ деталей, начавшійся еще со сна Обломова. Вотъ гдѣ является истинный смѣхъ сквозь слезы.

И въ самомъ дѣлѣ, окиньте весь романъ внимательнымъ взглядомъ, и вы увидите, какъ много въ немъ лицъ, преданныхъ Пльѣ Ильичу и даже обожающихъ его, этого кроткаго голубя, по выраженію Ольги. И Захаръ, и Анисья, и Штольцъ, и Ольга, и вялый Алексѣевъ, — всѣ привлечены

прелестью этой чистой и цѣлой натуры, передъ которою одинъ только Тарантьевъ можетъ стоять, не улыбаясь и не чувствуя на душѣ теплоты, не подшучивая надъ ней и не желая ее приголубить. Къ счастью, на свѣтѣ не много Тарантьевыхъ, и въ романѣ есть кому любить Обломова. Всякій почти изъ дѣйствующихъ лицъ любить его по-своему, а эта любовь такъ проста, такъ необходимо вытекаетъ изъ сущности дѣла, такъ чужда всякаго расчета или авторской натяжки! Но ничье обожаніе (даже считая тутъ чувства Ольги въ лучшую пору ея увлеченія) не трогаетъ насъ такъ, какъ любовь Агаѣи Матвѣевны Пшеницыной, которая съ перваго своего появленія показалась намъ злымъ ангеломъ Ильи Ильича, — и увы! — дѣйствительно сдѣлалась его злымъ ангеломъ. Агаѣя Матвѣевна, тихая, преданная, всякую минуту готовая умереть за нашего друга, дѣйствительно загубила его въ конецъ, навалила гробовой камень надъ всѣми его стремленіями, ввергнула его въ зіяющую пучину на мигъ оставленной обломовщины, но этой женщинѣ все будетъ прощено за то, что она много любила. Страницы, въ которыхъ является намъ Агаѣя Матвѣевна, съ самой первой застѣчивой своей бесѣды съ Обломовымъ, верхъ совершенства въ художественномъ отношеніи, но нашъ авторъ, заключая повѣсть, переступилъ всѣ грани своей обычной художественности и далъ намъ такіа строки, отъ которыхъ сердце разрывается, слезы льются на книгу, и душа зоркаго читателя улетаетъ въ область такой поэзіи, что до сихъ поръ, изъ всѣхъ русскихъ людей, быть творцомъ въ этой области было дано одному Пушкину. Скорбь Агаѣи Матвѣевны о покойномъ Обломовѣ, ея отношенія къ семейству и Андрюшѣ, наконецъ, этотъ дивный анализъ ея души и ея прошлой страсти — все это выше самой восторженной оцѣнки.

„Вотъ она въ темномъ платьѣ, въ черномъ шерстяномъ платьѣ на шеѣ, ходитъ изъ комнаты въ кухню, какъ тѣнь, попрежнему отворяетъ и затворяетъ шкапы, шьетъ, гладитъ кружева, но тихо, безъ энергіи, говоритъ будто нехотя, тихимъ голосомъ, и не попрежнему смотритъ вокругъ безпечно перебѣгающими съ предмета на предметъ глазами. а со средоточеннымъ выраженіемъ, съ затаившимся внутреннимъ смысломъ въ глазахъ. Мысль эта сѣла невидимо на ея лицо, кажется, въ то мгновеніе, когда она сознательно



и долго вглядывалась въ мертвое лицо своего мужа, и съ тѣхъ поръ не покидала ея.

„Она двигалась по дому, дѣлала руками все, что было нужно, но мысль ея не участвовала тутъ. Надъ трупомъ мужа, съ потерей его, она, кажется, вдругъ уразумѣла свою жизнь и задумалась надъ ея значеніемъ, и эта задумчивость легла навсегда тѣнью на ея лицо. Выплакавъ потомъ живое горе, она сосредоточилась на сознаніи о потерѣ: все прочее умерло для нея, кромѣ маленькаго Андрюши. Только когда видѣла она его, въ ней будто пробуждались признаки жизни, черты лица оживали, глаза наполнялись радостнымъ свѣтомъ и потомъ заливались слезами воспоминаній.

„Она была чужда всего окружающаго: разсердится ли братецъ за напрасно истраченный или невыторгованный рубль, за подгорѣлое жаркое, за несвѣжую рыбу, надуется ли невѣстка за мягко накрахмаленныя юбки, за некрѣпкій и холодный чай, нагрубить ли толстая кухарка, Агаѣя Матвѣевна не замѣчаетъ ничего, какъ-будто не о ней рѣчь, не слышитъ даже язвительнаго шопота: „Барыня, помѣщица!“

„Она на все отвѣчаетъ достоинствомъ своей скорби и покорнымъ молчаніемъ.

„Напротивъ, въ святки, въ свѣтлый день, въ веселые вечера масленицы, когда все ликуетъ, поетъ, ѣстъ и пьетъ въ домѣ, она вдругъ, среди общаго веселья, зальется горячими слезами и спрячется въ свой уголь. Потомъ опять сосредоточится и иногда даже смотритъ на брата и на жену его какъ-будто съ гордостью, съ сожалѣніемъ.

„Она поняла, что проиграла и просіяла ея жизнь, что Богъ вложилъ въ ея жизнь душу и вынулъ опять, что засвѣтилось въ ней солнце и померкло навсегда... Навсегда, правда; но навсегда осмыслилась и жизнь ея: теперь уже она знала, зачѣмъ она жила и что не напрасно.

„Она такъ полно и много любила: любила Обломова — какъ любовника, какъ мужа и какъ барина; только рассказать никогда этого, какъ прежде, не могла никому. Да никто и не понималъ бы ее вокругъ. Гдѣ бы она нашла языкъ? Въ лексиконѣ брата, Тарантьева, невѣстки не было такихъ словъ, потому что не было понятій; только Илья Ильичъ понималъ бы ее, но она ему никогда невысказывала, потому что не понимала тогда сама и не умѣла... На всю жизнь ея разлились

лучи, тихій свѣтъ отъ пролетѣвшихъ, какъ одно мгновеніе, семи лѣтъ, и нечего было ей ждать больше, некуда идти“.

Послѣ всего нами сказаннаго и выписаннаго, можетъ-быть, иной скептическій читатель спроситъ насъ: „Да за что же, наконецъ, Обломовъ такъ любимъ лицами, его окружающими, — и еще болѣе, за что именно онъ любезенъ читателю? Если для возбужденія выраженій и дѣлъ преданности достаточно ѣсть и валяться по диванамъ, не дѣлать никакого зла и сознаваться въ своей житейской неспособности, да сверхъ всего этого имѣть нѣсколько комическихъ сторонъ въ своемъ характерѣ, то значительная масса рода человѣческаго имѣетъ право на нашу возможную привязанность! Если Обломовъ дѣйствительно добръ, какъ голубь, то почему же авторъ не выразилъ передъ нами практическихъ проявленій этой доброты, — если герой честенъ и не способенъ на зло, то почему же эти почтенныя стороны его натуры не выставлены предъ нами осязательнымъ образомъ? Обломовщина, какъ ни тягостна она надъ человѣкомъ, не можетъ же вынести его изъ круга той вседневной, мелкой, насущной дѣятельности, которой, какъ всякій знаетъ, всегда достаточно для выраженія привлекательныхъ сторонъ нашей натуры. Отчего же всѣ подобныя выраженія натуры у Обломова, исключительно пассивны и отрицательны? Отчего, наконецъ, онъ не совершаетъ даже самаго малаго дѣла любви и кротости, хотя бы дѣло, которое можетъ-быть покончено безъ разлуки съ халатомъ, — почему онъ не скажетъ привѣтнаго и задушевнаго слова хоть одному изъ второстепенныхъ лицъ, стоящихъ около него, хотя бы въ награду за всю ихъ преданность“? Въ такомъ замѣчаніи читателя отыскивается вся доля правды.

По лицу всего свѣта разсѣяны многочисленныя братья Илья Ильича, то-есть люди, не подготовленные къ практической жизни, мирно укрывшіеся отъ столкновеній съ нею и не бросающіе своей правственной дремоты за міръ волненій, къ которымъ они неспособны. Такіе люди иногда смѣшны, иногда вредны, но очень часто симпатичны и даже разумны. Обломовщина въ слишкомъ обширномъ развитіи вещь нестерпимая, но къ свободному и умѣренному ея проявленію не за что относиться съ враждою. Обломовщина гадка, ежели она происходитъ отъ гнилости, безнадежности, растлѣнія и злого упорства, но если корень ея таится просто въ незрѣлости



общества и скептическомъ колебаніи чистыхъ душою людей предъ практической безурядицей, что бываетъ во всѣхъ молодыхъ странахъ, то злиться на нее, значитъ то же, что злиться на ребенка, у котораго слипаются глазки посреди вечерней, крикливой бесѣды людей взрослыхъ. Русская обломовщина, такъ какъ она уловлена Гончаровымъ, во многомъ возбуждаетъ наше негодованіе, но мы не признаемъ ее плодомъ гнилости или растлѣнія. Въ томъ-то и заслуга романиста, что онъ крѣпко сдѣлалъ всѣ корни обломовщины съ почвой народной жизни и поэзіи — проявилъ намъ ея мирныя и незлобивыя стороны, не скрывъ ни одного изъ ея недостатковъ. Обломовъ — ребенокъ, а не дрянной развратникъ; онъ соня, а не безправственный эгоистъ или эпикуреецъ времени паденія. Онъ безсиленъ на добро, но онъ положительно неспособенъ къ злему дѣлу, чистъ духомъ, не извращенъ житейскими софизмами, и, несмотря на всю свою жизненную бесполезность, законно завладѣваетъ симпатіею всѣхъ окружающихъ его лицъ, повидимому, отдѣленныхъ отъ него цѣлою бездною.

Весьма легко нападать на Обломова съ точки зрѣнія людей практическихъ, а между тѣмъ отчего бы иногда намъ не взглянуть на недостатки современныхъ практическихъ мудрецовъ, такъ презрительно толкающихъ ребенка-Обломова. Обломовъ, уроженецъ заспанной и все-таки поэтической Обломовки, свободенъ отъ нравственныхъ болѣзней, какими страдаетъ не одинъ изъ практическихъ людей, кидающихъ въ него камнями. Онъ не имѣетъ ничего общаго съ безчисленной массой грѣшниковъ нашего времени, самонадѣянно берущихся за дѣла, къ которымъ не имѣютъ признанія. Онъ не зараженъ житейскимъ развратомъ и на всякую вещь смотритъ прямо, не считая нужнымъ стѣсняться передъ кѣмъ-нибудь или передъ чѣмъ-нибудь въ жизни. Онъ самъ неспособенъ ни къ какой дѣятельности; усилія Андрея и Ольги къ пробужденію его апатіи остались безъ успѣха, но изъ этого еще далеко не слѣдуетъ, чтобы другіе люди, при другихъ условіяхъ, не могли подвинуть Обломова на мысль и благое дѣло. Ребенокъ по натурѣ и по условіямъ своего развитія, Илья Пльичъ во многомъ оставлялъ за собою чистоту и простоту ребенка, качества драгоцѣнныя во взросломъ человѣкѣ, качества, которыя сами по себѣ, посреди величайшей практической запу-

танности, часто открываютъ намъ область правды и временами ставятъ неопытнаго, мечтательнаго чудака и выше предразсудковъ своего вѣка и выше цѣлой толпы дѣльцовъ, его окружающихъ.

Попробуемъ подтвердить слова наши. Обломовъ, какъ живое лицо, достаточно полонъ для того, чтобъ мы могли судить о немъ въ разныхъ положеніяхъ, даже не замѣченныхъ его авторомъ. По практичности, по силѣ воли, по знанію жизни онъ далеко ниже своей Ольги и Штольца, людей хорошихъ и современныхъ; по инстинкту правды и теплотѣ своей натуры онъ ихъ несомнѣнно выше. Въ послѣдніе годы его жизни, супруги Штольцъ навѣстили Илью Ильича, Ольга осталась въ каретѣ, Андрей вошелъ въ извѣстный намъ домикъ съ цѣпной собакой у калитки. Выйдя отъ своего друга, онъ только сказалъ женѣ: *все кончено*, или что-то въ этомъ родѣ и уѣхалъ, и Ольга уѣхала, хотя, безъ сомнѣнія, съ горемъ и слезами. Въ чемъ же заключался смыслъ этого безнадежнаго, отчаяннаго приговора? Илья Ильичъ женился на Пшеницыной и прижилъ отъ этой необразованной женщины ребенка. И вотъ причина, по которой кровная связь расторгнута, обломовщина признана преступившей всѣ предѣлы! Ни Ольгу ни ея мужа мы за это не винимъ: они подчинились закону свѣта и не безъ слезъ покинули друга. Но повернемъ медаль и на основаніи того, что дано намъ поэтомъ, спросимъ, себя: такъ ли бы поступилъ Обломовъ, если бъ ему сказали, что Ольга сдѣлала несчастную *mésalliance*, что его Андрей женился на кухаркѣ и что оба они, вслѣдствіе того, прячутся отъ людей, къ нимъ близкихъ? Тысячу разъ и съ полной увѣренностью скажемъ, что не такъ. Ни идеи отторженія отъ дорогихъ людей, изъ-за причинъ свѣтскихъ, ни идеи о томъ, что есть на свѣтѣ *mésalliance*, для Обломова не существуютъ. Онъ бы не сказалъ слова вѣчной разлуки и ковыляя пошелъ бы къ добрымъ людямъ и прилѣпился бы къ нимъ и привелъ бы къ нимъ свою Агаю Матвѣевну. И Андреева кухарка стала бы для него не чужою, и онъ далъ бы новую пощечину Тарантьеву, если бъ тотъ сталъ издѣваться надъ мужемъ Ольги. Отсталый и неповоротливый Илья Ильичъ, въ этомъ простомъ дѣлѣ, конечно, поступилъ бы сообразнѣе съ вѣчнымъ закономъ любви и правды, нежели два человека изъ числа самыхъ развитыхъ



въ нашемъ обществѣ. И Штольцъ и Ольга, безъ всякаго сомнѣнія, гуманны въ своихъ идеяхъ, безъ всякаго сомнѣнія, они знаютъ силу добра и головами своими привязаны къ участи меньшихъ братьевъ, — но стоило ихъ другу связать свое существованіе съ судьбой женщины изъ породы этихъ меньшихъ братьевъ, и они оба, просвѣщенные люди, поспѣшили со слезами сказать: все кончено, все пропало — обломовщина, обломовщина!

Продолжаемъ параллель нашу. Обломовъ умеръ, Андрюша его вмѣстѣ съ Обломовкой поступилъ подъ опеку Штольца и Ольги. Очень вѣроятно, что и Андрюшѣ было у нихъ хорошо, и обломовскіе мужики не терпѣли притѣсненій. Но Захаръ, оставшійся безъ призрѣнія, лишь случайно былъ найденъ въ числѣ нищихъ, но вдова Ильи Пльпча не была приближена къ друзьямъ ея мужа, но дѣти Агаѣи Матвѣевны, которыхъ Обломовъ училъ чистописанію и географіи, дѣти, которыхъ онъ не отдѣлялъ отъ своего сына, остались на произволъ своей матери, слишкомъ привыкшей во всемъ отдѣлять ихъ отъ барчонка-Андрюши. Ни житейскій порядокъ, ни житейская правда этимъ нарушены не были, и супруговъ Штольцъ никакой законъ не нашелъ бы виноватыми. Но Илья Пльпчъ Обломовъ, смѣемъ думать, иначе поступилъ бы съ лицами и сиротами, которыхъ присутствіе когда-то услаждало собою жизнь его Андрея и въ особенности Ольги. Очень можетъ-быть, что онъ не сумѣлъ бы быть имъ полезнымъ практически, но любви своей къ нимъ не сталъ бы подраздѣлять на разныя степени. Безъ расчета и соображеній, онъ подѣлился бы съ ними послѣднимъ кускомъ хлѣба и, говоря метафорически, принялъ бы ихъ всѣхъ равно подъ сѣнь своего теплаго халата. У кого сердце дальновиднѣе головы, тотъ можетъ надѣлать множество глупостей, но въ стремленіяхъ своихъ все-таки останется горячѣе и либеральнѣе людей, запутанныхъ сѣтями свѣтской мудрости. Возьмемъ хоть поведеніе Штольца въ ту пору, когда онъ жилъ гдѣ-то на Женевскомъ озерѣ, а Обломовъ чуть не повергнуть былъ въ нищету ковами друзей Тарантьева. Андрей Штольцъ, которому ничего не значило изъѣздить полъ-Европы, человѣкъ со связями и дѣловой опытностью, не захотѣлъ даже найти въ Петербургѣ дѣльца, который, за приличное вознагражденіе, согласился бы принять надзоръ надъ положеніемъ Обломова.

А между тѣмъ и онъ и Ольга не могли не знать участи, грозившей ихъ другу. Со своимъ практическимъ *laissez faire, laissez passer*, они оба были вполне правы, и винить ихъ никто не смѣетъ. Кто въ наше время осмѣливается совать свой носъ въ дѣла самаго близкаго человѣка? Но предположите теперь, что до Пльи Пльича доходитъ слухъ о томъ, что Андрей и Ольга на краю нищеты, что они окружены врагами, грозящими ихъ будущности. Трудно сказать, что бы совершилъ Обломовъ при этомъ извѣстїи, но кажется намъ, что онъ не сказалъ бы самому себѣ: какое право имѣю я вмѣшиваться въ дѣла лицъ, когда-то мнѣ дорогихъ и близкихъ.

Можетъ-быть догадки наши покажутся иному читателю не совсѣмъ основательными, — но такова наша точка зрѣнія, и въ искренности ея никто не имѣетъ права сомнѣваться. Не за комическія стороны, не за жалостную жизнь, не за проявленіе общихъ всѣмъ намъ слабостей любимъ мы Плью Пльича Обломова. Онъ дорогъ намъ, какъ человѣкъ своего края и своего времени, какъ незлобивый и нѣжный ребенокъ, способный, при пныхъ обстоятельствахъ жизни и иномъ развитїи, на дѣла истинной любви и милосердія. Онъ дорогъ намъ, какъ самостоятельная и чистая натура, вполне независимая отъ той схоластико-моральной истасканности, что пятнаетъ собою огромное большинство людей, его презирающихъ. Онъ дорогъ намъ по истинѣ, какою проникнуто все его созданіе, по тысячѣ корней, которыми поэтъ-художникъ связалъ его съ нашей родной почвой. И, наконецъ, онъ любезенъ намъ, какъ чужакъ, который въ нашу эпоху себялюбїа, ухищренїй и неправды, мирно покончилъ свой вѣкъ, не обидѣвши ни одного человѣка, не обманувши ни одного человѣка и не научивши ни одного человѣка чему-нибудь скверному.

*Дружининъ.*

### Обломовъ, какъ герой переходной эпохи.

Образъ Обломова созданъ не сразу Глава: „Сонъ Обломова“ въ видѣ отдѣльнаго этюда, появилась въ печати въ приложенїи къ журналу: „Современникъ“ въ 1849-мъ году, и только черезъ девять лѣтъ былъ напечатанъ въ Отечественныхъ Запискахъ“ весь романъ. Попадобился промежу-



токъ времени около десяти лѣтъ, чтобы задуманный художникомъ поразительный по своему захвату синтезъ русской жизни принялъ, наконецъ, тотъ видъ, въ какомъ его знаетъ вся читающая Россія.

Появленіе „Обломова“ въ печати совпало съ могущественнымъ подъемомъ духа въ русскомъ обществѣ наканунѣ „эпохи великихъ реформъ“, когда повсюду раздавался протестъ противъ отжившаго строя, противъ мертваго застоя, въ какомъ находилась до тѣхъ поръ наша жизнь. Своимъ романомъ Гончаровъ, давши въ немъ единственное по широтѣ захвата художественное обобщеніе барской дореформенной Россіи, помогъ сразу разгадать, въ чемъ коренились главнѣйшія причины неподвижности и апатіи нашего общества. Его романъ представляетъ богатѣйшія данныя для изученія вліянія крепостного строя на духовный складъ русскихъ помещиковъ и даетъ обильный матеріалъ для сужденія о русской жизни вообще. Чтобы уяснить себѣ это громадное значеніе гончаровскаго „Обломова“, нужно подробнѣе остановиться на анализѣ характера главнаго героя романа, типичнаго представителя эпохи „пробужденія“ русскаго общества въ сороковые годы.

Мы имѣемъ дѣло съ человѣкомъ, который по своему умственному развитію, способности интенсивно мыслить и глубоко чувствовать, умѣнію понимать жизнь рѣзко выдѣляется въ окружающей его средѣ. Въ молодости, въ студенческіе годы, онъ „сгоралъ отъ жажды труда, далекой, но обаятельной цѣли“, былъ полонъ желаніемъ, „блага, доблести, дѣятельности“, развивался подъ благотворнымъ вліяніемъ научной мысли — изучалъ право, политическую экономію, оспливалъ съ учителемъ математики круги и квадраты, занимался переводами съ англійскаго, мечталъ даже о дальнѣйшемъ ученіи въ германскихъ университетахъ. Онъ упивался поэтами, волновался, плакалъ надъ ними, постоянно твердилъ: „вся жизнь есть мысль“ и строилъ планы реформъ. „Ему доступны были наслажденія высокихъ помысловъ; онъ не чуждъ былъ всеобщихъ человѣческихъ скорбей. Онъ горько въ глубинѣ души плакалъ въ ную пору надъ бѣдствіями человѣчества“. Случалось, что онъ „исполнялся презрѣніемъ къ людскому пороку, ко лжи, къ клеветѣ, къ разлитому въ міръ злу и разгорался желаніемъ указать

человѣку на язвы“. Яснѣе, чѣмъ кто-нибудь, понималъ онъ всю безтолочь и пустоту свѣтской жизни, гдѣ на первомъ планѣ „вѣчная игра дрянныхъ страстишекъ, особенно жадности, перебиваніе другъ у друга дороги, сплетни, пересуды, щелчки другъ другу“. Когда Штольцъ пытается указать привлекательныя стороны общественной жизни, онъ съ горечью замѣчаетъ: „хороша жизнь! Чего тамъ искать? интересовъ ума, сердца? Ты посмотри, гдѣ центръ, около котораго вращается все это: нѣтъ его, нѣтъ ничего глубокаго, задѣвающаго за живое. Все это мертвецы, спящіе люди, эти члены свѣта и общества. Что водить ихъ въ жизни?.. Войдешь въ залу и не налюбуешься, какъ симметрически разсажены гости, какъ смиренно и глубоко-мысленно сидятъ — за картами. Нечего сказать — славныя задачи жизни!.. Собираются на обѣдъ, на вечеръ, какъ въ должность, безъ веселья, холодно, чтобы похвастать поваромъ, салономъ и потомъ подъ рукой осмѣять, подставить ногу одинъ другому“. Ему противны люди, имѣющіе всю свою жизнь одно желаніе: „сбить съ ногъ другого и на его паденіи выстроить зданіе своего благосостоянія“, готовые по пять лѣтъ сидѣть и вздыхать въ пріемной, лишь-бы добиться своихъ мелкихъ, корыстныхъ цѣлей. Не привлекаетъ его и практическая дѣятельность Штольца, имѣющая цѣлью одно наживаніе денегъ. Еще болѣе симпатичны, сердечность и доброта Обломова, за которыхъ такъ любить его Штольцъ.

Казалось-бы, кому какъ не этому человѣку, умному, образованному, съ добрымъ, отзывчивымъ сердцемъ, жить полною жизнью, на радость себѣ и другимъ. Между тѣмъ, „что-то помѣшало ему ринуться на поприще жизни и летѣть по нему на всѣхъ парусахъ ума и воли. Какой-то тайный врагъ наложилъ на него тяжелую руку въ началѣ пути и далеко отбросилъ отъ прямого человѣческаго назначенія... Кто-то будто укралъ и закопалъ въ собственной его душѣ принесенныя ему въ даръ міромъ и жизнью сокровища“. И вотъ лежатъ Илья Ильичъ цѣлые дни на диванѣ въ Петербургѣ на Гороховой улицѣ, до такой степени отвыкнувъ отъ малѣйшаго движенія и всякой, даже ничтожной дѣятельности, что его приводитъ въ ужасъ мысль о необходимости перемѣнить квартиру и написать письмо старостѣ, завѣдующему



деревенскимъ хозяйствомъ. Это лежебока, байбакъ, тунеядецъ, губящій въ себѣ все лучшія начала своей хорошей натуры и, въ концѣ концовъ, умирающій медленной духовной и тѣлесной смертью. Вся исторія Обломова, какъ она развертывается передъ нами въ романѣ, есть глубоко-грустная повѣсть о томъ, какъ постепенно гибнетъ благородный, умный, симпатичный человѣкъ, самъ сознавая свою гибель и чувствуя полное безсиліе сдѣлать что нибудь для своего спасенія.

Изображая картину постепеннаго духовнаго умиранія Обломова, его полную неприспособленность къ самой незначительной житейской борьбѣ, Гончаровъ съ полной ясностью раскрываетъ передъ нами причины духовнаго безсилія и гибели своего героя. Ключъ къ пониманію характера Обломова кроется въ знаменитомъ его „Снѣ“, къ анализу котораго мы теперь и приступимъ.

Самъ авторъ объяснилъ намъ значеніе этого „Сна“ для пониманія характера его героя. Изобразивши съ дивнымъ комизмомъ разъясненія Обломова Захару о томъ, какая разница между баринномъ и „другимъ“, который „работаетъ безъ усталы, бѣгаетъ, суется... а не поработаетъ, такъ и не съѣстъ“, самъ на себя натягиваетъ чулки, знаетъ нужду и голодь, Гончаровъ затѣмъ рисуетъ намъ одну изъ ясныхъ, сознательныхъ минутъ своего героя, когда передъ его духовнымъ взоромъ во весь ростъ выступаетъ его собственное нравственное ничтожество. Мучительно больно становится ему „за свою неразвитость, остановку въ ростѣ нравственныхъ силъ, за тяжесть, мѣшающую всему“. „Отчего-же это я такой?“ съ болью въ сердцѣ, почти со слезами на глазахъ спрашиваетъ себя Обломовъ. Еще не успѣвшая вполне отвыкнуть отъ работы мысль дѣятельно начинаетъ искать отвѣта на этотъ вопросъ и находитъ его. „Должно быть“... это... оттого“, начинаетъ Обломовъ формулировать этотъ созрѣвшій у него въ головѣ отвѣтъ, но охватившій его сонъ не даетъ ему договорить, и, какъ это часто бываетъ, готовая мысль, сложившаяся при бодрствованіи въ отвлеченной формѣ, облекается во снѣ въ живые образы. Передъ его глазами проходитъ картина его дѣтства, такъ какъ въ условіяхъ воспитанія и вліянія окружающей среды нашелъ Обломовъ отвѣтъ на мучившій его вопросъ.

Передъ нами полный здоровья, живой, наблюдательный, одаренный пытливымъ умомъ, впечатлительный ребенокъ.

Въ немъ такъ много дѣтской рѣзвости, живого темперамента, что онъ, не успѣвъ встать съ кровати, начинаетъ шалить со своей няней. Живая натура требуетъ движенія, ищетъ выхода накопившейся энергій, и потому, пока этотъ выходъ не найденъ, онъ всецѣло занятъ имъ. „Мы, маменька, сегодня пойдемъ гулять?“ вырывается вдругъ у него во время утренней молитвы давно вертѣвшаяся въ умѣ мысль, и онъ разсѣянно повторяетъ за матерью святыя слова, глядя въ окно, откуда мягкими волнами идетъ въ комнату манящій на волю весеній воздухъ, напоенный ароматомъ сирени. Наконецъ, онъ на дворѣ. Съ радостнымъ чувствомъ обѣжалъ онъ родительскій домъ, попытался взлѣзть на огибающую весь домъ всякую галлерею, чтобы взглянуть оттуда на рѣчку, но, во-время остановленный старушкой-няней, бросился къ крутой лѣстницѣ, ведущей на сѣноваль, задумалъ взобраться на голубятню, проникнуть на скотный дворъ и т. д. Это настоящая „юла“, какъ называетъ его едва поспѣвающая за нимъ няня, ребенокъ, отличающійся большой живостью, подвижностью натуры.

Но не одна рѣзвость бьетъ ключемъ въ маленькомъ Обломовѣ. „Онъ иногда вдругъ присмирѣетъ, сидя подлѣ няни, и смотритъ на все такъ пристально“. Въ дѣтскомъ умѣ его одинъ за другимъ возникаетъ рядъ вопросовъ, на которые онъ жадно ищетъ отвѣта. „Отчего это, няня, тутъ темно, а тамъ свѣтло, а уже будетъ и тамъ свѣтло?“ пыливо спрашиваетъ онъ, замѣтивъ, что отъ деревьевъ, отъ голубятни — отъ всего побѣжали длинныя тѣни. Предоставленный самому себѣ во время всеобщаго послѣобѣденнаго сна, противъ котораго не можетъ устоять и няня, онъ „забирался въ глушь сада, слушалъ, какъ жужжитъ жукъ, и далеко слѣдилъ глазами его полетъ въ воздухъ; прислушивался, какъ кто-то все стрекочетъ въ травѣ, искалъ и ловилъ нарушителей этой тишины; поймавъ стрекозу, оторветъ ей крылья и смотритъ, что изъ нея будетъ... съ наслажденіемъ, боясьдохнуть, наблюдаетъ за паукомъ, какъ онъ сосетъ кровь пойманной мухи, какъ бѣдная жертва бьется и жужжитъ у него въ лапкахъ“ и т. п.

Такимъ образомъ, мы имѣемъ дѣло съ натурой, которая,



будучи поставлена въ благопріятныя условія, могла бы достигнуть высокаго развитія своихъ душевныхъ силъ, занять видное мѣсто въ жизни.

Но точно сама судьба ополчилась противъ бѣднаго ребенка и отдавала его въ жертву такому вліянію воспитанія и окружающей среды, которое настойчиво, систематически подавляло въ немъ отмѣченные только что хорошіе природные задатки и, наоборотъ, развивало вредныя для него качества. Это было воспитаніе, являвшееся продуктомъ крѣпостного строя жизни, это была среда, созданная тѣмъ-же крѣпостнымъ правомъ.

Первымъ правиломъ этого воспитанія было внушеніе ребенку мысли о томъ, что онъ баринъ, что у него есть „Захаръ и еще 300 Захаровъ“ для удовлетворенія всѣхъ его нуждъ и исполненія малѣйшихъ прихотей, и что ему вовсе не нужно и даже зазорно дѣлать для себя что-нибудь самому. И потому няня, несмотря на семилѣтній возрастъ мальчика, натягиваетъ на него чулки, умываетъ его, причесываетъ голову. То же повторяется и въ 14 лѣтъ съ той только разницей, что мѣсто няни занимаетъ Захарка, „а Пльюша... только и знаетъ, что подставляетъ ему лежа то ту, то другую ногу; а чуть что покажется ему не такъ, то онъ поддастъ Захаркѣ ногой въ носъ“. Прямымъ слѣдствіемъ такого воспитанія было подавленіе въ ребенкѣ всякой самостоятельности, уничтоженіе въ немъ той врожденной энергіи, жажды движенія, труда, которыя живымъ ключемъ были въ немъ. Захочетъ онъ, какъ рѣзвый мальчикъ, сдѣлать что-нибудь для себя самъ, какъ отовсюду раздаются голоса, указывающія на то, что это не барское дѣло, что для этого существуютъ Васьки, Ваньки, Захарки. „Послѣ онъ нашелъ, что оно и покойнѣе гораздо, и самъ выучился покрикивать: — Эй, Васька, Ванька! Подай то, дай другое! не хочу того, хочу этого! Сбѣгай, принеси!“

Никто не думалъ о томъ, чтобы предоставленіемъ ребенку разумной свободы развивать въ немъ драгоценныя качества человѣческой природы, — потребность дѣятельности физической и умственной. Каждый шагъ его опекался и парализовался не въ мѣру нѣжными родителями, не считавшими однако нужнымъ позаботиться о томъ, чтобы ихъ сынъ находилъ для себя въ окружающемъ здоровую умственную

пищу. Какова была эта пища, какого рода отвѣты получалъ онъ на тѣ вопросы, которые роплись въ его головкѣ, можно прекрасно судить по тому, что услышалъ онъ отъ няни, спросивъ ее, почему въ одномъ мѣстѣ свѣтло, а въ другомъ темно. „Оттого, батюшка, — отвѣчала она, — что солнце идетъ на встрѣчу мѣсяцу и не видитъ его, такъ и хмурится, а уже какъ завидитъ издали, такъ просвѣтлѣетъ“. Вмѣсто того, чтобы удовлетворить должнымъ образомъ естественную любознательность ребенка, мать и няня давали волю своей необузданной фантазіи и населяли его воображеніе рассказами о какой-то невѣдомой странѣ, гдѣ нѣтъ ни ночей, ни холода, гдѣ все совершаются чудеса, гдѣ текутъ рѣки меду и молока, гдѣ никто ничего круглый годъ не дѣлаетъ, а день деньской только и знаютъ, что гуляютъ“. И такъ искусно въ этихъ рассказахъ обходилось все, что существуетъ на самомъ дѣлѣ, такъ сильно вліяли они на впечатлительнаго ребенка, что „воображеніе и умъ, проникшись вымысломъ, оставались уже у него въ рабствѣ до старости“. Хотя и знаетъ взрослый Илья Ильичъ, что нѣтъ въ дѣйствительности тѣхъ чудесъ, о которыхъ онъ слышалъ въ дѣтствѣ, все же „у него навсегда остается расположеніе полежать на печи, походить въ готовомъ незаработанномъ платьѣ, поѣсть на счетъ доброй волшебницы“, и онъ „безсознательно груститъ подчасъ, зачѣмъ сказка не жизнь, а жизнь не сказка“.

Не давая ничего, что хотя сколько-нибудь способствовало бы развитію природныхъ дарованій ребенка, окружавшая Обломова среда своимъ захватывающимъ вліяніемъ подчинила его себѣ, отравила его душу. Природная чуткость и впечатлительность Ильюши, которыя, при благоприятныхъ условіяхъ, могли бы мощно содѣйствовать его духовному росту, сослужили ему плохую службу, напичкавъ его тлетворными впечатлѣніями окружавшей среды. Рисуя картину дѣтства Обломова, Гончаровъ нѣсколько разъ, варьируя на разные лады, повторяетъ одну и ту же мысль, — какъ дѣтскій умъ Ильюши наблюдаетъ всѣ совершающіеся передъ нимъ явленія жизни, какъ они глубоко западаютъ въ его душу и потомъ вмѣстѣ съ нимъ растутъ и зрѣютъ. Мы уже знаемъ отчасти, что это была за жизнь. Какъ живая, во всѣхъ деталяхъ встаетъ она передъ нашими гла-



замѣ въ мастерскомъ изображеніи Гончарова. „Ни одна мелочь, ни одна черта не ускользаетъ отъ пытливаго вниманія ребенка; неизгладимо врѣзывается въ душу картина домашняго быта; напитывается мягкій умъ живыми примѣрами и безсознательно чертитъ программу своей жизни по жизни его окружающей“. Видитъ Пльюша, что его отецъ по цѣлымъ днямъ только и знаетъ, что ходитъ изъ угла въ уголъ, заложивъ руки назадъ, или же неподвижно сидитъ у окна, глядя въ пространство и отъ скуки дѣлая безсмысленныя замѣчанія проходящей мимо дворнѣ; что никогда не придетъ ему въ голову провѣрить самому, какъ идетъ хозяйство, что даже незначительная работа по дому, какъ починка готовыхъ обрушиться галлерей и крыльца, представляется для него настолько сложнымъ дѣломъ, что онъ никакъ не можетъ взяться за него; замѣчаетъ онъ, что мать только и дѣлаетъ что хлопочетъ о ѣдѣ и переходитъ онъ кофе къ чаю, отъ чаю къ обѣду; что цѣлый штатъ крѣпостныхъ слугъ, готовыхъ исполнить малѣйшій барскій капризъ, всегда къ услугамъ его родителей. И невольно дѣтскій умъ его, исполнившійся впечатлѣній домашней жизни, прежде чѣмъ ему сталъ доступенъ притокъ новыхъ понятій, хотя бы черезъ книги, рѣшаетъ, что именно такъ и нужно жить, какъ живутъ окружающіе его люди. Неоткуда было бѣдному мальчику набраться свѣжихъ, животворящихъ впечатлѣній, могущихъ дать здоровую пищу его уму, некому было позаботиться о томъ, чтобы его богато одаренная натура получила разумный просторъ для своего развитія. Какъ нѣжно лелѣемое тепличное растеніе, росъ онъ, точно подъ стекломъ, медленно и вяло. „Ищущія проявленія силы обращались внутрь и никли увядая“.

Такъ подъ вліяніемъ нелѣпаго воспитанія въ раннемъ дѣтствѣ и губительнаго воздѣйствія среды пропадали хорошіе природные задатки Пльюши. Они могли бы найти подходящія условія для развитія позже, въ годы ученія, и тогда первоначальная закваска въ значительной степени потеряла бы свою силу и могла совсѣмъ исчезнуть. Но своеобразный строй обломовской жизни налагалъ свой отпечатокъ и на ученіе, какъ домашнее, такъ и школьное. Какъ ни инертна была жизнь и среда, окружавшая Обломова въ дѣтствѣ, какъ ни равнодушно относилась она къ знанію и просвѣ-

щенію, все же „времена Простаковыхъ и Скотининыхъ миновались давно. Пословица: ученье свѣтъ — не ученье тьма бродила уже по селамъ и деревнямъ вмѣстѣ съ книгами, развозимыми букинистами“. Даже обломовцы понимали выгоды и преимущества образованія, но понимали ихъ по-своему. Они видѣли, что тотъ, кто имѣлъ дипломъ, удостоверяющій въ прохожденіи полного курса ученія, быстро хваталъ чины и кресты, наживалъ деньги, тогда какъ старые служаки, повидимому, искусившіеся во всѣхъ тонкостяхъ буквоѣдства и крюкотворства, или оставались въ хвостѣ, или — и того хуже — должны были убраться по добру по здорову. Отсюда ближайшее заключеніе, дальше котораго они и не шли, — нужно соблюсти предписанную форму, добыть для Ильюши какой-то аттестатъ, въ которомъ будетъ сказано, что онъ „прошелъ всѣ науки и искусства“, и чѣмъ меньше будетъ затрачено на это труда и усилій, тѣмъ лучше. Они цѣнили только виѣшнюю выгоду образованія и не понимали той громадной роли, какую играетъ оно въ дѣлѣ развитія духовныхъ силъ человѣка, въ подготовкѣ его къ разумному существованію, удовлетворяя естественные запросы человѣческаго духа. Вотъ почему годы ученія у Штольца не могли уничтожить въ Ильюшѣ вліяній родной ему Обломовки, которая находилась слишкомъ близко; обаяніе ея привычекъ и атмосферы, благодаря постояннымъ поѣздкамъ Ильюши домой, парализовало всѣ начинанія Штольца. Что могъ сдѣлать со своимъ питомцемъ даже такой энергичный нѣмецъ, какъ старый Штолецъ, если обломовцы постоянно выпскивали поводы къ тому, чтобы Ильюша поменьше мучилъ себя неизбежнымъ зломъ — ученіемъ. Всѣ были убѣждены, что печеніе блиновъ самый настоящій поводъ къ тому, чтобы не ѣхать къ нѣмцу, что праздникъ въ четвергъ — неодолимое препятствіе къ ученію во всю недѣлю и что поэтому незачѣмъ ѣздить взадъ и впередъ на три дня; что послѣ пасхальныхъ ваканцій на двѣ недѣли не стоитъ ѣздить учиться, и т. д. То немногое время, какое находился маленький Обломовъ подъ вліяніемъ своего учителя, тоже не могло принести существенной пользы, ибо старый Штолецъ встрѣтилъ неожиданное противодѣйствіе въ лицѣ своего сына, который, подруживши съ Ильюшей и горячо полюбивъ его, тайкомъ отъ отца половину работы исполнялъ за него.



Такимъ образомъ, и дѣтство, и отрочество, тѣ періоды жизни, когда въ значительной мѣрѣ слагаются наклонности и характеръ человѣка, опредѣляется его духовный обликъ, Пльюша Обломовъ находился подъ непрестаннымъ вліяніемъ окружающей его среды, которое такъ глубоко проникло въ его душу, что не могло быть искоренено ни въ годы студенческой жизни, ни въ послѣдующій зрѣлый періодъ ея. Прежняя живая, любознательная натура уже въ значительной степени была задавлена лѣнью и зарождающейся апатіей, съ которыми подчасъ онъ уже не въ силахъ бороться. Сказывалось это въ его порою чисто формальномъ отношеніи къ изучаемымъ наукамъ, которыя усваивались имъ безъ всякаго интереса. Юношескій подъемъ силъ, жажда знанія, которыя охватили одно время Обломова, когда онъ жилъ всѣми фибрами своей души, продолжались недолго. Цвѣтъ жизни распустился, но не далъ плодовъ. Обломовъ отрезвился и только изрѣдка, по указанію Штольца, прочитывалъ ту или другую книгу, но не вдругъ, не торопясь, безъ жадности, а лѣнливо пробѣгалъ глазами по строкамъ. Въ концѣ концовъ, ко времени окончанія курса Обломовъ потерялъ всякій вкусъ къ умственной работѣ; знаніе было для него мертвымъ капиталомъ, между нимъ и жизнью лежала цѣлая бездна, которую онъ не пытался пройти; оно не могло дать направленія его существованію, повліять на него. Жизнь въ его представленіи дѣлилась на двѣ половины: одна изъ нихъ была исполнена труда и неразлучной съ нимъ, въ его представленіи, скуки, другая состояла изъ покоя и мирнаго веселья.

Однако онъ не остался въ Обломовкѣ мирно наслаждаться прелестями деревенскаго существованія. Университетская жизнь все же давала нищу врожденной потребности къ дѣятельности и спасла его на время отъ окончательной гибели. Онъ былъ полонъ еще разныхъ широкихъ стремленій и надеждъ, чего-то ждалъ отъ себя и отъ жизни, мечталъ о роли, которую онъ будетъ играть на служебномъ поприщѣ и въ обществѣ, въ отдаленной перспективѣ видѣлъ семейное счастье. Все это заставило его покинуть родное гнѣздо и отправиться на поиски счастья въ Петербургъ. Но первыя же столкновенія съ дѣйствительною жизнью, которая потребовала отъ него труда и энергіи, совсѣмъ оше-

ломали его, и онъ, десять лѣтъ все собираясь что-нибудь дѣлать, кончалъ тѣмъ, что, потерпѣвъ позорное фіаско, вслѣдствіе своего нерадѣнія, на служебномъ поприщѣ, оставилъ всякія мечты о повышеніяхъ, чинахъ и орденахъ и вышелъ въ отставку.

Глубоко пустившая въ него свои корни лѣнь и апатія вскорѣ побудила его порвать почти всѣ связи съ обществомъ, и онъ постепенно погружался въ спячку духовную и тѣлесную. Могуущественнѣйшее изъ человѣческихъ чувствъ — любовь на время пробудило его, возродило духовно, но старая закваска оказалась сильнѣе, и мы видимъ, что онъ со страшной болью въ сердцѣ отказывается отъ любимой дѣвушки, чтобы заживо похоронить себя на Выборгской сторонѣ, отдать свою душу и жизнь во власть того настроенія, которое выросло въ русской дореформенной помещичьей жизни на даровомъ трудѣ крѣпостныхъ крестьянъ. „Кто проклялъ тебя, Илья?“ спрашиваетъ Ольга съ мучительной болью въ сердцѣ, потерявши въ него вѣру: „что ты сдѣлалъ? ты добръ, уменъ, нѣженъ, благороденъ... и .. гибнешь! Что сгубило тебя? Нѣтъ имени этому злу“... — „Есть“ — прошепталъ Обломовъ въ отвѣтъ чуть слышно: — „обломовщина“.

Такъ самъ Илья Ильичъ называлъ погубившую его силу. Сила эта — дореформенный строй жизни, покоившійся на крѣпостномъ правѣ. Главный источникъ ея могущества скрывался въ услугахъ „трехсотъ Захаровъ“, въ безвозмездномъ пользованіи чужимъ трудомъ, въ беззаботной, праздной, сытой жизни. Въ этомъ отличіе жалкаго прозябанія Обломова отъ полной дѣятельности жизни тѣхъ, кто въ трудѣ видитъ необходимое условіе человѣческаго счастья и прогресса. Самъ Обломовъ какъ нельзя лучше въ разговорѣ съ Захаромъ указалъ, въ чемъ разница между нимъ, баринномъ, и „другимъ“. „Другой работаетъ безъ усталости, — поясняетъ Илья Ильичъ, — бѣгаетъ, суетится, не работаетъ, такъ и не поѣстъ... А я?... Да развѣ я мечусь, развѣ я работаю? Мало тѣмъ, что-ли? Худошавъ или жалокъ на видъ? Развѣ недостаетъ мнѣ чего-нибудь? Кажется, по-дать, сдѣлать есть кому. Я ни разу не натянулъ себѣ чулокъ на ноги, какъ живу, слава Богу. Стану ли я беспокоиться? Изъ чего мнѣ?... Ты все это знаешь, видишь,



что я воспитанъ иѣжно, что я ни холода ни голода никогда не терпѣлъ, нужды не зналъ, хлѣба себѣ не зарабатывалъ и, вообще, чернымъ дѣломъ не занимался“. Но именно то, чѣмъ такъ гордился Обломовъ въ этой бесѣдѣ съ Захаромъ, и погубило его. Вліяніе „обломовщины“ настолько сильно, что она, какъ сорная трава заглушаетъ неокрѣвшіе побѣги нужнаго человѣку растенія, въ концѣ концовъ, подавила въ Ильѣ Ильичѣ всѣ проблески новыхъ вѣяній, какими успѣлъ проникнуться онъ, всѣ задатки богато одаренной натуры. И погибъ этотъ глубоко симпатичный человѣкъ, стоящій на распутьѣ двухъ эпохъ русской общественности, засосанный въ тину дореформенной барской жизни, одурманенный съ ранняго дѣтства ея тлетворнымъ духомъ.

Рѣдкимъ по своей художественности и широтѣ захвата изображеніемъ въ „Обломовѣ“ губительнаго вліянія крепостного строя жизни на самихъ помѣщиковъ Гончаровъ, какъ нельзя болѣе, содѣйствовалъ раздававшемуся въ то время изъ передовыхъ слоевъ общества призыву противъ спячки и застоя, въ которое было погружено, въ общей массѣ, дворянское сословіе. Молодой критикъ Добролюбовъ въ блестящей статьѣ, подъ заглавіемъ: „Что такое обломовщина“, лучше которой до сихъ поръ ничего не написано о романѣ Гончарова, провелъ остроумную параллель между Обломовымъ, съ одной стороны, и Онѣгнымъ, Печоринымъ, Руднымъ и Бельтовымъ, съ другой, и наглядно показалъ, какъ глубоко захватилъ Гончаровъ въ своемъ романѣ одно изъ основныхъ свойствъ родной жизни, указавши въ то же время причины и условія его существованія. Для насъ Обломовъ—единственный въ своемъ родѣ художественный синтезъ жизни дореформеннаго русскаго барства.

Гончарову думалось, что съ наступленіемъ въ русской жизни новой эпохи, эпохи освобожденія и великихъ реформъ приближеніе которыхъ ясно чуялось въ послѣдніе годы созданія „Обломова“, обломовщина исчезнетъ. Посѣщая въ послѣдній разъ Илью Ильича, Штолицъ уходитъ отъ него съ такими мыслями: „Погибъ ты, Илья! Нечего тебѣ говорить, что твоя Обломовка не въ глуши больше, что до нея дошла очередь, что на нее пали лучи солнца.... что года черезъ четыре она будетъ станціей дороги, что мужики

твой пойдутъ работать насыпь, а потомъ по чугункѣ покатится твой хлѣбъ къ пристани... А тамъ школы, грамота, а дальше... Прощай, старая Обломовка, ты отжила свой вѣкъ“. Но Штольцъ, устами котораго въ этомъ случаѣ, конечно, говоритъ самъ авторъ, ошибался. „Дѣло вѣковъ поправлять не легко,“ и Гончаровъ слишкомъ рано написалъ надгробное слово обломовщинѣ. Еще Добролюбовъ мѣтко замѣтилъ, что Обломовка—наша прямая родина, и что въ каждомъ изъ насъ сидитъ не мало обломовщины. Замѣчаніе это въ значительной мѣрѣ примѣнимо и къ послѣдующей русской жизни вплоть до нашихъ дней, когда нерѣдко приходится встрѣчаться съ барской изнѣженностью, боязнью труда, отсутствіемъ энергіи и предприимчивости, голубиной кротостью, лѣнью и апатіей, исключающими всякую возможность борьбы за лучшее будущее.

Отсюда цѣнность Обломова, какъ художественнаго образа значительно повышается: въ немъ слѣдуетъ видѣть не только временный, историческій, но и племенной русскій типъ, свойственный цѣлому ряду эпохъ, коренящійся въ основахъ нашей исторической, общественной и государственной жизни. Не даромъ слово „обломовщина“, такъ удачно характеризующее одинъ изъ существеннѣйшихъ пороковъ нашей общественной жизни, получило широкія права гражданства и не рѣдко употребляется въ литературѣ и жизни.

На этомъ не исчерпывается значеніе образа Обломова. Создавая типъ, являющійся кореннымъ для всей русской жизни, Гончаровъ въ то же время далъ намъ и общечеловѣческій образъ и показалъ, какъ подъ вліяніемъ соответствующихъ условій овладѣваютъ даровитой личностью лѣнь и апатія, которыя мало по малу поработаютъ себѣ все лучшія движенія мысли и чувства. Въ этомъ отношеніи Обломовъ такой же вѣковѣчный типъ, какъ Гамлетъ, Донъ-Кихоть, Чацкій и др., но въ рамкахъ исторической картины русской жизни сороковыхъ годовъ прошлаго вѣка онъ — яркій представитель эпохи пробужденія русскаго общества, затопленный мутнымъ потокомъ старой жизни.

*Александровскій.*



## Обломовщина, какъ одно изъ свойствъ русской жизни.

Обломовъ есть лицо не совсѣмъ новое въ нашей литературѣ; но прежде оно не выставлялось передъ нами такъ просто и естественно, какъ въ романѣ Гончарова. Чтобы не заходить слишкомъ далеко въ старину, скажемъ, что родовыя черты обломовскаго типа мы находимъ еще въ Онѣгинѣ, и затѣмъ нѣсколько разъ встрѣчаемъ ихъ повтореніе въ лучшихъ нашихъ литературныхъ произведеніяхъ. Дѣло въ томъ, что это коренной, народный нашъ типъ, отъ котораго не могъ отдѣлаться ни одинъ изъ нашихъ серьезныхъ художниковъ. Но съ теченіемъ времени, по мѣрѣ сознательнаго развитія общества, типъ этотъ измѣнилъ свои формы, становился въ другія отношенія къ жизни, получалъ новое значеніе. Подмѣтить эти новыя фазы его существованія, опредѣлить сущность его новаго смысла — это всегда составляло громадную задачу, и талантъ, умѣвшій сдѣлать это, всегда дѣлалъ существенный шагъ впередъ въ исторіи нашей литературы. Такой шагъ сдѣлалъ и Гончаровъ своимъ „Обломовымъ“. Посмотримъ на главныя черты обломовскаго типа и потомъ попробуемъ провести маленькую параллель между ними и нѣкоторыми типами того же рода, въ разное время проявившимся въ нашей литературѣ.

Въ чемъ заключаются главныя черты обломовскаго характера? Въ совершенной инертности, происходящей отъ его апатіи ко всему, что дѣлается на свѣтѣ. Причина же апатіи заключается отчасти въ его внѣшнемъ положеніи, отчасти же въ образѣ его умственнаго и нравственнаго развитія. По внѣшнему своему положенію — онъ баринъ; „у него есть Захаръ и еще триста Захаровъ“, по выраженію автора. Преимущество своего положенія Илья Ильичъ объясняетъ Захару такимъ образомъ:

„Развѣ я мечусь, развѣ работаю? мало ѣмъ, что-ли? худошавъ или жалокъ на видъ? Развѣ недостаетъ мнѣ чего-нибудь? Кажется, подать, сдѣлать есть кому! Я ни разу не натянулъ себѣ чулокъ на ноги, какъ живу, слава Богу! Стану-ли я беспокоиться? изъ чего мнѣ?... И кому я это говорю? Не ты ли съ дѣтства ходилъ за мной? Ты все это знаешь, видѣлъ, что я воспитанъ нѣжно,

что я ни холода ни голода никогда не терпѣлъ, нужды не зналъ, хлѣба себѣ не зарабатывалъ и вообще чернымъ дѣломъ не занимался“.

И Обломовъ говоритъ совершенную правду. Исторія его воспитанія вся служитъ подтвержденіемъ его словъ. Съ малыхъ лѣтъ онъ привыкаетъ быть байбакомъ, благодаря тому, что у него и подать и сдѣлать — есть кому; тутъ ужъ даже и противъ воли нерѣдко онъ бездѣльничаетъ и сибаритствуетъ. Ну, скажите, пожалуйста, чего же бы вы хотѣли отъ человѣка, выросшаго вотъ въ какихъ условіяхъ:

„Захаръ, — какъ, бывало, нянька, — натягиваетъ ему чулки, надѣваетъ башмаки, а Илюша, уже четырнадцатилѣтній мальчикъ только и знаетъ, что подставляетъ ему, лежа, то ту, то другую ногу; а чуть что покажется ему не такъ, то онъ поддастъ Захаркѣ ногой въ носъ. Если недовольный Захарка вздумаетъ пожаловаться, то получитъ еще отъ старшихъ колотушку. Потомъ Захарка чешетъ ему голову, натягиваетъ куртку, осторожно продѣвая руки Ильи Ильича въ рукава, чтобъ не слишкомъ беспокоить его, и напоминаетъ Ильѣ Ильичу, что надо сдѣлать то, другое: вставши поутру, умыться и т. п.

Захочетъ ли чего нибудь Илья Ильичъ, ему стоитъ только мигнуть — ужъ двое-четверо слугъ кидаются исполнить его желаніе; уронить ли онъ что нибудъ, достать ли ему нужно вещь да не достанетъ, принести-ли что, сбѣгать ли за чѣмъ, — ему иногда, какъ рѣзвому мальчику, такъ и хочется броситься и передѣлать все самому, а тутъ вдругъ отецъ и мать, да три тетки, въ пять голосовъ и закричатъ:

„— Зачѣмъ? куда? А Васька, а Ванька, а Захарка на что? Эй! Васька, Ванька, Захарка! Чего вы смотрите, розини? Вотъ я васъ!..

И не удастся никакъ Ильѣ Ильичу сдѣлать что нибудъ самому для себя. Послѣ онъ нашелъ, что оно и покойнѣе гораздо, и выучился самъ покрикивать: Эй, Васька, Ванька! подай то, дай другое. Не хочу того, хочу этого! Сбѣгай, принеси!

Подчасъ нѣжная заботливость родителей и надоѣдала ему. Побѣжить ли онъ съ лѣстницы или по двору, вдругъ велѣдъ ему раздастся десять отчаянныхъ голосовъ: „ахъ, ахъ! поддержите, остановите! упадетъ, расшибется! Стой, стой!“... Задумаетъ ли онъ выскочить зимой въ сѣни или открыть форточку, — опять крики: „ай, куда? какъ можно? Не бѣгай, не ходи, не отворяй: убьешься, простудишься“... И Илюша съ печалью оставался дома, лелѣемый, какъ экзотическій цвѣтокъ въ теплицѣ, и такъ же, какъ послѣдній подъ стекломъ, онъ росъ медленно и вяло. Импульсія проявленія силы обращались внутрь и никли, увядая“.



Такое воспитаніе вовсе не составляетъ чего нибудь исключительнаго, страннаго въ нашемъ образованномъ обществѣ. Не вездѣ, конечно, Захарка натягиваетъ чулки барченку, и т. п. Но не нужно забывать, что подобная льгота дается Захаркѣ по особому снисхожденію или вслѣдствіе высшихъ педагогическихъ соображеній, и вовсе не находится въ гармоніи съ общимъ ходомъ домашнихъ дѣлъ. Барченокъ, пожалуй, и самъ одѣнется; но онъ знаетъ, что это для него въ родѣ мнлаго развлеченія, прихоти, а въ сущности онъ вовсе не обязанъ этого дѣлать самъ. Да и вообще, ему самому нѣтъ надобности что нибудь дѣлать. Изъ чего ему биться? Некому, что ли, подать и сдѣлать для него все, что ему нужно?... Поэтому онъ себя надъ работой убивать не станетъ, что бы ему ни токовали о необходимости и святости труда: онъ съ малыхъ лѣтъ видитъ въ своемъ домѣ, что всѣ домашнія работы исполняются лакеями и служанками, а папенька и маменька только распоряжаются да бранятся за дурное исполненіе. И вотъ у него уже готово первое понятіе, — что сидѣть сложа руки почетнѣе, нежели суетиться съ работою... Въ этомъ направленіи идетъ и все дальнѣйшее развитіе.

Понятно, какое дѣйствіе производится такимъ положеніемъ ребенка на все его нравственное и умственное образованіе. Внутреннія силы „никнутъ и увядаютъ“ по необходимости. Если мальчикъ и пытается ихъ иногда, то развѣ въ капризахъ и въ заносчивыхъ требованіяхъ исполненія другими его приказаній. А извѣстно, какъ удовлетворенные капризы развиваютъ безхарактерность и какъ заносчивость несовмѣстна съ умѣньемъ серіозно поддерживать свое достоинство. Привыкая предъявлять безтолковыя требованія, мальчикъ скоро теряетъ мѣру возможности и удобоисполнимости своихъ желаній, лишается всякаго умѣнья соображать средства съ цѣлями, и потому становится въ тупикъ при первомъ препятствіи, для отстраненія котораго нужно употребить собственное усиліе. Когда онъ вырастаетъ, онъ дѣлается Обломовымъ, съ большей или меньшей долей его апатичности, и безхарактерности, подъ болѣе или менѣе искусной маской, но всегда съ однимъ неизмѣннымъ качествомъ — отвращеніемъ отъ серіозной и самобытной дѣятельности.

Много помогаетъ тутъ и умственное развитіе Обломовыхъ, тоже, разумѣется, направляемое ихъ внѣшнимъ положеніемъ. Какъ въ первый разъ они взглянуть на жизнь наизуворотъ, — такъ ужъ потомъ до конца дней своихъ и не могутъ достигнуть разумнаго пониманія своихъ отношеній къ міру и къ людямъ. Имъ потомъ и растолкуютъ многое, они и поймутъ кое-что; но съ дѣтства укоренившееся воззрѣніе все-таки удержится гдѣ нибудь въ уголку и безпрестанно выглядываетъ оттуда, мѣшая всѣмъ новымъ понятіямъ и не допуская ихъ улечься на дно души... И дѣлается въ головѣ какой-то хаосъ: иной разъ человѣку и рѣшимость придетъ сдѣлать что нибудь, да не знаетъ онъ, что ему начать, куда обратиться... И не мудрено: нормальный человѣкъ всегда хочетъ только того, что можетъ сдѣлать; зато онъ немедленно и дѣлаетъ все, что захочетъ... А Обломовъ... онъ не привыкъ дѣлать что нибудь, слѣдовательно, не можетъ хорошенько опредѣлить, что онъ можетъ сдѣлать и чего нѣтъ, — слѣдовательно не можетъ и серьезно, *дѣйтельно* захотѣть чего нибудь... Его желанія являются только въ формѣ: „а хорошо бы, если бы вотъ это сдѣлалось“; но какъ это можетъ сдѣлаться, онъ не знаетъ. Оттого онъ любитъ помечтать и ужасно боится того момента, когда мечтанія придутъ въ соприкосновеніе съ дѣйствительностью. Тутъ онъ старается взвалить дѣло на кого нибудь другого, а если нѣтъ никого, то на *авось*...

Всѣ эти черты превосходно подмѣчены и съ необыкновенной силой и истинной сосредоточены въ лицѣ Ильи Ильича Обломова. Не нужно представлять себѣ, чтобы Илья Ильичъ принадлежалъ къ какой нибудь особенной породѣ, въ которой бы неподвижность составляла существенную, конечную черту. Несправедливо было бы думать, что онъ отъ природы лишенъ способности произвольнаго движенія. Вовсе нѣтъ: отъ природы онъ — человѣкъ, какъ и всѣ. Въ ребячествѣ ему хотѣлось побѣгать и поиграть въ снѣжки съ ребятами, достать самому то или другое, и въ оврагъ сбѣгать, и въ ближайшій березнякъ пробраться черезъ каналъ, плетни и ямы. Пользуясь часомъ общаго въ Обломовкѣ послѣобѣденнаго сна, онъ разминался, бывало: „взбѣгалъ на галлерею (куда не позволялось ходить, потому что она каждую минуту готова была развалиться), лазилъ на



голубятню, забирался въ глушь сада, слушалъ, какъ жужжить жукъ, и далеко слѣдилъ глазами его полетъ въ воздухъ“. А то — „забирался въ каналъ, рылся, отыскивалъ какіе-то корешки, очищалъ отъ коры и ѣлъ всласть, предпочитая яблокамъ и варенью, которыя даетъ маменька“. Все это могло служить задаткомъ характера кроткаго, спокойнаго, но не бессмысленно-лѣниваго. Притомъ и кротость, переходящая въ робость и подставленіе спины другимъ, есть въ человѣкѣ явленіе вовсе не природное, а чисто благопріобрѣтенное, точно также, какъ и нахальство и заносчивость. И между обоими этими качествами разстояніе вовсе не такъ велико, какъ обыкновенно думаютъ. Никто не умѣетъ такъ отлично вздергивать носа, какъ лакей; никто такъ грубо не ведетъ себя съ подчиненными, какъ тѣ, которые подличаютъ передъ начальниками. Илья Ильичъ, при всей своей кротости, не боится поддать ногой въ рожу обувающему его Захару, и если онъ въ своей жизни не дѣлаетъ этого съ другими, такъ единственно потому, что надѣется встрѣтить противодѣйствіе, которое нужно будетъ преодолѣть. Поневолѣ онъ ограничиваетъ кругъ своей дѣятельности тремя стами своихъ Захаровъ. А будь у него этихъ Захаровъ во сто, въ тысячу разъ больше — онъ бы не встрѣчалъ себѣ противодѣйствій и пріучился бы довольно смѣло поддавать въ зубы каждому, съ кѣмъ случится имѣть дѣло. И такое поведеніе вовсе не было бы у него признакомъ какого нибудь звѣрства натуры; и ему самому и всѣмъ окружающимъ оно казалось бы очень естественнымъ, необходимымъ... никому бы и въ голову не пришло, что можно и должно вести себя какъ нибудь иначе. Но — къ несчастью или къ счастью — Илья Ильичъ родился помѣщикомъ средней руки, получалъ дохода не болѣе десяти тысячъ рублей на ассигнаціи, и вслѣдствіе того могъ распоряжаться судьбами міра только въ своихъ мечтаніяхъ. Зато въ мечтахъ своихъ онъ и любилъ предаваться воинственнымъ и героическимъ стремленіямъ. „Онъ любилъ иногда вообразить себя какимъ нибудь непобѣдимымъ полководцемъ, предъ которымъ не только Наполеонъ, но и Ерусланъ Лазаревичъ ничего не значить; выдумаетъ войну и причину ея: у него хлынутъ, напримѣръ, народы изъ Африки въ Европу, или устроятъ онъ новые крестовые походы, и воюетъ, рѣшаетъ участь

народовъ, раззоряетъ города, щадить, казнить, оказываетъ подвиги добра и великодушія“. А то онъ вообразить, что онъ великій мыслитель или художникъ, что за нимъ гоняется толпа и всѣ поклоняются ему... Ясно, что Обломовъ не тупая, апатическая натура, безъ стремлений и чувствъ, а человекъ, тоже чего то ищущій въ своей жизни, о чемъ то думающій. Но гнусная привычка получать удовлетвореніе своихъ желаній не отъ собственныхъ усилій, а отъ другихъ, развила въ немъ апатическую неподвижность и повергла его въ жалкое состояніе нравственнаго рабства. Рабство это такъ переплетается съ барствомъ Обломова, такъ они взаимно проникаютъ другъ друга и одно другимъ обуславливаются, что, кажется, нѣтъ ни малѣйшей возможности провести между ними какую нибудь границу. Это нравственное рабство Обломова составляетъ едва ли не самую любопытную сторону его личности и всей его исторіи... Но какъ могъ дойти до рабства человекъ съ такимъ независимымъ положеніемъ, какъ Пля Пльичъ? Кажется кому бы наслаждаться свободой, какъ не ему? Не служить, не связанъ съ обществомъ, имѣетъ обеспеченное состояніе... Онъ самъ хвалится тѣмъ, что не чувствуетъ надобности кланяться, просить, унижаться, что онъ не подобенъ „другимъ“, которые работаютъ безъ усталы, бѣгаютъ, суетятся, — а не работаютъ, такъ и не поѣдятъ... Онъ внушаетъ къ себѣ благоговѣйную любовь доброй вдовѣ Пшеницыной именно тѣмъ, что онъ *баринъ*, что онъ сіяетъ и блещетъ, что онъ и ходитъ, и говоритъ такъ вольно и независимо, что онъ „не пишетъ безпрестанно бумагъ, не трясется отъ страха, что опоздаетъ въ должность, не глядитъ на всякаго такъ, какъ будто проситъ осѣдлатъ его и поѣхать, а глядитъ на всѣхъ и на все такъ смѣло и свободно, какъ будто требуетъ покорности себѣ“. И однако же вся жизнь этого барина убита тѣмъ, что онъ постоянно остается рабомъ чужой воли и никогда не возвышается до того, чтобы проявить какую нибудь самобытность. Онъ рабъ каждой женщины, cadaго встрѣчнаго, рабъ cadaго мошенника, который захочетъ взять надъ нимъ волю. Онъ рабъ своего крѣпостнаго Захара, и трудно рѣшить, который изъ нихъ болѣе подчиняется власти другого. Но крайней мѣрѣ — чего Захаръ не захочетъ, того Пля Пльичъ не можетъ заставить его сдѣлать; а чего захочетъ Захаръ, то



сдѣлаетъ и противъ воли барина, и баринъ покорится... Оно такъ и слѣдуетъ: Захаръ все-таки умѣетъ сдѣлать хоть что нибудь, а Обломовъ ровно ничего не можетъ и не умѣетъ. Нечего уже и говорить о Тарантьевѣ и Иванѣ Матвѣичѣ, которые дѣлаютъ съ Обломовымъ, что хотятъ, несмотря на то, что сами и по умственному развитію и по нравственнымъ качествамъ гораздо ниже его... Отчего же это? Да все оттого, что Обломовъ, какъ баринъ, не хочетъ и не умѣетъ работать и не понимаетъ настоящихъ отношеній своихъ ко всему окружающему. Онъ не прочь отъ дѣятельности — до тѣхъ поръ, пока она имѣетъ видъ призрака и далека отъ реального осуществленія: такъ онъ создаетъ планъ устройства имѣнія и очень усердно занимался имъ, — только „подробности, смѣты и цифры“ пугаютъ его и постоянно отбрасываются имъ въ сторону, потому что гдѣ же ему съ ними возиться!... Онъ — баринъ, какъ объясняетъ самъ Иванъ Матвѣичу: „кто я, что такое? спросите вы... Подите, спросите у Захара, и онъ скажетъ вамъ: „баринъ!“ Да, я баринъ и дѣлать ничего не умѣю! Дѣлайте вы, если знаете, и помогите, если можете, а за трудъ возьмите себѣ, что хотите: — на то наука!“ И вы думаете, что онъ этимъ хочетъ только отдѣлаться отъ работы, старается прикрыть незнаніемъ свою лѣнь? Нѣтъ, онъ дѣйствительно не знаетъ и не умѣетъ ничего, дѣйствительно не въ состояніи приняться ни за какое путное дѣло. Относительно своего имѣнія (для преобразования котораго сочинилъ уже планъ) онъ такимъ образомъ признается въ своемъ невѣдѣніи Ивану Матвѣичу: „я не знаю, что такое барщина, что такое сельскій трудъ, что значить бѣдный мужикъ, что богатый; не знаю, что значить четверть ржи или овса, что она стоитъ, въ какомъ мѣсяцѣ и что сѣютъ и жнутъ, какъ и когда продаютъ; не знаю, богатъ ли я или бѣденъ, буду ли я черезъ годъ сытъ или буду нищій — я ничего не знаю!... Слѣдовательно, говорите и совѣтуйте мнѣ, какъ ребенку“... Иначе сказать, будьте надо мною господиномъ, распоряжайтесь моимъ добромъ, какъ вздумаете, удѣляйте мнѣ изъ него, сколько найдете для себя удобнымъ... Такъ на дѣлѣ то и вышло: Иванъ Матвѣичъ совсѣмъ было прибралъ къ рукамъ имѣніе Обломова, да Штольцъ помѣшалъ, къ несчастію.

И вѣдь Обломовъ не только своихъ сельскихъ порядковъ

не знаетъ, не только положенія своихъ дѣлъ не понимаетъ: это бы еще куда ни шло!... Но вотъ въ чемъ главная бѣда: онъ и вообще жизни не умѣлъ осмыслить для себя. Въ Обломовкѣ никто не задавалъ себѣ вопроса: зачѣмъ жизнь, что она такое, какой ея смыслъ и назначеніе? Обломовцы очень просто понимали ее, „какъ идеаль покой и бездѣйствія, нарушаемаго по временамъ разными непріятными случайностями, какъ-то: болѣзнями, убытками, ссорами и, между прочимъ, трудомъ. Они сносили трудъ, какъ наказаніе, наложенное еще на праотцевъ нашихъ, но любить не могли, и гдѣ былъ случай, всегда отъ него избавлялись, находя это возможнымъ и должнымъ“. Точно такъ относился къ жизни и Илья Ильичъ. Идеаль счастья, нарисованный имъ Штольцу, заключается не въ чемъ другомъ, какъ въ сытой жизни, — съ оранжереями, парниками, поѣздками съ самоваромъ въ рошу и т. п., — въ халатѣ, въ крѣпкомъ снѣ, да для промежуточнаго отдыха — въ идиллическихъ прогулкахъ съ кроткою, но дебелою женою, и въ созерцаніи того, какъ крестьяне работаютъ... Разсудокъ Обломова такъ успѣлъ съ дѣтства сложиться, что даже въ самомъ отвлеченномъ разсужденіи, въ самой утопической теоріи имѣлъ способность останавливаться на данномъ моментѣ и затѣмъ не выходить изъ этого *statu quo*, несмотря ни на какія убѣжденія. Рисую идеаль своего блаженства, Илья Ильичъ не думалъ спросить себя о внутреннемъ смыслѣ его, не думалъ утвердить его законность и правду, не задалъ себѣ вопроса: откуда будутъ браться эти оранжереи и парники, кто ихъ станетъ поддерживать и съ какой стати будетъ онъ ими пользоваться?... Не задавая себѣ подобныхъ вопросовъ, не разъясняя своихъ отношеній къ міру и къ обществу, Обломовъ, разумѣется, не могъ осмыслить своей жизни и потому тяготился и скучалъ отъ всего, что ему приходилось дѣлать. Служилъ онъ — и не могъ понять, зачѣмъ это бумаги пишутся; не понявши же, ничего лучше не нашелъ, какъ вытти въ отставку и ничего не писать. Учился онъ — и не зналъ, къ чему можетъ послужить ему наука; не узнавши этого, онъ рѣшился сложить книги въ уголъ и равнодушно смотрѣть, какъ ихъ покрываетъ пыль. Выѣзжалъ онъ въ общество — и не умѣлъ себѣ объяснить, зачѣмъ люди въ гости ходятъ; не объяснивши, онъ бросилъ всѣ



свои знакомства и сталъ по цѣлымъ днямъ лежать у себя на диванѣ. Сходилъ онъ съ женщинами, но подумалъ: однако, чего же отъ нихъ ожидать и добиваться? подумавши же, не рѣшилъ вопроса и сталъ избѣгать и женщинъ... Все ему наскучило и опостылѣло, и онъ лежалъ на боку, съ полнымъ сознательнымъ презрѣніемъ къ „муравьиной работѣ людей“, убивающихся и суецищихся Богъ вѣсть изъ-за чего...

Дойдя до этой точки въ объясненіи характера Обломова, мы находимъ умѣстнымъ обратиться къ литературной параллели, о которой упомянуто выше. Предыдущія соображенія привели насъ къ тому заключенію, что Обломовъ не есть существо, отъ природы совершенно лишенное способности произвольнаго движенія. Его лѣнь и апатія есть созданіе воспитанія и окружающихъ обстоятельствъ. Главное здѣсь не Обломовъ, а обломовщина. Онъ бы, можетъ быть сталъ даже и работать, если бы нашелъ дѣло по себѣ; но для этого, конечно, ему надо было развиться нѣсколько подъ другими условіями, нежели подъ какими онъ развился. Въ настоящемъ же своемъ положеніи онъ не могъ нигдѣ найти себѣ дѣла по душѣ, потому что, вообще, не понималъ смысла жизни и не могъ дойти до разумнаго воззрѣнія на свои отношенія къ другимъ. Здѣсь - то онъ и подаетъ намъ поводъ къ сравненію съ прежними типами лучшихъ нашихъ писателей. Давно уже замѣчено, что всѣ герои замѣчательнѣйшихъ русскихъ повѣстей и романовъ страдаютъ оттого, что не видятъ цѣли въ жизни и не находятъ себѣ приличной дѣятельности. Вслѣдствіе того они чувствуютъ скуку и отвращеніе отъ всякаго дѣла, въ чемъ представляютъ разительное сходство съ Обломовымъ. Въ самомъ дѣлѣ, — раскройте, напримѣръ, „Онѣгина“, „Героя нашего времени“, „Кто виноватъ“, „Рудина“, или „Лишняго человека“, или „Гамлета Щигровскаго уѣзда“, — въ каждомъ изъ нихъ вы найдете черты, почти буквально сходныя съ чертами Обломова.

Онѣгинъ, какъ Обломовъ, оставляетъ общество, за тѣмъ, что его

Измѣны утомить успѣли,  
Друзья и дружба надоѣли.

И вотъ онъ занялся писаньемъ:

Отступникъ бурныхъ наслажденій,  
Онѣгинъ дома заперся,  
Зѣвая за перо взялся.  
Хотѣлъ писать; но трудъ упорный  
Ему былъ тошенъ; ничего  
Не вышло изъ пера его...

На этомъ же поприщѣ подвизался и Рудинъ, который любилъ читать избраннымъ „первыя страницы предполагаемыхъ статей и сочиненій своихъ“. Тентетниковъ тоже много лѣтъ занимался „колоссальнымъ сочиненіемъ, долженствовавшимъ обнять всю Россію со всѣхъ точекъ зрѣнія“; но и у него „предпріятіе больше ограничивалось однимъ обдумываньемъ: изгрызалось перо, являлись на бумагѣ рисунки, и потомъ все это отодвигалось въ сторону“. Пля Пльичъ не отсталъ въ этомъ отъ своихъ собратій: онъ тоже писалъ и переводилъ, — Сзя даже переводилъ. „Гдѣ же твои работы, твои переводы?“ спрашиваетъ его потомъ Штольцъ. — „Не знаю, Захаръ куда-то дѣлъ; въ углу, должно быть, лежатъ“, отвѣчаетъ Обломовъ. Выходитъ, что Пля Пльичъ даже больше, можетъ быть, сдѣлалъ, чѣмъ другіе, принимавшіеся за дѣло съ такой же твердой рѣшимостью, какъ и онъ... А принимались за это дѣло почти всѣ братья обломовской семьи, несмотря на разницу своихъ положеній и умственного развитія. Печоринъ только свысока смотрѣлъ на „поставщиковъ повѣстей“ и сочинителей мѣщанскихъ драмъ; впрочемъ и онъ писалъ свои записки. Что касается Бельтова, то онъ навѣрное сочинялъ что нибудь, да еще кромѣ того артистомъ былъ, ходилъ въ Эрмитажъ и сидѣлъ за мольбертомъ, обдумывалъ большую картину встрѣчи Бирона, ѣдущаго изъ Сибири, съ Минихомъ, ѣдущимъ въ Сибирь... Что изъ всего этого вышло, извѣстно читателямъ... Во всей семьѣ таже обломовщина...

Относительно „присвоенія себѣ чужого ума“, т.-е. чтенія, Обломовъ тоже не много расходится съ своими братьями. Пля Пльичъ читалъ тоже кое-что, и читалъ не такъ, какъ покойный батюшка его: „давно, говорятъ, не читалъ книги“; „дай-ко, почитаю книгу“, — да и возьметъ, какая подъ руку попадется... Иѣтъ, вѣяніе современнаго образованія коснулось и Обломова: онъ уже читалъ по выбору, сознательно.



„Услышнть о какомъ иибудъ замѣчательномъ произведеніи, — у него явится позывъ познакомиться съ нимъ; онъ ищетъ, проситъ книги, и если принесутъ скоро, онъ примется за нее, у него начнетъ формироваться идея о предметѣ; еще шагъ, и онъ овладѣлъ-бы имъ, а посмотришь, онъ уже лежитъ, глядя апатически въ потолокъ, и книга лежитъ, подлѣ него, недочитанная, непонятая. Охлажденіе одолѣвало имъ еще быстрѣе, нежели увлеченіе: онъ уже никогда не возвращался къ покинутой книгѣ“. Не то ли же самое было и съ другими? Онѣгинъ, думая себѣ присвоить умъ чужой, началъ съ того, что

Отрядомъ книгъ уставилъ полку,

и принялся читать. Но толку не вышло ни какого: чтеніе скоро ему надоѣло, и —

Какъ женщинъ, онъ оставилъ книги,  
И полку, съ пыльной ихъ семьей,  
Задержнулъ траурной тафтой.

Тентетниковъ тоже такъ читалъ книги (благо, онъ привыкъ ихъ всегда имѣть подъ рукой), — большею частію во время обѣда: „съ супомъ, съ соусомъ, съ жаркимъ и даже съ пирожнымъ“... Рудинъ тоже признается Лежневу, что купилъ онъ себѣ какихъ-то агрономическихъ книгъ, но ни одной до конца не прочелъ; сдѣлался учителемъ, да нашелъ, что фактовъ зналъ маловато, и даже на одномъ памятникѣ XVI столѣтія былъ сбитъ учителемъ математики. И у него, какъ у Обломова, принимались легко только общія идеи, а „подробности, смѣты и цифры“ постоянно оставались въ сторонѣ.

„Но вѣдь это еще не жизнь, — это только приготовленіе къ жизни“, — думалъ Андрей Ивановичъ Тентетниковъ, проходившій, вмѣстѣ съ Обломовымъ и всей этой компаніей, тьму ненужныхъ наукъ и не умѣвшій ни іоты изъ нихъ примѣнить къ жизни. „Настоящая жизнь — это служба“. И всѣ наши герои, кромѣ Онѣгина и Печорина, служатъ, и для всѣхъ ихъ служба — ненужное и неимѣющее смысла бремя; и всѣ они оканчиваютъ благородной и ранней отставкой. Бельтовъ четырнадцать лѣтъ и шесть мѣсяцевъ не дослужилъ до пряжки, потому что, погорячившись сна-

чала вскорѣ охладѣлъ къ канцелярскимъ занятіямъ, сталъ раздражителенъ и небреженъ... Тентетниковъ поговорилъ крупно съ начальникомъ, да притомъ-же хотѣлъ принести пользу государству, лично занявшись устройствомъ своего имѣнія. Рудинъ поссорился съ директоромъ гимназіи, гдѣ былъ учителемъ. Обломову не понравилось, что съ начальникомъ всѣ говорятъ „не своимъ голосомъ, а какимъ-то другимъ, тоненькимъ и гадкимъ“; онъ не захотѣлъ этимъ голосомъ объясняться съ начальникомъ по тому поводу, что „отправилъ нужную бумагу вмѣсто Астрахани въ Архангельскъ“, и подалъ въ отставку... Вездѣ все одна и та же обломовщина...

Въ домашней жизни обломовцы тоже очень похожи другъ на друга:

Прогулки, чтенье, сонъ глубокій,  
Лѣсная тѣнь, журчанье струй,  
Порой бѣлянки черноокой  
Младой и свѣжій поцѣлуй,  
Уздѣ послушный конь ретивый,  
Обѣдъ довольно прихотливый,  
Бутылка свѣтлаго вина,  
Уединенье, тишина, —  
Вотъ жизнь Онѣгина святая...

То же самое, слово въ слово, за исключеніемъ коня, рисуется у Ильи Ильича въ идеалѣ домашней жизни. Даже поцѣлуй черноокой бѣлянки не забыть у Обломова. „Одна изъ крестьянокъ, — мечтаетъ Илья Ильичъ, — съ загорѣлой шеей, съ открытыми локтями, съ робко-опущенными, но лукавыми глазами, чуть-чуть, для виду только, обороняется отъ барской ласки, а сама счастлива... тс... жена чтобъ не увидала, Боже сохрани!“ (Обломовъ воображаетъ себя уже женатымъ)... И еслибъ Ильѣ Ильичу не лѣнь было уѣхать изъ Петербурга въ деревню, онъ непременно привелъ бы въ исполненіе задуманную свою идиллію. Вообще обломовцы склонны къ идиллическому, бездѣйственному счастью, которое ничего отъ нихъ не требуетъ: „наслаждайся, молъ, мною, да и только“... Ужъ на что, кажется, Печоринъ, а и тотъ полагаетъ, что счастье-то можетъ быть, заключается въ покоѣ и сладкомъ отдыхѣ. Онъ въ одномъ мѣстѣ своихъ записокъ сравниваетъ себя съ человѣкомъ,



томимымъ голодомъ, который „въ изнеможеніи засыпаетъ и видитъ предъ собою роскошныя кушанья и шипучія вина; онъ пожираетъ съ восторгомъ воздушные дары воображенія, и ему кажется легче... но только проснулся, мечта исчезаетъ, остается удвоенный голодъ и отчаяніе“... Въ другомъ мѣстѣ Печоринъ себя спрашиваетъ: „отчего я не хотѣлъ ступить на этотъ путь, открытый мнѣ судьбою, гдѣ меня ожидали тихія радости и спокойствіе душевное?“ Онъ самъ полагаетъ, — оттого, что „душа его сжилась съ бурями и жаждетъ кипучей дѣятельности“... Но вѣдь онъ вѣчно недоволенъ своей борьбой и самъ же безпрестанно высказываетъ, что всѣ свои дрянныя дебошества затѣваетъ потому только, что ничего лучшаго не находитъ дѣлать... А ужъ коли не находитъ дѣла и вслѣдствіе того ничего не дѣлаетъ и ничѣмъ не удовлетворяется, такъ это значитъ, что къ бездѣлю болѣе склоненъ, чѣмъ къ дѣлу... Та же обломовщина...

Отношенія къ людямъ и въ особенности къ женщинамъ тоже имѣютъ у всѣхъ обломовцевъ нѣкоторыя общія черты. Людей они вообще презираютъ, съ ихъ мелкимъ трудомъ, съ ихъ узкими понятіями и близорукими стремленіями. „Это все чернорабочіе“, небрежно отзывается даже Бельтовъ, гуманнѣйшій между ними. Рудинъ наивно воображаетъ себя геніемъ, котораго никто не въ состояніи понять. Печоринъ, ужъ разумѣется, топчетъ всѣхъ ногами. Даже Онѣгинъ имѣетъ за собою два стиха, гласящіе, что

Кто жилъ и мыслилъ, тотъ не можетъ  
Въ душѣ не презирать людей.

Тентетниковъ даже, — ужъ на что смиренный, — и тотъ, пришедши въ департаментъ, почувствовалъ, что „какъ будто его за проступокъ перевели изъ верхняго класса въ нижній“; а пріѣхавши въ деревню, скоро постарался, подобно Онѣгину и Обломову, разнакомиться со всѣми сосѣдями, которые успѣшили съ нимъ познакомиться. И нашъ Пля Пльичъ не уступить никому въ презрѣніи къ людямъ: оно вѣдь такъ легко, для него даже усилій никакихъ не нужно. Онъ самодовольно проводитъ передъ Захаромъ параллель между собой и „другими“; онъ въ разговорахъ съ пріятелями выражаетъ наивное удивленіе, изъ-за чего это люди быются, заставляя себя ходить въ должность, писать, слѣдить за

газетами, посѣщать общество, и пр. Онъ даже весьма категорически выражаетъ Штольцу сознание своего превосходства надъ всѣми людьми. „Жизнь, говоритъ, въ обществѣ? Хороша жизнь! Чего тамъ искать? Интересовъ ума, сердца? Ты посмотри, гдѣ центръ, около котораго вращается все это; нѣтъ его, нѣтъ ничего глубокаго, задѣвающаго за живое. Все это мертвецы, спящіе люди, хуже меня, эти члены свѣта и общества!“ И затѣмъ Пля Ильичъ очень пространно и краснорѣчиво говоритъ на эту тему, такъ что хоть-бы Рудину такъ поговорить.

Въ отношеніи къ женщинамъ всѣ обломовцы ведутъ себя одинаково постыднымъ образомъ. Они вовсе не умѣютъ любить и не знаютъ, чего искать въ любви, точно такъ же, какъ и вообще въ жизни. Они не прочь пококетничать съ женщиной, пока видятъ въ ней куклу, двигающуюся на пружинахъ; не прочь они и поработить себѣ женскую душу... какъ же! этимъ бываетъ очень довольна ихъ барская натура! Но только чуть дѣло дойдетъ до чего-нибудь серьезнаго, чуть они начнутъ подозрѣвать, что передъ ними дѣйствительно не игрушка, а женщина, которая можетъ и отъ нихъ потребовать уваженія къ своимъ правамъ, — они немедленно обращаются въ постыднѣйшее бѣгство. Трусость у всѣхъ этихъ господъ непомѣрная. Онѣгинъ, который такъ „рано умѣлъ тревожить сердца кокетокъ записныхъ“, который женщинъ „искалъ безъ уношенія, а оставлялъ безъ сожалѣнья“, — Онѣгинъ струсилъ предъ Татьяной, дважды струсилъ, — и въ то время, когда принималъ отъ нея урокъ, и тогда, какъ самъ ей давалъ его. Она ему, вѣдь, правилась съ самаго начала, и если бы любила менѣе серьезно. онъ не подумалъ бы принять съ нею тонъ строгаго правочителя. А тутъ онъ увидѣлъ, что шутить опасно, и потому началъ толковать о своей отжитой жизни, о дурномъ характерѣ, о томъ, что она другаго полюбитъ впослѣдствіи, и т. д. Впослѣдствіи онъ самъ объясняетъ свой поступокъ тѣмъ, что „замѣтя искру нѣжности въ Татьянѣ, онъ не хотѣлъ ей вѣрить“, и что

Свою постылую свободу  
Онъ потерять не захотѣлъ.

А какими фрезами-то прикрылъ себя, малодушный!



Бельтовъ съ Круциферской, какъ извѣстно, тоже не по-смѣлъ идти до конца и убѣжалъ отъ нея, хотя и по совершенно другимъ соображеніямъ, если ему только вѣрить. Рудинъ—этотъ уже совершенно растерялся, когда Наталья хотѣла отъ него добиться чего-нибудь рѣшительнаго. Онъ ничего болѣе не сумѣлъ, какъ только посовѣтовать ей „покориться“. На другой день онъ остроумно объяснилъ ей въ письмѣ, что ему „было не въ привычку“ имѣть дѣло съ такими женщинами, какъ она. Такимъ же оказывается и Печоринъ, специалистъ по части женскаго сердца, признающійся, что кромѣ женщинъ онъ ничего на свѣтѣ не любилъ, что для нихъ онъ готовъ пожертвовать всѣмъ на свѣтѣ. И онъ признается, что, во-первыхъ, „не любитъ женщинъ съ характеромъ: ихъ ли это дѣло!“ — во-вторыхъ, что онъ никогда не можетъ жениться. „Какъ-бы страстно я не любилъ женщину“, говорятъ онъ, „но если она мнѣ дастъ только почувствовать, что я долженъ на ней жениться — прости любовь. Мое сердце превращается въ камень, и ничто не разогрѣетъ его снова. Я готовъ на всѣ жертвы, кромѣ этой; двадцать разъ жизнь свою, даже честь поставлю на карту, но свободы своей не продамъ. Отчего же я такъ дорожу ею? Что мнѣ въ ней? куда я себя готовлю? чего я жду отъ будущаго? Право, ровно ничего. Это какой-то врожденный страхъ, неизъяснимое предчувствіе“ и т. д. А въ сущности, это — больше ничего, какъ обломовщина.

А Илья Пльичъ развѣ, вы думаете, не имѣетъ въ себѣ, въ свою очередь, печоринскаго и рудинскаго элемента, не говоря объ онѣгинскомъ? Еще какъ имѣетъ-то! Онъ напирмѣръ, подобно Печорину, хочетъ непременно *обладать* женщиной, хочетъ вынудить у нея всяческія жертвы въ доказательство любви. Онъ, видите ли, не надѣялся сначала, что Ольга пойдетъ за него замужъ, и съ робостью предложилъ ей быть его женой. Она ему сказала что-то въ родѣ того, что это давно бы ему слѣдовало сдѣлать. Онъ пришелъ въ смущеніе, ему стало не довольно согласія Ольги, и онъ — что бы вы думали?... онъ началъ — пытаться, столько ли она его любитъ, чтобы быть въ состояніи сдѣлаться его любовницей! И ему стало досадно, когда она сказала, что никогда не пойдетъ по этому пути; но затѣмъ ея объясненіе и страстная сцена успокоили его... А все таки

онъ струсилъ подъ конецъ до того, что даже на глаза Ольгѣ боялся показаться, прикидывался больнымъ, прикрывалъ себя разведеннымъ мостомъ, давалъ понять Ольгѣ, что она его можетъ компрометировать, и т. д. И все отчего? — оттого, что она отъ него потребовала рѣшимости, дѣла, того, что не входило въ его привычки. Женитьба сама по себѣ не страшила его такъ, какъ страшила Печорина и Рудина: у него болѣе патріархальныя были привычки. Но Ольга захотѣла, чтобъ онъ передъ женитьбой устроилъ дѣла по имѣнію; это ужъ была бы жертва, и онъ, конечно, этой жертвы не совершилъ, а явился настоящимъ Обломовымъ. А самъ между тѣмъ очень требователенъ. Онъ сдѣлалъ съ Ольгой такую штуку, какая и Печорину въ пору была бы. Ему вообразилось, что онъ не довольно хорошъ собою и вообще не довольно привлекателенъ для того, чтобы Ольга могла сильно полюбить его. Онъ начинаетъ страдать, не спитъ ночь, наконецъ, вооружается энергіей и строчитъ къ Ольгѣ длинное, рудинское посланіе, въ которомъ повторяетъ извѣстную, третью и перетертую вещь, говоренную и Онѣгинымъ Татьянѣ, и Рудиннымъ Натальѣ, и даже Печориннымъ княжнѣ Мерп: „я, дескать, не такъ созданъ, чтобы вы могли быть со мною счастливы; придетъ время, вы полюбите другого, болѣе достойнаго“.

Смѣнить не разъ младая дѣва  
Мечтами легкія мечты...  
Полюбите вы снова: но...  
Учитесь властвовать собою;  
Не всякій васъ, какъ я, пойметъ...  
Къ бѣдѣ неопытность ведетъ.

Всѣ обломовцы любятъ уничижать себя; но это они дѣлаютъ съ той цѣлью, чтобъ имѣть удовольствіе быть опровергнутыми и услышать себѣ похвалу отъ тѣхъ, предъ кѣмъ они себя ругаютъ. Они довольны своимъ самоуниженіемъ и всѣ похожи на Рудина, о которомъ Пигасовъ выражается: „начнетъ себя бранить, съ грязью себя смѣшаетъ, — ну, думаешь, теперь, теперь на свѣтъ Божій глядѣть не станетъ. Какое! повеселѣетъ даже, словно горькой водкой себя потчивалъ!“ Такъ и Онѣгинъ послѣ ругательствъ на себя рисуется предъ Татьяной своимъ великодушіемъ. Такъ и



Обломовъ, написавши къ Ольгѣ пасквиль на самого себя, чувствовалъ, „что ему ужъ не тяжело, что онъ почти счастливъ“... Письмо свое онъ заключаетъ тѣмъ же правомученіемъ, какъ и Онѣгинъ свою рѣчь: „исторія со мною пусть, говоритъ, послужитъ вамъ руководствомъ въ будущей, нормальной любви“ и пр. Илья Ильичъ, разумѣется, не выдержалъ себя на высотѣ униженія передъ Ольгой: онъ бросился посмотрѣть, какое впечатлѣніе произведетъ на нее письмо, увидѣлъ, что она плачетъ, удовлетворился и — не могъ удержаться, чтобы не предстать передъ ней въ сію критическую минуту. А она доказала ему, какимъ онъ пошлымъ и жалкимъ эгоистомъ явился въ этомъ письмѣ, написанномъ „изъ заботы объ ея счастьи“. Тутъ уже онъ окончательно спасовалъ, какъ дѣлаютъ, впрочемъ, всѣ обломовцы, встрѣчая женщину, которая выше ихъ по характеру и по развитію.

„Однако же, возопіютъ глубокомысленные люди, — въ вашей параллели, несмотря на подборъ видимо одинаковыхъ фактовъ, совсѣмъ нѣтъ смысла. При опредѣленіи характера не столько важны внѣшнія проявленія, сколько побужденія, вслѣдствіе которыхъ то или другое дѣлается человекомъ. А относительно побужденій, какъ же не видѣть неизмѣримой разницы между поведеніемъ Обломова и образомъ дѣйствій Печорина, Рудина и другихъ?... Этотъ все дѣлаетъ по инерціи, потому что ему лѣнь самому съ мѣста двинуться и лѣнь упереться на мѣстѣ, когда его тащатъ; вся его цѣль состоитъ въ томъ, чтобы лишній разъ пальцами не пошевелить. А тѣ страдаютъ жаждою дѣятельности, съ жаромъ за все принимаютъ, ими безпрестанно

Овлаждаетъ безпокойство,  
Охота къ переменѣ мѣстъ

и другіе недуги, признаки сильной души. Если они и не дѣлаютъ ничего истинно-полезнаго, такъ это потому, что не находятъ дѣятельности, соотвѣтствующей своимъ силамъ. Они, по выраженію Печорина, подобны генію, прикованному къ чиновничьему столу и осужденному переписывать бумаги. Они выше окружающей ихъ дѣйствительности и потому имѣютъ право презирать жизнь и людей. Вся ихъ жизнь есть отрицаніе въ смыслѣ реакціи существующему

порядку вещей; а его жизнь есть пассивное подчинение существующимъ уже вліяніямъ, консервативное отвращение отъ всякой переменѣ, совершенный недостатокъ внутренней реакціи въ натурѣ. Можно-ли сравнивать этихъ людей? Рудина ставить на одну доску съ Обломовымъ!... Печорина осуждать на то же ничтожество, въ какомъ погрязаетъ Пльа Пльчъ!... Это совершенное непониманіе, это нелѣпость, это — преступленіе!...

Ахъ, Боже, мой! Въ самомъ дѣлѣ, — мы вѣдь и позабыли, что съ глубокомысленными людьми надо держать ухо востро: какъ разъ выведутъ такіа заключенія, о которыхъ вамъ даже и не снилось. Если вы собираетесь купаться, а глубокомысленный человѣкъ, стоя на берегу со связанными руками, хвастается тѣмъ, что онъ отлично плаваетъ и обѣщаетъ спасти васъ, когда вы станете тонуть, — бойтесь сказать: „да помилуй, любезный другъ, у тебя вѣдь руки связаны; позаботься прежде о томъ, чтобъ развязать себѣ руки“. Бойтесь говорить это, потому что глубокомысленный человѣкъ сейчасъ-же ударится въ амбіцію и скажетъ „а, такъ вы утверждаете, что я не умѣю плавать! Вы хвалите того, кто связалъ мнѣ руки! Вы не сочувствуете людямъ, которые спасаютъ утопающихъ!..“ И такъ далѣе... глубокомысленные люди бываютъ очень краснорѣчивы и обильны на выводы самые неожиданные... Вотъ и теперь: сейчасъ выведутъ заключеніе, что мы Обломова хотѣли поставить выше Печорина и Рудина, что мы хотѣли оправдать его лежанье, что мы не умѣемъ видѣть внутренняго, кореннаго различія между нимъ и прежними героями, и т. д... Поспѣшимъ же объясниться съ глубокомысленными людьми.

Во всемъ, что мы говорили, мы имѣли въ виду болѣе обломовщину, нежели личность Обломова и другихъ героев. Что касается до личности, то мы не могли не видѣть разницы темперамента, напр., у Печорина и Обломова, такъ же точно, какъ не можемъ не найти ее и у Печорина съ Онѣгинымъ, и у Рудина съ Бельтовымъ... Кто же станетъ спорить, что личная разница между людьми существуетъ (хотя, можетъ быть, и далеко не въ той степени и не съ тѣмъ значеніемъ, какъ обыкновенно предполагаютъ). Но дѣло въ томъ, что надъ всѣми этими лицами тяготѣетъ одна и та же обломовщина, которая кладетъ на нихъ неизгла-



димую печать бездѣльничества, дармоѣдства и совершенной ненужности на свѣтѣ. Весьма вѣроятно, что при другихъ условіяхъ жизни, въ другомъ обществѣ, Онѣгинъ былъ-бы истинно-добрымъ малымъ, Печоринъ и Рудинъ дѣлали бы великіе подвиги, а Бельтовъ оказался бы дѣйствительно превосходнымъ человекомъ. Но при другихъ условіяхъ развитія можетъ быть и Обломовъ съ Тентетниковымъ не были бы такими байбаками, и нашли бы себѣ какое нибудь полезное занятіе... Дѣло въ томъ, что теперь-то у нихъ всѣхъ одна общая черта — бесплодное стремленіе къ дѣятельности, сознаніе, что изъ нихъ многое могло бы выйти, но не выйдетъ ничего... Въ этомъ они поразительно сходятся. „Пробѣгаю въ памяти все мое прошедшее, и спрашиваю себя невольно: зачѣмъ я жилъ? для какой цѣли я родился?... А, вѣрно, она существовала и, вѣрно, было мнѣ назначеніе высокое, потому что я чувствую въ душѣ моей силы необъятныя. Но я не угадалъ этого назначенія, я увлекся приманками страстей пустыхъ и неблагодарныхъ; изъ горнила ихъ я вышелъ твердъ и холоденъ, какъ желѣзо, но утратилъ на вѣки пылъ благородныхъ стремленій, — лучшій цвѣтъ жизни“. Это — Печоринъ... А вотъ какъ разсуждаетъ о себѣ Рудинъ. „Да, природа мнѣ много дала; но я умру, не сдѣлавъ ничего достойнаго сплъ моихъ, не оставивъ за собою никакаго благотворнаго слѣда. Все мое богатство пропадетъ даромъ: я не увижу плодовъ отъ сѣмянъ своихъ...“ Пльа Пльичъ тоже не отстаетъ отъ прочихъ: и онъ болѣзненно чувствовалъ, что въ немъ зарыто, какъ въ могилѣ, какое-то хорошее, свѣтлое начало, можетъ быть теперь уже умершее, или лежитъ оно, какъ золото въ нѣдрахъ горы, и давно пора бы этому золоту быть ходячей монетой. Но глубоко и тяжело заваленъ кладъ дрянью, наноснымъ соромъ. Кто-то будто укралъ и закопалъ въ собственной его душѣ принесенныя ему въ даръ міромъ и жизнью сокровища“. Видите — сокровища были зарыты въ его натурѣ, только раскрыть ихъ предъ міромъ онъ никогда не могъ. Другіе братья его, помоложе, „по свѣту рыщутъ

Дѣла себѣ исполинскаго ищутъ,  
Благо наслѣдье богатыхъ отцовъ  
Освободило отъ малыхъ трудовъ...

Обломовъ тоже мечталъ въ молодости „служить, пока станетъ силъ, потому что Россіи нужны руки и головы для разрабатыванія неистощимыхъ источниковъ...“ Да и теперь онъ „не чуждъ всеобщихъ человѣческихъ скорбей, ему доступны наслажденія высокихъ помысловъ“, и хотя онъ не рыщетъ по свѣту за испанскимъ дѣломъ, но все-таки мечтаетъ о всемірной дѣятельности, все-таки съ презрѣніемъ смотритъ на чернорабочихъ и съ жаромъ говоритъ:

Нѣтъ, я души не растрочу моей  
На муравьиной работѣ людей...

А бездѣльничаетъ онъ ничуть не больше, чѣмъ всѣ остальные братья обломовцы; только онъ откровеннѣе, — не старается прикрыть своего бездѣлья даже разговорами въ обществахъ и гуляньемъ по Невскому проспекту.

Но отчего же такая разница впечатлѣній, производимыхъ на насъ Обломовымъ и героями, о которыхъ мы вспоминали выше? Тѣ представляются намъ въ разныхъ родахъ сильными натурами, задавленными неблагопріятной обстановкой, а этотъ — байбакомъ, который и при самыхъ лучшихъ обстоятельствахъ ничего не сдѣлаетъ. Но, во-первыхъ, у Обломова темпераментъ слишкомъ вялый, и потому естественно, что онъ для осуществленія своихъ замысловъ и для отпора враждебныхъ обстоятельствъ употребляетъ еще нѣсколько менѣе попытокъ, нежели сангвиническій Онѣгинъ или желчный Печоринъ. Въ сущности же они всѣ равно несостоятельны предъ силою враждебныхъ обстоятельствъ, всѣ равно погружаются въ ничтожество, когда имъ предстоитъ настоящая, серіозная дѣятельность. Въ чемъ обстоятельства Обломова открывали ему благопріятное поле дѣятельности? У него было имѣнье, которое могъ онъ устроить; былъ другъ, вызывавшій его на практическую дѣятельность; была женщина, которая превосходила его энергіей характера и ясностью взгляда и которая нѣжно полюбила его... Да скажите, у кого же изъ обломовцевъ не было всего этого, и что всѣ они изъ этого сдѣлали? И Онѣгинъ и Тентетниковъ хозяйничали въ своемъ имѣнии, и о Тентетниковѣ мужики даже говорили сначала: „экой востроногій!“ Но вскорѣ тѣ же мужики смекнули, что баринъ, хоть и прытокъ на первыхъ порахъ, но ничего не смыслитъ и толку никакого



не сдѣлаетъ... А дружба? Что они всѣ дѣлаютъ съ своими друзьями? Онѣгинъ убилъ Ленскаго; Печоринъ только все пикируется съ Вернеромъ; Рудинъ умѣлъ оттолкнуть отъ себя Лежнева и не воспользовался дружбой Покорскаго... Да и мало ли людей, подобныхъ Покорскому, встрѣчалось на пути каждого изъ нихъ?... Что же они? Соединились-ли другъ съ другомъ для одного общаго дѣла, образовали ли тѣсный союзъ для обороны отъ враждебныхъ обстоятельствъ? Ничего не было... Все разсыпалось прахомъ, все кончилось той же обломовщиной... О любви нечего и говорить. Каждый изъ обломовцевъ встрѣчалъ женщину выше себя (потому что Круциферская выше Бельтова и даже княжна Мери все-таки выше Печорина), и каждый постыдно бѣжалъ отъ ея любви или добивался того, чтобъ она сама прогнала его... Чѣмъ это объяснить, какъ не давленіемъ на нихъ гнусной обломовщины?

Кромѣ разницы темперамента, большое различіе находится въ самомъ возрастѣ Обломова и другихъ героев. Говоримъ не о лѣтахъ: они почти однолѣтки, Рудинъ даже двумя-тремя годами постарше Обломова; говоримъ о времени ихъ появленія. Обломовъ относится къ позднѣйшему времени, стало быть онъ уже для молодого поколѣнія, для современной жизни, долженъ казаться гораздо старше, чѣмъ казались прежніе обломовцы... Онъ въ университетѣ, какихъ нибудь 17 — 18-ти лѣтъ, прочувствовалъ тѣ стремленія, проникся тѣми идеями, которыми одушевляется Рудинъ въ тридцать пять лѣтъ. За этимъ курсомъ для него было только двѣ дороги: или дѣятельность, настоящая дѣятельность, — не языкомъ а головой, сердцемъ и руками вмѣстѣ, или уже просто лежанье сложа руки. Апатическая натура привела его къ послѣднему: скверно, но, по крайней мѣрѣ, тутъ нѣтъ лжи и обморочиванья. Если-бъ онъ, подобно своимъ братцамъ, пустился толковать во всеуслышаніе о томъ, о чемъ теперь осмѣливается только мечтать, то онъ каждый день испытывалъ бы огорченія, подобныя тѣмъ, какія испыталъ по случаю полученія письма отъ старосты и приглашенія отъ хозяина дома — очистить квартиру. Прежде съ любовью, съ благоговѣніемъ слушали фразеровъ, толкующихъ о необходимости того и другого, о высшихъ стремленіяхъ и т. п. Тогда, можетъ быть, и Обломовъ не прочь былъ бы

поговорить... Но теперь всякаго фразера и прожектера встрѣчаютъ требованіемъ: „а не угодно ли попробовать?“ Этого ужъ обломовцы не въ силахъ снести...

Въ самомъ дѣлѣ, — какъ чувствуется вѣяніе новой жизни, когда, по прочтеніи Обломова, думаешь, что вызвало въ литературѣ этотъ типъ. Нельзя приписать этого единственно личному таланту автора и широтѣ его воззрѣній. И силу таланта и воззрѣнія самыя широкія и гуманныя находимъ мы у авторовъ, произведшихъ прежніе типы, приведенные нами выше. Но дѣло въ томъ, что отъ появленія перваго изъ нихъ, Онѣгина, до сихъ поръ прошло уже тридцать лѣтъ. То, что было тогда въ зародышѣ, что выражалось только въ неясномъ полусловѣ, произнесенномъ шопотомъ, то приняло уже теперь опредѣленную и твердую форму, высказалось открыто и громко. Фраза потеряла свое значеніе, явилась въ самомъ общества потребность настоящаго дѣла. Бельтовъ и Рудинъ, люди съ стремленіями, дѣйствительно высокими и благородными, не только не могли проникнуться необходимостью, но даже не могли представить себѣ близкой возможности страшной, смертельной борьбы съ обстоятельствами, которыя ихъ давили. Они вступали въ дремучій, невѣдомый лѣсъ, шли по топкому, опасному болоту, видѣли подъ ногами разныхъ гадовъ и змѣй, и лѣзли на дерево, — отчасти, чтобъ посмотрѣть, не увидятъ ли гдѣ дороги, отчасти же для того, чтобы отдохнуть и хоть на время избавиться отъ опасности увязнуть или быть ужалеными. Слѣдовавшіе за ними люди ждали, что они скажутъ, и смотрѣли на нихъ съ уваженіемъ, какъ на людей шедшихъ впередъ. Но эти передовые люди ничего не увидѣли съ высоты, на которую взобрались; лѣсъ былъ очень обширенъ и густъ. Между тѣмъ, влѣзая на дерево, они исцарапали себѣ лицо, переранили себѣ ноги, испортили руки... Они страдаютъ, они утомлены, они должны отдохнуть, примогившись какъ нибудь поудобнѣе на деревѣ. Правда, они ничего не дѣлаютъ для общей пользы, они ничего не разглядѣли и не сказали; стоящіе внизу сами, безъ ихъ помощи, должны прорубать и расчищать себѣ дорогу по лѣсу. Но кто же рѣшится бросить камень въ этихъ несчастныхъ, чтобы заставить ихъ упасть съ высоты, на которую они взмоглись съ такими трудами, имѣя въ виду общую пользу?



Имъ сострадаютъ, отъ нихъ даже не требуютъ пока, чтобы они принимали участіе въ расчисткѣ лѣса: на ихъ долю выпало другое дѣло, и они его сдѣлали. Если толку не вышло, — не ихъ вина. Съ этой точки зрѣнія каждый изъ авторовъ могъ прежде смотрѣть на своего обломовскаго героя, и быть правъ. Къ этому присоединялось еще и то, что надежда увидѣть гдѣ-нибудь выходъ изъ лѣсу на дорогу долго держалась во всей ватагѣ путниковъ, равно какъ долго не терялась и увѣренность въ дальнозоркости передовыхъ людей, взобравшихся на дерево. Но вотъ, мало-помалу, дѣло прояснилось и приняло другой оборотъ: передовымъ людямъ понравилось на деревѣ; они разсуждаютъ очень краснорѣчиво о разныхъ путяхъ и средствахъ выбраться изъ болота и изъ лѣсу; они нашли даже на деревѣ кой-какіе плоды и наслаждаются ими, бросая чешуйку внизъ; они зовутъ къ себѣ еще кой-кого, избранныхъ изъ толпы, и тѣ идутъ и остаются на деревѣ, уже и не высматривая дороги, а только пожирая плоды. Это уже Обломовы въ собственномъ смыслѣ... А бѣдные путники, стоящіе внизу, вязнутъ въ болотѣ, ихъ жалятъ змѣи, пугаютъ гады, хлещутъ по лицу сучья... Наконецъ, толпа рѣшается приняться за дѣло и хочетъ воротить тѣхъ, которые позже ползли на дерево, но Обломовы молчатъ и обжираются плодами. Тогда толпа обращается и къ прежнимъ своимъ передовымъ людямъ, прося ихъ спуститься и помочь общей работѣ. Но передовые люди опять повторяютъ прежнія фразы о томъ, что надо высматривать дорогу, а надъ расчисткой трудиться нечего. — Тогда бѣдные путники видятъ свою ошибку и, махнувъ рукой, говорятъ: „э, да вы всѣ Обломовы!“ И затѣмъ начинается дѣятельная, неутомимая работа: рубятъ деревья, дѣлаютъ изъ нихъ мостъ на болотѣ; образуютъ тропинку, бьютъ змѣй и гадовъ, попавшихся на ней, не заботясь болѣе объ умникахъ, объ этихъ сильныхъ натурахъ, Печориныхъ и Рудныхъ, на которыхъ прежде надѣялся, которыми восхищались. Обломовцы сначала спокойно смотрятъ на общее движеніе, но потомъ, по своему обыкновенію, трусятъ и начинаютъ кричать... „Ай, ай — не дѣлайте этого, оставьте, — кричатъ они, видя, что подсѣкается дерево, на которомъ они сидятъ. — Помилуйте, вѣдь мы можемъ убитъся, и вмѣстѣ съ нами погибнуть тѣ

прекрасныя идеи, тѣ высокія чувства, тѣ гуманныя стремленія, то краснорѣчіе, тотъ пафосъ, любовь ко всему прекрасному и благородному, которыя въ насъ всегда жили... Оставьте, оставьте! Что вы дѣлаете?...“ Но путники уже слышали тысячу разъ всѣ эти прекрасныя фразы и, не обращая на нихъ вниманія, продолжаютъ работу. Обломовцамъ еще есть средство спасти себя и свою репутацію: слѣзть съ дерева и приняться за работу вмѣстѣ съ другими. Но они, по обыкновенію, растерялись и не знаютъ, что имъ дѣлать... „Какъ же это такъ вдругъ?“ повторяютъ они въ отчаяніи и продолжаютъ посылать безплодныя проклятія глупой толпѣ, потерявшей къ нимъ уваженіе.

А вѣдь толпа права! Если ужъ она сознала необходимость настоящаго дѣла, такъ для нея совершенно все равно, — Печоринъ ли передъ ней, или Обломовъ. Мы не говоримъ опять, чтобы Печоринъ въ данныхъ обстоятельствахъ сталъ дѣйствовать именно такъ, какъ Обломовъ; онъ могъ самыми этими обстоятельствами развиться въ другую сторону. Но типы, созданные сильнымъ талантомъ, долговѣчны: и нынѣ живутъ люди, представляющіе какъ будто сколокъ съ Онѣгина, Печорина, Рудина, и пр., и не въ томъ видѣ, какъ они могли бы развиться при другихъ обстоятельствахъ, а именно въ томъ, въ какомъ они представлены Пушкинымъ, Лермонтовымъ, Тургеневымъ. Только въ общественномъ сознаніи всѣ они болѣе и болѣе превращаются въ Обломова. Нельзя сказать, чтобы превращеніе это уже совершилось: нѣтъ, еще и теперь тысячи людей проводятъ время въ разговорахъ и тысячи другихъ людей готовы принять разговоры за дѣла. Но что превращеніе это начинается — доказываетъ типъ Обломова, созданный Гончаровымъ. Появленіе его было бы невозможно, если бы хотя въ нѣкоторой части общества не созрѣло сознаніе о томъ, какъ ничтожны всѣ эти quasi-талантливыя натуры, которыми прежде восхищались. Прежде онѣ прикрывались разными мантиями, украшали себя разными прическами, привлекали къ себѣ разными талантами. Но теперь Обломовъ является предъ нами разоблаченный, какъ онъ есть, молчаливый, сведенный съ красиваго пьедестала на мягкій диванъ, прикрытый вмѣсто мантии только просторнымъ халатомъ. Вопросъ: что онъ дѣлаетъ? въ чемъ смыслъ и цѣль его жизни? — поставленъ прямо и ясно, не



забить никакими побочными вопросами. Это потому, что теперь уже настало, или настает неотлагательно время работы общественной... И вот почему мы сказали въ началѣ статьи, что видимъ въ романѣ Гончарова *знаменіе времени*.

Посмотрите, въ самомъ дѣлѣ, какъ пзмѣнилась точка зрѣнія на образованныхъ и хорошо разсуждающихъ лежебоковъ, которыхъ прежде принимали за настоящихъ общественныхъ дѣятелей.

Вотъ передъ вами молодой человѣкъ, очень красивый, ловкій, образованный. Онъ выѣзжаетъ въ большой свѣтъ и имѣетъ тамъ успѣхъ; онъ ѣздитъ въ театры, балы и маскарады; онъ отлично одѣвается и обѣдаетъ; читаетъ книжки и пишетъ очень грамотно... Сердце его волнуется только ежедневностью свѣтской жизни, но онъ имѣетъ понятіе и о высшихъ вопросахъ. Онъ любитъ потолковать о страстяхъ,

О предразсудкахъ вѣковыхъ,  
И гроба тайнахъ роковыхъ...

Онъ имѣетъ нѣкоторыя честныя правила: способенъ

Яремъ отъ барщины старинной  
Оброкомъ легкимъ замѣнить;

способенъ иногда не воспользоваться неопытностью дѣвушки, которую не любитъ; способенъ не придавать особенной цѣны своимъ свѣтскимъ успѣхамъ. Онъ выше окружающаго его свѣтскаго общества настолько, что дошелъ до сознанія его пустоты; онъ можетъ даже оставить свѣтъ и переѣхать въ деревню, но только и тамъ скучать, не зная, какое найти себѣ дѣло... Отъ нечего дѣлать онъ ссорится съ другомъ своимъ и по легкомыслію убиваетъ его на дуэли... Черезъ нѣсколько лѣтъ опять возвращается въ свѣтъ и влюбляется въ женщину, любовь которой самъ прежде отвергъ, потому что для нея нужно было бы ему отказаться отъ своей бродяжнической свободы... Вы узнаете въ этомъ человѣкѣ Онѣгина. Но всмотритесь хорошенько; это — Обломовъ...

Передъ вами другой человѣкъ, съ болѣе страстной душой, съ болѣе широкимъ самолюбіемъ. Этотъ имѣетъ въ себѣ какъ будто отъ природы все то, что для Онѣгина соста-

вляеть предметъ заботъ. Онъ не хлопочеть о туалетѣ и нарядѣ: онъ свѣтскій человѣкъ и безъ этого. Ему не нужно подбирать слова и блистать мишурнымъ знаніемъ: и безъ этого языкъ у него какъ бритва. Онъ дѣйствительно презираеть людей, хорошо понимая ихъ слабости; онъ дѣйствительно умѣеть овладѣть сердцемъ женщины, не на краткое мгновеніе, а надолго, нерѣдко навсегда. Все, что встрѣчается ему на дорогѣ, онъ умѣеть отстранить или уничтожить. Одно только несчастье: онъ не знаетъ, куда идти. Сердце его пусто и холодно ко всему. Онъ все испыталъ, и ему еще въ юности опротивѣли всѣ удовольствія, которыя можно достать за деньги; любовь свѣтскихъ красавицъ тоже опротивѣла ему, потому что ничего не давала сердцу; науки тоже надоѣли, потому что онъ увидѣлъ, что отъ нихъ не зависитъ ни слава ни счастье; самые счастливые люди — невѣжды, а слава — удача; военныя опасности тоже ему скоро наскучили, потому что онъ не видѣлъ въ нихъ смысла и скоро привыкъ къ нимъ. Наконецъ, даже простосердечная, чистая любовь дикой дѣвушки, которая ему самому нравится, тоже надоѣдаетъ ему: онъ и въ ней не находитъ удовлетворенія своихъ порывовъ. Но что же это за порывы? куда влекутъ они? отчего онъ не отдается имъ всей силой души своей? Оттого, что онъ самъ ихъ не понимаетъ и не даетъ себѣ труда подумать о томъ, куда дѣвать свою душевную силу; и вотъ онъ проводитъ свою жизнь въ томъ, что острить надъ глупцами, тревожить сердца неопытныхъ барышень, мѣшается въ чужія сердечныя дѣла, напрашивается на ссоры, выказываетъ отвагу въ пустякахъ, дерется безъ надобности... Вы припоминаете, что это исторія Печорина, что отчасти почти такими словами самъ онъ объясняетъ свой характеръ Максиму Максимычу... Всмотритесь, пожалуйста, получше: вы и тутъ увидите того же Обломова...

Но вотъ еще человѣкъ, болѣе сознательно идущій по своей дорогѣ. Онъ не только понимаетъ, что ему дано много силъ, но знаетъ и то, что у него есть великая цѣль... Подозрѣваетъ, кажется, даже и то, какая это цѣль и гдѣ она находится. Онъ благороденъ, честенъ (хотя часто и не платитъ долговъ); съ жаромъ разсуждаетъ не о пустякахъ, а о высшихъ вопросахъ; увѣряетъ, что готовъ пожертво-



вать собою для блага человечества. Въ головѣ его рѣшены всѣ вопросы, все приведено въ живую, стройную связь, онъ увлекаетъ своимъ могучимъ словомъ неопытныхъ юношей, такъ что послушавъ его, и они чувствуютъ, что призваны къ чему-то великому... Но въ чемъ проходитъ его жизнь? Въ томъ, что онъ все начинаетъ и не оканчиваетъ, разбрасывается во всѣ стороны, всему отдается съ жадностью и — не можетъ отдаться... Онъ влюбляется въ дѣвушку, которая, наконецъ, говоритъ ему, что несмотря на запрещеніе матери, она готова принадлежать ему; а онъ отвѣчаетъ: „Боже! такъ ваша маменька не согласна! какой внезапный ударъ! Боже! какъ скоро... Дѣлать нечего, — надо покориться“... И въ этомъ точный образецъ всей его жизни... Вы уже знаете, что это Рудинъ... И вѣтъ, теперь ужъ и это Обломовъ. Когда вы хорошенько всмотритесь въ эту личность и поставите ее лицомъ къ лицу съ требованіями современной жизни, — вы сами въ этомъ убѣдитесь.

Общее у всѣхъ этихъ людей то, что въ жизни нѣтъ имъ дѣла, которое бы для нихъ было жизненной необходимостью, сердечной святыней, религіей, которое бы органически сплослось съ ними, такъ что отнять его у нихъ, значило бы лишитъ ихъ жизни. Все у нихъ внѣшнее, ничто не имѣетъ корня въ ихъ натурѣ. Они, пожалуй, и дѣлаютъ что-то такое, когда принуждаетъ внѣшняя необходимость, такъ какъ Обломовъ ѣздилъ въ гости, куда тащилъ его Штольцъ, покупалъ ноты и книги для Ольги, читалъ то, что она заставляла его читать. Но душа ихъ не лежитъ къ тому дѣлу, которое наложено на нихъ случаемъ. Если бы каждому изъ нихъ даромъ предложили всѣ внѣшнія выгоды, какія имъ доставляются ихъ работой, они бы съ радостью отказались отъ своего дѣла. Въ силу обломовщины, обломовскій чиновникъ не станетъ ходить въ должность, если ему и безъ того сохранять его жалованье и будутъ производить въ чины. Воинъ дастъ клятву не прикасаться къ оружію, если ему предложатъ тѣ же условія, да еще сохранять его красивую форму, очень полезную въ извѣстныхъ случаяхъ. Профессоръ перестанетъ читать лекціи, студентъ перестанетъ учиться, писатель броситъ авторство, актеръ не покажется на сцену, артистъ изломаетъ рѣзецъ и палитру,

говоря высокимъ слогомъ, если найдетъ возможность даромъ получить все, чего теперь добывается трудомъ. Они только говорятъ о высшихъ стремленіяхъ, о сознаніи нравственнаго долга, о пропикновеніи общими интересами, а на повѣрку выходятъ, что все это — слова и слова. Самое искреннее, задушевное ихъ стремленіе есть стремленіе къ покою, къ халату, и самая дѣятельность ихъ есть не что иное, какъ почетный халатъ (по выраженію, не намъ принадлежащему), которымъ прикрываютъ они свою пустоту и апатію. Даже наиболѣе образованные люди, притомъ люди съ живою натурою, съ теплымъ сердцемъ, чрезвычайно легко отступаются въ практической жизни отъ своихъ идей и плановъ, чрезвычайно скоро мирятся съ окружающею дѣйствительностью, которую, однако, на словахъ не перестаютъ считать пошлою и гадкою. Это значить, что все, о чемъ они говорятъ и мечтаютъ, — у нихъ чужое, наносное; въ глубинѣ же души ихъ коренится одна мечта, одинъ идеаль — возможно-невозмутимый покой, квіетизмъ, обломовщина. Многие доходятъ даже до того, что не могутъ представить себѣ, чтобъ человѣкъ могъ работать по охотѣ, по увлеченію. Прочтите-ка въ „Экономическомъ указателѣ“ разсужденія о томъ, какъ всѣ умрутъ голодною смертію отъ бездѣлья, ежели равномерное распредѣленіе богатства отниметъ у частныхъ людей побужденіе стремиться къ наживанію себѣ капиталовъ...

Да, всѣ эти обломовцы никогда не перерабатывали въ плоть и въ кровь свою тѣхъ началъ, которыя имъ внушили, никогда не проводили ихъ до послѣднихъ выводовъ, не доходили до той грани, гдѣ слово становится дѣломъ, гдѣ принципъ сливается съ внутренней потребностью души, исчезаетъ въ ней и дѣлается единственною силою, двигающею человѣкомъ. Потому-то эти люди и лгутъ безпрестанно, потому-то они и являются такъ несостоятельными въ частныхъ фактахъ своей дѣятельности. Потому-то и дороже для нихъ отвлеченныя воззрѣнія, чѣмъ живые факты, важнѣе общіе принципы, чѣмъ живая жизненная правда. Они читаютъ полезныя книги для того, чтобы знать, что пишется; пишутъ благородныя статьи затѣмъ, чтобы любоваться логическимъ построеніемъ своей рѣчи; говорятъ смѣлыя вещи, чтобы прислушиваться къ благозвучію своихъ фразъ и воз-



буждать ими похвалы слушателей. Но что далѣе, какая цѣль всего этого чтанья, писанья, говоренья, — они или вовсе не хотятъ знать, или не слишкомъ объ этомъ беспокоятся. Они постоянно говорятъ вамъ: вотъ что мы знаемъ, вотъ что мы думаемъ, а впрочемъ — какъ тамъ хотятъ, наше дѣло сторона .. Пока не было работы въ виду, можно было еще надувать этимъ публику, можно было тщеславиться тѣмъ, что мы вотъ, дескать, все-таки хлопочемъ, ходимъ, говоримъ, рассказываемъ. На этомъ и основанъ былъ въ обществѣ успѣхъ людей, подобныхъ Рудину. Даже больше — можно было заняться кутежомъ, интрижками, каламбурами, театральствомъ, — и увѣрять, что это мы пустились, молъ, оттого, что нѣтъ простора для болѣе широкой дѣятельности. Тогда и Печоринъ, и даже Онѣгинъ долженъ былъ казаться натурою съ необъятными силами души. Но теперь ужъ всѣ эти герои отодвинулись на второй планъ, потеряли прежнее значеніе, перестали сбивать насъ съ толку своей загадочностью и таинственнымъ разладомъ между ними и обществомъ, между великими ихъ силами и ничтожностью дѣлъ ихъ.

Теперь загадка разъяснилась,  
Теперь имъ слово найдено.

Слово это — *обломовщина*.

Если я вижу помѣщика, толкующаго о правахъ человечества и о необходимости развитія личности, — я уже съ первыхъ словъ его знаю, что это Обломовъ.

Если я встрѣчаю чиновника, жалующагося на запутанность и обременительность дѣлопроизводства, онъ — Обломовъ.

Если слышу отъ офицера жалобы на утомительность парадовъ и смѣлыя разсужденія о бесполезности *тихаго шага* и т. п., я не сомнѣваюсь, что онъ Обломовъ.

Когда я читаю въ журналахъ либеральныя выходки противъ злоупотребленій и радость о томъ, что, наконецъ, сдѣлано то, чего мы давно надѣялись и желали, — я думаю, что это все пишутъ изъ Обломовки.

Когда я нахожусь въ кружкѣ образованныхъ людей, горячо сочувствующихъ нуждамъ человечества и въ теченіе многихъ лѣтъ съ неуменшающимся жаромъ рассказывающихъ все тѣ же самые (а иногда новыя) анекдоты о взя-

точникахъ, о притѣсненіяхъ, о беззаконіяхъ всякаго рода, — я невольно чувствую, что я перенесенъ въ старую Обломовку...

Остановите этихъ людей въ ихъ шумномъ разглагольствіи и скажите: „вы говорите, что не хорошо то и то; что же нужно дѣлать?“ Они не знаютъ... Предложите имъ самое простое средство, — они скажутъ: „да какъ же это такъ вдругъ?“ Непремѣнно скажутъ, потому что Обломы пначе отвѣчать не могутъ... Продолжайте разговоръ съ ними и спросите: что же вы намѣрены дѣлать? — Они вамъ отвѣтятъ тѣмъ, чѣмъ Рудинъ отвѣтилъ Натальѣ: „Что дѣлать? Разумѣется, покориться судьбѣ. Что же дѣлать! Я слишкомъ хорошо знаю, какъ это горько, тяжело, невыносимо, но посудите сами“... и пр. Больше отъ нихъ вы ничего не дождетесь, потому что на всѣхъ ихъ лежитъ печать обломовщины.

Кто же, наконецъ, сдвинетъ ихъ съ мѣста этимъ всемогущимъ словомъ: „впередъ!“, о которомъ такъ мечталъ Гоголь и котораго такъ давно и томительно ожидаетъ Русь? До сихъ поръ нѣтъ отвѣта на этотъ вопросъ ни въ обществѣ ни въ литературѣ. Гончаровъ, умѣвшій понять и показать намъ нашу обломовщину, не могъ, однако, не заплатить дань общему заблужденію, до сихъ поръ столь сильному въ нашемъ обществѣ: онъ рѣшился похоронить обломовщину и сказать ей похвальное надгробное слово. Прощай, старая Обломовка, ты отжила свой вѣкъ“, говоритъ онъ устами Штольца, и говоритъ неправду. Вся Россія, которая прочтала или читаетъ Обломова, не согласится съ этимъ. Нѣтъ, Обломовка есть наша прямая родина, ея владѣльцы — наши воспитатели, ея триста Захаровъ всегда готовы къ нашимъ услугамъ. Въ каждомъ изъ насъ сидитъ значительная часть Обломова, и еще рано писать намъ надгробное слово. Не за что говорить объ насъ съ Ильею Ильичемъ слѣдующія строки:

„Въ немъ было то, что дороже всякаго ума: честное, вѣрное сердце! Это его природное золото; онъ невредимо пронесъ его сквозь жизнь. Онъ падалъ отъ толчковъ, охлаждался, заснулъ, наконецъ, убитый, разочарованный, потерявъ силу жить, но не потерялъ честности и вѣрности. Ни одной фальшивой ноты не издавало его сердце, не пристаю къ нему грязи. Не обольститъ его



никакая нарядная ложь и ничто не совлечетъ на фальшивый путь; пусть волнуется около него цѣлый океанъ дряни, зла; пусть весь міръ отравится ядомъ и пойдетъ наизуворотъ, — никогда Обломовъ не поклонится идолу лжи, въ душѣ его всегда будетъ чисто, свѣтло, честно... Это хрустальная, прозрачная душа; такихъ людей мало; это перлы въ толпѣ! Его сердца не подкупишь ничѣмъ; на него всюду и вездѣ можно положиться“.

Распространяться объ этомъ пассажѣ мы не станемъ; но каждый изъ читателей замѣтитъ, что въ немъ заключена большая неправда. Одно въ Обломовѣ хорошо, дѣйствительно: то, что онъ не усиливался надувать другихъ, а ужъ такъ и являлся въ натурѣ — лежебокомъ. Но, помилуйте, въ чемъ же на него можно положиться? Развѣ въ томъ, гдѣ ничего дѣлать не нужно? Тутъ онъ, дѣйствительно, отличится такъ, какъ никто. Но ничего-то не дѣлать и безъ него можно. Онъ не поклонится идолу зла! Да вѣдь почему это? Потому, что ему лѣнь встать съ дивана. А стащите его, поставьте на колѣни передъ этимъ идоломъ: онъ не въ силахъ будетъ встать. Не подкупишь его ничѣмъ! Да на что его подкупать-то? На то, чтобы съ мѣста сдвинулся? Ну, это дѣйствительно трудно. Грязь къ нему не приста-нетъ! Да, пока лежитъ одинъ, такъ еще ничего; а какъ придетъ Тарантьевъ, Затертый, Иванъ Матвѣичъ — брр! какая отвратительная гадость начинается около Обломова. Его обѣ-ѣдаютъ, опиваютъ, спаваютъ, берутъ съ него фальшивый вексель (отъ котораго Штольцъ нѣсколько безцеремонно, по русскимъ обычаямъ, безъ суда и слѣдствія избавляетъ его), разоряетъ его именемъ мужиковъ, дерутъ съ него немилосердные деньги ни за что ни про что. Онъ все это терпитъ безмолвно и потому, разумѣется, не издаетъ ни одного фальшиваго звука.

Нѣтъ, нельзя такъ льстить живымъ, а мы еще живы, мы еще по-прежнему Обломовы. Обломовщина никогда не остав-ляла насъ и не оставила даже теперь, — *въ настоящее время, когда и пр.* Кто изъ нашихъ литераторовъ, публицистовъ, людей образованныхъ, общественныхъ дѣятелей, кто не согласится, что, должно быть, его-то именно и имѣлъ въ виду Гончаровъ, когда писалъ объ Ильѣ Ильичѣ слѣдующія строки:

„Ему доступны были наслажденія высокихъ помысловъ; онъ не чуждъ былъ всеобщихъ человѣческихъ скорбей. Онъ горько въ глу-

бниѣ души плакалъ въ ную пору надъ бѣдствіями человѣчества, испытывалъ безвѣстныя, безыменныя страданія, и тоску, и стремленія куда-то вдаль, туда, вѣроятно, въ тотъ міръ, куда увлекалъ его, бывало, Штольцъ. Сладкія слезы потекутъ по щекамъ его. Случается и то, что онъ исполнится презрѣнія къ людскому пороку, ко лжи, къ клеветѣ, къ разлитому въ міръ злу, и разгорится желаніемъ указать человѣку на его язвы, и вдругъ загораются въ немъ мысли, ходятъ и гуляютъ въ головѣ, какъ волны въ морѣ, потомъ вырастаютъ въ намѣреніи, зажгутъ всю кровь въ немъ, задвигаются мускулы его, напрягутся жилы, намѣренія преобразуются въ стремленіи: онъ, движимый нравственною силою, въ одну минуту быстро измѣнитъ двѣ-три позы, съ блистающими глазами привстанетъ до половины на постели, протянетъ руку и вдохновенно озирается кругомъ... Вотъ, вотъ стремленіе осуществится, обратится въ подвигъ... и тогда, Господи! какихъ чудесъ, какихъ благихъ послѣдствій могли-бы ожидать отъ такого высокаго усилія! Но, смотришь, промелькнетъ утро, день уже клонится къ вечеру, а съ нимъ клонятся къ покою и утомленные силы Обломова: бури и волненія смирятся въ душѣ, голова отрезвляется отъ думъ, кровь медленнѣе пробирается по жиламъ. Обломовъ тихо, задумчиво переворачивается на спину и, устремивъ печальный взглядъ въ окно къ небу, съ грустью провожаетъ глазами солнце, великолѣпно садящееся за чей-то четырехъ-этажный домъ. И сколько, сколько разъ онъ провожалъ такъ солнечный закатъ!"

Не правда ли, образованный и благородно-мыслящій читатель, — вѣдь тутъ вѣрное изображеніе вашихъ благихъ стремленій и вашей полезной дѣятельности? Разница можетъ быть только въ томъ, до какого момента вы доходите въ вашемъ развитіи. Илья Ильичъ доходилъ до того, что привставалъ съ постели, протягивалъ руку и озирался вокругъ. Иные такъ далеко не заходятъ; у нихъ только мысли гуляютъ въ головѣ, какъ волны на морѣ (такихъ большая часть); у другихъ мысли вырастаютъ въ намѣренія, но не доходятъ до степени стремленій (такихъ меньше); у третьихъ даже стремленія являются (этихъ ужъ совсѣмъ мало)...

Итакъ, слѣдуя направленію настоящаго времени, когда вся литература, по выраженію г. Бенедиктова представляеть

... нашей плоти истязанье,  
Вериги въ прозѣ и стихахъ, —

мы смиренно сознаемся, что какъ ни лестны для нашего самолюбія похвалы г. Гончарова Обломову, но мы не мо-



жемъ признать ихъ справедливыми. Обломовъ менѣе раздражаетъ свѣжаго, молодого, дѣятельнаго человѣка, нежели Печоринъ и Рудинъ, но все-таки онъ противенъ въ своей ничтожности.

*Добролюбовъ.*

### „Обломовъ“ и его критики.

Болѣе 10-ти лѣтъ отдѣляютъ „Обломова“ отъ „Обыкновенной исторіи“, а между тѣмъ въ содержаніи обоихъ романовъ замѣчается нѣкоторое соотвѣтствіе. Съ другой стороны, и въ отношеніяхъ къ обоимъ произведеніямъ нашей критики оказывается много общаго.

„Обыкновенная исторія“ была встрѣчена обстоятельной и вполне справедливой критикой Бѣлинскаго. Затѣмъ значительно позже, стали появляться критики другого рода, въ которыхъ высказывались взгляды на это произведеніе уже совершенно предвзятые, высказывалось недовольство самимъ авторомъ, которому страннымъ образомъ приписывалось сочувствіе его дѣйствующимъ лицамъ.

Подобныя воззрѣнія критики составляютъ въ своемъ родѣ замѣчательное явленіе; они доказываютъ только, что „натуральная школа“ своей жизненной правдой производила настоящее свое дѣйствіе. Видя передъ собой живыхъ, людей, стали сторониться отъ этихъ людей, отъ ихъ нравственной неудовлетворительности, ихъ пошлости, той пошлости, которая скрывалась подъ ихъ идеализмомъ, и Гончаровъ имѣлъ полное право напомнить своимъ позднѣйшимъ критикамъ, по примѣру Гоголя, народную пословицу: „на зеркало нечего пенять“...

Но я указалъ, что въ настоящее время „Обыкновенная исторія“ уже не можетъ служить намъ зеркаломъ, потому что романъ этотъ отражаетъ уже пережитую нами эпоху. Едва ли мы можемъ сказать то же самое объ „Обломовѣ“. Едва ли совершенно перевелось въ нашей жизни то, что называется, со словъ Штольца, „Обломовщиной“?

Когда появился романъ, многіе стали узнавать въ немъ знакомыя черты; поднялись со всѣхъ сторонъ толки о на-

шей „Обломовщина“, и краснорѣчивымъ истолкователемъ этихъ толковъ явился тотъ даровитый критикъ, который замѣнилъ собою Бѣлинскаго, но замѣнилъ, къ сожалѣнію, не на-долго. Появилась въ высшей степени доказательная, справедливая, добросовѣстная критика „Обломова“, принадлежащая Добролюбову. Къ сожалѣнію, позже стали появляться другія критики, настолько же несправедливы были нѣкоторыя критики относительно „Обыкновенной Исторіи“.

Добролюбовъ въ своей блистательной статьѣ уяснилъ, что Обломовъ Гончарова — лицо вовсе не отвлеченное, лицо непосредственно принадлежащее нашей русской жизни, самымъ непосредственнымъ образомъ съ нею связанное. Онъ положительно выяснилъ въ своей мастерской статьѣ, какимъ образомъ подъ вліяніемъ барскаго воспитанія возникали и еще долго будутъ возникать Обломовы. Можетъ быть онъ съ недостаточной подробностью рассмотрѣлъ знаменитый „Сонъ Обломова“, составляющій одинъ изъ перловъ нашей литературы, — сонъ, въ которомъ Обломову рисуется его дѣтство, его Обломовка, этотъ мирный уголокъ, представляющій нѣчто въ родѣ сказочнаго „соннаго царства“. Замѣчу также, что съ другой стороны, тому барскому воспитанію, которое раскрывается въ „Снѣ Обломова“, можно бы было противопоставить многія черты изъ дѣтства простыхъ людей, рисуемая Тургеневымъ въ „Бѣжиномъ Лугѣ“. Крестьянскія дѣти, выведенныя въ этомъ произведеніи, лишены всякаго воспитанія, т.-е. всякаго ухода за ними; но зато, предоставленныя самимъ себѣ, они рано дѣлаются самостоятельными, рано проявляютъ дѣятельность, на которую вызываетъ ихъ сама жизнь. Потребность помогать родителямъ, пасти стадо и при этомъ не бояться звѣрей, дѣлаетъ ихъ преждевременно взрослыми; трудовая доля, въ которую втянуты они съ самаго дѣтства, не даетъ молодымъ ихъ силамъ оставаться праздными, — и вотъ это-то и составляетъ для нихъ ту естественную воспитательную силу, воздѣйствія которой лишены дѣти, выросшія въ барствѣ. Широко понимая Обломова и объясняя его какъ произведеніе нашей барской среды, Добролюбовъ видѣлъ „Обломовщину“ и во многихъ другихъ типахъ нашей литературы; онъ видѣлъ Обломова не только въ Гоголевскомъ Тентетниковѣ, который дѣйствительно можетъ быть при-



знанъ прямымъ родоначальникомъ Ильи Ильича, онъ видѣлъ Обломова и въ такихъ типахъ, которые съ перваго взгляда вовсе на него не похожи, въ типахъ такихъ людей, которые, много толкуя о дѣлѣ, прямо считаютъ себя дѣльцами, но въ сущности мало, или совсѣмъ ничего не дѣлають. Какъ извѣстно, Добролюбовъ, находилъ „Обломовщину“ и въ Тургеневскомъ „Рудинѣ“, и въ „Герое нашего времени“ Лермонтова, и даже въ Пушкинскомъ „Онѣгинѣ“. Добролюбовъ понималъ „Обломовщину“ какъ жизнь въ всякихъ связяхъ съ обществомъ, какъ исключительное погруженіе въ самого себя, при чисто-мечтательномъ, праздномъ сочувствіи общественнымъ интересамъ.

Если понимать обломовщину такимъ образомъ, то зачатки ея представляетъ у самого Гончарова Александръ Адуевъ, точно такъ же, какъ Петръ Ивановичъ Адуевъ, дядюшка „Обыкновенной исторіи“, представляетъ немало общаго со Штольцемъ. Воспитаніе Александра Адуева и воспитаніе Обломова весьма сходно; оно связываетъ ихъ обоихъ, дѣтей XIX столѣтія, съ Фонвизинскимъ Митрофанушкой. Далѣе, однакоже, оба они слушали курсъ наукъ въ университетѣ. Но я замѣтилъ уже, что наша литература выставила не мало людей, не вынесшихъ почти ничего изъ университетскаго курса.

Въ „Обломовѣ“ Гончаровъ подробно говоритъ объ этомъ обстоятельстве и довольно ясно истолковываетъ его. По выходѣ Обломова изъ университета, „голова его представляла сложный архивъ мертвыхъ дѣлъ, лицъ, эпохъ, цифръ, религій, ничѣмъ не связанныхъ, политико-экономическихъ, математическихъ или другихъ истинъ, задачъ, положеній... у него между наукой и жизнью лежала цѣлая бездна, которой онъ не пытался перейти. Жизнь у него была сама по себѣ, а наука сама по себѣ“.

Эта схоластическая мертвенность нашей университетской науки объясняется тѣмъ, что она долго оставалась у насъ только прививною — естественное неудобство нашей запоздалой образованности. Намъ приходилось на скорую руку только переносить къ себѣ готовое, усиленно повторять чужіе зады, прежде чѣмъ удалось, наконецъ, начать и самостоятельную работу. Весьма медленно становилась наша наука въ уровень съ требованіями нашей жизни,

весьма неподатливо откликалась она на нихъ въ лицѣ нѣ-  
которыхъ своихъ представителей, которымъ и доставалось же  
за то отъ схоластиковъ: „помилуйте, да это вѣдь не  
наука; вы этимъ испортите молодежь“ и т. п., тогда какъ,  
на самомъ дѣлѣ, эта такъ-называемая „порча молодежи“  
могла только помѣшать ей окончательно погрузиться въ ту  
или другую „Обломовщину“.

Герой второго романа Гончарова, конечно, вынесъ изъ  
университетскихъ стѣнъ уже значительно болѣе, чѣмъ Але-  
ксандръ Адуевъ. Онъ вынесъ изъ нихъ довольно ясное пони-  
маніе того, что должно называть настоящимъ „дѣломъ“ и  
что „бездѣльемъ“, только скрывающимся подъ личиною  
дѣла. Обломовъ въ своемъ сужденіи о другихъ высказы-  
ваетъ весьма свѣтлые взгляды. Онъ не видитъ, напр., на-  
стоящаго дѣла въ простомъ составленіи себѣ карьеры, онъ  
не видитъ настоящаго дѣла и въ литературномъ подбѣра-  
ніи мелкаго житейскаго сора, въ ожесточенномъ ратованіи  
*противъ пустяковъ*, въ томъ, что позднѣйшимъ сатирикомъ  
названо было „литературнымъ тѣлеснимательствомъ“. Въ  
Обломовѣ есть желаніе дѣятельности, но дѣятельности не  
механической, а самостоятельной, творческой, только эта  
творческая дѣятельность проявляется у него въ *мечтахъ*:  
онъ много создаетъ, лежа у себя на постели. Обломовъ  
способенъ отдавать справедливость чужому труду, но, на  
бѣду, труда въ настоящемъ смыслѣ онъ не замѣчаетъ во-  
кругъ себя. А трудъ просто ради труда, безъ всякой другой,  
вышей цѣли, ему непонятенъ; поэтому онъ готовъ бы, по-  
жалуй, хотя и не рѣшается этого высказать, видѣть своего  
рода бездѣлье и въ трудолюбіи Штольца. Но сознаніе важ-  
ности и цѣнности настоящаго труда такъ и остается въ немъ  
только *сознаніемъ*; онъ слишкомъ тяжелъ на подъемъ, для  
того чтобы, приглядѣвшись къ явленіямъ жизни, высмотрѣть  
себѣ практическую цѣль и начать для нея трудиться. Какъ  
по своему свѣтлому уму, ясно понимающему наше *дѣловое*  
*бездѣлье*, такъ и по барской неразвитости въ немъ самомъ  
*силы воли*, необходимой для настоящаго труда, Обломовъ  
самымъ непосредственнымъ образомъ связанъ съ русскою  
жизнью. Если-же связь эта и могла-бы быть еще болѣе  
выяснена, то только при окончательномъ устраненіи тѣхъ  
условіи нашей литературной дѣятельности, о которыхъ гово-



рять Тургеневъ въ поэмѣ своей „Разговоръ“. Нельзя не удивляться послѣ этой самой возможности появленія критической статьи Писарева, въ которой утверждалось будто-бы „Обломовщина“ оказывается у Гончарова не явленіемъ общественнымъ, а простымъ результатомъ темперамента, несчастнаго тѣлосложенія героя романа.

Писаревъ, какъ извѣстно, дошелъ въ своей критикѣ до того, что усмотрѣлъ въ Обломовѣ какую то „клевету на русскую жизнь“; но вѣдь это нѣсколько отзывается тѣмъ направленіемъ, которое и въ Гоголевскихъ типахъ усматривало клевету!.. Вмѣстѣ съ тѣмъ Писаревъ какъ-будто обидѣлся нѣмецкимъ происхожденіемъ Штольца; по крайней мѣрѣ онъ вложилъ въ уста Гончарову слѣдующую обидную для насъ мораль: „Россіяне, всѣ вы спите... всѣ вы до такой степени одурѣли отъ сна... что мнѣ, романисту, приходится, въ укоръ вамъ, брать своего положительнаго героя изъ нѣмцевъ, подобно тому, какъ предки ваши, новгородскіе славяне, изъ нѣмцевъ призвали себѣ великаго князя, собирателя Русской земли“. „И Россіяне, продолжаетъ уже самъ критикъ, съ свойственною имъ однимъ добродушною наивностью, умиляются надъ гениальнымъ произведеніемъ своего романиста, всматриваются въ утрированную до-нельзя фигуру Обломова и восклицаютъ съ добродѣтельнымъ раскаяніемъ: „да, да, вотъ наша язва“, и т. д. Но Писаревъ правъ въ одномъ: Гончаровъ дѣйствительно видитъ образцовую личность въ Штольцѣ; въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія. Чтобы онъ сочувствовалъ Петру Ивановичу Адуеву, на это, какъ мы видѣли, нѣтъ доказательствъ, но въ Штольцѣ онъ хотѣлъ выставить нѣчто въ родѣ идеала; онъ хотѣлъ представить въ немъ сочетаніе дѣловаго направленія съ тою сердечною теплотою, съ тѣми поэтическими наклонностями, которыхъ почти нѣтъ у Петра Ивановича; но это, надо признаться, вовсе не удалось нашему романисту.

Гончаровъ, очевидно, думалъ представить въ Штольцѣ гармоническое сліяніе двухъ стихій — нѣмецкой практичности съ русской „широкой натурой“. Вышло же только то, что Штольцъ тратитъ „по бюджету каждый день, какъ каждый рубль“, что „въ организмѣ у него нѣтъ ничего лишняго“, и что онъ, наконецъ, „ищетъ равновѣсія практическихъ сторонъ съ тонкими потребностями духа“. Но эти

тонкія потребности духа выражаются у него собственно въ томъ, что онъ охотно слушаетъ музыку и читаетъ Шплера, т.-е. это составляетъ для него извѣстную принадлежность того комфорта, стремленіе къ которому является, въ сущности, главною цѣлью Штольца. Въ чемъ выразилась у этого обрусѣлаго нѣмца такъ-называемая „широкая русская натура“ — остается загадкой. Вообще попытка Гончарова выставить идеальнаго дѣловаго человѣка кончилась почти также печально, какъ и болѣе ранняя попытка въ этомъ родѣ Гоголя.

Во второй части „Мертвыхъ душъ“ онъ, какъ извѣстно, думалъ выставить образцовыхъ людей въ лицѣ такихъ пріобрѣтателей, какъ помѣщикъ Костанжогло и откупщикъ Муразовъ. Гончаровъ въ лицѣ Штольца хотѣлъ, повидимому, представить личность болѣе высокой пробы, которая, наживаясь, не забываетъ и высшихъ человѣческихъ стремленій; но на самомъ дѣлѣ вышелъ такой же „пріобрѣтатель“, человѣкъ, который скоро составляетъ себѣ состояніе, принимая участіе въ разныхъ компаніяхъ, безпрестанно разъѣзжая съ мѣста на мѣсто и такимъ образомъ постоянно, повидимому, оставаясь дѣятельнымъ — но, въ сущности, только ради собственнаго интереса. Впрочемъ, нельзя не замѣтить, что Гончаровъ въ концѣ романа самъ почувствовалъ неудачность своего идеальнаго замысла, а потому и заставилъ Штольца испытать въ своей семейной жизни участь, отчасти напоминающую участь Петра Ивановича Адуева.

Та тоска, которая овладѣваетъ по временамъ Ольгой, несмотря на то, что она такъ счастлива со Штольцемъ, эта тоска доказываетъ, что и въ немъ она не нашла того, что ей нужно, тѣхъ высшихъ цѣлей, къ которымъ она постоянно стремилась, сначала какъ-бы инстинктивно, потомъ совершенно сознательно. Ольга представляетъ намъ въ высшей степени привлекательный, художественно обрисованный образъ женщины, которая не удовлетворяется однимъ личнымъ счастьемъ, однимъ личнымъ чувствомъ любви.

Это выражается уже въ одномъ изъ первыхъ разговоровъ ея съ Обломовымъ, когда онъ, подъ вліяніемъ только-что охватившаго его чувства, говоритъ ей:

— Въ вашихъ глазахъ, въ улыбкѣ, въ этой вѣткѣ, въ *casta diva* — все здѣсь...



- Нѣтъ, не все — половина, отвѣчаетъ Ольга.
- Гдѣ же другая? что послѣ этого еще?
- Ищите.
- Зачѣмъ?
- Чтобы не потерять первой.

Ей пужна другая, высшая половина счастья, т.-е. высшая жизненная цѣль. Только при этой высшей цѣли любовь можетъ быть постоянной, вѣчной; только такая любовь, которая соединяетъ людей во имя общаго служенія чему-то высшему, можетъ дать содержаніе цѣлой жизни; иначе, рано или поздно, она приведетъ къ той же скукѣ, къ какой привела Адуева съ Наденькой. Только предполагая эту, неистощимую въ своемъ содержаніи, лучшую половину жизни, Ольга спрашиваетъ Обломова: „ужели вы не шутя думаете, что можно разлюбить?“ Оттого-то ее и поражаетъ вопросъ — пожертвовала-ли бы она ему тѣмъ, что всего дороже, честью? — „Никогда; на этомъ пути впоследствии всегда расстаются, а я... расстаться съ тобой“!... Но разлука съ нимъ представляется ей невозможною только до тѣхъ поръ, пока она вѣритъ въ возможность воскресить его, пробудить въ немъ дѣятельное стремленіе къ высшей цѣли и этимъ стремленіемъ, какъ рычагомъ, поднять его на ноги. Но ей приходится страшно разочароваться, и вотъ въ своей послѣдней бесѣдѣ съ Обломовымъ она говоритъ: „ты нѣженъ, какъ голубь, ты готовъ всю жизнь проворковать подъ кровлей, да я не такая: мнѣ мало этого, мнѣ нужно чего-то еще, а чего — я не знаю“! Она и сама вполне ясно не сознаетъ, въ чемъ именно должна заключаться эта другая цѣль, но она ее страстно ищетъ.

Разочаровавшись въ Обломовѣ, Ольга поддержала себя вѣрою въ Штольца. Но когда она начала догадываться, что и его дѣятельность — только кажущаяся, потому что и въ немъ никакой высшей цѣли нѣтъ, — колебалась ея вѣра въ него, колебалось и ея счастье. Это живое исканіе чего-то, дающаго широкое содержаніе жизни — черта дѣйствительно существующая въ человѣческой природѣ — совершенно вѣрно подмѣчена Гончаровымъ въ нашихъ женщинахъ, подобно тому, какъ многія въ высшей степени сочувственныя черты подмѣчены въ нихъ и Тургеневымъ. Это составляетъ замѣчательную черту въ нашей литературѣ, что, постоянно терпя

неудачу въ идеальныхъ мужскихъ характерахъ, она дала намъ нѣсколько совершенно удачныхъ идеальныхъ характеровъ женскихъ. Но если мы сопоставимъ Ольгу Гончарова со многими женскими личностями Тургенева, то увидимъ, что хотя послѣднія, большею частью, богаты силами, но у многихъ изъ нихъ эти силы уходятъ сполна на одну только личную привязанность; не удалась имъ любовь — и все пропало, вся жизнь испорчена! Таковы напр. Маша въ „Затишье“, Вѣра въ „Фаустѣ“, Лиза въ „Дворянскомъ Гнѣздѣ“. Много говорилось въ нашей критикѣ объ ошибочныхъ понятіяхъ этихъ лицъ, (не о воспроизведеніи ихъ у Тургенева, совершенно вѣрномъ, вполне художественномъ). Но ошибочность эта не въ томъ, что Вѣра не жертвуетъ своихъ долгомъ жены, что Лиза отступаетъ передъ правомъ другой, хотя и недостойной женщины; ошибочность въ томъ, что, испытавъ несчастіе въ любви, испытавъ необходимость разлуки съ тѣмъ, кого любишь, — онѣ затѣмъ никакой другой цѣли въ жизни не видятъ; — въ томъ, что Вѣра въ „Фаустѣ“ не находитъ поддержки себѣ въ долгѣ матери, что Лиза въ „Дворянскомъ Гнѣздѣ“ умѣетъ только заживо схоронить себя въ монастырѣ. Стремленіе къ чему-то пошире одной личной любви замѣтно отчасти у Наташи въ повѣсти „Рудинъ“. Но эти задатки высшихъ стремленій едва ли не должны заглухнуть въ ней послѣ брака съ такимъ лицомъ, какъ Волинцевъ. Совершенно уже ясное стремленіе въ высшему оказывается въ Тургеневской Асѣ. „Дни уходятъ, жизнь уйдетъ“, говоритъ она, „а что мы сдѣлали“? Или въ другой разъ: „Крылья у меня выросли — да летѣть некуда“. Но мы не знаемъ, чтò постигло ее послѣ разлуки съ тѣмъ, кого она полюбила. Еще болѣе ясное стремленіе къ высшему видимъ мы въ повѣсти Тургенева „Наканунѣ“, въ этой прекрасной повѣсти, такъ справедливо и такъ тепло оцѣненной Добролюбовымъ и такъ странно осмѣянной Писаревымъ. Съ Тургеневской Еленой всего болѣе находится въ родственномъ родствѣ Ольга Гончарова; но судьба ихъ неодинакова: Елена нашла свой идеалъ въ болгаринѣ Писаровѣ, Ольга не нашла своего идеала и въ Штольцѣ. Елена, лишаясь преждевременно Писарова, находитъ себѣ дальнѣйшій исходъ въ служеніи той идеѣ, для которой жилъ онъ и страстная преданность, которой надорвала его здоровье; какой же исходъ



можетъ найти Ольга, послѣ того, какъ пошатнулась ея вѣра въ Штольца? Добролюбовъ въ своей критикѣ предполагалъ, что, разувѣрившись въ Штольца, она оставитъ и его, какъ оставила Обломова. Но, она не оставитъ его, имѣемъ мы право сказать, зная то глубокое *семейное чувство*, которое такъ сильно развито въ Ольгѣ. У нея уже есть семья; къ семьѣ этой, какъ извѣстно, принадлежитъ и принятый на воспитаніе Штольцемъ, сынъ умершаго Обломова. Ольга должна найти исходъ въ томъ, чтобы воспитательнымъ вліяніемъ своей личности не дать этому новому поколѣнію пойти по стопамъ Обломова или Штольца.

Чего не доставало, чтобы поднять на ноги залежавшагося Илью Ильича, чтобы придать высшее значеніе Штольцу? Штолецъ говоритъ, что „любовь съ силою Архимедова рычага движетъ міромъ“, т.-е. онъ говоритъ это о личной любви; и что же? этотъ рычагъ, который доставался Обломову въ лицѣ Ольги, однако же не поднималъ его на ноги. Та же личная любовь, которая затѣмъ въ полной мѣрѣ досталась Штольцу, не сдѣлала его такимъ, чтобы не дать тоскѣ закрасться въ душу Ольги. Выходитъ, что настоящимъ рычагомъ можетъ служить только другого рода любовь, болѣе обнимающая, болѣе и дающая, — любовь къ другимъ людямъ, къ обществу, къ роднѣ. Вотъ такъ жизненный выводъ, который приходится сдѣлать Ольгѣ. Она не станетъ воспитывать то юное поколѣніе, которое у нея на рукахъ, въ нравственномъ одиночествѣ, въ томъ барскомъ уединеніи, въ которомъ держали Обломова. Она будетъ умѣть завязать уже въ дѣтяхъ спасительныя для человѣка связи съ окружающимъ его міромъ. Она не станетъ откладывать ознакомленіе юнаго поколѣнія съ тѣмъ, что значитъ человѣческое горе и человѣческая нужда, а потому въ немъ пробудится рано и потребность приходить на помощь другимъ и только въ этомъ и видѣть настоящую, полную содержанія жизнь. Семья, среди которой будетъ дѣйствовать Ольга, послужитъ для нея, такъ сказать, мастерской, гдѣ, подъ теплымъ вліяніемъ ея любящей женской природы, подготовятся будущіе общественные дѣятели. Вотъ тѣ заключенія, которыя могутъ быть сдѣланы на основаніи романа Гончарова относительно воспитательныхъ мѣръ противъ „обломовщины“.

Ор. Миллеръ.

## Автобіографическія черты въ „Обломовѣ“.

Іванъ Александровичъ Гончаровъ родился въ 1812 г., въ Симбирскѣ, въ семьѣ мѣстнаго виднаго дѣятеля изъ купцовъ.

Такъ гласитъ біографическая справка. Мы и начнемъ послѣдовательную характеристику Гончарова съ изображенія той обстановки, гдѣ онъ родился и провелъ раннее дѣтство. Это была обстановка приволья и свободы купеческо-помѣщичьей жизни первыхъ десятилѣтій прошлаго вѣка, но безъ причудъ и родовой спеси крѣпостного дворянства. У Гончаровыхъ была цѣлая деревня, настоящее имѣніе въ самомъ городѣ: домъ — полная чаша, дворы, амбары, людскія, погреба, ледники со всевозможными запасами, обширная дворня, полное хозяйство, — словомъ, всѣмъ и каждому въ этой семьѣ жилось привольно и сытно, и самое крѣпостное право, благодаря вліянію города и общему мирному настроенію, теряло свой мрачный колоритъ. Во всякомъ случаѣ, оно не оставило въ душѣ мальчика тѣхъ острыхъ и жгучихъ впечатлѣній, какими судьба такъ щедро наградила, напримѣръ, Тургенева.

Не трудно замѣтить, что къ подобной же обстановкѣ, мягкой и усыпляющей, нисходятъ корнями своими и всѣ близкіе (и даже очень!) родственники Гончарова — Сашенька Адуевъ, Ильюша Обломовъ, Борисъ Райскій. Молодой Адуевъ, переживая, какъ впоследствии Гончаровъ, первыя впечатлѣнія провинціала въ Петербургѣ, съ отрадой вспоминаетъ „свой городъ“, домики съ остроконечными крышами, палисаднички, голубятни, домики-фонари, домики съ флигелями-будками, — „этотъ весь спрятался въ зелени; тотъ обернулся на улицу задомъ, а тутъ на двѣ версты тянется заборъ, изъ-за котораго выглядываютъ съ деревьевъ румяныя яблоки, — искушеніе мальчишекъ... Присутственные мѣста — такъ и видно, что присутственные мѣста: близко безъ надобности никто не подходитъ... А пройдешь тамъ, въ городѣ, двѣ, три улицы, ужъ и чуешь вольный воздухъ, начинаются плетни, за ними огороды, а тамъ и чистое поле съ яровымъ. А тишина, а неподвижность, а скука, — и на улицѣ, и въ людяхъ тотъ же благодатный застой! И всѣ живутъ вольно,



на распашку, никому не тѣсно; даже куры и пѣтухи свободно расхаживаютъ по улицамъ, козы и коровы щиплютъ траву, ребятишки пускаютъ змѣй“...

Въ этомъ же видѣ застаётъ „свой городъ“ и Гончаровъ, когда прѣзжаетъ, по окончаніи университетскаго курса на родину. Тѣ же дома и домишки, палпсадники, заборы, присутственныя мѣста. Ребятишки, если не пускаютъ змѣй, то — „среди улицы располагаются играть въ бабки“. У забора — коза, одна изъ тѣхъ, которыхъ видѣлъ Адуевъ, щиплетъ траву...

Прѣзжаетъ въ тотъ же городъ и студентъ Райскій. Домъ его — тоже „маленькое имѣніе“, у самого города, съ превосходными видами на Заволжье и страшнымъ обрывомъ, куда, между прочимъ, не пускали въ дѣтствѣ и Ильюшу Обломова. „Какой Эдемъ распахнулся ему въ этомъ уголкѣ, откуда его увезли въ дѣтствѣ, и гдѣ потомъ онъ гостилъ мальчикомъ иногда, въ лѣтнія каникулы! Какіе виды кругомъ — каждое окно въ домѣ было рамой своей особенной картины! Съ одной стороны Волга съ крутыми берегами и Заволжьемъ; съ другой — широкія поля, обработанныя и пустыя, овраги, и все это замыкалось далью спявшихъ горъ. Съ третьей стороны видны села, деревни и часть города. Воздухъ свѣжій, прохладный, отъ котораго какъ отъ лѣтняго купанья, пробѣгаетъ по тѣлу дрожь бодрости“. Въ этомъ Эдемѣ, какъ въ „Грачахъ Адуева, въ „Обломовкѣ“, наконецъ, въ усадьбѣ Гончаровыхъ на первомъ планѣ — хозяйство, козы, куры, повола, дворня, „баловство“, которое охватываетъ юношей, „какъ паромъ“ — сладкой нѣгой внимательности и ухода. „Кромѣ семьи, старые слуги, съ нянькой во главѣ, смотрятъ въ глаза, припоминаютъ мои вкусы, привычки, гдѣ стоялъ мой письменный столъ, на какомъ креслѣ я сидѣлъ, какъ постлать мнѣ постель. Поваръ припоминаетъ мои любимыя блюда — и всѣ не наглядятся на меня“.

Это говоритъ Гончаровъ о своемъ возвращеніи на родину изъ столицы. Но таково же было и его дѣтство, рассказанное въ „Обломовѣ“; няня, упомянутая выше, была та же самая няня, которая смотрѣла за маленькимъ Обломовымъ и не пускала его въ оврагъ и на галлерею, какъ не пускали и Гончарова лазить по деревьямъ, по крышамъ или взбираться на колокольню.

Гончаровъ былъ въ дѣтствѣ, по его же словамъ, зоркій и впечатлительный ребенокъ. У него тогда уже, среди этого беззаботнаго жптѣя-бытѣя, бездѣлья и лежанья, зарождалось неясное представленіе объ „обломовщинѣ“. Столь же зоркимъ „ничего не пропускающимъ“ и впечатлительнымъ ребенкомъ былъ Ільяша Обломовъ: „ни одна мелочь, ни одна черта не ускользаетъ отъ пытливаго вниманія ребенка: неизгладимо врѣзывается въ душу картина домашняго быта; напитывается мягкій умъ живыми примѣрами и безсознательно чертитъ программу своей жизни по жизни, его окружающей“. Ни одна черта, ни одна особенность не ускользаетъ и отъ наблюдательнаго взора Райскаго; по тому, какъ онъ ведетъ себя въ школѣ и относится къ объясненіямъ учителя, можно съ увѣренностью сказать, что его наблюдательность, въ связи съ нѣкоторой не то разсѣянностью, не то распушенностью талантливаго барчука, развилась подъ знойными лучами обломовскаго солнца, подъ стукъ ножей обломовской кухни. Дома, въ Обломовкѣ, онъ оставилъ няню, Захарку, Антипа, Аверку (Акимку-повара — въ „Воспоминаніяхъ“), Арапку, которыхъ онъ въ точности изучилъ и запомнилъ; въ школѣ онъ тѣмъ же переимчивымъ взоромъ наблюдаетъ учениковъ и учителя. „И доску, на которой пишутъ задачи, замѣтилъ, даже мѣлъ, и тряпку, которою стираютъ съ доски. *Кстати тутъ же представилъ и себя, какъ онъ сидитъ, какое у него должно быть лицо, что другимъ приходитъ на умъ, когда они глядятъ на него, какимъ онъ имъ представляется*“.

Кромѣ Обломовки въ городѣ, Гончарову была знакома Обломовка-деревня. Обломовка романа принадлежала, рассказываетъ авторъ, издавна роду Обломовыхъ; рядомъ съ ней лежало село Верхлево, которымъ владѣлъ богатый помѣщикъ, никогда не показывавшійся въ свое имѣніе. Въ этомъ имѣніи управляющимъ былъ нѣмецъ Штольцъ, открывшій у себя пансіонъ для обученія дѣтей окрестныхъ помѣщиковъ. Мы можемъ дать болѣе опредѣленные свѣдѣнія объ этомъ имѣніи — оно находилось на правомъ берегу Волги и принадлежало княгинѣ Хованской. Тамъ существовалъ и пансіонъ, куда былъ отданъ маленькій Гончаровъ, но училъ въ немъ не нѣмецъ Штольцъ, а священникъ, воспитанникъ казанской духовной академіи, человѣкъ просвѣщенный и,



можно думать, широко образованный; зато нѣмцу Штольцу соотвѣтствовала *француженка*, (или нѣмка, по дѣвической фамиліи Липманъ), жена священника, учившая дѣтей французскому языку. И маленькій Обломовъ и Райскій немногому научились въ этой школѣ; едва ли многому научился въ ней и Гончаровъ, хотя онъ и относился къ воспоминаніямъ о ней съ видимою симпатіей. Священникъ княжескаго имѣнія напоминаетъ верхлѣвскаго старика Штольца. „Нѣмецъ былъ человѣкъ дѣльный и строгій, какъ почти всѣ нѣмцы. Можетъ быть, у него Ильюша и успѣлъ бы выучиться чему-нибудь хорошенько, еслибъ Обломовка была верстахъ въ пятистахъ отъ Верхлѣва. А то какъ выучиться? Обаяніе обломовской атмосферы простиралось и на Верхлѣво“, умъ и сердце Ильюши исполнились картинъ и нравовъ этого быта, прежде чѣмъ онъ увидѣлъ первую книгу. И не одного Ильюши, — таковъ же былъ и самъ Гончаровъ: эти картины и нравы окрасятъ собою все творчество будущаго писателя и опредѣлятъ его наиболѣе положительные жизненные — если и не идеалы и стремленія, — то привычки и вкусы.

Впослѣдствіи, уже на склонѣ лѣтъ, писатель дастъ себѣ отчетъ въ этихъ впечатлѣніяхъ, когда выразитъ, въ своихъ воспоминаніяхъ, вѣское предположеніе о томъ, что у него, „очень зоркаго и впечатлительнаго мальчика, уже тогда, при видѣ всѣхъ этихъ фигуръ (Якубова и сосѣдей помѣщиковъ), этого беззаботнаго житья-бытья, бездѣлья и лежанья, и зародилось неясное представленіе объ обломовщинѣ“.

Въ воспоминаніяхъ этихъ будетъ много искренности и теплоты. Нѣжностью признательности и любовью откликнется невольно душа на любовь и ласку, испытанныя имъ въ раннемъ дѣтствѣ, всякій разъ, какъ память воскреситъ передъ нимъ образъ его покойной матери. Она была разумно строга и добра, по отзыву писателя, и послѣднее свойство, синонимъ безграничной материнской любви, становится исчерпывающимъ и неизмѣннымъ признакомъ, какъ только Гончаровъ принимается изображать личность матери въ семейной обстановкѣ героевъ.

Слѣпая, беззавѣтная, бесконечно-нѣжная любовь — коренная черта въ отношеніяхъ матерей Александра Адуева и Ильи Ильича, сближающая образы этихъ женщинъ до полнаго совпаденія. Воспоминанія о матери являются у нихъ

наиболѣе трогательными и завѣтными, проникнутыми грустью сожалѣнія о невозвратной уtratѣ. Переходя во второй періодъ своей сознательной жизни, когда впереди начинается видѣться прозаическая старость, а позади остаются раскаянія и разочарованія, Александръ Адуевъ мысленно пробѣгаетъ свое дѣтство и юношество до поѣздки въ Петербургъ, вспоминаетъ, какъ ребенкомъ онъ повторялъ за матерью молитвы, и она твердила ему объ ангелѣ-хранителѣ, который стоитъ на стражѣ души человѣческой и вѣчно враждуетъ съ нечистымъ... Указывая на звѣзды, она говорила мальчику, что это очи Божіихъ ангеловъ, которые смотрятъ на міръ и считаютъ добрыя и злыя дѣла людей; небожители плачутъ, когда злыхъ дѣлъ окажется больше, чѣмъ добрыхъ, и радуются, если добрыя возьмутъ перевѣсъ. Показывая на синеву дальняго горизонта, она говорила, что это Сіонъ... Милая, наивная вѣра, трогательныя суевѣрія дѣтскихъ образовъ — въ нихъ было много теплоты и поэзіи, и Александръ, съ искреннимъ вздохомъ, посылаетъ привѣтъ этимъ воскресшимъ отзвукамъ прошлаго.

Вспоминаетъ молитвы съ матерью и Пля Ильячъ Обломовъ. Тогда, поглощенный дѣтскими мыслями о предстоящей прогулкѣ, онъ „разсѣянно“ и „вяло“ повторялъ слова молитвы, но мать — „влагала въ нихъ всю свою душу“, и эти дѣтскія впечатлѣнія не прошли безслѣдно. „Обломовъ, увидѣвъ давно-умершую мать, и во снѣ затрепеталъ отъ радости, отъ жаркой любви къ ней: у него, у соннаго, медленно выплыли изъ-подъ рѣсницъ и стали неподвижно двѣ теплыя слезы“.

Тѣмъ же чувствомъ проникнуты и воспоминанія Райскаго о матери, но въ нихъ нѣтъ уже этой непосредственности и жизненности, какъ въ „Обломовѣ“. На сходство автора съ образомъ Пля Ильяча Обломова указывалось съ давнихъ поръ, еще при жизни Гончарова. Не высказываясь опредѣленно, по своему обыкновенію, онъ замѣчалъ, что, какъ это случалось со всѣми писателями, читатели старались его самого подводить подъ того или другого героя, отыскивая его то тамъ, то сямъ, или угадывая тѣ или другія личности. „Чаще всего меня видятъ въ Обломовѣ, любезно упрекая за мою авторскую лѣнь и говоря, что я это лицо писалъ съ себя. Иногда же, напротивъ, затруднялись, куда меня



дѣвать, въ которомъ нѣбудь романъ, напримѣръ, въ дядю или племянниковъ. Нѣсколько далѣе, характеризуя процессъ своей творческой работы въ прошломъ, когда онъ писалъ то, что, казалось ему, носилось около него въ воздухѣ и было далеко отъ „выдумки“, онъ приводитъ любопытный примѣръ близости къ нему создавшихся образовъ. „Мнѣ, говорятъ онъ, — прежде всего бросается въ глаза лѣнивый образъ Обломова — въ себѣ и другихъ — и все ярче и ярче выступалъ передо мной. Конечно, я инстинктивно чувствовалъ что въ эту фигуру вбираются мало-по-малу элементарныя свойства русскаго человѣка — и пока этого инстинкта довольно было, чтобы образъ былъ вѣренъ характеру“.

Романъ „Обломовъ“ писался, тоже по обыкновенію Гончарова, очень долго — лѣтъ около десяти, съ перерывами для „Фрегата Паллады“, съ отвлеченіями въ сторону „Обрыва“, образы котораго уже начинали тревожить творческіе нервы писателя. Не говоря уже о томъ, что во второмъ романѣ обнаружилось значительно большее мастерство кисти художника и болѣе глубокая вдумчивость при построеніи романа и обрисовкѣ центральной фигуры, самое отношеніе Гончарова къ своему герою должно было измѣниться съ годами, и оно дѣйствительно измѣнилось.

Въ этомъ отношеніи намъ придется нѣсколько разойтись съ тѣмъ общераспространеннымъ мнѣніемъ, что Обломовъ ближе другихъ героев подходитъ къ самому Гончарову. Если-бы это было дѣйствительно такъ, Гончаровъ не относился бы къ нему съ такимъ неизмѣннымъ чувствомъ прони, какого, напримѣръ, у него вовсе нѣтъ, какъ только рѣчь заходитъ о Петрѣ Ивановичѣ Адуевѣ или Штольцѣ. Въ этой прони нѣтъ злости, нѣтъ и отбѣнка желчи и раздраженія, порождающаго сарказмъ. Напротивъ, добродушное, даже любовное отношеніе придаетъ ей особую задушевность и прелесть. Такъ пожилой и ласковый по натурѣ человѣкъ снисходительно улыбается слабостямъ своего младшаго пріятеля, слабостямъ, которыя далеко не чужды и ему самому. И эта улыбка такъ искренна, такъ непосредственна на устахъ Гончарова, что читатель невольно поддается ея обаянію, и самъ начинаетъ улыбаться тою же снисходительной и доброй улыбкой.

Мы видѣли уже не разъ — въ рассказѣ объ Обломовѣ

не мало автобіографическихъ штриховъ. Ихъ не трудно подмѣтить въ исторіи дѣтства Обломова, въ отдѣльныхъ частностяхъ, несомнѣнно и въ обрисовкѣ характера, съ слабостью волевого элемента на первомъ планѣ и съ сильно развитымъ сознаніемъ, внѣшнимъ и внутреннимъ, доводящимъ иногда процессъ самоанализа до глубокаго и истиннаго страданія. Но отъ Обломова до Гончарова — разстояніе гораздо большее, чѣмъ отъ Адуевыхъ, племянника и дяди. Кстати сказать, Илья Ильичъ первой половины романа отличается, на нашъ взглядъ, отъ Ильи Ильича второй половины. Это два типа равно свойственные русской жизни, близко родственные, но не вполне одинаковые. Первый — съ несомнѣннымъ трагическимъ началомъ сознанія своего безсилія — такъ и умираетъ, не сдѣлавъ ничего полезнаго и высокаго въ жизни, къ чему стремился такъ пламенно, но — увы! — платонически; его тревога не утихаетъ съ годами, — она можетъ перейти въ тихую жалобу, въ покаяніе Рудина, но ни минуту не станетъ пошлой и плоской. Сильное возбужденіе, страсть, негодованіе могутъ воспламенить ихъ пожаромъ, правда, на одно мгновеніе, но въ это мгновеніе они могутъ явиться героями, способными пожертвовать собой, во имя идеи или за улыбку красавицы, смотря по моменту. Вторая категорія Обломовыхъ — иного свойства. Если у нихъ и было какое-либо міросозерцаніе, въ смыслѣ извѣстныхъ „умственныхъ“ идей и нравственныхъ требованій, то это міросозерцаніе уснуло у нихъ раньше, чѣмъ глаза успѣли заплыть жиромъ отъ вѣчнаго снѣнья и въ груди появилась одышка отъ неподвижной жизни. Проза будничной домашней жизни, неизменность желаній, не выходящихъ изъ круга инстинктовъ пищеваренія и элементарнаго животнаго довольства — вотъ атмосфера, изъ которой никогда не вытащатъ ихъ на свѣтъ Божій никакіе Штольцы и Ольги Ильинскія. Пошляки Маняловы — ихъ ближайшіе родственники, если они одарены благожелательно-настроенной душой, но никакъ не „коптители неба“ Тентетниковы, всю жизнь собирающіеся занять большимъ сочиненіемъ о Россіи, словно Обломовъ, въ первой части романа, съ своимъ грандіознымъ планомъ переустройства Обломовки.

Кромѣ склонности къ неподвижности и лѣни, общей вялости, мы не видимъ у Обломова крупныхъ чертъ, родня-



щихъ этотъ образъ съ самимъ Гончаровымъ. На присутствіе этихъ чертъ въ характеръ нашего писателя указываютъ его же собственныя слова — тамъ, гдѣ онъ довольно недвусмысленно рисуетъ свою собственную наружность. Въ дѣтствѣ онъ — здоровый, краснощекій мальчикъ „съ мечтательными глазами“, какъ Ильюша Обломовъ; студентомъ цвѣтущій, жизнерадостный юноша; ко времени трезвости и благоразумія онъ, какъ двѣ капли воды, напоминаетъ остепенявшагося Александра Адуева, съ брюшкомъ и плѣшью, съ начинающеюся сѣдиной въ вискахъ и бакенбардахъ. Пройдетъ еще нѣсколько лѣтъ, и Гончаровъ, кончая „Обломова“, будетъ опредѣлять себя такъ: „литераторъ, полный, съ апатическимъ лицомъ, задумчивыми, какъ будто сонными глазами“. Этотъ отзывъ напоминаетъ собою „пожилого беллетриста Скудельникова“ (въ „Литературномъ вечерѣ“), который — „какъ сѣлъ, такъ и не пошевелился въ креслѣ, какъ будто приросъ или заснулъ. Изрѣдка онъ поднималъ апатичные глаза на автора (читавшаго свой романъ) и опять опускалъ ихъ. Онъ, повидимому, былъ равнодушенъ и къ этому чтенію, и къ литературѣ — вообще ко всему вокругъ себя. Григорій Петровичъ (Урановъ, хозяинъ) вытащилъ его изъ его гнѣзда, обѣщалъ хорошій романъ, хорошее общество, хорошихъ, даже прекрасныхъ, дамъ и хорошій ужинъ. Онъ и пріѣхалъ“...

Послѣднія слова чрезвычайно важны, пожалуй, важнѣе самого портрета. Въ нихъ выразились основныя привычки и вкусы „пожилого беллетриста“. Онъ не прочь бывать въ обществѣ, но предпочитаетъ покой и тишину своего „гнѣзда“. Общество онъ посѣщаетъ только избранное, гдѣ онъ встрѣтитъ, какъ художникъ, красоту и грацію аристократическаго женскаго лица, услышитъ остроумную бесѣду и веселый смѣхъ; какъ гастрономъ и бывшій обломовецъ, онъ оцѣнитъ по достоинству тонкій ужинъ и хорошее вино. Но, вообще говоря, — къ людямъ его не особенно тянетъ. И переживая въ томъ кругу, гдѣ онъ бывалъ, привычныя и милыя сердцу ощущенія, онъ самъ не вносилъ въ общество ни веселья ни даже оживленія, хотя ни въ умѣ ни въ остроуміи ему отказать было нельзя. Онъ, какъ художникъ, накапливалъ впечатлѣнія, но расточалъ ихъ въ разговорѣ неохотно и скупо.

Въ общемъ представленіи жизнь казалась Гончарову вялою и скучною. Уѣзжая изъ усадьбы, Райскій собирается написать романъ — картину вялаго сна, вялой жизни. Изображеніе зѣвоты и мечтательной задумчивости встрѣчается у него также часто, какъ изображеніе ѣды и сна.

Часы ѣды и сна являются священными для Гончарова при всѣхъ положеніяхъ, въ которыя онъ ставитъ своихъ героевъ. Даже болѣе: отношеніемъ къ этимъ благамъ жизни характеризуются у нихъ душевныя состоянія, причемъ Гончаровъ нигдѣ не упускаетъ случая отмѣтить значеніе тонкаго обѣда или ужина, присутствіе или отсутствіе аппетита у того или другого героя, благотворное вліяніе сна или бессонницы. Райскій волнуется по поводу Вѣры, раздумывая отъ кого она получила другое, загадочное, письмо, и волненіе это выражается у него въ томъ, что онъ „машинально обѣдалъ“; страницей ниже Гончаровъ отмѣчаетъ по тому же поводу, что Райскій — „ночью не спалъ, мало ѣлъ и даже похудѣлъ немного“. Волненіе рѣдко, впрочемъ, отзывается у Райскаго бессонницей; обыкновенно сонъ не покидаетъ его, въ качествѣ „друга“, въ самыя тяжелыя минуты, навѣщаетъ и днемъ послѣ обѣда, и Райскій спитъ долго и крѣпко. Вернувшись на разсвѣтъ домой послѣ страшной драмы, разыгравшейся въ обрывѣ, Райскій до того былъ измученъ, что самъ, не узналъ себя въ зеркалѣ. „Ему было не легче Вѣры“, и онъ навѣрно заболѣлъ бы, если-бы его не выручилъ спасительный сонъ. Райскій отдался ему, какъ „здравому другу, поручая себя его попеченіямъ. И сонъ исполнилъ эту обязанность“... — Ему снилось все другое, противоположное“... — „... Приснилось ему, что онъ сидитъ съ пріятелями у Сентъ-Жоржа и съ аппетитомъ ѣстъ и пьетъ, рассказываетъ и слушаетъ пошлый вздоръ, обыкновенно рассказываемый на холостыхъ обѣдахъ, что ему отъ этого стало тяжело и скучно, и во снѣ даже спать затолось. И онъ спалъ здоровымъ, прозаическимъ сномъ“... Вѣра, душу которой „раздираетъ“ страсть къ Марку, неизмѣнно появляется передъ читателями въ часы ѣды и чая. „Она, поздоровавшись съ бабушкой, попросила кофе, съ аппетитомъ съѣла нѣсколько сухарей“... — „... Прошло два дня. По утрамъ Райскій не видалъ почти Вѣру наединѣ. Она приходила обѣдать, пила вечеромъ вмѣстѣ со всѣми



чай, говорила объ обыкновенныхъ предметахъ, иногда только казалась утомленной“. Но какія бы драмы ни разыгрывались въ душѣ героевъ, какія бы страсти ни волновали ихъ, обычный порядокъ не нарушался, — „въ домѣ у Татьяны Марковны все шло своимъ порядкомъ, отужинали и сидѣли въ залѣ, позѣвывая“... Негодующее или разгнѣванное сердце бабушки успокаивается сразу, какъ только виновные выражали желаніе позавтракать или пообѣдать; въ такихъ случаяхъ она готова была примириться даже съ безобразникомъ Маркомъ. Эта бытовая черта проходитъ по всѣмъ романамъ. Влюбленный Александръ Адуевъ приходитъ къ дядѣ сообщить ему о своемъ намѣреніи вызвать на дуэль соперника графа Новинскаго, у него „дѣло идетъ о жизни и смерти“, а Петръ Ивановичъ предлагаетъ ему поужинать, — „ужинъ не портитъ дѣла“ — и ужинаетъ, на протяженіи нѣсколькихъ страницъ, пока Александръ, который не ужиналъ двое сутокъ“, рассказывалъ ему обстоятельства своего трагическаго положенія.

Остановимся еще на одной чертѣ — апатіи, неизмѣнно присутствующей, какъ только Гончаровъ начинаетъ говорить о самомъ себѣ. По отношенію къ человѣку, неустанно работавшему въ тиши кабинета надъ созданіемъ ряда произведеній, техника которыхъ, по его собственнымъ словамъ, стоила ему большого труда, это слово должно имѣть особый, условный смыслъ. Это менѣе всего — внутреннее разочарованіе въ томъ, во что вѣрилось въ юности, въ идеалахъ, надеждахъ, наконецъ, любви и дружбѣ. Наоборотъ, мощью здороваго идеализма звучатъ послѣднія произведенія Гончарова: ласковый юморъ ихъ достигаетъ мѣстами удивительной свѣжести, изящества и даже глубины. Это и не безсиліе человѣка, которые вышелъ на борьбу, и увидѣлъ, что руки у него были связаны. Борьба не была въ натурѣ Гончарова, и менѣе всего онъ подходилъ-бы подъ понятіе борца во имя чего бы то ни было. Правильнѣе всего признать, кажется, что Гончаровская апатія, если не принимать въ расчетъ нѣкоторой доли скептицизма, свойственнаго всѣмъ пожилымъ людямъ, видѣвшимъ свѣтъ, сводилась преимущественно къ внѣшнимъ проявленіямъ, къ внѣшнему виду или, вѣрнѣе, къ тому впечатлѣнію, которое производилъ Гончаровъ на людей своей неподвижной, по виду вялой, по разговору —

равнодушной фигурой. Въ головѣ и въ сердцѣ творилась невидимая глазу сложная работа, изъ которой слагалось творчество образовъ и картинъ; на эту работу и уходила значительная доля энергіи и органической самостоятельности художника.

Будь Гончаровъ только Обломовымъ, въ немъ и не пошевельнулось бы желаніе промѣнить свое напряженное „гнѣздо“ на каюту готоваго ко всякаго рода случайностямъ, безпокойствамъ и опасностямъ „Фрегата Паллады“. Но въ немъ жило какое-то особое начало, которое разжигало и мучило его. Слишкомъ сѣрая дѣйствительность давила его своей однотонностью, какъ онъ ни скрашивалъ ее цвѣтами фантазій и поэзій. „Дни мелькали — такъ характеризуетъ онъ свою жизнь въ первой главѣ „Фрегата Паллады“, — жизнь грозила пустотой, сумерками, вѣчными буднями: дни, хотя порознь разнообразны, сливались въ одну утомительно-однообразную массу годовъ. Зѣвота за дѣломъ, за книгой, зѣвота въ спектаклѣ, и та же зѣвота въ шумномъ собраніи и въ пріятельской бесѣдѣ!“

Зѣвота и апатія — неотъемлемые признаки Гончарова; безъ нихъ онъ и представить самого себя не можетъ. „Между моряками, зѣвая апатически, лѣниво смотритъ въ безбрежную даль“ океана литераторъ, помышляя о томъ, хороши ли гостиницы въ Бразиліи, есть ли прачки на Сандвичевыхъ островахъ, на чемъ ѣздить въ Австралію? По этого апатическаго литератора манитъ поэзія путешествія, просторъ и „рядъ неисчерпанныхъ наслажденій“ — и онъ объѣдетъ весь міръ, хотя бы для того, чтобы сказать потомъ, что въ немъ нѣтъ ничего чудеснаго, что и вдали, какъ и вблизи — „все подходитъ подъ какой-то прозаическій уровень“. Но самое путешествіе является для него праздникомъ, радостнымъ воплощеніемъ съ дѣтства лелѣянной мечты.

Ничего подобнаго нѣтъ въ Обломовѣ, не только второй, но и первой половинѣ романа. Илью тянетъ въ даль только тогда, когда его соблазняетъ своими рассказами Штольцъ, и то лишь пока тотъ не ушелъ изъ комнаты. Но едва Штольцъ оставляетъ Обломова одного, въ немъ начинаются колебанія, сомнѣнія, ему жаль расстаться съ диваномъ и халатомъ, и всѣ планы падаютъ, какъ карточный домикъ, отъ самой ничтожной причины: ячмень вскочитъ или губа



раздуется наканунѣ отъѣзда. „Нельзя же съ такою губой въ море!“ — скажетъ Илья Ильичъ и махнетъ рукой.

Гончаровъ любитъ комфортъ; Обломовъ къ нему совершенно равнодушенъ. Гончаровъ задаетъ вопросы о сандвичевскихъ прачкахъ; у Обломова по нѣскольку дней не подметается квартира. Гончаровъ весь на сторонѣ порядка — и дома, и въ обществѣ, и въ государствѣ; Обломовъ заговариваетъ о порядкѣ исключительно съ цѣлью донять Захара „жалкими словами“. Его порядокъ черезчуръ опредѣляется временемъ завтрака, обѣда, ужина, сна... Гончаровъ безконечно цѣлостнѣе и шире и по отношенію къ нему Обломовъ — только часть, близкая, кровная, но не важнѣйшая...

*Ляцкий.*

### Галлерея мужскихъ портретовъ въ произведеніяхъ Гончарова.

Помѣщица Адуева въ „Обыкновенной исторіи“, отправляя сына въ Петербургъ, поручаетъ его заботамъ дяди. Среди прочихъ наивныхъ просьбъ о миломъ Сашенькѣ, она даетъ наставленіе петербургскому чиновнику: „Сашенька привыкъ лежать на спинѣ: отъ этого, сердечный, больно стонетъ и мечется; вы тихонько разбудите его да перекрестите: сейчасъ и пройдетъ; а лѣтомъ покрывайте ему ротъ платочкомъ: онъ его разѣвааетъ во снѣ, а проклятыя мухи такъ туда и лѣзутъ подъ утро“ (36, I). Эта черта любви, соединенной съ умственной ограниченностью, сразу опредѣляетъ характеръ воспитанія Александра. Въ томъ же письмѣ, черезъ нѣсколько строкъ, говорится о крѣпостномъ человѣкѣ, лакеѣ молодого барина: „присмотрите за Евсеемъ: онъ смиренный и непьющій, да, пожалуй, тамъ въ столицѣ, избалуется, — тогда можно и постыгъ“. Расплавляющее вліяніе крѣпостного права, впивавшееся въ кровь и плоть цѣлыхъ поколѣній, и теплая, мягкая, расслабляющая атмосфера семейной любви — таковы условія, въ которыхъ проходятъ дѣтскіе и отроческіе годы Александра Адуева, Райскаго, Обломова.

*Праздность*, сдѣлавшаяся не только привычкой, но возве-

денная въ принципъ, въ исключительную привилегію людей умныхъ и талантливыхъ — вотъ результатъ этого воспитанія.

Александръ пріѣхалъ въ Петербургъ, по собственному признанію, чтобы жить и „пользоваться жизнью“, при чемъ „трудиться казалось ему страннымъ“ (838, I). Когда изъ редакціи журнала вернули молодому автору рукопись, онъ сказалъ себѣ: „нѣтъ! если погибло для меня благородное творчество въ сферѣ изящнаго, такъ я не хочу и труженичества: въ этомъ судьба меня не переломитъ!“ (48, I, ч. 2). Въ работѣ видитъ онъ несомнѣнный признакъ отсутствія таланта, искры Божіей и вдохновенія. Отъ подобныхъ взглядовъ — одинъ шагъ до обломовскаго халата. Шагъ этотъ сдѣланъ Александромъ послѣ двухъ-трехъ неудачъ въ любви и въ литературѣ. „Узкій щегольской фракъ, — говоритъ авторъ, — онъ замѣнилъ широкимъ халатомъ домашней работы“ (890, I, 2). „Я стремиться выше не хочу, — разсуждаетъ онъ съ дядей, — я хочу такъ остаться, какъ есть... Нашелъ простыхъ людей, нужды нѣтъ что ограниченныхъ умомъ, играю съ ними въ шашки и ужу рыбу — и прекрасно!... Хочу, чтобы мнѣ не мѣшали быть въ моей темной сферѣ, не хлопотать не о чемъ и быть покойнымъ“ (107, I, 2). Вотъ цѣликомъ обломовская программа жизни. Александръ Адуевъ — это Илья Ильичъ въ молодости, и при томъ въ болѣе ранній періодъ русской жизни. Интересно наблюдать на первообразѣ Обломова отблескъ молодыхъ въ тѣ времена байроническихъ идей, связь Обломова съ героями Лермонтова и Пушкина. „Безъ малаго въ восемнадцать лѣтъ“ — онъ ужъ „разочарованный“ и говоритъ о жизни съ пренебреженіемъ, подражая Печорину и Онѣгину. Обломовъ проще: у него нѣтъ напускнаго байронизма и фразерства. Въ хорошія минуты онъ глубоко сознаетъ свое нравственное паденіе. Александръ Адуевъ въ эпилогѣ радуется „фортунѣ, карьерѣ и богатой невѣстѣ“; самодовольная пошлость противнѣе въ немъ обломовскаго сна и апатіи.

Ильѣ Ильичу, — говоритъ авторъ, — доступны были наслажденія высокихъ помысловъ; онъ нечуждъ былъ всеобщихъ человѣческихъ скорбей. Онъ горько въ иную пору плакалъ надъ бѣдствіями человѣчества, испытывалъ безвѣстныя, безыменныя страданія и тоску, стремленіе куда-то вдалѣ, туда, вѣроятно, въ тотъ міръ, куда увлекалъ его,



бывало Штольцъ. Сладкія слезы потекутъ по щекамъ его...“ Но вмѣстѣ съ тѣмъ у него со слугою происходятъ такія сцены: какъ-то Захаръ имѣлъ несчастіе, въ разговорѣ о переѣздѣ съ квартиры, запнуться, что „другіе, молъ, не хуже насъ, а переѣзжаютъ“, слѣдовательно, и намъ нечего безпокоиться. Илья Ильичъ страшно разсердился. „Онъ въ низведеніи себя Захаромъ до степени другихъ видѣлъ нарушение правъ своихъ на исключительное предпочтеніе Захаромъ особы барина всѣмъ и каждому...“

„— Я — „другой“! Да развѣ я мечусь, развѣ работаю? мало ѣмъ, что ли? худощавъ или жалокъ на видъ?... Я ни разу не натянулъ себѣ чулокъ на ноги, какъ живу, славу Богу!..., Я ни холода ни голода никогда не терпѣлъ, нужды не зналъ, *хлѣба себѣ не зарабатывалъ и вообще чернымъ дѣломъ не занимался...*“

Какъ все это примирить съ благородными слезами Ильи Ильича, плачущаго надъ бѣдствіями человѣчества? Не правдивѣ ли „высокихъ помысловъ“ и „безыменныхъ страданій“ другія, болѣе конкретныя мечты лѣниваго барина: „ему видятся все ясные дни, ясныя лица безъ заботъ и морщинъ, смѣющіяся, круглыя, съ яркимъ румянцемъ, съ двойнымъ подбородкомъ и неувядающимъ аппетитомъ; будетъ вѣчное лѣто, вѣчное веселье, сладкая ѣда, да сладкая лѣнь“. Если у него нѣтъ ничего искренняго, кромѣ мечтаній о подобномъ счастьѣ, къ чему лицемѣріе — „высокіе помыслы“? Читатель готовъ произнести Обломова жестокой и безповоротный приговоръ. Но онъ переходитъ къ сценѣ, гдѣ Илья Ильичъ навѣки прощается съ Ольгой; она говоритъ ему: „Я любила будущаго Обломова! Ты кротокъ, чистъ, Илья; ты нѣженъ... какъ голубь; ты прядешь голову подъ крыло — и ничего не хочешь больше; ты готовъ всю жизнь проворковать подъ кровлей... да я не такая: мнѣ мало этого, мнѣ нужно чего-то еще, а чего — не знаю! Можешь ли научить меня, сказать — что́ это такое, чего недостаетъ, дать это все, чтобъ я... *А нѣжность... идѣ ея нѣтъ!*“ У Обломова подкосились ноги... Слово было жестоко; оно глубоко уязвило Обломова... Онъ въ отвѣтъ улыбнулся какъ-то жалко, болѣзненно-стыдливо, какъ нищій, котораго упрекнули его наготой. Онъ сидѣлъ съ этой улыбкой безсилія, ослабѣвшій отъ волненія и обиды; потухшій взглядъ его ясно говорилъ:

„оа, я скуденъ, жалокъ, нищъ... бейте, бейте меня!“ Пронесъ ли читатель и теперь надъ несчастнымъ человѣкомъ едва не сорвавшійся съ устъ жестокий приговоръ? Развѣ какой-нибудь Штольцъ, гордый своими совершенствами, возбуждаетъ столько любви и теплой человѣческой симпатіи, какъ бѣдный Илья Ильичъ?

Райскій — воплощеніе и развитіе созерцательной, артистической стороны обломовскаго типа. Такія мягкія, впечатлительныя и лѣнивыя натуры — благодарная почва для художественнаго дилетантизма. Райскій — эстетикъ, воспитанный въ духѣ сороковыхъ годовъ. „Равнодушный ко всему на свѣтѣ, кромѣ красоты“, онъ „покорялся ей до рабства, былъ холоденъ ко всему, гдѣ не находилъ ея, и грубъ, даже жестокъ ко всякому безобразію“. Впрочемъ, несмотря на это странное поклоненіе красотѣ, изъ Райскаго настоящаго художника никогда не выйдетъ — вслѣдствіе той же обломовской лѣни и привычки жить „на всемъ готовенькомъ“. Съ обычной, нѣсколько циничной, манерой Маркъ Волоховъ предсказываетъ Райскому: „Нѣтъ, изъ васъ ничего не выйдетъ, кромѣ того, что вышло, т.-е. очень мало. Много такихъ у насъ было и есть: всѣ пропали или спились съ кругу... Это все неудачники“.

Бабушка остроумно замѣчаетъ про него: „ни Богу свѣчка ни чорту кочерга“.

Да и самъ Райскій сознаетъ свою обломовщину: „я уродъ... я больной, ненормальный человѣкъ, и при томъ я отжилъ, испортилъ, исказилъ... или нѣтъ, не понялъ своей жизни“.

У Райскаго, какъ и у Обломова, есть „высокіе помыслы“ и „слезы о бѣдствіяхъ человѣчества“, которые тоже находятся въ непримиримомъ противорѣчій съ характеромъ и жизнью дилетанта.

Характеръ Райскаго задуманъ широко и сложно. Настроеніе его до такой степени измѣнчиво и прихотливо, что нельзя въ немъ ни на чемъ остановиться, ничего предсказать. Онъ созданъ весь изъ тонкихъ переплетенныхъ и запутанныхъ противорѣчій. Поэту, изобразившему подобный характеръ, пришлось бороться съ такими же трудностями, какъ живописцу, который задумалъ бы перенести на полотно радугу: безусловная нѣжность тоновъ, мимолетность, безчисленность оттѣнковъ и отблесковъ.



При смѣнѣ двухъ историческихъ эпохъ являются характеры, принадлежащіе той и другой, нецѣльные, раздвоенные. Въ нихъ есть глубокое неизгладимое противорѣчіе: симпатіи, убѣжденія, вѣрованія принадлежатъ новому времени, привычки, вкусы, темпераментъ — прошлому. Побѣждаетъ въ большинствѣ случаевъ не разумъ, а бессознательныя симпатіи, не воля, а инстинктъ, не убѣжденія, а темпераментъ, отжившее торжествуетъ надъ живымъ, и человекъ гибнетъ жертвой этой борьбы. Такъ гибнетъ въ пошлости Александръ Адуевъ, въ апатіи — Обломовъ, въ дилетантизмѣ — Райскій.

Одинъ изъ основныхъ мотивовъ Гончарова — сопоставленіе съ этими праздными, нерѣшительными, мягкими характерами личностей дѣятельныхъ, рѣзкихъ, сильныхъ, съ твердой до жестокости волей. Волоховъ сопоставленъ съ Райскимъ въ „Обрывѣ“, Штольцъ — съ Обломовымъ, дядя — съ Александромъ въ „Обыкновенной исторіи“. Какъ ни отличенъ чиновникъ Адуевъ отъ нигилиста Волохова, и этотъ послѣдній — отъ аккуратнаго, добродѣтельнаго нѣмца Штольца, у всѣхъ троицъ есть общая черта, особенно по контрасту съ лѣнивымъ обломовскимъ типомъ: у всѣхъ троицъ *разсудокъ преобладаетъ надъ чувствомъ, расчетъ надъ голосомъ сердца, практичность надъ воображеніемъ, способность къ дѣйствию надъ способностью къ созерцанію*. Слова, которыми Александръ характеризуетъ своего дядю, можно вполне примѣнить и къ Штольцу. „Дядя любитъ заниматься дѣломъ, что совѣтуетъ и мнѣ: „мы принадлежимъ къ обществу, — говоритъ онъ, — которое нуждается въ насъ“. Занимаясь, онъ не забываетъ и себя: „дѣло доставляетъ деньги, а деньги комфортъ, который онъ очень любитъ“. Штольцъ также весьма дорожитъ комфортомъ. Въ сущности его буржуазное счастье съ Ольгой ничѣмъ не лучше „фортуны“ чиновника Адуева.

Всѣ замѣчали, да и самъ авторъ сознается, что нѣмецъ Штольцъ — неудачная выдуманная фигура. Чувствуется утомленіе отъ длинныхъ и холодныхъ разговоровъ его съ Ольгой. Онъ тѣмъ болѣе теряетъ въ нашихъ глазахъ, что стоитъ рядомъ съ Обломовымъ, какъ автоматъ рядомъ съ живымъ человекомъ. Дядя въ „Обыкновенной исторіи“ нарисованъ тоже нѣсколько прямолинейно и сухо, болѣе искусно, чѣмъ художественно.

Какъ бы ни были велики шансы на побѣду и права на

превосходство *дѣятельнаго типа*, есть у него одинъ важный недостатокъ.

Въ „Обыкновенной исторіи“ дядя старается утѣшить племянника, испытывающаго неподдѣльное горе вслѣдствіе первыхъ разочарованій любви.

„ — Что мнѣ дѣлать съ Александромъ? говоритъ Адуевъ женѣ: — онъ тамъ у меня разревѣлся... Я уже не мало убѣждалъ его.

„ — Только убѣждалъ?

„ — И убѣдилъ: онъ согласился со мной... Тутъ, кажется, все, что нужно.

„ — Кажется все, а онъ плачетъ...

„ — Я не виноватъ, я сдѣлалъ все, чтобы утѣшить его.

„ — Что же ты сдѣлалъ?

„ — Мало ли?... и говорилъ битый часъ... даже въ горлѣ пересохло... всю теорію любви, точно на ладони, такъ и выложилъ, и денегъ предлагалъ, и ужиномъ и виномъ старался...

„ — А онъ все плачетъ?

„ — Такъ и реветъ! Подъ конецъ еще пуще.

„ — Удивительно! Пусти меня, я попробую...”

Она пошла къ Александру, „сѣла подлѣ него, посмотрѣла на него пристально, какъ только умѣютъ глядѣть иногда женщины, потомъ тихо отерла ему платкомъ глаза и поцѣловала въ лобъ, а онъ прильнулъ губами къ ея рукѣ... Черезъ часъ онъ вышелъ задумчивъ, но съ улыбкой, и уснулъ первый разъ покойно послѣ многихъ бессонныхъ ночей...”

Конечно, и практическій Штольцъ оказался бы въ этомъ случаѣ, подобно умному дядѣ, въ глупомъ, безпомощномъ положеніи и не сумѣлъ бы утѣшить несчастнаго такъ, какъ его утѣшила простая, непрактичная, но *любящая* женщина.

Вотъ непоправимая слабость этихъ гордыхъ людей, именующихъ себя „*грядущей новой силой*“. У нихъ *нѣтъ* любви.

Дайте человѣчеству роскошь знаній, утонченность культуры, все, чѣмъ такъ дорожитъ Штольцъ; дайте ему полное равенство матеріальныхъ благъ, справедливое удовлетвореніе потребностей, все, что требуетъ Маркъ Волоховъ; но если при этомъ вы откажете въ *божественной* любви, въ состраданіи, въ томъ братскомъ поцѣлуѣ, который одинъ только утѣшаетъ несчастныхъ, то всѣ дары будутъ тщетными, и



люди останутся такими же нищими и одинокими, какими были до сихъ поръ.

Штольцъ, Маркъ Волоховъ, дядя Александра — *только разумомъ* понимаютъ преимущество нравственнаго идеала, какъ понимаютъ устройство какой-нибудь полезной машины. но *сердцемъ* они мало любятъ людей и не *въряютъ въ божественную тайну міра*, — вотъ почему въ ихъ добродѣтели есть что-то холодное, сухое, жестокое и самолюбивое.

Они не поняли великой заповѣди: „*будьте просты, какъ дѣти*“, не поняли этихъ словъ, можетъ-быть, самыхъ прекрасныхъ, когда-либо на землѣ произнесенныхъ: „если имѣю даръ пророчества и знаю всѣ тайны, и имѣю всякое познание и всю вѣру, такъ что могу и горы переставлять, а не имѣю любви, то я ничто. И если я раздалъ все имѣніе мое и отдалъ тѣло мое на сожженіе, а любви не имѣю, нѣтъ мнѣ въ томъ никакой пользы.“

Мережковскій.

---

## Галлерея женскихъ портретовъ въ произведеніяхъ Гончарова.

„Къ особенностямъ таланта Гончарова, — писалъ еще въ 1848 г. Бѣлинскій, — принадлежитъ необыкновенное мастерство рисовать женскіе характеры. Онъ никогда не повторяетъ себя, ни одна женщина не напоминаетъ собой другую, и всѣ, какъ портреты, превосходны“. „Женщины его — живыя, вѣрныя дѣйствительности, созданія“. Эти слова, сказанныя по поводу перваго романа разбираемаго писателя, *Обыкновенная исторія*, вполне подтвердились всѣми позднѣйшими его произведеніями, какъ романами, такъ и *Литературнымъ вечеромъ*. У Гончарова находимъ цѣлую галлерею женскихъ образовъ различныхъ сословій, возрастовъ, характеровъ, взглядовъ на жизнь и образованіе. Всѣ они, начиная съ дворовой бабы до великосвѣтской красавицы, отъ просто-душной деревенской барышни до дѣвушки съ высшими, хотя и недостаточно опредѣленными, запросами отъ жизни, — всѣ носятъ на себѣ яркій отпечатокъ русской дѣйствительности. Опуская разнообразныя типы дворни, постараемся представить женщинъ Гончарова въ отдѣльныхъ группахъ. Передъ

нами, *во-первыхъ*, великосвѣтскія маменьки, Бѣловодовой, княгиня въ Верхлевѣ, тетка Бѣловодовой, тетка Ольги, княгиня въ *Литературномъ вечерѣ* и тамъ же графиня; *во-вторыхъ*, русскія помѣщицы, никогда не выѣзжавшія изъ деревень дальше ближайшаго уѣзднаго города, матери: Адуева, Обломова, бабушка, и, хотя живущая въ Петербургѣ, но сохранившая привычки деревенской помѣщицы, мать Наденьки; *въ-третьихъ*, воспитанницы великосвѣтскихъ маменекъ: Тафаева и Софья Николаевна Бѣловодова; *въ-четвертыхъ*, какъ контрастъ съ ними, натуры непосредственныя: Агафья Матвѣевна, Наташа, Мароенька; *въ-пятыхъ*, натуры исковерканныя: Уленька и Полина Критская (*Обрывъ*); *въ-шестыхъ*, наконецъ, женщины *новыя*, съ запросами отъ жизни: жена дяди Адуева, Елизавета Александровна, Наденька, Лиза, Ольга и Вѣра.

Женщины первой группы живутъ исключительно въ свѣтѣ, и для него только и готовятъ своихъ дочерей, его только мнѣніе уважаютъ, жестоко карая малѣйшее уклоненіе отъ его законовъ. Время у нихъ проходитъ въ визитахъ, разъѣздахъ по магазинамъ, спектаклямъ и пріемахъ у себя. Если и являются онѣ изрѣдка въ своихъ далекихъ помѣстьяхъ, то никогда „не спускаются до мелкаго люда, копошащагося вокругъ нихъ“, не входя ни въ какія сношенія съ сосѣдями. Забравъ въ руки бразды правленія, самовластно распоряжаются и мужемъ и дѣтьми, строго храня приличія своего круга, какъ мать Бѣловодовой; дорожа именемъ, репутаціей и важностью дома, платятъ, несмотря на скупость, долги членовъ семьи, какъ это дѣлаютъ тети Софьи, Пахотины, и считаютъ для себя униженнымъ входить въ хозяйственныя распоряженія, подобно теткѣ Ольги. Въ ихъ салонахъ не дозволяется говорить громко, и разговоръ рѣдко выходитъ изъ предѣловъ текущей жизни или родовыхъ воспоминаній. Райскій только въ комнатѣ Софьи могъ спорить съ ней, да и тутъ зоркій глазъ тетюшки не оставлялъ ихъ въ покоѣ даже изъ-за картъ... Если же при теткахъ затрогивались вопросы живые, глубокіе, то старухи, и тономъ и сентенціями, тотчасъ же клали на всякій разговоръ свою патентованную печать“. Если молодые люди въ этихъ замкнутыхъ семьяхъ чѣмъ-нибудь выражали свои чувства симпатіи не только къ людямъ низшаго круга, какъ Бѣловодова къ учителю



Ельнину, но даже и къ своимъ аристократическимъ знакомымъ, какъ графъ Миларш, на нихъ обрушивался гнѣвъ всей родни. Ольга могла свободно гулять и читать съ Обломовымъ только потому, что это былъ уже не очень молодой человѣкъ, и, по понятіямъ тетки, не могъ нашептывать дѣвущкѣ вредныхъ теорій или давать вредныя книги. Все было чинно, чопорно въ этомъ заколдованномъ мірѣ; всякое чувство дозволялось въ мѣру, и жилось скучно, смертельно скучно. За каждымъ важнымъ и неважнымъ шагомъ въ жизни стояло грозное: „que dira-t-on?“ Но какъ ни зорко слѣдитъ за молодымъ поколѣніемъ строгая маменька, дочки, при помощи кузеновъ, ухитряются тайкомъ знакомиться и съ запретными романами французскаго ультрареализма (княжна Тецкая). Изъ этого круга выдѣляются на литературномъ вечерѣ тонкая цѣнительница искусства, „съ глазами сфинкса и загадочной улыбкой“, графиня Синявская, и „тридцатилѣтняя вдовушка, съ дѣтскими глазами и вѣчной улыбкой, Лилина, всегда всѣми довольная, всѣхъ любившая, всѣми любимая, страстная охотница до домашнихъ спектаклей, всякихъ чтеній и концертовъ“.

Несравненно болѣе мѣста удѣляетъ писатель представителямъ міра захолустнаго помѣщичества. Заключенныя въ своихъ усадьбахъ, онѣ всю жизнь всецѣло посвящаютъ дѣтямъ и внукамъ и не знаютъ никого и ничего, кромѣ родного гнѣзда. Таковы жизнь и мечты о судьбѣ любимаго дѣтища у матерей Адуева, Обломова и Штольца; таковы же онѣ у матери Наденьки, и даже у бабушки. Мать Штольца, хотя и не помѣщица, и болѣе образована, но, живя въ гувернанткахъ, въ барскихъ домахъ, усвоила себѣ тотъ же идеалъ для своего сына. Въ противоположность грубому воспитанію мужа, она хочетъ видѣть въ сынѣ барченка бѣленькаго, прекрасно сложеннаго, съ маленькими руками и ногами, яснымъ лицомъ и свѣтлымъ взглядомъ, — словомъ, такого, на какихъ она наглядѣлась въ барскихъ домахъ. Въ будущемъ ей мерещился въ сынѣ идеалъ барина, которому не зачѣмъ вставать съ зарей, ходить по фабрикамъ и заводамъ, разбирать засаленныя записки мужиковъ, входить въ сношенія съ фабричными. Матери Обломова и во снѣ не снился никакой трудъ для ея Ильюши: онъ бариномъ родился, бариномъ и проведетъ всю жизнь. Живетъ она среди прижи-

валокъ и дворни, переходя отъ кофе къ чаю, отъ чая къ обѣду, сидитъ въ долгіе зимніе вечера съ чулкомъ въ рукахъ на диванѣ; развлекается святочнымъ наряжаньемъ, радуется прїѣзду гостей, съ которой можно обняться и поплакать, также для развлечения; и ограничиваетъ свое образованіе знаніемъ всевозможныхъ примѣтъ, не примиряясь съ мыслью, что Плюшъ необходимо ученье. Такова же и Анна Павловна Адудева. Также вѣрнѣе она въ сны и примѣты; думаетъ, что сына ея испортили въ Петербургѣ, и зоветъ Никитичну пошептать надъ спящимъ и подуть на воду. Всѣ ея заботы о сынѣ сводятся къ хорошей пищѣ, спокойному сну и его женитьбѣ. „Останься, — уговариваетъ она Александра, отправляющагося въ столицу; женился бы здѣсь, послалъ бы Богъ дѣточекъ; я бы ихъ няньчила, и жили бы безъ горя, безъ заботъ, и прожилъ бы ты вѣкъ свой мирно, тихо, никому бы не позавидовалъ“. Для счастья сына она готова даже покривить душой: Соню, ради которой она такъ удерживаетъ его въ деревнѣ, „можно и въ сторону, если встрѣтится невѣста у начальника, пли знатнаго и богатаго вельможи“. За здоровье и счастье дѣтища должны нести отвѣтъ всѣ: и дядя, и начальникъ, и дворовый человѣкъ Евсей. Она не можетъ понять, зачѣмъ ея Сашенькѣ надо работать, и осыпаетъ дядю градомъ упрековъ, когда Евсей доноситъ, что тотъ заставлялъ племянника писать, а не лежать на боку. По ея мнѣнію, работа — дѣло не барское, а холопское.

Неизмѣримо выше всѣхъ этихъ представительницъ старшаго женскаго поколѣнія — бабушка, не отличающаяся отъ нихъ образованіемъ, но зато превосходящая ихъ тонкимъ, непосредственнымъ умомъ, и даже гуманностью, — характеръ цѣльный, находчивый и рѣшительный, хотя, какъ уже мы видѣли, не чуждый предрасудковъ своего сословія и времени. Потерпѣвъ въ ранней юности жестокое крушеніе единственной сердечной привязанности, которое сломало бы всякую другую, обыкновенную, натуру, эта удивительная женщина не только не расплылась въ безплодномъ нытьѣ или, махнувъ рукой на все, не предалась, по страстной натурѣ, прожиганію жизни; но, глубоко спрятавъ въ душѣ тайну, которую выдала только внучкѣ, сумѣла, оставшись до старости вѣрной первой любви, сохранить такіа трогательно деликатныя отношенія къ Титу Никоничу и посвятить всю свою



жизнь счастьем ввучать. Безупречно проживъ долгій вѣкъ въ провинціальной глуши, она ни разу не подала повода къ сплетнѣ, и за распорядительность, умъ и доброту справедливо пользуется всеобщимъ уваженіемъ, никому не позволяющимъ снизойти въ обращеніи съ нею до малѣйшей фамиллярности. Между тѣмъ сама она, понимая человѣческую слабость, не только никого не давитъ высокомеріемъ, но великодушно терпитъ даже такихъ людей, какъ пьяница Опенкинъ, Полина Критская, даже такой „озорникъ“, какъ ненавистный Маркушка, котораго она всегда готова накормить, какъ бездомнаго, всѣми отверженнаго бѣдняка, уже не говори о симпатичномъ ей Леонтіи Козловѣ. Уступая предразсудку времени, когда люди, въ родѣ Нила Тычкова, радушно принимались въ нашемъ обществѣ, она терпитъ и его; но стоитъ только этому Тычкову забыться, оскорбить въ ея домѣ гостя, грубо отозваться о племянникѣ, — и она, полная чувства оскорбленнаго достоинства, не остановится передъ торжественнымъ изгнаніемъ изъ дома провинціальнаго туза, какой бы скандалъ изъ этого не вышелъ. Ограниченная тѣснымъ кругомъ выработанныхъ вѣками правилъ семейной и помѣщичьей мудрости, она въ значительной степени деспотка, твердо держащая въ рукахъ бразды правленія, и совершенно покоряетъ себѣ, до полного обезличенія, недалекую Марѣенку, которую по-своему и дѣлаетъ вполне счастливою, пробуетъ покорить и Вѣру и внука. Что же касается послѣдняго, то она вполне вѣрно, и не безъ остроумія, оцѣниваетъ его ничтожество для серьезнаго дѣла, несмотря на всю его разностороннюю талантливость, и только добродушно подсмѣивается надъ его чудачествами. Она во многомъ въ душѣ съ нимъ и соглашается и, во всякомъ случаѣ, любитъ съ нимъ бесѣдовать, — даже совѣтуется съ нимъ, какъ съ умнымъ и образованнымъ человѣкомъ, такъ что только опасеніе потерять свой авторитетъ мѣшаетъ ей подчасъ открыто признать справедливость его мнѣній.

Такой цѣльный, прекрасный, положительный женскій образъ, и притомъ, безъ утрирован, съ отрицательными, комическими чертами, со множествомъ уживающихся вмѣстѣ противорѣчій, принадлежитъ къ лучшимъ созданіямъ русской литературы. И если сравненіе этого лица съ цѣлой Россіей и кажется немного претенціознымъ, то нельзя не признать, что въ ба-

бушкѣ писатель чудно соединилъ съ тѣмъ, что внесла въ нее современная дѣйствительность, то лучше, идеальное, что вообще дается только избраннымъ женскимъ натурамъ: широту и глубину всепрощающей любви и признаніе неизбежности совершившихся фактовъ. Въ отживающей бабушкѣ прозрѣваемъ мы тѣхъ лучшихъ русскихъ женщинъ старшихъ поколѣній, которыя не съ брезгливой враждой и подозрительностью отнеслись къ своимъ юнымъ дочерямъ, а, напротивъ, съ любовью благословили ихъ на новую жизнь и новый трудъ, простивъ ихъ увлеченія, въ коихъ повинны не только онѣ сами, увлекшіяся, но и поколѣнія старшія, не умѣвшія вѣ-время предостеречь и направить своихъ питомцевъ.

Отъ представительницъ стараго поколѣнія переходимъ къ воспитаннымъ ими женщинамъ.

Софья Николаевна Бѣловодова — совершенный образецъ коммѣдотности. Ни одного рѣзкаго, ненужнаго движенія, ни одного скучнаго, утомленнаго взгляда, неосторожнаго или порывистаго слова не подмѣтилъ въ ней Райскій. Это не было преднамѣренное, искусственное спокойствіе, это было естественное слѣдствіе воспитанія, заморозившаго навсегда сердце великосвѣтской красавицы. Весь кодексъ ея нравственныхъ принциповъ сводился къ одному: не выходить изъ правилъ, — вотъ, кажется, и все. Она не только не знаетъ другой жизни, кромѣ той, которой живетъ она и жили ея предки, но ей не надо этого. „Я не знаю этихъ людей, — говоритъ она распинающемуся передъ ней Райскому, — я не понимаю ихъ жизни, мнѣ нѣтъ дѣла до нихъ; у меня все есть, мнѣ ничего не надо“. Когда Райскій говоритъ ей о деревни, рабочихъ бабахъ и ползающихъ на жнивѣ ребятишкахъ, она какъ будто чувствуетъ что-то неладное въ своемъ незнаніи всего этого; оправдывается, что ничего подобнаго не слыхала никогда отъ тетюшекъ, ни отъ мужа, ни отъ управляющаго, привозившаго ей тысячи, хочетъ даже когда-нибудь провести лѣто въ деревнѣ, и прежде всего не велѣтъ пускать ребятишекъ ползать съ собаками, а *этихъ* (беременныхъ) бабъ не посылать на работы. „Наконецъ, — говоритъ она, — я не буду брать своихъ карманныхъ денегъ“; но когда Райскій настойчиво пристаётъ къ ней, рисуя картины бѣдности, она нетерпѣливо останавливаетъ его словами: „C'est assez, cousin, возьмите деньги и дайте туда“. Даже



самый важный фактъ въ жизни женщины — замужество, для нея — явленіе совсѣмъ обыденное, совершающееся по разъ опредѣленному шаблону. На вопросъ Райскаго, какъ она вышла замужъ, она отвѣчаетъ: „Просто, какъ всѣ дѣлаютъ: Поль сдѣлалъ предложеніе черезъ княгиню, та сказала татаи, татаи теткамъ, позвали родныхъ, объявили рара. — А вы когда узнали? — Въ тотъ же день, разумѣется. Какой вопросъ! Не думаете ли вы, что меня принуждали?“ И замужемъ она была счастлива. Мужъ исполнялъ всѣ ея желанія, даже капризы; жили въ Парижѣ, она блистала при дворѣ, принимала, выѣзжала. — „Да, я была счастлива! — говоритъ Бѣловодова съ убѣжденіемъ, — и уже такъ счастлива я не буду!“ Авторитетъ тетокъ тяготѣетъ надъ нею всю жизнь, — не деспотическій, изъ-подъ котораго она, можетъ-быть, старалась бы выбиться, а, по ея мнѣнію, законный. — „Какъ же безъ тетусебъ?“ — говоритъ она Райскому. Графа Милари она принимаетъ потому, что рара и *mes tantes* его принимаютъ. Онъ вездѣ принятъ, очень скромный, деликатный, прекрасно воспитанъ. Но и съ этимъ деликатнымъ, прекрасно воспитаннымъ, она не могла завязать болѣе близкаго знакомства... Натура совсѣмъ обыкновенная, не выдающаяся умомъ, блещущая красотой статуи, она вполне подчинялась окружающему; какъ статуя же, отлилась она въ неподвижныя формы и, недоступная ничему живому, не могла откликнуться ни на какой призывъ къ участію въ общечеловѣческой жизни.

Яркій контрастъ съ сентиментальной, отталкивающей эгоисткой, Тафаевой, и „мраморной красавицей“ Бѣловодовой, представляютъ два высоко симпатичные образа совсѣмъ уже непосредственныхъ, нетронутыхъ условными приличіями, натуръ: Наташа и вдова Пшеницына.

Кроткая, ласковая, полная безавѣтной любви, ни на что не претендующая, эта милая дѣвушка, Наташа, посвящая въ себѣ родовой разрушительный недугъ чахотки, инстинктивно видитъ въ Райскомъ что-то высшее, поэтическое. Она полюбила его „не страстью, а какою-то, ничѣмъ не возмущимую, ничего не боящуюся, любовью, безъ слезъ, безъ страданій, безъ жертвъ, потому что и не понимала, что такое жертва; не понимала, какъ можно полюбить, и опять не полюбить. Для нея любить значило дышать, жить, не лю-

бить — перестать дышать и жить“. Для Наташи нѣтъ никакихъ требованій, никакихъ желаній. Цѣлыхъ два года неослабно тянется, до самой ея смерти, это безкорыстная любовь, съ рѣдкими радостями и частыми горестями. Наташа не требовала отъ друга не только его постоянного присутствія около себя, но покорно смотрѣла на его долгія и частыя отлучки; не упрекая и слезами, а „той же улыбкой, тихимъ свѣтомъ глазъ, шопотомъ нѣжной и кроткой любви“, встрѣчала его послѣ мѣсяца разлуки. „Она и не подозрѣвала, что можно сердиться, плакать, ревновать, желать, даже требовать чего-нибудь именемъ своихъ правъ. У ней было одно желаніе и право — любить; онъ же, въ своихъ поискахъ за бурными страстями, забывалъ, что однимъ только сердцемъ жила его бѣдная Наташа. Не умѣя даже оградить себя отъ грубыхъ выходокъ и обидъ окружающихъ, она покорно принимала ихъ, плача и страдая про себя, въ глубокой вѣрѣ въ крѣпко засѣвшее убѣжденіе — *такъ надо*. Ей и въ голову не приходило, что въ жизни можно искать еще чего-нибудь, кромѣ любви. „Она никогда не искала смысла той апатіи, скуки и молчанія, съ которыми другъ ея иногда смотрѣлъ на нее; не догадывалась объ отжившей любви, и не поняла бы никогда причинъ“. А причина была проста: не было и въ этой святой любви никакого разумнаго содержанія, а одна голубиная кротость и чистота Наташи не удержали подлѣ нея Райскаго. И черезъ два года, подавленная, частію, наследственнымъ недугомъ, частію, всѣми этими *такъ надо*, она тихо скончалась на рукахъ своего друга. „Она голубь, а не женщина — говоритъ про нее Райскій. — Это былъ чистый свѣтлый образъ, какъ Перуджиніевская фигура, простодушно и безсознательно жившій и любившій, съ любовью пришедшій въ жизнь и съ любовью отходящій отъ нея, съ кроткой и тихой молитвой“. Гончаровъ, черезчуръ строго относящійся къ своему творчеству, напрасно считаетъ этотъ образъ *блѣднымъ*. Свѣтлымъ огонькомъ, ласково грѣющимъ читателя, блещетъ онъ среди всѣхъ другихъ, болѣе яркихъ, созданій, и, какъ намъ кажется, если бы не фигурирующій въ романѣ, а *настоящій* живой, романтикъ Райскій, сумѣлъ бы на нѣсколькихъ страницахъ создать такой удивительный эпизодъ, то онъ, этотъ Райскій, не былъ бы той ничтожностью, какой онъ является въ *Обрывѣ*, а, справедливо увѣровавъ



въ свой талантъ, сталъ бы великимъ писателемъ, подобно самому Гончарову.

Другой примѣръ беззавѣтной, глубокой, забывающей о себѣ, любви — Агаѳья Матвѣевна Пшеницына. Наташа образованнѣе, развитѣе ея: читаетъ книги, и даже дѣлаетъ на нихъ помѣтки; Агаѳья Матвѣевна, на предложеніе Обломова почитать, „медленно шевеля губами, прочла про себя заглавіе и возвратила книгу, сказавъ, что ужò, когда придутъ святки, заставитъ Ваню почитать вслухъ, а теперь некогда“. Наташа во время своей короткой любви страдала; къ Пшеницыной судьба была благосклоннѣе: послала ей не требовательнаго мечтателя, Райскаго, а добродушнаго Плью Ильича, котораго она могла кормить, обшивать, лелѣять. Эти заботы внесли смыслъ и содержаніе въ ея маленькую жизнь и дали нѣсколько лѣтъ такого полного счастья, о какомъ ей никогда и во снѣ не снилось. „Ничье обожаніе (даже считая тутъ и чувства Ольги въ лучшую пору ея увлеченія), — говоритъ Дружининъ, — не трогаетъ насъ такъ, какъ любовь Агаѳьи Матвѣевны къ Обломову, — той самой Агаѳьи Матвѣевны Пшеницыной, которая съ перваго своего появленія въ романѣ показалась намъ злымъ ангеломъ Пльи Ильича, и увы! — дѣйствительно сдѣлалось его злымъ ангеломъ“. „Тихая, преданная, всякую минуту готовая умереть за своего друга, *барина*, она дѣйствительно загубила его въ конецъ, навалила гробовой камень надъ всѣми его стремленіями, вернула его въ зіяющую пучину на мигъ оставленной обломовщины: но этой женщинѣ все будетъ прощено, за то, что она много любила“. Говоря о послѣднемъ появленіи ея въ романѣ, уже послѣ смерти Обломова, критикъ справедливо замѣчаетъ, что это „такія строки, отъ которыхъ сердце разрывается, слезы льются на книгу, и душа зоркаго читателя улетаетъ въ область высочайшей поэзіи“.

Къ той же группѣ симпатичныхъ непосредственныхъ натуръ относится и прелестный образъ Мароенки. Проживая, по выходѣ изъ пансіона, вплоть до замужества, безвыѣздно въ деревнѣ, никогда, ни на минуту, не выходя изъ повиновенія бабушкѣ, она сохранилась чистымъ наивнымъ ребенкомъ, котораго не коснулись ни одна серіозная мысль, ни малѣйшій вопросъ, а тѣмъ болѣе анализъ своей или окружающей жизни. „Вотъ она кто, — говоритъ про Мароенку Вѣра Викентьеву, указывая на бабочку, кружившуюся около

цвѣтка, — тропьте неосторожно, цвѣтъ крыльевъ пропадетъ, пожалуй, и совсѣмъ крыло оборвете. Смотрите же, балуйте, любите, ласкайте ее, но Боже сохрани, огорчить!“ Всегда веселая и довольная, Мароенька вся ушла въ хозяйство, въ уходъ за цвѣтами и птицами; любить возиться съ крестьянскими ребятишками, крестить въ деревнѣ, выпрашивая у бабушки бабамъ холста; распѣваетъ, какъ птичка, пѣсни, а когда соскучится, то и читаетъ, но только такіе романы, гдѣ дѣло кончается свадьбой; также любить перечитывать Гулливеровы путешествія, Кота Мура, Песочнаго человѣка, Братевъ Серапіоновъ. Козловъ давалъ ей читать и серіозныя книги, напр. *Les martyres*, Шатобріана. — Мишле, Гиббона; но она нашла, что все это слишкомъ для нея *высоко и величественно*, и что „исторію нужно читать только учителямъ, чтобы учить“ — и всякое серіозное чтеніе бросила. Она считала невозможнымъ полюбить безъ спроса бабушки, и узнавъ, совсѣмъ для себя неожиданно, что какъ-то невзначай полюбила Впкентьева, въ ужасѣ запирается ночью на постель къ бабушкѣ каяться въ великомъ грѣхѣ. Самый бракъ этого ребенка напоминаетъ дѣтскую игру. — „Боялась я, — говоритъ бабушка про жениха съ невѣстой, — что молоды оба ужъ очень, а какъ погляжу на нихъ да подумаю, такъ вижу, что они никогда старше и не будутъ“. — Съ тобой, — обращается она къ жениху, — а не съ другимъ, Мароенька только и могла слушать соловья“, — и, боясь, чтобы внучка „не наглядѣлась на всякое новое распутство“ въ столицѣ или за границей, и не испортилась, наставляетъ, чтобы молодые жили въ деревнѣ. Не измѣнилась Мароенька и послѣ помолвки, — развѣ только сдѣлалась какъ будто посдержаннѣе, и уже не скакала, какъ коза. „Поэзія чистая, свѣжая, природная, всѣмъ ясная и открытая, билась живымъ родникомъ въ здоровьи этихъ взрослыхъ ребятишекъ, въ ихъ молодости, открытыхъ, неиспорченныхъ сердцахъ. Ихъ не манила къ себѣ даль; у нихъ не было никакого тумана, никакихъ гаданій. Перспектива была ясна, проста и обоемъ имъ одинаково открыта. Горизонтъ наблюденій и чувствъ ихъ былъ тѣсенъ“. Подобный характеръ, какъ Мароенька, могъ образоваться и сохраниться такимъ частымъ и непосредственнымъ только въ далекой Малиновкѣ, подъ неусыпнымъ присмотромъ и руководствомъ бабушки, такъ что авторъ,



желая сдѣлать ее, по-своему, счастливой, поступилъ очень хорошо, выдавъ ее замужъ именно за Викентьева.

На рубежѣ между довольными своей судьбой или, такъ или иначе, примирившимися съ нею, и женщинами, стремящимися впередъ — извѣдать невѣдомую, манящую къ себѣ, даль жизни, стоитъ жена Петра Ивановича Адуева, Елизавета Александровна. Вышла она замужъ почти дѣвочкой, безъ запросовъ отъ семейной жизни, — вышла потому, что посватался женихъ, приличный, съ положеніемъ на службѣ и въ обществѣ, не старшій, съ репутаціей человѣка вполне порядочнаго. О любви не было и рѣчи. Вскорѣ послѣ знакомства, онъ заговорилъ о свадьбѣ, какъ бы давая знать, что любовь тутъ сама собою разумѣется, и что толковать о ней много нечего. Онъ окружилъ жену комфортомъ, — даже роскошью, исполнялъ малѣйшія ея желанія, пригласилъ въ домъ людей, которые ей нравились, — словомъ, всѣ наружныя условія счастья, за которымъ гоняется толпа, исполнялись надъ ней, какъ по заданной программѣ, и все избавляло ее отъ мелкихъ и горькихъ заботъ, сушащихъ сердце и грудь бѣдняковъ. Чего бы, кажется, ей желать, и многія, на ея мѣстѣ, вполне были бы счастливы! Но Елизавета Александровна не удовольствовалась ролью хозяйки и жены въ самомъ прозаическомъ смыслѣ этихъ словъ и искала въ отношеніяхъ къ себѣ мужа любви и ласки, а мужъ, не любя искреннихъ проявленій сердца, не вѣрилъ этой потребности и въ женѣ. Поклоняясь однѣмъ цѣлямъ положительнымъ, онъ требовалъ, чтобы и жена жила не какою-то, по его мнѣнію, мечтательною жизнью. Совсѣмъ упустивъ изъ виду, что у Елизаветы Александровны не было ни картъ, ни службы, ни завода, ни прірушекъ съ пріятелями, — словомъ, ничего такого, что наполняло его жизнь, ни, наконецъ, дѣтей, — онъ создалъ для нея тюрьму, изъ которой не было выхода. Подробно развивая Александру, въ видѣ утѣшенія, теорію женитьбы и супружеской жизни, Петръ Ивановичъ говоритъ: „чтобы быть счастливымъ съ женщиной разумно, надо много условій... Надо умѣть образовать изъ дѣвушки женщину по обдуманному плану, — по методѣ, если хочешь, чтобы она поняла и исполнила свое назначеніе; надо очертить ее магическимъ кругомъ, не очень тѣсно, чтобы она не замѣтила границъ и не переступила ихъ, хитро овладѣть не только

ея сердцемъ, — это что — это — скользкое и непрочное обладаніе, — а умомъ, волей, подчинить ея вкусъ и нравъ своему, чтобы она смотрѣла на вещи чрезъ тебя, думала твоимъ умомъ“. И все это, по мнѣнію дядюшки, нужно сдѣлать такъ, чтобы жена отнюдь не чувствовала себя рабой, не пзмѣняя ни въ чемъ женскаго характера и достоинства. Слѣдуетъ только предоставить ей свободу дѣйствій въ ея сферѣ, но „пусть за каждымъ ея движеніемъ, вздохомъ, поступкомъ, наблюдаетъ проницательный умъ мужчины, чтобы каждое мгновенное волненіе, вспышка, зародышъ чувства, всегда и всюду встрѣчали снаружи равнодушный, но недремлющій глазъ мужа“. Слѣдуетъ учредить надъ женой постоянный контроль безъ всякой тираніи, и тогда только можно вести ее желаемымъ путемъ. Но даже и по мнѣнію этого практическаго, несомнѣвающагося, философа, такой путь не легокъ. „Учись, Александръ, — замѣчаетъ онъ, когда его теоріи подслушиваетъ супруга, — а лучше не женись, или возьми дуру: тебѣ не сладить съ умной женщиной: — мудрена школа“.

И вотъ, очерченная магическимъ кругомъ супружеской заботливости, Елизавета Александровна, не находя возможнымъ изъ него вырваться или, по крайней мѣрѣ, примириться съ той ролью, которую назначалъ ей мужъ, страдаетъ втихомолку, одна, не показывая своихъ слезъ никому. „Ей вмѣнили бы въ преступленіе эти невидимыя, неосызаемыя, безыменныя страданія, безъ ранъ, безъ крови, прикрытыя не лохмотьями, а бархатомъ“. Она готова на всякія страданія, лишь бы только *жить полною жизнью, лишь бы чувствовать свое существованіе, а не прозябать*. Этимъ состояніемъ духа, ищущаго хоть чѣмъ-нибудь наполнить пустую жизнь, и объясняется, до нѣкоторой степени, то особенное участіе, которое принимаетъ Елизавета Александровна въ приторныхъ изліяніяхъ племянника, хотя въ этомъ участіи не малую роль играетъ и, вообще, склонность женщинъ къ утѣшенію страждущихъ, и нѣкоторое сходство съ положеніемъ племянника ея собственной судьбы. Теорія Петра Пвановича принесла плоды, но не такіе, какихъ онъ самопадѣянно ожидалъ: онъ-то самъ съ своей теоріей цѣлыхъ десять лѣтъ былъ счастливъ вполне, но любящая натура жены не выдержала глухого, пассивнаго протеста его без-



сердечію, и, угасая мало-по-малу, Елизавета Александровна изъ цвѣтущей, полной силъ, дѣвушки обратилась въ блѣдную, вялую, ко всему равнодушную, не имѣющую уже ровно никакихъ желаній, женщину. Спohватившись, Петръ Ивановичъ предоставляет ей полную свободу; но уже поздно. „Зачѣмъ мнѣ свобода, — говоритъ она: — что я съ ней стану дѣлать? Ты до сихъ поръ такъ хорошо, такъ умно, распоряжался и мной и собою, что я отвыкла отъ своей воли“. Авторъ обрываетъ романъ на великолѣпной сценѣ между супругами. Дядюшка готовъ бросить службу и заводъ и ѣхать съ женой въ Италію; но намъ нѣтъ надобности знать, привелъ ли онъ свое рѣшеніе въ исполненіе: жизнь бѣдной женщины сломана окончательно, и никакія цѣлебныя воды, никакой воздухъ не возстановитъ ея силъ. Этотъ трогательный, цѣльный образъ — одинъ изъ самыхъ симпатичныхъ образовъ гончаровскихъ женщинъ.

Если Елизавета Александровна угасаетъ отъ недостатка свободы, Наденька, наоборотъ, дѣлаетъ, что вздумается, и любить, кого хочетъ. Она, по выраженію автора, уже не безусловно покорная дочь своей матери, которая смутно чувствуетъ, что уступаетъ ей во всемъ. Наденька сама, безъ спросу, полюбила Адуева, считая за собою право распоряжаться по-своему своимъ внутреннимъ міромъ и самимъ Александромъ, которымъ, хорошо его изучивъ, овладѣла и командуетъ. Но это командованіе не удовлетворяетъ ее, и, смутно понимая ничтожность этого юноши, она начинаетъ скучать, видя, что онъ совсѣмъ не то, чего бы ей хотѣлось. Его стишки, вздохи, нѣжности, мечты о жизни вдвоемъ, вдали отъ людей, только для себя, въ узкой сферѣ уединенной отъ міра семьи, для нея недостаточны, а чего именно не хватаетъ Александру, чтобы продолжать нравиться, она не знаетъ, какъ и вообще дѣвушка того времени и быта „не имѣла ровно никакого понятія ни о какихъ идеалахъ мужского достоинства, силы, и какой силы“. Александръ просто не далъ ей никакого содержанія и надобѣлъ пустяками и узенькимъ эгоизмомъ. И вотъ, совершенно естественно, она переноситъ свою привязанность на блестящаго, остроумнаго и талантливаго графа, хотя тоже пустого, неспособнаго ни къ какому серіозному дѣлу, но все же на человѣка болѣе живого, чѣмъ Адуевъ.

Ольга Ильинская — дѣвушка умная, гордая, самолюбивая. Самолюбіе — рычагъ всей ея жизни. Она „плакала бы и не уснула ночь, если бѣ Обломовъ не похвалилъ ея пѣнія“. Это самолюбіе уязвлено, когда Обломовъ, послѣ невольно сорвавшагося съ языка слова любви, говоритъ, будто это неправда. Гордость мѣшаетъ ей, почти еще дѣвочкѣ, спрашивать Штольца о предметахъ, ея интересующихъ, но недостаточно ей понятныхъ. Передъ объясненіемъ Штольцу за границей мотивовъ любви къ Обломову, она сомнѣвается, опасаясь показаться такой *мелкой, ничтожной, слабой*. Когда ее, уже жену Штольца, одолеваетъ сомнѣніе, она не сразу рѣшается повѣрить ихъ мужу... „Какъ? она, его кумиръ, безъ сердца, съ черствымъ, ничѣмъ недовольнымъ, умомъ? Что же изъ нея выйдетъ? Неужели снѣій чудокъ? Какъ она *падетъ*, когда откроются передъ нимъ эти новыя, небывалыя, но, конечно, извѣстныя ему страданія!“

Ольга, какъ и Наденька, — барышня: хозяйствомъ не занимается, вышиваетъ по канвѣ, ѣздитъ съ теткой по магазинамъ, въ спектакли, принимаетъ гостей и выѣзжаетъ сама: жизнь знаетъ только со стороны свѣтлой. Есть у нея имѣніе, которымъ управляетъ какой-то, совсѣмъ чуждый ей, старый другъ тетки, баронъ Лангвагенъ; она не интересуется, откуда и какъ достаются деньги на ея прихоти; заставляетъ Обломова брать кресла въ оперѣ, не справляясь о томъ, есть ли у него на это средства. Въ дѣла любимаго человѣка не входитъ вовсе. „Я не знаю, какія у васъ тамъ дѣла — постройки, что ли? Штолецъ просилъ написать, потому я и спросила“...

Жизнь Ольги, конечно, содержательнѣе жизни Елизаветы Александровны и Наденьки, — интересовъ у нея больше. Она любитъ музыку, какъ искусство, знаетъ въ ней толкъ и находитъ наслажденіе; прекрасно поетъ, и не потому, что на пѣніе мода, а какъ артистка; читаетъ книги, газеты, слѣдитъ за иностранной литературой; ей хочется все знать, все понимать; съ горечью восклицаетъ она: „зачѣмъ насъ, женщинъ, не учатъ?...“ Умъ ея требуетъ постоянной пищи; упорно, назойливо, добивается она отвѣтовъ на интересующіе ее вопросы и у Обломова и у Штольца. Проводя время въ Парижѣ, въ Швейцаріи, она старается обогатить свой пылкій умъ познаніями по всѣмъ родамъ наукъ и искусствъ,



и все читаетъ, и читаетъ, такъ что не только бѣдный Илья Ильичъ, даже самъ любознательный Штольцъ не успѣваютъ прочитать всѣхъ книгъ, по которымъ нужно дать отвѣты на вопросы и недоумѣнія барышни.

Но одно чтеніе книгъ не даетъ Ольгѣ прочныхъ нравственныхъ устоевъ; одна головная, разсудочная работа не объясняетъ жизни. Въ тяжелыя минуты, когда настоятельно необходимо рѣшить вопросъ о любви къ Обломову, ей приходитъ въ голову соображеніе, какъ бы въ данномъ случаѣ поступила Сонечка, — и Ольга, въ концѣ концовъ, говоритъ, что любить его — не *судьба*. А почувствовавъ, что любить Штольца, она недоумѣваетъ, какъ отнестись къ прежней привязанности, и даже опасается, не безнравственно ли любить во второй разъ, такъ какъ еще слишкомъ крѣпки въ памяти авторитетъ и тетокъ и всѣхъ старыхъ дѣвъ, разныхъ умницъ, даже писателей — *мыслителей о любви*. Наконецъ, тѣ же Сонечки всѣ, въ одинъ голосъ, твердили, что женщина истинно любить только однажды. Распространяется она и о цѣли жизни; но, несмотря на всѣ прочитанныя книги, эта цѣль для нея очень неясна, что видно и изъ ея неопредѣленнаго недовольства жизнью со Штольцемъ. Сама любовь, которая, повидимому, для нея дороже всего, въ ея глазахъ представляется то *долгомъ*, *обязанностью*, то *какимъ-то праздникомъ*, — словомъ, она и сама не знаетъ, чего хочетъ, въ чемъ откровенно и признается Обломову и Штольцу.

Въ двадцать лѣтъ она встрѣчается съ Обломовымъ. Штольцъ задаетъ ей задачу будить товарища, не давать ему спать. Ей сначала льститъ роль спасительницы. „Она мигомъ взвѣсила свою власть надъ нимъ; ей правилась эта роль путеводной звѣзды, луча свѣта, который она разольетъ надъ стоячимъ озеромъ, и отразится въ немъ, — и она разнообразно торжесгвовала свое первенство въ этомъ поединкѣ“. Вотъ источникъ этой не непосредственной, сердечной, любви, но *головной, разсудочной*, какъ и позднѣйшая любовь къ Штольцу, поражавшему ее всегда именно *своимъ умомъ*.

Но вотъ, вмѣсто Обломова, съ которымъ бы она, по собственному признанію, захла, является Штольцъ, раскрывающій передъ ней новыя перспективы иной, болѣе подходящей къ ней, жизни, и она смѣло даетъ ему согласіе на бракъ. Начинается снова педагогія: сперва она училась-было

одна, но, за отъѣздомъ Штольца, не довоспиталась, и вотъ теперь, образованный, испытанный въ горнилѣ опыта коммерсантъ принимается довоспитывать Ольгу, постепенно умѣряя и укладывая ея юношескіе порывы въ опредѣленные размѣры: принимается прерывать „лихорадку молодости“, „бороться съ живостію ея натуры, давать плавное теченіе жизни“. Шли годы, и мало-по-малу улеглись порывы, и наступила тишина полная, среди комфорта, и даже богатства. „Ольга довоспиталась уже до строгаго пониманія жизни“, и въ семьѣ любящихъ супруговъ царствовала полная гармонія. Но Штольцу не удалось наполнить всей бездны ея души, и она не успокоилась на одномъ пониманіи дѣйствительности и узнаніи всякихъ, даже не женскихъ, наукъ, — философій, соціологій, политической экономіи. Штольцъ, какъ ни погружалъ жену не только въ науку, но даже и въ свои собственныя коммерческія и заводскія дѣла, упустилъ изъ виду, что все, что занимало его самого, онъ могъ лично приложить къ дѣлу, а она оставалась только съ однимъ знаніемъ да пониманіемъ, безо всякой практической, самостоятельной, дѣятельности. Такимъ образомъ, эта жизнь, при всей своей прелести и содержательности, въ концѣ концовъ стала тяготить Ольгу: опять явились неопредѣленные запросы, все такъ же для нея самой неясные; она стала скучать, пробовала развлекаться въ обществѣ; но свѣтскія удовольствія, какъ и одни умные разговоры, не удовлетворяли ея; по цѣлымъ днямъ пробуетъ она возиться съ дѣтьми, и, наконецъ, открывается мужу. Но тотъ объясняетъ этотъ недугъ, какъ и Петръ Ивановичъ, нервѣми да еще какимъ-то „міровымъ недугомъ, общимъ для всего человѣчества, брызнувшимъ на нее одной каплей“. „Мы не титаны, — говоритъ онъ, — мы не пойдемъ съ Манфредами и Фаустами на дерзкую борьбу съ мятежными вопросами; не примемъ ихъ вызова, склонимъ голову и смиренно переживемъ трудную минуту... Неужели туманъ, грусть, какія-то сомнѣнія, вопросы, могутъ лишить насъ нашего блага? Вотъ, если придутъ, напр., болѣзни, потеря состоянія и, какъ слѣдствіе этого, необходимость труда, тогда поневолѣ придется задуматься, а теперь надо беречь силы и всѣ вопросы оставить“.

Съ особенной любовью обрисована Гончаровымъ Вѣра — типъ новой русской женщины, развившейся подъ непосред-



ственными вліянiями новыхъ идей, которыя она не только пассивно восприняла, но и попробовала приложить къ жизни, съ какимъ бы рискомъ проба ни была сопряжена. Это — уже не бѣломраморная Софья Николаевна Бѣловодова, недоступная никакимъ идеямъ и вліянiямъ; не хрупкая, нѣжная, Елизавета Александровна, увядающая, какъ цвѣтокъ, отъ недостатка тепла; не Ольга, наконецъ, очень много думающая о себѣ самой, сначала ищущая опоры въ Обломовѣ, а потомъ опирающаяся на Штольца, который въ романѣ все-таки остается для нея авторитетомъ. Вѣра, какъ характеръ, гораздо сложнѣе и глубже ихъ всѣхъ, и невольно увлекаетъ читателя, какъ и самого автора, граціей, сердечностью, здравымъ смысломъ и даровитостью натуры. Она серіознѣе ихъ всѣхъ, способна къ широкому умственному развитію и ищетъ въ чтеніи не только пополненiя празднаго досуга или удовлетворенiя самолюбія. Книга для нея только средство, но не цѣль, — и не ея вина, что вокругъ нея, при всемъ обиліи серіознаго чтенiя, нѣтъ никого, кто бы могъ въ немъ поруководить ею, систематизировать, ярко отдѣлать правду отъ лжи, вѣрное, положительное, отъ гипотезъ и утопій. Все это тѣмъ для нея необходимѣе, что ни пансіонъ, ни семья, ни общество не дали ей никакой солидной подготовки и правильнаго развитiя, какія даются только систематическимъ образованiемъ и общенiемъ съ серіозно образованными людьми. Развиватели Вѣры, и Леонтій Козловъ, и священникъ, и Райскій, и Маркъ, слишкомъ мелки, теоретичны для такой роли. Предоставленная самой себѣ, Вѣра запутывается въ своихъ исканiяхъ правды, и, какъ героиня древней трагедіи, фатально влекомая силою неизбежнаго рока къ гибели, быстрыми шагами идетъ къ обрыву, повинувшись своей страстной натурѣ. Въ первый разъ мы встрѣчаемъ въ романѣ Вѣру дѣвочкой, лѣтъ шести, въ первый пріѣздъ Райскаго въ Малиновку. Уже тогда проявляются въ ней задатки будущей самостоятельности: нежеланіе всегда и во всемъ подчиняться первому слову бабушки, подобно Марѣенкѣ, и любознательность. Она никогда не плачетъ изъ пустяковъ, а если и случится поплакать, то такъ, чтобы никто слезъ не видалъ; огорчатъ ее, она дѣлается молчаливой, потомъ заберется въ глушь сада, и непременно наѣстся *вороняшки* — черной, приторной ягоды,

ѣсть которую бабушка строго запрещала, и ни за что не соглашается попросить прощенія, если сама кого-нибудь обидитъ. Дѣвочку интересуеъ таинственность стараго дома: она безъ страха обѣгаетъ его весь, показывая Райскому прекрасный видъ изъ оконъ, обращая его вниманіе на старинные портреты и книги; съ сосредоточеннымъ любопытствомъ, молча, слушаетъ его игру на фортепіано, и смотритъ, какъ онъ рисуетъ. Съ Вѣрой, уже взрослой дѣвушкой, авторъ, еще до ея появленія въ романѣ, знакомитъ изъ отзыва о ней разныхъ лицъ. Бабушка, въ письмѣ къ внучку, называетъ ее „дикой, нелюдимкой, доброй и умной, но ни во что не входящей“. Старуха серьезно озабочена странностями внучки, и со вздохомъ замѣчаетъ: „Странная она такая, Богъ знаетъ, въ кого уродилась... Гордая, ни за что не приняла бы отъ тебя подарка, какъ Мароенька“. По словамъ Уленьки Козловой, Вѣра, „какъ домовой, сидитъ въ углу, слова отъ нея не добьешься“. Мароенька рассказываетъ Райскому, что сестра „не рисуетъ, не играетъ, не занимается рукодѣліями; читаетъ, но никогда не скажетъ — что, и книги не покажетъ, не скажетъ даже, откуда достала. Вѣрочкѣ все скучно: она часто груститъ, сидитъ какъ каменная, все ей будто чужое здѣсь. Ей бы надо куда-нибудь уѣхать: она не здѣшняя. Она не боится, а даже любить ходить въ обрывъ, въ глухую, заброшенную бесѣдку“. Заинтересованный этими рассказами, Райскій, еще до пріѣзда Вѣры, посѣщаетъ ея комнату въ старомъ домѣ, въ надеждѣ по обстановкѣ составить хоть какое-нибудь понятіе объ интересной кузинѣ, но жестоко разочаровывается. Комната ничѣмъ, кромѣ суровой простоты, особеннымъ не отличается: ни картинъ, ни книгъ, ни работы, ни даже клочка бумаги, словомъ, никакой мелочи, которая дала бы хотя малѣйшее указаніе на вкусы обитательницы. Искусно заинтересовавъ читателя Вѣрой, авторъ выводитъ, наконецъ, ее самое. Съ первой же встрѣчи Райскій наталкивается на нежеланіе вступать въ длинные, душевные, какъ ему хочется, разговоры, на которые онъ не имѣетъ пока никакого права. При первой же попыткѣ ознакомиться съ тѣмъ, что она читаетъ, Вѣра преспокойно беретъ книгу и прячетъ въ шкафъ. Наивный братецъ хочетъ подарить ей старый домъ, — она предлагаетъ ему деньги, свои пятьдесятъ ты-



сячь, только бы не разставаться съ любимымъ уголкумъ; когда же Райскій отъ денегъ отказывается, — принимаетъ подарокъ совершенно равнодушно. „Она тайна, она мерцаіе, — витіевато думаетъ романтикъ, — какъ ночь, она полна мглы и искръ, прелести и чудесъ“. Эту-то тайну старается онъ разгадать, и берется за дѣло такъ неловко, что отталкиваетъ отъ себя Вѣру. Его допросы о томъ, что она читаетъ, что любить, вызываютъ съ ея стороны лишь односложные отвѣты, показывающіе Райскому, что она вовсе не намѣрена пускать брата въ свой замкнутый внутренній міръ, не имѣя ни малѣйшаго желанія дѣлиться съ чуждымъ ей человѣкомъ мыслями и впечатлѣніями. Не добившись не только согласія, но даже отвѣта на предложеніе читать и учиться вмѣстѣ, Райскій приходитъ къ заключенію, что Вѣру учить не зачѣмъ и нечему. „Она или все знаетъ, или не хочетъ ничего знать“, — думаетъ онъ, — и задаетъ себѣ вопросъ: „Кто она, что она? Лукавая кокетка, тонкая актриса, или глубокая женская натура, — одна изъ тѣхъ, которыя по волѣ своей играютъ жизнью человѣка, топчутъ ее, заставляя влачить жалкое существованіе, или даютъ уже такое счастье, лучше, жарче, живѣе котораго не дается человѣку?“ Райскій не представляетъ для Вѣры никакого интереса; для нея совершенно все равно, тутъ ли онъ, нѣтъ ли; на искусство его она смотритъ равнодушно, а назойливые разспросы и желаніе сблизиться заставляютъ только глубже уйти въ свою раковину. Его комплименты и любовныя пошлости вызываютъ въ дѣвушкѣ негодованіе. Пытаясь опредѣлить Вѣру, Райскій называетъ ее „мудрой, сосредоченной, рѣшительной“; и дѣйствительно, она живетъ у бабушки совершенно самостоятельно, подчиняясь собственнымъ желаніямъ и вкусамъ, — живетъ въ старомъ домѣ, проводя время, большею частію, одна, и не любитъ, чтобы нарушали ея уединеніе; вечера не сидитъ со старухой, какъ Марѣенка, даже кофе пьетъ не всегда съ семьей. Бабушка, хоть и ворчитъ на внучку, называя ее привередницей, упрямницей, дикаркой; но не заставляетъ дѣлать по-своему, не зоветъ съ собой гулять, или кататься въ поле, зная, что Вѣра такихъ прогулокъ не любитъ, и все равно не пойдетъ. Отвоевавъ себѣ полную свободу, Вѣра очень дорожитъ послѣдней, ревниво оберегая отъ кузена какъ эту свободу, такъ и самостоятельность въ поступкахъ, и требуя у него отвѣта,

по какому праву онъ ее преслѣдуетъ, стараясь вызвать ея сокровенныя мысли. Отвѣчая на его разглагольствованія о дружбѣ, она говоритъ: „я знаю, что свободна, и никто не въ правѣ требовать отъ меня отчета. Я не боюсь никого, и если не буду свободна здѣсь, уѣду отсюда, какъ бы ни было тяжело разставаться съ любимыми мѣстами“. У Вѣры нѣтъ никакой опредѣленной дѣятельности: она то ровно ничего не дѣлаетъ, то нервно бросается на чтеніе, хватается за шитье, шьетъ и кроитъ по цѣлымъ днямъ, обнаруживая бездну вкуса и умѣнья, бываетъ мила и очаровательно любезна съ гостями, а когда это нервное возбужденіе пройдетъ, она снова спокойна, вяло и апатично отвѣчаетъ на вопросы. Путаясь въ опредѣленіи, что такое Вѣра, Райскій чувствуетъ, что кузина развилась не подъ здѣшними, деревенскими, вліяніями, а откуда-то повѣяло на нее новымъ духомъ. „Она не простодушный ребенокъ, не барышня; ей тѣсно и неловко въ этой устарѣвшей искусственной формѣ, въ которую такъ долго отливала складъ ума, нравъ, образованіе и все воспитаніе дѣвушки до замужества. Она чувствовала условную ложь этой формы и отдѣлилась отъ нея, добиваясь правды“. Въ ней именно много того, чего Райскій напрасно искалъ въ Наташѣ, въ Бѣловодовой: задатковъ самобытности, своеобразія ума, характера, всѣхъ тѣхъ силъ, изъ которыхъ должна сложиться самостоятельная, настоящая, женщина, и дать направленіе своей и чужой жизни, многимъ жизнямъ, освѣтить и согрѣть цѣлый кругъ, куда поставитъ ее судьба. Она пока еще младенецъ, но съ титанической силой, — надо только, чтобы эта сила правильно развилась и разумно направилась. Какъ именно эта дѣвушка развилась и выработала въ себѣ такой самостоятельный характеръ, мы не знаемъ. Гончаровъ, такъ подробно выясняя характеры мужчинъ, къ сожалѣнію, не сдѣлалъ этого относительно Вѣры, которая, промелькнувъ передъ читателемъ дѣвочкой, вдругъ является во второй части романа личностью уже сложившейся. Можно, кажется, сказать одно, что все это безалаберное чтеніе разнообразныхъ верховъ науки и философіи, Спинозы, Вольтера, Фейербаха, Прудона, Гизо и др., обсужденіе ихъ твореній купно со священникомъ, наконецъ, прямолинейныя парадоксы Марка, — все это, рядомъ съ патриархальной жизнью, по семейнымъ традиціямъ, должно было произвести въ головѣ юной пансіо-



нерки сумбуръ страшный. Какъ натура гордая, самостоятельная, она, выросши изъ круга бабушкиной опытности и морали, очень естественно, не могла быть съ бабушкой откровенна, къ Райскому отнеслась также недовѣрчиво, чему виною былъ онъ самъ, и зажила исключительно своимъ умомъ и своей волей, сдѣлавъ единственнымъ повѣренными своей тайны попадью да дворовую женщину Марину. При такомъ исключительномъ душевномъ состояніи, Вѣрѣ до обрыва оставался одинъ шагъ, который она и сдѣлала, увлеченная страстью порывистой натуры.

*Острогорскій.*

---

Бабушка Райскаго, представительница патриархальнаго быта, говоритъ языкомъ преданій, сыплеть пословицы, готовые сентенціи старой мудрости, и весь наружный обрядъ жизни исполняется у нея по затверженнымъ правиламъ. Горизонтъ ея весьма ограниченъ; онъ „кончается съ одной стороны полями, а съ другой — Волгой и ея горами, съ третьей — городомъ, а съ четвертой — дорогой въ міръ, до котораго ей дѣла нѣтъ“. Но зато, несмотря на старость, какое здоровье, какая вѣрность духа! *„Всякій день былъ для нея какъ будто новымъ, свѣжимъ цвѣткомъ, отъ котораго на завтра она ожидала плодовъ“.*

Мы теперь знаемъ правду, которая выше, чѣмъ бабушкина правда; но вѣдь жизнь бабушки находилась въ полной гармоніи съ признаннымъ ею идеаломъ, тогда какъ наша жизнь противорѣчитъ нашей вѣрѣ; вотъ почему существованіе бабушки кажется разумнымъ и прекраснымъ, а наша жизнь — ложной и негармоничной.

Огражденная преданіями, покорная традиціямъ, жизнь ихъ текла свѣтло и мирно въ глубокомъ, вѣковомъ руслѣ. Она ближе къ природѣ и потому здоровѣе и проще, чѣмъ наша жизнь. По крайней мѣрѣ къ такому выводу приходитъ Райскій, наблюдая помѣщичій бытъ въ имѣніи бабушки. „Здѣсь не было ни въ комъ, — замѣчаетъ авторъ, — претензіи казаться чѣмъ-нибудь другимъ, лучше, выше, умнѣе, нравственнѣе, а между тѣмъ на самомъ дѣлѣ оно было выше, нравственнѣе, нежели казалось, и едва ли умнѣе. Тамъ, въ кучѣ людей съ развитыми понятіями, бьются изъ того, чтобы быть

*проще, и не умьютъ; зѣсь, не думая о томъ, все просто, никто не лѣзъ изъ кожи поддѣлаться подъ простоту“.*

Но вотъ, для иллюстраціи, маленькій уголокъ оборотной стороны медали: „Захаръ, какъ бывало нянька, напяливаетъ ему (т.-е. барину Обломову), чулки, надѣваетъ башмаки, а Илюша, уже четырнадцатилѣтній мальчикъ, только и знаетъ, что подставляетъ ему лежа то ту, то другую ногу; а чуть что покажется ему не такъ, то онъ поддаетъ Захаркѣ ногой въ носъ“. И все-таки, — признается Гончаровъ, — „мы такъ глубоко росли корнями у себя дома, что куда и какъ надолго бы я ни заѣхалъ, я всюду унесу почву родной Обломовки на ногахъ, и никакіе океаны не смоютъ ея!“ Великій писатель лучше и глубже сатирика чувствуетъ собственной совѣстью *ложь и безобразіе прошлаго*, но ненависть не ослѣпляетъ его: онъ видитъ и красоту и поэзію прошлаго.

Граціозный образъ Марѣенки — самое идеальное и нѣжное воплощеніе всего, что было хорошаго въ старой помѣщичьей жизни. Марѣенка живетъ въ родной обстановкѣ такъ же привольно и радостно, какъ птица въ воздухѣ, рыба въ водѣ: ей ничего больше не надо. Это — полная счастливая гармонія съ окружающей природой, не нарушенная ни однимъ ложнымъ звукомъ. „Чего не знаешь, — съ наивностью признается Марѣенка, — такъ и не хочется. Вотъ Вѣрочка, той все скучно, она часто груститъ, сидитъ какъ каменная, все ей будто чужое здѣсь! Ей бы надо куда-нибудь уѣхать, она не здѣшняя. А я — ахъ, какъ мнѣ здѣсь хорошо: въ полѣ, съ цвѣтами, съ птицами, какъ дышится легко! Какъ весело, когда съѣдутся знакомые!... Нѣтъ, нѣтъ, я здѣшняя, я вся вотъ изъ этого песочку, изъ этой травы! не хочу нигуда“. Жизнь такъ прекрасна, что люди, несмотря на всѣ успія, даже рабствомъ не могли ее испортить, — и сквозь „обломовщину“, сквозь крѣпостное право пробивается она, чистая и вольная. Пусть Марѣенка кажется намъ неразвитой, глупенькой дѣвочкой, пусть читаетъ только такіе романы, которые непременно кончаются свадьбой, запираетъ лакомства въ особенный шкафчикъ, потому что любитъ ихъ, какъ ребенокъ, — зато какой поэзіей, счастьемъ и добротой вѣетъ въ насъ отъ всего сердца. Всѣ новѣйшія прогрессивныя идеи Райскаго отскакиваютъ, не проникая въ нее. Но развѣ она не напоминаетъ того, что умнѣ всѣхъ



идей Райскаго — великую заповѣдь любви? „Она дѣвкамъ даетъ старыя платья... Къ слѣпому старику носить чего-нибудь лакомаго поѣсть или даетъ немного денегъ. Знаетъ всѣхъ бабъ, даже ребятишекъ по именамъ, послѣднимъ покупаетъ башмаки, шьетъ рубашонки“. Она любитъ дѣтей, любитъ жизнь вокругъ себя. Ея нѣжная, женственная симпатія простирается еще дальше, за предѣлы человѣческаго міра, на всю природу, на цвѣты, деревья, животныхъ.

Мы люди большихъ городовъ, кочевой и суетной жизни, оторванные отъ природы, никогда не знавшіе патріархальнаго очага — едва ли можемъ себѣ представить всю силу этой первобытной, физической и вмѣстѣ съ тѣмъ сердечной любви къ родной землѣ. Мы похожи на цвѣты, перенесенные изъ лѣса въ комнату, лишенные корней, опущенные въ воду. Такія счастливыя и здоровыя натуры, какъ Мароенька — это цвѣты, растущіе на волѣ, пустившіе глубоко корни въ родную землю.

Характеръ бабушки — одно изъ величайшихъ созданій Гончарова.

Несмотря на старость, въ ней столько же здоровья, счастья и бодрости, сколько въ Мароенькѣ. „Видно, что ей живется крѣпко, хорошо, что она, если и борется, то не даетъ одолевать себя жизни, а сама одолеваетъ жизнь и тратитъ силы въ этой борьбѣ скупно... Голосъ у ней не такъ звонокъ, какъ прежде, да ходитъ она теперь съ тростью, но не горбится, не жалуется на недуги. Такъ же, она безъ чепца, такъ же острижена коротко, и тотъ же, блестящій здоровьемъ и добротой взглядъ, озаряетъ все лицо, не только лицо, всю фигуру“. Авторъ не думаетъ идеализировать бабушку: онъ не скрываетъ, что иногда она можетъ быть деспотомъ. Малѣйшее сомнѣніе въ законности крѣпостного права въ ея глазахъ — нелѣпость. „Просить бабушка не могла своихъ подчиненныхъ, это было не въ ея феодальной натурѣ. Человѣкъ, лакей, слуга, дѣвка — все это навсегда, несмотря ни на что, оставалось для нея человѣкомъ, лакеемъ, слугой и дѣвкой“. „Различія между „людьми“ и господами никогда и ничто не могло истребить. Она была въ мѣру строга, въ мѣру снисходительна, человѣколюбива, но все въ размѣрѣ барскихъ понятій“. А кругъ этихъ феодальныхъ понятій весьма ограниченъ. „Борюшка, ты не огорчай бабушки, — упрашиваетъ

она племянника: — дай дожить ей до такой радости, чтобъ увидѣвъ тебя въ гвардейскомъ мундирѣ: молодцомъ пріѣзжай сюда... да женись на богатой“. Но предрасудки и ограниченность поверхностны, это кора стараго могучаго дерева, подъ которой свѣжіе соки; вотъ почему такіе зеленые могудые весенніе листья на столѣтнемъ деревѣ.

Бабушка — одно изъ тѣхъ вѣковыхъ деревьевъ, которыя возвышаются надъ цѣлымъ лѣсомъ, открытыя всѣмъ вѣтрамъ и бурямъ, Мареевка — нѣжный цвѣтокъ, пріютившійся въ его тѣни. Дерево и цвѣтокъ оба потому такъ прекрасны, что пустили глубокіе корни въ родимую землю.

*Мережковский.*

Новыя вѣянія русской жизни, черты которыхъ мы отмѣчали въ Обломовѣ находили себѣ доступъ во внутренній міръ не только мужского, но и женскаго поколѣнія дворянской среды. Чтеніе книгъ, разговоры непосредственное наблюденіе жизни — все это будило мысль наиболѣе чуткихъ натуръ женскаго общества, вызывало въ нихъ новыя, неясныя стремленія, заставляло понемногу отрѣшаться отъ установленныхъ традиціей взглядовъ, понятій и привычекъ жизни. Но если не сразу и не легко давалась мужскому поколѣнію эта ломка понятій, то еще труднѣе было совершиться ей въ умѣ и чувствѣ русской женщины, какъ потому, что ей менѣе были доступны новыя идеи и настроенія, такъ и, съ другой стороны, въ силу большого консерватизма женской натуры, вѣками выработавшейся склонности ея держаться установившихся и освященныхъ прошлымъ формъ жизни.

Оттого и первый созданный Гончаровымъ женскій типъ переходной эпохи — Ольга Ильинская въ „Обломовѣ“ въ значительной мѣрѣ является продуктомъ окружающей ее среды и условій жизни. Но одновременно съ этимъ въ ней замѣчаются и другія начала, свидѣтельствующія о близкомъ поворотѣ на новую дорогу. Характеръ Ольги, какъ и вообще женскіе образы, разработаны у Гончарова съ большою полнотою и художественной правдой. На ряду съ глубоко симпатичными индивидуальными свойствами, авторъ даетъ обильный матеріалъ для заключеній о томъ, какую форму приняли они подъ воздѣйствіемъ вліяній старой жизни. Мы не бу-



демь однако останавливаться на этихъ сторонахъ личности Ольги, а посмотримъ, какъ отразились на ней только что зародившіеся въ обществѣ новыя запросы.

Природная пытливость ума, подъ вліяніемъ благопріятныхъ условій, среди которыхъ первое мѣсто занимаетъ вліяніе „новаго человѣка“ Штольца, переходитъ у Ольги въ настоящую жажду знанія. „Зачѣмъ насъ, женщинъ, не учать?“ съ горечью восклицаетъ она и всюду ищетъ отвѣтовъ на интересующіе ее вопросы. Она не даетъ покою Обломову и Штольцу, и даже этотъ послѣдній не въ состояніи одолѣть всѣхъ книгъ, при помощи которыхъ можно разрѣшить недоумѣнія Ольги. Сдѣлавшись женой Штольца, она его „ревновала къ каждой непоказанной ей книгѣ, журнальной статьѣ, не шутя сердилась или оскорблялась, когда онъ не заблагоразсудитъ показать ей что-нибудь, по его мнѣнію, слишкомъ серіозное, скучное, непонятное ей... и только тогда мирилась, когда онъ... раздѣлитъ съ нею свою мысль, знаніе или чтеніе“.

Но одно пріобрѣтеніе знаній отвлеченная, разсудочная работа не удовлетворяютъ Ольги. Она ищетъ живого дѣла, непосредственнаго примѣненія къ жизни своихъ силъ.

Съ какой охотой и любовью берется она за перевоспитаніе Обломова. Вся исторія ея любви къ нему есть не что иное, какъ результатъ вѣры въ „будущаго“ Обломова, какимъ она хотѣла его сдѣлать. Но когда она увидѣла, что, несмотря на всѣ ея усилія, Обломовъ не можетъ ей дать ничего, кромѣ погруженнаго въ апатію и бездѣйствіе воркованія вокругъ семейнаго очага, не укажетъ ей другого, болѣе содержательнаго пути жизни, она первая со страшной болью въ сердцѣ разорвала съ нимъ всякія отношенія. „Ты кротокъ, честенъ, Илья, — говоритъ она въ послѣднее свиданіе съ нимъ, — ты нѣженъ, какъ голубь... ты готовъ всю жизнь проворковать подъ кровлей. Да я не такая: мнѣ мало этого, мнѣ нужно чего-то еще — а чего — не знаю!“ И понявъ, что Обломову не научить ее, что не ему указать, чего ей недостаетъ и гдѣ найти удовлетвореніе въ жизни, она разстается съ нимъ.

Казалось бы, жизнь со Штольцемъ должна удовлетворить ее, ибо эта жизнь — идеаль супружескихъ отношеній, гдѣ мужъ и жена живутъ душа въ душу, но и она не даетъ

полнаго удовлетворенія Ольгѣ, несмотря на то, что мысль ея постоянно занята приобрѣтеніемъ различнаго рода знаній и внимательно слѣдитъ за разнообразной практической дѣятельностью мужа, его коммерческими, заводскими и всякаго рода другими предпріятіями. Въ жизни ея въ самый разгаръ семейнаго счастья со Штольцемъ все чаще и чаще наступаютъ какія-то „задумчивыя остановки“, смущеніе, возникаютъ въ головѣ смутные, туманные вопросы. „Куда же итти? Куда! Дальше нѣтъ дороги! Ужели нѣтъ?... Ужели тутъ все... все“... говорила сама съ собой Ольга и чего-то не договаривала. „Все тянетъ меня куда-то еще“, признается, наконецъ, она Штольцу: „я дѣлаюсь ничѣмъ недовольна“. Тотъ объясняетъ это, какъ отголосокъ общаго недуга человечества, одна капля котораго брызнула и на Ольгу; это, по его мнѣнію, „грусть души, вопрошающей жизнь о ея тайнѣ“. Нужно смириться передъ нею, вооружиться твердостью и настойчиво итти своимъ путемъ. „Мы не титаны съ тобой, — успокаиваетъ онъ Ольгу, — мы не поидемъ съ Манфредами и Фаустами на дерзкую борьбу съ мятежными вопросами, не примемъ ихъ вызова, склонимъ головы и смиренно переживемъ трудную минуту, и опять потомъ улыбнется жизнь, счастье... Все это страшно, когда человѣкъ отрывается отъ жизни, когда нѣтъ опоры“... Но въ томъ-то и дѣло, что Штольцъ, а вмѣстѣ съ нимъ и Ольга, при всей его кипучей дѣятельности, въ сущности, оторванъ отъ жизни, не знаетъ ея во всей полнотѣ, ибо онъ ничѣмъ не связанъ съ окружающимъ его обществомъ, чуждъ его радостей и печалей. Томленіе Ольги есть безсознательный призывъ живой, энергичной, гуманной натуры къ болѣе широкой жизни, къ труду не ради одной наживы, а дающему нравственное удовлетвореніе, устанавливающему духовную связь съ окружающимъ обществомъ, придающему высшій смыслъ существованію отдельной личности, словомъ, стремленіе къ общественной дѣятельности въ той или другой формѣ.

Такова эта пробуждающаяся русская женщина, родная сестра тургеневской Елены, сумѣвшая, несмотря на неблагоприятныя условія, благодаря чистотѣ своей натуры, опередить того, кто былъ главнымъ вдохновителемъ ея.

*Александровскій.*



## Дореформенная помещичья жизнь и новые люди въ „Обрывѣ“.

Гончарову не пришлось порывать старинныя литературныя связи, когда онъ, въ свою очередь, выступилъ обличителемъ шестидесятниковъ въ своемъ романѣ „Обрывъ“. Правда, онъ всегда былъ предметомъ самаго нѣжнаго и довольно-таки непонятнаго сочувствія нашихъ либераловъ, встрѣтившихъ два первыхъ его романа единодушными похвалами. Но собственно ни къ какой партіи онъ не принадлежалъ, и за нимъ оставалось полное право говорить свободно. Зато его Маркъ Волоховъ, хоть и доставилъ ему нѣсколько довольно рѣзкихъ критикъ, все-таки не вызвалъ противъ Гончарова негодующаго взрыва. А между тѣмъ фигура Волохова подавала поводъ къ серьезнымъ и заслуженнымъ нападкамъ. Она носитъ на себѣ явный слѣдъ раздвоенности, вызванный тѣмъ, что авторъ „Обрыва“ подвергнулъ ее передѣлкѣ и тѣмъ искажилъ ея первоначальный обликъ. Если мы вспомнимъ, что „Обрывъ“ былъ задуманъ Гончаровымъ, по собственному его признанію, уже подъ конецъ 40-хъ годовъ, для насъ станетъ несомнѣннымъ, что ни Маркъ ни, пожалуй, Вѣра не могли такими сложиться у него въ головѣ, какими вышли въ его романѣ. Ни передовыхъ барышень ни увлекательныхъ нигилистовъ въ концѣ 40-хъ годовъ не было. Но помимо этого чисто логическаго соображенія, самый романъ даетъ матеріалъ для подобнаго заключенія. Фигура Марка, какою она является передъ читателемъ, далеко не тождественна съ тою характеристикой, какую далъ Волохову Гончаровъ подъ конецъ „Обрыва“. Пока Маркъ дѣйствуетъ и говоритъ, передъ нимъ безшабашный сорвиголова, быть можетъ нахватавшійся кое-какихъ радикальныхъ теорій, но прежде всего бунтъ по темпераменту, какихъ могло быть очень много и въ 40-хъ годахъ, хотя бы среди военной молодежи. Есть что-то ухарски захватское въ поведеніи Волохова, въ его ухаживаніи за Вѣрой, въ его нахальномъ обращеніи съ Райскимъ что-то напоминающее какого-нибудь выключеннаго изъ полка гусарскаго корнета, несравненно болѣе, чѣмъ радикала 60-хъ годовъ.

Видно, тотъ Волоховъ, который зародился въ фантазіи Гончарова заодно съ сюжетомъ „Обрыва“, не вполне успѣлъ преобразоваться подъ вліяніемъ новыхъ вѣяній. Можетъ быть, оттого-то Гончаровъ и счелъ нужнымъ приклеить къ его фигурѣ длинный комментарий. Повторяю еще разъ, — Маркъ Волоховъ, какимъ онъ является въ романѣ, вовсе не типичный представитель шестидесятниковъ. Онъ, правда, не признаетъ началъ семьи и собственности, но второе изъ нихъ онъ нарушаетъ тѣмъ лишь, что занимаетъ чужія деньги и крадетъ чужія яблоки; а это до него дѣлали и другіе шлоппаи, ничего общаго съ нигилизмомъ не имѣвшіе. Семейному началу онъ наноситъ ущербъ болѣе чувствительный, но соблазнять дѣвушекъ безъ намѣренія въ послѣдствіи на нихъ жениться — опять таки далеко не специальность однихъ нигилистовъ. Зато комментарий автора, пристегнутый къ фигурѣ Марка, рисуетъ намъ заправскаго шестидесятника базаровскаго типа со всею его непримиримою злобою и съ революціонною страстностью въ придачу. И немудрено, что въ такой придачѣ оказалась надобность. Со времени появленія „Отцовъ и Дѣтей“ русское движеніе успѣло далеко уйти впередъ Базарова.

Какъ бы то ни было, нельзя не признать очень не убѣдительными тѣ объясненія, какія Гончаровъ въ послѣдствіи далъ своему роману въ статьѣ „Лучше поздно, чѣмъ никогда“. Онъ утверждаетъ, какъ извѣстно, что Маркъ Волоховъ — представитель типа, очень распространеннаго среди прогрессивной молодежи 60-хъ годовъ, увѣряя насъ въ то же время, что у него не было никакого намѣренія выставить эту молодежь въ непривлекательномъ свѣтѣ. А между тѣмъ выходитъ какъ разъ наоборотъ. Для характеристики шестидесятниковъ Маркъ вовсе не годится. Зато пристегнутый къ роману портретъ этого Марка — портретъ вовсе на него не похожій — несомнѣнно одно изъ самыхъ злыхъ сатиръ на поколѣніе шестидесятниковъ. И намѣренія автора станутъ еще очевиднѣе, если мы сопоставимъ Волохова съ прочими лицами Гончаровскаго романа.

Въ „Обрывѣ“ Гончаровъ не только противопоставляетъ вялому прекраснодушію, какъ дѣлалъ онъ это прежде, свой любимый типъ практической дѣловитости, — онъ находитъ осуществленіе этого типа въ дореформенной Россіи. Его



любимцами здѣсь являются бабушка Татьяна Марковна — это воплощеніе прочной старо-помѣщичьей патріархальности, и воспитанная подъ ея крылышкомъ Марсенька. Да въ придачу къ нимъ солидный молодой помѣщикъ Тушинъ — этотъ Штольцъ на русскій ладъ, уже безъ всякой заморской примѣси. И прежде Гончаровъ охотно искалъ посетителей прогрессивной практичности въ старшемъ поколѣніи. Таковъ Петръ Ивановичъ, проникнутый столичной цивилизаціей дядя Александра Адуева. А Штольцъ, если онъ не старъ годами, зато очень старъ душой. Но все-таки эти не совсѣмъ молодые и необыкновенно трезвые люди выражали собою прогрессивное начало умѣлой практической дѣятельности; отъ нихъ вѣяло несомнѣннымъ Западомъ. Въ „Обрывѣ“ уже не то. И бабушка и Тушинъ не только остатки отживающей эпохи, оказывающейся, однако, въ глазахъ ихъ творца гораздо болѣе живою, чѣмъ сама современность, — они подлинныя образчики настоящей русской почвенности. Такимъ образомъ въ „Обрывѣ“ идеаль Гончарова отодвинулся назадъ и въ то же время приблизился къ идеалу славянофиловъ. Если попытаться искать въ нашей беллетристикѣ фигуру, наиболѣе сродную Татьянѣ Марковнѣ, мы найдемъ ее въ лицѣ дѣдушки въ „Семейной Хроникѣ“ Аксакова. Какъ истинный художникъ, Гончаровъ сумѣлъ надѣлать самыми богатыми и, въ то же время, самыми правдивыми красками тотъ складъ крѣпостного помѣщичьяго быта, симпатичною представительницей котораго является бабушка, такъ полновластно и такъ мягко правящая своимъ маленькимъ царствомъ. И всѣ окружающіе ее фигуры — и кроткая, послушная Марсенька, точно вышедшая изъ подъ кисти фламандскаго живописца, и женихъ ея, милый и аккуратный Викентьевъ, и постыдливый любезникъ чуть не екатерининской эпохи — Титъ Никонычъ этотъ русскій маркизъ, какъ называетъ его Гончаровъ, и вся дворня Татьяны Марковны — все это рядъ улыбающихся фигуръ изъ безобидной, хоть и правдивой эклоги. Ни одной черты, указывающей на гнетъ, на нужду или на горе. Правда, губернский городъ, около котораго процвѣтаетъ помѣстье Татьяны Марковны, спитъ такимъ же сномъ, какъ щедринскій Глуховъ, и надъ губернскимъ обществомъ стоитъ не оспариваемый никѣмъ авторитетъ отставнаго генерала. И само это общество вполне

достойно своего тупоумнаго владыки. Но все-таки эти неприглядныя черты не заслоняютъ собою главную картину довольства и счастья. Рисунокъ Гончаровъ до того ярокъ и привлекателенъ, что даже передовая критика не ополчилась на него за идеализацію крѣпостного быта, и читатель, заодно съ нимъ, радуется тому, что здоровые представители молодого поколѣнія — Тушинъ и Мароенька — являются продолжателями бабушкиныхъ завѣтовъ.

А между тѣмъ „Обрывъ“ появился черезъ десять лѣтъ послѣ реформы 19 февраля, и умственное броженіе, разныя стороны котораго представлены въ лицахъ Райскаго, Вѣры и Марка Волохова, началось уже на развалинахъ крѣпостного строя. Мало того: этотъ строй не только пересталъ существовать юридически, — самый классъ, бывшій его главнымъ носителемъ, обнаруживалъ въ себѣ явные признаки разложенія.

Быть можетъ, какъ разъ вслѣдствіе этого, Гончарову захотѣлось въ яркихъ образцахъ воскресить хорошія стороны до-реформеннаго помѣщичьяго быта, противопоставляя ему умственную и нравственную шаткость, какую внесло съ собою новое теченіе.

О Маркѣ Волоховѣ я уже говорилъ. Но романъ Гончарова обращенъ не только противъ идеаловъ шестидесятниковъ, онъ отрицательно рисуетъ и людей предшествовавшаго имъ поколѣнія 40-хъ годовъ. Райскій и Вѣра ничто иное какъ Тургеневскіе герои, причемъ первый изъ нихъ занимаетъ среднее мѣсто между Рудинымъ и Лаврецькимъ, а у послѣдней нельзя отрицать нѣкотораго сходства съ Еленой. Фигуры эти были, такимъ образомъ, давно знакомы русскому читателю. Новою была только ихъ обрисовка. Въ статьѣ „Лучше поздно, чѣмъ никогда“ авторъ „Обрыва“ говоритъ, что въ этомъ романѣ онъ хотѣлъ нарисовать картину проснувшейся Россіи, какъ въ своемъ „Обломовѣ“ онъ представилъ картину ея сна. Райскій, такимъ образомъ, ничто иное, какъ проснувшійся Обломовъ. И все-таки, хотя между обоими есть несомнѣнная духовная связь, неутомимый герой „Обрыва“ ничуть не похожъ на своего предшественника. Его болѣзнь — не спячка Ильи Плыча. Какъ „Лишніе люди“ 40-хъ годовъ, Райскій вынесъ изъ своего воспитанія безпокойное стремленіе къ свѣту и къ дѣя-



тельности, и помѣхой къ достиженію цѣли ему служить одно лишь незнаніе, гдѣ найти эту цѣль, неспособность остановиться на одномъ изъ порывовъ, то и дѣло бросающихъ его въ разныя стороны. Недостатокъ энергіи не сказывается въ немъ, какъ въ „Обломовѣ“, неохотой къ движенію, а лишь неспособностью надолго придерживаться разъ принятаго направленія, заниматься опредѣленнымъ дѣломъ. Многосторонній дилетантизмъ — этотъ исконный недугъ просвѣщеннаго дворянства 40-хъ годовъ, вотъ что мѣшаетъ Райскому выбрать себѣ жизненный путь. Конечно, эта духовная немощь, сродни безвыходной апатіи Обломова, потому что и та и другая могутъ вырасти лишь на почвѣ дворянской обезпеченности. Тотъ, кому трудиться надо, не станетъ всю жизнь доискиваться своего призванія, не станетъ, въ особенности, мечтать о такомъ трудѣ, который дается безъ усилія и безъ подготовки. Но все-таки, если Обломовъ и Райскій могутъ считаться продуктами одной и той-же среды, они далеко не родные братья. Изъ дѣятельности Райскихъ обыкновенно ничего не выходило; это правда. Изъ нихъ составляется активная часть общества, поддерживающая въ немъ интересъ къ мысли, если не къ дѣлу. Какъ Рудинъ и Лаврецкій, гораздо болѣе похожіе на Райскаго, чѣмъ Обломовъ, герой „Обрыва“ не оставитъ послѣ себя прямыхъ результатовъ своей дѣятельности. Но однимъ все-таки Россія была несомнѣнно обязана людямъ его склада: когда настало время реформъ, у этихъ людей и только у нихъ оказался запасъ готовыхъ мыслей и готоваго усердія. Эгого забывать нельзя и клочкою лишниихъ ихъ клеймить не зачѣмъ.

Было бы очень интересно узнать, какъ сложилась на первыхъ порахъ въ умѣ Гончарова фабула его романа. Задуманъ онъ былъ, какъ утверждаетъ самъ авторъ, заодно съ „Обломовымъ“. Но если такъ, въ фантазіи Гончарова одновременно сложились и образъ дремлющей Россіи и картина ея пробужденія. Тотъ самый помѣщикій бытъ, который въ снѣ Обломова является такимъ неподвижнымъ и ветхимъ, твердо стоитъ на ногахъ въ бабушкиномъ помѣстьѣ, и не только стоитъ, но работаетъ. Такимъ образомъ, одна и та же эпоха, одинъ и тотъ же бытъ далъ Гончарову матеріалъ для двухъ совершенно противоположныхъ темъ, противоположныхъ не только по своему характеру, но и по

направленію симпатій автора. Въ „Обломовѣ“ Гончаровъ проповѣдуетъ лихорадочную дѣятельность по образцу Штольца, въ „Обрывѣ“ его сочувствіе на сторонѣ традицій прочной старины, и безпокойные порывы обновителей ему кажутся нѣсколько смѣшными. Объяснить это можно двоякимъ образомъ. „Обрывъ“ писался очень долго, слишкомъ двадцать лѣтъ, и, благодаря этому, рамки его раздвигались, постепенно вмѣщая въ себя все новыя жизненные явленія. Но, помимо этого, можно догадаться, что даже когда онъ задумывалъ „Обломова“, Гончаровъ на самомъ дѣлѣ вовсе не ощущалъ ненависти къ неподвижному складу помѣщичьяго быта, что сочувствіе его всегда принадлежало старинѣ. Эту старину ему хотѣлось оживить, придать ей болѣе энергіи, болѣе умѣлости. И какъ это сдѣлать, онъ показалъ въ образахъ бабушки и Тушина. Но разрушить ее онъ не желалъ вовсе, и подрывать ея устои казалось ему дерзкимъ посягательствомъ. Вотъ почему къ Райскому онъ не отнесся даже съ тою полускрытою мягкою жалостью, съ какою очерчены фигуры Александра Адуева и Обломова. Райскій надѣленъ безусловно комическими чертами. И если ему разъ удалось, когда онъ публично осадилъ генерала, дорости до заправскаго героя, онъ зато нерѣдко попадаетъ въ самыя нелѣпыя положенія. Райскій комиченъ, и когда онъ напрасно ухаживаетъ за своей кузиной Бѣловодовой, и когда чуть-чуть влюбляется въ Марѣеньку, и когда читаетъ длиннѣйшія лекціи Вѣрѣ, и, наконецъ, когда даетъ себя одурачить Марку Волохову. Но онъ уже прямо смѣшенъ, и не только смѣшенъ, а низокъ, когда на половину лишь разыгрываетъ роль Іосифа съ женой своего пріятеля Козлова и, почти уступая насильно, даетъ себя увлечь этой новой женѣ Пентефріа. Гончаровъ не могъ не замѣчать этихъ слабыхъ сторонъ своего героя, да въ концѣ романа онъ и поступилъ съ нимъ, какъ со всѣми героями-неудачниками поступали ихъ творцы. Онъ отправилъ его путешествовать за границу, гдѣ заодно съ Бельтовымъ, съ Тамаринымъ, съ Павломъ Петровичемъ Кирсановымъ и многими другими, онъ, вѣроятно, занималъ праздные досуги путешествующихъ русскихъ дамъ.

Вѣры тоже коснулся безпокойный духъ новизны, и за это Гончаровъ заставляетъ свою героиню пройти черезъ рядъ тяжелыхъ минутъ, пока, наконецъ, онъ даетъ ей отдохнуть.



въ тихой пристани домашняго счастья. Счастье ли, въ самомъ дѣлѣ, можно найти въ этой пристани вдвоемъ съ дубоватымъ Тушинымъ, — въ этомъ позволительно усомниться. Но такъ, по крайней мѣрѣ, думаетъ авторъ. Онъ находитъ, повидимому, что тѣмъ, кто заразился духомъ непокорства, не войти безъ труда въ обѣтованную землю. Вѣра, хоть и была она воспитана бабушкой, не подчинялась стариннымъ завѣтамъ, какъ ея младшая сестра. Ея рано потянуло къ независимости, и даже въ строгомъ бабушкиномъ домѣ она сумѣла выгородить себѣ почти безграничную свободу. Съ Маркомъ Волоховымъ ее сблизило, вѣроятно, родство ихъ натуръ общее имъ обоимъ строптивое непокорство! Чѣмъ бы инымъ, въ самомъ дѣлѣ, могъ плѣнить ее Маркъ? Онъ вѣдь не приносилъ ей, какъ Рудинъ Наташѣ свѣтъ новаго болѣе широкаго кругозора, или какъ Писаровъ Еленѣ соблазнъ освободительнаго подвига. Трудно въ самомъ дѣлѣ, видѣть подвигъ въ кражѣ чужихъ яблоковъ, или въ учиненіи каверзъ административнымъ властямъ. Вѣра стремилась къ самостоятельности вовсе не затѣмъ, чтобы бороться за какую-нибудь идею. Эгоистика въ душѣ — въ цѣломъ романѣ у нея не проявляется ни одной сердечной искры — она хотѣла лишь страхнуть съ себя надоѣдливыя домашнія стѣсненія. И она бросилась на шею Марку — первому мужчине, въ которомъ она встрѣтила такую же готовность не признавать надъ собой никакой власти. Маркъ не обманывалъ ее ни мишурнымъ блескомъ революціонной проповѣди ни увѣреніями въ безпредѣльной любви. Онъ выдавалъ себя за то, что былъ на самомъ дѣлѣ, — за человека, который требовалъ, чтобы съ женщинами выходилъ „толкъ“ и чтобы этому времяпровожденію не мѣшали предрасудки. Онъ былъ только повѣсою, взявшимся за роль Базарова. И Вѣра — умная, гордая, изящная Вѣра — пошла на этотъ незатѣйливый соблазнъ. Пошла бы она, вѣроятно, и за Райскимъ, еслибъ онъ не обнаружилъ такой не рыцарской боязни спуститься на дно обрыва и не такъ надоѣдалъ ей своими витіеватыми проповѣдями. Вопреки установившемуся мнѣнію, Вѣра совсѣмъ не заслуживаетъ своего поэтическаго ореола. Въ паденіи ея ничего нѣтъ роковаго и ничего идеальнаго. Не только тургеневская Елена — этотъ свѣтлый прототипъ русскихъ передовыхъ дѣвушекъ — даже тѣ неказистыя женскія фигуры,

которыми кишатъ романы третъестепенныхъ шестидесятниковъ, головой выше героини „Обрыва“. Ихъ все-таки увлекали идеи, хотя большей частью и сумбурныя. Вѣру увлекла одна чувственность, и, сходя къ Марку на дно обрыва, она знала, что дѣлала. Если Гончарову угодно было ея раскаяніе представить въ такихъ ужасающихъ краскахъ, это раскаяніе свидѣтельствуешь объ одномъ лишь — о женской непослѣдовательности. И, если, въ концѣ концовъ, въ награду за него она получила твердую жизненную опору въ лицѣ Тушина, кто знаетъ, не была ли эта награда на самомъ дѣлѣ наказаніемъ.

Головинъ.

---

### Старое и молодое поколѣніе въ „Обрывѣ“.

Проходитъ болѣе 12 лѣтъ послѣ „Обломова“ появляется третье произведеніе нашего романиста, — „Обрывъ“, въ которомъ затрогиваются, повидимому, новыя стороны жизни; но все же, вглядываясь, мы замѣчаемъ и тутъ дальнѣйшее развитіе старой темы. Что такое Райскій? Это, какъ и самъ онъ себя считаетъ, по преимуществу художникъ, но такой, который ни въ чемъ не можетъ достичь какихъ-нибудь удовлетворительныхъ результатовъ; это, какъ его очень мѣтко опредѣляетъ М. Волоховъ, — *неудачникъ*. Но если такъ, то что онъ такое, какъ не тотъ же Обломовъ въ видѣ художника? Однако онъ уже не совершенно отрѣшенъ отъ общественныхъ симпатій; онъ считаетъ нужнымъ самъ пробуждать Бѣловодову къ жизни, говоря ей: „вы здѣсь наслаждаетесь всѣмъ, а подумали ли вы о тѣхъ людяхъ, которые вамъ доставляютъ доходъ?“ Но Бѣловодова имѣетъ полное право отвѣтить на это, что онъ и самъ имѣетъ такихъ же подневольныхъ людей, а что же онъ для нихъ сдѣлалъ? Да, онъ только говоритъ о дѣятельности на пользу другимъ, настоящей же дѣятельной силы въ немъ нѣтъ, нѣтъ и настоящей любви даже къ тому искусству, которому онъ хочетъ служить, иначе эта любовь довела бы его до какихъ-нибудь болѣе удовлетворительныхъ результатовъ. Именно потому, что настоящей любви къ своему призванію въ немъ нѣтъ, онъ и остается всю свою жизнь неудачникомъ. Прямою, повидимому, противоположностью Райскаго представляется Аяновъ; это соб-



ственно говоря, тотъ же дядюшка Петръ Ивановичъ; но тутъ Гончаровъ уже окончательно намъ доказываетъ, что въ людяхъ подобнаго рода онъ не видитъ ничего сочувственнаго; онъ прямо говоритъ, что вся цѣль этого чѣловѣка — „повыситься изъ статскихъ въ дѣйствительные статскіе, а подъ конецъ, за долговременную и полезную службу и „неусыпные“ труды... въ тайные совѣтники и бросить якорь въ портъ — въ какой-нибудь нетлѣнной комиссіи или комитетѣ съ сохраненіемъ окладовъ, а тамъ, волнуясь себѣ челоуѣческой океанъ, мѣняйся вѣкъ, лети въ пучину судьба пародовъ, царствъ, — все пролетитъ мимо его, пока апоплексическій или другой ударъ не остановитъ теченія его жизни“. Словомъ тутъ Гончаровъ совершенно ясно намъ обрисовываетъ, такъ сказать, *дѣловую Обломовщину* (хотя по пріобрѣтательскимъ своимъ сторонамъ, она вмѣстѣ съ тѣмъ и *Штольцовщина*). Лицомъ, вполне исполненнымъ любви къ своему дѣлу, къ своему художническому призванію, является въ „Обрывѣ“ Кирилловъ. Да, но, любя искусство, онъ отрѣшилъ его ото всего остальнаго міра; онъ не живой челоуѣкъ, не художникъ-дѣятель, — онъ просто своего рода аскетъ, замкнувшійся въ художническую келью. Таковъ же и товарищъ Райскаго, Козловъ; онъ дѣйствительно любитъ свой предметъ, но оторванъ ото всего живого; съ дѣйствительнымъ міромъ связанъ онъ исключительно личною привязанностью къ женѣ: оставляетъ его эта женщина, — и вся прелесть, весь смыслъ жизни для него потеряны.

Лицомъ, въ своемъ родѣ, дѣятельнымъ, любящимъ, является, повидимому, бабушка — эта сочувственнѣйшая личность изъ стараго поколѣнія „Обрыва“. Да, но изъ той сферы, которую она обнимаетъ своимъ любящемъ сердцемъ, исключено очень многое: исключены ея крѣпостные люди, которыхъ она даже не считаетъ заслуживающими помощи доктора, а отсылаетъ къ старухѣ знахаркѣ. Наконецъ, ея во многихъ отношеніяхъ правдивое сердце долго не мѣшаетъ ей заискивать въ Нилѣ Андреевичѣ, о которомъ она сама говоритъ, что онъ достигъ своего положенія не совѣмъ похвальными средствами.

Есть въ „Обрывѣ“ одно лицо, принадлежащее молодому поколѣнію, которое называетъ себя „*грядущей силой*“. Но Райскій находитъ однако возможнымъ спросить Марка Во-

лохова, — „почему онъ ничего не дѣлаетъ?“, а Маркъ Волоховъ только и можетъ отвѣтить на это: „но и вы вѣдь ничего не дѣлаете“. Впрочемъ, въ бесѣдѣ съ Вѣрой, Маркъ Волоховъ указываетъ на свое жизненное дѣло. „Это дѣло“, говоритъ онъ, „вспрыскивать живой водой человѣческіе мозги“. Такое вспыскиваніе живой водой, какъ онъ его понимаетъ, должно вести къ тому, чтобы смыть съ человѣческихъ мозговъ все напускное; но, смывая съ нимъ многое слой за слоемъ, онъ, наконецъ, начинаетъ уже не смывать, а вытравливать и тѣ симпатическія стороны, которыя присущи человѣческой природѣ, и касаться которыхъ значитъ ее уродовать, — онъ касается тѣхъ связей которыя соединяютъ человѣка съ человѣкомъ; онъ относитъ и эти вѣзки неразсторжимыя связи къ числу искусственныхъ, напускныхъ явленій. Стремленіе Марка Волохова очистить человѣческій умъ ото всего, что онъ считаетъ *насилственно навязаннымъ*, даетъ ему, какъ конечное искомое, голое человѣческое я, предоставленное его влеченіемъ, которыя должны быть всѣ, безъ изъятія слѣпо удовлетворяемы.

Вотъ съ такимъ-то человѣкомъ встрѣчается дѣвушка, которая начинаетъ работать надъ нимъ, какъ Ольга работала надъ Обломовымъ. Многое ей представляется привлекательнымъ въ Маркѣ Волоховѣ. Онъ не уживается съ общепринятыми правилами, — она и сама не мирится съ ними во многомъ. Она ничего не примасть на вѣру, — она вѣритъ только тому, въ чемъ убѣждается (въ этомъ и отличіе ея отъ просоудушной ея сестры — такъ живо обрисованный Гончаровымъ, Мароеньки). Въ Маркѣ Волоховѣ привлекаютъ Вѣру свободныя отношенія ко всему установившемуся; она цѣнитъ въ немъ освободительныя стремленія, но ее отталкиваетъ то, къ чему приводятъ они Марка — это голое человѣческое я, предоставленное своимъ влеченіямъ. Въ этомъ, ничѣмъ не ограниченномъ я она видитъ только стихійную силу, а стихійная сила легко становится силой гнетущею. Чѣмъ внимательнѣе вглядывается Вѣра въ Марка, тѣмъ болѣе убѣждается въ томъ, что стремленіе освободить свое я отъ всякихъ сдерживающихъ началъ невольно переходитъ у него въ стремленіе подчинить этому я все окружающее. Въ Маркѣ такимъ образомъ все болѣе и болѣе выясняется передъ нею крайній деспотъ, но она долго, упорно вѣритъ въ возмож-



ность раскрыть передъ нимъ то внутреннее противорѣчіе, въ которое онъ безсознательно попадаетъ, остановить его освободительную работу на томъ рубежѣ, переходя за который свобода становится самовластіемъ. Она хочетъ заставить его признать нѣчто высшее, чему онъ долженъ сознательно и съ любовью подчиниться; но это такъ же точно неудается ей, какъ Ольгѣ неудается пробужденіе къ дѣятельности Обломова. Высшее начало, по понятію Вѣры, это то, что она (странное соотвѣтствіе съ ея именемъ) называетъ *вѣрой*, въ переводѣ же на обыкновенный житейскій языкъ — вѣровать значитъ признавать что-то, что-то выше своего собственнаго я и его произвольныхъ влеченій. Одно время ей показалось, что она можетъ въ этомъ смыслѣ пробудить вѣру въ Маркѣ, и тогда она была счастлива, находилась въ томъ состояніи, которое Райскій называлъ экстазомъ. Но, послѣ рѣшительнаго свиданія съ Маркомъ, того свиданія, въ которомъ они должны были опредѣлить свои взаимныя отношенія, — ей пришлось разочароваться въ своихъ надеждахъ. Короткія отношенія свои къ Марку она понимала не иначе, какъ при участіи того высшаго начала, которое въ данномъ случаѣ является мыслию о *семьѣ*. Вѣра, какъ и Ольга, твердо вѣритъ въ возможность постоянной любви со стороны нравственно здороваго, нецпорченнаго человѣка. Но Маркъ Волоховъ не хочетъ признавать естественной возможности подобнаго постоянства; въ постоянной любви онъ видитъ любовь по приказу, по правиламъ, видитъ „пуды, надѣваемые на ноги“; „...я останусь еще въ этомъ бою“; „не знаю, сколько времени, буду тратить силы вотъ тутъ, — но не для васъ, а прежде всего для себя, потому что въ настоящее время это стало моею жизнью, — и я буду жить, пока счастливъ, пока буду любить. А когда охладѣю — я скажу и уйду, куда поведетъ меня жизнь, не унося съ собой никакихъ „долговъ“, „правилъ“ и „обязанностей“; я всѣ ихъ оставлю тутъ, на днѣ обрыва! Видите, я не обманываю васъ — я высказываюсь весь: скажу и уйду! и вы имѣете право сдѣлать то же. А вонъ тѣ мертвецы лгутъ себѣ и другимъ — и эту ложь называютъ „правилами“. А сами потихоньку дѣлаютъ то же самое“.

Но Вѣрѣ не легче оттого, что онъ, въ самомъ дѣлѣ, не лицемеритъ, а поступаетъ честно: ей становится страшно и

холодно отъ подобной честности, потому что она усматриваетъ въ этомъ отсутствіе настоящей, глубокой привязанности къ себѣ. При своемъ свѣтломъ умѣ, она не можетъ не понимать, что Маркъ, со своею предвзятою мыслию о невозможности постоянной любви, когда-нибудь просто *вообразитъ*, что любви уже нѣтъ, и станетъ тогда безсознательно ломать свое чувство — ради проповѣдуемой имъ свободы чувства, просто чтобъ доказать, что постоянного чувства нѣтъ и не можетъ быть. Если бы онъ дѣйствительно глубоко ее полюбилъ, должна она думать, онъ бы бросилъ свою предвзятую мысль, онъ бы увѣровалъ въ то же, во что вѣритъ она, въ начало семейное, которое должно освятить ихъ взаимныя отношенія. „Я говорила себѣ часто: сдѣлаю, что онъ будетъ дорожить жизнью... сначала для меня, а потомъ и для жизни, будетъ уважать... сначала опять меня, а потомъ и другое въ жизни, будетъ вѣрить мнѣ... а потомъ...“

— „Вы поймете жизнь — говоритъ она Марку — не будете блуждать въ одиночку, со вредомъ для себя и безъ всякой пользы для другихъ... изъ васъ выйдетъ человѣкъ нужный, сильный...“

И во всемъ этомъ ей приходится окончательно разочароваться: онъ остается вѣренъ своему, правда, честно высказанному ученію о „влеченіяхъ“ и „физическомъ процессѣ“. По ея же взгляду, подчинятся только однимъ влеченіямъ, не ставя надъ ними рѣшительно ничего — значитъ не имѣть разумной точки опоры, того, что называетъ она корнемъ, значитъ уродовать человѣческую природу. Но если вся работа Вѣры надъ Маркомъ оказывается неудачной, если она должна, наконецъ, сознаться, что ей не пересоздать его, то, при ея характерѣ, при ея нравственномъ закалѣ, ей остается сдѣлать съ нимъ то же, что сдѣлала Ольга съ Обломовымъ. Вѣрѣ остается только разстаться съ Маркомъ. Одно изъ двухъ: или она должна признать его взглядъ и отказаться отъ своего собственнаго, какъ ложнаго, — и тогда она неминуемо пойдетъ съ нимъ на дно обрыва; или она должна устоять въ своихъ убѣжденіяхъ, и тогда она не пойдетъ за нимъ — середины нѣтъ.

Нашъ авторъ какъ будто не понялъ этого, а потому романъ его къ концу представляетъ сплошную фальшивую ноту. Давъ Вѣрѣ устоять въ своихъ убѣжденіяхъ, онъ одна-



коже заставляет ее спутиться съ обрыва, т.-е. теоретически она остается при своемъ ученіи, а практически, на дѣлѣ, она является какъ бы нагляднымъ доказательствомъ несостоятельности его, примѣромъ, на который можетъ указать Маркъ, въ подтвержденіе свой мысли, что сила влеченія — верховная сила. Высоко поднявъ любимое лицо своего романа, Гончаровъ, по какой-то странной прихоти, взялъ да и сбросилъ его съ высоты въ обрывъ. Чѣмъ объяснить такое поразительное явленіе у писателя съ такимъ глубокимъ чутьемъ психолога и художника? Это можно объяснить развѣ тѣмъ, что Гончаровъ въ своемъ послѣднемъ романѣ отчасти измѣнилъ той художественной объективности, которую такъ превозносилъ въ немъ Бѣлинскій. Онъ не выдержалъ ея тутъ, не удовлетворился безстрастнымъ воспроизведеніемъ жизненныхъ явленій въ той ихъ взаимной связи и цѣлостности, которыя уже сами по себѣ даютъ возможность читателю сдѣлать изъ нихъ подобающее заключеніе. Гончарову захотѣлось вложить въ свой романъ такую мораль, которая прямо бы была въ глаза, захотѣлось во всеуслышанье прокричать: „посмотрите, до чего можетъ дойти дѣвушка, хотя и чрезвычайно умная, но не бѣгающая, какъ отъ чумы, отъ различныхъ „Марковъ“: ему захотѣлось предостеречь русскихъ дѣвушекъ: „смотрите, подальше отъ нихъ, не то попадете на дно обрыва“. И что же? Изъ прекрасно задуманнаго романа вышло подъ конецъ что-то въ родѣ той старинной „Кунигунды“, которую бабушка, въ видахъ морали, заставляетъ читать вслухъ, и, какъ извѣстно, безъ малѣйшей пользы не только для Вѣры, но даже для Марѣенки. Допустивъ преднамѣренную мораль, Гончаровъ невольно впалъ въ ту переполненность фальшими нотами, которою отличается 5-я часть романа. Все что слѣдуетъ за „обрывомъ“, — продолжительное хожденіе бабушки, это странное, ни къ чему неведущее, разыгрываніе ея роли кавого-то „Вѣчнаго жида“, повинующагося постоянно звучащему надъ нимъ „иди! иди!“, странное покаяніе той же бабушки въ ея старомъ грѣхѣ; почти граничащее съ комизмомъ (хотя авторъ, разумѣется, не хотѣлъ этого) посредничество между Вѣрой и Маркомъ Тушина, — все это такъ натянуто, все это своего рода *tour de force*, въ сущности, рѣшительно ни къ чему неведущій. Замѣчу, наконецъ, вообще про этого Тушина, котораго наз-

наченіе со временемъ изгладить воспоминанія объ „обрывѣ“, замѣчу, что ему кромѣ того предназначено въ романѣ осуществить идеаль разумнаго практическаго дѣателя. Но лицо это выходитъ безжизненнымъ, блѣднымъ; о немъ только говорится, что онъ очень много и очень хорошо что-то дѣлаетъ, но существенный смыслъ его практической дѣятельности изъ его собственныхъ словъ и поступковъ мы едва-ли можемъ узнать.

Въ концѣ романа Райскій, какъ извѣстно, начинаетъ писать романъ подѣ заглавіемъ „Вѣра“, и высказываетъ при этомъ слѣдующія соображенія:

„Какъ я напишу драму Вѣры, да не сумѣю обставить пропастью ея паденія, а русскія дѣвы примутъ ошибку за образецъ, да, какъ козы, одна за другой, пойдутъ скакать съ обрывовъ (!!!)“.

Кажется, можно, по крайней мѣрѣ, пожелать, чтобы въ новомъ изданіи своего романа Гончаровъ похерилъ эту странную фразу, въ которой мораль доходитъ до оскорбленія здороваго нравственнаго чувства. Такъ и хочется сказать автору: вы не туда совѣмъ бьете! Поддерживайте вѣру въ человѣческое достоинство, вѣру въ достоинство женщины, и тогда не будутъ страшны никакіе обрывы. А развязкой вашего романа вы, даровитый авторъ, сами поколебали такую вѣру...

Но что же, въ конце концовъ, этотъ Маркъ, надѣ пересозданьемъ котораго такъ неудачно трудилась Вѣра? Типъ этотъ, по своимъ основнымъ чертамъ, не новъ; Маркъ очевидно, предназначался служить дорисовкою типа, выставленнаго Тургеневымъ въ лицѣ Базарова. Но даетъ ли намъ Гончаровъ что-нибудь такое, чтобы болѣе выяснило этотъ типъ? Типъ Базарова, самъ по себѣ, — типъ совершенно ясный, цѣльный, живой. Онъ тоже хочетъ освободить себя ото всего, что считаетъ онъ напускнымъ и при этомъ невольно старается вырвать съ корнемъ и то, что составляетъ неотъемлемую принадлежность человѣческой природы. Не желая быть, какъ онъ выражается, *самоломаннымъ*, онъ безсознательно, на каждомъ шагѣ, ломаетъ себя, свою въ сущности, вовсе не сухую и не холодную природу; но она въ немъ постоянно беретъ свое: мы видимъ, что онъ любитъ отца и мать, влюбляется въ Одинцову, наконецъ, чувствуетъ себя близкимъ къ народу, несмотря на то, что говоритъ



про себя: „я возненавидѣлъ этого послѣдняго мужика, Филиппа или Сидора, для котораго я долженъ изъ кожи лѣзть и который мнѣ даже спасибо не скажетъ... да и на что мнѣ его спасибо?“ Онъ съ презрѣніемъ, съ высоты своего безпредразсудочнаго величія, глядитъ на народъ, но все это — и презрѣніе, и самое это величіе — только слѣдствіе того, что онъ не умѣетъ, не хочетъ умѣть „отдаваться“ — хотя бы даже народу, мысли о народномъ благѣ. И вотъ онъ съ презрѣніемъ отталкиваетъ отъ себя эту мысль, тогда какъ въ сущности его такъ и тянетъ къ народу, и онъ съ положительнымъ удовольствіемъ говоритъ Павлу Петровичу Кирсанову: „спросите любого изъ вашихъ же мужиковъ, въ комъ изъ насъ—въ васъ или во мнѣ—онъ скорѣе признаетъ соотечественника. Вы и говорить-то съ нимъ не умѣете...“ Базаровъ — не ходячая теорія; онъ живой человѣкъ, именно живыми своими сторонами обличающій многое въ своей теоріи и въ то же время, несмотря ни на что, возбуждающій къ себѣ участіе, растворенное даже уваженіемъ.

Что же добавилъ къ этому типу Гончаровъ своимъ Маркомъ Волоховымъ? Маркъ Волоховъ знакомится съ Вѣрой, воруетъ яблоки изъ сада ея бабушки; онъ не знаетъ другой дороги, какъ черезъ заборъ или черезъ окно; онъ беретъ деньги взаймы, прямо говоря, что ихъ не отдастъ; онъ надѣваетъ чужое платье, чтобы оставить его за собою: подѣлываясь подъ тонъ Вѣры, онъ, письмомъ отъ ея имени, выпрашиваетъ денегъ и платья у Райскаго; онъ вырываетъ страницы изъ книгъ, и притомъ изъ такихъ, которыхъ не можетъ не считать полезными, и закуриваетъ ими папирсы. Вотъ, стало быть, цѣлое множество новыхъ чертъ, — но все это нагроможденіе ихъ приводитъ только къ тому, что Маркъ оказывается карикатурой, а не живымъ человѣкомъ. И между тѣмъ до конца остается совершенно невыясненнымъ вопросъ, предложенный имъ самимъ Райскому: „отъ чего я такой? отвѣтите, и тогда я, можетъ-быть, вамъ отвѣчу, отчего я не буду ничего дѣлать“ (т.-е. ничего, кромѣ того *вспрыскиванія мозговъ*, которымъ онъ занимается). Правда, въ одномъ разговорѣ съ Вѣрой, Маркъ объясняетъ ей, изъ какого рода людей онъ и ему подобные (эта „новая, грядущая сила“) вербуетъ себѣ послѣдователей. Онъ говоритъ, во-первыхъ, о *семинаристахъ*: „ихъ держать въ потемкахъ, умы питаютъ

мертвечиной и вдобавокъ порютъ нещадно: вотъ, кто позадоритъ изъ нихъ, да еще изъ *кадетъ* — этихъ вовсе не питаютъ, а только порютъ — и падки на новое, рвутся изъ всѣхъ силъ — изъ погемокъ къ свѣту... Народъ молодой, здоровый, свѣжій, проситъ воздуха и пищи, а намъ такихъ и надо". — „Кому *намъ?*“ спрашиваетъ Вѣра, — и вотъ этотъ-то вопросъ — все-таки такъ и остается вопросомъ и для читателя. Кто такіе *они*, эти вербующіе себѣ послѣдователей?... Въ другомъ мѣстѣ авторъ говоритъ, что они *ни въстѣ откуда взялись*; — но вѣдь этого не можетъ быть, вѣдь должна же существовать причина ихъ появленія. У автора остается неразъясненнымъ и воспитаніе самого Марка. Дѣлаются намеки на то, что онъ былъ юнкеромъ, былъ, какъ будто и въ университетѣ (хотя послѣднее возбуждаетъ сомнѣніе въ Козловѣ). Откуда же онъ? Отчего онъ такой?

Да, отчего онъ такой — въ этомъ-то и весь вопросъ, а Гончаровъ не даетъ на него отвѣта. Но тогъ же типъ встрѣтится намъ еще не разъ у другихъ писателей, и мы будемъ имѣть случай увидѣть, отвѣтятъ ли они намъ на тотъ же основной вопросъ, или нѣтъ? Во-первыхъ, мы встрѣтимся съ этимъ типомъ у Достоевскаго.

Ор. Миллеръ.

---

### Лучше поздно, чѣмъ никогда.

Гончаровъ позаботился самъ объяснить процессъ своего творчества въ замѣчательной критической статьѣ, которую онъ озаглавилъ: „Лучше поздно, чѣмъ никогда“. Касаясь этого вопроса, онъ, между прочимъ, говоритъ въ своей статьѣ: „Художникъ мыслитъ образами“, сказалъ Бѣлинскій, и мы видимъ это на каждомъ шагу, во всѣхъ даровитыхъ романистахъ. Но какъ онъ мыслитъ — вотъ давнишній, мудреный, спорный вопросъ. Одни говорятъ — сознательно, другіе — безсознательно. Я думаю такъ и этакъ, смотря по тому, что преобладаетъ въ художникѣ, умъ или фантазія и такъ называемое сердце. Онъ работаетъ сознательно, если умъ его тонокъ, наблюдателенъ и превозмогаетъ фантазію и сердце. Тогда идея нерѣдко высказывается помимо образа. И если талантъ не силенъ, онъ заслоняетъ образъ и является тен-



денціею. У болѣе сознательныхъ писателей умъ доказываетъ, чего не договариваетъ образъ, — и ихъ созданія бываютъ нерѣдко сухи, блѣдны, неполны; они говорятъ уму читателя, мало говоря воображенію и чувству. Они убѣждаютъ, учатъ, увѣряютъ, такъ сказать, мало трогая. II, наоборотъ, при избыткѣ фантазіи и при относительно меньшемъ противъ таланта умѣ — образъ поглощаетъ въ себѣ знаніе, идею; картина говоритъ за себя, и художникъ часто самъ увидитъ смыслъ — съ помощью такихъ критическихъ истолкователей, какими, напримѣръ, были Бѣлинскій и Добролюбовъ. Рѣдко, въ лицѣ самого автора, соединяются и сильный объективный художникъ и вполне сознательный критикъ<sup>4</sup>. Однакожъ, дальнѣйшее развитіе мысли Гончарова противорѣчитъ этому его положенію; Гончаровъ, видимо, склоняется, говоря о себѣ, къ безсознательности творчества: „Рисуя, я рѣдко знаю въ ту минуту, что значитъ мой образъ, портретъ, характеръ; я только вижу его живымъ, передъ собой — и смотрю вѣрно ли я рисую; вижу его въ дѣйствіи съ другими, — слѣдовательно, вижу сцены и рисую тутъ этихъ другихъ, иногда далеко впередъ, по плану романа, не предвидя еще вполне, какъ вмѣстѣ свяжутся всѣ, пока разбросанныя въ головѣ, части цѣлаго. Я спѣшу, чтобы не забыть, набрасывать сцены, характеры, на листкахъ, клочкахъ — и иду впередъ, какъ будто ощущую, пишу сначала вяло, неловко, скучно (какъ начало въ Обломовѣ и Райскомъ), и мнѣ самому бываетъ скучно писать, пока не хлынетъ свѣтъ и не освѣтитъ дороги, куда мнѣ идти. У меня всегда есть одинъ образъ и вмѣстѣ главный мотивъ: онъ-то и ведетъ меня впередъ — и по дорогѣ я нечаянно захватываю, что попадется подъ руку, т.-е., что близко относится къ нему. Тогда я работаю живо, бодро, руки едва успѣваютъ писать, пока опять не упрусь въ стѣну. Работа, между тѣмъ, идетъ въ головѣ, лица не даютъ покоя, пристають, позируютъ въ сценахъ, я слышу отрывки ихъ разговоровъ — и мнѣ часто казалось, проси Господи, что я это не выдумываю, а что это все носится въ воздухѣ, около меня, и мнѣ надо только смотрѣть и вдумываться. Мнѣ, напр., прежде всего бросался въ глаза лѣнивый образъ Обломова — въ себѣ и въ другихъ — и все ярче и ярче выступалъ передо мною. Конечно, я инстинктивно чувствовалъ, что въ эту фигуру вбираются мало-по-малу эле-

ментарныя свойства русскаго человѣка — и пока этого инстинкта довольно было, чтобы образъ былъ вѣренъ характеру. Если бы мнѣ тогда сказали, что Добролюбовъ и другіе и, наконецъ, я самъ нашелъ въ немъ — я бы повѣрилъ, а повѣривъ, сталъ бы умышленно усиливать ту или другую черту и, конечно, испортилъ бы. Вышла бы тенденціозная фигура! Хорошо, что я не вѣдалъ, что творю“. „И что такое умъ въ искусствѣ? Это умѣніе создать образъ. Слѣдовательно, въ художественномъ произведеніи одинъ образъ уменъ, — и чѣмъ онъ строже, тѣмъ умнѣе“. Однако, скажетъ, можетъ быть, читатель, какъ согласовать эту защиту безсознательности въ творествѣ съ тѣмъ, что самъ Гончаровъ объясняетъ, съ тѣмъ смысломъ, который онъ придаетъ своимъ произведеніямъ? Всѣ свои три романа онъ сливаетъ въ одинъ. Всѣ они связаны одною общою нитью, одною послѣдовательною идеею, — переходъ отъ одной эпохи русской жизни, которую онъ переживалъ, къ другой — и отраженіемъ ея явленій въ его изображеніяхъ, портретахъ, сценахъ, мелкихъ подробностяхъ. Это видимое противорѣчіе Гончаровъ объясняетъ тѣмъ обстоятельствомъ, что идея, смыслъ всего произведенія являются не путемъ аналитической работы ума, а возникаютъ сами собой, такъ сказать, изъ самыхъ этихъ образовъ, созданныхъ безсознательно, если только эти образы типичны, т.-е. если они отражаютъ въ себѣ крупнѣе или мельче, эпоху, въ которой живутъ. Возьмите, напримѣръ, Райскаго (въ „Обрывѣ“)? Что хотѣлъ сказать Гончаровъ своимъ Райскимъ? Что такое Райскій? „Да все тотъ же Обломовъ, — отвѣчаетъ онъ — т.-е. прямой, ближайшій его сынъ, герой эпохи пробужденія. Обломовъ былъ цѣльнымъ, ничѣмъ не разбавленнымъ выраженіемъ массы, покоившейся въ долгомъ и непробудномъ снѣ и застоѣ. И критика, и публика находили это: почти всѣ мои знакомые на каждомъ шагу, смѣясь, говорили мнѣ по выходѣ книги въ свѣтъ, что они узнаютъ въ этомъ героѣ себя и своихъ знакомыхъ. Райскій — герой слѣдующей, т.-е. переходной эпохи. Это — проснувшійся Обломовъ: сплывшій, новый свѣтъ блеснулъ ему въ глаза. Но онъ еще потягивается, озираясь кругомъ и оглядываясь на свою обломовскую колыбель. Что-то пронеслось новое и живое въ воздухѣ, какія-то смутныя предчувствія; потомъ пошли слухи о новыхъ началахъ, преобразо-



вапіяхъ; обнаружилось движеніе въ наукѣ, въ искусствѣ; съ профессорскихъ кафедръ слышались живыя рѣчи; въ небольшихъ кружкахъ тогдашней интеллигенціи смѣло выражалась передовыми людьми жажда переменъ. Ихъ называли людьми „сороковыхъ годовъ“. Райскій, конечно, одинъ изъ нихъ и, можетъ-быть, что-нибудь и еще. Райскій — натура артистическая: онъ воспріимчивъ, впечатлителенъ, съ сильными задатками дарованій, но онъ все-таки сынъ Обломова. Онъ умомъ и совѣстью принялъ новыя животворныя сѣмена, но остатки еще не вымершей обломовщины мѣшаютъ ему обратить усвоенныя понятія въ дѣло. Онъ совался туда-сюда, но онъ не былъ серьезно подготовленъ наукой и практикой къ какой-нибудь государственной, общественной, или частной дѣятельности, потому что на всѣхъ сферахъ еще лежала обломовщина; тихое, монотонное теченіе сонныхъ привычекъ, рутина. Живое дѣло только-что просыпалось. Россія доживала вѣкъ Петровскихъ реформъ — и ждала новыхъ. Въ Райскаго входили, сначала безсознательно для меня самого, и многія типическія черты моихъ знакомыхъ и товарищей. Въ обществѣ, въ образованной средѣ, побѣги новыхъ, свѣжихъ стремленій мѣшались и путались еще съ терніями и волчицами обломовщины всякаго рода — и вольной и невольной, съ разными приманками празднаго житья-бытья и съ трудностями упорной борьбы со старымъ. Застой, отсутствіе спеціальныхъ сферъ дѣятельности, служба, захватывавшая годныхъ и негодныхъ, нужныхъ и ненужныхъ и размножавшая бюрократію, все еще густыми тучами лежала на горизонтѣ общественной жизни: группа новыхъ людей устремилась къ ихъ разсѣянію“. — „Въ Райскомъ, вмѣстѣ съ вліяніемъ на него хода времени и новыхъ событій, я слѣдилъ еще съ большимъ интересомъ — любопытный психологическій или фізіологическій процессъ проявленія этой подвижной и впечатлительной натуры въ его личной жизни. Именно то, какъ сила фантазіи въ артистическихъ натурахъ, не направленная на насущное дѣло, на художественныя созданія, бросалась въ самую жизнь, и мелочныя явленія послѣдней наряжала въ свои цвѣта и краски, производя тѣ чудачества, странности, часто безобразія, которыми нерѣдко бываетъ обильна жизнь артистовъ вездѣ... „Слѣдилъ, говорю я — надо бы сказать: смотрѣлъ и писалъ,

даже не думая, что вбираю въ себя впечатлительнымъ воображеніемъ лица и явленія, окрасившіяся въ краскахъ момента и такими выдаю ихъ назадъ, т.-е. кладу на бумагу. Въ этомъ весь процессъ. Я самъ не могу смотрѣть на свои романы иначе, какъ въ ихъ послѣдовательной связи. Я жилъ въ трехъ эпохахъ, въ доступномъ для меня быту, насколько у меня хватало силъ и таланта“.

Въ этихъ замѣткахъ Гончарова, писанныхъ въ тонѣ непритязательной бесѣды, высказана цѣлая теорія творчества. Я уже упомянулъ о томъ, какъ можно формулировать эти взгляды. Творчество по мнѣнію Гончарова, начинается въ безсознательномъ *видѣніи* и кончается сознательнымъ умственнымъ процессомъ, выводящимъ неизбѣжныя логическія заключенія изъ *видѣнія*. Гончаровъ можетъ быть, нѣсколько преувеличиваетъ процессъ безсознательности, но сознательности онъ удѣляетъ, — и довольно значительное мѣсто. Это видно особенно ясно изъ заключительныхъ словъ его бесѣды: „Я писалъ, говоритъ онъ, только то, что переживалъ, что мыслилъ, чувствовалъ, что любилъ, что близко видѣлъ и зналъ — словомъ, писалъ и свою жизнь и то, что къ ней приростало“. Эту теорію творчества (единственно на мой взглядъ вѣрную) можно передать и иными словами: художникъ (поэтъ, живописецъ, скульпторъ, музыкантъ) исходитъ въ своемъ творествѣ, изъ чувственного созерцанія предмета или чувства; потребность охватить его цѣликомъ, — выразить доступными ему средствами, не принося къ этому выраженію ничего посторонняго т.-е. никакого толкованія, — заставляетъ его проникать въ самую сущность предмета или чувства. И когда это сдѣлано, начинается логическій процессъ перестройки, т.-е. выводъ изъ этой сущности тѣхъ послѣдствій, которыя логически навязываются уму. Таковъ обыкновенно логическій процессъ всякаго творческаго созданія. Но это, въ сущности, только идеальная теорія, которая въ дѣйствительности подвергается самымъ разнообразнымъ видоизмѣненіямъ. Есть натуры, живущія, по преимуществу чувствомъ: у нихъ безсознательный процессъ переработки внѣшняго міра преобладаетъ; поэтому, ихъ произведенія не имѣютъ значительнаго философскаго значенія; они, въ обаятельныхъ художественныхъ формахъ, иногда съ большой глубиной, — изображаютъ свой внутренній міръ или фактическую внѣшность природы, по



дальше этого они не идутъ. Есть другія натуры, по преимуществу разсудочныя: тѣ къ объекту своего творчества относятся аналитически; онѣ описываютъ и въ описаніи приводятъ свои взгляды, предположенія, желанія, — они тенденціозны. Обѣ эти категоріи — съ преобладаніемъ чувства, впечатлительности, или съ преобладаніемъ разсудочности анализа — образуютъ, по преимуществу, второстепенныхъ поэтовъ и художниковъ. Но чѣмъ полнѣе гармонія между этими двумя элементами, тѣмъ уравновѣшеннѣе и слитнѣе являются они въ натурѣ — тѣмъ выше и глубже поэтъ и художникъ. Гончаровъ принадлежитъ къ этой послѣдней категоріи, но и у него элементъ анализа все таки, до известной степени, преобладаетъ. Уже то, что мы признали, какъ особенную черту его таланта: точность и полноту — даже до мелочности — въ его описаніяхъ фактической формы предмета — указываетъ на аналитическій характеръ его ума; я бы сказалъ, что его умъ гораздо дѣятельнѣе чувства, — и эта особенность владетъ характерную печать на его талантъ. Печать эта — его символизмъ. Анализируйте внимательно то впечатлѣніе, которое вы получаете отъ чтенія Гончарова, и вы, я думаю, придете къ убѣжденію, что въ немъ нѣтъ той художественной ясности и отчасти непосредственности, которая, напримѣръ, заключается въ Тургеневѣ. Художественная наблюдательность Гончарова необычайно велика и интенсивна, въ особенности во второстепенныхъ эпизодическихъ и вводныхъ фигурахъ: тутъ онъ не только художникъ, наблюдатель, но и великій мастеръ-живописецъ, располагающій краски съ поразительнымъ совершенствомъ рисующій съ безжалостной правдой Рембрандта или Веласкена. Если бы только эти особенности заключались въ Гончаровѣ, то мы имѣли бы реалиста самой чистой школы, — нѣчто въ родѣ Писемскаго, болѣе вѣрнаго дѣйствительности, чѣмъ сама фотографія, — потому что его картины были бы ярче и рельефнѣе фотографическихъ снимковъ, при той же вѣрности. Но въ Гончаровѣ заключается и другая черта, которая, въ большинствѣ случаевъ, преобладаетъ и составляетъ какъ бы общій фонъ всѣхъ его произведеній. Черта эта — философскій синтезъ явленій жизни, который въ искусствѣ очень часто переходитъ или перерождается въ аллегоричность, въ своего рода символизмъ. Черта эта сразу выдвинулась впередъ и

уже вполне ясно господствуетъ въ „Обыкновенной исторіи“, доходя до полнаго своего развитія въ „Обломовѣ“. Гончаровъ не только воспроизводитъ жизнь, но и философствуетъ по поводу ея, хотя первоначальнымъ исходнымъ пунктомъ у него всегда является непосредственное наблюденіе. Вотъ, напри- мѣръ, самъ Гончаровъ, объясняетъ намъ возникновеніе „Обык- новенной исторіи“: „Когда я писалъ „Обыкновенную исторію“, я, конечно, имѣлъ въ виду и себя и многихъ, подобныхъ себѣ, учившихся дома или университетѣ, жившихъ по затишьямъ, подъ крыломъ добрыхъ матерей, и потомъ отрывавшихся отъ нѣги, домашнего очага, со слезами, съ проводами (какъ въ первыхъ главахъ „Обыкновенной исторіи“) и являвшихся въ главную арену, въ Петербургъ и здѣсь, при встрѣчѣ мягкаго, избалованнаго лѣнью и барствомъ, мечтателя-пле- мянника съ практическимъ дядей — выразился намекъ на мотивъ, который едва только началъ разыгрываться въ самомъ бойкомъ центрѣ — въ Петербургѣ. Мотивъ этотъ — слабое мерцаніе сознанія необходимости труда, настоящаго, не- рутиннаго, живого дѣла, въ борьбѣ со всероссійскимъ за- стоемъ. Это отразилось въ моемъ маленькомъ зеркалѣ, въ среднемъ чиновничьемъ кругу. Безъ сомнѣнія, тоже, въ такомъ же духѣ, тонѣ и характерѣ, только другихъ раз- мѣровъ разыгрывалось и въ другихъ, и въ высшихъ и низшихъ сферахъ русской жизни. Представитель этого мо- тива въ обществѣ былъ дядя: онъ достигъ значительнаго положенія въ службѣ: онъ директоръ, тайный совѣтникъ и, кромѣ того, онъ сдѣлался и заводчикомъ. Тогда отъ 20-хъ до 40-хъ годовъ — это была смѣлая повизна, чуть не уни- женіе (я не говорю о заводчикахъ-барахъ, у которыхъ за- воды и фабрики входили въ число родовыхъ имѣній, были оброчныя статьи, и которыми они сами занимались). Тайные совѣтники мало рѣшались на это. Чинъ не позволялъ, а званіе купца не было лестно. Въ борьбѣ дяди съ племян- никомъ отразилась и тогдашняя, только что начинавшаяся ломка старыхъ понятій и нравовъ — сентиментальности, каррикатурнаго преувеличенія чувствъ дружбы и любви, поэзія праздности, семейная и домашняя жизнь напускныхъ, въ сущности небывалыхъ чувствъ (напримѣръ, любовь съ жел- тыми цвѣтами старой дѣвы-тетки и т. д.), пустая трата времени на визиты, на ненужное гостепріимство и т. п.



Словомъ, вся праздная мечтательная и афектаціонная сторона старыхъ нравовъ съ обычными порывами юности — къ высокому, великому, изящному, къ эффектамъ, съ жаждой высказать это въ трескучей прозѣ, всего болѣе въ стихахъ. Все это отживало, уходило: являлись слабые проблески новой зари, чего-то трезваго, дѣловаго, нужнаго. Первое т.-е. старое исчерпалось въ фигурѣ племянника, и оттого онъ вышелъ рельефнѣе, яснѣе. Второе, т.-е. трезвое сознаніе необходимости дѣла, труда, знанія, — выразилось въ дядѣ; но это сознаніе только нарождалось, показывались первые симптомы, далеко было до полного развитія, — и понятно, что начало могло выразиться слабо, неполно, только кое гдѣ въ отдѣльных лицахъ и маленькихъ группахъ, и фигура дяди вышла блѣднѣе фигуры племянника“. Это личное сознаніе Гончарова подтверждается и фактически самимъ произведеніемъ. Несомнѣнно, что въ основѣ „Обыкновенной исторіи“ лежитъ живое наблюденіе; но посмотрите, что художникъ сдѣлалъ съ этимъ первичнымъ наблюденіемъ, сознательно или безсознательно, но во всякомъ случаѣ подчиняясь своему складу ума. Вы думаете, что художникъ дастъ вамъ широкую картину, въ которой, какъ въ зеркалѣ, отразится дѣйствительность, съ ея противорѣчіями, уклонами, съ ея безконечнымъ разнообразіемъ, не допускающей никакой опредѣленной формулы и никакого опредѣленнаго вывода? Такъ было бы подъ перомъ непосредственнаго художника: широкая картина появилась бы, можетъ быть, колоритно и ярко, но безъ внутренняго содержанія. Но не такъ вышло у Гончарова. Картина у него есть, яркая, прекрасная, — но главное не въ ней — не очертанія, не гармонія красокъ, а опредѣленная логическая формула, опредѣленный и сознательный выводъ. Его племянникъ, герой романа, изъ живого человѣка превратился въ олицетвореніе всероссійской сентиментальности, какой-то нервной расплывчатости, неумѣнья приноровиться къ дѣйствительности. Дядя, напротивъ того, — олицетвореніе всероссійскаго практическаго благоразумія, отлично устранившаго свои дѣла, но зато ровно ничего не понимающаго въ дѣлѣ чувства. Однимъ словомъ, племянникъ идеалистъ, дядя — практикъ; племянникъ пишетъ стихи, вѣчно влюбляется и сентиментально вздыхаетъ; дядя дѣлаетъ карьеру по службѣ; управляетъ заводомъ, наживаетъ состояніе. Все

это, конечно, существуетъ и въ жизни: и въ тридцатыхъ годахъ и въ наше время встрѣчались и встрѣчаются такіе люди и племянники, съ таковыми родовыми чертами, но они никогда не являются въ такихъ рѣзкихъ законченныхъ, цѣльныхъ формахъ. И вотъ почему кажется, что какъ племянникъ, такъ и дядя не списаны съ натуры, какъ это мы видимъ, по большей части, въ герояхъ Бальзака, Золя, Тургенева, Писемскаго: — они — только дидактическія фигуры, въ которыя Гончаровъ вноситъ свое собственное содержаніе, свой собственный взглядъ. Но они не типы, потому что типъ есть форма собирательная, выражающая собою отвлеченную сущность извѣстнаго явленія, безъ всякихъ постороннихъ соображеній, а у Гончарова постороннія соображенія не только видны, но и преобладаютъ. Къ этимъ постороннимъ соображеніямъ принадлежитъ, напримѣръ, постоянное желаніе морализировать на заданную тему, постоянно уходить отъ жизни и погружаться въ этику. Отсюда и тотъ пріемъ, который такъ часто замѣчается у Гончарова. Весь романъ почти сплошь состоитъ изъ разговоровъ между племянникомъ — романтикомъ и дядей — практическимъ докой. Дѣйствительность вѣчно непріятно поражаетъ племянника, онъ вѣчно недоволенъ, вѣчно разочарованъ, онъ вѣчно встрѣчаетъ препятствія и вѣчно видитъ не то, о чемъ мечталъ. Встрѣчаетъ ли онъ дѣвушку, которая ему нравится, въ которую онъ влюбляется, онъ ее идеализируетъ, ставитъ на пьедесталь; потомъ ему измѣняютъ; онъ разочаровывается и проклиняетъ всѣхъ дѣвицъ. Съ своими сомнѣніями и разочарованіями онъ является къ дядѣ, который, какъ истинно практическій человѣкъ, научаетъ его благоразумію, показываетъ несостоятельность его мечтаній и издѣвается надъ его чувствительностью. И въ этихъ разговорахъ заключается вся „Обыкновенная исторія“, которую Гончарову слѣдовало бы назвать „необыкновенной“, потому что въ обыкновенной жизни ничего подобнаго не бываетъ въ такой опредѣленной, прямолинейной формѣ. Огромная, конечно, сила таланта потребовалась для того, чтобы этотъ сухой догматизмъ, чтобы эта практическая форма, чтобы это подведеніе жизни подъ опредѣленныя рамки все-таки не мѣшали прочесть романъ и увидѣть въ немъ красоты, дѣйствительно блестящія.



До какой степени этотъ обобщающій пріемъ преобладаетъ въ творествѣ Гончарова, видно, между прочимъ, изъ другого мѣста той же статьи „Лучше поздно, чѣмъ никогда“, гдѣ онъ говоритъ о лучшемъ изъ своихъ типовъ, о бабушкѣ въ „Обрывѣ“. „Я писалъ со старой русской хорошей женщины, или съ русскихъ старыхъ женщинъ стараго добраго времени, — коллективно, не думая ни о какой параллели, но, должно быть она инстинктивно гнѣздилась въ моей головѣ, и когда я уже закончилъ фигуру, оглядѣлъ ее — у меня въ концѣ книги вырвались слова, которыми я окончилъ романъ. Вотъ они: „За нимъ (Райскимъ, когда онъ былъ въ Италіи) все стояли и горячо звали къ себѣ три фигуры: его Вѣра, его Мароенька и бабушка, а за ними стояла и сильнѣе ихъ влекла къ себѣ еще другая исполинская фигура, другая великая бабушка — Россія“. Вотъ что отразилось или, если я слабый художникъ и не одолѣлъ образа, то, по крайней мѣрѣ, вотъ что просилось отразиться въ моей старухѣ, какъ отражается солнце въ каплѣ воды: старая, консервативная русская жизнь“.

Слова эти, по моему мнѣнію, чрезвычайно характерны, потому что они точно и вѣрно отражаютъ самую сущность гончаровскаго творчества. Въ бабушкѣ онъ стремился изобразить старую консервативную русскую жизнь; бабушка для Гончарова не только живая индивидуальность и даже не столько сборный типъ, вмѣщающій въ себѣ многія индивидуальности, какъ образуетъ ихъ среда, привычки, воспитаніе, — сколько олицетвореніе или, вѣрнѣе, символъ консервативной русской жизни. Въ этомъ разгадка художественнаго процесса Гончарова: не о типѣ, не о личности заботился онъ, а о символизациі обобщающихъ понятій. Другіе поэты-художники въ огромномъ большинствѣ (почти всѣ, и во главѣ ихъ, конечно, Шекспиръ) допускаютъ лишь одно художественное обобщеніе — типъ. Таковъ, напримѣръ, Тургеневъ; его Рудинъ, Лаврецкій, Базаровъ — только типы; въ нихъ нѣтъ никакой символизациі; переберите мысленно всѣ фигуры романовъ Тургенева: это просто характеры, индивидуальности, имѣющія только психологическій интересъ, или же, въ крайнемъ случаѣ — типы, т. е. сборныя фигуры, объединяющія многія индивидуальности. Есть даже великіе поэты-художники, которые считаютъ слишкомъ боль-

шимъ обобщеніемъ, несовмѣстнымъ съ истиннымъ искусствомъ, даже типъ. Къ такимъ художникамъ принадлежитъ, напримѣръ Гёте: гдѣ вы найдете у него хоть намекъ на типъ. Таковъ, съ другой стороны, Байронъ: у него нѣтъ, такъ же, какъ у Гете, типа. Гончаровъ стоитъ отъ нихъ въ другомъ полюсѣ: тѣ знаютъ только индивидуальность; онъ же знаетъ *почти только* отвлеченныя понятія, олицетворяемыя въ создаваемыхъ имъ фигурахъ. Байронъ и Гете — я бы рискнулъ сказать, — на точкѣ зрѣніи Аристотеля, знающаго только видъ и незнающаго рода; они, по средневѣковой терминологіи, реалисты; Тургеневъ, отчасти Толстой, Достоевскій, Диккенсъ, Теккерей — платонисты или, схоластически говоря — номиналисты. Гончаровъ, подобно Данте, идетъ еще дальше: онъ, если можно такъ сказать, трансцендентальнѣе; для него даже платоническихъ идей-типовъ мало; онъ восходитъ отъ нихъ къ еще болѣе общимъ, отвлеченнымъ понятіямъ, долженствующимъ представлять уже не роды, а, такъ сказать, міровыя единства. Я сейчасъ поставилъ Гончарова рядомъ съ Данте; и въ самомъ дѣлѣ, у нихъ много общаго, если разумѣется, забыть о томъ, что русскій романистъ принадлежитъ къ XIX столѣтію, а великій гоббелинъ къ XIV-му, что одинъ не только поэтъ, но и вѣрующій католикъ и страстный политическій дѣятель, между тѣмъ какъ второй воспиталъ въ себѣ, благодаря условіямъ времени и обстоятельствъ, нѣкоторый индеферентизмъ въ дѣлѣ религіи и нѣкоторый свѣтскій скептецизмъ въ философіи. Но, помимо этого, они — родственныя натуры и аллегористы: Беатриче для Данта не есть женщина, которую онъ когда-то любилъ и въ молодости потерялъ, это олицетвореніе богословія или философіи, — совершенно въ такомъ смыслѣ, какъ бабушка для Гончарова есть олицетвореніе старой русской консервативной жизни. — Какъ, можетъ быть, скажетъ читатель, удивленный этими словами, противорѣчащими всему тому, что онъ до сихъ поръ слыхалъ о Гончаровѣ, — у Гончарова нѣтъ типовъ? А Обломовъ, Волоховъ, Захаръ, Тушинъ? Дѣйствительно, всѣ эти прекрасно изваянныя фигуры, на первый взглядъ, кажутся типами, но стоятъ только взвѣснить роль cadaго изъ нихъ, чтобы увидать, что они больше, чѣмъ типы, что они обобщающія понятія, а не психологическіе моменты. Такъ, впрочемъ, понималъ ихъ и самъ Гон-



чаровъ, который во избѣжаніе всякихъ недоразумѣній, точно и ясно высказалъ въ своей статьѣ: „Лучше поздно, чѣмъ никогда“. Ссылаясь на Добролюбова, онъ говоритъ объ Обломовѣ: „Воплощеніе сна, застоя, неподвижной мертвой жизни, — переползаніе изъ дня въ день, въ одномъ лицѣ и въ его обстановкѣ — было всѣми найдено вѣрнымъ“. Нѣсколько дальше онъ прибавляетъ: „Обломовъ былъ цѣльнымъ, ничѣмъ не разбавленнымъ выраженіемъ массы, покоившейся въ долгомъ и непробудномъ снѣ и застоѣ“. Значитъ, Обломовъ не типъ, не фигура, въ которой какъ въ фокусѣ, отражаются многія русскія индивидуальности, а представленіе, символизация опредѣленной эпохи въ русской общественной жизни. По отношенію къ Волохову и въ критикѣ и въ обществѣ, когда появился „Обрывъ“ возникли недоразумѣнія. Волохова сочли представителемъ молодого поколѣнія шестидесятыхъ годовъ, нѣчто въ родѣ тургеневскаго Базарова, только грубо и рѣзко изображеннаго. Отвѣчая на этотъ упрекъ, Гончаровъ характеризуетъ молодое поколѣніе и затѣмъ говоритъ: „Нѣтъ, это не Волоховъ, а представители новой „правды“, воцарившейся съ освобожденіемъ крестьянъ и съ другими великими реформами, внесшими новую жизнь въ русское общество. Но въ жизни, рядомъ съ правдой, къ несчастію, гнѣздится и ложь: и представителемъ этой „новой лжи“ являются Волоховы“. Опять таки значитъ, не типъ. Правда, характеризуя Волохова въ своей статьѣ, Гончаровъ нѣсколько разъ употребляетъ слово типъ, но это слово онъ употребляетъ, не придавая ему строгаго истиннаго значенія, а просто въ томъ смыслѣ, въ какомъ оно обыкновенно употребляется — расплывчатомъ, неясномъ, даже двусмысленномъ. Истиннымъ представителемъ молодого поколѣнія для Гончарова является Тушинъ въ томъ же „Обрывѣ“. По поводу Тушина Гончаровъ обмолвился очень характернымъ выраженіемъ: „Этого Тушина, говорю я, позвала бабушка на помощь, — и онъ сослужилъ ей службу, какъ и всѣ честные, здоровые члены новыхъ поколѣній, всѣ Тушины сослужаютъ службу Россіи, разработавъ, довершивъ и упрочивъ ея преобразование и обновленіе“. Переведите эту фразу на болѣе простой языкъ, помня, что для Гончарова Тушинъ — представитель молодого поколѣнія — а бабушка консервативная Россія, и вы получите фразу: консервативная Россія призвала на помощь мо-

лодое поколѣніе, чтобы довершить ея преобразование и обновление. Неужели и это не аллегорія, не символика?

По пойдемъ дальше въ этомъ анализѣ творчества Гончарова. Въ „Обыкновенной исторіи“ Гончаровъ изобразилъ первичный фазисъ русской культурной жизни, фазисъ двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ, слабое мерцаніе сознанія въ необходимости труда, живого дѣла. Въ „Обломовѣ“ Гончаровъ характеризуетъ второй фазисъ русской жизни — „переползаніе изъ дня въ день, обломощину“. Третій фазисъ — это уже пробужденіе отъ обломовскаго сна въ „Обрывѣ“, пробужденіе отъ слабаго сознанія необходимости труда и отъ обломовскаго прозябанія до сознанія практической общественной дѣятельности. Такимъ образомъ, по взгляду Гончарова, вся русская жизнь XIX столѣтія укладывается въ три романа, логически развиваясь, какъ философская тема, напоминающая собою триаду Гегеля. Параллельно съ этимъ, такую же роль играютъ и женскія фигуры. Въ „Обыкновенной исторіи“ Наденька не есть какой-нибудь портретъ или типъ, а просто „хорошая русская дѣвушка“ извѣстнаго круга той эпохи, извѣстный моментъ въ развитіи русской женщины. Затѣмъ, въ „Обломовѣ“ Ольга, по словамъ самого Гончарова, есть та же самая дѣвушка, но только слѣдующей эпохи и, слѣдовательно, измѣнившаяся, сообразно съ новыми условіями жизни. Наденька — покорная дочь, но уже имѣетъ преимущество предъ матерью: она безъ спросу полюбила Адуева и считаетъ себя вправѣ распоряжаться своимъ внутреннимъ міромъ. Но Наденька увидала графа, сравненіе было не въ пользу Адуева, и она перешла на сторону графа. „Въ этомъ пока и состоялъ сознательный шагъ русской дѣвушки — безмолвная эмансипація, протестъ противъ безпощаднаго для нея авторитета матери“, прибавляетъ Гончаровъ. Но отъ *несвѣдѣнія* Наденьки — естественный переходъ къ сознательному замужеству Ольги со Штольцемъ, представителемъ труда, знанія, силы (въ „Обломовѣ“). „Но въ этой же фигурѣ Ольги уже кроется зародышъ дальнѣйшаго развитія, какъ только условія жизни будутъ благопріятны. И вотъ Гончаровъ принимается за третій фазисъ русской жизни. Онъ пишетъ Вѣру (въ „Обрывѣ“). Это все та же Ольга, только шестидесятыхъ годовъ это — лучшая изъ женщинъ, которая самостоятельно и гордо, не



прибѣгая къ „старой мудрости“ бабушки и неподготовленная тою же бабушкой, по невѣдѣнію, а также по гордости сама пошла на свѣтъ и чуть не сгорѣла. „Пала не Вѣра, не личность, пала русская дѣвушка, русская женщина, жертвой въ борьбѣ старой жизни съ новой; она не хотѣла жить слѣпо, по указкѣ старшихъ. Она сама знала, что отжило въ старой жизни, и давно тосковала, искала свѣжей осмысленной жизни; хотѣла сознательно пойти и принять новую правду, удержавъ все прочее, коренное, лучше въ старой жизни. Но она „не знала“, гдѣ и какъ искать. Бабушка берегла ее отъ болѣзней, отъ явныхъ и извѣстныхъ ей золъ и бѣдъ и не приготовила ни къ какимъ, невѣдомымъ ей самой, бѣдамъ“. Тутъ мы, значитъ, опять встрѣчаемся съ гегелевской тріадой.

Любопытно то, что символика идетъ дальше. Гончаровъ не только изображалъ намъ русскую жизнь въ ея логически-историческомъ развитіи, олицетворяя въ своихъ фигурахъ существенные моменты этого развитія, — онъ продолжалъ и дальше эту символикацію, придавая ей характеръ симметріи, которая уже окончательно устраняетъ всякое сомнѣніе относительно этой способности въ творествѣ Гончарова. И, въ самомъ дѣлѣ, у Гончарова вездѣ мы встрѣчаемъ параллельныя фигуры. Въ „Обыкновенной исторіи“ племянникъ противопоставляется дядѣ, Обломову противопоставляется Штольцъ, Волохову — Тушинъ, Вѣра — Марѣенка и такъ дальше. И надо всѣмъ этимъ высится величественная фигура бабушки — Россіи. Какъ бы мы не относились къ характеру творчества Гончарова, нельзя во всякомъ случаѣ не удивляться чрезвычайной, почти небывалой мощи и силѣ этого синтеза, позволившаго Гончарову соединить въ одно все разнообразіе явленія, всѣ видимыя и неизбежныя противорѣчія общества, находящагося въ процессѣ развитія, — соединить, говоримъ мы, все это въ одно великое цѣлое, дающее, какъ бы въ отвлеченной формѣ, разумѣніе самой сущности этого процесса...

Какъ бы ни казалось страннымъ (я сознаю это) сравненіе художественнаго созданія Гончарова съ „Божественной комедіей“ — это сравненіе невольно приходитъ на умъ, если мы будемъ смотрѣть на оба созданія съ извѣстной точки зрѣнія. И, въ самомъ дѣлѣ, поэма Данте есть величайшій эпосъ среднихъ вѣковъ; въ немъ Данте резюмировалъ не только общественную и государственную жизнь, но фило-

софію, религію, науку своего времени. Гончаровъ охватилъ русское XIX столѣтіе не съ такимъ широкимъ размахомъ и не съ такой геніальной глубиной, но въ обѣихъ задачахъ есть несомнѣнно, нѣчто родственное: желаніе и умѣніе свести къ одному окончательному синтезу всю историческую, государственную и общественную жизнь опредѣленной эпохи. Эта родственность обѣихъ великихъ художественныхъ талантовъ тѣмъ болѣе навязывается уму, что не только задачи ихъ были подобны, но въ пріемѣ выполненія мы видимъ нѣчто общее... Будучи оба символистами, они оба въ то же время обладали всѣми свойствами великихъ художниковъ-портретистовъ: фигуры Данте, точно бронзовыя статуи, до такой степени врѣзаются въ память, что ихъ невозможно забыть; это великій знатокъ души человѣческой и великій изобразитель людей. Но развѣ не подобное же впечатлѣніе оставляетъ и Гончаровъ, разумѣется, *toute proportion gardée*? И гончаровскія фигуры стоятъ предъ нами, какъ бронзовыя статуи, въ которыхъ, несмотря на подвижность, кипитъ жизнь, совершаются душевныя процессы.

Но въ гончаровскомъ творествѣ все-таки поразительнѣе всего символизмъ. Благодаря этому символизму индивидуальныя черты его фигуръ мало по-малу сглаживаются, теряютъ свои очертанія, и, вмѣсто живой картины, является какое-то туманное, выдвинувшееся впередъ, аллегорическое изображеніе философскихъ взглядовъ автора на смыслъ русской жизни, на характеръ ея логики; и эту логику, этотъ смыслъ онъ усматриваетъ въ одной и той же фигурѣ, которая, различно освѣщаемая жизнью, принимаетъ различныя формы. Такая символизація очень часто употреблялась въ поэзіи и создавала величайшія произведенія искусства (не говоря о „Божественной комедіи“, можно указать на гётевскаго „Фауста“, на байроновскаго „Манфреда“, на нѣкоторыя части „Dziadło“ Милцкевича), — но употреблялась она тѣмъ неменѣе преимущественно въ пластическихъ искусствахъ. Въ простѣйшей и самой незатѣливой формѣ, — это, такъ называемая, аллегорія. И теперь еще встрѣчается скульпторы (и я думаю, они никогда не переведутся), которые въ образахъ фантастическихъ идеальныхъ женщинъ представляютъ правду, красоту и прочія отвлеченныя понятія. Всѣ эти прекрасныя дамы, — и правда и красота, какъ двѣ



капли воды, похожи другъ на друга; отличаютъ ихъ только вышніе атрибуты ихъ сущности — въ большей части — наслѣдіе и греческой и римской мѣологій. То же самое встрѣчается въ живописи. Правда, пріемъ Гончарова гораздо сложнѣе, гораздо художественнѣе и гораздо умнѣе, но въ сущности это тотъ же самый пріемъ символизаціи и аллегорій. Аллегорія эта у Гончарова касается не отвлеченныхъ понятій, а живыхъ явленій, но эти явленія изображаются имъ аллегорично.

И вотъ почему, на мой взглядъ, Гончаровъ занимаетъ совершенно особенное мѣсто въ ряду не только русскихъ, но западно-европейскихъ беллетристовъ. Пріемъ его, я думаю, можетъ и долженъ быть порицаемъ, какъ пріемъ, противорѣчащій коренной сущности искусства, идущій въ разрѣзъ съ направлениемъ нашего времени. Но когда онъ встрѣчается въ соединеніи съ такой силой и интенсивностію отвлеченной мысли, съ такимъ высокимъ высоко-художественнымъ анализомъ подробностей, съ такимъ рѣдкимъ талантомъ тонкой и проницательной наблюдательности, съ такимъ чарующимъ чувствомъ пластической красоты, съ такой чистотой стиля, съ такимъ благородствомъ возрѣній и, въ то же время, съ такой твердостію пониманія, то этотъ пріемъ, — можетъ быть, и изолированное явленіе въ поэзіи, но явленіе, во всякомъ случаѣ, чрезвычайно замѣчательное и остающееся въ вѣчныя времена украшеніемъ исторіи всемірной литературы. Гончаровъ догматизируетъ и марализируетъ, но въ то же время и отражаетъ жизнь глубокимъ проникновеніемъ въ ея тайны, глубокимъ пониманіемъ ея смысла. Пусть его произведенія не подходятъ подъ ту или другую категорію установившихся формъ искусства — они все-таки имѣютъ огромное значеніе и огромную цѣну. Въ сущности, категорій и клѣтокъ нѣтъ, ихъ не должно быть въ искусствѣ, какъ нѣтъ ихъ въ жизни, и мы, конечно, не впадемъ въ ошибку Гончарова: искусство мы не будемъ подводить подъ ту или другую теорію. Какое намъ дѣло до теорій, когда жизнь передъ нами? искусство — проявленіе жизни, а жизнь не знаетъ ни теорій ни клѣтокъ. Лишь бы только жизнь проявилась въ искусствѣ ярко, рельефно, полно, во всѣхъ своихъ переливахъ, — намъ этого достаточно; а какія для этого средства употребляетъ художникъ, — это

дѣло второстепенное. Если эти средства находятся въ гармоніи съ самымъ характеромъ и вѣчными законами художественнаго творчества, — тѣмъ лучше.

Для искусства и поэзіи, въ широкомъ значеніи этого слова, Гончаровъ имѣетъ значеніе, по-преимуществу, какъ великій, хотя и своеобразный, портретистъ. И Гончаровъ, и Тургеневъ, и Достоевскій, и Толстой, — все это великіе портретисты. Каждый изъ нихъ создалъ цѣлую галерею чудеснѣйшихъ портретовъ. Одинъ во вкусѣ Веласкена, другой — въ манерѣ Рафаэля, третій — въ стилѣ Рембрандта, четвертый — въ формахъ Гольдента. Но они велики и въ другомъ отношеніи: Толстой и Достоевскій — геніальные психологи: одинъ показываетъ намъ нормальную, здоровую душу человѣка, и притомъ русскаго человѣка; другой — болѣзненные ея проявленія. Два другихъ, — Тургеневъ и Гончаровъ, великіе физиологи русскаго общества; они слѣдятъ за процессомъ общественной жизни и олицетворяютъ этотъ процессъ въ обаятельныхъ художественныхъ формахъ.

Но изъ всѣхъ четырехъ великихъ романистовъ земли русско́й, Гончаровъ — наименѣе популяренъ. Не разъ было замѣчаемо, что въ Европѣ, которая зачитывается произведеніями нашихъ романистовъ, Гончарова читается менѣе другихъ, — менѣе Толстого, Тургенева, Достоевскаго; даже не всѣ его произведенія переведены. Кромѣ того, можно прибавить, что просто напросто мало читается и почти неизвѣстенъ за границей. Въ то время какъ переводы Толстого, Тургенева, Достоевскаго слѣдуютъ другъ за другомъ съ невѣроятной быстротой и выдерживаютъ по нѣскольку изданій, — Гончаровъ остается въ тѣни и не оживляетъ собой книжнаго рынка. Но этого мало: Гончаровъ не только мало популяренъ за границей, онъ менѣе другихъ нашихъ романистовъ читается и въ самой Россіи; его имя, правда чрезвычайно популярно у насъ, — нельзя считатьъ хотя сколько нибудь образованнымъ человѣкомъ, не зная хорошо произведеній Гончарова. Но онъ все-таки мало читается: его прочитаютъ, но къ нему рѣдко возвращаются; его не забываютъ, но въ большинствѣ случаевъ не ощущаютъ влеченія воскресить въ своей памяти новымъ чтеніемъ тѣхъ высокихъ, эстетическихъ на, слаженій, которыя мы когда-то ощущали, когда читали его въ первый разъ. Его очень уважаютъ, но менѣе любятъ.



чѣмъ Тургенева, Толстого, Достоевскаго. Это обязательство очень любопытно и очень поучительно. Вѣдь нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, не видѣть огромнаго, геніальнаго таланта Гончарова, вѣдь нельзя же не замѣчать его образцоваго, классическаго языка, чрезвычайной, почти волшебной силы въ изображеніи характеровъ, огромнаго художественнаго синтеза, которыми отличаются его произведенія, и благодаря которымъ онѣ такъ тѣсно связаны между собой, что составляютъ одно великое цѣлое. Въ чемъ заключается причина такого отношенія къ великому писателю? Мнѣ кажется, что моя настоящая статья можетъ служить, по крайней мѣрѣ, отчасти, отвѣтомъ на этотъ вопросъ. Гончаровъ мало доступенъ массѣ публики, благодаря именно тѣмъ особенностямъ своего синтеза, которыя дѣлаютъ его великимъ писателемъ. Его подчасъ, слишкомъ явный догматизмъ, его обобщающіе взгляды, рѣдко скрываемые обаятельностью художественныхъ формъ; его символизмъ, ясно выступающій среди фантазмагоріи красокъ; его мысль, имѣющая характеръ чуть ли не научнаго изслѣдованія и постоянно напряженная: его строгая логика событій; преобладаніе трезваго сознанія надъ фантазіей, которая почти не встрѣчаетъ себѣ мѣста среди описываемой имъ обыденной жизни, — всѣ эти качества, сосредоточенныя въ такой громаднѣйшій фокусъ, дѣлаютъ чтеніе произведеній Гончарова отчасти мало завлекательнымъ, отчасти даже прямо труднымъ для умовъ, воспитанныхъ на легкомъ французскомъ романѣ и не привыкшихъ вдумываться въ содержаніе и значеніе образовъ, воскрешаемыхъ художникомъ. Слѣдуетъ ли сожалѣть, что такова въ настоящее время судьба Гончарова? Я думаю, что нѣтъ. Каждый художникъ, если онъ великъ, выполняетъ свою функцію въ сферѣ, ему данной. Гончаровъ никогда не будетъ настольной книгой большинства: для этого онъ слишкомъ, если можно такъ выразиться, аристократиченъ. Въ рукахъ массы онъ былъ бы не понятъ, или понятъ превратно, наивно—просто; но онъ останется всегда однимъ изъ самыхъ великихъ и любимыхъ писателей того меньшинства, которое въ искусствѣ видитъ не одну лишь простую забаву не одну лишь пищу воображенія, а результатъ серіозной вдумчивости и благотворной мысли.

*Чуйко.*

Гончаровъ, его пріемственная связь съ Пушкинымъ; особенности его таланта сравнительно съ Гоголемъ, Тургеневымъ и Островскимъ.

Всего пять лѣтъ спустя послѣ появленій въ печати „Мертвыхъ душъ“, дебютировалъ въ литературѣ писатель, уже не новый, но до того времени никому неизвѣстный. Въ противоположность другимъ своимъ сверстникамъ и современникамъ, начинавшимъ литературную карьеру обыкновенно или стихами, или небольшими, какъ бы подготовительными этюдами, новый писатель сразу выступилъ съ большимъ по объему и крупнымъ по значенію романомъ — и сразу, безъ усилій и борьбы, занялъ не только выдающееся, но и вполне оригинальное положеніе въ литературѣ. Въ то время, когда молодая Россія находилась подъ обаяніемъ первыхъ впечатлѣній, возбужденныхъ бессмертною эпопеею Гоголя — этимъ камнемъ, брошеннымъ могучей рукой художника въ стоячее болото русской жизни и всколыхнувшимъ его до самаго дна, — въ новомъ романѣ почувствовалась сила свѣжая и самобытная, замѣтно уклонявшаяся отъ гоголевскаго міросозерцанія, хотя и родственная Гоголю по пріемамъ художественнаго творчества. „Бѣлинскій, привѣтствуя „Обыкновенную исторію и разбирая ее наряду съ одновременно появившимся романомъ Герцена: „Кто виноватъ?“ замѣтилъ, что у Гончарова нѣтъ ничего, кромѣ таланта, и что онъ болѣе всѣхъ современныхъ писателей имѣетъ право называться поэтомъ-художникомъ.

И въ самомъ дѣлѣ, уже въ первомъ романѣ Гончарова съ достаточной опредѣленностію обозначились тѣ особенныя свойства его таланта, которыя впослѣдствіи выступили во всей своей полнотѣ и яркости въ другихъ его произведеніяхъ: широкой захватъ жизни, изображаемой съ эпически — спокойной объективностію, отсутствіе лиризма непосредственное, простое отношеніе къ быту и вмѣстѣ (употребляя его собственное выраженіе) „кровная любовь“ къ созданнымъ имъ типамъ, выражающаяся въ необыкновенно внимательной и подробной разработкѣ ихъ внѣшняго облича и внутренняго душевнаго склада. Между тѣмъ какъ у Гоголя не только въ „Мертвыхъ душахъ“, переполненныхъ лириз-



момъ, но даже и въ комедіяхъ всегда и вездѣ сквозить страстное и субъективное отношеніе къ изображаемымъ лицамъ, обнаруживающееся въ комическомъ преувеличеніи той или другой стороны ихъ характера, — у Гончарова нѣтъ и слѣда увлеченія этой идеей; созерцая явленія окружающей его дѣйствительности, онъ не дѣлаетъ между ними намѣреннаго выбора, а просто беретъ жизнь, какъ она есть, „не мудрствуя лукаво“ и признавая за всѣми ея фактами одинаковое право на художественное воспроизведеніе“. Вамъ все равно“, говорилъ ему Бѣлинскій: „попадется мерзавецъ, дуракъ, уродъ, или порядочная, добрая натура, всѣхъ одинаково рисуете“. „А это хорошо, это и нужно, это — признакъ художника“, прибавилъ критикъ, поощряя писателя на дальнѣйшій путь въ томъ же направленіи.

Это непосредственное, простое и ласковое отношеніе къ русскому быту, отличающее Гончарова отъ Гоголя, дѣлаетъ его послѣдователемъ того художественнаго направленія, которое было намѣчено Пушкинымъ въ „Повѣстяхъ Бѣлкина“. И дѣйствительно, Пушкина онъ считалъ своимъ единственнымъ великимъ образцомъ и учителемъ въ искусствѣ. Первые сознательныя юношескія впечатлѣнія, глубоко запавшія въ его воспріимчивую душу, относятся къ лучшей порѣ разцвѣта пушкинскаго генія, когда онъ такъ обаятельно дѣйствовалъ на общество. Вотъ какъ говоритъ объ этомъ самъ Гончаровъ: „Первымъ прямымъ учителемъ въ развитіи гумани-тета, вообще въ нравственной сферѣ, былъ Карамзинъ, а въ дѣлѣ поэзіи мнѣ и моимъ сверстникамъ, 15—16-лѣтнимъ юношамъ приходилось питаться Державинымъ, Дмитріевымъ, даже Херасковымъ, котораго въ школѣ тоже выдавали за поэта. И вдругъ — Пушкинъ! Я узналъ его съ „Онѣгина“, который выходилъ тогда періодически, отдѣльными главами. Боже мой! Какой свѣтъ, какая волшебная даль открылась вдругъ, и какія правды — поэзіи и вообще жизни, притомъ современной, понятной, — хлынули изъ этого источника, и съ какимъ блескомъ, въ какихъ звукахъ! Какая школа изящества, вкуса для впечатлительной натуры! Лермонтовъ, Гоголь не были, собственно, моими учителями: я уже самъ созрѣвалъ тогда и пописывалъ. Бѣлинскій регулировалъ весь тогдашній хаосъ вкусовъ, эстетическихъ и другихъ понятій и проч. Тогда мой взглядъ на этихъ героевъ пера сталъ

опредѣленіе и строже. Явилась сознательная критика — а чувство къ Пушкину оставалось то же. Это чувство къ Пушкину и пріемственная съ нимъ связь по воззрѣніямъ на характеръ и пріемы художественнаго творчества проявляются во всей литературной дѣятельности Гончарова, придавая ей замѣчательную цѣльность и стройность. Ея главные задачи въ общихъ чертахъ были уже опредѣлены почти въ самомъ началѣ ея: напечатать, вслѣдъ за „Обыкновенной исторіей“, небольшой юмористическій рассказъ: „Иванъ Саввичъ Поджабринъ“. (1848), — юношеское произведеніе, котораго нашъ писатель впоследствии не включилъ въ собраніе своихъ сочиненій, Гончаровъ въ 1849 г. печатаетъ уже „Сонъ Обломова“ и наряду со вторымъ своимъ романомъ задумываетъ и третій. — „Обрывъ“. Осуществленіе этихъ плановъ шло медленно: „Обломовъ“ явился въ печати только 12 лѣтъ спустя послѣ „Обыкновенной исторіи“, „Обрывъ“ — черезъ десять лѣтъ послѣ „Обломова“, — въ эти десятилѣтія первоначальный замыселъ, конечно, во многомъ успѣлъ измѣниться; но во всякомъ случаѣ чрезвычайно характерно то едва ли не безпримѣрное въ исторіи литературы обстоятельство, что писатель, только что вступившій на литературное поприще, уже заранѣе знаетъ все (или почти все), что предстоитъ ему совершить на этомъ пути въ продолженіе двухъ десятилѣтій.

Первая часть Обломова была уже готова въ 1849 году, но авторъ не торопится съ продолженіемъ, „радуясь своему запасу“. Кругосвѣтное путешествіе, предпринятое Гончаровымъ въ 1852—55 гг., еще болѣе отдалило окончаніе „Обломова“, но зато внесло въ литературную дѣятельность автора новый и непредвидѣнный эпизодъ, объемистую книгу „Фрегатъ Паллада“ (1858). Передавая день за днемъ свои наблюденія и впечатлѣнія въ новой и необычной для него средѣ и нечувствительно для читателя втягивая его во всѣ интересы и во всѣ мелочи этой среды и ея жизни, путешественникъ въ то же время ни на минуту не теряетъ изъ виду родной Обломовки, которая не только по-своему проводила его изъ Петербурга, но и пошла за нимъ на край свѣта на „Кораблѣ. Яркія картины меркантильнаго запада и ганнственнаго востока не могутъ заслонить отъ глазъ художника впечатлѣній родного соннаго царства — и оно



живымъ встаетъ предъ нимъ и среди уличной суеты Лондона, и на песчаномъ скалистомъ берегу Африки, и подъ тропическимъ небомъ Цейлона. Сравненія подсказываются сами собой, и съ дѣтства знакомыя лица и быть все болѣе и болѣе проясняются и получаютъ вполне опредѣленное значеніе. Иныя страницы „Фрегата Паллады“ являются уже какъ бы преддверіемъ къ „Обломову“: вспомните, напримѣръ, превосходное видѣніе родного угла вслѣдъ за изображеніемъ подвижной дѣятельности англичанина, живущаго „по машинѣ“.

Только четыре года спустя, послѣ возвращенія Гончарова изъ кругосвѣтнаго плаванія, появился наконецъ, давно ожидаемый „Обломовъ“. Долго вынашивалъ и лелѣялъ писатель свое любимое дѣтище, почти не бравши въ руки пера, и сразу, въ полтора мѣсяца, написалъ три послѣднія части романа, очевидно уже продуманнаго до мельчайшихъ подробностей. Впечатлѣніе, произведенное выходомъ въ свѣтъ Обломова, можно сравнить развѣ только съ тѣмъ, какое было вызвано въ свое время появленіемъ „Мертвыхъ душъ“; оно еще усилилось послѣ знаменитой статьи Добролюбова: „Что такое обломовщина, давшей мастерское истолкованіе и обобщеніе представленныхъ въ романѣ явленій русской жизни. Въ литературѣ было сказано новое, сильное слово; сдѣлался общимъ достояніемъ яркій типъ, въ которомъ, какъ въ фокусѣ, совмѣстились основные лучи русской жизни и русскаго характера. Обоятельно дѣйствовала на читателей и виѣшняя форма этого неподражаемаго романа, въ которомъ талантъ Гончарова достигъ своей высшей силы и полной зрѣлости: мастерство рѣчи, легкой и непринужденной, производящей иллюзію не книжнаго, а устнаго разсказа, художественная простота описаній, поэтическая правда творчества, „умѣнье схватить полный образъ предмета, отчеканить, изваять его“, вѣрно оцѣненное Добролюбовымъ и давшее критикѣ поводъ назвать Гончарова скульпторомъ. Но статуя этого скульптора — не бездушный, холодный мраморъ: онѣ живутъ, онѣ движутся, согрѣтыя сердечною привязанностію художника къ русскому быту, пульсъ котораго бьется въ каждой изъ нихъ, даже и въ самой незначительной. Оставаясь спокойнымъ созерцателемъ и не давая никакихъ выводовъ и обобщеній, художникъ, однако, не поднимается на Олимпійскую высоту холоднаго безстрастія. „Въ искусствѣ“, говоритъ

онъ отъ лица Обломова, должно быть пониманіе жизни и сочувствіе къ ней, должно быть то, что называется гуманизмомъ. *Никогда не должно забывать человека и человечности, и нельзя писать одной головой.* Вы думаете, что для мысли не надо сердца? Нѣтъ, она оплодотворяется любовью. Протяните руку падшему человеку, чтобы поднять его, или горько плачьте надъ нимъ, если онъ гибнетъ, а не глумитесь. Любите его, помните въ немъ самого себя и обращайтесь съ нимъ, какъ съ самимъ собой, — тогда я стану васъ читать и склоню предъ вами голову“...

Тургеневъ сердился на своихъ критиковъ, когда они говорили, что онъ „идетъ отъ идеи“ или „проводитъ идею“, а между тѣмъ критики были не совсѣмъ виноваты: слѣдя за движеніемъ современнаго общества и стараясь поймать налету и запечатлѣть въ художественномъ образѣ послѣднюю злобу дня, Тургеневъ, дѣйствительно, часто поддавался впечатлѣнію „идеи“, которая подсказывала ему, если не самые типы, то выборъ ихъ и освѣщеніе. О Гончаровѣ можно сказать, наоборотъ, что онъ „идетъ отъ образа“ — отъ типа — и приводитъ читателя къ идеѣ, хотя самъ не приходитъ къ ней. Онъ самъ характеризуетъ свое творчество, какъ *безсознательное*. „Рисуя“, говоритъ онъ, „я рѣдко знаю въ ту минуту, что значить мой образъ, и портретъ, характеръ; я только вижу его живымъ передъ собою... У меня есть всегда одинъ образъ и вмѣстѣ главный мотивъ, онъ-то и ведетъ меня впередъ, и по дорогѣ я нечаянно захватываю, что попадется подъ руку... Лица не даютъ покоя, пристають, позируютъ въ сценахъ, я слышу отрывки ихъ разговоровъ, — и мнѣ часто казалось, прости Господи, что я это не выдумываю, а что все это носится въ воздухѣ около меня, и мнѣ только надо смотрѣть и вдумываться... Я самъ и среда, въ которой я родился, воспитывался, жилъ, — все это помимо моего сознанія, само собою отразилось... у меня въ воображеніи, какъ въ зеркалѣ отражается пейзажъ изъ окна... Я смотрѣлъ и писалъ, даже не думая, что вбираю въ себя впечатлительнымъ воображеніемъ лица и явленія, окрасившіяся въ краски момента, и такими выдаю ихъ назадъ, т.-е., кладу на бумагу. Въ этомъ весь процессъ“.

Не умѣя „итти отъ идеи“, Гончаровъ въ противоположность Тургеневу, не старался итти за современностію. Онъ



былъ убѣжденъ, что творчество требуетъ спокойнаго наблюденія уже установившихся и успокоившихся формъ жизни, а новая жизнь слишкомъ нова; она трепещетъ въ процессѣ броженія, слагается сегодня, разлагается завтра и видоизмѣняется не по днямъ, а по часамъ. Нынѣшніе герои не похожи на завтрашнихъ и могутъ только отражаться въ зеркалѣ сатиры, а не въ большихъ эпическихъ произведеніяхъ“. Оттого онъ и не останавливался на взволнованной поверхности общества, а входилъ въ глубь, туда, гдѣ спокойно и медленно совершается органическое настаніе традиціоннаго быта, гдѣ стоятъ его устои, медленно поддающіяся измѣненіямъ. Онъ шелъ туда не затѣмъ, чтобы судить и карать этотъ бытъ или превозносить его, а просто затѣмъ, чтобы рисовать или „отчеканивать“ его, какъ онъ есть, представляя другимъ дѣлать изъ этихъ образовъ выводы и строить на нихъ теоріи. Такое отношеніе автора „Обломова къ русскому быту вызвало со стороны нѣкоторыхъ критиковъ упреки въ филистерствѣ“; отсутствіе опредѣленной тенденціи показалось „отсутствіемъ идеаловъ“. Замѣчательно, что этими упреками въ особенности осыпалъ Гончарова Аполлонъ Григорьевъ — тотъ самый Аполлонъ Григорьевъ, который, захлебываясь отъ восторга, не находилъ словъ для похвалы Островскому за совершенно такое же міросозерцаніе, какое рѣзко осуждалъ въ Гончаровѣ.

Въ самомъ дѣлѣ, присматриваясь ближе къ обоимъ писателямъ, нельзя не замѣтить между ними много общаго и въ воззрѣніи на жизнь и въ самыхъ пріемахъ творчества. Гончаровъ — поэтъ эпическій, Островскій драматургъ; но внѣшнія формы произведеній въ данномъ случаѣ имѣетъ мало значенія: сумѣлъ же Гоголь вложить почти одинаковую долю лиризма и въ „Ревизора“ и въ „Мертвыя души“, между тѣмъ какъ нѣкоторые критики и не безъ основанія — указывали на эпичность Островскаго. Дѣло въ томъ, что и Островскій и Гончаровъ — таланты, родственные по самой своей сущности: оба они, каждый въ своей излюбленной и до дна изученной средѣ, подходятъ къ русскому быту прямо и просто, не становясь на заранѣе теоретически опредѣленную точку зрѣнія, не дѣлая преднамѣреннаго выбора типовъ и явленій; оба они относятся къ этому быту широко, свободно и съ любовью одинаково изображая и свѣтлыя и

темныя его стороны; оба берутъ предметомъ наблюденія и возсозданія „установившіяся и успокоившіяся формы жизни“, медленно подвигаясь впередъ по ея ровному теченію и почти не отзываясь на мимолетную накипь момента. Краски положенныя на картину соннаго царства Обломовки, — тѣ-же равныя и мягкія краски, какими нарисовано темное царство Замоскворѣчья. У обоихъ писателей — и у эпика и у драматурга, мы видимъ одинаковую простоту вымысла, отсутствіе выдумки“, эффекта, сложной интриги, — и у обоихъ ярко выступаетъ тонкое и прочувствованное психологическое мастерство въ изображеніи выводимыхъ ими лицъ, раскрывающихъ предъ нами всю свою душу до послѣдняго уголка. Наконецъ, оба они являются великими художниками сердца въ изображеніи характеровъ положительной красоты. По свойству своего таланта и характера, болѣе живого, подвижного и нервнаго, и по особеннымъ условіямъ своей жизни. Островскій посвятилъ себя исключительно театру; но еслибъ онъ писалъ романы, то, по всей вѣроятности, подарилъ бы нашей литературѣ другого „Обломова“, точно такъ же какъ и Гончаровъ, — еслибы писалъ для сцены, — далъ бы рядъ комедій, мало отличающихся отъ лучшихъ пьесъ Островскаго. Основы таланта того и другого писателя были однѣ и тѣ же, и только проявленія этого таланта были различны, обуславливаясь особенными свойствами личности каждаго изъ нихъ.

Напечатавъ „Обломова“, Гончаровъ снова замолкъ на цѣлые десять лѣтъ и какъ будто ушелъ въ сторону отъ литературы, ничѣмъ ни напоминая даже о своемъ существованіи. Впродолженіе этого десятилѣтія онъ выполнилъ послѣднюю часть своей писательской программы, — закончилъ свой третій романъ „Обрывъ“, задуманный, какъ мы видѣли, еще въ 1849 году. „Двадцать лѣтъ тянулось писаніе этого романа, говоритъ его авторъ, — иначе и быть не могло. Онъ писался, какъ тянулся періодъ самой жизни“.

„Обрывъ“ явился въ печати въ 1869 году. Еще десять спустя, подводя итоги своей литературной дѣятельности въ интересной и поучительной статьѣ: „Лучше поздно, чѣмъ никогда“, Гончаровъ высказалъ, что не можетъ смотрѣть на свои три романа иначе, какъ въ ихъ послѣдовательной связи, и видитъ въ нихъ въ сущности одинъ романъ. По взгляду автора, „Обыкновенная исторія“ служитъ какъ бы прологомъ:



въ ней проявляется „слабое мерцаніе труда... въ борьбѣ съ всероссійскимъ застоємъ“; въ „Обломовѣ“ рисуется картина этого застоя или „сна“: наконецъ „Обрывъ“ изображаетъ „пробужденіе“. Герой этого послѣдняго романа, Райскій, — герой „переходной эпохи“; это — проснувшійся Обломовъ: сильный, новый свѣтъ блеснулъ ему въ глаза; но онъ еще потягивается, озираясь вокругъ и оглядываясь на свою обломовскую колыбель“. Авторъ сознается, что предъ нимъ „мелькалъ“ и четвертый романъ, въ которомъ должно было отразиться новѣйшее время, — но слишкомъ неустановившаяся, слишкомъ измѣнчивая современность не могла уложиться въ обычную для него эпическую картину.

Впечатлѣніе, пробужденное „Обрывомъ“ нельзя сравнить по силѣ съ тѣмъ, какое произвелъ „Обломовъ“. Добролюбова давно уже не было на свѣтѣ, а другимъ нашимъ критикамъ было не подъ силу подмѣтить и разъяснить общественное значеніе романа, такъ что, въ концѣ концовъ, разъяснять его пришлось самому автору: съ другой стороны, не вполне справился съ своей задачей и самъ Гончаровъ. Талантъ его не умалился и все еще сохранялъ прежнюю свою силу и свѣжесть, ярко проявившуюся въ отдѣльныхъ фигурахъ и эпизодахъ, но въ цѣломъ нарисованная имъ широкая картина показалась слишкомъ разбросанною и оттого блѣдною, а звучавшая въ ней дидактическая нотка шла, до извѣстной степени, въ разрѣзъ съ прежнею, чисто эпическою манерою писателя. Кромѣ того, романъ, написанный на рубежѣ двухъ эпохъ русской жизни, раздѣленныхъ уничтоженіемъ крѣпостнаго права, почти вовсе не затрогивалъ послѣдствій этой великой реформы; построенной на почвѣ не столько общественныхъ, сколько личныхъ интересовъ, онъ производилъ этимъ нѣсколько странное впечатлѣніе: старая Обломовка въ немъ уже затуманилась, а новая жизнь еще не прояснилась, и отраженіе той и другой въ зеркалѣ „безсознательнаго творчества“ вышло поэтому тусклымъ. Впрочемъ, можетъ быть переходная эпоха и не могла дать много отраженія, и художникъ не виноватъ въ томъ, что время стерло съ его палитры старыя яркія краски и не успѣло еще положить новыхъ...

Этими тремя романами исчерпывается, собственно говоря, литературное значеніе Гончарова. Онъ продолжалъ еще время

отъ времени печатать небольшія беллетристическіе и критическіе очерки, а также отрывки изъ воспоминаній своей юности; но эти произведенія, хотя и очень живыя и интересные сами по себѣ, ничего не прибавили къ его славі.

Славу Гончарова создали его три романа, и больше всего „Обломовъ“, этотъ драгоцѣнный перлъ въ вѣнцѣ нашей національной поэзіи, добытый его непосредственнымъ, чуткимъ талантомъ со дна русской жизни. Могучая сила его таланта заключалась въ его простотѣ и искренности, въ его свободѣ и гуманности. „То, что не выросло и не созрѣло во мнѣ самомъ“, говоритъ Гончаровъ, „что я не видѣлъ, не наблюдалъ, чѣмъ не жилъ, — то недоступно моему перу. У меня есть своя нива, свой грунтъ, свой родной воздухъ, друзья и недруги, — и я писалъ только то, что переживалъ, что мыслилъ, чувствовалъ, что любилъ, что близко видѣлъ и зналъ, — словомъ, писалъ свою жизнь и то, что къ ней приростало“.

Въ этихъ прощальныхъ словахъ великаго художника не только объясненіе всей его дѣятельности, но и высокій завѣтъ младшимъ поколѣніямъ писателей.

Грустное впечатлѣніе вызывается въ душѣ воспоминаніями объ эпохѣ высшей славы Гончарова, — эпохѣ появленія „Обломова“. Въ ту пору, отдаленную отъ насъ четырьмя десятилѣтіями, во главѣ русской литературы стояли, въ полномъ расцвѣтѣ силъ и таланта: Гончаровъ, Тургеневъ, Толстой, Салтыковъ, Некрасовъ, Достоевскій... Какія имена! Теперь чуть не всѣ они красуются на могильныхъ крестахъ, — а среди живыхъ (кромѣ Толстого) нѣтъ ни одного имени, имъ равнаго. Будемъ вѣрить, что настанетъ время, когда новыя славныя имена ярче прежнихъ заблестятъ на нашемъ литературномъ горизонтѣ, когда мы будемъ не только оплакивать мертвыхъ, но и радостно привѣтствовать живыхъ. Но если и настанетъ такая желанная пора, то и тогда въ сіяніи новыхъ геніевъ не помрачится слава великихъ стариковъ, созданія которыхъ будетъ неизмѣнно дороги сердцу русскаго человѣка пока звучитъ на землѣ нашъ языкъ, — нашъ „великій, могучій, правдивый и свободный русскій языкъ“.

Морозовъ.



## Народныя симпатіи Гончарова.

Поэтическое творчество не есть копированіе дѣйствительности; изображаемая поэтомъ реальная жизнь проходитъ прежде черезъ его душу живую и является передъ нами съ отраженіями его сочувствій и антипатій, озаренная свѣтомъ его совѣсти и идеала. Если мы будемъ искать въ романахъ Гончарова его сочувствій, задумываться надъ тѣмъ, кого онъ любитъ и къ кому не лежитъ его сердце, — то смыслъ, или идея его творчества объяснится для насъ.

Прежде всего несомнѣнно, что поэтъ всею душой любитъ своего Обломова, этотъ центральный, главный, самый, живой, бессмертный образъ своей поэзіи. Обломовъ — выраженіе коренныхъ основъ души русскаго человѣка, всѣхъ ея добрыхъ и дурныхъ сторонъ: нашей народной доброты, яснаго ума, душевнаго равновѣсія, смиренія и вмѣстѣ лѣни, апатіи, неподвижности, недостатка энергіи. Это — яркими красками нарисованный, тотъ стихійный образъ, который мелькнулъ у Тургенева въ его „черноземной силѣ“, „представителѣ хорового начала“ Уварѣ Ивановичѣ, и такъ ярко выразился въ дѣйствительной жизни въ лицѣ Ивана Андреевича Крылова. Творецъ Обломова, всею душой сочувствующій своему творенію, — народный поэтъ съ народнымъ взглядомъ на жизнь. Отсюда объясняется многое. Если Гончаровъ въ упрекъ Обломову ставитъ Штольца и смиренно говоритъ въ своихъ объясненіяхъ этого лица, что коли Штольцъ нѣмецъ, такъ что жъ дѣлать, нѣмцы и донынѣ часто являются нашими учителями. — то въ этомъ сказывается готовность русскаго человѣка признать свои недостатки и смиренно склониться передъ чужимъ достоинствомъ. Штольцу сочувствуетъ творецъ Обломова не какъ ловкому фабриканту и дѣльцу, наживающему деньги, а какъ человѣку *энергіи и движенія*. То же и въ исторіи съ Адуевыми, дядей и племянникомъ. Петръ Ивановичъ Адуевъ симпатиченъ Гончарову не какъ представитель бюрократіи, не какъ черствый практикъ и дѣлецъ, а какъ *человѣкъ здраваго смысла*, который умѣетъ найти смѣшное во всемъ приподнятомъ, фальшивомъ и неискреннемъ.

Народныя симпатіи Гончарова съ особенною ясностью и опредѣленностью сказались въ „Обрывѣ“ (и можетъ-быть онъ именно поэтому самъ того не зная, и любилъ свой послѣдній романъ болѣе первыхъ, и совершенно несправедливо ставилъ его выше „Обломова“). „Обрывъ“ есть широкая картина русскаго деревенскаго помѣщичьяго быта, съ любовью написанная эпопея его; четыре части романа (изъ пяти) посвящены описанію тихой, бодрой, здоровой, близкой къ природѣ, простой и привольной русской народной жизни. Любимыми лицами поэта въ „Обрывѣ“ являются простые русскіе люди — бабушка и Мароенька. Къ сожалѣнію, ихъ образы нѣсколько испорчены идеализаціей: преувеличеніемъ простодушія Мароеньки, сравненіемъ бабушки съ „древнею еврейкой, іерусалимскою госпожей“, отвѣтившею на пророчество „улыбкой горделиваго презрѣнія“, — сравненіемъ, такъ не идущимъ къ простой и доброй Татьянѣ Марковнѣ.

Смѣхъ надъ „любвями“ Райскаго, надъ его неосновательными увлеченіями, есть тотъ самый смѣхъ здороваго русскаго смысла, который мы слышали ранѣе изъ устъ Адуева-дяди. Но образъ Райскаго — образъ сложный: кромѣ своего мечтательнаго романтизма, Райскій еще художникъ и человѣкъ образованія и сознанія. Его сознательному взгляду на жизнь авторъ вполне сочувствуетъ и, какъ человѣка образованія, ставитъ его даже, вопреки своему сердцу, но согласно съ поговорцею „ученье свѣтъ — неученье тьма“, выше бабушки. Анализъ же художническихъ стремленій и чувствъ Райскаго имѣлъ для Гончарова субъективный интересъ.

Изобразитель народной русской жизни въ образованномъ классѣ общества, выразитель народныхъ чувствъ и стремленій, народный поэтъ, — этимъ опредѣляется и мѣсто почившаго высокаго художника среди его сверстниковъ, писателей завершающагося нынѣ великаго періода нашей литературы. Ближе всѣхъ онъ стоитъ къ Островскому, поэту бытовыхъ слоевъ русской жизни, отличаясь отъ него, главнымъ образомъ, меньшимъ спокойствіемъ творчества. *Незеленовъ.*



## Островскій до поступленія на службу.

Родъ Островскихъ происхожденіемъ изъ Костромской губерніи. Дѣдъ его, Ѳеодоръ Пвановичъ Островскій, былъ протоіереемъ въ Благовѣщенской церкви въ городѣ Костромѣ. Овдовѣвъ въ 1810 году, онъ пріѣхалъ въ Москву и постригся въ московскомъ Донскомъ монастырѣ, подъ именемъ Ѳедота. Впослѣдствіи онъ принялъ схиму. Онъ отличался высокимъ иноческимъ подвигомъ и пользовался необыкновеннымъ уваженіемъ монастырской братіи. Онъ скончался въ преклонныхъ лѣтахъ и погребенъ близъ сѣвернаго храма Донского монастыря.

У Ѳедора Пвановича Островскаго было шесть человѣкъ дѣтей: четыре сына и двѣ дочери; изъ нихъ, старшій, Николай Ѳеодоровичъ, родившійся въ 1796 году, — отецъ Александра Николаевича. Онъ окончилъ курсъ въ Костромской духовной семинаріи, откуда перешелъ въ Московскую духовную академію, гдѣ и завершилъ свое образованіе, удостоившись степени кандидата. По окончаніи курса, Николай Ѳеодоровичъ опредѣлился на службу въ канцелярію общаго собранія Московскихъ департаментовъ Правительствующаго Сената. Въ первый же годъ своей службы Николай Ѳеодоровичъ женился на дочери просвирни. Два первыхъ сына отъ этого брака скончались младенцами. Александръ Николаевичъ былъ третьимъ сыномъ по порядку рожденія и первымъ, обѣщавшимъ долговѣчную жизнь. Молодые супруги, родители нашего драматурга, въ то время жили въ другой части города, въ Замоскворѣчѣ. Здѣсь, на сквозномъ участкѣ, между Малою Ордынкой и Голиковскимъ переулкомъ, стоитъ небольшой пятиглавый храмъ съ шатровой колокольней, довольно красивый памятникъ архитектуры конца XVI или начала XVII вѣка.

во имя Покрова Пресвятыя Богородицы, что въ Голицахъ. Храмъ этотъ извѣстенъ въ Москвѣ по чудотворной иконѣ Божіей Матери Троеручницы. Въ домѣ дьякона этой церкви, 31 марта 1823 г. родился Александръ Николаевичъ.

Отецъ Александра Николаевича продолжалъ свою службу въ канцеляріи Сената до 1825 года, когда онъ перешелъ въ болѣе удовлетворительную, въ матеріальномъ отношеніи, должность секретаря Московской палаты. Семья Николай Ѳедоровича умножалась, но дѣти были, большею частію, недолговѣчны, да и жена скоро скончалась (1831 г.). Послѣ нея въ живыхъ осталось шесть малолѣтнихъ дѣтей, изъ которыхъ старшему, Александру Николаевичу, не было еще и девяти лѣтъ. Воспитаніе его было предоставлено случаю. Однако отецъ его озаботился подготовить настолько, чтобы онъ могъ поступить въ гимназію. Въ сентябрѣ 1835 года Николай Ѳедоровичъ подаетъ въ Московскую губернскую гимназію (нынѣ 1-я) прошеніе о принятіи А. Н., „въ такой классъ гимназій, въ который по экзамену онъ окажется достойнымъ“. При этомъ Николай Ѳедоровичъ писалъ въ прошеніи, что А. Н., „коему отроду 12 лѣтъ, по-россійски писать и читать умѣетъ и первые четыре правила арифметики знаетъ“. Въ 1836 году отецъ женился во второй разъ; въ 1838 году Николай Ѳедоровичъ, уже заслужившій дворянское достоинство, ходатайствуетъ о внесеніи себя и дѣтей своихъ, въ томъ числѣ и А. Н., въ дворянскую родословную книгу Московской губерніи, въ 1840 г. оставляетъ службу въ Гражданской палатѣ и начинаетъ заниматься ходатайствомъ по гражданскимъ дѣламъ. Въ это время, 19-го іюня 1840 года А. Н. оканчиваетъ курсъ гимназій съ правомъ поступленія въ университетъ безъ предварительнаго испытанія. Островскій пользуется этимъ правомъ, и поступаетъ въ томъ же году въ Московскій университетъ. *Носъ.*

---

### Служебная дѣятельность Островскаго и первые его литературные труды.

По оставленіи университета 19 сентября 1843 года „не имѣющій чина изъ дворянъ“ Александръ Николаевичъ зачисляется канцелярскимъ служителемъ въ Московскій совѣст-



ный судъ. Самое названіе это отошло уже въ область преданій. Это былъ судъ, учрежденный въ 1775 году Екатериной II для рѣшенія дѣлъ по совѣсти. Онъ разсматривалъ дѣла уголовныя по жалобамъ родителей на дѣтей, по преступленіямъ, совершеннымъ малолѣтними и глухонѣмыми; по преступленіямъ, совершеннымъ по стеченію особенно неблагопріятныхъ обстоятельствъ; по дѣламъ гражданскимъ онъ обязательно разрѣшалъ искъ родителей къ дѣтямъ и дѣтей къ родителямъ и необязательно — всѣ гражданскія дѣла, по которымъ тяжущіеся согласятся разрѣшить свой споръ мировымъ соглашеніемъ по совѣсти. Въ такомъ-то судѣ нашъ драматургъ впервые ознакомился съ интересными судебными процессами и получилъ первый матеріалъ для наблюденія отрицательныхъ явленій семейнаго и общественнаго быта. Но пребываніе А. Н. въ этомъ судѣ въ качествѣ канцелярскаго служителя 1-го разряда было не продолжительно. 10 декабря 1845 года Островскій опредѣляется въ канцелярію Московскаго коммерческаго суда по 1-му отдѣленію въ словесный столъ, присягаетъ на вѣрность службы, опредѣляется съ производствомъ жалованія, столовыхъ и квартирныхъ денегъ по трудамъ и заслугамъ. Другими словами, жалованье было назначено по усмотрѣнію начальства, а именно въ размѣрѣ 4 рублей въ мѣсяць, менѣе противъ положеннаго, по табели, хотя и это послѣднее опредѣлялось въ 5 рублей 62½ копейки. Между тѣмъ, несмотря на такое скудное жалованье, вслѣдствіе производства въ первый классный чинъ (29 сентября 1844 года), съ А. Н. произведенъ вычетъ въ суммѣ 11 руб. 40½ коп. Само собою разумѣется, что эта служба и получаемое за нее жалованье не давали А. Н. средствъ къ жизни. Его отецъ, благодаря удачной практикѣ, въ качествѣ ходатая по гражданскимъ дѣламъ, въ то время пріобрѣлъ порядочныя средства, имѣлъ домъ и, конечно, давалъ средства и сыну. Коммерческій судъ въ Москвѣ, какъ извѣстно, былъ открытъ въ 1832 году и, слѣдовательно, въ годъ поступленія А. Н. на службу. Это учрежденіе было сравнительно молодое и по своему характеру отличавшееся менѣе устарѣлыми формами судопроизводства. Знакомство А. Н. съ дѣлами этого суда, еще болѣе знакомство его съ практикою отца, имѣвшаго кліентуру преимущественно среди московскаго купечества, молодые годы жизни, проведенные въ Замоскворѣчѣ, — все это, вмѣстѣ взятое,

сдѣлало Островскаго знатокомъ купеческаго быта Москвы: отсюда онъ и могъ черпать содержаніе первыхъ своихъ произведеній. Само собою разумѣется, что служба въ коммерческомъ судѣ имѣла чисто формальное значеніе, и въ Островскомъ именно въ это время окончательно созрѣвалъ будущій писатель: въ его жизни наступила та пора, которую онъ самъ считаетъ эпохою въ своей жизни. „Самый памятный для меня день въ моей жизни (писалъ Островскій въ своей автобіографической замѣткѣ въ альбомѣ М. И. Семевского „Мои знакомые“), — это 14 февраля 1847 года“. Въ этотъ день Островскій, уже имѣвшій знакомство въ средѣ писателей, былъ у профессора русской словесности Московскаго университета С. П. Шевырева и здѣсь въ присутствіи А. С. Хомякова, С. П. Колошина, А. А. Григорьева и другихъ писателей и профессоровъ, прочелъ свои первыя драматическія сцены. „С. П. Шевыревъ (говоритъ М. И. Семевскій), обнимая его съ глубоко искреннимъ чувствомъ восторга, вмѣстѣ съ Хомяковымъ привѣтствовалъ автора, какъ человѣка, одареннаго громаднымъ талантомъ и призваннаго писать для отечественнаго театра“. „Съ этого дня, — говоритъ А. Н. въ своей автобіографической замѣткѣ, — я сталъ считать себя русскимъ писателемъ. И уже безъ сомнѣній и колебаній повѣрилъ въ свое призваніе“. Черезъ мѣсяць, 14-го марта 1847 же года въ журналѣ „Московскій городской листокъ“, издававшемся только одинъ годъ подъ редакціей Драмусова, въ № 60—61 было впервые напечатано произведеніе А. Н. подъ заглавіемъ „Картина семейнаго счастья“, подписанное буквами „А. О.". Произведеніе это было замѣчено не только въ московскихъ литературныхъ кружкахъ, гдѣ А. Н. уже былъ „своимъ“ человѣкомъ, извѣстностью, но даже и въ московской публикѣ. Впослѣдствіи А. Н. передѣлалъ эту пьесу и назвалъ ее „Семейное счастье“. Она была вновь перепечатана два раза, сначала въ журналѣ „Современникъ“ (1856 г., № 4), а затѣмъ въ сборникѣ „Для легкаго чтенія“ (1858 года). Въ томъ же „Московскомъ городскомъ листкѣ“ была напечатана одна сцена изъ комедіи „Свои люди — сочтемся“. Эта комедія первоначально называлась „Банкротъ“. Наконецъ, въ томъ же „Листкѣ“ нашелъ себѣ мѣсто рассказъ — единственное произведеніе А. Н. въ педраматической формѣ: „Очерки Замоскворѣчья“. Мы уже знаемъ, что эти



первые шаги на поприщѣ писателя А. Н. совершилъ въ то время, когда числился на службѣ въ канцеляріи Московскаго коммерческаго суда. Но и это номинальное пребываніе А. Н. на службѣ вскорѣ стало невозможнымъ. Въ шестой книгѣ журнала „Москвитянинъ“, издаваемого М. П. Погодинымъ, въ 1850 году явилось первое крупное произведеніе А. Н.: „Свои люди — сочтемся“, комедія въ четырехъ дѣйствіяхъ. Пьеса эта надѣлала много шуму въ Москвѣ и обратила всеобщее вниманіе на молодого писателя. Она вызвала въ журналистикѣ московской и петербургской горячіе отзывы о нашемъ драматургѣ и навсегда упрочила за нимъ извѣстность выдающагося даровитаго писателя. Но далеко не такія благоприятныя послѣдствія имѣла эта пьеса для автора въ кругахъ практическихъ дѣятелей и въ сферахъ официальныхъ.

Не столько самое произведеніе А. Н., сколько отзывы журналовъ по поводу этой комедіи, могли вызвать раздраженіе въ средѣ практиковъ и вызвать такія предположенія объ авторѣ, которыхъ онъ, какъ художникъ, и не имѣлъ въ виду. Пьеса не была разрѣшена къ представленію и находилась подъ опалой у театральной цензуры десять лѣтъ, и только послѣ такого промежутка времени, когда сила перваго впечатлѣнія значительно ослабѣла и вызванное пьесою волненіе улеглось, она была допущена на сцену съ измѣненнымъ окончаніемъ. Самъ авторъ обратилъ на себя вниманіе начальства. Въ Москвѣ тогда генераль-губернаторомъ былъ извѣстный графъ А. А. Закревскій. Конечно, стало извѣстно, что А. Н., кромѣ занятій литературой, находится еще на службѣ въ Московскомъ коммерческомъ судѣ, и вотъ за подписью самого военнаго генераль-губернатора полетѣло отъ секретной части управленія секретное предложеніе предсѣдателю Московскаго коммерческаго суда, отъ 10 апрѣля 1850 года, слѣдующаго содержанія: „Предлагаю В. В. доставить мнѣ, сколько можно поспѣшнѣе, свѣдѣніе: какого чина и какую именно должность занимаетъ служащій подъ вашимъ начальствомъ чиновникъ Островскій, сочинитель извѣстной въ Москвѣ комедіи: „Свои люди — сочтемся“; равно какого онъ званія, какія имѣетъ способности и какого образа жизни и мыслей“. Въ это время А. Н. уже былъ губернскимъ секретаремъ — чинъ, полученный имъ еще въ 1849 году 14 сентября, — чинъ, въ которомъ онъ оставался до самой смерти, и, ко-

нечно, въ мѣстѣ его службы о немъ знали, вѣроятно, только, что онъ сынъ извѣстнаго ходатая по дѣламъ и что онъ мало занимается службой. На „секретное“ предписаніе на другой же день послѣдовалъ „секретный“ рапортъ, въ которомъ во исполненіе предписанія „предсѣдатель суда“ имѣлъ честь почтительнѣйше донести, что „онъ“ — въ чинѣ губернскаго секретаря съ 1845 года въ числѣ канцелярскихъ чиновниковъ 1-го отдѣленія суда, не занимая штатной должности, вступилъ въ службу изъ дворянъ, не окончивъ курса наукъ въ здѣшнемъ университетѣ, въ Московскій совѣстный судъ. „Особенныхъ способностей“, прибавляетъ предсѣдатель, „собственно по службѣ, при обыкновенныхъ занятіяхъ при канцеляріи, оказать не могъ. Что же касается до образа жизни и мыслей, то Островскій, находясь при отцѣ, по службѣ своей пользовался хорошимъ мнѣніемъ начальства, не подавая повода къ заключенію о какомъ-либо неблагонамѣренномъ образа мыслей“. Несмотря на такой хорошій отзывъ ближайшаго начальства, имя А. Н. О. было внесено въ списокъ неблагонадежныхъ особенно въ виду того, что Островскій принадлежалъ къ составу молодой редакціи „Москвитянина“. Въ этотъ списокъ, какъ извѣстно, внесены и М. П. Погодинъ, и А. С. Хомяковъ, и другіе.

Но послѣ такой исторіи по службѣ и успѣховъ на литературномъ поприщѣ А. Н. было неудобно уже оставаться въ коммерческомъ судѣ, хотя бы и по названію только. 10 января 1857 года состоялось увольненіе; А. Н. получилъ аттестатъ, въ которомъ было сказано, что должность свою онъ исправлялъ усердно при хорошемъ поведеніи.

*Носъ*

## Островскій и кружокъ „Молодого Москвитянина“.

Въ 1850 году, „Москвитянинъ“ вступилъ въ новую эру своего существованія. Въ его изданіи принялъ энергичное участіе кружокъ литературный, получившій впослѣдствіи названіе „Молодого Москвитянина“, и который, „подъ предводительствомъ Погодина“, состоялъ изъ слѣдующихъ лицъ: А. Н. Островскаго, Т. П. Филиппова, Р. Н. Эдельсона, Б. Н. Алмазова, А. А. Григорьева и другихъ. Своимъ былъ въ этомъ



кружка и А. О. Писемскій. Съ дѣятельностью этого кружка близко связана дѣятельность графини Р. П. Ростопчиной, у которой поименованныя лица собирались еженедѣльно, по субботамъ. Съ ними неразлученъ былъ знаменитый актеръ московской сцены П. М. Садовскій. Позже къ нимъ примкнулъ и И. О. Горбуновъ.

*Барсуковъ.*

Т. И. Филипповъ вліялъ на молодыхъ славянофиловъ не столько журнальными статьями, сколько старинными русскими пѣснями, удивительнымъ исполненіемъ которыхъ онъ открывалъ идеалы русскаго народа и привлекалъ къ нимъ симпатіи всего кружка „Молодого Москвитянина“. Пѣсенное богатство плѣняло слушателей народностью и религіозностью до-петровской Руси, заставляя думать, что эти основы должны лечь въ основу государственности и заложить „борьбу съ Западомъ“ противъ его научнаго раціонализма и демократизма учрежденій. Пѣсни, по свидѣтельству Погодина, была главною силою, постепенно слагавшею, вырабатывавшею и выяснявшею основное міровоззрѣніе кружка. Открывая и бытовые особенности, и историческій складъ, и вѣковѣчные идеалы русскаго народа, та же пѣсня побудила членовъ кружка основательнѣе взглянуть въ значеніе петровской реформы. Для западниковъ до Петра не существовало исторической Руси, но не о томъ свидѣтельствуетъ народная пѣсня. Допетровская Русь, еще живущая въ этой пѣснѣ, требовала критическаго отношенія къ противоположному ей строю, созданному всѣмъ петербургскихъ періодомъ русской исторіи, оторвавшимъ отъ народа правящіе и вообще образованные классы.

Памятуя, что Снегиревъ нигдѣ въ журналахъ не могъ напечатать статью о народныхъ картинахъ, въ виду народнаго значенія этихъ картинъ, и что общее мнѣніе о народной поэзіи не поднимается выше стиховъ:

Танцовала рыба съ ракомъ,  
А петрушка съ пастернакомъ,

Т. П. Филипповъ энергично боролся за художественное и общественное значеніе народныхъ преданій и пѣсенъ.

„Съ напѣвами русскихъ пѣсенъ дѣлали до сихъ поръ то же, что и съ текстомъ ихъ“, говоритъ онъ. „Не могли, разумѣется,

не признать въ нихъ значительнаго музыкальнаго достоинства; но, исходя изъ точки зрѣнія западно-европейской музыки, отыскивали въ нашихъ напѣвахъ такія черты, которыя могли бы имъ доставить честь сравненія съ музыкальными произведеніями Запада. Читатель знаетъ, что эта судьба постигала до сихъ поръ все, въ чемъ выражается наша народная особенность: таковъ былъ ходъ нашего образованія... Русская пѣсня поется исключительно простолюдиномъ, съ которымъ намъ негдѣ встрѣтиться; если на улицѣ услышишь что-нибудь такъ мелькомъ, ничего не упомнишь... Для того, чтобы лицомъ къ лицу познакомиться съ народной поэзіей и музыкою, нужно, хотя на время, забыть разницу между, по выраженію „Отечественныхъ Записокъ“, *развитымъ и непосредственнымъ* человекомъ, и взойти въ ту сферу общества, гдѣ сохраняются еще остатки и слѣды нашей первобытной жизни. И то, что вынесетъ онъ изъ своихъ изслѣдованій, сторицею вознаградитъ его за трудъ и рѣшимость: можетъ даже случиться, что изъ такого рода изслѣдованій онъ выйдетъ не съ тѣми понятіями о предметахъ, съ какими онъ отправился въ эту экспедицію, и пойметъ онъ, что въ нашей народной поэзіи и музыкѣ есть такія сокровища, которыя не должно оскорблять иностранной оцѣнкой, а должно раскрывать посредствомъ добросовѣстнаго изученія и такимъ образомъ дѣлать ихъ достояніемъ общественнаго сознанія. Тогда онъ пойметъ, что въ народной пѣснѣ каждое слово, а въ народномъ напѣвѣ каждая нотка неприкосновенны; тогда онъ откажется отъ негодной мысли исправлять произведенія, надъ которыми трудились вѣка, и соберетъ всѣ средства своего образованія и личнаго таланта на смиренное служеніе этому дѣлу“.

Значеніе Филиппова для всего „Молодого Москвитянина“, свидѣтельствуешь Погодинъ, „не исчерпывалось тѣмъ, что онъ былъ для нихъ, какъ и для многихъ, представителемъ пѣсеннаго богатства и пѣсенныхъ даровъ русскаго народа; что пѣснопѣшіями онъ увлекалъ слушателей въ полузабытый или совершенно даже невѣдомый міръ, пробуждалъ новыя или, по крайней мѣрѣ, долго дремавшія чувства. Островскій, при первомъ уже знакомствѣ, пріобрѣлъ въ Филипповѣ слушателя, отъ котораго не могъ ускользнуть ни одинъ едва замѣтный, а для иныхъ, можетъ-быть, и вовсе незамѣтный оттѣнокъ своеобразнаго, живого русскаго языка. Благодаря



этой-то именно особенности, Островскій и подбивалъ Филиппова къ художественному творчеству вообще и въ частности къ совмѣстному творчеству съ нимъ. Филипповъ обладалъ еще знаніемъ бытовыхъ особенностей русскаго народа, въ чемъ былъ достойнымъ товарищемъ А. Н. Островскаго, зналъ громадное количество пословицъ, присловій, рассказовъ изъ народнаго и вообще русскаго быта, а притомъ обладалъ еще и изящнымъ вкусомъ, и даромъ художественной критики, которые и проявилъ скоро въ статьяхъ своихъ. Пламенная любовь къ богатству формъ и рѣченій русскаго языка, подкрѣпляемая еще и филологическимъ образованіемъ и филологическими трудами, постоянно останавливала его вниманіе то на художественныхъ оборотахъ народной рѣчи, еще чуждыхъ или оставшихся чуждыми для литературнаго языка, то на не менѣе художественныхъ жемчужинахъ древней письменности русской. Все это дѣлало его неоцѣнимымъ по своему вліянію членомъ кружка, расширяющимъ кругозоръ его и укрѣпляющимъ его силы. Господствовавшіе тогда въ значительнѣйшей части молодой интеллигенціи отсутствіе религіозныхъ началъ, разрывъ съ религіознымъ прошлымъ, составлявшіе своего рода гордость западническаго мірка, распространяли власть свою и на членовъ описываемаго кружка. Но въ Филипповѣ прежде другихъ сверстниковъ и сотоварищей совершился переворотъ, сдѣлавшій его вполне вѣрующимъ и по вѣрѣ стоящимъ въ общеніи съ незатронутыми переломомъ слоями русскаго народа и со всѣмъ историческимъ его прошлымъ. Вліянію этого переворота исподоволь послѣдовали и нѣкоторые члены молодого кружка, какъ, напримѣръ, Зедергольмъ и Алмазовъ, для которыхъ обращеніе и религіозность Филиппова являлись только своего рода первымъ толчкомъ; другіе оставались невѣрующими до самаго конца жизни. Но отъ прежней кичливости невѣріемъ въ кружкѣ не оставалось больше и слѣдовъ; его смѣнило мягкое отношеніе къ народной святынѣ и народнымъ вѣрованіямъ. Къ религіи, къ православію, къ церкви стали относиться безъ вражды и не безъ уваженія даже и тѣ изъ членовъ кружка, которые сами не чувствовали ихъ вліянія“.

Извѣстно, свидѣтельствуется тотъ же Погодинъ, что въ первое время знакомства съ Филипповымъ Островскій считался крайнимъ западникомъ. Въ разговорахъ онъ постоянно ссылался на авторитетъ „Отечественныхъ Записокъ“ и даже

цитировалъ статьи Галахова. Это такъ сердило Филиппова, что у него часто вырывались слова: „можно ли съ такимъ черепомъ ссылаться на Галахова? Вѣдь это ужъ слишкомъ обидно“.

Увлекаясь ученіями Запада, Островскій завѣрялъ, что ему противенъ видъ самаго Кремля съ соборами. Онъ изумилъ однажды Филиппова, сказавъ: „Для чего здѣсь настроены эти пагоды?“ Увлечение отрицательнымъ отношеніемъ къ русскому народу простиралось до того, что однажды на вечерѣ у М. С. Щепкина одинъ изъ западниковъ проповѣдывалъ, что народная Русь состоитъ исключительно только изъ отрицательныхъ типовъ Островскаго; что людей иного закала въ ней нѣтъ и не можетъ быть: все мошенники. „Ну, прощайте же, мошенники“, — сказалъ, прощаясь послѣ долгихъ споровъ, актеръ Провъ Михайловичъ Садовскій.

Со времени знакомства съ Филипповымъ, это острое отношеніе къ народной жизни мало-по-малу смягчалось, чему способствовали и особенный взглядъ Филиппова на народную жизнь, и прежде всего жившая въ устахъ Филиппова народная пѣсня, въ которой русскій народный характеръ и особенности души русской раскрывались въ привлекательномъ, чарующемъ видѣ.

Бывали минуты, когда Островскій, увлеченный старинными народными пѣснями Филиппова, восклицалъ:

— Съ Тертіемъ да Провомъ (Садовскимъ) мы все Петрово дѣло повернемъ назадъ!

Такимъ образомъ въ „Молодомъ Москвитянинѣ“ триумфировать славянофильства состоялъ изъ выдающагося пѣвца патріотически-старинныхъ пѣсенъ, выдающагося писателя и замѣчательнаго актера. Филипповъ имѣлъ вліяніе не только на Островскаго, но и Аполлонъ Григорьевъ былъ введенъ имъ въ редакцію „Молодого Москвитянина“, по свидѣтельству Погодина, при слѣдующихъ обстоятельствахъ: „Однажды у Островскаго былъ громаднѣйшій литературный вечеръ, на которомъ присутствовали представители всѣхъ литературныхъ направленій того времени. Когда большая часть гостей разошлась, и остались только близкіе Островскому люди, Филиппова просили спѣть. Послѣ одушевленно пропѣтой имъ пѣсни, которая на всѣхъ произвела впечатлѣніе, Григорьевъ упалъ на колѣни и просилъ кружокъ усвоить его себѣ, такъ какъ въ его направленіи онъ видитъ правду, которой искалъ



въ другихъ мѣстахъ и не находилъ, а потому былъ бы счастливъ, если бы ему позволили здѣсь бросить якорь“.

Любовь Филиппова къ народной пѣснѣ воодушевила и А. О. Писемскаго, который въ романѣ: „Взбаламученное море“, описалъ, какъ „Тертіевъ“ въ трактирѣ „Британія“, помѣщавшемся рядомъ съ университетомъ, пѣлъ „Ваньку Ключника“, и какъ всѣ присутствующіе, отъ студентовъ до полowychъ, превращались въ олицетворенное блаженство при первыхъ напѣвахъ русскаго народничества.

„На вечерахъ, гдѣ читались пьесы Островскаго, ярко высказывалось русское направленіе, какъ его самого, такъ и другихъ членовъ кружка. Народная пѣсня, художественно исполняемая Филипповымъ, неоднократно раздавалась въ такихъ залахъ, въ которыхъ и пѣніе ея вообще, да еще въ особенности человѣкомъ образованнаго общества, представлялось явленіемъ необычайнымъ. И хозяева и гости всякій разъ восхищались и словами пѣсни и напѣвомъ; на всѣхъ производили они сильное потрясающее впечатлѣніе. Пораженная строгою простотою пѣнія Филиппова, Е. С. Шереметева разъ спросила у своего двоюроднаго брата Алмазова: „Скажи, пожалуйста, Борисъ, чтò Филипповъ благородный?“ — „Даже великодушный“, отвѣчалъ и тогда уже отличавшійся остроуміемъ Алмазовъ“. Т. И. Филипповъ принималъ дѣятельное участіе въ Императорскомъ географическомъ обществѣ по собиранію русскихъ пѣсенныхъ напѣвовъ, и по его почину возникла въ 1884 году особая пѣсенная комиссія, предсѣдателемъ которой Т. И. былъ до конца своей жизни. По его ходатайству были дарованы пѣсенной комиссіи средства для снаряженія экспедицій съ цѣлью собиранія русскихъ пѣсенъ съ напѣвами. Съ этою же цѣлью Т. И. пріютилъ у себя въ Петербургѣ извѣстную „сказательницу“ Оловецкой губерніи, поощрялъ балалаечниковъ и русскіе хоры, надѣясь этими хорами въ войскахъ сохранить старину отъ вымиранія.

*Фаресовъ.*

---

Самымъ близкимъ человѣкомъ для Т. И. Филиппова былъ Евгеній Николаевичъ Эдельсонъ, котораго онъ и сблизилъ съ Островскимъ. Е. Н. Эдельсонъ родился въ 1824 году и первоначальное образованіе получилъ въ Касимовскомъ уѣздномъ училищѣ, при обзрѣніи котораго профессоромъ Н. И. На-

деждиннымъ, онъ своими исполненными смысла и остроумія отвѣтами успѣлъ обратить на себя особенное вниманіе ученаго визитатора. По переходѣ въ Рязанскую гимназію, Эдельсонъ сразу и безъ всякаго спора занялъ между своими товарищами первенствующее мѣсто. Бывшій въ то время попечитель Московскаго учебнаго округа, графъ Р. Г. Строгановъ, отъ внимательнаго взора котораго не укрывалось никакое сколько-нибудь замѣтное проявленіе дарованій во ввѣренныхъ его попеченію воспитанникахъ, очень скоро замѣтилъ столь щедро надѣленнаго умственными дарами мальчика и при каждомъ посѣщеніи Рязанской гимназіи удостоивалъ его своимъ вниманіемъ. Въ 1842 году Эдельсонъ поступилъ въ Московскій университетъ на математическій факультетъ по отдѣленію естественныхъ наукъ, но скоро почти совсѣмъ покинулъ занятія обязательными для него предметами и съ юношескою страстію предался изученію философской системы Гегеля... Изъ всѣхъ частей этой системы Эдельсонъ съ особеннымъ усердіемъ изучалъ феноменологію духа и эстетику. Обличенія крайностей и несостоятельности началъ Гегелевой системы, появлявшіяся нерѣдко въ „Москвитянинѣ“ сороковыхъ годовъ, не имѣли на Эдельсона никакого вліянія, и онъ оставался подъ безусловнымъ владычествомъ Гегеля до появленія на кафедрѣ философіи въ Московскомъ университетѣ М. Н. Каткова, котораго лекціи онъ посѣщалъ въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ... Подъ вліяніемъ чтеній и частыхъ личныхъ бесѣдъ съ этимъ замѣчательнымъ дѣятелемъ, котораго необычайныя дарованія цѣнились тогда, во всю ихъ мѣру, только немногими близкими къ нему людьми, въ томъ числѣ и Эдельсономъ, онъ обратился къ изученію психологіи Бенеке, точный и строгій методъ которой имѣлъ на его умъ весьма благотворное вліяніе.

Въ 1847 году Эдельсонъ собрался за границу и, простившись съ друзьями, отправился уже въ Петербургъ, чтобы, получивъ заграничный паспортъ, слѣдовать далѣе; но правительство, встревоженное тогдашнимъ революціоннымъ настроеніемъ почти всей западной Европы, нашло нужнымъ воспретить молодымъ людямъ, стремившимся довершать въ европейскихъ университетахъ свое образованіе, посѣщеніе западной Европы, и Эдельсонъ долженъ былъ возвратиться въ Москву, гдѣ при посредствѣ Т. П. Филиппова „познакомился и



вскорѣ дружески сблизился съ А. Н. Островским“. Литературная дѣятельность Эдельсона была посвящена почти исключительно критикѣ, и въ этой области онъ являлся неизмѣннымъ поборникомъ чистаго искусства. Т. П. Филипповъ дѣлаетъ слѣдующую характеристику Эдельсона, какъ писателя: „Самостоятельная литературная дѣятельность Эдельсона“, говоритъ онъ, „была посвящена почти исключительно критикѣ, и въ этой области онъ являлся неизмѣннымъ поборникомъ чистаго искусства и защитникомъ его отъ тѣхъ неистовыхъ поруганій, которымъ оно подвергалось въ послѣдніе годы во многихъ изъ петербургскихъ изданій. И хотя его имя не будетъ числиться между именами замѣчательныхъ дѣятелей отечественной литературы, тѣмъ не менѣе всякій безпристрастный читатель не откажется признать въ его трудахъ полную самостоятельность мысли, весьма тонкое художественное чувство и замѣчательно изящное изложеніе. Тонъ его критическихъ статей былъ всегда спокоенъ и въ высшей степени деликатенъ, даже тогда, когда ему приходилось опровергать ученія и мнѣнія самаго непривлекательнаго свойства. Инымъ въ этой чертѣ его дѣятельности представлялась нѣкоторая робость его пріемовъ и не совсѣмъ похвальная терпимость къ такимъ явленіямъ, которыя требовали бы, вмѣсто спокойнаго и безстрастнаго обличенія, рѣзкихъ и безусловныхъ порицаній. Но знавшіе ближе Эдельсона видѣли, что опровергаемая имъ доктрины были ему въ такой же мѣрѣ противны, какъ и всякому здравомыслящему человѣку, и что спокойствіе и невозмутимое приличіе его тона, при публичной встрѣчѣ съ этими ученіями, происходили вовсе не отъ робости передъ самодѣльными авторитетами, но изъ глубокаго уваженія къ достоинству литературы, на аренѣ которой онъ съ нимъ встрѣчался. Онъ чувствовалъ себя и былъ на самомъ дѣлѣ въ такой степени самостоятельно мыслящимъ человѣкомъ, что не имѣлъ никакой нужды заявлять о своей самостоятельности какими либо рѣзкими выходками и постыдной перебранкой, въ коихъ состоитъ вся слава многихъ изъ его литературныхъ противниковъ“.

Борисъ Николаевичъ Алмазовъ родился 27 октября 1827 г., въ городѣ Вязьмѣ, Смоленской губерніи, а дѣтство провелъ въ родовомъ селѣ Караваевѣ, Сычевскаго уѣзда. Отецъ его, Николай Петровичъ, по рожденію и состоянію принадлежалъ къ высшему московскому обществу и въ 1812 году всту-

пилъ въ гусарскій полкъ графа П. И. Салтыкова, гдѣ служилъ вмѣстѣ съ А. С. Грибоѣдовымъ, съ которымъ былъ въ пріятельскихъ отношеніяхъ, а затѣмъ участвовалъ въ компаніяхъ 1813—1814 г. Сестра Н. П. Алмазова, Варвара Петровна, была замужемъ за Сергѣемъ Васильевичемъ Шереметевымъ, а самъ Н. П. Алмазовъ былъ женатъ на Евдокіи Петровнѣ Зубковой. Въ дѣтскомъ воспитаніи ихъ сына, Бориса, важную роль играла нянька Анна Максимовна, по происхожденію турчанка, и дядька Василій Архиповъ. По свидѣтельству Т. И. Филиппова, оставивши по непріятности пансіонъ Эннеса, Алмазовъ въ качествѣ вольнаго слушателя посѣщалъ Московскій университетъ, гдѣ онъ встрѣтился съ Филипповымъ, который зналъ его и раньше, а теперь возобновилъ съ нимъ знакомство. Филипповъ былъ уже старымъ студентомъ, находился на послѣднемъ курсѣ, а потому имѣлъ уже нѣкоторое положеніе. Алмазовъ, несмотря на совершенно юношескій еще свой возрастъ, показывалъ уже признаки крупнаго литературнаго таланта, вслѣдствіе чего Филипповъ и познакомилъ его скоро съ Островскимъ и Эдельсономъ. Островскимъ введенъ былъ Алмазовъ и въ составъ „Молодого Москвитянина“. Черезъ Алмазова познакомились съ кружкомъ и бывшіе товарищи его по пансіону, Тепферъ и Зедергольмъ, впоследствии отецъ Климентъ Оптичскій.

Дѣятельность же Б. П. Алмазова въ „Москвитянинѣ“ началась съ 1851 года. Одинъ изъ современныхъ историковъ русской литературы замѣчаетъ: „Не будь молодежи въ составѣ редакціи „Москвитянина“, развѣ осмѣлился бы Алмазовъ явиться къ надутому Шевыреву и чопорному, строгому Погодину со своими веселыми остроумными пародіями на Некрасова и Панаева, которыми онъ, подъ псевдонимомъ „Эраста Благодѣлова“, съ такимъ успѣхомъ дебютировалъ въ „Москвитянинѣ“. Съ основанія „Москвитянина“, въ немъ было изгнано все, что отзывалось фельетономъ — легкомысліемъ, и не даромъ вся журналистика ахнула отъ удивленія, когда мрачные своды Погодинскаго *sui generis древне-хранилища* вдругъ огласились взрывами молодого смѣха и юношеской задорной веселости“.

Давній сотрудникъ „Старого Москвитянина“, А. А. Григорьевъ, по свидѣтельству Т. И. Филиппова, въ 1851 году поступилъ преподавателемъ юридическихъ наукъ въ Москов-



скую первую гимназію, гдѣ встрѣтился онъ съ Филипповымъ, который читалъ тамъ русскую словесность и церковно-славянскій языкъ. Въ ту пору Григорьевъ не имѣлъ умственного пріюта и послѣ многихъ умственныхъ скитаній сталъ приглядываться къ „Молодому Москвитянину“, куда и введенъ былъ тѣмъ же Филипповымъ.

Въ 1850 году, выступилъ въ „Москвитянинѣ“ на литературное поприще Алексѣй Теофилактовичъ Писемскій. Онъ родился 10 марта 1820 года, въ сельцѣ Раменьѣ, Костромской губ., Чухломскаго уѣзда. Учился въ Костромской гимназіи, а потомъ поступилъ въ Московскій университетъ, гдѣ и окончилъ курсъ по второму отдѣленію философскаго факультета. Онъ еще „со времени студенчества былъ друженъ съ Т. П. Филипповымъ и зналъ Эдельсона“. Филипповъ познакомилъ его съ другими членами „Молодого Москвитянина“.

Литературная дѣятельность Писемскаго началась въ Москвѣ еще съ 1846 года романомъ „Боярщина“, ходившимъ въ то время по рукамъ въ рукописи, и только въ 1858 году романъ сей появился въ „Библіотекѣ для Чтенія“.

4 сентября 1850 года, А. Н. Островскій привезъ къ Погодину повѣсть Писемскаго, и эта повѣсть, подъ заглавіемъ „Тюфякъ“, была напечатана въ октябрьской книжкѣ „Москвитянина“ 1850 года.

Въ народномъ направленіи подѣйствовало на Островскаго и на весь кружокъ и знакомство съ П. М. Садовскимъ, который тогда былъ, по своимъ убѣжденіямъ, всесовершеннымъ славяниномъ, раздѣлявшимъ и религіозныя убѣжденія и вѣрованія старшихъ славянофиловъ, еще чуждыя членамъ кружка „Молодого Москвитянина“. Съ этимъ великимъ художникомъ Островскій сблизился въ 1850 году, и въ то же время П. М. Садовскій вошелъ въ особую близость съ Филипповымъ, Эдельсономъ и Алмазовымъ. Какую цѣну имѣло это сближеніе, можетъ понять всякій. Такого исполнителя типовъ, созданныхъ Островскимъ, можно видѣть только во снѣ. Этотъ писатель и этотъ актеръ были буквально созданы другъ для друга и представляли идеальное сочетаніе. Много позже въ тотъ же литературный кружокъ явился другой неподражаемый художникъ, Иванъ Ѳедоровичъ Горбуновъ, который и былъ принятъ тотчасъ же кружкомъ, какъ присный. Воспитаніемъ таланта его въ такой средѣ, на ряду съ художе-

ственной природою самого дарованія, объясняется отчасти то обстоятельство, что П. О. Горбуновъ избѣгъ навсегда, столь опаснаго для всякаго комическаго писателя, шаржа.

Барсуковъ.

### Самобытныя вліянія, пережитыя Островскимъ.

Знакомства Островскаго, одинаково нужныя для него, принадлежали къ двумъ обществамъ, и связующимъ звеномъ между этими обществами являлась личность молодого писателя. Онъ не былъ исключительно книжнымъ литераторомъ, онъ началъ самостоятельную жизнь практической дѣятельностью, — это счастливое совпаденіе отразилось на *среде* и писательскихъ опытахъ Островскаго. Онъ, по семейнымъ преданіямъ и по роду своей службы, безпрестанно сталкивался съ великимъ множествомъ простыхъ русскихъ людей, „русаковъ“, какъ онъ самъ выражался въ своей замоскворѣцкой повѣсти, — и въ то же время по образованію и таланту принадлежалъ интеллигенціи, былъ однимъ изъ самыхъ блестящихъ украшеній литературнаго московскаго міра. Отсюда — чрезвычайно пестрая толпа „хорошихъ“, „душевныхъ“ людей, окружавшая Островскаго на первыхъ порахъ его литературной дѣятельности.

Мѣстомъ свиданій пріятельскаго кружка служилъ трактиръ Гурина, собственно одно изъ его отдѣленій — весьма извѣстное въ прошломъ московской литературной жизни — „Печкинская кофейня“. Здѣсь собирались студенты, писатели, торговцы и просто любители веселой интересной бесѣды и въ особенности русской пѣсни. Среди „русаковъ“ выдѣлялся Иванъ Ивановичъ Шанинъ — торговецъ изъ пльинскихъ рядовъ.

Островскій весьма многимъ позаимствовался отъ этого оригинальнаго, богатоодареннаго „простого человѣка“. Шанинъ отличался рѣдкимъ остроуміемъ, былъ мастеръ на бойкую мѣткую рѣчь, поражалъ находчивостью, когда надо было дать яркую и сильную характеристику лица или бытового явленія. Нѣкоторые рассказы и оригинальныя выраженія Шанина навсегда врѣзывались въ памяти слушателей. Онъ посвящалъ своихъ пріятелей въ многообразныя тайны гостинодворскихъ дѣльцовъ, забавно и талантливо объяснялъ, какъ московскіе купцы обдѣлываютъ иногороднихъ обывателей, ловко сбываютъ имъ гнилье и лежалый товаръ. Изъ бесѣдъ того же Шанина нашъ кружокъ друзей и въ томъ числѣ Островскій



узнали объ одномъ изъ распространеннѣйшихъ замоскворѣцкихъ типовъ, о купеческомъ братѣ, жертвѣ загула и пагубныхъ увлеченій. Фигура Любима Торцова, слѣдовательно, была навѣяна разказами бойкаго и остроумнаго купчика. Не мало перепало въ комедіи Островскаго и отдѣльных блестящихъ чисто русскихъ выраженій, слетавшихъ съ языка Шанина въ разгарѣ пріятельской бесѣды.

И Шанинъ былъ не одинъ. Въ компанію входило еще чело-вѣкъ пять молодежи — живой, веселой, искусной на разныя затѣи и замысловатыя выходки. Компанія носила наименованіе „оглашенныхъ“, — но это прозвище отнюдь не слѣдуетъ понимать въ унижительномъ смыслѣ. Всѣ молодые люди были заняты какимъ-нибудь дѣломъ, служили, торговали, учились, и всѣхъ ихъ соединяло общее чувство восторга предъ новымъ литературнымъ талантомъ. Въ пріятельской бесѣдѣ веселье было ключомъ, смѣхъ не умолкалъ, крылатые слова летѣли вихремъ, каждый старался блеснуть своимъ искусствомъ — рассказать исторію, изобразить въ лицахъ героя или героиню изъ невѣдомой страны, именуемой Замоскворѣчьемъ,

Представлялась съ поразительной артистической вѣрностью молящаяся старуха. Молитвѣ ея мѣшаетъ собака, она теребитъ старуху за подолъ и намѣревается укусить за ногу. Старуха ворчитъ, собака лаетъ, старуха отмахивается и продолжаетъ въ то же время свою молитву. Сцена кончается торжествомъ собаки, она кусаетъ старуху, та ее бьетъ, — поднимается вой, крикъ — и все это одновременно воспроизводится артистомъ — къ единодушному восторгу публики.

Среди этой публики присутствуетъ Писемскій, впоследствии — знаменитый писатель, теперь простодушно, по-дѣтски смѣшливый наблюдатель. Онъ надолго запомнитъ лицедѣйскія упражненія пріятелей и перенесетъ ихъ въ свой романъ „Сороковые годы“. Можетъ-быть, даже съ бѣлымъ восторгомъ, чѣмъ слѣдовало, онъ перескажетъ забавныя представленія молодежи, окружавшей Островскаго. Артистъ, неподражаемо изображавшій сцену молящейся старухи съ собакой, столь же искусно вмѣстѣ съ другимъ такимъ же художникомъ воспроизводитъ голоса животныхъ, цѣлаго стада. Именно герои Писемскаго подвизаются въ подобнаго рода искусствѣ, и авторъ устами главнаго лица своего романа восклицаетъ: „Да“, это смѣхъ — настоящій, честный, добрый“.

Компанія не только сама жила полной, веселой и возбуждающей жизнью, — она вносила ее всюду, гдѣ только являлась, вызывала у другихъ мѣткость и остроту выраженій, создавала, однимъ словомъ, все ту же своеобразную вдохновляющую атмосферу, какою питался нашъ молодой талантъ. Пьесы Островскаго переполнены сильными, краткими озаряющими опредѣленіями — явленій и личностей, — и онъ первый внесъ это богатство въ русскую литературу. И оно само плыло въ его руки, чуть не ежедневно онъ могъ собирать эти перлы своего литературнаго языка, вращаясь въ кругу „русаковъ“ и дыша почвеннымъ московскимъ воздухомъ.

Не малую лепту внесла въ его творчество и подруга молодой жизни писателя, — Агаѣя Ивановна. Она была простаго происхожденія, не отличалась красотой, не получила образованія, но обладала большой душевной привлекательностью, недюжиннымъ умомъ и сильнымъ характеромъ. Она сумѣла внушить пріятелямъ Островскаго уваженіе и любовь, они въ шутку сравнивали ее съ Марѳой Посадницей, — и дѣйствительно, отъ нея исключительно зависѣлъ порядокъ скуднаго хозяйства Островскаго. Она, при самыхъ ограниченныхъ средствахъ, сумѣла создать довольство и всегда имѣла чѣмъ угостить друзей хозяина. Бесѣда ихъ не обходилась безъ ея участія, и участіе было дѣятельное. Агаѣя Ивановна обладала прекраснымъ голосомъ, знала очень много русскихъ пѣсенъ и превосходно ихъ пѣла. Она была драгоценнымъ членомъ общества и въ другихъ отношеніяхъ и всегда могла оказать не малую услугу Островскому, какъ писателю. Купеческій бытъ Агаѣя Ивановна знала до тонкости, глубоко понимала обычаи и нравы таинственнаго замоскворѣцкаго царства. Островскій внимательно прислушивался къ ея сужденіямъ, высоко цѣнилъ ея совѣты и многое исправлялъ въ своихъ пьесахъ по ея приговору. Свидѣтели ранней литературной дѣятельности Островскаго большую долю участія приписываютъ Агаѣѣ Ивановнѣ въ комедіи „Свои люди — сочтемся“, — особенно въ ея содержаніи и внѣшней обстановкѣ. Вообще, по всѣмъ даннымъ, Агаѣя Ивановна представляется личностью незаурядной и настолько привлекательной и интересной, что друзья Островскаго навсегда сохранили о ней самыя лестныя воспоминанія.

Таковы чисто русскія самобытныя вліянія, пережитыя



Островскимъ — авторомъ первыхъ произведеній изъ замоскворѣцкаго быта. Но рядомъ съ „русаками“ писателя окружали люди другого круга, — артисты, студенты, литераторы. Между этими, повидимому, довольно различными и пестрыми элементами связующимъ звеномъ была всѣхъ одинаково горячо одушевлявшая любовь къ русской народности, къ народному творчеству, въ особенности къ русской народной пѣснѣ.

Тотъ же Писемскій сохранилъ яркое воспоминаніе объ этомъ увлеченіи и также перенесъ его въ одинъ изъ своихъ романовъ — „Взбаламученное море“. Здѣсь разсказывается сцена, очевидно, безпрестанно повторявшаяся въ студенческомъ трактирѣ „Британія“. Среди шума и оживленныхъ бесѣдъ мгновенно все смолкло.

— Тертіевъ поетъ! воскликнулъ студентъ и, перескочивъ черезъ голову другого студента, убѣжалъ. Другіе устремились за нимъ. Въ бильярдной они увидѣли молодого бѣлокурого студента, который опершись на кій и подобравъ высоко грудь, пѣлъ чистымъ теноромъ:

Кто бы, кто бы моему горю-горюшку помочь.

Слушали его нѣсколько студентовъ. Одинъ изъ прибѣжавшихъ на звуки пѣсни шмыгнулъ съ ногами на диванъ и превратился въ олицетворенное блаженство. Въ сосѣдней комнатѣ Кузьма, половой, прислонившись къ притолкѣ, погрузился въ глубокую задумчивость. Прочіе половые также слушали. Многіе изъ гостей-купцовъ не безъ удовольствія повернули свои уши къ дверямъ. Пропѣтая пѣсня смѣнилась другой:

Ужъ ведутъ, ведутъ Ванюшу: руки-ноги скованы,  
Буйная его головка да вся испроломана...

И восторги слушателей не ослабѣвали и не падали. „За душу захватывала русская пѣсня“, вспоминалъ потомъ Горбуновъ, — „въ натуральномъ исполненіи Т. И. Филиппова“, — и именно этого пѣвца изображаетъ Писемскій.

Русская пѣсня въ кружкѣ Островскаго пользовалась исключительнымъ почетомъ. Искусныхъ пѣвцовъ разыскивали во всѣхъ углахъ Москвы, не обѣгая грязныхъ, шумливыхъ трактировъ и погребовъ. Сюда собирались доморощенные артисты, игравшіе на разныхъ инструментахъ, и о нѣкоторыхъ изъ нихъ такъ вспоминаетъ Т. И. Филипповъ: „Николка-рыжій гитаристъ, Алексѣй съ торбаномъ: водку запивалъ

квасомъ, потому что никакой закуски желудокъ его не принималъ. А былъ артистъ и „венгерку“ на торбанѣ игралъ такъ, что и до сихъ поръ помню“.

Подобная пѣсня раздавалась не въ однихъ трактирахъ и кабачкахъ. Общепризнанный непобѣдимый артистъ Т. И. Филипповъ перенесъ ее въ литературныя гостиныя и даже въ свѣтскія залы. Здѣсь восторгъ охватывалъ и самихъ хозяевъ и ихъ прислугу, часто плакавшую отъ умиленія.

Островскій раздѣлялъ общее восхищеніе. Онъ и самъ обладалъ очень красивымъ теноромъ, пѣлъ превосходно, — правда, не русскія пѣсни, а романсы. И ему очень льстили его успѣхи на этомъ поприщѣ, онъ въ ранней молодости готовъ былъ гордиться ими, по крайней мѣрѣ, не меньше, чѣмъ писательскими. Народная пѣсня произвела на драматурга неотразимое впечатлѣніе. Подъ вліяніемъ ея — не только его художественный талантъ усвоилъ новые мотивы творчества, но измѣнилось даже самое міросозерцаніе Островскаго. Несомнѣннымъ отраженіемъ народныхъ пѣсенъ явилась драма „Не такъ живи, какъ хочется“. Островскій очень долго и тщательно работалъ надъ этой пьесой, воодушевляя ее поэтическимъ народнымъ духомъ. Какое значеніе имѣла въ этой работѣ народная поэзія показываетъ первый набросокъ пьесы: онъ переполненъ выраженіями и цѣлыми стихами изъ народныхъ пѣсенъ.

Но еще существеннѣе, конечно, вопросъ о преобразованіи міросозерцанія молодого писателя, т. -е. о видоизмѣненіи самой основы его литературной дѣятельности. Оно въ высшей степени любопытно и составляетъ одинъ изъ важнѣйшихъ фактовъ всей жизни Островскаго.

*Ивановъ.*

## Вліяніе путешествія Островскаго по Россіи на его творчество.

Правительственная командировка литераторовъ для изученія мѣстностей Россіи въ бытовомъ и промышленномъ отношеніи — фактъ въ высшей степени замѣчательный въ исторіи русскаго общества. Онъ совпалъ съ началомъ царствованія Александра II и былъ созданъ великимъ княземъ Константиномъ Николаевичемъ. Великій князь былъ однимъ изъ самыхъ искреннихъ сторонниковъ преобразовательнаго дви-



женія. Второй сынъ императора Николая, онъ былъ предназначенъ для морской службы. На этомъ поприщѣ великій князь успѣлъ развить дѣятельность, совершенно неожиданную и, повидимому, не входившую въ кругъ обязанностей и заботъ генералъ-адмирала. Прежде всего онъ наложилъ руку на жестокую язву стараго времени, — на невѣжество, обманы и всевозможныя тайныя преступныя продѣлки чиновниковъ. Онъ потребовалъ безусловной *правды* во всѣхъ служебныхъ отчетахъ, какіе представлялись ему, — и притомъ правда не должна была оставаться тайной канцеляріи. Великій князь желалъ знать подробно внутреннее состояніе Россіи, и для изученія его были призваны не чиновники, а лучшіе современные писатели и знатоки народнаго быта — Писемскій, Гончаровъ, Григоровичъ, Потѣхинъ, Аонасьевъ-Чужбинскій, Максимовъ. Островскій самъ вызвался принять участіе въ изслѣдованіяхъ. Онъ вошелъ въ соглашеніе съ Потѣхинымъ и подѣлилъ съ нимъ Волгу. Потѣхинъ взялъ себѣ мѣстность отъ устьевъ Оки до Саратова, Островскому достались верховья Волги.

При морскомъ вѣдомствѣ издавался журналъ „Морской Сборникъ“. Великій князь расширилъ содержаніе журнала и допустилъ статьи по самымъ жгучимъ современнымъ общественнымъ вопросамъ, — о гласномъ судопроизводствѣ, объ отмѣнѣ тѣлесныхъ наказаній. Въ журналѣ появились сочиненія, не имѣвшія ничего общаго съ морскимъ дѣломъ. Геніальный врачъ и знаменитый педагогъ Пироговъ помѣстилъ здѣсь свои статьи — „Вопросы жизни“, возстававшія противъ жестокости и бездушія старыхъ педагоговъ и учителей. Газеты только и жили перепечатками изъ морского журнала. Здѣсь же предполагалось печатать и отчеты писателей, отправлявшихся изслѣдовать русскую землю. Задача предстояла трудная и требовала отъ путешественниковъ особеннаго умѣнья — говорить съ простыми русскими людьми и вызывать ихъ на откровенность. Все, сколько-нибудь напоминавшее власть и начальника, отпугивало самыхъ смѣлыхъ и связывало ихъ языкъ. Такъ происходило особенно въ глухихъ мѣстностяхъ, представлявшихъ именно больше всего интереса для изслѣдователей. Нужна была большая сноровка, простота и находчивость, чтобы даромъ не прогуляться среди поварьно молчаливыхъ и загадочныхъ людей.

Выгодъ за всѣ труды большихъ не представлялось. Со-

держаніе было положено очень скромное — по сту рублей въ мѣсяцъ каждому изслѣдователю. Впослѣдствіи оно было увеличено, — но и само дѣло являлось весьма сложнымъ, безпрестанно требовало неожиданныхъ расходовъ, — и писателей могла привлекать преимущественно занимательность самой работы. Наконецъ, вопросъ о печатаніи отчетовъ въ „Морскомъ Сборникѣ“ съ теченіемъ времени принялъ неблагопріятный оборотъ. Рѣшать его досталось морскому ученому комитету. Во главѣ комитета стоялъ адмиралъ Рейнеке, весьма мало понимавшій и цѣнившій вообще литературу и совершенно равнодушный ко всему — за предѣлами спеціальной морской и водяной службы. Онъ рѣшилъ искать въ статьяхъ изслѣдователей и принимать только то, что имѣло непосредственное отношеніе къ водѣ и представляло простой служебный докладъ. Въ результатѣ комитетъ сталъ отвергать статьи „по литературному достоинству“, устранять рассказы о личныхъ впечатлѣніяхъ, вызванныхъ у автора природой, самобытными чертами быта. Художественная и просто свободная литературная форма изложенія не допускалась, — и авторы должны были искать мѣста своимъ статьямъ въ другихъ изданіяхъ. Островскій подвергся общей участи. Его отчетъ, „Путешествіе по Волгѣ отъ истоковъ до Нижняго Новгорода“ напечатанъ въ „Морскомъ Сборникѣ“, но авторъ былъ слишкомъ художникъ, чтобы удовлетворить канцелярскую редакцію. Отчетъ подвергся измѣненіямъ и сокращеніямъ, вычеркнуто не мало художественныхъ подробностей, — а въ нихъ именно и заключалась высшая цѣнность статьи.

Островскій собралъ громадное количество матеріала. Онъ остался безъ обработки, благодаря ученому морскому комитету; но и въ сыромъ видѣ онъ представлялъ поучительный и богатый источникъ свѣдѣній о верховьяхъ Волги. Островскій приступилъ къ изученію края прежде всего какъ художникъ, отзывчивый на все оригинальное и яркое въ природѣ и въ человѣческомъ быту. Даже въ напечатанномъ отчетѣ вытравить окончательно художественные приемы судить о предметахъ и людяхъ — не удалось редакторамъ. Постоянно встрѣчаются живыя сцены, жизненные бытовые факты, мѣткіе вдохновенныя характеристики, летучія острые слова. Любопытно, наприимѣръ, свѣдѣніе о нравахъ города Торжка: оно впослѣдствіи пригодилось Островскому и какъ драматургу.



У торжковскихъ дѣвушекъ искони ведется обычай — тайный увозъ невѣстъ, — и Кудряшъ является несомнѣннымъ отголоскомъ торжковскихъ впечатлѣній.

Помимо нравовъ, Островскій подмѣчаетъ особенности мѣстныхъ говоровъ, записываетъ оригинальныя выраженія и даже собираетъ матеріалъ для словаря нарѣчія приволжскаго населенія. Эти матеріалы послѣдники Островскаго передадутъ потомъ въ Академію Наукъ. Не забываетъ путешественникъ и красоту природы, — пользуется каждымъ шагомъ своего пути, какъ глубокій знатокъ русской народной психологіи, какъ страстный любитель родной старины.

Легко представить, какую великую пользу принесло путешествіе художественному таланту Островскаго! Лучшей школы для него нельзя было и представить. Онъ видѣлъ одну изъ самыхъ самобытныхъ историческихъ мѣстностей Россіи — съ древними городами, съ исконно-старинными обычаями и нравами, съ своеобразнымъ прадѣдовскимъ языкомъ. Его поражала безпросвѣтная захолустная глушь, въ срединѣ Россіи, въ какихъ-нибудь шестидесяти верстахъ отъ древняго города Твери. Онъ невольно вспоминалъ не только историческія были давнихъ временъ, но даже сказки: до такой степени кругомъ жизнь была первобытна и неподвижна, — и теперь еще можно встать повторить выраженіе русской сказки про Ивана Царевича: „Ѣдетъ онъ день до вечера — перекусить ему нечего“.

И русскій путникъ въ срединѣ XIX вѣка едва достаетъ въ попутномъ селѣ нѣсколько яиць — утолить свой голодъ.

Дальше, его поражаетъ полное отсутствіе мужиковъ во всей деревнѣ, даже десятскимъ — баба, и на вопросъ, гдѣ мужики, отвѣчаетъ на неслыханномъ языкѣ:

— Которы ушли у камотесы, которы дорогу циня.

А рядомъ вѣчевые города съ былой, безвозвратно исчезнувшей вольностью, широкая Волга, выдавшая виды на своихъ тихихъ водахъ, Нижній Новгородъ съ величавой исторіей Козьмы Минина, захудалый Угличъ съ кровавымъ трагическимъ преданіемъ о цареубійцѣ... Всѣ эти событія и образы прошлаго всплывали въ памяти Островскаго и не могли исчезнуть безслѣдно. Нѣкоторыя случайныя встрѣчи еще глубже внѣдряли впечатлѣнія поволжскаго путешествія.

„Гроза“ писалась одновременно съ отчетомъ о путешествіи:

отчетъ появился въ „Морскомъ Сборникѣ“ въ 1859 году, „Гроза“ — въ первой книгѣ „Библіотеки для чтенія“ за 1860 г. Оба произведенія — плодъ живыхъ впечатлѣній путешествія. Участь „Грозы“ оказалась счастливѣе статьи. На драму обратила вниманіе Академія и поручила проф. Плетневу представить отзывъ о пьесѣ. Критикъ восхищался характеромъ Катерины, вѣрнымъ изображеніемъ провинціального городского быта и находилъ произведеніе достойнымъ Уваровской преміи. Академія и присудила эту премію 29 декабря 1860 года.

Но воспоминанія о поѣздкѣ не ограничились „Грозой“. Островскій начинаетъ дѣятельно заниматься русской стариной. Подвигъ Кузьмы Минина представлялъ благодарную задачу для драмы. Волжскія впечатлѣнія ярко возставали въ памяти драматурга, и онъ даже вложилъ въ уста своего героя описаніе одной изъ самыхъ краснорѣчивыхъ картинъ Поволжья.

Мининъ ободряетъ себя мыслью, что не погибнетъ царство, населенное народомъ упорнаго и терпѣливаго труда. Глядя на родную рѣку, Мининъ говоритъ:

Вонъ огоньки зажглись по берегамъ...  
Бурлаки, трудъ тяжелый забывая,  
Убогую себѣ готовятъ пищу.  
Вонъ пѣсню затянули... Нѣтъ, не радость  
Сложила эту пѣсню, а неволя,—  
Неволя тяжкая и трудъ безмѣрный.  
Разгромъ войны, пожары деревень,  
Житѣе безъ кровли, ночи безъ почлега...  
О, пойте! Громче пойте! Соберите  
Всѣ слезы съ матушки широкой Руси,  
Повгородскія, псковскія слезы,  
Съ Оки и съ Клязьмы, съ Дона и съ Москвы,  
Отъ Волхова и до широкой Камы...  
Пусть всѣ онѣ въ одну сольются пѣсню,  
И рвутъ миѣ сердце, душу жгутъ огнемъ,  
И слабый духъ на подвигъ утверждаютъ...

Драма появилась въ январской книгѣ „Современника“ за 1862 годъ. Ровно три года спустя въ томъ же журналѣ Островскій напечаталъ „Воеводу или сонъ на Волгѣ“. Вся пьеса одушевлена удачью старинныхъ волжскихъ молодцовъ, жившихъ „матушкой-Волгой“, дѣлившихъ съ нею свои радости и горе. Одна изъ самыхъ лирическихъ пьесъ написана, повидимому, исключительно во славу Волги. Открывается она настоящимъ гимномъ въ честь великой рѣки: стихи эти, по разсказу очевидца, производили сильнѣйшее



впечатлѣніе на замоскворѣцкихъ пріятелей автора, они не могли равнодушно слушать ихъ даже въ чтеніи. Это — дѣйствительно очень красивое и прочувствованное обращеніе къ Волгѣ, говоритъ его одинъ изъ удалыхъ молодцовъ, которому нѣтъ простора въ избѣ и гулять охота въ лодкѣ по широкому волжскому раздолью:

Кормилица ты наша, мать родная!  
Ты насъ поишь и кормишь и лелѣешь!  
Челомъ тебѣ! Катись до синя моря,  
Крутымъ ярамъ да краснымъ бережечкамъ  
На утѣшенье, какъ на погулянье!  
Не даромъ слово про тебя ведется;  
Не мало пѣсенъ на Руси поется,  
А всѣхъ милѣй — „По матушкѣ по Волгѣ“.

И дальше начинается пѣсня...

Островскій не ограничился лирическимъ воспроизведеніемъ стариннаго русскаго быта, онъ занялся обработкой наиболѣе драматическихъ сюжетовъ, какіе только можно отыскать въ русской исторіи. Эпоха междоусобицъ, конечно, стояла здѣсь на первомъ планѣ, „Козьма Мининъ“ — только вступленіе. Въ 1867 г. явилась въ печати драматическая хроника — „Дмитрій Самозванецъ и Василій Шуйскій“, въ томъ же году напечатано „Тушино“ и въ слѣдующемъ — драма „Василиса Мелентьева“.

Она возникла, несомнѣнно, ради личности Ивана Грознаго. Мысль объ этой пьесѣ не принадлежала Островскому.

Раньше, чѣмъ творчество Островскаго развилось на новомъ пути, къ его волжскимъ воспоминаніямъ прибавились другія, не столь сильныя и глубокія, но имѣвшія свое значеніе въ художественномъ развитіи драматурга. Можетъ-быть, и мысль драматизировать самую живую эпоху русской исторіи была подсказана Островскому отчасти ближайшимъ знакомствомъ съ западно-европейской драматической литературой. Знакомство это находится въ связи съ заграничнымъ путешествіемъ нашего писателя.

*Ивановъ.*

---

## Островскій на службѣ при Императорскомъ театрѣ.

Одобреніе государемъ записки Островскаго о народномъ театрѣ естественно завершилось практическимъ назначеніемъ. Во второй половинѣ 1885 года вопросъ былъ рѣшенъ окон-

чительно, — и еще раньше Александръ III, въ первый разъ встрѣчая Островскаго, заявилъ ему:

— Поручая вашему вѣдѣнію свои театры, я увѣренъ, что они будутъ въ хорошихъ рукахъ. Дѣлайте все, что найдете полезнымъ для процвѣтанія ихъ.

Перваго января 1886 года управляющимъ Императорскими Московскими театрами былъ назначенъ А. А. Майковъ, Островскій — завѣдующимъ репертуарной частью и начальникомъ театральнаго училища. Московскіе театры получили самостоятельное управленіе и двухъ хозяевъ: собственно по хозяйственной части и по художественной и учебной. Важнѣйшія обязанности легли на Островскаго, на самомъ дѣлѣ единственнаго распорядителя театральнымъ дѣломъ, и онъ немедленно весь отдался своему долгу. У него давно уже былъ намѣченъ цѣлый рядъ реформъ. Еще раньше, когда была образована коммиссія для пересмотра старыхъ театральныя постановленій и порядковъ, Островскій принялъ живѣйшее участіе въ ея работахъ. Еще тогда онъ неутомимо составлялъ записки, историческіе обзоры, проекты, и особенно хлопоталъ объ учрежденіи театральной школы.

„Если я доживу до тѣхъ поръ“, говорилъ онъ, „то исполнится мечта всей моей жизни, и я спокойно скажу: ниикъ отпускаеши раба Твоего съ миромъ!...“ Теперь только что полученное назначеніе онъ называлъ счастьемъ. Онъ почувствовалъ новый приливъ силъ, восторженный подъемъ духа, и „съ непогасшею еще страстностью“, говорилъ онъ, взялъ на свои плечи новую ношу. Онъ прибавлялъ, что плечи были уже усталыя, а ноша тяжела и непосильна. Но дѣйствительно страстная любовь къ дѣлу должна восполнить всѣ немощи и и тягости.

Прежде всего Островскій принялся за вопросъ о школѣ. По обыкновенію, онъ и на этотъ счетъ составилъ обстоятельную записку. Театральное училище должно поставлять артистовъ на Императорскую сцену. Теперь эта сцена вынуждена пополнять свою труппу провинціальными актерами и даже любителями: явленіе — ненормальное и даже убыточное. Школа и сцена должны быть неразрывно другъ съ другомъ связанными учрежденіями. Изъ школы ученики должны поступать на сцену и здѣсь — среди опытныхъ артистовъ завершать свое художественное воспитаніе, вырастать



на глазах публики. Театръ — естественное продолженіе школы, и такъ должно быть одинаково и для драмы и для оперы. Не оставилъ Островскій безъ вниманія и балетъ. Онъ хотѣлъ обновить его, сообщить ему занимательность — съ помощью феерій и сказочныхъ представленій. Наконецъ, драматургъ входилъ и въ частные вопросы театральной службы, тщательно пересмотрѣлъ составъ лицъ, завѣдующихъ постановкой и исполненіемъ пьесъ, — и предложилъ не мало существенныхъ преобразованій и въ этой области. Работа шла безостановочно, можно сказать — Островскій полагалъ на нее всѣ свои духовныя и физическія силы. По временамъ имъ овладѣвала оторопь предъ громадностью и сложностью задачи, и онъ писалъ тогда: „нѣтъ, я чувствую, что у меня нехватаетъ силъ и твердости провести въ дѣло, на пользу родного искусства тѣ завѣтныя убѣжденія, которыми я жилъ, которыя составляютъ мою душу. Это положеніе глубоко трагическое“. Но эти настроенія не заставляли Островскаго опускать руки. Напротивъ, послѣ тяжелаго раздумья онъ съ новымъ рвеніемъ набрасывался на работу и сообщалъ совѣтъ и другія вѣсти въ родѣ слѣдующей: „Вотъ уже двѣ недѣли я до самозабвенія работаю надъ преобразованіемъ театрального училища, а теперь страдаю на экзаменахъ всякой мелочи обоего пола“.

Очевидецъ рассказываетъ, до какихъ предѣловъ доходило утомленіе Островскаго. Почти каждый день онъ являлся домой измученный, съ потухшимъ взглядомъ, опускался въ кресло и въ теченіе нѣкотораго времени не могъ вымолвить слова...

— Дай мнѣ опомниться, прійти въ себя, — начиналъ онъ. — Я сегодня чуть не умеръ. Мнѣ нехватало воздуха, нечѣмъ было дышать... Ревматизмъ не позволяетъ отъ боли пошевелить руками... народу, съ которымъ надо было объясняться, пропасть... потомъ доклады — я сегодня подписалъ шестьдесятъ бумагъ, — и вотъ видишь, въ какомъ состояніи воротился домой....

Едва отдохнувъ, вечеромъ онъ отправлялся въ театръ, — большею частью успѣвалъ посѣтить тотъ и другой, волновался, видя несправности, и дома засыпалъ безпокойнымъ и тревожнымъ сномъ.

Послѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ изнурительнаго труда Островскій собрался поѣхать въ деревню. Имѣніе это — сельцо

Щелыково, Кинешемскаго уѣзда — было пріобрѣтено еще отцомъ Островскаго, по завѣщанію покойнаго досталось его второй женѣ, и она продала его своему пасынку.

*Ивановъ.*

### Послѣдніе дни жизни Островскаго.

Мѣстность, гдѣ расположено Щелыково, одна изъ самыхъ живописныхъ. Ее пересѣкаютъ три рѣчки: первая двѣ (Куенга и Сендега) быстрыя въ своемъ теченіи по оврагамъ, гдѣ онѣ красиво извиваются и шумятъ, дѣлая безчисленные каскады. Мера — спокойная, сплавная рѣка, текущая также въ красивыхъ берегахъ (на ней Ал. Ник. любилъ ловить рыбу неводомъ). Не было ни одного гостя въ Щелыковѣ, который бы не восхищался его мѣстоположеніемъ. Говорятъ, что отецъ братьевъ Островскихъ, чувствуя приближеніе смерти, просилъ приподнять его съ кровати, на которой кончился, чтобы дать ему возможность въ послѣдній разъ взглянуть на окрестные виды, открывающіеся изъ оконъ дома.

Въ усадьбѣ имѣется старый деревянный двухъэтажный домъ, съ огромнымъ каменнымъ скотнымъ дворомъ и каменнымъ зданіемъ кухни и прачечной съ мезаниномъ. Въ мезанинѣ этомъ и въ верхнемъ этажѣ стараго дома находился пріютъ для пріѣзжихъ гостей. Всѣхъ чаще жилъ здѣсь актеръ Александринскаго театра Оед. Алекс. Бурдинъ съ семьей, издавна находившійся въ дружескихъ отношеніяхъ съ Ал. Ник., пользовавшійся особеннымъ его вниманіемъ передъ прочими и полнымъ довѣріемъ. Рѣдкое лѣто не навѣщали здѣсь Ал. Ник. кто-либо изъ литературныхъ и театральныхъ друзей и всѣхъ чаще, конечно, П. Ѳ. Горбуновъ.

Съ бакона открывается не подлежащій описанію живописный видъ на окрестности съ рѣчкой внизу горы и съ красивой, рисующейся среди зелени, церковью Никольскаго погоста. Послѣ покупки братьями Островскими у своей матеихи Щелыкова, Мих. Ник., не въ далекомъ разстояніи отъ стараго дома, выстроилъ собственно для себя небольшой деревянный домикъ, соединенный со старымъ березовой аллеей. Въ этомъ домикѣ проживалъ Мих. Ник. въ рѣдкіе свои пріѣзды въ Щелыково, чтобы отдохнуть отъ нелегкихъ



и многосложныхъ своихъ обязанностей по управленію Министерствомъ государственныхъ имуществъ. Въ верхнемъ же этажѣ этого домика Ал. Ник. постоянно занимался вырѣзными работами изъ дерева, которыми онъ страстно любилъ и въ которыхъ былъ очень искусенъ. Видъ изъ этого домика еще лучше, чѣмъ изъ стараго дома.

Мы видѣли Ал. Ник., среди этихъ красотъ природы, здоровымъ и жизнерадостнымъ. Съ необыкновенно ласковою улыбкою, которой никогда невозможно забыть и которою высказывалось полнѣйшее удовольствіе доброю памятью и посѣщеніемъ, — радушно встрѣчалъ онъ пріѣзжихъ и старался тотчасъ же устроить ихъ такъ, чтобы они чувствовали себя какъ дома. На деревенское угощеніе имѣлось достаточно запасовъ въ погребѣ и на огородѣ, на которомъ сажался и сѣялся всякій рѣдкій и нѣжный овощъ и которымъ любилъ похвастаться самъ владѣлецъ. У него, какъ у опытнаго и прославленнаго рыболова, что ни заносъ уды, то и клевъ рыбы — обычно щурятъ — въ омутѣ рѣчки передъ мельничной запрудой, и въ такомъ количествѣ, при всякой ловлѣ, что довольно было на цѣлый ужинъ. Оставаясь такимъ же радушнымъ и хлѣбосольнымъ, какъ и въ Москвѣ, въ деревнѣ своей онъ казался упростившимся до дѣтской наивности и полного довольства и благодушія. Несомнѣнно, онъ отдохнулъ, повеселѣлъ и сталъ совершенно беззаботенъ, а чтобы не обратили ему это все въ упрекъ и обвиненіе, то, вотъ, когда открывается сѣздъ мировыхъ судей, онъ, въ качествѣ почетнаго судьи, каждый мѣсяцъ ѣздитъ въ городъ Кинешму, да и вообще ее старается посѣщать: тамъ у него есть, гдѣ остановиться и съ кѣмъ поговорить. А затѣмъ вотъ и газеты и журналы высылаются изъ Москвы: „читаемъ, гуляемъ въ своемъ лѣсу, ѣздимъ на Сендегу ловить рыбу, собираемъ ягоды, ищемъ грибы“. „Отправляемся въ луга съ самоваромъ — чай пьемъ. Соберемъ помочь, станемъ пѣсни слушать; угощеніе жницамъ предоставимъ: все по предписанію врачей на законномъ основаніи“. Богатырь въ кабинетѣ съ перомъ въ рукахъ, — въ столовую къ добрымъ гостямъ выходилъ настоящимъ ребенкомъ, а семьѣ всегда предъявлялась имъ сильная и глубокая любовь къ домашнему очагу. Въ маленькомъ скромномъ хозяйствѣ, не дающемъ ни копейки дохода, ощущалась полная благодать

для внутренняго довольства и для здоровья, которое начало сдавать: усилились колотья въ бокахъ, увеличилась одышка; очень пугаетъ сердце. Въ деревнѣ меньше и рѣже приходится схватываться за грудь и жаловаться на боли, а по возвращеніи въ городъ, конечно, опять начнется старая исторія, и напомнятъ о себѣ застарѣлые недуги. Въ городѣ много работы; не стало отдыха.

Между тѣмъ надвигалась бѣда. Чрезмѣрная работа послѣднихъ лѣтъ оказалась губительною тѣмъ болѣе, что цѣлый годъ производилась порывами и тревожно. Эти волненія и ежедневныя безпокойства въ Москвѣ оказались болѣе убійственными, чѣмъ прежняя умѣренная дѣятельность и правильно налаженные литературныя занятія, когда привелось написать для русской драматической сцены 44 оригинальныхъ произведенія, кромѣ нѣкоторыхъ переводныхъ пьесъ. Литературныя занятія, какъ всякое тѣлесное упражненіе, могли казаться здоровыми, но, чрезмѣрно возбуждая душевныя силы, въ то же время истощали и убивали тѣло, въ которомъ уже успѣли угнѣздиться тяжелые недуги. Эта-то чрезмѣрность въ трудѣ, а главное — постоянное раздраженіе непріятностями по управленію труппой на податливой почвѣ потрясеннаго организма и сдѣлались роковыми, какъ всякое излишество, когда передъ отъѣздомъ на лѣто въ Щелыково Ал. Пик. еще вдобавокъ и простудился. По цѣлымъ часамъ отъ ревматическихъ болей онъ не могъ пошевелиться и ужасно страдалъ; дорогой внадалѣ въ обмороки.

А затѣмъ коротенькій сказъ, торопливое газетное извѣстіе, на легкомъ ходу:

„Утромъ въ Духовъ день 2-го іюня (1886 г.), А. Н. Островскому внезапно сдѣлалось дурно, и онъ скончался“.

Совершилось ужасное событіе, и разнеслась по Россіи потрясающая вѣсть:

*Островскаго не стало!*

Тѣмъ не менѣе, по искреннему и правдивому выраженію, безыскусственному, высказанному, между прочимъ, на двадцатипятилѣтнемъ юбилеѣ его драматической дѣятельности:

Пройдутъ года — дойдетъ отъ дѣдовъ  
Ко внукамъ трудъ почтенный твой,  
И Пушкинъ, Гоголь, Грибоѣдовъ  
Съ тобой вѣнецъ раздѣлятъ свой...



Показывая намъ юмористическую сторону жизни, онъ училъ плакать и смѣяться честно и искренно, — и этимъ особенно дорога намъ его память. Не далеко ходить и за утѣшеніемъ.

Уже очень давно сказано: „жить послѣ смерти въ сердцахъ тѣхъ, кого покидаемъ, — не значитъ умереть“, а нашимъ личнымъ воспоминаніямъ впереди остается еще довольно простора и поводовъ для объясненія дѣятельности и для характеристики личности нашего великаго драматическаго писателя.

*Максимовъ.*

## Самодурство и его растлѣвающее вліяніе.

Гдѣ больше строгости, тамъ и грѣха больше. Надо судить по человѣчеству.

Предъ нами въ „Семейной картинѣ“ грустно-покорныя лица нашихъ младшихъ братій, обреченныхъ судьбою на зависимое, страдательное существованіе. Это міръ затаенной, тихо вздымающей скорби, міръ тупой, ноющей боли, міръ тюремнаго, гробового молчанія, лишь изрѣдка оживляемый глухимъ, безсильнымъ ропотомъ, робко замирающимъ при самомъ зарожденіи. Нѣтъ ни свѣта, ни тепла, ни простора; гнилью и сыростью вѣетъ темная и тѣсная тюрьма. Ни одинъ звукъ съ вольнаго воздуха, ни одинъ лучъ свѣтлаго дня не проникаетъ въ нее. Въ ней вспыхиваетъ по временамъ только искра того священнаго пламени, которое пылаетъ въ каждой груди человѣческой, пока не будетъ залито наплывомъ житейской грязи. Чуть тлѣется эта искра въ сырости и смрадѣ темницы, но иногда на минуту вспыхиваетъ она и обливается свѣтомъ правды и добра мрачныя фигуры томящихся узниковъ. При помощи этого минутнаго освѣщенія мы видимъ, что тутъ страдаютъ наши братья, что въ этихъ одичавшихъ, безсловесныхъ, грязныхъ существахъ можно разобратъ черты лица человѣческаго, — и наше сердце стѣсняется болью и ужасомъ. Они молчатъ, эти несчастные узники, — они сидятъ въ летаргическомъ оцѣпенѣніи и даже не потрясаютъ своими цѣпами; они почти лишились даже способности сознавать свое страдальческое положеніе; но тѣмъ не менѣе они чувствуютъ тяжесть, лежащую на нихъ, они не потеряли спо-

способности ощущать свою боль. Если они безмолвно и неподвижно переносят ее, такъ это потому, что каждый крикъ, каждый вздохъ, среди этого мрачнаго омутъ, захватываетъ имъ горло, отдается колючею болью въ груди, каждое движеніе тѣла, обремененнаго цѣпами, грозитъ имъ увеличеніемъ тяжести и мучительнаго неудобства ихъ положенія. И не откуда ждать имъ отрады, негдѣ искать облегченія: надъ ними буйно и безотчетно властвуетъ безсмысленное *самодурство*, въ лицѣ разныхъ Большовыхъ, Торцовыхъ, Брусковыхъ, Уланбековыхъ и пр., не признающее никакихъ разумныхъ правъ и требованій. Только его дикіе, безобразные крики нарушаютъ эту мрачную тишину и производятъ пугливую суматоху на этомъ печальномъ кладбищѣ человѣческой мысли и воли.

Но не мертвецы же всѣ эти жалкіе люди, не въ темныхъ же могилахъ родились и живутъ они. Вольный Божій свѣтъ разстилался когда-то и предъ ними, хоть на короткое время, въ давнюю пору ранняго беззаботнаго дѣтства. Воспоминаніе объ этой золотой порѣ не оставляетъ ихъ и въ смрадной тюрьмѣ, и въ горькой кабалѣ самодурства. Грубые, необузданные крики какого-нибудь самодура, широкіе размахы руки его напоминаютъ имъ просторъ вольной жизни, гордые порывы свободной мысли и горячаго сердца, — порывы заглушенные въ несчастныхъ страдальцахъ, но погибшіе не совсѣмъ безъ слѣда. И вотъ черный осадокъ недовольства, беспильной злобы, тупого ожесточенія начинаетъ шевелиться на днѣ мрачнаго омутъ, хочетъ всплыть на поверхность взволнованной бездны и своимъ мутнымъ наплывомъ дѣлаетъ ее еще безобразнѣе и ужаснѣе. Нѣтъ простора и свободы для живой мысли, для душевнаго слова, для благороднаго дѣла; тяжкій самодурный запретъ наложенъ на громкую, открытую, широкую дѣятельность. Но пока живъ человѣкъ, въ немъ нельзя уничтожить стремленія жить, то-есть проявлять себя какимъ бы то ни было образомъ во внѣшнихъ дѣйствіяхъ. Чѣмъ болѣе стремленіе это стѣсняется, тѣмъ его проявленія бываютъ уродливѣе: по совсѣмъ не быть они не могутъ, пока человѣкъ не совсѣмъ замеръ. И такова сила самодурства въ этомъ темномъ царствѣ Торцовыхъ, Брусковыхъ и Уланбековыхъ, что много людей дѣйствительно замираетъ въ немъ, теряетъ и смыслъ, и волю, и даже силу



сердечнаго чувства — все, что составляет разумную жизнь, — и въ ідіотскомъ безсиліи прозябаетъ, только совершая отпавленія животной жизни. Но есть и живучія натуры: тѣ глубоко внутри себя вбираютъ ядъ своего недовольства, чтобы при случаѣ выпустить его, а между тѣмъ неслышно ползутъ, подобно змѣѣ, съеживаются, извиваются и перевертываются ужомъ и жабою... Они безмолвны, неслышны, незамѣтны; они знаютъ, что всякое быстрое и размахистое движеніе отзовется нестерпимой болью на ихъ закованномъ тѣлѣ; они понимаютъ, что, рванувшись изъ своихъ желѣзъ, они не выбѣгутъ изъ тюрьмы, а только вырвутъ куски мяса изъ своего тѣла. И вотъ они принимаются за работу глухую и тихую: изгибаясь, вертась и сжимаясь, они пробуютъ всѣ возможные манеры — нельзя ли втихомолку высвободить руки, чтобы потомъ распилить свои цѣпи... Начинается воровское, урывчатое движеніе, съ оглядкою, чтобы кто-нибудь не подмѣтилъ его; начинается обманъ и подлость, притворство и зложелательство, ожесточеніе на все окружающее и забота только о себѣ, о достиженіи личнаго спокойствія. Тутъ нѣтъ злобно обдуманыхъ плановъ, нѣтъ сознательной рѣшимости на систематическую, подземную борьбу, нѣтъ даже особенной хитрости; тутъ просто невольное, вынужденное внѣшними обстоятельствами, вовсе не обдуманное и ни съ чѣмъ хорошенько не соображенное проявленія чувства самосохраненія. Какъ у насъ невольно и безъ нашего сознанія появляются слезы отъ дыма, отъ умиленія и хрѣна, какъ глаза наши невольно щурятся при внезапномъ и слишкомъ сильномъ свѣтѣ, какъ тѣло наше невольно сжимается отъ холода, — такъ точно эти люди невольно и безсознательно принимаются за плутовскую, лицемерную и грубо-эгоистическую дѣятельность, при невозможности дѣла открытаго, правдиваго и радужнаго... Нечего винить этихъ людей, хотя и не мѣшаетъ остерегаться ихъ: они сами не вѣдаютъ, что творятъ. Подъ страхомъ нагоняя и потасовки, рабски воспитанные, — съ безпрестаннымъ опасеніемъ остаться безъ куска хлѣба, рабски живущіе, они всѣ силы свои напрягаютъ на пріобрѣтеніе одной изъ главныхъ рабскихъ добродѣтелей — безсовѣстной хитрости. И чего же имъ совѣстится, какую правду, какія права уважать имъ? Вѣдь самодурство властвуетъ надъ ними, давить и убиваетъ ихъ — совершенно безправно, безсмысленно.

безсовѣстно! Въ людяхъ, воспитанныхъ подъ такимъ владычествомъ, не можетъ развитися сознаніе нравственнаго долга и истинныхъ началъ честности и права. Вотъ почему безобразнѣйшее мошенничество кажется имъ похвальнымъ подвигомъ, самый гнусный обманъ — ловкою штукой. Они могутъ васъ надувать, обрадывать, подводить подъ ножъ, и при всемъ этомъ оставаться искренно радушными и любезными съ вами, сохранять невозмутимое добросердечіе и множество истинно добродѣтельныхъ качествъ. Въ ихъ натурѣ вовсе нѣтъ злости, нѣтъ и вѣроломства; но имъ нужно какъ-нибудь выплыть, выбиться изъ гнилого болота, въ которое погружены они сильными самодурами; они знаютъ, что выбратися на свѣжій воздухъ, которымъ такъ свободно дышать эти самодуры, можно съ помощью обмана и денегъ: и вотъ они принимаются хитрить, льстить, надувать, начинаютъ и по мелочи и большими кушамн, но всегда тайкомъ и рывкомъ, закладывать въ свой карманъ чужое добро. Что за дѣло, что оно чужое? Вѣдь у нихъ самихъ отняли все, что они имѣли, *свою волю и свою мысль*; какъ же имъ разсуждать о томъ, что честно и что безчестно? какъ не захотѣть надуть другого для своей личной выгоды.

Такимъ образомъ наружная покорность и тупое, сосредоточенное горе, доходящее до совершеннаго идіотства и плачевнѣйшаго обезличенія, переплетаются въ темномъ царствѣ, изображаемомъ Островскимъ, съ рабскою хитростью, гнуснѣйшимъ обманомъ, безсовѣстнѣйшимъ вѣроломствомъ. Тутъ никто не можетъ ни на кого положиться: каждую минуту вы можете ждать, что пріятель вашъ похвалится тѣмъ, какъ онъ ловко обсчиталъ или обворовалъ васъ; компаніонъ въ выгодной спекуляціи — легко можетъ забрать въ руки всѣ деньги и документы и засадитъ своего товарища въ яму за долги; тестъ надуетъ зятя приданнымъ; женихъ обочтетъ и надуетъ сваху; неvěста-дочь проведетъ отца и мать, жена обманетъ мужа. Ничего святого, ничего чистаго, ничего праваго въ этомъ темномъ мірѣ: господствующее надъ нимъ самодурство, дикое, безумное, неправое, прогнало изъ него всякое сознаніе чести и права... И не можетъ быть ихъ тамъ, гдѣ повержено впрахъ и нагло растоптано самодурами чловѣческое достоинство, свобода личности, вѣра въ любовь и счастье, и святыня честнаго труда.



А между тѣмъ тутъ же рядомъ, только за стѣною, идетъ другая жизнь, свѣтлая, опрятная, образованная... Обѣ стороны темнаго царства чувствуютъ превосходство этой жизни и то пугаются ея, то привлекаются къ ней. Но основы этой жизни, ея внутренняя сила—совершенно непонятны для жалкихъ людей, отвыкшихъ отъ всякой разумности и правды въ своихъ житейскихъ отношеніяхъ. Только самая грубая и виѣшняя, бьющая въ глаза, проявленія этой образованности понятны для нихъ, только на нихъ они нападаютъ, ежели вздумаютъ *невзлюбить* образованность, и только *ихъ раздражаютъ*, ежели увлекутся страстью жить *по благородному*. Старикъ-самодуръ сбръветъ бороду и станетъ напиваться шампанскимъ, вмѣсто водки; дочь его будетъ пѣть *жестокіе* романсы и увлекаться офицерами; сынъ начнетъ кутить и покупать дорогія платья и шали танцовщицамъ; вотъ и весь кодексъ ихъ образованности... Зато и тѣ, которые боятся новаго свѣта, — если имъ попадется дурачекъ Вихоревъ или Бальзаминовъ, рады принять его за представителя образованности, и по поводу его излить свое негодованіе на новыя порядки... И такъ черезъ всю жизнь *самодуровъ*, черезъ все страдальческое существованіе *безответныхъ* проходитъ эта борьба съ волною новой жизни, которая, конечно, зальетъ когда-нибудь всю издавна накопленную грязь и превратитъ топкое болото въ свѣтлую и величавую рѣку, но которая теперь еще только вздымаетъ эту грязь и сама въ нее всасывается, и вмѣстѣ съ нею гніетъ и смердитъ... Теперь новыя начала жизни только еще тревожатъ сознаніе всѣхъ обитателей темнаго царства, въ родѣ далекаго привидѣнія или кошмара. Даже для тѣхъ, которые рѣшаются сами *подрезать новую моду*, она все-таки тяжела такъ, какъ тяжело бываетъ всякій кошмаръ, хотя бы въ немъ представлялись видѣнія самая прелестныя. И точно какъ послѣ кошмара, даже тѣ, которые повидимому уже успѣли освободиться отъ самодурнаго гнета и успѣли возвратитъ себѣ чувство и сознаніе, — и тѣ все еще не могутъ найтись хорошенько въ своемъ новомъ положеніи, и не понявъ ни настоящей образованности, ни своего призванія, не умѣютъ удержать и своихъ правъ, не рѣшаются и приняться за дѣло, а возвращаются опять къ той же покорности судьбѣ, или къ темнымъ сдѣлкамъ съ ложью и самодурствомъ.

Таково общее впечатлѣніе комедій Островскаго, какъ мы ихъ понимаемъ. Чтобы нѣсколько рельефнѣе выставить нѣкоторыя черты этого блѣднаго очерка, напомнимъ нѣсколько частныхъ, долженствующихъ служить подтвержденіемъ и поясненіемъ нашихъ словъ. Въ настоящей статьѣ мы ограничимся представленіемъ того нравственнаго растлѣнія, тѣхъ безсовѣстно-неестественныхъ людскихъ отношеній, которыя мы находимъ въ комедіяхъ Островскаго, какъ прямое слѣдствіе тяготѣющаго надъ всѣми самодурства.

Обманъ тутъ — явленіе нормальное, необходимое, какъ убійство на войнѣ. Быть этотъ темнаго царства такъ ужъ сложился, что вѣчная вражда господствуетъ между его обитателями. Тутъ всѣ въ войнѣ: жена съ мужемъ — за его самовольство, мужъ съ женою — за ея непослушаніе или неугожденіе; родители съ дѣтьми зато, что дѣти хотятъ жить своимъ умомъ, дѣти съ родителями зато, что имъ не даютъ жить своимъ умомъ; хозяева съ прикащиками, начальники съ подчиненными — воюютъ зато, что одни хотятъ все подавить своимъ самодурствомъ, а другіе не находятъ простору для самыхъ законныхъ своихъ стремленій; дѣловые люди воюютъ изъ-за того, чтобы другой не перебилъ у нихъ барышей ихъ дѣятельности, всегда рассчитанной на эксплуатацію другихъ; праздные шатуны бьются, чтобы не ускользнули отъ нихъ тѣ люди, трудами которыхъ они задаромъ кормятся, щеголяютъ и богатѣютъ. И всѣ эти люди воюютъ общими силами противъ людей честныхъ, которые могутъ открыть глаза угнетеннымъ труженикамъ и научить ихъ громко и настоятельно предъявить свои права. Вслѣдствіе такого порядка дѣлъ, всѣ находятся въ осадномъ положеніи, всѣ хлопчуть о томъ, какъ бы только спасти себя отъ опасности и обмануть бдительность врага. На всѣхъ лицахъ написанъ испугъ и недовѣрчивость; естественный ходъ мысленія измѣняется, и на мѣсто здравыхъ понятій вступаютъ особенныя, условныя соображенія, отличающіяся скотскимъ характеромъ и совершенно противныя человѣческой природѣ. Точно въ такомъ безумномъ ослѣпленіи находятся всѣ жители темнаго царства, возстающаго передъ нами изъ комедій Островскаго. Они въ постоянной войнѣ со всѣмъ окружающимъ, и потому не требуйте и не ждите отъ нихъ раціональныхъ соображеній, доступныхъ человѣку въ спокойномъ и мирномъ состояніи.



Пузатовъ дѣлаетъ такой военный силлогизмъ: „если я тебя не разобью, такъ ты меня разобьешь; такъ лучше же я тебя разобью“. И что же сказать противъ такого силлогизма? И не рождается ли онъ самъ собою у всякаго человѣка, поставленнаго въ затруднительное положеніе выбирать между побѣдою и пораженіемъ? Нечего и удивляться, что, рассказывая о томъ, какъ не додалъ денегъ нѣмцу, представившему счетъ изъ магазина, Пузатовъ рассуждаетъ такъ: „а то всѣ ему и отдать? да за что это? Нѣтъ, ужъ опосля честь будетъ. *Они тамъ ломаютъ цѣну какую хотятъ, а имъ съ дуру-то и сдѣлаютъ.* И въ другой разъ тоже сдѣлаю, коли векселя не возьмутъ“. Вы видите, что здѣсь идетъ самая обыкновенная игра: кто лучше играетъ, тотъ и остается въ выигрышѣ.

Но Пузатовъ самъ не любитъ особенно обмана, обмана безъ нужды, безъ надежды на выгоду: не любитъ между прочимъ и потому, что въ такомъ обманѣ выражается не солидный умъ, занятый существенными интересами, а просто легкомысліе, лишенное всякой основательности. Ширялова же, у котораго плутовство переходитъ всякія границы, онъ не одобряетъ больше потому, что ужъ тотъ ни войны ни мира не разбираетъ, — то во время перемирія стрѣлять начнетъ, то даже по своимъ ударить. „Это, — говоритъ Пузатовъ, — словно жидъ какой: отца родного обманетъ. Право. Такъ вотъ въ глаза и смотритъ всякому. А вѣдь святошей прикидывается“. Впрочемъ и неодобреніе Пузатова нельзя въ этомъ случаѣ принимать серіозно: въ самую минуту его брани на Ширялова купецъ этотъ является къ Антипу Антипычу въ гости. Антипъ Антипычъ не только очень любезно принимаетъ его, не только внимательно слушаетъ его рассказы о кутежѣ сына-Сеньки, вынуждающемъ старика самого жениться, и о собственныхъ плутовскихъ шуткахъ Ширялова, но въ заключеніе еще сватаетъ за него сестру свою, и тутъ же, безъ согласія и безъ вѣдома Марьи Антиповны, окончательно слагиваетъ дѣло. Что его побудило къ этому? Отвѣтъ высказывается въ нѣсколькихъ словахъ, произносимыхъ имъ по уходѣ Ширялова. „Экой воръ мужикъ-то, — самъ съ собою рассуждаетъ Ширяловъ, подмигивая глазомъ, — тонкая бестія! Вѣдь какимъ лазаремъ прикинется! Вишь ты, Сенька виновать!... А ужъ что, братъ, толковать: просто на старости блажь пришла... Что жъ, мы съ нашимъ удоволь-

ствіемъ! Ничего, можно-съ!... Только, Парамонъ Ферапонтычъ, насчетъ приданаго-то кто кого обманетъ, — дѣло темное-съ. Мы тоже съ матушкой на свою руку охулки не положимъ"... Дѣло, стало быть, очень просто: представилась возможность выгодно сбыть сестру; какъ же не воспользоваться случаемъ? Для сестры же тутъ доброе дѣло выходить: все-таки будетъ пристроена!...

Таковы люди, таковы людскія отношенія, представляющіяся намъ въ „Семейной картинѣ“, первомъ по времени произведеніи Островскаго. Въ немъ уже находятся задатки многого, что полнѣе и ярче раскрылось въ послѣдующихъ комедіяхъ. По крайней мѣрѣ видно, что уже и въ это время авторъ былъ пораженъ тѣмъ непріязненнымъ и мрачнымъ характеромъ, какимъ у насъ большею частію отличаются отношенія самыхъ близкихъ между собою людей. Здѣсь же намѣчены отчасти и причины этой мрачности и враждебности: бессмысленное самодурство однихъ и робкая уклончивость, бездѣятельность другихъ. Что же касается до тѣхъ изъ обитателей „темнаго царства“, которые имѣли силу и привычку къ дѣлу, такъ они всѣ съ самаго перваго шага вступали на такую дорожку, которая никакъ ужъ не могла привести къ чистымъ нравственнымъ убѣжденіямъ. Работающему человѣку никогда здѣсь не было мирной, свободной и общепользной дѣятельности; едва успѣвши осмотрѣться, онъ уже чувствовалъ, что очутился какимъ-то образомъ въ непріятельскомъ станѣ и долженъ, для спасенія своего существованія, какъ нибудь надуть своихъ враговъ, прикинувшись хотя добровольнымъ переметчикомъ. А тамъ начинаются хитрости, какъ бы обмануть бдительность непріятелей и спастись отъ нихъ; а ежели и это удастся, придумываются непріязненные дѣйствія противъ нихъ, частію въ отмщеніе, частію же для огражденія себя отъ новой опасности. Гдѣ же тутъ развиться правильнымъ понятіямъ объ отношеніяхъ людей другъ къ другу? Гдѣ тутъ воспитаться уваженію человѣческаго достоинства? Здѣсь всѣ въ отвѣтъ за какую-то чужую несправедливость, всѣ дѣлаютъ мнѣ пакости за то, въ чемъ я вовсе не виноватъ, и отъ всѣхъ я долженъ отбиваться, даже вовсе не имѣя желанія побить кого нибудь. Поневоѣ человѣкъ дѣлается неразборчивъ и начинаетъ бить, кого попало, не теряя даже сознанія, что въ сущности-то



никого бы не слѣдовало бить. Невольно повторись опять сравненіе жизни „темнаго царства“ съ ожесточенною войною. На войнѣ вѣдь не бѣда, если солдатъ убьетъ такого непріятеля, который ни одного выстрѣла не послалъ въ нашъ станъ: онъ подвернулся подъ пулю, — и довольно. Солдата-убійцу не будетъ совѣсть мучить. Такъ точно, что за бѣда, если купецъ обманулъ честиѣйшаго человѣка, который никому въ жизни ни малѣйшаго зла не сдѣлалъ? Довольно того, что онъ покупаетъ товаръ; торговля все равно, что война: не обмануть — не продать!... Приложите то же самое къ помѣщику, къ чиновнику „темнаго царства“, къ кому хотите, — выйдетъ все тоже: всѣ въ военномъ положеніи, и никого совѣсть не мучитъ за обманъ и присвоеніе чужого, оттого именно, что ни у кого нѣтъ нравственныхъ убѣжденій, а всѣ живутъ сообразно съ обстоятельствами.

Такимъ образомъ мы находимъ глубоко-вѣрную, характеристически-русскую черту въ томъ, что Большовъ въ своемъ злостномъ банкротствѣ не слѣдуетъ никакимъ особеннымъ *убѣжденіямъ* и не испытываетъ *глубокой душевной борьбы*, кромѣ страха, какъ бы не попасться подъ уголовный... Въ преступленіи они понимаютъ только внѣшнюю, юридическую его сторону, которую справедливо презираютъ, если могутъ какъ нибудь обойти. Внутренняя же сторона, послѣдствія совершаемаго преступленія для другихъ людей и для общества — вовсе имъ не представляются. Замышляя злостное банкротство, Большовъ и не думаетъ о томъ, что можетъ повредить благосостоянію заимодавцевъ, и, можетъ быть, пустить нѣсколько человѣкъ по міру. Это ему не приходитъ въ голову даже и тогда, какъ ужъ его въ яму посадили. Онъ толкуетъ, что ему страшно на Иверскую взглянуть, проходя мимо Иверскихъ воротъ, жалуется, что на него мальчишки пальцами показываютъ, боится, что въ Сибирь его сошлютъ; но о людяхъ, разоренныхъ имъ, — ни слова. Мудрено ли же, что онъ такъ легко рѣшается на преступленіе, котораго существеннѣйшая-то мерзость ему и непонятна! Онъ видитъ только, что „*другіе же дѣлаютъ*“. И это для него не оправдательная фраза, не примѣръ только, какъ утверждалъ одинъ строгій критикъ Островскаго. Нѣтъ, тутъ исходная точка, изъ которой выводится вся мораль Большова. Онъ видитъ, что другіе банкротятся, залививаютъ его деньги,

а потомъ строятъ себѣ на нихъ дома съ бельведерами да заводятъ удивительные экипажи: у него сейчасъ и прилагается здѣсь общее соображеніе: „чтобы меня не обыграли, такъ я долженъ стараться другихъ обыграть“. И ужъ тутъ нужды нѣтъ, что кредиторы Большова не банкротились и не дѣлали ему подрыва: все равно, съ кого бы ни пришлось, только бы сорвать свою выгоду. Тутъ, какъ и въ сраженіи, разбирать личности нечего. Вотъ кабы никто не обманывалъ, т. е. кабы войны не было, тогда и Самсонъ Силычъ жилъ бы мирно и честно, никого не надувалъ. А то какъ же ему то вести себя, когда всѣ кругомъ мошенничаютъ? И кому какая будетъ польза отъ его честности? Не онъ, такъ другіе надуютъ, все единственно. Вотъ разговоръ Большова съ Подхалюзинымъ на этотъ счетъ:

Большовъ. Вотъ ты бы, Лазарь, когда на досугѣ баланцъ для меня сдѣлалъ, учелъ бы розничную по панской-то части, ну, и остальное, что тамъ еще. А то торгуемъ, торгуемъ братецъ, а пользы ни на грошъ. Али сидѣльцы, что лп, грѣшатъ, таскаютъ роднымъ да любовницамъ; ихъ бы маленечко усовѣщивать. Что такъ, безъ барыша-то небо коптить? Аль сноровки не знаютъ? Пора бы, кажется.

Подхалюзинъ. Какъ же это можно, Самсонъ Силычъ, чтобы сноровки не знать? Кажется, самъ завсегда въ городѣ бываешь и завсегда толкуешь имъ-съ.

Большовъ. Да что же ты толкуешь-то?

Подхалюзинъ. Извѣстное дѣло-съ, стараюсь, чтобы все было въ порядкѣ и какъ слѣдуетъ-съ. Вы, говорю, ребята, не зѣвайте: видишь, чуть дѣло подходящее, покупатель, что ли, тумакъ на-вернулся, али цвѣтъ съ узоромъ какой барышнѣ понравился, — взялъ, говорю, и накинулъ рубль али два на аршинъ.

Большовъ. *Чай, братъ, знаешь, какъ Пльмцы въ магазинахъ нашихъ баръ обираютъ. Положимъ, что мы — не Пльмцы, а христіане православные, да тоже трога-то съ лачинкой ѣдимъ.* Такъ-ли, а?

Подхалюзинъ. Дѣло понятное-съ. И мѣрять-то, говорю, надо тоже поестественнѣе, тyani да потягивай, только-чтобъ, Боже сохрани, какъ не лопнуло; вѣдь не намъ, говорю, послѣ носить. Ну а зазывается, такъ никто не виноватъ, — можно, говорю, и просто черезъ руку лишній аршинъ шмыгнуть.

Большовъ. *Все единственно: вѣдь портяной украденъ же.* Эхъ, Лазарь, плохи нынче барыши: не прежнія времена.

Исное дѣло: вся мораль Самсона Силыча основана на правилѣ: чѣмъ другимъ красть, такъ лучше я украду. Пра-



вило это, может быть, не имѣть драматическаго интереса, — это ужъ какъ тамъ угодно критикамъ; но оно имѣетъ чрезвычайно обширное приложеніе во многихъ сферахъ нашей жизни. По этому правилу иной беретъ взятку и кривить душой, думая: все равно, — не я, такъ другой возьметъ и тоже рѣшить криво. Другой держитъ свои помѣщичьи права, рассчитывая: все равно, — вѣдь если не мой управляющій, то окружной станетъ стѣснять моихъ крестьянъ. Иной подличаетъ передъ начальствомъ, соображая: все равно, — вѣдь если не меня, такъ онъ другого найдетъ для себя, а я только мѣста лишусь. Словомъ — куда ни обернитесь, вездѣ вы встрѣтите людей, дѣйствующихъ по этому правилу: тотъ принимаетъ у себя негодяя, другой обираетъ богатаго простака, третій сочиняетъ доносъ, четвертый соблазняетъ дѣвушку, — все на основаніи того же милаго соображенія: *„не я, такъ другой“*. Кажется, ясно, что здѣсь такое соображеніе совсѣмъ не имѣетъ значенія примѣра... Оно есть не что иное, какъ выраженіе самаго грубаго и отвратительнаго эгоизма, при совершенномъ отсутствіи какихъ нибудь высшихъ нравственныхъ началъ.

Слѣдую внушеніямъ этого эгоизма, и Большовъ задумываетъ свое банкротство. И его эгоизмъ еще имѣетъ для себя извиненіе въ этомъ случаѣ: онъ не только видитъ, какъ другіе наживаются банкротствомъ, но и самъ потерпѣлъ нѣкоторое разстройство въ дѣлахъ именно отъ несостоятельности многихъ должниковъ своихъ. Онъ съ горечью говоритъ объ этомъ Подхалюзину:

„Вотъ ты и знай, Лазарь, какова торговля-то! Ты думаешь что! Такъ вотъ даромъ и бери деньги. Какъ не деньги, скажетъ, — видалъ, какъ лягушки прыгаютъ. На-ко, говоритъ, вексель. А по векселю-то съ него что возьмешь, коли съ него взять-то нечего! У меня такихъ-то векселей тысячъ на сто, и съ протестами; только и дѣло, что каждый годъ подкладывай. Хошь, за полтину серебра всѣ отдамъ! Должниковъ-то по нимъ, чай, и съ собаками не сыщешь: которые померли, а которые поразбѣжались, — некого и въ яму посадить. А и посадишь-то, Лазарь, такъ самъ не радъ: другой такъ обдержится, что его оттедова куревомъ не выкуришь. Миѣ, говорятъ и здѣсь хорошо, а ты проваливай“.

Но чтобы выйти изъ подобной борьбы непобѣжденнымъ, — нужно еще имѣть желѣзное здоровье и, — главное, — вполне обеспеченное состояніе. А между тѣмъ, по устройству „темпаго

царства", — все его зло, вся его ложь тяготѣеть страданіями и лишеніями именно только надъ тѣми, которые слабы, изнурены и необезпечены въ жизни; для людей же сильныхъ и богатыхъ — та же самая ложь служить къ услажденію жизни. Что же имъ за выгода обличать эту ложь, бороться съ этимъ зломъ? Можно ли ожидать, что купецъ Большовъ станетъ требовать, напримѣръ, отъ своего прикащика Подхалюзина, чтобы тотъ разорялъ его, поступая, по совѣсти и отговаривая покупателей отъ покупки гнилого товара и отъ платы за него лишнихъ денегъ? Само собою разумѣется, что ужъ скорѣе самъ прикащикъ могъ бы, проникнувшись добросовѣстностью, послѣдовать такому образу дѣйствій. Но прикащикъ связанъ съ хозяиномъ: онъ сытъ и одѣтъ по хозяйской милости, онъ можетъ „въ люди пронзойти“, если хозяинъ полюбилъ его; а ежели не полюбилъ, то что же такое прикащикъ, со своей непрактической добросовѣстностью? Такъ, — ничтожество!.. И вотъ Подхалюзинъ начинаетъ соображать шансы своего положенія. Человѣкъ онъ не геніальный, не герой и не титанъ, а очень обыкновенный смертный. Невозможно и требовать отъ него практическаго протеста противъ всей окружающей его среды, противъ обычаевъ, установившихся вѣками, противъ понятій, которыя, какъ святыня, внушались ему, когда онъ былъ еще мальчишкою, ничего не смыслившимъ... Ясно, что онъ долженъ подчиниться той морали, какая господствуетъ въ атмосферѣ, его окружающей, — пойти по той дорожкѣ, которая проторена другими... Не пробовать же ему новой, никому невѣдомой дороги, когда ужъ есть готовый, торный проселокъ!

Но съ другой стороны, какъ натура живая и дѣятельная, и Подхалюзинъ задаетъ себѣ нѣкоторые жизненные вопросы и задачи. Задачи его обыкновенно очень мизерны, вопросы — не глубоки, потому что кругъ зрѣнія его очень ограниченъ. Онъ видитъ передъ собой своего хозяина-самодура, который ничего не дѣлаетъ, пьетъ, ѣстъ и проклажается въ свое удовольствіе, ни отъ кого ругательствъ не слышитъ, а напротивъ — самъ всѣхъ ругаетъ невозбранно, — и въ этомъ гаденькомъ лицѣ онъ видитъ идеаль счастія и высоты достижимыхъ для человѣка. Что выходить изъ тѣснаго круга обыденной жизни, постоянно имъ видимой, о томъ онъ имѣетъ лишь смутныя понятія, да ни мало и не заботится, находя,



что то ужъ совсѣмъ другое, объ этомъ ужъ нашему брату и думать нечего... А разъ рѣшивши это, поставивши себѣ такой предѣлъ, за который нельзя переступить, Подхалюзинъ, очень естественно, старается приспособить себя къ такому кругу, гдѣ ему надо дѣйствовать, и для того съеживается и выгибается. Это же и не стоитъ ему большого труда, — дѣло привычное съ малолѣтства: какъ вытянуть по спинѣ аршиномъ или пачнуть объ голову кулаки оббивать, — такъ тутъ поневолѣ выгнешься и сожмешься... II Подхалюзинъ, вынося самъ всякія истязанія и находя, наконецъ, что это въ порядкѣ вещей, глубоко затаиваетъ свои личныя, живыя стремленія, въ надеждѣ, что будетъ же когда нибудь и на его улицѣ праздникъ. Между тѣмъ нравственное развитіе идетъ своимъ путемъ, логически-неизбѣжнымъ при такомъ положеніи: Подхалюзинъ, находя, что личныя стремленія его принимаются всѣми враждебно, мало-по-малу приходитъ къ убѣжденію, что дѣйствительно личность его, какъ и личность всякаго другого, должна быть въ антагонизмѣ со всѣмъ окружающимъ, и что, слѣдовательно, чѣмъ болѣе онъ отнимаетъ отъ другихъ, тѣмъ полнѣе удовлетворить себя. Изъ этого начала развивается то вѣчно-осадное положеніе, въ которомъ неизбѣжно находится каждый обитатель „темнаго царства“, пускающійся въ практическую дѣятельность, съ намѣреніемъ добиться чего нибудь... Высшія нравственныя правила, для всѣхъ равно обязательныя, существуютъ для него только въ нѣсколькихъ прекрасныхъ реченіяхъ и заповѣдяхъ, никогда не примѣняемыхъ къ жизни; симпатическая сторона натуры въ немъ не развита; понятія, выработанныя наукою, объ общественной солидарности и о равновѣсіи правъ и обязанностей, — ему недоступны. Самые идеалы его (потому, что идеалы и у Подхалюзина есть, такъ есть и у городничаго въ „Ревизорѣ“) грубы, тусклы, безобразны и безчеловѣчны. Городничій мечтаетъ о томъ, какъ онъ, сдѣлавшись генераломъ, будетъ заставлятъ городничихъ ждать себя по пяти часовъ; такъ точно Подхалюзинъ предполагаетъ: „тятенька подурили на своемъ вѣку, — будетъ: теперь намъ пора“. И только бы ему достичь возможности осуществить свой идеалъ: онъ въ самомъ дѣлѣ не замедлитъ заставить другихъ такъ же бояться, подличать, фальшивить и страдать отъ него, какъ боялся, подличалъ, фальшивилъ

и страдалъ самъ онъ, пока не обезпечилъ себѣ право на самодурство...

Тяжело прослѣдить подобную карьеру; горько видѣть такое искаженіе человѣческой природы. Кажется ничего не можетъ быть хуже дикаго, неестественнаго развитія, которое совершается въ натурахъ, подобныхъ Подхалюзину, вслѣдствіе тяготѣнія надъ нимъ самодурства. Но въ послѣдующихъ комедіяхъ Островскаго намъ представляется новая сторона того же вліянія, по своей мрачности и безобразію едва ли уступающая той, которая была нами указана въ прошедшей статьѣ.

Эта новая сторона является намъ въ натурахъ подавленныхъ, безотвѣтныхъ. Такія натуры представляются намъ почти въ каждой изъ комедій Островскаго, съ большею или меньшею ясностью очертаній. Даже въ „Своихъ людяхъ“ Аграфена Кондратьевна принадлежитъ къ такимъ натурамъ; но здѣсь она не играетъ видной роли. Ярче выставляются намъ въ послѣдующихъ комедіяхъ лица Мити въ „Бѣдность не порокъ“, и дѣтей Брусковыхъ въ пьесѣ „Въ чужомъ пиру похмѣлье“, и лица дѣвушекъ почти во всѣхъ комедіяхъ Островскаго. Авдотья Максимовна, Любовь Торцова, Даша, Надя — все это безвинныя, безотвѣтныя жертвы самодурства, и то сглаженіе, *отмѣненіе* человѣческой личности, такое въ нихъ произведено жизнью, едва ли не безотраднѣе дѣйствуетъ на душу, нежели самое искаженіе человѣческой природы въ плутахъ, подобныхъ Подхалюзину. Тамъ еще кое-гдѣ пробивается жизнь, самобытность, мерцаетъ минутами лучъ какой-то надежды; здѣсь — тишь невозмутимая, мракъ непроглядный, здѣсь предъ вами стоитъ мертвая красавица въ безлюдной степи, и общее гробовое молчаніе нарушается лишь движеніемъ степного коршуна, терзающаго въ воздухѣ добычу... Жутко, точно на кладбищѣ или въ домѣ купца-раскольника наканунѣ великаго праздника! Добролюбовъ.

---

### Бытовое и художественное значеніе комедій Островскаго: „Свои люди — сочтемся“.

По содержанію и ходу пьесы видно, что злостное банкротство купца Большова составляетъ главный предметъ всей комедіи. Съ этимъ предметомъ связаны, такъ или иначе, интересы всѣхъ лицъ. Изъ этихъ лицъ важнѣйшія: купецъ



Самсонъ Силычъ Большовъ, главный приказчикъ его — Лазарь Елизарычъ Подхалюзинъ, и дочь Большова — Липочка.

Большовъ — живой, полный типъ богатаго купца-самодура. Онъ образованія никакого не получилъ. Поэтому онъ не только не понимаетъ, въ чемъ заключаются обязанности человека передъ обществомъ, но просто напросто считаетъ себя внѣ всякихъ нравственныхъ правилъ. Такія правила онъ признаетъ обязательными только для другихъ. Себя самого Большовъ считаетъ единственнымъ закономъ и средоточіемъ всего, до чего только достигаетъ его власть. Въ домѣ, на примѣръ, всѣ передъ нимъ трепещутъ, отъ мальчика Тишки, и до жены, Аграфены Кондратьевны. Его деспотизмъ тяготѣетъ надъ всѣми домашними безъ разбору. Вотъ отчего въ трудную минуту сглаживается различіе чиновъ и званій: мать, дочь, кухарка, хозяйка, мальчишка, приказчикъ — все это сливается въ одну, угнетенную, партію; у всѣхъ забота одна — какъ бы ускользнуть отъ общей опасности. Жену Большовъ въ глаза называетъ *старой коргой*; о дочери говоритъ: „мое дѣтище: хочу — съ кашей ѣмъ, хочу — масло пахтаю“. Нравственныхъ убѣжденій у Большова нѣтъ никакихъ, да и не откуда имъ взяться. Это очень важное обстоятельство. Имъ объясняется, почему Большовъ такъ спокойно и увѣренно дѣйствуетъ по своему собственному правилу. А правило его вотъ какое: какъ бы лучше самому устроиться на счетъ ближняго, а ужъ ближній пеняй на себя за оплошность. „Отъ чего не надуть пріятеля, коли рука подойдетъ? Ничего, можно“. Такъ говоритъ Пузатовъ въ комедіи „Семейная картина“. Такое же правило и у Большова. На такомъ взглядѣ на жизнь и построенъ планъ его банкротства. Замѣчательны мотивы банкротства: Большовъ не потому не платитъ денегъ, что нечемъ; напротивъ, денегъ у него много; а просто — „не хочется“ платить. Да кромѣ того, Большовъ знаетъ, что и многіе поступаютъ такъ же и за то считаются въ свѣтѣ опытными и ловкими. А тутъ кстати стряпчій Ризположенскій подтверждаетъ то же самое: „Вѣдь не вы первый, Самсонъ Силычъ, не вы послѣдній; нешто другіе-то не дѣлаютъ?“ Эти слова до того успокаиваютъ Большова, что онъ съ полной увѣренностью рѣшаетъ: „Этакъ-то лучше; только напусти Богъ смѣлости“. Ясно, что Большовъ, вовсе не пони-

масть, что онъ дѣлаегь преступленіе, обманываетъ, а можетъ-быть и разоряетъ честныхъ людей. У Большова совершенно особыя понятія объ обществѣ, о законѣ, о религіи и, вообще, о нравственныхъ предметахъ. На общество онъ глядитъ, какъ на враждебный станъ. Чѣмъ другимъ красть, такъ лучше я украду: такова мораль Большова. Законъ для него представляется чѣмъ-то внѣшнимъ, какимъ-то юридическимъ препятствіемъ къ исполненію его прихоти. И Большовъ нисколько не уважаетъ этого нравственного начала, онъ можетъ легко обойти его. Какъ у всѣхъ нравственно-неразвитыхъ людей, у Большова нѣтъ религіи, нѣтъ никакого внутренняго голоса, который предостерегалъ бы его отъ неправды. Когда Лазарь замѣчаетъ Большову: „А ужъ по мнѣ, Самсонъ Силычъ, коли платить по 25 к., такъ пристойнѣе совсѣмъ не платить“. Большовъ отвѣчаетъ: „А что? вѣдь и правда. Храбростью-то никого не удивишь, а лучше тихимъ-то манерцемъ дѣльце обдѣлать. *Тамъ постъ суди Владыко на второмъ пришествіи*“. Вотъ религія Большова. Онъ не въ состояніи подумать о внутренней сторонѣ своего поступка, т.-е. о томъ злѣ, которое онъ сдѣлалъ людямъ и обществу. Это не приходитъ ему въ голову даже тогда, когда его посадили „въ яму“. Онъ толкуетъ, что ему страшно на Иверскую взглянуть; жалуется, что мальчишки на него пальцами указываютъ; боятся, что въ Сибирь сошлютъ, а о людяхъ, которыхъ онъ разорилъ своимъ злостнымъ банкротствомъ, все-таки ни слова.

При всемъ своемъ нравственномъ безобразіи Большовъ вызываетъ въ душѣ зрителя чувство не злобы, а сожалѣнія. Авторъ развилъ этотъ характеръ во всѣхъ подробностяхъ и съ тонкимъ умѣньемъ. Онъ выставилъ передъ зрителемъ душу своего героя, самыя затаенныя его мысли, самое зарожденіе его желаній. И мы видимъ, что какъ во время обдумыванія своего безчестнаго банкротства, такъ и вообще во всѣхъ своихъ поступкахъ, и въ обращеніи съ семьей и съ посторонними, Большовъ не имѣетъ въ душѣ ни тѣни злости или коварства; все въ немъ въ высшей степени просто, добродушно, глупо! Мы видимъ, что Самсонъ Силычъ вовсе не злодѣй, а — своенравный неотесанный невѣжда. Смолоду въ немъ заглушены симпатичныя стороны его природы и не развито никакихъ нравственныхъ понятій. Потому-то онъ и



живетъ безъ размышленія, а такъ, какъ живетъ; самодурствуетъ потому, что никто не противодѣйствуетъ; надуваетъ потому, что ему выгодно. Въ законѣ онъ видитъ не представителя высшей правды, а — камень на дорогѣ. Совѣсть у него не внутренній голосъ, а насмѣшки прохожихъ, опасеніе ссылки. Грубость его такова, что даже несчастіе не образумило его и не пробудило въ немъ человѣческихъ чувствъ. Большовъ выводитъ только одно: „сама себя раба бьетъ, коль не чисто жнетъ“, т.-е. осуждаетъ себя за то, что не умѣлъ вполне ловко обдѣлать дѣльце. Однимъ словомъ безобразная дѣятельность Большова происходитъ не оттого, чтобы низости и преступленія лежали въ природѣ его, а оттого, что въ немъ вовсе не воспитанъ человѣкъ. Большовъ прожилъ свой вѣкъ подъ такими вліяніями, при такихъ обстоятельствахъ, которыя отчасти задержали, отчасти совсѣмъ исказили правильное развитіе въ немъ нравственной личности.

Подхалюзинъ тоже не имѣетъ въ себѣ ничего злодѣйскаго. Это — вторая, низшая инстанція будущаго самодура, плутъ сознательный, мошенникъ умный. Онъ не очертя голову кидается въ обманъ, онъ обдумываетъ свои предпріятія и старается подыскать имъ нравственную фیزیономію, соблюсти видимую, юридическую добросовѣстность. Подхалюзинъ — такой именно плутъ, какихъ воспитало русское купеческое самодурство. Онъ весь вѣкъ дѣйствуетъ по мелочамъ, обмѣриваетъ и надуваетъ, считая это принадлежностью торговли. Только когда вышелъ случай необыкновенный, Подхалюзинъ остановился и сталъ соображать, какъ имъ лучше воспользоваться. Тутъ онъ испыталъ въ душѣ даже нѣкоторую тревогу, какъ видно изъ монолога его во второмъ дѣйствіи: „Какъ теперь это дѣло разсудить надо?“ спрашиваетъ онъ себя въ задумчивости: „говорять, надо совѣсть знать! Да, извѣстное дѣло, надо совѣсть знать, да въ какомъ это смыслѣ понимать надо? Противъ хорошаго человѣка у всякаго есть совѣсть; а коли онъ самъ другихъ обманываетъ, такъ какая же тутъ совѣсть?“ И выводитъ онъ, наконецъ, такой смыслъ во всемъ этомъ осложненіи обстоятельствъ, что ему, Подхалюзину, попользоваться въ этомъ дѣлѣ даже чѣмъ-нибудь лишнимъ — нѣтъ грѣха никакого, и жалѣть хозяйна нѣтъ никакой надобности. „Вышла“ — говоритъ —

„линія, ну и не плошай; онъ свою политику ведетъ, а ты свою статью гони“. И вотъ, гонить онъ эту „статью“ именно потому, что не знаетъ другого способа выбиться изъ-подъ гнета на свѣтъ и просторъ. Онъ идетъ тѣмъ путемъ, какой ему преподанъ хозяиномъ. Какъ только добьется Подхалюзинъ богатства, онъ непременно повторитъ Большова. Въ сценѣ объясненія съ Липочкой, гдѣ Лазарю удастся склонить Липочку на бракъ съ нимъ, онъ безъ околичностей высказываетъ ей свою душевную мысль: „Мы, Алимпіада Самсоновна, какъ только сыграемъ свадьбу, такъ перейдемъ въ свой домъ-съ. А ужъ имъ-то командовать не дадимъ-съ. Нѣтъ, ужъ теперь кончено-съ. Будетъ съ нихъ, — *почудили на своемъ стыку, теперь намъ пора!*“ Въ Подхалюзинѣ есть даже черты привлекательныя: онъ человѣкъ не черствый. Липочку онъ любитъ искренно, хотя и выражаетъ свою любовь неуклюже, какъ-то грубовато, что, впрочемъ, понятно, при общей нравственной неотесанности этого героя.

Въ Липочкѣ, какъ существѣ молодомъ и съ виѣшней стороны привлекательномъ, нравственная грубость, неотесанность производитъ еще болѣе тягостное впечатлѣніе, нежели въ характерахъ старшихъ членахъ семьи Большова. Ея обращеніе и съ свахою, и съ Подхалюзинымъ, и съ матерью въ началѣ пьесы, и особенно съ отцомъ, въ послѣднемъ актѣ, проникнуто совершенной грубостью, безсердечіемъ. Эти черты въ ея нравѣ поставлены и выдержаны авторомъ въ такой мѣрѣ, что передъ нами живой типъ, безъ малѣйшаго шаржа или карикатурности. Липочка — вѣрная, точная представительница той среды, въ которой она выросла, тѣхъ понятій и обычаевъ, которыми воспиталась. Существо холодное, умственно-ограниченное, съ неразвитымъ сердцемъ и съ врожденною мелочностью, она такъ все время и остается личностью жалкою, нравственно-убогою, а иногда — прямо комическою, напримѣръ, въ тѣ моменты, гдѣ она матери своей говоритъ: „выросла да посмотрѣла на свѣтскій тонъ, такъ и вижу, что я гораздо другихъ образованнѣе“, или къ разговору съ Подхалюзинымъ приплетаешь французскія фразы, въ родѣ: „комъ ву зеть жоли“.

Къ первокласснымъ поэтическимъ достоинствамъ этой комедіи Островскаго относятся: 1) внимательная, тонкая обработка характеровъ и главныхъ дѣйствующихъ лицъ, и даже —



лицъ второстепенныхъ, напрымѣръ: стряпчаго Ризположенскаго, свахи Наумовны, няни Оомпины; 2) естественность и занимательность драматическихъ положеній и столкновеній; 3) живость и быстрота развитія драматическаго дѣйствія; 4) яркій, картинный, типическій языкъ.

Какъ комедія общественныхъ нравовъ, эта пьеса Островскаго стоитъ рядомъ съ другими, замѣчательнѣйшими драматическими произведеніями отечественной литературы, напрымѣръ, комедіями „Горе отъ ума“ и „Ревизоръ“. Пьеса „Свои люди — сочтемся“ вводитъ зрителя (или читателя) въ пониманіе духа изображаемаго времени въ средѣ нашего купечества. Въ живыхъ образахъ, при отсутствіи малѣйшей искусственности въ постройкѣ своей пьесы и интересовъ дѣйствующихъ въ ней лицъ, авторъ такъ приближаетъ къ намъ эту эпоху, что мы какъ-будто читаемъ въ душѣ дѣйствующихъ лицъ ихъ намѣренія и цѣли, можемъ прослѣдить ихъ дѣйствія отъ момента зарожденія въ душѣ ихъ перваго порыва до полного достиженія ими осуществленія своихъ завѣтныхъ желаній. Подъ тройнымъ наслоеніемъ всякихъ предрасудковъ, необразованности, невоспитанности, герои Островскаго все-таки не теряютъ своего человѣческаго подобія. Авторъ умѣетъ доискаться человѣчности въ этихъ непривлекательныхъ фигурахъ. И оттого именно, что они — живые люди, а не ходульныя, трагическія фигуры — злодѣи, они окончательно представляются жалкими жертвами своего времени, своей среды, бѣдной средствами для умственнаго и нравственнаго развитія. Сила общественнаго значенія пьесы Островскаго обнаруживается двумя важнѣйшими вліяніями на читателя или зрителя: во-первыхъ, становится ясно и осязательно, что низости и преступленія не лежатъ въ природѣ человѣка, а налегаютъ на него постепенно — при отсутствіи правильнаго образованія и воспитанія; во-вторыхъ, становится ясно и то, что выведенные въ такихъ комедіяхъ типы вызываютъ состраданіе къ нимъ почти въ такой же мѣрѣ, въ какой мѣрѣ вызывается досада и негодованіе на тѣ обстоятельства жизни, которыя извращаютъ воспитаніе человѣка, дѣлаютъ человѣка существомъ нравственно-безобразнымъ, комичнымъ и презрѣннымъ.

*Евстаѣевъ.*

## „Свои люди — сочтемся“ Островскаго и „Бригадиръ“ Фонвизина.

Изъ сравненія двухъ комедій мы увидимъ, на сколько подвинулось впередъ русское общество отъ 1764 до 1850 года; покажемъ, что

1) Сфера средняя, купеческая, въ наше время стала тѣмъ, чѣмъ была высшая общественная среда, сословіе дворянское.

2) Чѣмъ были иноземцы, особенно французы, для лицъ „Бригадира“, для высшей общественной среды XVIII вѣка, чѣмъ стали наши подражатели-дворяне для средняго сословія XIX столѣтія. Увидимъ, что

3) „Свои люди — сочтемся“ и „Бригадиръ“ изображаютъ одно и то же:

а) ложно-понятое воспитаніе и

б) злоупотребленіе закономъ.

Но траги-комедія Островскаго одушевлена новымъ началомъ, о которомъ многимъ писателямъ XVIII вѣка и не снилось.

Стремленіе автора комедіи: „Свои люди — сочтемся“, то же самое, что и у Фонвизина; касается оно только другого сословнаго круга — *отвлечь и освободить среднее русское общество отъ предразсудковъ допетровской Руси*, и точно такъ же двумя путями: осмѣяніемъ тѣхъ, которые, при старыхъ предразсудкахъ, остаются въ отжившихъ, мертвыхъ формахъ, и тѣхъ, которые переняли дурное иностранное изъ другихъ рукъ, или, лучше, у русскихъ-французовъ, и стараются походить на дворянъ наружно, съ виду, но не усвоили сущности, внутренняго образовательнаго начала. Ясно, какъ непонятно для бригадириши, что сынъ ея отваживается братья не за свое дѣло, самъ выбираетъ себѣ невѣсту: въ высшей средѣ эти воззрѣнія уже вымерли; но они не потеряли еще силу въ среднемъ сословіи. Такъ смотритъ на свою дочь купецъ Большовъ: за кого велитъ онъ, за того она и должна пойти. И стряпчій Сысой Псоичъ узаконяетъ этотъ до-петровскій обычай: „не нами заведено, не нами и кончится; а ужъ это первый долгъ, чтобы дѣти слушались родителей“, разумѣется, чтобы не сами выбирали жениха, или невѣсту, а чтобы принимали ихъ изъ отцовскихъ рукъ. Ново-воспитанная Олимпіада Самсоновна въ глаза бранитъ



свою мать за отвратительныя понятія и объявляетъ ей наотрѣзъ, что вовсе не намѣрена потакать ей глупостямъ. Эта образованная купеческая дочь, рѣшаясь выйти за приказчика, хочетъ, по крайней мѣрѣ, что-нибудь сдѣлать *по-благородному*, предлагаетъ жениху увезти ее потихоньку, потому что *такъ отлаютъ*. Отца ея посадили въ яму; мать плачетъ, что на старости лѣтъ мужъ оставилъ ее сиротою; а современная дочь упрекаетъ ее, съ чего-де мать взяла плакать точно по покойникѣ, и вѣдь не Богъ знаетъ что случилось; и павшему, убитому отцу, котораго прежде такъ боялась, съ невозмутимымъ безсердечіемъ говоритъ: „что жъ, тятенька сидятъ и лучше насъ съ вами!“ Другіе, представители старой Руси, живо переносятъ читателя къ *совѣтнику* въ „Бритадирѣ“: они не ѣдятъ по постамъ скоромнаго, и въ то же самое время эти постники-сухоядцы, по замѣчанію Большова, и Богу-то угодить на чужой счетъ норовятъ, одной рукой крестятся, а другой въ чужую пазуху лѣзутъ.

Обѣ комедіи точно такъ же родственны и по задачѣ, но различіе ихъ состоитъ, во-первыхъ, въ самомъ духѣ изображенія: у Фонвизина замѣчается стремленіе представить нелѣпости въ возможно смѣшномъ видѣ; комедія Островскаго начинается тоже смѣхомъ, но этотъ смѣхъ переходитъ въ голосъ грознаго суда, встающій во всеоружіи искусства на пораженіи беззаконія. Другая разница комедіи та, что у Фонвизина раскрыта больше одна сторона и притомъ смѣшная, а на другую, болѣе серіозную, только указано; у Островскаго исчерпаны двѣ задачи: ложно-понятное, превратное воспитаніе, т.-е. неразумное, слѣпое подраженіе русскимъ французамъ, дворянамъ, то же презрѣніе къ національному, къ своему родному, и другая задача — злоупотребленіе закономъ, на которое Островскій, вопреки Фонвизину, не указываетъ, а избираетъ его главнымъ дѣйствіемъ произведенія. Преступный замыселъ и незаконное дѣло превращаютъ комедію въ трагедію.

Никто не изображалъ купеческаго міра въ такой полнотѣ, въ такомъ разнообразіи и съ такою художественною правдою, какъ Островскій. Авторъ отворяетъ читателю всѣ двери, и онъ можетъ слѣдить за этими лицами на всѣхъ путяхъ: за ихъ дѣйствіями въ средѣ общественной, за ихъ жизнію въ кругу семейномъ, наконецъ, можетъ свободно ходить въ ихъ лич-

ный, внутренній міръ, полный разнообразныхъ интересовъ, желаній, стремленій и плановъ. Прежде мы войдемъ въ семейный міръ людей этого сословнаго круга, а потомъ познакомимся съ ними, какъ съ дѣятелями общественными. Бригадиру соотвѣтствуетъ *Большовъ*, бригадиршѣ — *Аграфена Кондратьевна*, Иванушкѣ — *Липочка*. У представителей старой Руси, при сходствѣ въ понятіяхъ, стремленіяхъ, образѣ дѣйствій, то различіе, что мать больше до-петровская женщина, а въ Большовѣ замѣтно уже раздвоеніе: онъ уже разъ обрилъ себѣ бороду, не взирая ни на просьбы ни даже на слезы жены; дочь не имѣетъ уже ничего общаго съ родителями. Члены этого семейства преслѣдуютъ различные идеалы, каждый ищетъ своего: для *отца* зятемъ можетъ-быть кто угодно, хоть *Федотъ*, какъ выражается онъ, отъ проходныхъ воротъ, лишь бы денежки водились, да приданаго поменьше ломилъ. *Дочь* объявляетъ, что не пойдетъ за купца, не за тѣмъ она такъ воспитана, не для того училась и по-французски, и на фортопянахъ, и танцовать. „Что мнѣ въ купцѣ? Какой онъ можетъ имѣть вѣсъ? Гдѣ у него амбиція? Мочалка-то его что ли мнѣ нужна? Достань благороднаго!“ И вотъ старая Русь въ лицѣ ключницы *Ооминишны* возстаетъ противъ такого соблазна: „не мочалка, а Божій волосъ, сударыня, такъ-то-съ!“ И матери подай непременно купца, да чтобъ онъ и лобъ крестилъ по-старинному. *Ооминишна* дорисовываетъ этотъ старинный идеалъ жениха: „Что тебѣ дались эти благородные? Голый на голомъ, да и христіанства-то никакого нѣтъ: ни въ баню не ходятъ, ни пироговъ по праздникамъ не печетъ...“.

Познакомимся ближе съ членами этого разногласнаго, неблагоустроеннаго семейства.

Какъ въ крови бригадира живетъ понятіе о чинѣ, такъ и у *Самсона Силыча* есть свой чинъ — капиталъ. *Большовъ* весь проникнутъ сознаніемъ его силы, важности и значенія: объявляя свою волю — отдать дочь въ замужество, онъ говоритъ: „и въ разсужденіи приданнаго тоже можемъ надѣяться, что она не острамитъ нашего капитала“; ясно, что въ глазахъ *Большова* денежная сила имѣетъ значеніе важнаго званія и чина. Только поэтому *Самсонъ Силычъ* обращается съ подавляющимъ призраніемъ съ бѣднымъ чиновникомъ, даже тогда, когда нуждается въ немъ: „А что, *Сысой Псойчъ*,



чай ты съ этимъ крючкотворствомъ на своемъ вѣку много чернилъ извелъ?" Стряпчій замѣчаетъ, что онъ пришелъ *понавѣдаться*. „То-то вотъ, вы, подлый народъ такой, кровопійцы какіе-то: только бѣ вамъ пронюхать что-нибудь этакое, такъ ужъ вы и вѣтесъ тутъ съ вашимъ дьявольскимъ наущеніемъ". Устинья Наумовна, неподражаемый типъ московской свахи, женщина бывалая, бойкая, разбитная, сама сидитъ на четырнадцатомъ классѣ, а и та преклоняется передъ Самсономъ Сплычемъ: „съ богатымъ мужикомъ, что съ чортомъ, не сообразишь". Она соблазняется приманкою золота и соболей за то, чтобы только разстроить свадьбу, но страхъ какъ боится Большова: „Ну, ты самъ разсуди, съ какимъ я рыломъ покажусь самому-то? Вѣдь ты знаешь, каково у насъ чадочко Самсонъ-то Силычъ: вѣдь онъ, не ровень часъ, и чепчикъ помнетъ". Большовъ устроилъ помолвку дочери съ приказчикомъ, но и къ будущему зятю обращается съ недосыгаемой высоты; онъ хочетъ соединить ихъ руки, но и въ эту торжественную минуту не измѣняетъ своего высокомернаго тона: „ну, теперь ты, Лазарь, *ползи!*" Какъ бригадиръ и сыну замѣчаетъ о своемъ чинѣ и заслугахъ, такъ и Большовъ говоритъ о дочери своей, не какъ отецъ, а какъ денежный вельможа: „понимаемъ, что отецъ, что пристали, отстаньте, гусь свиньѣ не товарищъ". Потонувши въ довольствѣ и богатствѣ, Большовъ запомнилъ и о Богѣ; если и вспомнить Его, то пріемлетъ имя Его всуе, обращается къ нему съ видомъ кощунства, сбудется за то на немъ пословица: „громъ не грянетъ, мужикъ не перекрестится". Рѣшаясь на дѣло безчестное — не платитъ довѣрителямъ, онъ не убоится закончить свой замыселъ неподобными словами: „тамъ послѣ суди Владыка на второмъ пришествіи". Большовъ омраченный страстію, забывается до нечестія, призываетъ Бога на помощь въ дѣлѣ нечистомъ, въ грабительствѣ: „Чорта ли тамъ по грошамъ-то наживать! Махнулъ съ разу да и шабашъ. Только напусти Богъ смѣлость". Въ немъ даже проглядываетъ какой-то грубый матеріализмъ, правда, темный; но вы видите, что у этого зазнавшагося богача и религіозные помыслы потемнѣли отъ жиру: „Вотъ она жизнь-то: истинно сказано: суета суеть и всяческая суета. Чортъ знаетъ, и самъ не разберешь, чего хочется. Вотъ бы и закусилъ что-нибудь, да обѣдъ испор-

тишь; а и такъ-то сидѣть — одурь возьметъ. Али, чайкомъ бы что ль побаловать. Вотъ такъ-то и все: жилъ, жилъ чело-вѣкъ, да вдругъ и померъ — такъ *все прахомъ и поидетъ*. И больше машинально, по памяти и привычкѣ прибавляетъ: „Охъ, Господи, Господи!“

Вторая сила Большова — власть отца, и она далеко выше потрясенной власти бригадира. Но родительская власть древней патріархальной Руси у Большова выродилась въ тотъ грубый деспотизмъ, который такъ мѣтко названъ самодурствомъ. Жена не смѣетъ передъ нимъ пикнуть; заплачетъ она, онъ ей скажетъ: „сама не знаешь, о чемъ разрюми-лась“, и она плачетъ и подтверждаетъ: „не знаю, батюшка, охъ, не знаю“. — „То-то вотъ сдуру. Слезы у васъ дешевы“. Дочь боится его, хотя тайно, въ душѣ, презираетъ; мать она презираетъ открыто и нагло грубитъ ей, и та грозить ей только отцомъ: „пойду къ отцу, такъ въ ноги и брякнусь, житья, скажу, нѣтъ отъ дочери, Самсонушка“. На дочь и на будущность ся онъ смотритъ, какъ на вещь, которую можетъ помѣстить, куда заблагоразсудитъ, гдѣ для него лучше и удобнѣе, и жениха ей выбираетъ не по ней, а по себѣ. Онъ, пожалуй, не противъ благороднаго, но когда это ему мѣшаетъ, такъ онъ прямо говоритъ: „А ну его! *По моимъ дѣламъ* теперь не такого нужно“. Когда дочь, воспользовавшись тѣмъ, что онъ былъ въ духѣ, рѣшилась высказать передъ нимъ завѣтное желаніе свое — выйги за-мужъ за военнаго, мать чуть не пришла въ ужасъ: „окстись, безумная, Христось съ тобою!“ Но Большовъ даже не разсердился, а посмотрѣлъ на это, какъ на извинительное ребячество, какъ на игру въ мыльные пузыри, и скорѣе снисходительно разсмѣялся: „Экъ вѣдь что вывезла!“ Приказчикъ глубоко понималъ, какъ важенъ для него этотъ грубый видъ родительскаго авторитета; онъ очень хорошо знаетъ, какъ и когда надо пользоваться такимъ самодурствомъ, и потому съ большимъ искусствомъ ударяетъ на эту слабую струну, и ударяетъ съ тѣмъ, чтобы Самсонъ Силычъ самъ взялъ его въ зятя: „Алишніада Самсоновна, можетъ-быть, и глядѣть-то на меня не захотятъ-съ?“

— „Важное дѣло! Не плясать же мнѣ по ея дудочкѣ на старости лѣтъ: за кого велю, за того и поидетъ! Мое дѣ-тище: хочу съ кашей ѣмъ, хочу масло пахтаю“. Онъ обѣ-



щаль Лазарю подшутить надъ семей шутку, и дѣйствительно, собравши всѣхъ, и своихъ, и чужихъ, совершенно неожиданно объявляетъ Лазаря и Липочку женихомъ и невестой. Всѣ до единого остолбенѣли: и жена, и дочь, и ключница, и сваха; никто ничего понять не можетъ: мать затмилась, словно чурбанъ какой: „Господи, да что жъ это такое?“ Дочь и въ испугѣ и въ негодованіи вскрикиваетъ, какъ могли выдумать подобный вздоръ: не пойдетъ она за такого противнаго. Ошеломленная Ооминишна восклицаетъ: „Съ нами кресная сила!“ И сваха стала вступикъ: „Вотъ тебѣ, бабушка, и Юрьевъ день!“ Этой минутой всеобщаго возбужденія какъ нельзя лучше пользуется Подхалюзинъ, и еще сильнѣе ударяетъ въ слабую струну самодура: „Тятепка! Видно не бывать-съ по вашему желанію!“

— „Какъ же не бывать, коли я того хочу? На что жъ я и отецъ, коли не приказывать? Даромъ что ли я ее кормилъ?“

— „Гдѣ это видано, чтобы воспитанныя барышни выходили за своихъ работниковъ?“

— „Молчи лучше! Велю, такъ и за дворника выйдешь“.

Наконецъ мать не вытерпѣла, кровь заговорила: „Да за что жъ вы это, душегубцы, дѣвку-то опозорили?“

— „Да, очень мнѣ нужно слушать вашу фанаберію. Захотѣлъ выдать дочь за приказчика, и поставлю на своемъ, и разговаривать не смѣй; я и знать никого не хочу“. — Таковъ Самсонъ Силычъ Большовъ, какъ денежная власть и какъ домовладыка. Мы еще встрѣтимся съ нимъ на другомъ поприщѣ.

Аграфена Кондратьевна — женщина допетровской Руси, и столько же, какъ и бригадирша, если не болѣе. Встарину русская нація по понятіямъ и воззрѣнію на міръ точно такъ же, какъ и по языку, была одинъ человекъ; поэтому и ключница Ооминишна можетъ быть названа продолженіемъ Аграфены Кондрантьевны; обѣ онѣ — какъ бы одно тѣло, одинъ духъ: съ дочерью у Большой несравненно менѣе родственнаго, нежели съ ключницей; вся разница въ томъ, что одна приказываетъ, а другая слушаетъ, исполняетъ. Вопреки мужу, Аграфена Кондрантьевна отличается набожностію, даже не ѣстъ мясного по пощедѣльникамъ: вотъ отчего она вышла изъ себя, когда увидѣла, что дочь, ни свѣтъ. ни заря, не поѣвши хлѣба Божьяго, грѣховодничаетъ, принялась

за пляску. Богатство не измѣнило ея прежнихъ привычекъ, и обычаевъ, занятыхъ у русскихъ французовъ, она не знаетъ. Женихъ проситъ позволенія поцѣловать у ней руку, она со всѣмъ патріархальнымъ простодушіемъ подастъ ему обѣ: „цѣлуй, батюшка, обѣ чистыя“. Очень естественно поэтому ея смущеніе и безпокойство въ ожиданіи благороднаго жениха: „Сама ты, мать, посуди, что я буду съ благороднымъ-то зятемъ дѣлать? Я и слова-то сказать съ нимъ не умѣю, точно въ лѣсу“. Она буквально послушна слову апостола: „жена да боится своего мужа“; особенно она боится его тогда, когда онъ въ гнѣвѣ или нетрезвъ: „Развоюется такъ, страсти, да и только! Посуду колотить: у! говоритъ, такія вы и этакія, убью сразу!“ Только за дочь не смолчитъ она, и подчасъ возноситъ голосъ передъ мужемъ. Большовъ не велитъ приставать съ дочерью; по его мнѣнію, нечего ей хотѣть, когда она обута, одѣта, накормлена. Совершенно справедливо возстаетъ мать противъ такого грубаго понятія о чадолюбіи. и очень рѣзко, чуть не съ бранью, выговариваетъ мужу: „Да ты, Самсонъ Силычъ, очумѣлъ что ли? По христіанскому закону всякаго накормить слѣдуетъ... а вѣдь это родная дѣтище... Разставаться скоро приходится, а ты и слова добраго не вымолвишь... долженъ бы на пользу посовѣтовать что-нибудь такое житейское“. Но когда преступникъ Большовъ, несчастный отецъ, сидитъ между двухъ коршуновъ, между зятемъ и дочерью, тогда эта ограниченная женщина дѣйствуетъ на васъ, какъ теплое дыханіе любви въ ледяной атмосферѣ эгоизма. Безсердечіе дочери, возмутительная неблагодарность зятя, въ этой кроткой душѣ подняли страшную бурю. Тутъ только она высказала, что давно уже у ней лежало камнемъ на сердцѣ; одну дочь Богъ далъ, и ту послалъ въ наказаніе. За кровную обиду мужа, безжалостно наносимую неблагодарными дѣтьми, она снимаетъ материнское благословеніе съ зятя, и дочь, свою кровь, готова проклясть на всѣхъ соборахъ: „умрешь, не сгніешь!“ восклицаетъ она въ изступленіи, отрекаясь отъ своего рожденія. Самая простая, обыденная женщина внезапно передъ вами преображается героемъ, какъ ударомъ молніи, одушевленнымъ праведнымъ гнѣвомъ и вооруженнымъ проклятіемъ на дѣтей за нечестіе къ родителямъ! Въ художественномъ отношеніи жена Большова если не лучше, то



счастливей бригадирши, именно отъ положенія, въ которое поставилъ ее авторъ. Совершенно чуждая вамъ по своимъ понятіямъ и интересамъ, она становится близкимъ, родственнымъ вамъ существомъ, какъ человѣкъ, какъ женщина, облагороженная состраданіемъ, любовью и праведнымъ негодованіемъ за поруганіе святѣйшихъ правъ человѣческихъ,

У Фонвизина уродливое чадо европейскаго образованія — сынъ, у Островскаго — дочь, уродливая копія подражателей — дворянъ. *Иванушка* смѣшонъ, жалокъ и только возбуждаетъ презрѣніе; *Липочка*, кромѣ всего этого, отвратительна и глубоко возмущаетъ нравственное чувство. Подхалюзину, какъ приказчику и какъ влюбленному, она представляется совершенствомъ недостижимымъ; онъ такъ ее опредѣляетъ: „Олимпіада Самсоновна — барышня образованная, какихъ въ свѣтѣ нѣтъ“; прозачнѣе и вѣрнѣе смотритъ на нее сваха: „воспитанія не Богъ знаетъ какого; пишетъ какъ слонъ брюхомъ ползаетъ; по-французскому, али на фортопьянахъ, тоже сямъ, тамъ, да и нѣтъ ничего“. Но главное сдѣлано: учили всему сказанному и танцамъ. Какъ же поэтому она, такая образованная барышня, можетъ жить съ подобными родителями? Такъ точно горюетъ и Иванушка: ему уже двадцать пять лѣтъ, а родители его еще живы, и онъ осужденъ оставаться съ такими животными. Липочка въ глаза говоритъ матери, что она сама для нея не очень значительна, что отъ словъ матери ей иногда даже краснѣть приходится. Правда, родили ее, она была дитя безъ понятія; а какъ выросла, *посмотрѣла на свѣтскій тонъ*, такъ увидѣла, что она образованнѣе другихъ, и потому напрямикъ говоритъ своей родительницѣ, что не намѣрена потакать ея глупостямъ: „Вамъ съ тятенькой только кляузы строить да тиранничать... Ужъ молчали бы лучше, когда не такъ воспитаны“. И такъ, повторимъ, какъ Иванушка, Липочка питаетъ такое же полное презрѣніе къ отцу и къ матери, — къ этой открытое, но отца презираетъ и боятся.

Идеаль Олимпіады Самсоновны долженъ быть не какой-нибудь приказный, и даже не студентъ; штатскій въ глазахъ ея — такъ, какой-то неодушевленный. Ее плѣняютъ усы и эполеты, и мундиръ, а у иныхъ даже шпоры съ колокольчиками; ей даже досадно, что они въ танцахъ отвязываютъ саблю, не понимаютъ, какъ блеснуть очаровательнѣе. Если

уже не это, такъ женихъ ея долженъ быть, по крайней мѣрѣ, благородный, а не купчишка какой-нибудь, при томъ чтобы непременно былъ брюнетъ и одѣтъ по-журнальному... И вдругъ она падаетъ, какъ съ облаковъ: отецъ, вмѣсто взлелѣяннаго ею идеала, подводитъ къ ней приказчика, работника!—Обругавши своего жениха дуракомъ необразованнымъ, образованная Олимпіада Самсоновна слышитъ отъ него вещи странныя, неимоверныя: у этого дурака и денегъ-то больше, чѣмъ у иного благороднаго; домъ и лавки уже не отцовскіе, а ея собственность; наконецъ, узнаетъ, что ея отецъ, несостоятельный должникъ, банкротъ. Пораженная окончательно, дочь, вмѣсто жалости къ родителямъ, имъ же въ лицо бросаетъ несчастіемъ и позоромъ: „Что жъ это такое со мной дѣлаютъ? Воспитывали, воспитывали, потомъ и обанкротились!“ По этой страшной нотѣ вы чувствуете, что въ этой дѣвушкѣ спитъ и уже пробуждается чудовище. Въ душѣ она уже рѣшила выйти за этого, какъ она говоритъ, работника; ей теперь надо только сохранить приличіе, не показать сразу, что она продаетъ себя за деньги. Она раздумываетъ, а Подхалюзинъ въ это время рисуетъ ей купеческій эдемъ: дома она будетъ ходить въ шелковыхъ платьяхъ, а въ гости и въ театръ окромя бархатныхъ и надѣвать не станетъ. „Шляпы, салоны, прочъ всѣ дворянскія приличія, надѣнемъ какую чуднѣй... нешто въ этомъ домѣ будемъ жить? На потолкахъ райскихъ птицъ нарисуемъ, сиреновъ, капидоновъ разныхъ...

— „Нынче уже капидоновъ-то не рисуютъ.

— „Ну, такъ мы пукетами пустимъ“.

И Олимпіада тонко, съ бездушнымъ расчетомъ, спускается съ тона на тонъ, сходитъ съ высоты своего идеала осторожно, какъ съ крутой лѣстницы, все ниже и ниже, чтобы сгладить, по возможности, рѣзкость перехода. Прежде она возражаетъ какъ будто общимъ мѣстомъ: „да, всѣ вы передъ свадьбой такъ говорите, а тамъ и обманете“; потомъ обращается, и уже гораздо мягче, къ нему лично: „Для чего вы, Лазарь Елизарычъ (замѣтьте, уже не дуракъ необразованный), для чего вы по-французски не говорите? — Иплетка у васъ скверная. Дайте подумать. — Увезите меня потихоньку“.— Перебравши столько нотъ, чтобы не сразу, не краснѣя спуститься до уровня съ приказчикомъ, онашла, наконецъ, приличнымъ изъяснить свое согласіе: „ну, а коли не хотите



увезти, — такъ ужъ, пожалуй, и такъ". — Тотъ было опрометью бросился къ родителямъ — объявить имъ радость; но невѣстѣ, благовидно сторговавшейся, нечему особенно радоваться; она удерживаетъ жениха, не ради сердечныхъ изліяній, а для того, чтобы повѣрить ему всѣ свои чувства къ отцу и матери: „Ахъ, если бы вы знали, Лазарь Елизарычъ, какое мнѣ житье здѣсь! У маменьки семь пятницъ на недѣлѣ; тятенька, какъ не пьянъ, такъ молчитъ, а какъ пьянъ, такъ прибѣтъ, того и гляди. Каково это терпѣть образованной барышнѣ! Вотъ какъ бы я вышла за благороднаго, такъ я бы и уѣхала изъ дому и забыла бы обо всемъ этомъ". И они уже въ заговорѣ... перейдутъ въ свой домъ, будутъ жить сами по себѣ, заведутъ все по модѣ, а *ты* — какъ хотятъ.

Лазарь больше походитъ на человѣка, нежели эта противостественная дочь; и въ немъ, при видѣ тестя, убитаго горемъ и стыдомъ, даже въ немъ забрежжитъ лучъ человѣческаго чувства. Но дочь униженному, опозоренному темничнику-отцу отказываетъ въ выкупѣ изъ его же собственнаго добра; изъ захваченныхъ ею мужемъ денегъ она не можетъ дать своему родителю больше десяти копеекъ за рубль... Съ чѣмъ же они сами останутся, вѣдь они не мѣщане какіе-нибудь: до двадцати лѣтъ она свѣта не видала; неужели ей отдать за отца деньги, а самой въ ситцевыхъ платьяхъ ходить?

Лазарю и тому стало жаль отца своей жены: „Ахъ, Олимпіада Самсоновна-сь, не ловко-сь!" Онъ хочетъ самъ ѣхать къ кредиторамъ, спрашиваетъ ее совѣта... а она молчитъ тогда, когда бездушная статуя поднялась бы, кажется, съ своего пьедестала и пошла бы человѣческими шагами! Не выдержалъ Лазарь, самъ наконецъ сказалъ: „*ндоу*". Скажетъ ли она хоть какое-нибудь доброе слово... поощренія, „какъ хотите, такъ и дѣлайте — ваше дѣло". И гнусныя твари, говорятъ король Лиръ, кажутся сносными, когда другія еще гнуснѣе: *не быть подлѣйшимъ уже есть заслуга*. — Неблагодарный злодѣй, ограбившій своего благодѣтеля, безчестный Подхалюзинъ, и тотъ лучше Олимпіады, этого не женоподобнаго творенія!

Вызовемъ теперь этихъ лицъ, какъ общественныхъ дѣятелей, а это связано съ замысломъ траги-комедіи и съ развитіемъ дѣйствія.

Прочитавши „Свои люди — сочтемся“, съ перваго раза вы придете въ большое недоумѣніе и невольно спросите: чего ради почтенный купецъ, которому сорокъ лѣтъ всѣ кланялись въ поясъ, на старости лѣтъ задумалъ дѣло преступное — злостное банкротство? Еще въ большее недоумѣніе васъ повергаетъ то, что онъ не самъ воспользовался чужою собственностью, а отдалъ ее вмѣстѣ со всѣмъ своимъ имуществомъ другимъ, зятю и дочери, и себѣ ничего не оставилъ. И при самомъ чтеніи рождается въ васъ и не разъ возникаетъ это возраженіе, такъ что отъ него трудно отказаться, и вы готовы повторить слова Подхалюзина: „Самсонъ Силычъ купецъ богатѣйшій, и теперича все это дѣло, можно сказать, такъ, для препровожденія времени затѣялъ“. Специалистамъ очень хорошо извѣстны подобныя явленія въ исторіи поэзіи, этотъ камень преткновенія для эстетической критики. Почти такимъ же образомъ, только въ дѣлѣ правомъ и совершенно чистомъ, у Шекспира поступилъ король Лиръ, въ сценѣ раздѣла царства, которую Гёте не убоился назвать нелѣпою. Но лучшая современная критика старается оправдать Шекспира и если не уничтожить совсѣмъ, то, по крайней мѣрѣ, какъ можно болѣе ослабить строгій приговоръ нѣмецкаго поэта. Въ оправданіе она говоритъ, что такъ рассказываетъ преданіе, потомъ указываетъ и на психическія причины: бремя величія, постоянное зрѣлище раболѣбства, пышныя торжества и шумныя пиршества утомили царственного старца; а закоренѣлая привычка повелѣвать заставили его *такъ*, а не иначе раздѣлить королевство... Лиръ хочетъ потѣшить старческое сердце, слушая покорныя признанія дочерей; наконецъ, можно подумать, что старецъ-король, ожидавшій отъ Корделии самыхъ нѣжныхъ изліяній, хотѣлъ оправдать себя передъ старшими дочерьми, отдавая ей бѣольшую и лучшую часть, и, безъ сомнѣнія, хотѣлъ у ней провести послѣдніе дни жизни и умереть на рукахъ любимѣйшей изъ дочерей. По мнѣнію нашему, этимъ далеко не все сказано; самое главное оправданіе такихъ видимыхъ несообразностей — а ихъ не мало у Шекспира — состоитъ въ томъ, что этого гениальнаго драматурга *событія, характеры лицъ, ихъ мысли и дѣйствія*, несмотря ни на преданія ни на исторію, создались въ мірѣ воображаемаго, т.-е. возможнаго порядка вещей. Но Островскій взялъ содержаніе своей трагикомедіи изъ современнаго.



дѣйствительнаго міра, изъ извѣстной дѣйствительной среды, а потому величайшая, повидимому, несообразность поражаетъ еще болѣе: похищеніе чужого и въ то же время отреченіе не только отъ похищеннаго, но и отъ своего собственнаго. Человѣкъ въ одно и то же время поступаетъ грабительски и самоотверженно. Признаемся, и мы желали бы лучшей, болѣе прочной закладки въ художественномъ зданіи Островскаго, но вмѣстѣ съ тѣмъ беремся и оправдать автора. Во-первыхъ, въ самой комедіи есть оправданіе противъ этого обвиненія: на кого же Большовъ записалъ бы имуществу, готовясь объявить себя нестойтельнымъ должникомъ? И не естественно ли всего вѣрнѣе Лазарю, благодѣтельному имъ съ дѣтства! Увѣренность свою Большовъ думалъ несокрушимо утвердить родственнымъ союзомъ; а что онъ положился на совѣсть и на благодарность приказчика, имъ обогащеннаго и возвеличеннаго имъ до зятя, такъ это не только возможно, но и говоритъ весьма сильно въ пользу Большова, не совсѣмъ еще испорченнаго нравственно. Во-первыхъ, этотъ человѣкъ съ неиморѣрно упорнымъ характеромъ, а Подхалюзинъ глубоко изучилъ его, и съ этой стороны знаетъ его вдоль и поперекъ. „У нихъ такое заведеніе, коли имъ что поцало въ голову, уже ничѣмъ не выбьешь оттедова. Все равно какъ въ четвертомъ году захотѣли бороду обрить: сколько ни просили Агрефена Кондратьевна, сколько ни плакали, — нѣтъ, говоритъ, послѣ опять отпущу, а теперь поставлю на своемъ: взяли да и обрили“. Въ-третьихъ, есть и психическія причины: Большовъ зараженъ болѣзнію стяжанія, его томить жажда золота; онъ чувствуетъ страхъ и боль при одной мысли, что долженъ своими руками отдавать это золото кредиторамъ: „Вотъ теперь приходится много денегъ платить, говоритъ онъ стряпчему, и не то чтобы у меня ихъ не было, а признаться тебѣ сказать, не хочется. Пожалуй, расплатиться можно, да себѣ-то, глядишь, ничего и не останется. Вотъ какъ теперь деньги-то всѣ въ рукахъ, такъ отдавать-то и жалко. Ты этого и понять-то не можешь, потому, что такихъ денегъ съ роду не видывалъ. Какъ вспомню, что отдавать надобно, такъ вотъ за сердце и схватить, — идо нездоровъ сдѣлался. Тьфу, вы окаянныя! (Въ волненіемъ въ голосѣ.) Кажется, вотъ... ну, вотъ... задумилъ бы кого-нибудь“. Въ силу этого опаснаго недуга,

въ глазахъ Большова замужество дочери, нераздѣльное съ приданымъ, становится весьма важною побудительною причиною — не покидать замысла, не останавливаться на половинѣ дороги. Итакъ, въ-четвертыхъ, еще причина — замужество дочери: „Тамъ, что хошь говори, а у меня дочь невѣста, хоть сейчасъ изъ полы въ полу, да съ двора долой“. Въ пятыхъ, есть побужденія, въ немъ самомъ лежащія: и его утомила тяжелая, неутомонная торговая дѣятельность; отяжелѣлъ Большовъ, какъ маршалы Наполеона, и захотѣлъ погрузиться въ покойное довольство: „да и самому отдохнуть пора, проклажались бы мы, лежа на боку, и торговлю всю эту къ чорту“. А можетъ-быть, его устыдитъ окружающая среда? Не поддержитъ ли кто падающаго человѣка? Не отведетъ ли благодѣтельная невидимая рука тучу искушенія, нависшую надъ головой еще не преступника Большова? Хоть бы самъ онъ крикнулъ, какъ богатырь русской сказки: „есть ли въ полѣ живъ человѣкъ?“ Но кругомъ него пусто и глухо, даже, напротивъ, все наталкиваетъ на соблазнъ и преступленіе, и Большовъ, къ несчастію, видитъ это очень ясно: „И другіе дѣлаютъ. Да еще какъ дѣлаютъ-то: безъ стыда, безъ совѣсти! На лежащихъ лесорахъ ѣздятъ. въ трехъэтажныхъ домахъ живутъ; другой такой бельведеръ съ колоннами выведетъ, что ему съ своей образиной и войти-то туда совѣстно; а тамъ и капутъ, и взять съ него нечего. Коляски эти разѣдутся неизвестно куда, дома всѣ заложены, останется ль, пѣтъ ли кредиторами-то старыхъ сапоговъ пары три. Вотъ тебѣ вся недолга. Да еще обманетъ-то кого: такъ бѣдняковъ какихъ-нибудь пуститъ въ одной рубашкѣ по міру. А у меня кредиторы все люди богатые, что имъ сдѣлается!“ Итакъ, еще причина, и притомъ одна изъ самыхъ важныхъ: въ самомъ обществѣ, вмѣсто поддержки отъ паденія, Большовъ нашелъ не только извиненіе, но и оправданіе беззаконнаго дѣла почти поощреніе къ нему. Лазарь доказываетъ хозяину, что сидѣльцы *знаютъ* споровку: „Покупатель что ли тумакъ подвернулся, али цвѣтъ съ узоромъ какой барышнѣ поправился, взялъ, говорю, да и напинулъ рубли или два на аршинъ“. Большовъ при этомъ случаѣ не притомилъ указать и на нѣмцевъ: „Чай, братъ, знаешь, какъ нѣмцы въ магазинахъ нашихъ баръ обираютъ. Положимъ, что мы не нѣмцы, а христіане православные, да тоже пироги-то съ начинкой ѣдимъ“. Лазарь насквозь видитъ



своего хозяина и очень хорошо понимаетъ, къ чему клонится эти рѣчи; онъ втайнѣ радуется такому настроенію и въ отвѣтахъ даетъ понять, что онъ ничуть не прочь отъ участія въ мошенничествѣ, и потому продолжаетъ: „и мѣрять-то, говорю, надо поестественнѣе... а зазѣваются, такъ никто виновать, можно и черезъ руку лишній аршинъ шмыгнуть“. Большовъ снова обращается къ примѣру: „Все единственно, вѣдь, портной украдетъ же. А? Украдетъ, вѣдь?“ И Рисположенскій, пришедшій, какъ онъ выразился, *попавъдаться*, поспѣшилъ также подтвердить: „украдетъ, Самсонъ Сплычъ, безпремѣнно, мошенникъ, украдетъ: ужъ я этихъ портныхъ знаю“. Стряпчій, для залога дома, совѣтуетъ искать такого человѣка, чтобы совѣсть зналъ. „А гдѣ ты его найдешь нынче? возражаетъ Большовъ: нынче всякій норовитъ, какъ тебя за воротъ схватить, а ты совѣсти захотѣлъ“. Какая же нравственная опора можетъ быть въ такой средѣ для совѣсти шаткой, и гдѣ же тутъ искать поддержки человѣку, настроенному и готовому на преступленіе? Ко всему этому присоединяется новое обстоятельство, еще болѣе подстрекающее Большова и наносящее новый сильный ударъ совѣсти: приказчикъ принесъ газеты, а въ нихъ цѣлый рядъ знакомыхъ, купцы первой и второй гильдіи, и ихъ такъ много, что Большову не пересчитать и до завтрашняго дня; всѣ они объявляются несостоятельными должниками. Наконецъ, Большовъ самъ себѣ навликалъ двухъ демоновъ-искусителей, которые съ радостію готовы увлечь его на путь беззаконія. Одинъ—демонъ бѣдности, стряпчій Рисположенскій; онъ ищетъ поживы, готовъ изъ-за нея на всякія услуги, и, хлопоча собственно для себя, соблазняетъ Большова своимъ мастерствомъ устраивать подобныя дѣла, и ему обѣщаетъ такую механику подсмолить, что оглядокъ уже не будетъ. Другой искуситель еще обаятельнѣе, и потому еще болѣе опасный—приказчикъ Лазарь. Онъ давно проникъ въ умыселъ хозяина, издалика, совершенно незамѣтно, увлекаетъ его, но дѣлаетъ видъ, что ничего не знаетъ. Глухо ведутъ они разговоръ, какъ будто бояся еще произнести или обнаружить, что замысливаютъ злостное банкротство. Эта сцена замѣчательна, какъ по художественности своей, такъ и по психологической вѣрности. Большовъ заводитъ рѣчь издалика, жалуется, что торговля идетъ дурно: лавокъ много, цѣлыхъ три, а ничего не везетъ...

и спрашиваетъ Лазаря, *чувствуетъ ли онъ это*. Тонкій плутъ нарочно повторяетъ хорошо понятное слово: „кажется, долженъ чувствовать-сь“.

— „Такъ какъ ты думаешь?“

— „Да какъ думать-сь? Ужъ это какъ вамъ угодно. Наше дѣло подначальное“.

Большовъ старается вызвать его на откровенность, а онъ отмалчивается или скользнуть, но и тутъ ударяетъ въ тактъ, и Большовъ это чувствуетъ.

— „Скажи, Лазарь, по совѣсти; любишь ты меня? Тотъ молчитъ, выжидаетъ еще...“

— „Поилъ, кормилъ, въ люди вывелъ, кажется“. Тогда только начинаетъ Лазарь высказываться, и то вполонину.

— „Эхъ, Самсонъ Силычъ! Да что тутъ разговаривать-сь. Ужъ вы во мнѣ-то не сомнѣвайтесь! Ужъ одно слово: вотъ какъ есть, весь тутъ.“

— „Да что жъ, что ты весь-то?“

— „Ужъ коли того, а либо что, такъ останетесь довольны: себя не пожалѣю“.

И Большовъ говоритъ уже напрямикъ, что теперь самое лучшее время, векселямъ сроки подошли... какъ будто они уже обслуживали это дѣло, долго сговаривались объ немъ, и какъ будто теперь имъ остается только порѣшнить окончательно. Большовъ мягче сердцемъ; онъ думалъ предложить кредиторамъ по двадцати-пяти копеекъ за рубль; не возмуть—вдвое, а за семь гривенъ обѣими руками ухватятся... и Лазарю говоритъ, что предложить двадцать пять.

— „А ужъ по мнѣ, Самсонъ Силычъ, коли платить по двадцати-пяти, такъ *пристойнее* совсѣмъ не платить“.

И Большовъ радъ такому лестному отголоску своему корыстолюбію.

— „А помогать станешь?“

— „Помпуйте, Самсонъ Силычъ, въ огонь и въ воду пользую-сь.“

— „Спасибо тебѣ, Лазарь, удружилъ! Награжу на всю жизнь“.

И вслѣдъ за этимъ разговоромъ начинается рядъ обмановъ, вѣроломствъ и предательствъ. Большовъ обѣщалъ стряпчему за всю механику тысячу рублей и енотовую шубу; Подхалюзинъ тайкомъ отъ хозяина обѣщаетъ тому же Распо-



женскому двѣ тысячи, чтобы укрѣпить за собой домъ и лавки; свахѣ двѣ тысячи и соболю шубу только за то, чтобы разстроить свадьбу, и все это обѣщано съ тѣмъ, чтобы попользоваться всѣмъ и вѣроломно обмануть и хозяина, и стряпчаго, и сваху.

Несмотря на то, что Лазарь достаточно уже опуталъ свою жертву, получилъ закладную на домъ и лавку, ему все еще кажется, что онъ только расшаталъ Большова. Чтобы добить его окончательно, онъ ловкой рукой ударяетъ снова въ двѣ чувствительныя струны: раздражаетъ корыстолюбіе и упорство своего хозяина; приступаетъ къ нему съ видомъ жалобы на стряпчаго, какъ будто съ негодованіемъ говоритъ, что эта чернильная душа даетъ дурной совѣтъ — объявиться несостоятельнымъ.

— „Что жъ объявиться, такъ объявиться—одинъ конецъ.

— „Ахъ, Самсонъ Силычъ, что это вы изволите говорить!

— „Что жъ, деньги заплатить? Да съ чего жъ ты это взялъ? Да я лучше все огнемъ сожгу, а ужъ имъ ни копейки не дамъ. Перевози товаръ, продавай векселя, пусть тащутъ, воруютъ, кто хочетъ, а ужъ я имъ не плательщикъ“.

Мы старались въ своемъ произведеніи отыскать все, что только можетъ служить оправданіемъ автора, и указали на всѣ, кажется, причины, которыя можно привести на возраженія критики противъ возможности замысла, какъ главной основы драматическаго дѣйствія; тѣмъ не менѣе, не можемъ не повторить, что желали бы болѣе прочной, непоколебимой закладки для этого великолѣпнаго литературнаго зданія.

Подхалюзинъ, съ неподражаемымъ искусствомъ играющій на душѣ Большова, перебралъ на всѣ лады этотъ послушный ему инструментъ, и теперь приступаетъ къ самой отдаленной послѣдней своей цѣли. Для этого онъ подходитъ къ Большову съ противоположной стороны, начинаетъ его пугать несчастнымъ исходомъ дѣла: если, напримѣръ, придерутся, потянутъ въ судъ, да отнимутъ имѣніе; Аграфена Кондратьевна, а въ особенности Олимпиада Самсоновна, барышня образованная, останутся ни при чемъ, должны будутъ терпѣть голодъ и холодъ?... И онъ до того увлекся созданной имъ картиной бѣдствія, что какъ будто самъ ея испугался, такъ, что ударился въ слезы: Лазарь плачетъ отъ жалости къ птенцамъ беззащитнымъ! Что же дѣлать? Надобно, по крайней мѣрѣ, образо-

ванную барышню заранѣе пристроить за *хорошаго* человека, да чтобы она была за *нимъ*, какъ за каменной стѣной; а вотъ тотъ женихъ, что сватался изъ благородныхъ-то, и оглобли назадъ поворотилъ; а ужъ мы знаемъ, что за этотъ поворотъ самъ же Подхалюзинъ обѣщалъ свахѣ двѣ тысячи рублей и соболью шубу! И бѣдная жертва до того заслушалась поющей сирены, что сама бросается въ объятія чудовища! Этимъ послѣднимъ маневромъ, который сдѣлалъ бы честь любому іезуиту, Лазарь довелъ Большова до того, что тотъ собственными руками отдаетъ ему и дочь, и все добро свое: самъ будетъ за него сватомъ и на него же переводить все свое имущество. До сихъ поръ дѣйствіе, какъ и нужно, шло медленно, ровнымъ, тяжелымъ шагомъ; теперь ходъ его видимо ускоряется. И съ внутренней стороны драма рѣзко измѣняется: изъ комедіи быстро переходитъ въ трагедію; въ трехъ первыхъ дѣйствіяхъ смѣхъ смѣнялся иногда весьма серьезнымъ лицомъ, а въ послѣднемъ онъ уже переходитъ въ жалость, состраданіе и ужасъ. Прежде всего авторъ поражаетъ васъ художественнымъ созданіемъ противоположностей: счастливые супруги блаженствуютъ въ богатомъ домѣ, а отецъ, отдавшій имъ эти палаты со всѣмъ имѣніемъ и своимъ и чужимъ, сидитъ въ ямѣ! Онъ пресыщается стыдомъ, а дочь его, теперь уже Подхалюзина, украшенная шелковою блузою послѣдняго фасона, поконится въ роскошномъ положеніи: супругъ ея въ модномъ сюртукѣ охорашивается передъ зеркаломъ; къ полному его удовольствію, Тишка подтверждаетъ, что онъ похожъ на француза, какъ двѣ капли воды. Супруги строятъ планы: онъ выучится танцовать; зимой будутъ ѣздить въ купеческое собраніе, будутъ полькировать. Голяска сторгована за тысячу рублей, столько же стоятъ лошади, серебряная сбруя; поѣдутъ они въ паркъ, въ Сокольники, а публика пускай смотритъ!

„Что это вы меня не подблуете, Лазарь Елизаровичъ?“ Онъ проситъ сказать ему что-нибудь на французскомъ діалектѣ, „такъ-съ, самую малость“, и, узнавши, что сказанная фраза значитъ по-русски: какъ вы милы, — въ совершенномъ упоеніи. Они наслаждаются на лаврахъ, безчестно пожатыхъ, и ни единого слова о бѣдномъ отцѣ, ни дочь ни зять, поднятый имъ изъ праха.

Но карающая Цеземпда уже давно подстерегаетъ эти ми-



нуты самозабвенія; грозной тучей виситъ она надъ преступными головами и скоро разразится громомъ; надъ дѣтьми — за неблагодарность и нечестіе къ родителямъ; надъ отцомъ — за тайное беззаконіе. Вся эта сцена, какъ истинное подобіе грознаго судилища, поражаетъ зрителя ужасомъ и состраданіемъ. Первый фіалъ Божьяго гнѣва преступный, несчастный отецъ долженъ принять изъ рукъ дочери и зятя, котораго онъ возвысилъ изъ ничтожества и осыпалъ благодѣяніями. Лазарь еще въ сидѣльцахъ былъ не чистъ на руку; Большовъ это замѣчалъ, и не разъ, но не ослабилъ его, не прогналъ отъ себя, а сдѣлалъ главнымъ приказчикомъ, отдалъ ему все состояніе и, наконецъ, свою дочь, на которую тотъ и глядѣть едва ли бы осмѣлился. И вотъ теперь, вмѣсто того, чтобы всѣмъ жертвовать для спасенія своего благодѣтеля и отца отъ несчастія и позора, онъ едва не издѣвается надъ нимъ, когда старикъ, убитый горемъ и безсердечіемъ, потерялъ чловѣческое терпѣніе и назвалъ ихъ змѣями подколодными: *тя-менька захмелѣлъ маленько*. Дочь убиваетъ его окончательно, когда на отрѣзъ сказала, что больше десяти копеекъ за рубль не дадутъ ему, и нагло дала понять, чтобы отецъ отвязался наконецъ. Кромѣ чудовищной неблагодарности дѣтей, Большовъ обреченъ на другое тяжкое наказаніе: онъ преданъ общественному позору: точно грѣшную душу дьяволы по мытарствамъ тащатъ, когда ведутъ его на поруганіе по Пльинкѣ, и эта улица кажется ему за сто верстъ! Этого мало, и совѣсть возстаетъ на виновнаго, пугая его призраками кары небесной. Какъ онъ взглянетъ на ликъ Пречистой Дѣвы, когда пойдетъ мимо Пверской? Отрезвленный полнымъ сознаніемъ преступленія, Большовъ видитъ въ себѣ Іуду: этотъ за деньги продалъ Іисуса Христа, а онъ — совѣсть свою! Наконецъ, предстаютъ предъ нимъ и земныя страшилища — присутственные мѣста, уголовная палата, Сибирь... Вотъ когда онъ начинаетъ уже не требовать отъ дѣтей своей собственности, а *а со слезами проситъ у нихъ Христа ради!*

Никакъ не можете вы отказать Большову въ чувствѣ жалости, и не только какъ къ несчастному отцу, но и какъ къ преступнику. Правда, онъ поправилъ нравственный и гражданскій законъ, но и возмездіе понесъ несоразмѣрно тяжкое: со всѣхъ сторонъ, градомъ посыпались на него удары: неблагодарность дѣтей, общественный позоръ, угрызенія со-

вѣсти, страхъ передъ закономъ общественнымъ и гражданскимъ — предчувствіе суда Божія и наказанія человѣческаго!

Намъ остается объяснить послѣднее и самое главное отличие комедіи „Свои люди—сочтемся“ отъ „Бригады“, показать, чѣмъ обозначился тотъ важный шагъ впередъ, который почти во сто лѣтъ сдѣлало русское общество, а за нимъ литература русская. Это и есть то новое начало, которое одушевляетъ произведеніе Островскаго, и о которомъ, какъ мы сказали, многимъ писателямъ XVIII вѣка даже не снилось. Въ прошломъ столѣтіи русская литература, принявшая въ образецъ европейскую, выражала стремленіе водворить въ русскомъ обществѣ идеалъ общественности европейской. Поэтому весьма естественно, что поэзія наша того времени изображала по-преимуществу лица *этого обновляющагося общества, т.-е. сословія высшаго*. Теперь становится совершенно понятнымъ, почему лица средняго и низшаго сословія, если ихъ случайно заводили въ область литературы, обращены къ намъ одною грубою, матеріальною стороною: знали ихъ по одной виѣшности, видѣли ихъ погруженными въ кругъ мелкихъ, житейскихъ нуждъ, сталкивались съ ними въ обыденныхъ интересахъ. Когда Лукинъ въ комедіи („Мотъ, любовію исправленный“) вывелъ честнаго слугу—а писатели-дворяне слугъ тогда знали лучше, ибо были ближе къ нимъ—вывелъ слугу, который бережетъ своего барина не только отъ плута-купца, но и отъ вѣроломнаго друга; почти спасаетъ отъ гибели безпутнаго, но добраго юношу; не принимаетъ отъ него отпускной, великодушно отказывается отъ свободы, и только для того, чтобы не покидать своего господина въ несчастіи: тогда, трудно повѣрить, поднялись крики строгихъ цѣнителей и судей: *„такихъ добрыхъ слугъ у насъ не бывало!“* — Пусть онъ послужитъ образцомъ, — благородно отвѣтилъ имъ Лукинъ. Нашелся и такой критикъ, который съ *ругательствомъ и улыбкою* сказалъ автору: *„къ чему вдругъ столь избранное и плодотворное правоученіе для народа сего рода?“* Для того, — говоритъ Лукинъ, — чтобы очистить оный отъ подлости и научить поступкамъ, всякому честному человѣку приличнымъ“. Очевидно, большинство писателей не возвышалось надъ сословными предразсудками и даже полагало, что съ лицами средней и низшей среды нераздѣльны понятія не только необразованія, невѣжества, но и пороковъ, какъ будто такъ



и быть должно, и иначе быть не может; и напрасно было бы въ этой низкой сферѣ искать чего-нибудь родственнаго людямъ въ настоящемъ значеніи слова, представителямъ сословія высшаго, которымъ однимъ свойственны образованіе, развитіе ума и нравственное совершенствованіе.

И вотъ почти сто лѣтъ надо было пройти послѣ появленія „Бригадира“ для того, чтобы въ другую комедію русскую не только вошла, но и получила въ ней полныя права гражданства та космополитическая идея, которая была провозглашена съ высоты трона свободолюбивой государыней: „человѣкъ, кто бы онъ ни былъ, владѣлецъ или земледѣлецъ, руководѣльникъ или торговецъ, праздный хлѣбоядца или прилежаніемъ и раченіемъ подающій къ тому способы, управляющій или управляемый — все есть человѣкъ“.

Въ комедіи есть такія положенія, что вы совершенно забываете и купца, и сваху, и приказчика, и страпчаго, а видите предъ собою міръ, какъ поле битвы; жизнь, какъ борьбу. и человѣка со всѣми его тревоженіями и страстями.

Но въ траги-комедіи Островскаго есть нѣчто болѣе того, что мы сказали: авторъ не только далъ право гражданства этой глубоко человѣческой идеѣ, но *стремится вкоренить ее и въ сознаніе дѣйствующихъ лицъ*. Конечно, никто изъ нихъ не заявляетъ прямо и не говоритъ вамъ: я человѣкъ! этой грубой ошибки такой художникъ и сдѣлать не могъ; онъ надѣляетъ ихъ настолько, насколько они могутъ вмѣстить. И страпчій Рисположенскій, бѣдный Сысой Псоичъ, и тотъ выражаетъ ее, разумѣется, въ тугѣ сердечной, а не въ философскихъ изреченіяхъ; потому что горемыка-взяточникъ вынесъ эту мысль изъ тяжелой, изъ гнетущей дѣйствительности, которая сгибаетъ его до паденія: „Будешь и по мелочамъ, какъ взять-то негдѣ. Ну еще не что, кабы одинъ; а то вѣдь у меня жена да четверо ребятишекъ. Всѣ ѣсть просятъ, голубчики. Тотъ говоритъ — тятенька дай, другой говоритъ — тятенька дай. А я къ семейству очень чувствительный человѣкъ. Одного вотъ въ гимназію опредѣлили: мундирчикъ надобно, то, другое. А домишко-то эвоно гдѣ!... Что сапоговъ однихъ истреплешь, ходимши къ Воскресенскимъ воротамъ съ Бутыровъ-то“.

Въ траги-комедіи есть, наконецъ, стремленіе, еще болѣе рѣзкою чертою отдѣляющее ее отъ всѣхъ комедій XVIII вѣка.

Мы крайне сожалѣемъ, что эта новая мысль автора, доблестно-гражданская, не облечена въ достаточно-прозрачный образъ: или Островскій не рѣшился на шагъ болѣе смѣлый, разумѣемъ это только въ литературномъ смыслѣ, или фантазія художника нѣсколько утомилась при концѣ своего творческаго полета. Для большей ясности мы привидемъ въ цѣлости это важное мѣсто, совершенно измѣненное во второмъ изданіи. Рисположенскій постоянно ходитъ къ Подхалюзину, который долженъ ему полторы тысячи, а отдаетъ только по пяти цѣлковыхъ, да еще съ презрѣніемъ и досадою, что тотъ ему надоѣдаетъ. Стряпчій проситъ отдать уже все разомъ, тогда ему ходить будетъ не зачѣмъ; Подхалюзину такое настойчивое требованіе кажется дерзостію, и онъ готовъ безъ церемоній выгнать его изъ дома: пора де честь знать, попользовался и будетъ. Но тотъ все проситъ денегъ, а не то, такъ документъ: Подхалюзинъ находитъ это желаніе черезчуръ ужъ наивнымъ и вмѣсто документа предлагаетъ ему взять еще пять цѣлковыхъ, да и убираться съ Богомъ восвояси.

Рисположенскій. Нѣтъ, погоди! Ты отъ меня этимъ не отдѣлаешься!

Подхалюзинъ. А что же ты со мной сдѣлаешь?

Рисположенскій. Языкъ-то у меня не купленный.

Подхалюзинъ. Что же ты лизать, что ли, меня хочешь?

Рисположенскій. Нѣтъ, не лизать, а добрымъ людямъ рассказывать.

Подхалюзинъ. О чемъ рассказывать-то, купоросная душа! Да кто тебѣ повѣритъ-то еще?

Рисположенскій. Кто повѣритъ? А вотъ увидишь! А вотъ увидишь! Батюшки мои, да что жъ мнѣ дѣлать-то? Смерть моя! Грабятъ меня, разбойники, грабятъ! Нѣтъ, ты погоди! Ты увидишь! Грабить не приказано!

Подхалюзинъ. Да что увидать-то?

Рисположенскій. А вотъ что увидишь! Постой еще. постой, постой! Ты думаешь, я на тебя суда не найду?

Подхалюзинъ. Погоди, да погоди! Ужъ я и такъ ждалъ довольно. Ты полно пужать-то: не страшно.

Рисположенскій. Ты думаешь, мнѣ никто не повѣритъ? Не повѣритъ? Ну, пускай обижаютъ! Я... я вотъ что сдѣлаю: Почтеннѣйшая публика!



Подхалюзинъ. Что ты! Что ты! Очнись!

Тишка. Ишь ты съ пьяныхъ-то глазъ куда лѣзеть!

Рисположенскій. Пусти! Пстой! Почтеннѣйшая публика! Тестя обокралъ! И меня грабятъ... Жена, четверо дѣтей, вотъ сапоги худые!...

Подхалюзинъ. Все вретъ-съ! Самый пустой человѣкъ-съ! Полно ты, полно... Ты прежде на себя-то посмотри, ну куда ты лѣзешь!

Рисположенскій. Пусти! Тестя обокралъ! И меня грабятъ... Жена, четверо дѣтей, сапоги худые!

Тишка. Подметки подвинуть можно!

Рисположенскій. Ты что? Ты такой же грабитель!

Тишка. Ничего-съ, проѣхали!

Подхалюзинъ. Ахъ! Ну что ты мораль-то этакую пуцаешь.

Рисположенскій. Нѣтъ, ты погоди! Я тебѣ припомню! Я тебя въ Сибирь упеку!

Подхалюзинъ. Не вѣрьте, все вретъ-съ! Такъ-съ самый пустой человѣкъ-съ, вниманія не стоящій! Эхъ, братецъ, какой ты безобразный! Ну, не зналъ я тебя — ни за какія бы благополучія и связываться не сталъ.

Рисположенскій. Что взялъ! а! что взялъ! Вотъ тебѣ, собака! Ну, теперь подавись моими деньгами, чортъ съ тобой. (*Уходитъ.*)

Подхалюзинъ. Какой горячій-съ! (*Къ публикѣ*) Вы ему не вѣрьте, это онъ, что говорилъ-съ — это все вретъ. Ничего этого и не было. Это ему, должно быть, во снѣ приснилось. А вотъ мы магазинчикъ открываемъ: милости просимъ! Малаго ребенка пришлите — въ луковицѣ не обочтемъ.

Развѣ только творческая игра высокаго сценическаго таланта можетъ придать этой сценѣ то особенное освѣщеніе, въ которомъ она такъ сильно нуждается; въ противномъ случаѣ, главная мысль, душа этого послѣдняго явленія не обнаружить всей жизненной силы, въ ней скрытой, а для большинства можетъ даже остаться почти незамѣченною. Что же здѣсь хотѣлъ высказать авторъ? Онъ стремится, во-первыхъ, водворить въ русскомъ обществѣ *власть общественнаго мнѣнія*; во-вторыхъ, хочетъ показать, что лица низкопоставленныя, ограниченныя и даже порочныя, и тѣ

уже чувствуютъ теперь потребность, даже сознаютъ необходимость общественнаго суда. Проводя эту мысль въ сознаніи и малыхъ міра сего, Островскій сначала, еще прежде, заставилъ сваху высказать ее; но Устинья Паумова выражаетъ эту идею, какъ и слѣдуетъ, только инстинктивно, безъ всякаго сознанія и отчета. Озлобленная на Подхалюзина, обѣщавшаго ей двѣ тысячи рублей да соболью шубу и безчестно ее обманувшаго, она уходитъ изъ его дома и въ беспильномъ негодованіи прибѣгаетъ къ послѣдней угрозы: „Ужъ я васъ золотые, распечатаю — будете знать! Я васъ какъ по Москвѣ-то разслаблю, что стыдно будетъ въ люди глаза показывать!...“

Совершенно не то стряпчій Рисположенскій... Авторъ возвышаетъ его до сознанія этой нравственной потребности, и возвышаетъ безъ всякой натяжки, естественно; потому что избираетъ для этого такой моментъ, когда подобный поворотъ вполне возможенъ: Рисположенскій мгновенно ощущалъ въ себѣ эту потребность, и вдругъ, внезапно озарился этою мыслию, ибо увидѣлъ въ ней свое спасеніе; по этой же причинѣ онъ заявляетъ ее и передъ лицомъ общества. Горько ему видѣть, какъ нагло издѣвается надъ нимъ же Подхалюзинъ, а еще больнѣе то, что онъ самъ поставилъ себя въ беззащитное положеніе: такой мастеръ обдѣлывать даже темныя судейскія дѣла, онъ ничего теперь не можетъ сдѣлать съ человѣкомъ, его же ограбившимъ; потому что не оградилъ себя никакимъ законнымъ документомъ. Подхалюзинъ ни тестю ни стряпчему не далъ противъ себя никакого юридическаго оружія и совершенно оградилъ себя отъ всякихъ законныхъ уликъ. Но если нужда долбитъ камень, то горе рождаетъ идеи, даже въ самомъ неразвитомъ, въ самомъ ограниченномъ человѣкѣ... И многоопытный дѣлецъ, чувствуя все безсиліе своего права — въ судъ нельзя ему идти, нѣтъ никакихъ документовъ — и взяточникъ-стряпчій прибѣгаетъ къ карающему суду публики! И онъ, когда его обидѣли и ограбили и, мало того, еще осмѣяли, и онъ, какъ блудный сынъ, простираетъ руки къ имъ же оскорбленному обществу, апеллируетъ къ нему и въ отчаяніи взываетъ: „Почтенѣйшая публика! Тестя обокралъ! И меня грабятъ!...“ И ему уже теперь хочется рассказать добрымъ людямъ, чтобы они все знали, что Подхалюзинъ — безчест-



ный грабитель; другими словами: ябедника и лихоимца Островскій возвышаетъ до сознанія правды и возлагаетъ на него очистительную миссію, ставитъ его передъ лицомъ русскаго общества съ огромнымъ воззваніемъ — чтобы всѣ честные русскіе люди нравственно наказывали всяческую мерзость и кривду; чтобы они безпощадно преслѣдовали даже тайное преступленіе, хотя бы оно стало подъ прикрытіемъ всевозможныхъ орудій казуистики и формъ закона; а если обратимъ отрицательный способъ выраженія въ положительный, то найдемъ, что отдаленнѣйшее, послѣднее стремленіе автора траги-комедіи состоитъ въ томъ, чтобы на всей русской землѣ, отъ края до края, царила единая, вѣчная правда, которую русскій народъ возлюбилъ паче всѣхъ идеаловъ и называлъ своею матерью!

*Селинъ.*

### Чтеніе комедіи „Свои люди — сочтемся“ въ разныхъ кругахъ московскаго общества.

Московское общество выразило нетерпѣливое желаніе прослушать комедію Островскаго до выхода ея въ свѣтъ. Возникло это желаніе по почину М. Н. Каткова: въ скромной тогда квартирѣ его состоялось первое чтеніе „Банкрота“<sup>1)</sup>. Съ Катковымъ члены кружка „Молодого Москвитянина“ были знакомы уже нѣсколько лѣтъ и часто посѣщали его. Члены этого кружка ранѣе другихъ замѣтили размѣры его дарованій, заслоненные отъ единомышленниковъ его западниковъ преклоненіемъ передъ Грановскимъ, какъ своего рода идоломъ. Впечатлѣніе, произведенное на новыхъ слушателей (присутствовали: П. В. Бѣляевъ и братъ Каткова Меодій), было необыкновенное. Независимо отъ красотъ самаго произведенія, впечатлѣніе это увеличивалось и тѣмъ, что Островскій былъ необыкновенно искуснымъ чтецомъ своихъ произведеній.

Съ этого времени началось частое чтеніе этой пьесы въ разныхъ мѣстахъ, и быстро по Москвѣ разнеслась ея слава. Островскаго стали просить читать ее въ знакомыхъ и незна-

<sup>1)</sup> Первоначальное заглавіе комедіи „Свои люди — сочтемся“.

комыхъ домахъ. Онъ направлялся съ своими товарищами, всегда имѣя съ собою, какъ непремѣннаго члена П. М. Садовскаго, который и читалъ съ нимъ попеременно.

..Сегодня, — писала графиня Ростопчина Погодину, — Садовскій для меня читаетъ „Банкротство“ у Новосильцевыхъ, а потому хотя я очень нездорова, но встала съ постели, чтобы не прогулять этого занимательнаго вечера“. Чтеніе это произвело сильное впечатлѣніе на графиню Ростопчину, и она писала: „Что за прелесть „Банкротство“! Это нашъ русскій Тартюфъ, и онъ не уступаетъ своему старшему брату въ достоинствѣ правды, силы и энергіи. Ура! у насъ рождается своя театральная литература, и нынѣшній годъ былъ для нея благодатно плодovitъ“.

Вслѣдъ за симъ, комедію Островскаго П. М. Садовскій читалъ въ домѣ Н. Ф. Павлова.

Наконецъ, и самъ Погодинъ рѣшился сдѣлать у себя литературный вечеръ, на которомъ читались „Нелюдимка“ и „Свои люди — сочтемся“. Вечеръ этотъ состоялся 3 декабря 1849 г.

Пригласить Островскаго къ себѣ на вечеръ Погодинъ поручилъ Н. В. Бергу, который писалъ: „Непремѣнно явлюсь къ вамъ въ субботу, но не знаю, можно ли будетъ привести Островскаго. Я знакомъ съ нимъ, но не такъ коротко“. Но тѣмъ не менѣе Бергъ принялъ мѣры къ приглашенію Островскаго, и наканунѣ чтенія писалъ Погодину: „Какъ я сказалъ вамъ, такъ и сдѣлалъ: на другой день, по полученіи вашего письма, я написалъ къ общему нашему съ Островскимъ знакомому, прося его или свести меня съ Островскимъ поближе, или пригласить его прямо къ вамъ. Вчера я получилъ отвѣтъ, но самый неопредѣленный. Господинъ, къ которому я писалъ, увѣдомляетъ меня, что Островскій почему-то дома почти никогда не бываетъ, а тамъ, гдѣ его можно найти въ настоящее время, онъ былъ два раза и не нашелъ его. Я писалъ снова къ этому господину, чтобы онъ хоть запиской увѣдомилъ Островскаго, или отыскалъ его, какъ хочетъ. Не знаю, что будетъ. Завтра напишу снова и упомяну о желаніи графини Ростопчиной съ нимъ познакомиться. Если бы я зналъ, гдѣ онъ живетъ, я давно бы съѣздилъ къ нему самъ и не прибѣгалъ бы къ такому невѣрному и скучному посредству. Вотъ причины, почему я васъ не увѣдомлялъ до сихъ поръ. Просто не о чемъ было писать“.



Пригласить же Щепкина на свой вечеръ Погодинъ поручилъ Гоголю, который по этому поводу писалъ ему: „Когда увижусь съ Щепкинымъ, передамъ ему это и отвѣтъ привезу самъ“.

Какъ бы то ни было, Островскій былъ на вечеръ у Погодина и своимъ произведеніемъ произвелъ сильное впечатлѣніе, о чемъ единогласно свидѣтельствуютъ участники этого вечера. „Комедія „Банкротъ“ удивительная“, отмѣчаетъ хозяинъ въ своемъ дневникѣ, ее прочелъ Садовскій и авторъ“. Прослушавъ во второй разъ эту комедію, графиня Ростопчина писала Погодину: „Банкрота“ слушала я, отъ души радуюсь замѣчательному таланту, озарившему нашу немощность и нашъ застоѣ. *Chaque chose et chaque oeuvre a les défauts de ses qualités*, поэтому нельзя, чтобъ немного грязнаго не премѣшалось въ олицетвореніи типовъ, взятыхъ живьемъ и цѣликомъ изъ низшихъ слоевъ общества“.

Болѣе подробное описаніе этого вечера мы находимъ въ воспоминаніи Н. В. Берга: „На вечерѣ Погодина, Островскій читалъ свою комедію „Свои люди — сочтемся“ („Банкротъ“). Слушающихъ собралось довольно: актеры, молодые и старые литераторы, между прочимъ графиня Ростопчина. Гоголь былъ званъ также, но пріѣхалъ среди чтенія; тихо подошелъ къ двери и сталъ у притолки. Такъ и простоялъ до конца, слушая, повидимому, внимательно. Послѣ чтенія онъ не проронилъ ни слова. Графиня Ростопчина подошла къ Гоголю и спросила: „Что вы скажете, Николай Васильевичъ? — Хорошо, но видна нѣкоторая неопытность въ пріемахъ. Вотъ этотъ актъ нужно бы подлиннѣе, а этотъ покороче. Эти законы узнаются послѣ, и въ непреложность ихъ не сейчасъ начинаешь вѣрить. — Больше ничего онъ не говорилъ, кажется, ни съ кѣмъ, во весь тотъ вечеръ. Къ Островскому, сколько могу припомнить, не подходилъ ни разу“.

Несмотря на это видимое равнодушіе, и на Гоголя комедія Островскаго, кажется, произвела впечатлѣніе. Подтвержденіемъ этого предположенія могутъ служить слѣдующія строки Погодина: „Бѣляевъ сказывалъ, что онъ хочетъ печатать статьи историческія. Онъ тоже подвигнетъ все-таки меня, какъ Островскій Гоголя“.

„Какъ чтецъ“, свидѣтельствуешь Т. И. Филипповъ, „Островскій далеко превосходитъ Садовскаго; но когда черезъ нѣ-

сколько времени имъ привелось совмѣстно играть сцены изъ той же пьесы въ домѣ С. А. Пановой, превосходство Садовскаго оказалось во всей его силѣ“.

Въ чтеніяхъ пьесы Островскаго прошла цѣлая зима. Читали пьесу и въ литературныхъ, и въ купеческихъ, и въ аристократическихъ домахъ, какъ напримѣръ у Мещерскихъ и Шереметевыхъ. Въ оба эти дома ввелъ Островскаго и другихъ членовъ кружка „Молодого Москвитянина“ Филипповъ. Князь А. В. Мещерскій, бывшій въ послѣдствіи Московскимъ губернскимъ предводителемъ дворянства, былъ уже и ранѣе въ дружескихъ отношеніяхъ съ Филипповымъ. Съ Шереметевыми познакомилъ Филиппова Николай Петровичъ Алмазовъ, братъ Варвары Петровны Шереметевой и отецъ поэта Бориса Николаевича.

*Барсуковъ.*

---

### Художественная и бытовая стороны комедіи Островскаго „Бѣдная невѣста“.

Начиная оцѣнку явленій литературныхъ 1852 года съ „Бѣдной невѣсты“ А. Н. Островскаго, мы поступимъ, впрочемъ, правильно какъ съ исторической, такъ и съ художественной точки зрѣнія. Какъ бы ни было несправедливо отношеніе критики къ новому произведенію Островскаго, каковы бы ни были недостатки самой комедіи, извѣстные и намъ конечно, но всего болѣе извѣстные ея автору, все-таки изъ литературы 1852 года уцѣлѣетъ и останется одно только: „Бѣдная невѣста“. Отъ этого положенія не можетъ отречься и та близорукая критика, которая, придираясь къ разнымъ мелкимъ недостаткамъ или даже просто недосмотрамъ въ комедіи, не замѣтила самаго важнаго, самаго существеннаго недостатка въ художественномъ отношеніи, недостатка экономіи въ планѣ и подробностяхъ. Задачи, замыслы произведенія такъ широко, такъ можно сказать, блестяще раскинулись передъ самымъ художникомъ, явился ему такъ благородными и такъ говорящими сами за себя, что онъ пренебрегъ ради ихъ симметричностью постройки, что даже, драматургъ по свойству своего таланта, онъ забылъ объ условіяхъ драматизма и нѣкоторымъ сторонамъ своей концепціи далъ эпическое развитіе, нѣкоторыя же черты выра-



зиль даже лирически. Можетъ быть также, увлеченный благородствомъ и новостью своихъ задачъ, авторъ не выносилъ ихъ достаточно въ душѣ, не далъ имъ дозрѣть до надлежащей полноты и ясности представленія, но во всякомъ случаѣ, „Бѣдная невѣста“ свидѣтельствовала о силѣ таланта, находящейся въ извѣстномъ броженіи, въ необузданномъ состояніи, а никакъ не о безсиліи его.

Повторяемъ опять: существенный, главный недостатокъ „Бѣдной невѣсты“ — отсутствіе экономіи въ планѣ, въ построеніи, — недостатокъ, котораго всѣ другія являются уже неизбежными послѣдствіями. Сожми Островскій свою драму въ болѣе тѣсныя рамы, умѣрь нѣсколько свои въ высокой степени благородныя и широкія задачи, не выброси онъ сразу всего, что передумано, перечувствовано имъ въ отношеніи къ избранному драматическому положенію, — созданіе получило бы стройность и цѣлость, хотя можетъ-быть утратило бы нѣсколько своей энергіи, той энергіи, которая всегда проглядываетъ въ произведеніяхъ субъективныхъ, которая составляетъ и порокъ ихъ и высокое достоинство, — энергіи, которая, какъ субъективная, изолируетъ произведеніе отъ общаго и обыкновеннаго сочувствія, но вмѣстѣ съ тѣмъ кладетъ на него неотразимо влекущую печать. Въ такой энергіи есть почти всегда нѣчто недосказанное, нѣчто заставляющее подозревать, что она еще не вся вылилась, — и продукты ея дѣйствительно являются чѣмъ-то недосказаннымъ, хотя въ то же время эта недосказанность, да простятъ мнѣ нѣсколько фигурное выраженіе, прозрачна: сквозь нее видно, что хотѣлъ сказать поэтъ, видны основы его, видна болѣе всего поэзія его міросозерцанія. Пусть онъ не довелъ до послѣдней степени ясности своихъ задачъ, пусть не достигъ онъ положительной опредѣленности и типичности въ отдѣлкѣ выведенныхъ имъ образовъ; душа читателя, увлеченная силою творчества и, такъ сказать, покоренная міросозерцаніемъ, дополняетъ въ себѣ сама, и притомъ дополняетъ правильно, недосказанныя черты. Ибо ничто въ такой степени не необходимо художнику, какъ міросозерцаніе. Талантъ находится въ прямомъ отношеніи съ жизнью, и ббольшая или меньшая степень воспроизведенія жизни есть вмѣстѣ съ тѣмъ высшая или низшая степень правильнаго отношенія къ ея явленіямъ, т.-е. къ дѣйствительности. Безъ міросозерцанія,

прочнаго, совершенно сложившагося (хотя складывающагося различно, смотря по различнымъ историческимъ даннымъ мѣстности, народности, времени, а съ другой стороны, смотря по условіямъ, лежащимъ въ натурѣ художника), не бывало. нѣтъ и не будетъ истинныхъ художниковъ. Кого ни возьмете вы изъ тѣхъ избранныхъ, которые отмѣтили жизнь свою дѣломъ, оставили по себѣ какой-либо прочный слѣдъ, всѣ они разумѣли смыслъ жизни, и стало быть, серьезно смотрѣли на жизнь. Всѣ они, отрицательно ли, положительно-ли, дѣйствовали въ литературѣ *во имя* ясно сознаваемаго и живо чувствуемаго идеала, и безъ этой идеальной основы — художества быть не можетъ. Чѣмъ свободнѣе, чѣмъ шире, чело-вѣчнѣе и вмѣстѣ идеальнѣе міровоззрѣнія художника, т.-е. разумѣніе того, *во имя* чего воспроизводитъ онъ образы полныя правды и караетъ всякую неправду жизни, и вмѣстѣ съ тѣмъ разумѣніе отношенія идеала къ дѣйствительности, тѣмъ болѣе яркій слѣдъ оставляетъ по себѣ его дѣятельность. Изъ разумѣнія отношенія между тѣмъ, *во имя* чего художникъ творитъ, и между тѣмъ, въ чемъ художникъ видитъ, или, лучше сказать, чувствуетъ глубоко положеніе или отрицаніе идеала, — изъ этого разумѣнія, обусловленнаго историческими данными известной народности и известной эпохи, выходитъ различное міросозерцаніе художника. Да не подумаютъ, впрочемъ, чтобы, увлекаясь нѣкоторымъ историческимъ фатализмомъ, мы въ сложеніи міросозерцанія художника давали мѣсто только вліянію историческихъ данныхъ эпохи: на одни и тѣ же явленія различныя художническія натуры смотрятъ подъ различнымъ угломъ зрѣнія. Свѣтъ одинъ, но онъ преломляется въ призмѣ на нѣсколько различныхъ цвѣтовъ и оттѣнковъ: нужно только, необходимо, чтобъ душа художника воспринимала свѣтъ и отражала тотъ или другой оттѣнокъ.

У Островскаго одного, въ настоящую эпоху литературную, есть свое прочное, новое и вмѣстѣ идеальное міросозерцаніе, съ особеннымъ оттѣнкомъ, обусловленнымъ какъ данными эпохами, такъ можетъ-быть и данными натуры самого поэта. Этотъ оттѣнокъ мы назовемъ, нисколько не колеблясь, кореннымъ русскимъ міросозерцаніемъ, здоровымъ и спокойнымъ, юмористическимъ безъ болѣзненности, прямымъ безъ увлеченій въ ту или другую крайность, идеальнымъ, нако-



нецъ, въ справедливомъ смыслѣ идеализма, безъ фальшивой грандіозности или столько же фальшивой сентиментальности. Другой вопросъ, всегда ли одинаково онъ служитъ ему; но всѣ задачи міросозерцанія выступили уже ярко въ доселѣ извѣстныхъ публикѣ произведеніяхъ Островскаго и выступятъ скоро еще ярче въ новомъ его произведеніи, о которомъ, какъ не напечатанномъ еще, мы не имѣемъ права говорить, хотя оно послужило бы къ самому прямому разъясненію вопроса. Покаместъ, слѣдовательно, мы должны ограничиться міросозерцаніемъ, явнымъ для насъ въ „Своихъ людяхъ — сочтемся“, и въ особенности, чтобы не отдаляться отъ вопроса, міросозерцаніемъ „Бѣдной невѣсты“. Міросозерцаніе всякаго поэта особенно наглядно выступаетъ въ его отношеніи къ событію и положенію, взятымъ имъ для художественной обработки, и въ отношеніи къ лицамъ, участвующимъ въ событіи, поставленнымъ въ извѣстное драматическое положеніе.

Всѣмъ нашимъ читателямъ извѣстна, безъ сомнѣнія, „Бѣдная невѣста“, и потому не для чего здѣсь излагать въ подробности ея содержаніе или канву событій, нечего также и доказывать, что главное, центральное, такъ сказать, драматическое положеніе, изъ котораго какъ изъ зерна выходятъ всѣ другія, — положеніе самой бѣдной невѣсты, Марьи Андреевны. Особенность міросозерцанія Островскаго въ отношеніи къ событію и положенію всего лучше и очевиднѣе можетъ быть доказана путемъ отрицательнымъ. Поэтому мы спросимъ, что увидѣли бы въ событіи и въ положеніи прежнія, весьма недавнія впрочемъ, школы, свирѣпствовавшія въ русской литературѣ, т.-е. школа фальшивой образованности и школа натуральная. Школа фальшивой образованности принялась бы за это положеніе съ своей обычной точки зрѣнія. Дѣло извѣстное:

Но вотъ среди толпы густой  
Мелькастъ быстро передъ вами  
Ребенокъ робкій и нѣмой,  
Съ большими грустными глазами.  
Ребенокъ... Ей пятнадцать лѣтъ,  
Но за собой она невольно  
Влечетъ васъ... за нею вамъ больно  
И страшно... Блѣдный, томный цвѣтъ  
Липца, — печальный слѣдъ сомнѣній,

Тревожныхъ, раннихъ размышленій,  
Тоски, неопытныхъ страстей,  
И взглядъ внимательный — все въ ней  
Вамъ говоритъ о *самовластной*  
Душѣ... Ребенокъ бѣдный мой!  
Ты будешь женщиной несчастной...  
Но я не плачу надъ тобой...

Съ душевною болью выпиcываетъ авторъ статьи это, нѣ когда сильно на него дѣйствовавшее, лирическое мѣсто, — но тѣмъ не менѣе *долженъ* представить его въ образецъ того фальшиваго міросозерцанія, съ которымъ самые талантливые люди литературной школы отнеслись бы въ положенію Марьи Андреевны. Характеръ они такъ же мало бы создали своимъ міросозерцаніемъ, какъ мало обозначенъ онъ въ піесѣ Островскаго, даже несравненно меньше, по взглядъ былъ бы таковъ. Вслѣдствіе этого въ обстановкѣ явился бы не Меричъ, а господинъ, который былъ бы, пожалуй, и такъ же пустъ, по котораго пустоту оправдывалъ бы явно авторъ общими *изъясненіями* современности; и Милашина не было бы, потому что въ Милашинѣ многимъ колетъ глаза правда міросозерцанія автора, — и Хорьковъ вышелъ бы, пожалуй, и плюющимъ же съ горя человѣкомъ, но съ самыми грубыми и необразованными наклонностями, совершенно неспособнымъ понять деликатную и чистоплотную натуру Марьи Андреевны (*conditio sine qua non* — выставить чистоплотность, какъ рѣдкое качество), и мать Марьи Андреевны вышла бы не та, и отношеніе къ ней Марьи Андреевны было бы не такое. Въ доказательство, что мы говоримъ не наугадъ, а на основаніи данныхъ прошедшаго, могли бы привести бездну повѣстей старыхъ годовъ; но всего лучше подтверждаетъ нашу мысль то, что критикѣ этой школы именно хотѣлось, чтобы Марья Андреевна полюбила не Мерича, а *хорошаго* человѣка; потому, изволите видѣть, что въ такомъ случаѣ, она внушала бъ больше симпатій. Бѣдная критика и не догадывалась въ своей наивности, что если бы комедія Островская писалась по ея теоріи, и вообще по заданной напередъ темѣ, то тотъ же самый Меричъ могъ бы быть выданъ авторомъ за весьма *хорошаго* человѣка, за одного изъ тѣхъ безчисленныхъ героевъ, по которымъ страдаютъ, сохнутъ, умираютъ злой чухоткой героини безчисленныхъ повѣстей и романовъ. Или



вышла бы другая исторія: тотъ же Меричъ изображенъ былъ бы такъ карикатурно, какъ во многихъ же повѣстяхъ изображаются моншеры, не обладающіе великимъ искусствомъ одѣваться *comme il faut* и расчесывать волосы съ проборомъ назадъ, и метался бы въ глаза всѣмъ, даже упомянутой нами критикѣ. Что касается до добрѣйшаго Платона Марковича Добротворскаго, то онъ, какъ одно изъ орудій *гибели* Марьи Андреевны, явился бы такимъ карикатурнымъ звѣремъ, что Боже упаси. Вообще положеніе Марьи Андреевны было бы взято такъ, что она непременно погибла бы и задохлась окончательно въ самой піесѣ среди грубой и грязной дѣйствительности, какъ погибають разныя героини „превращеній“ и другихъ повѣстей въ этомъ родѣ: фактъ опять удобно доказываемый тѣмъ, что критикѣ этой школы особенно не понравился психологическій выходъ натуры Марьи Андреевны въ пятомъ актѣ, совершенно излишнемъ, по ея мнѣнію.

Съ другой стороны, натуральная школа все участіе зрителя насильственно сосредоточила бы на лицѣ Платона Марковича, внушила бы ему глубокую, слезливую, безсознательную и въ особенности *приличную* старику страсть къ Марьѣ Андреевнѣ, — какъ Макару Алексѣевичу Дѣвушкину или Мошкину, и, подъ конецъ, выдала бы за него замужъ Марью Андреевну, съ разбитымъ, подразумѣвается, сердцемъ.

Ни того ни другого не сдѣлалъ Островскій: онъ не пощадилъ Мерича, не идеализировалъ Добротворскаго и избѣгъ даже еще крайности, въ которую не мудрено впасть всякому, оскорбленному неправильнымъ отношеніемъ разныхъ школъ къ дѣйствительности, — не идеализировалъ самой дѣйствительности, обставляющей характеръ Марьи Андреевны; съ равнымъ разумнымъ участіемъ отнесся онъ и къ положенію своей героини, и къ положенію, напримѣръ, ея матери, и къ положенію Хорькова, и къ положенію Дуни, и т. д. Этимъ-то такъ и благородны, такъ широки и такъ новы его задачи, хотя и не во всѣхъ частяхъ выполнены равно удовлетворительно. Самая неудовлетворительность, и преимущественно техническая неудовлетворительность выполненія, произошла едва ли не отъ того, что для автора на первомъ планѣ стояли задачи. Имъ онъ пожертвовалъ драматизмомъ въ двухъ первыхъ актахъ, чтобы почти эпически-спокой-

ными и какъ будто нѣсколько вяло тянущимися подробностями ввести насъ въ бытъ и отношенія изображаемаго имъ міра: имъ уступилъ онъ и въ нѣсколько лирически, а не драматически-патетической сценѣ пятого акта между Меричемъ и Марьей Андреевной, въ ея обращеніи къ Меричу: „Поздно, Владимиръ Васильчъ, поздно...“ и т. д. Но такой недостатокъ, являясь дѣйствительно недостаткомъ на судѣ строгой эстетической критики, заставляетъ какъ-то читателя искреннѣе сочувствовать произведенію, въ которомъ присутствіе субъективности автора не скрыло отъ другихъ тѣхъ задачъ, которыя ее самое тревожили.

Теперь взглянемъ нѣсколько на отношеніе художника къ выведеннымъ имъ лицамъ. Лицо Марьи Андреевны подверглось нареканіямъ за отсутствіе въ немъ характера. Мы сами соглашаемся отчасти, что Марья Андреевна скорѣе положеніе, чѣмъ лицо, но вмѣстѣ съ этимъ, не можемъ не высказать своего задушевнаго мнѣнія, что при такой молодости лѣтъ, ей еще нельзя было выработать опредѣленной личности, а при окружающей ее обстановкѣ — и неоткуда было взять элементовъ для опредѣленія личности: Марья Андреевна представляетъ собой общій процессъ женскаго сердца, въ ту эпоху, когда женщина вся состоитъ только изъ побужденій и неопредѣленныхъ стремленій, — а что у ней есть натура, изъ которой, какъ будетъ она постарше, вырабатывается настоящая, славная женская личность, такъ это показываетъ много, — между прочимъ ея жажда искренней любви, ея благородное сознаніе собственнаго достоинства, ея честный взглядъ на вещи... Кромѣ того, мы видимъ въ ней не мечтательницу, не резонерку, не одно изъ тѣхъ неминуемо *гибнущихъ* въ дѣйствительности, по представленію нашихъ романистовъ и драматурговъ, существъ, которыхъ всѣ достоинства существуютъ только въ воображеніи ихъ сочинителей. Марья Андреевна, хоть она не вполне еще сложилась нравственно, даже, пожалуй, вовсе не сложилась, — натура живучая, способная понять правду жизни, смыслъ ея и настоящее дѣло, не вооружающаяся даже на окружающую ее сферу, пбо сама она, со всѣми страстными задатками ея организаціи, все-таки продуктъ этой жизненной сферы. Машина *возмущаетъ* Добротворскій, — ее не возмущаетъ: она видитъ въ немъ добраго человѣка даже въ ту минуту,



когда ей крайне несносны заботы о скорѣйшемъ устройствѣ ея участи. Меричу огдалась она со всею непосредственностью и свѣжестью души, — но и тутъ она не отрѣшается отъ настоящей жизни — она даже *безпокоитъ* этого господина тѣмъ, что старается завести съ нимъ рѣчь о близкихъ къ дѣлу интересахъ. Но, съ другой стороны, не одни впечатлѣнія окружающей сферы быта дѣйствовали на ея страстную и воспріимчивую натуру: внутренній міръ ея созданъ подъ вліяніемъ впечатлѣній другой сферы, подъ вліяніемъ чтенія, подъ вліяніемъ идей, которыя живутъ въ воздухѣ и какъ воздухъ проходятъ въ какой бы то ни было замкнутый и особый мірокъ. Этимъ можно оправдать даже ея мѣстами книжную рѣчь. Что касается, наконецъ, до психологическаго выхода ея характера, то этотъ выходъ могъ показаться насильственнымъ только развѣ той критикѣ, о которой мы уже говорили. Очевидно всякому, что словами; „я хочу жить. я имѣю право на счастье...“ авторъ не хотѣлъ ни поднять свою героиню на ходули ни навязать своей комедіи ложное или пошлое примиреніе, а только хотѣлъ быть вѣрнымъ передателемъ душевнаго процесса такихъ натуръ, какъ натура Марьи Андреевны, — натуръ, не скоро впадающихъ въ апатію разочарованія, добивающихся отъ жизни — правды. Очевидно также и то, что авторъ не дѣлитъ съ своей Марьей Андреевной надеждъ на моральное возвышеніе Максима Дороевича Беневоленскаго, — очевидно по его же указаніямъ, по всему слѣдующему за сценою V акта Марья Андреевна съ Меричемъ до конца комедіи, что разобьются въ прахъ такія надежды, хотя подлежитъ большому сомнѣнію, чтобы разбилась или обмельчала натура его героини.

Дѣйствительность, окружающая Марью Андреевну, — матеріально очень бѣдная, а нравственно весьма недалекая. На ознакомленіе насъ съ этой обстановкою Островскій употребилъ, какъ мы уже замѣтили, не драматическія, а эпическія средства: много лишнихъ подробностей, которыя сами по себѣ прекрасны, взятая отдѣльно, но ходу драмы не содѣйствуютъ, — вошло сюда. Зато мы знаемъ хорошо Анну Петровну, знаемъ Дарью, знаемъ Хорькову, знаемъ Добро-творскаго, — знаемъ, однимъ словомъ, этотъ особенный, совершенно московскій, даже замоскворѣцкій міръ мелкаго чиновничества, изображенный безъ малѣйшей злобы и задней

мысли. Нельзя не остановиться съ удовольствіемъ на отношеніи автора къ матери Марьи Андреевны, съ одной стороны, и на отношеніи его къ матери Хорькова — съ другой; принимая самое сильное участіе въ своей героинѣ, авторъ однако ничѣмъ не пожертвовалъ этому участію. Вы, напримѣръ, негодуете на Милашина, пристающаго къ Марьѣ Андреевнѣ съ пошлымъ и приторнымъ участіемъ въ тяжкую и рѣшительную минуту ея жизни, но ни разу не негодуете на Анну Петровну даже тогда, когда она попрекаетъ дочь въ неблагодарности, когда она настоятельно требуетъ чтобы та шла замужъ за Беневоленскаго; жаль вамъ Марьи Андреевны. да что жъ и старухѣ-то дѣлать? Жѣнщина она слабая, сырая: кромѣ того, что ей втемяшилась въ голову ідея Нха: какъ это безъ мужчины въ домѣ? — и домъ-то еще у нея оттягиваютъ. Недалека она — это точно, что недалека, да вѣдь она любить свою Машеньку; вѣдь въ концѣ она сама чувствуетъ, что что-то неладно: „Признаться сказать, скоренько дѣло-то сдѣлали; кто его знаетъ, въ него не влѣзешь“. Однимъ словомъ, нѣтъ возможности сердиться читателю на бѣдную старуху, когда ни авторъ ни сама Марья Андреевна на нее не сердятся.

Подъ пару къ этому глуповато-доброму существу старикъ Платонъ Марковичъ Добротворскій — лицо вполне живое и типическое, къ которому опять авторъ отнесся необыкновенно правильно и человѣчно. Это ничего, что онъ поцѣлуетъ въ рукавъ Максима Дорошенча Беневоленскаго; это ничего, что онъ добродушно замѣтитъ, говоря о лошаdkѣ Максима Дорошенча: „Ахъ проказникъ вы, проказникъ, Максимъ Дорошенчъ! Да вѣдь, чай, не купленная“ — абсолютныхъ понятій о честиности вы отъ него и не требуйте, — но вѣдь онъ трогательно привязанъ къ семьѣ своего благодѣтеля; онъ бѣгаетъ по всѣмъ присутственнымъ мѣстамъ, отыскивая жениха Машѣ: онъ скажетъ ей отъ души, по своему разумѣнію, доброе слово („Свистуны вѣдь они, матушка, никакой основательности нѣтъ. Не вѣрьте вы имъ. Нынче любятъ, а завтра разлюбятъ“). Онъ прежде всего заботится о тишинѣ и мирѣ, — но между тѣмъ когда дѣло идетъ объ участи Маши, которая устроилась, по его мнѣнію, благополучно, онъ даже Беневоленскому, къ которому относится съ уваженіемъ и съ нѣкоторою лестію, скажетъ основательно, боясь за старья его



машини: „Что жъ вы, отецъ мой, у меня съ Марьей-то Андреевнѣй дѣлаете? Вы этакъ у меня ее уморите, сердечную... А ужъ вы, батюшка, эти глупости-то оставьте“. Добрый, добрый старикъ, хотъ и не далеко онъ видитъ. Онъ совершенно подъ пару Аинѣ Петровнѣ, и правъ былъ авторъ, что къ нимъ обоимъ отнесся такъ человѣчно.

Цное отношеніе къ матери Хорькова, тоже мастерски задуманному и мастерски выполненному лицу. Тутъ же авторъ видимо относится со смѣхомъ къ претензіямъ полуобразованности — читателю больно за бѣднаго Хорькова въ сценѣ его объясненія съ Марьей Андреевнѣй, гдѣ Хорькова его, такъ сказать, подучиваетъ; еще яснѣе обозначается для васъ эта женщина въ третьемъ актѣ, когда она съ такимъ явнымъ злорадствомъ приходитъ къ матери Марьи Андреевны, чтобы вылить на бѣдную дѣвушку лужу сплетенъ. Вамъ очевидно, что она вломила въ амбицію — и что если такая женщина вломится въ амбицію, такъ тутъ только держись. Вамъ ясно, каково должно было быть ее вліяніе на натуру сына, и какіе слѣды на его душѣ должно было оставить это вліяніе.

Самъ Хорьковъ — опять скорѣе положеніе, чѣмъ лицо, точно такъ же, какъ и Марья Андреевна, — положеніе, слишкомъ великодушно брошенное авторомъ въ драму, когда оно само могло послужить предметомъ драмы, но положеніе, котораго наиболѣе яркія стороны набросаны кистью мастера. Какъ ни неудовлетворительно впечатлѣніе, получаемое отъ малоразвитыхъ его отношеній къ матери и къ Марьѣ Андреевнѣ, но все-таки эта „любовь изъ-за угла“, — удѣлъ натуръ слишкомъ сосредоточенныхъ и сначала запуганныхъ, потомъ попорченныхъ средою жизни, — трагическая безвыходность его положенія, постоянное недовольство собою и страстное разрѣшеніе невыносимаго душевнаго состоянія за-поемъ, показываютъ, какъ широка была задача поэта въ созданіи этого положенія. Повторяемъ опять, это положеніе брошено только слишкомъ великодушно, вѣроятно, отъ избытка силъ таланта. Въ сценическомъ выполненіи „Бѣдной невѣсты“ при искусной и теплой игрѣ актера, который возьметъ на себя роль Хорькова, положеніе можетъ уясниться, досказаться и произведетъ эффектъ поразительный. Замѣтимъ между прочимъ, что одинъ изъ критиковъ „Бѣдной невѣсты“ поставилъ Хорькову въ вину предложеніе Мплашину *перехваченныхъ*

писемъ *счастливаго* своего соперника. Зачѣмъ колотъ Хорькову глаза счастливымъ соперникомъ, — возразилъ на это въ свое время одинъ изъ насъ, рецензентовъ „Москвитянина“, — когда онъ не оказалъ къ нему ни ревности ни зависти, когда онъ сразу оставилъ всѣ свои надежды и, забывши о себѣ, заботился только о судьбѣ Марьи Андреевны? Вѣдь онъ не о себѣ хлопоталъ, изъ комедіи это ясно; за что же критикъ наводитъ сомнѣніе на его честность? Что это за условный взглядъ на поведеніе? Дѣвушка гибнетъ, опутанная сѣтями подлаго человѣка, и ей нельзя подать помощи! Неужели же Хорькову, который знаетъ цѣну Меричу, въ подобномъ случаѣ оглядываться съ сомнѣніемъ на свой поступокъ? Ему и въ голову не могло прийти, что онъ дѣлаетъ дурно; онъ слишкомъ сильно любилъ Марью Андреевну и слишкомъ мало любилъ себя.

Что касается до лица Беневоленскаго, то созданное совершенно цѣльно и притомъ заразъ, всей натурой, вылитое, онъ не требуетъ разъясненія отношенія къ себѣ автора. Тутъ нельзя даже указать на какія-либо особенныя черты — все тутъ типично, отъ желанія пріобрѣсть образованную жену и вмѣстѣ пріобрѣсти органчикъ для обученія канареекъ до пріобрѣтенія хорошей вещички отъ печально *набѣжавшаго* хорошаго человѣка и до разсказа о представленіи Роберта, въ которое, *загулявши*, не попалъ Максимъ Дорооенчъ: отъ возраженія на желаніе Анны Петровны, чтобы мужчина былъ непьющій: „Конечно... а знаете ли, сударыня, я вамъ осмѣлюсь сказать, что въ мужчинѣ даже и это ничего. Какъ ты думаешь, Платонъ Марковичъ, объ этомъ?“ — до зарокъ не пить, даннаго передъ свадьбой, при чемъ читатель остается убѣжденъ, что такой зарокъ данъ только до послѣ-свадьбы. а всего вскорѣ только до первой вѣрной оказіи. Особенно же хорошъ и просится въ картину Максимъ Дорооенчъ, когда самодовольно деретъ себя за хохоль, одѣтый женихомъ и стоя передъ зеркаломъ. А между тѣмъ, личность Беневоленскаго была бы все-таки неполна безъ *Дуни*. Несмотря на всю краткость двухъ сценъ, въ которыхъ она является — къ ея личности нельзя прибавить ни одной черты, вся жизнь ея передъ вами, какъ на ладони... Напоминать черты Дуни, значить, выписывать всѣ ея слова, всю сцену ея съ Беневоленскимъ, а равно и первую сцену съ Пашею, или по даннымъ заклю-



чающимися въ этихъ сценахъ, писать исторію этой женщины... Есть слова у Дуни въ высшей степени патетическія: „А все-таки, Паша... ты то возьми, лѣтъ пять жили... вѣдь жалко... Конечно, немного я отъ него добраго видѣла... больше слезъ, одного сраму что перенесла. Такъ, ни за что прошла молодость, и помянуть нечѣмъ“. Или ея обращеніе къ Беневоленскому: „Смотри жъ, живи хорошенько... Эта вѣдь тебѣ навѣкъ, не то что я... Ну, прощай, не поминай лихомъ, — добромъ нечѣмъ. Что это я какъ дура расплакалась, въ самомъ дѣлѣ? О! махнемъ рукой, Паша, завьемъ горе веревочкой!“ Всякій, кто и не знаетъ этого типа женщинъ, почувствуетъ невольно, что это все такъ именно должно сказаться, равно какъ и „адье, мусье“, брошенное на прощанье въ порывѣ какой-то размашистой удалы завятаго веревочкой горя, равно какъ и то, что Дуня издѣваясь пугаетъ Беневоленскаго прежде: „а хочешь, сейчасъ дебошъ сдѣлаю“, все, все, такъ, отъ ясныхъ намековъ на ея жизнь, когда Беневоленскій пріѣзжалъ къ ней „пьяный да безолаберный — такъ какъ обѣснующій какой“, до ея проническаго тона при встрѣчѣ съ нимъ и своего рода благородства въ словахъ: „Ты смотри, не загуби чужого вѣку даромъ. Грѣхъ тебѣ будетъ. Остепенись, да живи хорошенько“...

Въ заключеніе скажемъ нѣсколько словъ о Меричѣ и Милашинѣ... Что къ Меричу, а равно и къ Милашину отнесся авторъ въ высшей степени правильно, это ясно изъ того даже, что критика извѣстной школы до сихъ поръ сердится на него за эти лица. Что съ другой стороны, Меричъ и Милашинъ — превосходны только какъ задачи, что они не вызрѣли достаточно въ душѣ художника, это также ясно. Но общій психологическій процессъ такихъ натуръ, какъ натура Мерича и Милашина, представленъ до того осязательно, что вы, принимая участіе въ судьбѣ Марьи Андреевны, негодуете на того и другого и презираете ихъ. Можетъ быть, только двухъ-трехъ штриховъ рѣзца недоставало для довершенія этихъ фигуръ. Въ отношеніи того и другого къ Марьѣ Андреевнѣ слишкомъ явно, что они существуютъ только ради нея въ комедіи, что авторъ увлекался преимущественно драматизмомъ положенія и сосредоточилъ все на немъ, оставивши многое недосказаннымъ.

Но и того, что выполнено въ „Бѣдной невѣстѣ“, доста-

точно, чтобы она была замѣчательнымъ произведеніемъ во всякой литературѣ, а задачи ея такъ широки, благородны и новы, что, безъ сомнѣнія, поставляютъ автора во главѣ современнаго литературнаго движенія. *Григорьевъ.*

---

## Персонажи „Бѣдной невѣсты“.

„Бѣдная невѣста“ приходилась родною сестрою первой комедіи Островскаго, принадлежала — такъ же какъ и „Свои люди — сочтемся“ — къ числу первоклассныхъ и образцовыхъ явленій въ русской словесности. Новая комедія была не такъ сценична, какъ первая; предметъ ея не приходился по плечу каждому читателю, но она имѣла высокое литературное значеніе и должна была навсегда сдѣлаться любимой пьесой для людей съ развитымъ вкусомъ. Мы знаемъ не одного безпристрастнаго знатока, предпочитающаго вторую комедію Островскаго первой, — и сами отчасти раздѣляемъ это мнѣніе. Одна подаритъ намъ минуты наслажденія на театральныхъ подмосткахъ, — другая очаруетъ и увлечетъ читателя въ тиши кабинета. Одна поразитъ мастерствомъ хода и ледяющею силою катастрофы, — другая наведетъ на глубокіе вопросы жизни и заставитъ сердце наше облиться кровью. Одна удовлетворитъ всякую театральную публику, при исполненіи отчетливомъ, но самомъ обыкновенномъ, — другая можетъ быть понята массою лишь тогда, когда для главной роли отыщется геніальная артистка со всѣмъ обаяніемъ молодости, красоты и душевнаго благородства. Несмотря на то, что красоты „Бѣдной невѣсты“ менѣе доступны массѣ, нежели красоты комедіи „Свои люди — сочтемся“, ея содержаніе ближе къ общей жизни, ея лица типичнѣе. Въ созданіи дѣйствующихъ лицъ, какъ типовъ, виденъ успѣхъ автора и несомнѣнное движеніе впередъ. Для многихъ читателей семейство Большова съ его обстановкой — гости, любопытныя явленія, лица разнаго ему круга; но въ „Бѣдной невѣстѣ“ почти все персонажи — всѣмъ намъ сестры и братья. Частицъ нашего собственнаго я въ нихъ гораздо больше. Въ Аннѣ Петровнѣ, бѣдной чиновницѣ, можетъ узнать себя первѣйшая аристократка,

•



когда-либо выдававшая дочь по расчету; тысячи изяшныхъ и даже нравственно недурныхъ молодыхъ людей отыщутъ родственныя струны въ Меричѣ и Милашинѣ; Беневоленской живетъ и ходитъ между нами, — только не въ вицъ-мундирѣ со свѣтлыми пуговицами, но иногда въ кунеческомъ нарядѣ или въ синемъ кафтанѣ богатаго кулака-крестьянина. Нѣчто подобное можно сказать и о самыхъ второстепенныхъ лицахъ, о Дунѣ, о Дарѣ, о гостяхъ и зрителяхъ на свадьбѣ — въ этомъ страшномъ и поэтическомъ пятомъ актѣ, гдѣ авторъ поднялся на небывалую высоту творчества, смѣшавъ въ одно потрясающее цѣлое самые простые элементы московской жизни: свадьбу съ угощеніемъ, слезы невесты, простудное довольство людей, ее загубившихъ, горькія шутки покинутой любовницы, комическую болтовню зрителей и перебранки салоппницъ между собою. Говоримъ смѣло — человѣкъ, который, послѣ серіознаго чтенія этого пятого акта, не увидитъ въ немъ истинно вдохновенной *гармоніи творчества*, лучше сдѣлаетъ, если обратится къ изученію современной политики или наукъ точныхъ: съ поэзіей ему дѣлать нечего.

Что же сказать о главномъ лицѣ комедіи, — о дѣвушкѣ, вокругъ которой сплетаются всѣ нити мастерски задуманной интриги? Марья Андреевна, бѣдная невеста чиновника Беневоленскаго, есть истинное поэтическое созданіе и по личности своей, и еще болѣе по своему значенію. Это лицо, повторяемъ мы, только тогда будетъ понятно вполне, когда на русской сценѣ явится геніальная артистка для выполненія роли Маріи Андреевны. Собственно какъ дѣвушка, бѣдная невеста не имѣетъ въ себѣ ничего особеннаго геройскаго или обворожительнаго: это юное, счастливо одаренное и чистое душою созданіе, какихъ въ свѣтѣ бываетъ не мало. Главную прелесть получаетъ она отъ положенія, въ которое поставлена, и самое положеніе это до чрезвычайности просто, безъ него даже, до нѣкоторой степени, не обходится ни одно дѣвическое существованіе. Стѣсненные дѣла семейства, глупая мать, въ которой эгоизмъ, любовь, безстелковость и слезливость перепутанны въ какую-то неразрывную сѣтку, красивый и пустоголовый мальчикъ, въ первый разъ заставившій заговорить молодое сердце, женихъ-взяточникъ... во всемъ этомъ немного новаго. Новаго въ положеніи —

одна глубина и правда. Милліоны несчастныхъ замужествъ питають собою романистовъ и драматурговъ, отъ Ричардсона до Дюма-сына, отъ Прудона до Дебри и Виктора Сежура, отчего же вся тема до сей поры не опошлилась окончательно? Оттого, что глубина и правда въ обработкѣ даннаго содержанія тѣмъ необходимѣе, чѣмъ самое содержаніе вседневнѣе. Не одна рутинна вредитъ дѣлу, — иногда ему вредитъ экзальтація и горячность. Наши Жоржъ-Санды мужского и женскаго пола, всѣхъ возрастовъ и званій, отъ старыхъ дѣвъ до старыхъ Тирсисовъ, пытались произнести благонамѣренные протесты противъ разныхъ печальныхъ положеній въ жизни женщины, но какой изъ протестовъ этихъ стоить созданіе „Бѣдной невѣсты“ и простого драматическаго изложенія ея участи?

Женщинамъ, у которыхъ умъ хорошо развитъ и сердце понятно, мы советуемъ перечестъ „Бѣдную невѣсту“ гдѣ-нибудь въ тишинѣ, съ должнымъ вниманіемъ. Онѣ оцѣнятъ поэта и возблагодарятъ его отъ души. Много знакомаго найдутъ онѣ на страницахъ его комедій, найдется столько горькихъ слезъ и сердце разрывающихъ воспоминаній. Можетъ-быть, онѣ поймутъ и оцѣнятъ не одну Марью Андреевну, можетъ-быть, онѣ задумаются надъ покинутою Дуняшею...

*Дружининъ.*

### Чтеніе комедіи „Бѣдная невѣста“ на раутѣ.

Въ 1851 году, въ „Москвитянинѣ“ не было напечатано ни одного художественнаго произведенія А. Н. Островскаго. Въ это время онъ писалъ свою знаменитую комедію „Бѣдная невѣста“, о которой говорилъ Погодину: „Я хотѣлъ показать только всѣ отношенія, вытекающія изъ характеровъ двухъ лицъ, изображенныхъ мною; а такъ какъ въ моемъ намѣреніи не было писать комедію, то я и представилъ ихъ голо, почти безъ обстановки (отчего и назвалъ этюдомъ). Если принять въ соображеніе существующую критику, то я поступилъ неосторожно: какъ вещь очень тонкую, имъ не понять ея, и они возмуть ее со стороны формы, принимая въ основаніе тѣ шаткія и условныя положенія, которыя выработались при нынѣшнемъ литературномъ развратѣ



во французской и петербургской литературѣ. Не говорю уже о литературныхъ журналахъ“.

Творческая работа мѣшала Островскому заниматься въ „Москвитянинѣ“ такими предметами, которые не соответствовали его призванію. „Писать мнѣ, — сознается онъ Погодину, — какія-либо другія вещи для „Москвитянина“, кромѣ художественныхъ, очень тяжело, вслѣдствіе разныхъ сплетней, которыя помаленьку отодвигаютъ насъ отъ васъ“.

Несмотря на это, Островскій до времени не прерывалъ своихъ сношеній съ Погодинымъ и на требованіе послѣдняго, чтобы онъ печаталъ свои произведенія только въ „Москвитянинѣ“, отвѣчалъ: „Пьесъ обѣщанныхъ вы напечатали много: Плавтова комедія готова, и печатайте ее хоть сейчасъ; „Бѣдная невѣста“ была готова еще лѣтомъ; „Сцены изъ русской жизни“ я уже началъ; только Александра Македонскаго вамъ придется подождать. Вы знаете, въ какое положеніе я былъ поставленъ въ началѣ нынѣшняго лѣта критиками, и потому мнѣ хочется выступить съ чѣмъ-нибудь важнымъ, совершенно додѣланнымъ. Мелкія вещи я боюсь пускать. „Бѣдную невѣсту“ я вамъ доставлю скоро и двѣ или три сцены изъ русскаго быта. А впрочемъ, все-таки надобно поговорить лично, потому что, какъ я вижу, дѣла начинаютъ запутываться“.

Хотя комедія Островскаго „Бѣдная невѣста“ и была окончена, но онъ боялся выпускать ее въ свѣтъ. „Комедія моя позамѣшкалась“, писалъ онъ Погодину, „потому что я слышалъ комедію Писемскаго и нашелъ нужнымъ свою подкрасить нѣсколько, чтобы не краснѣть за нее. Меня мучаетъ переписка ея, я ужасно боюсь глаза потерять. Я на-дняхъ привезу ее къ вамъ почитать, и потолкуемъ объ ней“. Отрывокъ изъ „Бѣдной невѣсты“ Островскій, впрочемъ, рѣшился напечатать въ „Раутѣ“ Сушкова. Напечатанный отрывокъ, по замѣчанію М. А. Дмитріева, „отличается живостью и комизмомъ языка: качества, и всегда придающія большое достоинство всякой комедіи“.

Наконецъ, въ декабрѣ того же 1851 года, на Растопчинской субботѣ Островскій рѣшился прочесть свою „Бѣдную невѣсту“ и произвелъ ею на слушателей, въ томъ числѣ и на Шевырева, сильное впечатлѣніе. Шевыревъ подѣлился своими впечатлѣніями съ Погодинымъ: „Я къ тебѣ самъ

хотѣлъ писать о томъ пріятномъ впечатлѣніи, которое произвела на меня новая комедія Островскаго. Я радъ за него и его дарованіе; это произведеніе разсѣетъ всѣ нелѣпые слухи, которые были на его счетъ. Миѣ кажется, многіе характеры здѣсь схвачены глубже изъ жизни, и пріятно видѣть то, что авторъ идетъ впередъ, и въ пониманіи жизни и искусства. Это не то, что раки западные: прогрессъ на языкѣ, а понятные шаги на дѣлѣ“. Точно такъ же и графиня Ростопчина писала: „Бѣдная невѣста“ — картинка и этюдъ самаго нѣжно-отчетливаго фламандскаго рода: она произвела на меня такое же впечатлѣніе, какъ нѣкогда прелестная повѣсть Сентъ-Бева — „Кристень“, въ „Revue des Deux Mondes“. Характеры просты, обыкновенны даже, но представлены и выдержаны мастерски; *твояника* мила и трогательна до крайности, но, можетъ-быть, не вдругъ и не всѣ поймутъ это произведеніе, которое, впрочемъ, займетъ свое мѣсто. У Островскаго комизмъ граничитъ всегда съ драматическимъ элементомъ, а смѣхъ переходитъ въ слезы: хоть тяжело, но не оставляетъ озлобленья“...

Когда слухъ объ успѣхѣ Островскаго достигъ Костромы, то Писемскій, въ самый день Рождества 1851 года, писалъ Погодину: „Сейчасъ получилъ письмо отъ Островскаго... Радуюсь его успѣху и заочно восклицаю: Ура!!! Выдирай наши!!!“

*Барсуковъ.*

### Содержаніе „Грозы“.

Въ дрянномъ, затхломъ уѣздномъ городишкѣ, въ которомъ должны быть хорошіе лабазы и „нарочитая“ торговля крупчаткой, въ городкѣ, въ которомъ начальническою милостью правитъ безапелляціонно какой-нибудь городничій, въ которомъ (городкѣ) есть достаточное число храмовъ Божіихъ, и дома обывателей выстроены прочно, съ крѣпкими воротами, какъ у раскольниковъ, и болѣе крѣпкими засовами; въ городкѣ, въ которомъ люди умѣютъ богатѣть, въ которомъ непременно должна быть одна большая, грязная улица и на ней нѣчто въ родѣ гостиннаго двора, и почетные купцы, о которыхъ г. Тургеневъ сказалъ, что они „трутся обыкновенно около своихъ лавокъ и притворяются будто тор-



гуютъ“, — въ этакое-то городѣ, какихъ мы съ вами видали много, а проѣзжали, не выдавъ, еще болѣе, произошла трогательная драма, которая насъ такъ поразила. Мы забыли сказать, что это городокъ приволжскій, опоясанный, какъ лентой, этой торговой, широкой рѣкой. Въ это благополучное мѣсто присылается изъ Москвы молодой человѣкъ въ приказчики ко вдовцу-дядѣ, торгующему хлѣбомъ (Дикой). Вдовца видѣли мы на сценѣ постоянно пьянымъ, и потому ничего не говоримъ о немъ. Жить въ этомъ городѣ такъ пріятно, что одинъ молодой супругъ (Кабановъ), силою материнской власти, обвиняемый съ неизвѣстною ему, но прекрасною дѣвушкою, надрывается отъ тоски и норовитъ, какъ бы найти случай уѣхать въ Москву, гдѣ есть и заведенія, и органы, и трактиры, съ утра до вечера набитые молодыми туго завитыми и сильно намаженными купеческими головами — тамъ и для молодого купца обѣтованный край. Жена Кабанова — главное дѣйствующее лицо драмы — молодая женщина, взятая изъ бѣднаго семейства и подведенная подъ материнское начало семейной жизни и всѣ ея послѣдствія — какъ-то: отсутствіе собственной воли, отсутствіе собственнаго уголка, собственной копейки, право имѣть собственный умъ и собственное чувство — эта молодая женщина въ полгода пріобрѣтаетъ грустную склонность измѣрить глубину ли Волга. Таковы удовольствія въ хлѣбородномъ губернскомъ городѣ N. Естественное послѣдствіе, естественное до осязаемости по ходу пьесы — то, что молодая женщина, долго таившая въ себѣ божественную искру, попираемую и ногами строгой свекрови, и суровыми обычаями городскими, и непривѣтливость мѣщанокъ, утоляющихъ незримую жажду жизни весьма практически — что она не выдерживаетъ и чувствуетъ потребность любить. Чудный рассказъ ея о томъ, что грезилось и видѣлось ей, воспитанной старинными сказками и религіозными легендами странницъ, когда сердце ея требовало новой жизни, сначала до конца полонъ истинной русской поэзіи. Она влюбляется въ молодого человѣка, присланнаго изъ Москвы (племянника Дикого). Нѣтъ ничего мудренаго, что и молодой человѣкъ чувствуетъ то же въ отношеніи къ ней. Когда они стали въ такое положеніе, божественная искра, которая живетъ въ душѣ каждаго, въ комъ есть силы и жажда луч-

шаго, эта искра, какъ молнія, вдругъ освѣтила всю настоящую и ожидающую молодыхъ людей жизнь въ хлѣбородномъ, строго-нравственномъ городкѣ N. Этотъ трепеть новой жизни, это познаніе красоты, прежде недоступной, вдругъ освѣщаетъ истиннымъ свѣтомъ всю картину, всю жизнь и всю натуру русскаго человѣка, которая не можетъ больше вынести наложенныхъ на нее путъ и разрываетъ ихъ. Куда дѣвались строгіе, старинные совѣты матери? куда пропала богобоязненность городка, которую никто не смѣетъ обойти? куда исчезла вѣра супружеская?... Все это спрашиваетъ сама у себя молодая женщина, и съ ужасомъ не находитъ отвѣта. Все ей кажется не такъ, какъ должно быть: и замужемъ-то она не такъ, какъ бы слѣдовало, и мать говоритъ по-книжному, сухо, и не понимаетъ живой души; и мужъ-то не можетъ быть поддержкой ей, потому что не понимаетъ ни ея тоски ни ея жажды. Все прахомъ разлетѣлось передъ молодой женщиной, и осталась она одна въ богоспасаемомъ городкѣ, съ своею любовью, съ своимъ сердцемъ, которое требуетъ отвѣта, и которое не научили ничему и лишили всего. И въ это время инстинктъ натуры, заглушенный всѣми возможными средствами, вступаетъ въ права свои. Природа такъ хороша на привольномъ волжскомъ берегу, луна такъ мягко свѣтитъ въ оврагѣ, за садомъ; ключъ отъ калитки готовъ у сестры Вари, которая давно знакома съ прелестью ночныхъ свиданій — и вотъ молодая женщина, сама не зная, что съ нею дѣлается, сходитъ въ этотъ оврагъ на свиданіе, и на берегу Волги, въ жаркихъ и запрещенныхъ поцѣлуяхъ молодого человѣка ищетъ отвѣта на вопросы, которыхъ не могли ей разрѣшить ни старуха-свекровь, ни чинный хлѣбородный городокъ, ни мужъ, ни древнія писанія на стѣнахъ византійскаго зданія. За увлеченіемъ начинается раскаяніе. Силой вѣковой встаютъ передъ молодой женщиной и угрызенія совѣсти, и обманутый мужъ, и страхъ свекрови, и стыдъ передъ городкомъ, и древнія писанія въ старинныхъ книгахъ... Не устояла бѣдная женщина, да и гдѣ ей найти опору? Созналась въ винѣ передъ мужемъ и Богомъ, покаялась. Но сердцу отъ этого не легче, и когда молодого человѣка услали въ далекую Сибирь по дѣламъ — невыносимъ показался ей городокъ, и она бросилась въ Волгу. Вотъ неудачно рассказанный нами скелетъ превосход-



ной драмы. Нѣтъ поученія въ немъ, не доказывается истинъ новыхъ; но въ немъ все ново. Нова смѣлось постановки окружающихъ лицъ; нова обрисовка городка; нова драма, вышедшая изъ крѣпко поставленныхъ главныхъ основъ жизни. Въ этой страсти, въ этой драмѣ, разыгравшейся въ душѣ молодой, неопытной и слѣпо вѣрившей преданіямъ женщины — вся красота, вся правда. На самой бесплодной, казалось бы, для поэзіи почвѣ выросла самая прекрасная сторона души человѣческой; мизернѣйшій изъ мизерныхъ городковъ русскихъ, въ которомъ мы съ вами не искали ничего, кромѣ плохихъ баранокъ и загнанныхъ почтовыхъ лошадей, нашли мы городокъ полнымъ жизни и страсти; на сухой почвѣ старинныхъ преданій, изъѣденныхъ формалистикой, мы нашли полные жизни побѣги и чувства и страсти.

*Дудышкинъ.*

### Художественный колоритъ „Грозы“.

Авторъ преимущественно посвятилъ свой талантъ драматическому роду поэзіи. Онъ особенно замѣчателенъ такъ называемыми типическими лицами. Изучивъ бытъ русскаго купеческаго сословія, онъ постоянно выводитъ изъ него на сцену характеры, разнообразя свои сочиненія богатствомъ красокъ жизни и самыми вѣрными чертами домашняго быта.

Въ новой своей драмѣ онъ расширилъ сферу для дѣятельности таланта своего. Не семья одна съ обычными видоизмѣненіями лицъ и характеровъ ихъ составляетъ предметъ изученія поэта: ему захотѣлось воспользоваться, въ нѣкоторомъ отношеніи, общественною жизнью маленькаго русскаго городка, прекраснымъ его мѣстоположеніемъ на берегу Волги. особенностями полусельскихъ и полугородскихъ обычаевъ нашихъ, столкновеніями еще замѣтно господствующаго невѣжества и уже, хотя случайно, проглядывающей образованности. На такомъ основаніи, которое, во-первыхъ, крѣпко, потому что авторъ всегда описываетъ только то, что онъ дѣйствительно изучилъ, а во-вторыхъ, которое богато просторомъ, раздвинувшись на всю пестроту мѣстной жизни, — на такомъ основаніи Островскій постановилъ пяти-актную драму. Главный интересъ сосредоточенъ на существѣ, по

характеру, по воображенію и по сердцу самомъ поэтическомъ. Богатая купчиха, вдова, женщина грубая и самовластная, тяготѣетъ надъ своимъ семействомъ, какъ нестерпимое ярмо. Подъ деспотическою властію свекрови изнываетъ, ни откуда не видя ни утѣшенія ни защиты, молодая женщина, которой мужъ, въ безвыходномъ своемъ загонѣ и ничтожествѣ, только и услаждается, исподтишка предаваясь пьянству, а сестра его, лукавая со всѣми, никого не любитъ и всѣхъ обманываетъ. Надъ жертвою несчастнаго брака воображеніе автора умѣло совокупить черты привлекательныя и трогательныя, изъ которыхъ въ сущности своей ни одна не отходитъ отъ русскаго типа молоденькой несчастливцы въ ея убійственномъ положеніи. Въ домашнемъ быту она дѣтски покорна безжалостной свекрови своей, хотя и чувствуетъ всю несправедливость грубаго ея съ нею обхожденія. Въ мужѣ своемъ она не смѣетъ презирать даже пороковъ его, покоряясь судьбѣ своей, какъ предназначеніе свыше. Сестру его она и не подозреваетъ ни въ какомъ дурномъ умыслѣ, чувствуя, что и надъ нею лежитъ тяжесть ихъ общей притѣснительницы.

Но въ тѣ мгновенія, когда мысль ея возвращается къ жизни прошлой, къ невиннымъ забавамъ ея дѣтства, къ тому счастью, которымъ ее окружала мать, и ко всѣмъ предметамъ, занимавшимъ ее до замужества, эта самая женщина представляется въ другомъ образѣ, оживленная, полная прелести ощущеній чистыхъ, не фантастическихъ, но послѣдовательно сопровождающихъ простую, мирную жизнь счастливой дѣвушки въ благочестивомъ и безбѣдномъ домѣ добрыхъ родителей, сохранившихъ прародительскіе нравы. Обо всемъ этомъ она рассказываетъ такъ: „Встану я, бывало, рано; коли лѣтомъ, такъ схожу на ключикъ, умоюсь, принесу съ собою водицы, и всѣ, всѣ цвѣты въ домѣ полью. У меня цвѣтовъ было много, много. Потомъ пойдемъ съ маменькой въ церковь, всѣ, и странницы — у насъ полонъ домъ былъ странницъ да богомолковъ. А придемъ изъ церкви, сядемъ за какую-нибудь работу, больше по бархату золотомъ; а странницы станутъ рассказывать, гдѣ они были, что видѣли; житія разныя, либо стихи поютъ. Такъ до обѣда время и пройдетъ. Тутъ старухи уснутъ лягутъ, а я по саду гуляю. Потомъ къ вечернѣ, а вечеромъ опять рассказы да пѣніе. Таково хорошо было!“



Подъ вліяніемъ столь прекрасныхъ впечатлѣній, душа, въ сферѣ самой простой жизни, незамѣтно становится открытою поэтическимъ, высшимъ внушеніемъ, и даже бессознательно чувствуетъ потребность въ сліяніи съ другою душой, родственной съ нею по ощущеніямъ и желаніямъ. На этомъ законѣ естественной симпатіи одинаково мыслящихъ и одинаково чувствующихъ существъ основная завязка драмы, оканчивающейся самовольною смертію жертвы роковой любви. Въ драматической ея исторіи все идетъ постепенно и понятно. Въ изложеніи переходовъ ея сердца отъ одного чувства къ другому ничего нѣтъ ни ошибочно придуманнаго ни черезъ мѣру усиленнаго. Вы съ истиннымъ участіемъ входите въ положеніе ея; чувствуете, что въ ея отношеніяхъ къ мужу и прочимъ лицамъ семейства ничего нѣтъ неправильнаго, ничего вызывающаго укоризну. Наконецъ, самое заблужденіе ея, въ которомъ она дошла до возмутительнаго проступка, такъ связано съ неотвратимыми обстоятельствами ея семейнаго положенія, что оно вызываетъ одно невольное сожалѣніе — и тутъ-то выказывается полный успѣхъ драматическаго дарованія автора.

Прочія типическія лица сочиненія въ полномъ свѣтѣ представляютъ общественную жизнь городка, въ которомъ совершается драма. У сочинителя столько въ запасѣ характеровъ, ихъ странностей и поучительныхъ для наблюдателя чертъ, что сцены постоянно интересны и любопытны; драматическое движеніе нигдѣ не ослабѣваетъ, а между тѣмъ общественныя отношенія и естественный ходъ жизни никакимъ искусственнымъ усиленіемъ не нарушены и не ослаблены. Самый языкъ дѣйствующихъ лицъ нигдѣ не вызываетъ сомнѣнія насчетъ вѣрности своей и не подлежитъ никакому спору относительно оборотовъ рѣчи и выбора выраженій.

*Плетневъ.*

## Стихи русской жизни, нарисованныя въ „Грозѣ“.

Въ „Грозѣ“ съ изумительной силой художественности нарисовалъ поэтъ три стихи русской жизни: жестокіе нравы самодурнаго быта Дикіхъ и Кабановыхъ, веселье молодой жизни, близкой къ природѣ, и возникающее и гибнущее въ ро-

новой дѣйствительности личное начало, готовое быть въ мирѣ съ окружающимъ, признавъ и принявъ его правдивыя стороны, но не признаваемое имъ и отталкиваемое, ибо въ этомъ окружающемъ правда и ложь, добро и зло неразрывно перепутались.

— Жестокіе нравы, сударь, въ нашемъ городѣ, жестокіе! (говорить Кулигинъ Борису про изображенный въ драмѣ купеческій міръ)... у кого деньги, сударь, тотъ старается бѣднаго закабалить, чтобы на его труды даровые еще больше денегъ наживать... А между собой-то, сударь, какъ живутъ! Торговлю другъ у друга подрываютъ, и ни столько изъ корысти, сколько изъ зависти. Враждуютъ другъ на друга: залучаютъ въ свои хоромы пьяныхъ приказныхъ... а тѣ имъ, за малую благодѣтельность, на гербовыхъ листахъ злостныя клеветы строчатъ на ближнихъ...

Живутъ все замкнувшись, взаперти.

Вы думаете, они дѣло дѣлаютъ, либо Богу молятся. Нѣтъ, сударь! И не отъ воровъ они запираются, а чтобы люди не видали, какъ они своихъ домашнихъ дѣдятъ поѣдомъ да семью тиранятъ. И что слезъ льется за этими запорами, невидимыхъ и неслышимыхъ!... И что, сударь, за этими замками разврату темнаго да пьянства... Семья, говоритъ, дѣло тайное, секретное! Знаемъ мы эти секреты-то! Отъ этихъ секретовъ-то, сударь, ему только одному весело, а остальные—волкомъ воютъ. Да и что за секретъ? Кто его не знаетъ! Ограбить свроть, родственниковъ, племянниковъ, заколотить домашнихъ такъ, чтобы ни о чемъ, что онъ тамъ творить, пикнуть не смѣли. Вотъ и весь секретъ.

Дикости нравовъ совершенно соотвѣтствуетъ дикость невѣжества этого міра.

Ну, какъ же ты не разбойникъ! (кричитъ Дикой на Кулигина, предлагающаго устроить громоотводъ). Гроза-то намъ въ наказаніе посылается, чтобы мы чувствовали, а ты хочешь шестами да рожнами какими-то, прости Господи, обороняться. Что ты, татаринъ, что ли?

— Савель Прокофьевичъ, ваше степенство (возражаетъ Кулигинъ), Державинъ сказалъ:

„Я тѣломъ въ прахъ истлѣваю,  
Умомъ громамъ повелѣваю“.

— А за эти вотъ слова тебя къ городничему отправить, такъ онъ тебѣ задастъ! (продолжаетъ свое Дикой).

Страница Оеклуша просвѣщаетъ невѣжественныхъ обывателей Калинова пріобрѣтенными ею въ путешествіяхъ свѣ-



дѣніями о томъ, что есть такіа страны, гдѣ и царей-то нѣтъ православныхъ, а султаны землей правятъ: „салтанъ Махнутъ турецкій да салтанъ Махнутъ персидскій“.

— И не могутъ они ни одного дѣла разсудить праведно, такой ужъ имъ предѣлъ положенъ... И всѣ суды у нихъ, въ ихнихъ странахъ, тоже все неправедные; такъ имъ... и въ просьбахъ пишутъ: „суди меня, судья неправедный!“ — А то есть еще земля, гдѣ всѣ люди съ песьими головами.

Въ IV актѣ драмы укрываются обыватели отъ дождя подъ старинными расписанными сводами, изъ любопытства начинаютъ разсматривать геенну огненную, изображеніе битвы... Но то, что когда-то было знакомо народу, теперь забыто, — случайно уцѣлѣвшее въ памяти слово Литва вызываетъ лишь дикое представленіе о томъ, что эта Литва, „она на насъ съ неба упала“; а про геенну огненную любознательный созерцатель находится только замѣтить, что „довольно затруднительно это понимать“ — что такое тутъ „нарисовано было“; да еще занимаетъ его вопросъ — „ѣдутъ“ ли въ геенну промежду всякаго званія и чину людей и арапы? (да и арапы-то, вѣроятно, бѣлые).

Дикой и Кабаниха — представители въ драмѣ дикихъ нравовъ, беспощадно суроваго отношенія къ жизни и людямъ. Но между ними есть существенная разница: Дикой — самодуръ, Кабаниха гнететъ и ломитъ жизнь во имя не своего произвола, а принциповъ, законовъ.

Савель Прокофьевичъ Дикой — самодуръ въ самомъ полномъ смыслѣ слова. Что взбредетъ въ его ограниченную голову, то онъ и дѣлаетъ, и праву его никто, по его мнѣнію, не смѣетъ и не долженъ препятствовать.

— Разъ тебѣ сказалъ, два тебѣ сказалъ: „не смѣй мнѣ навстрѣчу попадаться!“ (кричитъ онъ на племянника Бориса) тебѣ все неймется! Мало тебѣ мѣста-то? Куда ни пойдешь, тутъ ты и есть! Тыфу ты, проклятый!

Дикой жаденъ до денегъ — и нѣтъ для него ничего хуже, какъ отдавать деньги; онъ никому изъ служащихъ у него не назначаетъ поэтому жалованья. „Нешто ты мою душу можешь знать? (говоритъ онъ). А можетъ, я приду въ такое расположеніе, что тебѣ пять тысячъ дамъ“. Само собою разумѣется, что онъ „во всю свою жизнь ни разу въ такое-то

расположеніе не приходилъ“, какъ говоритъ Кудряшъ. — Когда нужно расплачиваться, онъ нарочно старается разсердить себя, чтобы накричать на человѣка, просящаго денегъ.

— Другъ ты мнѣ (объясняетъ свой нравъ онъ самъ), и я тебѣ долженъ отдать, а приди ты у меня просить — обругаю. Я отдать — отдамъ, а обругаю. Потому только заикнись мнѣ о деньгахъ, у меня всю внутреннюю разжигать станетъ.

Онъ „воинъ“, по опредѣленію Кабанихи, и у него, по его собственнымъ словамъ, въ домѣ постоянно „война идетъ“. — Эгоизмъ Дикого совершенно беззастѣнчивый и совершенно наивный, а потому и высказывается вполне откровенно. Онъ долженъ (по нелѣпому завѣщанію бабки Бориса) отдать племяннику и племянницѣ хранящееся у него наследство лишь подъ тѣмъ условіемъ, если они окажутся къ нему почтительны. Онъ пользуется подобнымъ обстоятельствомъ, заставляетъ Бориса служить себѣ даромъ, ломается надъ нимъ, и начинаетъ простодушно поговаривать: „У меня свои дѣти, за что я чужимъ деньги отдамъ? Черезъ это я своихъ обидѣть долженъ!“ — Кулигинъ рассказываетъ, какъ однажды мужики пошли на него жаловаться городничему, что ни одного изъ нихъ путемъ не разочтеть.

Городничій и сталъ ему говорить: „Послушай, говоритъ, Савель Прокофичъ, рассчитывай ты мужиковъ хорошенько! Каждый день ко мнѣ съ жалобой ходятъ“.

А онъ

поирепалъ городничаго по плечу и говоритъ: „Стойтъ ли, ваше высокоблагородіе, намъ съ вами объ такихъ пустякахъ разговаривать! Много у меня въ годъ-то народу перебываетъ; вы то поймите: не доплачу я имъ по какой-нибудь копейкѣ на человѣка, а у меня изъ этого тысячи составляются, такъ оно мнѣ и хорошо!“

Всякаго Дикой обругаетъ, ни передъ кѣмъ не остановится, — передъ однимъ человѣкомъ только онъ пасуетъ — это Кабаниха; она одна только можетъ его „разговорить“, по его выраженію. Онъ и на нее иной разъ пыгается прикрикнуть: „Ну, такъ что жъ, что я воинъ! Ну, что жъ изъ этого?“ Но она умѣетъ его осадить. Когда онъ, по самодурному либерализму обругалъ сираницу Феклушу, Кабаниха спокойно и сурово говоритъ ему: „Ну, ты не очень горло-то распускай! Ты найди подешевле меня! А я тебѣ дорога!“



II Дикой сдерживается: „Постой, кума, стой! не сердись!“ просить онъ. — Кабаниха — представительница жизненныхъ принциповъ, крѣпка опорой на законъ, потому Савель Прокофичъ и смряется передъ ней: безудержный самодуръ, онъ, однако, вообще боится нравственнаго закона: очень интересенъ въ этомъ смыслѣ его рассказъ Кабанихѣ, какъ, говоря о Великомъ посту, изругалъ онъ мужика, пришедшаго за деньгами, „такъ изругалъ, что лучше требовать нельзя“, и какъ потомъ у этого мужика прощенья просилъ:

— Истинно тебѣ говорю (повѣствуетъ Савель Прокофичъ), мужику въ ноги кланялся. Вотъ до чего меня сердце доводитъ; тутъ на дворѣ въ грязи ему и кланялся; при всѣхъ ему кланялся.

Само собою разумѣется, что уваженіе Дикого къ закону чисто виѣшнее: онъ поклоняется мужику передъ исповѣдью, а потомъ мужику же будетъ плохо.

Кабаниха (въ противоположность Дикому) — человекъ твердыхъ принциповъ, но принциповъ ужасныхъ, беспощадныхъ и безчеловѣчныхъ.

— Ханжа, сударь! (говорить о ней Кулигинъ Борису Григоричу). Нищихъ одѣляетъ, а домашнихъ заѣла совсѣмъ.

А заѣла она домашнихъ и довела до гибели, потому что особенно и дико понимаетъ два нравственныхъ закона — о почитаніи родителей и о повиновеніи жены мужу. — Дѣти, по мысли Кабанихи, должны совершенно слѣпо, не разсуждая, исполнять родительскую волю, не имѣя собственной воли. Жена должна рабски, униженно подчиняться мужу и бояться его. Эти законы Кабаниха не сама облекла въ такую суровую, грубую форму, — она (по смыслу драмы) наслѣдовала ихъ въ такомъ ихъ видѣ отъ старины. Она съ печалью думаетъ о новомъ времени, въ которое (боится она) рушатся прежніе порядки, и утѣшаетъ себя только тѣмъ, что ужъ не увидитъ подобнаго развращенія нравовъ, не доживетъ до него:

— Молодость-то что значить! Смѣшно смотрѣть-то даже на нихъ. Кабы не свои, посмѣялась бы досыга. Ничего-то не знаютъ, никакого порядка. Проститься-то путемъ не умѣютъ. Хорошо еще, у кого въ домѣ старшіе есть, ими домъ-то и держится, пока живы. А вѣдь тоже, глупые, на свою волю хотятъ; а выйдутъ на волю-то, такъ и путаются на покоръ да смѣхъ добрымъ людямъ. Конечно, кто и пожалѣетъ, а больше все смѣются. Да не смѣяться-то нельзя;

гостей позовутъ, посадить не умѣютъ, а еще, гляди, позабудутъ кого изъ родныхъ. Смѣхъ да и только! Такъ-то вотъ старина-то и выводится. Въ другой домъ и взойти-то не хочется. А и взойдешь-то, такъ плюнешь да вонъ скорѣе. Что будетъ, какъ старики перемрутъ, какъ будетъ свѣтъ стоять, ужъ и не знаю. Ну, да ужъ хоть то хорошо, что не увижу ничего.

Кабаньиха страшна не столько своими убѣжденіями, сколько своею твердостью въ нихъ; она безпощадна въ карѣ за нарушение закона; для нея — пусть міръ погибнетъ, но да восторжествуетъ принципъ (*fiat justitia — pereat mundus*). Какъ ржа желѣзо, точить она своего слабовольнаго сына за то, что онъ мало ее уважаетъ, что онъ жену любитъ больше, чѣмъ мать, что онъ будто бы хочетъ жить своею волей. — „Хоть бы то-то помнили, сколько матери болѣзней отъ дѣтей переносятъ“, говоритъ она сыну.

— Если родительница что когда и обидное, по вашей гордости, скажетъ, такъ, я думаю, можно бы перенести! А, какъ ты думаешь?

КАБАНОВЪ. Да когда же я, маменька, не переносилъ отъ васъ?

КАБАНОВА. Мать стара, глупа; ну, а вы молодые люди, умные, не должны съ насъ, дураковъ, и взыскивать.

КАБАНОВЪ (*вздыхая*). Ахъ, ты, Господи! Да смѣемъ ли мы, маменька, подумать!

КАБАНОВА. Вѣдь отъ любви родители и строги-то къ вамъ бываютъ, отъ любви васъ и бранятъ-то, все думаютъ добру научить. Ну, а это нынче не правится. И пойдутъ дѣтки-то по людямъ славить, что мать — ворчунья, что мать проходу не даетъ, со свѣту сживаетъ. А сохрани Господи, какимъ-нибудь словомъ снохѣ не угодить, ну и пошелъ разговоръ, что свекровь заѣла совѣмъ.

КАБАНОВЪ. Нешто, маменька, кто говоритъ про васъ?

КАБАНОВА. Не слыхала, мой другъ, не слыхала, лгать не хочу. Ужъ кабы я слыхала, я бы съ тобой, мой милый, тогда не такъ заговорила...

.....

КАБАНОВА. Знаю я, знаю, что вамъ не понутру мои слова, да что жъ дѣлать-то, я вамъ не чужая, у меня объ васъ сердце болить. И давно вижу, что вамъ воли хочется. Ну, что жъ, дождетесь, поживете и на волѣ, когда меня не будетъ. Вотъ ужъ тогда дѣлайте что хотите, не будетъ надъ вами старшихъ. А можетъ, в меня вспомняете.

КАБАНОВЪ. Да мы объ васъ, маменька, деино и поцно Бога молимъ, чтобы вамъ, маменька, Богъ далъ здоровья и всякаго благополучія и въ дѣлахъ успѣху.

КАБАНОВА. Ну, полно, перестань, пожалуйста. Можетъ-быть, ты и любилъ мать, пока былъ холостой. До меня ли тебѣ: у тебя жена молодая.



Особенно тяжело достается жизнь Катерины: попробуетъ она сказать слово за мужа: „Тихонъ тебя любитъ, матушка“, — Кабаниха рѣзко и ядовито останавливаетъ ее:

— Ты бы, кажется, могла и помолчать, коли тебя не спрашиваютъ. Не заступайся, матушка, не обижу, небось! Вѣдь онъ мнѣ тоже сынъ; ты этого не забывай!

Скажетъ она, что любитъ мужа, — свекровь выразитъ сомнѣніе въ этомъ, а также мысль, что надо, коли „въ законѣ живете“, не любить, а бояться мужа. Бросится она, прощаясь, на шею Тихону, — ее остановятъ съ негодующей насмѣшкой и скажутъ, что она не любовница, чтобы на шею вѣшаться, а жена, и должна мужу кланяться въ ноги. Убѣждающему сыну Кабаниха велитъ надавать женѣ оскорбительныхъ наказовъ: чтобъ не грубила свекрови и почитала ее какъ родную мать, чтобъ въ окна глазъ не пялила, чтобъ на молодыхъ парней не заглядывалась. Противъ послѣднихъ приказаній возмущается самъ Тихонъ... но Кабаниха тверда въ своемъ словѣ:

— Ломаться-то нечего (говоритъ она). Долженъ исполнять, что мать говоритъ. (Съ улыбкой.) Оно все лучше, какъ приказано-то.

Катерину упрекаютъ, что она во время проводовъ не была на крыльцѣ часа полтора. На слова ея: „не къ чему! да и не умѣю“, Кабаниха замѣчаетъ:

— Хитрость-то не великая. Кабы любила, такъ бы выучилась. Коли порядкомъ не умѣешь, ты хоть бы примѣръ-то этотъ сдѣлала; все-таки пристойнѣе; а то, видно, на словахъ-то только...

Но во всей силѣ беспощадная суровость Кабанихи проявляется тогда, когда Катерина созналась въ своемъ проступкѣ.

— Что, сынокъ! (говоритъ старуха въ злобномъ торжествѣ). Куда воля-то ведетъ! Говорила я, такъ ты слушать не хотѣлъ. Вотъ и дождался!

Катерина невыразимо мучится; Кабанову жаль ея, онъ ей сострадаетъ; а мать злобно учитъ его, что жалѣть нечего, что „ее надо живую въ землю закопать, чтобъ она казнилась!“ — Кулигинъ уговариваетъ Тихона простить жену, не помнить зла и на Борисѣ: „врагамъ-то прощать надо, сударь!“ — „Поди-ка поговори съ маменькой (отвѣчаетъ Кабановъ), что она тебѣ на это скажетъ“. Кабаниха отмѣнила,

въ ревности къ своимъ законамъ, законы евангельской любви и милосердія. Когда Катерина ушла изъ дому, и Тихонъ боится — не убилась ли она, Кабаниха пронически замѣчаетъ: „А ты ужъ испугался, расплакался! Есть о чемъ“. Она не пускаетъ сына бѣжать на помощь бросившейся въ воду женщины; а когда онъ рвется — грозитъ проклясть его. — „Полно! объ ней и плакать-то грѣхъ!“ говоритъ она, грозно и безсердечно, рыдающему надъ трупомъ Катерины Тихону. — Такою отталкивающею суровостью вѣетъ отъ мрачнаго образа Кабанихи, что зрители драмы чувствуютъ къ ней невольное негодованіе.

Справедливость требуетъ сказать, что есть одна и свѣтлая черта въ характерѣ старухи Кабановой, — это любовь къ дочери. — „Я со двора пойду!“ заявляетъ Варвара.

— А миѣ что! (ласково отвѣчаетъ суровая мать). Поди! Гуляй, пока твоя пора придетъ. Еще насидишься!

Если Дикой и Кабаниха могутъ быть названы самодурами въ томъ смыслѣ, то и Тихонъ Кабановъ можетъ быть, по справедливости, названъ личностью забитой и приниженной.

Онъ не имѣетъ собственной воли и собственной мысли. „Да какъ же я могу, маменька, васъ послушаться!“ „Да я, маменька, и не хочу своей волей жить. Гдѣ ужъ миѣ своей волей жить!“ только такого рода рѣчи и слышитъ отъ него мать. Она, конечно, одобряетъ его за это; но, какъ обыкновенно бываетъ съ подобнаго рода людьми, она сама же его и не уважаетъ. Она называетъ его дуракомъ; она презрительно говоритъ ему:

— Что ты сиротой-то прикидываешься! Что ты нюни-то распустилъ? Ну, какой ты мужъ? Посмотри ты на себя!

И сестра Варвара его не уважаетъ. — Тихонъ человѣкъ добрый и въ сущности не дурной; онъ любитъ по-своему жену, онъ вѣритъ ей; онъ вовсе не хочетъ, чтобы жена его боялась. Но въ душѣ его нѣтъ настолько любви, чтобы защитить бѣдную женщину отъ оскорбленій, и онъ самъ наноситъ ей оскорбленія по приказанію матери. Собственная воля и возможность загулять на свободѣ, безъ присмотра, для него дороже всего. Онъ упрекаетъ жену за то, что мать точила его попреками; онъ откровенно говоритъ Кате-



ринѣ, что радъ вырваться изъ дому, что онѣ съ маменькой его „заѣздили“. Онѣ самъ, глупо и слѣпо, губить и жену, и себя, и возможность своего счастья. — Катерина, боясь своихъ порывовъ, проситъ его взять ее съ собою; онѣ отказывается. — „Да неужели же ты разлюбилъ меня?“ спрашиваетъ бѣдная женщина.

— Да не разлюбилъ (отвѣчаетъ онѣ); а съ такою-то неволи отъ какой хочешь красавицы-жены убѣжишь! Ты подумай то: какой ни на есть, а я, все-таки, мужчина; всю жизнь вотъ такъ жить, какъ ты видишь, такъ убѣжишь и отъ жены. Да какъ знаю я теперича, что недѣли двѣ никакой грозы надо мной не будетъ, кандаловъ этихъ на ногахъ нѣтъ, такъ до жены ли мнѣ?

— Какъ же мнѣ любить-то тебя, когда ты такія слова говоришь? (скорбно восклицаетъ Катерина).

У Тихона есть сердце: когда Катерина при свекрови начинаетъ ваяться, рассказывать свой проступокъ, — онѣ пытается остановить ее, чтобы скрыть дѣло отъ безпощадной матери. Онѣ сострадаетъ потомъ мученьямъ жены... Но онѣ все-таки дѣлаетъ то, что приказываетъ мать: онѣ бьетъ Катерину по ея повелѣнію. Не имѣя собственной мысли, онѣ, напиваясь съ горя, настраиваетъ себя нарочно на враждебныя чувства, согласно съ воззрѣніями матери. — Человѣкъ совѣсти и чувства побѣждаетъ въ немъ слѣпо-покорнаго сына лишь тогда, когда Катерина покончила съ собою. „Маменька, вы ее погубили! вы, вы, вы“... Но этотъ протестъ — уже поздній протестъ и ненужный; да едва ли онѣ и прочный. Можетъ-быть, Кабаниха и права, говоря съ увѣренностью въ отвѣтъ ему: „Ну, я съ тобой дома поговорю!“

Такова одна стихія жизни, изображенная въ „Грозѣ“, — стихія самодурнаго гнета сильныхъ надъ слабыми, унижительнаго и позорнаго приниженія слабыхъ.

Другая стихія — болѣе отрадная, даже привлекательная, — это веселье, радостный праздникъ молодой жизни. Представителями этого начала въ драмѣ являются Варвара и Кудряшъ. Удивительно сильное, поэтическое, неотразимое впечатлѣніе производитъ на зрителя сцена третьяго акта „Грозы“, — чудная сцена свиданія въ оврагѣ на Волгѣ.

Кудряшъ человѣкъ бойкій, ловкій, умный. Онѣ сдержанъ, и съ нѣкоторой пренебрежительной удалью относится къ нѣж-

нымъ проявленіямъ чувства: Кулигинъ указываетъ ему на красоту волжской природы: „Видъ необыкновенный! Красота! Душа радуется“. „Ничто“, съ полунапускнымъ, полускрытымъ равнодушіемъ отвѣчаетъ Кудряшъ. — „Ты что жъ такъ долго? Ждать васъ еще! Знаешь, что не люблю!“ такими словами встрѣчаетъ онъ на свиданіи Варвару. Но въ душѣ его есть чувство, и чувство сильное; заподозривъ Бориса въ ухаживаніи за Варварой, онъ говоритъ съ порывомъ негодованія:

— Чужихъ не трогай! У насъ такъ не водится, а то парни ноги переломаютъ. Я за свою... да я и не знаю, что сдѣлаю! Горло перерву!

Сильна въ душѣ Кудряша и совѣсть: узнавъ, что Борисъ полюбилъ замужнюю, онъ говоритъ, побуждаемый чувствомъ человеколюбія и жалости:

— Эхъ... бросить надоть!... вѣдь, это, значить, вы ее совсѣмъ губить хотите. Борисъ Григорьевичъ... вѣдь здѣсь какой народъ, сами знаете. Съѣдятъ, въ гробъ вколотятъ.

Варвара похожа на Кудряша: такая же бойкая, смѣлая, веселая. Душа у нея добрая и простая. Она понимаетъ, что Катерины тяжело въ ихъ семьѣ, она сочувствуетъ невѣсткѣ, понимаетъ, что та не можетъ любить Тихона. Она заступается за Катерину и всячески выгораживаетъ ее изъ бѣды. Но, живая и смѣлая, она не можетъ подняться на ту нравственную высоту, на которой стоитъ Катерина. Устраивая для послѣдней свиданіе съ Борисомъ, она и не подозрѣвала, какія душевныя муки готовитъ бѣдной женщинѣ. Но ся понятію, жизнь такъ проста. „По-моему (говоритъ она), дѣлай что хочешь, только бы шито да крыто было“. Безъ обмана нельзя, учитъ она Катерину:

— Ты вспомни, гдѣ ты живешь! У насъ вѣдь весь домъ на томъ держится. И я не обманщица была, да выучилась, когда пужно стало.

Она примирилась съ ложью, и не можетъ понять, что не всѣ могутъ примириться.

И вотъ, среди этихъ разнородныхъ стихій народной дѣйствительности появляется энергическая, благородная личность молодой женщины, Катерина. Она не можетъ подчиниться



самодурному гнету и припизнаться; она не можетъ пойти и на сдѣлки съ совѣстью, вступить на дорогу лжи. И она гибнетъ.

Поэтическій образъ Катерины — несомнѣнно одинъ изъ важнѣйшихъ образовъ не только творчества Островскаго, но и всей русской литературы.

Личность даровитая, впечатлительная и сильная духомъ, Катерина выросла подъ вліяніями важнѣйшихъ явленій русской жизни и подъ впечатлѣніями широкой и могучей волжской природы. — Рѣзвый ребенокъ, любимое дитя въ родной семьѣ, она жила дома „ни объ чемъ не тужила, точно птичка на волѣ“; мать въ ней „души не чаяла“. Весело было на сердцѣ у живой и чуткой дѣвочки. Вставши рано утромъ, умывшись на ключикѣ и полпивши свои любимые цвѣты, отправлялась Катерина съ матерью въ церковь. Домъ ихъ былъ старинный, благочестивый домъ; онъ всегда былъ полонъ странницъ да богомолокъ; эти странницы повѣствовали, когда домашніе сидѣли за работою (а работали больше золотомъ по бархату), повѣствовали — гдѣ онѣ были, въ какихъ святыхъ мѣстахъ, рассказывали житія святыхъ, пѣли духовные стихи. Потомъ всѣмъ домомъ шли къ вечернѣ; потомъ Катерина гуляла по саду, „а вечеромъ опять рассказы да пѣніе“. — Катерина любила молиться, молплась съ любовью и вдохновеніемъ; въ храмѣ она чувствовала себя какъ въ раю, — не помнила времени, никого не видала, только мечтались ей ангелы, слѣдила она своей фантазіей за ихъ полетомъ и пѣніемъ въ столбѣ свѣта, идущаго внизъ храма изъ оконъ купола. Божій міръ, утро въ саду, восходъ солнца вызывали въ душѣ ея религіозное умиленіе, слезы восторга, чистую безпредметную молитву. И снились ей чудные и чистые сны: храмы золотые, деревья и горы, какими она видѣла ихъ на иконахъ; слышалось ей райское пѣніе, и летала она во снѣ по воздуху, легкая и просвѣтленная.

Религіозныя впечатлѣнія возвышенно настроили душу молодой дѣвушки, и остались въ ней на всю жизнь. Выйдя замужъ, Катерина такъ же восторженно любитъ церковь и молитву.

— Ахъ, Кудряшъ, какъ она молится, кабы ты посмотрѣлъ! (говоритъ Борисъ Григорычъ). Какая у ней на лицѣ улыбка ангельская, а отъ лица-то какъ будто свѣтится.

Сохранилась на всю жизнь въ душѣ Катерины и свѣтлая, парящая къ небу мечтательность:

отчего люди не летаютъ такъ, какъ птицы! (говорить она своей золовкѣ Варварѣ). Знаешь, мнѣ иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горѣ, такъ тебя и тянетъ летѣть. Вотъ такъ бы разбѣжалась, подняла руки и полетѣла. Попробовать нешто теперь? (Хочетъ бѣжать.)

Душа Катерины пылкая и энергическая.

— Такая ужъ я зародилась горячая! (говорить молодая женщина). Я еще лѣтъ шести была, не больше, такъ что сдѣлала. Обидѣли меня чѣмъ-то дома, а дѣло было къ вечеру, ужъ темно, я выбѣжала на Волгу, сѣла въ лодку, да и отпихнула ее отъ берега. На другое утро ужъ нашли, версть за десять!

Сила духа, не покоряющееся гнету, благородное упорство не покидаютъ Катерину до смерти; насиліе встрѣчаетъ съ ея стороны горячій, огненный протестъ; Катерину нельзя принизить, сдѣлать безотвѣтной и безмолвной. Когда Варвара удивляется, что она какая-то мудрѣная — не хочетъ жить и поступать такъ, чтобы все было шито да крыто, Катерина говоритъ ей:

— Не хочу я такъ. Да и что хорошаго! Ужъ я лучше буду терпѣть, пока терпится.

— А не стерпится, что жъ ты сдѣлаешь? (спрашиваетъ Варвара).

— Что я сдѣлаю?

— Да, что сдѣлаешь?

— Что мнѣ только захочется, то и сдѣлаю.

— Сдѣлай попробуй, такъ тебя здѣсь заѣдятъ.

— А что мнѣ. Я уйду, да и была такова.

— Куда ты уйдешь? Ты мужняя жена.

— Эхъ, Варя, не знаешь ты моего характера! Конечно, не дай Богъ этому случиться! А ужъ коли очень мнѣ здѣсь опостылетъ, такъ не удержать меня никакою силой. Въ окно выброшусь, въ Волгу кинусь. Не хочу здѣсь жить, такъ не стану, хоть ты меня рѣжь!

Идеализмъ религіозныхъ вѣрованій и чистой возвышенной мечтательности высоко поднялъ душу Катерины надъ пошлостію и порокомъ жизни; для нея невозможны сдѣлки съ совѣстью; серіозно, съ благоговѣйнымъ уваженіемъ смотритъ Катерина на то, что признаетъ нравственнымъ закономъ, Она вышла замужъ еще почти ребенкомъ, не понимая, можетъ-быть, значенія брака, не зная человека, который сталъ



ея мужемъ. (Здѣсь, замѣтимъ мимоходомъ, представляется намъ въ драмѣ нѣкоторая неясность: почему родные, такъ повидимому, любившіе Катерину, выдали ее въ семью Кабановыхъ? почему такъ поспѣшили выдать ее замужъ? Или Катерина рано осталась сиротою? Можетъ-быть, на это послѣднее предположеніе намекаетъ то обстоятельство, что въ тяжелыя минуты жизни она не ищетъ отрады и помощи въ своей прежней семьѣ. Поэтъ, къ сожалѣнію, оставилъ все это въ драмѣ неяснымъ.) Въ мужѣ Катерина не нашла, конечно (мы знаемъ, что за человѣкъ Кабановъ), не нашла любящаго сердца, которое бы отвѣтило ея душевнымъ требованіямъ, которому она могла бы отдать свое сердце. — А между тѣмъ юность дѣлала дѣло: Катеринѣ хотѣлось любви, счастья, — и она полюбила чужого человѣка. Она испугалась этого чувства.

— Охъ, дѣвушка (говоритъ она Варварѣ), что-то со мной недоброе дѣлается, чудо какое-то. Никогда со мной этого не было. Что-то во мнѣ такое необыкновенное. Точно я снова жить начинаю или... ужъ и не знаю... быть грѣху какому-нибудь! Такой на меня страхъ, такой-то на меня страхъ! Точно я стою надъ пропастью, и меня кто-то туда тянетъ, а удержаться мнѣ не за что. Ночью, Варя, не спится мнѣ, все мерещится шопотъ какой-то: кто-то такъ ласково говоритъ со мной, точно голубить меня, точно голубъ воркуетъ. Ужъ не снятся мнѣ Варя, какъ прежде, райскія деревья да горы; а точно меня кто-то обнимаетъ такъ горячо-горячо, и ведетъ меня куда-то, и я иду за нимъ, иду... Сдѣлается мнѣ такъ душно, такъ душно дома, что бѣжала бы. И такая мысль придетъ на меня, что кабы моя воля, каталась бы я теперь по Волгѣ, на лодкѣ, съ пѣснями, либо на тройкѣ на хорошей, обнявшись...

Признать свою любовь правдой Катерина не можетъ, потому что она хочетъ быть вѣрной, и дѣйствительно вѣрна нравственнымъ законамъ окружающаго ее быта. Чувство свое она считаетъ и называетъ грѣхомъ:

— Вѣдь это нехорошо (говоритъ она), вѣдь это страшный грѣхъ, Варенька, что я другого люблю!

Катерина хочетъ быть не только въ мирѣ со свекровью, она хочетъ любить Кабаниху дочерней любовью:

— Для меня, маменька, все одно, что родная мать, что ты, — говоритъ она искренно и правдиво.

И такъ же искренно и правдиво хочетъ она жить съ мужемъ въ любви и совѣтѣ, быть ему вѣрной женою. Она въ немъ ищетъ опоры противъ своего чувства къ Борису Григорьичу.

— Тиша, не уѣзжай! (просить бѣдная женщина, уже сознавшая возникающую въ сердцѣ незаконную любовь). Ради Бога, не уѣзжай! Голубчикъ, прошу тебя!

А когда Тихонъ говоритъ ей, что нельзя не ѣхать, коли маменька посылаетъ, она проситъ:

— Ну, бери меня съ собой, бери!... Тиша, голубчикъ, кабы ты остался либо взялъ меня съ собой, какъ бы я тебя любила, какъ бы я тебя голубила, моего милаго!

Она высказываетъ ему свои опасенія, что безъ него — „быть бѣдѣ, быть бѣдѣ!“ Она, наконецъ, проситъ его взять съ нея „какую-нибудь клятву страшную...“ И на его глупыя отнѣкиванія отъ всѣхъ ея просьбъ, отъ всѣхъ попытокъ спасти себя и его, отвѣчаетъ изъ души вырвавшимся крикомъ тоски:

— Успокой ты мою душу, сдѣлай такую милость для меня!

Потомъ, когда Тихонъ не внялъ ея мольбамъ и уѣхалъ, она все еще не теряетъ надежды остаться вѣрной закону. Она жалѣетъ о томъ, что у нея дѣтей нѣтъ, — они бы спасли ее:

— Эко горе! Дѣтокъ-то у меня нѣтъ; все бы я сидѣла съ ними да забавляла ихъ. Люблю очень съ дѣтьми разговаривать, — ангелы, вѣдь, это.

И вотъ, оставленная на произволъ судьбы, безъ поддержки и сочувствія, Катерина, наталкиваемая на грѣхъ единственнымъ хоть сколько-нибудь ее жалѣющимъ, если не любящимъ человекомъ, Варварой, предается своему чувству къ Борису, — предается всей душою, искренно и горячо. „Мнѣ хоть умереть — да увидать его!“ восклицаетъ она, и назначаетъ Борису свиданіе; а на свиданіи говоритъ ему, кидаясь на шею:

— Твоя теперь воля надо мной, развѣ ты не видишь!

Но сближеніе съ любимымъ человекомъ приноситъ ей не счастье, а горе и муки. И не утишить ей этихъ мукъ никакими оправданіями, никакими соображеніями въ родѣ того, что



— Въ неволѣ-то кому весело! Мало ли что въ голову придетъ... Долго ли въ бѣду попасть!... А горька неволя, охъ, какъ горька!

Въ самую минуту свиданія она мучится тяжелою внутреннею борьбою:

— Зачѣмъ ты пришелъ? Зачѣмъ ты пришелъ, погубитель мой? (говоритъ она Борису). Вѣдь я замужемъ, вѣдь мнѣ съ мужемъ жить до гробовой доски... пойми ты меня, врагъ ты мой: вѣдь до гробовой доски!

Счастливая взаимностью, она желаетъ въ то же время смерти. Говоря Борису: „коли я для тебя грѣха не побоялась, побоюсь ли я людского суда?“ она, однако, болѣзненно, мучительно желаетъ этого суда, какъ своего спасенія:

говорятъ, даже легче бываетъ (разсуждаетъ Катерина), когда за какой-нибудь грѣхъ здѣсь, на землѣ, потерпишься.

Муки бѣдной женщины происходятъ, во-1-хъ, оттого, что она грѣхомъ считаетъ самое свое чувство: „ты меня загубилъ... загубилъ, загубилъ“, говоритъ она Борису; во-2-хъ, оттого, что правдивая натура ея не выноситъ лжи и обмана.

— Обманывать-то я не умѣю; скрыть-то ничего не могу,—

искренно и просто заявляетъ она Варварѣ; и дѣйствительно, когда возвращается Тихонъ, она становится сама не своя:

Дрожить вся, точно ее лихорадка бьетъ; блѣдная... мечется по дому, точно чего ищетъ... На мужа не смѣетъ глазъ поднять.

Варвара боится, что она бросится мужу въ ноги и все откроетъ. Такъ и случается. — Въ угрожающихъ словахъ сумасшедшей барыни, въ раскатахъ грома, въ картинѣ геенны огненной Катерина слышитъ упреки совѣсти, грозящей наказаніемъ въ загробномъ мірѣ за радости земного счастья. И она бросается къ мужу и, при свекрови, при народѣ, все открываетъ ему.

Это вторичная, уже безсознательная, попытка Катерины примириться съ окружающимъ ее міромъ... Если бы этотъ міръ великодушно простилъ ее и принялъ, она бы всей душой привязалась къ мужу и энергіей воли подавила свои личные порывы.

Но еще не совсѣмъ изнемогъ духъ бѣдной женщины: она еще хочетъ видѣть Бориса, она еще на него возлагаетъ нѣкоторыя надежды:

— Возьми меня съ собою отсюда!

просить она его, какъ прежде просила мужа. И какъ прежде мужъ, такъ теперь Борисъ, тоже приниженный и безвольный человѣкъ (хоть и въ болѣе образованныхъ и мягкихъ формахъ), отказываетъ ей:

— Нельзя мнѣ, Катя; не по своей я волѣ ѣду; дядя посылаетъ, ужъ и лошади готовы... и т. д.

Это — послѣдняя капля, переполняющая чашу: для Катерины больше нѣтъ въ жизни никакой опоры — и не нужно ей больше жизни.

Въ вроткомъ сердцѣ ея не возникаетъ злого чувства противъ человѣка, невольно обманувшаго ея надежды. „Поѣзжай съ Богомъ; не тужи обо мнѣ“, просить она Бориса. И съ этой минуты всѣ мысли ея сосредоточиваются на смерти и на могилѣ. Все земное отъ нея отстранилось, — и къ ней вернулась ея прежняя, чистая мечтательность съ возвышеннымъ религіознымъ оттѣнкомъ. Она не можетъ идти въ домъ, вернуться къ жизни: ей все тамъ противно.

„Умереть бы теперь! (мечтаетъ она)... Все равно, что смерть придетъ, что сама... а жить нельзя!... Грѣхъ! Молиться не будутъ? Кто любитъ, тотъ будетъ молиться...“

„Въ могилѣ лучше... подъ деревцомъ могилушка... какъ хорошо! Солнышко ее грѣетъ, дождичкомъ ее мочить... весной на ней травка вырастетъ, мягкая такая... птицы прилетятъ на дерево, будутъ нѣтъ, дѣтей выведутъ; цвѣточки расцвѣтутъ: желтенькіе, красненькіе, голубенькіе... всякіе... всякіе... Такъ тихо, такъ хорошо!... А объ жизни и думать не хочется. Опять жить? Нѣтъ, нѣтъ, не надо... нехорошо!“

И она уходитъ изъ жизни, — уходитъ спокойно, навѣки, въ глубокой омутъ Волги.

*Незеленовъ.*

---

„Гроза“, какъ показатель направленія художественнаго творчества Островскаго.

Прежде всего позволяю себѣ сдѣлать два замѣчанія, говорящіе въ пользу таланта Островскаго и достоинства его сочиненій. Упадокъ драматической поэзіи въ современной



эпохѣ не подлежитъ сомнѣнію. Это фактъ, знакомый каждому, кто занимается литературой. Ни въ Англіи, ни въ Германіи, ни во Франціи давно уже не является такихъ пьесъ, которыя могли бы по праву стоять въ ряду истинно изящныхъ произведеній. Гетнеръ въ сочиненіи своемъ: „Das moderne Drama (1852), справедливо сѣтуетъ на внутреннюю скудость драмъ, написанныхъ поэтами такъ называемой школы „юная Германія“. Онъ не отрицаетъ таланта въ ихъ авторахъ, но признаетъ, что произведенія ихъ далеко уступаютъ образцамъ Шиллера и Гёте; какъ послѣдніе поэты стоятъ на высотѣ художественнаго творчества, такъ послѣдователи ихъ заняли уровень посредственности. Этого уровня не подняла и драма Фрейтага: „Валентина“, хотя дарованіе Фрейтага выходитъ изъ среды обыкновенныхъ. То же неутѣшительное явленіе замѣчается и во французскихъ драмахъ. Послѣ В. Гюго, А. Дюма, Скриба и нѣкоторыхъ другихъ наступило затишье или фабрикуются мелодрамы. Но и Скрибъ, въ отношеніи къ Мольеру, и Гюго съ А. Дюма, въ отношеніи къ Корнелю и Расину, — то же, что „юная Германія“ въ отношеніи къ Шиллеру и Гёте: въ комедіяхъ нѣтъ силы мольеровскаго комизма, въ трагедіяхъ нѣтъ силы трагизма, которая прославила Расина и Корнея, хотя и вращалась въ кругу ложноклассическаго искусства. Новѣйшія попытки французовъ создать нѣчто оригинальное производятъ иногда блестящія пьесы, но блестящія не свѣтомъ истиннаго художества, а внѣшними эффектами и внѣшнимъ же соприкосновеніемъ съ текущими новостями, съ интересами дня (*nouvelles du jour*). Вездѣ мелодрама, а нигдѣ настоящей драмы.

Вышесказанное не примѣняется къ современной русской комедіи или, точнѣе, къ пьесамъ Островскаго, такъ какъ въ нихъ единственно и нераздѣльно заключается вся наша современная комедія. Положеніе Островскаго — иное. Въ ряду извѣстнѣйшихъ нашихъ комиковъ онъ занялъ также видное мѣсто. Онъ достойно продолжаетъ дѣло Гоголя. Я не сравниваю ихъ талантовъ: я говорю только, что въ талантѣ, сравнительно низшемъ, бываютъ такія стороны, которыя не выказывались въ талантѣ много высшемъ. Такъ, въ пьесахъ Островскаго есть нѣчто свое, особенное, что имѣетъ вѣсь послѣ „Ревизора“ и „Женитьбы“. А въ про-

изведеніяхъ искусства, равно какъ и во всѣхъ произведеніяхъ духовной дѣятельности человѣка, эта особенность, своеобразность и цѣнится преимущественно. Она свидѣтельствуешь объ отличительныхъ свойствахъ таланта; ею объясняется сочувствіе къ таланту публики — и образованной, умѣющей сознавать то, что ей нравится, и необразованной, безсознательно воспринимающей эстетическое наслажденіе.

Вторая замѣтка имѣетъ въ виду указать врожденную наклонность Островскаго къ драмѣ. Онъ выступилъ въ литературный свѣтъ съ драматической пьесой и до сихъ поръ не измѣнилъ выбранному имъ поэтическому роду. Другіе авторы пробуютъ свои силы въ разныхъ родахъ, какъ бы назло своей природѣ. Тургеневъ, напримѣръ, пытался, кромѣ повѣстей и романовъ, которыми онъ пріобрѣлъ себѣ такую громкую и вполне справедливую извѣстность, писать также драмы; но если и можно признать относительное достоинство и частныя красоты его „Провинціалки“, „Нахлѣбника“, „Завтрака у предводителя“, то нельзя не видѣть, что онъ вошелъ не въ свою колею. Островскій, напротивъ, и не пытался мѣнять драматическую форму на лирику или эпосъ. Одна изъ пьесъ его: „Воспитанница“, могла бы легко дать сюжетъ повѣствователю; однакожь онъ не увлекся этой легкостью. Ясно, что призваніемъ его служитъ драма. Непзмѣнность направленія нерѣдко, сама собою, независимо отъ другихъ предметовъ, указываетъ на внутреннюю цѣну направленія, и неспособность свободно входить въ разнородныя области знанія или творчества тѣмъ ощутительнѣе выказываетъ способность правильно распоряжаться въ той области, въ которой авторъ, такъ сказать, приписанъ отъ рожденія.

Спеціальность Островскаго — поэтическое представленіе купеческаго класса. Перемѣна во взглядѣ на характеръ явленій, которыми обнаруживаются сословныя отличія, производила нѣкоторую перемежну и въ характерѣ представленія, такъ что драмы автора, написанныя въ небольшой періодъ времени, въ теченіе десяти или двѣнадцати лѣтъ, выказали уже нѣсколько направленій.

Первая его комедія, „Свои люди — сочтемся“, принадлежащая къ числу самыхъ блестящихъ литературныхъ дебю-



товъ, изображаетъ сущность купеческаго класса, насколько она раскрывается въ семействѣ и торговлѣ. Слѣдовательно, это комедія правовъ извѣстнаго сословія въ извѣстную эпоху, комедія общественная, образцы которой даны у насъ Фон-визинимъ, Капнистомъ, Грибоѣдовымъ, Гоголемъ. Островскій тѣсно примыкаетъ къ школѣ послѣдняго; его комедія указываетъ темныя стороны купеческаго быта: въ семействѣ — самоуправная власть отца, отъ которой страдаютъ жена, дѣти и прислуга и которая не знаетъ другихъ основаній, кромѣ личнаго произвола; въ торговлѣ — неправильное веденіе дѣлъ, поставляющее единственною цѣлью нажитыя какъ можно скорѣе. Но развязка имѣетъ замѣчательную особенность: посредствомъ нея комедія переходитъ въ дѣйствительную трагедію, ибо семейный деспотъ и злостный банкротъ пожинаетъ то, что посѣялъ; передъ лицомъ зрителя совершается его наказаніе, а въ перспективѣ готовятся другія наказанія — безчувственной дочери отъ ея будущихъ дѣтей, и плуту Подхалюзину отъ плута — слуги его, Тишки.

Какъ бы испугавшись темнаго колорита своей первой пьесы, авторъ отступилъ назадъ, и — подобно Гоголю, нарисовавшему во 2-мъ томѣ „Мертвыхъ Душъ“ нѣсколько идеальныхъ лицъ, представителей свѣтлой стороны русскаго общества, — рѣшился также создать идеалы, которые должны были примирить публику съ тѣмъ сословіемъ, въ жизни котораго такъ много комическаго, и комизмъ такъ часто разрѣшается трагическимъ концомъ. Желанное примиреніе найдено въ коренныхъ, стихійныхъ свойствахъ русскаго человѣка, преимущественно такого, который не подвергся еще дѣйствию цивилизаціи. Плодомъ такого воззрѣнія автора были пьесы: „Не въ свои сани не садись“, „Бѣдность не порокъ“, „Не такъ живи, какъ хочется“, имѣвшія большой успѣхъ на сценѣ, какъ по артистической игрѣ актеровъ, такъ и по своимъ несомнѣннымъ достоинствамъ, какъ бы ни судили объ идеѣ, лежащей въ ихъ основаніи. Свѣтлымъ, идеальнымъ личностямъ, въ нихъ противопоставляются такіе русскіе люди, которыхъ добрыя начала, присущія русской природѣ, искажены цивилизаціей. Задача пьесъ — дать торжество первымъ лицамъ надъ вторыми, иначе — показать превосходство патріархальнаго быта надъ бытомъ ложной образованности, въ которомъ человѣкъ не замѣнилъ ничѣмъ

существеннымъ утраченной имъ первобытной наивности, природной простоты. Превосходство это можетъ выразиться слѣдующимъ образомъ: въ простомъ русскомъ человѣкѣ, сохранившемъ всецѣло свои стихійныя начала, эти начала возобладаютъ нѣкогда надъ внѣшнею грубостью и необразованностью, тогда какъ человѣкъ, поведенный по дорогѣ поверхностной цивилизаціи, невольно подчиняется ей и теряетъ сочувствіе къ своимъ кореннымъ началамъ. Когда критика, недовольная этимъ направлениемъ Островскаго и подозрѣвая его въ славянофильскихъ тенденціяхъ, приняла на себя защиту цивилизаціи, тогда авторъ задумалъ отдать справедливость образованному классу и представленіемъ его хорошихъ сторонъ противопоставить имъ дурныя стороны необразованности. Явились двѣ новыя пьесы: „Въ чужомъ пиру похмелье“ и „Доходное мѣсто“. Въ первой изъ нихъ идеалы изъ быта купеческаго и простонароднаго перенесены въ бытъ класса просвѣщеннаго. Нравственный героизмъ воплощенъ въ лицѣ учителя и его дочери; наоборотъ, богатый купецъ оказывается самодуромъ, со всѣми дикими выходками человѣка, не озареннаго свѣтомъ знанія. Задача пьесы рельефно выставляется на показъ читателямъ или зрителямъ. Такъ какъ задача, предположенная авторомъ, всегда почти вредитъ художественному исполненію, то комедія „Въ чужомъ пиру похмелье“ вышла въ этомъ отношеніи неудачною.

Въ новой своей пьесѣ „Гроза“ Островскій, по моему мнѣнію, возвратился къ пункту своего начальнаго отправленія. Онъ не покинулъ выбранной имъ спеціальности — поэтическаго представленія купеческаго быта въ существеннѣйшихъ его проявленіяхъ; но его не стѣсняла уже болѣе намѣренная постановка вопроса, не обязывало ни желаніе выставить однѣ темныя стороны, при которыхъ, по словамъ Гоголя, остается единственно честнымъ лицомъ пьесы — комическій смѣхъ, ни желаніе отыскивать идеалы тамъ, гдѣ они еще не выработаны историческимъ развитіемъ. Дѣйствительность является именно такою, какова она на самомъ дѣлѣ: въ смѣшеніи нравственнаго и умственнаго безобразія съ красотою души и сердца. И въ этой невымышленной дѣйствительности, съ одной стороны — исключительная преданность обычаю, какъ святому, непреложному догмату,



обоготвореніе старины, понимаемое не иначе, какъ въ видѣ ненависти ко всему новому, свѣжему, молодому; съ другой — желаніе вырваться изъ душной атмосферы обычной, обрядовой жизни и заявить законное дѣйствіе жизни, кипящей избыткомъ силъ. Освобожденіе совершается различно, смотря по различію темпераментовъ и понятій: иногда это — грубая разнузданность, рѣзкое самоотрѣшеніе отъ семейныхъ и общественныхъ связей (какъ это и видимъ въ лицѣ Варвары), иногда же прерваніе ровнаго потока существованія съ сожалѣніемъ и раскаяніемъ, съ внутреннею борьбою, стоящею слезъ и крови (что и представляетъ намъ Катерина), иногда же еще заглазная преданность разгулу и пьянству, которыми забитый сынъ (какъ сынъ Кабанихи) отводитъ себѣ душу. Различіемъ освобожденія условливается и различіе исхода драмы: въ однихъ случаяхъ столкновеніе враждебныхъ силъ начинается, продолжается и оканчивается смѣхомъ; въ другихъ оно — постоянная гроза, тайная или явная. Въ пьесѣ Островскаго, посвящей имя „Грозы“, дѣйствіе и катастрофа трагическія, хотя многія мѣста и возбуждаютъ смѣхъ. Обрядовая жизнь выведена имъ съ суровыми послѣдствіями; она имѣетъ значеніе какъ бы греческой судьбы, сокрушающей всякую себѣ неподчиненность. Вѣрная хранительница обычаевъ, непрерывно протестующая противъ движенія жизни, Кабаниха, даже надъ трупомъ жены своего сына не выговариваетъ слова примиренія. И между тѣмъ, какъ она неумолимо ломаетъ все, что идетъ наперекоръ ея понятіямъ. Дикой, по своенравію, которое для него служитъ орудіемъ преступать иногда обычаи, хотя въ другихъ онъ этого не допускаетъ, — Дикой заѣдаетъ также жизнь своего племянника (Бориса), отправляя его въ Кяхту, и неутомимую дѣятельность свою истощаетъ въ непрерывной брани встрѣчному и поперечному. Міръ, изображенный Островскимъ, — тяжелый міръ, и впечатлѣніе, производимое его драмой, совершенно соотвѣтствуетъ характеру того, что въ немъ совершается. Въ этой нравственной тяжести, отъ которой прискорбно уму и чувству, я полагаю яснѣйшее доказательство превосходства пьесы.

Въ заключеніе замѣчу, что драма „Гроза“ принадлежитъ, по своему направленію и по своимъ художественнымъ достоинствамъ, къ той школѣ драматической, которая, по моему

понятію, единственно законна въ настоящее время, равно какъ единственно законна и одна только школа повѣствовательная. Я называю эту школу двумя именами: *историческою*, потому что она относится ко всѣмъ явленіямъ такъ же, какъ исторія относится къ явленіямъ прошлой жизни, и *физиологическою*, потому что она изображаетъ отправленія нравственной и духовной жизни, какъ физиологія разсматриваетъ дѣйствія органовъ. Такая школа не влагаетъ въ жизнь того, чего въ ней нѣтъ, не населяетъ ея небывалыми идеалами добра или зла и, конечно, не заглядываетъ въ будущее на томъ основаніи, что поэтъ и пророкъ одно и то же. Дѣло поэзіи — созерцать дѣйствительно существующее, въ этомъ дѣйствительно существующемъ подмѣчать законы явленій, ихъ сущность, ихъ идею и схваченную идею выражать по своему, конкретно, т.-е. влагая ее въ созданный творческій образъ.

*Галаховъ.*

### Общая картина жизни, нарисованная Островскимъ въ „Грозѣ“.

„Гроза“ представляетъ намъ пидиллію „темнаго царства“, которое мало-по-малу освѣщаетъ намъ Островскій своимъ талантомъ. Люди, которыхъ вы здѣсь видите, живутъ въ благословенныхъ мѣстахъ: городъ стоитъ на берегу Волги, весь въ зелени; съ крутыхъ береговъ видны далекія пространства, покрытыя селеньями и нивами; лѣтній благодатный день такъ и манитъ на берегъ, на воздухъ, подъ открытое небо, подъ этотъ вѣтерокъ, освѣжительно вѣющій съ Волги... И жители, точно, гуляютъ иногда по бульвару надъ рѣкой, хоть ужъ и приглядѣлись къ красотамъ волжскихъ видовъ; вечеромъ сидятъ на завалинкахъ у воротъ и занимаются благочестивыми разговорами; но больше проводятъ время у себя дома, занимаются хозяйствомъ, кушаютъ, спятъ, — спать ложатся очень рано, такъ что непривычному человѣку трудно и выдержать такую сонную ночь, какую они задаютъ себѣ. Но что же имъ дѣлать, какъ не спать, когда они сыты? Ихъ жизнь течетъ такъ ровно и мирно, никакіе интересы міра ихъ не тревожатъ, потому что не доходятъ до нихъ: царства могутъ рушиться, новыя страны открыв-



ваться, лицо земли можетъ измѣняться, какъ ему угодно, міръ можетъ начать новую жизнь на новыхъ началахъ, — обитатели городка Калинова будутъ себѣ существовать по-прежнему въ полнѣйшемъ невѣдѣніи объ остальномъ мірѣ. Пзрѣдка забѣжитъ къ нимъ неопредѣленный слухъ, что Наполеонъ съ двадцатью языкъ опять подымается или что антихристъ родился; но и это они принимаютъ болѣе какъ куріозную штуку, въ родѣ вѣсти о томъ, что есть страны, гдѣ всѣ люди съ песьими головами: покачаютъ головой, выразятъ удивленіе къ чудесамъ природы, и пойдутъ себѣ закусить... Смолоду еще показываютъ нѣкоторую любознательность, но пищи взять ей неоткуда: свѣдѣнія заходятъ къ нимъ, точно въ древней Руси время Даніила Паломника, только отъ странницъ, да и тѣхъ ужъ нынче немного настоящихъ-то; приходится довольствоваться такими, которыя „сами, по помощи своей, далеко не ходили, а слышать много слыхали“, какъ Оеклуша въ „Грозѣ“. Отъ нихъ только и узнаютъ жители Калинова о томъ, что на свѣтѣ дѣлается; иначе они думали бы, что весь свѣтъ таковъ же, какъ и ихъ Калиновъ, и что иначе жить, чѣмъ они, совершенно невозможно. Но и свѣдѣнія, сообщаемыя Оеклушами, таковы, что неспособны внушить большого желанія промѣнять свою жизнь на иную. Оеклуша принадлежитъ къ партіи патріотической и въ высшей степени консервативной; ей хорошо среди благочестивыхъ и наивныхъ калиновцевъ: ее и почитаютъ, и угощаютъ, и снабжаютъ всѣмъ нужнымъ; она пресеріозно можетъ увѣрять, что самые грѣшки ея происходятъ оттого, что она выше прочихъ смертныхъ: „простыхъ людей, говоритъ, cadaго одинъ врагъ смущаетъ, а къ намъ, страннымъ людямъ, къ кому шесть, къ кому двѣнадцать приставлено, вотъ и надо ихъ всѣхъ побороть“. И ей вѣрятъ. Ясно, что простой инстинктъ самосохраненія долженъ заставить ее не сказать хорошаго слова о томъ, что въ другихъ земляхъ дѣлается. И въ самомъ дѣлѣ, прислушайтесь къ разговорамъ купечества, мѣщанства, мелкаго чиновничества въ уѣздной глуши, — сколько удивительныхъ свѣдѣній о невѣрныхъ и поганныхъ царствахъ, сколько рассказовъ о тѣхъ временахъ, когда людей жгли и мучили, когда разбойники города грабили, и т. п., — и какъ мало свѣдѣній объ европейской жизни, о лучшемъ

устройствъ быта! Даже въ такъ называемомъ образованномъ обществѣ, въ обьевропеевшихся людяхъ, на множество энтузіастовъ, восхищающихся новыми парижскими улицами и мобилемъ, развѣ вы не найдете почти такое же множество солидныхъ цѣнителей, которые запугиваютъ своихъ слушателей тѣмъ, что нигдѣ, кромѣ Австріи, во всей Европѣ порядка нѣтъ и никакой управы найти нельзя!... Все это и ведетъ къ тому, что Оеклуша высказываетъ такъ положительно: „бла-алѣпіе, милая, бла-алѣпіе, красота дивная! Да что ужъ и говорить, — въ обѣтованной землѣ живете!“ Оно несомнѣнно такъ и выходитъ, какъ сообразить, что въ другихъ-то земляхъ дѣлается. Послушайте-ка Оеклушу:

„Говорятъ, такія страны есть, милая дѣвушка, гдѣ и нррей-то нѣтъ православныхъ, а салтаны землей правятъ. Въ одной землѣ сидитъ на тронѣ салтанъ Махнутъ турецкій, а въ другой — салтанъ Махнутъ персидскій; и судъ творятъ они, милая дѣвушка, надъ всѣми людьми, и что ни судятъ они, все неправильно. И не могутъ они, милая дѣвушка, ни одного дѣла разсудить праведно, — такой ужъ имъ предѣлъ положенъ. У насъ законъ праведный, а у нихъ, милая, неправедный; что по нашему закону такъ выходитъ, а по ихнему все наоборотъ. И всѣ судьи у нихъ, въ ихнихъ странахъ, тоже все неправедные; такъ имъ, милая дѣвушка, и въ просьбахъ пишутъ: „суди меня, судья неправедный!“ А то есть еще земля, гдѣ всѣ люди съ песьими головами“.

„За что же такъ съ песьими?“ спрашиваетъ Глаша. — „За невѣрность“, коротко отвѣчаетъ Оеклуша, считая всякія дальнѣйшія объясненія излишними. Но Глаша и тому рада; въ томительномъ однообразіи ея жизни и мысли, ей пріятно услышать сколько-нибудь новое и оригинальное. Въ ея душѣ смутно пробуждается уже мысль, „что вотъ однако же живутъ люди и не такъ, какъ мы; оно, конечно, у насъ лучше, а впрочемъ, кто ихъ знаетъ! Вѣдь и у насъ нехорошо; а про тѣ земли-то мы еще и не знаемъ хорошенько; кое-что только услышишь отъ добрыхъ людей...“ И желаніе знать побольше да поосновательнѣе закрадывается въ душу. Это для насъ ясно изъ словъ Глаши, по уходѣ странницы: „Вотъ еще какія земли есть! Какихъ-то, какихъ-то чудесъ на свѣтѣ нѣтъ! А мы тутъ сидимъ, ничего не знаемъ. Еще хорошо, что добрые люди есть: нѣтъ, нѣтъ, да и услышишь, что на бѣломъ свѣту дѣлается; а то бы такъ дураками и померли“. Какъ видите, неправедность и невѣрность чужихъ



земель не возбуждаетъ въ Глашѣ ужаса и негодованія; ее занимаетъ только новое свѣдѣніе, которое представляется ей чѣмъ-то загадочнымъ, — „чудесами“, какъ она выражается. Вы видите, что она не довольствуется объясненіями Оеклуши, которыя возбуждаютъ въ ней только сожалѣніе о своемъ невѣжествѣ. Она, очевидно, на полдорогѣ къ скептицизму. Но гдѣ жъ ей сохранить свое недовѣріе, когда оно безпрестанно подрывается рассказами, подобными Оеклушинымъ? Какъ ей дойти до правильныхъ понятій, даже просто до разумныхъ вопросовъ, когда ея любознательность заперта въ такомъ кругѣ, который очерченъ около нея въ городѣ Калиновѣ? Да еще мало того, какъ бы она осмѣлилась не вѣрить да допытываться, когда старшіе и лучшіе люди такъ положительно успокоиваются въ убѣжденіи, что принятыя ими понятія и образъ жизни — наилучшіе въ мірѣ, и что все новое происходитъ отъ нечистой силы? Страшна и тяжела для каждаго новичка попытка идти наперекоръ требованіямъ и убѣжденіямъ этой темной массы, ужасной въ своей наивности и искренности. Вѣдь она проклянетъ насъ, будетъ бѣгать, какъ зачумленныхъ, не по злобѣ, не по расчетамъ, а по глубокому убѣжденію въ томъ, что мы сродни антихристу; хорошо еще, если только полоумнымъ сочтеть и будетъ подсмѣиваться... Она ищетъ знанія, любитъ разсуждать, но только въ извѣстныхъ предѣлахъ, предписанныхъ ей основными понятіями, въ которыхъ путается разсудокъ. Вы можете сообщить калиновскимъ жителямъ нѣкоторыя географическія знанія; но не касайтесь того, что земля на трехъ китахъ стоитъ и что въ Іерусалимѣ есть пупъ земли — этого они вамъ не уступятъ, хотя о пупѣ земли имѣютъ такое же ясное понятіе, какъ о Литвѣ, въ „Грозѣ“. — „Это, братецъ ты мой, что такое?“ спрашиваетъ одинъ мирный гражданинъ у другого, показывая на картину. — А это литовское разореніе, отвѣчаетъ тотъ. — Битва! видишь! Какъ наши съ Литвой бились. — „Что жъ это такое Литва?“ — Такъ она Литва и есть, отвѣчаетъ объясняющій. — „А говорятъ, братецъ ты мой, она на насъ съ неба упала“, продолжаетъ первый; но собесѣднику его мало до того нужды: „Ну, съ неба такъ съ неба“, отвѣчаетъ онъ... Тутъ жевщина вмѣшивается въ разговоръ: „Толкуй еще! Всѣ знаютъ, что съ неба; и гдѣ былъ какой бой

съ ней, тамъ для памяти бурганы насыпаны“. — А что, братецъ ты мой! Вѣдь это такъ точно! — восклицаетъ вопрошатель, вполне удовлетворенный. И послѣ этого спросите его, что онъ думаетъ о Литвѣ! Подобный исходъ имѣютъ всѣ вопросы, задаваемые здѣсь людямъ естественной любознательностью. И это вовсе не оттого, чтобы люди эти были глупѣе, безтолковѣе многихъ другихъ, которыхъ мы встрѣчаемъ въ академіяхъ и ученыхъ обществахъ. Нѣтъ, все дѣло въ томъ, что они своимъ положеніемъ, своей жизнью подъ гнетомъ произвола, всѣ пріучены уже видѣть безотчетность и бессмысленность, и потому находятъ неловкимъ и даже дерзкимъ настойчиво доискиваться разумныхъ основаній въ чемъ бы то ни было. Задать вопросъ, — на это ихъ еще станетъ; но если отвѣтъ будетъ таковъ, что „пушка сама по себѣ, а мортира сама по себѣ“, то они уже не смѣютъ пытаться дальше и смиренно довольствуются даннымъ объясненіемъ. Секретъ подобнаго равнодушія къ логикѣ заключается прежде всего въ отсутствіи всякой логичности въ жизненныхъ отношеніяхъ. Ключъ этой тайны даетъ намъ, напримѣръ, слѣдующая реплика Дикого, въ „Грозѣ“. Кулигинъ, въ отвѣтъ на его грубости, говоритъ: „За что, сударь Савель Прокофьичъ, честнаго человѣка обижать изволите?“ Дикой отвѣчаетъ вотъ что:

„Отчетъ, что ли, я стану тебѣ давать? Я и поважнѣе тебя никому отчета не даю. Хочу такъ думать о тебѣ, такъ и думаю! Для другихъ ты честный человѣкъ, а я думаю, что ты разбойникъ, — вотъ и все. Хотѣлось тебѣ это слышать отъ меня? Такъ вотъ слушай! Говорю, что разбойникъ, и конецъ! Что жъ ты судиться, что ли, со мной будешь? Такъ ты знай, что ты червякъ. Захочу — помилую, захочу — раздавлю“.

Какое теоретическое разсужденіе можетъ устоять тамъ, гдѣ жизнь основана на такихъ началахъ! Отсутствіе всякаго закона, всякой логики — вотъ законъ и логика этой жизни. Это не анархія, но нѣчто еще гораздо худшее (хотя воображеніе образованнаго европейца и не умѣетъ представить себѣ ничего хуже анархіи). Въ анархіи такъ ужъ и нѣтъ никакого начала: всякъ молодецъ на свой образецъ, никто никому не указъ, всякій на приказаніе другого можетъ отвѣчать, что я, молъ, тебя знать не хочу, и такимъ образомъ всѣ озорничаютъ и ни въ чемъ согласиться не могутъ. По-



ложеніе общества, подверженнаго такой анархіи (если только она возможна), дѣйствительно ужасно. Но вообразите, что это самое анархическое общество раздѣлилось на двѣ части: одна оставила за собою право озорничать и не знать никакого закона, а другая принуждена признавать закономъ всякую претензію первой и безропотно сносить всѣ ея капризы, всѣ безобразія... Не правда ли, что это было бы еще ужаснѣе? Анархія осталась бы та же, потому что въ обществѣ все-таки разумныхъ началъ не было бы, озорничества продолжались бы попрежнему; но половина людей принуждена была бы страдать отъ нихъ и постоянно питать ихъ собою, своимъ смиреніемъ и угодливостью. Ясно, что при такихъ условіяхъ озорничество и беззаконіе приняли бы такіе размѣры, какихъ никогда не могли бы они имѣть при всеобщей анархіи. Въ самомъ дѣлѣ, что ни говорите, а человѣкъ одинъ, предоставленный самому себѣ, не много надуритъ въ обществѣ и очень скоро почувствуетъ необходимость согласиться и сговориться съ другими въ видахъ общей пользы. Но никогда той необходимости не почувствуетъ человѣкъ, если онъ во множествѣ подобныхъ себѣ находитъ обширное поле для упражненія своихъ капризовъ, и если въ ихъ зависимомъ, униженномъ положеніи видитъ постоянное подкрѣпленіе своего самодурства. Такимъ образомъ, имѣя общимъ съ анархіею отсутствіе всякаго закона и права, обязательнаго для всѣхъ, самодурство въ сущности несравненно ужаснѣе анархіи, потому что даетъ озорничеству больше средствъ и простора и заставляетъ страдать большее число людей, — и опаснѣе ея еще въ томъ отношеніи, что можетъ держаться гораздо дольше. Анархія (повторимъ, если только она возможна вообще) можетъ служить только переходнымъ моментомъ, который самъ себя съ каждымъ шагомъ долженъ образумливать и приводить къ чему нибудь болѣе здоровому; самодурство, напротивъ, стремится узаконить себя и установить, какъ незыблемую систему. Оттого оно, вмѣстѣ съ такимъ широкимъ понятіемъ о своей собственной свободѣ, старается однакоже принять всѣ возможные мѣры, чтобы оставить эту свободу навсегда только за собою, чтобы оградить себя отъ всякихъ дерзкихъ попытокъ. Для достиженія этой цѣли оно признаетъ какъ будто нѣкоторыя высшія требованія, и хотя само противъ нихъ тоже проступается, но предъ другими стоитъ за нихъ

твердо. Нѣсколько минутъ спустя послѣ реплики, въ которой Дикой такъ рѣшительно отвергалъ, въ пользу собственнаго каприза, всѣ нравственныя и логическія основанія для сужденія о человѣкѣ, — этотъ же самый Дикой напускается на Кулигина, когда тотъ для объясненія грозы выговорилъ слово электричество. „Ну, какъ же ты не разбойникъ, — кричитъ онъ: — гроза-то намъ въ наказаніе посылается, чтобы мы чувствовали, а ты хочешь шестами да рожнами какими-то, прости Господи, обороняться. Что ты, татаринъ что ли? Татаринъ ты? А, говори: татаринъ?“ И ужъ тутъ Кулигинъ не смѣетъ отвѣтить ему: „хочу такъ думать, и думаю, и никто мнѣ не указъ“. Куда тебѣ, — онъ и объясненій-то своихъ представить не можетъ: принимаютъ съ ругательствами, да и говорить-то не даютъ. Поневолѣ тутъ резонировать перестанешь, когда на всякій резонъ кулакъ отвѣчаетъ, и всегда въ концѣ концовъ кулакъ остается правымъ...

Но — чудное дѣло! — въ своемъ непререкаемомъ безотвѣтственномъ темномъ владычествѣ, давая полную свободу своимъ прихотямъ, ставя ни во что всякіе законы и логику, самодуры русской жизни начинаютъ однакоже ощущать какое-то недовольство и страхъ, сами не зная передъ чѣмъ и почему. Все, кажется, попрежнему, все хорошо: Дикой ругаетъ, кого хочетъ; когда ему говорятъ: „какъ это на тебя никто въ цѣломъ домѣ угодить не можетъ!“ — онъ самодовольно отвѣчаетъ: „вотъ поди жъ ты!“ Кабанова держитъ попрежнему въ страхѣ своихъ дѣтей, заставляетъ невестку соблюдать всѣ этикетны старины, ѣстъ ее какъ ржа желѣзо, считаетъ себя вполне непогрѣшимой и убажается разными Оеклушами. А все какъ-то неспокойно, нехорошо имъ. Помимо ихъ, не спросясь ихъ, выросла другая жизнь, съ другими началами, и хоть далеко она, еще не видна хорошенько, но уже даетъ себя предчувствовать и посылаетъ нехорошія видѣнія темному произволу самодуровъ. Они ожесточенно ищутъ своего врага; готовы напуститься на самого невиннаго, на какого-нибудь Кулигина; но нѣтъ ни врага ни виновнаго, котораго могли бы они уничтожить: законъ времени, законъ природы и исторіи беретъ свое, и тяжело дышатъ старшие Кабановы, чувствуя, что есть сила выше ихъ, которой они одолѣть не могутъ, къ которой даже и подступить не знаютъ какъ. Они не хотятъ уступать (да никто, покамѣстъ, и не требуетъ отъ



нихъ уступокъ), но съезжаются, сокращаются; прежде они хотѣли утвердить свою систему жизни навѣки нерушимую, и теперь тоже стараются проповѣдывать; но уже надежда измѣняется имъ, и они въ сущности хлопочутъ только о томъ, какъ бы на нихъ вѣкъ стало... Кабанова разсуждаетъ о томъ, что „последнія времена приходятъ“, и когда Оеклуша рассказываетъ ей о разныхъ ужасахъ настоящаго времени — о желѣзныхъ дорогахъ и т. п. — она пророчески замѣчаетъ: „и хуже, милая, будетъ“. — Намъ бы только не дожить до этого, — со вздохомъ отвѣчаетъ Оеклуша. — „Можетъ, и доживемъ“, фаталистически говоритъ опять Кабанова, обнаруживая свои сомнѣнія и неуверенность. А отчего она тревожится? Народъ по желѣзнымъ дорогамъ ѣздитъ, — да ей-то что отъ этого? А вотъ видите ли: она, „хоть ты ее всю золотомъ осыпь“, не поѣдетъ по дьявольскому изобрѣтенію: а народъ ѣздитъ, все больше и больше, не обращая вниманія на ея проклятія; развѣ это не грустно, развѣ не служить свидѣтельствомъ ея безсилія? Объ электричествѣ провѣдали люди, — кажется, что тутъ обиднаго для Дикихъ и Кабановыхъ? Но видите ли, Дикой говоритъ, что „гроза въ наказанье намъ посылается, чтобъ мы чувствовали“, а Кулигинъ не чувствуетъ или чувствуетъ совсѣмъ не то, и толкуетъ объ электричествѣ. Развѣ это не своеволие. не пренебреженіе власти и значеніе Дикого? Не хотятъ вѣрить тому, чему онъ вѣритъ, — значить и ему не вѣрятъ, считаютъ себя умнѣе его; разсудите, къ чему же это поведетъ? Не даромъ Кабанова замѣчаетъ о Кулигинѣ: „вотъ времена-то пришли, какіе учителя проявились! Коли старикъ такъ разсуждаетъ, чего ужъ отъ молодыхъ-то требовать!“ И Кабанова очень серіозно огорчается будущностью старыхъ порядковъ, съ которыми она вѣкъ изжила. Она предвидитъ конецъ ихъ, старается поддержать ихъ значеніе, но уже чувствуетъ, что нѣтъ къ нимъ прежняго почтенія, что ихъ сохраняютъ уже неохотно, только поневолѣ, и что при первой возможности ихъ бросятъ. Она уже и сама какъ-то потеряла часть своего рыцарскаго жара; уже не съ прежней энергіей заботится она о соблюденіи старыхъ обычаевъ, во многихъ случаяхъ она ужъ махнула рукой, поникла предъ невозможностью остановить потокъ, и только съ отчаяніемъ смотритъ, какъ онъ затопляетъ мало-по-малу

пестрые цвѣтники ея прихотливыхъ суетврій. Точно послѣдніе язычники передъ силою христіанства, такъ понижаютъ и стираются порожденія самодуровъ, застигнутыя ходомъ новой жизни. Даже рѣшимости вступить на прямую открытую борьбу въ нихъ нѣтъ; они только стараются какъ-нибудь обмануть время да разливаются въ бесплодныхъ жалобахъ на новое движеніе. Жалобы эти всегда слышались отъ стариковъ, потому что всегда новыя поколѣнія вносили въ жизнь что-нибудь новое, противное прежнимъ порядкамъ; но теперь жалобы самодуровъ принимаютъ какой-то особенно мрачный, похоронный тонъ. Кабанова только тѣмъ и утѣшается, что еще какъ-нибудь, съ ея помощью, пролѣпятъ старые порядки до ея смерти; а тамъ пусть будетъ, что угодно, — она ужъ не увидитъ. Провожая сына въ дорогу, она замѣчаетъ, что все дѣлается не такъ, какъ нужно по ея: сынъ ей и въ ноги не кланяется, — надѣ этого именно потребовать отъ него, а самъ не догадался; и женѣ своей онъ не „приказываетъ“, какъ жить безъ него, да и не умѣетъ приказать, и при прощаньи не требуетъ отъ нея земного поклона; и невестка, проводивши мужа, не востъ и не лежитъ на крыльцѣ, чтобы показать свою любовь. По возможности, Кабанова старается водворить порядокъ, но уже чувствуетъ, что невозможно вести дѣло совершенно по старинѣ; напримѣръ относительно вытья на крыльцѣ она уже только замѣчаетъ невесткѣ въ видѣ совѣта, но не рѣшается настоятельно требовать... Зато проводы сына внушаютъ ей такіа грустныя размышленія:

„Молодость-то что значить! Смѣшно смотрѣть-то даже на нихъ! Кабы не свои, насмѣялась бы досыта. Ничего-то не знаютъ, никакого порядка. Проститься-то путемъ не умѣютъ. *Хорошо еще, у кого въ домѣ старшіе есть*, — ими домъ-то и держится, пока живы. А вѣдь тоже, *глупые*, на свою волю хотятъ: а выйдутъ на волю-то, такъ и путаются на позоръ, на смѣхъ добрымъ людямъ. Конечно, кто и пожалѣетъ, а больше все смѣются. Да не смѣяться-то нельзя: гостей позовутъ — посадить не умѣютъ, да еще, гляди, позабудутъ кого изъ родныхъ. Смѣхъ да и только! *Такъ-то вотъ старина-то и выводится*. Въ другой домъ и взойти-то не хочется. А и взойдешь-то, такъ плюнешь, да вонъ скорѣе. *Что будетъ, какъ старики-то перемрутъ, какъ будетъ свѣтъ стоять, ужъ я и не знаю. Ну, да ужъ хоть то хорошо, что не увижу ничего*.

Пока старики перемрутъ, до тѣхъ поръ молодые успѣютъ состарѣться, — на этотъ счетъ старуха могла бы и не без-



покониться. Но ей, видите ли, важно не то собственно, чтобы всегда было кому смотрѣть за порядкомъ и научать неопытныхъ; ей нужно, чтобы всегда нерушимо сохранялись именно тѣ порядки, остались неприкосновенными именно тѣ понятія, которыя она признаетъ хорошими. Въ узости и грубости своего эгоизма она не можетъ возвыситься даже до того, чтобы помириться на торжествѣ принципа, хотя бы и съ пожертвованіемъ существующихъ формъ; да и нельзя отъ нея ожидать этого, такъ какъ у нея собственно нѣтъ никакого принципа, нѣтъ никакого общаго убѣжденія, которое бы управляло ея жизнью. Она въ этомъ случаѣ гораздо ниже того сорта людей, которыхъ принято называть просвѣщенными консерваторами. Тѣ расширили нѣсколько свой эгоизмъ, сливши съ нимъ требованіе порядка общаго, такъ что для сохраненія порядка они способны даже жертвовать нѣкоторыми личными вкусами и выгодами. На мѣстѣ Кабановой они бы, напримѣръ, не стали предъявлять уродливыхъ и унижительныхъ требованій земныхъ поклоновъ и оскорбительныхъ „наказовъ“ отъ мужа женѣ, а заботились бы только о сохраненіи общей идеи, — что жена должна бояться своего мужа и покорствовать свекрови. Невѣстка не испытывала бы такихъ тяжелыхъ сценъ, хотя и была бы точно такъ же въ полной зависимости отъ старухи. И результатъ былъ бы тотъ, что какъ бы ни плохо было молодой женщинѣ, но терпѣніе ея продолжалось бы несравненно дольше, будучи испытываемо медленнымъ и ровнымъ гнетомъ, нежели когда оно раздражалось рѣзкими и жестокими выходками. Отсюда ясно разумѣется, что для самой Кабановой и для той старины, которую она защищаетъ, гораздо выгоднѣе было бы отказаться отъ нѣкоторыхъ пустыхъ формъ и сдѣлать частныя уступки, чтобы удержать сущность дѣла. Но порода Кабановыхъ не понимаетъ этого, они не дошли даже до того, чтобы представлять или защищать какой-нибудь принципъ внѣ себя, — они сами принципъ, и потому все, касающееся ихъ, они признаютъ абсолютно важнымъ. Имъ нужно не только чтобы ихъ уважали, но чтобы уваженіе это выражалось именно въ извѣстныхъ формахъ: вотъ еще на какой степени стоятъ они! Оттого, разумѣется, внѣшній видъ всего, на что простирается ихъ вліяніе, болѣе сохраняетъ въ себѣ старины и кажется болѣе неподвижнымъ,

чѣмъ тамъ, гдѣ люди, отказавшись отъ самодурства, стараются уже только о сохраненіи сущности своихъ интересовъ и значенія; но въ самомъ-то дѣлѣ внутреннее значеніе самодуровъ гораздо ближе къ своему концу, нежели вліяніе людей, умѣющихъ поддерживать себя и свой принципъ внѣшними уступками. Оттого-то такъ и печальна Кабанова, оттого-то такъ и бѣшенъ Дикой: они до послѣдняго момента не хотѣли укоротить своихъ широкихъ замашекъ, и теперь находятся въ положеніи богатаго купца наканунѣ банкротства. Все у него по прежнему: и праздникъ онъ задастъ сегодня, и миллионный оборотъ порѣшилъ поутру, и кредитъ еще не подорванъ; но уже ходятъ какіе-то темные слухи, что у него нѣтъ наличнаго капитала, что его аферы не надежны, и завтра нѣсколько кредиторовъ намѣрены предъявить свои требованія; денегъ нѣтъ, отсрочки не будетъ, и все зданіе шарлатанскаго призрака богатства будетъ завтра опрокинуто. — Дѣло плохо... разумѣется, въ подобныхъ случаяхъ, купецъ устремляетъ всю свою заботу на то, чтобы надуть своихъ кредиторовъ и заставить ихъ вѣрить въ его богатство: такъ точно Кабановы и Дикіе хлопчутъ теперь о томъ, чтобы только продолжилась вѣра въ ихъ силу. Поправить свои дѣла они ужъ и не рассчитываютъ; но они знаютъ, что ихъ своевольство еще будетъ имѣть довольно простора до тѣхъ поръ, пока всѣ будутъ робѣть передъ ними; и вотъ почему они такъ упорны, такъ высокомерны, такъ грозны даже въ послѣднія минуты, которыхъ уже немного осталось имъ, какъ они сами чувствуютъ. Чѣмъ менѣе чувствуютъ они дѣйствительной силы, тѣмъ сильнѣе поражаетъ ихъ вліяніе свободнаго, здраваго смысла, доказывающее имъ, что они лишены всякой разумной опоры, тѣмъ наглѣе и безумнѣе отрицаютъ они всякія требованія разума, ставя себя и свой произволъ на ихъ мѣсто. Наивность, съ которою Дикой говоритъ Кулигину: „хочу считать тебя мошенникомъ, такъ и считаю; и дѣла мнѣ нѣтъ до того, что ты честный человѣкъ, и отчета никому не даю, почему такъ думаю“, — эта наивность не могла бы высказаться во всей своей самодурной нелѣпости, если бы Кулигинъ не вызвалъ ея скромнымъ запросомъ: „да за что же вы обижаете честнаго человѣка?...“ Дикой хочетъ, видите, съ перваго же раза оборвать всякую попытку требовать отъ него отчета, хочетъ показать, что



онъ выше не только отчетности, но и обыкновенной логики человеческой. Ему кажется, что если онъ признаетъ надъ собою законы здраваго смысла, общаго всѣмъ людямъ, то его важность сильно страдаетъ отъ этого. И вѣдь въ большей части случаевъ такъ дѣйствительно и выходитъ, — потому что его претензіи бываютъ противны здравому смыслу. Отсюда и развивается въ немъ вѣчное недовольство и раздражительность. Онъ самъ объясняетъ свое положеніе, когда говоритъ о томъ, какъ ему тяжело деньги выдавать. „Что ты мнѣ прикажешь дѣлать, когда у меня сердце такое! Вѣдь ужъ знаю, что надо отдать, а все добромъ не могу. Другъ ты мнѣ, и я тебѣ долженъ отдать, а приди ты у меня просить — обругаю. Я отдамъ, отдамъ, а обругаю. Потому только заикнись мнѣ о деньгахъ, у меня всю внутреннюю разжигать станетъ; всю внутреннюю разжигаетъ, да и только... Ну, и въ тѣ поры ни за что обругаю человека“. Отдача денегъ, какъ фактъ матеріальный и наглядный, даже въ сознаниіи самого Дикого пробуждаетъ нѣкоторое размышленіе: онъ сознаетъ, какъ онъ нелѣпъ, и сваливаетъ вину на то, что „сердце у него такое!“ Въ другихъ случаяхъ онъ даже и не сознаетъ хорошенько своей нелѣпости; но, по сущности своего характера, непремѣнно долженъ при всякомъ торжествѣ здраваго смысла чувствовать такое же раздраженіе, какъ и тогда, когда приходится необходимость выдавать деньги. Ему тяжело расплачиваться вотъ почему: по естественному эгоизму онъ желаетъ, чтобы ему было хорошо; все окружающее его убѣждаетъ, что это хорошее достается деньгами; отсюда прямая привязанность къ деньгамъ. Но тутъ его развитіе останавливается, эгоизмъ его остается въ предѣлахъ отдѣльной личности и знать не хочетъ ея отношеній къ обществу, къ своимъ ближнимъ. Ему надо побольше денегъ, — это онъ знаетъ, и потому желалъ бы ихъ получать, а не отдавать. Когда же, по естественному ходу дѣлъ, доходитъ до отдачи, то онъ сердится и ругается: онъ принимаетъ это какъ несчастіе, наказаніе, въ родѣ пожара, наводненія, штрафа, а не какъ должную, законную расплату за то, что для него дѣлаютъ другіе. Такъ и во всемъ: по желанію себѣ добра, онъ хочетъ простора, независимости; но знать не хочетъ закона, опредѣляющаго пріобрѣтеніе и пользованіе всякими правами въ обществѣ. Онъ только хо-

четь больше, какъ можно больше правъ для себя; когда же нужно признать ихъ и за другими, онъ считаетъ это посягательствомъ на его личное достоинство и сердится и старается всячески оттянуть дѣло и воспрепятствовать ему. Даже когда онъ и знаетъ, что уже непременно надо уступить, и уступить потомъ, а все-таки прежде постарается напакостить. „Я отдамъ, — отдамъ, а обругаю!“ И надо полагать, что чѣмъ значительнѣе выдача денегъ и чѣмъ настоятельнѣе необходимость ея, тѣмъ сильнѣе ругается Дикой... Изъ этого слѣдуетъ, что, во-первыхъ, ругательство и все бѣшенство его хотя и непріятны, но не особенно страшны, и кто, убоявшись ихъ, отступился бы отъ денегъ и подумалъ, что ихъ ужъ и получить нельзя, тотъ поступилъ бы очень глупо; во-вторыхъ, что напрасно было бы надѣяться на исправленіе Дикого посредствомъ какихъ-нибудь вразумленій: привычка дурить ужъ въ немъ такъ сильна, что онъ подчиняется ей даже вопреки голосу собственнаго здраваго смысла. Ясно, что его никакія разумныя убѣжденія не остановятъ до тѣхъ поръ, пока съ ними не соединяется осязательная для него, внѣшняя сила: Кулигина онъ ругаетъ, не внимая никакимъ резонамъ; а когда его самого однажды на перевозѣ, на Волгѣ, гусаръ обругалъ, такъ онъ съ гусаромъ не посмѣлъ связаться, а опять-таки выместилъ свою обиду дома: двѣ недѣли послѣ этого всѣ прятались отъ него по чердакамъ да по чуланамъ...

Всѣ подобныя отношенія даютъ вамъ чувствовать, что положеніе Дикихъ, Кабановыхъ и всѣхъ подобныхъ ему самодуровъ далеко уже не такъ спокойно и твердо, какъ было нѣкогда, въ блаженные времена патріархальныхъ нравовъ. Тогда, если вѣрить сказаніямъ старыхъ людей, Дикой могъ держаться въ своей высокомерной прихотливости, не силою, а всеобщимъ согласіемъ. Онъ дурилъ, не думая встрѣтить противодѣйствія, и не встрѣчалъ его: все окружающее было проникнуто одной мыслью, однимъ желаньемъ — угодить ему; никто не представлялъ другой цѣли своего существованія, кромѣ исполненія его прихотей. Чѣмъ больше сумасбродствовалъ какой-нибудь дармоѣдъ, чѣмъ наглѣе попиралъ онъ права человѣчества, тѣмъ довольнѣе были тѣ, которые своимъ трудомъ кормили его и которыхъ онъ дѣлалъ жертвами своихъ фантазій. Благоговѣйные рассказы старыхъ



лакеевъ о томъ, какъ ихъ вельможные бары травили мелкихъ помѣщиковъ, надругались надъ чужими женами и невинными дѣвушками, сѣкли на конюшнѣ присланныхъ къ нимъ чиновниковъ и т. п., рассказы военныхъ историковъ о величіи какого-нибудь Наполеона, безстрашно жертвовавшего сотнями тысячъ людей для забавы своего генія, воспоминанія галантныхъ стариковъ о какомъ-нибудь Донъ-Жуанѣ ихъ времени, который „никому спуску не давалъ“ и умѣлъ опозорить всякую дѣвушку и перессорить всякое семейство, — всѣ подобныя рассказы доказываютъ, что еще и не очень далеко отъ насъ это патріархальное время. Но, къ великому огорченію самодуровъ-дармоѣдовъ, — оно быстро отъ насъ удаляется, и теперь положеніе Дикихъ и Кабановыхъ далеко не такъ пріятно: они должны заботиться о томъ, чтобы укрѣпить и оградить себя, потому что отовсюду возникаютъ требованія, враждебныя ихъ произволу и грозящія имъ борьбою съ пробуждающимся здравымъ смысломъ огромнаго большинства человѣчества. Отсюда возникаетъ постоянная подозрительность, щепетильность и придирчивость самодуровъ: сознавая внутренно, что ихъ не за что уважать, но не признаваясь въ этомъ даже самимъ себѣ, они обнаруживаютъ недостатокъ увѣренности въ себѣ мелочностью своихъ требованій и постоянными, кстати и некстати, напоминаніями и внушеніями о томъ, что ихъ должно уважать. Эта черта чрезвычайно выразительно проявляется въ „Грозѣ“, въ сценѣ Кабановой съ дѣтьми, когда она въ отвѣтъ на покорное замѣчаніе сына: „могу ли я, маменька, васъ послушаться“ возражаетъ: „не очень-то нынче старшихъ-то уважаютъ!“ — и затѣмъ начинаетъ пилить сына и неvěстку, такъ что душу вытягиваетъ у посторонняго зрителя.

КАБАНОВЪ. И, кажется, маменька, изъ вашей воли ни на шагъ.

КАБАНОВА. Повѣрила бы я тебѣ, мой другъ, кабы своими глазами не видала да своими ушами не слыхала, каково теперь стало почтеніе родителямъ отъ дѣтей-то! Хоть бы то-то помнили, сколько матери болѣзней отъ дѣтей переносятъ.

КАБАНОВЪ. Я, маменька...

КАБАНОВА. Если родительница что когда и обидное, по вашей гордости, скажетъ, такъ, я думаю, можно бы перенести! А, — какъ ты думаешь?

КАБАНОВЪ. Да когда же я, маменька, не переношу отъ васъ?

КАБАНОВА. Мать стара, глупа; ну, а вы, молодые люди, умные, не должны съ насъ, дураковъ, и взыскивать.

КАБАНОВЪ (вздыхая, — въ сторону). Ахъ ты Господи! (матери) Да смѣемъ ли мы, маменька, подумать!

КАБАНОВА. Вѣдь отъ любви родители и строги-то къ вамъ бываютъ, отъ любви васъ и бранятъ-то, все думаютъ добру научить. На, а это нынче не нравится. И пойдутъ дѣтки-то по людямъ славить, что мать ворчунья, что мать проходу не дастъ, со свѣту сживается... А сохрани Господи, какимъ-нибудь словомъ снохѣ не угодить, — ну, и пошелъ разговоръ, что свекровь заѣла совсѣмъ.

КАБАНОВЪ. Нешто, маменька, кто говоритъ про васъ?

КАБАНОВА. *Не слыхала, мой другъ, не слыхала, мать не хочу. Ужъ кабы я слышала, я бы съ тобой, мой милый, тогда не такъ заговорила.*

И послѣ этого сознанія старуха все-таки продолжаетъ на цѣлыхъ двухъ страницахъ пилить сына. Она не имѣетъ на это никакихъ резоновъ, но у ней сердце неспокойно: сердце у нея вѣщунъ, оно даетъ ей чувствовать, что что-то неладно, что внутренняя, живая связь между нею и младшими членами семьи давно рушилась, и теперь они только механически связаны съ нею и рады были бы всякому случаю развязаться.

*Добролюбовъ.*

### „Бѣдность не порокъ“.

Что касается главнаго дѣйствующаго лица этой комедіи, Гордея Карповича Торцова, то Добролюбовъ, конечно, имѣлъ несомнѣнное право сказать, что это „уже самодуръ въ полномъ смыслѣ“. Онъ и кругъ и гордъ, и разсудка не имѣетъ, по отзыву жены его Пелагеи Егоровны. Цѣлый домъ дрожить передъ нимъ. Особенно грозенъ онъ сдѣлался съ тѣхъ поръ, какъ подружился съ Африканомъ Саввичемъ Коршунковымъ и сталъ „перенимать новую моду“. — Она, эта „новая мода“, слышна и въ томъ, что сулитъ онъ дочери, выдавая ее за этого ненавистнаго ей вдовца: „Ты, дура, сама не понимаешь своего счастья. Въ Москвѣ будешь по-барски жить, въ каретахъ будешь ѣздить. Одно дѣло: ты будешь жить въ виду, а не въ такой глуши; а другое дѣло — я такъ тебѣ приказываю“. Желая показать себя передъ будущимъ зятемъ, Гордей Карпычъ ему говоритъ: „въ другомъ



мѣстѣ за столомъ-то прислуживаетъ молодецъ въ поддевкѣ, либо дѣвка, а у меня фицыянтъ въ нитяныхъ перчаткахъ. Эготъ фицыянтъ, онъ ученый, — изъ Москвы, онъ всѣ порядки знаетъ: гдѣ кому сѣсть, что дѣлать. А у другихъ что! соберутся въ одну комнату, усядутся въ кружокъ, пѣсни запоютъ мужицкія. Оно, конечно, и весело, да я считаю такъ, что это низко, никакого тоу пѣть“. Жена его, какъ извѣстно, другого мнѣнія. „Люблю по-старому, — говоритъ она, — да по-нашему, по-русскому. Вотъ мужъ у меня не любитъ, что дѣлать, характеромъ такой вышелъ. А я люблю, я веселая... да чтобъ попогчевать, да чтобъ мнѣ пѣсни пѣли... да, въ родню свою: у насъ весь родъ веселый... пѣсельники“... „Теперь все ему наше русское не мило“, жалуется она Митѣ на мужа еще въ самомъ началѣ комедіи: „ладить одно: хочу по-нынѣшнему... Надѣнь, говоритъ, чепчикъ... Модное-то ваше, да нынѣшнее, говорю я ему, каждый день мѣняется, а русскій-то нашъ обычай испоконъ вѣка живетъ“. По претензіямъ на образованіе Гордей Карпычъ напоминаетъ Липочку Большову. Про нее, право, можно было бы сказать, что Добролюбовъ говоритъ про Гордѣя Карпыча: „умѣетъ извлечь изъ претензій на образованность только увеличеніе требованій и правъ своихъ, но никакъ не расширеніе своихъ собственныхъ обязанностей“. Въ этомъ отношеніи Торцовъ отчасти напоминаетъ нашихъ баръ XVIII в., которые, нарядившись во французскій кафтанъ, сочли себя имѣющими тѣмъ болѣе права выжимать собѣ изъ „подлаго“ народа.

Обращаясь къ тѣмъ, кому приходится терпѣть отъ самодурства Гордея Карпыча, Добролюбовъ, справедливо, конечно, замѣтилъ: „и вѣдь если бы еще, въ самомъ дѣлѣ, сила неодолимая, натура высшаго разряда тяготѣла надъ этими несчастными! А то вовсе нѣтъ!... Гордѣй Карпычъ не только крайне ограниченъ въ своихъ понятіяхъ, но еще трусливъ и слабодушенъ. Это опять-таки неотъемлемое, неизбѣжное свойство самодурства. Самодуръ дуритъ, ломается, артачится, пока не встрѣчаетъ себѣ противодѣйствія, или пока противодѣйствіе робко и нерѣшительно; но у него нѣтъ такой точки опоры, которая могла бы поддержать его въ серьезной и рѣшительной борьбѣ. Если вы хотите служить и вести дѣло честно, не бойтесь вступить въ серьезный рѣшительный споръ съ самодурами, рѣшитесь заранѣе, что вы

на полусловѣ не остановитесь и пойдете до конца, хотя бы отъ этого угрожала вамъ дѣйствительная опасность потерять мѣсто или лишиться какихъ-либо милостей“. Все это прекрасно сказано и этимъ только указывается вообще на возможность не поддаваться средѣ. Но вѣдь и Митя не желалъ бы поддаться. Правда. Митѣ приходится только задаромъ хвалиться: „Посажу ее въ саночки-самокаточки да и былъ таковъ. Не видать ее тогда старому, какъ ушей своихъ, а моей головѣ за одно ужъ погибать!...“ Но если его слова не переходятъ въ дѣло, то это едва ли объясняется смирениемъ, т.-е. уступчивою искательностью ради своихъ выгодъ. Вспомнимъ коротенькій, но содержательный разговоръ его съ Гордеемъ Карпычемъ. — „Ты бы вотъ сертучишко новенькій сшилъ, — говоритъ ему Торцовъ. — Вѣдь, къ намъ наверхъ ходишь, гости бываютъ... Срамъ! Куда деньги-то дѣлаешь? — „Маменькѣ посылаю, потому что она въ старости, ей негдѣ взять“. — „Матери посылаешь! Ты себя-то образилъ бы прежде; матери-то не Богъ знаетъ, что нужно, не въ роскоши воспитана; чай сама хлѣвы затворяла“. — „Ужъ пуцай же лучше я буду терпѣть, да маменька, по крайности, ни въ чемъ не нуждается“. — Вотъ почему Митя только говоритъ: „Эхъ, дайте душѣ просторъ — разгуляться хочетъ! По крайности, коли придется и въ отвѣтъ идти, такъ ужъ то буду знать, что потѣшился“. Не одна своя голова у него на плечахъ, и вотъ онъ призадумывается надъ тѣмъ, въ чемъ заключается его собственное счастье. Но вѣдь это же и счастье другого существа, Любви Гордеевны? Да, но онъ знаетъ ее: и счастье ей будетъ въ несчастье, если онъ увезетъ ее противъ отцовской воли. Она, въ самомъ дѣлѣ, сдается передъ самоуправствомъ, хотя, кто знаетъ, вся ли высказывается она на словахъ, не гнѣздятся ли въ ея душѣ и затаенная мысль все о той же Митиной матери? И ждала бы отъ нея, пожалуй, судя по своему Митѣ, всего добраго, да не бросить же Митѣ свою старушку, а чѣмъ-то имъ будетъ жить втроемъ? Старушка уже дряхла, какъ-то Митя себѣ отыщетъ новое мѣсто при возможной стачкѣ съ купцами, а Люба-то вѣдь ничему не обучена; въ этомъ, разумѣется, она безгласная жертва, самодурства, и мысль о трудѣ, вѣроятно, не приходила ей въ голову. Какъ бы то ни было, не мало разныхъ побужденій должно шевелиться у нея въ душѣ, не



мало разныхъ мыслей проходить чрезъ ея голову, Ап. Григорьевъ, умѣя глубоко заглядывать въ разнородный составъ человѣческой души, имѣлъ право сказать: „Любовь Гордеевна — одинъ изъ прелестнѣйшихъ, хотя и слегка очерченныхъ женскихъ образовъ Островскаго, — не забитая личность, возбуждающая только сожалѣніе, а высокая личность, привлекающая все наше сочувствіе, какъ не забитыя личности „ни Марья Андреевна въ „Бѣдной невѣстѣ“, ни Пушкинская Татьяна, ни Лиза (въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“ — „ваша Лиза“, какъ выразился Григорьевъ, придавъ своей критикѣ форму письма къ Тургеневу). Быть, составлявшій фонъ широкой картины, взять — на всякіе глаза, кромѣ глазъ теоріи — не сатирически, а поэтически, съ любовію, съ симпатіею очевиднымъ, скажу больше — съ религіознымъ культомъ существеннаго народнаго“. Да, быть тутъ взять точно, такъ же, какъ Пушкинымъ, какъ Тургеневымъ. Изъ этого, конечно, не слѣдуетъ, чтобы все въ этомъ быту представлялось поэту разумнымъ. Пушкинъ былъ, конечно, далекъ отъ того, чтобы проповѣдовать русскимъ дѣвушкамъ тихое пристанище въ монастырскихъ стѣнахъ. Такъ и Островскій вовсе не рекомендуетъ прелестей брака со старымъ вдовцомъ, а только не караетъ своей Любови Гордеевны за то, что она не бѣжитъ съ Митей, а въ грустномъ раздумьи не знаетъ, что ей дѣлать? Какъ хорошъ, какъ многосодержателенъ ея короткій разговоръ съ Коршуновымъ.

„— Вотъ что скажу вамъ, драгоценная моя барышня: молодые-то загуливать любятъ, веселости, да развлеченія, да дебоши разные, а жена-то сиди дома, жди его до полуночи. А пріѣдетъ-то пьяненькій, заломается, заважничаетъ. А старикъ-то все подлѣ жены такъ и будетъ сидѣть; умирать будетъ — прочь не отойдетъ.

„— А васъ-то жена-покойница любила?

„— А вамъ, сударыня, на что это?

„— Такъ, хотѣлось знать.

„— Знать хотѣлось?... Нѣтъ, не любила, да и я не любилъ ее. Она и не стоила того, чтобы ее любить-то. Я ее взялъ бѣдную, нищую, за красоту только одну; все семейство призрѣлъ; спасъ отца изъ ямы; она у меня въ золотѣ ходила!

„— Любви золотомъ не купишь.

„— Люби не люби, да почаще взглядывай! Имъ, вишь, деньги нужны были, нечѣмъ было жить. Я давалъ, не отказывая, а мнѣ воѣ нужно, чтобъ меня любили. Что жъ я воленъ этого требовать, или нѣтъ? Я вѣдь за то деньги платилъ. На меня грѣхъ пожаловаться: кого я люблю, тому хорошо жить на свѣтѣ, а ужъ кого не люблю, такъ не пеняй“.

Отъ грозящей бѣдняжкѣ Любови Гордеевнѣ золотой клѣтки спасаетъ ее близкій ей человѣкъ, но такой, на котораго ни она ни Митя ужъ, конечно, не рассчитывали. У Мити, какъ у сказочнаго Иванушки, душа широкая. Мало у него за душой, а нѣтъ, нѣтъ да и дастъ гривенничикъ Любиму Карпычу Торцову, родному брату своего хозяина, который его и не хочетъ знать за пропащую его жизнь. Любимъ Карпычъ, не имѣющій даже и своего угла, скажетъ Митѣ: „я почевать къ тебѣ приду“, и въ самомъ дѣлѣ придетъ и ночуетъ. И вдругъ, безъ малѣйшаго расчета съ Митиной стороны, пригодился ему Любимъ Торцовъ, какъ Иванушкѣ пригодилась кабая-то птица, которой птенчиковъ онъ пригрѣлъ.

А вѣдь безпутный человѣкъ Любимъ Карпычъ. Да, но онъ самъ больше всѣхъ и чувствуетъ свое безпутство, и вотъ эгимъ-то въ самымъ корнѣ и отличается онъ отъ Африкана Саввича, который когда-то точно такъ же гулялъ, но котораго вывезло то, что онъ и надуть умѣлъ и на надувательствѣ соорудилъ себѣ спасительную пристань, чтобы затѣмъ къ ней пристать и зажить уже степенно, но широко, зажить въ роскоши на томъ берегу, на который ему удалось такъ выплыть.

„Остался я послѣ отца, видишь ты, малъ-малъ-малехонекъ, съ коломенскую версту, лѣтъ двадцати несмышленочекъ“, самъ на свой счетъ прохаживался Любимъ Карпычъ, исповѣдуясь Митѣ. „Въ головѣ-то, какъ въ пустомъ чердакѣ, вѣтеръ такъ и ходитъ. Раздѣлились мы съ братомъ: себѣ онъ взялъ заведеніе, а мнѣ далъ деньгами, да билетами, да векселями. Ну, ужъ вакъ онъ тамъ раздѣлилъ — не наше дѣло, Богъ ему судья“. Не желая судить, обвинять другихъ, когда и самъ виноватъ, Любимъ Торцовъ не думаетъ о томъ, что у брата, когда онъ взялъ себѣ заведеніе, а ему отдалъ деньги, былъ, можетъ-быть, и расчетъ на то, что деньги легче спустить, а что заведеніе устойчивѣе. Есть, вѣдь, и



такая черта въ людяхъ — она подмѣчена психологіею народныхъ сказокъ — что люди не терпятъ чужого счастья, чужого благосостоянія, что даже братья способны бываютъ глядѣть на братнино счастье, какъ на какую-то помѣху своему собственному. „Вотъ я и поѣхалъ въ Москву по билетамъ деньги получать, — продолжаетъ Любимъ, — нельзя не ѣхать. Надо людей посмотрѣть, себя показать, высокого тона набраться... Надобно до всего дойти! Первое дѣло, одѣлся франтомъ, знай, дескать, нашихъ! То-есть такого-то дурака разыгрываю, что на рѣдкость. Сейчасъ, разумѣется, по трактирамъ... „Шпиленъ зи полька, еще бутылочку похолоднѣе“. У него, видно, какъ у брата Гордея, было своего рода тяготѣніе къ *инициализаціи*. Но Гордей, разумѣется, оставался совершенно чуждъ той артистической жилки, которая сказывалась въ культурныхъ вождѣніяхъ Любима. Вотъ эта-то жилка, быть можетъ, и содѣйствовала тому, чтобы не въ конецъ заглохло въ Любимѣ то, что называется „искрой Божіей“. „Я въ трагедію ходилъ смотрѣть, — говоритъ онъ, хотя и прибавляетъ, можетъ-быть, и преувеличивая, въ порывѣ самоосужденія, будто „не помнить ничего, потому что больше все пьяный“. „Такимъ-то побытомъ, — доходитъ до развязки Любимъ, — деньжонки всѣ я ухнулъ; что осталось, довѣрилъ пріятелю Африкану Коршунову на божбу да на честное слово; съ нимъ же и я пилъ да гулялъ, онъ же всему безпутству заводчикъ, главный заторщикъ изъ бражиаго, онъ же меня и надулъ, вывелъ на свѣжую воду. И сѣлъ я, какъ ракъ на мели“. Дѣло дошло до того, что хоть петлю на шею. „Есть ремесло хорошее, — попрежнему издѣвается надъ своимъ положеніемъ Любимъ, — коммерція выгодная — воровать. Да не гожусь я на это дѣло — совѣсть есть, опять же и страшно: никто этой промышленности не одобряетъ“. Сказалъ было словечко и въ свою пользу, да и сейчасъ же и отговаривается, будто скорѣе его удержали практическія соображенія. А вѣдь дѣло-то именно въ томъ, что совѣсть въ немъ не заснула, тогда какъ она спитъ и въ Коршуновѣ, и въ Гордѣѣ Карпычѣ. Не сдѣлавшись воромъ, сдѣлался бѣдняга-Любимъ скоморохомъ. „Какъ пріѣдетъ, — говоритъ онъ, — особенно кто побогаче, выскочишь, сдѣлаешь колѣнице, ну и дастъ, кто пятачекъ, кто гривну“. Стыдно, однако,

такъ жить. Не лучше ли взяться за трудъ? „Такъ ужъ рѣшился, — продолжаетъ онъ, — сходить Богу помолиться да идти къ брату, пусть возьметъ хоть въ дворникѣ. Такъ и сдѣлалъ. Бухъ ему въ ноги! Будь, говорю. вмѣсто отца! Жилъ такъ и такъ, теперь хочу за умъ взяться. А ты знаешь, какъ братъ меня принялъ? Ему, видишь, стыдно, что у него братъ такой. А ты поддержи меня, говорю ему, оправь, обласкай, я человѣкъ буду. Такъ пѣтъ, говоритъ, куда я тебя дѣну. Ко мнѣ гости хорошіе ѣздятъ, купцы богатые, дворяне; ты говоритъ, съ меня голову снимешь“. Ну, совершенно какъ въ народныхъ сказкахъ. Только у Гордея прослушается и тутъ незнакомый имъ оттѣнокъ культурности. „По моимъ чувствамъ и понятіямъ, мнѣ бы совсѣмъ, говоритъ, не въ этомъ роду родиться. Я видишь, говоритъ, какъ живу: кто можетъ замѣтить, что у насъ тятенька мужикъ былъ“. Въ этомъ смыслѣ Гордей напоминаетъ Алексѣя Лохматого, только тотъ не сразу, а постепенно, все болѣе и болѣе скатываясь внизъ, по мѣрѣ того, какъ думаетъ подняться вверхъ, доходитъ до подобнаго презрѣнія къ своимъ, къ своему происхожденію. „Сразилъ онъ меня, какъ громомъ, — говоритъ о братѣ Любимъ. — Съ этихъ-то словъ я опять сталъ зашибаться немного. Ну, да я думаю, Богъ съ нимъ, у него вотъ эта кость толста“. Но дѣло не столько тутъ въ мѣдлолюбіи, сколько въ заспавшейся совѣсти. Впрочемъ, одно съ другимъ граничитъ.

Но вотъ, должно быть, провѣдалъ Любимъ, что у Гордея Карпыча уже и сговоръ съ Коршуновымъ. Жалость, должно-быть, его разобрала, жалость къ племянницѣ, жалость къ Митѣ, смиренному въ самомъ хорошемъ смыслѣ; не важничающему съ бѣдняками и даже съ несчастными гулящими, доброму Митѣ. Впрочемъ, Любимъ еще заранѣе сказалъ послѣднему про Гордея Карповича: „ну, да я съ нимъ штуку сдѣлаю; дуракамъ богатство — зло“. И Любимъ Карпычъ, въ своемъ обычномъ забубенномъ костюмѣ, является вдругъ въ гостинной брата, не стыдяся его новой „небели“ и его фицьянтовъ, да еще протягиваетъ руку Коршунову. „Я тебя, братецъ помню, — говоритъ тотъ, — ты по городу ходилъ, по копеечкѣ собиралъ“. — „Ты помнишь, какъ я по копеечкѣ собиралъ, а помнишь ли ты, какъ мы съ тобой погуливали, осеннія темныя ночи просиживали, изъ трактира въ погребокъ перепархи-



вали? А не знаешь ли ты, кто меня разорилъ, съ сумой по міру пустилъ?" Но Любимъ Торцовъ на этомъ не останавливается. Когда Гордей, увидавъ его у себя, кричитъ ему: „что ты со мной дѣлаешь? вонъ сойчасъ“, Любимъ и не думаетъ уходить, а преспокойно задаетъ Коршунову задачу: „отчего у осла длинныя уши“, самъ же и рѣшая ее затѣмъ: „для того, чтобы всѣ знали, что онъ оселъ“. Милому же братцу, Гордею Карпычу, задаетъ онъ вопросъ: „Честный ты купецъ или нѣтъ? Коли ты честный, не водись съ безчестнымъ, не трись подлѣ сажн — самъ замаешься“. Сколько ни уговариваютъ его, у Любима одинъ отвѣтъ: „не замолчу, теперь кровь заговорила!“ Обращаясь къ входящимъ гостямъ, онъ обращается къ нимъ точно къ міру — народу: „Послушайте люди добрые! Обижаютъ Любима Торцова, гонятъ вонъ. А чѣмъ я не гость? За что меня гонять (не даромъ онъ еще раньше спросилъ брата: „ты думаешь, пьянъ Любимъ Торцовъ?“ сознавая себя теперь трезвымъ, онъ сознаетъ въ себѣ человѣческое достоинство). Я не чисто одѣтъ, такъ у меня на совѣсти чисто. Я не Коршуновъ: я бѣдныхъ не грабилъ, чужого вѣку не заѣдалъ, жены ревностью не замучилъ... Меня гонять, а онъ первый гость, его въ передній уголъ сажаютъ. Что жъ, ничего, ему другую жену дадутъ: братъ за него дочь отдаетъ!“ И Любимъ вправѣ говорить о своей чистой совѣсти — по крайней мѣрѣ, сравнительно съ братомъ и его нареченнымъ зятемъ; онъ вредитъ и вредитъ лишь себѣ, онъ чужого вѣку не заѣдалъ. Напрасно Коршуновъ увѣряетъ: „это онъ по злобѣ на меня говоритъ спьяну“. — Я тебѣ давно простилъ, — спокойно отвѣчаетъ Любимъ Торцовъ. — Я человѣкъ маленькій, червякъ ползущій, ничтожество изъ ничтожествъ! Ты другимъ-то зла не дѣлай“, заключаетъ онъ, считая себя даже слишкомъ ничтожнымъ, чтобы стоять за себя и мстить, но чувствуя себя „власть имущимъ“, если онъ заступаетъ за другихъ, за безвинную жертву родного отца. Сознывая въ себѣ эту власть, онъ вдругъ нравственно вырастаетъ, онъ повелительно говоритъ, когда братъ приказываетъ его вывести: „Не трогать! Хорошо тому на свѣтѣ жить, у кого нѣтъ стыда въ глазахъ!“ И видя, что все кругомъ, недоумѣвая, молчитъ, онъ уже со всею плотностью своего человеческого достоинства заключаетъ: „О люди, люди! Любимъ

Торцовъ пьяница, а лучше васъ! Вотъ теперь я самъ пойду: шире дорогу!" Если вѣрно, что отъ высокаго до смѣшного часто бываетъ всего одинъ шагъ, то тутъ выходитъ наоборотъ, что отъ смѣшного до высокаго тоже одинъ шагъ.

У Любима Торцова, по его словамъ, заговорила кровь. Но у него также заговорило и прирожденное человѣку чувство правды. Съ такою же смѣлостью далъ ему въ послѣдствіи зазвучать Островскій — только на поприщѣ неизмѣримо-расширенномъ — зазвучать устами Минина:

Не самъ я говорилъ, кровь заговорила.

Когда же вздумали ему пригрозить:

А скажу замолчать, такъ замолчишь.

Онъ съ невозмутимою увѣренностію отвѣтилъ:

Не замолчу. На то мнѣ данъ языкъ,  
Чтобъ говорить...

Во имя тѣхъ же державныхъ правъ человѣческаго языка, какъ органа Божьей правды, заговорилъ и не позволилъ себя остановить и Любимъ Торцовъ. Онъ заговорилъ безъ опредѣленнаго плана, безъ вѣрнаго расчета на то, чтобы, разбудить Коршунова, заставить его разобидѣть Торцова и такимъ образомъ стравить и затѣмъ развести двухъ столкнувшихся самодуровъ. Но такъ оно выходитъ на самомъ дѣлѣ — и въ этомъ глубокая психологія нашей драмы (тутъ ужъ не скажешь: комедія). „Шалишь, — говоритъ любезному тестюшкѣ Коршуновъ, — я даромъ себя обидѣть не позволю. Нѣтъ, ты теперь приди-ка ко мнѣ да мнѣ поклоняйся, чтобъ я дочь-то твою взялъ“. Но вотъ тутъ-то коса и находитъ на камень. „Я къ тебѣ пойду кланяться?“ гордо спрашиваетъ Гордей. „Пойдешь, я тебя знаю, — отвѣчаетъ Коршуновъ. „Тебѣ нужно свадьбу сдѣлать, хоть въ петлю лѣзть, да только бѣ весь городъ удивить, а жениховъ-то нѣтъ. Вотъ несчастье-то твое“. Но это выходитъ уже черезъ край. „Опосля этого, когда ты такія слова говоришь, — отрѣзаетъ Гордей Карпычъ, — я самъ тебя знать не хочу. Я отродясь никому не кланялся. Я, коли на то пошло, за кого вздумается, за того и отдамъ! Съ деньгами, что я за ней дамъ, всякій человѣкъ будетъ“. Тутъ, какъ разъ, входитъ Митя, и Гордей, расхаживавшій, приговариваетъ: „Вотъ за Митьку



отдамъ!... Завтра же, да такую свадьбу задамъ, что ты не видывалъ: изъ Москвы музыкантовъ выншу, одинъ въ четырехъ каретахъ поѣду“.

Разнаго рода критика, по замѣчанію Добролюбова, возстала на автора за произвольность развязки. „Внезапная переѣна Гордея Карповича, его ссора съ Африканомъ Савичемъ и вниманіе къ требованіямъ Любима Торцова показала имъ неестественными“. Самъ Добролюбовъ справедливо выступилъ на защиту Островскаго, замѣтивъ: „одинъ самодуръ говоритъ: „ты не смѣешь этого сдѣлать!“ а другой отвѣчаетъ: „нѣтъ смѣю“. Тутъ споръ идетъ уже о томъ, кто кого передурить“.

„За Митьку, да! — продолжаетъ Гордей хорохориться. — „На зло ему, за Митьку отдамъ“. Напрасно, однакожь, Митя, подъ вліяніемъ внезапной радости, сейчасъ и принялъ эти слова за чистую монету. Да, напрасно онъ расчувствовался, говоря: „Зачѣмъ же на зло, Гордей Карпычъ? Со зломъ такого дѣла не дѣлають. Мнѣ на зло не надобно-сь. Лучше ужъ я всю жизнь буду мучиться. Коли ужъ есть ваша такая милость, такъ ужъ вы благословите насъ какъ слѣдуетъ, по-родительски, съ любовію... Какъ любили мы другъ друга и даже до этого случая хотѣли вамъ повиниться... А ужъ я вамъ вмѣсто сына, то-есть завсегда, всей душой-сь“. Чуть было онъ этимъ не испортилъ всего дѣла. „Что, что всей душой? — говоритъ Гордей Карпычъ: — Ты ужъ и радъ случаю! Да какъ ты смѣлъ подумать-то? Что она, ровня, что ль, тебѣ? Съ кѣмъ ты говоришь, вспомни!“ Но не даромъ же раздалось смѣлое слово Любима Торцова. Много значитъ смѣлое слово, и не пропадаетъ оно даромъ. Даетъ оно знать и другимъ, что нельзя молчать, подсказываетъ оно и другимъ, что грубая сила должна же сдаться передъ правдивымъ словомъ. Заговорила и безгласная, безпрекословная Любовь Гордеевна: „Я тятенька вашей воли не перечила. Коли хотите моего счастья, отдайте меня за Митю“. Заговорила и Пелагея Егоровна: „Что ты, въ самомъ дѣлѣ, Гордей Карпычъ капризничаешь, да!... Я было ужъ обрадовалась, насилу-то отъ сердца отлегло, а ты опять за свое... То скажешь за одного, то за другого. Что она тебѣ, на мытарство, что ли, досталась?“ Снова заговорилъ, выдвигаясь изъ толпы, бывшей свидѣтельницей всего предыдущаго, и Любимъ Кар-

нытъ, заговорилъ ровнымъ, но проникающимъ въ душу голо-  
сомъ: „Братъ, отдай Любушку за Митю“. Ужъ напрасно  
теперь Гордей Карпычъ думаетъ защититься отъ пересили-  
вающихъ его — тѣмъ, что ссылается на конфузъ, до кото-  
раго его довелъ Любимъ. „А ты еще съ совѣтами лѣзешь“, —  
пытается онъ еще разъ отпихнуть его. — Ужъ пускай бы  
говорилъ человѣкъ, да не ты“. — „Да ты поклонись Любиму  
Торцову въ ноги, что онъ тебя оконфузилъ-то“, не сдаваясь  
попрежнему, властнымъ тономъ ему говоритъ Любимъ, а Пе-  
лагея Егоровна отъ всей полноты сердца подхватываетъ:  
„Да, именно. Снялъ ты съ нашей души грѣхъ великій; не  
замолить бы намъ его“. — „Что жъ, я — извергъ, что ли какой  
въ своемъ семействѣ“, начинается совѣмъ сдаваться Гордей  
Карпычъ. Изъ этого вы уже замѣчаете — сказано и у Добро-  
любова, — что его начинаетъ пробивать великодушіе. Разъ  
уже поставилъ на своемъ, прогнавъ Коршунова, и слѣдо-  
вательно самолюбіе его удовлетворено покаместъ. Къ тому же  
онъ уже и утомленъ напряженіемъ, которое сдѣлалъ, и не  
въ состояніи снова собрать ту же энергію для другой борьбы.  
А тутъ вмѣстѣ съ кроткими мольбами жены допекаютъ его  
разсужденія и назойливыя просьбы брата Любима, который  
говоритъ съ нимъ смѣло и рѣшительно, безъ всякихъ умол-  
чаній, подкрѣпляя просьбы свои доказательствами, взятыми изъ  
собственного опыта“. „Посмотри на меня“, — говоритъ онъ, —  
вотъ тебѣ примѣръ — Любимъ Торцовъ передъ тобой живой  
стоитъ. Онъ по этой дорожкѣ ходилъ, знаетъ какова она  
(т.-е. дорога богатства безъ руководящихъ правилъ). Я былъ  
и богатъ и славенъ, въ каретахъ ѣздилъ, такія шутки вы-  
кидывалъ, что тебѣ и въ голову не придетъ, а потомъ  
верхнимъ концомъ, да внизъ“. Но Гордей Карпычъ дѣлаетъ  
послѣднее усиліе, чтобы отпихнуть его, говоря: „Ты мнѣ  
что ни говори, я тебя слушать не хочу; ты мнѣ врагъ на  
всю жизнь“. — „Человѣкъ ты или звѣрь? — окончательно напи-  
раетъ на него братъ: — пожалѣй ты Любима Торцова“. Тутъ  
и колѣни невольно подкашиваются у Любима: онъ уже не  
бичуетъ и требуетъ, а слезно молить. Поднявшись на ту  
высоту человѣческаго достоинства, на которую вдругъ его  
подняло занятое имъ положеніе глашатая правды, онъ, огля-  
дываясь на себя, въ ужасъ приходитъ отъ предстоящаго  
ему возврата на прежнюю изменную линію, и хватается



за Митино счастье, какъ за единственный якорь для своего спасенія. „Братъ, отдай Любушку за Митю, — причитаетъ Любимъ: — онъ мнѣ уголь дастъ. Назябся ужъ я, наголодался. Лѣта мои прошли, тяжело ужъ мнѣ паясничать на морозѣ-то изъ-за куска хлѣба; ходь подъ старость-то да честно жить. Вѣдь, я народъ обманывалъ: просилъ милостыню, а самъ пропивалъ. Мнѣ работишку дадутъ; у меня будетъ свой горшокъ щей“. У меня, хочетъ онъ сказать, будетъ то, чего ты не захотѣлъ мнѣ дать, какъ бы мало оно тебѣ ни стоило; такъ дай же хоть другому-то дать мнѣ, чего самъ не далъ. А вѣдь Митя дастъ. „Что онъ бѣднякъ-то? Эхъ, кабы я бѣденъ былъ, я бы человѣкомъ былъ. Бѣдность — не порокъ!“ Тутъ только стоитъ еще подсказать Пелагеѣ Егоровнѣ: „неужели въ тебѣ чувства нѣтъ? — и Гордея уже прошибаетъ слеза. „А вы и въ самомъ дѣлѣ думали, что нѣтъ? — спрашиваетъ онъ, поднимая брата: — Не знаю, какъ и въ голову вошла такая гнилая фантазія“. Благословляя и дочь и Митю, онъ даже велитъ имъ сказать спасибо дядѣ Любиму Карпычу.

Драма кончается переходомъ опять въ комедію, благодаря развеселой выходкѣ Разлюляева, которую онъ какъ бы утѣшаетъ себя за то, что приходится уступить Митѣ Любовь Гордеевну, любимую имъ втихомолку. „Это онъ правду говоритъ: пьянство — не порокъ... то бишь, бѣдность — не порокъ... Вотъ всегда проврусь!“

*Миллеръ.*

## Художественное и національное значеніе комедій Островскаго.

Мѣсто Островскаго среди первоклассныхъ отечественныхъ писателей опредѣляется, во-первыхъ, его большимъ, глубокимъ поэтическимъ дарованіемъ, во-вторыхъ — національнымъ содержаніемъ его поэзіи, а въ-третьихъ — оригинальными достоинствами художественной формы его произведеній. Островскій — поэтъ-художникъ, поэтъ-реалистъ въ чистѣйшемъ значеніи этого слова. Къ нему вполне подходятъ основныя черты, которыми еще Бѣлинскій — по поводу разбора сочиненій Гончарова — охарактеризовалъ такихъ поэтовъ. И Островскій, какъ всѣ они „мыслить образами“ и воспроизводитъ изо-

ображаемую дѣйствительность въ живыхъ, типическихъ образахъ. Онъ равно далекъ какъ отъ преднамѣренныхъ идей, такъ и отъ фотографическихъ снимковъ готовыхъ отдѣльных фактовъ дѣйствительности. Вотъ почему въ сочиненіяхъ его нѣтъ такъ-называемой тенденціозности, а вездѣ живымъ ключомъ бьетъ поэтическая правда изображаемой дѣйствительности. Не копін частныхъ, отрицательныхъ явленій русской жизни даетъ Островскій въ своихъ произведеніяхъ, а художественныя созданія, полныя силы и значенія тишы. Они богаты содержаніемъ, они много говорятъ сердцу и мысли читателя (или зрителя). Они властною рукою ведутъ читателя къ пониманію цѣлой изображаемой эпохи или — значительныхъ слоевъ родной общественности. На созданіяхъ Островскаго оправдалось и то слово, которымъ Гоголь охарактеризовалъ творчество истинныхъ поэтовъ, у которыхъ довольно глубины душевной, чтобы „озарить картину, взятую изъ презрѣнной жизни, и возвести ее въ перлъ созданья“ („Мертвыя души“. Т. I. Гл. VII).

Національность содержанія во всѣхъ произведеніяхъ Островскаго составляетъ ихъ основную почву. На этой почвѣ стоятъ весь строй и смыслъ, вся сила и занимательность поэтического произведенія, — беретъ ли Островскій предметы изъ русской современности, или же изъ нашего отдаленнаго, историческаго прошлаго. Въ огромномъ большинствѣ сочиненій Островскаго разработано содержаніе, взятое изъ тѣхъ именно слоевъ русской жизни, которые наименѣе разработаны у предшествующихъ, даже лучшихъ, отечественныхъ писателей. Это — слои купечества и мѣщанства. Купеческій и мѣщанскій міръ захваченъ Островскимъ въ самый любопытный моментъ, именно — между прежнимъ его состояніемъ, домостроевскимъ складомъ вѣрованій, понятій и обычаевъ, и новымъ состояніемъ, т.-е. сравнительно недавними успѣхами отечественной образованности, которые, озаривши верхніе слои русской жизни, стали пробиваться свѣтлыми лучами и въ низменныя, темныя области русской семейственности и общественности. Этотъ, до послѣдняго времени, замкнутый міръ купечества и мѣщанства раскрытъ Островскимъ въ широкихъ, яркихъ, типическихъ картинахъ и, благодаря такому содѣйствію поэзіи, сразу и навсегда поступилъ богатымъ кладомъ въ русскую художественную литературу. Кромѣ



главнаго господствующаго содержанія въ сочиненіяхъ Островскаго, въ нѣкоторыхъ его произведеніяхъ — во вторую половину его поэтической дѣятельности — встрѣчается и другое содержаніе: сюжеты изъ жизни мелкаго чиновничества и даже изрѣдка — дворянства и, вообще, средняго круга русской интеллигенціи. Наконецъ, въ нѣсколькихъ сочиненіяхъ шестидесятихъ годовъ, именно въ драматическихъ хроникахъ, широко и величественно разворачивается картина отечественной исторической старины, преимущественно — смутной эпохи нашей исторіи, начала XVII столѣтія.

Общее впечатлѣніе бытовыхъ комедій и драмъ Островскаго, т.-е. тѣхъ пьесъ, въ которыхъ раскрываются сильнѣйшія, типическія черты и явленія грубой и обособленной, недавно еще вполне замкнутой, среды купечества и мѣщанства, очень тяжело. Въ нихъ на каждомъ шагу чувствуется угнетенное, притѣвленное положеніе одной категоріи дѣйствующихъ лицъ и угнетающее, подавляющее значеніе другой категоріи дѣйствующихъ лицъ. Своеобразный трагизмъ положеній замѣчается повсемѣстно: съ одной стороны, тѣ, которыхъ гнетутъ и давятъ, не имѣютъ возможности не только побѣдить гнета въ открытой борьбѣ, но даже и прямо вступить въ борьбу; съ другой стороны, тѣ, которые гнетутъ и давятъ, не по злодѣйству, а по тупости и невѣжеству понятій, преданій и обычаевъ, не могутъ сознать своихъ заблужденій, сами являюся жертвами своего невѣжества, и только развѣ въ рѣдкихъ случаяхъ, и то лишь сердечнымъ чутьемъ, пробиваются изъ своихъ потемокъ къ свѣту. И тогда становится вдругъ замѣтно, что и эти люди, по природѣ, не дурные и достойны соболазнованія и состраданья за ихъ умственную неразвитость, за ихъ нравственное убожество.

Въ бытовыхъ пьесахъ Островскаго очень рельефно выставлены два рода человѣческихъ отношеній: *семейныхъ* и *имущественныхъ*. Вотъ отчего завязки и самыя названія пьесъ вертятся преимущественно около семьи, жениха, невѣсты, мужа, жены, родителей и дѣтей, богатства и бѣдности. На этихъ же предметахъ происходятъ и всѣ столкновенія и катастрофы между двумя партіями лицъ: старшими и младшими, богатыми и бѣдными, угнетающими и угнетенными, самоуправными и безотвѣтными. Представителями первой партіи, въ большей части бытовыхъ пьесъ Островскаго, являются

типы мужскіе. Это — люди богатые и властные, буйные самодуры, не желающіе, въ своей семейной средѣ, знать никакой управы надъ собою. Таковы самодуры: Большовъ („Свои люди — сочтемся“), Барсуковъ („Въ чужомъ пиру похмелье“), Торцовъ („Бѣдность не порокъ“), Дикой („Гроза“) и другіе. Впрочемъ, попадаются и женщины, напримѣръ: Уланбекова („Воспитанница“), Кабанова или Кабаниха („Гроза“) и другія. Представителями послѣдней партіи, т.-е. младшихъ, подневольныхъ, бѣдныхъ, угнетенныхъ физически и нравственно являются безотвѣтные, безвластные женскіе типы и тѣ изъ мужскихъ, которымъ или еще не удалось, или никогда не суждено выбраться изъ своего угнетеннаго положенія. Таковы, напримѣръ: Любовь Гордеевна („Бѣдность не порокъ“), Авдотья Семеновна („Не въ свои сани не садись“), Марья Андреевна („Бѣдная невѣста“), Надя („Воспитанница“), Катерина („Гроза“), Даша („Не такъ живи, какъ хочется“), Митя („Бѣдность не порокъ“), Андрей („Въ чужомъ пиру похмелье“) и другіе. По самому свойству содержанія въ этихъ пьесахъ заранее можно угадывать, какого рода столкновенія дѣйствующихъ лицъ могутъ происходить въ этой средѣ и какого рода послѣдствія отъ этихъ столкновеній неизбежны для партіи слабыхъ и угнетенныхъ. Подъ владычествомъ самодурства, для угнетенныхъ не остается никакого простора развивать свои способности, или хотя выразить ихъ открытымъ образомъ. Всѣ лучшіе человѣческіе порывы — къ свободѣ мысли и чувства, къ наукѣ и поэзіи — прижаты въ нихъ и задавлены. Борьбы открытой, честной здѣсь быть не можетъ. Въ рѣдкихъ случаяхъ существо съ глубокими, возвышенными чувствами и сильною душой (напримѣръ, Катерина въ „Грозѣ“) въ преждевременной смерти ищетъ спасенія отъ этой безвыходной нравственной духоты. Въ большинствѣ же положеній совершается полное поработеніе личности. А если и попадется натура болѣе живучая, то она затаитъ въ себѣ горечь и негодованіе, съжмется и, крадучись, начнетъ потихоньку, воровски, съ оглядкою, при помощи безконечныхъ обмановъ, изворачиваться въ своей путаницѣ, выползати изъ-подъ своего задавленнаго положенія — къ свѣту и возможному простору. Безъ системы обмана и наживы тутъ нельзя обойтись: такъ учить здѣсь всѣхъ угнетенныхъ опытъ жизни. И вотъ всѣ и постоянно обманываютъ другъ друга: пріятель



обсчитываетъ пріятеля (Пузатовъ Ширялова — „Семейная картина“), компаніонъ старается забрать въ свои руки всѣ деньги и документы, а своего патрона засадить въ яму, за долги (Подхалюзинъ Большова — „Свои люди — сочтемся“); тесть надуваетъ зятя приданымъ (Пузатовъ Ширялова — „Семейная картина“); мать преподаетъ сыну плутовство и обманъ въ торговлѣ, а палку и плетку въ семьѣ (тамъ же); женихъ обсчитываетъ и надуваетъ сваху („Свои люди — сочтемся“); дочь-невѣста проводитъ отца и мать („Бѣдность не порокъ“ и „Свои люди — сочтемся“); жена обманываетъ мужа („Семейная картина“, „Не такъ живи, какъ хочется“) и т. д. И повсюду тутъ плутовство и обманъ. Добрыя и святые начала нравственности отсутствуютъ потому, что въ изображаемой средѣ человѣческое достоинство задавлено, свобода личности не существуетъ, любовь и честь, правда и законъ — одни слова, о честномъ трудѣ никто не думаетъ. Въ мірѣ бытовыхъ пьесъ Островскаго тяжелѣе всего то, что всѣ самодурные герои и героини, общими силами, точно по уговору, воюютъ противъ всякаго нравственного и чистаго человѣка, чувствуютъ въ немъ свое обличіе. Примиряющимъ, идеальнымъ началомъ въ этихъ же пьесахъ является объективная, поэтическая правда изображенія типовъ и психологическая вѣрность въ передачѣ основныхъ, человѣческихъ душевныхъ свойствъ и стремленій. Чувствуется глубокое знаніе авторомъ этой среды, совершенное безпристрастіе въ выраженіи впечатлѣній отъ этой душной жизни и въ то же время — непоколебимая вѣра поэта въ непремѣнное торжество нравственного начала человѣческой природы, какъ только обстоятельства жизни переменятся къ лучшему. Накопленія неправды, невѣжества, грубости, самоуправства развиваются подъ перомъ поэта, съ такою неотразимой убѣдительностью, что въ душѣ читателя (или зрителя) сами собою, все полнѣе и отчетливѣе, складываются привлекательные образы такихъ людей, у которыхъ правда, просвѣщеніе, благородство, и нѣжность чувствъ, уваженіе къ личности человѣка составляютъ основу ихъ собственной нравственной характеристики. Такимъ образомъ, пьесы Островскаго, такъ же какъ и небольшая семья художественныхъ произведеній лучшихъ нашихъ драматурговъ, служатъ высокому идеальному началу.

Въ историческихъ пьесахъ Островскаго, т.-е. его драма-

тических хроникахъ, авторъ, оставаясь вѣрнымъ духу времени и историческихъ событій, даетъ волю своей творческой фантазій, чтобы въ живыхъ, говорящихъ образахъ представить отдаленную эпоху въ болѣе наглядномъ видѣ, приблизить ее къ намъ, раскрыть передъ нами душевныя движенія замѣчательныхъ историческихъ дѣятелей и черезъ посредство такихъ изображеній дать намъ почувствовать ихъ радости и печали, ихъ убѣжденія и стремленія, понять смыслъ и духъ родной старины. И картины народныхъ движеній, и развитіе характеровъ замѣчательнѣйшихъ историческихъ участниковъ въ этихъ драматическихъ хроникахъ развертываются у Островскаго широко и производятъ впечатлѣніе величественное и глубокое. Оно становится особенно сильно и значительно въ тѣхъ мѣстахъ драмъ, гдѣ частныя интересы, личные страсти и стремленія блѣднѣютъ передъ движеніями народными, во имя основныхъ, всенародныхъ идеаловъ, въ моменты наибольшаго напряженія національныхъ силъ для рѣшенія задачъ народнаго, религіознаго, государственнаго значенія. Въ этомъ смыслѣ, драматическія хроники Островскаго, служа поэтическимъ цѣлямъ, въ то же время составляютъ яркое, художественное дополненіе и разъясненіе русской исторической науки.

Пьесы Островскаго различны по объему, содержанію, идеѣ и художественному значенію. Ихъ удобно расположить въ слѣдующихъ группахъ: 1) драматическія сцены или картины нравовъ; 2) бытовья, художественныя комедіи и драмы; 3) историческія драмы или драматическія хроники. Въ первой группѣ замѣчательны: „Семейная картина“, 1847 г., — „Утро молодого человека“, 1850, — „Не сошлись характерами“, 1858, — „Тяжелые дни“, 1863, — „Пучина“, 1866, — „Трудовой хлѣбъ“, 1874, и др. Во второй группѣ замѣчательны: „Свои люди — сочтемся“, 1850, — „Бѣдность не порокъ“, 1854, — „Бѣдная невѣста“, 1852, — „Въ чужомъ пиру похмелье“, 1854, — „Доходное мѣсто“, 1857, — „Воспитанница“, 1859, — „Гроза“, 1860, — „Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ“, 1863, — „Лѣсъ“, 1871, — „Безъ вины виноватые“, 1883 и др. — Въ третьей группѣ замѣчательны: „Козьма Захарычъ Мининъ-Сухорукъ“, 1862, — „Дмитрій Самозванецъ и Василій Шуйскій“, 1867, — „Тушино“, 1867. Кромѣ того, особнякомъ стоятъ у Островскаго переводы дра-



матическихъ сочиненій съ италіанскаго (Теобальдо Чикони, Гольдони, Джіакометти), съ испанскаго (Сервантеса) и съ англійскаго (Шекспира). Смерть застала Островскаго за переводомъ третьяго акта трагедіи Шекспира „Антоній и Клеопатра“.

Кромѣ высокихъ художественныхъ достоинствъ въ сочиненіяхъ Островскаго со стороны развитія драматическаго движенія, созданія характеровъ и типовъ, высокой занимательности драматическихъ положеній и драматической борьбы, пьесы его замѣчательны еще съ виѣшней стороны. Въ драматическихъ хроникахъ стихъ блещетъ сжатостью и силой, художественной простотой и картинностью. Еще замѣчательнѣе проза Островскаго. Это языкъ въ высшей степени оригинальный и яркій, типичный въ смыслѣ богатства формъ, эпитетовъ и оборотовъ чисто въ духѣ великорусскаго народнаго творчества. Этимъ колоритнымъ и могучимъ языкомъ Островскій овладѣлъ сразу и проявилъ его уже въ „Семейной картинѣ“ и „Своихъ людяхъ“. Затѣмъ, во весь долгій періодъ поэтической дѣятельности Островскаго, во всѣхъ его бытовыхъ пьесахъ такой же сильный языкъ поражаетъ яркостью и національностью колорита. Русская Академія Наукъ два раза почтила произведенія Островскаго Уваровскою преміей, именно пьесы: „Грозу“ и „Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ“. Въ своемъ торжественномъ собраніи 30 декабря 1886 г., Академія съ признательнымъ чувствомъ помянула большія литературныя и патріотическія заслуги Островскаго на поприщѣ отечественной словесности и, оцѣнивая въ сжатой формулѣ поэтическое достоинство драмъ и комедій Островскаго, съ намѣреніемъ подчеркнуть и заслуги языка его пьесъ, языка, „богатаго народными типическими выраженіями и оборотами“. Такой языкъ, какъ нельзя болѣе, стоитъ въ полномъ соотвѣтствіи съ оригинальнымъ, національнымъ содержаніемъ и духомъ произведеній Островскаго.

*Евстафьевъ.*

## **Островскій, какъ выразитель коренныхъ основъ русскаго быта.**

Изъ произведеній Островскаго оказывается, что у всего этого міра есть своего рода довольно обширная и весьма сложная цивилизація, которую надо знать даже для того,

чтобъ бороться съ нею. Темнымъ сторонамъ ея быта у Островскаго спуска нѣтъ: нравственное безобразіе остается у Островскаго всегда безобразіемъ, и въ этомъ отношеніи мудро даже сыскать въ русской литературѣ человѣка, который бы сильнѣе и неустойчивѣе бичевалъ дикія явленія выводимаго имъ общества. У насъ есть даже очень пространныя статьи объ этомъ видѣ его дѣятельности, гдѣ собраны и пояснены всѣ черты и оттѣнки необычайной картины отвращенія понятій, загроубленія чувствъ, равнодушія къ добру и правдѣ, представленной имъ въ своихъ произведеніяхъ. Странное обвиненіе враговъ Островскаго, что онъ писалъ эту картину, не подозрѣвая всего ея безобразія или даже сочувствуя ему — мы оставляемъ безъ вниманія: обвиненіе само принадлежитъ къ предметамъ, достойнымъ войти въ ея рамку. Но кромѣ созданія типовъ, энергически выражающихъ относительную бѣдность моральнаго смысла въ томъ кругу, гдѣ они вращаются — у Островскаго есть еще другая, художническая цѣль. Общимъ типомъ, выраженіемъ и содержаніемъ каждой своей комедіи (за весьма малыми исключеніями) онъ приводитъ читателя постоянно къ вопросу о тайнахъ русской народности, а иногда, въ лучшихъ своихъ произведеніяхъ, даетъ возможность нащупать, такъ сказать, коренныя основы русскаго быта, черты его особеннаго пониманія правды и порядка и любимые мотивы его въ области поэзіи и творчества. Онъ за нихъ не заступается и никому ихъ не навязываетъ съ рекомендаціею: онъ заставляетъ ихъ чувствовать, и больше ничего, но въ томъ и тайная прелесть его созданія, какія бы лица тамъ ни были выводимы. — Иногда во всей его комедіи нѣтъ ни одного благороднаго, здравомыслящаго лица: хаосъ понятій и нелѣпица царствуютъ безгранично надъ всѣми дѣйствующими въ ней, безъ исключенія, и однакожь по образамъ, которыми они выражаютъ свои нелѣпости, по полнотѣ и наивности безразсудства, по ироніи, какъ будто сознающей ужасъ и недостойность общаго нравственнаго положенія — видно, что въ нихъ живетъ и та сила, которая нужна для выхода на свѣтъ и полнаго перерожденія. Это не то, что испорченность и дикость провинціальнаго или чиновничьяго быта, которыя безпомощны и могутъ кончиться только съ концомъ расы, племени, ими вскормленныхъ. Честное существо тутъ не одинъ смѣхъ, а



также и сила; съ ней еще могутъ ужиться всевозможныя надежды. Подъ рѣдкимъ изъ безобразныхъ выводимыхъ Островскимъ типовъ не подложена какая-либо этнографическая черта, заслуживающая полного, весьма серьезнаго вниманія, а какъ часто моральная неблаговидность лица является результатомъ паденія, извращенія и обѣднѣнія коренной основы народнаго быта, переживающей эпоху своего разложенія!

У Островскаго безнадежна только старая, закоренѣлая грубость, да еще испорченность, оторванная отъ народа и тѣмъ самымъ лишенная уже послѣднихъ средствъ для спасенія своего: Липочка, Меричъ, Хорьковъ и т. д., и пр...

По свидѣтельству современныхъ писателей нашихъ — можно приближаться къ простонародію и вообще къ разнымъ сословіямъ нашимъ съ чѣмъ-нибудь инымъ, кромѣ состраданія, осмѣянія и поученія, а именно съ намѣреніемъ открыть, изъ какихъ элементовъ слагается ихъ внутренній міръ. Вотъ эту общность народныхъ мыслей, убѣжденій и стремленій, достойныхъ глубокаго изученія, сосѣди наши нѣмцы, которыми нельзя отказать въ прозваніи образованныхъ людей, обозначали мѣткимъ словомъ — народной *культуры*. Культура не есть образованность въ томъ смыслѣ, какой согласились мы придавать этому понятію, потому что можетъ существовать отдѣльно отъ нея, самостоятельнымъ образомъ, хотя для полного своего развитія нуждается въ ней, не менѣе высшихъ, правительствующихъ сословіій. Вотъ почему просимъ тысячу разъ извиненія у ревнителей чистоты роднаго языка за введъ небывалаго слова въ литературу. Сознаемся чисто-сердечно, что русскій писатель не имѣетъ права прибѣгать къ новымъ словамъ, потому что никогда не открываетъ новыхъ идей, но, по крайней мѣрѣ, нельзя запретить ему пользоваться чужой мыслию, подъ предлогомъ что въ родномъ діалектѣ для нея нѣтъ еще имени. Въ какомъ же отношеніи должна находиться образованность высшихъ сословіій къ народной культурѣ? По мнѣнію лучшихъ европейскихъ умовъ, ей предстоить трудная задача разобрать нравственные элементы, изъ которыхъ состоитъ народная культура, очистить ихъ отъ всего случайнаго, наноснаго, не выдерживающаго повѣренія и подъ конецъ слиться съ нею въ одно общее психическое, умственное и духовное настрое-

ніе. Путь очень далекъ, какъ видите, но онъ уже намѣченъ. Со всѣхъ сторонъ принимаются за уясненіе и опредѣленіе тайной, бессознательной мысли какъ цѣлыхъ обществъ, такъ и простонародья, употребляя на это всѣ орудія образованности: статистику, этнографію, исторію и пр. Островскій принадлежитъ къ числу тѣхъ людей, которые у насъ для той же самой работы употребляютъ — искусство.

Если бы мы захотѣли указать примѣры глубокаго проникновенія этого автора въ психическую природу русскаго человѣка, то пришлось бы разбирать бѣольшую часть его произведеній, чего мы совсѣмъ не имѣемъ въ виду. Ограничимся покаместъ однимъ впечатлѣніемъ, которое постоянно выносится читателемъ изъ его комедій и драмъ. Міръ, изображаемый Островскимъ, узнается всего болѣе по отсутствію выдержанныхъ характеровъ, которые способны были бы довести до героизма какъ добродѣтель, такъ и порокъ. Въ мірѣ этомъ, какъ добродѣтель, такъ и порокъ не имѣютъ рѣзкихъ очертаній, опредѣленной и стоячей формы, способной разграничить ихъ навѣкъ и сдѣлать, отдѣльно другъ отъ друга, символическими типами, которые могли бы сейчасъ перейти на полотно, въ видѣ аллегорическихъ фигуръ, допускаемыхъ живописью. Порокъ у Островскаго имѣетъ всѣ признаки нравственной распущенности, грубости и невѣжества, но видимо лишень средствъ окрѣпнуть до яснаго, положительнаго злодѣйства, гдѣ неумѣстный законъ, строгій критикъ и поверхностный писатель могли бы накинуться на него, какъ на опредѣленную имъ добычу. Взгляните хоть на Большова (въ комедіи: „Свои люди“), этого праотца всѣхъ купцовъ-самодуровъ, изображенныхъ авторомъ впоследствии. Ужъ этотъ ли не представлялъ всѣхъ задатковъ выдержанности съ его жаждой обмана, презрѣніемъ къ людямъ, семейнымъ деспотизмомъ и полнымъ отсутствіемъ всякаго моральнаго чувства. И что же онъ дѣлаетъ? Онъ погибаетъ, какъ ребенокъ, отъ безграничной довѣренности къ парню, лецимѣріе котораго хорошо видно, отъ дѣтской вѣры въ признательность благодѣтельствованнаго имъ плута. Скажутъ — это только новый видъ самодурства и обыкновенной симпатіи между негодяями. Такъ — но только въ природѣ русскаго человѣка могутъ они выразиться подобнымъ забвеніемъ всякой осторожности, благоразумія и простаго чувства самосохраненія.



ненія. Съ другой стороны, и доблесть у Островскаго никакъ не возвышается до сознательнаго представленія себя, какъ доблести, до убѣжденія въ собственномъ своемъ величїи, которое помогло бы ей стать предъ людьми кичливо и назойливо, напрашиваясь на ихъ удивленіе. Доблесть эта воплощается, то въ полусумасшедшемъ мѣщанинѣ, то въ горькомъ пьяницѣ (что же за это и вытерпѣлъ авторъ отъ критики!), а иногда открывается въ самомъ ходу жизни и по движенію сердца у весьма простого и, можетъ быть, не безгрѣшнаго человека, да способна открыться, пожалуй, какъ будто старая рана, даже и у чистаго, несомнѣннаго порока.

*Анненковъ.*

### Островскій, какъ народный поэтъ.

Островскій—народный поэтъ, хотя у него и всего менѣе того, что принято у насъ называть народными типами изъ жизни простого народа, являющагося основною стихіею русской народности. Самые крестьяне являются у него по преимуществу, въ несочувственномъ для народа видѣ оторвавшихся отъ своей земледѣльческой почвы и перешедшихъ на почву торговую. Главнымъ же образомъ встрѣчаемся мы у него съ купцами, не со вчерашняго дня съ купцами, которые могли бы, пожалуй, указать на свою особую купеческую родословную. На ряду съ ними встрѣчаемся мы у Островскаго съ барами, какъ издавними и владѣющими помѣстьями, такъ и со всякими пролѣзающими въ барство на ступенькахъ служилой лѣстницы. Все это стоящее надъ народомъ, можно сказать окрашивается въ его глазахъ одною краскою, разсматривается имъ съ одной общей точки зрѣнія. Вотъ эта-то точка зрѣнія прямо и заимствована у самаго народа нашимъ драматургомъ; она, дѣйствительно, сводится къ самодурству, которое, стало быть, недаромъ усматривалось у Островскаго, но въ самодурству, понимаемому такъ широко, что тутъ далеко недостаточно тѣхъ успѣховъ умственнаго развитія, на которые возлагали всю надежду Добролюбовъ и вслѣдъ за нимъ Писаревъ (послѣдній едва ли еще не болѣе). Типъ самодура давно уже данъ въ народной поэзіи — въ видѣ того не то новгородскаго

купеческаго, не то боярскаго сынка Васенки Буслаева, которому вполнѣ далась грамота и который, несмотря на то, пошучивалъ такимъ образомъ, что кого схватить за руку — рука прочь, кого за ногу — нога прочь. Васенька, набравъ себѣ особую наемную дружину приманкою: „кто хочеть пить, ѣсть изъ готоваго, тотъ вались къ Васенькѣ на широкій дворъ“, испытавъ выносливость этой дружины ударами по лбу червленными вязомъ, становится во главѣ ея, не признавая надъ собою никакого закона, и кончаетъ тѣмъ, что, вызывая на бой весь Великій Новгородъ, даетъ своей рукѣ-владыкѣ разгуляться по мужикамъ новгородскимъ — такъ и валяетъ ихъ съ моста въ Волховъ, въ этомъ смыслѣ становясь какимъ-то эпическимъ предвозвѣстникомъ историческаго Грознаго. Основа подобнаго рода подвиговъ, это сила, просто какъ *сила*, возмнившая себя и *властью*, сила, позабывшая о какихъ-либо нравственныхъ основахъ власти, о той „правдѣ-царицѣ“, въ которой коренится настоящая власть. Въ Васькѣ Буслаевѣ, можно сказать, предуказаны всѣ самодуры Островскаго. Типъ народнаго эпоса широкъ — подъ него могутъ быть подведены, какъ ни грубы его богатырскія очертанія, соотвѣтственные явленія всевозможныхъ странъ и временъ. Въ своемъ родѣ широкъ и типъ самодура въ комедіяхъ и драмахъ Островскаго (не слѣдуетъ тутъ забывать и „Василису Мелентьевну“), — онъ несравненно шире того, какъ понимала его наша критика, сводя его собственно къ зауряднымъ купцамъ и помѣщикамъ патріархальнаго покроя. Въ народномъ эпосѣ типъ самодура Васьки, не то купчика, не то боярченка, прямо противоположенъ типу крестьянскаго сына Ильи, избирающаго мѣстечко среднее между голями, не позволяющими самодурировать и Владимиру, сдающагося передъ челобитьемъ собственно ради матушки Свято-Русь-земли ради бѣдныхъ вдовъ и малыхъ дѣтей. Это типъ земскій, произведеніе той общинной почвы, оторженности отъ которой представляется народу жизнию не по разуму, не по Божьему, а по вольной волѣ своихъ дуращихъ причудъ. Если міръ Гоголевскихъ типовъ назвали мы въ своемъ мѣстѣ „областью, оторженной лично, т.-е. личности, обособившейся отъ великаго цѣлаго (таковъ и міръ Грибоѣдовскій, за исключеніемъ, разумѣется Чацкаго), то то же названіе вполнѣ подобаетъ и той,



на половину купеческой, на половину помещичьей и служилой средѣ, которую охватилъ Островскій, какъ широкую область барства вообще. Но у него постоянно сказываются — въ людяхъ изъ разныхъ слоевъ общественныхъ и отзвуки того противоположнаго Васкѣ Буслаеву типа эпическаго, корни котораго находятся тамъ, гдѣ нѣтъ и въ поминѣ барства или какихъ-либо поползновеній на барство. Такіе отзвуки слышатся у Островскаго во всевозможныхъ варіаціяхъ, начиная съ гуляющаго, но не загубившаго въ себѣ душу живу, Любима Горцова и до степеннаго, обрекающаго себя на служеніе общему дѣлу, и свою патриархальную власть въ семьѣ Кузьмы Мишина, или же поневолѣ уходящаго въ вольницу, но сохраняющаго и въ ней твердую память объ идеалѣ семейномъ и идеалѣ общественномъ, Дубровина. Писаревъ въ свое время утверждалъ, возражая Добролюбову, далѣе котораго онъ думалъ идти, будто „ни одно свѣтлое явленіе не можетъ ни возникнуть ни сложиться въ „темномъ царствѣ“ патриархальной русской семьи, выведенной на сцену въ драмѣ Островскаго“. Островскій, напротивъ, умѣлъ указать намъ въ ней и указать правдиво, не одно такое явленіе, конечно, помимо превознесенной Добролюбовымъ Екатерины, которую Писаревъ вполне основательно отказывался окружать какимъ-либо свѣтлымъ ореоломъ.

Мы видимъ у Островскаго, помимо ея, цѣлый сочувственный рядъ женскихъ личностей, начиная съ самоотверженной и въ своей приниженности Дуни, такъ чутко отмѣченной широкимъ сердцемъ Добролюбова, и кончая старушкой Кругловой, не сдающейся ни на какіе соблазны купца Ахова. Мы видимъ у него и нравственно стойкую Аянушку (въ „Бойкомъ мѣстѣ“), и одаренную „горячимъ сердцемъ“ Парашу, и отличающуюся не только теплотой, но и всеобъемлющей широтою сердца, Вѣру Филипповну (въ комедіи „Сердце не камень“). Ключъ къ пониманію воспроизводимой имъ, въ ея разностороннихъ явленіяхъ много объемлющей жизни далъ намъ Островскій въ нѣсколько странныхъ по формѣ, но глубокихъ по смыслу, словахъ своего Платона Зыбкина, раздѣляющаго людей на „мерзавцевъ своей жизни“ и „патріотовъ своего отечества“. Если нашъ драматургъ вывелъ предъ нами цѣлое множество „мерзавцевъ“ и „мерзавокъ“ живущихъ

во всю ширь своего заѣвшагося и оскотѣлаго эгоизма, то онъ же вывелъ предъ нами и не мало „патріотовъ“, т.-е. разнаго рода и разнаго положенія людей, не позабывающихъ о томъ, что они не одни на свѣтѣ, постоянно тяготѣющихъ къ широкому и все болѣе и болѣе расширяющему кругу — семьѣ, обществу, отечеству. При подобной нравственной закваскѣ и незначительная доля умственного развитія уже идетъ впрокъ. Такъ оно вышло съ тѣмъ же Платономъ, про котораго не даромъ говоритъ его мать, что онъ чему учился-то, все это за правду принялъ, всему -этому повѣрилъ“ („Правда хорошо, а счастье лучше“). Тѣмъ еще больше проку можетъ, разумѣется, такая уже большая доля развитія, какая достается студенту Мелузову („Таланты и поклонники“), — опять-таки при полнѣйшемъ отсутствіи въ немъ всякой барской, вводящей въ соблазнъ закваски. Эта послѣдняя все же, должна быть, есть у прошедшаго черезъ тотъ же университетъ Жадова, а потому-то онъ и не принялъ за правду того, чему его тамъ учили.

Такъ ярко рисуя намъ барственность въ широкомъ смыслѣ, — т.-е. совокупность тѣхъ качествъ, которыя вытекаютъ изъ пользованія, Островскій рисуетъ намъ и тѣ другіе изъяны душевные, ту степень всякаго рода приниженности, которые вытекаютъ изъ сознанія бѣднымъ людемъ всей своей зависимости отъ богачей при далеко не обезпечивающемъ трудовомъ заработкѣ. Но и тутъ онъ умѣетъ намъ показать, въ лицѣ нѣкоторыхъ замѣчательную силу нравственного устоя, не останавливающагося ни передъ какими испытаніями. Зато, съ другой стороны, и это особенно въ произведеніяхъ второй половины своей жизни — онъ выставляетъ предъ нами способность на сдѣлки, зависящую не оттого, что ѣсть нечего, а отъ желанія пожить широко, пожить всласть, пожить, какъ живутъ богачи-самодуры. Такая способность сказывается у него въ лицѣ разныхъ, выражаясь словами его Платона „мерзавцевъ“ и „мерзавокъ“ — преимущественно въ видѣ различныхъ свадебныхъ сдѣлокъ самаго грязнаго обманно-воровскаго характера.

Мы видѣли, что одну изъ своихъ комедій послѣдней поры Островскій озаглавилъ „Невольницы“. Но онъ вывелъ такихъ невольницъ не только въ ней, но и во многихъ другихъ, онъ вывелъ въ ней также и невольниковъ, — да невольни-



ковъ своихъ чувственныхъ наклонностей, своей нужды „широкой жизни“, приводящей ихъ къ культу золотого тельца, къ принесенію ему въ жертву самой основной изъ святынь, святыни семейнаго начала. Островскій глубоко понялъ этотъ человѣкоубійственный культъ, какъ ту болѣзнь нашего вѣка, которая подвигаетъ до того, что при этомъ культѣ невольно теряется довѣріе къ самымъ усовершеннымъ формамъ политической жизни. Островскій ярко изобличаетъ культъ въ типахъ русскаго общества, но ихъ часто приходится понимать широко — въ общечеловѣческомъ современномъ смыслѣ. Съ обличеніемъ культа золотого тельца въ его пьесахъ соединяется могучій запросъ на ту силу нравственную, безъ которой, выражаясь языкомъ Посошкова, „ни коими дѣлы невозможны“

Онъ рисуетъ намъ и картины самого глубокаго нравственнаго паденія и картины высокаго нравственнаго устоя, пересиливающего всякую среду. Онъ, подобно другимъ нашимъ современнымъ писателямъ (за исключеніемъ Писемскаго) является въ одно и то же время и полнѣйшимъ реалистомъ и истымъ идеалистомъ (Писемскій только реалистъ или даже натуралистъ). Подобно имъ, онъ и въ этомъ какъ въ широтѣ пониманія имъ самодурства со всѣми его общественными послѣдствіями и единственными вѣрными средствами противъ него, — настоящій народный писатель. *Ор. Миллеръ.*

---

## Новизна содержанія и формы комедій Островскаго.

Дѣятельность Островскаго начинается собственно съ 1847 г. вотъ все до сихъ поръ имъ написанное въ хронологическомъ порядкѣ: 1) *Сцены изъ замоскворѣцкой жизни*, 1847 г. — Напечатаны въ „Московскомъ Городскомъ Листѣ“ — журналѣ, издававшемся только годъ. Тутъ же, между прочимъ, появилась одна сцена изъ комедіи „Свои люди — сочтемся“, носившей тогда названіе „Банкрутъ“. 2) *Очерки Замоскворѣцка* — небольшой рассказъ, — въ томъ же году, въ томъ же журналѣ. 3) *Свои люди — сочтемся*, комедія въ 4 дѣйствіяхъ, — въ „Москвитяинѣ“ 1850 года. 4) *Утро моло-*

дого человека, сцены; въ „Москвитянинѣ“ 1850 года. 5) *Неожиданный случай*, сцены; въ альманахѣ: „Комета“ 1851 г. 6) *Будная невеста*, комедія въ 5 дѣйствіяхъ, — въ „Москвитянинѣ“ 1852 года. 7) *Не въ свои сани не садись*, комедія въ 3 дѣйствіяхъ, — въ „Москвитянинѣ“ 1853 г. 8) *Блѣдность не порокъ* комедія въ 3 дѣйствіяхъ — напечатана отдѣльно въ 1854 году. 9) *Не такъ живи, какъ хочешь*, драма въ 3 дѣйствіяхъ. Самое первое изъ этихъ, исчисленныхъ нами, большихъ и небольшихъ, болѣе или менѣе удачныхъ, но каждое въ своемъ родѣ оригинальныхъ произведеній — носило уже на себѣ яркую печать самобытности таланта, выражавшейся и 1) въ новости быта, выводимаго авторомъ и до него еще не початаго, если исключить нѣкоторые очерки Вельтмана и Луганскаго, очерки, набросанные, такъ сказать, вскользь, мимоходомъ, и 2) въ новости отношенія автора къ изображаемому имъ быту и выводимымъ лицамъ, и 3) въ новости манеры изображенія, и 4) въ новости языка, — въ его цвѣтистости, особенностях. Изъ всего этого новаго, что съ первой минуты своего появленія въ литературу приносилъ съ собою молодой поэтъ, — критика въ состояніи была, да и теперь еще находится, — понять только новость изображаемаго имъ быта. „Сцены“ — которыя, относительно оконченности отдѣлки, представляютъ едва ли не совершеннѣйшее произведеніе ихъ автора — прошли почти что незамѣченныя: и не мудрено! онѣ едва ли составятъ печатный листъ. Еще менѣе замѣчена была новость взгляда автора въ маленькомъ рассказѣ: „Очерки Замоскворѣчья“ — единственномъ произведеніи, вылившемся у него въ драматической формѣ. Появленіе комедіи: „Свои люди — сочтемся“ — какъ слишкомъ рельефной, слишкомъ яркой — надѣлало много шуму; но весьма странно, что оно не вызвало ни одной дѣльной критической статьи. Комедія только изумила критику, и комическое отношеніе критики къ комедіи изображено весьма остроумными, хотя нѣсколько рѣзкими чертами въ извѣстной шуткѣ Эраста Благодирова. Но, какъ ни недоумѣвала критика, а все-таки, пораженная и комедіей и общественнымъ о ней мнѣніемъ, не могла рѣшить вопроса иначе какъ такъ, что явился талантъ сильный, свѣжій и... наиболѣе близкій къ таланту, нынѣ спящему въ могилѣ, къ таланту первенствовавшему тогда по всѣмъ



правамъ. Бѣдная критика! вотъ въ этомъ-то она и, ошиблась, въ этомъ-то таилась тогда и обнаруживается теперь источникъ ея недоразумѣній. Съ этого-то пункта и начинается настоящая исторія новаго явленія въ литературѣ. „Новое слово“ — выраженіе, отъ котораго авторъ сей статьи всего менѣе, конечно, способенъ отрекаться, несмотря на глумленія, которыя пройдутъ, если ужъ не прошли, — „новое слово ускользнуло отъ опредѣленія старой критики, а теперь уже не такъ далеко отъ нея, что она его и видитъ „да зубъ нейметъ“, какъ говорится. Комедію „Свои люди, — сочтемся“ еще можно было какъ-нибудь, съ великими, правда, натяжками, связать съ мудрыми заключеніями критики обо всемъ предшествовавшемъ въ литературѣ, и съ еще болѣе мудрыми гаданіями ея насчетъ будущаго: все послѣдующее такъ явно отдѣлилось отъ этихъ заключеній, что поневолѣ должно было разсердить критику, задѣть самыя больныя ея мѣста, коснуться самыхъ ветхихъ ея построекъ, на которыя вѣтеръ дунь хорошенько, такъ онѣ упадутъ.

И критика стала въ очевидно комическое положеніе къ новому явленію. Явилась „Бѣдная невѣста“ — а она ждала совсѣмъ не того послѣ комедіи „Свои люди — сочтемся“. Еще прежде Островскій разсердилъ критику отсутствіемъ желчи, рѣзкости въ опредѣленіяхъ линій, наивностью манеры въ граціозныхъ сценкахъ, извѣстныхъ подъ названіемъ „Неожиданнаго случая“ — сценкахъ, говоря *par parenthèse* — гораздо болѣе тонкихъ, чѣмъ многія прославленные критикою тонкости; съ появленія „Бѣдной невѣсты“ критика положительно начинаетъ сердиться на лица, выводимыя поэтомъ. Буквально такъ! Ни въ одной статьѣ, писанной въ журналахъ по поводу той или другой драмы Островскаго, вы не встрѣтите и въ поминѣ вопросовъ художественныхъ. Критика постоянно сердится на лица, на манеру отношеній автора къ изображаемому имъ быту, т.-е. на самый бытъ, растворяющій передъ нею свои широкія, гостепріимныя двери; постоянно становится то въ положеніе Мерича или даже Милашина, — то въ положеніе Виктора Аркадьича Вихорева и жены Маломальскаго, или тетюшки, набравшейся въ Таганкѣ образованія, то въ положеніе Гордея Карпыча Торцова. Съ ихъ точки зрѣнія она смотритъ, съ ихъ точки зрѣнія винитъ Хорькова въ неблагородствѣ поступковъ: Ру-

сакова и Бородкина хочет увѣрить, что они не могутъ существовать; въ Любимѣ Торцовѣ не видитъ ничего, кромѣ пьянства; Любовь Гордеевну упрекаетъ въ отсутствіи личности; Митю производитъ въ юродивые. Дѣло въ томъ, однимъ словомъ, что критика постоянно сердится, обижается, вламывается въ амбицію. Явленіе чрезвычайно важное, поучительное и, какъ, вѣроятно, читатели видятъ сами, совершенно несомнѣнное. Оно-то и поведетъ насъ къ вопросамъ, возникающимъ изъ драмъ Островскаго, — вопросамъ въ высшей степени достойнымъ того, чтобы попытаться поискать ихъ разрѣшенія. За что же сердится и обижается критика, что оскорбляетъ ее въ произведеніяхъ Островскаго? Чтобы постепенно добратъся до основаній ея раздраженнаго чувства, начнемъ съ перечисленія признаковъ ея явно болѣзненнаго состоянія, т.-е. съ перечисленія тѣхъ лицъ или положеній въ драмахъ Островскаго, на которыя она сердится. 1) „Неожиданный случай“ встрѣтила она насмѣшками и пародіями за безцвѣтность, по ея мнѣнію, выведенныхъ характеровъ, за слабость пружиныхъ, двигающихъ ихъ отношенія между собою, за ничтожность самаго узла, завязавшаго эти отношенія, т.-е. въ переводѣ на прямой языкъ, осердилась на то, что отношенія сами по себѣ легкія, ноэтъ очеркнулъ легко, характеры безосновные изобразилъ въ ихъ безосновности — не выдумалъ гиперболическаго узла, не отнесся съ ядовитою насмѣшкою къ такимъ беззлобнымъ и невиннымъ существамъ, какъ Розовый и Дружининъ. Пародія, явившаяся на этотъ легкій и граціозный очеркъ, которому, впрочемъ, ни авторъ ни мы не придаемъ большого значенія, выставила ясно, какой грубости и рѣзкости представленія требуетъ критика, — замѣтьте та самая критика, которая ни слова не говорила о ничтожности характеровъ, безосновности завязокъ и пустотѣ содержанія различныхъ великосвѣтскихъ пословицъ въ драматической формѣ, — та самая критика, которая восхищается необычайною тонкостью пословицъ А. де Мюссе, легкостью его очерковъ! 2) „Бѣдная невѣста“ разсердила критику, во-первыхъ, тѣмъ, что Меричъ — неизвѣстно какого званія; во-вторыхъ тѣмъ, что у Марьи Андреевны нѣтъ характера; въ-третьихъ, тѣмъ, что Хорьковъ поступаетъ неблагородно, передавая любовныя письма Мерича: въ-четвертыхъ, тѣмъ, что выведено такое



безцвѣтное лицо, какъ Милашинъ. Переведемъ опять на простой языкъ: критикѣ, очевидно, досадно было, что Мерицъ лишенъ авторомъ тѣхъ чертъ, которыя — вставъ ихъ только — закроютъ отъ глазъ читателя его внутреннюю бѣдность и ничтожество, и сдѣлаютъ его героемъ любой изъ унылыхъ повѣстей, оплакивающихъ судьбу несчастныхъ женскихъ натуръ, подавленныхъ грубою сферою быта. Критикѣ досадно было на Марью Андреевну, что грубость требований окружающаго быта не будитъ въ ней, говоря любимыми словами критики, *протеста*, что *протестъ* не обращается въ ея натурѣ въ нѣчто постоянное. Критикѣ досадно было, что въ Хорьковѣ нѣтъ той ложной деликатности, которая позволить скорѣе видѣть гибель любимаго существа, нежели нарушить условныя приличія. Критикѣ, наконецъ, больно было разоблаченіе всей безцвѣтной ничтожности натуръ, подобныхъ натурѣ Милашина.

3) Комедія „Не въ свои сани не садись“ — своимъ огромнымъ сценическимъ успѣхомъ опять ошеломила критику. Долго не рѣшалась она высказать своего негодованія на существованіе Русакова и Бородкина, и только въ недавнее время объявила комедію слабою, лица Бородкина и Русакова невозможными, съ оговоркою насчетъ „Бѣдной невесты“, какъ произведенія несравненно болѣе замѣчательнаго, — въ томъ же самомъ журналѣ, гдѣ хвалилась, какъ нельзя больше, комедія „Не въ свои сани не садись“ и порицалась, осмѣивалась „Бѣдная невеста“, вмѣстѣ съ новымъ словомъ — выраженіемъ автора сей статьи. Въ одной изъ газетъ своихъ, критика откровенно призналась, что новое слово точно есть. что она его видитъ въ комедіяхъ Островскаго, но что самое это новое слово ей не нравится. 4) „Бѣдность не порокъ“, самая смѣлая, хоть и не самая оконченная изъ драмъ Островскаго, не могла не разсердить критику, находящуюся въ совершенно болѣзненномъ положеніи — и за Гордея Карпыча и за Любима Торцова: Гордей Карпычъ — каковъ онъ ни-на-есть, все-таки представитель стремленій выйти изъ *грубаго* и непонятнаго критикѣ быта. Любимъ Карпычъ въ глазахъ критики только пьяница и ничего больше. Его стремленій выйти изъ метеорскаго званія, войти снова въ семью, имѣть честный кусокъ хлѣба, — его раскаянія, его порывовъ — критика не могла оцѣнить: трагическая сторона его поло-

женія отъ нея ускользнула. На Митю критика осердилась за то, что Богъ создалъ его съ даровитою, нѣжною и простой душою; Любовь Гордеевну опять обвинили за отсутствіе личности, какъ прежде Марью Андреевну. На второй актъ комедіи осердилась критика за то, что авторъ безъ церемоніи ввелъ публику въ самый центръ нравовъ, обычаевъ, веселья того быта, который онъ изображаетъ.

5) Последняя драма Островскаго, еще болѣе смѣлая по мысли, широкая по содержанію, новая по характерамъ, и еще болѣе небрежная по формамъ, или, лучше сказать, пренебрегающая формами, извѣстна критикѣ только по представленію, — но критика успѣла уже выразить свое неудовольствіе, успѣла уже вырвать изъ нея и недобросовѣстно изуродовать нѣсколько выраженій. Дѣло простое и понятное: новостъ драмъ Островскаго, и въ особенности смѣлая новостъ последней драмы, есть чувствительное оскорбленіе одряхлѣвшей критикѣ.

6) Вообще, наконецъ, критика начала изъявлять неудовольствіе на языкъ, или, по ея выраженію, на *жаргонъ*, которымъ писаны драмы Островскаго. Она и въ самомъ дѣлѣ наивно увѣрена, что языкъ въ комедіи Островскаго — мѣстный провинціализмъ, странность, которую, какъ говорятъ, поигралъ да за щеку, — нѣчто въ родѣ *пейзанскаго жаргона*, употребляемаго напримѣръ, Мольеромъ въ „*Le Médecin malgré lui*“, въ „*Le Festin de Pierre*“ и другихъ пьесахъ. Чего жъ бы хотѣла критика? Чтобы лица драмъ Островскаго говорили не языкомъ ихъ быта? Да, вѣдь, это противорѣчило бы эстетическимъ положеніямъ всякой критики, даже и той, съ которой мы въ настоящую минуту имѣемъ дѣло, да и Островскій притомъ — художникъ такого рода, которому типы при ихъ созданіи предстаютъ не иначе, какъ съ своимъ языкомъ каждый: иначе для него типъ и немыслимъ.

7) Съ начинающимся неудовольствіемъ на *жаргонъ* драмы Островскаго тѣсно связано неудовольствіе на самый бытъ, имъ изображаемый. Собственно, критика сама не знаетъ, чего она хочетъ. При появленіи „Бѣдной Невѣсты“ раздалась ея сѣтованія, что Островскій оставилъ бытъ, который онъ такъ мастерски изображаетъ; теперь она вопіетъ на то, что этотъ бытъ говоритъ своимъ языкомъ, имѣетъ



свои, ей невѣдомыя, нравы, представляетъ свои типы, которые она не желала бы видѣть выводимыми, и въ несуществованіи которыхъ она такъ жарко хотѣла бы убѣдить и себя и другихъ. Солонъ ей этотъ бытъ, солонъ его языкъ, солонъ его типы — солонъ по ея собственному состоянію. Вотъ и вся разгадка. Нѣтъ критикѣ дѣла ни до какихъ естественныхъ вопросовъ. Найдите хоть въ одной статьѣ ея указаніе на эстетическіе промахи автора. Ихъ нѣтъ положительно, — или такія указанія встрѣчаются только въ статьяхъ нашего журнала.

„Новое слово!“ — употребляю теперь съ нѣкоторою гордостью это выраженіе, высокопарность котораго выкуплена легкомысленнымъ или недобросовѣстнымъ посмѣяніемъ, которому оно подверглось, — вотъ коренная, основная причина негодованія старой критики на писателя, которому по всему праву, по общему признанію массы, принадлежитъ, несмотря на его недавнее появленіе, несмотря на нѣкоторые недостатки, — несомнѣнное первенство въ современной литературѣ.

Въ 1847 до 1855 года Островскій написалъ всего только 9 произведеній, и изъ нихъ только *пять* значительныхъ по объему и *шесть* по содержанію, только *четыре* изъ нихъ даются на театрѣ, — но эти *четыре*, безъ церемоній говоря, создали народный театръ; — частію создали, частію выдвинули впередъ артистовъ, — пробудили общее сочувствіе *всѣхъ* классовъ общества, измѣнили во многихъ взглядъ на русскій бытъ, познакомили насъ съ типами, которыхъ существованія мы не подозрѣвали и которые тѣмъ не менѣе несомнѣнно существуютъ, — съ отношеніями въ высшей степени новыми, драматическими, съ многоразличными сторонами русской души, и глубокими, и трогательными, и нѣжными, и разгульными, — сторонами, до которыхъ никто еще не касался. Право гражданства литературнаго получило множество яркихъ опредѣленныхъ образовъ, новыхъ живыхъ созданій въ мірѣ искусства — и все это прошло безъ урока для критики. Талантъ уже породилъ толпу подражателей, и грубыя подражанія печатались въ ея журналахъ, — а она продолжала глумиться надъ новымъ словомъ таланта!

Таково положеніе вопроса о новомъ явленіи. Что же именно есть въ немъ такого новаго, что не принимается

критикою, — ибо вопросъ, что она враждуетъ не во имя эстетическихъ положеній, мы считаемъ рѣшеннымъ. Новы въ талантѣ Островскаго, какъ во всякомъ самобытномъ талантѣ—содержаніе и форма. Подъ содержаніемъ разумѣю я: 1) общее отношеніе поэта къ жизни, его міросозерцаніе: 2) типы, имъ создаваемые, и манеру ихъ изображенія. Подъ формою. 1) самобытность постройки произведеній и 2) особенность языка. По этимъ категоріямъ и слѣдовало бы разсмотрѣть вопросъ о талантѣ Островскаго безотносительно: но чтобы нагляднѣе и яснѣе представить дѣло, должно употребить нѣсколько окольный путь, начать аб ово. Новое слово Островскаго есть самое старое слово — народность: новое отношеніе его есть только прямое, чистое, непосредственное отношеніе къ жизни.

*Григорьевъ.*

### Вліяніе Островскаго на артистовъ.

Не довольствуясь своимъ вліяніемъ на драматическую сцену, въ качествѣ драматическаго писателя, Островскій желалъ вліять и на воспитаніе молодыхъ артистовъ. Особенно эта задача въ его дѣятельности получила замѣтный толчокъ, съ закрытіемъ драматическаго класса въ московскомъ театральномъ училищѣ. Сознаніе необходимости создать практическую школу для молодыхъ талантовъ и дать имъ средства проявить и развить свои дарованія вызвало къ союзу представителей всѣхъ отраслей искусства: литераторовъ, актеровъ, художниковъ, музыкантовъ, пѣвцовъ. Этотъ союзъ, кромѣ задачи, намѣченной Островскимъ, задался другими цѣлями. И вотъ результатомъ этого движенія было образованіе и открытіе въ Москвѣ Артистическаго кружка. Цѣль этого союза, какъ она уже была формулирована въ уставѣ 1870 года, послѣ четырехлѣтнихъ указаній опыта, заключалась въ распространеніи въ публикѣ правильныхъ понятій о всѣхъ отрасляхъ изящныхъ искусствъ и въ развитіи ея эстетическаго вкуса, въ доставленіи начинающимъ артистамъ и художникамъ возможности сдѣлаться извѣстными публикѣ. Поэтому собранія членовъ кружка назначались, между прочимъ, для представленія драматическихъ пьесъ, т.-е. въ этихъ собраніяхъ предполагалось устраивать семейно-драматическіе вечера,



въ которыхъ бы исполнителями драматическихъ произведеній являлись члены кружка — артисты-любители. Собрание это и было открыто 14-го ноября 1866 года въ Москвѣ, на Тверскомъ бульварѣ. Однимъ изъ главныхъ зачинщиковъ этого дѣла былъ А. Н. Насколько онъ считалъ дѣло это важнымъ и существеннымъ, видно изъ того, что день открытія этого кружка онъ самъ считалъ однимъ изъ лучшихъ дней своей жизни. „Памятно мнѣ также“, писалъ Островскій 12 декабря 1875 года въ альбомѣ М. В. Семева, и „14-го ноября, день открытія Артистическаго кружка, объ устройствѣ котораго такъ дѣятельно хлопотали мы съ покойнымъ Н. Г. Рубинштейномъ. Артистическій кружокъ нѣкоторымъ образомъ замѣнилъ театральную школу: онъ далъ московской сценѣ П. М. Садовскаго, О. О. Садовскую (Лезареву) и В. А. Машкеева; въ немъ же въ первый разъ познакомилась московская публика съ огромнымъ талантомъ П. С. Стрепетовой“.

Состоявшіеся въ Москвѣ въ маѣ 1867 года всероссійская этнографическая выставка и славянскій съѣздъ не могли пройти безъ участія Островскаго въ этомъ общественномъ явленіи чрезвычайной важности. Какъ извѣстно, наканунѣ отъѣзда славянскихъ гостей изъ Москвы, 26-го мая, Артистическій кружокъ устроилъ для гостей скромное угощеніе: музыкально-литературный вечеръ и чай. Литературный отдѣлъ праздника начался привѣтствіемъ славянскимъ гостямъ старшины кружка А. Н. Островскаго отъ имени гг. членовъ. Въ короткихъ словахъ онъ выразилъ гостямъ сердечный привѣтъ и желаніе: да процвѣтаетъ искусство въ нашей и ихъ странѣ, и да выражается въ немъ общее родное намъ славянское чувство. Старшина кружка, А. П. Плещеевъ прочелъ въ русскомъ переводѣ разсказъ К. Я. Ербена (чеха, бывшаго на праздникѣ въ числѣ пріѣхавшихъ славянскихъ гостей) изъ земскихъ народныхъ преданій „Водяникъ“ и переложеніе А. П. Майкова сербской пѣсни „Сербская церковь“. Затѣмъ П. О. Горбуновъ разсказалъ нѣсколько сценъ изъ народнаго быта съ своимъ неподражаемымъ искусствомъ. Успѣхъ вечера и подъемъ настроенія увеличился, когда Н. В. Бергъ, только что вернувшійся изъ далекаго путешествія, прочиталъ свое стихотвореніе, въ которомъ особенно сочувственно была привѣтствована и хозяевами и гостями такая строфа:

Что бы тамъ ни разгласила  
За границею молва,  
Братья, все-таки мы сила,  
Прага, Бѣлградъ и Москва!  
Вѣрю я благой судьбиной,  
Рано ль, поздно ль, — все равно,  
Будемъ съ вами духъ единый,  
Въ чувствахъ, въ помыслахъ — одно.

Затѣмъ артистъ Малаго театра Н. Е. Вильде прочиталъ прочувствованное стихотвореніе по поводу чудеснаго спасенія жизни императора Александра II отъ покушенія Березовскаго въ Парижѣ 25-го мая. Хозяева подали примѣръ гостямъ, которые тоже заговорили. Русскій изъ Галиціи Павлевичъ сказалъ слово по-русски; Лаза Костичь прочелъ сербскіе стихи, чехъ Гура произнесъ рѣчь; сербъ Субботичъ — стихи. Долго оставались гости въ кружкѣ; дружеская чаша долго переходила изъ рукъ въ руки. Разошлись уже въ четыре часа утра.

*Носъ.*



## Первоначальное воспитаніе Тургенева въ связи съ впечатлѣніями и вліяніями ранняго дѣтства.

Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ родился въ г. Орлѣ 28 октября 1818 года въ старинной дворянской семьѣ. По обычаю того времени, воспитывался дома подѣ присмотромъ гувернеровъ — нѣмцевъ или швейцарцевъ, людей малообразованныхъ, забытыхъ нуждою, — которые, со дня поступленія въ богатый домъ, становились въ положеніе раболѣпныхъ слугъ, а не воспитателей, способныхъ оказать благотворное вліяніе на своихъ питомцевъ.

Вся ихъ роль ограничивалась тѣмъ, что дѣтя научалось бѣгло болтать на иностранныхъ языкахъ.

Въ 1822 году Тургеневы всей семьей отправились за границу, побывали въ Германіи, Швейцаріи, Франціи. Путешествіе совершалось самымъ грандіознымъ образомъ: въ собственныхъ дорожныхъ каретахъ, съ массой всякой поклажи и цѣлой вереницей крѣпостной челяди.

Объ этомъ путешествіи у четырехлѣтняго И. С. сохранилось лишь смутное воспоминаніе, за исключеніемъ двухъ случаевъ, едва не стоившихъ ему жизни. Разъ въ Бернѣ, вмѣстѣ съ родителями осматривая яму, въ которой содержали городскихъ медвѣдей, мальчикъ упалъ бы къ звѣрямъ, если бы отецъ во-время не подхватилъ его. А затѣмъ, — тяжелая болѣзнь, когда жизнь ребенка висѣла на волоскѣ, и съ минуты на минуту ожидая его смерти, снимали уже мѣрку для гроба.

По возвращеніи изъ-за границы, Тургеневы снова поселились въ своемъ Орловскомъ имѣніи „Спасскомъ“. Здѣсь-то протекли дѣтскіе годы жизни И. С. въ весьма мрачной и печальной обстановкѣ. „Мнѣ нечѣмъ помянуть моего дѣтства, — съ горечью въ сердцѣ говоритъ онъ впослѣдствіи, — ни одного свѣтлаго воспоминанія. Въ нашемъ домѣ царила

непомѣрная строгость, — матери я боялся „какъ огня“. Меня наказывали за всякій пустякъ, однимъ словомъ, муштровали, какъ рекрута. Рѣдкій день проходилъ безъ розогъ, а когда я отваживался спросить, за что меня наказывали, мать категорически заявляла: „тебѣ объ этомъ лучше знать, догадайся“<sup>1)</sup>. Когда ребенку случалось обмолвиться словомъ, за симъ немедленно слѣдовало „возмездіе“.

„Не могу надивиться, какъ это случилось, — говоритъ самъ П. С., — что разъ я избѣгнулъ наказанія.“

„Однажды у насъ обѣдали гости, и рѣчь за столомъ зашла о томъ, какъ правильнѣй звать діавола: „вельзевуломъ“, „сатаною“ или „мефистофелемъ“. Заинтересованный споромъ старшихъ, я не утерпѣлъ и крикнулъ на весь столъ: „А я знаю, какъ его зовутъ!“

„— Ты! — воскликнула моя мать, бросая на меня молніеносный взоръ.“

„— Да, я знаю...

„— Такъ скажи намъ!

„— Его зовутъ „Мемъ“.

„— Мемъ! почему же такъ?

„— Я слышалъ за обѣдней говорятъ: „вонмемъ“; я думаю, что это діавола прогоняютъ изъ церкви<sup>2)</sup>).

„Мое ребяческое объясненіе вызвало общій хохотъ, и я легко отдѣлался на этотъ разъ — меня не наказали“.

Не зная съ ранняго возраста материнской горячей любви и ласки, которыхъ такъ жаждало его мягкое сердце и которыхъ онъ вполнѣ заслуживалъ, доведенный почти до отчаянія ежедневной муштровкой и наказаніями, — мальчикъ задумалъ бѣжать изъ родительскаго дома.

П. С. самъ говоритъ объ этой страшной для него минутѣ: „Дождавшись наступленія ночи, когда все въ домѣ уснуло, захвативъ узелокъ съ провизіей и необходимымъ бѣльемъ, я, какъ кротъ, осторожно крался темнымъ коридоромъ, — откуда ни возмись, мой нѣмецъ-гувернеръ!...

---

<sup>1)</sup> Полоцкій, слушая воспоминанія П. С., спросилъ: „Неужели же твой отецъ никогда не вступался за тебя?“ — „Никогда! отвѣтилъ П. С. — Отецъ думалъ, что если меня такъ часто наказываютъ, то не иначе, какъ я это вполнѣ заслужилъ“.

<sup>2)</sup> „Вонмемъ“ — церковно-славянскій возгласъ (т.-е. слушайте), но когда произнести слово раздѣльно, то выйдетъ вон (уйди) и мемъ.



„Взявъ меня за руку, онъ отвелъ въ дѣтскую, журилъ, уговаривалъ, стараясь доказать всю неблаговидность моего поступка. На другой день онъ долго оставался въ комнатѣ моей матери, и хотя содержаніе ихъ бесѣды осталось для меня тайной, но съ того дня наказанія не повторялись уже такъ часто“.

Въ нѣжномъ возрастѣ, когда всего необходимѣе ласка и добрый примѣръ, мальчику, наоборотъ, доводилось не разъ быть свидѣтелемъ жестокихъ сценъ и безпощадной расправы съ дворовыми и крестьянами<sup>1)</sup>.

И это въ такую пору жизни, когда душа ребенка особенно воспріимчива для внѣшнихъ впечатлѣній, которыя неизгладимыми чертами западаютъ въ дѣтскую душу.

Такимъ-то образомъ въ душѣ шестилѣтняго мальчика зародились первыя сѣмена глубокаго состраданія и жалости къ несчастнымъ рабамъ. Эти чувства не оставляли И. С. во всю его послѣдующую жизнь, а съ лѣтами нравственные страданія за крѣпостной людъ все усиливались и надрывали это наболѣвшее сердце<sup>2)</sup>.

Почти одинокій въ родной семьѣ, часто оставляемый безъ надзора, предоставленный самому себѣ, впечатлительный ребенокъ проводилъ часы, свободные отъ уроковъ, въ кругу дворовыхъ и крестьянъ и такимъ образомъ сроднился съ ними, и воочію позналъ всѣ тяжелыя стороны ихъ жизни.

Но самымъ любимымъ мѣстомъ уединенія въ дѣтствѣ для И. С. былъ старинный огромный садъ, скорѣе похожій на паркъ или рощу. Садъ былъ раскинутъ на высокомъ мѣстѣ и круто спускался къ пруду. Безчисленные березовыя и липовыя аллеи, узкія и длинныя, прохладныя даже въ самые знойныя дни, пересѣкались по всѣмъ направленіямъ узенькими, извилистыми дорожками, скрытыми подъ густо разросшимися кустами и почти непримѣтными для глаза. Однообразіе сада нарушалось разбросанными тамъ и сямъ кучами старыхъ слей, лиственницъ, огромныхъ дубовъ, а спускъ къ пруду, — окай-

---

<sup>1)</sup> Тургеневъ говоритъ: „Мнѣ случалось видѣть, какъ къ матери, сидѣвшей у окна, подходили, понури голову, ссылаемые ею дворовые за какую-нибудь провинность и обязанные предъ отъѣздомъ явиться на поклонъ къ баринѣ“.

<sup>2)</sup> „Когда мнѣ случалось бывать на кладбищѣ, я безъ содроганія не могъ войти въ склепъ Лутовиновыхъ (предки его матери)“, говоритъ И. С. Полонскому въ бытность ихъ въ Спасскомъ въ 1881 г.

мленный съ двухъ сторонъ орѣшникомъ, рябиной, жимолостью и терновникомъ, изъ-подъ которыхъ выглядывалъ верескъ и папоротникъ, — придавалъ особенную красоту и живописность саду. Мѣстами открывались лужайки, покрытыя шелковистой изумрудно-зеленой травой, изъ которой робко выглядывали фіолето-розоватыя, темныя головки грибовъ и желтыя цвѣточки цикорія. Весной въ саду заливались соловьи, свистѣли дрозды, куковали кукушки. Въ пруду водилось много рыбы, не только караси и пескари, но и болѣе крупная, которая въ настоящее время совсѣмъ перевелась. „Въ это-то зеленое царство прохлады убѣгалъ я, — говоритъ П. С., — отъ зноя и людей, въ свои излюбленные уголки, считая ихъ въ то время невѣдомыми для другихъ“.

Уже съ семилѣтняго возраста П. С. обращалъ на себя вниманіе старшихъ своимъ не по лѣтамъ серіознымъ видомъ; онъ вообще мало походилъ на дѣтей его возраста, преждевременно казался взрослымъ.

У него были очень большая голова<sup>1)</sup>, большіе серіозные глаза, мальчикъ зорко присматривался къ окружающему, приставалъ съ вопросами, всѣмъ интересовался. Игрушки его не забавляли, и до дѣтскихъ игръ былъ не большой охотникъ, но зато страстно любилъ птицъ, ловилъ ихъ сѣтями, западней или на птичій клей, сажалъ въ садокъ, окрашенный въ зеленый цвѣтъ и устроенный въ одной изъ комнатъ въ Спасскомъ. Обязанность доставлять кормъ и ходить за пернатыми была возложена на лѣсного сторожа съ прозвищемъ „Борзой“ за его высокій ростъ и сильную худобу при очень тонкихъ ногахъ.

Кромѣ того, съ разрѣшенія матери П. С. — Варвары П. около террасы были разставлены столы, на которые въ определенные часы слеталась стая голубей, и маленькій Ваня собственноручно кормилъ ихъ зерномъ.

---

<sup>1)</sup> Въ дѣтствѣ я думалъ, — говоритъ П. С., — что человѣческій мозгъ покрытъ только кожей и волосами, а у меня кости черепа были такъ тонки и чувствительны, что, когда товарищамъ случалось хлопнуть меня по головѣ, со мной дѣлалось дурно. И позже, говоря объ этомъ съ Полонскимъ, П. С. съ сожалѣніемъ сказалъ ему: „Дотронься до моего темени, — у меня до сихъ поръ не срослись кости черепа. Мнѣ бы слѣдовало завѣщать мой черепъ въ анатомическій музей Академіи“. И дѣйствительно, при вскрытіи тѣла П. С. въ Буживалѣ въ 1883 г., доктора подтвердили, что кости черепа такъ тонки, что гнутся при нажимѣ пальцемъ.



Лѣсники и охотники Спасскаго, желая потѣшить любознательнаго мальчика, сообщали ему много интереснаго о жизни пернатыхъ, о перелетѣ птицъ, характерѣ и привычкахъ бекасовъ, куропатокъ, перепелокъ, дикихъ утокъ, иногда приносили ихъ выводки, указывая на особенности породъ. Мальчикъ, — упоенный охотничьими рассказами, — упрашивалъ ихъ взять съ собою на охоту, и отправлялся съ ними и ребятами въ лѣсъ и на болото. Тутъ же онъ научился стрѣлять изъ ружья лѣсного сторожа: сначала цѣлился въ спящую птицу, а потомъ уже ловко убивалъ на лету.

Съ лѣтамп II. С. сдѣлался искуснымъ стрѣлкомъ и страстнымъ охотникомъ. Бродя цѣлыми днями по лѣсамъ и окрестностямъ, онъ страстно полюбилъ природу, всѣми силами души наслаждаясь ея красотами, знакомился съ русской деревней, — которую такими яркими красками нарисовалъ впоследствии, которую такъ поэтически воспѣла его „муза“, доказавъ въ немъ тонкаго наблюдателя-художника. Первый же, кто познакомилъ II. С. съ народной поэзіей, былъ не кто иной, какъ крѣпостной его матери В. П., самоучкой научившійся грамотѣ. Позже II. С. вывелъ его въ своемъ рассказѣ „Пунинъ и Бабуринъ“ (1874 г.).

Пунинъ декламировалъ мальчику Ломоносова, Державина, Хераскова.

Мы приводимъ тѣ прекрасныя строки, въ которыхъ Тургеневъ съ наслажденіемъ и благодарностью вспоминалъ о своихъ свиданіяхъ и бесѣдахъ съ своимъ доморощеннымъ наставникомъ:

„Не могу выразить тѣхъ чувствъ, которыя я испытывалъ, когда, улучивъ удобную минуту, Пунинъ являлся — подобно баснословному отшельнику или доброму духу — съ большимъ томомъ подъ мышкой, подавая мнѣ таинственные знаки своими кривыми пальцами и подмигивая глазами. Онъ давалъ мнѣ понять головой, плечами, разными тѣлодвиженіями, въ какомъ укромномъ мѣстечкѣ сада онъ будетъ меня ждать и гдѣ насъ не найдутъ...

„Вотъ, наконецъ, намъ удалось выйти изъ дома незамѣченными, мы въ укромномъ мѣстечкѣ... сидимъ рядомъ... книга раскрывается, издавая запахъ сыростью старой бумаги, но даже этотъ терпкій запахъ казался мнѣ тогда удиви-

тельно пріятнымъ. Я дрожалъ, волновался, въ глубокомъ молчаніи слѣдя за его губами, ожидая съ замираніемъ сердца, когда полются сладкіе звуки... Наконецъ, начиналось чтеніе! Все исчезало у меня изъ глазъ... или скорѣе умирало, уничтожалось... заволакивалось туманомъ, оставляя въ душѣ умильное, доброе чувство!... Пунинъ, большею частью, выбиралъ для чтенія звучные и торжественные стихи, онъ влагалъ въ нихъ всѣ силы своей души. Онъ скорѣе декламировалъ, чѣмъ читалъ, говорилъ съ пафосомъ, нѣсколько гнусавя, какъ бы опьянѣвшій... или безумный... или иное!... Начиналъ бормоча, скороговоркой — это значило читать „на-черно“, потомъ снова повторялъ и читалъ уже „набѣло“ громко, размахивая при этомъ руками или поднимая ихъ съ мольбой или съ грознымъ жестомъ.

Такъ мы съ нимъ прочли не только Ломоносова, Кантемира (чѣмъ стихи были древнѣе, тѣмъ они ему болѣе нравились), но и „Россіаду“ Хераскова. Въ этой поэмѣ фигурируетъ женщина-татарка, истинная героиня, имя которой я забылъ теперь, но тогда при малѣйшемъ объ ней упоминаніи я весь холодѣлъ. Признаюсь откровенно, что „Россіада“ увлекала меня тогда больше всего. „Да, — говаривалъ при этомъ Пунинъ, качая головой: — Херасковъ не даетъ спуска! Иногда у него вырываются такіе стихи, что чуть устоишь на ногахъ. Только хѣчется тебѣ прочувствовать всю ихъ глубину, а онъ ужъ несется дальше — гремитъ, звучитъ какъ „кимваль“. И какое славное имя — „Херррасковъ“!

У Ломоносова Пунинъ находилъ слогъ слишкомъ простымъ и свободнымъ, а къ Державину относился нѣсколько непріязненно, считая его болѣе царедворцемъ, чѣмъ поэтомъ, сочинителемъ. „У насъ дома, — говоритъ Тургеневъ, — съ презрѣніемъ относились къ русской литературѣ и поэзіи, а русскіе стихи считали за что-то нескромное и даже пошлое. Покойная моя бабушка называла русскіе стихи не иначе какъ „нѣсіями“, и по ея мнѣнію каждый русскій поэтъ былъ непременно или пьяница, или дуракъ.

„Воспитанному въ такихъ понятіяхъ, мнѣ предстояло одно изъ двухъ: или отвернуться отъ Пунина — онъ дѣйствительно былъ крайне грязенъ и неряшливъ, что нѣсколько претило моимъ аристократическимъ привычкамъ, — или послѣдовать его „страсти къ поэзіи“. Последнее взяло верхъ.



Я принялся декламировать или, говоря языкомъ бабушки, „пѣть пѣсни“ и даже рискнулъ писать стихи. Первымъ опытомъ моей ребяческой поэзіи было описаніе. „Шарманки“. Пушкинъ нашелъ подражаніе довольно гармоничнымъ, но не одобрялъ сюжета, находя его слишкомъ вульгарнымъ, низменнымъ, не стоящимъ быть воспѣтымъ „на струнахъ лиры“.

Вмѣстѣ съ П. С. росъ и учился старшій братъ Николай, который для меньшого брата переводилъ повѣсти съ англійскаго языка. Третій — Сергѣй Сергѣевичъ умеръ въ ранней молодости.

Вѣроятно, въ своихъ „Запискахъ охотника“, а именно въ „Гамлетѣ Цигровскаго уѣзда“, П. С. упоминаетъ о меньшомъ братѣ, страдавшемъ англійской болѣзью, говоря: „У меня сохранилось смутное воспоминаніе о младшемъ братѣ, который по болѣзни не могъ ходить, а ползалъ, какъ „червякъ“, и умеръ очень молодымъ“. *Мурье.*

### Пребываніе П. С. Тургенева въ пансіонѣ и университетахъ.

Въ 1827 году Тургеневы переѣхали на жительство въ Москву, въ собственный домъ на Остоженкѣ<sup>1)</sup>. П. С. отдалъ въ пансіонъ Винденгаммера. Въ то время дворяне-помѣщики не рѣшались отдавать сыновей въ гимназію, боясь для нихъ товарищества разночинцевъ. Но не долго пробылъ П. С. въ пансіонѣ, его перевели пансіонеромъ въ семью директора Лазаревскаго института г. Краузе. Здѣсь онъ учился подъ руководствомъ хорошихъ преподавателей, каковы: Ключниковъ, Погорѣльскій и другіе. Впослѣдствіи онъ съ особенной любовью и уваженіемъ отзывался о преподавателѣ Дубенскомъ. Это былъ въ высшей степени благородный человѣкъ, добросовѣстный педагогъ старой школы, основательно учившій своихъ питомцевъ, воспитывая ихъ на произведеніяхъ Карамзина, Батюшкова, Жуковскаго. Пушкина онъ не долюбивалъ за его „вольности“, — какъ говорилъ Дубенскій, порицая поэта

---

<sup>1)</sup> Біографы П. С. расходятся въ своихъ указаніяхъ о мѣстѣ жительства Остоженка или Самотека.

за то, за что и самъ Пушкинъ укорялъ самъ себя въ послѣдствіи — что онъ унижаетъ поэзію, воспѣвая низменные предметы, недостойные самаго „духа“ поэзіи. Пребываніе въ домѣ г. Краузе принесло много пользы П. С. Онъ сдѣлалъ большіе успѣхи въ иностранныхъ языкахъ, особенно въ англійскомъ, прошелъ всеобщую литературу, такъ что — съ прежнимъ знаніемъ французскаго и нѣмецкаго языковъ — вынесъ большой запасъ свѣдѣній по иностранной литературѣ. Ему вообще легко давались иностранные языки, и онъ въ послѣдствіи совершенно свободно владѣлъ ими.

Въ 1833 году П. С. вступилъ въ Московскій университетъ, гдѣ слушалъ лекціи профессоровъ: Павлова, Погодина, Побѣдоносцева, но, спустя годъ, а именно 30 октября 1834 года, получивъ извѣстіе о смерти отца, уѣхалъ въ Спасское.

Въ академическомъ 1834—35 году онъ перешелъ въ Петербургскій университетъ. Что заставило его избрать Петербургъ, а не Москву, — тогда какъ мать В. П., похоронивъ мужа, поселилась въ Москвѣ, — этотъ вопросъ остается открытымъ. Можно предполагать, что онъ желалъ вырваться на свободу и быть подальше отъ требовательной матери и родныхъ.

Въ тѣ годы Петербургскій университетъ не славился профессорами, а студенты мало отдавались наукѣ, а проводили время въ картежной игрѣ и пирушкахъ. Чтобъ составить вѣрное понятіе о томъ, какъ строго осуждалъ П. С. образъ жизни учащейся молодежи и какія тяжкія воспоминанія вынесъ онъ объ этомъ времени, стоитъ прочесть его негодующія рѣчи о „Клубѣ студентовъ“ въ „Гамлетѣ Щигровскаго уѣзда“.

За исключеніемъ ректора университета — П. А. Плетнева, писателя и друга Пушкина и его сотрудника по изданію „Современника“, не было ни одного выдающагося профессора, достойнаго упоминанія.

Лекціи читались больше по книгамъ или по запискамъ на русскомъ или нѣмецкомъ языкѣ, вышедшимъ изъ-подъ строгой редакціи начальства. Студенты записывали лекціи и зубрили ихъ къ экзаменамъ. Наука не пользовалась большой симпатіей ни у учащихся ни у учащихся.

Плетневъ, читавшій русскій языкъ и всеобщую литературу, — по словамъ П. С. — хотя читалъ нѣсколько узко, но изящнымъ слогомъ, внятно и съ одушевленіемъ. Онъ умѣлъ передать свои симпатіи и заинтересовать аудиторію. Къ тому же



въ глазахъ студентовъ онъ стоялъ высоко, какъ одинъ изъ литературной плеяды, другъ Пушкина, Жуковского, Барятинскаго, Гоголя — ему же Пушкинъ посвящалъ своего „Евгенія Онегина“.

Плетневъ былъ одинъ изъ людей „невозвратной эпохи“, профессоръ прежней школы: образованный, но не специалистъ, хотя человекъ своеобразнаго ума.

Философію преподавалъ нѣкто Фишеръ, австріецъ родомъ, за познаніемъ русскаго языка читавшій по-латыни. Исторію читалъ профессоръ Куторга, еще молодой человекъ, только что вернувшійся изъ поѣздки въ Германію, страстный поклонникъ критической школы Нибуга. Шульгинъ читалъ однообразно и неясно освѣщалъ свой предметъ. Проф. Устряловъ передавалъ факты съ патріотической окраской, и, наконецъ, Гоголь, который въ началѣ задумалъ посвятить себя научной дѣятельности. Онъ преподавалъ весьма оригинально, — говоритъ П. С., — во-первыхъ изъ трехъ лекцій пропускалъ двѣ, затѣмъ, взойдя на кафедру, говорилъ что-то скороговоркой, а больше занималъ студентовъ, показывая гравюры на стали съ видами Св. Земли и Востока, при чемъ во все продолженіе лекціи казался крайне смущеннымъ. Студенты вывели изъ этого, что лекторъ не обладаетъ достаточными свѣдѣніями по своему предмету, да и самъ Гоголь, кажется, признавалъ всю неловкость своего положенія, и въ 1835 г. подалъ въ отставку. Русскую литературу читалъ проф. Никитенко. Кромѣ посѣщенія университета, П. С. занимался подъ руководствомъ Вальтера, извѣстнаго латиниста, преподавателя нѣмецкой Петропавловской школы (служившаго въ Императорской Публичной библіотекѣ). Съ нимъ онъ читалъ и переводилъ Горация, Тацита, Софокла, Эукидида и др., но древніе языки не легко давались П. С., и, когда онъ вступилъ въ Берлинскій университетъ, ему снова пришлось застѣть за латинскій и греческій.

Плетневъ, — человекъ прекрасной души, — относился къ студентамъ запросто, вполне отечески, такъ что они посвящали его въ свои литературные опыты. „И я, — говорилъ Тургеневъ, — рѣшился отдать на его усмотрѣніе мою первую пробу пера“ или „плодъ музы“, какъ говорилъ въ былыя времена. Эта была фантастическая драма въ стихахъ подъ названіемъ „Стеніо“.

„На слѣдующей же лекціи Плетневъ, не называя автора, принялся за разборъ моего произведенія съ обычнымъ ему благодушіемъ. Произведеніе, — долженъ признаться, — крайне глупое, безсмысленное, не что иное какъ плоское подражаніе Байроновскому „Манфреду“ и доказавшее полное невѣжество автора.

„По окончаніи лекціи, уходя изъ университета, ректоръ позвалъ меня съ собою, дорогой ласково журить за пустое времяпрепровожденіе, но сказать, что во мнѣ есть „кое-что“. Эти слова такъ ободрили меня, что черезъ нѣсколько времени я опять передалъ ему на просмотръ нѣсколько стихотвореній, изъ которыхъ онъ выбралъ два и спустя годъ напечаталъ въ „Современникѣ“ (1838 г.). Одно изъ нихъ подъ названіемъ „Старый дубъ“ было тоже не болѣе, какъ „ленеть ребяческой поэзіи“.

Съ этого времени Плетневъ приглашалъ Тургенева на свои литературные вечера, гдѣ послѣдній имѣлъ случай познакомиться съ болѣе или менѣе извѣстными писателями, между прочимъ, съ Козловымъ. Здѣсь же онъ встрѣтилъ Пушкина, Бѣлинскаго и др. Но всѣ эти литературные встрѣчи въ домѣ ректора были, болѣею частью, случайны для молодого студента и будущаго великаго писателя и ограничивались лишь нѣсколькими словами съ Плетневымъ, съ Бѣлинскимъ, который не одинъ добрый совѣтъ далъ начинающему писателю, нѣсколькими вскользь брошенными страстными взглядами на обожаемаго Пушкина, котораго я, какъ и всѣ современники, почиталъ за „полубога“, предъ которымъ мы положительно благоговѣли.

Какъ сынъ старинной дворянской фамиліи, Н. С. имѣлъ свободный доступъ въ высшій кругъ столицы, но онъ чуждался свѣтскаго общества, а болѣе вращался въ литературной средѣ. Онъ, видимо, увлекался литературой, писалъ самъ и читалъ въ оригиналѣ лучшія произведенія иностранной литературы.

Лѣто онъ проводилъ обыкновенно въ Спасскомъ. Здѣсь снова имъ овладѣвали вопросы о крѣпостномъ правѣ: онъ много читалъ, ходилъ на охоту, а иногда, захвативъ ружье, пропадалъ на цѣлые дни въ лѣсу.

*Мурге.*



## Путешествіе Тургенева за границу и возвращеніе на родину. Первые его литературные труды.

Не разъ И. С. порывался ѣхать за границу, но мать В. П. препятствовала выполнить это завѣтное желаніе. Наконецъ, послѣ долгихъ настояній, удалось ему получить ея согласіе и послѣ долгихъ сборовъ въ дорогу сѣсть на пароходъ „Николай I“, идущій въ Любекъ. Легко себѣ представить, какъ радостно билось сердце 20-лѣтняго молодого человѣка, цвѣтущаго здоровьемъ и вырвавшагося на свободу. Первымъ дѣломъ И. С. направился въ Берлинъ — тогдашній центръ всемірной науки, мѣслителей и философовъ.

Но во время плаванія онъ чуть не погибъ: на пароходѣ вблизи Травемюнде произошелъ пожаръ, и пассажиры едва спаслись на лодкахъ. Этотъ случай послужилъ сюжетомъ для художественнаго разсказа „Пожаръ на морѣ“, который И. С. написалъ за мѣсяць до своей смерти въ 1883 году.

Въ Берлинъ онъ пріѣхалъ весною 1838 года и немедленно засталъ за серіозное чтеніе — читалъ чуть не до ожесточенія<sup>1)</sup>. Онъ изучалъ древніе языки, исторію и особенно философію Гегеля подъ руководствомъ профессора Вердера. Вообще въ Германіи жилось ему весело и отрадно. Русскіе студенты сходились тѣснымъ кружкомъ въ семьѣ Фроловыхъ, гдѣ ихъ всегда встрѣчала ласка и радушіе. Тургеневъ сдружился съ Грановскимъ, Станкевичемъ — горячимъ поклонникомъ Запада, — Бакунинымъ и вообще съ „западниками“, какъ ихъ называли въ отличіе отъ „славянофиловъ“.

Но, живя за границей и усердно посѣщая Берлинскій университетъ, И. С. часто возвращался мыслію къ дорогой родинѣ, сравнивая общественное положеніе и относительное благосостояніе нѣмецкаго крестьянина съ полнымъ невѣжествомъ и печальнымъ положеніемъ крѣпостныхъ въ Россіи, и глубокая скорбь наполняла это чуткое, благородное сердце.

А вскорѣ посѣтило его другое горе: умеръ горячо любимый Станкевичъ!

Вотъ, что онъ пишетъ по поводу этой преждевременной кончины Грановскому изъ Берлина 4 іюля 1840 года:

---

<sup>1)</sup> Чтò не мѣшало ему рисовать карикатуры, которыми пестрѣли поля его замѣтокъ и лекцій.

„Я едва въ силахъ взяться за перо. Мы потеряли горячо любимаго друга, въ котораго вѣрили безусловно. Онъ былъ нашей гордостью и надеждой! Станкевичъ умеръ 24-го іюня въ Нови!!... Что сказать еще?... Къ чему слова!... Скорѣе для себя, чѣмъ для васъ, пишу я эти строки. Живя съ нимъ въ Римѣ, привыкнувъ видѣть его каждый день, я сроднился съ нимъ, невольно оцѣнилъ этотъ свѣтлый умъ, горячее сердце, эту чудную душу!... Уже тѣнь смерти давно подстерегала его! Тщетно смотрю вокругъ себя, тщетно ищу, кто бы изъ насъ могъ замѣнить его, которому изъ насъ удастся выполнить его завѣты, — не давъ погибнуть его идеаламъ. Кто пойдетъ по пути, проложенному имъ въ его духѣ, съ его стойкостью!... Но мы не должны терять надежды, мужества, поникнуть головой, соединимся всѣ вмѣстѣ, дадимъ другъ другу руки, сплотимся воедино... Одинъ изъ нашихъ палъ... можетъ-быть — лучший изъ насъ, но явятся другіе... появляются уже. Денница Божія непрестанно направляетъ человѣческую душу къ благимъ стремленіямъ, и рано или поздно свѣтъ побѣдитъ тьму!“

Въ 1841 году И. С. вернулся изъ-за границы въ Петербургъ, а оттуда проѣхалъ въ Москву навѣстить мать, здоровье которой за послѣдніе годы сильно пошатнулось. Отношенія и прежде были натянуты, а теперь И. С. скоро убѣдился, что пока онъ жилъ за границей, она не забыла еще ничего прежняго, и что они — люди совершенно разныхъ характеровъ и убѣжденій — никогда не могутъ сойтись.

Онъ, проживъ на чужбинѣ, во многомъ измѣнился; она, старѣясь, оставалась та же съ своей холодностью, бездушіемъ, и напрасно было стараться поколебать ея убѣжденія.

Хотя они вмѣстѣ отправились въ Спасское, но тамъ не замедлила разыгратъ бурная сцена между матерью и сыномъ. Поводомъ къ ссорѣ послужило дурное обращеніе съ крѣпостными. Иванъ Сергѣевичъ, не медля ни минуты, уложился и уѣхалъ въ Петербургъ.

Безъ гроша денегъ, ничего не захвативъ изъ дома, Тургеневъ принужденъ былъ искать работы, и не разъ будущій великій писатель голодалъ по цѣлымъ днямъ.

Онъ толкнулся къ Вл. Далю — директору канцеляріи Министерства Внутреннихъ Дѣлъ — въ то время довольно из-



вѣстному писателю. Послѣдній далъ ему мѣсто въ своей канцеляріи. Далъ былъ человѣкъ честный, дѣятельный, исполнительный чиновникъ, но крайне требовательный начальникъ. На первыхъ же порахъ И. С. получилъ замѣчаніе отъ директора за опозданіе на службу. Тургеневъ съ удивленіемъ поднималъ глаза на начальника, какъ бы спрашивая себя, неужели это тотъ же самый Вл. Даль, съ которымъ онъ не далѣе какъ наканунѣ провелъ пріятный вечеръ у Плетнева, а за день до того — у Жуковского. Спустя немного, послѣдовало вторичное строгое замѣчаніе по тому же поводу, а на третій разъ — И. С. подалъ въ отставку, давъ себѣ слово никогда не служить.

Во время своего пребыванія въ Петербургѣ, И. С. близко сошелся съ Бѣлинскимъ, ему читалъ свои первыя стихотворенія, которыя печатались въ „Современникѣ“, издававшемся Некрасовымъ, за подписью Т. Л. (Тургеневъ-Лутвиновъ).

Бѣлинскій снисходительно отнесся къ первымъ литературнымъ опытамъ И. С., да и онъ самъ скоро понялъ, что не поэзія составитъ ему имя въ литературѣ<sup>1)</sup>, что онъ еще въ потемкахъ, но не палъ духомъ, а въ 1843 году отдалъ въ печать свою поэму „Параша“.

Это произведеніе ничѣмъ не отличалось въ литературномъ отношеніи, и нельзя было по немъ предугадать нарождающійся талантъ.

Однако поэма вызвала шумную полемику, такъ какъ въ ней ярко выражалась горячія симпатія юнаго автора къ Западу. Злобная критика не пощадила ни человѣка ни писателя, (называя) окрестивъ его первые опыты въ литературѣ подъ названіемъ „Чудеса европейскаго развитія“.

Бѣлинскій, напротивъ, открылъ въ „Парашѣ“ признаки рѣдкаго таланта наблюдательности и говорилъ: „Тотъ, кто сумѣлъ написать Парашу, — тотъ сумѣетъ исправиться отъ недостатковъ“.

Отдавъ въ печать „Парашу“, И. С. уѣхалъ въ Спасское, гдѣ, большею частью, проводилъ время на охотѣ, съ нетерпѣніемъ ожидая выхода слѣдующей книжки „Отечественныхъ“

<sup>1)</sup> Онъ самъ говорилъ: „Мнѣ крайне антипатичны мои первыя стихотворенія, у меня даже не сохранилось ни одного экземпляра — и я много бы далъ, чтобы ихъ не было ни у кого“.

Записокъ“ со статьей Бѣлинскаго. Онъ задумалъ пока прочесть поэму матери, но В. П. только качала головой, зѣвала, удивляясь, что сынъ ея находитъ удовольствіе писать „пѣсни“.

— Не понимаю, что тебѣ за охота быть писателемъ! Развѣ это дворянское дѣло?... По моему мнѣнію, что писатель, что писецъ — одно и то же. Оба мараютъ бумагу за деньги. Дворянинъ обязанъ служить, составить себѣ имя на службѣ, а не марать бумагу. Да и кто же читаетъ „русскіе стихи“?!...

— Ты сама!—отвѣтилъ Тургеневъ. — Вѣдь ты же любила и уважала Жуковскаго!

— Ахъ, это другое дѣло, Жуковскій! Его нельзя не уважать. Ты знаешь, какъ его любятъ при Дворѣ!

Варвара Петровна не беспокоилась о сынѣ, она была увѣрена, что эта болѣзненная фантазія пройдетъ сама собой. Отчего не подурачиться въ двадцать-пять лѣтъ! Дурачества были присущи дворянамъ.

Но вотъ наступилъ май, и такъ нетерпѣливо ожидаемый номеръ „Отечественный Записокъ“ вышелъ. И. С. поспѣшно разрѣзалъ листы книжки — это было „огненное крещеніе“.

Какой несказанной радостью наполнилось его сердце, читая похвальный отзывъ Бѣлинскаго!

„Эти строки удесятерили мои силы, — говорилъ Тургеневъ, — я готовъ былъ полюбить весь міръ, а особенно Бѣлинскаго! Я далъ себѣ слово сдѣлаться его другомъ, его ученикомъ!“

Поэма „Параша“ сыграла большую роль въ жизни Тургенева, хотя не имѣетъ почти значенія въ исторіи русской литературы.

Лѣтомъ 1843 года, вернувшись изъ Спасскаго въ Петербургъ, И. С. немедленно посѣтилъ Бѣлинскаго, въ то время уже больного чахоткой, и настолько сдружился съ нимъ, что почти ежедневно бывалъ у него, пока въ 1848 году смерть не сразила этого мужественнаго страдальца. И. С. глубоко цѣнилъ эту дружбу, а Бѣлинскій, съ своей стороны, платилъ ему такой же сердечной привязанностью.

Подъ руководствомъ великаго критика, — имѣвшаго большое вліяніе на И. С., — вполне опредѣлилось направленіе всей его будущей литературной дѣятельности. *Мурье.*



## Тургеневъ за границей среди русской интеллигентной молодежи 40-хъ годовъ.

Въ Берлинѣ Тургеневъ въ два пріѣзда пробылъ около двухъ лѣтъ. Изъ числа русскихъ, слушавшихъ университетскія лекціи, особенно близко сошелся онъ съ Грановскимъ и Станкевичемъ, которые, какъ всякій это знаетъ, оба были горячими западниками, а нѣсколько позже — съ М. Бакунинымъ, ярымъ гегеліанцемъ и даже пророкомъ гегелизма въ Россіи. Самъ онъ занимался философіей, древними языками, исторіей и съ особеннымъ рвеніемъ изучалъ Гегеля подъ руководствомъ профессора Вердера. Подъ вліяніемъ впечатлѣній заграничной жизни онъ сталъ ярымъ западникомъ.

Въ Берлинѣ Тургеневу жилось весело и хорошо. Извѣстно, что никогда, ни раньше ни позже, русская интеллигентная молодежь не занималась такъ много разговорами и словопреніями, какъ въ періодъ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ. Возлѣ разговоровъ сосредоточивался зачастую весь смыслъ и интересы бытія. Затрогивались и рѣшались *tant bien, que mal* огромнѣйшіе и отвлеченнѣйшіе вопросы о Богѣ, безмертіи души, особенностяхъ народовъ, назначеніи человѣка, правахъ и обязанностяхъ личности. Всѣ даровитые люди отличались поразительной словоохотливостью и пристрастіемъ къ спорамъ. Споры продолжались цѣлыми днями и ночами, а иногда и сутками — безъ перерыва! — тянулись же недѣлями и мѣсяцами. Много тутъ было, разумѣется, комическаго, ненужнаго, напоминавшаго лепетъ ребенка, только что научившагося говорить и лепечущаго безъ усталости обо всемъ; — много и важнаго, интереснаго, такъ какъ во время преній слагались убѣжденія, которымъ люди оставались вѣрными порою въ теченіе всей своей жизни. Разговорами отводили душу, тѣмъ болѣе, что все вело къ разговорамъ. Мерзость настоящаго, неопредѣленность будущаго, отсутствіе какого бы то ни было жизненнаго дѣла, полная матеріальная обезпеченность лучшихъ интеллигентовъ того времени (за исключеніемъ Бѣлинскаго), изобиліе шампанскаго, безъ котораго не обходилась ни одна вечеринка, потребность свободы, хоть бы только у себя въ дружескомъ кружкѣ, самая легкость разговора.

основывшагося не на фактахъ, а на принципахъ и аксіомахъ гегелевской философіи, — все это вдохновляло, горячило, дѣлало слово, споръ сущностью жизни, ея прелестью и красотой. Нѣтъ, мы даже не умѣемъ говорить такъ искренно, съ такимъ увлеченіемъ, какъ наши дѣды, намъ совѣстно было бы говорить такъ много, съ такимъ азартомъ, какъ 50 лѣтъ тому назадъ. Но перенеситесь въ ту эпоху, и вы увидите, что нельзя было не говорить, надо было говорить, чтобы хотя на минуту отвести душу. Вотъ Бакунинъ развалился на диванѣ и занялъ его весь своей огромной фигурой; онъ гремитъ своимъ раскатистымъ голосомъ, наизусть цитируетъ цѣлыя страницы изъ Гегеля, не задумываясь, рѣшаетъ великіе и малые вопросы; что-то богатырское есть въ его фигурѣ, голосѣ, жестахъ; — гдѣ нибудь у окна присѣлъ тихій, прекрасный Станкевичъ, съ доброй улыбкой на больномъ лицѣ, съ восторженными глазами; онъ ждетъ минуты, чтобы вставить свое душевное слово; — вотъ и самъ Тургеневъ, тоже гигантъ ростомъ и умомъ, но тогда еще ученикъ, покорно выслушивающій поученія старшихъ; — Грановскій съ своимъ задумчивымъ, неопредѣленно устремленнымъ взглядомъ, своей изящной рѣчью, своимъ серебристымъ подкупающимъ голосомъ. Пройдетъ не много лѣтъ, и за тѣми же разговорами мы застанемъ новыхъ лицъ, хотя и не увидимъ уже прекраснаго лица Станкевича и не услышимъ больше его душевнаго голоса. Сверкая глазами и бѣгая изъ угла въ уголъ по комнатѣ, будетъ волноваться Бѣлинскій и нападать съ комической яростью на баричей, въ родѣ Тургенева, за ихъ бездѣлье, за привязанность къ чистой красотѣ и, размахивая руками, кричать своимъ тонкимъ голоскомъ, волнуясь и спѣша.

Въ Берлинѣ, повторяю, Тургеневу жилось хорошо, весело. Въ семейство Фроловыхъ часто собирались русскіе студенты и встрѣчали здѣсь всегда ласковый, душевный пріемъ. Самъ Тургеневъ поселился на квартирѣ съ однимъ изъ своихъ товарищей русскихъ, увлеченныхъ по модѣ того времени Гегелемъ. Товарищъ заставлялъ его штудировать философію и отечески слѣдить за его нравственностью.

Такъ прошло два года, за время которыхъ случилось только одно поистинѣ грустное событіе — смерть Станкевича. Вотъ, что писалъ по этому поводу Тургеневъ Грановскому: „Насъ



постигло великое несчастье, Грановскій. Едва я могу собраться съ силами писать. Мы потеряли человека, котораго мы любили, въ кого мы вѣрили, кто былъ нашей гордостью и надеждой. 24-го іюня въ Нови скончался Станкевичъ. Я бы могъ, я бы долженъ здѣсь кончить письмо. — Что остается мнѣ сказать — къ чему вамъ теперь мои слова? не для васъ, болѣе для меня продолжаю я письмо: я сблизился съ нимъ въ Римѣ, я его видѣлъ каждый день и началъ цѣнить его свѣтлый умъ, теплое сердце, всю прелесть его души. Тѣнь близкой смерти уже тогда лежала на немъ... Я оглядываюсь, ищу напрасно. Кто изъ нашего поколѣнія можетъ замѣнить нашу потерю?... Кто достойнѣй приметъ отъ умершаго завѣщаніе его великихъ мыслей и не дастъ погибнуть его вліянію, будетъ идти по его дорогѣ, въ его духѣ, съ его силой?... Но нѣтъ, мы не должны унывать и преклопяться. Сойдемтесь — дадимъ другъ другу руки, станемъ тѣснѣе: одинъ изъ насъ упалъ быть можетъ лучшій. Но возникаютъ, возникнутъ другіе: рука Бога не перестаетъ сѣять въ души зародыши великихъ стремленій, и рано или поздно свѣтъ побѣдитъ тьму“.

Какъ ни реторична форма этого письма — оно несомнѣнно искренне.

*Соловьевъ.*

## Тургеневъ въ кружкѣ молодыхъ литераторовъ на родинѣ.

Тургеневъ скоро и близко сошелся также и съ кружкомъ молодыхъ литераторовъ, который группировался вокругъ Бѣлинскаго. Къ этому кружку принадлежали Панаевъ, М. А. Языковъ, Кульчицкій, П. В. Анненковъ; здѣсь же бывалъ прежде Бакунинъ и Катковъ; бывалъ одно время Герценъ; нѣсколько позже къ этому дружескому кругу присоединились К. Д. Кавелинъ, Некрасовъ, П. А. Гончаровъ, Д. В. Григоровичъ и др. „Отечественныя Записки“, въ которыхъ всѣ эти писатели принимали живое участіе, приобрѣли въ лицѣ Тургенева замѣчательнаго сотрудника. Онъ приступалъ къ литературной дѣятельности, будучи многосторонне образованнымъ человекомъ, познакомившись въ подлинникъ съ лучшими европейскими писателями и въ самомъ источ-

никъ усвоивъ себѣ результаты философскаго знанія того времени. Не преувеличивая, можно сказать, что въ началѣ 40-хъ годовъ онъ былъ однимъ изъ самыхъ образованныхъ русскихъ литераторовъ и, сближаясь съ передовыми людьми своего времени, тогда же вмѣлъ на нихъ вліяніе своимъ многостороннимъ знакомствомъ съ западной наукой и литературой.

---

„Возвратившись въ Петербургъ изъ Спасскаго (лѣтомъ 1843 г.), — пишетъ Тургеневъ, — я отправился къ Бѣлинскому. и знакомство наше началось. Онъ вскорѣ уѣхалъ въ Москву — жениться и потомъ поселился на дачѣ въ Лѣсномъ. Я также нанялъ дачу въ первомъ Нарголовѣ и до самой осени почти каждый день посѣщалъ Бѣлинскаго. Я полюбилъ его искренно и глубоко; онъ благоволилъ ко мнѣ...

„Когда я познакомился съ нимъ, его мучили сомнѣнія. Эту фразу я часто слышалъ и самъ примѣнялъ ее не однажды, но дѣйствительно и вполнѣ онъ примѣнялся къ одному Бѣлинскому. Сомнѣнія его именно мучили его, лишали его сна, пищи, неотступно жгли и грызли его; онъ не позволялъ себѣ забыться и не зналъ усталости; онъ дено и ношно бился надъ разрѣшеніемъ вопросовъ, которые самъ задавалъ себѣ. Бывало, какъ только я приду къ нему, — онъ, исхудалый, больной (съ нимъ сдѣлалось тогда воспаление въ легкихъ и чуть не унесло его въ могилу), тотчасъ вставалъ съ дивана и едва слышнымъ голосомъ, безпрестанно кашляя, съ пульсомъ, бывшимъ сто разъ въ минуту, съ перовымъ румянцемъ на щекахъ, начнетъ прерванную наканунѣ бесѣду. Искренность его дѣйствовала на меня, его огонь сообщался и мнѣ. важность предмета меня увлекала; но, поговоривъ часа два-три, я ослабѣвалъ, легкомысліе молодости брало свое, мнѣ хотѣлось отдохнуть, я думалъ о прогулкѣ, объ обѣдѣ, сама жена Бѣлинскаго умоляла и мужа и меня хотя немножко погодить, хотя на время прервать эти пренія, напоминала ему предписаніе врача... но съ Бѣлинскимъ сладить было не легко. — „Мы не рѣшили еще вопроса о существованіи Бога. — сказалъ онъ мнѣ однажды съ горькимъ упрекомъ, — а вы хотите ѣсть!...“



„Сознаюсь, — продолжает Тургеневъ, — что, написавъ эти слова, я чуть не вычеркнулъ ихъ при мысли, что они могутъ возбудить улыбку на лицахъ пныхъ изъ моихъ читателей... Но не пришло бы въ голову смѣяться тому, кто самъ бы слышалъ, какъ Бѣлинскій произнесъ эти слова, и если при воспоминаніи объ этой небоязни смѣшного улыбка можетъ прійти на уста, то развѣ улыбка умиленія и удивленія.

..Лишь добившись удовлетворившаго его въ то время результата, Бѣлинскій успокоился и, отложивъ размышленія о тѣхъ капитальныхъ вопросахъ, возвратился къ ежедневнымъ трудамъ и занятіямъ. Со мною онъ говорилъ особенно охотно потому, что я недавно вернулся изъ Берлина, гдѣ въ теченіе двухъ семестровъ занимался гегелевскою философіей и былъ въ состояніи передать ему самые свѣжіе, послѣдніе выводы“.

Лѣто 1843 г. закрѣпило дружескія отношенія, конецъ которымъ былъ положенъ лишь смертью Бѣлинскаго. Несомнѣнно, что онъ имѣлъ на Тургенева большое нравственное вліяніе, все равно какъ и на другихъ членовъ своего кружка, — Некрасова напримѣръ. Напомню, что сказалъ однажды послѣдній: „заняться своимъ образованіемъ у меня не было времени, надо было думать о томъ, чтобы не умереть съ голоду. Я попалъ въ такой литературный кружокъ, въ которомъ скорѣе можно было отупѣть, чѣмъ развиться. Моя встрѣча съ Бѣлинскимъ была для меня спасеніемъ... Что бы ему пожить подольше!... Я бы былъ не тѣмъ человѣкомъ, какимъ теперь“... Спасать Тургенева было не отъ чего, но такіе люди, какъ Бѣлинскій, закрѣпляютъ правду въ сердцахъ всѣхъ, кто сходится съ ними. Любопытно, между прочимъ, что къ Тургеневу Бѣлинскій относился поотечески и зачастую журить его за барскія замашки, за юношескую хвастливость, подчасъ и за фразерство.

Разумѣется, на нагоняи, получаемые отъ Бѣлинскаго, никто никогда не обижался, хотя порою онъ пробиралъ довольно сердито. Разъ онъ жестоко набросился на Тургенева, когда узналъ, что тотъ въ „великосвѣтскихъ салончикахъ“ увѣряетъ „дамъ и кавалеровъ“, будто бы не беретъ литературнаго гонорара и помѣщаетъ свои произведенія даромъ. „Да какъ вы рѣшились сказать такую пошлость, вы — Тургеневъ!... Да развѣ это постыдно брать деньги за собствен-

ный трудъ? Или по вашимъ понятіямъ только тунеядецъ можетъ быть порядочнымъ человѣкомъ?“ — волновался Бѣлинскій, нагоняя на лицо умнаго русскаго барича краску стыда и раскаянія.

„Я, — продолжаетъ Тургеневъ, — часто ходилъ къ нему послѣ обѣда отводить душу. Онъ занималъ квартиру въ нижнемъ этажѣ, по Фонтанкѣ, недалеко отъ Аничковскаго моста, — невеселыя, довольно сырыя комнаты. Не могу не повторить: тяжелыя тогда стояли времена; нынѣшнимъ молодымъ людямъ не приходилось испытать ничего подобнаго. Пусть читатель самъ посудитъ: утромъ, быть можетъ, возвратили твою корректуру, всю исполосованную, обезображенную красными чернилами, словно окровавленную; можетъ-быть, даже тебѣ пришлось съѣздить къ цензору и, представивъ напрасныя унизительныя оправданія, объясненія, выслушать его безапелляціонный, часто насмѣшливый приговоръ... Бросишь вокругъ себя мысленный взоръ: взяточничество процвѣтаетъ, крѣпостное право стоитъ какъ скала, казарма на первомъ планѣ... Ну, вотъ и придешь на квартиру Бѣлинскаго, придетъ другой-третій пріятель, затѣется разговоръ, и легче станетъ. Общій колоритъ нашихъ бесѣдъ былъ философски-литературный, критически-эстетическій и, пожалуй, социальный, рѣдко историческій. Иногда выходило очень интересно, даже сильно; иногда нѣсколько поверхностно и даже легковѣсно.

„Какъ во всѣхъ людяхъ съ пылкой душой, во всѣхъ энтузіастахъ, въ Бѣлинскомъ была большая доля нетерпимости. Онъ не признавалъ, особенно сгоряча, ни одной частицы правды во мнѣніяхъ противника и отворачивался отъ нихъ съ тѣмъ же негодованіемъ, съ которымъ покидалъ собственные мнѣнія, когда находилъ ихъ ошибочными. Но его можно было „прошибить“, какъ я сказалъ ему однажды и чему онъ много смѣялся, — истина была для него слишкомъ дорога; онъ не могъ окончательно упорствовать. Въ собственныхъ промахахъ Бѣлинскій признавался безъ всякой задней мысли: мелкаго самолюбія въ немъ и слѣда не было. — „Ну, вралъ же я чушь!“ бывало говаривалъ онъ съ улыбкой — и такая эта въ немъ была хорошая черта!.. Ничего не было для него важнѣе и выше дѣла, за какое онъ стоялъ, мысль, которую онъ защищалъ и проводилъ: тутъ онъ на стѣну готовъ лѣзть. и



бѣда тому, кто ему попадался подъ руку! Тутъ и смѣлость являлась въ немъ — отвага отчаянная, на зло его физикѣ и нервамъ; тутъ онъ всѣмъ готовъ былъ жертвовать! При такой сильной раздражительности, — такая слабая, личная обидчивость... Нѣтъ! подобнаго ему человѣка я не встрѣчалъ ни прежде ни послѣ!...

Лѣтомъ 1847 г. Бѣлинскій попалъ въ первый и послѣдній разъ за границу. Тургеневъ встрѣтилъ его въ Штеттинѣ и прожилъ съ нимъ нѣсколько недѣль въ Зальцбрунненѣ, маленькомъ сплезскомъ городкѣ, славившемся своими водами, будто бы излѣчивающими отъ чахотки. Потомъ друзья въ послѣдній разъ увидѣлись въ Парижѣ, когда Бѣлинскому оставалось жить всего нѣсколько мѣсяцевъ, когда онъ уже усталъ и охладѣлъ ко всему.

Для Тургенева образъ Бѣлинскаго навсегда остался въ сердцѣ путеводной звѣздой. „И вотъ уже двадцать лѣтъ слишкомъ прошло со смерти Бѣлинскаго, — читаемъ мы въ литературныхъ воспоминаніяхъ, написанныхъ въ 1869 г., — и я вызвалъ его дорогую тѣнь. Не знаю, насколько мнѣ удалось передать читателямъ главные черты его образа, но я уже доволенъ тѣмъ, что онъ побылъ со мною въ моемъ воспоминаніи... „Человѣкъ онъ былъ!...“

*Соловьевъ.*

## Пребываніе Тургенева за границей съ 1847 г.

Въ 1845 году въ Петербургѣ Иванъ Сергѣевичъ познакомился съ знаменитой въ то время пѣвицей, французженкой Віардо-Гарсіа. До самой смерти онъ оставался въ самыхъ близкихъ дружескихъ отношеніяхъ съ нею и ея семействомъ. Онъ прикрѣпился, по его собственному выраженію, къ этимъ чужимъ для него людямъ, остался холостякомъ и прожилъ съ ними и для нихъ большую половину своей жизни.

Въ 1847 году Тургеневъ поѣхалъ за границу и оставался тамъ до 1850 года, до смерти матери. Въ послѣдніе годы ея жизни мать и сынъ были въ тяжелой ссорѣ. Варвара Петровна недовольна была сыномъ за то, что онъ не служитъ, за его отношенія къ Віардо и за то, что онъ не хочетъ жениться на какой-нибудь богатой невѣстѣ по вы-

бору матери, за то, наконецъ, что онъ сталъ писателемъ. Она находила это занятіемъ совсѣмъ недворянскимъ. Русскихъ книгъ она вообще не читала, точно такъ же не заглянула и въ „Записки охотника“. Да она и не нашла бы въ нихъ ничего пріятнаго для себя: она, вѣдь, считала свои права на владѣніе людьми и на издѣвательство надъ ними навѣки нерушимыми. Притомъ изъ-за крѣпостныхъ въ Спасскомъ и такъ очень часто случались споры и ссоры между матерью и сыномъ, который напрасно пытался убѣдить ее быть съ людьми помягче.

Властную, гордую госпожу Варвара Петровна разыгрывала и предъ дѣтьми. Старшій братъ Ивана Сергѣевича женился, противъ желанія матери, на ея бывшей воспитанницѣ. Варвара Петровна недовольна была этимъ бракомъ, слишкомъ невыгоднымъ по ея расчетамъ; она отказалась видѣть невестку и дѣтей и съ досады не выдавала сыновьямъ даже отцовской доли ихъ наслѣдства. Иванъ Сергѣевичъ перебивался еще кой-какъ литературнымъ трудомъ, но старшій братъ порою бѣдствовалъ. Какъ ни любила Варвара Петровна Ивана Сергѣевича, но разсорилась и съ нимъ, когда онъ вступился за брата. Предъ смертью гордая женщина, всю жизнь бывшая врагомъ и окружающимъ и самой себѣ, хотѣла примириться съ дѣтьми. Иванъ Сергѣевичъ поспѣшилъ изъ-за границы, но матери уже не засталъ въ живыхъ.

По пріѣздѣ въ родовое имѣніе, доставшееся Тургеневу пополамъ съ братомъ, онъ немедленно отпустилъ на волю всѣхъ своихъ дворовыхъ, перевелъ съ барицны на оброкъ всѣхъ крестьянъ, кто только пожелалъ этого, — чѣмъ могъ содѣйствовать впослѣдствіи успѣху общаго освобожденія. Въ 1861 году при выкупѣ онъ вездѣ уступилъ крестьянамъ пятую часть, а въ главномъ имѣніи ничего не взялъ за усадебную землю; это составило довольно крупную сумму. „Другой, — говорилъ потомъ Иванъ Сергѣевичъ, рассказывая про это, — можетъ-быть, на моемъ мѣстѣ сдѣлалъ бы больше и скорѣе, но я обѣщалъ сказать правду, и говорю, какова она есть. Хвастать ею нечего, но и безчестія она я полагаю, принести не можетъ“.

Въ началѣ 1852 года въ Москвѣ умеръ Гоголь. Его кончина глубоко огорчила Тургенева, и вотъ онъ написалъ небольшую статью, въ которой выражалъ общее чувство



печали при горестномъ извѣстїи, называлъ Гоголя великимъ писателемъ, славою Россїи... Но горькая правда сочиненїи Гоголя не всѣмъ была по праву. Въ Петербургѣ, гдѣ жилъ тогда Тургеневъ, не позволили напечатать этой статейки. Тогда Тургеневъ отослалъ ее въ Москву, и тамъ статейку напечатали въ газетѣ „Московскія Вѣдомости“, съ надлежащаго, конечно, разрѣшенія мѣстной цензуры. Люди, враждебно относившіеся къ Гоголю и къ Тургеневу за его „Записки охотника“, представили дѣло такъ, будто Тургеневъ совершилъ цѣлое преступленіе. Нежданно-негаданно Тургенева посадили на мѣсяць на „сѣзжую“. Этотъ срокъ ему пришлось бы просидѣть среди пьяныхъ, приводимыхъ въ чижовку для протрезвленія. Къ счастью, дочери частнаго пристава какъ-то узнали, что на ихъ сѣзжей сидитъ никто иной, какъ сочинитель „Записокъ охотника“. Барышни обрадовались случаю познакомиться съ интереснымъ писателемъ и уговорили отца помѣстить Тургенева на ихъ квартирѣ. Здѣсь Тургеневъ и прожилъ двѣ-три недѣли. На досугъ онъ написалъ рассказъ „Муму“.

Съ весны 1852 года Тургеневъ безвыѣздно жилъ въ Спасскомъ до конца 1854 года. „Пребываніе въ деревнѣ принесло мнѣ несомнѣнную пользу, — вспоминалъ онъ впоследствии; — оно сблизило меня съ такими сторонами русскаго быта, которыя, при обыкновенномъ ходѣ вещей, вѣроятно, ускользнули бы отъ моего вниманія“.

Въ 1855 году Тургеневъ опять уѣхалъ за границу, къ друзьямъ, съ которыми не видѣлся такъ долго. Съ этого времени онъ жилъ за границей больше, чѣмъ въ Россїи. На родину онъ возвращался обыкновенно лѣтомъ и проводилъ нѣкоторое время въ Спасскомъ. Но жизнь за границей сама по себѣ не отрывала его мыслей отъ родины: что онъ ни думалъ, что ни писалъ, гдѣ бы ни былъ, Россія всегда у него была въ мысляхъ на первомъ мѣстѣ. Въ концѣ 1856 г. онъ писалъ, напримѣръ, своимъ друзьямъ изъ Парижа: „Пребываніе во Франціи произвело на меня обычное свое дѣйствіе: все, что я вижу и слышу, какъ-то тѣснѣе и ближе прижимаетъ меня къ Россїи, все родное становится мнѣ вдвойнѣ дорого“.

Онъ внимательно слѣдилъ за всѣмъ ходомъ законодательныхъ работъ, которыми съ 1857 года готовилось осво-

божденіе крестьянъ отъ крѣпостной зависимости. Такіе люди, какъ самъ Тургеневъ и его немногіе друзья, тѣ изъ образованныхъ людей, кто понималъ и цѣнилъ хоть „Записки охотника“, — съ восторгомъ ждали конца вѣковой несправедливости. Зато, большинству помѣщиковъ очень не нравилось предстоящее уменьшеніе ихъ правъ. Иванъ Сергѣевичъ думалъ, что дѣлу освобожденія, какъ и всякому общественному дѣлу, могла бы помочь полная и широкая гласность. Зимѣ 1857 — 1858 годовъ онъ жилъ съ нѣсколькими друзьями въ Римѣ. Они много толковали о предстоящемъ преобразованіи, и Тургеневъ придумалъ съ ними издавать газету. Сторонники освобожденія крестьянъ доказывали бы въ ней всѣмъ и каждому, какъ необходимо уничтожить крѣпостное право, и такимъ образомъ помогли бы правительству въ его стремленіи къ общему благу.

„Не станемъ себя обманывать, — писалъ Иванъ Сергѣевичъ: — невѣжество — вотъ наша бѣда и наше горе, малая образованность нашего дворянскаго сословія будетъ едва ли не главнымъ препятствіемъ къ приведенію въ исполненіе предполагаемыхъ мѣръ“.

Тургеневъ справедливо жаловался на малую образованность тогдашняго русскаго дворянства. Для темнаго крестьянскаго люда онъ, конечно, считалъ образованіе столь же необходимымъ. Въ 1858 году Иванъ Сергѣевичъ составилъ уставъ „общества для распространенія грамотности и первоначальнаго образованія“. Членами этого общества могли бы быть, по мысли Тургенева, люди всѣхъ сословіи безъ исключенія, отъ крѣпостного до богатаго и знатнаго человека, и даже цѣлыя крестьянскія общины, если бы онѣ пожелали того. „Обучая грамотѣ тѣхъ самыхъ людей, которыхъ правительство освобождаетъ, мы продолжаемъ его дѣло, — говорилъ Тургеневъ: — мы также освобождаемъ ихъ отъ другого рабства — отъ рабства невѣжества“. Общество должно бы было заводить школы повсемѣстно въ Россіи, издавать хорошо составленныя книги для людей, обучающихся грамотѣ или только что обучившихся ей, и т. д. Однѣ книги служили бы для первоначальнаго обученія грамотѣ, другія — знакомили бы читателя изъ простаго народа съ законами, съ правами и обязанностями сословіи, съ науками, съ усовершенствованными земледѣліемъ, скотоводствомъ и т. д. Предполагалось



печатать книжки по исторіи, описанія жизни замѣчательныхъ людей, путешествія въ чужія страны. Всякія шутки и зубо-скальство Тургеневъ считалъ лишними. „Съ народомъ должно обращаться искренно, честно и съ полнымъ уваженіемъ“, твердилъ онъ.

Ни газета ни общество для распространенія грамотности, однако, не осуществились въ то время. Только позже появились подобныя общества, стали устраиваться чтенія для народа и т. п.

Въ началѣ 1861 года Тургеневъ жилъ въ Парижѣ. 5-го марта въ Петербургѣ былъ объявленъ Высочайшій манифестъ 19-го февраля объ освобожденіи, и одинъ изъ близкихъ друзей Тургенева далъ ему знать объ этомъ событіи по телеграфу. Иванъ Сергѣевичъ поспѣшилъ подѣлиться этимъ извѣстіемъ со всѣми своими парижскими знакомыми изъ русскихъ. На другой же день, 6-го марта, онъ радостно писалъ другу: „Спасибо за депешу, отъ которой у насъ всѣхъ головы кругомъ пошли... Ради Бога, пишите мнѣ, что и какъ у васъ это происходитъ... Я знаю, вы молодой теперь <sup>1)</sup>, и вамъ не до того; но время вѣдь необыкновенное. Передавайте всѣ ваши впечатлѣнія — все это теперь вдвойнѣ дорого... Обнимаю васъ отъ души и поздравляю и съ вашею личной и съ нашей общей радостью. Не могу ни о чемъ другомъ писать. Я весь превратился въ ожиданіе“. — Въ ближайшее воскресенье русскіе парижане отслужили благодарственный молебенъ въ церкви русскаго посольства.

„Священникъ Васильевъ, — рассказывалъ Иванъ Сергѣевичъ объ этомъ молебнѣ въ письмѣ другу, — произнесъ намъ очень умную и трогательную рѣчь, отъ которой мы всплакнули... Предо мною стоялъ Н. И. Тургеневъ и тоже утиралъ слезы; для него это было въ родѣ: „Нынѣ отпускаеши раба Твоего“. „Дожили мы до этого великаго дня“ — было на умѣ и въ устахъ каждого“.

Иванъ Сергѣевичъ, такъ радостно встрѣтившій великое преобразование 19-го февраля, былъ искренно привязанъ ко многимъ изъ дѣятелей этого преобразования. Особенно онъ любилъ и уважалъ Николая Алексѣевича Милютина, ко-

<sup>1)</sup> Пріятель Тургенева незадолго до того женился.

торый горячо принималъ къ сердцу нужды крестьянъ и защищалъ ихъ въ тѣхъ редакціонныхъ комиссіяхъ, что составляли новое крестьянское положеніе. „Пока будутъ существовать на Руси свободные люди, — говорилъ Тургеневъ, — въ числѣ немногихъ именъ, составляющихъ гордость Россіи, имя Николая Милютина будетъ произноситься съ особеннымъ чувствомъ благодарности и почета“. 18 февраля 1869 года Тургеневъ писалъ ему: „Именно сегодняшній день — въ годовщину конца стараго и начала новаго порядка вещей — я много думалъ о васъ“. Такъ, писатель и государственный дѣятель были близки другъ другу духомъ, любовью къ народу и стремленіемъ работать для него.

*Витуринскій.*

### Тургеневъ на юбилей Пушкина.

Приближались пушкинскіе дни. Открытіе памятника Пушкину являлось для Тургенева *личнымъ* праздникомъ въ полномъ смыслѣ слова. Сердечныя связи соединяли великаго художника съ памятью обожаемаго учителя, и среди всѣхъ современныхъ писателей, среди всѣхъ искреннѣйшихъ цѣнителей пушкинскаго таланта, Тургеневу принадлежало первое мѣсто у памятника, какъ преданнѣйшему и достойнѣйшему ученику поэта.

Тургенева особенно глубоко занималъ одинъ вопросъ. Онъ хотѣлъ, „чтобы вся литература единодушно сгруппировалась на этомъ пушкинскомъ праздникѣ“.

Пушкинскіе дни лично для Ивана Сергѣевича должны были оставить воспоминаніе о непрерывныхъ оваціяхъ. Всюду, гдѣ показывался любимый писатель, публика встрѣчала его восторженными привѣтствіями. Всѣ другіе участники празднества, за исключеніемъ Достоевскаго, и то лишь на одинъ моментъ, заняли второй планъ. Не только рѣчь самого Тургенева сопровождалась единодушными рукоплесканіями, даже въ рѣчахъ другихъ публика искала предлога выразить Тургеневу свое благодарное чувство. Стоило Достоевскому, въ своей рѣчи, только намекнуть на героиню Дворянскаго гнѣзда, — и зала огласилась привѣтствіями. Ораторамъ необходимо было прерывать рѣчи, когда въ залу входилъ Тургеневъ: публика



ждала его прихода, встрѣчала и провожала аплодисментами, несмотря ни на чье краснорѣчіе. Клики и киданіе шапокъ происходили даже на улицахъ, неизмѣнно скромному писателю приходилось спасаться отъ овацій, уходить изъ залъ собраній другими выходами.

Никогда ничего подобнаго не видѣла русская публика. Тургеневъ вызывалъ шумные восторги даже у такихъ соотечественниковъ, которые чувствовали вообще крайне незначительный интересъ къ литературнымъ событіямъ, никогда въ жизни не посѣщали собраній въ родѣ засѣданій Общества любителей словесности. Такіе слушатели, затаивъ дыханіе, слушали рѣчь Тургенева о Пушкинѣ... Очевидцы единодушно приходятъ къ убѣжденію, что только искренно чтимый и дѣйствительно вліятельный общественный дѣятель могъ удостоиться такого пріема.

Замѣчательно, Тургеневъ невольно явился на праздникъ представителемъ русской дѣйствующей литературы. Первостепенные иностранные писатели на его имя присылали свои поздравленія русскому обществу съ литературнымъ праздникомъ. Такъ были получены письма Ауэрбаха, Теннисона, Виктора Гюго...

Высшимъ моментомъ тургеневского тріумфа была, конечно, его рѣчь, произнесенная въ засѣданіи Общества любителей словесности седьмого іюня.

Тургеневъ говорилъ: „Самая сущность, всѣ свойства его поэзіи совпадаютъ со свойствами, сущностью нашего народа. Не говоря уже о мужественной прелести, силѣ и ясности его языка — эта прямодушная правда, отсутствіе лжи и фразы, простота, эта откровенность и честность ощущеній — всѣ эти хорошія черты хорошихъ русскихъ людей поражаютъ въ твореніяхъ Пушкина не однихъ насъ, его соотечественниковъ, но и тѣхъ изъ иностранцевъ, которымъ онъ сталъ доступенъ“.

Въ заключеніе авторъ рѣчи высказывалъ скромныя, но на самомъ дѣлѣ великія надежды, на завоеваніе цѣлаго міра русскимъ „всечеловѣкомъ“, а на распространеніе „освободительныхъ“ и „возвышающихъ“ идеаловъ пушкинской поэзіи среди русскаго народа, на то будущее, когда сыновья крестьянъ сознательно станутъ повторять: „это памятникъ учителю“.

*Ивановъ.*

## Послѣдніе годы жизни Тургенева.

Изъ Москвы Тургеневъ уѣхалъ за границу, лѣто и осень провелъ въ Буживалѣ, зиму въ Парижѣ, а въ іюнѣ былъ въ Спасскомъ. Послѣднее лѣто Иванъ Сергѣевичъ проводилъ въ своей любимой деревнѣ: больше ему не суждено было вернуться въ Россію.

Сначала время шло ровно и весело. Тургеневъ писалъ „Пѣснь торжествующей любви“, обдумывалъ планы новыхъ произведеній, гулялъ съ дѣтьми, рассказывалъ имъ сказки, по временамъ въ разговорахъ и общихъ разсужденіяхъ всплывали давнишнія безотрадные мысли, но родина попрежнему вѣяла свѣжестью и энергіей на истомленную душу писателя. Только извѣстія о приключеніи съ г-жой Віардо, укушенной какой-то злокачественной мухой, и о холерѣ въ Брянскѣ разстроили было Тургенева. Но безпокойства прошли, и до конца лѣта жизнь текла спокойно. Съ августа погода стала мѣняться къ худшему, приходилось думать о путешествіи въ Парижъ, и Тургеневъ, будто предчувствуя недалекую смерть, на этотъ разъ особенно тяжело разставался съ родиной, все чаще принимался мечтать объ окончательномъ переселеніи въ Россію. не сообщалъ при этомъ никакихъ подробностей о своей жизни въ семьѣ Віардо, но не щадилъ французовъ вообще въ своихъ отзывахъ. Въ концѣ августа Тургеневъ уѣхалъ за границу, обѣщая вернуться въ Россію даже раньше лѣта.

Осенью, въ октябрѣ, Тургеневъ посѣтилъ Англію и участвовалъ въ обѣдѣ, устроенномъ въ честь его англійскими писателями и художниками, въ ноябрѣ окончилъ рассказъ „Отчаянный“. собирался приняться за „Клару Миличъ“, а нѣмецкія и англійскія газеты извѣщали даже о большомъ романѣ. Романъ былъ задуманъ и, можетъ-быть, уже готовъ въ умѣ автора, но крайней мѣрѣ въ одномъ письмѣ Тургенева встрѣчается крайне рѣдкое у него радостное чувство на счетъ будущаго:

„Неужели изъ стараго, засохшаго дерева пойдутъ новые листья и даже вѣтки? Посмотримъ“.

Съ января слѣдующаго 1882 года начались испытанія. Въ первыхъ числахъ апрѣля Тургеневъ извѣщаетъ о болѣзни — грудной жабѣ, и съ этого времени подобныя извѣ-



стія уже не прекращаются: жизнь писателя превращается въ непрерывную страшную агонію, его письма—настоящая исторія мученичества и отнюдь не по его жалобамъ, а по простымъ медицинскимъ фактамъ. Тургеневъ менѣе всего былъ склоненъ занимать другихъ своей особой. Въ самые тяжелые періоды болѣзни онъ проситъ друзей не говорить съ нимъ объ его здоровьи и въ его письмахъ „обходить сей предметъ молчаніемъ“. Его общіе интересы нисколько не падаютъ. Онъ, по обыкновенію, слѣдитъ за литературой, привѣтствуетъ новые таланты, глубоко волнуется по поводу общественныхъ вопросовъ своей родины, принимаетъ самое горячее участіе въ судьбѣ даже невѣдомыхъ ему людей. Въ этомъ отношеніи любопытенъ фактъ, взволновавшій Тургенева лѣтомъ, въ іюлѣ.

Здоровье его было настолько безнадежно, что онъ заявлялъ друзьямъ о прекращеніи своей *личной* жизни, его существованіе приняло „желтенькій цвѣтъ“, писать онъ не въ сплахъ, послѣ пятой строчки начинаетъ чувствовать боль и колики въ плечѣ, безъ морфія глазъ закрыть не можетъ... И вотъ въ это время его извѣщаютъ о желѣзнодорожной катастрофѣ недалеко отъ Спасскаго. Тургеневъ сосредоточиваетъ все свое вниманіе на несчастіи. „Ужасныя слова“, пишетъ онъ, „стоны слышались подъ землей до 10 часовъ утра — такъ и засѣли гвоздемъ въ голову. Неужели же не было сейчасъ приступлено къ раскопкѣ?“ Въ слѣдующемъ письмѣ: „Какъ меня измучила Батыевская катастрофа — вы представить не можете. Миѣ постоянно мерещатся эти несчастные, задохнувшіеся въ тинѣ, и хотя отрытіе ихъ теперь уже, конечно, ничему не поможетъ, но я весь горю негодованіемъ при мысли, что въ теченіе нѣсколькихъ дней ничего не было сдѣлано“. Онъ упрашиваетъ друзей, живущихъ въ его деревнѣ, сдѣлать для родственниковъ погибшихъ путешественниковъ „все, что бѣ онъ сдѣлалъ, если бѣ находился на мѣстѣ“.

Съ особой силой Тургеневъ говоритъ о Спасскомъ. Оно стало для него теперь еще дороже. Онъ посылаетъ поклонны старымъ слугамъ, любимымъ мѣстамъ, памятнымъ съ дѣтства, дому, саду, молодому дубу. Слезы звучатъ въ его словахъ, когда онъ отчаивается увидѣть родину, и бывшее доброе чувство къ крестьянамъ вновь вспыхиваетъ въ его письмѣ къ нимъ.

У высшихъ натуръ физическія страданія постоянно усиливаются нравственными муками и волненіями. Тургеневъ — одна изъ такихъ натуръ, до конца не могъ успокоиться и отдаться исключительно заботамъ о своемъ положеніи. Даже совершенно естественный эгоизмъ безнадежно больного, умирающаго человѣка не находилъ мѣста въ нравственномъ мірѣ художника. Онъ привѣтствуетъ чужую живучесть и силу, напутствуетъ Григоровича „съ Богомъ! въ дальнюю дорогу“, когда тотъ задумываетъ новый романъ, жалѣетъ Гончарова именно потому, что самъ страдаетъ и, слѣдовательно, „ближе принимаетъ къ сердцу“ чужія страданія, съ смертнаго одра посылаетъ безпримѣрное въ литературной исторіи письмо къ гр. Толстому... Такъ могъ страдать и умирать только истинный подвижникъ мысли, обладавшій великой благородной душой и истинно-человѣческимъ сердцемъ... Для личной жизни въ это время Тургеневъ находитъ только одно вполне подходящее выраженіе. Ровно за годъ до смерти онъ сравниваетъ себя съ устрицей, приросшей къ скалѣ, потомъ онъ постоянно возвращается къ этому сравненію. Въ срединѣ октября 1882 года онъ пишетъ: „Оказывается, что можно отлично существовать, не будучи въ состояніи ни стоять, ни ходить, ни ѣздить. Живутъ же такъ устрицы! А у меня есть много развлеченій, недоступныхъ устрицамъ“. Въ концѣ того же мѣсяца: „Всѣмъ молодецъ — только ни стоять ни ходить! И представь, я съ этимъ примирился. Сажу или лежу цѣлыхъ 24 часа сряду и — баста! Моллюскъ, такъ моллюскъ. Живутъ же они и даже многіе годы, и никакого желанія и перемѣненія не ощущаютъ“.

Въ такомъ положеніи не оцѣнено общество близкихъ людей. Было ли оно у Тургенева? Нѣкоторымъ друзьямъ казалось, — нѣтъ, и они даже предлагали пріѣхать къ нему. До нихъ доходили слухи о заброшенномъ, одинокомъ положеніи Ивана Сергѣевича, о неудобствахъ комнаты, гдѣ ему приходилось лежать, о постоянномъ грохотѣ музыки, о равнодушіи окружающихъ къ его страданіямъ. Эти рассказы шли отъ очевидцевъ, и Тургеневу стоило не малыхъ усилій опровергать ихъ. Насчетъ этого онъ неустоимъ. Онъ не въ силахъ допустить, чтобы люди, имъ облагодѣтельствованные, казались другимъ — недостойнымъ благодѣяній.

Это обычная психологія всѣхъ добрыхъ и сердечныхъ



людей. Безупречность ихъ избранниковъ является для нихъ вопросомъ личнаго самолюбія. И Тургеневъ настойчиво отклоняетъ всякое вмѣшательство въ его парижскую жизнь, описываетъ свое помѣщеніе, перечисляетъ комнаты; по поводу своей низкой и тѣсной спальни сообщаетъ, что парижскія спальни вообще таковы, а насчетъ музыки совершенно успокаиваетъ друзей. Вообще, по его словамъ, онъ „какъ сыръ въ маслѣ“, а что касается главнаго попрека объ одиночествѣ, то онъ остается одинъ только тогда, когда самъ этого желаетъ.

Намъ трудно разобратъся въ утвержденіяхъ и отрицаніяхъ, какъ бы глубоко ни интересовалъ насъ предметъ. Будущее, несомнѣнно, броситъ истинный свѣтъ и на эту полосу тургеневской жизни. Мы можемъ съ извѣстной достовѣрностью рѣшить послѣдній только что указанный вопросъ.

Альфонсъ Додэ, искренне вѣровавшій въ счастье Тургенева въ нѣдрахъ французской семьи, посѣщалъ его во время болѣзни и рисуетъ неизмѣнно одну и ту же картину.

Когда бы онъ ни приходилъ къ своему русскому другу, внизу въ роскошныхъ залахъ неумолкаемо звучала музыка и пѣніе, а въ третьемъ этажѣ, въ крохотномъ полутемномъ кабинетѣ лежала на софѣ молчаливая, согбенная фигура больного старика.

По его письмамъ можно подробно прослѣдить его жизнь осенью и зимой 1884 года. Лѣто семья Віардо жила съ нимъ въ Буживалѣ. Въ сентябрѣ предсталъ вопросъ о перенесеніи, и Тургеневъ соглашался остаться на дачѣ одинъ, забывая ради этого свой страхъ одиночества. Теперь, когда всѣ Віардо должны уѣхать въ Парижъ, ему „одиночество по вкусу“, „и что бы я сталъ дѣлать въ Парижѣ, при невозможности движенія? Здѣсь, по крайней мѣрѣ не тянетъ никуда“. Сначала Віардо испугались-было тифа, свирѣпствовавшаго въ Парижѣ, но скоро все-таки уѣхали, и на жалобы другихъ Тургеневъ пишетъ: „Насчетъ одиночества я съ вами согласенъ. Вотъ я теперь совершенно одинокъ „какъ перстъ“ — и ничего!“ Это заявленіе, очевидно, исходило изъ такого же чувства, какъ и довольство жизнью устрицъ и моллюсковъ.

Но, мы видѣли, больной говорилъ о радостяхъ, недоступныхъ устрицамъ. Онъ разумѣлъ печальныя радости, ихъ

только съ горечью въ сердцѣ можно было называть развлеченіями. О нихъ поэтъ оставилъ два прелестнѣйшихъ стихотворенія. Темы стихотвореній тождественны, но предметы ихъ совершенно различны. II въ томъ и въ другомъ рѣчь идетъ о грѣзахъ. Одно написано зимой, въ февралѣ 1878 г., другое — весной, въ маѣ того же года. Одно — „Старуха“, исторія о томъ, какъ поэтъ встрѣтилъ въ полѣ маленькую сгорбленную старушку, и какъ она пошла по слѣдамъ его и какъ онъ не могъ уйти отъ нея, какъ отъ своей судьбы... Другое стихотвореніе называется „Посѣщеніе“. Оно рассказываетъ о томъ, что случилось „раннимъ утромъ перваго мая“. А случилось то, что происходило съ поэтомъ всю жизнь въ минуты вдохновеннаго творчества. Въ раскрытое окно влетѣла крылатая маленькая женщина, одѣтая въ тѣсное, длинное, книзу волнистое платье, съ вѣнкомъ изъ ландышей на разбросанныхъ кудряхъ, съ павлиньими перьями надъ красивымъ выпуклымъ лобкомъ, съ цвѣтнымъ „царскимъ жезломъ“ въ рукахъ, со смѣхомъ въ огромныхъ черныхъ, свѣтлыхъ глазахъ. Поэтъ узналъ гостью: это была богиня фантазіи!...

Міръ видѣній, живой невольной игры воображенія, былъ другимъ царствомъ поэтического духа Тургенева, когда дѣйствительность налегала на него невыносимымъ бременемъ физическихъ и нравственныхъ испытаний. II Тургеневъ покорно отдавался во власть богини фантазіи, до самаго конца прилетавшей къ нему и приносявшей вереницу образовъ и впечатлѣній, никому еще невѣдомыхъ. Очевидецъ, посѣщавшій Тургенева незадолго до смерти, слышалъ отъ него множество чудныхъ фантастическихъ сказокъ, навѣянныхъ грѣзами во время болѣзни, и эти сказки напоминали слушателю лучшія „стихотворенія въ прозѣ“. Муза, слѣдовательно, оставалась неизмѣнно вѣрной подругой своего любимца до самаго конца. Это была муза страданій, безотчетныхъ видѣній, умирающему могли чаще грезиться образы, похожіе скорѣе на *старуху* чѣмъ на *богиню фантазіи*, но и надъ самыми мрачными видѣніями носилась эта богиня въ томъ же вѣнкѣ изъ ландышей и съ тѣмъ же жезломъ изъ стеного цвѣтка и обвѣвала все той же поэтической красотой и оригинальной прелестью созданія смертельно страждущей, но высшей природы...



Мы не станемъ подробно пересказывать заключительный актъ драмы: онъ для всѣхъ смертныхъ по существу одинаковъ. Мы только напомнимъ одну изъ сценъ этого акта, рассказанную очевидцемъ: такихъ сценъ бываетъ немного не только наканунѣ конца, но и въ самый расцвѣтъ счастливѣйшихъ человѣческихъ существованій.

За нѣсколько дней до смерти Ивана Сергѣевича навѣстили въ Буживаль нѣкоторые изъ его соотечественниковъ, проживавшихъ въ то время въ Парижѣ. Умирающій принялъ гостей съ обычной привѣтливостью, сердечно бесѣдовалъ съ ними и, наконецъ, обратился къ нимъ съ такими словами: „Въ послѣдній разъ прощайте!...“

Это были страшныя слова. А между тѣмъ блѣдное, изможденное многолѣтними недугами лицо писателя слишкомъ краснорѣчиво свидѣтельствовало, что прощаніе происходитъ дѣйствительно въ послѣдній разъ... Одинъ изъ присутствовавшихъ наклонился — поцѣловать руку любимаго наставника... Иванъ Сергѣевичъ быстро отдернулъ руку и произнесъ: „Живите и любите людей, какъ я ихъ всегда любилъ“. Благороднѣйшій завѣтъ, какой только писатель можетъ оставить своимъ соотечественникамъ. Двадцать второго августа, въ понедѣльникъ, въ два часа пополудни, Тургенева не стало. Г-жа Віардо такъ извѣщала о событіи Пича:

„За два дня до своей смерти онъ совершенно утратилъ всякое сознаніе. Онъ уже не страдалъ болѣе: жизнь его медленно угасала, и послѣ двухъ всхлипываній онъ скончался... Мы всѣ были при немъ. Онъ опять сталъ такъ же красивъ, какъ былъ нѣкогда, въ царственномъ покоѣ смерти... Въ первый день послѣ его смерти замѣчена была еще глубокая морщина между бровями, образовавшаяся подъ вліяніемъ судорожной боли. Это придавало ему строгій и энергичный видъ. На второй день на его лицѣ появилось прежнее доброе, пріятное выраженіе: были моменты, когда можно было ожидать, что онъ улыбнется. О! Боже, какое ужасное горе!...“

Мы не знаемъ, насколько глубоко и искренно было чувство г-жи Віардо, но то же самое восклицаніе въ самыхъ разнообразныхъ рѣчахъ, статьяхъ, стихотвореніяхъ пронеслось по всему просвѣщенному міру и съ особенной болью отозвалось въ осиротѣвшемъ отечествѣ гениальнаго художника. Парижане были изумлены громадной толпой русскихъ,

собравшихся проводить гробъ Тургенева въ Россію. Знаменитѣйшіе представители французской литературы и науки напутствовали русскаго писателя восторженными рѣчами. Ренаиъ говорилъ надъ его гробомъ: „Онъ поистинѣ обладалъ словомъ вѣчной жизни, словомъ мира, справедливости, любви и свободы“. Абу выразилъ идею памятника Тургеневу: „Кусокъ разбитой цѣпи на бѣлой мраморной плитѣ всего лучше шелъ бы къ вашей славѣ и удовлетворилъ бы, я увѣренъ въ томъ, ваше скромное самолюбіе“.

На родинѣ покойнаго ждалъ неслыханный триумфъ, если только это выраженіе уместно въ виду гроба. Но иначе нельзя назвать, единодушный, страстный и вмѣстѣ съ тѣмъ торжественный откликъ общества, науки, литературы, искусства, молодежи и стариковъ — различныхъ націй и сословій — на печальное событіе. Гробъ сопровождали до двухъ сотъ восьмидесяти депутацій, погребальная колесница утопала въ вѣнкахъ, начальныя школы, гимназій, лицей, академія наукъ и университеты отдавали послѣднія почести великому борцу за просвѣщеніе, крестьяне, женскіе курсы, представители далекихъ провинціальныхъ захолустій несли дань благоговѣнія мужественному защитнику народной свободы, общественной равноправности и культурной гражданственности; періодическія изданія, консерваторіи, театры сошлись на поклонъ къ гениальному подвижнику благороднаго русскаго слова и художественнаго творчества; французы, нѣмцы, поляки, болгары привѣтствовали прахъ бессмертнаго вождя своего народа по пути національной терпимости и всемірной цивилизаціи...

И самое отдаленное будущее не отниметъ у Тургенева права на эти привѣтствія, почести и вѣнки. Чѣмъ шире будетъ развиваться самосознаніе русскаго народа, чѣмъ глубже будутъ проникать въ среду русскаго общества идеи умственнаго свѣта и нравственнаго совершенствованія, чѣмъ прочнѣе русскій человѣкъ усвоитъ идеалы гражданина и человѣка, — тѣмъ выше поднимется слава Тургенева, тѣмъ тщательнѣе и благоговѣйнѣе станутъ изучать его жизнь, личность и творчество. Это будетъ только законная дань духовныхъ дѣтей своему отцу, и она, конечно, явится неизмѣримо достойнѣе его генія и подвига, чѣмъ нашъ скромный и неполный трудъ.

*Ивановъ.*



## Среда и природа въ „Запискахъ охотника“.

Середина 40-хъ годовъ нашего столѣтія была важнымъ моментомъ въ развитіи русской литературы: выступилъ рядъ новыхъ писателей съ блестящими дарованіями, явились новыя направленія творчества. Одно изъ этихъ направленій обратилось къ народу, занялось изображеніемъ деревенскаго быта. Честь и слава перваго начала въ этомъ прекрасномъ дѣлѣ принадлежитъ уважаемому современному писателю Д. В. Григоровичу. Въ 1846 году появилась въ свѣтъ „Деревня“. Это не художественное созданіе въ строгомъ смыслѣ слова, но оно важно тѣмъ, что признало крестьянскую жизнь достойной сочувственнаго вниманія.

Послѣ появленія „Деревни“ Григоровича въ 1847 году русское общество прочитало первый Тургеневскій очеркъ изъ народнаго быта — „Хорь и Калинычъ“.

„Записки охотника“ замѣчательны во многихъ отношеніяхъ, и прежде всего тѣмъ, что русское общество узнало по нимъ душу русскаго крестьянина, узнало, какъ много прекраснаго, свѣтлаго и чистаго въ простонародной жизни. Тургеневъ нарисовалъ намъ цѣлый рядъ личностей, вызывающихъ наше полное сочувствіе, и нарисовалъ рукою мастера, вполне живо и художественно.

Какъ разнообразна жизнь, такъ разнообразны и личности тургеневского деревенскаго міра. Такъ, „Хорь и Калинычъ“ прямо противоположны другъ другу, хотя ихъ и соединяетъ сильное взаимное расположеніе. Первый, по опредѣленію поэта, былъ человѣкъ положительный, практическій, административная голова, раціоналистъ; Калинычъ, напротивъ, принадлежалъ къ числу идеалистовъ, романтиковъ, людей восторженныхъ и мечтательныхъ. Хорь понималъ дѣйствительность, т.-е. обстроился, накопилъ деньжонку, ладилъ съ бариномъ и съ прочими властями; Калинычъ ходилъ въ лантяхъ и перебивался кое-какъ... Хорь насквозь видѣлъ г-на Полутыкина (его помѣщика); Калинычъ благоговѣлъ передъ своимъ господиномъ“.

Такъ говоритъ поэтъ. Продолжимъ его сравненіе. Хорь — человѣкъ ума, здраваго смысла, онъ порой даже скептикъ,

проникновенно смотрящий на жизнь. Калинычъ — человекъ сердца, чувства, вѣры. Хорь разсуждаетъ толково и здраво и прекрасно устроилъ и свое хозяйство (у него въ домѣ довольство и порядокъ, чистота), и свою семью. Калинычъ — мечтатель и почти безпріютный странникъ; но во всемъ и всюду проявляется нѣжность его сердца, — такъ, авторъ былъ свидѣтелемъ, какъ „Калинычъ вошелъ въ избу съ пучкомъ полевой земляники въ рукахъ, которую онъ нарвалъ для своего друга, Хоря“. Противоположность этихъ людей особенно выразилась въ ихъ бесѣдѣ съ поэтомъ о заграничной жизни; чужія земли заняли обоихъ, въ обоихъ возбудили любопытство; „но Калиныча (говоритъ авторъ) болѣе трогали описанія природы, горъ, водонадоевъ, необыкновенныхъ зданій, большихъ городовъ. Хоря занимали вопросы административные и государственные. Онъ перебиралъ все по порядку: „Что, у нихъ тамъ это есть такъ же, какъ у насъ, аль иначе?... Ну, говори, батюшка, какъ же?...“ „А! ахъ, Господи, твоя воля!“ восклицалъ Калинычъ во время... разсказа. Хорь молчалъ, хмурилъ брови и лишь изрѣдка замѣчалъ, что „дескать это у насъ не шло бы, а вотъ это хорошо, это — порядокъ“.

Бесѣда съ Хоремъ привела поэта (по его словамъ) къ убѣжденію, „что Петръ Великій былъ по преимуществу русскій человекъ, русскій именно въ своихъ преобразованіяхъ. Русскій человекъ такъ увѣренъ въ своей силѣ и крѣпости, что не прочь и поломать себя: онъ мало занимается своимъ прошедшимъ и смѣло глядитъ впередъ. Что хорошо — то ему и нравится, что разумно — того ему и подавай, а откуда оно идетъ — ему все равно. Его здравый смыслъ охотно подтрунитъ надъ сухопарнымъ нѣмецкимъ разсудкомъ; но нѣмцы, по словамъ Хоря, любопытный народецъ, и поучиться у нихъ онъ готовъ“.

Замѣчательно, что Хоря и Калиныча сблизила не одна противоположность характеровъ; мы видимъ много общаго въ воззрѣніяхъ и симпатіяхъ этихъ, повидимому, совершенно несходныхъ людей: поэтическое свидѣтельство, что въ русскомъ простомъ народѣ нѣтъ крайняго раздвоенія жизни, сохраняется ея живое единство даже въ рѣзкихъ различіяхъ типовъ. Калинычъ, совершенно согласно съ его характеромъ, „заговаривалъ кровь, испугъ, бѣшенство, выгонялъ



червей; пчелы ему дались, рука у него была легкая“. Хорь, при всемъ своемъ скептицизмѣ, признавалъ эти способности своего друга. „Хорь при миѣ попросилъ его (т.-е. Калиныча, рассказываетъ поэтъ) ввести въ конюшню новокупленную лошадь; Калинычъ съ добросовѣстною важною исполнилъ просьбу стараго скептика“.

Еще одно сближало ихъ — общая любовь къ музыкѣ: „Калинычъ пѣлъ довольно пріятно и поигрывалъ на бала-лайкѣ. Хорь слушалъ, слушалъ его, загибалъ вдругъ голову на бокъ и начиналъ подтягивать жалобнымъ голосомъ. Особенно любилъ онъ пѣсню: „Доля ты моя, доля!“ Одея не упускалъ случая подтрунить надъ отцомъ. „Чего, старикъ, разжалобился?“ Но Хорь подпиралъ щеку рукой и продолжалъ жаловаться на свою долю“.

Хоря напоминаетъ нѣсколько герой другого разсказа — однодворецъ Овсянниковъ. Это тоже человѣкъ здраваго смысла, ума. Поэтъ говоритъ про него, что онъ „своею важною и неподвижною, смышленостю и лѣнью, своимъ прямодушіемъ и упорствомъ напоминаетъ... русскихъ бояръ допетровскихъ временъ... Ферязь бы къ нему пристала. Это былъ одинъ изъ послѣднихъ людей стараго вѣка“.

Но, несмотря на это, несмотря и на свою старость, Овсянниковъ не стоитъ за старое время; онъ признаетъ, что прежде „спокойнѣе жили; довольства больше было“, однако прибавляетъ: „а все-таки теперь лучше, а вашимъ дѣткамъ еще лучше будетъ, Богъ дастъ“. „Душа у него была... свободная“, говоритъ авторъ. Замѣчательно, что онъ былъ друженъ съ иностранцемъ Леженемъ (оставшимся въ Россіи солдатомъ наполеоновской арміи). Спокойствіе, самообладаніе (не покинувшее его даже тогда, когда онъ свалился съ понесшимъ его конемъ въ оврагъ), доброта — составляютъ его отличительныя свойства: онъ почитаетъ грѣхомъ продавать хлѣбъ, и въ голодный годъ роздалъ его даромъ нуждающимся; онъ покровительствуетъ и помогаетъ своему племяннику, который занимается писаніемъ просьбъ для бѣдныхъ людей и, по мѣрѣ своихъ знаній, ходатайствуетъ за нихъ въ судахъ и защищаетъ ихъ отъ богатыхъ и властныхъ, хотя практическій смыслъ и заставляетъ его предостерегать этого племянника: „не сдобровать ей, твоей головѣ... человѣкъ ты сумасшедшій вовсе“.

Нѣсколько подходитъ къ типу Калныча, хотя гораздо замѣчательнѣе его, — „Касьянъ съ Красивой Мечи“, герой очерка того же имени. Касьянъ — юродивецъ, человѣкъ слабый и хилый отъ рожденія, „неразумный съ малства“ (какъ онъ самъ опредѣлилъ себя), но съ поэтической душой, съ нѣжнымъ любящимъ сердцемъ. Красота природы, древнихъ городовъ съ ихъ Божьими храмами, поэтическія повѣрья старыхъ временъ, надежда встрѣтить правду между людьми — сдѣлали Касьяна непосѣдомъ, любителемъ скитаній.

„Да и что! много ли дома-то высидишь? (разсуждаетъ онъ). А вотъ какъ пойдешь, какъ пойдешь... и полегчить, право. И солнышко на тебя свѣтитъ, и Богу-то ты видишь, и поется-то ладнѣе. Тутъ, смотришь, — трава какая растетъ; ну, замѣтишь — сорвешь. Вода тутъ бѣжитъ, напр., ключевая, родникъ: святая вода; ну, напьешься — замѣтишь тоже. Птицы поютъ небесныя... И не одинъ я грѣшный... много другихъ хрестьянъ въ лаптяхъ ходятъ, по міру бродятъ, правды ищутъ... да! А то что дома-то, а? Справедливости въ человѣкѣ нѣтъ, — вотъ оно что...“

Касьянъ считаетъ грѣхомъ охоту, убіеніе Божіей твари.

„— Баринъ, а баринъ!... Ну, для чего ты птишку убилъ? — говорилъ онъ охотнику.

„— Какъ для чего?... Коростель — это дичь: его ѣсть можно.

„— Не для того ты убилъ его, баринъ: станешь ты его ѣсть! Ты его для потѣхи своей убилъ.

„— Да, вѣдь, ты самъ, небось, гусей или курицъ, напр., ѣшь?

„— Та птица Богомъ опредѣленная для человѣка, а коростель — птица вольная, лѣсная. И не одинъ: много ея, всякой лѣсной твари, и полевой, и рѣчной твари, и болотной, и луговой, и верховой и низовой — и грѣхъ ее убивать, и пускай она живетъ на землѣ до своего предѣла... А человѣку пища положена другая, пища ему другая и другое питье: хлѣбъ — Божья благодать, да воды небесныя, да тварь ручная отъ древнихъ отцовъ... Святое дѣло — кровь! Кровь солнышка Божія не видитъ, кровь отъ свѣта прячется... великій грѣхъ показать свѣту кровь, великій грѣхъ и страхъ... Охъ, великій!“

Слабый тѣломъ и умомъ, Касьянъ ничѣмъ не промышляетъ, какъ самъ говоритъ; „отъ рукъ отбился... отъ работы“, по замѣчанію кучера Ерофея. Онъ весь погруженъ въ созер-



цаніе природы, собираетъ травы и лѣчитъ (онъ — „лѣкарка“, слушаетъ пѣніе птицъ и подражаетъ имъ, ловитъ соловьевъ, „не на муку... не на погибель ихъ живота (поясняетъ онъ), а для удовольствія человѣческаго, на утѣшеніе и веселье“. Онъ живетъ въ своихъ мечтахъ и грезахъ, любитъ пѣть и поетъ хорошо (по словамъ того же Ероося); онъ даже сочиняетъ пѣсни. — Касьянъ человѣкъ безсемейный, — „задачи въ жизни не вышло“, какъ говоритъ онъ; но у него есть дочка, молоденькая дѣвушка. Авторъ былъ свидѣтелемъ встрѣчи Касьяна съ дочкой въ лѣсу, и видѣлъ — какъ горячо старикъ ее любитъ; онъ замѣтилъ, что „въ долгой усмѣшкѣ“, съ которой Касьянъ проводилъ уходившую дѣвушку, „въ немногихъ словахъ, сказанныхъ имъ Аннушкѣ (такъ ее звали), въ самомъ звукѣ его голоса, когда онъ говорилъ съ ней, была неизъяснимая, страстная любовь и нѣжность“.

Нѣжной и поэтической личность Касьяна противоположна суровая, но великодушная натура Бирюка. Это тоже хорошій человѣкъ, хоть и грубый съ виду. Онъ живетъ одинъ въ лѣсу, въ избѣ „закопѣлой, низкой и пустой, безъ палатей и перегородокъ“, съ двумя дѣтьми, покинутыми женою, сбѣжавшей съ прохожимъ мѣщаниномъ, — должно-быть семейное горе и сдѣлало его угрюмымъ. Онъ лѣспикъ, и про него говорятъ, что „вязанки хворосту не дасть утащить... и ничѣмъ его взять нельзя: ни виномъ ни деньгами, ни на какую приманку не идетъ“.

„— Я, братъ, слыхалъ про тебя (ведетъ съ нимъ бесѣду авторъ). Говорятъ ты никому спуску не даешь.

„— Должность свою справляю, — отвѣчалъ онъ угрюмо: — даромъ господскій хлѣбъ ѣсть не приходится“.

Автору довелось быть свидѣтелемъ, какъ этотъ неподкупно-честный человѣкъ отпустилъ пойманнаго имъ въ лѣсу вора, мужика, срубившаго дерево, отпустилъ, потому что почувствовалъ своимъ честнымъ и великодушнымъ сердцемъ безысходное горе бѣдняка, рѣшившагося съ отчаянья на опасное дѣло. Поэтъ прекрасно рисуетъ въ этой сценѣ весь ужасъ бѣдности, до которой иногда доходитъ крестьянинъ.

Между разсказами „Записокъ охотника“ очень видное мѣсто занимаютъ „Пѣвцы“ и „Смерть“. Въ этихъ чудныхъ очеркахъ авторъ показываетъ намъ отношенія русскаго чело-

вѣка къ двумъ важнѣйшимъ явленіямъ бытія: къ искусству и къ смерти. И въ томъ и въ другомъ случаѣ русская душа, по неподкупному свидѣтельству поэзіи, стоитъ очень высоко.

Мы видѣли уже въ нѣсколькихъ изъ названныхъ выше личностей, въ Хорѣ, Калыничѣ, Касьянѣ, сердечное расположеніе къ музыкѣ, къ пѣснѣ. Въ „Пѣвцахъ“ поэтъ изображаетъ потрясающее дѣйствіе этого искусства на самыхъ разнородныхъ по характерамъ своимъ русскихъ людей. Въ неприглядной обстановкѣ кабака происходитъ состязаніе двухъ пѣвцовъ, и чистое вѣяніе искусства все очищаетъ и просвѣтляетъ вокругъ. Состязаются рядчикъ изъ Жиздры и Яшка Турокъ, и слушатели съ замирающимъ сердечнымъ участіемъ слѣдятъ за исходомъ благородной борьбы. Побѣдителемъ оказывается Яковъ. Вотъ какими поэтическими чертами рисуетъ Тургеневъ его пѣніе: „понемногу разгораясь и расширяясь, полилась заунывная пѣсня. „Не одна во полѣ дороженька пролегала“, пѣлъ онъ, и всѣмъ намъ сладко становилось и жутко... Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала въ немъ, и такъ и хватала васъ за сердце, хватала прямо за его русскія струны. Пѣснь росла, разливалась. Яковымъ видимо одолѣвало упоеніе: онъ уже не робѣлъ, онъ отдавался весь своему счастью; голосъ его не трепеталъ болѣе — онъ дрожалъ, на той едва замѣтной, внутренней дрожью страсти, которая стрѣлой вонзается въ душу слушателя, и безпрестанно крѣпчалъ, твердѣлъ и расширялся... Онъ пѣлъ, совершенно позабывъ и своего соперника, и всѣхъ насъ, но видимо поднимаемый, какъ бодрый пловецъ волнами, нашимъ молчаливымъ, страстнымъ участіемъ. Онъ пѣлъ, и отъ cadaго звука его голоса вѣяло чѣмъ-то роднымъ и необозримо широкимъ, словно знакомая стена раскрывалась передъ нами, уходя въ безконечную даль“.

Слушатели всѣмъ сердцемъ отзывались на вдохновенное пѣніе: авторъ чувствовалъ, что у него „закипали на сердцѣ и поднимались къ глазамъ слезы“; онъ видѣлъ, что „жена цѣловальника плакала, припавъ грудью къ окну“; цѣловальникъ Николай Ивановичъ потупился: легкомысленный и несообразный Оболдуй, „весь разнѣженный, стоялъ глупо разинувъ ротъ“; посторонній и случайный свидѣтель состязанія — „сѣрый мужичекъ тихонько всхлипывалъ въ уголку,



съ горькимъ шопотомъ покачивая головой“; и самъ суровый „Дикій баринъ“ былъ растроганъ: „по желѣзному лицу“ его, „изъ-подъ совершенно надвинувшихся бровей, медленно прокатилась тяжелая слеза“. Соперникъ Якова — рядчикъ первый призналъ себя побѣжденнымъ: „ты... твоя... ты выигралъ“, произнесъ онъ съ трудомъ и бросился вонъ изъ компаты.

Чуткой и нѣжно-отзывчивой на впечатлѣнія искусства изображена Тургеневымъ въ „Пѣвцахъ“ русская душа, и тонко подмѣтилъ поэтъ народныя особенности, народныя черты широкой и вольной русской пѣсни.

Можетъ-быть, еще болѣе замѣчателенъ рассказъ „Смерть“, гдѣ поэтъ изобразилъ, какъ умираетъ рускій человѣкъ. Онъ смерть встрѣчаетъ спокойно и просто, безъ внутренней борьбы тревогъ и колебаній, безъ отчаянья и страха. Въ этомъ сказывается здоровая цѣльность, простота и правдивость русской души. — Умираетъ подрядчикъ Максимъ, пришибленный деревомъ

„— Батюшка,— заговорилъ онъ едва внятно (обращаясь къ наклонившемуся къ нему помѣщику): — за попомъ.. послать... прикажите... Господь меня наказалъ... ноги, руки, все перебито... сегодня... воскресенье... а я... а я... вотъ.. ребятъ-то не распустилъ.

„Онъ молчалъ. Дыханіе ему спирало.

„— Да деньги мои... женѣ... женѣ дайте... за вычетомъ... вотъ Онисимъ знаетъ... кому я... что долженъ.

„— Мы за лѣкаремъ послали, Максимъ,— заговорилъ мой сосѣдъ:— можетъ быть ты еще не умрешь.

„Онъ раскрылъ было глаза и съ усиліемъ поднялъ брови и вѣки.

„— Нѣтъ, умру. Вотъ... вотъ подступаетъ, вотъ она, вотъ... Простите мнѣ, ребята, коли въ чемъ...

„— Богъ тебя проститъ, Максимъ Андреечъ,— глухо заговорили мужики въ одинъ голосъ и шапки сняли: — прости ты насъ“.

Столько же самообладанія, если не болѣе, выказываетъ мельникъ, пріѣхавшій смертельно больной къ фельдшеру по-лѣчиться. Когда онъ узнаетъ безнадежность своего положенія, онъ не хочетъ остаться въ больницѣ, а ѣдетъ домой распорядиться и дѣла устроить. „Ну, прощаясь, Капитонъ Тymo-

оенчъ“ (говорить онъ фельдшеру, не слушая убѣжденій того остаться): „не помпайте лихомъ, да сиротокъ не забывайте, коли что“... „Эй, останься, Василій!“ — Мужикъ только головой тряхнулъ, ударилъ вожжей по лошади и съѣхалъ со двора. Я вышелъ на улицу и поглядѣлъ ему въ слѣдъ“ (разсказываетъ авторъ). „Дорога была грязная и ухабистая; мельникъ ѣхалъ осторожно, не торопясь, ловко правилъ лошадыю и со встрѣчными раскланивался... На четвертый день онъ умеръ“.

Такъ умираютъ простые русскіе люди, мужики. Но замѣчательно, что въ очеркѣ „Смерть“ поэтъ разсказываетъ о подобномъ же спокойномъ отношеніи къ кончинѣ и людей барской и интеллигентной среды, — старушки помѣщицы, недоучившагося студента Авенира Сорокоумова. Старушка хотѣла сама заплатить священнику за свою отходную и, приложившись къ поданному имъ кресту, засунула-было руку подъ подушку, чтобъ, достать приготовленный тамъ цѣлковый, да не успѣла, — „и испустила послѣдній духъ“.

Бѣднякъ учитель Сорокоумовъ, больной чахоткою и зная о близкой смерти, — „не вздыхалъ, не сокрушался, даже ни разу не намекнулъ на свое положеніе“... Авторъ разсказываетъ, что, когда онъ посѣтилъ его, то бѣднякъ, „собравшись съ силами, заговорилъ о Москвѣ, о товарищахъ, о Пушкинѣ, о театрѣ, о русской литературѣ; вспоминалъ наши пирушки, жаркія пренія нашего кружка, съ сожалѣніемъ произнесъ имена двухъ-трехъ умершихъ пріятелей“.

Онъ даже шутилъ передъ смертью, даже высказалъ довольство своей судьбою (забывъ, по сердечной добротѣ, какъ неприглядна была его жизнь въ домѣ тяжелаго шутника помѣщика Гура Круцяникова, дѣтей котораго Фофу и Зезю онъ училъ русской грамотѣ).

„— Все было ничего, — сказалъ онъ своему собесѣднику послѣ мучительнаго приступа кашля... — кабы трубочку выкурить позволили... А ужъ я такъ не умру, выкурю трубочку! — прибавилъ онъ, лукаво подмигнувъ глазомъ. — Слава Богу, пожилъ довольно; съ хорошими людьми знался“...

Одинаковое отношеніе къ смерти и простого мужика и образованнаго человѣка свидѣтельствуетъ, по поэтическому указанію Тургенева, о томъ, что въ русскомъ обществѣ живы народныя начала, что нѣтъ у насъ на Руси страшной



внутренней розни между простымъ народомъ и культурными его слоями, но крайней мѣрѣ тѣмъ изъ нихъ, который стоитъ ближе къ народу, живетъ въ деревнѣ, или сочувствуетъ народному быту, народной нуждѣ. О томъ же отсутствіи розни свидѣтельствуетъ и то обстоятельство, что Тургеневъ, какъ увидимъ, не подмѣтилъ, не нарисовалъ въ своихъ „Запискахъ охотника“ вражды, ненависти крестьянина къ помещику, хотя и изобразилъ всю тяжесть для перваго крѣпостного права.

Самъ русскій человѣкъ и стоящій въ „Запискахъ охотника“ на народной почвѣ, на народной точкѣ зрѣнія, Тургеневъ чуждъ тендеціозности и вовсе не хочетъ противопоставлять крестьянина помещику въ томъ смыслѣ, что первый вполне хорошъ, а послѣдній совсѣмъ худъ. Нарисовавши рядъ прекрасныхъ личностей изъ простого народа, онъ рисуетъ намъ и нѣсколько симпатичныхъ типовъ дворянъ; таковы, напр., Каратаевъ, Татьяна Борисовна, взбалмошный Чертопхановъ, уѣздный лѣкарь (въ рассказѣ того же имени).

Человѣкъ малообразованный, но съ сердцемъ, съ живымъ и прямымъ, открытымъ характеромъ, помещикъ Каратаевъ полюбилъ чужую крестьянскую дѣвушку. Вслѣдствіе неосторожной прямоты и, пожалуй, нѣкоторой рѣзкости нрава, ему не удалось выкупить ее отъ познѣженной, капризной и высокомерной ея помещицы. Онъ было увезъ Матрену (такъ звали эту дѣвушку); но дѣло кончилось тѣмъ, что онъ принужденъ былъ разстаться съ нею. Чувство его было искреннимъ и сильнымъ — и разлука разбила его жизнь. Авторъ встрѣчаетъ его въ Москвѣ, въ кофейной, въ нетрезвомъ видѣ. Но Каратаевъ не погибъ нравственно; сквозь непривлекательный внѣшній обликъ его жизни просвѣчиваетъ благородная душа: его поддерживаетъ вѣра въ людей, любовь къ поэзіи, къ театру.

„Здѣсь житье хорошее (говоритъ онъ про Москву, образованный встрѣчею съ знакомымъ), народъ здѣсь радушный. Здѣсь я успокоился.

„— Служите? — спросилъ его авторъ.

„— Нѣтъ-съ, еще не служу, а думаю скоро опредѣлится. Да что служба?... люди — вотъ главное. Съ какими я здѣсь людьми познакомился!...

. . . . .

„— Чѣмъ же вы жить будете, Петръ Петровичъ?

„— А не умру съ голоду, Богъ дастъ! денегъ не будетъ — друзья будутъ. Да что деньги? — прахъ. Золото — прахъ!

„Онъ зажмурился, пошарилъ рукой въ карманъ и поднесъ ко миѣ на ладони два пятиалтынныхъ и гривенникъ.

„— Что это? вѣдь прахъ? (И деньги полетѣли на полъ). А вы лучше скажите миѣ, читали ли вы Полежаева?

„— Читалъ.

„— Видали ли Мочалова въ Гамлетѣ?

„— Нѣтъ, не видалъ.

„— Не видали, не видали... (И лицо Каратаева поблѣднѣло, глаза беспокойно забѣгали; онъ отвернулся; легкія судороги пробѣжали по его губамъ). Ахъ, Мочаловъ, Мочаловъ!“ и онъ началъ глухимъ, растроганнымъ голосомъ декламировать изъ Гамлета стихи, въ которыхъ, казалось ему, выражено было его душевное настроеніе. — Въ безалаберномъ и, пожалуй, безпутномъ Каратаевѣ поэтъ сумѣлъ подмѣтить прекрасную душу, сумѣлъ возбудить въ насъ сочувствіе къ этой простой и искренней душѣ.

Сочувствіе возбуждаетъ въ насъ и образъ Татьяны Борисовны, мучимой своимъ празднымъ и заплывшимъ жиромъ племянникомъ, самодовольнымъ художникомъ, дико завывающимъ въ ея мирныхъ нѣкогда комнаткахъ романсъ: „я стражду... я стражду!“

Въ Татьянѣ Борисовнѣ нѣтъ ничего необыкновеннаго выдающагося; она ничего даже не дѣлаетъ, даже хозяйствомъ не занимается; но она плѣняетъ своей добротой, простотой, своимъ спокойствіемъ. „Лицо ея дышитъ привѣтомъ, лаской“; она всякаго человѣка „въ бѣдѣ, въ горѣ утѣшитъ, добрый совѣтъ подастъ. Сколько людей повѣрили ей свои домашнія, задушевные тайны, плакали у ней на рукахъ! Бывало, сядетъ она противъ гостя, обопрется тихонько на локоть и съ такимъ участіемъ смотритъ ему въ глаза, такъ дружелюбно улыбается, что часто невольно въ голову придетъ мысль: „какая же ты славная жепица, Татьяна Борисовна! Дай-ка я тебѣ расскажу, что у меня на сердцѣ“. Въ ея небольшихъ, уютныхъ комнаткахъ хорошо, тепло человѣку; у ней всегда въ домѣ прекрасная погода, если можно такъ выразиться“.



Татьяна Борисовна сочувствует молодости, ея жлвымъ стремленіямъ.

„Особенно любить она глядѣть на игры и шалости молодежи: сложить руки подъ грудью, прищурить глаза и сидѣть, улыбаясь, да вдругъ вздохнетъ и скажетъ: ахъ, вы, дѣтки мои, дѣтки!... Такъ, бывало, и хочется подойти къ ней (говоритъ авторъ), взять ее за руку и сказать: послушайте, Татьяна Борисовна, вы себѣ цѣны не знаете, вѣдь вы при всей вашей простотѣ и неучепости необыкновенное существо! Одно имя ея звучитъ чѣмъ-то знакомымъ, привѣтнымъ, охотно произносится, возбуждаетъ дружелюбную улыбку“.

Взбалмошный, страстно, бѣшено увлекающійся Чертопановъ — полонъ гордости, даже тщеславія, не прочь отъ самоуправства; но гордость его — порой хорошая гордость, свидѣтельствующая о сознаніи имъ своего человѣческаго достоинства. Онъ не смотритъ на лица, онъ смѣлъ, никого не боится и готовъ защититъ оскорбляемаго, какъ защитилъ отъ презрительныхъ насмѣшекъ Недопюскина.

Не будемъ долго останавливаться и на характерѣ уѣзднаго лѣкаря. Это — человѣкъ опустившійся въ типу уѣздной жизни, пристрастившійся къ преферансу и женившійся на купеческой дочери, „злой бабѣ“ (по его опредѣленію), съ 7000 приданого. Но въ его душѣ поэтъ подмѣтилъ сочувственныя черты: и умъ, и смиренный взглядъ на себя, и остатки возвышенныхъ романтическихъ чувствъ: съ поэтическимъ одушевленіемъ и сердечнымъ прямодушіемъ, хотя порой и нѣсколько комично, рассказываетъ докторъ своему неожиданному паціенту исторію любви къ нему умирающей дѣвушкѣ, любви, которую онъ, смиренно не смѣя отнести лично къ себѣ, объясняетъ просто желаніемъ молодой души хоть на кого-нибудь, на перваго встрѣчнаго, излить передъ смертью таившійся въ сердцѣ потокъ чувства. Поэтъ не смѣется надъ тѣмъ, что есть въ уѣздномъ лѣкарѣ пошлаго, потому что тотъ самъ осмѣялъ въ себѣ это пошлое, осмѣялъ даже выше мѣры.

Обратимся еще разъ къ хорошимъ людямъ изъ народа. Передъ нами двѣ прекрасныхъ женскихъ личности: Акулина въ очеркѣ „Свиданіе“ и Лукерья — „Живыя мощи“.

Первая — еще совсѣмъ молодая дѣвушка, неопытное сердце, полюбившее первой любовью. Она полюбила неудачно, по-

любила пошло-самодовольнаго, изломаннаго лакея. Поэтъ видитъ ее на свиданіи, ожидающей.

„Мнѣ особенно нравилось (говорить онъ) выраженіе ея лица: такъ оно было просто и кратко, такъ грустно и такъ полно дѣтскаго недоумѣнія передъ собственной грустью“.

Пришелъ наконецъ — кого она ожидала, и стать ломаться, а она поднесла ему набранные для него васильки, „глядѣла на него... Въ ея грустномъ взорѣ было столько нѣжной преданности, благоговѣйной покорности и любви. Она... была такъ хороша въ это мгновеніе: вся душа ея доверчиво, страстно раскрывалась передъ нимъ, тянулась, ластилась къ нему, а онъ... онъ уронилъ васильки на траву, досталъ изъ бокового кармана пальто круглое стеклышко въ бронзовой оправѣ и принялся втискивать его въ глаза“...

Другой женскій образъ — героини разсказа „Живыя мощи“ — есть едва ли не лучшій, не самый поэтический изъ всѣхъ образовъ „Записокъ охотника“. Поэтъ показалъ намъ въ немъ, до какой духовной высоты можетъ подняться простой русскій человѣкъ вообще. Молодая дѣвушка, крестьянка Лукерья, веселая, живая, бойкая, красавица, невѣста, любимая женихомъ и сама любящая его, внезапно заболѣла такою болѣзнью, которая иссушила ее, навсегда приковала къ постели, исключила изъ числа живыхъ людей. Женихъ ея погоревалъ да и женился на другой. А она проводитъ цѣлые годы въ уединеніи, неподвижная, одна съ своими думами. Но она не пала духомъ въ безотрадномъ положеніи; напротивъ она дошла до полнаго просвѣтлѣнія, — она счастлива, она радуется жизни, всякому ея мелкому проявленію; она рада и смерти и ждетъ ея какъ блаженства и не знаетъ и не понимаетъ страха передъ нею. Лукерья — олицетвореніе народнаго религіознаго идеала.

Поэтъ неожиданно увидѣлъ Лукерью въ плетенomъ сарайчикѣ близъ пасѣки, гдѣ она проводила лѣто; вотъ какъ онъ описываетъ ея наружность:

„Голова совершенно высохшая, одноцвѣтная, бронзовая, — ни дать ни взять — икона стариннаго письма; носъ узкій, какъ лезвее ножа; губъ почти не видать, — только зубы бѣлѣютъ и глаза... лицо не только не безобразное, даже красивое, но странное, необычайное. И тѣмъ страшнѣе кажется...



это лицо, что по немъ, по металлическимъ его щекамъ... — сплится... сплится и не можетъ расплыться улыбка“.

„Лукерья не знаетъ себялюбія, зависти, ревности, злобы. Она рада, что ея бывший женихъ нашелъ себѣ добрую жену, „и очень ему, слава Богу, хорошо“, говоритъ она. Она тихо слѣдитъ за жизнью природы и веселится ею.

„Гречиха въ полѣ зацвѣтетъ или липа въ саду — мнѣ и сказывать не надо (говоритъ она): я первая сейчасъ слышу. Лишь бы вѣтеркомъ оттуда потянуло. Нѣтъ, что Бога гнѣвить? — многимъ хуже моего бываетъ.

„Смотрю, слушаю. Пчелы на пасѣкѣ жужжатъ да гудятъ; голубь на крышу сядетъ да заворкуетъ; курочка-наседочка зайдетъ съ цыплятами крошекъ поклевать, а то воробей залетитъ или бабочка — мнѣ очень пріятно. Въ позапрошломъ году такъ даже ласточки вонъ тамъ въ углу гнѣздо себѣ свили и дѣтей вывели. Ужъ какъ же оно было занято!... А то разъ... вотъ смѣху-то было! Заяцъ забѣжалъ, право!... сѣлъ близехонько, и долго такъ сидѣлъ, все носомъ водилъ и усами дергалъ — настоящій офицеръ! И на меня смотрѣлъ. Понялъ, значить, что я ему не страшна... Смѣшной такой!“

Она о себѣ не думаетъ, но о другихъ у ней болитъ сердце. Когда баринъ спрашиваетъ ее — не нужно ли ей чего? Она отвѣчаетъ:

„Ничего мнѣ не нужно; всѣмъ довольна, слава Богу... А вотъ вамъ бы, баринъ, матушку вашу уговорить — крестьяне здѣшніе бѣдные — хоть бы малость оброку съ нихъ она сбавила! Земли у нихъ недостаточно, угодій нѣтъ... Они бы за васъ Богу помолились... А мнѣ ничего не нужно, — всѣмъ довольна.

Въ Лукерьѣ сохранилась обычная любовь русскаго человека къ пѣнію: она поетъ, слабымъ, едва слышнымъ, но чистымъ и вѣрнымъ голосомъ, всякія пѣсни, которыхъ прежде много знала. „Только вотъ плясовыхъ не пою (говоритъ она). Въ теперешнемъ моемъ званіи — оно не годится“.

Смиреніе русскаго человека дошло въ Лукерьѣ до высшей степени. Собесѣдникъ подивился ея терпѣнью, а она возражаетъ ему:

„Эхъ, баринъ!... что вы это? Какое такое терпѣніе? Вотъ Симеона Столпника терпѣніе было точно великое, тридцать лѣтъ на столбу простоялъ... А то вотъ еще мнѣ сказывалъ

одинъ начетчикъ... „и она передаетъ поэтическое преданіе объ Іоаннѣ д'Аркѣ, „святой дѣвственницѣ“, какъ та прогнала агарянъ изъ своей родной земли, и потомъ велѣла этимъ агарянамъ сжечь себя, чтобы „огненною смертию за свой народъ помереть“.

Лукерья религіозна въ самомъ возвышенномъ и чистомъ смыслѣ этого слова. Богъ ей близокъ.

„А то я молитвы читаю (разсказываетъ она о своей жизни). Только не много я знаю ихъ, этихъ самыхъ молитвъ. Да и на что я стану Господу Богу наскучать? () чемъ я Его просить могу? Онъ лучше меня знаетъ, что мнѣ надобно. Послать Онъ мнѣ крестъ — значить меня Онъ любить. Такъ намъ велѣно это понимать. Прочту Отче нашъ, Богородицу, акаѣистъ Всѣмъ Скорбящимъ, да и опять полеживаю себѣ безъ всякой думочки. И ничего!“

Она видитъ таинственные, чудесные, пророческіе сны, — Христа видитъ и царство небесное; видитъ во снѣ смерть свою, въ образѣ большой женщины съ глазами желтыми, какъ у сокола, и свѣтлыми-пресвѣтлыми; она радостно проситъ смерть взять ее, и та назначаетъ ей время — „послѣ, молъ, Петровокъ“.

II Лукерья, дѣйствительно, умираетъ послѣ Петровокъ, — она какъ бы провидѣла свой конецъ.

„Разсказывали (заключаетъ поэтъ свое повѣствованіе о ней), что въ самый день кончины она все слышала колокольный звонъ, хотя отъ Алексѣевки до церкви считаютъ пять верстъ слишкомъ и день былъ будничныи. Впрочемъ Лукерья говорила, что звонъ шелъ не отъ церкви, а „сверху“. — Вѣроятно она не посмѣла сказать: съ неба“.

Заключимъ воспоминаніе о прекрасныхъ людяхъ изъ народа, изображенныхъ Тургеневымъ въ „Запискахъ охотника“, дѣтскими образами „Бѣжина луга“. Кто не помнитъ живой этой чудесной картины „ночного“, бесѣды крестьянскихъ рябтишекъ, стерегущихъ табунъ, бесѣды о страшныхъ и поэтическихъ повѣрьяхъ? Между нѣсколькими крестьянскими мальчиками, нарисованными здѣсь поэтомъ, выдается энергическій и умный Павлуша.

„Малый былъ неказистый, — что и говорить (пишетъ авторъ про его наружность), а все-таки онъ мнѣ понравился: глядѣлъ онъ очень умно и прямо, да и въ голосѣ у него звучала сила“.



Собаки слышали что-то въ лѣсу, — Павлуша подумалъ, что волкъ, и поскакалъ на ихъ лай.

„Я невольно полюбовался Павлушей (говорить поэтъ). Онъ былъ очень хорошъ въ это мгновеніе. Его некрасивое лицо, оживленное быстрой фздой, горѣло смѣлою удалюю и твердой рѣшимостью. Безъ хворостинки въ рукѣ, почью, онъ, нимало не колеблясь, поскакалъ одинъ на волка... „Что за славный мальчикъ!“ думалъ я, глядя на него“.

Такъ же смѣло отнесся Павлуша и къ предсказанію смерти: ему слышалось, когда онъ пошелъ къ рѣкѣ за водою, что его кто-то зоветъ изъ воды: „Павлуша, а Павлуша, подь сюда!“ — „Ахъ, эта примѣта дурная“ (сказалъ ему Плыюша). — „Ну, ничего, пуцай! произнесъ Павелъ рѣшительно и сѣлъ опять: — своей судьбы не минуешь“.

Интересно, что въ концѣ очерка авторъ говоритъ, что предсказаніе судьбы (или предчувствіе Павла) въ томъ же году сбылось: Павелъ не утонулъ, правда, но убился, упавъ съ лошади.

Живой и умный, Павлуша умѣетъ подмѣтить смѣшное, — и его рассказъ о „предвидѣннѣ“ небесномъ, о томъ, какъ у нихъ въ деревнѣ бочара Вавилу, надѣвшаго жбанъ на голову, приняли-было за Тришку-антихриста, полонъ юмора.

„Бѣжпнѣ лугъ“ есть вообще одинъ изъ самыхъ поэтическихъ рассказовъ „Записокъ охотника“: особенно прекрасны нѣкоторыя его частности, отдѣльныя картинки и эпизоды. Остановимся на двухъ изъ нихъ.

„Настало опять молчаніе.

„— Гляньте-ка, гляньте-ка, ребятки, раздался вдругъ дѣтскій голосъ Ваши (младшій изъ мальчиковъ, лѣтъ семи): гляньте на Божьи звѣздочки, — что пчелки роятся.

„Онъ выставилъ свое свѣжее личико изъ-подъ рогожи. оперся на кулачокъ и медленно поднималъ кверху свои большіе тихіе глаза. Глаза всѣхъ мальчиковъ поднялись къ небу и не скоро опустились.

„— А что Ваня, — ласково заговорилъ Федя: — что твоя сестра Анютка здорова?

„— Здорова, — отвѣчалъ Ваня, слегка картавя.

„— Ты ей скажи, что она къ намъ отчего не ходитъ?...

„— Не знаю.

„— Ты ей скажи, чтобы она ходила.

„— Скажу.

„— Ты ей скажи, что я ей гостинца дамъ.

„— А мнѣ дашь?

„— И тебѣ дамъ.

„— Ну, нѣтъ, мнѣ не надо. Дай ужъ лучше ей: она такая у насъ добренькая.

„II Ваня опять положилъ свою голову на землю“.

Не менѣе прекрасенъ эпизодъ съ голубемъ:

„Всѣ опять притихли. Павелъ бросилъ горсть сухихъ сучьевъ на огонь. Рѣзко зачернѣлись они на внезапно вспыхнувшемъ пламени, затрещали, задымлись и пошли коробиться, приподнимая обожженные концы. Отраженіе свѣта ударило, порывисто дрожа, во всѣ стороны, особенно кверху. Вдругъ откуда ни возьмись бѣлый голубокъ, — налетѣлъ прямо въ это отраженіе, пугливо повертѣлся на одномъ мѣстѣ, весь обливаясь горячимъ блескомъ, и исчезъ, звеня крыльями.

„— Знать отъ дому отбился, — замѣтилъ Павелъ. — Теперь будетъ летать, куда на что наткнется, и гдѣ ткнетъ. тамъ и ночуетъ до зари.

„— А что, Павлуша, — промолвилъ Костя: — не праведная ли это душа летѣла на небо, ась?

„Павелъ бросилъ другую горсть сучьевъ на огонь.

„— Можетъ-быть, — проговорилъ онъ наконецъ“.

Приведенные отрывки показываютъ намъ, въ какомъ удивительномъ соотвѣтствіи изображаются Тургеневымъ человекъ и природа. И звѣзды небесныя, и рѣющій въ воздухѣ голубь, и лѣса, поля и воды, окружающія мальчиковъ „въ ночномъ“, — все это входитъ въ ихъ духовную жизнь. красоту всего этого чуютъ они своимъ сердцемъ и живутъ и дышатъ этой красотой Божьяго міра.

Тургеневъ — великій живописецъ природы, и всѣ его очерки народной жизни, какъ въ прекрасную рамку, вставлены въ художественныя и живыя описанія ея.

Какъ прекрасно дополняетъ изображеніе горя бѣдной покидаемой дѣвушки въ „Свиданіи“ сравненіе тоскующей души ея съ блѣдной осенью:

„Порывистый вѣтеръ быстро мчался мнѣ навстрѣчу черезъ желтое, высохшее живье (ппшеть поэтъ); торопливо вздымаясь передъ нимъ, стремился мимо, черезъ дорогу, вдоль



опушки, маленькіе, покоробленные листья; сторона рощи, обращенная стѣною въ поле, вся дрожала и сверкала мелкимъ сверканьемъ, четко, но не ярко; на красноватой травѣ, на былинкахъ, на соломинкахъ, всюду блестѣли и волновались безчисленные нити осеннихъ паутины. Я остановился... Мнѣ стало грустно: сквозь невеселую, хотя свѣжую улыбку увядающей природы, казалось, прокрадывался унылый страхъ недалекой зимы.

Въ какомъ чудесномъ соотвѣтствіи изображается та же осенняя природа съ думами и воспоминаніями человека, пробуждающимся въ душѣ среди ея картинъ, ея впечатлѣній, въ очеркѣ „Лѣсъ и степь“.

..II какъ этотъ лѣсъ хорошъ поздней осенью, когда прилетаютъ вальдшнепы! Они не держатся въ самой глуши: ихъ надобно искать вдоль опушки. Вѣтра нѣтъ, и нѣтъ ни солнца, ни свѣта, ни тѣни, ни движенія, ни шума; въ мягкомъ воздухѣ разлитъ осенній запахъ, подобный запаху вина; тонкій туманъ стоитъ вдали надъ желтыми полями. Сквозь обнаженные, бурые сучья деревь мирно бѣлѣетъ неподвижное небо; кой-гдѣ на листьяхъ висятъ послѣдніе золотые листья. Сырая земля упруга подъ ногами; высокія сухія былинки не шевелятся; длинныя нити блестятъ на поблѣднѣвшей травѣ. Спокойно дышитъ грудь, а на душу находитъ страшная тревога. Идешь вдоль опушки, глядишь за собакой, а между тѣмъ любимые образы, любимыя лица, мертвыя и живыя, приходятъ на память, давнымъ-давно заснувшія впечатлѣнія неожиданно просыпаются; воображеніе рѣетъ и носится, какъ птица, и все такъ ясно движется и стоитъ передъ глазами. Сердце то вдругъ задрожитъ и забьется, странно бросится впередъ, то безвозвратно потонетъ въ воспоминаніяхъ. Вся жизнь развертывается легко и быстро, какъ свѣтокъ; всѣмъ своимъ прошедшимъ, всѣми чувствами, силами, всею своею душою владѣетъ человекъ. II ничего кругомъ ему не мѣшаетъ — ни солнца нѣтъ, ни вѣтра, ни шума...”

II не только осень, поэтъ рисуетъ съ такимъ же совершенствомъ и весну и лѣто, когда въ лѣсу „золотой голосокъ малиновки звучитъ певчиной, болтливой радостью“ и такъ „идетъ къ запаху ландышей“.

Позволю себѣ привести еще одно описаніе изъ „Касьяна съ Красивой Мечи“:

„Удивительно пріятное занятіе лежать на спинѣ въ лѣсу и глядѣть вверхъ! Вамъ кажется, что вы смотрите въ бездонное море, что оно широко разстилается подъ вами, что деревья не поднимаются отъ земли, но словно корни огромныхъ растений, спускаются, отвѣстно падаютъ въ тѣ стеклянныя волны; листья на деревьяхъ то скользятъ изумрудами, то сгущаются въ золотистую, почти черную зелень... Волшебными подводными островами тихо наплываютъ и тихо проходятъ бѣлыя круглыя облака... Вы не двигаетесь, вы глядите; и нельзя выразить словами, какъ радостно, и тихо, и сладко становится на сердцѣ. Вы глядите: та глубокая, чистая лазурь возбуждаетъ на устахъ вашихъ улыбку, невинную, какъ она сама; какъ облака по небу, и какъ будто вмѣстѣ съ ними, медлительной вереницей проходятъ по душѣ счастливыя воспоминанія, и все вамъ кажется, что взоръ вашъ уходитъ дальше и дальше, и тянетъ васъ самихъ за собою въ ту спокойную, сіяющую бездну, и невозможно оторваться отъ этой вышины, отъ этой глубины...”

*Иезеленовъ.*

## Бытовая и художественная стороны въ „Запискахъ охотника“.

Тургеневъ первый, кажется, изъ нашихъ писателей понялъ важное значеніе того, что называется *беллетристикой*, и первый показалъ примѣры какъ замѣчательныхъ результатовъ, какіе она дать можетъ, такъ и рѣдкихъ качествъ, требуемыхъ ею отъ самого писателя. Съ этой точки зрѣнія рассказы его пріобрѣтаютъ для насъ двойное значеніе: во-первыхъ, по собственному содержанію, а во-вторыхъ, по эстетическому вопросу, который они порождаютъ. Новые рассказы Тургенева („Малиновая вода“, „Уѣздный лѣкарь“, „Бирюкъ“, „Лебедянь“, „Татьяна Борисовна“, „Смерть“) сохраняютъ все качества предшествовавшихъ имъ: разнообразіе, вѣрность картинъ и особенно какое-то уваженіе ко всемъ своимъ лицамъ. Гуманность эта, доказывающая, между прочимъ, уже окрѣпшую мысль въ авторѣ да сильное чувство красоты природы, какъ и прежде, ихъ настоящей колоритъ и вполне объясняютъ успѣхъ ихъ. Это *люди* многоцвѣтнаго русскаго



міра, исполненные тонкихъ замѣтокъ и ловко подмѣченныхъ чертъ. Истинно-художественныхъ разсказовъ въ „Запискахъ“ можетъ быть два-три („Хоръ и Калинычъ“ — первый изъ нихъ по появленію останется первымъ и по достоинству); всѣ остальные держатся на силѣ наблюденія, на литературной и житейской опытности автора. Изящная словесность цѣлаго народа не можетъ состоять изъ однихъ художественныхъ произведеній, и требовать отъ нея только созданій высокаго творчества — значить впадать въ нѣкоторый фанатизмъ художественности, столь же ограниченный и невѣрный, какъ и раболовные списки съ природы. Для полной литературной жизни такъ же необходима подмѣтка новой стороны предмета, еще невысказанная мысль и картина, порожденная долгимъ опытомъ, какъ и колоссальное произведеніе, на которомъ вполне и глубоко успокоивается эстетическое чувство ваше. Не признавать или опровергать это — весьма можно. Оно даже и легко при нынѣшнемъ развитіи наукъ объ изящномъ и благородномъ воодушевленіи, порожденномъ имъ, да только тутъ грозитъ опасность обнаружить немовѣрную глухоту къ законнымъ требованіямъ умственной жизни. Мы знаемъ, что можно не признавать и послѣднихъ, но при этомъ случаѣ мы тотчасъ же впадаемъ въ родъ драматической фантазіи, гдѣ, съ одной стороны, красуется толпа, а съ другой — уединенно стоящій умирикъ. Нравственная усталость, еще остающаяся въ насъ послѣ этихъ фантазій, освобождаетъ насъ отъ желанія видѣть повтореніе ихъ на дѣлѣ.

Вѣроятно, никто не подумаетъ, что мы проповѣдуемъ легкость и беззаботность, такъ сказать, въ литературѣ. Наоборотъ. Стоить только указать на произведенія Тургенева, чтобъ убѣдиться, какихъ важныхъ условій и какого мастерства требуетъ беллетристика вообще. Во-первыхъ, необходимо ей многостороннее знаніе жизни, зоркость взгляда, изощреннаго опытностію, всегдашнее присутствіе мысли, поясняющей наблюденія, и, наконецъ, еще талантъ разбора самихъ явленій и вывода ихъ передъ читателемъ. Большая часть разсказовъ охотника родилась изъ прямыхъ, личныхъ впечатлѣній автора. Онъ обращаетъ въ картину случай, ему представившійся; разбираетъ передъ вами характеръ, имъ встрѣченный, и даже передаетъ въ формѣ разсказа собственное свое воззрѣніе на какой-либо предметъ: но сколько

искусства истрачено у него при этой передачѣ разнородныхъ своихъ пріобрѣтеній! Любопытно наблюдать, какъ мѣняетъ онъ для каждаго новаго представленія краски и самый способъ изложенія, какъ вѣрно рассчитаны для нихъ свѣтъ и воздухъ, и въ какихъ нѣжныхъ оттѣнкахъ и умно разсѣянныхъ подробностяхъ выражаются у него люди и событія. Вѣрность окружающему, за которой такъ гоняется псевдо-реализмъ, рѣдко достигая ея, является тутъ сама по себѣ и часто достигаетъ поэтического выраженія, по глубокому проникновенію въ жизнь, по изученію ея. Мы желаемъ отъ души русской литературѣ наиболѣе беллетристическихъ талантовъ, дающихъ подобные результаты. *Анненковъ.*

---

### Главнѣйшіе мотивы поэзіи Тургенева въ „Запискахъ охотника“.

Разказы — въ сущности личные воспоминанія автора, большинство героевъ — его знакомые; охотничьи происшествія, описанныя въ „Запискахъ“ были извѣстны и не одному Тургеневу, знали о нихъ его друзья, принимавшіе участіе въ его охотахъ. Исторіи излагались съ необыкновенной простотой, оказывались доступными пониманію всякаго грамотнаго человѣка. Это великое достоинство художественнаго произведенія.

Тургеневъ въ „Запискахъ охотника“ показалъ, что крѣпостные мужики не только люди, но что имъ доступны такіе же сложные душевные процессы, такая же многосторонняя нравственная жизнь, какъ и всѣмъ лучшимъ представителямъ культурнаго общества.

Тургеневъ, вѣроятно, и не подозрѣвалъ такихъ выводовъ. Онъ просто показалъ рядъ личностей, одаренныхъ изумительнымъ поэтическимъ чувствомъ природы, безгранично гуманныхъ, соединяющихъ глубокую вдумчивость съ младенческимъ незлобіемъ. Это одинъ типъ. Другой не имѣетъ ничего общаго ни съ поэзіей ни съ ясной наивностью души, — но для высшей публики долженъ былъ казаться столь же неожиданнымъ среди деревенской дикости и глупости. Одного изъ этихъ героевъ авторъ сравниваетъ съ Сократомъ. Передъ



нами дѣйствительно самоувѣренная житейская мудрость, воспитанная многолѣтними тяжелыми опытами, мудрость — холодная, отчасти скептическая, но спокойная, добродушная, совершенно чуждая хищническихъ инстинктовъ. Эти два типа занимаютъ первое мѣсто въ „Запискахъ“. Авторъ каждый изъ нихъ иллюстрируетъ нѣсколькими фигурами: Калинычъ, Касьянъ, отчасти Ермолай и Хорь, Моргачъ, Овсянниковъ, мечтательные созерцатели и практическіе мудрецы. И всѣ они, при всемъ своемъ несродствѣ, — русскіе до послѣдняго пера, русскіе — въ каждомъ словѣ, въ каждомъ ощущеніи. Вы видите, эти своеобразные поэты и философы могли возникнуть только на русской почвѣ и притомъ — крѣпостнической.

Крѣпостная зависимость отдѣляла крестьянъ непроходимой пропастью отъ остального человѣческаго общества, вообще отъ умственной культуры. Мужику приходилось собственными силами и въ своей собственной средѣ искать удовлетворенія насущнымъ запросамъ человѣческой души. Кругомъ — люди или равнодушные или враждебные ему. Рядомъ съ нимъ — такіе же „униженные и оскорбленные“, какъ и онъ самъ. Всякій, кто сколько-нибудь по своимъ способностямъ и природнымъ наклонностямъ выдавался надъ темной средой, долженъ былъ чувствовать глубокое мучительное одиночество. Не съ кѣмъ отвести душу, некому повѣрить глубокія движенія сочувствія, вложенныя такъ некстати въ сердце раба. Отсюда — меланхолическая мечтательность, необыкновенно чуткое участіе въ явленіяхъ природы, почти болѣзненная симпатія ко всему слабому, беззащитному. Крѣпостной мужику, имѣвшій несчастье родиться впечатлительнымъ и любящимъ, неминуемо превращался въ юродивца въ родѣ Калиныча и Касьяна. Они живутъ въ міру, но отличаются всѣми свойствами пустыльниковъ и отшельниковъ. Они совершенно не приспособлены къ практической подневольной дѣятельности — единственной, какая только и доступна крестьянину. Это и есть ихъ неразуміе: такъ судятъ о нихъ заурядные наблюдатели, такъ думаютъ и они сами. Касьянъ на вопросъ, чѣмъ онъ промышляетъ, отвѣчаетъ: „Живу какъ Господь велитъ, — а чтобы, то-есть, промышлять — нѣтъ, ничѣмъ не промышляю. Неразуменъ я больно съ малства; работаю, пока мочно, — работникъ-то я плохой... гдѣ мнѣ! Здоровья нѣтъ и руки глупы...“ Но это не тупеядство, всегда идущее

рядомъ съ нравственнымъ и умственнымъ отупѣніемъ. Напротивъ, въ душѣ Касьяна совершаются въ высшей степени сложные процессы, у него сложилось цѣлое міросозерцаніе, — настолько жизненное и для него осмысленное, что Касьянъ подчиняется извѣстнымъ теоріямъ въ своихъ отношеніяхъ къ внѣшнему міру. Передъ нами типичное „существо не отъ міра сего“, на этотъ разъ только не въ высоко-развитой средѣ интеллигентнаго общества, а въ деревенскомъ, темномъ углу. И духовное содержаніе этого существа едва ли не возвышеннѣе и идеальнѣе, чѣмъ поэтическая, безпредметная мечтательность такъ называемыхъ исключительныхъ, ангело-подобныхъ натуръ, вырастающихъ на почвѣ удручающей праздности и мучительныхъ эгоистическихъ поисковъ за личнымъ счастьемъ, за удовлетвореніемъ фантастическихъ прихотей... Касьянъ при всемъ своемъ „неразуміи“ находитъ возможнымъ приносить нравственную и даже практическую пользу людямъ. Онъ дѣйствительно живетъ одною жизнью съ природой, — не въ минуты поэтическаго вдохновенія и восторженныхъ созерцаній, а потому, что иной жизни у него и нѣтъ. Онъ знаетъ голосъ каждой птицы, умѣетъ перекликаться съ ней, подхватить ея пѣсню. Каждая травка и цвѣтокъ возбуждаютъ у него тѣ самыя чувства, какими у другихъ людей сопровождаются воспоминанія о старыхъ друзьяхъ. И эти его друзья оказываютъ ему великія услуги, какихъ никогда никому не дождаться отъ людей. Даже ключевая вода настраиваетъ его на религіозныя мысли, а степи охватываютъ его душу трепетнымъ восторгомъ.

Касьяна болѣзненно поражаетъ всякое страданіе не только среди людей, даже у птицъ, а дѣвочка Линушка въ самомъ звукѣ его голоса вызываетъ неизъяснимую страстную нѣжность. Очевидно, это великій родникъ міровой и человѣческой любви, заброшенной въ рабскую жестокую среду... Кто могъ подозрѣвать существованіе такихъ тайнъ подъ сѣрымъ мужицкимъ армякомъ? Кто умѣлъ на уродливомъ, смѣшномъ лицѣ убогаго карлика прочесть отраженіе благородной поэтической души? Единственный писатель, еще въ дѣтствѣ умѣвшій подмѣтить и понять драму нѣмого мужика Андрея и рассказать ее въ трогательной повѣсти о Герасимѣ и его собачкѣ Муму, — въ повѣсти, вызывавшей слезы у такихъ людей, какъ Карлейль. И для Тургенева, очевидно, являлось



особенно симпатичнымъ, дорогимъ дѣломъ — открывать публикѣ идеальныя и поэтическія стороны народной души и жизни. Для автора нѣтъ настолько ничтожныхъ, задавленныхъ жертвъ невыносимыхъ бытовыхъ условій, чтобы онѣ не представляли никакого интереса для нашего просвѣщеннаго вниманія. Даже Степушка, совершенно, повидимому, жалкое, безличное созданіе, все поглощенное заботой о кормѣ, ни для кого незамѣтное и рѣшительно никому не нужное, оказывается чуткой и отзывчивой на чужое горе. И какъ тонко, до умиленности просто авторъ даетъ это попятъ читателямъ.

Мужикъ только что разсказалъ о своемъ горѣ, разсказалъ, какъ только можетъ разсказывать мужикъ — безъ фразъ, безъ вздоховъ и жалобъ. И словъ въ его рѣчи несравненно меньше, чѣмъ фактовъ, и ни малѣйшаго расчета на сочувствіе слушателя. Степа слушалъ молча, можетъ-быть онъ и передъ этимъ молчалъ цѣлые дни, такъ какъ врядъ ли кто интересовался поговорить съ нимъ. И вдругъ на лаконическую, повидимому, совершенно равнодушную рѣчь мужика, у Степы невольно, безъ его вѣдома, срывается нѣсколько словъ:

„— Да ты бы... того...“

И только. Степа смѣшался, замолчалъ, онъ не знаетъ, куда глаза дѣвать—отъ конфуза. Такъ для него необыкновенна даже такая рѣчь. Но для васъ достаточно и этихъ звуковъ. Вы почувствовали трепетъ живой человѣческой души, на васъ повѣяло дыханіе неумирающаго гуманнаго чувства, этого, по представленію автора, исконнаго свойства русской натуры. То же самое и въ другомъ господствующемъ типѣ мужика, мыслителя, Сократа, энергичнаго дѣятеля и устроителя своего мужицкаго благосостоянія. Хорь и Овсянниковъ — оба обязаны только себѣ. Овсянниковъ живетъ уже въ эпоху свободы и ему, конечно, несравненно легче оберегать свою независимость и личное достоинство. Но Хорь — крѣпостной. Замѣчательно, — онъ такъ же, какъ и мужики-мечтатели и поэты, постарался выдѣлиться изъ общаго мужицкаго круга, даже поселился въ сторонѣ отъ деревни, зажилъ одинъ съ семьей на болотѣ и быстро показалъ, чего можетъ достигнуть даже сравнительно независимый и въ концѣ не подавленный лично мужикъ. Авторъ отнюдь не идеа-

лизируетъ своего героя. Хорь, умѣвшій разбогатѣть, насквозь понимающій и своего барина и вообще жизнь всякихъ господъ и ихъ подданныхъ, относится къ своей дѣятельности и чужимъ взглядамъ крайне осторожно. Это громадная нравственная сила, по существу скептическая, тяжелая на подъемъ, осмотрительная, даже боязливая. Вѣка подневольнаго существованія воспитали въ мужикѣ глубокое сознаніе, чего пной разъ стоитъ одинъ опрометчивый шагъ, воспитали такое представленіе о личной отвѣтственности за каждое слово и дѣйствіе, какое было совершенно недоступно господину.

Нуженъ длинный рядъ опытовъ, чтобы Хорь призналъ пользу такого, повидимому, безусловно-полезнаго пріобрѣтенія, какъ грамота. Но разъ онъ убѣдился въ этой пользѣ, — его уже не остановятъ никакія препятствія, а именно Хорь даетъ автору поводъ для оригинальнаго заключенія: „Петръ Великій былъ, по преимуществу, русскій человѣкъ“. Какая смѣлость, на основаніи наблюденій надъ крѣпостнымъ оброчнымъ мужикомъ составлять характеристику величайшаго изъ государственныхъ реформаторовъ!

Господину Полутыкина, барину Хоря, этого и во снѣ не грезится. Онъ просто видитъ въ своемъ данникѣ ловкаго, оборотливаго дѣльца, попросту кулака. До міросозерцанія Хоря барину нѣтъ никакого дѣла, онъ и не подозреваетъ, насколько этотъ смиренный подданный умственно стоитъ выше его, и какъ ясно видитъ всю мелкоту его души. Является писатель, и въ болотномъ отшельникѣ открываетъ настоящаго русскаго философа, со многими традиціонными и послѣдственными странностями въ родѣ глубокаго презрѣнія къ бабамъ, но съ необыкновенно твердыми и вполне опредѣленными принципіальными воззрѣніями.

Таковы главнѣйшіе мотивы тургеневской народной поэзіи и таковы результаты его наблюденій надъ народомъ. Мы взяли только самыя существенныя данныя, мы опустили множество общихъ чертъ, по мнѣнію автора, присущихъ едва ли не каждому русскому мужику. Припомните, напримѣръ, съ какой настойчивостью Тургеневъ подчеркиваетъ изумительную способность не только взрослыхъ мужиковъ, а даже подростковъ-парней — дѣйствовать просто, находчиво, съ полнымъ самообладаніемъ въ самыхъ критическихъ поло-



женіяхъ? Помните, какъ Ермолай, внезапно затонувъ въ пруду, въ тотъ же моментъ опредѣляетъ, что надо дѣлать, не умѣя плавать, отправляется искать бродъ, долго ищетъ и возвращается къ товарищамъ, такъ основательно изучивъ дно пруда въ теченіе какого-нибудь часа, будто это была открытая дорога. И все это дѣлается молча, безъ всякой похвальбы, будто иначе и быть не можетъ. И авторъ не подчеркиваетъ фактовъ, для насъ достаточно пменно только факта: они, при всей своей будничности, краснорѣчивѣе всѣхъ тирадъ. То же самое съ мальчикомъ Павлушей. На почномъ встревожились собаки. Павлушѣ вспала мысль, что это волки, и онъ, ни минуты не раздумывая, „безъ хворостники въ рукѣ“ скачетъ одинъ и совершенно равнодушно сообщаетъ потомъ своимъ пріятелямъ: „Ничего... Я думалъ волкъ“.

Здѣсь мужики, даже мальчикъ идетъ на вѣрную опасность, не справляясь ни съ какимъ „долгомъ чести“, а просто по внушенію своей великодушной, инстинктивно отважной натуры. И авторъ не скрываетъ своего глубокаго уваженія къ этой натурѣ. Чтобы выразить восторгъ предъ пѣніемъ парня и представить всю мощь прочувствованныхъ звуковъ неотвратимо-чарующаго голоса, онъ говоритъ:

„Русская правдивая душа звучала и дышала въ немъ и такъ и хватала всѣхъ за сердце, хватала прямо за его русскія струны...“ И слезы закипали у слушателя...

Пусть даже и часто, — но слезы, оказывается, могутъ быть вызваны у господина пѣніемъ какого-то черпальщика на бумажной фабрикѣ. И авторъ вложилъ въ своей рассказъ столько искренняго чувства, что ему нельзя не вѣрить, нельзя даже не позавидовать его впечатлѣніямъ. Въ мужикѣ открыты и сердце, и умъ, даже высшій цвѣтъ человѣческой жизни — поэзія. И все это — безъ всякихъ украшеній, цвѣтистыхъ рекомендацій со стороны обладателей этихъ сокровищъ и чувствительныхъ томленій и восторговъ автора. Простая, но геніальная исторія о простыхъ, но великихъ предметахъ!

*Ивановъ.*

## Поэтическая прелесть языка и содержанія въ „Запискахъ охотника“.

Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ прислалъ въ редакцію одного изъ петербургскихъ журналовъ нѣсколько рассказовъ, вошедшихъ впоследствии въ составъ сборника „Записки охотника“, впервые доставившаго ему всемірную извѣстность. Подобные эскизы и маленькія повѣсти продолжали впоследствии появляться въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, не возбуждая никакого подозрѣнія относительно болѣе глубокихъ мотивовъ, положенныхъ въ ихъ основаніи авторомъ, не только въ публикѣ, но даже во всевѣдущей и всевидящей цензурѣ; всѣ видѣли въ рассказахъ молодого автора лишь блестящій литературный опытъ, чисто поэтического характера, полагавшій начало новой формѣ сочиненія въ русской литературѣ, и только замѣтили еще, что въ слогѣ молодого писателя, равно какъ и въ его пониманіи природы проглядывали слѣды вліянія Гоголя. Видно было, что рассказы охотника написаны по плану „Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки“. И дѣйствительно, это была все та же великая скорбная симфонія русской земли; однако въ этотъ разъ артистъ передавалъ ее совершенно въ другомъ родѣ. Въ его рассказахъ не было того ѣдкаго юмора, того безыскусственного, пароднаго — пожалуй, даже вѣриѣе было бы сказать, простонароднаго — характера въ языкѣ и въ изложеніи. наконецъ, тѣхъ горячихъ порывовъ восторженнаго чувства съ внезапными переходами къ горькой прощѣ, которые составляютъ отличительную черту поэтического таланта Гоголя. У Тургенева нѣтъ ни гоголевскаго увлеченія, ни гоголевскаго веселья; весь тонъ повѣствованія у него какъ-то скромнѣе, сдержаннѣе. И ландшафты и люди показываются не при полномъ дневномъ свѣтѣ, а при блѣдномъ освѣщеніи вечерняго заката, сквозь воздушную дымку идеала, но вмѣстѣ съ тѣмъ очерчены совершенно отчетливо, какъ будто характеристическія линіи сконцентрируются въ зрачкѣ неутомимаго наблюдателя. Языкъ у Тургенева тоже безспорно богаче, гибче, мягче нежели у Гоголя; да собственно говоря, ни единый изъ русскихъ писателей до Тургенева не доходилъ до такой выразительности. Это не чистая и



ясная проза Пушкина, который въ свое время зачитывался Вольтеромъ и подчасъ находился подъ впечатлѣніемъ этого чтенія. Рѣчь Тургенева льется плавно и роскошно, подобно тому какъ стелется скатертью подъ сѣнью дремучихъ лѣсовъ, тихо и задумчиво, гармонично шумя въ прибрежныхъ камышахъ и распространяя вокругъ свои неуловимые ароматы, могучая русская рѣка, вынося на своей поверхности полевые цвѣты и оторванные гнѣзда, отражая въ себѣ безконечные ландшафты небесъ и луговъ, и вдругъ теряясь въ сумракѣ лѣсныхъ тѣней; все находитъ себѣ отраженіе въ этой рѣчѣ: и жужжаніе пролетѣвшей пчелки, и ночной крикъ лѣсной птицы, и случайно подувшій и замерзшій, ласкающій вѣтерокъ. При помощи неисчерпаемыхъ средствъ русскаго языка, путемъ мѣткихъ эпитетовъ, своеобразнѣйшихъ сочетаній словъ, какія только можетъ выдумать фантазія поэта, и ловкихъ народныхъ звукоподражательныхъ обозначеній, автору удается воспроизводить самые неуловимые аккорды изъ необъятнаго регистра природы. Я настаиваю особенно на этой сторонѣ тургеньскаго таланта оттого, что, по моему мнѣнію, въ ней кроется главный секретъ огромнаго впечатлѣнія, произведеннаго его первенцемъ. Вся книга, „Записки охотника“, есть лишь одна нескончаемая пѣснь русской земли, со вторяющимъ ей ропотомъ нѣсколькихъ несчастныхъ человѣческихъ душъ, силою художественнаго таланта автора воспроизведенная во всей своей непосредственности въ словахъ и образахъ; рассказчикъ заводитъ васъ въ сердце своей родины и оставляетъ васъ съ глазу на глазъ съ природой и людьми, самъ какъ бы совершенно исчезая. Вы не видите его, а вмѣстѣ съ тѣмъ вы чувствуете, что чья-то искусная рука предупредила васъ и позаботилась извлечь изъ глубины тайниковъ и сосредоточить на поверхности всѣхъ предметовъ ту присущую имъ сокровенную поэзію, пониманіе которой, при непосредственномъ созерцаніи, совсѣмъ ускользаетъ отъ большинства людей, не одаренныхъ исключительно сильной поэтической воспримчивостью, а въ данной передачѣ между тѣмъ открывается само собой самому невпечатлительному читателю.

Въ этомъ отношеніи особенно замѣчателенъ малепькій рассказъ, подъ названіемъ „Бѣжинъ лугъ“. „Бѣжинъ лугъ“ — это поляна, куда въ теплыя лѣтнія ночи крестьяне-подростки

выгоняютъ на пастбу своихъ лошадей. Охотникъ-разсказчикъ сбился съ пути въ вечернемъ туманѣ, и вотъ, послѣ долгаго блужданія по безлюднымъ пустошамъ, покрытымъ предательской ночной мглой, наконецъ, натыкается на костеръ, разведенный среди болотъ, вокругъ котораго расположились маленькіе пастухи. Пришелецъ растягивается у огня, прикидывается, будто заснулъ, и между тѣмъ подслушиваетъ ихъ болтовню. Ребятишки, усѣвшись на корточкахъ кучкой около пылающаго костра, рассказываютъ другъ другу всякія страшныя „полуночныя“ исторіи. Не то, чтобы имъ было страшно, но смутный шопотъ ночи, поднимающійся съ береговъ рѣчонки, крикъ орлана, вой собакъ, почуявшей приближеніе волка къ табуну, невольно вызываютъ въ ихъ темномъ воображеніи представленіе о другихъ, тоже незримыхъ и однако существующихъ силахъ, и вотъ, подъ впечатлѣніемъ висящей надъ ними жуткой тьмы, они начинаютъ припоминать всѣ многообразныя суевѣрія русской деревни. Они толкуютъ о *русалкахъ* — рѣчныхъ феяхъ, — о *лѣшемъ*, о *домовомъ* (особая разновидность „нечистаго“, обитающая въ человѣческихъ жилищахъ) и о своемъ сверстникѣ Ванѣ, утонувшемъ въ прошедшемъ году и теперь занимающемся сманиваніемъ маленькихъ рыбаковъ къ себѣ на дно ручья. Это что-то среднее между дѣтской сказкой, какими няни убаюкиваютъ маленькихъ ребятъ, и фантастической повѣстью Гофмана. съ тѣмъ отличіемъ, что тонъ повѣствованія естественнѣе, такъ сказать, серіознѣе. Прежде всего, поэтъ съ удивительнымъ искусствомъ приводитъ читателя въ требуемое настроеніе. Онъ заставляетъ говорить раньше природу, а потомъ дѣтей, и выходитъ, что природа и дѣти рассказываютъ одиѣ и тѣ же вещи. Собственно говоря, суевѣрные малыши являются лишь выразителями древняго славянскаго міросозерцанія; они пересказываютъ на свой манеръ „Слово о полку Игоревѣ“ — пантеистическую эпопею сѣдой старины, отъ которой ведетъ свое происхожденіе вся русская поэзія. Между тѣмъ ночь близится къ концу, воображеніе утомилось, пробуждающійся день пріободряетъ оробѣвшихъ ребятишекъ, и великолѣпное описаніе солнечнаго восхода завершаетъ блестящимъ заключительнымъ аккордомъ фантастическую минорную симфонію.

Можетъ быть, вы предпочтаете болѣе трогательную жи-



тейскую тему? Въ такомъ случаѣ прочтите разсказъ „Живыя мощи“. Охотникъ случайно забрелъ въ заброшенный каретный сарай и въ полумракѣ натывается на какой-то жалкій, безформенный, неподвижный предметъ, въ которомъ узнаетъ старую дворовую дѣвушку своей матери, когда-то красавицу и хохотунью, а теперь разбитую параличемъ, страдаемую мучительнымъ недугомъ. Этотъ забытый скелетъ лежитъ тутъ подъ полуобрушившимся навѣсомъ, лишенный всякихъ связей съ внѣшнимъ міромъ, оставленный всѣми; всѣ потребности его свелись къ кувшину воды, которую добрые люди отъ времени до времени приносятъ и перемѣняютъ. Присутствіе жизни проявляется въ немъ уже только въ глазахъ, сохранившихъ еще способность видѣть и выражать движенія души, и въ слабомъ подобіи голоса, „напоминающимъ шелестъ листьевъ болотной осоки“. И между тѣмъ въ этой жалкой развалинѣ живетъ возвышенная душа, просвѣтленная страданіемъ, божественно смиренная и въ то же время нѣсколько, въ своемъ абсолютномъ отреченіи отъ всего земного, не утратившая своей примитивной „мужицкой“ простоты. Лукерья рассказываетъ про свое несчастье: какъ однажды она отправлялась ночью послушать соловья и притомъ упала; какъ послѣ того впервые схватилъ ее злой недугъ; какъ всѣ отправленія ея тѣла, всѣ ея житейскія радости стали отмирать одинъ за другимъ; какъ женихъ ея грустилъ, грустилъ и потомъ женился на другой: да и что же ему было дѣлать? Она полагаетъ, что онъ нашелъ счастье въ женитьбѣ! Какъ, вотъ уже много лѣтъ, все развлеченіе ея состоитъ въ томъ, чтобы слушать звонъ колоколовъ сельской церкви и жужжаніе пчелъ на сосѣдней пасѣкѣ. Какъ изрѣдка какая-нибудь ласточка залетитъ подъ ея навѣсъ, и тогда это большое событіе даетъ пищу ея мысли на нѣсколько недѣль. Какъ добры люди, которые приносятъ ей воду, и какъ она признательна имъ за ихъ вниманіе. Она добродушно, почти весело, начинаетъ вспоминать съ молодымъ барномъ старыя времена, напоминаетъ не безъ тщеславія, что была первой плясуньей и первой пѣвуньей на селѣ, и подъ конецъ до того оживляется, что хочетъ попробовать спѣть вполголоса одну изъ пѣсенъ, которую, бывало, пѣвала въ хороводѣ. „Мысль, что это полумертвое существо готовится запѣть, возбуждала во мнѣ

невольный ужасъ. Но прежде чѣмъ я могъ промолвить слово, — въ ушахъ моихъ задрожалъ протяжный, едва слышный, но чистый и вѣрный звукъ... за нимъ послѣдовалъ другой, третій. „Во лужахъ“ пѣла Лукерья. Она пѣла, не измѣнивъ выраженія своего окаменѣлаго лица, уставивъ даже глаза. Но такъ трогательно звѣнѣлъ этотъ бѣдный усиленный, какъ струйка дыма, колебавшійся голосъ, такъ хотѣлось ей всю душу вылить... Уже не ужасъ чувствовать я: жалость несказанная стиснула мнѣ сердце“.

Затѣмъ Лукерья рассказываетъ свои нехорошіе сны, между прочимъ, какъ ей приснилось, что она умерла. И не то, чтобы смерть ее ужасала, напротивъ, она удалялась и отказывалась избавить ее.

Больная отклоняетъ всѣ предложенія помощи со стороны барина; она ничего не желаетъ, ни въ чемъ не нуждается, всѣмъ и всѣми довольна: но когда посетитель собирается уходить, она бросаетъ ему вдогонку одну послѣднюю фразу, въ которой сказывается бывшая женщина: несчастная, видите ли, сознаетъ, какое тяжелое впечатлѣніе должно производить ея изуродованное тѣло, и въ ней пробуждается желаніе отыскать въ себѣ какіе-нибудь слѣды своей исчезшей красоты. — „Помните, баринъ, какая у меня была коса? Помните — до самыхъ колѣнъ! Я долго не рѣшалась... Этакіе волосы!... Но гдѣ же ихъ было расчесывать? Въ моемъ-то положеніи!... Такъ ужъ я ихъ обрѣзала... Да... Ну, простите, баринъ. Больше не могу...“

Я воображаю, какимъ образомъ воспользовались бы тѣмъ же сюжетомъ представители различныхъ нашихъ литературныхъ школъ. Романтикъ добраго стараго времени сосредоточилъ бы все свое стараніе на изображеніи жестокаго рока, обрушившагося на несчастное созданіе. Онъ представилъ бы намъ больную въ видѣ живого протеста противъ существующаго строя вселенной, сдѣлалъ бы изъ нея страждущее чудовище, женщину-квазимодо. Другіе — тѣ, среди которыхъ Тургеневу пришлось прсжить закатъ своихъ дней, — воспользовались бы удобнымъ случаемъ для того, чтобы прочесть намъ курсъ описательной патологій: они проанатомировали бы послѣдовательно всѣ отсохшіе члены, обнажили бы всѣ скрытыя язвы, изслѣдовали бы тщательно отмерзшія группы нервной системы, и въ результатъ несчастная вышла бы, у нихъ, на-



вѣрное, лишь утратившей человѣческой обликъ идіоткой, и только. Писатель съ сильнымъ религіознымъ направленіемъ преобразилъ бы несчастную въ святую мученицу; представилъ бы намъ ее съ сіяніемъ на челѣ, погруженную въ мистическое созерцаніе, — однимъ словомъ, живущею одиѣми небесными радостями. Тургеневъ избѣжалъ заблужденій, какъ тѣхъ, такъ и другихъ: онъ скромно обходитъ подробности физическаго страданія, онъ говоритъ о немъ полусловами, накидываетъ покрывало на трупъ; мы и безъ того чувствуемъ, что имѣемъ дѣло съ одними остатками тѣла, видя эту совершенно обнаженную душу, лишенную плоти. Въ его описаніи мы не встрѣчаемъ ни патетическихъ обращеній, ни антитезъ, и вообще ни одного изъ излюбленныхъ пріемовъ, употребляемыхъ другими писателями съ цѣлью искусственнаго усиленія впечатлѣнія и пораженія воображенія читателя; читатель видитъ передъ собою все время лишь обыкновенное житейское несчастіе — и только. Что касается религіозной стороны, мы видимъ, что кроткая страдальца далека отъ мысли вмѣшивать Бога въ свои мелкія, житейскія бѣды; она и молится ему такъ, какъ привыкла молиться всегда, самымъ обыкновеннымъ образомъ, не выказывая отнюдь больше религіозности, чѣмъ какой можно было ожидать во всякой другой русской крестьянской женщинѣ, которой, вообще, положительно чужда мистика. Идея всего разсказа, какъ и большинства другихъ разсказовъ Тургенева — идея стоическая, немного животная покорность судьбѣ, составляющая отличительную черту русскаго крестьянина, его постоянная готовность безропотно вынести всякое страданіе. При этомъ, однако, высокое дарованіе рассказчика сказывается въ замѣчательномъ соблюденіи мѣры какъ въ реальности, такъ и въ идеализаціи. Авторъ остается безусловно вѣренъ истинѣ въ каждой отдѣльной подробности, рисуя намъ всегда лишь обыкновеннаго средняго человѣка, а въ то же время общее впечатлѣніе получается въ нѣкоторомъ родѣ идеальное. Подобнаго же ангельски кроткаго страдальца авторъ выводитъ въ другомъ очеркѣ, принадлежащемъ къ той же серіи, озаглавленномъ „Уѣздный лѣкарь“; и опять же мы видимъ то же строго выдержанное чувство мѣры. Отдѣльные отрывочные очерки, печатавшіеся подъ общимъ заголовкомъ „Записки охотника“, впоследствии вышли въ одномъ томѣ, и

вотъ тогда-то читатели, до тѣхъ поръ еще сомнѣвавшіеся, поняли, наконецъ, сокровенную идею произведенія, т.-е. увидѣли, что авторъ задался цѣлью обнаружить истинный смыслъ, скрытый Гоголемъ въ „Мертвыхъ душахъ“. Какъ иначе назовете вы эту галерею портретовъ невѣжественныхъ и жестокихъ эгоистовъ-дворянъ, плутовъ-управляющихъ, праздныхъ воровъ-чиновниковъ и, изнывающихъ подъ гнетомъ всей этой стаи мелкихъ хищниковъ, жалкихъ плутовъ, — паріевъ человѣческаго общества, надрывающихъ вамъ душу своимъ убожествомъ и покорностью. Самый планъ изложенія — потому что какъ бы онъ ни былъ замаскированъ, а во всемъ произведеніи все же существуетъ строго выдержанный планъ — былъ тоже совсѣмъ тотъ же, что въ бессмертномъ произведеніи великаго юмориста. Авторъ показываетъ въ пестромъ калейдоскопѣ подъ всевозможными углами зрѣнія жалкую креатуру, которая возбуждаетъ въ зрителѣ то смѣхъ, то состраданіе, не имѣющую потребностей ни средствъ, блуждающую въ потемкахъ; и рядомъ съ рабомъ вырисовывается не менѣе жалкій манекенъ полуцивилизованнаго рабовладельца, въ сущности добраго малаго, но творящаго зло по невѣдѣнію, исковерканнаго фатальной средой. Картина, собственно говоря, должна была бы получиться отвратительная, отталкивающая; но писатель почти совершенно безсознательно смягчилъ впечатлѣніе нѣсколькими изъ тѣхъ прелестныхъ чарующихъ поэтическихъ штриховъ, которые составляютъ почти произвольную, органическую особенность его дарованія. Но въ чемъ же кроется истинная причина надломленности, непормальности всѣхъ выведенныхъ типовъ? Откуда взялась эта маларія въ русской землѣ? Какая болѣзнь породила эти язвы? Разрѣшеніе этихъ вопросовъ Тургеневъ предоставляет прозорливости читателя. Было бы неточно сказать, что Тургеневъ *нападалъ* на крѣпостное право. Русскіе писатели, вслѣдствіе ли внѣшнихъ условій, въ которыхъ поставлена русская литература, или вслѣдствіе своеобразнаго направленія своего таланта, — никогда открыто не нападаютъ на что бы то ни было. У нихъ не въ обычаѣ ораторствовать и обвинять: они пишутъ объективно дѣйствительность, не дѣлая сами никакихъ заключеній, обращаясь не столько къ негодованію, сколько къ состраданію своихъ читателей. Двадцать лѣтъ спустя Достоевскій выпустилъ въ свѣтъ подъ



заглавіемъ „Записки изъ мертвого дома“ свои ужасныя воспоминанія о десяти лучшихъ годахъ жизни, проведенныхъ въ спбирскихъ рудникахъ, и вы увидите опять то же невозмутимое спокойствіе, то же отсутствіе злобы и желчи. Право, авторъ находитъ совершенно естественными всѣ ужасы, которые описываетъ, развѣ, пожалуй, согласится съ вами, что картина дѣйствительно печальна. Эта безграничная покорность вездѣ и во всемъ, какъ я уже говорилъ, есть характеристическая черта, присущая всему русскому племени. Однажды, отдыхая съ дороги, въ одной гостиницѣ въ городѣ Орлѣ, на родинѣ нашего автора, я былъ разбуженъ внезапнымъ барабаннымъ боемъ, раздавшимся съ улицы. Я выглянулъ на базарную площадь и увидѣлъ среди площади позорный столбъ, въ видѣ высокой черной колонны, воздвигнутой на деревянномъ помостѣ, окруженный войсками, выстроенными въ карре, и толпой народа, а къ столбу были привязаны три несчастныхъ парня, съ ярлыками на груди, на которыхъ значились совершенныя ими злодѣянія. Преступники имѣли очень безобидный видъ и какъ бы не сознавали того, что происходило съ ними. Они, право, производили даже очень красивое впечатлѣніе, привязанные къ этому столбу, своими симпатичными головами. Выставка продолжалась такимъ образомъ довольно долгое время, затѣмъ священникъ благословилъ преступниковъ, и послѣднихъ посадили въ телѣжку и повезли назадъ въ острогъ, а солдаты и народъ бросились за ними, осыпая ихъ различными приношеніями въ видѣ всевозможной провизіи и денегъ и самыми теплыми выраженіями участія и соболѣзнованія.

Вотъ такимъ же путемъ дѣйствуютъ въ Россіи и писатели, когда желаютъ добиться какого-нибудь преобразованія: они выставляютъ недуги своей родины къ позорному столбу и въ это же время не могутъ удержаться отъ порывовъ снисхожденія ко злу, которое бичуютъ, разоблачаютъ. Публика слушаетъ и понимаетъ ихъ съ полуслова.

Она поняла и въ этотъ разъ. Крѣпостническая Россія ужаснулась, увидѣвши свое отраженіе въ поставленномъ зеркалѣ, и содрогнулась изъ конца въ конецъ. Авторъ сразу прославился, а дѣло, на защиту котораго онъ выступилъ, было наполовину выиграно.

Къ этому времени подоспѣла смерть Гоголя, и Тургеневъ посвятилъ памяти покойнаго горячую статью. Въ наше время

его статья показалась бы весьма безобидною; между прочимъ, она безпрепятственно помѣщена въ полномъ собраніи его сочиненій. Мало того, безъ предупрежденія мы даже не сумѣли бы отыскать некриминалируемаго мѣста, если бы самъ преступникъ не выдалъ намъ въ одной веселой замѣткѣ тайны своего преступленія.

„По поводу этой статьи, я помню, какъ однажды въ Петербургѣ одна очень высокопоставленная дама порицала взысканіе, которому я былъ подвергнутъ, называя его незаслуженнымъ или, по крайней мѣрѣ, слишкомъ строгимъ. Такъ какъ она горячо защищала меня, то кто-то сказалъ ей: — Вы, значитъ, не знаете, что въ этой статьѣ онъ называетъ Гоголя *великимъ человекомъ*. — Это невозможно! — Я васъ увѣряю. — Ахъ! въ такомъ случаѣ я не могу ничего сказать. Мнѣ очень жаль, но я понимаю, что его должны были запереть“.

За эпитетъ „великій“, приложенный къ имени простого сочинителя, Тургеневъ заплатилъ мѣсячнымъ арестомъ, а затѣмъ ему посоветовали отправиться въ свое имѣніе, „на размышленіе“. Тургеневъ, вѣроятно, подумалъ въ то время, что какъ нашъ міръ дурно устроенъ: вѣдь мы всегда несправедливы къ власти, желающей намъ добра. Между тѣмъ надо сознаться, что иногда произволъ власти оказывается намъ больше на пользу, чѣмъ наши собственные намѣренія. Административныя предписанія не разъ уже играли роль орудій исполненія предначертаній Провидѣнія по отношенію къ великимъ писателямъ. За тридцать лѣтъ до того ссылка спасла Пушкина, оторвавши поэта отъ разсѣянной свѣтской жизни, которую онъ велъ въ Петербургѣ, рискуя совсѣмъ утратить свой талантъ, и удаленіемъ его на востокъ создавши тѣ условія, подъ вліяніемъ которыхъ его художественное дарованіе впоследствии получило такой пышный расцвѣтъ. Точно такъ же, если бы и Тургеневъ въ то время остался въ столицѣ, его юношескій пылъ и компрометирующія знакомства, пожалуй, еще вовлекли бы его въ какую-нибудь бесплодную политическую передрагу; насильственное же возвращеніе къ деревенскому уединенію побудило его опять приняться серіозно за изученіе скромнаго быта русской провинціи и увѣковѣчить свои наблюденія въ своихъ первыхъ большихъ романахъ.

*Мельхиоръ де-Вонъ.*



## Поэтический идеализм и рельефная действительность въ „Запискахъ охотника“.

Въ 1852 году появились въ двухъ томахъ „Записки охотника“, до того времени печатавшіяся въ видѣ отдельныхъ рассказовъ.

Въ обыденномъ смыслѣ слова, этотъ сборникъ рассказовъ нельзя назвать тенденціознымъ произведеніемъ. Авторъ, по-видимому, несколько не возмущается постыдностью самого института рабства, грубостью, наивной жестокостью и сознательной безнравственностью мучителей народа. Онъ не ратуетъ за дѣло освобожденія и не возстаетъ противъ тиранствующихъ помѣщиковъ и помѣщицъ. Онъ рассказываетъ просто и кратко, съ неподражаемымъ искусствомъ и съ убѣдительной силой истины, все, что онъ видѣлъ и пережилъ на родинѣ. Онъ заставляетъ господъ, чиновниковъ, а также и всѣхъ, которые страдаютъ, благодаря имъ или вслѣдствіе установленнаго порядка, жить, дѣйствовать, говорить, на нашихъ глазахъ такъ, какъ они дѣлаютъ это въ дѣйствительной жизни. И, однако, ни одна краснорѣчивая обвинительная рѣчь, проникнутая самымъ справедливымъ негодованіемъ, не возбуждала такого глубокаго отвращенія къ ненавистному злу, которое она должна была побѣдить и уничтожить, не могла привести къ сознанію страшнаго позора крѣпостничества успѣшнѣе, чѣмъ эти простыя, рисованныя съ натуры картинки поэта. Но не всѣ произведенія названнаго сборника проникнуты этимъ духомъ. Не менѣе многочисленны мелкія повѣсти, полны невиннаго юмора и добродушной прелести. Тамъ можно найти и мрачныя, потрясающія исторіи, въ которыхъ трагическій мотивъ заключается не въ крѣпостничествѣ и не въ тогдашнихъ соціальныхъ и политическихъ отношеніяхъ Россіи. Во всѣхъ этихъ рассказахъ встрѣчаются картины природы, полныя освѣжающей прелести и самаго законченнаго мастерства въ изображеніи душевныхъ настроеній, вызываемыхъ природой. Въ „Запискахъ охотника“ видна уже вполне достигшая художественной зрѣлости индивидуальность Тургенева. Въ этихъ рассказахъ такъ же, какъ и въ послѣдующихъ крупныхъ произведеніяхъ его, мы замѣчаемъ уже чудесное сліяніе поэтическаго идеализма и мечтательныхъ

образовъ съ яснымъ созерцаніемъ дѣйствительности, богатства наблюденій съ мѣткой изобразительностью, способность немногими словами сказать все, что нужно, и нарисовать яркую картину — свойства, въ которыхъ такъ нуждается большая часть рассказчиковъ. *Пич.*

---

### Крѣпостное право и „Записки охотника“.

Тургеневъ, какъ извѣстно, провелъ дѣтство и юность въ самой крѣпостнической обстановкѣ; его родители крайне сурово относились къ своимъ людямъ, такъ что, по его собственному свидѣтельству, онъ выросъ „среди побоевъ и истязаній“. Любопытно, что обязанный крѣпостному труду тѣмъ благосостояніемъ, которое окружало его съ дѣтства, онъ и любовью къ литературѣ отчасти обязанъ крѣпостному камердинеру, который читалъ ему украдкой гдѣ-нибудь въ саду или въ дальней комнатѣ „Россіаду“ Хераскова. Окончивъ курсъ въ Московскомъ университетѣ, Тургеневъ отправился для ознакомленія съ настоящей наукой въ Берлинъ, гдѣ сошелся со Станкевичемъ и Грановскимъ. Судя по тому, какъ Станкевичъ относился къ крѣпостному праву въ это время, можно думать, что онъ имѣлъ вліяніе на Тургенева и въ этомъ отношеніи.

Въ 1840 году, послѣ непродолжительнаго пребыванія въ Россіи и поѣздки въ Италію, Тургеневъ снова вернулся въ Берлинъ и слушалъ тамъ лекціи вмѣстѣ съ извѣстнымъ М. Бакунинымъ еще около года. Жизнь и серіозныя занятія за границей не прошли для Тургенева безслѣдно: онъ сталъ совершенно отрицательно относиться къ той „помѣщичьей, крѣпостной“ средѣ, къ которой принадлежалъ по своему происхожденію. „Почти все, что я видѣлъ вокругъ себя, — говоритъ онъ, — возбуждало во мнѣ чувства смущенія, негодованія, отвращенія, наконецъ... Я бросился внизъ головою въ „нѣмецкое море“, долженствовавшее очистить и возродить меня, и когда я, наконецъ, вынырнулъ изъ его волнъ, я все-таки очутился „западникомъ“ и остался имъ навсегда“. Возвратившись изъ-за границы въ 1841 году, Тургеневъ познакомился въ Москвѣ съ славянофильскимъ кружкомъ, но уже тогда отрицательно отнесся къ нему и, напротивъ,



близко сошелся съ западниками, къ числу которыхъ принадлежали Грановскій, Бѣлинскій, Герценъ и др. Тургеневъ попробовалъ было служить въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, но не выдержалъ болѣе двухъ лѣтъ. Его, какъ и нѣкоторые другихъ, имѣвшихъ средства покинуть *тогдашнюю* Россію, потянуло въ западную Европу. „Я не могъ дышать однимъ воздухомъ, оставаться рядомъ съ тѣмъ, что я возненавидѣлъ, — говоритъ Тургеневъ въ своихъ воспоминаніяхъ, — для этого у меня, вѣроятно, не доставало надлежащей выдержки, твердости, характера. Мнѣ необходимо было удалиться отъ моего врага затѣмъ, чтобы изъ самой моей дали сильнѣе напасть на него. Въ моихъ глазахъ врагъ этотъ имѣлъ опредѣленный образъ, носилъ извѣстное имя: врагъ этотъ былъ крѣпостное право. Подъ этимъ именемъ я собралъ и сосредоточилъ все, противъ чего я рѣшился бороться до конца, съ чѣмъ я поклялся никогда не примиряться... Это была моя аннибаловская клятва; и не я одинъ далъ ее тогда себѣ. Я и на Западъ ушелъ для того, чтобы лучше ее исполнить... „Записки охотника“ были написаны мною за границей; нѣкоторыя изъ нихъ — въ тяжелыя минуты раздумья о томъ, вернуться ли мнѣ на родину, или нѣтъ“.

Первый очеркъ изъ „Записокъ охотника“, „Хоръ и Калинычъ“, былъ напечатанъ въ 1-мъ №-ѣ „Современника“ 1847 года, т.-е. всего черезъ мѣсяцъ послѣ появленія повѣсти Григоровича „Деревня“, слѣдовательно (тѣмъ болѣе, что Тургеневъ жилъ въ это время за границей), нельзя никакимъ образомъ предполагать, что обращеніе къ очеркамъ изъ народной и крѣпостной среды было сдѣлано авторомъ подъ вліяніемъ повѣсти Григоровича. Совпаденіе двухъ молодыхъ писателей въ повомъ направленіи ихъ дѣятельности служить лучшимъ доказательствомъ того, что такія произведенія, дѣйствительно, вызывались настоятельною потребностью времени. Впрочемъ, въ первомъ очеркѣ Тургенева крѣпостное право задѣвается лишь мимоходомъ. Помѣщикъ позволяетъ Хорю поселиться особнякомъ на болотѣ, обложивъ его оброкомъ въ 50 руб. въ годъ, а когда тотъ разбогатѣлъ, то оброкъ увеличивается вдвое. Но откупаться на свободу Хоръ не хочетъ, считая, повидимому, чиновниковъ болѣе опасными для себя, чѣмъ власть помѣщика. Хваля

своего помѣщика, очевидно, изъ дипломатѣ, Хорь, однакоже, посмѣивается надъ Калинычемъ, что баринъ, гоняя его съ собою на охоту, не даетъ ему не только на сапоги, но и на лапти, и только „въ прошломъ году гривенникъ пожаловалъ“. Очеркъ этотъ очень понравился Бѣлинскому. „Хорь обѣщаетъ въ васъ замѣчательнаго писателя въ будущемъ“, писалъ онъ автору. И позже Бѣлинскій печатно называлъ этотъ очеркъ лучшимъ изъ всѣхъ „Записокъ охотника“. „Хорь и Калинычъ“ вызвалъ въ высшей степени сочувственный отзывъ даже въ „Москвитяинѣ“, до тѣхъ поръ относившемся къ Тургеневу за его западничество враждебно. Въ статьѣ „О мѣніяхъ „Современника“ историческихъ и литературныхъ“, подписанной буквами М... З... К... и принадлежавшей перу Самарина, рассказъ былъ названъ превосходнымъ, и о немъ было сказано: „Вотъ что значитъ прикоснуться къ землѣ и къ народу: вмгъ дается сила! Пока Тургеневъ толковалъ о своихъ скучныхъ любовяхъ да разныхъ апатіяхъ, о своемъ эгоизмѣ, все выходило вяло и безталанно; но онъ прикоснулся къ народу, — прикоснулся къ нему съ участіемъ и сочувствіемъ, и посмотрите, какъ хорошъ его рассказъ! Талантъ, таившійся въ сочинителѣ, скрывавшійся во все время, пока онъ силился увѣрить другихъ и себя въ отвлеченныхъ и потому небывалыхъ состояніяхъ души, — этотъ талантъ вмгъ обнаружился, и какъ сильно и прекрасно, когда онъ заговорилъ о другомъ! Всѣ отдадутъ ему справедливость, по крайней мѣрѣ, мы спѣшимъ сдѣлать это. Дай Богъ Тургеневу продолжать по этой дорогѣ!“

Гораздо рѣзче, чѣмъ въ „Хорѣ и Калинычѣ“, задѣто крѣпостное право въ слѣдующемъ очеркѣ „Записокъ охотника“ — „Петръ Петровичъ Каратаевъ“. Содержаніе его слѣдующее: одинъ дворянинъ влюбился въ крѣпостную дѣвушку сосѣдней помѣщицы, и она полюбила его. Помѣщица не соглашается продать ее ни за какія деньги и ссылаетъ въ степную деревню; однако герой рассказа уговариваетъ ее бѣжать, несмотря на опасеніе, что за это сошлютъ ее брата. Однако счастье влюбленной парочки продолжается лишь нѣсколько мѣсяцевъ: помѣщица узнаетъ о мѣстопробываніи своей крѣпостной, подаетъ жалобу о прожизительствѣ ея бѣглою дѣвки у дворянина Каратаева; тотъ тратитъ



множество денегъ на закармливаніе мѣстной администраціи и входить въ долги, но, наконецъ, его возлюбленная рѣшается сама выдать себя, чтобы спасти его отъ окончательнаго разоренія. Каратаевъ спивается, а несчастную дѣвушку, безъ сомнѣнія, замучиваютъ или ссылаютъ: авторъ ничего не говоритъ о ея дальнѣйшей судьбѣ, но весь ужасъ ея положенія и безъ того понятенъ читателю. Очеркъ этотъ также поправился Бѣлинскому: въ обзорѣ русской литературы за 1847 г., напечатанномъ въ „Современникѣ“, онъ говоритъ, что въ немъ „талантъ автора высказался съ такою же полнотою, какъ въ лучшихъ изъ рассказовъ охотника.

Въ 6-мъ №-ѣ „Современника“ 1847 года появился новый рассказъ Тургенева: „Ермолай и мельничиха“. Помѣщица положила себѣ за правило не держать замужнихъ горничныхъ; она и ея мужъ не отступаютъ отъ этого правила и ради ея любимой горничной, десять лѣтъ вѣрою и правдою ей служившей и умоляющей дозволить ей выйти замужъ за ихъ же лакея, при чемъ эта горничная могла бы, слѣдовательно, попрежнему продолжать исполненіе своихъ обязанностей. Любовь беретъ, однако, свое, и тогда въ наказаніе ей остригаютъ косу, одѣваютъ въ затрапезное платье и ссылаютъ въ деревню. Съ негоднаго къ работѣ „лядящаго“ Ермола, — другой герой этого рассказа, — казалось бы, господамъ взять нечего: ему дозволяется жить, гдѣ онъ хочетъ, съ обязанностью, однако, доставлять на господскую кухню разъ въ мѣсяцъ пары двѣ тетеревей и куропатокъ, при чемъ „пороху и дроби ему... не выдавали, слѣдуя тѣмъ же правиламъ, въ силу которыхъ и онъ не кормилъ своей собаки“. Бѣлинскому очеркъ поправился; но нужно замѣтить, что, вообще, при всемъ сочувствіи его къ Тургеневу, Бѣлинскому не удалось вполне оцѣнить его талантъ; это особенно замѣтно, если сравнить его отзывы о Тургеневѣ съ его же отзывами о Григоровичѣ. „Мнѣ кажется, — писалъ онъ Тургеневу, — у васъ чисто творческаго таланта или нѣтъ, или очень мало, и вашъ талантъ однороденъ съ Далемъ. Это вашъ настоящій родъ. Вотъ хоть бы „Ермолай и мельничиха“: не Богъ знаетъ что — бездѣлка, а хорошо, потому что умно и дѣльно, съ мыслию“. Бѣлинскій горячо поддерживалъ Тургенева въ новомъ направленіи его дѣятельности: „найти свою дорогу“. — писалъ онъ ему, — узнать свое

мѣсто. — въ этомъ все для человѣка, это для него значить сдѣлаться самимъ собою“.

Изъ очерка „Лыговъ“, напечатаннаго въ той же книжкѣ „Современника“, мы узнаемъ горемычную судьбу одного двороваго. Онъ началъ свою службу барину казачкомъ, потомъ былъ послѣдовательно фореиторомъ, садовникомъ и доѣзжачимъ. Ёздя съ собаками, онъ упалъ вмѣстѣ съ лошадыю: и самъ ушибся, и лошадь зашибъ; за это баринъ велѣлъ его выпоротъ и отдать въ ученье въ Москву къ сапожнику, несмотря на то, что ему было тогда болѣе двадцати лѣтъ. Когда старый баринъ скоро умеръ, его вернули въ деревню, и затѣмъ лѣтъ двадцать имъ владѣла дочь этого помѣщика. У нея онъ былъ поваромъ, никогда не учась кулинарному искусству, а затѣмъ кофешенкомъ, т.-е. состоялъ при буфетѣ, при чемъ барыня даже переименовала его изъ Кузьмы въ Антопа; исполнялъ онъ и обязанности актеровъ, но за то, что братъ его сбѣжалъ, былъ опять разжалованъ въ повара. Женился дворовымъ барыня никому не позволяла, говоря: „Вѣдь живу же я такъ въ дѣвкахъ, что за баловство! чего имъ надо!“ Когда эта барыня продала свое имѣніе другому помѣщику, дворовый, о которомъ идетъ рѣчь, продолжалъ исполнять обязанности повара, а при его наслѣдникѣ сдѣланъ былъ кучеромъ. Но тутъ имѣніе было опять продано новой барынѣ, которая нашла, что кучеромъ ему быть неприлично и превратила его въ рыболова, приказавъ сбрить бороду и содержать прудъ въ порядкѣ. Жалованья онъ не получалъ, ему выдавались только харчи, но онъ былъ совершенно доволенъ барскою милостью, особенно сравнивая свою жизнь съ судьбою другого старика, котораго барыня приказала поставить на бумажную фабрику, такъ какъ „грѣшно даромъ хлѣбъ ѣсть“. Тутъ вся исторія жизни дворовыхъ: господа распоряжаются ихъ личностью, какъ имъ придетъ въ голову, заставляютъ исполнять самыя разнообразныя обязанности, къ которымъ тѣ вовсе и не подготовлялись, и, между тѣмъ, строго взыскиваютъ не только за ихъ собственные ошибки, но даже и за провинности ихъ родственниковъ, и, въ то же время, вмѣсто всякой награды, отказываютъ имъ въ удовлетвореніи даже такихъ естественныхъ желаній, какъ вступленіе въ бракъ. Это рабы въ полномъ смыслѣ слова, которыхъ господинъ можетъ ли-



шить, по своему капризу, даже имени, данного при крещеніи, и замѣнить его другимъ. Этотъ сжатый очеркъ ужасной судьбы дворовыхъ проникнутъ не презрѣніемъ къ этимъ несчастнымъ, а самымъ теплымъ сочувствіемъ и состраданіемъ.

Минуя тѣ очерки изъ „Записокъ охотника“, въ которыхъ авторъ не затрогиваетъ крѣпостного права, мы переходимъ къ напечатанному въ 10-мъ № „Современника“ 1847 года разсказу „Бурмистръ“. Въ концѣ его помѣта: „Зальцбруннъ въ Сплезин, іюль 1847 года“. Это мѣсто было памятно автору тѣмъ, что въ концѣ мая онъ привезъ сюда больного Бѣлинскаго, котораго, впрочемъ, скоро сдалъ на руки П. В. Анненкова и который уѣхалъ оттуда 3-го іюля; разсказъ, если не оконченъ, то, по крайней мѣрѣ, начатъ при Бѣлинскомъ, и, по всей вѣроятности, не случайность, въ виду особенно живаго интереса въ это время Бѣлинскаго къ крестьянскому вопросу, что очеркъ этотъ изъ „Записокъ охотника“ рѣзко задѣваетъ крѣпостное право и чрезвычайно живо рисуетъ выросшихъ на его почвѣ звѣрей-помѣщиковъ и звѣрей-кулаковъ изъ тѣхъ же крѣпостныхъ. Какъ хорошъ, напр., помѣщикъ Пѣночкинъ:

„Аркадій Павлычъ, говоря собственно его словами, строгъ, но справедливъ, о благѣ подданныхъ своихъ печется и наказываетъ ихъ для ихъ же блага. „Съ ними надобно обращаться, какъ съ дѣтьми!— говоритъ онъ въ такомъ случаѣ.— Невѣжество, *mon cher; il faut prendre cela en considération*“, Самъ же, въ случаѣ такъ называемой печальной необходимости, рѣзкихъ и порывистыхъ движеній избѣгаетъ и голоса возвышать не любитъ, но болѣе тычетъ рукою прямо, спокойно приговаривая: „вѣдь я тебя просилъ, любезный мой“, или: „что съ тобою, другъ мой, опомнись“, при чемъ только слегка стискиваетъ зубы и кривитъ ротъ... Дворовые люди Аркадія Павлыча посматриваютъ, правда, что-то исподлобья, но у насъ на Руси угрюмаго отъ заспаннаго не отличишь“.

Примѣненіе на дѣла административныхъ принциповъ г. Пѣночкина прекрасно рисуется въ слѣдующей сценѣ:

„— Отчего вино не нагрѣто?— спросилъ онъ довольно рѣзкимъ голосомъ одного изъ камердинеровъ.

„Камердинеръ смѣшался, остановился, какъ вкопанный, и поблѣднѣлъ.

„— Вѣдь, я тебя спрашиваю, любезный мой? — спокойно продолжалъ Аркадій Павлычъ, не спуская съ него глазъ.

„Несчастный камердинеръ помялся на мѣстѣ, покрутилъ салфеткой и не сказалъ ни слова. Аркадій Павлычъ потупилъ голову и задумчиво посмотрѣлъ на него исподлобья.

„— Pardon, mon cher, — промолвилъ онъ съ пріятной улыбкой, дружески коснувшись рукой до моего колѣна, и снова уставился на камердинера. — Ну, ступай, — прибавилъ онъ послѣ небольшого молчанія, поднявъ брови, и позвонилъ.

„Вошелъ человѣкъ толстый, смуглый, черноволосый, съ низкимъ лбомъ и совершенно заплывшими глазами.

„— Насчетъ Ѳедора... распорядиться, — проговорилъ Аркадій Павлычъ вполголоса и съ совершеннымъ самообладаніемъ“.

Если бы за подлинность подобныхъ типовъ не была достаточною порукой художественная правда произведеній Тургенева, то мы могли бы еще указать читателямъ на изображеніе подобной же личности въ мемуарахъ сельскаго священника, напечатанныхъ въ „Русской Старинѣ“. Оригиналь этого послѣдняго, г. Б., съ такимъ же спокойствіемъ истязалъ своихъ крѣпостныхъ и, между прочимъ, своихъ собственныхъ актеровъ и актрисъ.

Если дворовые г-на Пѣночкина страдали отъ его тяжелой руки, то крестьяне одного изъ его имѣній, платившіе при маломъ количествѣ земли такой оброкъ, что самъ господинъ удивлялся, какъ они сводятъ концы съ концами, были отданы на жертву бурмистру, столь же самовластно распоряжающемуся съ крестьянами, какъ управляющій въ повѣсти Григоровича „Антонъ Горемыка“, напечатанной позже мѣсяцемъ въ томъ же „Современникѣ“. Крестьянинъ жалуется, что невзлюбившій его за то, что онъ повздорилъ съ нимъ на сходкѣ, бурмистръ въ конецъ разорилъ его: отдалъ безъ очереди въ рекруты двухъ сыновей, — отнимаетъ и третьяго; онъ же свелъ со двора послѣднюю корову; взнеся за него однажды недоимку, бурмистръ уже пятый годъ держитъ его въ кабалѣ. Ужасно было положеніе и другихъ: по разсказу посторонняго мужика бурмистръ имъ, „какъ своимъ добромъ владѣетъ“. Крестьяне ему кругомъ должны; работаютъ на него, словно батраки.



Въ напечатанномъ одновременно съ „Бурмистромъ“ очеркъ „Контора“ авторъ изображаетъ представителей крѣпостной бюрократіи; главный конторщикъ также имѣетъ нѣкоторое сходство съ управителемъ въ повѣсти „Антонъ Горемыка“: какъ тотъ беретъ взятки съ мельника, такъ этотъ корыстуетъ отъ кунца при продажѣ ему барскаго хлѣба и отъ крѣпостныхъ крестьянъ-плотниковъ, чтобы ихъ безъ толку не требовали на работу; есть и новыя черты; такъ, по его интригамъ барыня ссылаетъ дѣвушку, не поддающуюся его ухаживаніямъ. Не сразу, впрочемъ, онъ добился такой власти: было время, что и онъ находился въ опалѣ и пожилъ въ мужицкой избѣ.

Въ февральской книжкѣ „Современника“ 1848 года было сразу напечатано шесть очерковъ изъ „Записокъ охотника“; изъ нихъ только въ одномъ „Малиновая вода“, было задѣто, и то слегка, крѣпостное право. Тутъ фигурируетъ, съ одной стороны, вольноотпущенный, бывшій дворецкій одного графа, восхваляющій барина, съ другой стороны — крестьянинъ, только что потерявшій сына-работника и просившій барина уменьшить съ него оброкъ (95 руб. съ тягла). П., получивъ отказъ, крестьянинъ не унываетъ: „Мнѣ съ полагоря, взять-то съ меня нечего... безотвѣтная моя голова“. Этотъ очеркъ „не очень понравился“ Бѣлинскому, да и вообще эти шесть рассказовъ, въ которыхъ авторъ, за исключеніемъ одного, совершенно игнорируетъ крѣпостное право, показались Бѣлинскому, по его словамъ въ письмѣ къ П. В. Анненкову, „слабѣе прежнихъ“.

Въ напечатанномъ уже по смерти Бѣлинскаго („Современникъ“ 1894 г., № 2) очеркъ изъ „Записокъ охотника“ — „Чертопхановъ и Недоплюскинъ“ авторъ только вскользь задѣваетъ въ одномъ мѣстѣ крѣпостничество въ характеристикѣ Чертопханова — отца, который, въ числѣ другихъ своихъ чудачествъ, велѣлъ однажды перепоротъ всѣхъ старыхъ бабъ на деревнѣ, сочтя ихъ виновными въ колдовствѣ, когда три раза сряду обрушивался куполь воздвигаемой имъ церкви. Онъ же „вычиталъ однажды въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ статейку харьковскаго помѣщика Хряка-Хруперскаго о пользѣ правдивости въ крестьянскомъ быту, и на другой же день отдать приказъ всѣмъ крестьянамъ немедленно выучить статью харьковскаго помѣщика наизусть... Около

того же времени повелѣлъ онъ всѣхъ подданныхъ своихъ для порядка и хозяйственнаго расчета перенумеровать и каждому на воротникѣ нашить его номеръ. При встрѣчѣ съ баринѣмъ всякъ, бывало, такъ ужъ и кричитъ: такой-то номеръ идетъ! а баринъ отвѣчаетъ ласково: ступай себѣ съ Богомъ!

Безъ сомнѣнія, не малый матеріалъ для бичеванія съ разныхъ сторонъ крѣпостного права доставило Тургеневу жестокое отношеніе его родителей къ своимъ крѣпостнымъ. Въ концѣ эти крѣпостные вздохнули свободнѣе: мать Тургенева, наконецъ, умерла, и Иванъ Сергѣевичъ, вернувшись изъ-за границы въ доставшееся ему вмѣстѣ съ старшимъ братомъ Николаемъ родовое имѣніе, немедленно отпустилъ всѣхъ своихъ дворовыхъ на волю и перевелъ на оброкъ пожелавшихъ этого крестьянъ. Но, все-таки, его крестьяне тогда не были освобождены изъ крѣпостного состоянія, какъ то можно было ожидать отъ человѣка, давшего „аннибаловскую клятву“ противъ крѣпостного права; быть можетъ, Тургеневъ предполагалъ, что безъ его защиты они сдѣлаются добычею алчности мѣстной администраціи: не даромъ эту мысль онъ влагаетъ въ уста одного изъ героевъ его разсказа „Хорь и Калинычъ“, но возможно и то, что, желая поскорѣе вновь уѣхать за границу, онъ пугался тѣхъ ужасныхъ проволокъ, съ которыми совершалось освобожденіе крестьянъ цѣлыми вотчинами, т.-е. переходъ ихъ въ свободные хлѣбопашцы.

Въ началѣ 1852 г. Тургеневъ собралъ отдѣльные очерки изъ „Записокъ охотника“ и издалъ ихъ въ Москвѣ въ двухъ частяхъ. Это изданіе, имѣвшее значительный успѣхъ, возбудило противъ автора сильное неудовольствіе въ офиціальномъ мірѣ. Московскій цензоръ кн. Львовъ былъ временно отставленъ отъ должности за то, что пропустилъ отдѣльное изданіе „Записокъ охотника“; поднимался даже вопросъ о конфискаціи книги. Къ этому присоединилось, въ видѣ отягчающаго обстоятельства, продолжительное пребываніе Тургенева за границей, особенно въ Парижѣ, а именно въ 1848 г., а также и его близкія отношенія къ лицамъ, которыя уже давно были „на дурномъ счету“. Поводомъ къ административной карѣ, какъ извѣстно, послужило напечатанное имъ въ мартѣ 1852 г. въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ письмо по поводу смерти Гоголя; но Тургеневъ самъ говоритъ, что



наказаніе постигло, „въ сущности, за „Записки охотника“. Иванъ Сергѣевичъ былъ отправленъ на мѣсяць „на съѣзжую“, но, благодаря почитателямъ его таланта, дочерямъ частнаго пристава, онъ провелъ большую часть этого времени въ квартирѣ ихъ отца, гдѣ подготавливалъ новый ударъ крѣпостному праву, написавъ здѣсь рассказъ „Муму“, а затѣмъ былъ высланъ административнымъ порядкомъ на жительство въ свою деревню. Ссылка продолжалась до 1854 г. и, благодаря ей, безъ сомнѣнія, рассказъ, написанный Тургеневымъ подъ арестомъ, былъ напечатанъ только въ 1854 г. („Современникъ“, № 3). Эта трогательная исторія производитъ особенно сильное впечатлѣніе потому, что наглядно показываетъ до какой ненужной жестокости доходили душевладѣльцы относительно своихъ крѣпостныхъ: капризная барыня лишаетъ своего лучшаго работника, глухонѣмого, его собачки, оставшейся для него единственнымъ утѣшеніемъ въ его печальной жизни послѣ того, какъ барыня выдала замужъ и отослала въ деревню дворовую дѣвушку, къ которой онъ былъ расположенъ. Замѣтимъ еще, что, какъ оказывается изъ посмертныхъ воспоминаній о Тургеневѣ, этотъ превосходный рассказъ былъ воспроизведеніемъ факта, случившагося въ семьѣ Ивана Сергѣевича: жестокая барыня, велѣвшая утопить собачку Муму, была мать автора; и глухонѣмой крестьянинъ Герасимъ дѣйствительно существовалъ.

Въ томъ же 1852 году былъ написанъ не менѣе сильный рассказъ „Постоялый дворъ“. Тутъ мы видимъ, какъ помещица, дозволивъ своему крѣпостному, аккуратно платившему ей весьма значительный оброкъ, купить на ея имя полдесятины земли для заведенія постоялаго двора, потомъ продаетъ этотъ дворъ, какъ свою собственность, другому, при чемъ покупателемъ является любовникъ жены прежняго хозяина, бывшей горничной той же госпожи, и покупка совершается на деньги, похищенные этою женщиною у своего мужа. Послѣ попытки поджечь такъ нагло отнятое у него жилище, этотъ несчастный человѣкъ дѣлается странствующимъ богомольцемъ, христіанское незлобіе котораго такъ велико, что онъ никогда не забываетъ даже принести разорившей его барынѣ „просвиру съ вынутымъ задравнымъ“. Этотъ прелестный рассказъ, едва ли не лучший изъ всего написаннаго Тургеневымъ о крѣпостномъ правѣ, появился въ печати,

вѣроятно, по цензурнымъ причинамъ, лишь черезъ три года послѣ того, какъ онъ былъ написанъ, уже въ новое царствованіе („Современникъ“ 1855 г., № 11). Выставленный въ немъ фактъ злоупотребленія крѣпостнымъ правомъ,— нужно замѣтить, вовсе не составлявшій чего-нибудь неслыханнаго въ то время,— былъ, тѣмъ не менѣе, такимъ вопіющимъ нарушеніемъ справедливости, что предложеніе разорить одного изъ ея лучшихъ крестьянъ ужаснуло въ первую минуту даже барыню (по натурѣ вовсе не злую), когда она услышала о томъ отъ своей экономки, но жадность къ деньгамъ и сознаніе полной безнаказанности этого наглаго грабежа среди бѣлаго дня одержали верхъ надъ всякими сомнѣніями. А грабежъ былъ, дѣйствительно, совершенно безнаказанный: по закону 1848 г. крѣпостнымъ людямъ не дозволялось возбуждать какіе бы то ни было споры объ имуществѣ, пріобрѣтенномъ ими до того времени на имя помѣщика.

Такимъ образомъ въ своихъ разсказахъ изъ народнаго быта, написанныхъ съ 1846 по 1852 г., Тургеневъ затронулъ главнѣйшія стороны быта крѣпостныхъ: тяжесть повинностей, иногда при недостаточномъ количествѣ земли, зависимость отъ барской воли даже въ дѣлѣ женитьбы и лишеніе иной разъ права на нее въ теченіе всей жизни, телесныя наказанія, горемычная доля двороваго, злоупотребленія сельскихъ начальниковъ и управителей, барскія чудачества и самодурство, наконецъ, непризнаніе за крѣпостнымъ права собственности на имущество, нажитое его личнымъ трудомъ.— все это отражается въ живыхъ, талантливыхъ очеркахъ. Конечно, дѣйствительность могла бы подсказать въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ еще болѣе ужасныя картины, чѣмъ тѣ, какія мы находимъ у Тургенева, но, во-первыхъ, и безъ того совокупность очерковъ, посвященнымъ имъ крѣпостному праву, производитъ на читателя самое сильное впечатлѣніе, а во-вторыхъ, мы должны помнить, что художникъ не могъ съ полною свободою рисовать все то, что онъ наблюдалъ при созданіи своихъ произведеній. Однакоже, и въ томъ видѣ, какъ онъ были написаны или, по крайней мѣрѣ, появились въ свѣтъ, „Запискамъ охотника“ суждено было не только имѣть огромное гуманизирующее вліяніе на все русское общество, но сыграть даже еще болѣе важную роль въ исторіи крестьянскаго вопроса: по собственному



свидѣтельству Тургенева, императоръ Александръ II самъ сказалъ ему, что „съ тѣхъ поръ, какъ онъ прочелъ „Записки охотника“, его ни на минуту не оставляла мысль о необходимости освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости“. Фактъ этотъ тѣмъ болѣе для насъ важенъ, что ранѣе того, въ мартѣ 1849 года, въ секретномъ комитетѣ, учреждаемомъ подъ его предсѣдательствомъ для обсужденія закона (8 ноября 1847 г.) о правѣ крестьянъ выкупаться на свободу при продажѣ имѣній съ аукціона, наследникъ цесаревича Александръ Николаевичъ (такъ же какъ и принцъ Ольденбургскій), вопреки мнѣнію Киселева, Блудова и Вронченка, подалъ голосъ за отмѣну этого закона вмѣстѣ съ крѣпостниками кн. Чернышевымъ, гр. Орловымъ и министромъ внутреннихъ дѣлъ Перовскимъ.

*Семевскій.*

### Общественное значеніе „Записокъ охотника“.

Извѣстно, какой переполохъ возбудилъ общій смыслъ „Записокъ охотника“, когда онѣ вышли отдѣльнымъ изданіемъ. Этотъ роковой общій смыслъ, повидимому, совершенно разрозненныхъ и неумышленно-правдивыхъ рассказовъ заключался, какъ всѣмъ извѣстно, въ обнаруженіи всѣхъ непривлекательныхъ сторонъ положенія нашего простого народа подъ крѣпостною властью помѣщиковъ, вмѣстѣ же съ тѣмъ весьма многихъ, вполнѣ привлекательныхъ сторонъ нрава простого русскаго человѣка, умѣвшаго остаться человѣкомъ и при самомъ нечеловѣческомъ положеніи. Умѣніе указать на все это въ сороковыхъ годахъ составляетъ со стороны И. С. Тургенева (вмѣстѣ съ Григоровичемъ) тѣмъ болѣе неоцѣнимую заслугу, что до того наша литература текущаго вѣка въ лицѣ именно крупныхъ своихъ представителей умѣла какъ-то оставаться почти безучастною ко всему этому. Извѣстно, что и Пушкинъ почти не подходилъ къ народу съ этой стороны. Даже у Гоголя онъ затрогивался преимущественно во внѣшнихъ комическихъ своихъ проявленіяхъ, на язву же крѣпостного права указывалось только косвеннымъ образомъ тѣмъ, что выводилась во всей ея отвратительной наготѣ нечеловѣческая пошлость нашего помѣщичьяго быта, — по-

шлость, зависѣвшая, главнымъ образомъ, отъ возможности пользоваться всѣми благами, не прилагая и малѣйшей капли труда. Не только одни умозрѣнія, но и живые приемы повѣсти послужили позорному дѣлу такой отсрочки, создавая изъ нашей народной жизни пріятно убаюкивающую идиллію. И отголоски такой идилліи сохранились у насъ до временъ ближайшихъ къ Тургеневу, между тѣмъ какъ, съ другой стороны, обнаруживались и зародыши противоположной крайности — выставленіе народа совсѣмъ уже отупѣлымъ, почти изведеннымъ на степень животнаго. Какъ же послѣ этого не превозпестъ въ „Запискахъ охотника“ именно, то, что правдиво обнаруживали всю бѣдственность положенія народа, онѣ столько же правдиво, не убѣлая и не черня, представляютъ намъ въ простомъ народѣ — людей.

Въ нѣкоторыхъ разсказахъ своихъ охотникъ, т.-е. нашъ писатель, даже не затрогиваетъ крѣпостного вопроса, а просто рисуетъ намъ такіе типы крѣпостныхъ людей, въ которыхъ оказывается гораздо болѣе человѣческаго, чѣмъ во многихъ типахъ помѣщичьихъ. Вотъ передъ нами дѣтскій крестьянскій міръ въ „Бѣжномъ лугѣ“, со всею налегшей на него съ колыбели непроглядной тьмой суевѣрій, но и со всею бодростью и находчивостью существъ, тоже почти съ колыбели выведенныхъ на открытое поле жизни и предоставленныхъ почти совершенно самимъ себѣ. Есть, однако, и между ними болѣе приголубленные судьбою въ лицѣ болѣе зажиточныхъ родителей, но нѣтъ между ними такихъ, которыхъ бы она приголубила до того, чтобы довести до состоянія комнатнаго растенія. А вспомните этотъ яркій, поразительный образъ Павлуши, такъ спокойно готовящагося встрѣтить волка, и согласитесь, что въ эту минуту далеко до него какому-нибудь изнѣжившемуся барчуку, хотя бы и вовсе не суевѣрному! А вотъ передъ вами простой народный кабакъ со всею его неприглядною обстановкою и со всѣми его, болѣе или менѣе сбившимися съ пути, посѣтителями („Пѣвцы“). И что же, на этой совершенно низкой ступени тѣхъ чувственныхъ наслажденій, до какихъ въ состояніи испастъ человѣкъ, разомъ сказываются во всѣхъ этихъ забулдыгахъ порывы къ высшему — къ этой внезапной жадѣ упиться пѣсней, въ этомъ приковывающемъ всѣхъ состязаній двухъ пѣвцовъ и обаятельномъ дѣйствіи ихъ, всѣхъ давно извѣстныхъ, но всегда отвѣ-



чающихъ на запросы народа, пѣсенъ. И согласитесь, что въ эту минуту, кабакъ представляетъ намъ болѣе признаковъ человѣческой жизни, чѣмъ тотъ барскій покой Ивана Пикифоровича, среди котораго онъ лежалъ въ натурѣ, или даже чѣмъ тотъ, поэтически выставленный Гоголемъ, уголокъ „Старосвѣтскихъ помѣщиковъ“, въ которомъ почти исключительно раздавалась бескончаемая бесѣда о томъ, „чего бы такого покушать? — А вотъ передъ нами одинъ изъ тѣхъ характерныхъ представителей въ своемъ родѣ поэтическаго начала народной жизни, которые носятъ названіе „юродивыхъ“ или „блаженныхъ“ („Касьянъ съ Красивой Мечи“). Природа, не давъ ему вырасти выше дѣтскаго роста и по внутреннимъ качествамъ, оставила его какъ будто бы навсегда ребенкомъ — съ чисто дѣтскою способностью не думать о завтрашнемъ днѣ, съ чисто дѣтскою сердечною привязанностью ко всѣмъ тварямъ. Но взгляните, и вы замѣтите въ немъ при этомъ уже вовсе не дѣтскую способность къ широкохватающимъ обобщеніямъ. У него не только сжимается сердце при мысли о тѣхъ бѣдныхъ птичкахъ, которымъ придется стать жертвой забавы охотника, но онъ и разсуждаетъ объ этомъ такимъ образомъ: „Кровь — святое дѣло кровь! Кровь солнышка Божія не видить, кровь отъ свѣту прячется... великій грѣхъ показать свѣту кровь — охъ, великій!“ И въ этомъ „юродивцѣ“, конечно, гораздо живѣе сказывается человѣкъ, чѣмъ въ свѣтски натертыхъ, эlegantныхъ представителяхъ нашего благороднаго класса въ родѣ Пѣпочкина, приказывающаго выпороть своего слугу за ненагрѣтое вино за завтракомъ („Бурмистръ“), или же Мардарія Аполлоныча Стегунова, съ добрѣйшей улыбкой вторащаго ударамъ исправительныхъ розогъ: „Чюки-чюки-чюкъ! чюки-чюки-чюкъ!“ („Два помѣщика“). Но и другимъ еще образомъ сказывается въ Касьянѣ та особаго рода разумность, которую такъ любить скрывать самъ народъ въ своихъ сказкахъ подъ кажущеюся глупостью любимаго ихъ лица — Иванушки. Повидимому, до совершеннѣйшей безотвѣтности выносивъ Касьянъ и даже готовъ признать, что опека, конечно, совершенно справедливо разсудила, переселивъ его вмѣстѣ съ другими съ привольной Красивой Мечи на новое, непривольное мѣсто; а между тѣмъ, такъ и рвется его поэтическая душа изъ этой „тѣсноты, сухмена“ на широкій, вольный просторъ — „и туда и сюда, вплоть до теп-

лыхъ морей съ сладкогласными птицами, съ золотыми яблоками на серебряныхъ вѣткахъ и довольствомъ и справедливостью для каждаго человѣка“. II, что особенно замѣчательно, сей-часъ же при этомъ переносится его уже нмало не себя-любивая мысль къ другимъ, такимъ же, какъ онъ, горемыкамъ... „Много, — тужить онъ, — другихъ крестьянъ въ лап-тахъ ходятъ, по міру бродятъ, правды ищутъ... да! А то что дома-то, а? Справедливости въ человѣкѣ нѣтъ, вотъ оно что...“

„Справедливости въ человѣкѣ нѣтъ“ — вотъ чѣмъ заканчи-вается Касьянъ; и въ этомъ слышится уже затаенный и краткій, по самой своей обобщенности, жизненный выводъ на-рода изъ явленій крѣпостного права. Но юродивецъ Касьянъ го-раздо живѣе чувствуетъ неправду его, чѣмъ другія, столько же поэтическія личности въ самомъ народѣ, только не отмѣчен-ныя печатью „юродства“. Вполнѣ безотвѣтнымъ, любовно-благоговѣющимъ передъ своимъ господиномъ является въ „За-пискахъ охотника“ народный романтикъ Калинычъ. „Ужъ ты его у меня не трогай“, говоритъ онъ про помѣщика Полутыкина другу своему, народному реалисту Хорю; и на возраженіе послѣдняго: „А что онъ тебѣ сапоговъ не со-шьетъ?“ спокойнѣйшемъ образомъ отвѣчаетъ: „Эка, сапоги! на что мнѣ сапоги? я мужикъ“. Но при такой незлобливой готовности примиряться съ существующимъ порядкомъ вещей, тѣмъ болѣе васъ отталкиваетъ нравственный кругозоръ по-мѣщика Полутыкина: вспомните безчувственно-откровенное признание его про Калиныча: „Усердный, услужливый му-жикъ; хозяйство въ исправности, иначе, содержать не мо-жетъ: я его все оттягиваю. Каждый день со мною на охоту ходитъ... Какое ужъ тутъ хозяйство, посудите сами“. Въ лицѣ Калиныча Тургеневъ развернулъ передъ нами ту сторону природы русскаго человѣка, которая сказывалась, между про-чимъ, и въ знаменитыхъ, уже совсѣмъ отживающихъ, типахъ нашихъ дядекъ и нянекъ крѣпостной поры. Наши наблюда-тели правовъ изъ „благороднаго“ лагеря любятъ объяснять эти типы преобладаніемъ человѣчности въ отношеніяхъ по-мѣщиковъ къ крѣпостнымъ; но едва ли не вѣрнѣе его объ-яснять добродушіемъ самого народа. Было бы однакоже странно, если бы подобныя сердечныя отношенія къ госпо-дамъ являлись въ немъ сплошь и къ ряду. II вотъ въ на-



родѣ оказывались и совершенно другія личности — съ рѣшительнымъ перевѣсомъ разсудка, замѣчательно развитого жизнию; личности себѣ на умѣ, умѣвшія достигать довольно выгоднаго положенія, несмотря на крѣпостное право, а иногда и благодаря ему. Такимъ-то является Хорь, насквозь видѣвшій своего помѣщика, и потому-то именно не только умѣвшій нажить себѣ и дѣтямъ своимъ сапоги, но даже находившій совершенно излишнимъ (хотя и могъ бы) выкупиться на волю. То же практическое направленіе доведено уже до самыхъ крайнихъ предѣловъ въ лицѣ бурмистра помѣщика Пѣночкина. Вспомните его холопскіе панегирики помѣщичьей власти, которые представлялись помѣщику чрезвычайно touchants, а панегиристъ между тѣмъ довелъ имѣніе его до того, что оно только числилось за Пѣночкинымъ, на самомъ же дѣлѣ владѣлъ имъ бурмистръ, — владѣлъ, забравъ къ себѣ въ кабалу всѣхъ крестьянъ, въ чьихъ жалобахъ Пѣночкинъ если и видѣлъ *côté de la médaille*, то слишкомъ оберегалъ свой покой, чтобъ вступать въ разбирательство. Извѣстно, что это было однимъ изъ не особенно рѣдкихъ явленій нашего крѣпостничества, при чемъ неограниченный властелинъ, какъ оно бываетъ и не въ однихъ крѣпостныхъ владѣніяхъ, незамѣтнымъ образомъ обращался въ игрушку своего холопа: совершенно законная кара, но отъ которой, къ несчастію, становилось не лучше, а хуже для всѣхъ, — т.-е. для той же мелкой четы, для тѣхъ же униженныхъ и оскорбленныхъ. Вспомните также и конторщика г-жи Лосняковой („Контора“), къ тому же столкнувшася съ ея „вѣдьмой“ ключницей. Особый оттѣнокъ въ немъ составляетъ расположеніе къ сердечнымъ дѣламъ и способность изъ мести настроить г-жу Лоснякову — не давать разрѣшенія на бракъ съ ея дѣвкой ея человѣку, конторщикову сопернику... „Ея господская воля“, неотразимо ссылается при этомъ конторщикъ, подобно какому-нибудь администратору, ссылающемуся на законъ. Но барская воля, какъ неумолимый законъ и въ самомъ вопросѣ о бракѣ, неоднократно сказывается въ „Запискахъ охотника“ во всей своей страшной и, какъ всѣмъ намъ хорошо памятно, заурядной силѣ. Едва ли не съ самой разительной стороны представлено это въ рассказѣ: „Ермолай и мельничиха“, который если бы даже совершенно одинъ уцѣлѣлъ для потомства, то и тогда бы могъ служить вполне удовлетво-

рительною поэтической характеристикой крепостной поры. Можно сказать, что даже одинъ рассказъ г. Звѣркова о „черной неблагодарности“ дѣвки Арины достаточно ярко передаетъ всю глубину безнравственности, всю непробужденность чего-либо человеческого въ заурядныхъ понятіяхъ многихъ изъ нашего благороднаго класса этой еще недавней поры. Дѣвка должна быть благодарна барынѣ за то, что еще съ дѣтства вырвали ее изъ родной семьи и пожаловали въ горничныя. Неблагодарность ея заключается въ томъ, что она просится замужъ. Г-жа Звѣркова могла бы при этомъ, подражая г-жѣ Простаковой, сказать: „любить, бестія, точно благородная!“ Но не даромъ же наши помѣщичьи нравы смягчились со временъ Фонвизина. Г-нъ Звѣрковъ считаетъ нужнымъ отвѣтить на просьбу Дарьи цѣлымъ доводомъ: „у барышни другой горничной нѣтъ, а замужнихъ она не держитъ“... Другимъ признакомъ усовершенствованія понятій служить, какъ извѣстно, со стороны г. Звѣркова то, что онъ не позволяетъ Аринѣ валяться у него въ ногахъ, потому что „человѣкъ никогда не долженъ забывать свое достоинство...“ Во имя того же, конечно, приходитъ въ негодованіе и г-жа Звѣркова, когда не выноситъ естественныхъ послѣдствій запрета, истекшаго изъ ея барской волп... Дѣйствительно, важный успѣхъ: при Фонвизинѣ гг. Звѣрковы не стыдились бы прямо показываться звѣрями, тогда какъ Тургеневу уже пришлось ихъ представить разыгрывающими людей. Но нашъ авторъ умѣлъ показать, что причиною барскихъ запретовъ того же рода бывала даже и не забота о своихъ выгодахъ и привычкахъ, а просто капризный припадокъ барскаго самодурства. Глядя на Петра Петровича Каратаева, Марьѣ Ильиничнѣ пришло въ голову женить его на зеленой своей компаніонкѣ, — и отъ этого-то, главнымъ образомъ, она такъ и разозлилась, когда онъ ей предложилъ выкупъ за полюбившуюся ему дѣвку ея Матрену. Конечно, съ другой стороны, въ Марьѣ Ильиничнѣ заговорили при этомъ и чувство помѣщичьяго достоинства — при возмутительной мысли о женитьбѣ дворянина на крепостной!

Вспомнимъ затѣмъ и о другихъ, столько же заурядныхъ явленіяхъ крепостной поры, столь же вѣрно воспроизведенныхъ Тургеневымъ: о графской метрескѣ, забривающей слугѣ лобъ за шоколадъ, пролитый ей на платье, о барскихъ при-



вычкахъ самого графа Петра Ильича, который, по разсказу стараго дворецкаго Тумана, душа быть добрая: „побьетъ, бывало, тебя, смотришь, ужъ и позабылъ“ („Малиновая вода“); о рыбахъ Сучкѣ, попавшемъ въ это званіе изъ кучеровъ, въ кучера изъ поваровъ, и повара изъ актеровъ, все по барской волѣ (напоминающей въ этомъ отношеніи приемы и не однихъ только баръ) („Льговъ“) и т. д. Но особенно важно, что Тургеневъ и выставлялъ почти исключительно именно такіа заурядныя явленія крѣпостной поры, нимало не изыскивая и не подбирая такихъ, про которыхъ можно бы было сказать, что это лишь исключенія — хотя и такихъ такъ называемыхъ исключеній, отъ которыхъ бы волосы у читателя поднялись дыбомъ, оказывалось на Руси не мало. Но въ томъ именно и заключалась неотразимая сила этихъ, какъ бы лишенныхъ всякой умышленности, просто правдивыхъ записокъ, что онѣ не только не преувеличивали дѣйствительности, не приправляли воспроизведенія ея никакими возгласами и не выкапывали различныхъ ужасовъ изъ уголовныхъ архивовъ, но, можно сказать, съ совершенно эпической невозмутимостью отражали все то, что встрѣчалось само собою на каждомъ шагу, и что уже само по себѣ, сведенное въ одинъ сборникъ, подавало достаточный поводъ къ тяжелымъ думамъ. А между тѣмъ, вѣдь, разсказы этого сборника связаны между собою чисто внѣшнею связью, случайною послѣдовательностью охотничьихъ впечатлѣній и наблюденій оттого, что охотникъ постоянно сталкивается съ помѣщиками и крестьянами. Во многихъ мѣстахъ при разсказахъ о прошломъ, онъ обнаруживаетъ готовность думать, что многого уже теперь не дѣлается, и получаетъ при этомъ отвѣтъ: „теперь, вѣстимо, лучше“. И опять-таки тѣмъ лишь сильнѣе дѣйствуютъ при этомъ разсказы, изъ которыхъ оказывается, что на самомъ дѣлѣ-то они не лучше. Такимъ образомъ отъ стараго графа Петра Ильича вовсе не далеко ушелъ его сынъ Валеріанъ Петровичъ, отказывающій въ сбавкѣ оброка крестьянину, лишившемуся своего кормильца-сына. „Да мнѣ съ полагоря, говоритъ крестьянинъ: взять-то съ меня нечего... Ужъ, братъ, какъ ты тамъ ни хитри — шалишь; безотвѣтная моя голова“. При этомъ мужикъ разсмѣялся... („Малиновая вода“). И невольно коробитъ васъ, какъ подумаете, что этимъ же горемычнымъ смѣхомъ и теперь еще перѣдко

емѣтся мужикъ, когда съ него взыскиваютъ недоимку! — А между тѣмъ вѣдь и самъ, довольно близко стоящій къ народу, одиодворецъ Овсянниковъ еще въ то время увѣрялъ нашего охотника, что „теперь лучше; а вашимъ дѣткамъ еще лучше будетъ“. По словамъ его, „много воды утекло“ съ тѣхъ поръ, какъ дѣдъ охотника, присвоивъ себѣ землю отца Овсянникова, вдобавокъ его же и высѣкъ у себя подъ окнами, да еще поглядывалъ при этомъ съ балкона вмѣстѣ съ женой. „Много воды утекло, времена пришли другія“, продолжаетъ Овсянниковъ. И въ дворянахъ видитъ онъ перемѣну большую,—а все же на повѣрку выходитъ изъ собственныхъ его словъ, что на самомъ дѣлѣ перемѣна лишь кажущаяся. „Вы, можетъ, знаете Королева? обращается онъ къ охотнику. „Въ университетахъ обучался, кажись, и за границей побывалъ, говоритъ плавно, скромно, всѣмъ намъ руки жметъ... Какъ дѣло дошло до размежеванія, заговорилъ, что отъ этого крестьянину будетъ легче, что помещику грѣшно не заботиться о благосостояніи крестьянъ... Дворяне-то всѣ носы повѣсили; я самъ, ей-ей, чуть не прослезился... А чѣмъ кончилось? Самъ четырехъ десятинъ мохового болота не уступилъ и продать не захотѣлъ“. Показывая подобнаго рода примѣрами, что и въ ближайшее время къ намъ даже самое высшее образованіе не было въ силахъ, путемъ нравственнаго улучшенія дворянъ, добиться того, чего идиллически ожидалъ Карамзинъ (не только во время „Записокъ охотника“, но еще и очень недавно имѣвшій у насъ въ этомъ отношеніи единомышленниковъ); — нашъ трезвый неумолимо правдивый писатель показываетъ вслѣдъ за тѣмъ, многого ли можно было дождаться также и отъ тѣхъ хлыщей пароднаго направленія, полагавшихъ его исключительно въ однихъ фразахъ, отъ тѣхъ, какъ онъ прозвалъ ихъ, Пустозвоновыхъ, которые дѣйствительно только звонили себѣ о народѣ и вовсе не умѣли или даже не хотѣли справить службу ему на самомъ дѣлѣ. „Смотрятъ мужики: что за диво! Ходятъ баринъ въ плисовой поддевкѣ, словно кучеръ... Я де русскій, и вы русскіе... я русское все люблю... ну, дѣтки, спойте-ка русскую народственную пѣсню... А самъ, словно красныя дѣвушки, все книги читаетъ, или пишетъ... Прежній, то приказчикъ на первыхъ порахъ вовсе перетрусился... А вмѣсто того вышло... самъ Господь не разберетъ,



что такое вышло. Позвалъ его къ себѣ Василій Николаевичъ (Пустозвоновъ) и говоритъ, а самъ краснѣетъ: „будь справедливъ у меня — не притѣсняй никого“. Да съ тѣхъ поръ его къ своей особѣ не требовалъ... Продолжалъ себѣ сидѣть, уткнувъ носъ въ свои книжки, и предаваться отвлеченнымъ соображеніямъ о народности, а жизни вокругъ себя предоставилъ идти своимъ старымъ ходомъ, благо облекшись въ одежду простонародную, ни мало не отвѣдалъ чрезъ это крестьянской доли. Такимъ образомъ посредствомъ примѣровъ, приводимыхъ тѣмъ же Овсянниковымъ, нашъ охотникъ въ корнѣ опровергалъ его мнѣніе, будто бы „теперь лучше, а нашимъ дѣткамъ и еще лучше будетъ“. Нѣтъ, какъ бы хотѣлъ своей книгой сказать охотникъ, пока будетъ стоять крѣпостное право, ни намъ ни нашимъ потомкамъ лучше не будетъ!

Нарисовавъ съ поразительной правдой нѣсколько совершенно обыкновенныхъ картинъ изъ жизни простого русскаго человѣка, нашъ охотникъ срисовалъ вмѣстѣ съ тѣмъ съ натуры и нѣсколько чудныхъ картинъ его смерти. „Удивительно умираетъ русскій мужикъ!“ восклицаетъ онъ. Состоянье его передъ кончиной нельзя назвать ни равнодушіемъ ни тупостью; онъ умираетъ, словно обрядъ совершаетъ: „холодно и просто“. И эта совершенно покойная встрѣча смерти вполне понятна послѣ жизни русскаго мужика, какою обрисовали ее Тургеневъ, жизни, въ которой терять было нечего и которая точно такъ же просто и холодно выполнялась имъ до конца, какъ заданный скучный, но неизбѣжный урокъ! Но и тутъ, какъ вездѣ, у нашего писателя, подъ этою холодною теплится то тихое любовное чувство, безъ котораго бы рѣшительно невыносимою сдѣлалась жизнь и которое тутъ сказывается то въ насущной заботѣ объ оставаемой семьѣ, то въ потребности попроситься, т.-е., по русскому смыслу слова, попросить прощенья у окружающихъ. Но совершенно такъ же, какъ русскій мужикъ, умираетъ, по поэтическому свидѣтельству Тургенева, и всякій русскій человѣкъ, въ отношеніи къ которому, по народному выраженію, судьба явилась злой мачехой. Вспомните смерть недоучившагося студента Авенира Сорокоумова, для котораго безотрадная доля домашняго наставника въ домѣ малоразвитыхъ людей оказалась, какъ оказывается для многихъ, своего

рода, закрѣпощеніемъ. Вспомните, наконецъ, и смерть старушки-помѣщицы, которая собиралась сама заплатить за свою отходную, заплатить съ давнихъ поръ, быть можетъ, припасеннымъ на этотъ случай рублемъ. Очевидно, что это одна изъ мелкобѣдныхъ, къ которымъ относится въ „Запискахъ охотника“ и мать больной дѣвушки, влюбляющейся въ „уѣзднаго лѣкаря“.

Выводя передъ нами такіе, въ свою очередь, возбуждающіе жалость, типы бѣдныхъ помѣщицъ, нашъ писатель доказываетъ этимъ, какъ далекъ онъ былъ отъ того, чтобы выставять помѣщиковъ исключительно со стороны ихъ отношеній къ крестьянамъ и исключительно въ невыгодномъ свѣтѣ. Напротивъ, даже участіе возбуждаютъ у него не только такіе, уже самой своей бѣдностью располагающіе въ свою пользу личности, но и живущая въ полномъ довольствѣ, добродушная, съ здравымъ умомъ, Татьяна Борисовна, или даже безгласная мать Радилова, да и самъ Радиловъ, котораго охотнику такъ и хотѣлось бы „лучше узнать и полюбить, хотя иногда въ немъ и сказывался помѣщикъ“ (между прочимъ и въ чисто барскихъ его отношеніяхъ къ проживающему у него Федору Михенчу). А вспомните Чертопханова-сына, являющагося преемникомъ своего взбалмошно-грознаго отца. „Несправедливости, притѣсненія онъ вчужѣ не выносилъ; за мужиковъ своихъ стоялъ горою... Какъ, моихъ трогать? Да не будь я Чертопхановъ!...“ Вспомните и его заступничество за Недопюскина, и въ своемъ родѣ трогательную, хотя и не безъ юмористическаго оттенка, дружбу обоихъ.

При такой способности Тургенева подмѣчать и выказывать человѣческія черты и въ самихъ помѣщикахъ, его „Записки охотника“ не могли представляться направленными съ огульной враждой противъ нихъ и указывающими только на тѣ стороны общественнаго ихъ положенія, которыми неизбежнымъ образомъ искажались и самыя сочувственныя между ними натуры. Но и это опять-таки лишь придавало „Запискамъ охотника“ новую неотразимую силу, наглядно указывая на то, что тутъ дѣло было не въ звѣрской грубости нашихъ помѣщиковъ (которой, пожалуй, могло бы оказываться и больше при всѣхъ соблазнахъ неограниченнаго права), не въ недостаткѣ между помѣщиками тѣхъ добродушныхъ лич-



ностей, которыя могутъ являться и независимо отъ образованія съ его смягчающими вліяніями, а дѣло было въ неестественности самыхъ отношеній, самой этой неразрывной связи между людьми съ неограниченными правами и людьми совершенно безправными. И хотя бы И. С. Тургеневъ не написалъ ничего послѣ „Записокъ охотника“, все бы имя его осталось навсегда незабвеннымъ въ исторіи нашей литературы.

Миллеръ.

### Причины успѣха „Записокъ охотника“.

Тургеневъ началъ свое литературное поприще стихами и повѣстями, которые были не лучше и не хуже того, что тогда требовалось отъ журнальныхъ стиховъ и повѣстей. Громкая извѣстность его началась въ 1847 году, когда стали являться въ „Современникѣ“ его „Записки охотника“. Тутъ талантъ его возмужалъ, попалъ на прямую дорогу и выработался въ привлекательныхъ особенностяхъ. „Записки охотника“ — произведеніе, которое, при всей своей безыскусственности и кажущейся легкости, составляетъ одинъ изъ самыхъ прочныхъ памятниковъ нашей литературы. Достоинство его, какъ печаль Пушкина, сравненная имъ съ виномъ, „чѣмъ старѣй, тѣмъ сильнѣй“. При появленіи „Записокъ охотника“ можно было не совсѣмъ довѣрять себѣ въ мнѣніи о безотносительномъ ихъ достоинствѣ и подозрѣвать, что мнѣніе это невольно закуплено въ ихъ пользу гуманною тенденціей, такъ искренно и, можно сказать, невольно высказывавшеюся въ этихъ разсказахъ, которые тогда казались слишкомъ смѣлыми, и возбудили такое множество нареканій при выходѣ ихъ отдѣльною книгой въ 1842 г. Но съ тѣхъ поръ утекло много воды. Вотъ уже нѣсколько лѣтъ какъ *листъ перевернулся*. „Записки охотника“ въ этомъ отношеніи далеко обогнаны разными произведеніями второй и даже третьей руки, послѣ которыхъ то, что оказалось *смѣлостью* въ 1852 г. теперь стало общимъ мѣстамъ, всѣми признанными и нестѣящими повторенія. Цѣлые разряды людей, высказывавшихъ тогда гоненія на благородную господствующую тенденцію автора, не только измѣнились, но отчасти ударились въ противоположную крайность. Они не только принялись отыскивать и вставлять тщательно все, что можетъ служить къ оправданію этихъ тенденцій, и что совершенно справед-

ливо, но стали приводить съ торжествомъ въ подкрѣпленіе ихъ факты, происходящіе отъ совершенно постороннихъ причинъ, примѣры, которые могутъ случиться вездѣ, что уже не очень добросовѣстно. Кричать, негодовать, обличать въ извѣстныхъ случаяхъ, какъ бы по данному сигналу, очень легко. Въ короткое время мы успѣли уже присмотрѣться къ поучительному маскараду, и выучились узнавать старыхъ знакомыхъ подъ новыми костюмами, и тѣхъ, которые надѣли новые, и тѣхъ, которые сняли прежніе, и очутились въ скрытыхъ когда-то тщательно подъ другими переодѣваніями. Мы прислушались къ хору тѣхъ, которые такъ легко рѣшаютъ самые многосложные вопросы, упрощая ихъ подведеніемъ всѣхъ подъ одинъ, и переважно повторяютъ передѣланный по-своему насмѣшливый припѣвъ Беранже о причинахъ событій 1789 года: „*C'est la faute de Rousseau, c'est la faute de Voltaire*“. Мы привыкли къ безконечнымъ возгласамъ дешевой лжи—филантропін, о которой недавно было упомянуто въ одной академической рѣчи. Послѣ всего этого „Записки охотника“ потеряли прелесть запрещеннаго плода: вкусъ нашъ, пріученный къ болѣе крѣпкимъ явствамъ, притупился. Надо, чтобы то, что подаютъ намъ безъ возбуждающихъ приправъ, было отмѣнно, тонко и превосходно, чтобы мы продолжали цѣнить по достоинству восхищавшее насъ за много лѣтъ тому назадъ. II „Записки охотника“ выдержали этотъ искусъ съ полною честью; перепечатанные въ 1858 году, онѣ имѣли тотъ же успѣхъ, а теперь выходятъ еще новымъ изданіемъ въ собраніи сочиненій Тургенева. Тутъ успѣхъ ихъ основанъ уже именно на высокомъ ихъ художественномъ достоинствѣ, въ которомъ слились и великое дарованіе поэта и глубина наблюдателя и мыслителя, не ищущая доказывать то или другое положеніе, но создающая дружно съ поэтическими представленіями живыя плѣнительныя картины дѣйствительности, говорящія сами собою и за себя. Попробуйте сдѣлать такой опытъ съ нѣкоторыми другими, даже весьма замѣчательными произведеніями литературы, на примѣръ, хоть съ „Губернскими очерками“ Щедрина, которые стали появляться не дальше какъ за пять лѣтъ, и вы увидите, выдержатъ ли они подобнаго рода испытаніе. Да, „Записки охотника“ одинъ изъ чистѣйшихъ перловъ русской поэзіи, одно изъ капитальнѣйшихъ твореній нашей литературы.

Лонгиновъ.



## „Муму“ и „Постоялый дворъ“.

Повѣсть „Муму“ (написанная въ 1852 году) есть высокое художественное произведеніе, въ которомъ возвышенная мысль о злѣ крѣпостного права органически слилась съ поэтическимъ творчествомъ. Герой произведенія, нѣмой крестьянинъ Герасимъ (очень симпатичная личность, стоящая близко къ природѣ, къ землѣ, которую онъ обрабатываетъ и любить), оторванъ по прихоти барыни отъ этой земли, переведенъ въ городъ и сдѣланъ дворникомъ. Свыкшись съ новой участью и примирившись съ судьбою, Герасимъ полюбилъ своимъ простымъ сердцемъ кроткую и безотвѣтную дворовую дѣвушку Татьяну. Но тутъ опять прихоть барыни разрушаетъ его счастье: скучающая помѣщица выдумываетъ женить на Татьянѣ башмачника Капитона для отрезвленія его отъ загуловъ. Герасимъ привязывается послѣ этого къ спасенной имъ собакѣ, которую онъ называетъ Муму; но и тутъ снова, въ третій разъ, самовольная прихоть помѣщицы наноситъ ударъ его любящему сердцу: собака беспокоитъ нервы барыни своимъ невѣжливымъ отношеніемъ къ барской ласкѣ и своимъ лаемъ, и ее велѣно удалить со двора. Въ отчаяніи Герасимъ рѣшаетъ самъ утопить свою любимицу. Но когда онъ привелъ свое намѣреніе въ исполненіе, сердце его до такой степени переполнилось горемъ, что онъ, смиренный, покорный и безотвѣтный, забываетъ все, забываетъ власть барыни, и идетъ назадъ въ деревню, къ землѣ, къ своей крестьянской работѣ. Силу молчаливаго протеста его противъ суроваго произвола инстинктивно почувствовала сама барыня: она оставила его въ деревнѣ, объявивъ, „что такой неблагодарный человѣкъ ей вовсе не нуженъ“.

Характеры лицъ въ этой повѣсти, — барыни, самого Герасима, дворецкаго Гаврилы, Татьяны и другихъ, — изображены живо и художественно, и съ удивительнымъ юморомъ нарисованъ легкомысленный башмачникъ Капитонъ. Прекрасно изображена и собака нѣмого <sup>1)</sup>).

---

<sup>1)</sup> Сочувственно-сострадательное отношеніе поэта къ животному побудило, какъ извѣстно, „Общество покровительства животныхъ“ послать свою депутацію на похороны великаго романиста.

Въ одинъ годъ съ „Муму“ написана совершенно соответствующая этому произведенію по духу и содержанію повѣсть „Постоялый дворъ“. Только здѣсь губить людей не капризная прихоть, а самостоятельное барское корыстолюбіе. Крестьянинъ Акимъ содержитъ постоялый дворъ на землѣ своей помѣщицы Лизаветы Прохоровны; человѣкъ дѣльный и хорошій, онъ страдалъ однимъ недостаткомъ — влюбчивостью, и подъ старость женился на молодой дѣвушкѣ, горничной Авдотѣ. Та было свыклась со своей долей; но подвернулся ловкій красавецъ Наумъ, и она увлеклась, — отдавъ ему сердце свое, она похитила для него и деньги мужа. На эти деньги Наумъ купилъ у помѣщицы дворъ Акима, успокоивъ сговорчивую совѣсть барыни тѣмъ, что вѣдь Акимъ ея же крестьянинъ. Доведенный до отчаянья разореніемъ, Акимъ хотѣлъ поджечь свой бывший домъ; но былъ пойманъ ловкимъ соперникомъ. И вотъ здѣсь повѣсть пріобрѣтаетъ особое значеніе: поэтъ показываетъ намъ, какъ нравственно-высоко можетъ подниматься душа простого русскаго человѣка. Акимъ проситъ Наума отпустить его и взамѣнъ предлагаетъ не считать его своимъ должникомъ: „владѣй всѣмъ! я согласенъ и желаю тебѣ всякой удачи“. Наумъ отпускаетъ его. И Акимъ перерождается душою; собственно говоря, нравственное возрожденіе его началось раньше, ночью, когда онъ пойманный, былъ запертъ въ подвалѣ.

„Подъ ударомъ неожиданнаго и незаслуженнаго несчастья, въ чаду отчаянья, рѣшился онъ (разсказываетъ поэтъ) на преступное дѣло; оно потрясло его до основанія и, неудавшись, оставило въ немъ одну глубокую усталость... Чувствуя свою вину, оторвался онъ сердцемъ отъ всего житейскаго и началъ горько, но усердно молиться. Сперва молился шопотомъ; наконецъ, онъ, можетъ-быть случайно, громко произнесъ: Господи: — и слезы брызнули изъ его глазъ... Долго плакалъ онъ, и утихъ наконецъ“.

Отпущенный на свободу, онъ все прощаетъ врагу своему, прощаетъ и барыню, все забываетъ; онъ идетъ къ женѣ — мирится съ нею, отдаетъ ей остатки своихъ пожитковъ. Онъ вполне христіански смиряется, — и себя самого признаетъ главнымъ виновникомъ своихъ несчастій:

„Самъ и виноватъ — и наказанъ... Люби кататься —



любн и саночки возить. Лѣта мои старыя, пора о душенькѣ своей подумать. Меня Самъ Господь вразумилъ. Вишь я, старый дуракъ, съ молодой женой хотѣлъ въ свое удовольствіе пожить... Иѣтъ, братъ-старикъ, ты сперва помолись, да лбомъ о-земь постучи, да потерпи, да попустись...“

Несчастіе свое онъ признаетъ посѣщеніемъ Божиимъ, предостереженіемъ ему и вразумленіемъ, — и онъ посвящаетъ себя Богу, становится странникомъ по святымъ мѣстамъ: „вездѣ, куда только стекаются богомольные русскіе люди, можно было увидѣть его исхудавшее и постарѣвшее, но все еще благообразное и стройное лицо: и у раки св. Сергія, и у Бѣлыхъ береговъ, и въ Оптиной пустыни, и въ отдаленномъ Валаамѣ; вездѣ бывалъ онъ... Изъ края въ край скитался онъ своимъ тихимъ, не торопливымъ, но безостановочнымъ шагомъ, — говоритъ, онъ побывалъ въ самомъ Іерусалимѣ... Онъ казался совершенно спокойнымъ и счастливымъ, и много говорилъ о его набожности и смиренномудріи тѣ люди, которымъ удавалось съ нимъ бесѣдовать“.

Очевидно, что религіозно-правственному возрожденію Акима, религіозному идеалу русскаго народа вполне сочувствуетъ въ повѣсти самъ поэтъ, какъ вполне сочувствуетъ онъ Лукерѣ въ очеркѣ „Живыя мощи“. Въ духѣ этихъ воззрѣній, въ духѣ этого идеала онъ говоритъ и про Наума, который, продавши выгодно свой дворъ, занялся (по слухамъ) хлѣбной торговлей и разбогатѣлъ: „на долго ли? Не такіе столбы валялись, а злему дѣлу рано или поздно приходится злой конецъ“.

Повѣсти „Муму“ и „Постоялый дворъ“ были сочувственно приняты славянофилами, какъ произведенія совершенно въ народномъ духѣ и вполне сочувственно изображающія народную жизнь. И Тургеневъ зналъ, что онѣ должны быть такъ приняты: онъ прислалъ рукописи обонхъ произведеній семейству Аксаковыхъ, съ которыми, т.-е. съ Сергѣемъ Тимофеевичемъ и съ сыновьями его Константиномъ и Иваномъ Сергѣевичами, онъ былъ одно время близокъ; онъ прислалъ имъ эти повѣсти, какъ вещи, которыя могли имъ „особенно понравиться“.

Разсмотрѣнныя произведенія великаго поэта показываютъ намъ, какъ глубоко проникъ онъ въ народную жизнь и душу

и какъ искренно сочувствовалъ онъ русскимъ народнымъ началамъ. Онъ подготовился этимъ къ своимъ будущимъ, вполне зрѣлымъ созданіямъ, — ко второму, главному періоду своей дѣятельности.

*Незеленовъ.*

### Дневникъ лишняго человѣка.

„Дневникъ лишняго человѣка“ былъ напечатанъ въ „Отечественныхъ Запискахъ“ за 1850 годъ. Повѣсть имѣла видъ вещи, не додѣланной, написанной черезъ силу, — а что всего не выгоднѣе: ее какъ бы насквозь проникалъ тотъ заунывно-тусклый тонъ разсказа, который успѣлъ опротивѣть русскому читателю чрезъ частое, многолѣтнее повтореніе. Публика встрѣтила дневникъ довольно холодно: иные цѣнители, не взирая на все свое сочувствіе къ Тургеневу, замѣтили во всеуслышаніе, что въ нашей новой словесности и безъ „Лишняго человѣка“ слишкомъ много госпитальныхъ фигуръ, сѣтующихъ на свою судьбу да умирающихъ отъ чахотки по разнымъ унылымъ захолустьямъ. И замѣчаніе цѣнителей и холодность публики имѣла свое основаніе. Дѣйствительно, наша беллетристика за цѣлое десятилѣтіе успѣла уже прискучить своимъ направленіемъ — кислымъ, печальнымъ, тоскливымъ, однообразно нахмуреннымъ направленіемъ. Писатель, конечно, волею касаться всѣхъ возможныхъ сторонъ жизни, никто не долженъ препятствовать ему въ разработкѣ самыхъ темныхъ проявленій въ обществѣ; но въ видахъ искусства необходимо, чтобъ сказанная разработка производилась съ силою поэтической, а не съ той безсиьной лѣнностью, которая даетъ разсказчику видъ человѣка, говорящаго съ читателемъ нехотя, какъ бы изъ милости. Гоголь въ этомъ отношеніи представлялъ всѣмъ новѣйшимъ писателямъ примѣръ, достойный вниманія. Ничто не можетъ быть грустнѣе похожденій Поприщева, Акакія Акакіевича, наконецъ, художника Пискарева въ „Невскомъ Проспектѣ“. Болѣзненные и загнанные судьбой люди, сейчасъ названные, конечно, не пробудятъ въ читателѣ идиллическаго или панглосовскаго настроенія, но имѣютъ ли они въ себѣ хотя что-нибудь кислое, — принадлежитъ ли исторіографъ къ числу лицъ, говорящихъ



нехотя? Отразились ли на манерѣ Гоголя, могучаго творца объективныхъ образовъ, болѣзненные особенности героевъ, имъ избранныхъ? Отрѣшился ли нашъ великій художникъ, хотя бы въ одной слабой подробности, отъ частицы энергіи, его таланту свойственной? Иѣтъ и тысячу разъ нѣтъ, скажемъ мы съ полнымъ убѣжденіемъ. Гоголь ни разу не говоритъ читателю: „говоря о печальныхъ дѣлахъ, я приму печальную мину; изображая бѣдные личности, я потороплюсь самъ сдѣлать гримасу поклесѣе“. Тонъ его остался однимъ и тѣмъ же въ „Шинели“ и въ „Старосвѣтскихъ помѣщикахъ“; рука, набросавшая „Портретъ“, такъ же твердо держитъ свою кисть, рисуя лицо „Сумасшедшаго“. Онъ всегда одинаковъ съ читателемъ, ибо всегда стоитъ одинаково высоко надъ міромъ, имъ изображаемымъ. Онъ не допускаетъ сентиментализма ни въ свѣтлую ни въ темную сторону. Его глубоко оскорбило бы извѣстіе о томъ, что читатель, пробѣгая повѣсти Гоголя, сидитъ въ уныломъ положеніи, съ опущенной головою, съ безплодно-плаксивыми колебаніями въ сердцѣ. Въ Гоголѣ не найдемъ мы ничего тусклаго и унылаго: при самыхъ грустныхъ разказахъ взглядъ его не менѣе зорокъ, рѣчь не меньше энергична, какъ при разказахъ, исполненныхъ смѣха или свѣтлой поэзіи. Всего этого не видали многіе изъ хвалителей Гоголя, да и всѣ его литературные послѣдователи. По милости этихъ особъ, не лишенныхъ дарованія, но черезчуръ субъективныхъ въ своихъ твореніяхъ, наша новая литература и пріобрѣла тотъ госпитальный запахъ, отъ котораго не легко ей было отбиться. Въ 1850 году запахъ, о которомъ говоримъ мы, былъ открытъ и указанъ, его уже начинали выкуривать прочь, — а какъ всегда водится и въ подобныхъ случаяхъ, общее сознаніе о присутствіи непріятнаго запаха дѣлало его еще болѣе ощутительнымъ.

Въ такую-то невыгодную пору подоспѣлъ „Дневникъ лишняго человѣка“. Тонъ разказа, можетъ-быть, доставившій бы ему сильный успѣхъ за пять лѣтъ назадъ, въ 1850 году показался крайне устарѣлымъ, а потому вся повѣсть встрѣчена была совсѣмъ не такъ, какъ она того заслуживала. Нынѣ она появляется сызнова послѣ „Рудина“ и „Двухъ пріятелей“, разливающихъ особенный свѣтъ на ея нѣкоторыя загадочныя стороны. Шесть лѣтъ, протекшія

между двумя изданіями „Дневника“, прошли не безплодно, какъ для литературы, такъ и для многихъ вопросовъ, нераздѣльныхъ съ ходомъ словесности, — а потому мы и находимъ возможность отдать справедливость лучшей сторонѣ сказаннаго произведенія.

Въ „Дневникѣ лишняго человѣка“, какъ и слѣдуетъ ожидать, одинъ только герой: больной помѣщикъ Чулкатуринъ, самъ себя называющій „лишнимъ человѣкомъ“. Почему именно признаетъ онъ себя существомъ лишнимъ на свѣтѣ, — объ этомъ дневникъ его даетъ намъ понятіе въ немногихъ словахъ, обильныхъ горькой ироніей.

„Я именно человѣкъ лишній. Къ другимъ людямъ это слово непримѣнимо.... Люди бываютъ добрые, злые, умные, глупые пріятные или непріятные, но лишніе... нѣтъ!... Бесполезность не главное ихъ качество, и вамъ, когда вы говорите о нихъ, слово „лишній“ не первое приходитъ на языкъ. А я... про меня ничего другого и сказать нельзя... лишній да и только. Сверхштатный человѣкъ — вотъ и все. На мое появленіе природа, очевидно, не рассчитывала и вслѣдствіе того обошлась со мной, какъ съ неожиданнымъ и незваннымъ гостемъ. Не даромъ про меня сказалъ одинъ шутникъ, большой охотникъ до преферанса, — что моя матушка мною обременилась... *Во все продолженіе моей жизни я постоянно находилъ свое мѣсто занятымъ, можетъ-быть, оттого, что искалъ это мѣсто не тамъ, гдѣ бы слѣдовало*“.

Въ этомъ литературномъ отрывкѣ (а продолженіе его вполнѣ достойно начала) сказывается намъ и здравость авторскаго замысла и богатство поэтическаго воззрѣнія въ повѣствователѣ. Уступая современной рутинѣ въ тонѣ разсказа, Тургеневъ отходитъ отъ нея во многихъ частностяхъ, особенно въ чрезвычайно значительномъ выраженіи: „во все продолженіе моей жизни я постоянно находилъ свое мѣсто занятымъ, можетъ-быть, оттого, что искалъ это мѣсто не тамъ, гдѣ бы слѣдовало“. Свѣтлую эту мысль необходимо имѣть въ виду всякому цѣнителю, пытающемуся комментировать послѣднія произведенія нашего автора, исходомъ которыхъ все-таки служить Чулкатуринъ, не взирая на его отчасти госпитальныя качества. Человѣкъ, не находящій себѣ мѣста на свѣтѣ, потому, *можетъ-быть*, что ищетъ себѣ мѣста не тамъ, гдѣ слѣдуетъ, — не есть уже простой, захандрив-



шійся герой, такъ любимый нашими старыми новеллистами. Страданія его уже не принадлежатъ къ вѣдѣнію одной медицины или скорѣе — отдѣла о душевныхъ болѣзняхъ. На горести его никто не имѣетъ права глядѣть съ унылымъ выраженіемъ безплоднаго сожалѣнія, ибо онъ кроется не въ одномъ разстройствѣ организма физическаго, не въ одномъ раздраженіи тѣльныхъ мыслей, не въ одной вялости нравственной. Лицо лишняго человѣка можетъ назваться лицомъ довольно рѣдкимъ въ современномъ обществѣ, но никакъ не исключительнымъ. Въ созданіи его поэтъ не увлекался ни причудливостью ни подражательностью; трудъ рассказчика здѣсь не можетъ назваться пѣсней съ чужого голоса или дидактическимъ памфлетомъ. Больной и унылый Чулкатуринъ есть типъ своего рода, — типъ, принадлежащій кружку не большому, но замѣчательному. Онъ истинно лишній человѣкъ, одинъ изъ тѣхъ лишнихъ людей, безъ которыхъ не существуетъ ни одного молодого общества.

Чтобы достаточно оцѣнить законность „Лишняго человѣка“ въ литературѣ, необходимо будетъ вѣсть въ нѣкоторыя общія соображенія какъ о самомъ субъектѣ, такъ и о недугѣ, которому онъ подверженъ. Всякое общество, въ особенности юное и быстро просвѣщающееся, можетъ указать на нѣкоторое число лицъ, по своему нравственному развитію достойныхъ зваться передовыми людьми извѣстнаго народа. По уму своему, по воспитанію, по избытку благородныхъ чувствъ, наконецъ, по счастливо сложившимся событіямъ первой юности, такіе люди не только зовутся цвѣтомъ всего общества, но совокупностію своей дѣятельности приносятъ ему богатые плоды въ будущемъ. Изъ такихъ людей выходятъ мыслители и администраторы, поэты и герои, артисты и джентльмены (принимая это слово въ его истинномъ значеніи). Но, къ сожалѣнію, изъ того же класса людей зарождаются или страдалцы своего генія (впрочемъ, подобные люди рѣдко остаются непризнанными), или, что бываетъ гораздо чаще, лица, гибнущія отъ неспособности употребить свои силы для блага себѣ и своимъ собратіямъ. Причина бѣдствія тутъ весьма понятна. Человѣческое общество не есть торговое депо, гдѣ всякій товаръ, пригодный и раскупаемый тутъ же, находитъ себѣ мѣсто по изъявленіи на него потребности; а одаренные люди не имѣютъ сходства съ сырыми произведеніями

отсылаемыми для сбыта туда, гдѣ оказывается на него наибольшій спросъ. Съ другой стороны, и одаренные люди по временамъ безсознательно уклоняются отъ своего долга, состоящаго въ томъ, чтобъ добросовѣстно искать въ обществѣ почвы, необходимой для ихъ дѣятельности. Отъ разлада между двумя силами, необходимыми одна для другой, безпрерывно происходятъ печальныя явленія и въ самомъ обществѣ, и еще болѣе, въ существованіи людей, щедро одаренныхъ природою. Тутъ надо искать основаніе героевъ, на первый взглядъ кажущихся озлобленными, мрачными, унылыми, непрактическими, вялыми, — наконецъ, *лишними*. Законъ природы тутъ часто приходитъ на помощь подобнымъ натурамъ, помогая имъ сживаться со всѣми несовершенствами свѣта. Но не всѣ натуры, подготовленныя къ полезной общественной дѣятельности, бываютъ способны на тяжелую и сугубую борьбу, за которой часто слѣдуетъ слава съ примиреніемъ. Не всѣ развитые дѣятели практичны по своей натурѣ, не всѣ они одарены нравственною силою, способностью къ труду и терпѣніемъ. Многіе уклоняются отъ дѣла при самомъ его началѣ. Многіе, начавши трудъ важно и благородно, сами производятъ себя въ лишніе люди и, вдобавокъ, еще грустно тѣшатся своимъ безсиліемъ.

Лишніе люди бывали всегда и во всѣхъ обществахъ, только видоизмѣненія ихъ различны въ каждомъ поколѣніи. Во всѣхъ просвѣщенныхъ классахъ каждаго народа они чахнутъ и живутъ, но типы ихъ бываютъ несходны между собою. Тургеневъ видалъ на своемъ вѣку не мало лишнихъ людей и имѣлъ случай изучить ихъ добросовѣстно. На его глазахъ выступилъ въ міръ науки, литературы и гражданской дѣятельности цѣлый кругъ юношей, щедро одаренныхъ природою, исполненныхъ вѣры во все прекрасное. Многіе изъ этихъ сверстниковъ его ученическихъ годовъ сразу поняли свое призваніе и отыскиали для себя утѣшительную дѣятельность. Иной изъ нихъ отдалъ всю душу наукѣ, другой сталъ служить отечеству болѣе практической службою, третій прославилъ свое имя въ мірѣ поэзіи. Другимъ житейскій успѣхъ дается труднѣе. Житейская дѣятельность не принесла съ собою лавровъ и розъ; но они, послѣ нѣсколькихъ колебаній, твердо пошли по своей скромной и, можетъ-быть, самой счастливой дорогѣ. Третьи не нашли себѣ мѣста для



дѣтельности, можетъ - быть, потому, что, какъ чахоточный Чулкатуринъ, искали это мѣсто не тамъ, гдѣ его искать слѣдовало. Общество ихъ не поняло, и они не захотѣли уразумѣть общества, а потому ихъ вѣкъ стоитъ назваться вѣкомъ истинно лишнихъ людей, достойныхъ одного сожалѣнія.

Остается намъ сказать нѣсколько словъ еще объ одномъ, нѣсколько низшемъ разрядѣ людей лишнихъ. Этотъ разрядъ — довольно многочисленный и самый несчастный въ мірѣ — состоитъ изъ лицъ далеко не передовыхъ по дарованію, но по положенію своему стоявшихъ нѣкоторое время въ кругу наиболѣе развитыхъ личностей своего времени. Вовлеченные въ міръ людей сильныхъ по уму и просвѣщенію, подготовленныхъ къ жизненной борьбѣ, они сами ни къ чему не готовы и ни въ чемъ не имѣютъ силы. Отъ сознанія своей слабости въ нихъ развивается съ особенной силою та стыдливость, мнительность, раздражительность, которая дѣлаютъ этотъ разрядъ лишнихъ людей еще болѣе негоднымъ къ практической дѣтельности. Такимъ несчастливцамъ не бываетъ пріюта нигдѣ — ни въ водоворотѣ житейскихъ здоровыхъ интересовъ ни на прохладныхъ метафизическихъ вершинахъ, часто посѣщаемыхъ болѣе одаренными, хотя и лишними ихъ сверстниками. Ихъ страданія никого почти не трогаютъ, ихъ голосъ не слушается никѣмъ, ихъ болѣзненное самолюбіе вѣчно пугается и мучится отъ самой простой причины. Въ толпѣ безполезнѣйшихъ членовъ общества, въ заднихъ рядахъ науки и литературы, на заднихъ дворахъ нашей журналистики, имѣлось всегда нѣсколько жалкихъ людей такого разбора, очень часто добрыхъ по натурѣ, но остающихся безъ дѣла или вдающихся въ постыдныя крайности отъ сознанія своего ничтожества. Къ такому плачевному разбору людей надобно быть жалостливымъ и сострадательнымъ, хотя бы они, повидимому, стояли противнаго, хотя бы они, въ безнадежномъ своемъ ослѣпленіи, изрыгали хулу на все то, что мы считаемъ прекраснымъ въ мірѣ искусства. Если бы люди, издѣвающіеся надъ жалкими литературными крикунами, надъ бездарными зоплами ничтожнаго разряда, знали достаточно, сколько горя и страданія скрыто въ этихъ, повидимому, смѣшныхъ лишнихъ чудакахъ, ихъ бы отзывы и шутки прекратились въ минуту.

Чулкатуринъ Тургенева есть нѣчто среднее между высшимъ

и низшимъ разрядомъ лишнихъ людей: онъ недостаточно даровитъ для того, чтобъ имѣть право на широкую дѣятельность въ свѣтѣ, но не столько бездаренъ, чтобъ быть ниже какой бы то ни было дѣятельности. Онъ уменъ, но умъ его сходенъ съ умомъ дитяти, озадаченнымъ массою только что приобрѣтенныхъ свѣдѣній, поставленнымъ въ невозможность сдѣлать изъ нихъ какое-либо примѣненіе. Онъ образованъ настолько, чтобъ отдѣлаться отъ массы невѣждъ и пошляковъ обыденнаго міра, но не настолько, чтобъ имѣть полное сознаніе своего долга къ обществу и людямъ. Онъ мнителенъ, ребячески самолюбивъ и даже желченъ; но желчь Чулкатурина, какъ это всегда бываетъ у подобныхъ людей, обращается на него самого, — не на что-либо другое. Чулкатуринъ до такой степени проникнутъ сознаніемъ своей неспособности тягаться съ жизнью, что даже не можетъ ѣдко говорить о жизни: онъ ѣдокъ, лишь говоря о себѣ самомъ, на себя самого изливаетъ онъ горькій юморъ, накопившійся въ его душѣ, за долгое время испытаній. Сознаніе собственной неспособности, о которой говоримъ мы, въ „Лишнемъ человѣкѣ“ есть черта типическая, дающая жизнь и красу всему представленію. Кто изъ насъ не встрѣчалъ въ жизни цѣлаго разряда, несомнѣнно, хорошихъ людей, опустившихъ руки, съжившихся нравственно и повторяющихъ при всякомъ столкновеніи съ міромъ дѣйствительности: „Я здѣсь ничего не могу сдѣлать, я человѣкъ мысли, — я существо неспособное“. Нечего и говорить о томъ, что въ большей части особъ, такъ говорящихъ, нѣтъ никакой неспособности или несостоятельности, — что они сами напустили на себя это несчастное сознаніе, и вяло сложили руки тамъ, гдѣ всякій трудится, исполняя свой долгъ по мѣрѣ средствъ, ему данныхъ.

Готовность поминутно признавать себя неспособнымъ, печальное уклоненіе отъ всякой житейской дѣятельности — есть серіозная болѣзнь многихъ просвѣщенныхъ людей нашего времени. Мечтая о подвигахъ, для нихъ недоступныхъ, такіе люди упускаютъ изъ вида настоящий долгъ жизни, сказывающейся имъ поминутно; напрягая свое зрѣніе не въ ту сторону, куда слѣдуетъ, они не видятъ предметовъ, стоящихъ передъ нхъ носомъ. Замкнувшись въ своемъ уныломъ рефлексивствѣ, они обманываютъ и себя и общество, имѣющее



право требовать отъ нихъ труда на общую пользу. Подумаемъ о томъ, сколько зла происходитъ въ свѣтѣ отъ преувеличеннаго мѣнѣнія многихъ умныхъ людей по поводу своей неспособности! Сколько у насъ благодушнѣйшихъ идеалистовъ, не желающихъ заниматься своимъ имуществомъ, поручающихъ его управленію наемщика, избѣгающихъ всякой мысли о порядкѣ въ имѣніи — и все это на основаніи своей мнимой неспособности къ практическому дѣлу! Мало ли у насъ чиновниковъ, истинно желающихъ добра, поставленныхъ въ возможность бороться съ злоупотребленіями — а вмѣсто добра и борьбы со зломъ повторяющихъ съ властью: „я человекъ слабый, у меня нѣтъ силъ на такое дѣло!“ II въ мірѣ науки, и въ простой свѣтской жизни сколько найдемъ мы такихъ же вялыхъ героевъ, съ ихъ странными понятіями о самихъ себѣ, съ недовѣріемъ къ силѣ человеческой воли, съ безплодными началами фатализма въ убѣжденіяхъ! Такъ, полезное предпріятіе, задуманное превосходно, гложетъ отъ недостатка энергіи въ основателяхъ, — въ другомъ мѣстѣ люди становятся похожи на гнилое дерево, къ которому страшно прислониться, потому что оно сейчасъ затрещитъ и свалится. Вялые и нравственно неряшливые люди зарождаютъ вокругъ себя атмосферу нравственнаго неряшества, съ которою знакомъ всякій, кто сколько-нибудь жилъ въ современномъ обществѣ. Не отъ лжи, не отъ злопамфренности людей совершается великое количество неправды въ обществѣ: оно происходитъ, по большей части, отъ нашей вялости, отъ непониманія человеческого достоинства, отъ неумѣнія просвѣщенныхъ людей стоять на своихъ ногахъ. Когда-то мы были уже очень горды и упивались „Корсаромъ“ Байрона; теперь мы умалились духомъ до того, что намъ стало ни во что считать себя лишними персонами въ обществѣ. Мы раскисаемъ, поддаемся моральному неряшеству, боимся смѣло глядѣть въ глаза другимъ людямъ, рефлектерствуемъ и хандримъ, — а во всемъ этомъ, конечно, часть вины выпадаетъ на долю людей *лишнихъ* или зовущихъ себя лишними.

Вотъ на какую точку зрѣнія цѣнитель долженъ стать для того, чтобъ съ полнымъ сознаніемъ судить о типическихъ сторонахъ лишняго человека такъ, какъ онѣ выражены въ повѣсти Тургенева. Чулкатуринъ, конечно, заслуживаетъ

нѣкотораго презрѣнія за свою нравственную вялость; но какъ человѣкъ, взятый изъ дѣйствительности, олицетворяющій собою извѣстныя стороны своего поколѣнія, онъ имѣетъ право на все наше вниманіе. Если бъ онъ и не былъ тѣмъ кроткимъ, убитымъ судьбою поэтически-развитымъ существомъ, какое является намъ въ „Дневникѣ“, мы и тогда признали бъ въ немъ своего рода симпатичность. Нельзя не пожалѣть о томъ, что Тургеневъ представилъ намъ Чулкатурина чахоточнымъ, умирающимъ, прощающимся съ жизнью. Вслѣдствіе этой прихоти, имѣющей въ себѣ нѣчто рутинное, сочувствіе цѣнителя, отвращаясь отъ страданій Чулкатурина, какъ человека лишняго тянется къ тому же герою, какъ къ бѣдному и одинокому паціенту, осужденному на скорую кончину. Для того, чтобы наблюдать за тонкими сторонами души человеческой, надо видѣть ее въ нормальномъ положеніи, — не въ періодъ безнадежности или неисцѣлимаго отчаянія. Не грустный мотивъ повѣсти намъ непріятенъ, — непріятно намъ то, что грусть, ее наполняющая, частію происходитъ отъ причинъ внѣшнихъ и нарочно придуманныхъ сочинителемъ. Какъ дневникъ безнадежно больного, записка Чулкатурина совершенство въ своемъ родѣ — нѣкоторыя его страницы словно написаны послѣ тяжелаго пароксизма лихорадки; другія же напоминаютъ намъ, если позволено такъ выразиться, *свѣтлыя минуты болѣзни*, съ отбѣнкомъ успокоенія пѣжной мечтательности, трогательныхъ душевныхъ порывовъ. И все-таки, за интересомъ патологическимъ отчасти меркнетъ психологическая сторона разсказа, а самъ лишний человѣкъ дѣйствуетъ передъ читателемъ лишь въ одномъ эпизодѣ своей жизни, — эпизодѣ любовномъ, какъ про то можно догадаться.

Вообще нашъ авторъ слишкомъ часто вредитъ замыслу важныхъ повѣстей чрезъ свое пристрастіе къ любовнымъ приключеніямъ. Конечно, онъ весьма силенъ въ своихъ разсказахъ, основанныхъ на любви; конечно, сама тема, по своей неистощимости, представляетъ много простору его дарованію, но бываютъ обстоятельства, при которыхъ повѣствователю не бесполезно сдерживать себя по сказанной части. Если бы „Дневникъ лишняго человека“ составлялъ цѣлую книгу, исторія Чулкатурина и Лизы Южной нисколько бы не вредила идеѣ всей вещи; но теперь, при небольшомъ объемѣ повѣсти, она поглощаетъ собою цѣлый „Дневникъ“ и всего



героя. Только через этот эпизодъ, и то мимоходомъ, — признаемъ мы въ бѣдномъ Чулкатуринѣ человѣка, исполненнаго благородныхъ стремленій, кроткое существо, жаждущее любви, способнаго и на счастье, и на трудъ, и на примиреніе съ жизнью. Мы видимъ въ немъ и умъ, и нравственное развитіе, и образованіе не сравненно высшее той бѣдной сферы, куда судьба его бросила. Вся исторія Лизы и Чулкатурнина дѣлаетъ величайшую честь автору, но значительно ли она подвигаетъ насъ въ познаніи лишихъ людей? обнимаетъ ли она собою жизнь и духовный міръ героя, долженствующаго оказаться лицомъ типическимъ? Какъ ни вялъ и какъ ни хрупокъ Чулкатуринъ, всякій юноша скажетъ вамъ, что не можетъ человѣкъ взрослый, наконецъ, погибнуть отъ одной неудачной любви къ кому бы то ни было. Каждый строгій изслѣдователь современныхъ недуговъ пожелаетъ увидать лишняго человѣка въ столкновеніи съ другими важными сторонами жизни; а столкновенія, эти составляющія сущность всего замысла повѣсти, совершенно упущены изъ виду ея авторомъ. Жизнь наша состоитъ не изъ одной любви и не изъ однихъ умозрѣній надъ своей персоною: есть въ ней практическія стороны, съ которыми ни одинъ смертный не избѣгнетъ коллизіи; а между тѣмъ, Чулкатуринъ, лишній человѣкъ современнаго общества, живетъ какъ бы въ свѣтѣ и всѣхъ его интересовъ. Мы даже не знаемъ, какъ онъ воспитывался, чѣмъ добывалъ онъ себѣ кусокъ хлѣба, почему именно онъ даетъ замѣтить, что искалъ себѣ мѣста, можетъ-быть, не тамъ, гдѣ бы слѣдовало. Есть еще одна совершенно неразъясненная черта въ лишемъ человѣкѣ: рассказывая о своей несчастной страсти, онъ набрасываетъ страницы восхитительной прелести... Страницы эти, исполненные высокой поэзіи, не есть авторская прихоть, не представляютъ разлада съ общимъ изложеніемъ дневника.

Тургеневъ не заставитъ ничтожнаго человѣка говорить такъ очаровательно: ни Пѣтушковъ ни Астаховъ въ „Запискахъ“ у него не произнесутъ такой крылатой лирической рѣчи. Стало-быть, мы получаемъ право признать въ „Лишемъ человѣкѣ“ духъ поэтически развитой, очи, не чуждыя высокаго просвѣтлѣнія. Этому грустному дитяти вѣка нашего судьба послала на помощь крылатаго генія поэзіи, — если не той поэзіи, которая идетъ въ печать и даетъ славу

смертнымъ, — то, по крайней мѣрѣ, той, что озаряетъ и осмысливаетъ всю жизнь нашу. Любимая дѣвочка въ роцѣ, при солнечномъ закатѣ, еще не вырветъ могучаго поэтическаго звука изъ души, не одаренной способностью на подобные звуки. Герой Тургенева, какъ мы имѣемъ право его понимать, былъ вооруженъ однимъ лишь доспѣхомъ для борьбы жизненной; по какой же причинѣ мы, едва познакомившись съ нимъ, видимъ его безоружнымъ, слабымъ, истекающимъ кровью? Мы желаемъ знать, въ подробности знать о томъ, далеко ли провожалъ его на пути жизни крылатый геній, ему посланный, сколько разъ освѣщалъ онъ тернистую дорогу несчастнаго смертнаго, вслѣдствіе какихъ причинъ отлетѣлъ онъ отъ него, послѣ долгой борьбы, въ существованіе которой сомнѣваться невозможно? На вопросы эти „Дневникъ лишняго человѣка“ даетъ мало отвѣтовъ. Читателю представляется право думать, что вся исторія лишняго человѣка замкнута въ картинахъ его бѣдной любви, — но мы не можемъ такъ думать, несмотря на все наше довѣріе къ рассказчику.

Мы обсудили, насколько могли, главные достоинства и главные недостатки одной изъ повѣстей Тургенева, наиболѣе важныхъ въ цѣли его произведеній. Затѣмъ, общій выводъ скажется самъ собою. „Дневникъ лишняго человѣка“, не взирая на многія несовершенства исполненія, стоитъ назваться явленіемъ отраднымъ и много обѣщающимъ. По идеѣ своей, онъ касается тонкихъ и въ высшей степени замѣчательныхъ явленій въ современномъ обществѣ, — исполненіе его, хотя и имѣющее весьма замѣтный разладъ съ сказанной идеею, стоитъ великой похвалы въ художественномъ отношеніи. Форма дневника, допускающая нѣкоторыя отклоненія отъ объективности въ представленіяхъ, какъ нельзя лучше подходитъ къ дарованію автора, за него взявшагося. Не во многихъ повѣстяхъ Тургенева встрѣчаются проблески поэзіи столько же сильные, какъ въ „Дневникѣ лишняго человѣка“.

*Дружининъ.*

### **Рудинъ — сынъ своего времени.**

Въ теченіе пяти лѣтъ трудясь надъ одной изъ большихъ сторонъ нашего поколѣнія, посвящая свое вниманіе на изслѣдованіе исторіи людей лишнихъ въ обществѣ, Тургеневъ



все еще не охватывалъ всего вопроса съ должной полнотою. Его Веретевы, Вязовнины, Чулкатурины — имѣли въ себѣ много жизненнаго, много близкаго къ нашему сердцу, — но имъ не приходилось ни разу дѣйствовать на просторѣ, становиться въ соприкосновеніе съ жизнью широко-понятою. Эти герои страдали и жили по маленькимъ уголкамъ, сталкивались съ не очень богатыми личностями, всюду приходили какъ чудаки-гости, выѣзжающіе изъ своихъ логовищъ только лишь по крайней необходимости. Въ Рудинѣ, сказывали намъ, читателю предстояло увидѣть нѣчто другое. Въ новой повѣсти долженъ былъ явиться весь современный человѣкъ, разсмотрѣнный съ точки зрѣнія моральныхъ несовершенствъ, смягченныхъ горькимъ ихъ сознаніемъ, его безспія передъ разумно-практической стороною жизни, но безспія, выкупаемаго другими утѣшительными сторонами характера. Рудинъ, лицо взятое изъ дѣйствительности, долженъ былъ служить олицетвореніемъ цѣлаго класса мыслящихъ и благонамѣренныхъ людей, понапрасну растратившихъ свои силы отъ неумѣнія привести свое существованіе въ гармонію съ той сферой, гдѣ должно было проникать это существованіе. Короче сказать, въ повѣсти ожидали мы встрѣтить нѣчто въ родѣ исповѣди цѣлаго поколѣнія, имѣвшаго важное вліяніе на собственное развитіе наше. Тургеневъ, между всѣми современными писателями, имѣлъ всѣ данныя, необходимыя для подобной задачи. Заслуги и заблужденія благородныхъ, но нѣсколько *лишнихъ* товарищей его собственной юности, могли въ немъ, болѣе чѣмъ во всякомъ другомъ поэтѣ, встрѣтить судью зоркаго, но любящаго и неозлобленнаго. Наконецъ, онъ имѣлъ и право и возможность, съ помощью поэтической силы, ему данной отъ природы, возвести въ рядъ симпатическихъ образовъ весь запасъ своихъ долгихъ, добросовѣстныхъ наблюденій надъ современными недугами современныхъ тружениковъ жизни.

„Рудинъ“ появился въ январѣ 1856 года, — вторая часть повѣсти не заставила ждать себя долго, и все произведеніе закончилось въ томъ же году въ февральской книжкѣ „Современника“. Общій отзывъ читателей, и очень развитыхъ и очень неразвитыхъ, сказался весьма скоро, въ одной и той же формѣ. Самый тонкій цѣнитель и самый вѣтранный дилетантъ согласились въ одномъ приговорѣ: „Рудинъ“

есть вещь истинно замѣчательная и, мѣстами, неудовлетворительная“. Когда же пришлось опредѣлять точнѣе степень достоинства и недостатковъ новой повѣсти, — отзывы раздѣлились и представили изъ себя нѣчто сбивчивое.

Идея произведенія, по своей глубинѣ, могла выдержать какой угодно анализъ, хотя и тутъ одни цѣнители нашли, что Тургеневъ обошелся съ Рудинымъ весьма слабо, тогда какъ другіе почти обвиняли автора въ чрезмѣрной строгости приговора. Художественная сторона повѣсти, напротивъ того, сама давала на себя оружіе многимъ черезчуръ взыскательнымъ цѣнителямъ. Во многихъ мѣстахъ „Рудина“, вмѣсто живыхъ сценъ, тянулся голый рассказъ отъ авторскаго лица, вмѣсто личностей, рельефно-очертанныхъ, появились фигуры, едва обозначенныя не совсѣмъ вѣрною кистью. И со всѣмъ тѣмъ, повѣсть „Рудинъ“, разсматриваемая даже съ самой строго-художественной точки зрѣнія, признана была всѣми за новый, важный шагъ въ дѣятельности Тургенева. Въ ней не было недоконченностей и небрежностей, бросившихъ такую тѣнь на многія предшествовавшія повѣсти автора нашего: она отличалась богатою и многостороннею поэзіею, наконецъ, ея идея гармонировала съ формой, насколько оно было возможно при трудности задачи. Переходъ отъ цѣлаго ряда эпизодическихъ эскизовъ къ произведенію, имѣющему почти видъ романа, всегда выходитъ труденъ, а Тургеневъ сладилъ съ этимъ переходомъ, какъ слѣдовало честному и добросовѣстному писателю его дарованія. Вся его новая вещь носила на себѣ привлекательный слѣдъ серіозной мысли, и, благодаря этому слѣду, поэтическія частности „Рудина“ имѣли въ себѣ нѣчто разительное, свѣжее, новое. Короче сказать, повѣсть особенно полюбилась людямъ, коротко знакомымъ со средствами ея сочинителя, цѣнителямъ, очень хорошо знающимъ, какихъ достоинствъ они вправѣ ждать отъ Тургенева, и съ какими слабыми сторонами поэта они должны мириться по необходимости.

Что такое Дмитрій Николаевичъ Рудинъ? — вотъ вопросъ, отъ разрѣшенія котораго зависитъ законность и правда всей повѣсти. Въ какой мѣрѣ этотъ человѣкъ, исполненный силы и слабости, вялости и энергіи, въ какой мѣрѣ онъ правиленъ, какъ дѣйствующій герой художественнаго созданія,



вѣренъ себѣ, какъ общественный типъ нашего времени? Есть ли между нами много Рудиныхъ, и не носитъ ли каждый изъ насъ, современныхъ русскихъ людей, въ душѣ своей какую-нибудь частицу тургеневскаго Рудина? Смѣло отвѣчаемъ — да, на всѣ вопросы сейчасъ сдѣланные. Рудинъ есть дитя своего времени, своего края и своей переходной эпохи. Рудины жили и живутъ между нами, дѣлая пользу и вредъ людямъ, ихъ окружающимъ. Многіе изъ насъ въ юности увлекались Рудинымъ, многіе изъ насъ въ былое время молодости слушали рудинскія импровизаціи такъ, какъ въ повѣсти, насъ занимающей, простодушный студентъ Басистовъ слушалъ вдохновенныя разсужденія Дмитрія Николаевича. Не одна дѣвушка съ теплой душой любила людей, въ родѣ Рудина, и горько платилась за свою привязанность. Не одинъ практическій смертный, подобный Лежневу, глядѣлъ на Рудина съ дружескихъ состраданіемъ, не одинъ презрѣнный злоязычникъ, въ родѣ Пигасова, устремлялъ стрѣлы своего остроумія на бѣдную, измученную жизнью особу Рудина. Рудины были не бесполезны обществу въ свое время, можетъ быть, они нужны ему и теперь, — во всякомъ случаѣ, никто не имѣетъ права кидать камнемъ въ этихъ вѣчныхъ странниковъ жизни, безпріютныхъ „инвалидовъ мысли“. Рудинъ много грѣшилъ, но ему должно быть прощено многое, за огонь любви истины, въ немъ горѣвшей, за неутомимое стремленіе къ идеалу, за его сочувствіе къ слабымъ, за его вражду къ житейской неправдѣ. Рудинъ много служилъ дѣлу добраго слова, хотя всю жизнь свою не могъ возвыситься до пониманія *дѣла*, до возможной и необходимой гармоніи съ средой его окружающей. Въ разъединеніи *дѣла* и слова лежитъ корень всѣхъ недостатковъ Рудина, — основаніе всей его грустной, но близкой къ намъ личности. Рудинъ есть живой плодъ нашего ранняго, быстро развивающагося, порывистаго просвѣщенія. Рудина нельзя называть ни русскимъ человекомъ, ни космополитомъ, ни германцемъ, или какимъ-нибудь другимъ иноземцемъ. Онъ застрѣльщикъ между двумя арміями, усталый часовой между двумя лагерями. Европейское современное просвѣщеніе, не примѣненное къ жизни, дало намъ Рудина, но матеріалъ, изъ котораго создалось это лицо, — взять изъ нашего отечества, изъ круга людей, жившихъ между нами.

Рудниъ долженъ назваться человѣкомъ просвѣщеннымъ: сердце его, смягченное знаніемъ, благородная жажда идеала словно родилась съ нимъ вмѣстѣ. По уму и душѣ онъ опередилъ многихъ просвѣщенныхъ людей одного съ нимъ края, опередилъ — и остановился посреди блестящаго пути, не умѣя воспользоваться сокровищами, только что добытыми. Причина такого бездѣйствія, разрѣшившагося полнымъ безсиліемъ предъ практическою жизнью, заключается въ отсутствіи *воли*, въ неспособности къ *правильному воспринятію* началъ истиннаго просвѣщенія. Можно до глубины существа нашего пропитаться добрымъ словомъ, — и при всемъ томъ оказаться дѣтски-слабымъ въ тѣ минуты, когда предстанетъ необходимость сдѣлать дѣло изъ добраго слова. Человѣкъ просвѣщается тѣмъ же путемъ, какъ и общество, какъ и государство. Человѣкъ, просвѣщающій себя, долженъ быть для своего нравственнаго міра въ нѣкоторомъ смыслѣ тѣмъ же, чѣмъ былъ великій преобразователь Россіи, государь Петръ Великій, — для края, Богомъ ему ввѣреннаго. Подобно тому, какъ нашъ великій просвѣтитель, усиліями могучей воли, вводилъ великія идеи, имъ добытыя, въ жизнь и бытъ Россіи, всякій частный и слабый человѣкъ, обогащаясь сокровищами мудрости, обязанъ, во что бы то ни стало, сроднить эти сокровища съ своею жизнью, примѣнить ихъ къ средствамъ и потребностямъ среды, его окружающей. Мало одной горячей любви къ правдѣ, — надо проводить эту правду во всей жизни нашей. Мало проводить правду съ упорствомъ и необузданной горячностью, — надо быть мудрымъ, практическимъ, *своевременнымъ* въ ея примѣненіи. Одного идеала мало для просвѣщенія, съ одной благородной горячкою ничего не сдѣлаешь, съ однимъ краснорѣчивымъ словомъ не уйдешь далеко. Необходимо просвѣщенному дѣятелю жизни коротко знать всѣ средства той среды, гдѣ ему судьбой назначено жить. Онъ не долженъ требовать отъ младенца того, что можетъ дать лишь мудрецъ, ему подобный. Онъ не имѣетъ права возмущаться несовершенствами общества и, уединяясь на прохладныя метафизическія вершины, считать свою человѣческую обязанность исполненною. Пламенно воспринявъ изъ просвѣщенія то, что кажется ему свѣтлымъ и плодотворнымъ, онъ исполняетъ лишь одну вступительную часть своей задачи. Сама задача заключается въ жизни, въ



посильномъ и непреложномъ примѣненіи съ жизнью, въ неотступномъ и благотворномъ вліяніи на общество, среди котораго онъ родился.

Рудинъ и цѣлая семья Рудиныхъ — не поняли той задачи, о которой мы говорили сейчасъ — за вступительной ея частью (а эта часть была ими изучена въ совершенствѣ), они забыли всю сущность своей науки, упустили изъ виду весь долгъ своего существованія. Чужеземная мудрость ихъ не столько извратила, сколько отуманила, сердце ихъ осталось человѣчнымъ; но воля ихъ, слишкомъ парализованная развитіемъ созерцательныхъ способностей, не пошла съ нимъ въ уровень. Говоря метафорическимъ слогомъ, Рудины явились на жизненную битву съ полнымъ воображеніемъ и готовностью на подвигъ, но подвиговъ не могли совершить, потому что самое поприще боя было имъ совершенно незнакомо. Не ознакомясь со средствами своего противника, не имѣя понятія о мѣстахъ, имъ занятыхъ, — наши бѣдные бойцы мысли съ первыхъ шаговъ увидали себя окруженными, смятыми, сбитыми съ позиціи. Первая житейская неудача была для нихъ неудачей всей жизни, потому что для людей, въ родѣ Рудина, нѣтъ середины между безконечнымъ довѣріемъ къ своей силѣ и полнымъ упадкомъ всякой энергіи. Для Рудиныхъ нѣтъ ни житейскаго благороднаго упорства, ни искуснаго отступленія послѣ неудачи, ни несокрушимой вѣры въ свое назначеніе.

По замыслу Тургенева, главнымъ эпизодомъ повѣсти, тѣмъ эпизодомъ, который долженъ былъ составлять собою какъ бы ключъ къ уразумѣнію всей личности Рудина, считается исторія любви Дмитрія Николаевича къ Натальѣ Ласунской. Такъ какъ „Рудинъ“ не есть дневникъ или біографія или автобіографія, то расчетъ автора въ этомъ случаѣ весьма понятенъ: идея повѣсти не можетъ никогда раздробляться на нѣсколько равносильныхъ эпизодовъ, безъ ущерба всему произведенію. Во всякомъ трудѣ повѣствовательнаго свойства полезно сводить всѣ нити рассказа къ одному центру, объ этомъ спорить никто не будетъ. Но можно спорить и задумываться о томъ, соотвѣтствуетъ ли главный эпизодъ „Рудина“ значенію всей повѣсти, сосредоточиваетъ ли онъ въ себѣ всѣ данныя къ уразумѣнію личности героя, короче сказать, даетъ ли его художественная форма достаточное

разъясненіе на всю мысль, заданную себѣ авторомъ. По нашему личному мнѣнію, до этого, во что бы то ни стало, необходимаго результата — не достигъ нашъ авторъ. Нечего говорить о томъ, что онъ предпринялъ свой трудъ съ благороднымъ рвеніемъ, что онъ задумалъ его добросовѣстно и выполнилъ совершенно честно: не взирая на все это, не взирая на поэтическую силу, красящую собой весь эпизодъ, нами теперь разсматриваемый, главная интрига повѣсти отличается неполнотою. Отношенія Рудина и Натальи задуманы превосходно, художественная коллизія между словомъ и дѣломъ, между страстью и фразой, между юной рѣшимостью и вялымъ отсутствіемъ воли — стоитъ всего вниманія цѣнителей. Передъ честной, тихой, дѣвическою энергіей семнадцатилѣтней дѣвушки ярко выступаютъ всѣ противоположные недостатки Рудина, и самъ герой разоблачается во всей своей грустной дѣйствительности. И, несмотря на то, Рудинъ, и послѣ эпизода съ Натальей, остается тѣмъ же загадочнымъ, не вполне разъясненнымъ страдальцемъ, какимъ онъ былъ до своего послѣдняго свиданія съ любящей дѣвушкой. Самъ авторъ видитъ это, и, подобно мифологическому Сизифу, снова принимается за трудъ, только что конченный, стараясь съ помощью замѣтокъ Лежнева и его послѣдняго, превосходнаго разговора съ Рудинымъ дополнить то, что необходимо. Уже одно то обстоятельство, что прощаніе Натальи съ Дмитріемъ Николаевичемъ не занимаетъ собою послѣднихъ страницъ повѣсти, говоритъ о неполнотѣ ея главнаго эпизода. Почему же произошла такая неполнота, почему весь характеръ Рудина не обозначился передъ читателемъ черезъ основной узелъ всей нами разбираемой повѣсти?

Недостатокъ полной гармоніи между идеей повѣсти и главнымъ эпизодомъ по части ея воплощенія, по нашему мнѣнію, происходитъ отъ двухъ причинъ. Во-первыхъ, любовь Рудина къ Натальѣ не есть та любовь, при которой всѣ силы человѣка приходятъ въ напряженіе и вслѣдствіе того сосредоточиваются въ одномъ фокусѣ, драгоценномъ для художника-наблюдателя человѣческой природы. Горячая страсть дѣйствительно заставляетъ всякаго человѣка высказываться съ возможной полнотою, но дѣло въ томъ, что Дмитрій Николаевичъ Рудинъ не имѣетъ горячей страсти къ Натальѣ. Лежневъ, назвавшій Рудина кокеткой, холод-



нымъ энтузіастомъ, человѣкомъ, лишеннымъ крови и натуры, превосходно обозначилъ всю разницу, которая проявилась между блистательнымъ говоруномъ и тихой, неразговорчивой дѣвушкою, имъ заинтересовавшеюся. Наталья Ласунская живетъ любимымъ избранникомъ, не говоря ни одной фразы; Рудинъ, въ свою очередь, такъ и сыплетъ фразами — а разставшись съ любящей дѣвушкой, вспоминаетъ слова Донъ-Кихота Санхо-Пансѣ: „Свобода, другъ мой Санхо, это одно изъ драгоцѣннѣйшихъ достояній человѣка!“ Вотъ что говоритъ Рудинъ въ тѣ минуты, когда у любящей дѣвушки сердце разрывается на части! Наталья готова на всѣ жертвы, на всѣ доказательства своей преданности, на цѣлую жизнь нужды и тревоги; — въ отвѣтъ на всѣ стремленія возвышенной дѣвической натуры, Дмитрій Николаевичъ говоритъ ей: „ваша матушка не согласна. Нечего и думать объ этомъ“. Объясненіе Рудина съ Натальей превосходно, по своимъ совершенствамъ оно только подтверждаетъ мысль нашу о томъ, что, прослѣдивъ за исторіей рудинской любви, читатель все-таки не видитъ передъ собой, въ ясномъ образѣ, самого Рудина.

Изъ обстоятельства, сейчасъ нами разъясненнаго, истекаетъ и другая причина несовершенства повѣсти. *Рудины не поясняются черезъ страсть* — объ этомъ совершенно позабылъ нашъ авторъ. Предположивъ Дмитрія Николаевича безумно и горячо влюбленнымъ (всякія чудеса случаются на свѣтѣ), создавши другой типъ женщины и придумавши самую характеристическую коллизію между двумя лицами, мы все-таки увидимъ себя въ невозможности разгадать Рудина по исторіи его страсти. Рудинъ влюбленный, даже отчаянно влюбленный, поступилъ въ разрядъ любопытнѣйшихъ явленій для психолога, но, несмотря на то, судить по немъ о настоящемъ и всѣмъ намъ современномъ типѣ будетъ такъ же неудобно, какъ судить о свойствахъ и характерѣ незнакомаго человѣка, наблюдаемаго въ минуты тяжелой болѣзни. Для натуръ, подобныхъ Рудину, страсть къ женщинѣ можетъ быть горячкою, холерою (какъ для Алексѣя Петровича въ Перепискѣ), — никакъ не нормальнымъ проявленіемъ всей ихъ души, какъ это бываетъ съ натурами здоровыми. Лежневъ или Волинцевъ, во влюбленномъ состояніи, останутся прежними твердыми, обыкновенными людьми, объясняемыми

ихъ страстью: эта страсть выдвинетъ наружу ихъ добрыя качества, раскроетъ передъ наблюдателемъ ихъ стремленія и затаенные помыслы — подобнаго результата никогда не произойдетъ съ влюбленнымъ Руднымъ. Люди, неспособные къ страсти, почему-либо ею захваченные, всегда будутъ представлять собой явленіе исключительное и какъ бы оторванное отъ общей связи явленій ихъ прошедшей жизни. Рудинъ влюбленный истинно не будетъ тѣмъ Руднымъ, который философствовалъ въ Берлинѣ, отпускалъ горячія импровизаціи на вечерахъ у Покорскаго, гостилъ у Дарьи Михайловны и разстраивалъ первую любовь Лежнева (смотри разговоръ Михаила Михайловича съ Александрой Павловной). Теперь изъ заключеній нашихъ по этому поводу не мудрено будетъ вывести полное сужденіе о причинахъ, почему въ повѣсти Тургенева главный эпизодъ всего произведенія недостаточно знакомитъ читателя съ личностью Дмитрія Николаевича.

Итакъ, вотъ нашъ безпристрастный и, по возможности, осмотрительный выводъ о всей вещи. Герой произведенія, взятый какъ типъ, какъ объективная личность, проявившаяся въ главномъ эпизодѣ задуманнаго труда, не имѣетъ достаточной, собственно ему принадлежащей жизни. Персонажъ Дмитрія Рудина, подобно личности Андрея Колосова, не выясняется передъ нами въ совершенствѣ, не соприкасается съ тѣми сторонами дѣйствительности, съ которою онъ (по идее, заложенной въ его созданіе) долженъ былъ соприкасаться всѣми своими нравственными сторонами. Колосовъ, въ приключеніи съ Варенькой, проявилъ намъ лишь слабыя стороны своей души; Рудинъ, въ эпизодѣ съ Натальей, выказалъ себя существомъ далеко худшимъ, нежели онъ есть на самомъ дѣлѣ. Въ обѣихъ повѣстяхъ авторъ считъ долгомъ, для оправданія и истолкованія обоихъ героевъ — ввести въ дѣло пояснительные аргументы, какъ отъ своего лица, такъ и отъ лица другихъ персонажей, дѣйствующихъ въ его рассказѣ. Обѣ вещи исполнены поэтической прелести, которая, во многихъ мѣстахъ, съ избыткомъ выкупаетъ недостатки объективнаго творчества, разъясняя и истолковывая частности произведеній, въ томъ нуждающіяся. Тутъ и кончается параллель между однимъ изъ первыхъ и однимъ изъ послѣднихъ трудовъ Тургенева. Болѣе сближать ихъ между собою не предстоитъ ни надобности ни возможности. Незрѣ-



лая, хотя чрезвычайно изящная повѣсть „Колосовъ“, никакъ не можетъ равняться съ Рудинымъ ни въ поэтическомъ ни въ художественномъ отношеніи. Не взирая на всѣ несовершенства главной постройки, „Рудинъ“ Тургенева есть глубокой этюдъ надъ современнымъ человѣкомъ, твореніе, дѣлающее честь и поэту, имъ занявшемуся, и литературѣ, его породившей. Годъ, ознаменованный подобными произведеніями искусства, не можетъ назваться годомъ, понапрасну пролетѣвшимъ для одного изъ нашихъ даровитѣйшихъ писателей. Можно находить большія неоконченности въ „Рудинѣ“, можно спорить о „Рудинѣ“, можно изъ своей головы пополнять авторское воззрѣніе на личность Рудина, — по холодно пройти мимо этой личности и художественнаго созданія, ея разъясненію посвященнаго, не дозволяется ни одному изъ читателей русскаго искусства.

*Дружининъ.*

### Отрицательныя черты въ Рудинѣ.

По своему происхожденію Рудинъ принадлежалъ, правда, къ бѣдной, но все-таки помѣщичьей семьѣ, и своей матери обязанъ онъ тѣмъ, что на немъ отразились наиболѣе характерныя черты крѣпостного быта. Мать въ немъ души не чаяла; съ самаго нѣжнаго дѣтства онъ былъ предметомъ ея обожанія: она толокномъ однимъ питалась и всѣ, какія только были у нея деньги, употребляла на него; Митя былъ для нея кумпромъ, которому она постоянно приносила жертвы, лишая себя всего, лишь бы только не дать ему и почувтъ, что значать какія-нибудь лишенія. Съ самой колыбели Рудинъ привыкъ быть предметомъ общаго обожанія и поклоненія; вконецъ избалованный, онъ всѣ жертвы принималъ, какъ должную дань тѣмъ великимъ достоинствамъ, которыя заставляло его находить въ себѣ всеобщее обожаніе. И нѣтъ ничего удивительнаго, что повторилась давнишняя исторія Митрофанушки: проживая впоследствии за границей, „Рудинъ“ писалъ къ своей матери чрезвычайно рѣдко и посѣтилъ ее всего одинъ разъ, дней на десять... Старушка и скончалась безъ него, на чужихъ рукахъ, но до самой смерти не спускала глазъ съ его портрета. Митя росъ балованнымъ барчонкомъ, никакими занятіями себя не утруждалъ и, вѣ-

роятно, учился, подобно Онѣгину, чему-нибудь и какъ-нибудь. Изъ него вышелъ бы, конечно, заурядный обитатель „дворянскихъ гнѣздъ“, если бы онъ не надѣленъ былъ блестящими способностями, живымъ, пытливымъ умомъ, и если бы судьба не привела его въ университетъ.

Что же дѣлалъ Рудинъ въ университетѣ, и что онъ вынесъ изъ него? Лежневъ довольно подробно объ этомъ рассказываетъ, и изъ его рассказовъ мы узнаемъ, что большую часть времени Рудинъ проводилъ въ такъ называемомъ „кружку“. Вотъ что, между прочимъ, говоритъ Гамлетъ Щигровскаго уѣзда про эти студенческіе кружки того времени: „Кружокъ — гибель всякаго самобытнаго развитія. Кружокъ приучаетъ къ болтовнѣ, отвлекаетъ васъ отъ уединенной благодатной работы, прививаетъ вамъ литературную чесотку, лишаетъ васъ, наконецъ, свѣжести и дѣвственной крѣпости души. Въ кружкѣ поклоняются пустому краснобаю... кружокъ — это заколдованный кругъ, въ которомъ погибъ не одинъ порядочный человѣкъ“. Въ этомъ нѣсколько крайнемъ взглядѣ щигровскаго Гамлета, конечно, много желчи разбитаго жизнью человѣка: безусловно отрицать пользу общенія, обмена мыслей между людьми, — хотя бы это и было въ тѣсномъ товарищескомъ кружкѣ, — конечно, нельзя.

По отношенію къ 40-мъ годамъ дѣло вовсе не въ самомъ кружкѣ, — но въ томъ, что люди собиравшіеся вмѣстѣ и общими силами разрѣшали интересовавшіе ихъ вопросы: это полезно и необходимо, — конечно, на ряду съ „благодатной уединенной работой“; — дѣло не въ самыхъ кружковыхъ собраніяхъ, а въ характерѣ самыхъ бесѣдъ, въ ихъ содержаніи, въ характерѣ той университетской науки, подъ вліяніемъ которой воспитывалась наша тогдашняя молодежь. Дѣло въ томъ, что университетская наука въ то время отличалась односторонней отвлеченностью: и въ университетѣ, и въ болѣе серіозной литературѣ, и въ литературныхъ кружкахъ царилъ Гегель съ его туманной философіей; и время, и силы тратились на безконечное разрѣшеніе всевозможныхъ отвлеченныхъ вопросовъ, положительно отдѣлявшихъ отъ насущныхъ вопросовъ окружающей дѣйствительной жизни настоящей китайской стѣной. Даже про лучший изъ гегелевскихъ кружковъ — кружокъ Бѣлинскаго — А. Н. Пыпинъ говоритъ: „У нашихъ молодыхъ философовъ отношеніе къ жизни,



къ дѣйствительности сдѣлалось школьное, книжное: всякое простое чувство было возводимо въ отвлеченныя категоріи и возвращалось оттуда безъ капли живой крови, блѣдной алгебраической тѣнью. Человѣкъ, который шелъ гулять въ Сокольники (паркъ подѣ Москвой), — шелъ для того, чтобы отдаться пантеистическому чувству своего единства съ космосомъ, и если ему попадался по дорогѣ какой-нибудь солдатъ подѣ хмелькомъ или баба, вступившая въ разговоръ, — философъ не просто говорилъ съ ними, но опредѣлялъ субстанцію народности въ ея непосредственномъ и случайномъ явленіи“. Щигровскій Гамлетъ съ своей стороны восклицаетъ: „Какую, скажите на милость, пользу могъ я извлечь изъ энциклопедіи Гегеля? Что общаго, скажите, между этой энциклопедіей и русской жизнью?“ Лежневъ какъ бы подтверждаетъ это, говоря: „Нашъ кружокъ состоялъ тогда, говоря по совѣсти, изъ мальчиковъ, и мальчиковъ недоученыхъ. Философія, искусство, наука, самая жизнь — все это для насъ были одни слова, пожалуй, даже понятія, заманчивыя, прекрасныя, но разбросанныя, разъединенныя“. И вотъ о такихъ-то, для большинства „разъединенныхъ“, подчасъ даже малодоступныхъ и почти совсѣмъ оторванныхъ отъ жизни вопросахъ ведутся дебаты. Конечно, пользы при этомъ условіи могло быть очень мало, — и развивалось, главнымъ образомъ, краснобайство.

Такимъ именно характеромъ отличался тотъ студенческій кружокъ, въ который попалъ Рудинъ. На его несчастье, онъ отличался особенной способностью говорить, — говорить складно, умно, увлекательно. Лежневъ говоритъ про него: „Рудинъ превосходно развивалъ любую мысль, спорилъ мастерски. Читалъ онъ больше философскія книги, и голова у него была такъ устроена, что онъ тотчасъ же изъ прочитаннаго извлекалъ все общее, хватался за самый корень дѣла и уже потомъ проводилъ отъ него во всѣ стороны свѣтлыя, правильныя нити мысли, открывалъ духовныя перспективы... Ничего не оставалось безсмысленнымъ, случайнымъ: во всемъ высказывалась разумная необходимость и красота, все получало значеніе ясное и, въ то же время, таинственное, каждое отдѣльное явленіе жизни звучало аккордомъ, и мы сами, съ какимъ-то священнымъ ужасомъ благоговѣнія, съ сладкимъ сердечнымъ трепетомъ, чувствовали

себя какъ бы живыми сосудами вѣчной истины, орудіями ея, призванными къ чему-то великому“... Эта въ своемъ родѣ вдохновенная тирада Лежнева показываетъ намъ, между прочимъ, какой дѣйствительно выдающейся способностью увлекать другихъ горячимъ словомъ обладалъ Рудинъ. Благодаря именно этой способности, онъ и въ университетѣ, среди студентовъ-товарищей, продолжалъ собирать дань преклоненія передъ своей особой, быть предметомъ если не обожанія, то, какъ видно изъ словъ Лежнева, трепетнаго удивленія, какъ то было у себя въ деревнѣ. Это, конечно, очень льстило еще съ дѣтства избалованному и развитому самолюбію Рудина: онъ еще болѣе изоцрѣлся въ своемъ ораторствѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ привыкалъ видѣть въ этомъ для себя серьезное дѣло, привыкалъ думать, что въ этомъ заключается все, что онъ долженъ дѣлать въ жизни, — тѣмъ болѣе потому, что ему не приходилось ни о чемъ, такъ сказать, реально-жизнейскомъ заботиться. Привыкшій съ ранняго дѣтства брать все готовымъ и при этомъ не спрашивать, даже и не подумать о томъ, откуда, чьими руками все это добыто, Рудинъ и въ университетѣ совершенно покойно бралъ деньги у товарищей, совсѣмъ не задаваясь вопросомъ о томъ, насколько все-таки это могло быть къ лицу такому философу-руководителю, какимъ онъ былъ для своего кружка.

Послѣ всего сказаннаго нетрудно отвѣтить на вопросъ, что далъ Рудину университетъ. Хорошаго сравнительно очень мало вынесъ Рудинъ изъ храма русской науки, и это хорошее заключалось прежде всего, конечно, въ тѣхъ, безспорно, высокихъ самихъ по себѣ идеяхъ, которыми богата была и философія Гегеля, и тѣ философскіе дебаты, которыми оглашалась скромная студенческая каморка Покорскаго. Эти идеи были отрывочны, мало имѣли связи съ запросами окружающей общественной жизни, — но онѣ все же будили серьезную мысль, все же говорили о высокомъ, о прекрасномъ, зажигали благороднымъ, освѣжающимъ огнемъ молодыя, отзывчивыя сердца. „Вы представьте“, рассказываетъ Лежневъ, „человѣкъ пять-шесть; одна сальная свѣча горитъ, чай подается прескверный, и сухари къ нему старые, престарые; а посмотрѣли бы вы на всѣ наши лица, послушали бы рѣчи наши! Въ глазахъ у каждаго восторгъ, и щеки пылаютъ, и сердце бьется, — и говоримъ мы о Богѣ, о правдѣ, о бу-



душности человечества, о поэзии... Вотъ уже утро сѣрѣетъ, и мы расходимся тронутые, веселые, честные, трезвые (вина у насъ и въ поминѣ тогда не было), съ какой-то пріятной усталостью на душѣ... Помнится, идешь по пустымъ улицамъ, весь умиленный, и даже на звѣзды какъ-то довѣрчиво глядишь, словно онѣ стали ближе и понятнѣе... Эхъ! славное было время, и не хочу я вѣрить, что оно пропало даромъ". Къ этому нужно прибавить и ту жажду знанія, то желаніе идти впередъ, пополнить, расширить, еще болѣе выяснить вызывающіе другъ друга вопросы, которыми искренно волновалась тогдашняя университетская молодежь. Но не меньше, пожалуй, развѣ еще не больше вынесъ, Рудинъ дурного изъ своего студенчества. Университетская жизнь не только не исправила въ Рудинѣ недостатковъ первоначальнаго, домашняго воспитанія, но, какъ мы видѣли, даже еще укрѣпила ихъ въ немъ; далѣе, она выработала изъ Рудина пустого, безцѣльнаго, самоуслаждающагося краснобаю, для котораго обратилось въ потребность, такъ сказать, въ цѣль жизни возвышаться на трибунѣ и приковывать къ себѣ всеобщее вниманіе своими вдохновенными, но вмѣстѣ съ тѣмъ болѣе чѣмъ наполовину, бесплодными рѣчами; наконецъ, университетъ не только не помогъ Рудину, хотя нѣсколько, познакомиться съ запросами и нуждами дѣйствительной жизни, отъ которыхъ еще съ дѣтства нѣжная материнская забота всячески удаляла Рудина, но онъ, можно сказать, даже еще болѣе отдалить юношу отъ самой дѣйствительной народной и общественной жизни, служенію которой онъ долженъ былъ себя посвятить. Вѣдь, не даромъ же, искушенный и побитый жизнью, щигровскій Гамлетъ восклицаетъ: „Какую, скажите на милость, пользу могъ я извлечь изъ энциклопедіи Гегеля? Чтò общаго, — скажите, — между этой энциклопедіей и русской жизнью?"

Но будемъ нѣсколько терпѣливѣе: покончивъ съ университетомъ, Рудинъ, вѣдь, поѣхалъ за границу, въ Германію. — къ самому первоисточнику тогдашней нашей науки и образованности: быть можетъ, эта самая „заграница" освѣжила его и хотя нѣсколько направила на путь истины. Надежды на это, положимъ, немного: у насъ еще свѣжо воспоминаніе о почтеннѣйшемъ Пустозвоновѣ изъ „Записокъ охотника". А вотъ что щигровскій Гамлетъ прибавляетъ въ своей

стороны къ этой картинѣ, говоря о своемъ пребываніи за границей: „Нечего и говорить“, сознается онъ, „что собственно Европы, европейскаго быта я не узналъ ни на волосъ; я слушалъ нѣмецкихъ профессоровъ и читалъ нѣмецкія книги на самомъ мѣстѣ рожденія ихъ... вотъ въ чемъ состояла вся разница“. Еще у себя, на Руси, привыкнувъ читать эти нѣмецкія книжки помимо жизни, т.-е. окружавшей его, родной, русской жизни, которая уже въ самомъ дѣтствѣ была отъ него заслонена „французскимъ его гувернеромъ — нѣмцемъ Филипповичемъ изъ нѣжинскихъ грековъ“, — привыкнувъ мыслить только по книгамъ, помимо жизни, — щигровскій Гамлетъ и въ Германіи также мало былъ склоненъ къ тому, чтобы непосредственно всмотрѣться въ самую жизнь, въ ту жизнь, на почвѣ которой родились эти книжки. Онъ правильно рассуждалъ, отправляясь за границу, что „наука-то, кажись, вездѣ одна“, но онъ не зналъ, какъ, — къ сожалѣнію, и до сихъ поръ еще многіе не знаютъ, — что наука, съ ея цѣлью — истиной, заключается не въ однихъ книжкахъ, что дѣйствительно овладѣть наукой — это значитъ умѣть сознать ея непосредственное возникновеніе изъ жизни, сдѣлаться способнымъ выводить эту самую науку и ея истины изъ всего, что насъ окружаетъ. Одна изъ причинъ того, что этого не достигали наши щигровскіе Гамлеты, заключалась въ томъ, что они не умѣли, не привыкли вглядываться въ самую жизнь, изъ которой рождаются настоящія научныя истины; они привыкли брать все готовымъ у другихъ, говорить и думать чужими, готовыми идеями и выводами. „Имъ выводы подавай“, говоритъ Лежневъ. „Гдѣ же нашему брату изучать то, чего еще ни одинъ умница въ книгу не вписалъ!“ съ горечью въ сердцѣ говоритъ щигровскій Гамлетъ: „Я бы радъ былъ брать у ней уроки, у русской жизни-то, — да молчитъ она, моя голубушка. Пойми меня, дескать, такъ, а мнѣ это не подь силу: мнѣ вы подайте выводъ, заключение мнѣ представьте“.

Но, вѣдь, и по характеру первоначальнаго воспитанія, и по характеру своего образованія, по самому образу жизни въ первую пору молодости, увлеченія и университетской болтовней, и заграничной отвлеченной наукой, щигровскій Гамлетъ не только ближайшій современникъ Рудина, но больше того: онъ кровный, родной, развѣ только старшій



братъ. Лежневъ какъ бы подтверждаетъ это: на вопросъ Александры Павловны, какимъ онъ нашелъ Рудина за границею, онъ отвѣчаетъ: „Я въ немъ открылъ то, о чемъ я говорилъ вамъ съ часъ тому назадъ“. А во время этого разговора Лежневъ изображалъ Рудина именно такимъ безпочвеннымъ философомъ-краснобаемъ, ораторствующимъ наполовину для самоуслажденія съ чужихъ словъ, съ блескомъ, съ трескомъ, но почти безслѣдно и безплодно для окружающей жизни и людей. Для своей русской жизни, для своей родины Рудинъ и изъ-за границы вернулся такимъ же пустоцвѣтомъ, такимъ же складочнымъ мѣстомъ общихъ мѣстъ“, — какъ выражается щигровскій Гамлетъ, — какимъ и поѣхалъ въ нѣмецкіе края. И невольно повторилъ вмѣстѣ съ тѣмъ же щигровскимъ Гамлетомъ: „Такъ зачѣмъ же ты таскался за границу? зачѣмъ не сидѣлъ дома да не изучалъ окружающей тебя жизни на мѣстѣ?“ Отвѣтъ на этотъ вопросъ намъ уже извѣстенъ: Рудины способны только проглатывать готовые выводы, съ блескомъ и самоуслажденіемъ развивать ихъ передъ такою же, какъ они сами, праздною публикою, которую они поражаютъ и умиляютъ своимъ трескучимъ краснобайствомъ. Именно въ такомъ положеніи мы застаемъ Рудина въ началѣ романа.✕

Въ высшей степени любопытную картинку представляютъ собою первыя минуты пребыванія Рудина у Ласунской: это прекрасная, какъ увидимъ сейчасъ, иллюстрація къ студенческимъ воспоминаніямъ Лежева о Рудинѣ, — ко всему тому, что мы до сихъ поръ говорили о немъ.

На эти нѣсколько минутъ мы съ вами въ имѣніи столичной львицы — Дарьи Михайловны Ласунской, въ ея огромномъ барскомъ домѣ, воздвигнутомъ на вершинѣ холма по рисункамъ знаменитаго Растрелли, — съ колоннами, балконами, террасами, — въ ея салонѣ со всевозможными приспособленіями и украшеніями утонченнаго свѣтскаго вкуса. Теплый иѣтній вечеръ. Въ открытыя окна льется ароматъ липовыхъ аллей и цвѣтниковъ. Въ салонѣ цѣлое общество сосѣдей, друзей, поклонниковъ. Всѣ въ особенномъ настроеніи; всѣхъ захватила, приковала къ себѣ вдохновенная, горячая, воодушевленная рѣчь одного человѣка. Этотъ человѣкъ — Рудинъ. Онъ говоритъ мастерски. Образы смѣняются образами; сравненія, то неожиданно смѣлыя, то поразительно вѣрныя, воз-

ликають за сравненіями. Онъ не ищетъ словъ: они сами послушно и свободно приходятъ къ нему на уста, и каждое слово, кажется, такъ и льется прямо изъ души, пылаеть всѣмъ жаромъ убѣжденія. Стоя у окна, не глядя ни на кого въ особенности, онъ, вдохновленный общимъ сочувствіемъ и вниманіемъ, близостью молодыхъ женщинъ, красотою ночи, увлеченный потокомъ собственныхъ ощущеній, возвысился до краснорѣчія, до поэзіи... Хозяйка въ восторгѣ отъ новаго украшенія своего салона, съ увлеченіемъ слѣдитъ за потокомъ воодушевленной рѣчи и съ нѣжнымъ выраженіемъ въ голосѣ невольно восклицаетъ: „Vous êtes un poète!“ Сосѣди и друзья вполнѣ согласны съ ней и съ восторженнымъ удивленіемъ внимають оратору. Но больше всѣхъ поражены только что окончившій курсъ въ университетѣ молодой Басистовъ и семнадцатилѣтняя дочь хозяйки, Наташа. У Басистова чуть дыханье не захватило; „онъ сидѣлъ все время съ открытымъ ртомъ и широко раскрытыми глазами, — и слушалъ, слушалъ, какъ отъ роду не слушалъ никого“, говоритъ намъ авторъ, „а у Наташи лицо покрывалось алой краской, и взоръ ея, неподвижно устремленный на Рудина, и потемнѣлъ и заблесталъ“. Еще не совсѣмъ замолкли послѣднія, заключительныя слова Рудина, объяснявшаго значеніе приведенной имъ туманной скандинавской легенды о птичкѣ, — какъ заботливые слуги доложили, что поданъ ужинъ, и все общество, насладившись пищею духовной, направилось въ столовую, гдѣ всѣхъ ожидало хлѣбосольство гостепріимной хозяйки. А въ это время въ ветхой и низкой крайней избушкѣ сосѣдней деревеньки умиралъ человѣкъ преждевременно приведенный къ могилѣ невозможными условіями жизни; въ той же деревнѣ бѣгали нечесаные, немытые, заброшенные ребятишки, потому что матери за ними некогда смотрѣть: она и въ полѣ, она и на барскомъ дворѣ, она и у себя на дворѣ, — все одна; а кругомъ вездѣ безпроглядное невѣжество и тягота, непочатый уголъ нужды и самыхъ насущныхъ жизненныхъ вопросовъ, — дѣла и дѣла безъ конца. И стоитъ это дѣло, и царитъ это невѣжество, и гнетъ свою спину безпомощный простой человѣкъ, и ждетъ народная русская жизнь своихъ дѣателей, — въ то самое время, когда за блестящимъ ужиномъ г-жи Ласунской „самый звукъ Рудинскаго голоса, сосредоточенный и тихій, увеличиваетъ еще болѣе обаяніе всего того,



что онъ говорить: кажется всѣмъ, что его устами говорить что-то высшее... онъ говорить о томъ, что придастъ вѣчное значеніе временной жизни человѣка"... Ужинъ кончился. Упоевныи и духовной и тѣлесной пищею, ораторы и восторженные слушатели расходятся, — и вотъ они уже успокоились на своихъ мягкихъ, покойныхъ ложахъ, какъ бы исполнивъ свой долгъ передъ обществомъ, передъ родиной... А эта самая родина стоитъ попрежнему одинокая, и родная нива тщетно ждетъ своихъ настоящихъ пахарей...

Въ этой поистинѣ грустной картинкѣ своего перваго „блестящаго“ дебюта у Ласунской Рудинъ является передъ нами именно такимъ, какимъ мы его могли представлять себѣ по рассказамъ о немъ Лежнева, по всему тому, что мы знали о его первоначальномъ домашнемъ воспитаніи, о его университетской жизни. Рудинъ попалъ въ свою сферу, онъ именно въ своей тарелкѣ: на него обращены всѣ взоры; онъ — предметъ всеобщаго вниманія и удивленія; онъ вызываетъ восторженное настроеніе своимъ вдохновеннымъ краснорѣчіемъ, — и онъ счастливъ, весь отдается охватившему его увлеченію, — и Рудинъ весь тутъ, и ничего больше отъ него ожидать и нельзя, въ чемъ убѣждаютъ насъ факты, послѣдовавшіе за его первымъ дебютомъ.

Вѣдь онъ явился къ Ласунской собственно для того только, чтобы передать порученіе своего знакомаго, — и на это, конечно, совершенно достаточно было бы одного вечера; но Рудинъ сразу почувствовалъ себя у Ласунской въ привычной для себя, излюбленной сферѣ и, вмѣсто одного вечера, совершенно незамѣтно, — именно незамѣтно, заживаетъ на нѣсколько мѣсяцевъ. Рудину и въ голову не приходитъ вопросъ, какъ это онъ безспорно умный, развитой, образованный, по крайней мѣрѣ, начитанный, человѣкъ, живетъ цѣлые мѣсяцы безъ всякаго дѣла у мало знакомыхъ ему людей и тратитъ время на пустое краснорѣчіе. Онъ этого не чувствуетъ и не замѣчаетъ: вѣдь для него какъ бы вернулась его студенческая жизнь: и теперь такъ же, какъ и тогда, онъ собираетъ со всѣхъ дань и духовную, — въ видѣ удивленія своему ораторскому таланту, — и матеріальную — въ видѣ займовъ въ счетъ будущихъ благъ; ему ни о чемъ не приходится заботиться, для него все готово, и онъ не только не смущается грустной, — съ нашей точки зрѣнія,

прямо-таки обидной для него ролью, а чувствует себя совершенно въ своей сферѣ и ораторствуетъ себѣ да ораторствуетъ; и если бы не исторія съ Наташей, онъ и дольше бы оставался.

Мы подошли теперь къ высшей степени характерному для Рудина его сближенію съ Наташей. Мы видѣли, съ какимъ восторженнымъ вниманіемъ слѣдила Наташа за первымъ дебютомъ Рудина; на другой день онъ началъ дебютировать уже специально для Наташи. Свой дебютъ онъ началъ во время прогулки съ нею съ гимна въ честь поэзіи: „Поэзія — языкъ боговъ; она разлита вездѣ, она вокругъ насъ... Взгляните на эти деревья, на это небо, — отовсюду вѣетъ красотою и жизнью; а гдѣ красота и жизнь, тамъ и поэзія“. Наташа сразу почувствовала въ себѣ вчерашнее настроеніе; она живо вспомнила его вчерашія восторженные рѣчи о томъ, что придаетъ вѣчное значеніе временной жизни человека, и поэтому положительно изумилась, когда на ея вопросъ, — что онъ думаетъ дѣлать въ деревнѣ, — Рудинъ ей отвѣчалъ, что ему „пора отдохнуть“. Но ея слова: „Отдыхать могутъ другіе, а вы... вы должны трудиться, стараться быть полезнымъ...“, напомнили ему о его обычной роли трибуна и глашатая великихъ отвлеченныхъ истинъ. Рудинъ даже какъ бы извинился передъ Наташей, что забылъ о своей роли: „Ваше одно слово напомнило мнѣ мой долгъ, указало мнѣ мою дорогу“, говорилъ онъ ей: „Да, я долженъ дѣйствовать. Я не долженъ скрывать свой талантъ, если онъ у меня есть; я не долженъ растрачивать свою силу на одну болтовню, пустую, бесполезную болтовню, на одни слова...“ „И слова его полились рѣкою“, прибавляетъ отъ себя авторъ: „онъ говорилъ прекрасно, горячо, убѣдительно — о позорѣ малодушіи и лѣни, о необходимости дѣлать дѣло, — говорилъ долго и окончилъ тѣмъ, что еще разъ благодарилъ Наталью Алексѣевну и совершенно неожиданно стиснулъ ей руку, промолвивъ: „Вы — прекрасное, благородное существо“.

Какъ въ первый день ораторскаго дебюта у Ласунской Рудина вдохновляло и вводило въ его обычную роль общее сочувствіе и вниманіе, близость молодыхъ женщинъ и то обаяніе, которое онъ на всѣхъ производитъ, — такъ точно и теперь, дебютируя въ той же роли по отношенію къ На-



ташѣ, онѣ вдохновлялся тѣмъ восторженнымъ трепетомъ, который возбуждали его слова въ молодой, неопытной, чистой, воспріимчивой, горячей натурѣ дѣвушки. Ея широко открытые блестящіе глаза, ея пылающія восторгомъ щеки, то сочувствіе къ нему, „бѣдному скитальцу“, какъ называетъ себя Рудинъ, которое сквозило въ каждомъ ея искреннемъ, вылившемся изъ души словѣ, — все это какъ бы опьяняло Рудина и къ наслажденію чувствовать себя предметомъ удивленія и восторженнаго поклоненія присоединяло еще наслажденіе чувствовать себя предметомъ первой, чистой, зарождающейся и съ каждой минутой усиливающейся любви чистаго, молодого, глубокаго по душѣ и сердцу существа. Рудинъ не могъ этого не чувствовать, не могъ этого не замѣчать: Наташа была слишкомъ неопытное, чистое, честное, открытое существо, чтобы играть какую-нибудь роль, кокетничать: ея сердце все было открыто; она прямыми, чистыми, невинными глазами говорила о томъ, чѣмъ волновалось ея сердце; она прямо, открыто шла навстрѣчу горячему, честному призыву, который ей слышался въ восторженныхъ рѣчахъ Рудина. И Рудинъ не могъ этого не понимать, не могъ этого не чувствовать, — тѣмъ болѣе, что ему было уже 35 лѣтъ, онъ уже видѣлъ жизнь и испыталъ въ ней многое. И онъ чувствовалъ и прекрасно понималъ, что дѣлается въ душѣ Наташи; онъ даже настаивалъ на томъ, чтобы Наташа высказалась, и онъ добился этого.

„Наталя Алексѣвна!“ говорилъ трепетнымъ шопотомъ Рудинъ, когда Наташа, уступая его просьбѣ, пришла къ нему на свиданіе: „я хотѣлъ васъ видѣть... я не могъ дожидаться завтрашняго дня. Я долженъ вамъ сказать, чего я не подозревалъ, чего я не признавалъ даже сегодня утромъ... я люблю васъ“... „Я люблю васъ“, — повторилъ онъ: „и какъ я могъ такъ долго обманываться, какъ я давно не догадался, что люблю васъ!.. А вы?... Наталя Алексѣвна, скажите, вы?...“ — Вы видите, я пришла сюда, проговорила Наташа, едва переводя духъ. „Нѣтъ, скажите, вы любите меня?“ — Миѣ кажется... да... прошептала она. „Ахъ, Наталя Алексѣвна, какъ я счастливъ! Теперь ужъ ничто насъ не разъединитъ!“ восторженно отозвался на это Рудинъ. — Вы говорите, вы счастливы? — какъ бы желая окончательно увѣриться въ этомъ, спросила Наташа. „Я? Нѣтъ человека

въ міръ счастливѣе меня! Неужели вы сомнѣваетесь?“ Наташа приподняла голову, взглянула ему въ глаза и рѣшительно сказала: „Знайте же: я буду ваша!“

Итакъ, цѣль достигнута: дѣвушка любитъ и готова идти за любимымъ человѣкомъ. Что же мы можемъ еще, правильно, должны, именно должны ожидать отъ Рудина? Человѣкъ уже далеко не молодой, безспорно умный, образованный, развитой, уже не мало испытавшій въ жизни, прекрасно видитъ, что производитъ глубокое, сильное впечатленіе на юную, неопытную, страстную и воспріимчивую по натурѣ дѣвушку, радуется, когда убѣждается въ этомъ, добивается окончательной взаимности, вызываетъ на рѣшительное объясненіе, наконецъ, — достигаетъ всего этого. Конечно, у подобнаго человѣка должно же быть сознаніе важности и серьезности того шага, который онъ дѣлаетъ, — онъ долженъ, конечно, понимать, что беретъ на свои руки судьбу и счастье молодой, неопытной, чистой, честной дѣвушки, которая доверчиво откликнулась на его призывъ, увѣренная найти въ немъ самомъ, въ его дальнѣйшихъ дѣйствіяхъ все то, что такъ увлекало ее въ его восторженныхъ рѣчахъ; онъ долженъ же знать, куда онъ ее поведетъ, что онъ ей дастъ, какъ онъ оправдаетъ тѣ ея ожиданія, которыя естественно наполняютъ ея сердце, настроенное и взволнованное его же возвышенными рѣчами объ истинномъ смыслѣ жизни, объ обязанности каждаго изъ насъ дѣлательно трудиться на пользу человѣчества. Дѣвушка подала ему свою руку; онъ, какъ мы видѣли, съ восторгомъ принялъ ее, горячо, восторженно увѣряя дѣвушку, что онъ теперь счастливѣйшій человѣкъ въ мірѣ, что ничто теперь не разъединитъ ихъ. Ну, кажется, все конечно, и наступило время дѣйствовать, и дѣйствовать, конечно, ему, этому „счастливѣйшему“ человѣку въ мірѣ“. Что же Рудинъ? Отвѣтъ на этотъ вопросъ даетъ намъ поистинѣ безсмертная сцена послѣдняго его свиданія съ Наташей у Авдюхина пруда.

Послѣ рѣшительнаго объясненія съ матерью, которая объявила, что „она скорѣе согласится видѣть Наташу мертвою, чѣмъ женою Рудина“, Наташа, отвѣтивъ матери, что скорѣе умретъ, чѣмъ выйдетъ за другого, рѣшила покончить со всѣмъ прошлымъ и отдать свою судьбу въ руки любимаго человѣка. Уходя послѣ этого на рѣшительное свиданіе съ Рудинимъ,



она мысленно прощалась со своимъ домомъ, со своимъ прошедшимъ: она твердо была увѣрена, что ее ожидаетъ надежная, серіозная, любящая рука, на которую она можетъ смѣло опереться для того, чтобы вмѣстѣ съ любимымъ человекомъ пуститься навстрѣчу превратностямъ жизни, — и кого же она встрѣтила у Авдюхина пруда? того ли Рудина — благороднаго, смѣлаго, убѣжденнаго бойца за правду, за счастье, какимъ она привыкла представлять его себѣ по его безчисленнымъ рѣчамъ? А вотъ послушаемъ самого Рудина.

Во-первыхъ, онъ пресеріозно заохалъ и заволиновался тѣмъ, что Дарья Михайловна узнала о его свиданіи съ Наташей, и презабавно все выпрашивалъ у Наташи мелкія подробности ея послѣдняго разговора съ матерью. Затѣмъ, когда Наташа, раздраженная этими странными разспросами, прямо поставила вопросъ: „Какъ вы думаете, чтò намъ нужно теперь дѣлать? Я пришла за совѣтомъ. Вы — мужчина. Я привыкла вамъ вѣрить, я до конца буду вѣрить вамъ“, — Рудинъ, какъ застигнутый врасплохъ, растерянно отвѣчалъ: „Да какой совѣтъ могу я дать вамъ? Покориться судьбѣ: я бѣденъ; но если даже я былъ бы богатъ, то для васъ была бы тяжела разлука съ вашей семьей, гнѣвъ вашей матушки“, и т. д. Въ отвѣтныхъ горькихъ словахъ какъ громомъ пораженной этимъ совѣтомъ Наташи мы находимъ въ высшей степени правдивую характеристику Рудина: Какъ! я прихожу къ вамъ за совѣтомъ, и въ какую минуту, и первое ваше слово: покориться... Покориться! Такъ вотъ какъ вы примѣняете на дѣлѣ ваши толкованія о свободѣ, о жертвѣ... Мама была права: вы точно, отъ нечего дѣлать, отъ скуки, пошутили со мной... Зачѣмъ же вы не остановили меня? зачѣмъ вы сами... Вы такъ часто говорили о самопожертвованіи... но, знаете ли, если бы вы сказали мнѣ сегодня, сейчасъ: — „Я тебя люблю, но я жениться не могу, я не отвѣчаю за будущее, дай мнѣ руку и ступай за мной“, — знаете ли, что я бы пошла за вами, знаете ли, что я на все рѣшилась?... Но, вѣрно, отъ слова до дѣла еще далеко, и вы теперь струсили точно такъ же, какъ струсили третьяго дня передъ Волинцевымъ... Я до сихъ поръ вѣрила, каждому вашему слову вѣрила... Впередъ, пожалуйста, взвѣшивайте ваши слова, не произносите ихъ на вѣтеръ... Я нисколько не сомнѣваюсь въ вашей честности:

вы не въ состояніи дѣйствовать изъ расчета; но развѣ я въ этомъ желала убѣдиться... Вы не ожидали всего этого, — вы меня не знали... вы не любите меня... „Ваша матушка не согласна... это ужасно!“ — вотъ все, что я слышала отъ васъ. Вы ли это, вы ли это, Рудинъ? Нѣтъ, прощайте!...“

*Чернышевъ.*

## Положительныя стороны въ Рудинѣ.

Люди того поколѣнія, типическимъ представителемъ котораго служить тургеневскій герой (Рудинъ), почти уже сошли со сцены: немногіе послѣдніе могиканы идеалистовъ сороковыхъ годовъ остались теперь, да и среди нихъ сколько утратившихъ не только былой идеализмъ, но даже всякій образъ человѣческій! Не будь художественныхъ воспроизведеній этого отжившаго типа, въ свое время игравшаго такую громадную роль въ нашей жизни и въ ея трудномъ и упорномъ стремленіи къ самосознанію, — не будь этихъ всѣмъ знакомыхъ фигуръ Тентетикова, Бельтова, Рудина, Райскаго, Верховенскаго — мы съ трудомъ могли бы составить себѣ понятіе о цѣломъ періодѣ развитія русской жизни, періодѣ необыкновенно тревожномъ въ глубинѣ, хотя, повидимому, и спокойномъ на поверхности. Теперь же, благодаря художественному творчеству Гоголя, Герцена, Тургенева, Гончарова, Достоевскаго, мы имѣемъ самое живое, самое точное и опредѣленное представленіе о внутреннемъ складѣ жизни упомянутаго періода, о его настоящихъ, а не показныхъ, не формальныхъ только герояхъ. Передъ нами эти герои встаютъ во весь ростъ, со всѣми своими выдающимися качествами и недостатками, ихъ значеніе опредѣляется какъ нельзя болѣе ясно, итоги этого значенія подведены художниками съ замѣчательной вѣрностью и безпристрастіемъ. И конечно, въ этой живой работѣ названныхъ художниковъ одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ занимаетъ небольшая эпопея о Дмитріи Рудинѣ, благородномъ російскомъ теоретикѣ добраго стараго времени, зажигавшемъ юныя сердца изящнымъ краснорѣчіемъ и блестящей діалектикой, будившемъ снующую жизнь, повидимому, могучими порывами непреодолимаго убѣжденія въ необходимости дѣла, и тѣмъ не менѣе на первыхъ же порахъ



пасовавшемъ передъ всякимъ настоящимъ жизненнымъ дѣломъ, постоянно трусившемъ передъ дѣйствительностью. Ни въ одномъ изъ произведеній другихъ художниковъ не обрисованъ такими сочувственными чертами упомянутый благородный теоретикъ, потому что ни одинъ изъ русскихъ художниковъ не подходилъ такъ близко къ его умственному и нравственному складу, какъ подходилъ самъ Тургеневъ. Не даромъ же, несмотря на усилія стать на самую объективную точку зрѣнія въ оцѣнкѣ настоящей сущности рудинскаго типа, его творецъ, при всей своей замѣчательной художественной выдержкѣ, не сладилъ съ избранной задачей и невольно измѣнивъ ей, въ знаменитомъ эпилогѣ почти „поклонился тому, что сжигалъ“, въ продолженіе всей своей эпопеи.

Полное „развѣпчаніе“ рудинскаго типа, полное разоблаченіе его отрицательныхъ сторонъ, разоблаченіе беспощадное, даже, можно сказать, злобное разоблаченіе, сдѣлано было гораздо позже другимъ художникомъ — Достоевскимъ, въ его „Бѣсахъ“. Въ лицѣ Степана Трофимовича Верховенскаго мы встрѣчаемся съ Рудиннымъ, захваченнымъ новымъ тревожнымъ жизненнымъ движеніемъ въ эпоху довольно близкую къ намъ, съ Рудиннымъ, ужъ состарѣвшимся, окончательно расшатавшимся и умственно и нравственно, и дошедшимъ въ своей жизненной карьерѣ до того положенія, которое пророчески предсказывалъ этому герою озлобленный циникъ Пигасовъ, когда онъ увѣрялъ, что Рудинъ „кончитъ тѣмъ, что умретъ на рукахъ престарѣлой дѣвы, которая будетъ думать о немъ, какъ о гениальнѣйшемъ человѣкѣ въ мірѣ“. Достоевскій еще усилилъ пророческое предсказаніе Пигасова: его Степанъ Трофимычъ даже въ барынѣ, у которой онъ состоитъ приживальщикомъ, не возбуждаетъ о себѣ иного представленія, какъ только о жалкомъ, „пустомъ, безславномъ и малодушномъ“ человѣкѣ. И однакоже этотъ одряхлѣвшій и окончательно вывѣтрившійся идеалистъ угасаетъ среди дикой и цинической грубой оргіи, чуждой ему и вполнѣ антипатичной жизни новаго поколѣнія все съ тою же юпошескою, даже младенческою вѣрою въ свои эстетически-гуманные принципы, доведенные имъ почти до смѣшного значенія. Комическое противорѣчіе между дѣйствительностью, окружающею стараго идеалиста, между практикою его жизни

и теоретическими его убѣжденіями, нарисовано Достоевскимъ съ удивительной силой и злостью: тутъ вы видите уже настоящую казнь типа, настоящую месть художника всему тому, что въ этомъ типѣ было ложнаго, фальшиваго, наноснаго, несогласнаго съ народными идеалами и привившагося къ нему, вслѣдствіе „западническо-дворянской“ его отрѣшенности отъ русской почвы. Несмотря на мстительный юморъ, съ которымъ нарисованъ художникомъ образъ Верховенскаго, онъ, въ концѣ-концовъ, выходитъ если не трагическимъ, то, во всякомъ случаѣ, возбуждаетъ глубокую жалость своей убогой беспомощностью. Выцветшая, вылинявшая, ветхая фигура стараго доктринера-либерала, съ котораго буйный вихрь новаго стремленія жизни сорвалъ нѣкогда эффектно драпировавшую его тогу возвышенно-краснорѣчиваго идеализма, оставивъ только загрязненные и оборванные клочья этой тоги, походитъ на фигуру нищаго, растрепанную неожиданно застигшимъ его ненастьемъ.

Не говоря уже о томъ, что Тургеневъ по своей натурѣ, вообще женственно-деликатной, не былъ способенъ къ такому страстному увлеченію художнической мстительностью, какое свойственно Достоевскому, онъ не могъ развѣнчать такъ полно и такъ беспощадно типъ Рудина уже и потому одному, что въ эпоху созданія его романа этотъ типъ далеко еще не развѣнчала и сама жизнь. Напротивъ, Рудинъ въ то время имѣлъ еще несомнѣнное героическое значеніе и возвышался цѣлой головой надъ окружающей его дѣйствительностью. Пускай его тревоги были по сущности своей эгоистичны, но, во всякомъ случаѣ, тотъ эгоизмъ, который царилъ въ тогдашнемъ обществѣ, былъ въ тысячу разъ хуже эгоизма Рудина, ибо въ рудинскомъ эгоизмѣ выступало сознаніе личности, а въ эгоизмѣ тогдашняго общественнаго большинства сказывались только полуживотные инстинкты. Пускай его тревоги были безплодны, выражались лишь въ изящномъ краснорѣчьи, въ словесной пропагандѣ, въ увлекательной діалектикѣ; но у тогдашняго соннаго общества не было никакихъ, даже безплодныхъ тревогъ: оно предпочитало всякимъ тревогамъ лѣнивый сонъ, лѣнивую апатію. Краснорѣчивая проповѣдь Рудиныхъ была нужна, была въ свое время полезна: она нарушала этотъ сонъ, она давала толчокъ застоившемуся жизненному строю, дремавшимъ силамъ, осо-



бенно силамъ юнымъ, въ которыхъ она поднимала духъ, возбуждала благородныя и пылкія стремленія къ развитію. (Въ романѣ Тургенева эта сторона нравственнаго вліянія Рудина показана очень ярко на Натальѣ, на Басистовѣ). И къ тому же, развѣ та „простая“ среда, передъ которою, по замыслу Тургенева, долженъ былъ оказаться несостоятельнымъ его эгоистъ-теоретикъ, „кипящій въ дѣйствиіи пустомъ“ — развѣ эта среда въ лицѣ благодушныхъ помѣщиковъ, въ родѣ Лежнева и Волынцева, даже въ лицѣ Натальи, обнаруживала какую-нибудь настоящую дѣятельность, развѣ она не взлелѣивала, какъ и Рудинъ, только личныя стремленія, не услаждаясь эгоизмомъ, обезпеченнымъ чужимъ трудомъ? Рудинъ жилъ на чужой счетъ, на счетъ тогдашней интеллигенціи не совсѣмъ даромъ; онъ платилъ за свое далеко не обезпеченное, бродячее существованіе возбуждающимъ краснорѣчіемъ, блестящими фейерверками своихъ фразъ; ну, а тѣ благодушные дворяне средней руки, которые осуждали Рудина за „нечестность“, займы безъ отдачи и проживаніе на чужой счетъ, — вѣдь они жили же мирно и спокойно на счетъ крѣпостныхъ мужичковъ и при этомъ даже и не прозѣвали, что благодушествуютъ очень и очень эгоистически. Рудинъ-то хоть, по крайней мѣрѣ, мучился тѣмъ, что у него „слова, одни слова, дѣла не было“; а этихъ мирныхъ и благодушныхъ людей какія же такія „дѣла“ были, кромѣ услажденія себя и своихъ домочадцевъ сельскою обезпеченною жизнью? Выставляютъ обыкновенно въ укоръ Рудину, что онъ чуть не погубилъ Натальи, которая, по выраженію Лежнева, ставила на карту душу, тогда какъ Рудинъ волоска не ставилъ, и холодно игралъ съ нею въ игру развиванія. Чуть-чуть не погубилъ! Но, вѣдь, однакоже не погубилъ въ концѣ-то концовъ и даже пользу принесъ молодой дѣвушкѣ: помогъ ей образовать, доработать ея натуру, ея характеръ. Тургеневъ очень хорошо взвѣсилъ все это въ своемъ романѣ и „развѣнчалъ“ рудинскій типъ въ мѣру, совсѣмъ не такъ, какъ потомъ развѣнчивала и припичкала его наша либеральная критика. Эта критика, въ лицѣ Добролюбова, примѣняла Рудина къ всероссійскому байбаку и лежебоку Ильѣ Ильичу Обломову, а въ лицѣ Евгенія Маркова изображала его чуть ли не пошлымъ и лживымъ болтуномъ и бездѣльникомъ, будто бы изображеннымъ Тургеневымъ для того,

чтобъ принизить его передъ людьми полей и даже вывести такую мѣщанскую мораль: „не уповай на свои собственныя дарованія, смирись передъ жизнью, и не будешь скитаться въ кибиткахъ и носить старые сюртуки“. Мало этого: на „старомъ сюртукѣ“ Рудина Марковъ построилъ такое заключеніе, что будто бы послѣднюю страницу эпилога Тургеневъ написалъ съ цѣлью выставить смерть Рудина въ жалкомъ и позорномъ видѣ. „Рудинъ, — съ изумительнымъ апломбомъ разсуждаетъ Марковъ, — погибаетъ безвѣстною и бессмысленною смертью на баррикадѣ чуждаго ему города, защищая чуждые ему интересы, въ старомъ сюртучишкѣ, съ тупою, бесполезною саблею, перяшливымъ сѣдымъ старичкомъ съ обезсилѣвшимъ голосомъ“. Вѣроятно, по мнѣнію критика, Тургеневу для настоящаго апофеоза смерти Рудина слѣдовало представить его умирающимъ на баррикадѣ или въ эффектномъ испанскомъ плащѣ и „въ шляпѣ съ перомъ“, какъ поетъ Мефистофель въ оперѣ Гуно; или, еще лучше, въ новомъ генеральскомъ мундирѣ съ блестящими пуговицами, аксельбантами и эполетами, съ великолѣпно отточенной шпагой, — словомъ, такимъ героемъ, какіе обыкновенно изображаются на плохихъ литографіяхъ. Для того же, чтобы шпага Рудина не оказалась „бесполезной“, онъ, конечно, долженъ былъ бы ею, прежде чѣмъ его пронзила пуля, проколоть, по крайней мѣрѣ, десятка два солдатъ. Вотъ это была бы картина „героической“ смерти! А то, помилуйте, Рудинъ описывается у Тургенева такъ просто: „появился высокій человѣкъ въ старомъ сюртукѣ, подпоясаннымъ краснымъ шарфомъ, и соломенной шляпѣ на сѣдыхъ, растрепанныхъ волосахъ. Въ одной рукѣ онъ держалъ красное знамя, въ другой — кривую и тупую саблю, и кричалъ что-то напряженнымъ тонкимъ голосомъ, карабкаясь кверху и помахивая знаменемъ и саблей. Венсенскій стрѣлокъ прицѣлился въ него — выстрѣлилъ... Высокій человѣкъ выронилъ знамя — и, какъ мѣшокъ, повалился лицомъ внизъ, точно въ ноги кому поклонился... Пуля прошла ему сквозь самое сердце“. По мнѣнію Маркова, въ этомъ описаніи Тургеневъ хотѣлъ изобразить неряшливаго старичка въ старомъ сюртучишкѣ — никакъ не болѣе этого. По мнѣнію Маркова, вообще оцѣнивая отношеніе Тургенева къ его герою, нельзя не сознаться, что для автора не было никакой художественной необходимости



сочетать теоретичность съ такими пошлыми чертами характера и такою презрѣнно-жалостною судьбою, какія выпали на долю Рудина.

Я привелъ здѣсь это удивительное „мнѣніе“ Маркова ради того, чтобы показать, какъ либеральная критика искажала значеніе рудинскаго типа и правдивое отношеніе къ нему Тургенева. Надѣюсь, что упомянутая причина извинить въ глазахъ читателей нѣкоторую неумѣстность въ моемъ этюдѣ критической полемики. „Мнѣнія“, подобныя приведенному, совершенно произвольны, и оцѣнка судьбы Рудина въ качествѣ „презрѣнно-жалостной“, оцѣнка рудинскаго типа, какъ типа пошлаго, совсѣмъ не согласуется съ тѣми данными, какія находимъ мы въ произведеніи Тургенева. Тургеневъ, повторяю еще разъ, безъ сомнѣнія задавался тенденціей развѣнчать рудинскій типъ, разоблачить его моральную и общественную несостоятельность, безплодную теоретичность его стремленій, но у Тургенева не было ни малѣйшаго намѣренія принижать этотъ, во всякомъ случаѣ, выдающійся типъ передъ окружающею его средою, а напротивъ, было невольное сочувствіе этому типу, была невольная душевная симпатія. И это сочувствіе, эта невольная душевная симпатія сдѣлали то, что одностороннее тенденціозное „развѣнчаніе“ типа не удалось художнику, и, онъ, вопреки извѣстной поговоркѣ, начавъ за упокой, свелъ за здравіе Рудина. Инстинктивное сочувствіе художника помогло Тургеневу въ этомъ романѣ правильно освѣтить фигуру его героя и выставить его отношенія къ развитію русской жизни совершенно вѣрно и правдиво въ художественномъ и въ историческомъ смыслѣ. Въ этотъ моментъ нашего общественнаго роста, который захватываетъ Тургеневъ въ своемъ романѣ, его герой несомнѣнно игралъ не пошлую роль и далеко не презрѣнно-жалкую по сущности, какъ увѣряла либеральная критика, хотя печальная судьба Рудина и могла возбуждать жалость, какъ возбуждастъ ее судьба всякаго неудачника, пришедшагося „не ко времени“ и терпящаго жестокіе удары жизни вслѣдствіе этого. Жалкую роль и, можетъ-быть, даже презрѣнную люди рудинскаго типа стали играть уже впослѣдствіи, гораздо позже, когда жизнь развилась вокругъ нихъ въ ширь и въ высь, а они съ естественнымъ угасаніемъ своихъ умственныхъ и нравственныхъ силъ начали все больше и больше терять ея

пониманіе и продолжали пребывать въ своемъ узкомъ кружковомъ доктринерствѣ, въ своей мнимолиберальной теоретичности, продолжали не признавать народной жизни, витая праздной и одряхлѣвшей мыслью въ облакахъ излюбленныхъ эстетическихъ и политическихъ принциповъ, навѣянныхъ любезнымъ имъ Западомъ, почерпнутыхъ изъ старыхъ доктринерскихъ французскихъ и нѣмецкихъ книжекъ. Этотъ новый фазисъ въ положеніи и значеніи людей рудинскаго типа, какъ я упоминалъ выше, нарисованъ въ „Бѣсахъ“ Достоевскаго — произведеніи удивительномъ по силѣ и глубинѣ художественнаго захвата не менѣе тургеневскаго романа. Но „развѣнчаніе“ рудинскаго типа, сдѣланное Тургеновымъ имѣетъ, мало общаго съ развѣнчаніемъ, сдѣланнымъ Достоевскимъ: послѣдній, дѣйствительно, жестоко казнить своего героя, а Тургеновъ своего только душевно сожалеетъ и сочувственно груститъ о его оторванности отъ жизни, но отнюдь не принижаетъ его предъ сомнительною простотою и эгонистическимъ благодушіемъ среды, его окружающей. Да и странно было бы, если бы Тургеновъ принизилъ Рудина хоть, напримѣръ, передъ Волинцевымъ, который, положимъ, хорошій человекъ, но пороку однако не выдумаетъ и, во всякомъ случаѣ, представляетъ собою не болѣе, какъ только олицетвореніе буржуазныхъ достоинствъ. Въ эпилогѣ романа, написанномъ необыкновенно тепло, Тургеновъ, устами Лежнева, очень ясно разбираетъ сущность своего героя и очень вѣрно опредѣляетъ его значеніе. „Отчего ты, — спрашиваетъ Лежневъ Рудина, — съ какими бы помыслами ни начиналъ дѣло, всякій разъ непременно кончалъ его тѣмъ, что жертвовалъ своими личными выгодами, не пускалъ корней въ не добрую почву, какъ бы жирна она ни была? И онъ самъ отвѣчаетъ на этотъ вопросъ: это происходило оттого, что „не духъ празднаго безпокойства живетъ въ тебѣ; огонь любви къ истинѣ въ тебѣ горитъ и, видно, несмотря на всѣ твои дразги, онъ горитъ въ тебѣ сильнѣе, чѣмъ во многихъ, которые даже не считаютъ себя эгонистами, а тебя, пожалуй, называютъ интриганомъ“. Вотъ справедливый приговоръ Рудину и, конечно, это приговоръ самаго автора, и онъ очень далекъ отъ той оцѣнки либеральной критики, которая напрасно силилась выставить Рудина то байбакомъ, то презрѣннымъ балтуномъ и даже пошлякомъ. „Огонь любви къ истинѣ“ горѣлъ и



въ Тургеневѣ, когда онъ разоблачалъ моральную несостоятельность людей рудинскаго типа, когда онъ желалъ показать, что эгоистическіе порывы личности, отрывающейся во имя теоріи отъ жизни, отъ почвы,

Не нужны намъ, затѣмъ, что всѣ они  
Такъ хороши, такъ ярки, такъ красивы!

Огонь любви къ истинѣ горѣлъ въ нашемъ художникѣ, когда, рисуя грустную судьбу Рудина, онъ какъ бы хотѣлъ сказать вмѣстѣ съ тѣмъ же суровымъ поэтомъ-идеалистомъ, изъ котораго цитированы мною два предыдущіе стиха, что для дѣятельности русскаго человѣка, кромѣ блестящаго пути теоретическихъ порывовъ и мнимо-великихъ подвиговъ,

Есть путь иной, гдѣ вѣра не легка:  
Сгораетъ въ немъ порыва скорый пламень,  
Есть долгій трудъ; есть подвигъ червяка:  
Онъ точитъ дубъ, долбитъ и капля камень.

Но Тургеневъ погрѣшилъ бы, какъ художникъ и какъ мыслитель, противъ истины если бы, сводя съ пьедестала своего героя, онъ низвелъ его въ грязь пошлости. И только либеральная близорукость можетъ видѣть въ заключительной страницѣ эпилога, изображающей смерть Рудина, намѣреніе художника прибавить его герою послѣднюю жалкую и презрѣнную черту. Нѣтъ, не съ такимъ намѣреніемъ написана эта страница: ею Тургеневъ хотѣлъ еще разъ подтвердить, что его Рудинъ, при всемъ отсутствіи натуры, при всемъ безсиліи характера и шаткости воли, могъ подъ вліяніемъ идейнаго порыва пойти даже на смерть, хотя бы и за чуждое, но, по его миѣнію, великое дѣло; Тургеневъ наглядно хотѣлъ объяснить, что

Тотъ, чья жизнь бесполезно разбилася,  
Можетъ смертию еще доказать,  
Что въ немъ сердце не робкое билось,  
Что умѣлъ онъ любить...

Таково значеніе этой заключительной страницы эпилога, и въ ней Рудинъ представленъ вовсе не жалкимъ старичишкой, а напротивъ, немножко даже театрално-эффектнымъ инсургентомъ. Сцена смерти Рудина, быть можетъ, невѣрна въ историческомъ отношеніи, потому что, сколько извѣстно,

никто изъ русскихъ идеалистовъ сороковыхъ годовъ, по крайней мѣрѣ, изъ идеалистовъ выдающихся, на баррикадахъ парижскихъ не погибалъ. Иные изъ нихъ, какъ напримѣръ, Герценъ, любовались въ качествѣ политическихъ артистовъ уличными парижскими мятежами, бродили около баррикадъ, но, должно быть, бродили съ осторожностью стороннихъ наблюдателей, какъ, впрочемъ, и подобало имъ. Но будучи невѣрной исторически, смерть Рудина въ художественномъ смыслѣ не представляется наятжкой: напротивъ, какъ послѣдній аккордъ надорванной струны, какъ послѣдній порывъ бесполезнаго великодушія, бесполезнаго напряженія разбитыхъ жизнью силъ идеалиста-теоретика, эта космополитическая смерть за чужое дѣло заканчиваетъ очень хорошо обрисовку рудинскаго типа, пополняетъ ее послѣдней рѣзкой и яркой чертой.

*Буренинъ.*

### Среда и люди въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“.

Послѣ Пушкина рѣдко кто изъ нашихъ писателей пользовался такой любовью публики, какъ Тургеневъ. Романъ его „Дворянское гнѣздо“ (1859) вызвалъ необыкновенный общій восторгъ. Причина его необычайнаго успѣха таится въ особенностяхъ дарованія Тургенева. Онъ умѣетъ въ неиспорченной природѣ человѣка открыть то поэтическое начало, ту божественную искру, которая — по выраженію Гоголя — хоть разъ, какъ „блистающая радость“, промчится въ жизни человѣка, чтобы согрѣть ее на все остальное время. Тургеневъ владѣетъ даромъ подмѣтить это поэтическое начало въ жизни человѣка и выразить его въ живомъ образѣ. Оттого-то онъ болѣе, чѣмъ кто-либо изъ новѣйшихъ писателей, очаровывалъ своихъ читателей или — по выраженію того же Гоголя — „окуривалъ упоительнымъ куревомъ людскія очи“.

Тургеневъ вообще мастеръ рисовать русскую природу и русскихъ людей; но ни въ одномъ изъ его произведеній не видно столько свѣтлыхъ картинъ природы и ни въ одномъ съ такой любовью не раскрыта душа его героевъ, какъ въ романѣ „Дворянское гнѣздо“. Содержаніе для этого романа взято изъ жизни дворянскаго сословія. Мѣсто дѣйствія, вся обстановка, главные лица — все изъ той же самой среды.



Повѣсть разворачивается свободно, широко и увлекательно. Не только главные лица, но и второстепенные, чрезвычайно занимательны сами по себѣ. Кромѣ того, эти лица служатъ или для того, чтобы посредствомъ ихъ яснѣе обрисовывались главные характеры, или же для того, чтобы выступили тѣ или другія черты нравовъ изображаемаго общества. Мѣстами повѣсть раступается, чтобы дать мѣсто вставкамъ, настолько существеннымъ, что при помощи ихъ становится виднѣе смыслъ какъ отдѣльныхъ частей романа, такъ и всего сочиненія. Вотъ, напримѣръ, два большіе, эпизода. Главы VIII—XVI широкими рѣзкими чертами рисуютъ нравы и обычаи въ дворянскомъ родѣ Лаврецкихъ, потомъ — исторію дѣтства, воспитанія и студенческихъ годовъ Ѳедора Лаврецкаго, наконецъ — его же неудачную женитьбу и всѣ тѣ душевные и семейныя потрясенія, которыя онъ пережилъ и отъ которыхъ пріѣхалъ искать спасенія на родинѣ. Второй эпизодъ: глава XXV — неожиданный пріѣздъ къ Лаврецкому стараго его товарища Михалевича, нескончаемый, горячій споръ о предметахъ самыхъ отвлеченныхъ, а затѣмъ — о своей молодости, разочарованіяхъ, тяжелыхъ урокахъ дѣйствительности и лучшихъ идеалахъ человѣка образованнаго и благороднаго. Въ спорѣ этомъ выясняются многія стороны какъ обоихъ друзей, такъ и того времени, подъ вліяніемъ котораго они провели свои университетскіе годы. Въ другихъ мѣстахъ, живописная, согрѣтая чувствомъ, повѣсть смѣняется сценами, цѣлымъ рядомъ разговоровъ. Сцены идутъ быстро, съ необыкновеннымъ оживленіемъ и полнотой. Само собою разумѣется, что тутъ-то съ особенной выразительностью и раскрываются характеры дѣйствующихъ лицъ, черты нравовъ изображаемаго времени и общества. Тонъ повѣствованія вездѣ проникнутъ искреннимъ чувствомъ, мѣстами юмористиченъ, напримѣръ въ изображеніи сентиментальной Марьи Дмитріевны: мѣстами переходитъ въ явную насмѣшку, напримѣръ, въ изобличеніи щепетильнаго тщеславнаго Паншина; мѣстами кипитъ глубокимъ негодованіемъ и презрѣніемъ, напримѣръ въ изображеніи Варвары Павловны; но зато мѣстами звучитъ высокимъ лиризмомъ, напримѣръ, при изображеніи душевныхъ движеній и особенно Лаврецкаго. Всѣ эти элементы изложенія, взятые вмѣстѣ, составляютъ силу, красоту и увлекательность тургеневскаго романа.

Основная идея этого произведенія подсказывается авторомъ во многихъ мѣстахъ романа, напримѣръ: въ исторіи воспитанія Лаврецкихъ вообще, а Оедора Ивановича въ частности; въ томъ мѣстѣ спора съ Михалевичемъ, гдѣ послѣдній клеймитъ друга своего названіемъ эгоиста и, не слушая оправданія Лаврецкаго, что его съ дѣтства вывихнули, громить его клычкой *злостнаго начитаннаго байбака*, который сознательно лежитъ, не принимается за дѣло и это — въ такое время, когда въ Россіи, по словамъ Михалевича „на каждой отдѣльной личности лежитъ долгъ, отвѣтственность великая передъ Богомъ, передъ народомъ, передъ самимъ собой!“ Еще — въ томъ мѣстѣ, гдѣ авторъ позволяетъ читать въ душѣ Лаврецкаго новыя, живительныя впечатлѣнія деревни, сельскаго труда, сельской природы. „Вотъ когда я на днѣ рѣки“, — думалъ Лаврецкій по возвращеніи въ деревню: — „и всегда, во всякое время тиха и неспѣшна здѣсь жизнь. Кто входятъ въ ея кругъ, покоряйся: здѣсь не зачѣмъ волноваться, нечего мутить; здѣсь только тому и удача, кто прокладываетъ свою тропинку не торопясь, какъ пахарь борозду плугомъ. И какая сила кругомъ, какое здоровье въ этой бездѣйственной тиши! — На женскую любовь ушли мои лучшіе годы: пусть же вытрезвить меня здѣсь скука, пусть успокоитъ меня, подготовитъ къ тому, чтобы и я умѣлъ не спѣша дѣлать дѣло“. Окончательно же и сполна Тургеневъ высказываетъ идею романа въ эпилогѣ. Вотъ это мѣсто: „Лаврецкій самъ бы себя не узналъ, если бы могъ такъ взглянуть на себя, какъ онъ мысленно взглянулъ на Лизу. Въ теченіе этихъ восьми лѣтъ совершился, наконецъ, переломъ въ его жизни, тотъ переломъ, котораго многіе не испытываютъ, но безъ котораго нельзя остаться порядочнымъ человекомъ до конца: онъ дѣйствительно *пересталъ думать о собственномъ счастьи, о своекорыстныхъ цѣляхъ*. Онъ утихъ и — къ чему таить правду? — постарѣлъ не однимъ лицомъ и тѣломъ, постарѣлъ душою; сохранить до старости сердце молодымъ, какъ говорятъ иные, и трудно и почти смѣшно; тотъ уже можетъ быть доволенъ, кто не утратилъ вѣры въ добро, постоянства воли, охоты къ дѣятельности. Лаврецкій имѣлъ право быть довольнымъ; онъ сдѣлался дѣйствительно хорошимъ хозяиномъ, дѣйствительно выучился пахать землю и трудился не для одного себя; онъ, насколько



могъ, обезпечить и упрочить быть своихъ крестьянъ“. И далѣе, при взглядѣ на свою прошлую жизнь: „грустно стало ему на сердце, но не тяжело и не прискорбно: сожалѣть ему было о чемъ, стыдиться — нечего. Наконецъ, въ привѣтъ молодому поколѣнію: „играйте, веселитесь, растите, молодыя силы! жизнь у васъ впереди, и вамъ легче будетъ жить: вамъ не придется, какъ намъ, отыскивать свою дорогу, бороться, падать и вставать среди мрака; мы хлопотали о томъ, какъ бы уцѣлѣть — и сколько изъ насъ не уцѣлѣло! а вамъ надобно дѣло дѣлать, работать, — и благословеніе нашего брата старика будетъ съ вами!“ — Послѣ всѣхъ этихъ разъясненій не трудно читателю вывести слѣдующія основныя мысли изъ этого романа. Во-первыхъ, что жажда наслажденій, жажда личнаго счастья обманчива: она не только не даетъ счастья, но, вообще, не можетъ дать прочнаго содержанія для жизни. Эта мысль развита и въ романѣ Гончарова, именно въ характерѣ Ольги Ильинской и въ характерѣ Обломова. Во-вторыхъ, что-то поверхностное, одностороннее воспитаніе и образованіе, которое давалось въ былое время въ дворянской средѣ, не могло развить въ человѣкѣ полного, дѣятельнаго и нравственнаго характера, а служило скорѣе душевнымъ „вывихомъ“, какъ выразился Лаврецкій; и для выправки такого вывиха требовалось много силъ, а представлялось мало вѣроятности, успѣха. Наконецъ, въ-третьихъ, что, благодаря могучимъ преобразованіямъ, сдѣланнымъ державною рукою въ русской жизни, — и въ дворянской средѣ водворился новый, животворный духъ, исчезли тѣ условія, при которыхъ прежде уже съ дѣтства воспитаніе человѣка шло вкривь и вкосъ; поколѣніе, слѣдующее за Лаврецкими, можетъ развиваться правильно, жить жизнью полною, общественною, счастливою.

Значительнѣйшія лица этого романа: Лизавета Михайловна Калитина, Лаврецкій, жена его — Варвара Павловна, Лизина бабушка — Марѳа Тимофеевна Пестова и Паншинъ. На трехъ первыхъ преимущественно построена вся драма отношеній, съ которыми соприкасаются остальные лица романа.

Лиза — въ высшей степени симпатичный и замѣчательный типъ современной образованной дѣвушки (провинціальной барышни). Она напоминаетъ Татьяну Пушкина, но гораздо выше ея въ нравственномъ отношеніи. Лиза не могла

получить отъ своей пустой, сентиментальной матери никакого солиднаго воспитанія. Училась она усидчиво: „безъ труда ей ничего не давалось“, говоритъ авторъ. Какъ и Татьяна,—

Она въ семьѣ своей родной  
Казалась дѣвочкой чужой.

Существо сосредоточенное, свѣтлое, отчасти восторженное, Лиза выросла подъ сильнымъ вліяніемъ своей няни. Разказы няни о мученикахъ и сподвижникахъ глубоко запали ей въ душу и воспитали въ ней глубокое религіозное чувство. Оно-то проникло собою всѣ ея стремленія и поступки. Вотъ какъ авторъ рисуетъ свою героиню въ началѣ романа: „у ней не было *своихъ словъ*, но были *свои мысли*, и шла она своей дорогой, не спрашивая у другихъ, что ей дѣлать. Она была мила, сама того не зная. Въ каждомъ ея движеніи высказывалась невольная, нѣсколько неловкая, грація. Голосъ ея звучалъ серебромъ юности. Малѣйшее ощущеніе удовольствія вызывало привлекательную улыбку на ея губы, придавало глубокой блескъ и какую-то тайную ласковость ея засвѣтившимся глазамъ. *Вся проникнутая чувствомъ долга*, боязнью оскорбить кого бы то ни было, съ сердцемъ добрымъ и кроткимъ, она любила всѣхъ и никого въ особенности; она любила одного Бога восторженно, робко, нѣжно“. Въ своей замкнутой семьѣ Лиза, конечно, не могла получить ни малѣйшаго знанія людей. Ея нравственное чувство служило ей единственнымъ руководителемъ и оберегателемъ во всѣхъ сношеніяхъ съ людьми. Благодаря этому чувству, она не потерялась въ пустотѣ окружающей жизни. Среди этой пустоты она какъ будто предчувствовала, или угадывала иной, лучший порядокъ вещей и удивительно строго и твердо прошла своимъ путемъ между людьми, чужими ей по мыслямъ и по развитію. Въ самыхъ трудныхъ положеніяхъ жизни Лиза руководствуется все тѣмъ же нравственнымъ чувствомъ: оно подсказываетъ ей, что дѣлать. Когда Варвара Павловна разрушила ея надежду на счастье, Лиза говоритъ Лаврецу: „теперь вы видите сами, что счастье зависитъ не отъ насъ, а отъ Бога“. Тутъ, правда, не видно рѣшимости сопротивляться враждебнымъ вліяніемъ и стараться побѣдить ихъ; но недостатокъ энергіи вознаграждается глубокимъ само-



отверженіемъ Лизы. Она любитъ, страдаетъ, переноситъ нравственныя потрясенія съ истиннымъ геройствомъ, не входитъ ни въ какія сдѣлки съ совѣстью. Ея счастье разбито, и вотъ какъ она говоритъ о томъ своей бабушкѣ: „Все кончено; кончена моя жизнь съ вами. Такой урокъ не даромъ; да я ужъ не въ первый разъ объ этомъ думаю. Счастье ко мнѣ не шло. Даже когда у меня были надежды на счастье, сердце у меня все щемило. Я все знаю: и свои грѣхи, и чужіе, и какъ папенька богатство нажилъ; я знаю все. Все это от-молить, отмолить надо“. И затѣмъ Лиза разрываетъ связь съ жизнью дѣйствительной, съ которою, впрочемъ, никогда не могла и не хотѣла сдружиться, и устраиваетъ себѣ жизнь другую, по своей собственной идеѣ, которую усвоила давно. Такая рѣшимость со стороны молодой дѣвушки есть, конечно, своего рода героизмъ. Нравственный образъ Лизы Тургенева далеко оставляетъ за собою личность Пушкинской Татьяны, а ихъ раздѣляютъ всего 20 — 30 лѣтъ. Свѣтлою является Лиза въ началѣ романа, свѣтлою проходитъ передъ зрителемъ, черезъ всѣ степени развивающейся драмы, и такою же свѣтлою скрывается въ монастырскую келью.

Характеръ Лаврецкаго разработанъ Тургеневымъ съ необычайною тонкостью, умѣньемъ и любовью. Выше было сказано, что для того, чтобы сдѣлать читателю понятнымъ плохое воспитаніе Лаврецкаго, а также для того, чтобы объяснить, какъ умный, серіозный Лаврецкій могъ ошибиться въ выборѣ жены, авторъ рассказываетъ намъ исторію всего семейства Лаврецкихъ. Исторія начинается съ ихъ жестокаго прадѣда, а оканчивается отцомъ - англоманомъ. Этотъ англоманъ задумалъ дать своему сыну (т.-е. герою романа) такое воспитаніе, чтобы юноша вышелъ совершеннѣйшимъ спартанцемъ, былъ бы чуждъ слабостей человѣческой природы. И для этого, между прочимъ, англоманъ держалъ своего сына вдали отъ всякаго женскаго вліянія и даже — знакомства. Въ мастерской, живой и вѣрной картинѣ фамиліи Лаврецкихъ видно, какъ въ зеркалѣ, ужасное состояніе образованныхъ поколѣній въ XVIII столѣтія и въ первой четвертинѣ нынѣшняго. Видны крупные, рѣзкіе очерки лицъ жестокихъ, самоуправныхъ. Легко себѣ представить, какъ подъ вліяніемъ такихъ лицъ замирала жизнь въ трепетъ и безъ сопротивленія. По этой исторіи Лаврецкихъ видно, что дворянинъ

того времени вступать въ жизнь безъ всякой подготовки: круглымъ невѣждою въ наукахъ и безъ малѣйшаго порядочнаго воспитанія. Если бы Тургеневъ не вставилъ въ романъ длиннаго эпизода о фамиліи Лаврецкихъ (главы VIII — XV), то было бы непонятно, какимъ образомъ 23-лѣтній *спартавецъ* принялъ первую красивую женщину за олицетвореніе всего нравственнаго, прекраснаго, благороднаго въ мірѣ. Варвара Павловна разрушила это представленіе. Но несчастье было полезно Лаврецкому. Оно смягчило и обработало его душу. Оно сдѣлало его снисходительнымъ къ людямъ; отъ неопредѣленныхъ стремленій и безцѣльныхъ трудовъ оно привлекло его къ роднымъ степямъ, къ нуждамъ и печалямъ ближнихъ. Лаврецкій у себя въ деревнѣ совсѣмъ не тотъ, какимъ былъ въ Москвѣ и Парижѣ. Онъ сталъ добрѣе, симпатичнѣе: онъ радуется успѣхамъ людей, какъ своему собственному счастью; онъ какъ будто вновь родился для новой, лучшей жизни. Такимъ является онъ въ то время, когда между нимъ и Лизой установились дружескія отношенія, и незамѣтно для нихъ самихъ росли и развивались въ другія, болѣе нѣжныя чувства. „Никто не знаетъ, — говоритъ авторъ, — никто не видѣлъ и не увидитъ, какъ призванное къ жизни и расцвѣтанію, наливается и зрѣетъ зерно въ лонѣ жизни“. Съ особеннымъ вниманіемъ и любовью Тургеневъ раскрываетъ читателю тѣ состоянія души, которыя переживалъ его герой, когда между нимъ и Лизой отношенія устроились-было такъ хорошо и — во второй разъ Варвара Павловна разрушила ихъ счастье. Авторъ, незамѣтно для читателя, учитъ его сочувствовать Лаврецкому, уважать его страданія. Эти страданія, дѣйствительно, дорисовываютъ его нравственный образъ. Состояніе души его особенно отчетливо видно въ двухъ совершенно не сходныхъ положеніяхъ Лаврецкаго: *первое* когда съ разбитымъ навѣкъ счастьемъ бѣднякъ старается взять себя въ руки и, стиснувъ зубы, велѣтъ душѣ своей молчать; *второе* — въ самомъ концѣ романа. Здѣсь поразительная картина: съ одной стороны молодое поколѣніе съ звонкимъ смѣхомъ и доверчивымъ взглядомъ на будущее, а рядомъ съ нимъ: драгоцѣнныя, хотя томительныя, воспоминанія Лаврецкаго объ исчезнувшей молодости, о мелькнувшемъ счастьи; кроткій искренній его привѣтъ молодежи; тихое полное безвыходной тоски, обращеніе къ самому себѣ: „здравствуй, одинокая старость; догорай, бесполезная жизнь!“



Варвара Павловна Лаврецкая — совершенная противоположность Лизы въ нравственномъ отношеніи. Это типъ другого рода. Трудно представить себѣ существо съ болѣе заманчивой внѣшностью и съ бѣльшимъ нравственнымъ безобразіемъ. Въ ней и молодость, и красота, и грація, и остроуміе, и нѣкоторый блескъ образованія; но все это — одинъ щегольской покровъ величайшаго духовнаго убожества. Подъ изящной внѣшностью *la belle madame de Lavretzku*, какъ ее величали въ модномъ парижскомъ свѣтѣ, скрываются самыя низкія страсти. Для нея всякія благородныя человѣческія стремленія: трудъ, честь, наука, поэзія, искусство, семья, общество, — все это одни пустыя слова безъ значенія. Она живетъ единственно для удовлетворенія своихъ личныхъ страстей и прихотей. Наглость, лицемѣріе, самый сухой эгоизмъ, — все это она считаетъ средствами дозволенными, когда они ей нужны: въ ней не воспитано *никакихъ* добрыхъ, честныхъ правилъ жизни. Поэтому она ничѣмъ нравственно и не стѣсняется; силы ее не имѣютъ нравственнаго руководителя; она при пользуется смѣло и рѣшительно для достиженія своихъ корыстныхъ цѣлей и — въ неизвѣстномъ кругу людей — всегда дѣйствуетъ открыто и побѣдоносно. Въ этомъ-то именно кругу, въ Парижѣ, она заслужила себѣ характеристику: *cette grande dame russe si distinguée* и еще другую, для окончательной и самой *высокой* похвалы: *une vraie française par l'esprit*. Эта нравственно-убогая особа изображена въ романѣ съ безпощадной строгостью: нигдѣ, ни на одну минуту, ни одной привлекательной въ характерѣ черты. Даже въ отношеніи къ своей маленькой дочкѣ, Адѣ, Варвара Павловна не обнаруживаетъ истиннаго, цѣннаго материнскаго чувства: мать заботится только, чтобы ребенокъ былъ одѣтъ всегда въ кружевахъ, какъ куколка. При всей строгости, съ какою Тургеневъ изобразилъ этотъ типъ модной барыни (львицы) *si distinguée*, Варвара Павловна заслуживаетъ однако же сожалѣнія. Съ одной стороны, это — жертва извѣстной обстановки и собственной невоспитанности; съ другой стороны, это — живой урокъ для тѣхъ людей, которые ошибочно полагаютъ, будто довольно имѣть отъ природы достаточно душевныхъ качествъ, чтобы и безъ воспитанія сдѣлаться хорошимъ человѣкомъ, или — что никакимъ воспитаніемъ не разработаешь въ человѣкѣ нравствен-

наго характера, если человѣкъ ужъ отъ природы не хорошъ.

Паншинъ — тоже живой и въ своемъ родѣ замѣчательный русскій типъ. Тургеневъ не пожалѣлъ красокъ для изображенія этого героя. Паншинъ — совершеннѣйшій представитель той полубразованности, той внѣшней отдѣлки, которая иногда такъ пріятно бросается въ глаза; у него всевозможные таланты: онъ живописецъ, музыкантъ, чиновникъ, ораторъ, берейторъ, свѣтскій человѣкъ; но все это въ такой лишь степени, сколько нужно, чтобы занимать, тѣшить людей и никогда не приносить имъ ни духовной ни вещественной пользы. Чтобы приносить пользу, нужно дѣло, призваніе къ дѣлу. Всякое дѣло требуетъ участія души, а всѣ душевныя силы Паншина обращены исключительно къ самому себѣ. Впрочемъ, Паншинъ можетъ, пожалуй, играть даже и хорошаго человѣка; но игра эта будетъ натуральна только до тѣхъ поръ, покуда ничто не затронетъ его мелкихъ страстей. Тогда тотчасъ выступитъ наружу его пустая, безсердечная натура отполированная только снаружи. Для людей ограниченныхъ Паншинъ кажется героемъ, представителемъ столичнаго просвѣщенія. Передъ нимъ, напримѣръ, чуть не благоговѣтъ мать Лизы и считаетъ его прекрасной партіей для своей дочери. Честный старикъ Леммъ думаетъ о немъ иначе: „Лизавета Михайловна — дѣвица справедливая, серьезная, съ возвышенными чувствами; она можетъ любить одно прекрасное, а онъ не прекрасенъ, т.-е. душа его не прекрасна... онъ... онъ дил-ле-тантъ, однимъ словомъ“. Это значитъ: человѣкъ, который всего нахваталъ изъ книгъ, обо всемъ толкуетъ заносчиво и рѣзко; но ни къ чему души не прилагаетъ, ни въ чемъ искренно не убѣжденъ. Когда Лаврецкій спокойно и благородно разбилъ его въ спорѣ на всѣхъ пунктахъ и обличилъ свѣтскаго болтуна, старушка Марфа Тимофеевна украдкой потрепала своего Федю по щекѣ, лукаво прищурилась и нѣсколько разъ покачала головой, приговаривая: „отдѣлалъ умника, спасибо!“ Вообще авторъ не скупится на острые и сердитыя изобличенія напускной важности, тщеславія и самодовольства этого героя. Не безъ умысла Тургеневъ поручаетъ именно Марѣ Дмитріевнѣ, т.-е. самой пустой госпожѣ, выразить похвалу достоинствамъ Паншина: „вотъ какой умный человѣкъ у меня бесѣдуетъ“. Въ этой же



главѣ, именно XXXIII, авторъ, какъ будто подъ вліяніемъ негодованія на изображаемый типъ, самъ прерываетъ сцену разговора дѣйствующихъ лицъ и уже отъ своего собственного лица дорисовываетъ характеръ Паншина. И въ этой дорисовкѣ авторъ торопливъ и самъ какъ будто раздраженъ. Тутъ попадаются о Паншинѣ такія слова: „говорилъ красиво, но съ тайнымъ озлобленіемъ“, — „возражалъ раздражительно и рѣзко, — „занесся, наконецъ, до того, что, забывъ свое камеръ-юнкерское званіе и чиновничью карьеру, назвалъ Лаврецкаго“ и т. д. Подъ конецъ же сцены, опять устами Марьи Дмитріевны, авторъ произноситъ „une nature poétique, конечно, не можетъ пахать... et puis, вы призваны, Владимиръ Николаевичъ, дѣлать все en grand“. Этимъ сарказмомъ авторъ совершенно уничтожаетъ заносчиваго говоруна.

Марѳа Тимоѳеевна — превосходный типъ простосердечной, умной барыни-старушки. Она, по природѣ, любитъ въ чловѣкѣ молодость и достоинство. У ней нравъ независимый. Всѣмъ она говоритъ правду въ глаза, за что и слыветъ „чудачкой“. Лизина мать не любитъ ее, но побаивается ея насмѣшекъ. Зато Лиза только съ бабушкой одной въ семьѣ и сходится до нѣкоторой степени. Она сошлась бы съ нею еще больше, если бъ въ простосердечной бабушкѣ тоже не было кое-какихъ проявленій барскаго своеволія. Рѣчь Марѳы Тимоѳеевны суха и рѣзка; но такъ искусно выдержана эта личность авторомъ, что читатель не обращаетъ вниманія на эту внѣшнюю глубину: ему по душѣ откровенное, честное, сердечное слово старушки.

По содержанію своему и по обработкѣ характеровъ романъ „Дворянское гнѣздо“ естественно примыкаетъ къ замѣчательнѣйшимъ русскимъ романамъ съ общественнымъ значеніемъ, т.-е. къ „Евгенію Онегину“, „Герою нашего времени“, „Мертвымъ душамъ“ и „Обломову“. Въ этой немногочисленной семьѣ „Дворянскому гнѣзду“ принадлежитъ почетное мѣсто, задачи Тургеневскаго романа родственны задачамъ Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Гончарова въ названныхъ сочиненіяхъ. Но „Дворянское гнѣздо“ имѣетъ на своей сторонѣ многія преимущества. Напримѣръ: здѣсь съ особенной полнотой охарактеризована та среда (т.-е. дворянская), изъ которой наши романисты брали своихъ героев; лицъ больше,

лица разнообразіе; анализъ причинъ умственной или нравственной несостоятельности дѣйствующихъ лицъ сдѣланъ полно и отчетливо; герой романа, т.-е. Лаврецкій, представляетъ характеръ, гораздо болѣе разработанный и законченный, нежели Олѣгины, Печорины, Тентетиковы, Обломовы и Итольцы. Мало того, что Лаврецкій не „москвичъ въ гарольдовомъ плащѣ“, что онъ не кичится „необъятными силами“ и вообще не довольствуется однѣми мечтами о дѣятельности, но онъ разбираетъ причину своей несостоятельности, доискивается, въ чемъ заключается его „вывихъ“, нравственнымъ страданіемъ искупаетъ этотъ недостатокъ, въ которомъ, впрочемъ, не самъ виновенъ, и въ продолженіе многихъ лѣтъ дѣйствительно „вправляетъ“ себя (какъ требовалъ Михалевичъ), дѣлаетъ дѣло, а подъ конецъ жизни и сожалѣть есть о чемъ, но „стыдиться нечего“. Такимъ образомъ, романъ этотъ выставляетъ такого рода героя, который естественнѣе, понятнѣе и привлекательнѣе предыдущихъ и въ которомъ съ большею отчетливостью представленъ идеалъ правильнаго воспитанія, семейнаго счастья и общественной дѣятельности.

*Евстафьевъ.*

---

### „Дворянское гнѣздо“, какъ чуткое отраженіе дѣйствительности.

Трудно сказать, начиная разборъ произведенія Тургенева, что болѣе заслуживаетъ вниманія: само ли оно со всѣми своими достоинствами, или необычайный успѣхъ, который встрѣтилъ его во всѣхъ слояхъ нашего общества. Во всякомъ случаѣ, стоитъ серьезно подумать о причинахъ того единогласнаго сочувствія и одобренія, того восторга и увлеченія, которые вызваны были появленіемъ „Дворянскаго гнѣзда“. На новомъ романѣ автора сошлись люди противоположныхъ партій въ одномъ общемъ приговорѣ; представители разнородныхъ системъ и возрѣній подали другъ другу руку и выразили одно и то же мнѣніе. Романъ былъ сигналомъ повсемѣстнаго примѣренія, и образовалъ родъ какого-то литературнаго „trêve de Dieu“, гдѣ каждый позабылъ на время свои любимыя мнѣнія, чтобы вмѣстѣ



съ другими спокойно насладиться произведеніемъ и присоединить голосъ свой къ общей единодушной похвалѣ. Конечно, тутъ можно видѣть торжество поэзіи и художественнаго таланта, самовластно подчиняющихъ себѣ разнообразнѣйшіе оттѣнки общественной мысли, но съ нѣкоторою основательностію тутъ можно предполагать также, что не каждая изъ рукоплещущихъ сторонъ одинаково понимаетъ внутреннее значеніе произведенія, и не каждая въ приговорѣ своемъ подразумѣваетъ именно то, что другая.

Разбирать причины и, такъ сказать, составныя части громаднаго успѣха, встрѣченнаго романомъ Тургенева — не наше дѣло. Скажемъ только, что явленіе это, по нашему мнѣнію, принадлежитъ къ числу очень замѣчательныхъ явленій послѣдняго времени. Мы хорошо понимаемъ единодушіе въ приговорѣ, когда дѣло заходитъ объ общей идее, въ которой каждый человѣкъ порознь или цѣлый народъ вмѣстѣ узнаютъ свою неотъемлемую собственность, свое отраженіе и цѣль для своихъ стремленій; но единодушіе передъ свободнымъ проявленіемъ авторской фантазіи, передъ вопросомъ искусства, передъ фигурами и образами, которые вызваны потребностію отдѣльнаго, частнаго лица, или его художественною прихотью — такое единодушіе представляетъ уже хорошую тему для изслѣдованія. Достаточно вспомнить, что для образованія подобнаго факта нужно было каждому изъ многочисленныхъ судей позабыть на время всѣ нажитыя имъ теоретическія отношенія къ другимъ людямъ (иначе онъ бы никогда съ ними не сошелся), и это вообще довольно рѣдко случается во всѣхъ литературахъ. При подобныхъ явленіяхъ уму наблюдателя неизбѣжно представляется одно изъ двухъ: или счастливое произведеніе вдругъ отвѣтило эстетическимъ и моральнымъ потребностямъ, жившимъ скрытною, затаенною жизнію въ умахъ большей части современниковъ, или при оцѣнкѣ произведенія существуетъ какого-либо рода недоразумѣніе, имѣющее право на раскрытіе и объясненіе. Мы можемъ сказать откровенно, что, по искреннему нашему убѣжденію, въ составленіи успѣха новому произведенію Тургенева участвовали въ извѣстной мѣрѣ и то и другое изъ этихъ условій.

Когда-то довольно давно, печатно было замѣчено, что для автора „Записокъ охотника“ періодъ поэтическихъ анекдо-

товъ съ тонкими чертами изъ народнаго быта, съ мастерски-заостреннымъ юмористическимъ словомъ, съ легкими, по-видимому, но глубоко задуманными и сильно выработанными картинками и положеніями, прошелъ безвозвратно. Послѣ „Записокъ охотника“ автору не оставалось ничего болѣе, какъ пуститься въ открытое море полной, многосторонней народной жизни, если онъ не хотѣлъ укорениться въ одномъ родѣ и вѣчно плавать у береговъ народнаго быта, въ этихъ анекдотахъ, похожихъ на изящныя, щеголеватыя лодочки, неоцѣнимыя для прогулокъ, для полусеріозныхъ и полушутливыхъ бесѣдъ, но мало пригодныя къ большому, долгому и серіозному плаванію за богатствами русскаго духа и русской поэзіи. Кромѣ сельскихъ подробностей, помѣщичьихъ и чиновничьихъ нравовъ, на очереди художественнаго воспроизведенія стояло еще тогда цѣлое такъ называемое образованное общество наше со всѣми разнообразными своими явленіями, которыя возникали, двигались, цвѣли и умирали безъ всякаго свидѣтеля, на подобіе невидимокъ, рѣдко-рѣдко оскорбляемыя любопытнымъ взоромъ наблюдателя. Изъ этого страннаго терема, созданнаго, какъ и всѣ терема, пренебреженіемъ, лѣнностію мысли и самодовольствомъ писателей, Тургеневъ пытался съ самаго начала освободить нѣсколько образовъ, но онъ относился еще къ новому міру, куда вступалъ, очень горделиво; онъ какъ бы сомнѣвался, способенъ ли этотъ міръ къ независимой жизни въ искусствѣ, сумеетъ ли онъ держать себя, какъ слѣдуетъ, принесетъ ли онъ честь и похвалу своему покровителю. Въмѣсто того, чтобы попытаться уразумѣть черты открывшагося ему міра, авторъ сталъ *выбирать* между ними и, какъ бываетъ всегда въ такихъ случаяхъ, выносилъ на свѣтъ не то, что дѣйствительно имѣло силу и значеніе въ обществѣ, а то, что походило на самого искателя, на собственные его идеалы. Но явленія жизни неумолимы, какъ древніе боги. Ихъ не вызовешь презрѣніемъ или укоромъ, ихъ не дождешься, сложа горделиво руки на груди, и вдобавокъ ничѣмъ ихъ не замѣнишь: имъ надо овладѣть открыто и честно, какъ овладѣваютъ сердцемъ гордой и благородной женщины, для чего очищаютъ и исправляютъ собственную свою мысль и собственную свою жизнь. Не всякій способенъ къ такому смѣлому приступу, который одинъ даетъ побѣду и облада-



ніе: вотъ почему большая часть изящныхъ произведеній, содержаніе которыхъ касалось исторіи нашего общества, отличалось въ то время выдумываніемъ явленій, подлогомъ и подставкой изобрѣтенныхъ мотивовъ, вмѣсто настоящихъ и жизненныхъ. Покуда само общество хранило суровое, равнодушное молчаніе, — ложные слухи, произвольныя догадки и слетни ходили о немъ по литературѣ безъ малѣйшаго препятствія. Даже Гоголь не могъ измѣнить литературную привычку къ выдумкѣ, лишь только основная интрига произведенія помѣщалась въ средѣ тѣхъ слоевъ общества, которые непосредственно слѣдуютъ за мелкимъ чиновничествомъ, сельскимъ дворянствомъ и городскимъ провинціальнымъ населеніемъ. Самые странные литературные букеты, не имѣющіе ни формы, ни цвѣта, ни запаха, набирались именно на той почвѣ, которая принадлежала классамъ, заявляющимъ претензію на образованность, на умѣнье лучше понимать жизнь, и разумнѣе, богаче и художественнѣе устроить ее. Великій примѣръ Гоголя принесъ одну только пользу: онъ обратилъ писателей въ чуткихъ сторожей, которые на порогѣ этого особеннаго и разнообразнѣйшаго общества проводили дни и ночи, ожидая, не покажется ли кто случайно изъ вѣчно замкнутыхъ и недоступныхъ дверей. Когда сама тѣснота и обиліе жизни, тамъ царствующей, выбрасывали какое-либо явленіе наружу, подобно тому какъ нѣкоторыя многолюдныя страны выбрасываютъ излишекъ своего населенія въ Америку, неусыпные стражи устремлялись на жертву съ поспѣшностію и рвеніемъ людей, прожившихъ многія сутки безъ сна и дѣла или съ пустымъ дѣломъ въ рукахъ. Такимъ образомъ получили мы нѣсколько настоящихъ типовъ, разработанныхъ, надо признаться, очень удовлетворительно, и множествомъ несомнѣнныхъ талантовъ, потому что таланты у насъ находятся въ обратной пропорціи со знаніемъ: знанія мало, дарованій много. Впрочемъ, мы все-таки должны быть благодарны этого рода литературному захвату, какъ ни мало требовалъ онъ доблести, усилій мысли и наблюденія. По милости его, мы пріобрѣли, какъ уже сказали, нѣсколько законченныхъ типовъ, наprimѣръ типъ *широкой натуры*, освободившей себя отъ всякой отвѣтственности передъ совѣстью, типъ *ничтожнаго характера* съ сильными претензіями и развитой головой, типъ благо-

*намыренного* бюрократа, загоняющего людей къ порядку и добродѣтели, какъ стадо и т. д. Мы подстерегали жизненные явленія изъ-за угла не даромъ!

Немного ранѣе „Рудина“, и особенно съ этого романа, мы видимъ Тургенева уже въ серединѣ того круга, по внѣшней окраинѣ котораго ходила вся наша литература, и не только въ серединѣ, но въ прямомъ, открытомъ и свободномъ общеніи со всѣмъ его поэтическимъ, комическимъ и подъ часъ трагическимъ населеніемъ. Нажитыя понятія, предубѣжденія и предразсудки остались у него за порогомъ новаго міра, да и въ этомъ новомъ мірѣ онъ уже ищетъ не *исключительныхъ* явленій, которыми можно было бы поразить простыхъ людей, а ищетъ человѣка съ отношеніями, опредѣляющими и направляющими его. Какъ ни отрывчаты его рассказы, какъ ни слышится въ нихъ еще тайная робость за себя и за внутреннее достоинство выводимыхъ имъ лицъ, говоръ публики вокругъ новыхъ его произведеній показалъ, что онъ уже близокъ къ настоящему дѣлу, что ему остается превратить свои намеки въ ясные, положительные факты, договорить свои полукровенія, додѣлать фигуры, брошенные наполовинѣ, и получить затѣмъ право на названіе лѣтописца современной жизни. Черезъ рядъ болѣе или менѣе удачныхъ опытовъ, Тургеневъ дошелъ, наконецъ, до простой многозначительной драмы, какая является въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“, и какихъ тысячи втихомолку разыгрываются по разнымъ угламъ нашего отечества, дошелъ до лицъ и характеровъ, нисколько не запятанныхъ грубымъ авторскимъ произволомъ, и взятыхъ изъ неисчисленной движущейся толпы такъ называемаго образованнаго общества, гдѣ они укрываются отъ лѣниваго наблюденія; словомъ, онъ изобразилъ такое событіе, которое оказалось связаннымъ тончайшими нитями съ нашею современностію, съ сердцами всего настоящаго или, лучше, всего *отживающаго* поколѣнія. Таковъ былъ результатъ смѣлаго и вмѣстѣ дружелюбнаго отношенія къ жизни. Мудрено ли, что общество, узнавъ, наконецъ, въ яркой картинѣ одну изъ тайнъ собственнаго существованія, встрѣтило картину съ увлеченіемъ и восторгомъ, которыми оно обыкновенно награждаетъ людей, открывающихъ ему дорогу къ самосознанію, къ оцѣнкѣ себя и къ суду надъ собою?



Но мы сказали также, что въ составленіи огромнаго большинства хвалителей новаго произведенія Тургенева участвовало и участвуетъ, почти равною частію съ основательными и вполне законными причинами, простое недоразумѣніе. Не трудно будетъ доказать это, если потрудимся разобрать, хотя отчасти, толки и сужденія публики по поводу главныхъ дѣйствующихъ лицъ романа, и особенно по поводу самаго поэтическаго и самаго привлекательнаго изъ нихъ — барышни провинціального города, благородной Лизаветы Михайловны.

Дѣло вотъ въ чемъ. Изъ среды патріархальнаго, но уже суетнаго и испорченнаго семейнаго быта Тургеневъ вывелъ образъ молодого существа, которое съ первыхъ шаговъ на поприщѣ жизни замѣчаетъ, что оно не вторитъ общимъ интересамъ окружающихъ, ихъ понятіямъ, радостямъ и заботамъ. Въ душѣ Лизаветы Михайловны созрѣлъ и выросъ религіозно-нравственный идеалъ существованія, который не можетъ сдружиться съ тѣмъ, что представляется дѣвушкѣ въ настоящемъ и чего можетъ она ожидать въ будущемъ. Послѣ первыхъ неудачныхъ успій помириться на чемъ-нибудь въ текущей жизни, она быстро разрываетъ съ ней всѣ связи и заключается въ монастырь.

Общее выраженіе участія и умиленія со стороны публики проводило ее въ это послѣднее убѣжище; но нельзя сказать, чтобы характеръ дѣвушки и сущность ея жизни были оцѣнены и поняты удовлетворительно большинствомъ ея поклонниковъ: иначе послѣдніе не стали бы такъ много соболѣзновать о судьбѣ ея и, можетъ статься, вмѣстѣ со слезами состраданія явилось бы у нихъ и какое-нибудь другое чувство. Намъ кажется, что внѣшняя сторона ея существованія много участвовала въ привлеченіи къ ней тѣхъ симпатій, которыми она теперь пользуется. Въ самомъ дѣлѣ, вотъ дѣвушка, мечтающая исключительно о моральныхъ обязанностяхъ своихъ, когда въ ея годы и въ ея положеніи думается о свѣтлой поэзіи и радостяхъ жизни; вотъ первые проблески любви и счастья, падающіе на ея сердце не живительной росой, а каплями яда и огорченій; вотъ отступаетъ она передъ грубою дѣйствительностью, начинаетъ чувствовать святое отвращеніе къ земнымъ искушеніямъ и торопится унести дѣвственную чистоту ума и сердца въ суровую монастырскую келью. Не для жизни даны ей были молодость, красота

высокія предчувствія истины и блага—все погнбло въ цвѣтѣ, застигнутое неожиданнымъ морозомъ среди весны, и притомъ той чудной весны, какая возстаетъ всегда подъ перомъ Тургенева. Inde... отсюда слезы! Но если бы судить о лицѣ этомъ по выраженію горя и жалобъ, возбужденныхъ имъ въ читателяхъ, то пришлось бы отнести его къ числу тѣхъ слабыхъ, хотя и интересныхъ организмовъ, которые страдаютъ потому, что неспособны къ здоровому человѣческому существованію. Кто изъ поклонниковъ Лизаветы Михайловны замѣтитъ, что въ нѣжную, граціозную, обаятельную форму ея облеклась такая строгая идея, какая часто бываетъ не подъ силу и болѣе развитымъ и болѣе крѣпкимъ мышцамъ? Лизавета Михайловна способна тронуть и вызвать слезу у самого хладнокровнаго читателя—это правда, но одной слезой и сожалѣніемъ она не можетъ довольствоваться: она имѣетъ право на нѣчто большее, нежели слеза и сожалѣніе, чѣмъ, какъ извѣстно, вполне оцѣниваются и достаточно вознаграждаются многія героини трогательныхъ романовъ, испытавшія горе и несчастіе.

А затѣмъ еще въ общемъ хорѣ поклонниковъ нашей повѣсти сильную долю голосовъ образуетъ новая и особенная раса „искателей идеаловъ“. Удивительно иногда становится, когда подумаешь, къ какому употребленію и къ какому злоупотребленію способны бываютъ слова! Чего не вводится иногда подъ покрывку слова, весьма определеннаго сначала, но затѣмъ потерявшаго, отъ общаго употребленія, какъ старая монета, первоначальный штемпель и подпись свою? Чего не стараются тогда схоронить въ его нѣдрахъ, и подчасъ какимъ страннымъ требованіямъ и цѣлямъ принуждено оно бываетъ служить и отвѣчать? Идеаломъ, на языкѣ эстетики, означается всякій образъ, соединяющій въ себѣ всю ту сумму нравственныхъ и поэтическихъ чертъ, какая ему свойственна по природѣ его. Это очень просто и, пожалуй, можетъ быть выражено еще въ другой формулѣ, именно: всякій нравственный и поэтическій образъ, вѣрный дѣйствительности и самому себѣ, есть идеалъ. На основаніи этого определенія, и комическое лицо, подъ перомъ художника-писателя, можетъ оказаться идеаломъ, точно такъ же, какъ, на основаніи того же определенія, самая благонамѣренная фигура, снабженная многими добродѣтелями и прекрасными мѣтніями, но безъ



жизненной и поэтической правды, не въ состояніи будетъ добиться дожелаемаго повышенія въ идеаль. Съ этою азбукой эстетики благоразумное меньшинство новѣйшихъ искателей идеаловъ, пожалуй, и согласится отвлеченно, но вотъ гдѣ вся партія цѣликомъ расходится съ эстетикой. Настоящій идеаль можетъ иногда казаться осужденіемъ и отрицаніемъ того низшаго порядка вещей, гдѣ онъ явился и призванъ дѣйствовать, а у ложныхъ идеалистовъ онъ обязанъ узаконить его и мирить съ нимъ. На языкѣ новѣйшихъ искателей идеаловъ, всякая попытка облагородить будничныя, такъ сказать, подробности жизни, пошлый ходъ ея, грубыя и закоренѣлыя ея привычки, называется стремленіемъ къ идеализаціи, и чѣмъ труднѣе задача — сообщить пошлому какое-либо значеніе и достоинство, тѣмъ выше цѣнятъ они усилія писателя и тѣмъ сильнѣе приходятъ отъ него въ восторгъ. Съ ужасомъ и отвращеніемъ бѣгутъ они, въ ремеслѣ, отъ замазки первоначальнаго матеріала красками и лакомъ, какая по часту дѣлается для прикрытія его трещины и пороковъ; замазка и лакъ, наоборотъ, составляютъ для нихъ желанную цѣль и послѣднее слово въ искусствѣ. Они отличаются отъ всѣхъ другихъ искателей тѣмъ, что непричастны ихъ волненіямъ, а напротивъ, любятъ покой, умственную и физическую нѣгу: идеаль для нихъ почти то же, что праздникъ для школьника, освобождающій его отъ всѣхъ обязанностей и отъ всякой заботы. Они бы желали праздника на круглый годъ, и если можно, навсегда. вмѣстѣ съ тѣмъ въ умѣ ихъ таится невысказанное желаніе, чтобъ идеалы служили щегольскими ширмами для прикрытія непріятныхъ житейскихъ случаевъ, требующихъ скорой и дѣятельной помощи, — для устраненія отъ глазъ явленій и событій, волнующихъ общественную совѣсть и нарушающихъ безмятежное состояніе души, которое имъ такъ дорого. Они даже судятъ объ относительномъ достоинствѣ идеаловъ по матеріальному употребленію, какое можно сдѣлать изъ того или другого. Сквозь запутанныя опредѣленія идеаль ихъ часто выглядываетъ не въ образѣ эстетическаго понятія, а въ формѣ полезной мѣры благочинія. Завидѣвъ въ лицѣ Лизаветы Михайловны безропотную покорность судьбѣ, убѣдясь, что впечатлѣніе, производимое ею, тихо и отрадно, и особенно не найдя въ ней никакого протеста противъ людей и обстоятельствъ, отъ

которыхъ она безъ жалобы скрывается въ монастырской кельѣ, вся эта раса новѣйшихъ искателей идеаловъ въ одинъ голосъ причислила ее къ сонму своихъ любимцевъ и увѣнчала автора за созданіе такого безкорыстнаго, скромнаго и похвальнаго существа.

Но такъ ли все это?

Есть афоризмъ, не подлежащій сомнѣнію: „поэты рождаются“, но можно прибавить къ нему, что и высоконравственные характеры тоже „рождаются“, по крайней мѣрѣ, возникновеніе ихъ часто бываетъ необъяснимо. Они образуются иногда безъ помощи воспитанія, примѣра, правилъ и указаній, сохраняемыхъ семействомъ отъ старины или отъ господствующаго ученія; они могутъ явиться (и часто являются) въ годы полной духовной тьмы, въ нѣдрахъ самаго испорченнаго круга, при совершенномъ отсутствіи моральныхъ убѣжденій, еще не добытыхъ или уже потерянныхъ окружающимъ ихъ міромъ. Этими характерами доказывается только высокое достоинство человѣческой природы, способной всегда творить нравственные типы, ее выражающіе. Иногда нѣтъ никакой возможности указать, гдѣ началась работа ихъ благодатной мысли, когда и чѣмъ пробудилась ихъ душа, по какому поводу они разошлись съ общими понятіями и создали себѣ особенную мѣрку для опредѣленія добра и правды. Достоверно одно, что иногда достаточно одной самой скудной духовной пищи для развитія ихъ моральнаго существованія въ изумительномъ блескѣ; какая-нибудь книжка, какое-нибудь ничтожное событіе въ домашнемъ быту дѣлаются неожиданно крѣпкими основами ихъ будущаго развитія. Для Лизаветы Михайловны достаточно было няни Агаонъ съ ея пламеннымъ рассказомъ о мученикахъ и подвижникахъ, съ ея народно-мистическимъ настроеніемъ, чтобъ обратить молодой умъ совсѣмъ въ противоположную сторону, именно къ строгому пониманію моральной идеи, заключающейся въ религіи. Часто даже глубоко нравственные характеры обходятся и безъ этихъ толчковъ, безъ этой помощи на первыхъ шагахъ своихъ въ жизни. Учителями ихъ дѣлаются просто всѣ безобразныя, темныя, неразумныя и тупыя проявленія страстей и обычаевъ окружающаго ихъ быта: они учатся правдѣ въ виду господствующаго произвола, сознанію обязанностей своихъ — на духовномъ и тѣлесномъ растлѣніи близкихъ людей, порядку, справедливости.



вости и списхожденію — на общей распущенности и на дикихъ порывахъ животнаго существованія. Можно сказать даже, что чѣмъ заразительнѣе всѣ примѣры, окружающіе ихъ, тѣмъ они тверже укореняются и смѣлѣе идутъ въ правомъ пути. Кто впервые указалъ его, кому обязаны они первымъ извѣстіемъ объ его существованіи, — неизвѣстно. Можетъ-быть, это — неизбежное дѣйствіе пріспѣвшаго времени обновленія для всѣхъ, или, можетъ-быть, это — дѣйствіе точно такой же благодати, какъ, на примѣръ, поэтическій даръ: какъ бы то ни было, Лизавета Михайловна принадлежитъ къ семьѣ этихъ самородныхъ нравственныхъ характеровъ.

Великое достоинство этого лица состоитъ особенно въ томъ, что авторъ не лишилъ его вмѣстѣ съ тѣмъ существенныхъ правъ и качествъ молодости. Этого и надо было ожидать. Не такой писатель Тургеневъ, чтобы могъ остановиться на отвлеченномъ образѣ, заняться сухимъ или одностороннимъ педантическимъ идеаломъ. Лизавета Михайловна является намъ въ полной красѣ дѣвичьяго развитія, дѣло только въ томъ, что фантазія дѣвушки, работа ея головы и ея сердца, самая игра жизненныхъ силъ — все уже окрашено врожденнымъ нравственнымъ чувствомъ, отъ котораго она ни убѣжать ни освободиться не можетъ, которое составляетъ ея величіе и ея кару среди людей. Да и проявляется оно особеннымъ, весьма тонкимъ образомъ. Ни разу не встрѣтишь у нея рѣзкаго слова, крикливаго осужденія или враждебнаго поступка противъ опредѣленій и занятій большинства (а вѣдь подобные грубые порывы мысли и пужны многимъ людямъ для уразумѣнія характера); нравственное чувство ея выражается только постоянно боязнію жизни, постояннымъ къ ней недовѣріемъ и какимъ-то испугомъ передъ новыми, еще незнакомыми ей явленіями, точно въ молодой душѣ Лизаветы Михайловны уже поселилось убѣжденіе, что оттуда ждать нечего. Никто изъ самыхъ близкихъ людей не владѣетъ ея сердцемъ, ея довѣренностью: привязанностью племянницы не можетъ даже похвастаться сама Марѳа Тимоѣевна, превосходный типъ умной добросердечной старухи, по природѣ любящей въ человѣкѣ молодость и достоинство. Марѳа Тимоѣевна однакоже слишкомъ бойка. У Марѳы Тимоѣевны сохраняется еще отбѣнокъ барскаго своеволія, даже въ самомъ добрѣ, какое она дѣлаетъ: этого уже достаточно, чтобы испугать ея пле-

мяницу, Лизу, на которой всякій оттѣнокъ, лишенный нравственнаго смысла, отражается болѣзненно, замыкая ей уста и сердце. Еще тоньше, можетъ-быть, поступилъ авторъ, выбравъ Паншина, пустого свѣтскаго болтуна, первымъ предметомъ, на которомъ сосредоточиваются у Лизы пробужденныя ея склонности къ любви и взаимности. Тутъ выказываетъ она очень мало проницательности, знанія и пониманія людей: нравственное чувство остается единственнымъ руководителемъ и единственнымъ оберегателемъ молодой дѣвушки. Отношеніями Лизы къ Паншину начинается и самая повѣсть Тургенева.

Паншинъ этотъ, по выдѣлкѣ, по обилію и роскоши второстепенныхъ подробностей, можетъ-быть, уступаетъ въ романѣ только изображенію „львицы“ Варвары Павловны, обработанному авторомъ съ изумительною тщательностью. Паншинъ вступаетъ въ семейство Лизы почти какъ побѣдитель, еще прежде какой-нибудь побѣды. Пустѣйшая мать героини — бывшая институтка — за него горой. Удивительный представитель русской полуобразованности и русскаго фальшиваго развитія, которыя такъ пзумляютъ иностранцевъ, онъ надѣленъ всѣми возможными талантами: талантомъ живописца, музыкальнымъ, чиновничьимъ, но въ той степени, какая нужна, чтобы занимать, тѣшить людей, и никогда не приносить имъ ни духовной ни вещественной пользы. Онъ и ораторъ, и берейторъ, и свѣтскій человѣкъ — и все это въ мѣру, такъ чтобы ничто не походило на настоящее дѣло или призваніе. Всякое дѣло или призваніе требуетъ участія души и мысли, а душа и мысль у Паншина обращены только къ самому себѣ. Лизавета Михайловна находитъ, что онъ и добрый человѣкъ: онъ можетъ играть, пожалуй, и добраго человѣка очень натурально, покуда мелкія страсти, единственно доступныя ему, спятъ спокойно въ нѣдрахъ его пустой груди. Это совершеннѣйшій типъ выправки, которымъ наполнены канцеляріи и салоны Петербурга, смѣшной и позорный въ одно время, если разсмотрѣть его ближе, но очень годный на выставку, когда нужно обмануть глаза образованнаго міра, чего, какъ извѣстно, всѣ мы крѣпко добиваемся. Въ провинціи онъ еще и представитель столичнаго прогресса, высокаго моральнаго и общественнаго развитія, которое тамъ совершилось или совершается.



Такой-то человекъ принялся со всеѣмъ усердіемъ и со всеѣмъ кокетствомъ, къ какому только способенъ, разрабатывать сердце Лизаветы Михайловны въ свою пользу, и это не изъ одной потѣхи: она успѣла тронуть даже его черствую душу. Мы застаемъ ее въ ту минуту, когда она начинаетъ поддаваться его усиліямъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ читатель пораженъ въ ней признаками какого-то невольнаго страха, подозрѣнія и нерѣшительности: это и есть именно обычная работа нравственнаго чувства, замѣняющаго ей опытность и бодрствующаго надъ ней во всякое время. За блестящей наружностью Паншина, за радужной игрой его артистическихъ притязаній, свѣтскихъ пріемовъ и полупризнаній, не видится благородной дѣвушкѣ моральнаго образа, смутно живущаго въ ея душѣ, не слышится голоса, отвѣчающаго ея предчувствіямъ и вопросамъ. „Подъ конецъ она даже расположена считать свои неопредѣленные требованія, неумолкающіе призывы сердца и нравственной природы, за особенность или уродство своей организаціи, которая должно таить отъ людей, потому что они никѣмъ не признаются, никѣмъ не угадываются, равны чужды матери, Паншину, Марѣ Тимоѣевнѣ и всему семейству. Она рѣшается отдать свою руку Паншину на одномъ условіи — лишь бы не мѣшалъ онъ ей сдѣлаться доброй женщиной, лишь бы позволилъ прожить вѣкъ наединѣ съ собственной ея мыслию. Почти передъ самымъ рѣшеніемъ этой безразсудной жертвы является изъ-за границы усталый и сильно пораженный домашнимъ несчастіемъ Лаврецкій. Онъ обращаетъ на себя вниманіе Лизы и окончательно отводитъ ее отъ соперника своего, Паншина.

Чѣмъ же дѣлается для нея Лаврецкій? Спустя немного, она опять стоитъ и передъ нимъ въ недоумѣніи, въ раздумьи, опять съ ношей неразрѣшимыхъ вопросовъ и неисполнимыхъ требованій своихъ!

Многимъ показалось страннымъ одно мѣсто въ романѣ. Вскорѣ послѣ того, когда между Лаврецкимъ и Лизой завязались тихія, дружелюбныя отношенія, начинавшія перерождаться, подъ покровомъ взаимной передачи чувствъ и мыслей, въ настоящую любовь, Лизавета Михайловна сказала ему разъ въ неопisanномъ волненіи: „вы должны простить вашу жену“. Восклицаніе Лизы было такъ ново для слуха публики, что многіе приняли его за грубую ошибку, за случай-

ную гримасу, искажившую ея физиономію. Для насъ откровенное слово Лизаветы Михайловны имѣетъ другое значеніе: имъ высказала она ясное пониманіе своего собственнаго положенія, имъ выразила ужасъ къ своей любви, зарождающейся на краю пропасти, и положила ей предѣлъ, да имъ же намѣтила и все, что остается еще дѣлать Лаврецкому въ теченіе его жизни, какъ мы сейчасъ разберемъ подробнѣе.

Во всемъ этомъ, кажется, намъ, трудно усмотрѣть какое-либо потворство быту или извѣстной средѣ жизни, которое оправдывало бы надежды, возложенныя новѣйшими искателями идеаловъ на лицо Лизаветы Михайловны. Совсѣмъ наоборотъ: глубокая, поучительная, но нисколько не сентиментальная драма связана, такъ сказать, со всѣмъ ея существованіемъ. Драма есть уже въ ея появленіи между людьми того круга, которые намъ представлены авторомъ, драма затѣмъ сопровождаетъ каждый ея шагъ, не кончаясь даже и тамъ, гдѣ авторъ кончаетъ повѣсть. Куда скроется Лизавета Михайловна отъ требованій своей мысли? Гдѣ она найдетъ тотъ кровъ, подъ которымъ пугливая совѣсть не можетъ быть потревожена? Есть ли, въ самомъ дѣлѣ, убѣжище для нея? Не выдумана ли тутъ келья, какъ старый, романтическій мотивъ, пригодный къ тому, чтобы завершить романъ чѣмъ-нибудь поприличнѣе?

Постараемся однакожъ уяснить самую мысль, которая теплится въ безсвязныхъ словахъ Лизаветы Михайловны, когда она вызываетъ Лаврецкаго на примиреніе съ женой фразами: „Надо будетъ покориться... Я не умѣю говорить, но если мы не будемъ покоряться...“ и прочее. Слѣдуетъ замѣтить вообще, что Лиза никогда не выражается у автора полною и опредѣленною мыслию, но вся состоитъ только изъ побужденій, предчувствій и намековъ, и это по причинамъ, о которыхъ скажемъ послѣ. Мысль ея оставляется на разборъ и догадку читателя, и мы съ своей стороны разбираемъ ее такъ: въ большей части семейныхъ бурь и катастрофъ люди столько же паказываются неизмѣнными опредѣленіями закона, установленія, сколько и тайною моралью, которая неизмѣнно присутствуетъ въ самой жизни. Это сбылось именно съ Лаврецкимъ. Чего искалъ онъ въ женѣ своей? Опъ плѣнился, рассказываетъ намъ авторъ, красотой ея формъ, роскошными линіями тѣла, свободой и граціей ея



движеній, наконецъ умомъ, способнымъ чувствовать и понимать разнообразныя эстетическія наслажденія. Самой обаятельной чертой въ ея характерѣ была именно эта склонность искать эстетическія наслажденія всюду вокругъ себя, въ обстановкѣ жизни и обязанностяхъ, налагаемыхъ ею. Въ эпоху молодости Лаврецаго, лицо, отличенное подобными стремленіями, пріобрѣтало общее уваженіе и подчасъ общее удивленіе, какъ за особенный даръ, ниспосланный ему небомъ. Чувство изящнаго, а иногда просто павыкъ въ щегольствѣ и нѣкоторые признаки вкуса, при выѣзнихъ преимуществѣхъ, ставили лицо или избранницу на недосягаемый пьедесталъ въ общественномъ мнѣніи. Говорить тутъ о необходимости какихъ-либо жизненныхъ правилъ и основаній считалось пошлостью, педантизмомъ, „нестерпимой рефлексіей“; пониманіе красоты и эстетическихъ приличій казалось символомъ пониманія всего остального на свѣтѣ. Но чувство изящнаго, особенно у поверхностныхъ, неглубокихъ натуръ, къ числу которыхъ принадлежитъ большая часть нашихъ любителей и любительницъ изящнаго, служитъ только чѣмъ-то въ родѣ красиваго кокетливаго мостика, сокращающаго и облегчающаго имъ дорогу къ страстямъ и чисто-животнымъ упражненіямъ. Надо, впрочемъ сказать, что Варвара Павловна щедро заплатила мужу за его выборъ. „Не даромъ, — говоритъ авторъ, — вѣяло прелестью отъ всего существа его молодой жены, не даромъ сулила она чувству тайную роскошь неизвѣданныхъ наслажденій: она сдержала больше, чѣмъ сулила“. Оставалось удержать Варвару Павловну при себѣ навсегда, но удержать ее иначе нельзя было, какъ исчерпавъ до послѣдняго оболѣ все то добро, которое она принесла съ собою въ домъ, именно красоту и способность наслаждаться; съ послѣднимъ оболѣмъ она уже становилась безпомощною личіей и ничѣмъ не могла замѣнить потерь своихъ. Но Лаврецкій поступаетъ не такъ. Покуда роскошная парижская жизнь гремитъ въ собственномъ его салонѣ, подъ руководствомъ жены, онъ сидитъ у себя въ кабинетѣ и страстно, лихорадочно, неусыпно учится. Чему именно, зачѣмъ, для какой опредѣленной цѣли—это ему самому неизвѣстно, это только характеристическая черта его эпохи. Безвыходное занятіе, судорожная любознательность, бросающаяся во всѣ стороны, плаваніе въ море науки безъ ком-

наса, безъ пристани въ виду, — вотъ его дѣло, какъ и любимое дѣло всего поколѣнія современниковъ его. А между тѣмъ Варвара Павловна не ждетъ. Въ характерѣ ея нѣтъ нисколько нравственной бережливости: она скушаетъ богатствомъ красоты, когда нѣтъ возможности тратить его. Не видя близкой руки помогающей, она весело проживаетъ достояніе свое, она принимается бросать его по сторонамъ. Варвара Павловна дѣлаетъ только то, на чтò призвана, для чего воспитывалась дома и въ казенномъ заведеніи, чего ожидала отъ своей красоты и своего ума. Лаврецкій вывелъ ее на сцену дѣйствія, открылъ ей арену для подвиговъ и за то своевременно получилъ узаконенную плату. Чего онъ могъ ожидать болѣе, выбирая такую жену, чтò онъ сдѣлалъ для укрѣпленія связи своей, кромѣ предоставленія женѣ полной свободы располагать собою? Онъ виноватъ передъ ней и передъ своею совѣстью почти столько же, сколько преступная жена его виновата передъ закономъ, и приговоръ, изреченный Лизой, по вдохновенію нравственнаго чувства, становится неотразимъ: „надо покориться... надо простить“. Больше ничего не остается дѣлать!

Авторъ не оставилъ безъ разрѣшенія и вопроса, почему умный, серіозный Лаврецкій могъ такъ ошибиться въ выборѣ жены. Для поясненія этого обстоятельства, Тургеневъ рассказываетъ намъ исторію всего семейства Лаврецкихъ, начиная отъ прадѣда ихъ, разбойника, грабящаго и злодѣйствующаго съ вѣдома, почти съ позволенія общества, до отца, англomана, преобразователя, женившася случайно на крѣпостной дѣвушкѣ и сдѣлавшагося трусомъ и тряпкой, по выраженію Гоголя, какъ только жизнь немного серіознѣе заглянула ему въ лицо. Первый билъ сосѣдей, вѣшалъ „мужиковъ за ребра“, послѣдній заводилъ англійское хозяйство и старался образовать изъ сына своего спартанца, незнакомаго со слабостями человѣческой природы. Такъ было до 1825 года, когда „близкіе, знакомые и пріятели Ивана Петровича (отца нашего героя), подверглись тяжкимъ испытаніямъ“, и самъ онъ вдругъ притихъ и сжался до глубочайшаго ничтожества, до невыразимой пошлости. Всѣ эти страницы у Тургенева, съ ихъ быстрыми, но крупными очерками лицъ, гдѣ проходятъ, почти какъ видѣнія, разоренныя и истасканныя графини о бокъ съ любовниками своими, бѣдныя



дворовыя дѣвушки, понавшія въ госпожи, дикіе помѣщики, подѣ взглядомъ которыхъ замираетъ всякая жизнь въ нѣмомъ трепетѣ и безѣ сопротивленія, принадлежать къ числу мастерскихъ страницъ романа. Это вѣрная, оживленная картина русскихъ образованныхъ поколѣній въ XVIII столѣтіи и въ первой четверти настоящаго. Нужно ли говорить, что она далеко оставляетъ за собою недавнія безобразныя попытки изобразить близкую намъ старину посредствомъ голыхъ выписокъ изъ „записокъ“ и „памфлетовъ“, скрѣпляя ихъ только циническими намеками? Нѣтъ ничего общаго въ картинѣ Тургенева съ этою возмутительною игрою на почвѣ исторіи, — игрою, которую еще вдобавокъ хотѣли намъ выдать за свободное, творческое созданіе, какъ будто изъ подобранныхъ цитатъ, изъ коллекцій скандальезныхъ анекдотовъ, можетъ выйти что-либо, кромѣ смѣшенія, поясняющаго только малую совѣстливость писателя передъ собою и передъ публикой. Изъ картины Тургенева оказывается, что нашъ Лаврецкій нѣсколько разъ уже былъ надорванъ въ жизни, прежде чѣмъ послѣдняя штука жены подкосила его существованіе. Такъ или иначе, но и тутъ все поколѣніе, къ которому онъ принадлежитъ, раздѣляетъ его участь. Почти каждый изъ его членовъ и разными способами былъ обезсиленъ, прежде чѣмъ явился къ жизни и дѣятельности; жизнь и дѣятельность свалили его только окончательно съ ногъ на землю. На школьныхъ скамьяхъ, на первыхъ порывахъ молодости или дома передъ требованіями воспитателей, начиналась для каждого нравственная діета, направленная къ укрощенію, извращенію или къ отмѣнѣ природныхъ силъ человѣка. Двадцати-трехъ лѣтъ спартанецъ былъ круглый невѣжда въ наукахъ, а еще болѣе въ жизни. Варвара Павловна явилась первымъ существомъ, которое приняло съ улыбкой и доброжелательствомъ этого юнаго „Алкида“, какъ называетъ его авторъ, описывая его мужественную паружность, скрывавшую младенческое сердце и невѣдѣніе. Алкидъ ничего не разбиралъ. Въ одномъ имени женщины, въ одномъ ея образѣ заключалось для него полное представленіе всего нравственнаго, благороднаго и чистаго въ мірѣ. Когда Варвара Павловна нарушила это представленіе, то она разрушила не одну идею, а цѣликомъ всю жизнь человѣка. Несчастіе, однакожь, было полезно Лав-

рецкому. Оно смягчило и обработало его душу, надѣливъ ее тѣмъ мудрымъ снисхожденіемъ, о которомъ говоритъ поэтъ, дало пониманіе русской жизни и, подобно спасительному балласту, привлекло его изъ обширныхъ, но неопредѣленныхъ стремленій, къ землѣ, къ роднымъ степямъ, къ нуждамъ, печалямъ и волненіямъ ближнихъ. Все существо его сдѣлалось чрезвычайно добрымъ, симпатическимъ: сердца окружающихъ покоряются ему невольно, увлеченныя его общимъ благорасположеніемъ. Онъ радуется успѣхамъ людей, ихъ радостямъ, какъ собственному счастью, и только, обращаясь на себя, желалъ бы себѣ еще разъ молодости, еще разъ любви и еще разъ жизни. Какъ ни странны и мало разумны подобныя желанія, но они почти сбываются, когда сильный ударъ женской руки разрушаетъ его воздушный замокъ... Таковъ Лаврецкій, замѣнившій Паншина въ сердцахъ Лизаветы Михайловны.

Послѣ этого длиннаго комментарія читатель нашъ можетъ подумать, что затѣмъ все просто и очевидно въ романѣ, что всѣ цѣли и намѣренія его открыты, что завязка его должна быстро развиться въ яркую картину и быстро склониться къ неизбежной катастрофѣ, уже предугадываемой всѣми. Нѣсколько иначе однакожь происходитъ дѣло въ самой повѣсти, показывая еще разъ, что ясность комментарія бываетъ, большею частію, кажущаяся, фальшивая ясность, и что онъ рѣдко можетъ дать понятіе о тайной, невидимой сторонѣ, какую имѣетъ всякое замѣчательное произведеніе искусства, и какую сухая критическая передача никогда не исчерпаетъ сразу. Благодаря этому свойству, многое выходитъ иначе, чѣмъ мы ожидаемъ; напр. образы главныхъ дѣйствующихъ лицъ написаны авторомъ далеко не съ тою грубою выразительностью, которая совершенно освобождаетъ зрителя отъ труда составлять о нихъ мнѣніе, на что мѣтитъ обыкновенно комментарий; отношенія между лицами далеко не такъ просты, чтобы достаточно было нѣсколькихъ размышленій и намековъ для полнаго опредѣленія ихъ, и, наконецъ, интрига романа, задержанная въ своемъ теченіи созерцательнымъ настроеніемъ и автора, и героевъ, возникшихъ изъ самаго хода повѣствованія, совсѣмъ не такъ бурно несется къ концу, какъ можно было бы предполагать, а напротивъ, задумчиво и роскошно тянется, прежде чѣмъ по-



вернуть ей къ естественному и уже давно открывшемуся истоку. Займемся комментариемъ и этой второй оборотной стороны романа, какъ сдѣлали уже для болѣе очевидной и яркой его стороны. Особенный смыслъ, о которомъ мы говорили, кажется намъ, сообщенъ роману слѣдующимъ, весьма важнымъ обстоятельствомъ: герои его, Лиза и Лаврецкій, лишены всякой возможности существовать въ мірѣ на тѣхъ основаніяхъ, какія выпали имъ на долю или какія они избрали себѣ. Бѣдственная, роковая невозможность эта оказывается съ перваго появленія ихъ на сцену отсутствіемъ свободного движенія, мертвенностью воли и безспіемъ передъ гнетомъ внѣшняго міра, то-есть всѣми призраками злобыщей агоніи, поэтической характеръ который не спасаетъ однакожъ человѣка отъ гибели. Они стоятъ передъ читателемъ, открытые для всѣхъ житейскихъ бурь и не имѣя ничего въ рукахъ, чѣмъ бы защититься. Со всѣми ихъ качествами, какъ нельзя болѣе походятъ они на тѣхъ страдальцевъ романтической школы живописи, которыхъ мы видимъ на картинахъ о бокъ съ орудіями ихъ страданій, покорно принимающихъ всѣ удары враговъ, посылая только угасающій взоръ къ звѣздамъ и ласковому небу. Все ихъ значеніе заключается въ достоинствѣ характера и въ удивительно глубоко выраженіи фізіономій, но существенный признакъ жизни — движеніе — такъ чуждо имъ, что, кажется, съ первымъ шагомъ навстрѣчу обстоятельствъ или на борьбу съ ними они лишились бы всего своего величія. Вотъ почему фигуры Лизы и Лаврецкаго написаны авторомъ въ легкомъ полупрозрачномъ тонѣ, который не даетъ усмотрѣть и распознать тотчасъ же ихъ лица и свойственное имъ выраженіе. Мѣсто сильныхъ красокъ жизни замѣнено тутъ безчисленными и тончайшими чертами; каждая изъ нихъ отвѣчаетъ какой-либо тайной сторонѣ ихъ существованія, и каждая будитъ въ душѣ читателя множество личныхъ воспоминаній, множество знакомыхъ и родныхъ уму ощущеній. Удивительное обаяніе, производимое героями, зиждется именно на обиліи, выразительности и значеніи этихъ подробностей, бросающихся въ глаза съ перваго же раза, между тѣмъ какъ полный образъ героевъ возстаетъ уже гораздо позже и требуетъ уже нѣкотораго размышленія. Оно и попятно. Единственная сила, сосредоточивающая человѣка, мгновенно объ-

ясняющая его для всѣхъ взоровъ, опредѣляющая и обна- жающая его, есть опять-таки движеніе или, другими словами, употребленіе воли, борьбы за себя и свои основанія. Но Лиза и Лаврецкій не борются, не отстаиваютъ своей жизни, а только заняты мыслью, какъ бы благороднѣе, достойнѣе и великодушнѣе подчиниться всему, чего потребуютъ и къ чему принудятъ ихъ обстоятельства. Страдательное положеніе есть ихъ удѣлъ на землѣ, и притомъ удѣлъ, столько же данный имъ извнѣ, сколько и взятый на себя по охотѣ, несмотря на нѣкоторыя попытки Лизы и Лаврецкаго освободиться отъ него, противорѣчащія основному ихъ характеру и потому всегда неудачныя, какъ бываетъ безслѣдна всякая вспышка. Гдѣ же причина, спрашивается, этого нравственнаго паралича, поразившаго ихъ въ срединѣ жизни? Прежде чѣмъ дѣйствовать на внѣшній міръ, всякому человѣку необходимо позаботиться объ устройствѣ и организаціи своего собственнаго личнаго и внутренняго міра. Для того, чтобы вести какую-либо борьбу, необходима твердая точка опоры, которая нигдѣ не найдется, кромѣ насъ же самихъ. У иныхъ, болѣе счастливыхъ поколѣній, первые зачатки нравственнаго капитала, столь нужнаго для развитія природныхъ силъ въ человѣкѣ, достаются, такъ сказать, по наслѣдству и даромъ. Лизѣ и Лаврецкому ничего не было оставлено. Вдохновеніе часто приходило на помощь первой, но не освобождало ее совершенно отъ необходимости внутренней работы, а еще менѣе освобожденъ былъ отъ нея Лаврецкій. Они должны были сами наживать всякую общечеловѣческую мысль, всякое свѣтлое, коренное правило жизни, и притомъ еще безпрестанно повѣрять на самихъ себѣ всякій моральный принципъ, чтобы удостовѣриться, не фальшиваго ли онъ чекана и достоинства. Такъ мало достовѣрности представляли имъ тѣ признанные и законные авторитеты, которымъ другіе народы слѣпо и охотно подчиняются. Но заниматься устройствомъ своихъ домашнихъ, такъ сказать, душевныхъ дѣлъ и въ то же время принимать всѣ вызовы обстоятельствъ и храбро выдерживать безконечныя дуэли съ случайностями жизни — работа вообще очень тяжелая. Лиза и Лаврецкій ограничились одною половиною ея и обратили всю энергію воли исключительно на самихъ себя. Можетъ-быть, покажется страннымъ, что мы говоримъ объ энергіи и волѣ



нашей четы послѣ того, какъ признали удѣломъ ихъ на землѣ страдательное положеніе по преимуществу. Оно и точно странно, если глядѣть на нихъ со стороны дѣйствующаго или, по крайней мѣрѣ, волнующагося міра, гдѣ обыкновенно стоитъ читатель, и гдѣ они неохотно, да и весьма неловко, показываются; но если посмотрѣть на нихъ въ ихъ душевномъ ульѣ, въ тайной ихъ работѣ надъ собою, дѣло принимаетъ совсѣмъ другой оборотъ. Со словъ нашего автора мы сказали, что Лаврецкій былъ безсиленъ, прежде чѣмъ наступила пора обнаруженія силы, и это, кажется намъ, несомнѣнно въ отношеніи той стороны его существованія, которая соприкасается съ живымъ и дѣйствующимъ міромъ; со словъ же нашего автора можемъ сказать наоборотъ, что Лаврецкій потратилъ огромное количество труда и силы на другую, нравственную силу своего существованія. Между нимъ и отцомъ его, англоманомъ, лежитъ, на примѣръ, цѣлая бездна развитія, но кто же вырылъ ее, какъ не Лаврецкій-сынъ? Въ превосходныхъ сценахъ, изображающихъ намъ психическое состояніе Лаврецкаго, по полученіи въ Парижѣ несомнѣннаго доказательства измѣны жены и собственнаго позора, мы видимъ, какъ пробуждаются въ немъ мрачныя силы его родоначальниковъ, отцовъ и дѣдовъ его, и какъ твердо побѣждаетъ онъ ихъ въ себѣ. Страшныя испытанія, которымъ подвергаетъ его Варвара Павловна, по возвращеніи въ Россію, никогда не застаютъ его врасплохъ, а находятъ его также насторожѣ противъ грубыхъ инстинктовъ и увлеченія: онъ страстно бережетъ человѣческое гуманное чувство свое, добытое съ такимъ трудомъ, даже передъ коварствомъ и низостью. Плебейская кровь, которая отчасти течетъ въ его жилахъ, помогаетъ его успіямъ, но не создала ихъ, какъ намекаетъ авторъ не вполне основательно, по нашему мнѣнію: плебейская кровь также нуждается въ обузданіи ея духовнымъ началомъ, можетъ-быть, даже болѣе, чѣмъ какая-либо другая. Энергическое управленіе своимъ внутреннимъ міромъ — вотъ гдѣ единственная доблесть Лаврецкаго, не имѣющаго иной доблести. Этимъ онъ отличается отъ всѣхъ литературныхъ типовъ 20-хъ и 30-хъ годовъ нашего столѣтія, отъ Чацкихъ, Онѣгинныхъ и Печоринныхъ. Чацкій, Онѣгинъ и Печоринъ, свободно презираютъ всю окружающую ихъ современность, совсѣмъ не

подозрѣвая, что презрѣніе надо бы начать съ самихъ себя. и что они составляютъ первое звено той самой современности, которую такъ охотно осмѣиваютъ. Они выдѣляютъ себя изъ толпы безъ малѣйшаго права на то или по праву въ родѣ „вольности дворянской“, и ни разу не пришлось имъ подумать, что измѣненіе порядка вещей, который тяготитъ ихъ, должно не предшествовать измѣненію ихъ собственной жизни, а слѣдовать за нимъ. Лаврецкій менѣе заносчивъ и развязенъ, но онъ серіознѣе ихъ. Не нужно прибавлять, кажется, что мы отдаемъ ему преимущество только за обиліе содержанія, произведенное самимъ ходомъ жизни и времени, а не за выразительность и яркость образа, чѣмъ первые, конечно, далеко превосходятъ его.

Всѣ замѣчанія эти еще въ большей степени прилагаются къ Лизаветѣ Михайловнѣ. Мы сейчасъ говорили о ея врожденномъ нравственномъ чувствѣ, которое есть тоже произведеніе естественнаго хода времени и развитія самой жизни. Лиза постоянно отстываетъ передъ событіями и требованіями дѣйствительнаго міра, ея окружающаго, это правда; но также правда и то, что безъ особенной внутренней энергіи она никогда бы не могла защитить себя такъ полно отъ его условій, притязаній и понятій! Съ своимъ врожденнымъ даромъ пониманія или, лучше, предчувствіемъ высшаго порядка вещей, она проходитъ между людьми удивительно строго и твердо, между тѣмъ какъ виѣшнее ея существованіе колеблется, безъ малѣйшаго сопротивленія, дуновеніемъ всѣхъ случайностей жизни. Сила ея только въ ея мысли. Но характеръ Лизы, какъ типа современной образованной дѣвушки, лучше всего объясняется сравненіемъ его съ другимъ типомъ того же рода, первымъ по времени и по достоинству, именно съ Татьяной Пушкина.

Между Татьяной Пушкина и вторымъ типомъ русской провинціальной барышни, достойнымъ этого названія, Лизой Тургенева, лежатъ промежутки тридцати годовъ, но онъ еще ничего не значитъ въ сравненіи съ бездною, которая раздѣляетъ ихъ въ нравственномъ смыслѣ. Можно ли было въ тридцатыхъ годахъ нашихъ вообразить себѣ русскую дѣвушку съ тѣми чертами и свойствами, какія замѣчаемъ нынѣ у героини новаго романа Тургенева? Необычайно длинное путешествіе совершилъ этотъ образъ съ того времени,



какъ впервые показался въ литературѣ нашей. Для того чтобы Татьяна Пушкина могла превратиться въ знакомую намъ Лизу, ей нужно было убѣдиться въ бѣдности и тщетѣ всего, что прежде такъ томпо, волновало и занимало ее. Прежняя Татьяна занята исключительно исторіей своей любви, и ни о чемъ другомъ, кромѣ орудія и проводника этой любви, Онѣгина, понятія не имѣетъ, да еще и о немъ понятія ея весьма ограниченны и скудны. Зато она исполнена женственности, граціи и страсти, которыя заступають ей мѣсто всѣхъ правилъ и образа мыслей. Еще и до сихъ поръ, по остатку стараго романтизма, любовь понимается многими какъ идея, включающая всѣ другія идеи, и съ появленіемъ которой человѣкъ освобождается отъ всѣхъ обязанностей, житейскихъ и нравственныхъ. Влюбленная женщина, по одному тому, что она влюбленная женщина, представляется и теперь существомъ, исполнившимъ на землѣ все, что слѣдовало ему исполнить, изъятымъ отъ суда и мелкихъ ожиданій своихъ собратій по крови и отечеству. Что же было въ тридцатыхъ годахъ? Любовь, какъ священная отмѣтка, положенная на избранника или избранницу чьею-то невидимою рукою, тотчасъ же выводила ихъ изъ толпы, каковы бы, впрочемъ, ни были ихъ душевныя качества и умственное настроеніе, и вѣчно свѣжая поэзія Пушкина воплотила это понятіе общества въ живомъ типѣ, который останется перломъ его творческой дѣятельности. Блестящая, ослѣпительная красота этого типа не можетъ, однакоже, помѣшать намъ всмотрѣться пристально во всѣ черты его. Татьяна подъ конецъ обнаруживаетъ еще и способность къ сдѣлкамъ со своею совѣстью, какія обыкновенно зарождаются въ обществѣ, еще не имѣющемъ твердыхъ основаній, когда нужно обойти препятствіе или установленіе, слишкомъ строго повелѣвающее. Тогда является тайный кодексъ самовольныхъ правилъ и исключеній, который и дѣйствуетъ рядомъ съ нравственными законами, въ ущербъ имъ и оскорбляя ихъ однимъ своимъ присутствіемъ. Татьяна замужемъ за генераломъ, къ которому ласковъ дворъ и которому она остается, безъ любви, вѣрна навѣкъ. Это уже способно возбудить подозрѣніе, но она еще любитъ втайнѣ Онѣгина и находится замужемъ — вотъ что положительно дурно, если не съ точки зрѣнія тѣхъ годовъ, когда говорилъ поэтъ, то съ точки

зрѣнія нашей современности, когда многое уразумѣлось проще и правильнѣе. Вѣдь Татьяна обманываетъ тутъ не только свою совѣсть, но и вѣру другого человѣка, хотя все чисто и безукоризненно въ ней по наружности. Далеко не такъ полно и ослѣпительно, какъ Татьяна, выразила себя Лиза въ романѣ Тургенева (да и кому же у насъ подъ силу мѣряться съ Пушкинымъ въ выраженіи!), но она сдѣлала огромное пріобрѣтеніе съ тѣхъ поръ, какъ показалась впервые Татьяной. Лиза имѣетъ строгія нравственныя основанія; сдѣлки съ совѣстью ей противны; благоговѣніе къ свѣту и къ условнымъ приличіямъ замѣнилось неудержимымъ стремленіемъ направить все свое домашнее, обыденное существованіе въ смыслъ одной религіозно-моральной идеи, врожденной ей или пріобрѣтенной ею. Это уже своего рода героизмъ, а понятіе о необходимости возводить до героизма благородныя побужденія и такъ называемыя добродѣтели не существовало еще во времена Пушкина, да и теперь оно далеко не привычный и далеко не вполне знакомый намъ гость.

Какъ бы то ни было, но покаместъ Лизавета Михайловна и Лаврецкій покорно выжидаютъ приговора жизни и обстоятельствъ, не дѣлая ничего, чтобъ обратить его въ свою пользу, смягчить или избѣжать его. Это круглыя сироты извѣстнаго общественнаго быта, и выраженіе тихой и грустной поэзіи, свойственной людямъ, обреченнымъ на жертву съ самаго рожденія, принадлежитъ имъ по праву. Поэзія этого рода создала вокругъ нихъ ровный, свѣтозарный ореолъ, и отъ нихъ разошлась по всему роману. Въ ея кроткой, задумчивой атмосферѣ движется даже бѣлая часть второстепенныхъ лицъ, какъ, напримѣръ, дворовый человѣкъ, старикъ Антонъ, дошедшій, путемъ привычки, до благоговѣнія къ удручавшей его власти, приживалка въ комнатѣ Марѣи Тимофеевны, музыкантъ Леммъ съ его постоянною благодарностью и вспышками вдохновенія (лицо, впрочемъ, сильно отзывающееся воспоминаніями стараго романтизма) и прочее. Всего болѣе присутствуетъ она въ описаніяхъ, и кто ѣхалъ вмѣстѣ съ Лаврецькимъ въ деревню, послѣ его долгой заграничной жизни, кто жилъ съ нимъ въ глуши его помѣстья передъ степями, получившими для него внятную и знаменательную рѣчь, ходилъ съ нимъ по опустѣлому, тяжелому дому умершей тетки, смотрѣлъ свободно и смѣло разросшійся садъ помѣстья,



при тишинѣ едва движущейся и какъ бы замершей жизни, кто, наконецъ, провожалъ съ нимъ верхомъ Лизу, посѣтившую его уединенное жилище, и возвращался съ нимъ опять домой, лунной ночью, переживая въ себѣ сладкое чувство новой привязанности, имъ овладѣвшее, тотъ уже не позабудетъ этихъ впечатлѣній. Томительно и отрадно ложатся они на сердце читателя, наполняя его въ одно и то же время грустью и наслажденіемъ. Есть мгновеніе въ романѣ, когда поэзія, окружающая образы Лизы и Лаврецаго, достигаетъ своего апогея. Неожиданно разросшійся слухъ о смерти жены Лаврецаго открываетъ вдругъ и впервые нашей четѣ виды на счастье. Съ обычной боязнію, съ непобѣдимымъ сомнѣніемъ въ возможности его, съ тайными упреками совѣсти, помпунтно возникающими въ душѣ ея отъ каждаго самаго незначительнаго обстоятельства, начинается Лиза привыкать къ этой мысли. Она еще вся поглощена борьбой между надеждой и опасеніями, не понимаетъ сама, что съ ней дѣлается, когда разъ застаетъ ее чудная лѣтняя ночь, Лаврецкій, прокравшійся въ садъ, неожиданное свиданіе съ нимъ и первый единственный поцѣлуй любви, сорванный съ ея устъ въ тишинѣ ночи, который отдается въ другомъ мѣстѣ города, у бѣднаго Лемма, вѣроятно, предчувствовавшаго свиданіе, юною и вдохновенною сонатой. Надо читать это описаніе въ романѣ, чтобы испытать его обаятельное и потрясающее дѣйствіе; но поцѣлуй, какъ и всѣ надежды четы, длится одно мгновеніе. Онъ какъ будто вызвалъ изъ гроба львицу Варвару Павловну, потому что вслѣдъ за тѣмъ она является въ маленькій городской домикъ Лаврецаго и умоляетъ его о пощадѣ и прощеніи, въ которыхъ, видимо, нисколько не нуждается. Тогда всѣ расчеты съ жизнію кончаются для Лизы, она рѣшительно порываетъ связь съ людьми, обществомъ, и убѣгаетъ въ монастырь, Лаврецкій тоже пропадаетъ, Богъ вѣсть куда, на долгое время. Чистая поэзія самоотреченія, омывавшая ихъ съ самаго появленія на сцену до того, что лишила воли, простора и движенія, теперь окончательно слилась въ безмятежную рѣку надъ ихъ головами. Мудрено ли, что новѣйшіе искатели идеаловъ рукоплещутъ этому покорному отреченію отъ радостей жизни и желали бы сдѣлать его даже закономъ для всѣхъ людей? Мы лучше хотимъ присоединиться къ тѣмъ чувствительнымъ, которые оплакиваютъ внѣшнюю судьбу и

участь четы, хотя слезы наши будутъ пролиты столько же надъ несчастіями Лизы и Лаврецаго, сколько надъ тѣмъ обстоятельствомъ, что только такою поэзіей и можно было автору освѣтить ихъ симпатическіе образы.

Весьма замѣчательно, что и самъ авторъ, кажется, раздѣляетъ это сожалѣніе. Онъ относится къ главнымъ лицамъ своей повѣсти, по нашему мнѣнію, такъ свободно, какъ только можно писателю относиться къ своему собственному произведенію. Конечно, онъ сочувствуетъ страданіямъ своихъ героевъ, болѣетъ вмѣстѣ съ ними всѣми ихъ болѣзнями, но при этомъ онъ не увлеченъ ими и постоянно берегаетъ для себя право суда надъ ними. Это двойное отношеніе къ героямъ выражается у него мимолетными, едва уловимыми чертами, но вы чувствуете, что подъ роскошными поэтическими описаніями его течетъ еще какой-то другой источникъ, который не даетъ имъ переродиться въ болѣзненные, идиллическія произрастенія распущенной фантазіи. Этотъ крѣпящій источникъ есть критическая способность автора, и она одинъ только разъ выступаетъ вполнѣ наружу, именно въ концѣ романа, когда Лаврецкій, съ лирическимъ воодушевленіемъ, благословляетъ молодое, свѣжее поколѣніе, поселившееся въ домъ отсутствующей Лизы, на новую и лучшую жизнь. Для тѣхъ, которые умѣютъ понимать неписанное, источникъ этотъ былъ слышенъ гораздо ранѣе, чуть ли не съ самаго начала романа. Упреки, какіе можно сдѣлать главнымъ дѣйствующимъ лицамъ романа, уже всѣ сдѣланы авторомъ, прежде читателя, въ собственной своей совѣсти. Стоить только внимательнѣе посмотреѣть, чтобы открыть во множествѣ слѣды повѣряющей и обсуждающей мысли его. Иногда кажется даже, будто романъ написанъ съ цѣлью подтвердить старое замѣчаніе, что великія жертвы, приносимыя отдѣльными лицами ежедневно и по своему произволу, точно такъ же свидѣтельствуютъ о болѣзни общества, какъ и великія преступленія, слишкомъ часто повторяющіяся въ немъ. Могло ли это случиться, если бы авторъ не имѣлъ ничего въ виду, кромѣ простой передачи образовъ, представшихъ его воображенію? На фізіономіяхъ Лизы и Лаврецаго также, по временамъ играютъ лучи какой-то другой мысли, чѣмъ ихъ собственная. Какъ ни обаятельно изображена Лиза, какимъ вниманіемъ, участіемъ и любовью ни



окружаетъ ее авторъ, но чрезвычайная осторожность въ созданіи этого характера уже показываетъ заботливость автора не проговориться, и видимыя усилія его удержаться на одной съ нимъ высотѣ тоже родились не безъ причины. Отъ превосходнаго образа Лизы, даже и теперь, послѣ тщательной обработки его, все-таки отдѣляется мысль, что зародышъ настоящей поэзіи, питающій сердце, заключается въ свободномъ обмѣнѣ чувствъ, подобно тому какъ условія общественнаго просвѣщенія заключается въ обмѣнѣ мыслей. Авторъ глубоко сочувствуетъ Лизѣ, но какъ будто боится ея стремленій. Само собою разумѣется, что въ отношеніи Лаврецаго онъ могъ высказаться опредѣленнѣе. Вотъ почему столько разъ проходитъ у него по всему разсказу о нашемъ героѣ легкое выраженіе осужденія и состраданія. столько разъ наводитъ читатель, тихо и незамѣтно, на строгій тонъ и приговоръ. При самомъ искреннемъ участіи къ лицу, въ умѣ читателя возникаютъ безпрестанно вопросы, и это именно потому, что самъ авторъ приступалъ къ изображенію лица съ такими же точно вопросами на душѣ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ и оберегаетъ своего Лаврецаго, его, видимо, томить опасеніе, чтобы кто-нибудь не поднялъ голоса и не сказалъ: „довольно уже надумались мы о прошломъ, и выговорили всѣ свои жалобы, и оплакали его тлетворное дѣйствіе на себя и другихъ: пора или умирать вмѣстѣ съ нимъ, или оттолкнуть его отъ себя, какъ нѣкогда кіевляне отталкивали, на середину Днѣпра, въ быстрину рѣки, стараго бога своего, столько вѣковъ тупо и грозно стоявшаго передъ нами“. Онъ торопится предупредить замѣчаніе, ослабить его дѣйствіе всѣми возможными поясненіями, и заботливость, съ которою придумываетъ извиненія для Лаврецаго, впадая даже въ преувеличеніе (вспомнимъ похвальбу Лаврецаго собой и своимъ поколѣніемъ, въ концѣ романа), свидѣтельствуетъ, несомнѣнно, что возраженіями нельзя удивить его, и что они заранѣе чувствуемы были имъ въ глубинѣ собственной его мысли. Это двойственное отношеніе къ лицамъ, къ которому, впрочемъ, авторъ приведенъ былъ неизбѣжно свойствомъ выводимыхъ характеровъ и сущностью самого повѣствованія, отразилось въ заглавіи романа. „Дворянское гнѣздо“ звучитъ, кажется намъ, весьма проницательно и заставляетъ ожидать если не сатиры, то, по крайней мѣрѣ,

горькой драмы, взятой изъ нѣдръ извѣстнаго общественнаго круга, а между тѣмъ романъ, носящій такое злобѣщее названіе, весь исполненъ снисхожденія, нѣжной поэзіи и тихой жалобы. Въ простыя эпохи творчества этого бы не могло никогда случиться, но не въ такой эпохѣ живетъ авторъ нашъ, и особенно, не изъ простого и яснаго настроенія, какъ было у предшественниковъ нашихъ, вышли люди, подпавшіе теперь художнической кисти его.

Остается еще третье важное лицо романа, и притомъ единственное, живущее всей полнотой жизни, смѣло идущее ко всѣмъ цѣлямъ своимъ, свободно и мастерски управляющее событіями, именно — „львица“ Варвара Павловна. Мы уже говорили о ней, но не можемъ удержаться еще отъ нѣсколькихъ словъ. Торжествующій образъ Варвары Павловны нарисованъ такъ ярко у автора, что почти выходитъ изъ рамы повѣствованія и противорѣчитъ общему его колориту, выдержанному въ томномъ, нѣжномъ полу-свѣтѣ. Существо, болѣе безобразное въ нравственномъ отношеніи и болѣе искушающее и раздражающее въ физическомъ смыслѣ — трудно представить себѣ. Это порожденіе особеннаго рода сборной, такъ сказать, цивилизаціи, которая по частямъ наплываетъ съ разныхъ сторонъ на человѣка, нисколько не заботясь о томъ, гдѣ она ляжетъ, на чемъ ляжетъ и какъ ляжетъ. Она только равно удаляетъ человѣка отъ народныхъ убѣжденій и народныхъ предразсудковъ, отъ духовныхъ стремленій времени и отъ его заблужденій, отъ хорошихъ и дурныхъ сторонъ общаго отечества, замѣщая все это понятіемъ о служеніи самому себѣ или даже потребностямъ своего организма, какъ у нашей львицы, подъ тѣмъ покровомъ щегольства и приличія, какія только нужны не для обузданія чужихъ страстей, а для лучшаго ихъ возбужденія, прикрытія и направленія. Эта цивилизація намъ хорошо извѣстна: мы почасту различаемъ ея признаки у себя дома, преимущественно въ такъ называемыхъ избранныхъ кругахъ общества, и можно полагать, есть не малое количество читательницъ, публично негодующихъ на львицу Варвару Павловну, и тайнѣ, можетъ-быть, безсознательно завидующихъ ея уму и способности наслаждаться жизнью, опрокидывая всѣ препятствія на пути своемъ. Одно лице-мѣріе еще связываетъ львицу Варвару Павловну съ гра-



жданскимъ обществомъ; не будь лицемѣрія, она была бы такъ гола, такъ отвратительно свободна, какъ отантянка или жительница Сандвичевыхъ острововъ. Чему ей покоряться? Во всемъ мірѣ не существуетъ для нея какого-либо обязательнаго правила, такъ внутри ея не существуетъ и признака какого-либо противорѣчія — все ясно и просто для нея, все побѣждено и покорено ею. Оттого силы для борьбы съ людьми въ пользу своихъ интересовъ, неистраченные на воспитаніе себя, у нея всегда налицо и дѣйствуютъ всегда открыто, неотразимо и побѣдоносно. Моралистъ и этнографъ одинаково задумаются надъ этимъ образомъ, который такъ полно представляетъ Тургеневъ. Но для львицы, подобныхъ Варварѣ Павловнѣ, недостаточно родной почвы и отечества, гдѣ, по условіямъ жизни и образованія, сцена дѣйствія еще узка и должна довольствоваться партеромъ изъ небольшого числа знатоковъ и цѣнителей этого рода талантовъ. Вотъ почему „львицы“ наши охотно бѣгутъ за границу, гдѣ арена для подвиговъ ихъ значительно расширяется и гдѣ въ самыхъ разнородныхъ кругахъ могутъ онѣ найти полное пониманіе и полное признаніе всѣхъ своихъ доблестей. Столицы Европы наполнены этими героями, увидѣвшими свѣтъ на родныхъ нашихъ берегахъ Клязьмы, Суры, Камы, иногда и далѣе, иногда въ бѣдномъ, нуждающемся семействѣ. Однакожь и столицы Европы не въ силахъ подчасъ отказать имъ въ удивленіи. Оно и понятно. Явленіе туземныхъ лицъ, европейскихъ Варварѣ Павловнѣ, возникаетъ отъ заблужденія страстей, отъ извращенія мысли, отъ дѣйствія различныхъ ученій, обуревающихъ общество, наконецъ, просто отъ жажды шума и извѣстности. Онѣ имѣютъ, если не оправданіе, то, по крайней мѣрѣ, своего рода опредѣленіе. Ничего подобнаго нѣтъ въ настоящей, родной нашей Варварѣ Павловнѣ. Она можетъ похвастать, что никогда не поддавалась „гнѣбнымъ впечатлѣніямъ“ отъ чего бы то ни было, что ни вредное чтеніе, ни опасное размышленіе не участвовали въ образованіи ея вкусовъ, что она такъ же мало обязана своимъ величіемъ увлеченію страсти, какъ и превратному понятію о независимости. Какъ же тутъ не удивляться? Варвара Павловна сама создала себя. Она есть точно такое же самородное, оригинальное явленіе русской жизни, какъ и антиподъ ея, благородная Лизавета Михайловна: ими выражаются

два противоположные полюса одного и того же общественнаго развитія.

Ничто такъ не утверждаетъ въ этомъ убѣжденіи, какъ одно обстоятельство, равно приложимое къ обоимъ лицамъ: Варвара Павловна тоже не имѣла никакой подпоры внѣ себя для своего бѣднорожденнаго, хилаго нравственнаго чувства, какъ другая — для строгаго своего идеала. Есть на свѣтѣ множество характеровъ, которые нуждаются болѣе чѣмъ въ обоихъ правилахъ, составляющихъ достоинствіе всего человѣчества, для того чтобы сберечь свое достоинство и укрѣпить въ себѣ нетвердыя понятія о чести. Имъ нужны еще бываютъ частныя правила разумнаго существованія, требованія, узаконенныя обычаемъ, примѣры, вошедшіе въ силу закона, словомъ — весь тотъ написанный уставъ общежитія, какой обыкновенно вырабатывается самими народами въ своихъ нѣдрахъ, служить имъ лучшею характеристикой и составлять, можетъ-быть, высшее ихъ произведеніе: въ немъ различныя національности сознаютъ себя какъ нравственные лица. Подобные кодексы есть у англичанъ, нѣмцевъ, французовъ, но особенно у первыхъ; благодаря этимъ кодексамъ, всѣ личности, кромѣ гражданской и религіозной связи, связываются еще воедино и общимъ преставленіемъ житейской морали, составляя, такимъ образомъ, великое, духовное братство. Никто не можетъ нарушить его, подъ опасеніемъ снѣльнаго нареканія, и каждый членъ безсознательно стремится возвратить къ нему всякаго ослушника. На эти готовые указанія долга и порядка именно опираются люди, имѣвшіе несчастіе родиться безъ внутренней потребности къ воспитанію себя, и, дѣйствительно, при бѣдности натуры, тутъ заключается единственное спасеніе для человѣка. Ничего подобнаго у насъ нѣтъ. Каждый человѣкъ у насъ есть единственный руководитель, оцѣнщикъ и судья своихъ поступковъ. Мы не можемъ согласиться другъ съ другомъ ни въ одномъ, самомъ простомъ и самомъ очевидномъ нравственномъ правилѣ, мы разнимся во взглядахъ на первоначальныя понятія, на азбуку, такъ сказать, ученія о человѣкѣ. Представленія о дозволенномъ и недозволенномъ, въ различныхъ кругахъ нашего общества, до такой степени разнородны и противорѣчивы, что поступокъ, выставляемый на позоръ одною стороною, даетъ поводъ наивно похва-



статься имъ другой сторонѣ. Все это называется свободой жизни. Многіе даже смотрятъ на самое явленіе какъ на весьма выгодное для общественнаго положенія, не связаннаго никакими путями, никакими узкими и тираническими опредѣленіями обычая, и потому способнаго широко развиваться во всѣ стороны. Не знаемъ, такъ ли это, но, по крайней мѣрѣ, умноженіе лицъ, подобныхъ Варварѣ Павловичъ, въ послѣднее время, и наглые примѣры откровеннаго заявленія своего безумія, безпрестанно встрѣчающіеся, несомнѣнно, свидѣтельствуютъ, кажется, что намъ покамѣстъ еще нечего гордиться этой свободой.

Какъ ни длинна статья наша, но рѣшаемся сдѣлать еще одно послѣдніе замѣчаніе.

Говорятъ, что мы молодой народъ, и это правда, если принять въ соображеніе недостаточное развитіе многихъ сторонъ общественнаго быта; но если судить по свойству нашихъ пороковъ и даже добродѣтелей, то мы, вмѣстѣ съ тѣмъ, и очень старый народъ. Возьмите, напримѣръ, жизнь того класса, который выведенъ передъ нами въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“. Развѣ порокъ не пріобрѣлъ тутъ изящества, тонны и замысловатости, совершенно чуждыхъ народамъ, дѣйствительно, юнымъ? Но оставимъ отрицательную сторону и припомнимъ только внимательнѣе къ лучшей, положительной сторонѣ нашего быта. Спрашивается: какое общество, только что начинающее свое поприще, только что вышедшее изъ дѣтства, способно чувствовать и переживать то горе, которымъ страдаютъ герои „Дворянскаго гнѣзда“? Мы сомнѣваемся даже, чтобъ оно могло просто слѣдить за хитрою сѣтью разнородныхъ нравственныхъ требованій, которою опутаны мысль и воля честиѣйшихъ и лучшихъ людей, выведенныхъ передъ нами авторомъ. Нужно было обществу многое пережить на свѣтѣ, прежде чѣмъ успѣла образоваться въ немъ это неутомимая повѣрка своихъ стремленій, это тяжелое созданіе идеаловъ жизни на развалинахъ другихъ идеаловъ, данныхъ исторіей, это духовное скитанье, смѣемъ выразиться, изъ одного нравственнаго представленія въ другое, которое обнаруживается отчасти въ Лизѣ и уже такъ развилось въ Лаврецкомъ. Конечно, позволено будетъ сказать, что кругъ, гдѣ они родились, старъ если не годами, то раннею, преждевременною

опытностью: даже доблести его и самый героизмъ далеко не юношескіе, а скорѣе того круга, который находится въ порѣ зрѣлости, уже граничащей съ утомленіемъ. Добродѣтели молодости всегда и проще, и менѣе подготовляются, и обнаруживаются свободнѣе. Исторія воспитанія Лаврецаго, рассказанная авторомъ, поясняетъ намъ, отчего на молодыхъ фізіономіяхъ могутъ показываться черты и признаки старчества. Если это такъ, то, во-первыхъ, ироническое названіе „Дворянскаго гнѣзда“, данное кругу, изъ котораго вышелъ Лаврецкій, само собою оправдывается, а во-вторыхъ необходимость обновленія, упрощенія и освѣженія этого круга становится очевидна. Пророчествомъ близкаго обновленія кончается и самый романъ Тургенева: послѣднее слово его есть воззваніе къ молодому поколѣнію, являющемуся на смѣну старому и съ новою жизнью и новыми понятіями. Такъ и должно было кончить все это повѣствованіе: иначе оно вышло бы апофеозомъ немощи и страданія, подтвержденіемъ того антиобщественнаго правила, по которому нравственное достоинство никогда не должно имѣть въ жизни гордаго и смѣлаго шага, а всегда или падать, или влачиться за другими, какъ калѣка.

Да и не одному кругу Лизы, Лаврецаго, Варвары Павловны необходимо, кажется, обновленіе, а всѣмъ классамъ общества, безъ исключенія котораго-либо изъ нихъ, и если мысль эта имѣетъ какую-либо долю истины, то писателямъ нашимъ предстоитъ важная роль въ обществѣ, потому что всякое дѣло нравственнаго свойства всегда было предчувствуемо ими ранѣе, чѣмъ другими, и въ минуту своего свершенія всегда находило ихъ за себя и въ переднихъ рядахъ. Невольно припоминается это теперь, когда встрѣчаются изъ писателей софисты, испытывающіе странное наслажденіе публично бичевать себя, взывая съ сокрушеннымъ сердцемъ: „мы ничего не сдѣлали, мы ни на что неспособны, и благодать приходитъ къ намъ отъ тѣхъ, кто мало мыслить, ничему не учится и плохо видитъ!“ Особенно въ отношеніи къ нашему автору требованія публики могутъ и должны быть чрезвычайно строги и взыскательны.

Тургеневъ уступаетъ другимъ современнымъ нашимъ повѣствователямъ, пользующимся извѣстностью, въ нѣкоторыхъ качествахъ, а особенно въ качествѣ непосредственнаго не-



вольнаго творчества, овладѣвающаго предметами описанія сразу, по инстинкту и, такъ сказать, по естественной потребности своей. Онъ долженъ думать и много думать, прежде чѣмъ обнаружится въ немъ какая-либо сторона создающей силы: такъ, по крайней мѣрѣ, намъ кажется из тщательнаго изученія его произведеній. Но взаимно и у одного изъ нашихъ повѣствователей нѣтъ такого чутья къ тончайшимъ поэтическимъ оттѣнкамъ жизни, такого остраго психическаго анализа и такого пониманія невидимыхъ струй и теченій общественной мысли, которыя пересѣкаютъ въ разныхъ направленіяхъ современный бытъ нашъ. Вотъ почему всегда отъ него можно ожидать именно того слова, которое на очереди, или которымъ занято большинство умовъ. Преимущество это, кромѣ таланта, обуславливается и обширностью горизонта, какими пользуется его мысль: оно отличаетъ даже многіе изъ прежнихъ его рассказовъ, стоящіе, по исполненію, ниже задачъ, набросанныхъ имъ для разрѣшенія. При такихъ качествахъ невозможно писателю смотрѣть на предметы постоянно съ одной точки зрѣнія или не видѣть, какъ приближается время ихъ измѣненія, и какъ возстаетъ за ними рядъ новыхъ явленій, имѣющихъ право требовать, чтобы поэтъ-этнографъ обратился къ нимъ лицомъ. До сихъ поръ Тургеневъ былъ избранный и непревосходимый лѣтописецъ безвыходныхъ положеній. Какъ ни удобны, для развязки потрясающей драмы, такъ называемыя „безвыходныя положенія“ вообще, но и для нихъ наступила пора преобразованія. Можно требовать теперь, по крайней мѣрѣ, чтобы „безвыходныя положенія“ рождались изъ естественнаго теченія и развитія обстоятельствъ, изъ свободной воли самихъ лицъ, выбравшихъ себѣ дорогу посреди множества дорогъ, и не походили на стѣну, поставленную какою-то невидимой рукой поперекъ пути, на которую неизбежно натапливаются всѣ проѣзжающіе и проходящіе, и подъ тѣнью которой умираютъ, не зная, что имъ дѣлать. Настроеніе, родившее всѣ прежніе романы Тургенева, исчерпано послѣднимъ „Дворянскимъ гнѣздомъ“, кажется намъ, до капли. „Дворянскимъ гнѣздомъ“ авторъ завершилъ всѣ старыя свои представленія, всѣ образы, тревожившіе душу его въ теченіе многихъ лѣтъ: онъ возвелъ ихъ, наконецъ, до полнаго выраженія и тѣмъ самымъ простился съ ними

навсегда. Таково обычное дѣйствіе мастерскихъ произведеній на самого писателя. Мастерскимъ своимъ произведеніемъ авторъ окончательно снимаетъ съ себя многолѣтнюю работу и отгоняетъ прочь цѣпь мыслей и образовъ, деснотически владѣвшихъ его фантазіей до минуты ихъ всесторонняго осуществленія. Мастерское произведеніе есть желанный конецъ творческаго пути, съ которымъ забываются волненія и страданія дороги, вмѣстѣ со всѣми ея явленіями: память о нихъ есть уже достояніе исторіи и записокъ. Послѣ него, какъ послѣ мистическаго возрожденія, жизнь должна начинаться сызнова, и счастливъ тотъ художникъ, который, такимъ образомъ, можетъ становиться нѣсколько разъ духовно-юнымъ, чувствовать себя нѣсколько разъ безъ прошлаго и не замѣчать въ фантазіи своей ни малѣйшаго признака закоренѣлой привычки или застарѣлыхъ вкусовъ и наклонностей. Этого именно имѣемъ мы право и поводъ ожидать отъ Тургенева.

*Анненковъ.*

### Личность Лизы въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“.

Прежде всего я попрошу читателя припомнить главу XXXV, гдѣ говорится о воспитаніи Лизы, о вліяніи на нее Агаѣи, этой въ своемъ родѣ необыкновенной женщины. Изъ этой же главы, однако, мы выносимъ убѣжденіе въ томъ, что вліяніе Агаѣи могло оказаться столь могущественнымъ только потому, что сама натура Лизы была отъ рожденія надѣлена задатками глубокой, всепоглощающей религіозности. Когда Агаѣя рассказывала ей „о Пречистой Дѣвѣ, о святыхъ угодникахъ, которые жили въ пустыняхъ, терпѣли голодъ и нужду и — царей не боялись, Христа исповѣдовали“, Лиза слушала и прониклась очарованіемъ этой религіозной эпопеи такъ, какъ это возможно только для натуры, одаренной исключительной глубиною и широтою религіознаго чувства. Она слушала, „и образъ вездѣсущаго, всезнающаго Бога съ какой-то сладкой силой втѣснялся въ ея душу, а Христосъ становился ей чѣмъ-то близкимъ, знакомымъ, чуть не роднымъ“...

Какова же была религія Лизы?



Приведенныя выше слова („образъ вездѣсущаго, всезнающаго Бога съ какой-то сладкой силой втѣснялся въ ея душу“... и т. д.) уже даютъ намъ точку опоры для сужденія о религіозномъ чувствѣ Лизы. Очевидно, въ этомъ чувствѣ *страхъ* Божества если не совсѣмъ отсутствовалъ, то, по крайней мѣрѣ, игралъ роль второстепенную; немного значенія имѣла также и философская (метафизическая) сторона идея Божества. На первомъ планѣ была у Лизы *мистическая любовь*, въ которой отразилась вся глубина, вся нѣжность, вся искренность и чистота ея натуры. „Вся проникнутая чувствомъ долга, боязнью оскорбить кого бы то ни было, съ сердцемъ добрымъ и кроткимъ, она любила всѣхъ и никого въ особености; она любила одного Бога восторженно, робко, нѣжно“.

Это религіозное настроеніе въ Лизѣ всегда на лицо, и религіозное чувство всегда бодрствуетъ. Для нея нѣтъ религіозныхъ будней. Она вся проникнута и просвѣтлена этимъ мистическимъ началомъ, которое образуетъ неотъемлемую часть ея существа. Оно всегда при ней, какъ при ней — ея чистота, ея доброта, ея нѣжность. Это кладетъ на Лизу особый отпечатокъ. Она является передъ нами озаренною какимъ-то внутреннимъ свѣтомъ, придающимъ ей несказанную прелесть. Самая обыкновенная, самая мелкая и прозаическая душа въ моментъ религіознаго умпленія преобразается и становится по-своему глубокой и значительной, и самое пошлое лицо — въ эту минуту экстаза — облагорожено вдохновеніемъ. Но пройдетъ это „чудное мгновеніе“, и мелкая душа опять станетъ мелкой, и пошлое лицо снова приметъ свое обычное выраженіе. Лиза родилась и живетъ — „преображенной“. Всѣ силы души у нея направлены на мистическую любовь къ Богу, а ея умъ занятъ проблемой смерти. „Христіаниномъ нужно быть“, говоритъ она Лаврецкому, „не для того, чтобы познавать небесное... тамъ... земное, а для того, чтобы каждый человѣкъ долженъ умереть“. По ея собственному признанію, она часто думаетъ о смерти гл. (XXVI). Почему же она часто думаетъ о смерти? Боятся ея? Очевидно, нѣтъ. Она не изъ числа тѣхъ малодушныхъ, которые такъ подвержены страху смерти. Она думаетъ о смерти потому, что больше всего любитъ Бога и притомъ — любить его своеобразно, по-женски, внося въ это чувство (которое, по

существо, должно быть въ извѣстномъ смыслѣ „отвлеченнымъ“, какъ любовь къ идеѣ, истинѣ, справедливости) много непосредственности, женской нѣжности, влюбленности, беззавѣтности. Вся проникнутая этимъ живымъ мистическимъ чувствомъ, она не можетъ быть такъ привязана къ радостямъ, къ счастью земной жизни, какъ другія женщины, и смерть, этотъ страшный и таинственный актъ, занимаетъ ее умъ, лишь какъ переходъ къ другому, высшему существованію. Оттуда и это равнодушіе къ жизни, и эта боязнь грѣха, дурного помысла, и способность съ легкимъ сердцемъ отречься отъ эгоистическаго земного счастья и, наконецъ, свобода отъ власти земной женской любви.

Ея основное чувство есть также альтруизмъ — очень широкій, всечеловѣческій, христіанскій въ настоящемъ, евангельскомъ смыслѣ: онъ подчиняется завѣту „любите враговъ вашихъ, дѣлайте добро ненавидящимъ васъ“. Онъ — одна чистая, безпримѣсная любовь, безъ вражды и ненависти, — любовь, являющаяся выраженіемъ того наивысшаго, этического начала, которое дано въ нагорной проповѣди. Лиза всѣхъ любитъ, жалѣетъ и прощаетъ, — даже Паншина и жену Лаврецаго. Она органически неспособна ненавидѣть — напр., дурного, злого человѣка за то, что онъ золъ; она будетъ только скорбѣть и молиться о немъ. Такая любовь — не отъ міра сего, и душа, ею движимая, не призвана жить, трудиться и бороться въ этомъ грѣшномъ мірѣ.

Лиза стремится въ сущности „къ свободѣ и покою“, къ свободѣ отъ тягостныхъ ей связей съ людьми, отъ гнетущихъ ее противорѣчій жизни, отъ неизбежныхъ „въ мірѣ“ грѣховъ и компромиссовъ, — къ покою души, къ наполняющей ее душу несказаннымъ блаженствомъ близости къ Божеству въ монастырѣ, къ мистическимъ восторгамъ религіозной жизни. Но это высокое счастье она заслужила; она его купила цѣною огромной жертвы — она отказалась ради него отъ счастья съ любимымъ человѣкомъ. Это счастье было вполне возможно, и отъ нея зависѣло ея осуществленіе. Чтобы понять всю громадность этой жертвы, нужно вспомнить, что любовь Лизы и Лаврецаго была любовь глубокая и могущественная, основанная не на скоропреходящемъ увлеченіи, а на внутреннемъ сродствѣ душъ, — это была любовь на всю жизнь, она сулила настоящее, прочное счастье,



то рѣдкое поэтическое счастье, ради котораго люди такъ легко отрекаются отъ высшихъ идей, отъ религiи, отъ идеаловъ, и только такія рѣдкія натуры, какъ Лиза, способны принести въ жертву высшимъ, неличнымъ стремленіямъ души.

Итакъ, это была жертва, это былъ подвигъ самоотреченія.

И это жертвоприношеніе было совершено силою мотивовъ *чисто нравственнаго* порядка. Вспомнимъ здѣсь сцену въ концѣ главы XLII.

„— Да, — сказала она глухо: — мы скоро были *наказаны*.

„— Наказаны, — повторилъ Лаврецкій... — За что же вы-то наказаны?

„Лиза подняла на него свои глаза. Ни горя ни тревоги они не выражали...

„Сердце въ Лаврецкомъ дрогнуло отъ жалости и любви.

„— ...Все кончено, — прошепталъ онъ; — да, все кончено — прежде чѣмъ началось.

„— Это все надо забыть, — проговорила Лиза... — Намъ обоимъ остается исполнить нашъ долгъ. Вы, Федоръ Ивановичъ, должны примириться съ вашей женой.

„— Лиза!

„— Я васъ прошу объ этомъ; этимъ однимъ можно загладить... все, что было...

„— ...Хорошо, — проговорилъ сквозь зубы Лаврецкій: — это я сдѣлаю, положимъ; этимъ я исполню свой долгъ. Ну, а вы — въ чемъ же вашъ долгъ состоитъ?

„— Про это я знаю.

„Лаврецкій вдругъ встрепенулся.

„— Ужъ не собираетесь ли вы выйти за Панинна? — спросилъ онъ.

„Лиза чуть замѣтно улыбнулась.

„— О, нѣтъ! промолвила она!

Не трудно видѣть, что Лизой движетъ мотивъ не какого-нибудь иного, какъ именно нравственнаго или точнѣе нравственно-религіознаго порядка. Она считаетъ дѣломъ грѣшнымъ, безнравственнымъ строить свое счастье на несчастьи другихъ. Отнять Лаврецкаго отъ его семьи, хотя бы и не любимой имъ и чуждой ему, она признаетъ почти преступленіемъ, подлежащимъ наказанію. Для нея не подлежитъ сомнѣнію что, отнимая у семьи Лаврецкаго, она нарушитъ святость брака, лишитъ жену Лаврецкаго мужа, его дочь —

отца, его самого — возможности простить, а ее (madame Лаврецкую!) — возможности раскаяться и загладить свое прошлое. Свой чистый порывъ, свою любовь къ Лаврецкому она признаетъ поэтому грѣховными, себя считаетъ недостойной счастья, само счастье — невозможнымъ и нежелательнымъ, разъ оно сопряжено съ компромиссами, съ нарушеніемъ чьихъ-то, хотя бы фиктивныхъ, правъ. Возвращеніе жены Лаврецкаго ей представляется поэтому предостереженіемъ свыше и даже наказаніемъ за грѣховное, по ея мнѣнію, чувство. „Теперь вы сами видите, что счастье не отъ насъ, а отъ Бога“, говоритъ она Лаврецкому.

Но этого мало. Нравственныя основанія самоотреченія Лизы оказываются еще глубже:

Въ сценѣ, гдѣ Лиза объявляетъ тетущкѣ, несравненной Марѣ Тимофеевнѣ, о своемъ рѣшеніи пойти въ монастырь, она говоритъ, между прочимъ: „...Я рѣшилась, я молилась, я просила совѣта у Бога, все кончено, кончена моя жизнь съ вами. Такой урокъ не даромъ: *да я ужъ не въ первый разъ объ этомъ думаю*. Счастье ко мнѣ не шло; даже когда у меня были надежды на счастье, сердце у меня все щемило. *Я все знаю, и свои грѣхи, и чужіе, и какъ папенька богатство нажилъ; я все знаю. Все это отмолить, отмолить надо...*“ (Гл. XLV). *Овсяннико-Куликовскій.*

## Общественное значеніе романа „Наканунъ“.

Романъ „Наканунъ“ (1859 г.) служить новымъ доказательствомъ отличительной и симпатичной черты творчества Тургенева, а именно — способности быстро угадывать новыя идеи, новыя потребности, лишь только онѣ, еще смутно, начинаютъ волновать общество, и умѣнье отозваться на всякую благородную мысль и честное чувство, какъ только начинаютъ они проникать въ сознаніе лучшихъ людей. По основной своей идее этотъ романъ непосредственно граничитъ съ „Руднымъ“ и съ „Дворянскимъ гнѣздомъ“ и въ то же время служить какъ бы слѣдующею ступенью въ ходѣ рѣшенія этой задачи, которую Тургеневъ рѣшаетъ или, по крайней мѣрѣ, послѣдовательно разъясняетъ, цѣлымъ рядомъ романовъ. Руднѣ — представитель высшихъ идей и теоре-



тических стремлений, которыя необходимо внести въ грубую въ сонную дѣйствительность, расшевелить ее и подвинуть, къ развитію. Но способы дѣйствія Рудина заключаются только въ словѣ, правда, благородномъ и убѣжденномъ, да еще въ безплодныхъ усиліяхъ припяться за дѣло. „Боже мой! въ тридцать пять лѣтъ все еще *собираются* что-нибудь сдѣлать“! тоскливо восклицалъ онъ въ письмѣ къ Натальѣ. Лаврецкій идетъ дальше, даетъ больше: онъ не пропагандируетъ только, не пьтится отъ дѣйствительной жизни, напротивъ, борется съ ея тяжелыми понятіями и нравами, а главное, подъ конецъ своей борьбы и своихъ разочарованій, убѣждается въ томъ, что нѣтъ счастья въ эгоистической мечтѣ о личномъ своемъ благополучіи. Этою идеей „Дворянское гнѣздо“ кончается, этою же идеей „Наканунъ“ начинается.

Общественное значеніе этого романа рукою художника замкнуто въ самомъ названіи его — „Наканунъ“. Въ идеяхъ и стремленіяхъ, которыя одушевляють главныхъ дѣйствующихъ въ романѣ лицъ, поэтъ отразилъ то недавнее, *передразвитное* наше прошлое, когда свѣтлая заря новой жизни уже начала подыматься на горизонтѣ нашей общественности, при напорѣ свѣта стали раздвигаться густые потемки отъ старыхъ временъ и обычаевъ, виднѣе сдѣлались задачи жизни, яснѣе обрисовались правильные идеалы семьянина, гражданина, матери-воспитательницы, художника, ученаго и патріота, и потребность женскаго труда и женскаго образованія вошла въ сознаніе лучшихъ людей, принята обществомъ съ сочувствіемъ. Правда, Елена — пока лицо идеальное; но черты этого идеала уже и 20 лѣтъ назадъ стали намъ понятны и симпатичны. Желаніе дѣятельнаго добра, томительное исканіе того, кто бы показалъ, какъ дѣлать добро, — все это уже и тогда почувствовалось въ лучшей части общества и стало близиться къ осуществленію въ живыхъ русскихъ дѣятеляхъ семейной и общественной жизни. Когда пройдетъ канунъ, тогда настанетъ день.

*Евстафьевъ.*

### Дѣйствующія лица въ романѣ „Наканунъ“.

*Елена* — главное лицо въ романѣ. На ней сосредоточивается интересъ разсказа, къ ней устремляются прочія лица, отъ нея идетъ тонъ дальнѣйшаго повѣствованія. Положеніе

ея въ родной семьѣ и обстоятельства ея дѣтства и юности сложились такъ, что и образованіе и воспитаніе ея совершились незауряднымъ, дворянскимъ того времени обычаемъ. Родители ея — люди ограниченные, но не злые, мать даже положительно отличалась добротою и мягкостью сердца. Съ самаго дѣтства Елена не знала надъ собой ни семейнаго деспотизма ни всякаго притупляющаго формализма. Она росла одна, безъ подругъ, совершенно свободно. Ребенокъ впечатлительный и умный, Елена къ тому же была очень рано поставлена въ такія условія жизни, что ей уже въ дѣтствѣ пришлось всматриваться въ домашнее житье-бытье, размышлять, волноваться и воображеніемъ и сердцемъ. Дѣло въ томъ, что Стаховъ женился на Аннѣ Васильевнѣ только ради ея приданаго, не питая къ ней никакого чувства, обходился съ нею почти съ пренебреженіемъ и предпочиталъ ей общество „вдовы нѣмецкаго происхожденія“, Августы Христіановны, которая его дурачила и обирала. Анна Васильевна кротко несла свой крестъ, но по болѣзненности и безхарактерности не могла не жаловаться на мужа всѣмъ въ домѣ, и, между прочимъ, даже дочери. Елена сдѣлалась повѣренною горестей своей матери, какъ бы судьбою между ею и отцомъ. Это обстоятельство сообщило особенное направленіе впечатлительному уму Елены и рано приучило ее вдумываться во все окружающее и принимать къ сердцу тоску матери, а потомъ — вообще, всякое существо притѣсненное, страдающее. Боль о чужомъ страданіи давала ей себя чувствовать постоянно, сопровождала ее при каждомъ новомъ шагѣ ея развитія, придавала особенный, задумчиво-серіозный складъ ея мыслямъ, а въ послѣдствіи, мало-по-малу, вызвала въ ней дѣятельныя стремленія и направила ихъ къ страстному исканію добра и счастья — для всѣхъ. Случайное знакомство съ нищею дѣвочкой Катей, дружескіе разговоры съ нею, тайныя свиданія, во время которыхъ нищая передавала ей свои скорби, и какъ она убѣжить отъ своей злой тетки, чтобы жить *на всей Божьей волѣ*, наконецъ, смерть этой самой Кати оставили рѣзкіе слѣды въ характерѣ Елены. Сама воспитанная въ довольствѣ и богатствѣ, Елена, уже 10 лѣтъ отъ роду, узнаетъ, что есть горе на землѣ, что не всѣмъ одинаково хорошо живется. Елена естественно проникается любовью ко всему угнетенному, и не изъ пошлаго нѣжничанья,



а прямо по душевной добротѣ, ищетъ удовлетворить свое сострадательное сердце дѣлами милосердія, какія только возможны были тогда для нея. Не только нищіе, голодные, больные занимали ее, и она ихъ видѣла во снѣ, разспрашивала о нихъ всѣхъ своихъ знакомыхъ, но даже „всѣ притѣсненныя животныя, худыя дворовыя собаки, осужденныя на смерть котята, вынавшіе изъ гнѣзда воробы, даже насѣкомыя и гады находили въ Еленѣ покровительство и защиту: она сама кормила ихъ, не гнушалась ими“ (стр. 29). Такъ, уже съ дѣтства, опредѣлилась въ Еленѣ потребность сердца — безъ пустыхъ ласкъ и нѣжностей проявить себя дѣломъ. Мать совсѣмъ не занималась этой частью; неудачно выбранная гувернантка, „очень чувствительное, доброе и лживое существо“, не имѣла на Елену замѣтнаго вліянія, только пріохотила ее къ чтенію. И Елена много съ участіемъ читала; но одно чтеніе, безъ правильнаго ученія, не могло удовлетворить ее. Оно только возбудило умственную требовательность. Еленѣ никто не мѣшалъ дѣлать, что она хочетъ, да дѣлать было нечего. Одна готовая дѣйствительность ее не удовлетворяла. Ей нужно было чего-то больше, чего-то выше, но чего именно — она не знала. „А года шли да шли; быстро и неслышно, какъ подснѣжныя воды, протекала молодость Елены, въ бездѣйствіи внѣшнемъ, во внутренней борьбѣ и тревогѣ. Ея душа и разгоралась и погасала одиноко; она билась, какъ птица въ клѣткѣ, а клѣтки не было: никто не стѣснялъ ея, никто не удерживалъ, а она рвалась и томилась“ (стр. 33). Отъ этого и находилась она постоянно въ какомъ-то волненіи, всегда ждала и искала чего-то; и наружность ея приняла такой особенный характеръ. „Во всемъ ея существѣ“, говоритъ авторъ, „въ выраженіи лица, внимательномъ и немного пугливомъ, въ ясномъ, но измѣнчивомъ взорѣ, въ улыбкѣ, какъ будто напряженной, въ голосѣ тихомъ и неровномъ, было что-то нервическое, электрическое, что-то порывистое и торопливое“. — „Двадцатилѣтней дѣвушкѣ иногда приходило въ голову, что она желаетъ чего-то, чего никто не желаетъ, о чемъ никто не мыслитъ въ цѣлой Россіи. Потомъ она утихала, смѣялась надъ собой, безпечно проводила день за днемъ, но внезапно что-то сильное, безыменное, съ чѣмъ она совладѣть не умѣла, такъ и закипало въ ней, такъ и просилось вырваться наружу. Гроза

проходила, опускались усталые, не взлетѣвшія крылья; но эти порывы не обходились ей даромъ. Какъ она ни старалась не выдать того, что въ ней происходило, тоска взволнованной души сказывалась въ самомъ наружномъ ея спокойствіи, и родные ея часто были вправѣ пожимать плечами, удивляться и не понимать ея *странностей*. Ключомъ къ этимъ странностямъ служитъ дневникъ Елены. Въ немъ, по волѣ художника-поэта, раскрыта душа Елены, а въ ней можно свободно прочесть быстрый, горячій ходъ дѣятельности ея ума, воображенія и сердца подъ вліяніемъ сближенія сначала съ Берсeneвымъ, потомъ съ Инсаровымъ. Сначала Еленѣ нравился Берсeneвъ — своей скромностью, умомъ, порядочностью, теплотою чувства, чистотой его намереній; но какъ только началось знакомство съ Инсаровымъ, Берсeneвъ отошелъ на задній планъ. Елена быстро пережила всѣ степени развитія своего новаго чувства — отъ перваго, смутнаго его появленія въ душѣ до послѣдняго, яснаго сознанія, что Инсаровъ ей сталъ ближе и дороже всего на свѣтѣ. Первые замѣтки дневника свидѣтельствуютъ, что Елена упрекаетъ себя въ холодности къ дому, къ семьѣ. „Надо объ этомъ подумать“, пишетъ она, „я мало молюсь; надо молиться... А, кажется, я бы умѣла любить“. Потомъ быстро слѣдуютъ отмѣтки о тѣхъ живѣйшихъ впечатлѣніяхъ, которыя производитъ на нее Инсаровъ тѣми сторонами своего характера, какихъ она не нашла ни въ Шубинѣ ни въ Берсeneвѣ. Образъ Инсарова съ каждой минутой нравственно растетъ въ мнѣніи Елены. „Вотъ, наконецъ, правдивый человѣкъ; вотъ на кого положиться можно. Этотъ не лжетъ; всѣ другіе лгутъ, все лжетъ“. Елена хочетъ этимъ сказать, что у другихъ слова расходятся съ дѣломъ, а у Инсарова — нѣтъ. Теперь, когда Елена приравниваетъ къ Инсарову прежній предметъ своей привязанности, т.-е. Берсенева, сравненіе оказывается для послѣдняго невыгоднымъ: Андрей Петровичъ, можетъ-быть, ученѣе его, можетъ-быть, даже умнѣе... Но я не знаю, онъ передъ нимъ такой маленькій. Когда *онъ* говоритъ о своей роднѣ, онъ растетъ, растетъ, и лицо его хорошеетъ, и голосъ какъ сталь, и нѣтъ, кажется, на свѣтѣ такого человѣка, передъ кѣмъ бы онъ глаза опустилъ. И онъ не только говоритъ — онъ дѣлалъ, и будетъ дѣлать“ (стр. 82). А въ другомъ мѣстѣ: „Мнѣ кажется, что у Дми-



трія оттого такъ ясно на душѣ, что онъ весь отдался своему дѣлу, своей мечтѣ. Изъ чего ему волноваться? Кто отдался весь... весь... тому горя мало, тотъ уже ни за что не отвѣчаетъ. Не я хочу, *то* хочетъ“. Слѣдующія замѣтки дневника показываютъ, что въ Инсаровѣ Елена нашла осуществленіе того идеала, котораго давно желала душа ея. „Мнѣ съ нимъ хорошо, какъ дома. Лучше, чѣмъ дома“. — „И хорошо мнѣ, и почему-то жутко, и Бога благодарить хочется, и слезы недалеко. О, теплые, свѣтлые дни!“ — „Кажется, что вокругъ меня и во мнѣ происходитъ что-то загадочное, что нужно найти слово“... — Наконецъ: „Слово найдено, свѣтъ озарилъ меня! Боже, сжапись надо мною... Я влюблена!“ — Во весь остальной путь свой въ романѣ Елена проходитъ передъ читателемъ во всемъ сіяніи своей глубокой, чистой привязанности къ своему избраннику, — отъ перваго между ними обмѣна признаній до смерти Инсарова и до послѣдняго рѣшенія Елены спѣшить на новую родину, идти въ сестры милосердія, служить больнымъ и раненымъ и такимъ образомъ остаться вѣрною памяти своего мужа, вѣрною „дѣлу всей его жизни“.

Инсаровъ, родомъ болгаринъ, ни наружностью, ни умомъ, ни образованіемъ не выдѣляется изъ среды дѣйствующихъ лицъ романа, а при сравненіи съ Шубинымъ и Берсеновымъ, этими даровитыми и симпатичными русскими личностями, онъ представляется, въ иныхъ мѣстахъ повѣсти, даже нѣсколько сухимъ и педантичнымъ. Къ тому же — и опредѣляется онъ всего болѣе отрицательными качествами: никогда *не* лжетъ, *не* измѣняетъ своему долгу, *не* любитъ разговаривать о своихъ подвигахъ, *не* не откладываетъ принятаго рѣшенія, его слово *не* расходится съ дѣломъ и т. п. Но авторъ выдѣлялъ его цѣльностью, законченностью его нравственнаго характера. Еще до появленія Инсарова въ домъ Стаховыхъ, Берсеновъ на вопросъ Елены: „у него, должно-быть, много характера“, рекумендуетъ его такими словами: „Да, это желѣзный человѣкъ. И въ то же время, вы увидите, въ немъ есть что-то дѣтское, искреннее, при всей его сосредоточенности и даже скрытности“. И вотъ такимъ-то желѣзнымъ въ стремленіи къ разъ поставленной своей жизненной цѣли остается Инсаровъ все время. А цѣль его жизни: послужить освобожденію своей угнетенной родины.

дѣйствиіе повѣсти 1853 г.). Этой мысли онъ преданъ всѣми силами души. Въ стремленіи къ этой цѣли онъ видитъ свое личное спокойствіе, счастіе всей своей жизни. Онъ даже никакъ не можетъ понять себя отдѣльно отъ родины. Для него нѣтъ ни довольства, ни отдыха, ни радости, пока его родина поработчена. Такимъ образомъ онъ дѣлаетъ свое задушевное дѣло открыто, спокойно, безъ лихорадочнаго увлеченія и безъ натяжекъ. Пока обстоятельства велятъ ждать, онъ учится въ Московскомъ университетѣ, чтобы образоваться вполне и сблизиться съ русскими, переводить болгарскія пѣсни на русскій языкъ, составляетъ болгарскую грамматику для русскихъ, русскую — для болгаръ; переписывается со своими земляками и собирается ѣхать на родину — готовить возстаніе при первой вспышкѣ восточной войны.

А пока онъ живетъ *наканунъ* великаго дня освобожденія родины. Наступитъ этотъ день, — и все существо Инсарова озарится сознаніемъ счастья, жизнь наполнится и станетъ уже настоящею жизнью. Ни о силахъ своихъ, ни о мѣрѣ своего участія въ отечественной войнѣ, ни о степени своихъ заслугъ онъ и не думаетъ: все это опредѣлится потомъ обстоятельствами, и тогда же видно будетъ — гдѣ ему быть, до чего дойти, гдѣ остановиться; но главное — онъ пойдетъ, онъ не можетъ не пойти, не потому, чтобы боялся нарушить какой-нибудь долгъ, а потому, что онъ умеръ бы, если бъ ему вдругъ стало нельзя двинуться съ мѣста. У него только одна боязнь, одна тревога: какъ бы что-нибудь не разстроило, не отсрочило желанной минуты. У Инсарова любовь къ родинѣ, потребность видѣть ее свободною составляетъ преобладающую, исключительную черту характера. Всѣ прочія мысли, чувства и побужденія подчиняются ей, сливаются съ нею. Вотъ отчего, при заурядныхъ своихъ способностяхъ, при всемъ отсутствіи блеска въ своей натурѣ, Инсаровъ съ самаго начала знакомства производитъ на Елену впечатлѣніе полное, сильное, обаятельное. Передъ нимъ блѣднѣютъ и талаптливый, остроумный Шубинъ и умный, образованный Берсенева. „Освободить свою родину! Эти слова даже выговорить страшно, такъ они велики?...“ Такъ выразилась Елена при первомъ разсказѣ Берсенева о мысляхъ и намѣреніяхъ Инсарова. Отличительная черта характера придаетъ ему особенное свѣтлое и сильное значеніе



во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ романа, гдѣ онъ, въ бесѣдѣ съ своими русскими друзьями, является какъ бы олицетвореніемъ чувствъ и намѣреній, одушевляющихъ весь болгарскій народъ. „Вы сейчасъ спрашивали меня, люблю ли я свою родину?“ говоритъ Инсаровъ Еленѣ. „Что же другого можно любить на землѣ? Что одно неизмѣнно, что выше всѣхъ сомнѣній? Чему нельзя не вѣрить, послѣ Бога? И когда эта родина нуждается въ тебѣ... замѣьте: послѣдній мужикъ, послѣдній нищій въ Болгаріи и я,—мы желаемъ одного и того же. У всѣхъ у насъ одна цѣль. Поймите, какую это даетъ увѣренность и крѣпость!“ (стр. 66). И этой-то патріотической задачѣ своей жизни Инсаровъ остается неизмѣнно-преданнымъ и вѣрнымъ во всѣхъ обстоятельствахъ; даже искреннее, глубокое чувство любви, которымъ онъ отвѣчаетъ Еленѣ,—и то преклоняется подъ власть главнаго жизненнаго его мотива. Не разъ онъ прямо высказываетъ это Еленѣ и не скрываетъ отъ нея, что ей придется разорвать навѣки связь съ родной и раздѣлить съ нимъ, Инсаровымъ, судьбу трудную, суровую, полную тяжелой работы, лишеній, опасностей, можетъ-быть униженій. Онъ какъ будто считаетъ своею обязанностью отклонить ее отъ рѣшимости слѣдовать за нимъ. А за двѣ недѣли передъ окончательнымъ выѣздомъ изъ Москвы въ Болгарію онъ еще разъ такъ выразилъ своей невѣстѣ ту же задушевную мысль: „Не грѣшно ли мнѣ, не безумно ли мнѣ.—мнѣ, бездомному, одинокому, увлечь тебя съ собою... и куда же?“ (стр. 112). Такимъ цѣльнымъ, сильнымъ, желѣзнымъ характеромъ изображенъ Инсаровъ въ романѣ. Смерть застигла его у дверей отечества, на порогѣ той самой борьбы, къ которой онъ всѣми силами готовился. Очевидно, авторъ ограничился тѣмъ, чтобы дать понять читателямъ только то, что такое Инсаровъ, какъ личность, какъ идеалъ, въ какую среду попалъ онъ, какъ Инсаровъ любитъ и какъ его любятъ. Изобразить въ немъ подвиги гражданской, общественной доблести — не входило въ задачу автора. Только косвеннымъ образомъ художникъ-поэтъ, устами симпатичнаго и восторженнаго Шубина, произноситъ славу той дѣятельности, въ которую Инсаровъ приготовился вложить и свою жизнь на пользу отечества. Это — восклицаніе Шубина о предстоящей войнѣ за освобожденіе: „Да, молодое, славное, смѣлое дѣло! Смерть, жизнь, борьба, паденіе, торжество, любовь, свобода.

родина... Хорошо, хорошо. Дай Богъ всякому! Это не то, что сидѣть по горло въ болотѣ да стараться показывать видъ, что тебѣ все равно, когда тебѣ, дѣйствительно, въ сущности все равно. А тамъ — натянуты струны, звени на весь міръ или порвись!“

*Евстафьевъ.*

Берсенева, человекъ хорошо воспитанный, кандидатъ Московскаго университета, съ лицомъ, выражающимъ привычку мыслить и доброту. Онъ учится много, работаетъ усердно, но въ немъ нѣтъ этой пылкости Шубина, этой возможности отдаться на дѣло, страстно, съ забвеніемъ самого себя впечатлѣнію. Онъ чувствуетъ, что въ немъ зарождается любовь къ Еленѣ, онъ груститъ и страдаетъ; въ немъ уже есть зародыши той рефлексіи, которая губитъ жизнь, уничтожаетъ наслажденіе, не допускаетъ беззавѣтно отдаться чувству. Всего яснѣе контрасты обѣихъ натуръ выражаются во взглядѣ на природу у Шубина и у Берсенева. Когда первый радостно вдыхаетъ въ себя это дыханіе жизни, разлитой повсюду, Берсенева чувствуетъ безпокойство, тревогу, грусть; онъ силится размышленіемъ объяснить себѣ свое душевное состояніе. Когда подъ вліяніемъ вечера, проведеннаго съ Еленой, онъ возвращается домой, и сердце его настроено на любовь, онъ садится за фортепіано въ своей комнатѣ и подъ аккорды звуковъ, выражающихъ чувство, онъ плачетъ горькими слезами; да, онъ умѣетъ плакать. Но тотчасъ же, онъ умѣетъ подавить въ себѣ зарожденную тревогу, умѣетъ закрыть фортепіано, заглушить звуки, поющіе въ сердцѣ, и перейти къ тому, что, по его понятіямъ, составляетъ его призваніе къ жизни. Онъ можетъ раскрыть Раумерову „Исторію Гогенштауфеновъ“ именно на той страницѣ, на которой остановился по утру, и продолжать свое изученіе дальше, перейти отъ Раумера къ Гроту и т. д. Что-то есть порядочное, нѣмецкое, въ этомъ подчиненіи себя идеалу долга, призванію. Любимая мечта его, цѣль его жизни — сдѣлаться профессоромъ. „Какое же можетъ быть лучше призваніе, говоритъ онъ Еленѣ, — подумайте, пойти по слѣдамъ Тимофея Николаевича?“ Одна мысль о подобной дѣятельности наполняетъ его радостью и смущеніемъ. Онъ не гордъ и не самоуверенъ, онъ сознаетъ все, чего не достаетъ ему, и мечтаетъ получить позволеніе съѣздить за границу года на три-че-



тыре и тамъ поучиться въ германскихъ университетахъ. Его идеаль—эта дѣятельность слова въ аудиторіи, этотъ совѣтъ мысли, постепенно пробивающій густую тьму, эта просвѣщенная борьба со зломъ, которой онъ хочетъ отдать всю свою жизнь, выбравъ орудіемъ борьбы — науку. Онъ говоритъ прекрасно, сдержанно, съ сосредоточенною мыслью. Умъ и сердце слышатся въ словахъ его; Шубину объясняетъ онъ красоту, которую понимаетъ, какъ эстетически-развитой человекъ, а не какъ художникъ, и Елена слушаетъ его со вниманіемъ, не отводя взора отъ его поблѣднѣвшаго лица, отъ глазъ его, дружелюбныхъ и кроткихъ. При разговорѣ съ нимъ „душа ея раскрывалась, и что-то нѣжное, справедливое, хорошее, не то вливалось въ ея сердце, не то вырастало въ немъ“. Берсенева не эникуреецъ. Онъ не жаждетъ счастья, подобно Шубину; онъ смотритъ на счастье, какъ на эгоизмъ! у него есть кое-что повыше этого личнаго счастья. Онъ говоритъ Шубину, что есть на свѣтѣ слова, соединяющія людей, заставляющія ихъ подавать другъ другу руки, что слова эти: искусство, родина, наука, свобода, справедливость — выше счастья; что любовь, которая для Шубина есть наслажденіе, по его понятію, должна быть жертвою; что все назначеніе нашей жизни — *поставить себя нумеромъ вторымъ* (въ противоположность эгоизму художника), и съ этой точки зрѣнія подчиненія себя общему благу, забвенія своей личности, онъ смотритъ на будущую свою дѣятельность. Берсенева — существо серьезное, но абстрактное, идеалистъ; его цѣль не близка; она далеко; за его словомъ не послѣдуетъ тотчасъ же примѣненія, дѣйствія. Берсенева сознательно добрѣ. Елена въ дневникѣ сравниваетъ его разъ съ Инсаровымъ и говоритъ, что Берсенева, можетъ-быть, ученѣе его, можетъ-быть, умнѣе, „но я не знаю, — прибавляетъ она, — *онъ передъ нами такой маленькій*. Самоотверженіе его тогда, когда узнаетъ онъ о любви Елены къ Инсарову, когда не идетъ ему въ голову Раумеръ, — трогательно. Заботы у постели больного Инсарова, роль посредника между нимъ и Еленой, которую любилъ онъ, — роль, вѣроятно, стоившая ему тяжелыхъ часовъ глухого страданія, вызываютъ къ нему участіе. Лучшее всего выражается его характеръ въ слѣдующихъ словахъ его: „Не даромъ мнѣ говаривалъ отецъ: мы съ тобой, братъ, не сибариты, не аристократы, не баловни судьбы и

природы, мы даже не мученики, — мы труженики, труженники и труженки. Надѣвай же свой кожаный фартукъ, труженникъ, да становись же за свой рабочій станокъ въ своей темной мастерской! А солнце пусть сіяетъ другимъ! И въ нашей глухой жизни есть своя гордость и свое счастье!" Люди, подобные Берсеневу, носятъ въ груди своей клятву рыцарей Круглаго Стола; это такъ называемые *пионеры будущаго*, и, конечно, мы не откажемъ имъ въ нашемъ глубокомъ, полномъ сочувствіи, если только призваніе свое выполняютъ они честно и искренно, если они не сворачиваютъ съ своей дороги и ни съ кѣмъ никогда не дѣлаютъ компромиссовъ. Въ служеніи абстрактному идеалу науки, въ этомъ ожиданіи отдаленныхъ плодовъ ея, въ этой медленной постройкѣ таинственнаго зданія — есть что-то масонское, мистическое. Молодая жизнь не терпитъ никакого мистицизма. Ея горячія слезы отираются дѣятельною любовью; ея раны залѣчиваются дѣйствительными хирургами, а не теоретиками съ художественно-изящными фразами на устахъ. *Ars longa, vita brevis* — пословица, и жизнь не ждетъ, какъ не дожидалась Елена можетъ-быть, сначала чувствовавшая влеченіе къ Берсеневу, того времени, когда онъ кончитъ свое ученіе на казенный счетъ въ Царскѣ, Гейдельбергѣ, Берлинѣ и напечатаетъ статьи свои: *О некоторыхъ особенностяхъ древнегерманскаго права въ дѣлѣ судебныхъ наказаній* и *О значеніи городского начала въ вопросъ цивилизаціи*, написанныя языкомъ нѣсколько тяжелымъ и испещренныя иностранными словами. Эти названія сочиненій Берсенева звучатъ какъ пропія: такъ далеки отъ жизни, такъ ясно показываютъ, въ какую отдаленную сферу кинулся авторъ ихъ. А Елена поѣхала туда, гдѣ бьется настоящая жизнь, гдѣ народъ подымается противъ своихъ вѣковыхъ притѣснителей — турокъ, гдѣ у каждого на устахъ слова: родина, независимость...

Шубинъ — непосредственная, художественная, блестящая натура — представляется намъ въ лицѣ художника-скульптора. Здоровье и молодость, безпечность, самонадѣянность, избалованность невольно привлекаютъ къ нему. Какъ горячо, какъ страстно говоритъ онъ о любви, которую просятъ молодость, объ этой жаждѣ счастья, которою полна душа его. „Мы молоды, не уроды, не глупы, — говоритъ онъ Берсеневу, — мы завоюемъ себѣ счастье!“ „Какіе безмолвные



восторги пилъ бы я въ этихъ ночныхъ струяхъ, подъ этими звѣздами, подъ этими алмазами, если бъ я зналъ, что меня любятъ“, говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ. Дальше этого счастья, эгоистическаго, но классическаго, дальше этого греческаго идеала наслажденія не идетъ Шубинъ. Онъ какъ-то художественно, порывисто влюбленъ въ Елену и въ то же время гонится за красивой горничной Аннушкой, и отбиваетъ у отца Елены Августину Христіановну. Это типъ такъ называемой широкой натуры, доведенный здѣсь до изящества, до граціи, освобожденный отъ всего грубаго, дикаго, удалого, исполненный той сдержанной, законной гармоніи, которая проникаетъ все существо Шубина. Ему хочется свѣта, простора, Италіи, обѣтованной земли художниковъ. Это облагороженный эпикуреецъ, ревниво ограждающій свое счастье отъ всякаго облачка. Онъ не допускаетъ малѣйшей тѣни на этомъ свѣтломъ небѣ изящнаго наслажденія жизни, и когда Берсепевъ, въ ясный вечеръ, рассказываетъ Еленѣ исторію отца своего, послѣдователя Шеллинговой философіи, онъ проситъ говорить о соловьяхъ, о розахъ, о молодыхъ глазахъ и улыбкахъ. Онъ ничего еще не сдѣлалъ, но въ немъ множество задатковъ; геніальная натура его сказывается въ изящныхъ статуэткахъ, гдѣ мѣтко подмѣчены имъ выраженіе лица и внутренній міръ его знакомыхъ. Онъ и кончаетъ въ повѣсти не дурно. Мы прощаемся съ нимъ въ Римѣ, гдѣ онъ весь отдался своему искусству, работаетъ много и считается однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ ваятелей. Кромѣ изящной внѣшности, подвижности, блеска, у Шубина прекрасное сердце, прекрасная душа. Въ немъ такъ много любви ко всему окружающему; эту любовь, это человѣческое участіе онъ вноситъ въ домашнія ссоры семейства, гдѣ живетъ; онъ улыбкой прогоняетъ вздохъ, шуткой сглаживаетъ набѣжавшія морщины на лобъ близкаго ему человѣка; онъ шутитъ надъ грубыми выходками и пристыжаетъ; онъ является спасителемъ въ затруднительныя минуты. Онъ красиво уменъ, но ни во что не вѣрнѣтъ, потому что „въ самого себя вѣрить нельзя“, говоритъ Елена.

К.

## Культъ женщины у Тургенева.

Тургеневъ, по преимуществу, пѣвецъ любви. Его женскіе образы достигаютъ неподражаемаго изящества и душевной прелести. Ихъ много; но всѣ они оригинальны: всякая имѣетъ свою собственную фizioномію, по-своему очаровательную. Я думаю, что рѣдкая литература Европы, рѣдкій романистъ Европы обладаетъ такимъ избраннымъ букетомъ прекрасныхъ женскихъ типовъ.

Граціозная легкость Грѣзы и теплая задушевность Ангелики Кауфманъ соединены въ женскихъ портретахъ Тургенева. Его женщины дѣйствуютъ мало, говорятъ мало, появляются мало; но всякое слово ихъ — глубокая поэзія, трогательная правда. Всякое движеніе ихъ — видится и помнится и дописывается въ сердцахъ, какъ очертанія прекрасныхъ статуй Кановы, которыхъ нельзя забыть, увидѣвши разъ. Эта художественная умѣренность въ изображеніи женщины сообщаетъ изображенію еще болѣе благородства и достоинства. Ася, Лиза, Наташа, Зинаида, Вѣра, Елена — вотъ главные цвѣты этого букета.

Сравнивая эти типы съ героями Тургенева, нельзя не видѣть, что у Тургенева женщина всегда стоитъ выше мужчины. Изъ всѣхъ героевъ только Писаровъ сколько-нибудь равняется съ Еленою стойкостію характера и серіозностію призванія. Рудинъ — жалкій трусъ и пустой болтунъ передъ героинею Наташею; герой Аси — малодушный резонеръ передъ этою пламенною и цѣльною натурою; Лиза постоянно является руководительницею Лаврецкаго, его разумомъ и совѣстію; она тверда и послѣдовательна до послѣдняго предѣла, а онъ мученикъ своей нерѣшительности, своихъ плюзій. Зинаида — чистая царица, талантливая, могучая, рѣшительная, среди роя своихъ пылкихъ ухаживателей. Ни одна изъ тургеневскихъ женщинъ не нуждается въ помощи, въ поддержкѣ мужчины; вездѣ онѣ идутъ прямо и самостоятельно. Столкновеніе съ мужчиною губитъ нѣкоторыхъ изъ нихъ, но никого не спасаетъ.

Силы и искренность женскаго чувства, твердость женскаго долга свѣтятся въ каждомъ произведеніи Тургенева, какъ плодотворящіе и радующіе лучи солнца. Все опозорено, все измѣняетъ... во всемъ извѣриваешься въ произведеніяхъ Тур-



генева; только чистое и теплое женское сердце остается у него среди развалинъ житейской пошлости, житейскихъ тревоженій во всемъ своемъ величїи и святости, какъ истинное средоточіе жизни. Въ этой оцѣнкѣ женщины, по нашему мнѣнію, много объективной правды. Если есть средство, которымъ можетъ гордиться міръ, то это, конечно, женщина. Если есть на свѣтѣ правда, красота, любовь, добродѣтель, то, прежде всего, это — женщина. Тотъ, кто назвалъ ее вѣнцомъ созданія, говорилъ не фразу, а моральную истину.

Но при всемъ томъ, въ культѣ женщины у Тургенева мы видимъ и историческую причину. Гуманизмъ ни въ чемъ не выражается такъ полно и характерно, какъ во взглядѣ на женщину. Женщина есть символъ утѣшенія, страданія, обдѣленія, отчасти слабости.

Всякое движеніе общественной совѣсти къ равноправію, всякое усиленіе въ обществѣ чувства человѣчности, прежде всего, должно сказаться возстановленіемъ правды относительно обиженного и наиболѣе достойнаго члена человѣческой семьи — женщины. Ничѣмъ такъ вѣрно нельзя измѣрить степень дикости народа, сословія, времени, отдѣльнаго лица, какъ его отношеніемъ къ женщинѣ. Опора общественнаго возрожденія Россіи точно такъ же необходимо должна начаться съ признанія нравственнаго величія, нравственной прелести женщины. Прежде, чѣмъ поднять вопросъ о женскихъ университетахъ и о расширеніи гражданскихъ правъ женщины, необходимо было утвердить въ обществѣ, въ которомъ еще были слишкомъ живы дѣдовскія преданія о плеткѣ попа Сильвестра, сочувственный и уважительный взглядъ на женщину.

Тургеневъ и его общество окружили женщину тѣмъ поэтически-нравственнымъ ореоломъ, которымъ она впоследствии могла смѣлѣе выступить на защиту своихъ поправныхъ правъ.

*Марковъ.*

## Природа въ произведеніяхъ Тургенева.

Пейзажистомъ по преимуществу, между нашими романистами, безъ сомнѣнія, долженъ быть названъ Тургеневъ. Ни у кого описанія природы не играютъ такой выдающейся роли, ни у кого не отличаются они такимъ разнообразіемъ,

такою жизненностью, такою безукоризненностью формы. Все соединилось для того, чтобы сдѣлать Тургенева мастеромъ описательнаго жанра. Сроднившись еще въ дѣтствѣ съ великорусской деревней, горячо полюбивъ великорусскій пейзажъ, онъ рано познакомился съ другой природой, болѣе изящной, болѣе величественной и могучей; первое путешествіе его по Германіи, Швейцаріи и Италіи было для него тѣмъ, чѣмъ житіе на югѣ Россіи — для Пушкина, пребываніе на Кавказѣ — для Лермонтова. Подобно тому какъ погруженіе съ головою въ „Нѣмецкое море“ (см. предисловіе Тургенева къ полному собранію его сочиненій) сдѣлано его западникомъ, оставивъ его вмѣстѣ съ тѣмъ истинно русскимъ — красоты Рейна и Альповъ, расширивъ его художественный кругозоръ, не затмили въ его глазахъ скромной прелести тульскихъ полей или орловскаго полѣся. Не забылъ онъ ея и тогда, когда почти совсѣмъ разстался съ Россіей; „старческія“ (*senilia*, какъ называлъ ихъ самъ Тургеневъ) „стихотворенія въ прозѣ“ (напр. „Деревня“) проникнуты такимъ же пониманіемъ русской природы, такимъ же сочувствіемъ къ ней, какъ и первыя страницы юношеской поэмы „Параша“. „Я шелъ домой, ни о чемъ не размышляя, — говоритъ герой „Аси“, — какъ вдругъ меня поразила сильный, знакомый, но въ Германіи рѣдкій запахъ. Я остановился, и увидалъ возлѣ дороги небольшую грядку конопли. Ея степной запахъ мгновенно напомнилъ мнѣ родину и возбудилъ въ душѣ страстную тоску по ней. Мнѣ захотѣлось дышать русскимъ воздухомъ, ходить по русской землѣ“. Устами рассказчика говоритъ здѣсь, очевидно, самъ Тургеневъ; самымъ Тургеневымъ пережиты, очевидно, и тѣ ощущенія, которыя испытываетъ Лаврецкій при возвращеніи въ родную деревню, „Лаврецкій глядѣлъ... и эта свѣжая, степная, тучная голь и глушь, эта зелень, эти длинные холмы, овраги съ приземистыми дубовыми кустами, сѣрыя деревеньки, жидкія березы — вся эта, давно имъ не виданная, русская картина навѣвала на его душу сладкое и въ то же время почти скорбное чувство, давило грудь его какимъ-то пріятнымъ давленіемъ... Какая сила кругомъ, какое здоровье въ этой бездѣйственной тиши! Вотъ тутъ, подъ окномъ коренастый лопухъ лѣзетъ изъ густой травы; надъ нимъ вытягиваетъ зоря свой сочный стебель; богородицны слезки еще выше выкидываютъ свои розовые кудри;



а тамъ, дальше въ поляхъ лоснится рожь, и овесъ уже пошелъ въ трубочку, и ширится во всю ширину свою каждый листъ на каждомъ деревѣ, каждая травка на своемъ стеблѣ... Жизнь текла здѣсь неслышно, какъ вода по болотнымъ травамъ; до самаго вечера Лаврецкій не могъ оторваться отъ созерцанія этой уходящей, утекающей жизни — и никогда не было въ немъ такъ глубоко и сильно чувство родины“. Нигдѣ, можетъ-быть, любовь Тургенева къ родной природѣ не чувствуется такъ живо, какъ въ „Дневникѣ лишняго человека“. Это именно „любовь, вѣрная до смерти“. „Я бы хотѣлъ еще разъ надышаться горькою свѣжестью полыни, сладкимъ запахомъ сжатой гречихи на поляхъ моей родины; я бы хотѣлъ еще разъ услышать издали скромное тѣпанье надтреснутаго колокола въ приходской нашей церкви; еще разъ полежать въ прохладной тѣни подъ дубовымъ кустомъ на скатѣ знакомаго оврага; еще разъ проводить глазами подвижный слѣдъ вѣтра, темною струею бѣгущаго по золотистой травѣ нашего луга“. Прощаясь съ жизнью, „лишній человекъ“ прощается, въ то же время, съ своимъ садомъ, съ своими липами; ему утѣшительно думать, что наслаждение, миновавшее для него, будетъ испытываться другими. „Пусть хорошо будетъ людямъ лежать въ вашей пахучей тѣни, на свѣжей травѣ, подъ лепечущей говоръ вашихъ листьевъ, слегка возмущенныхъ вѣтромъ“. Чтобы вложить такой завѣтъ въ уста умирающаго, нужно было глубоко сжиться съ природой, извѣдать всю полноту наслажденій, источникомъ которыхъ она служитъ.

„Природа, — читаемъ мы въ „Асѣ“, — дѣйствовала на меня чрезвычайно, но я не любилъ такъ называемыхъ ея красотъ, необыкновенныхъ горъ, утесовъ, водопадовъ; я не любилъ, чтобы она навязывалась мнѣ, чтобы она мнѣ мѣшала“. Буквально примѣнять эти слова къ автору „Аси“, разумѣется, нельзя; говоря о Сорренто или Неаполѣ, о Римѣ или Лаго-Маджоре, Тургеневъ достаточно доказалъ свою способность наслаждаться „такъ называемыми красотами природы“, но въ приведенной нами „бутадѣ“ ясно слышится насмѣшка надъ тѣми, для которыхъ видъ экстраординарныхъ, всѣмъ міромъ признанныхъ красотъ природы какъ бы не существуетъ... Изучить и оцѣнить русскую природу, привязаться всѣмъ сердцемъ къ роднымъ, часто „невеселымъ“,

но часто и мирнымъ, успокоительнымъ картинамъ, много помогла Тургеневу „благородная страсть“ къ охотѣ. „Охота,— говоритъ онъ въ драгоцѣнной для насъ критической статьѣ о „Замѣткахъ ружейнаго охотника Оренбургской губерніи“, С. А.—ва (С. Т. Аксакова), —сближаетъ насъ съ природой; одинъ охотникъ видитъ ее во всякое время дня и ночи, во всѣхъ ея красотахъ, во всѣхъ ея ужасахъ“. Способный отдаться всецѣло обаянію природы, наслаждаться ею наивно и безотчетно, Тургеневъ могъ смотрѣть на нее и глазами художника, анализирующаго впечатлѣнія, подмѣчающаго отдѣльныя черты пейзажа, останавливающагося на томъ, чего вовсе не видитъ масса. „Гагинъ, — читаемъ мы въ „Асѣ“, — обратилъ мое вниманіе на нѣкоторыя счастливо освѣщенные мѣста; въ словахъ его слышался если не живописецъ, то ужъ навѣрное художникъ“. То же самое часто можно сказать о словахъ Тургенева; прочувствовать ихъ въ состояніи всякій, но далеко не всякому они пришли бы въ голову. Тонкое пониманіе пейзажа въ живописи, такъ ясно выразившееся, напримѣръ, въ напечатанныхъ недавно письмахъ Тургенева къ Я. П. Полонскому, непременно должно было итти рука объ руку съ такимъ же пониманіемъ пейзажа въ литературѣ. Въ довершеніе всего Тургеневъ не даромъ началъ свою творческую дѣятельность съ стихотвореній; постигнувъ „тайную гармонію стиха“ (собственное выраженіе Тургенева, въ одной изъ раннихъ критическихъ его статей — о переводѣ „Фауста“ Вропченко), онъ перенесъ ее, насколько это возможно, въ прозу, музыкальность которой особенно замѣтна — и особенно эффектна — именно въ описаніяхъ природы. Первообразъ поэтическихъ описаній, которыми такъ богата тургеневская проза, можно найти въ самой ранней поэмѣ Тургенева — въ „Парашѣ“.

Лишь изрѣдка промчится легкій трепетъ  
Въ берегахъ, тамъ за рѣчкой соловей .  
Поетъ себѣ — и слышенъ долгій лепетъ,  
Немолчный шопотъ дремлющихъ степей.  
И въ комнату, какъ вздохъ земли безсонной,  
Влетаетъ робко вѣтеръ благовонный...  
...Ночь прекрасна была,  
Ночь лѣтняя, спокойная, нѣмая;  
Не свѣтила луна, хоть и взошла;  
Рѣка, во тьмѣ таинственно сверкая,



Текла вдали. Дорожка къ ней вела;  
А листья въ вышнѣ толпой незримой  
Лепечуть. Вотъ — они сошли въ оврагъ,  
И словно ихъ движеніемъ гонимый,  
Предъ ними разступался мягкій мракъ...

II здѣсь, и въ другихъ поэмахъ, и въ небольшихъ лирическихъ стихотвореніяхъ источникомъ вдохновенія служить для поэта заурядный великорусскій пейзажъ; близкія, знакомыя картины воспроизводятся имъ то шутя, то серьезно, но всегда съ одинаковой любовью.

Въ повѣстяхъ Тургенева, относящихся къ половинѣ сороковыхъ годовъ („Андрей Колосовъ“, „Бреттеръ“, „Три портрета“), описанія природы встрѣчаются рѣдко; на первый планъ они выступаютъ въ его прозѣ только тогда, когда онъ перестаетъ писать стихи и весь отдается новому дѣлу — „Запискамъ охотника“. Здѣсь ничто не связывало его свободы; описанія могли соединяться съ рассказомъ въ какихъ угодно сочетаніяхъ, могли преобладать надъ нимъ, могли даже совершенно замѣнять его („Лѣсъ и степь“). Для той крайней сдержанности, образцы которой завѣщаны были пушкинской прозой, не было здѣсь никакого повода: работа, предпринятая художникомъ, допускала безконечныя разнообразіе пріемовъ. И дѣйствительно, картины природы разливаются по „Запискахъ охотника“ широкою волной, то поднимающеюся, то отступающею передъ нимъ, то поглощающею его. Иногда передъ нами точно лежитъ рисунокъ, лишь кой-гдѣ, слегка, тронутый красками (старинный садъ въ рассказѣ „Мой сосѣдъ Радловъ“); иногда художникъ даетъ намъ небольшую акварель, не блещущую яркостью цвѣтовъ, но проникнутую задумчивою красотою скромнаго пейзажа (начало рассказа: „Татьяна Борисовна и ея племянникъ“); иногда описаніе разрастается въ цѣлую картину, писанною могучею кистью, поражающую чудесами колорита (лѣсъ въ „Касьянѣ съ Красивой Мечи“). Останавливается ли Тургеневъ на маленькомъ уголкѣ природы (ключъ въ „Малиновой водѣ“), или на безпредѣльномъ ея просторѣ („Лѣсъ и степь“), подмѣчаетъ ли онъ одинъ короткій моментъ (закатъ солнца въ концѣ „Льгова“), или рисуетъ цѣлый рядъ послѣдовательныхъ явленій (ясный іюльскій день въ началѣ „Бѣжина луга“), смотритъ ли онъ на пейзажъ сквозь призму мимутнаго личнаго

настроенія („Касьянъ съ Красивой Мечи“, стр. 120—121 стереотипнаго изданія) или глазами человѣка, забывшаго о самомъ себѣ и всецѣло погружившагося въ созерцаніе (первыя строки „Ермолая и мельничихи“) — вездѣ и всегда онъ увлекаетъ насъ за собою и дѣлаетъ насъ участниками своихъ впечатлѣній. Необыкновенное богатство матеріала затрудняетъ выборъ цитатъ, да онѣ и почти излишни: немного найдется у насъ читателей, для которыхъ „Записки охотника“ не были бы настольной книгой. Ограничимся двумя небольшими выписками, которыя понадобятся намъ для заключительныхъ выводовъ. „Съ самаго ранняго утра небо ясно; утренняя заря не пылаетъ пожаромъ: она разливается кроткимъ румянцемъ. Солнце — не огнистое, не раскаленное, какъ во время знойной засухи, не тускло-багровое, какъ передъ бурей, но свѣтлое и привѣтно-лучезарное — мирно всплываетъ надъ узкой и длинной тучкой, свѣжо просіяетъ и погрузится въ лиловый ея туманъ. Верхній тонкій край растянутаго облачка засверкаетъ змѣйками; блескъ ихъ подобенъ блеску кованнаго серебра. Но вотъ опять хлынули играющіе лучи — и весело и величаво, словно взлетая, поднимается могучее свѣтило. Около полудня обыкновенно цоявляется множество круглыхъ высокихъ облаковъ, золотисто-сѣрыхъ, съ нѣжными бѣлыми краями. Подобно островамъ, разбросаннымъ по бесконечно разлившейся рѣкѣ, обтекающей ихъ глубоко прозрачными рукавами ровной синевы, они почти не трогаются съ мѣста; далѣе къ небосклону они сдвигаются, тѣснятся, синевы между ними не видать; но сами они такъ же лазурны, какъ небо; они всѣ насквозь пропикнуты свѣтомъ и теплотой... Къ вечеру облака исчезаютъ; послѣднія изъ нихъ, черноватыя и неопредѣленныя, какъ дымъ, ложатся розовыми клубами на противъ заходящаго солнца; на мѣстѣ, гдѣ оно закатилось такъ же спокойно, какъ вошло на небо, алое сіяніе стоитъ недолгое время надъ потемнѣвшею землею, и тихо мигая, какъ бережно несомая свѣчка, затеплится на немъ вечерняя звѣзда“ („Бѣжпнъ лугъ“). „Листья чуть шумѣли надъ моею головою; по одному ихъ шуму можно было узнать какое тогда стояло время года. То былъ не веселый, смѣющийся трепеть весны, не мягкое шушуканье, не долгій говоръ лѣта, не робкое и холодное лепетанье поздней осени,



а едва слышная, дремотная болтовня... Внутренность рощи то озарялась вся, словно вдругъ въ ней все улыбнулось; тонкіе стволы не слишкомъ частыхъ березъ внезапно принимали нѣжный отблескъ бѣлаго шелка, лежавшіе на землѣ мелкіе листья вдругъ пестрѣли и загорались червоннымъ золотомъ; то вдругъ опять все сплѣло: яркія краски мгновенно гасли, березы стояли всѣ бѣлыя, — бѣлыя, какъ только что выпавшій снѣгъ, до котораго еще не коснулся холодно играющій лучъ зимняго солнца — и украдкой, лукаво начиналъ сѣяться и шептать по лѣсу мельчайшій дождь“ („Свиданіе“).

Дальше и выше той ступени, на которой стоятъ въ „Запискахъ охотника“ описаніе природы, Тургеневу некуда было идти; во многомъ другомъ позднѣйшія его произведенія знаменуютъ собою громадный шагъ впередъ — съ занимающей насъ точки зрѣнія они остаются на томъ же уровнѣ, и лучшей для нихъ похвалы нельзя и придумать. Всего больше мѣста отводится описаніямъ въ тѣхъ очеркахъ или разсказахъ, которые, по своему характеру, всего ближе подходятъ къ „Запискамъ охотника“; сюда принадлежатъ въ особенності „Три встрѣчи“ и „Поездка въ Полѣсье“. Описаніе сада въ „Въ трехъ встрѣчахъ“ — одна изъ лучшихъ картинъ, написанныхъ Тургеневымъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ одна изъ самыхъ характеристическихъ для его описательной манеры. „Неподвижно лежалъ передо мною небольшой садъ, весь озаренный и какъ бы успокоенный серебрянными лучами луны, весь благовоиный и влажный... Молодые яблоки кой-гдѣ возвышались надъ поляной; сквозь жидкія вѣтки кротко сплѣло ночное небо, лился дремотный свѣтъ луны... Съ одной стороны сада липы смутно зеленѣли, облитыя неподвижнымъ, блѣдно-яркимъ свѣтомъ; съ другой — онѣ стояли всѣ черныя и не прозрачныя; странный, сдержанный шорохъ возникалъ по временамъ въ ихъ сплошной листвѣ; онѣ какъ будто звали на пропадавшія подъ ними дорожки, какъ будто манили подъ свою глухую сѣнь. Все небо было испещренно звѣздами; таинственно струилось съ вышины ихъ голубое, мягкое мерцанье; онѣ, казалось, съ тихимъ вниманіемъ глядѣли на далекую землю... Все дремало, все нѣжилось вокругъ; все какъ будто глядѣло вверхъ, вытянувшись, не шевелясь и выжидая... Чего ждала

эта теплая, эта незаснувшая ночь? Звука ждала она; живого голоса ждала эта чуткая тишина — но все молчало. Соловьи давно перестали пѣть... а внезапное гудѣніе мимолетнаго жука, легкое чмокание мелкой рыбы въ сажалкѣ за липами на концѣ сада, сонливый свистъ встрепенувшейся птички, далекій крикъ въ полѣ, до того далекій, что ухо не могло различить, человѣкъ ли то прокричалъ, или звѣрь, или птица, короткій, быстрый шорохъ по дорогѣ — всѣ эти слабые звуки, эти шелесты только усугубляли тишину"... Понятно впечатлѣніе, производимое, при такой обстановкѣ, внезапно раздавшимся звукомъ знакомой пѣсни... „Поѣздка въ Полѣсье“ заключаетъ въ себѣ цылый рядъ лѣсныхъ пейзажей, то удручающихъ своимъ суровымъ мракомъ, то убаюкивающимъ своей мирной тишиной. Природа здѣсь точно говоритъ съ человѣкомъ; ея жизнь, столь различная съ нашей и вмѣстѣ съ тѣмъ столь близкая къ ней, наводитъ на мысль о смерти — но самый образъ смерти является то грознымъ, то спокойнымъ. „Поѣздка въ Полѣсье“ не даромъ стоитъ на рубежѣ между двумя періодами въ жизни и творчествѣ Тургенева, къ наслажденію природой здѣсь присоединяется въ первый разъ мучительное сознаніе ея безучастія, ея равнодушія, съ наибольшей ясностью и силой выразившееся четверть вѣка спустя въ „Стихотвореніяхъ въ прозѣ“.

Въ романахъ и повѣстяхъ Тургенева описаніе природы встрѣчаются сравнительно рѣдко — и еще рѣже достигаютъ большихъ размѣровъ, выдвигаются изъ рамки разсказа. Иногда къ нимъ примѣнимо выраженіе, употребленное нами по отношенію къ описанію графа Толстого — они точно брошены „мимоходомъ“, слегка, немногими штрихами намѣчая обстановку дѣйствія, иногда они проникнуты субъективнымъ элементомъ, неразрывно связаны съ настроеніемъ дѣйствующаго лица. Описанія перваго рода всегда коротки и предпосылаются далеко не каждой сценѣ, не каждому моменту дѣйствія; въ большинствѣ случаевъ они необходимы для полноты впечатлѣнія, незамѣтно сливаясь въ одно цѣлое съ разсказомъ. „Владимиръ Сергѣевичъ подошелъ въ окну и приложился лбомъ къ холодному стеклу. Словно въ черную завѣсу уперлись его глаза, и только спустя немного времени могъ онъ различить на беззвѣздномъ небѣ



вѣтки деревьевъ, порывисто крутившіяся среди мрака“ („Затишье“). Этими немногими словами заранее обрисована передъ нами та темная, бурная ночь, которую Марья Павловна избрала для самоубійства... Берсепевъ („Наканунъ“) выходитъ изъ дома Стаховыхъ послѣ первой продолжительной бесѣды съ Еленой. „Ужъ совсѣмъ стемнѣло, неполный мѣсяцъ стоялъ высоко на небѣ, млечный путь заблѣлъ, и звѣзды запырѣли... Ночь была тепла и какъ-то особенно безмолвна, точно все кругомъ прислушивалось и караулило“. Такихъ примѣровъ можно было бы привести еще много; укажемъ на вступленіе къ „Рудину“, къ „Дворянскому гнѣзду“ и къ „Бригадиру“, на картину утра передъ дуэлью въ „Отцахъ и дѣтяхъ“, на описаніе сипягинскаго сада въ „Нови“, на обстановку, среди которой убиваетъ себя Неждановъ.

Съ большею еще силой дарованіе Тургенева выражается въ тѣхъ описаніяхъ, которыя мы соединяемъ подъ общимъ именемъ субъективныхъ. Неопредѣленное ожиданіе, первое предчувствіе первой любви, пробужденіе долго спавшаго сердца, стремленіе навстрѣчу жизни, успокоеніе тревожныхъ думъ, воспоминаніе о погибшемъ счастьѣ — всѣ чувства, дремлющія, торжествующія или замирающія, всѣ душевныя состоянія, начиная съ смутнаго волненія до страстнаго эффекта, находятъ отголосокъ въ природѣ, становятся, если можно такъ выразиться, между природой и человѣкомъ. Ни одна сторона этого взаимодѣйствія не осталась тайной для Тургенева. Кто не помнитъ той сцены въ „Дневникѣ лишняго человѣка“, когда великолѣпный солнечный закатъ вызываетъ или довершаетъ переломъ въ сердцѣ Лизы, или той страницы въ „Перепискѣ“, когда Алексѣй Петровичъ вспоминаетъ о „безмолвныхъ вечернихъ прогулкахъ вчетверомъ, послѣ какого-нибудь долгаго, теплаго, живого разговора“? Кто не помнитъ Лемма, точно воскресающаго подъ дыханіемъ тихой, теплой ночи, или Николая Петровича („Отцы и дѣти“), погружаемаго лѣтнимъ вечеромъ въ „горестную и отрадную игру одинокихъ думъ“? Герой „Аси“ переѣзжаетъ черезъ рѣку, весь охваченный новымъ, едва сознаваемымъ еще чувствомъ. „Я поднималъ глаза къ небу — но и въ небѣ не было покоя; испещренное звѣздами, оно все шевелилось, двигалось, содрогалось; я склонился къ рѣкѣ... но и тамъ,

и въ этой темной, холодной глубинѣ, тоже колыхались, дрожали звѣзды; тревожное оживленіе мнѣ чудилось повсюду, и тревога росла во мнѣ самомъ. Шопоть вѣтра въ моихъ ушахъ, тихое журчанье воды за кормою меня раздражали, и свѣжее дыханіе волны не охлаждало меня... Слезы закапали у меня на глазахъ, но то не были слезы безпредметнаго восторга. Нѣтъ! во мнѣ зажглась жажда счастья“. Лаврецкій ѣдетъ домой, проводивъ посѣтившихъ его Марью Дмитріевну и Лизу. „Обаяніе лѣтней ночи охватило его; все вокругъ казалось такъ неожиданно-странно, и въ то же время такъ давно и такъ сладко знакомо; вблизи и вдали все покоилось; молодая, расцвѣтающая жизнь сказывалась въ самомъ этомъ покоѣ. Лошадь Лаврецкаго бодро шла, раскачиваясь направо и налево; было что-то таинственно-пріятное въ крикѣ перепеловъ. Звѣзды исчезали въ какомъ-то свѣтломъ дымѣ; неполный мѣсяцъ блестѣлъ твердымъ блескомъ: свѣтъ его разливался голубымъ потокомъ по небу и падалъ пятномъ дымчатаго золота на проходившія близко тонкія тучки; свѣжесть воздуха охватывала всѣ члены, лилась вольною струею въ грудь“. Ощущеніе тревоги, испытываемое героемъ „Аси“, зависить, очевидно, не отъ окружающей его природы, хотя и поддерживается, усиливается ею; то же самое слѣдуетъ сказать объ ощущеніи блаженнаго покоя, наполняющемъ душу Лаврецкаго. Перенесите героя „Аси“ въ русскую деревню, поставьте Лаврецкаго на берегъ Рейна — впечатлѣнія того и другого останутся почти безъ переменъ, потому что не будетъ тронуть главный ихъ источникъ. Этотъ источникъ — приближеніе любви, чуть замѣтно вкрадывающейся въ сердце; но на человѣка, многое пережившаго и выстрадавшаго, оно дѣйствуетъ иначе, чѣмъ на юношу, любившаго до сихъ поръ только головою. Лаврецкому не нужно страсти, онъ былъ уже разъ обманутъ ею, да и въ Лизѣ нѣтъ ничего, чѣмъ вызывалось бы бурное, жгучее чувство; герой „Аси“, наоборотъ жаждетъ страсти, — страсти, которая таится, готовая вспыхнуть, во всемъ существѣ Аси. Каждому изъ нихъ природа даетъ именно то, чего онъ въ ней безсознательно ищетъ, что онъ въ нее невольно вноситъ.

Мы далеко не исчерпали всего разнообразія Тургеневскихъ описаній; мы могли бы указать, какъ они принимаютъ фантастическій оттѣнокъ (въ „Призракахъ“), какъ они обра-



щаются въ художественную монографію отдѣльнаго растенія (осина въ „Свиданіи“), какъ они служатъ иллюстраціей глубокой мысли („Довольно“), какъ они дышатъ паничностью или педантизмомъ, смотря по тому, въ чьи уста они вкладываются авторомъ (разсказчикъ въ „Собакахъ“, описывающій лунную ночь, Клюбсеръ — въ „Вѣшнихъ водахъ“, — снисходительно ободряющій или строго критикующій природу). Предметъ такъ привлекателенъ, что отъ него трудно оторваться — но мы боимся утомить читателей. *Арсеньевъ.*

---

## Творчество Тургенева.

Художественное творчество, по своему внутреннему „механизму“ или характеру, можетъ быть двойное: *объективное* и *субъективное*. *Объективнымъ* я называю такое творчество, которое преимущественно (въ своихъ лучшихъ созданіяхъ) направлено на воспроизведеніе типовъ, натуръ, характеровъ, умовъ и т. д., болѣе или менѣе чуждыхъ или даже противоположныхъ личности художника. Создавая такіе образы, художникъ отправляется *не отъ себя*. *Субъективнымъ* я называю такое творчество, которое преимущественно (въ своихъ лучшихъ созданіяхъ) направлено на воспроизведеніе типовъ, натуръ, характеровъ, умовъ и т. д., болѣе или менѣе близкихъ, родственныхъ или даже тождественныхъ личности самого художника. Создавая такіе образы, художникъ отправляется *отъ себя*. Геніальнымъ представителемъ такого *субъективнаго* творчества служитъ *Левъ Толстой*. Однимъ же изъ величайшихъ представителей творчества *объективнаго* является Тургеневъ.

Пользуясь біографическими данными, воспоминаніями лицъ, близко знавшихъ Тургенева, основываясь также на нѣкоторыхъ его произведеніяхъ, завѣдомо *субъективнаго* происхожденія, наконецъ, матеріаловъ, представляемымъ его письмами, мы можемъ составить себѣ довольно вѣрное понятіе о натурѣ, характерѣ, складѣ ума покойнаго романиста. Это понятіе въ общихъ чертахъ сводится къ слѣдующему. Тургеневъ прежде всего былъ *человѣкъ необыкновеннаго ума* — очень широкаго и глубокаго, очень вдумчиваго и созерца-

тельнаго. По складу ума, по типу мышленія, Тургеневъ принадлежалъ къ числу тѣхъ избранниковъ, которые съ серьезностью и глубиною, съ широтою умственного захвата соединяють необыкновенную тонкость, чуткость и изящество мысли. Это тотъ типъ умовъ, къ которому относятся, напр., Ренанъ, Тэнъ, Герценъ. Изучая такихъ писателей, мы сосредоточиваемъ свое заинтересованное вниманіе не столько на положительныхъ результатахъ ихъ мысли, сколько на самомъ ея процессѣ, дѣйствующемъ на насъ обаятельно. Мы можемъ не соглашаться съ ихъ выводами, не раздѣлять тѣхъ или другихъ идей, проводимыхъ ими, но мы невольно подчиняемся обаянію ихъ глубокаго анализа, ихъ тонкой критики, ихъ изящнаго синтеза. Конечно, умы человѣческіе, въ особеннности большіе, крайне разнообразны и часто представляютъ самую причудливую смѣсь противоположныхъ качествъ, разнообразныхъ даровъ, сильныхъ и слабыхъ сторонъ, такъ что едва ли возможно довести ихъ подъ опредѣленные, строго разграниченныя рубрики. Но все-таки мы, кажется, не ошибемся, если скажемъ, что умы, о которыхъ идетъ рѣчь, суть умы по преимуществу созерцательные, съ сильно выраженнымъ даромъ анализа, въ большей или меньшей мѣрѣ скептическіе, не безъ грустной прони и въ общемъ — уравновѣшенные, очень гармоническіе. Въ нихъ также нѣтъ или мало того, что можно назвать „дѣловымъ“ направленіемъ мысли. Не думаю, чтобы такой умъ былъ свойственъ, напри-мѣръ, изобрѣтателямъ; да и въ самой теоретической наукѣ рѣдко дѣятели этого типа совершаютъ крупныя и — если можно такъ выразиться — осязательныя открытія. Было бы крайне затруднительно отвѣтить категорически на въ упоръ поставленный вопросъ: что собственно *открылъ* Ренанъ или Тэнъ? Да и ставить его не слѣдуетъ. И вопросъ и вполне категорическій отвѣтъ на него возможны по отношенію къ умамъ другого рода, для которыхъ не умѣю подобрать лучшаго термина, какъ „дѣловые“, съ большимъ или меньшимъ даромъ „геніальной отгадки“. Таковы, напр., Ньютонъ, Лейбницъ, Кантъ, Дарвинъ, Гельмгольцъ, Лобачевскій, Боппъ, Потебня и много другихъ, съ именами которыхъ связаны положительныя открытія, формулировка новыхъ законовъ, установленіе новыхъ точекъ зрѣнія, созданіе новыхъ методовъ. Это умы — въ сферѣ научной или философской — прогрессивные, завое-



вательные, революціонныя, смѣлыя. Умы перваго типа скорѣе консервативны (въ смыслѣ научномъ и философскомъ). Само собой разумѣется, дары тонкаго анализа, изящества мысли и т. д. могутъ быть не чужды и умамъ „дѣловымъ“ и прогрессивнымъ (въ большинствѣ случаевъ такъ и бываетъ), но не въ томъ пунктѣ сосредоточена ихъ главная сила.

Что Тургеневъ, какъ умъ, принадлежалъ къ первому — типу, съ этимъ, полагаю, согласится всякій, кто хорошо знакомъ съ его творчествомъ, кто доступенъ обаянію его генія. Ниже намъ придется не разъ останавливаться на тѣхъ мѣстахъ въ произведеніяхъ Тургенева, которыя характеризуютъ его умъ съ указанной стороны.

Какъ человѣкъ, Тургеневъ — это извѣстно — отличался большой добротой сердца, мягкостью души, доброжелательностью къ людямъ. Это былъ очень добрый, очень гуманный, хорошій человѣкъ. Какъ характеръ, это былъ человѣкъ довольно слабый, съ малымъ развитіемъ дѣйствующей воли, лишенный всякихъ качествъ и стремленій авторитетности и инициативы, неспособный къ дѣятельности, напр., публициста, человѣка партіи, организатора. Это была натура пассивная, недѣятельная.

Отмѣтимъ еще одну очень важную для пониманія Тургенева и его творчества черту, къ которой намъ придется неоднократно возвращаться въ этихъ этюдахъ. Это именно стремленіе и что особенно важно, *способность къ внутренней свободѣ*. Въ чемъ она состоитъ, это не трудно уразумѣть изъ слѣдующаго. Въ „Литературныхъ воспоминаніяхъ“ Тургеневъ, обращаясь къ молодымъ беллетристамъ, напоминаетъ имъ извѣстные стихи Гёте:

Greift nur hinein in's volle Menschenleben!  
Ein jeder lebt's — nicht vielen ist's bekannt,  
Und wo ihr's packt — da ist's interessant!

II затѣмъ даетъ такіе совѣты и поясненія: „Сплу этого схватыванія, этого уловленія жизни даетъ только талантъ, а талантъ дать себѣ нельзя; но и одного таланта недостаточно. Нужно постоянное общеніе съ средою, которую берешься воспроизводить; нужна правдивость, неумолчная въ отношеніи къ собственнымъ ощущеніямъ; *нужна свобода, полная свобода воззрѣній и понятій*, и, наконецъ, нужна

образовательность, нужно знаніе... *Ничто такъ не освобождаетъ человека, какъ знаніе, — и нигдѣ такъ свобода не нужна, какъ въ дѣлѣ художества, поэзіи...* Можетъ ли человѣкъ „схватывать“, „уловлять“ то, что его окружаетъ, если онъ связанъ внутри себя? Пушкинъ это глубоко чувствовалъ; не даромъ въ своемъ безсмертномъ сонетѣ онъ сказалъ:

. . . . . дорогою свободной  
Иди, куда влечетъ тебя свободный умъ...

Признаки такой внутренней свободы въ себѣ самомъ Тургеневъ отмѣчаетъ въ письмѣ Милютинной (1875 г.): „ . . . . скажу вкратцѣ, что я преимущественно реалистъ, и болѣе всего интересуюсь живою правдою людской фizioноміи; ко всему сверхъестественному отношусь равнодушно, ни въ какіе абсолюты и системы не вѣрю, люблю больше всего свободу и, сколько могутъ судить, — доступенъ поэзіи. Все человѣческое мнѣ дорого, славянофильство чуждо, такъ же какъ и всякая ортодоксія...“

Чтобы понять Тургенева, какъ поэта-художника, чтобы проникнуть въ психологію его творчества, необходимо постоянно имѣть въ виду только что указанное, основное свойство его натуры. Постараемся прежде всего показать, въ какихъ отношеніяхъ находится эта „внутренняя свобода“ къ преобладающему у Тургенева *объективному* направленію творчества. Сперва прочтемъ первыя строки изъ письма Тургенева къ г. Кингу (1876 г.): „... Если васъ изученіе человѣческой фizioноміи, чужой жизни, интересуесть *больше*, чѣмъ изложеніе собственныхъ чувствъ и мыслей; если, напр., вамъ *пріятнее* вѣрно и точно передать наружный видъ не только человѣка, но простой вещи, чѣмъ красиво и горячо высказать то, что вы ощущаете при видѣ этой вещи или этого человѣка, значитъ вы объективный писатель, и можете взяться за повѣсть или романъ...“

Едва ли нужно доказывать, что можно писать превосходныя повѣсти и романы, и не будучи писателемъ въ строгомъ смыслѣ объективнымъ. Романъ можетъ быть продуктомъ творчества субъективнаго не меньше любого лирическаго стихотворенія, воспроизводящаго личныя чувства и мысли автора. За вычетомъ этого пункта, мы не находимъ препятствій принять опредѣленіе объективнаго творчества, данное Тур-



геновымъ въ приведенномъ отрывкѣ. Да, объективно то творчество, при которомъ писатель, насколько возможно, забываетъ себя и прежде всего обращаетъ взоры на вещи, лица, характеры не только посторонніе, виѣшніе, но, что еще важнѣе, въ большей или меньшей степени противорѣчащіе тому, что онъ находитъ въ самомъ себѣ. Объективенъ тотъ, кто способенъ заинтересоваться, понять, оцѣнить, полюбить натуру, совершенно противоположную себѣ самому. Въ этомъ *объективизмъ* я усматриваю дѣйствіе особаго психическаго *ритма*.

Присматриваясь къ проявленіямъ — весьма нерѣдкимъ — такой объективности въ самой жизни, въ отношеніяхъ между людьми, не трудно уловить въ нихъ дѣйствіе той душевной пружины, которую можно назвать стремленіемъ къ *ритму контрастовъ*. Усматривая въ другомъ извѣстныя черты, противоположныя своимъ, человѣкъ невольно тяготѣетъ къ этому другому, ища восполненія того, чего ему самому недостаетъ, но такого восполненія, которое въ результатѣ давало бы гармоническое цѣлое. Оттуда нерѣдко, напр., тяготѣніе людей съ слабымъ характеромъ къ людямъ съ сильнымъ характеромъ и наоборотъ. Но, развивая эту мысль, слѣдуетъ быть осторожнымъ: тутъ легко дойти до абсурда и утверждать, напр., что дураки должны любить умныхъ, и умные тяготѣть къ дуракамъ. Вся суть дѣла сводится къ стремленію достигъ гармоніи, но, вѣдь, далеко не все контрасты ритмуютъ между собою, и умъ не нуждается въ глупости для своего ритмическаго восполненія. Гармоническій эффектъ осуществляется въ процессѣ общенія умовъ различнаго типа, натуръ съ противоположными темпераментами, характеровъ съ различно выраженнымъ волевымъ началомъ.

Принимая съ этими оговорками теорію контрастовъ и сводя ее къ стремленію осуществить гармонію духа, я въ этомъ именно явленіи и ищу источника того, что выше я называлъ *объективизмомъ* въ отношеніяхъ между людьми. Стремясь дополнить себя, человѣкъ пріучается интересоваться другими, сперва тѣми, которые могутъ его дополнить, а потомъ и иными: онъ съ любопытствомъ всматривается въ чужія лица, и (говоря словами Тургенева) „изученіе человѣческой фізіономіи, чужой жизни“ привлекаетъ его въ большой степени, чѣмъ „изложеніе собственныхъ чувствъ и мыслей“.

Это человекъ *объективнаго* склада или направленія. Но есть люди иного рода, которые интересуются другими постольку, поскольку они могут изложить передъ послѣдними „свои собственные чувства и мысли“, т.-е. обнаружить *свое* душевное содержаніе, и вы, встрѣтя такого человека, сейчасъ же замѣчаете, что онъ не ищетъ „дополненія“ себѣ, и живъ собственнымъ своимъ нутромъ. Это человекъ *субъективнаго* склада или направленія. Различны могутъ быть причины, обуславливающія такой субъективизмъ, но въ числѣ ихъ бросается въ глаза одна: это именно отсутствіе того, что Тургеневъ называетъ „внутреннею свободою“. Человекъ, находящійся подъ властью какой-нибудь *idée fixe*, фанатикъ, доктринеръ, сектантъ, утопистъ — всѣ они слишкомъ исключительно заняты своими мыслями, чувствами, стремленіями, слишкомъ переполнены собою, чтобы интересоваться „живою правдою“ человѣческой *физиономіи*“, и общеніе съ людьми иныхъ мыслей, чувствъ, стремленій производитъ въ ихъ душѣ эффектъ не гармоніи, а диссонанса. Наоборотъ, люди внутренне свободные, не поработанные излюбленной идеей или мечтой, ищутъ дополненія, рады встрѣтить контрасты, — ихъ душа открыта для объективнаго отношенія къ вещамъ и людямъ.

Таковъ именно и былъ Тургеневъ, какъ въ жизни, такъ и въ творествѣ. Художникъ (если онъ въ самомъ дѣлѣ художникъ, а не сочинитель) остается въ сферѣ творчества самимъ собою, творя, онъ продолжаетъ жить, вступаетъ въ такое же живое общеніе съ создаваемыми имъ образами, какое ему свойственно въ отношеніи къ живымъ людямъ. Онъ будетъ объективенъ или субъективенъ въ творествѣ, смотря по тому и въ той же мѣрѣ, какимъ онъ является въ своей личной жизни.

*Овсянко-Куликовскій.*

---

## Истинность изображенія въ сочиненіяхъ Тургенева.

Необходимо понимать по-русски и глубоко посвятить себя въ исторію русскаго общества и литературы, чтобы вполне оцѣнить Тургенева. Но чтобы охватить его величину и преклоняться предъ нею — этого недостаточно. Все, что образованные классы въ странахъ германскихъ и романскихъ знаютъ



въ наше время о внутренней жизни славянскаго племени, — всѣмъ этимъ они обязаны почти исключительно одному этому человѣку. Никто изъ прежнихъ русскихъ писателей не читался въ Европѣ, подобно ему; на него смотрѣли скорѣе какъ на международнаго, нежели русскаго писателя. Онъ открылъ намъ новый міръ образовъ, но онъ вовсе не нуждался въ этомъ побочномъ интересѣ для увеличенія достоинства своихъ произведеній, ибо Европа восхищалась въ немъ художникомъ, а не бытописателемъ.

Несмотря на то, что за предѣлами своего отечества онъ едва ли былъ читаемъ на его родномъ языкѣ, тѣмъ не менѣе прозорливая критика повсюду, даже въ странахъ, въ художественномъ отношеніи далеко ушедшихъ впередъ, поставила его въ одинъ рядъ съ лучшими своими писателями. Его читали въ переводахъ, которые, само собою разумѣется, затемняли и уменьшали силу впечатлѣнія, но совершенство оригинала такъ очевидно сказывалось въ болѣе или менѣе удачно переданныхъ образахъ, что по этому можно было видѣть, сколько потерялъ онъ въ отношеніи изящества и остроумія. Великіе поэты, обыкновенно, дѣйствуютъ глубже своимъ слогомъ, потому что посредствомъ его они лично идутъ навстрѣчу читателю. Тургеневъ въ этомъ отношеніи дѣйствовалъ такъ глубоко, какъ едва ли кто другой, хотя нерусскій читатель зналъ только болѣе бьющее въ глаза въ его слогѣ, едва понималъ, выражался ли онъ рѣзко, или изящно, едва угадывалъ свойственныя языку особенности его остроумія и также былъ далекъ отъ пониманія его намековъ. какъ и отъ возможности сравнивать его уподобленія и характеристики личностей и образа мыслей въ Россіи съ воспроизведенною дѣйствительностью. Тургеневъ побѣдилъ на художественномъ пути, хотя шаги его были скованы; онъ восторжествовалъ на великой аренѣ, хотя сражался притупленнымъ мечомъ.

Онъ населплъ для насъ великое восточное государство. Ему мы обязаны знаніемъ духовнаго склада и мужчинъ и женщинъ этой страны. Хотя онъ, лишь тридцати лѣтъ отъ роду, покинулъ Россію, чтобы никогда не возвращаться туда въ качествѣ постоянного гражданина своей родины, тѣмъ не менѣе онъ никогда не изображалъ никого другого, кромѣ людей этой страны, а нѣмцевъ и французовъ —

только какъ полуобрусѣвшихъ или въ соприкосновеніи съ русскими. Онъ хотѣлъ изображать только тѣ личности, съ свойствами которыхъ онъ былъ знакомъ съ юныхъ лѣтъ. Мы оставляемъ безъ вниманія мнѣніе пзвѣстныхъ кружковъ, которые, подъ вліяніемъ споровъ между славянофилами и сторонниками Европы, отрицали въ Тургеневѣ знаніе отчизны и считали его самого какимъ-то западникомъ. Будь онъ хотя немного менѣе космополитъ, едва ли произведенія обошли бы весь цивилизованный свѣтъ, какъ это случилось на самомъ дѣлѣ.

Онъ далъ намъ картины степи и лѣса, весны и осени, всѣхъ состояній и классовъ общества, всѣхъ степеней умственнаго развитія въ Россіи; онъ нарисовалъ ихъ всѣхъ, крѣпостного и княгиню, крестьянина, помѣщика и студента, молодыхъ дѣвушекъ, чистыхъ душою, надѣленныхъ самой нѣжной славянской прелестью, и холодныхъ, прекрасныхъ, эгоистическихъ кокетокъ, которыя въ Россіи, кажется, еще безразличнѣе въ ихъ безсердечіи, чѣмъ гдѣ-либо. Онъ далъ намъ богатую психологію цѣлой чѣловѣческой расы, правда, глубоко проникнутый чувствомъ, но никогда не омрачая душевной тревогой прозрачной ясности изображенія. Черезъ всѣ произведенія Тургенева несется широкая, захватывающая волна меланхоліи. Какъ бы правдивы и объективны ни были воспроизведенные имъ образы, и хотя онъ никогда не влагаетъ лиризма въ свои повѣсти и романы, тѣмъ не менѣе въ совокупности его произведенія оставляютъ лирическое впечатлѣніе: въ нихъ сказалось столько чувства, и это чувство — постоянная печаль, личная, необычайная печаль, безъ капли чувствительности. Тургеневъ никогда не отдается весь чувству, онъ обнаруживаетъ его постепенно, но ни одинъ изъ западно-европейскихъ рассказчиковъ не проникнуть въ такой степени печалью, какъ онъ. Великіе меланхолики латинской расы, какъ Леопарди и Флоберъ, отличаются рѣзкими, опредѣленными контурами своего стиля, нѣмецкая грусть ярко юмористична, или патетична, или сентиментальна. Меланхолія Тургенева — всецѣло меланхолія славянскаго племени съ его недугами и печалями; она происходитъ по прямой линіи отъ меланхоліи славянскихъ народныхъ пѣсенъ.

Точнѣе эту печаль можно опредѣлить, назвавъ ее печалью мыслителя. Тургеневъ глубоко заглянулъ въ сущность все-



ленной и понять, что всѣ идеалы человѣчества, — справедливость, разумъ, абсолютное благо, всеобщее счастье для природы безразличны и присущей ей божественной силой никогда не проявляются. Въ одномъ изъ своихъ послѣднихъ произведеній, въ сборникѣ „Стихотвореній въ прозѣ“ онъ глубоко-проницательный мудрецъ, высказалъ свое credo въ формѣ видѣнія.

„Среди подземной храмины, глубоко задумавшись, сидитъ женщина въ волнистой одеждѣ зеленаго цвѣта.

„Я тотчасъ понялъ, что эта женщина — сама природа, и мгновеннымъ холодомъ вѣдрилъ въ мою душу благоговѣйный страхъ.

„Я приблизился къ сидящей женщинѣ и, отдавъ почтительный поклонъ: „О, наша общая мать!“ воскликнулъ я. — „О чемъ твоя дума? Не о будущихъ ли судьбахъ человѣчества размышляешь ты? Не о томъ ли, какъ ему дойти до возможнаго совершенства и счастья?“

„Женщина медленно обратила на меня свои темные, грозные глаза. Губы ея шевельнулись — и раздался зычный голосъ, подобный лязгу желѣза:

— „Я думаю о томъ, какъ бы придать большую силу мышцамъ ногъ блохи, чтобы ей удобнѣе было спастись отъ враговъ своихъ. Равновѣсіе паденія и отпора нарушено... Надо его возстановить.

— „Какъ? пролепеталъ я въ отвѣтъ. — Ты вотъ о чемъ думаешь! Но развѣ мы, люди, — не любимыя твои дѣти?

„Женщина чуть-чуть наморщила брови: — Всѣ твари — мои дѣти, — промолвила она. — Я одинаково о нихъ забочусь — и одинаково ихъ истребляю“.

Печаль Тургенева одновременно печаль патріота, pessimиста и друга человѣчества. Несмотря на весь свой кажущійся космополитизмъ, онъ былъ патріотъ, но патріотъ, скорбѣвшій о своей родинѣ и сомнѣвавшійся въ ней. На него многократно нападали за это и даже издѣвались надъ нимъ. Достоевскій въ своемъ романѣ „Бѣсы“ въ образѣ Кармазинова пытался выставить его въ смѣшномъ видѣ.

Тургеневъ не раздѣлялъ преклоненія своихъ наивныхъ и малообразованныхъ соотечественниковъ передъ русскимъ народомъ, какъ таковымъ.

Молодымъ писателемъ онъ началъ съ того, что въ фор-

махъ, допускавшихся цензурою, выразить свое негодование противъ крѣпостничества. Цензура, по всей вѣроятности, имѣла благотѣльное вліяніе на его талантъ и силой необходимости развивала въ немъ важность, аристократизмъ и сдержанность. Если въ немъ и была когда-либо въ ранней молодости склонность къ непосредственному пафосу, къ декламации и рѣзкимъ эффектамъ — эта склонность ни въ какомъ случаѣ не могла быть въ немъ сильна: требованія цензуры убили бы ее. Чтобы возбудить состраданіе къ крѣпостнымъ, показать безправіе, среди котораго они проводили свою жизнь, и дать картину жестокости, даже помимо побоевъ и оковъ истязавшей ихъ до смерти, онъ разсказалъ отрывки изъ своего охотничьяго дневника, визиты къ помѣщикамъ или къ доктору и, между прочимъ, то здѣсь, то тамъ маленькую исторію, — исторію той мельничихи, которая, въ дѣвушкахъ, провинилась въ черной неблагодарности, пожелавъ выйти замужъ, несмотря на то, что ея барыня, ангельски добрая дама, не выносила замужней прислуги, и которая, за желаніе скрыть свои отношенія къ милому, была въ наказаніе выдана противъ воли за другого, послѣ того какъ ея Петрушка былъ сданъ въ солдаты; или исторію глухонѣмого, исполнскія сильнаго двороваго Герасима, возлюбленную котораго госпожа ради потѣхи выдала за какого-то пьяницу, того Герасима, который долженъ былъ утопить свою собаку, маленькую тощую собаченку Муму, свое единственное утѣшеніе и единственную подругу въ этомъ мірѣ, потому только, что Муму своимъ тавканьемъ беспокоила по временамъ барыню, когда та послѣ слишкомъ плотнаго ужина страдала бессонницей. Обѣ исторіи разсказаны безъ всякой задней мысли, безъ всякаго вывода. Скорбь, вызванная этою жестокостью, обнаруживается только въ видѣ ироніи, и эта иронія, въ свою очередь, исчезаетъ въ общемъ печальномъ колоритѣ.

Причина, дѣлающая основное настроеніе Тургенева столь сильнымъ и исключительнымъ, лежитъ, какъ было уже сказано, въ томъ, что онъ былъ одновременно и пессимистомъ и другомъ человѣчества, въ его любви къ людямъ, о которыхъ онъ такъ невысоко думалъ и которымъ такъ мало довѣрялъ.

Тургеневъ не только принадлежалъ къ дворянской семьѣ, но и къ знаменитому роду, который насчитываетъ въ своихъ рядахъ много заслуженныхъ и славныхъ мужей; и, какъ пи-



сатель, онъ обнаруживаетъ слѣды благороднаго происхожденія. Не то, чтобы онъ самъ, какъ лордъ Байронъ и князь Поклеръ, придалъ своимъ сочиненіямъ этотъ оттѣнокъ, на подобіе вишняго отлечія, напротивъ того въ его книгахъ не найдется ничего, что бы непосредственно напоминало о знатности автора, и тѣмъ не менѣе, читая его, чувствуешь, что ему отъ природы свойственно изящество и что онъ всегда вращался въ лучшемъ обществѣ. Онъ былъ свѣтскій человѣкъ, и въ его произведеніяхъ проглядываетъ то знаніе жизни свѣтскаго человѣка, котораго, обыкновенно, недостаетъ нѣмецкимъ поэтамъ. Но это знаніе не сдѣлало его, подобно нѣкоторымъ писателямъ Франціи, холоднымъ или циничнымъ. Хотя въ своихъ произведеніяхъ, онъ никогда не оскорбляетъ хорошаго тона, тѣмъ не менѣе его тонъ не свѣтскій тонъ. Самое презрѣніе его, вовсе не холодное презрѣніе. Въ его голосѣ всегда слышится душа.

Трудно ясно и опредѣленно сказать, что дѣлаетъ Тургенева художникомъ перваго ранга. Говоря кратко, это лежитъ въ истинности его изображенія. Но и это слово требуетъ не совсѣмъ краткаго поясненія.

Прежде всего ему въ высшей степени свойственна особенность истинныхъ поэтовъ воспроизводить людей, которые дѣйствительно живутъ. Жизнь его образовъ не только болѣе рельефно очерченная вишняя жизнь — они жизненны до кончиковъ пальцевъ — это въ то же время до такой степени внутренняя, изо дня въ день таинственно совершающаяся душевная жизнь, что мы можемъ вполне и всесторонне изучить ее. Но что дѣлаетъ его художественное превосходство столь осязательнымъ, такъ это ощущаемое читателемъ соотвѣтствіе отношенія самого поэта къ изображеннымъ имъ личностямъ или его приговора надъ рассказаннымъ съ впечатлѣніемъ, которое получается отъ того же самымъ читателемъ.

Дѣло въ томъ, что отношеніе поэта къ его собственнымъ образамъ таково, что оно тотчасъ же должно обнаружить его слабости, какъ человѣка или какъ художника. Поэтъ можетъ обладать многими рѣдкими дарованіями; но если онъ требуетъ отъ насъ удивленія предъ тѣмъ, что вовсе не заслуживаетъ удивленія, если онъ силится вызвать въ насъ сочувствіе къ какому-нибудь мужчине, или состраданіе къ какой-нибудь

женщинѣ, или восторгъ предъ какимъ-нибудь дѣяніемъ, когда мы сами не чувствуемъ ничего подобнаго, въ такомъ случаѣ онъ самъ себя ослабляетъ и вредитъ себѣ. Если романистъ, за которымъ мы долго слѣдили, оказывается вдругъ менѣе критикомъ и болѣе чувствительнымъ, чѣмъ мы, тогда его произведеніе кажется намъ неудавшимся. Если онъ выводитъ личность неотразимо покоряющею сердца въ то время, какъ мы не находимъ ее обаятельной, или изображаетъ ее талантливой и остроумной, когда она не кажется намъ такою, или когда онъ заставляетъ ее совершать подвигъ болѣе смѣлый, чѣмъ мы можемъ ожидать отъ нея, или объясняетъ ея поступки великодушіемъ, котораго мы никогда не встрѣчали и въ которое не вѣримъ въ данномъ случаѣ; если онъ произвольно требуетъ отъ насъ незаслуженнаго почтенія, или возмущаетъ насъ холодною, или раздражаетъ моралью, — тогда, часто или по временамъ, у читателя возникаетъ мысль, что художнику измѣнило искусство; мы словно слышимъ тогда какой-то фальшивый звукъ, и, если даже въ послѣдствіи онъ будетъ измѣненъ, въ насъ все-таки остается смутное воспоминаніе о чемъ-то непріятномъ. Кому изъ читателей Бальзака, Диккенса или Ауэрбаха — говоря только о великихъ покойникахъ — не знакомо это непріятное чувство? Когда Бальзакъ впадаетъ въ неуклюжій восторгъ, или Диккенсъ притворяется дѣтски трогательнымъ, или Ауэрбахъ наивнымъ, — эта дѣланность и фальшь возбуждаютъ въ читателѣ отталкивающее чувство. Никто никогда не встрѣчаетъ у Тургенева этихъ промаховъ художника.

Задачи, которыя онъ поставилъ себѣ, — самыя трудныя задачи. Онъ считаетъ постыднымъ для себя увлекать читателя романтическими характерами и необыкновенными приключеніями, и не менѣе того постыднымъ — прельщеніе чѣмъ-нибудь безправственнымъ.

Рѣдко или никогда въ его повѣстяхъ или романахъ происходитъ что-нибудь необычайное — катастрофа, подобная разрушенію дома въ концѣ „Степного короля Лира“, представляетъ полное исключеніе, — и, хотя онъ не избѣгаетъ низкихъ и грязныхъ характеровъ и рассказываетъ романтическія происшествія, какихъ не могъ бы рассказать ни одинъ англійскій новеллистъ, онъ никогда не коснется при этомъ ничего непристойнаго, чѣмъ грѣшатъ художники, разъ на-



всегда отказавшіеся отъ всего условнаго. Какъ художникъ, онъ былъ рѣшительный, но стыдливый реалистъ.

Его главная задача, какъ писателя, — изображеніе убогихъ, слабыхъ, скитальцевъ, непостоянныхъ, лишнихъ и покинутыхъ. Онъ — поэтъ смирившихся въ своемъ несчастіи. Онъ рисовалъ внутреннюю, безмолвную жизнь несчастія.

Пусть прочтетъ кто-нибудь его краткія сцены или эскизы изъ русской жизни, напримѣръ „Переписку“. Здѣсь мы постепенно знакомимся съ молодой дѣвушкой, которая одинокая, непонятая и осмѣянная своею глупою средою, живетъ въ маленькой деревушкѣ, наканунѣ того, чтобы остаться старою дѣвой. Она уже примирилась съ этимъ. Нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ ее покинулъ женихъ. Она ничего не требуетъ отъ жизни. У нея одно только желаніе, — желаніе покоя, и она на пути къ достиженію его. И вотъ вдругъ къ ней начинаетъ писать одинъ изъ друзей дѣтства, можетъ-быть, изъ желанія подѣлиться мыслями, или отъ нечего дѣлать, можетъ-быть, вслѣдствіе одиночества, или изъ участія къ ней. Сначала она отвѣтила сдержанно. Получивъ новыя посланія, она уступаетъ его просьбамъ продолжать переписку. Онъ пишетъ. Теперь она отвѣчаетъ ему, не краткими, а длинными краснорѣчивыми письмами. Такимъ образомъ въ ея сердцѣ зарождается чувство дружбы, и немного спустя это чувство переходитъ въ чувство любви. Одно мгновеніе они любятъ оба. Онъ тоскуетъ по ней и мечтаетъ о ней. День его отъѣзда и пріѣзда къ ней уже назначенъ. И вдругъ переписка прекращается. Прельщенный какою-то танцовщицей и подъ вліяніемъ ея вульгарныхъ прелестей онъ забываетъ все, она же снова погружается въ свое ужасное одиночество, и на этотъ разъ еще глубже.

Или прочтемъ „Дневникъ лишняго человѣка“, самое заглавіе котораго говоритъ о его содержаніи. Смертельно больной, доживая послѣдніе дни, рассказываетъ рядъ самыхъ обыкновенныхъ приключеній, составляющихъ его жизнь, какъ лишняго человѣка. Разъ только онъ полюбилъ, и то только для того, чтобы испытать всѣ муки ревности и всякаго рода униженія, какъ существо, которое презирали. Елизавета любить не его, а блестящаго молодого петербургскаго князя, который проѣздомъ останавливается по сосѣдству съ нею. Онъ вызываетъ князя, пощаженъ имъ на дуэли, и ничего

отъ этого не выигрываетъ, кромѣ того, что его начинаютъ считать дурнымъ человѣкомъ, а его возлюбленная къ тому же и убійцею. Князь соблазнилъ и покинулъ Елизавету, а онъ, несмотря на это, снова предлагаетъ ей руку, но съ презрѣніемъ отвергается. Она отдаетъ свою руку другому, столь же благородному другу, опередившему его. Даже и въ этомъ случаѣ онъ является лишнимъ, пятымъ колесомъ въ телѣгѣ. И въ то же время можно прочесть между строками, сколько въ немъ сердечности, благородства и честности. Последнія страницы „Дневника“ содержатъ прощальныя слова, съ которыми покинутый докторомъ больной разстается съ жизнью.

„Яковъ Пасынковъ“ — рассказъ въ такомъ же родѣ. Пасынковъ — типъ русскихъ людей, которыхъ Тургеневъ такъ любитъ изображать. Высокій, худощавый, плоскогрудый и даже нѣсколько красноносый, онъ не представитель наружности, но его лобъ прекрасно очерченъ, голосъ нѣженъ и тихъ, и о немъ говорится такъ: „въ устахъ его слова: „добро“, „истина“, „жизнь“, „наука“, „любовь“, какъ бы восторженно они ни произносились, никогда не звучали ложнымъ звукомъ“. Въ его исторіи вдвойнѣ обнаруживается основная идея Тургенева. Онъ любитъ молодую дѣвушку, которая нисколько о немъ не думаетъ. Когда въ уединеніи, забытый всѣми, онъ умеръ въ какомъ-то захолустьи Сибири, на его груди нашли два сувенира о ней. Для того, чтобы она полюбила его, ему недоставало нѣкоторой доли порочности, немного болѣе самолюбія и легкомыслія. И между тѣмъ, въ то время какъ онъ изнывалъ въ этой безнадежной страсти, онъ и не подозревалъ, что другая дѣвушка, некрасивая, нѣсколько неловкая — сестра первой — любила его такъ горячо, что никогда не измѣняла его памяти и ради него ни за кого не выходила замужъ.

Но изъ всѣхъ этихъ простыхъ и столь же законченныхъ монографій несчастья, самымъ выдающимся является, безъ сомнѣнія, позднѣйшій рассказъ „Живыя мощи“. Въ цѣломъ это почти одинъ монологъ, рассказанный автору молодою и нѣкогда прелестной, теперь же исхудавшей на подобіе скелета русской крестьянской дѣвушкой. Онъ находитъ ее лежащею на полу въ уединенномъ домикѣ. Такъ лежала она на спинѣ семь лѣтъ со времени своего рокового паденія. Ея



изсохшая голова была бронзоваго цвѣта, носъ заострился, какъ лезвее ножа, губы сморщились, и только зубы да бѣлки глазъ блестѣли; нѣсколько прядей жидкихъ свѣтло-желтыхъ волосъ виспадали на лобъ. На одѣялѣ покоились ея руки: темные маленькіе пальцы медленно двигались туда и сюда. Когда-то она была самая сильная, веселая и красивая дѣвушка въ округѣ; постоянно смѣялась, пѣла и танцевала. Она рассказываетъ, какъ ей жилось послѣ паденія. Не светло, она почернѣла, потеряла силы, не могла ни стоять ни ходить, потеряла охоту къ ѣдѣ и питью: напрасно прижигали ей спину раскаленнымъ желѣзомъ, напрасно сажали ее въ колотый ледъ. И обо всемъ этомъ она ведетъ рассказъ почти въ веселомъ тонѣ, не стараясь вызвать состраданія слушателя. Женихъ оставилъ ее и взялъ другую. Онъ, какъ говоритъ она, слава Богу, счастливъ въ своемъ супружествѣ. Его поступокъ съ нею она считаетъ совершенно естественнымъ и правильнымъ. Она благодарна всѣмъ, кто не оставляетъ ея, особенно одной маленькой дѣвочкѣ, которая приноситъ ей цвѣты. Она не скучаетъ, не жалуется, — бываютъ гораздо болѣе несчастные — слѣпые, глухіе, она же прекрасно видитъ и слышитъ; слышитъ, какъ роется кротъ подъ землею, и чувствуетъ всякій запахъ, даже слабый запахъ гречихи, когда она зацвѣтетъ въ далекихъ поляхъ, даже запахъ липъ, что цвѣтутъ тамъ, въ концѣ сада. Къ важнымъ событіямъ своей жизни она причисляетъ и то, когда курица, или воробей, или бабочка залетятъ къ ней черезъ окно или дверь. Съ большимъ удовольствіемъ воспоминаетъ она, какъ однажды забрался къ ней въ гости заяцъ. Лукерья воспоминаетъ Тургеневу и былое время, когда она пѣвала пѣсни. По временамъ она и теперь еще поетъ. Мысль, что это полуживое существо готовится запыть, возбуждаетъ въ немъ нѣчто въ родѣ ужаса. И вотъ, колеблясь, какъ тонкая струйка дыма, звенитъ ея маленькій, тонкій голосокъ, едва слышными, но чистыми и вѣрными звуками. Она рассказываетъ свои знаменательные сны, что снятся ей, когда среди страданій изрѣдка удастся ей заснуть. Въ одномъ видитъ она Христа, будто Онъ идетъ къ ней навстрѣчу и протягиваетъ ей руку; въ другомъ снится ей, что какая-то женщина приближается къ ней — это ея смерть — и сожалѣетъ, что не можетъ еще взять ее съ собой. Когда Турге-

невъ удивился ея терпѣнію, она возражаетъ: Чему тутъ удивляться? Что особенно сдѣлала она? Иѣтъ, вотъ та дѣвственница, что гдѣ-то въ далекой странѣ, прогнавъ за море враговъ мечомъ своимъ, сказала: „Теперь вы меня сожгите, потому что такое было мое обѣщаніе, чтобы мнѣ огненною смертію за свой народъ помереть“, вотъ она, дѣйствительно, совершила удивительный подвигъ. На прощанье Лукерья проситъ Тургенева замолвить его матери словечко за крестьянъ, — у нихъ такіе тяжелые оброки. Ей же самой ничего не надо, у ней нѣтъ никакихъ желаній. *Брандесъ.*

---

### **Правдивость, изящество содержанія и чувство мѣры въ изображеніи дѣйствительности — какъ отличительныя свойства таланта Тургенева.**

Все, что Тургеневъ даетъ, не поддѣльно, — ни одной дѣланной черты, ни одного пустого или фальшиваго слова. Онъ никогда не вызываетъ призрачныхъ видѣній; все, что онъ думаетъ и чувствуетъ, является съ полной реальностью передъ его умственными очами, переживается имъ внутренно. Изъ этой правдивости истекаетъ сила его образовъ; въ тѣхъ даже случаяхъ, когда мы не знаемъ оригинала, мы чувствуемъ, что портретъ удаченъ. Онъ умѣетъ сдѣлать невѣроятное доступнымъ пониманію, касаясь той именно струны, которая находитъ отголосокъ и въ нашей душѣ.

Обыкновенно Тургенева причисляютъ къ реалистической школѣ, и одинъ изъ парижскихъ такъ называемыхъ реалистовъ посвятилъ ему томъ своихъ рассказовъ съ надписью: *salve, frater!* Тургеневъ, конечно, реалистъ въ томъ смыслѣ, что онъ не рубитъ съ плеча, но изображаетъ типы и картины на основаніи глубокаго изученія природы; у него наблюдательный, опытный глазъ, отъ котораго ничто не ускользаетъ; тамъ, гдѣ онъ пожелаетъ, онъ можетъ воспроизвести видѣнное съ виртуозностью, поражающей своимъ совершенствомъ. Но этого онъ не считаетъ задачей искусства: онъ, такъ сказать, не патируетъ своихъ красокъ передъ зрителемъ, не записываетъ подъ рядъ все, что видитъ или что можетъ увидѣть; онъ изображаетъ только то, что считаетъ



цѣлесообразнымъ для созданія гармоничной общей картины. Тургеневъ чуждается безобразнаго и старается его избѣгать; но гдѣ приходится изображать его, онъ поступаетъ съ необыкновенной осторожностью, онъ поклонникъ прекраснаго, даже тамъ, гдѣ рисуетъ безобразное.

Его искусство напоминаетъ живописца, а не ваятеля: его образы нельзя осязать, — ихъ надо видѣть, и видѣть именно въ томъ свѣтѣ, который онъ выбралъ. Иногда онъ повѣствуетъ отрывками, связь можно только угадывать: поэту важно общее, полное, идеальное впечатлѣніе. Ни одинъ романистъ не обладалъ еще такимъ вѣрнымъ чутьемъ относительно красокъ, ни одинъ не дѣйствовалъ такъ пріятно на всякій просвѣщенный глазъ; краски удивительно гармонизируются у него между собою, при чемъ смягчается все грубое и рѣзкое.

Эта гармонія красокъ звучитъ словно мелодія: читая его романы, такъ и кажется, будто слышишь легкій аккомпанементъ пѣнія. Эта мелодія минорная, какъ вся почти русская музыка; она выражаетъ глубокую грусть, непонятную для насъ, какъ загадка, но тѣмъ не менѣе привлекательную.

Тургеневъ вовсе не эпическій поэтъ, въ строгомъ смыслѣ этого слова. Онъ не старается изобразить какое-нибудь событіе во всѣхъ подробностяхъ по законамъ эпической рутинны и непременно выяснитъ тѣ нравственныя обстоятельства, которыя обуславливаютъ его. Въ руководящихъ мотивахъ его главнѣйшихъ характеровъ преобладаетъ извѣстное однообразіе: часто повторяется одинъ и тотъ же типичный мотивъ, хотя бы въ разныхъ, поражающихъ новизной варіаціяхъ.

Несравненный художникъ въ изображеніи мимолетныхъ движеній, Тургеневъ рѣдко дѣлалъ попытки прослѣдить какое-либо настроеніе въ продолжительное время, въ постепенномъ его развитіи. Онъ показываетъ страсти въ извѣстномъ отдаленіи и лишь отъ времени до времени открываетъ ихъ взору, и такъ, чтобы зелень передняго плана нѣсколько смягчала впечатлѣніе. Онъ почти никогда не пускается въ анализъ характеровъ: они проходятъ мимо насъ, какъ художественные образы.

Основное направленіе его таланта опредѣляется тѣмъ, что онъ въ началѣ выступилъ жанровымъ поэтомъ. Особенность жанроваго поэта заключается въ томъ, что ему и будничное

кажется поразительнымъ, новымъ и страннымъ, что онъ, самъ того не думая, останавливается на каждой сколько-нибудь оригинальной чертѣ, что все оставляетъ у него впечатлѣніе, и что по аналогіи съ подмѣченными чертами онъ быстро схватываетъ новыя. У Тургенева, какъ и у Диккенса, каждую выставленную фигуру мы мысленно видимъ передъ собой, слышимъ, какъ она говоритъ, чувствуемъ ея дыханіе; рѣчи и мысли автора невольно приспособляются къ духу изображаемыхъ, часто совершенно второстепенныхъ лицъ. Но у Тургенева то преимущество, что онъ обладаетъ чувствомъ мѣры. У Диккенса наблюденія скоро превращаются въ галлюцинаціи, которыми писатель играетъ и которыя играютъ писателемъ. Тургеневъ болѣе бережливъ на свои матеріальныя средства: онъ изображаетъ рѣшающій моментъ, въ которомъ личность проявляется такой, какою она есть въ дѣйствительности; на этотъ моментъ онъ наводитъ яркій лучъ свѣта, между тѣмъ какъ все остальное отодвигается въ тѣнь. Онъ не прибѣгаетъ къ микроскопу, глазъ его остается на надлежащемъ разстояніи; такимъ образомъ не нарушаются пропорціи. Его фигуры никогда не позируютъ. Когда въ его картинахъ группируются странные образы, комическіе или трогательные, и задаютъ загадку какъ читателю, такъ и самому автору, глазъ, которымъ смотритъ на нихъ писатель, подходитъ къ нашей точкѣ зрѣнія: мы дышимъ той же атмосферой, въ его нравственныхъ взглядахъ ничто намъ не чуждо, и часто за странной внѣшностью (напоминаю о родителяхъ Базарова) мы открываемъ глубину чувства, которая намъ проникаетъ въ душу.

Тургеневъ всюду подмѣчалъ художественные образы; но самый богатый матеріалъ доставлялъ ему лѣсъ, который онъ, какъ страстный охотникъ, изучилъ во всѣхъ его типахъ. Тургеневъ не былъ пейзажистомъ по профессіи; во время своихъ путешествій, онъ много видѣлъ красотъ природы, но истинно чувствовалъ онъ только родную природу. Онъ рисуетъ намъ тишину дремучаго лѣса, необозримую степь, непроглядную метель; онъ не старается скрасить природу, но изображаетъ ее рѣзкими чертами. Онъ изучалъ ее не какъ праздный фланеръ, а какъ охотникъ. Каждый звукъ въ природѣ долженъ быть понятенъ охотнику; малѣйшее дрожаніе вѣтки, дуновеніе вѣтерка, каждая мимолетная тѣнь



можетъ выдать присутствіе добычи. Охотникъ долженъ привыкнуть къ напряженности всѣхъ чувствъ: онъ обязанъ одинаково внимательно слушать, видѣть, обонять. Голосъ каждой птицы знакомъ ему; онъ чувствуетъ къ каждой изъ нихъ искренній интересъ, что, однако, не мѣшаетъ ему убивать ихъ. Охотничьи картины Тургенева возбуждаютъ безусловное довѣріе; всѣ чувства его дѣйствуютъ одновременно, и изображаемый имъ ландшафтъ перестаетъ быть простою картиной: отъ него вѣетъ живой дѣйствительностью. А какъ чудно хороши бываютъ иногда эти мимолетныя свѣтоты, воздушныя картины!

О веселомъ, шумномъ оживленіи, изображаемомъ Вальтеръ-Скоттомъ въ его картинахъ охоты, у Тургенева нѣтъ и рѣчи: русскій лѣсъ требуетъ иныхъ красокъ. Охотникъ наединѣ съ самимъ собой и природой, и въ этомъ уединеніи заключается своеобразная, чарующая прелесть. Все описано до того реально, что чувствуешь себя словно въ волшебномъ лѣсу.

Главное содержаніе романовъ и повѣстей Тургенева составляетъ любовь: я знаю немногихъ писателей, которые такъ нѣжно, и вмѣстѣ съ тѣмъ съ такой глубиной и силой, передавали движенія сердца. Если сущность любви одинакова повсюду, тѣмъ не менѣе русская любовь, въ томъ видѣ, какъ описалъ ее Тургеневъ, имѣетъ нѣчто своеобразное. Почти вездѣ у Тургенева въ любви инициатива принадлежитъ женщинѣ; ея воля сильнѣе, ея кровь горячѣе, ея чувства искреннѣе, преданнѣе, нежели у образованныхъ молодыхъ людей, у которыхъ врожденная рѣшительность ослабляется философскими размышленіями. Русская женщина всегда ищетъ героевъ; когда ея фантазія возбуждена любопытствомъ и показываетъ ей воображаемаго героя, она повелительно требуетъ подчиненія силѣ страсти. Сама она чувствуетъ себя готовою къ жертвѣ и требуетъ ея отъ другого; когда ея иллюзія насчетъ героя исчезаетъ, ей не остается ничего иного какъ быть героиней, страдать, дѣйствовать. Герои Тургенева, по своей мускульной слабости и покорности судьбѣ, отличаются нѣкоторымъ однообразіемъ; но зато какой писатель располагаетъ такимъ богатымъ сокровищемъ интересныхъ, обаятельныхъ женскихъ типовъ? Съ ними читателю такъ и хочется сблизиться, хотя и не слишкомъ: въ ихъ пылкой крови всегда таится расположеніе къ насп-

лію. Ктo углубится хорошенъко въ сочиненія Тургенева, тотъ при каждомъ серіозномъ политическомъ дѣлѣ непременно спроситъ: *où est la femme?*

Любовь — главная область Тургенева. На политическіе вопросы паталкивали его развѣ удручающія обстоятельства, грубо затрогивавшія его нѣжную душу. Но вѣрность, съ которой онъ изобразилъ эти столкновенія, обезпечила за нимъ и въ этомъ отношеніи положеніе исключительное въ Европѣ. Долго мы будемъ по его романамъ изучать русскую исторію. Поэтъ всегда лучше историка умѣетъ выяснитъ историческую жизнь чуждаго намъ народа, и, хотя мы сами этого не замѣчаемъ, наши историческія представленія образуются при помощи поэтическихъ произведеній. При этомъ трудно избѣгнуть ошибокъ и недоразумѣній. Даже, если писатель самымъ добросовѣстнымъ образомъ стремится къ истинѣ, все же онъ зависитъ отъ субъективности своихъ впечатлѣній. Онъ видитъ вещи такими, какими онъ коснулся его внутренней жизни. Контролировать его въ этомъ очень не легко, въ особенности на далекомъ разстояніи.

*Шмидтъ.*

### **Простота фабулы, реальность изображенія и личный элементъ въ сочиненіяхъ Тургенева.**

„Тургеневъ не принадлежитъ ни къ какой школѣ; онъ слѣдуетъ своимъ собственнымъ вдохновеніямъ. Какъ всѣ лучшіе романисты, онъ изучаетъ человѣческое сердце, эту неисчерпаемую миру, хотя уже эксплуатируемую съ давняго времени. Наблюдатель тонкій, точный, иногда до мелочности, онъ пишетъ свои персонажи, какъ художникъ и поэтъ. Ихъ страсти и черты ихъ лица ему знакомы одинаково и близко. Онъ знаетъ ихъ привычки, ихъ жесты, онъ слушаетъ, какъ говорятъ они, и стенографируетъ ихъ бесѣду. Съ такимъ искусствомъ обдѣлываетъ онъ изъ всѣхъ эпизодовъ ансамбль физическій и моральный, что читатель видитъ портретъ вмѣсто фантастической картины. Благодаря своему умѣнью въ нѣкоторомъ родѣ сгущать свои наблюденія и придавать имъ точную форму, Тургеневъ шокируетъ насъ не болѣе, чѣмъ сама природа, представляя намъ какое-нибудь необычайное и аномальное явленіе. Это безпри-



страсти, эта любовь къ правдѣ, составляющая выдающуюся черту въ талантѣ Тургенева, не покидаютъ его никогда. Онъ изгоняетъ въ своихъ произведеніяхъ крупныя преступленія, и въ нихъ нельзя искать трагическихъ сценъ. Немного и крупныхъ событій въ его романахъ. Ничего нѣтъ проще ихъ фабулы, ничего, что не походило бы на обыденную жизнь, и это еще одно изъ слѣдствій его любви къ правдѣ. Иногда онъ слишкомъ вдается въ описанія, безъ сомнѣнія, весьма правдивыя, но ихъ можно бы сократить. Онъ любитъ и мастерски умѣетъ отмѣчать изящныя оттѣнки, но въ этой части своей работы, достоинства и трудностей которой я не отрицаю, онъ рискуетъ иногда ослабить ею интересъ самаго дѣйствія. Тургеневъ, глубокій знатокъ человѣческаго сердца, обладаетъ талантомъ наблюденія и изображенія явленій и эффектовъ природы. Всегда точный и простой, онъ нерѣдко возвышается невольно до поэзіи, по живости своихъ впечатлѣній и мастерству, съ какимъ онъ рельефно отмѣняетъ характеристическія черты своихъ описаній. Его главные недостатки заключаются въ нѣкоторомъ замедленіи развитія интриги и въ избыткѣ подробностей. Хотя никто не схватываетъ и не изображаетъ съ большой живостью уродливыя и смѣшныя стороны, пороки своей эпохи, нельзя, однако, сказать, что Тургеневъ писалъ сатиры. Онъ не ощущаетъ того злораднаго удовольствія, какое испытываютъ иные изъ критиковъ, встрѣчаясь со слабостями и плоскостями человѣческими. Не впадая въ банальную филантропію, онъ является безпристрастнымъ защитникомъ слабыхъ и обиженныхъ; онъ любитъ находить и какую-нибудь черту, которая ихъ возвышаетъ. Нерѣдко напоминаетъ онъ мнѣ Шекспира. Онъ ищетъ его любовь къ правдѣ; подобно англійскому поэту, онъ умѣетъ создавать образы изумительной реальности; но, несмотря на искусство, съ какимъ авторъ скрываетъ свою личность подъ персонажами своей изобрѣтательности, его характеръ все-таки можно отгадать, и въ этомъ, быть можетъ, заключается его не малое право на нашу симпатію.

*Мерим.*

## Воспитательное значеніе сочиненій Тургенева.

Богато одаренный отъ природы И. С. Тургеневъ имѣлъ счастье получить превосходное образованіе, — то образованіе, которое не только надѣляетъ умъ свѣдѣніями, развиваетъ его силы, но которое пробуждаетъ въ душѣ и страстную любовь къ истинѣ, и жажду къ знанію и даетъ средства утолить ее. Европейскими языками И. С. владѣлъ въ совершенствѣ, и сокровища богатѣйшихъ европейскихъ литературъ были ему вполне доступны. Судьба благопріятствовала ему и съ другой стороны: онъ былъ богатъ; онъ не зналъ той тяжелой нужды, которая часто пригнетаетъ талантливыхъ людей, порою злобить ихъ, глушить ихъ дарованія; ему не приходилось трудиться ради заработка, — трудиться порывисто, неровно, торопясь и томясь сознаніемъ, что работа далеко ниже того, чѣмъ должна бы и могла бы быть. И время, когда Тургеневу пришлось вступить на литературное поприще, было въ высшей степени благопріятно для его таланта: только что не стало Пушкина, который поднялъ русскую поэзію и русскую рѣчь до небывалой еще художественной высоты; только что замолкъ Гоголь, глубоко копнувшій русскую жизнь, проливавшій надъ ней сквозь видимый міру смѣхъ невидимыя ему слезы; критическій анализъ чуткаго Бѣлинскаго еще указывалъ настоящіе пути начинающимъ писателямъ.

Словомъ, обстоятельства для развитія таланта Тургенева были очень благопріятны. Всѣ природныя задатки, всѣ дарованія его могли развиваться правильно, стройно, гармонично. Говорю это для того, чтобы объяснить, почему Тургеневъ болѣе, чѣмъ кто-либо изъ знаменитыхъ нашихъ писателей, способенъ былъ подарить русскую литературу цѣлымъ рядомъ высокохудожественныхъ, вполне обработанныхъ, прелестныхъ по формѣ и богатыхъ по содержанію произведеній.

Тургеневъ, подобно Пушкину, страстно любилъ жизнь, искалъ въ ней всего того, что даетъ силу душѣ, вливаетъ въ нее свѣтъ и радость. Онъ самъ хотѣлъ наслаждаться жизнью въ благородномъ смыслѣ этого слова, какъ можетъ наслаждаться ею высокоодаренный чуткій артистъ, хотѣлъ, такъ сказать, полной грудью вдыхать ароматъ жизни. Повсюду онъ, изображая жизнь, ищетъ красоты, добра, истины,



особенно любить останавливаться на свѣтлыхъ проявленіяхъ жизни. Всякія уродства, ложь, зло глубоко оскорбляютъ его. Они возбуждаютъ въ немъ не ѣдкую насмѣшку, не гнѣвъ сатирика, а глубокую грусть, отъ которой порою онъ словно ищетъ успокоенія въ картинахъ природы. Онъ по духу своему и чудному, прелестному языку прямой наслѣдникъ Пушкина въ нашей литературѣ, — не даромъ самъ онъ считалъ себя его ученикомъ.

И вотъ почти въ теченіе сорока лѣтъ изъ-подъ пера его выходило одно высокохудожественное произведеніе за другимъ, одно другого выше, одно другого краше; сорокъ лѣтъ чудная рѣчь его волновала русскія сердца, наполняя ихъ высокимъ наслажденіемъ, направляя ихъ къ добру...

Первыя произведенія, обратившія вниманіе и вызвавшія сильную симпатію къ Тургеневу, были его „Записки охотника“ — эти прелестные, простые, но высоко поэтическіе очерки, отъ которыхъ, кажется, такъ и вѣетъ и лѣсной свѣжей прохладой и запахомъ полей. Но отъ этихъ рассказовъ не разъ болѣзненно сожмется сердце при видѣ картинъ изъ жизни крѣпостныхъ крестьянъ. За „Записками охотника“ послѣдовалъ цѣлый рядъ романовъ и повѣстей, гдѣ Тургеневъ чутко прислушивается, какъ говорится, къ біенію общественнаго пульса, т.-е. ко всему тому, что волновало лучшихъ русскихъ людей; всѣ хорошія вѣянія онъ радостно привѣтствовалъ, глубоко скорбѣлъ при видѣ болѣзненныхъ явленій, тѣмъ и другимъ, благодаря таланту, давалъ опредѣленный осязательный образъ, озарялъ ихъ яснымъ свѣтомъ, благодаря своему уму. „Рудинъ“, „Наканунъ“, „Дворянское гнѣздо“, „Отцы и дѣти“ — вотъ важнѣйшіе изъ этихъ романовъ, которые для будущаго историка послужатъ художественной лѣтописью, покажутъ, чѣмъ жило, чѣмъ волновалось русское общество 50-хъ и 60-хъ годовъ. У Тургенева до самаго послѣдняго времени, пока злой недугъ не приковалъ его къ постели, высокое поэтическое творчество было живымъ ключомъ. Еще въ прошломъ году\*) появился его „Стихотворенія въ прозѣ“, — эти жемчужины, словно невзначай оброненныя изъ души поэта. Читая ихъ, не знаешь, чему больше удивляться — необычайной ли прелестной формѣ, или

---

\*) Статья писана въ 1883 году.

глубинѣ мысли и чувствъ, выраженныхъ во многихъ изъ нихъ...

Безконечной вереницей проносятся предъ нами жизненные явленія. Масса впечатлѣній одно за другимъ ложится на наши души. Но много ли среди насъ такихъ людей, которые глубоко задумываются надъ ними, проникаютъ въ смыслъ ихъ? Только высокіе умы могутъ разобратся въ сумятицѣ жизненныхъ явленій, оцѣнить ихъ по достоинству. Только у высоко-одаренныхъ художественнымъ творчествомъ писателей туманные слѣды отъ мимолетныхъ впечатлѣній сгущаются въ опредѣленные, осязательные образы, воплощаются въ такія яркія формы, которыя доступны всякому сколько-нибудь разсуждающему человѣку. Жизнь, путающаяся въ безконечной массѣ мелкихъ повседневныхъ явленій, темна для насъ; но та же жизнь, прошедшая сквозь душу великаго художника писателя, очищенная отъ мелочныхъ подробностей, выраженная въ яркихъ, выпуклыхъ образахъ, становится ясна и понятна для всякаго сколько-нибудь мыслящаго человѣка. Вотъ почему такъ высоко и цѣнятся крупный талантъ художника, этотъ въ полномъ смыслѣ слова даръ Божій, этотъ свѣточъ, освѣщающій жизненный путь для простыхъ смертныхъ. Рѣдкими, до крайности рѣдкими гостями на землѣ бываютъ великіе таланты, — вотъ почему такъ высоко и цѣнятъ ихъ, такъ чествуютъ, такъ гордятся ими... Огромное значеніе въ нашей жизни имѣетъ великій писатель, если онъ при громадномъ талантѣ обладаетъ просвѣщеннымъ умомъ, а также чистымъ и любящимъ сердцемъ, когда онъ своимъ вдохновеннымъ словомъ направляетъ умы и сердца людей къ добру и правдѣ. Такой писатель не дастъ обществу заснуть, погрязнуть въ мелочныхъ повседневныхъ заботахъ; онъ раскрываетъ предъ ними смыслъ современной жизни, указываетъ цѣли и идеалы. Словомъ, онъ становится для общества наставникомъ въ самомъ высокомъ и благородномъ значеніи этого слова. Такимъ великимъ наставникомъ былъ и Тургеневъ!

Надо ли подтвердить примѣромъ, — довольно развернуть любое изъ его лучшихъ произведеній. Обратимся къ болѣе извѣстнымъ разсказахъ изъ „Записокъ охотника“.

Всѣмъ извѣстенъ прелестный разсказъ „Бѣжинъ лугъ“. Помните, какъ авторъ, заблудившись, случайно попалъ



въ общество крестьянскихъ ребяташекъ, стерегшихъ ночью табунъ. Мальчики рассказываютъ о домовыхъ, лѣшнихъ, русалкахъ... Что же во всемъ этомъ разсказѣ особеннаго? Сотни, тысячи людей слышали эти суевѣрные сказки: одни, болѣе разсудочные, называли ихъ пустымъ вздоромъ, другіе, болѣе чуткіе, находили въ нихъ поэзію — и только. Посмотрите же, что сдѣлалъ съ ними художникъ-поэтъ... Чудная, лѣтняя темная ночь. Подъ обаяніемъ непроглядной тьмы мальчуганы расположены къ страху, они и говорятъ о страшномъ, о тѣхъ невѣдомыхъ имъ силахъ природы, которыя народная фантазія облекла въ страшныя формы лѣшнихъ, водяныхъ, русалокъ и пр. Сколько поэзіи въ этихъ разсказахъ, вложенныхъ въ уста дѣтей, которыя среди не непроглядной тьмы жмутся къ костру!... Вотъ первая мысль, которая является при чтеніи этого разсказа. Но вотъ вы узнаете изъ разсказовъ мальчиковъ, что Гаврила-плотникъ постоянно невеселый ходитъ, потому что ему, когда онъ перекрестился при встрѣчѣ съ русалкой, она сказала: „Плачу я, убиваюсь оттого, что ты перекрестился; да не я одна убиваться буду: убивайся же и ты до конца дней“. Узнаете объ Ульянѣ, которая исчахла вся, такъ что едва душа въ тѣлѣ держится, оттого, что ей почудилось, будто она самоё себя встрѣтила. Узнаете о Ѳеклистѣ, у которой водяной сына утопилъ, и она по временамъ останавливается на берегу и кличетъ своего сына: „Вернись, мой свѣтикъ! Охъ, вернись, соколикъ!“ Узнаете объ Акулинѣ, дурочкѣ, которая съ тѣхъ поръ рехнулась, какъ ей почудилось, что она побывала въ рукахъ водяного, и вотъ она, „покрытая лохмотьями, страшно худая, съ чернымъ, какъ уголь, лицомъ, помутившимся взоромъ и вѣчно оскаленными зубами, топчется по цѣлымъ часамъ на одномъ мѣстѣ“... Узнаете все это, и страшно вамъ станетъ, — страшно, конечно, не передъ лѣшими, водяными, русалками и прочими созданіями народныхъ суевѣрій и поэзіи, а страшно передъ тѣмъ, какъ дорого обходится народу эта поэзія суевѣрій. Вы пожалѣете этотъ народъ, у васъ невольно явится мысль о томъ, какъ важно, какъ необходимо позаботиться, чтобы просвѣтить его, разогнать эту страшную тьму, въ какой живетъ онъ, направить его поэтическія способности въ другую сторону, хотя бы на ту же природу. А сколько въ ней прелестей, сколько высокихъ

вдохновеній можетъ найти просвѣщенный поэтъ, не населяя ея русалками и лѣшими, — это показываетъ самъ Тургеневъ. Его „Записки охотника“ почти наполовину состоятъ изъ прелестныхъ описаній природы... Повторяю, тысячи людей сталкивались съ народными суевѣріями; но только у великаго художника сложился чудный рассказъ, гдѣ они явились во всей своей страшной поэзіи, только онъ заставилъ насъ глубоко почувствовать и задуматься надъ ними и прійти къ тому заключенію, какое я указалъ. Развѣ это не высокій, не плодотворный урокъ?

Вспомните другой рассказъ „Малиновая вода“. Припомните странное существо — Степушку, этого затеряннаго человѣчка; у него, что называется, ни кола ни двора, ни дѣла ни хлѣба. Приютился гдѣ-то въ клѣтѣ, за курятникомъ у садовника. Его привыкли видѣть, иногда даже давали ему пинька, но никто съ нимъ не разговаривалъ, и онъ самъ, кажется, отъ роду рта не разинулъ. И вотъ этотъ-то затерянный человѣчекъ тоже способенъ еще думать о другихъ, жалѣть ихъ... Онъ, видите ли, пожалѣлъ мужика Власа, который доведенъ до отчаянія непомѣрнымъ оброкомъ, наваленнымъ на него управляющимъ, — онъ, никогда рта не разинувшій, разинулъ его, чтобы подать совѣтъ: „Да ты бы... ты бы... того!“ заговорилъ внезапно Степушка, смѣшался и замолчалъ. Плохой, положимъ совѣтъ; но душа-то, видно, у этого загнаннаго, забитаго Степушки не застыла, — теплѣлась въ ней искра Божія, — любовь къ ближнему.

Припомните еще Сучка изъ рассказа „Льговъ“, этого „господскаго рыболова“ при болотцѣ, въ которомъ никакой рыбы нѣтъ, этого рыболова, который былъ то кучеромъ, то поваромъ, то актеромъ, то сапожникомъ, смотря по прихоти своихъ господъ. И вотъ эта игрушка барскаго каприза, переходившая изъ рукъ въ руки, говоритъ о своей судьбѣ: „А я, батюшка, не жалуюсь!“ — Не жалуется онъ потому, что бываетъ и хуже.

Припомните еще Лукерью изъ рассказа „Живыя мощи“, эту дѣвушку, семь годовъ лежащую неподвижно, изсохшую, обратившуюся въ мумію, но полную высокаго религіознаго чувства.

И вотъ это существо, эти „живыя мощи“, какъ прозвали ее въ деревнѣ, на вопросъ барина: не нужно ли ей чего?



говорить: „Ничего мнѣ не нужно; всѣмъ довольна, слава Богу. Дай Богъ всѣмъ здоровья! А вотъ вамъ бы, баринъ, матушку вашу уговорить — крестьяне здѣшніе бѣдные — хоть бы малость оброку съ нихъ она сбавила! Земли у нихъ недостаточно, угодій нѣтъ... Они бы за васъ Богу помолились... А мнѣ ничего не нужно, — всѣмъ довольна“.

Припомните все это, — и вы поймете, какіе великіе уроки всѣмъ читающимъ даетъ высокоталантливый писатель. Онъ заставляетъ глубоко заглянуть въ народную жизнь, онъ совершаетъ открытія, и какія открытія! Онъ въ этихъ затерянныхъ, забытыхъ существахъ, въ этихъ полуидіотахъ, которыхъ многіе умники изъ насъ, быть можетъ, едва ли удостоили бынисходительнаго взгляда, открываетъ золотое сердце, исполненное такой любви, такого всепрощенія и всепримиренія, что невольно преклонишься, какъ предъ святыней, предъ этимъ сердцемъ... Не даромъ этимъ людямъ снятся чудные сны, — чудится, что Самъ Христосъ протягиваетъ имъ руки, что звонъ „сверху“ призываетъ ихъ. Вы помните, что Тургеневъ далеко не всегда указываетъ на хорошія стороны крестьянъ, указываетъ и дурныя, точно такъ же, какъ и помѣщики являются у него и дурные и хорошіе. Но когда вы внимательно прочтете большую часть „Записокъ охотника“, вы ясно почувствуете, какимъ зломъ было крѣпостное право. Оно было темнымъ фономъ картины, на которомъ только изрѣдка рисовались свѣтлые образы изъ крестьянской и помѣщичьей среды. Поэтъ правдиво воспроизводилъ дѣйствительность, она сама ясно въ его произведенияхъ говорила противъ возмутительнаго рабства, говорила уму и сердцу каждого человѣка, способнаго размышлять и чувствовать. Припомните, что „Записки охотника“ явились въ 1852 году, стало-быть, до освобожденія крестьянъ.

*Сиповскій.*

---

## Тургеневъ, какъ художникъ-гражданинъ.

О Тургеневѣ часто говорятъ, что онъ прежде всего художникъ. Но художники, если они живые люди, неразрывно связанные съ родною землею, являются непременно и гражданами. Первый рядъ произведений Тургенева, сразу обра-

тившихъ на себя общее вниманіе, едва-ли не останется навсегда и лучшимъ въ числѣ его произведеній. Таково, по крайней мѣрѣ, наше мнѣніе. „Записки Охотника“ — рядъ очерковъ въ высшей степени художественныхъ и въ самомъ чистомъ, самомъ святомъ смыслѣ слова, гражданственныхъ. И. С. Тургеневъ принадлежалъ къ тому славному *меньшинству* русскаго дворянства, которое никогда не могло примириться съ крѣпостнымъ правомъ. Это достославное меньшинство (очень немногочисленное) имѣло всегда своихъ представителей и въ нашей литературѣ. Ихъ громкій и честный голосъ раздавался еще въ XVIII столѣтіи. Тургеневъ, вслѣдъ за своими предшественниками, по справедливости можетъ быть названъ однимъ изъ глубоко убѣжденныхъ провозвѣстниковъ великой не только въ нашей, но и въ міровой исторіи, крестьянской реформы. Когда пришло извѣстіе о его смерти, на страницахъ „Русской Старины“ появилось его дотошъ незнакомое обществу не художественное, а публицистическое произведеніе: записка, составленная въ 1858 г. въ Римѣ, послѣ неоднократныхъ бесѣдъ о крестьянскомъ вопросѣ съ кн. В. А. Черкасскимъ, В. П. Боткинымъ и другими соотечественниками.

Не впадая во вредную идеализацію, Иванъ Сергѣевичъ прямо признаетъ здѣсь, что великое дѣло освобожденія крестьянъ будетъ принято съ сочувствіемъ лишь меньшинствомъ дворянства; большинство же будетъ противъ освобожденія: „одно лишь привычное нежеланіе смотрѣть правдѣ въ глаза, говоритъ онъ, можетъ сомнѣваться въ истинѣ этого сопротивленія“. Причину его авторъ видитъ въ низкомъ уровнѣ дворянства. „Малая образованность нашего дворянскаго сословія, говоритъ онъ, будетъ едва-ли не главнымъ препятствіемъ къ приведенію въ исполненіе предполагаемыхъ мѣръ“. Это заявленіе заслуживаетъ особеннаго вниманія, какъ заявленіе дѣйствительно просвѣщеннаго дворянина о своемъ классѣ. А намъ такъ громко и усиленно твердятъ о великихъ заслугахъ въ дѣлѣ освобожденія крестьянъ дворянскаго класса, какъ самаго образованнаго и передового, тогда какъ народу такъ бы и не дожидаться свободы, если бы верховная воля Государя Александра Николаевича не согласилась съ *меньшинствомъ*.

При всемъ своемъ гражданскомъ духѣ, „Записка“ Турген-



нева стоитъ ниже „Записокъ Охотника“. Въ своемъ публицистическомъ произведеніи Тургеневъ сводитъ все къ изданію журнала, гдѣ бы можно было безпрепятственно печатать заявленія и мнѣнія по крестьянскому вопросу. „Правительство, говоритъ авторъ, не рѣшаетъ этого вопроса указомъ или манифестомъ: оно обращается къ самой землѣ, къ русскому дворянству“. Здѣсь не совсѣмъ вѣрная тавтологія: земля и дворянство — не одно и то же. Тургеневъ видимо былъ тутъ озабоченъ именно дворянствомъ. Оно, по его справедливымъ словамъ, „не подготовлено, недоброжелательно, предубѣждено, запугано; оно понесетъ свои предубѣжденія, свой страхъ въ самые комитеты; оно воспользуется всѣми средствами, которые найдетъ подъ рукою, для того, чтобы затруднить и замедлить дѣло. А между тѣмъ, *не разоренія же дворянства ищетъ правительство, не для оно ему желаетъ*; напротивъ, — оно желаетъ предотвратить возможность будущихъ бѣдствій, упрочить, увѣковѣчить его благосостояніе; въ то же время правительство чувствуетъ государственную необходимость, неотлагаемость начатой реформы, слѣдовательно — въ упорствѣ дворянъ есть или недоразумѣніе или незнаніе, непониманіе своего собственнаго положенія. Для устраненія этого недоразумѣнія, для того, чтобы показать дворянамъ, что правительство не рановременно подняло вопросъ объ освобожденіи крестьянъ, существуетъ только одинъ способъ — гласность“.

Такимъ образомъ, предполагаемый журналъ долженъ былъ имѣть цѣлью растолкованіе дворянамъ цѣлесообразности и своевременности предстоящей реформы. Но авторъ забывалъ, что дѣло, вѣдь, не въ одномъ дворянствѣ, что не мѣшало бы обратиться къ землѣ, къ міру — народу. Впрочемъ, Тургеневъ раздѣлялъ здѣсь прадѣдовскую ошибку: со временъ Посошкова не вспоминали у насъ о томъ, что Богъ не обидѣлъ разсудкомъ и простого мужика, что онъ лучше всѣхъ знаетъ свои нужды, а тутъ дѣло именно въ *его* нуждахъ. Но недостатки публицистическаго произведенія съ избыткомъ восполнены въ томъ рядѣ художественныхъ очерковъ, который называется „Записками Охотника“. Здѣсь мы становимся лицомъ къ лицу съ самимъ народомъ. Передъ нами проходитъ цѣлый рядъ типовъ, выхваченныхъ изъ крестьянской жизни. Тургеневъ является здѣсь безошаднымъ прокуро-

ромъ крѣпостного права, вдохновеннымъ адвокатомъ народныхъ нуждъ и — не скажу панегиристомъ, это было бы невѣрно, — а смѣлымъ провозвѣстникомъ народныхъ доблестей. Въ этомъ его незабвенная гражданская заслуга! Онъ представилъ намъ въ лицѣ нашихъ крестьянъ *людей* въ истинномъ смыслѣ слова. Въ каждомъ выведенномъ имъ типѣ — живая человѣческая душа, сознающая, чувствующая, мыслящая. Грязь, накопившаяся на народномъ тѣлѣ отъ крѣпостного права, не скрыта, а выставлена на показъ, но при этомъ такъ и сквозитъ неизглаженная красота народной души! Конечно, Тургеневъ имѣлъ тутъ предшественника въ своемъ учителѣ — Пушкинѣ, но въ этомъ онъ опередилъ учителя.

Между тѣмъ, нѣкоторые поклонники Тургенева, ставшіе съ извѣстныхъ поръ и поклонниками Пушкина, слишкомъ часто еще готовы видѣть въ народѣ то, что называютъ „святою скотиной“. Они забываютъ, что совсѣмъ не такъ отнесся къ народу Тургеневъ въ „Запискахъ Охотника“. Трудно было пожелать лучшей защитительной рѣчи въ лицахъ. Здѣсь ни къ чему нельзя было придраться. Нельзя было попрекнуть автора въ дѣланиности, предвзятости, какъ когда-то упрекали Радищева. Дворяне въ рассказахъ являли изъ себя вовсе не изверговъ или злодѣевъ; Тургеневъ и не думалъ нагромождать только „ужасы“ крѣпостной поры, — онъ выставилъ ея ординарную, заурядную сторону, но читателю тѣмъ болѣе лишь приходится удивляться, какъ при *такой заурядности* уцѣлѣла въ народѣ душа, и невольно возникаетъ вопросъ, до какого высокаго подъема она могла-бы достигнуть при иныхъ условіяхъ?

Къ цѣлой серіи рассказовъ изъ крестьянской жизни прибавилось въ послѣдствіи еще нѣсколько; одинъ изъ нихъ, — едва ли не самый чудный изъ всѣхъ, способный уже самъ по себѣ обезсмертить имя Тургенева, если бы онъ даже ничего больше не написалъ. Я разумѣю „Живыя мощи“.

Дѣло, какъ извѣстно, тутъ въ томъ, что молодая крестьянка вдругъ слегла и уже всю жизнь не могла подняться съ одра болѣзни. Была она дѣвушкой красивой, веселой, первой затѣйницей на все село, а теперь лежитъ себѣ „живыми мощами“. „Привыкла, говорятъ она, обтерпѣлась — ничего; инымъ еще хуже бываетъ“... Въ своей простотѣ



она, конечно, не может сама объяснить, *почему* ей лучше. Казалось бы, какъ бѣденъ долженъ быть внутренній міръ этой крестьянки, которая хотя и училась когда-то грамотѣ, но теперь и книгъ-то почти не имѣетъ (развѣ иногда дастъ священникъ). Но оказывается, что ея внутренній міръ широко и глубоко развивался помимо книгъ. Даже то, что вынесено ею изъ молитвъ, крайне скудно. „Да и на что я стану Господу Богу наскучать?“ говоритъ она. Послалъ Онъ мнѣ крестъ, — значить меня Онъ любитъ“. Это смиреніе, это умаленіе себя доведено до того, что, когда передъ смертью ей въ воображеніи чудится звонъ колоколовъ, отъ далекой церкви, она говоритъ, что звонъ идетъ не отъ церкви, а сверху“. „Вѣроятно, она не посмѣла сказать — съ неба“ — замѣчаетъ Тургеневъ. Она ставитъ себя почти ни во что среди этого безпредѣльнаго міра, который чутко сознаетъ вокругъ себя, сознаетъ въ безчисленномъ множествѣ жизней, ее окружающихъ.

Иногда ее навѣщаютъ: то дѣвушка изъ деревни забѣжитъ провѣдать, что творится у нихъ, то странница забредетъ, расскажетъ про Кіевъ, про Іерусалимъ, про то, что терпятъ христіане на востокѣ, про безчисленные человѣческія бѣды, разсыпанныя по матери сырой землѣ. Когда охотникъ удивлялся ея терпѣнію, она отвѣчала: „Вотъ Симеона Столпника терпѣніе было точно великое: 30 лѣтъ на столбу простоялъ!... А вотъ еще мнѣ сказывалъ одинъ начетникъ: была нѣкая страна, и ту страну агаряне завоевали... и что ни дѣлали жители, освободить себя никакъ не могли. И проявилась тутъ между тѣми жителями святая дѣвственница; взяла она мечъ великій, латы на себя возложила двухпудовыя, пошла на агарянъ и всѣхъ ихъ прогнала за море. И агаряне взяли ее и сожгли, а народъ съ той поры навсегда освободился. Вотъ это подвигъ, — а я что?“ Дивится охотникъ, какъ занала въ эту глушь чужеземная повѣсть, но еще дивитъ, конечно, какъ воспринята она и пересоздана этимъ живымъ мертвецомъ, въ устахъ котораго самая смерть Орлеанской дѣвы обратилась въ излюбленный ею и вѣнчающій ея дѣло подвигъ. Она окончательно умаляетъ себя передъ этой невѣдомой ей по имени дѣвой и такъ, сказать, окончательно заражается отъ нея жаждою подвига.

Но если народъ такъ хорошъ, то отчего бы не жить

съ нимъ вѣчно, не любоваться всю жизнь его душевной красотой? Отвѣтъ, конечно, возможный, что народъ-то *везетъ* хорошъ въ своихъ основныхъ чертахъ, хотя и много на немъ въпѣшной грязи, и хорошъ именно потому, что остался чуждъ *привилегіи*, которой глубокій развращающій отпечатокъ не сглаживается никакою цивилизаціею. Говорятъ, что Жоржъ Зандъ восхищалась „Живыми мощами“. Тургеневъ могъ точно также, конечно, восхищаться ея народными типами, могъ и въ натурѣ восхищаться народомъ во Франціи. Но къ чему же было уходить къ народу за море, если онъ такъ хорошъ и у себя дома? Да вѣдь Тургеневъ ушелъ за море не къ народу, а къ интеллигенціи, т.-е. къ тому, что именно и отравлено привилегіею, но зато обладаетъ такою богатой культурой. Мы вовсе не собираемся свести все сказанное на попрекъ покойному. Намъ, напротивъ, припоминаются слова Пушкина о другомъ совершенно лицѣ:

Да будетъ омраченъ позоромъ  
Тотъ малодушный, кто въ сей день  
Безумнымъ возмутитъ урокомъ  
Его... тоскующую тѣнь!

Мы позволили себѣ замѣнить словомъ „тоскующая“ слово „развѣнчанная“. Тѣнь Тургенева *никогда не будетъ развѣнчана*, но я думаю, что она не можетъ не *тосковать*. Не будемъ тенденціозно истолковывать то, что онъ въ 1852 году за статью о Гоголѣ поспѣлъ подъ арестомъ и былъ высланъ въ деревню. Это, конечно, не имѣло вліянія на его удаленіе изъ Россіи. При Государѣ-освободителѣ онъ смѣло могъ жить на родинѣ и писать безпрепятственно. Чисто частныя, сердечныя отношенія, своего рода узелъ такихъ отношеній, распутать который бываетъ иногда не по силамъ и людямъ съ могучей волей, вотъ что увлекало нашего поэта на чужбину. Входить въ объясненія этихъ обстоятельствъ мы пока не имѣемъ права. Конечно, тутъ помогло и отвлеченное тяготѣніе къ „странѣ святыхъ чудесъ“ (какъ величается западъ у самаго Хомякова). Но какъ бы то ни было, а сдается, что это впесло разладъ въ душу Тургенева, что съ тѣхъ поръ зазвучала трагическая нота въ его жизни. Это видно даже изъ тѣхъ, такъ сказать, извинительныхъ объясненій, которыя приводилъ онъ по поводу „Записокъ Охотника“ (такъ



посмотрѣть на положеніе Тургенева и иностранецъ — Юліанъ Шмидтъ). „Я не думаю, — говорилъ Тургеневъ, — чтобы мое западничество лишило меня всякаго сочувствія къ русской жизни, всякаго пониманія ея особенностей и нуждъ. „Записки Охотника“ были написаны мною за границей; нѣкоторыя изъ нихъ въ тяжелыя минуты раздумья о томъ, вернуться ли мнѣ на родину, или нѣтъ? Мнѣ могутъ возразить, что та частичка русскаго духа, которая въ нихъ замѣчается, уцѣлѣла не по милости моихъ западныхъ убѣжденій, но несмотря на эти убѣжденія и помимо моей воли. Трудно спорить о подобномъ предметѣ; знаю только, что я, конечно, не написалъ бы „Записокъ Охотника“, если бы остался въ Россіи“. Авторъ воспоминаній о Тургеневѣ въ „Daily News“ увѣряетъ, будто Тургеневъ ему говорилъ: „вѣроятно, что если бы М. Эджворсъ не написала о бѣдныхъ Ирландцахъ, то я бы не нашелъ образчика литературной формы для своихъ впечатлѣній, вынесенныхъ мною изъ наблюденія аналогическаго быта въ Россіи“. Но вѣдь тотъ же Тургеневъ въ тѣхъ же своихъ воспоминаніяхъ говоритъ: „Все къ лучшему! Пребываніе подъ арестомъ, а потомъ въ деревнѣ, принесло мнѣ несомнѣнную пользу: оно сблизило меня съ такими сторонами русскаго быта, которыя при обыкновенномъ ходѣ вещей, вѣроятно, ускользнули бы отъ моего вниманія“.

И всѣ его послѣдующія произведенія могли явиться только вслѣдствіе непосредственнаго соприкосновенія съ родной землей, которую онъ все-таки же посѣщалъ, за которою внимательно слѣдилъ издали. Чутье художника-гражданина нерѣдко заставляло его воспроизводить то, что въ силу своихъ отвлеченныхъ убѣжденій, онъ долженъ бы былъ отрицать. Возьмемъ ли Рудина, — развѣ это не обличеніе въ лицахъ нашего безпочвеннаго, не органически развившагося образованія? Возьмемъ ли „Дворянское гнѣздо“, — тутъ въ первыхъ главахъ цѣлая исторія нашего *просвѣтительнаго* вѣка, исторія, какой до сихъ поръ не даютъ намъ историки. Тутъ весь, какъ на ладони, нашъ XVIII вѣкъ, со всею его мишурою, со всею его бесплодностью для народнаго блага. Но тутъ же, въ лицѣ Лизы, этой недаромъ, конечно, прославленной Лизы, Тургеневъ указалъ на тлетворность болѣе старой прививки пчужа къ нашей исторической жизни. Лиза —

это едва распустившаяся роза, благоуханіе которой пропадаетъ для Божьяго міра, потому что на нее вдругъ пахнуло „мертвымъ духомъ“ съ византійскаго кладбища.

Въ „Наканунѣ“, опять-таки помимо своихъ собственныхъ взглядовъ, Тургеневъ какъ бы заранѣе угадалъ — предсказалъ то стремленіе на помощь — къ совсѣмъ его не занимавшему славянскому міру, которое создало у насъ потомъ на самомъ дѣлѣ цѣлое множество *Еленъ*, ушедшихъ къ Болгарамъ уже безъ Инсаровыхъ. А „Отцы и Дѣти“! По поводу этого романа Тургеневъ намъ поясняетъ: „Я бралъ морскія ванны въ Вентнорѣ (на о. Уайтѣ) — дѣло было въ августѣ 1860 г., когда мнѣ пришла въ голову первая мысль „Отцовъ и Дѣтей“. Въ основаніе главной фигуры Базарова легла одна поразившая меня личность молодого провинціального врача; онъ умеръ не задолго до 1860 г. Въ этомъ замѣчательномъ человѣкѣ воплотилось — на мои глаза — то, едва народившееся, еще бродившее начало, которое потомъ получило названіе нигилизма... Ни въ одномъ произведеніи нашей литературы я даже намека не встрѣчалъ на то, что мнѣ чудилось повсюду“. Дѣло въ томъ, что и на англійскомъ островѣ онъ жилъ душою въ Россіи — чуткимъ окомъ художника-гражданина слѣдилъ за нею. И сколько бы озлобленные нападки на Базарова ни вызвали у него потомъ пояснительныхъ извиненій на этотъ типъ, онъ несокрушимо изваялъ художникомъ, какъ новый видъ того же, противнаго Базарову *родовиства* — какъ новый видъ той же *безпочвенности*, при которой мужикъ нашъ остается для Базарова „таинственнымъ незнакомцемъ“, а самъ Базаровъ остается для народа „чѣмъ то въ родѣ шута гороховаго“.

Въ „Дымѣ“, слѣдующемъ крупномъ произведеніи Тургенева, выставлена другая сторона „нигилизма“. Эту повѣсть онъ могъ, конечно, написать и не заглядывая въ Россію, а наблюдая въ Баденъ-Баденѣ за тѣми болѣе или менѣе крупными особами, которыя тогда фрондировали изъ-за отмены крѣпостного права и которыхъ Ю. О. Самаринъ считалъ представителями „генеральскаго нигилизма“. Наконецъ, въ послѣднемъ художественно-гражданскомъ произведеніи Тургенева — въ „Нови“ — ему пришлось имѣть дѣло съ переходнымъ типомъ, типомъ, явившимся на смѣну Базарову въ видѣ своеобразно возродившагося романтизма съ его са-



моотверженными, но безплодными порывами. Верно подмѣтилъ Тургеневъ появленіе этого типа, уже не высокомерно холоднаго къ мужику, какъ базаровщина, а страстно порывающагося на грудь къ этому самому мужику, съ своей стороны остающемуся недовѣрчивымъ и отталкивающимъ. Но Тургеневъ не выяснилъ дѣла окончательно, не проникъ въ самую *душу* этого, опять народившагося, молодого поколѣнія. А заключается причина въ томъ, что авторъ былъ уже слишкомъ далекъ отъ родной почвы. „Одного таланта недостаточно. Нужно постоянное общеніе съ средой, которую берешься воспроизводить“, — заявилъ самъ Тургеневъ. И онъ же сказалъ: „Литературные ветераны, подобно военнымъ, почти всегда инвалиды, и благо тѣмъ, которые во время умѣютъ сами подать въ отставку“. Какъ грустны эти слова, сказанныя, конечно, *про себя*! А вѣдь тамъ, на Западѣ, люди не считаютъ себя ветеранами, не подаютъ въ отставку, когда имъ перевалить за шестьдесятъ! Они сильны тѣмъ, что постоянно набираются новыхъ силъ отъ родной своей почвы. Если же посмотрѣть въ самомъ дѣлѣ на произведенія, писанныя послѣ „Нови“, то невольно увидишь тутъ же перо ветерана. Можетъ быть, это обычное свойство моей природы, что я не могу понять и оцѣнить такія отвлеченно-художественныя вещи, какъ „Пѣснь торжествующей любви“, какъ „Клара Милнчъ“. Но всякій, я думаю, согласится, что эти произведенія — все же не то, что прежнія.

Блестящій періодъ заканчивается если еще не „Дымомъ“, то „Новью“, а тамъ... тамъ слышится утомленіе — слѣдствіе той давящей тоски, которой Тургеневъ не могъ не носить въ себѣ, все болѣе и болѣе удаляясь отъ пониманія своей родины. „Странное дѣло! — говоритъ онъ: — Бѣлинскій изнывалъ за границей отъ скуки, его такъ и тянуло назадъ въ Россію. Ужъ очень онъ былъ русскій человекъ, и въ Россіи замиралъ какъ рыба на воздухѣ!“.

И такая участь, я думаю, выпадаетъ на долю многихъ, хотя бы они и не рѣшались громко говорить съ Некрасовымъ:

Какъ ни тепло чужое море,  
Какъ ни красна чужая даль,  
Не ей поправить наше горе,  
Размыкать русскую печаль!

Все наши дѣатели за предѣлами родной земли, одни явно, сознательно, другіе затаенно отъ другихъ и даже отъ самихъ себя, тосковали. Далеко не счастлива, думается, была также и жизнь въ „прекрасномъ далекѣ“ Ивана Сергѣевича Тургенева. Последнее время онъ часто помышлялъ о Россіи, рвался на родину.

„Если бы невозможное совершилось, и я бы выздоровѣлъ, то, конечно, я бы ни одной минуты лишней здѣсь не остался“ писалъ онъ д-ру Бертенсону. — „Меня не только *тянетъ*, меня *рветъ* въ Россію, — да ты все-таки сиди“ — вырвалось у него въ другомъ письмѣ къ тому же лицу. Чувствуя близкую кончину, онъ пожелалъ хотя мертвымъ возвратиться къ намъ. И родная земля его приняла съ любовью.

*Миллеръ.*

## Тургеневъ, какъ писатель и человѣкъ.

Тургеневъ былъ любимцемъ публики въ продолженіе двадцати-пяти лѣтъ. Двадцать-пять лѣтъ онъ считался первымъ русскимъ писателемъ, прямымъ и достойнымъ преемникомъ Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Никто изъ его современниковъ не имѣлъ такой свѣтлой, общественной и широкой славы. Чѣмъ же объясняется это первенство, это долгое и живое обаяніе?

Художественнымъ мастерствомъ, отвѣчаютъ тѣ цѣнители, которыхъ можно назвать въ одно время и хвалителями и хулителями Тургенева. Но это вполне невѣрно. По художественности, то-есть по жизненности, яркости и глубинѣ образовъ, Тургеневъ уступить не только Л. Н. Толстому, не только Гончарову или Островскому, но и Достоевскому и Писемскому. Настоящаго художества, то-есть творчества въ полномъ смыслѣ этого слова, мало у Тургенева. Его фигуры, обыкновенно, представляютъ довольно блѣдныя очерки; черты ихъ вѣрны, проведены осторожно, изящно; композиція проста и опрятна; но выпуклости, плоти, душевной глубины нѣтъ въ этихъ *аквареляхъ*, какъ остроумно назвалъ кто-то писанія Тургенева. Во множествѣ случаевъ, даже просто намѣчено нѣсколько отдѣльных штриховъ, и нѣтъ полного рисунка, тогда какъ у настоящаго творческаго



писателя фигура всегда является разомъ во всей полнотѣ жизни, и съ десяти строкъ читатель чувствуетъ, съ какимъ существомъ онъ встрѣтился. Было бы очень жаль, если бы пониманіе художества у насъ стояло такъ низко, что мы Тургенева признавали бы за великаго художника и серіозно сравнивали бы его произведенія съ Пушкинымъ или Гоголемъ. Но, несмотря на то, сочиненія Тургенева въ продолженіе двадцати-пяти лѣтъ представляли для публики такую занимательность, такую прелесть, что онъ бралъ верхъ надъ самыми даровитыми изъ своихъ совмѣстниковъ по литературѣ. Часто указываютъ на то, что онъ всегда держался современныхъ вопросовъ, выводилъ героевъ дня. Но кто же не пытался дѣлать то же самое? Сколько было усилій схватить самую современную современность! Давно уже художество заражено тою идеею, которою теперь все заражено, — идеею политическою; давно уже вѣра въ прогрессъ, въ развитіе, почти вытѣснила вѣру въ вѣчныя истины и замѣнила собою самое исканіе этихъ истинъ. Тургеневъ вовсе не составляетъ исключенія въ этой общей погонѣ за современностью, въ стремленіи отзываться на вопросы минуты. Его отличительная черта состоитъ не въ выборѣ предметовъ, а въ томъ, *какъ* онъ относится къ предметамъ. Это отношеніе было полное *попачиненіе*, — подчиненіе искреннее, естественное, вытекающее не изъ расчета или увлеченія, а прямо изъ мягкой натуры писателя. Тургеневъ шелъ постоянно рядомъ и вмѣстѣ съ самою большою толпою публики, съ главною массою нашихъ образованныхъ людей. Онъ не хотѣлъ отдѣляться отъ этой массы (то-есть и не могъ отдѣляться), онъ ни въ чемъ не расходился съ ея вкусами и мыслями, и потому никогда не противорѣчилъ этимъ вкусамъ и мыслямъ. Такого отношенія не выдерживалъ и не могъ выдерживать никто изъ другихъ писателей. Всякій изъ нихъ, въ томъ или другомъ пунктѣ, становился въ сторонѣ отъ толпы, бралъ себѣ другія точки зрѣнія, подымался на высоты, съ которыхъ объективнѣе и крупнѣе являлась картина. Одинъ Тургеневъ не дѣлалъ ничего подобнаго.

Возьмемъ дѣло съ виѣшней стороны, самой ясной. Возьмемъ языкъ. Сверстники Тургенева, нимало не задумываясь, писали такимъ языкомъ, какимъ каждому вздумается. Оригинальность языка считалась достоинствомъ, заслугою. Одинъ

Тургеневъ писалъ общелитературнымъ языкомъ, избѣгая всякой шероховатости и особенности. Онъ писалъ языкомъ образованнаго русскаго общества и, естественно, былъ за то милъ этому обществу. Точно такъ — одинъ Тургеневъ соблюдалъ то изящество, ту граціозность, къ которой стремится нашъ образованный классъ. Вы не найдете у него грубыхъ образовъ, дикихъ нравовъ, рѣзкихъ выраженій. Все опрятно и умѣренно; скорѣе встрѣтится жеманство, чѣмъ отступленіе отъ приличія. Но и это лишь внѣшность. По внутреннему содержанію своихъ произведеній Тургеневъ долженъ былъ имѣть главную и несравненную привлекательность для нашихъ образованныхъ людей. Кого онъ выводилъ на сцену? Онъ изображалъ представителей нашей образованности, „современныхъ героевъ“, и онъ одинъ умѣлъ это дѣлать, потому что стоялъ наравнѣ съ этими героями, нимало не думая отъ нихъ отдѣлаться. Ни у какого другого писателя русскій образованный человѣкъ не встрѣчалъ себя самого, или людей, стоящихъ съ нимъ на одной доскѣ, ягодъ съ того же поля. И *Лининіе люди*, и Рудины, и Базаровы, и Литвиновы и т. д., все это — люди, представляющіе нашу образованность. Если иные изъ нихъ недовольно типичны, то зато весь кругъ ихъ понятій, нравовъ и интересовъ былъ именно кругъ передового слоя, та самая атмосфера, въ которой вращались наши образованные люди.

Подумайте, какъ это должно было привлекать и занимать! Послѣ великаго переворота, произведеннаго Гоголемъ, наша литература потеряла вѣру въ *прекраснаго человѣка*; она оторвалась отъ общества и смотрѣла на все съ идеальной высоты, съ которой реальныя явленія или обнаруживаютъ свое безобразіе, или составляютъ типы живые и крѣпкіе, но объективирруемые художествомъ холодно и, такъ сказать, высокоумѣрно. Въ одномъ Тургеневѣ не было этого высокоумѣрія. Онъ одинъ продолжалъ старыя преданія. Какъ Пушкинъ писалъ Онегина, Лермонтовъ Печорина, такъ и Тургеневъ писалъ своихъ героевъ, то-есть почти переносясь въ нихъ душою, не пытаясь даже выходить въ другія сферы мысли, въ которыя подъ конецъ подымались его предшественники.

Рисую задачи и стремленія нашего образованнаго класса, возводя въ перлъ созданія его радости и горести, Тургеневъ



никогда не впадалъ въ противорѣчіе съ духомъ того общественнаго слоя, которому служить. Если бы онъ увлекся религіозностью или патріотизмомъ, или славянствомъ, или задался бы чисто нравственными стремленіями, то онъ сталъ бы въ разрѣзъ съ общепринятыми понятіями, съ ходячими вкусами. Русскій образованный слой, заимствуя свое просвѣщеніе отъ Европы, естественно расположенъ не придавать вѣса различію народности, расположенъ къ общимъ мѣстамъ, къ неопредѣленности или, если позволительно такъ выразиться, ко *всеядности* мнѣній и вкусовъ, и всегда инстинктивно уклоняется отъ строгой и рѣшительной постановки вопросовъ <sup>1)</sup>. Вотъ гдѣ источникъ и того единственнаго случая, когда Тургеневъ попалъ въ разладъ съ западной литературой. Нигилисты, въ жару своей проповѣди и первыхъ успѣховъ, вознегодовали на него, вѣрно понявъ, что онъ отъ нихъ отдѣлился. Эта единственная неудача на литературномъ поприщѣ больно поразила Тургенева. Но грубая и фанатическая односторонность была рѣшительно противна всѣмъ его умственнымъ и эстетическимъ привычкамъ: хотя онъ готовъ былъ въ этомъ случаѣ даже насиловать себя, онъ не успѣлъ найти твердой почвы для примиренія, и остался неопредѣленнымъ, общимъ западникомъ. Неудачная „Новь“ представляетъ лишь отвлеченное и холодное преклоненіе передъ нигилизмомъ.

Таковъ былъ Тургеневъ. Съ удивительною мягкостью, съ женственной отзывчивостью онъ подчинялся всѣмъ лучшимъ стремленіямъ, господствовавшимъ въ нашемъ просвѣщеніи. Поэтому онъ былъ самымъ чистымъ, полнымъ и искреннимъ представителемъ этого просвѣщенія. Въ немъ не было ничего оригинальнаго, никакой упорной послѣдовательности, никакой глубокой задачи; но при этомъ было

---

<sup>1)</sup> Неопредѣленность мнѣній Тургенева вицна всего болѣе изъ той важности, которую онъ придавалъ своему протесту противъ крѣпостного права. Роль такого протеста сыграли, какъ извѣстно, „Записки охотника“, — не станемъ разбирать, основательно или ошибочно, намѣренно или случайно имъ досталась эта роль. Интересно то, что Тургеневъ очень крѣпко держался за такую свою услугу прогрессу; между тѣмъ, противъ крѣпостного права стояли лучшіе люди всякаго рода мнѣній, никакъ не одни западники. Явный знакъ скудности катихизиса людей, мечтающихъ, что они черпаютъ изъ самой сокровищницы просвѣщенія.

столько ума, образованности, вкуса и художественного таланта, сколько может совмѣститься съ настроеніемъ и умственной жизнью нашихъ просвѣщенныхъ людей. Какъ же было имъ не любить его? Какъ не любить писателя, до такой степени имъ сочувственнаго и однороднаго? Поэтому понятно, что никакой другой писатель не могъ имѣть столько поклонниковъ; поэтому странно было бы винить все это множество въ какомъ-нибудь преувеличеніи, въ какихъ-нибудь заднихъ мысляхъ. Развѣ они не идутъ по главному руслу нашего просвѣщенія, нашего умственного движенія? Развѣ до сихъ поръ не съ Запада почерпается нами образованіе? Большинство у насъ слѣдуетъ вкусу, образу мыслей и примѣру образованныхъ странъ, и потому Тургеневъ, какъ самый европейскій изъ русскихъ писателей, долженъ пользоваться наибольшими симпатіями этого большинства. Развѣ есть другое такое же широкое русло? Развѣ можно указать другое направленіе, столь же распространенное, столь же правильно вытекающее изъ положенія вещей, столь же неизбежно увлекательное?

Нельзя упрекать людей за то, что они не обладаютъ самостоятельностью въ мысляхъ и твердостью въ чувствахъ. По существу дѣла, людямъ всегда нуженъ авторитетъ, нужна опора и руководство. Если нѣтъ вполне достойной того опоры, они хватаются за менѣе достойную, лишь бы она была близка и ясна. Нужно имѣть снисхожденіе къ жаждущимъ авторитета, а плакать развѣ о томъ, что мы не успѣли до сихъ поръ создать для нихъ авторитетъ болѣе высокій и твердый, чѣмъ тотъ, за который они хватаются.

Очень поразительно и характерно для Тургенева, что онъ до конца такъ и не вернулся духовно къ своей родинѣ. Онъ очевидно искалъ, но такъ и не нашелъ пути къ этому возвращенію. Внутреннія силы, которыми живетъ Россія, оставались ему чуждыми, и онъ съ какимъ-то отчаяніемъ хватался за одно лишь понятное ему проявленіе народной души — за нашъ языкъ. Восхищеніе отъ русскаго языка не могло мѣшать никакому западничеству, и Тургеневъ настойчиво предавался этому восхищенію, считая, конечно, и себя самого большимъ мастеромъ языка. Но намъ кажется, есть иныя, болѣе значительныя черты, въ которыхъ сказывалась въ Тургеневѣ родственная любовь къ духовной жизни Россіи.



Его симпатіи въ отношеніи къ людямъ были чисто русскія. Простота, хрустальная ясность души, золотое сердце — вотъ что добрый и мягкій Тургеневъ ставитъ, очевидно, выше всякихъ другихъ достоинствъ, на чемъ любовно останавливается, какіе бы высокоумные герои не играли главную роль въ рассказъ. Иностранцы всегда изображаются если не съ враждебностью, то съ тѣмъ отчужденіемъ, которое такъ трудно побѣдимо въ русскомъ человѣкѣ, которое очень часто составляетъ нашъ недостатокъ, но которое въ чистой формѣ есть черта самага тонкаго патріотизма. Религіозная жизнь, такъ глубоко проникающая духъ нашего народа, отразилась у Тургенева въ нѣсколькихъ рассказахъ, имѣющихъ и типичность и прелесть, хотя отношеніе автора къ предмету иногда переходитъ въ простое изумленіе.

Вообще, Тургеневъ до конца любовно обращался къ русской природѣ, къ русскому быту, къ тѣмъ преданіямъ, случаямъ, правамъ, которыми окружена была его юность. Позволю себѣ сослаться на нѣчто личное: въ рассказахъ Тургенева, особенно въ небольшихъ, безпритязательныхъ, меня часто поражали мелкія частности, живо напоминавшія что-то давно знакомое, слышанное или видѣнное въ дѣтствѣ. Мнѣ трудно было бы точно и прямо указать эти черты, но онѣ вдругъ перенесли меня въ среднюю полосу Россіи, въ атмосферу такихъ привычекъ, такого склада жизни, который свойственъ только этой мѣстности. Еще сильнѣе дѣйствовали на меня въ этомъ отношеніи рассказы г-жи Кохановской. Это сохраненіе въ душѣ мѣстной умственной и бытовой, пожалуй, исторической атмосферы возможно только у писателей, обладающихъ живою *памятью сердца*, неизмѣнно любящихъ то, что ихъ нѣкогда окружало, чѣмъ питалась ихъ душа.

При всемъ этомъ, Тургенева нельзя назвать писателемъ, выражающимъ духъ своего народа или нѣкоторыя стороны этого духа. Тургеневъ есть пѣвецъ только нашего культурнаго слоя, только послѣднихъ формаций этого слоя. Если бы въ „Евгеніи Онегинѣ“ не было неподобнаго образа Татьяны, не было той черты смиренія, скорби и чистоты, которая составляетъ смыслъ этой поэмы, то приключенія самага Онегина едва ли бы имѣли для насъ особенно высокій интересъ. Тургеневъ повторилъ, отчасти, этотъ мотивъ въ своей

Лизѣ, въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“, — повторилъ слабѣе и лишь въ очеркѣ; но „Дворянское гнѣздо“ именно поэтому, по общей широтѣ точки зрѣнія, и остается лучшимъ его произведеніемъ. Но въ другихъ рассказахъ, несмотря на то, что и въ нихъ фигуры дѣвушекъ изображены съ тонкимъ пониманіемъ (эти фигуры нужно признать, вѣроятно, лучшею стороною его писаній), интересъ движущихъ мотивовъ, источникъ коллизій и контрастовъ, вообще говоря, не имѣетъ большой глубины и серьезности или, по крайней мѣрѣ, не захватывается авторомъ во всей глубинѣ. Вѣчные рассказы о томъ, какъ молодой человѣкъ хотѣлъ жениться и почему-то оплошалъ, былъ отвергнутъ или же самъ измѣнилъ невѣстѣ, — эти рассказы не возведены на ту высоту, которой можно желать отъ поэтическаго озаренія жизни. Самое лучшее въ нихъ, конечно, — встрѣчающееся иногда яркое изображеніе слѣпой страсти, покоряющей героевъ противъ ихъ воли. Другія пружины состоятъ въ мелкихъ чувствахъ самолюбія, тщеславія, упадка духа, въ слабыхъ зачаткахъ любви и вражды, но не въ развитыхъ до конца чувствахъ. Тургеневъ знаменитъ своими изображеніями *слабыхъ* людей, но едва ли гдѣ достигаетъ вполне яркаго ихъ освѣщенія. Можетъ быть, лучшее въ этомъ отношеніи представляютъ тѣ жалобные стоны, которые онъ влагаетъ своимъ изъ этихъ героевъ, вообще та струна меланхоліи, которая звучитъ у него довольно часто и не даромъ замѣчена иностранцами. Этотъ полубольной, жидкій и шаткій міръ, эти дѣтища и герои нашего культурнаго слоя невольно сами обличаютъ свою несостоятельность. Они не стоятъ на твердой землѣ, они рѣются по воздуху, они похожи на *дымъ*, какъ выразился одинъ изъ нихъ въ минуту тоски. Брандесъ очень хорошо понялъ этотъ смыслъ Тургеневскихъ писаній и излагаетъ его такъ: „Тургеневъ глубоко убѣжденъ, что въ Россіи все какъ-то идетъ вкривь и вкосъ; никакая любовная исторія не кажется ему чисто русской, если она не имѣетъ несчастнаго исхода, благодаря непостоянству мужчины или безсердечности женщины; никакое стремленіе не кажется ему чисто русскимъ, если оно не превышаетъ силъ людей или не погибаетъ, встрѣтивъ равнодушіе. Въ его глазахъ современная Россія — эта страна, гдѣ все не удается, страна всеобщихъ крушеній“.



„Онъ былъ патріотъ, грустящій о своемъ отечествѣ и сомнѣвающійся въ его судьбахъ. Онъ не раздѣлялъ энтузіазма своихъ болѣе наивныхъ и менѣе знающихъ соотечественниковъ къ русскому народу. Онъ находилъ, что у него (т.-е. у этого народа) нѣтъ великаго прошлаго. Когда авторъ этихъ строкъ стоялъ однажды на римскомъ форумѣ, ему пришла въ голову мысль, что тамъ у каждаго фута земли есть болѣе богатая исторія, чѣмъ у всей русской имперіи. Хотя и русскій человѣкъ, Тургеневъ думалъ почти такъ же. Онъ описываетъ гдѣ-то печаль, охватившую его на всемірной выставкѣ, при видѣ ничтожности вклада Россіи въ общую сумму промышленныхъ изобрѣтеній человѣчества“.

Такіе взгляды и мнѣнія, конечно, очень по душѣ иностранцамъ, и дѣлаютъ изъ Тургенева одного изъ самыхъ ясныхъ представителей западничества. Ослѣпленіе почти невѣроятное, но оно существовало и существуетъ, къ нашему стыду и поученію. Онъ не вѣрилъ во внутреннюю силу Россіи и думалъ, что это страшно-громадное тѣло выросло безъ души, не развивалось, а какъ-то случайно скопилось. Это море народа, этотъ океанъ людей, глубоко и спокойно растущій, будто бы не имѣетъ исторіи, будто бы еще не живетъ могущественною правдивою жизнью, а только еще ищетъ себѣ души, есть только безформенная стихія, которую долженъ со временемъ оживить духъ, откуда-то имѣющій явиться. Есть, однако, иностранцы, которые понимаютъ насъ болѣе правильно; такъ Юліанъ Шмидтъ, какъ нѣмецъ, которому вполне привычны философскіе приемы, дѣлаетъ слѣдующія замѣчанія. Указавъ сперва на ужасы ингилизма, онъ затѣмъ обобщаетъ свои разсужденія и, съ тою проникательностью, въ которой, можетъ-быть, участвуетъ страхъ и ненависть, пишетъ: „Русскій народъ, какъ это теперь доказано, способенъ отдаться великой страсти. Если эта страсть возвысится на степень культа, — чего-то въ родѣ религіознаго иступленія, — то она можетъ сдѣлаться опасною для Европы. Здѣсь, по-моему, Тургеневу, какъ и прочимъ европейски-образованнымъ русскимъ, недостаетъ надлежащаго общенія съ душою народа. Въ народѣ словно дремлютъ силы, совершенно чужды европейской цивилизаціи и непонятны ей. Тургеневъ въ своихъ разсказахъ неоднократно описываетъ странные феномены русской религіи: какъ молодая

нѣжная барышня скитається по деревнямъ, прислуживая юродивому; какъ сынъ попа, человѣкъ неглупый и способный, страдаетъ отъ дьявольскаго навожденія... Писатель повѣствуетъ все это съ чарующимъ реализмомъ, но замѣтно, что ему самому становится страшно“.

Затѣмъ Ю. Шмидтъ старается показать, почему европейцы, будто бы, ближе стоятъ къ религiи и лучше могутъ ее понимать, чѣмъ образованные русскіе. Причина состоитъ въ самомъ ходѣ нѣмецкой образованности, въ Лейбницѣ, Лессингѣ, Кантѣ Гердерѣ и т. д., которые не давали произойти полному раздвоенію въ духовной жизни Германіи. У русскихъ не то. „Русскій идеалистъ“, говоритъ критикъ, „ничего не знаетъ о религiи народа, потому что она никогда не преподавалась ему въ просвѣщенной формѣ; идеализмъ, заимствованный имъ изъ-за границы, не вполне усваивается имъ, не растворяется въ его крови, ибо онъ не самъ выработалъ его. Поэтому, образованный русскій, почерпнувшій свои идеалы изъ чужбины, находится въ извѣстной изолированности. Быть можетъ, это смѣлое мнѣніе, но я нахожу связь между этой полной отчужденностью отъ всякихъ религіозныхъ преданій и безнадежной меланхоліей, которая проявляется у нашего поэта внезапно тамъ, гдѣ ее менѣе всего ожидаешь; она придаетъ его картинамъ своеобразную прелесть, но она поражаетъ насъ: какъ могъ такъ чувствовать писатель, обладавшій такимъ свободнымъ, такимъ богатымъ, такимъ любовнымъ пониманіемъ всего прекраснаго?“

Для Ю. Шмидта, какъ для протестанта и питомца высокой нѣмецкой культуры, очевидно, наша религiя и душа нашего народа суть нѣчто хотя и могущественное, но дикое и темное; тѣмъ не менѣе, главные черты Тургеневскаго настроенія замѣчены имъ вѣрно и поставлены правильно. Нельзя не чувствовать себя потеряннымъ, оторвавшись отъ родной почвы и не найдя для себя другой твердой опоры. И таковъ былъ Тургеневъ, слишкомъ слабый для того, чтобы выйти изъ того неправильнаго положенія, въ которое ставитъ насъ наше отношеніе къ Европѣ.

Западники должны вполне гордиться Тургеневымъ и съ великимъ почестомъ вписать его имя въ исторію нашей литературы. Изъ всѣхъ значительныхъ писателей онъ одинъ остался почти вовсе чуждъ того, что въ нашемъ обществѣ



принято называть элементами „славянофильства“. Они первый не подходят подъ общій законъ. по которому наши писатели сперва подчиняются вліянію Запада, но, по мѣрѣ созрѣванія своихъ силъ, начинаютъ обнаруживать стремленія, вытекающія изъ самобытнаго духовнаго строя ихъ родины. Причины такого исключенія довольно ясны. Во-первыхъ, Тургеневъ *сознательно* держался своихъ мыслей. Въ его время различіе и противоположеніе западничества и славянофильства вполне опредѣлилось и высказалось. Каждый писатель, если имѣлъ желаніе и силу быть послѣдовательнымъ, былъ *обязанъ* стать на ту или на другую сторону, не могъ уйти отъ этой дилеммы. II Тургеневъ даже хвалился тѣмъ, что „не измѣнилъ убѣжденіямъ своей молодости“, т.-е. западничеству 40-хъ годовъ. Во-вторыхъ, Тургеневъ и вообще не имѣлъ столько силы и оригинальности, чтобы быть самостоятельнымъ. Аполлонъ Григорьевъ любитъ говорить, что Тургеневъ есть *повтореніе Пушкина*, разумѣется не полное, а отчасти. II въ самомъ дѣлѣ, и языкъ и всѣ художественные приемы Тургенева — Пушкинскіе. Эта прелестная форма, отличающаяся простотою и ясностью, трезвостью реализма и одушевленіемъ творчества, эта форма, приводившая въ такое восхищеніе иностранцевъ, которые сами всегда черезчуръ плодовиты и рѣдко не злоупотребляютъ художествомъ, — она завѣщана намъ Пушкинымъ, она составляетъ привычный и неизмѣнный образецъ для нашихъ художниковъ слова.

Затѣмъ, ни яркаго своеобразія языка и быта, какъ напримѣръ у Островскаго, ни постоянно господствующей мысли, какъ, положимъ, у Достоевскаго, — нельзя найти у Тургенева. Можетъ-быть, высшее мѣрило жизни для его дѣйствующихъ лицъ есть мечта о какомъ-то счастьи, обыкновенно съ любимымъ существомъ, — счастьи иногда, какъ будто, близко стоящемъ передъ глазами, но, большею частью, только мелькающемъ издали, вѣчно манящемъ и вѣчно исчезающемъ, такъ что подъ конецъ у нихъ остается лишь тоска ненаполненной или разбитой жизни и страхъ смерти. Да и этотъ мотивъ, сказывающійся довольно часто, не выступаетъ съ полной силой, не воплощенъ съ художественною яркостью, а звучитъ какъ-то робко и жалобно.

Тургеневъ до конца дней не обладалъ никакимъ автори-

тетомъ. Его очень любили и жадно читали; всякая мысль, всякое чувство, которое онъ вздумалъ бы вложить въ свое созданіе, были бы приняты публикою съ отверстыми душами. Но ему нечего было сказать; не было въ немъ струны, которая, издавая господствующій звукъ, вносила бы ясность и гармонію во все его звуки. Понятно, что Западъ, передъ которымъ онъ такъ преклонялся, не могъ дать ему какого-нибудь руководящаго начала; Западъ внушилъ ему только вѣру въ прогрессъ, заставлявшую вѣчно оглядываться на другихъ и ждать чего-то впереди, но для насъ всего прискорбнѣе должно быть то, что такой добросовѣстный, талантливый и мягкій душою человѣкъ равно не нашелъ себѣ твердыхъ опоръ и среди того хаоса, въ которомъ ему явился нашъ русскій нравственный міръ. Мудрено вникать такихъ людей, какъ Тургеневъ; они дѣти своего времени, но, очевидно, изъ тѣхъ дѣтей, которыя способны были бы примкнуть къ самымъ высокимъ стремленіямъ времени. *Страговъ.*

---

**Сила и искренность чувства, жажда дѣятельнаго добра, нѣжная и беззавѣтная любовь къ идеалу человѣческой личности — характерныя черты Елены.**

Этотъ художественный образъ привлекаетъ насъ къ себѣ тѣмъ болѣе потому, что въ немъ мы чувствуемъ воплощеннымъ то, чего, неоставало Лизѣ.

Представьте себѣ дѣвушку, которой недавно минуло двадцать лѣтъ. Высокаго роста, съ блѣдно-смуглымъ лицомъ, большими сѣрыми глазами, которые обрамляются пушистыми бровями. На высокій прямой лобъ спускаются прядями темнорусые волосы: тонкая шея низко прикрывается сзади роскошной косой. Чистая, строгія, прямая линія лица гармонируютъ съ острымъ подбородкомъ. Во всемъ ея существѣ, въ выраженіи лица, внимательномъ и немного пугливомъ, въ ясномъ, но измѣнчивомъ взорѣ, въ улыбкѣ, какъ будто напряженной въ голосѣ тихомъ и неровномъ — было что-то нервическое, что-то порывистое и торопливое. Когда она слушала, то ни одна черта не тронется, — только выраженіе



взгляда безпрестанно мѣняется, а отъ него мѣняется и вся фигура.

— „Удивительное существо!“ — говоритъ про нее Шубинъ. — „Да, она удивительная дѣвушка“, — подтверждаетъ Берсенева. И оба они правы: Елена, дѣйствительно, удивительная дѣвушка. Если бы мы хотѣли въ нѣсколькихъ словахъ указать наиболѣе выдающіяся свойства ея души, то для этого мы могли бы воспользоваться слѣдующими словами ея дневника: „Быть доброю, — этого мало; дѣлать добро... да, это главное въ жизни“.

— „Елена съ дѣтства жаждала дѣятельности, дѣятельнаго добра“, — говоритъ авторъ. Мы же прибавимъ отъ себя, что она жаждала дѣятельнаго добра не эгоистическаго, не для собственной, личной пользы, не для самой себя или для своихъ близкихъ, — какъ то мы только-что видѣли въ Лизѣ, — а добра альтруистическаго, т.-е. ради другого человѣка. Нашъ авторъ подтверждаетъ это, говоря, что „нищіе, голодные, больные ея не только занимали, но даже тревожили, мучили; она видѣла ихъ во снѣ, спрашивала о нихъ всѣхъ своихъ знакомыхъ. Мало этого, — всѣ притѣсненные животныя, худыя дворовыя собаки, осужденныя на смерть котята, выпавшіе изъ гнѣзда воробы, даже насекомыя и гады находили въ Еленѣ защиту и покровительство“.

Елена всѣмъ своимъ существомъ стремилась къ дѣятельному альтруистическому добру, а между тѣмъ ее окружала обыкновенная, эгоистическая среда, конечно, почти совсѣмъ не волновалась судьбою не только „обреченныхъ на смерть котятъ“, но и обреченныхъ на голодъ, холодъ, безысходное убожество и темноту хотя бы тѣхъ же крѣпостныхъ, простыхъ русскихъ людей. И Елена одинока въ этой средѣ. — „Я одна, все одна, со всѣмъ моимъ добромъ, со всѣмъ моимъ зломъ“. Ея душа разгоралась и погасала одиноко. Она была, какъ птица въ клѣткѣ, а клѣтки собственно не было: никто не стѣснялъ ее, никто не удерживалъ, а она рвалась и томилась, — конечно, потому, что непосредственно окружающая ее жизнь не давала ей возможности удовлетворить пожирающую ее жажду дѣятельнаго добра, широкой альтруистической, на пользу ближняго дѣятельности. Все, что ее окружало, казалось ей не то бессмысленнымъ, не то непонятнымъ. — „Какъ жить безъ любви? а любить некого“, —

думала она; т.-е. какой же смысл имѣетъ такая жизнь, когда приходится жить больше чѣмъ на половину только въ себя и для себя, — когда не къ чему привязаться дѣятельной любовью, когда не кого полюбить за его дѣятельную любовь къ людямъ. Временемъ ей становилось, просто, страшно отъ своихъ думъ и ощущеній. — „Отчего у меня такъ тяжело на сердцѣ, отчего такъ темно? Отчего я съ завистью гляжу на пролетающихъ птицъ? Кажется, полетѣла бы съ ними, полетѣла, — куда не знаю, только далеко отсюда“. Конечно, Елена полетѣла бы туда, гдѣ она могла бы вполне отдаться настоящей дѣятельной альтруистической любви, настоящему, высокому дѣлу, просвѣтленному настоящей, дѣятельной любовью къ людямъ. — „И не грѣшно-ли это желаніе улетѣть отсюда?“ — продолжала размышлять Елена: „у меня здѣсь мать, отецъ, семья. Развѣ я не люблю ихъ?.. Нѣтъ, я не люблю ихъ такъ, какъ бы хотѣлось любить. Мнѣ страшно вымолвить это, но это правда“. Припомнимъ въ особенности отца Елены, — и мы поймемъ ее, что она не могла его любить, какъ человѣка, въ томъ высокомъ смыслѣ, какъ она понимала это слово. И Елена не въ сплахъ притворяться: и въ другихъ людяхъ ложь она не прощала во вѣки вѣковъ, а тѣмъ болѣе она сама не могла лгать. — „Не знаю, кто и какъ, но меня какъ будто убиваютъ, и внутренно я кричу и возмущаюсь; я плачу и не могу молчать“, — говоритъ Елена. — „Боже мой! Боже мой! укроти во мнѣ эти порывы!“ — восклицаетъ она. И Творецъ какъ бы внималъ ей мольбамъ: гроза проходила; опускались усталыя, невзлетѣвшія крылья, — и Елена еще болѣе чувствовала себя какъ бы въ тюрьмѣ, нетерпѣливо ожидая, что кто-нибудь ее освободитъ. — „Кого-то она ждетъ“, — говоритъ Шубинъ Берсеневу: „понимаешь-ли ты силу этихъ словъ: она ждетъ“. И Елена, дѣйствительно, ждала. Она ждала человѣка, который бы своимъ собственнымъ примѣромъ показалъ, къ чему ей дана молодость, къ чему она живетъ, зачѣмъ у нея душа, — который ей сказалъ бы: „Вотъ что ты должна дѣлать, вотъ чему и какъ ты можешь отдаться всей душой“; она ждала человѣка, для котораго также, какъ и для нея, жить — значитъ: дѣлать добро, — въ самомъ широкомъ и высокомъ смыслѣ этого слова, — и отдаваться этому добру всѣмъ своимъ существомъ, такъ, чтобы человѣкъ могъ про себя ска-



зять: „Не я хочу, — то хочет“, — и это „то“ есть то самое доброе дѣло, которому онъ посвящаетъ все свои силы, всю свою жизнь. Вотъ какого человѣка ждала Елена, — и она дождалась. Этимъ человѣкомъ былъ Инсаровъ.

Почему? Что Елена нашла въ Инсаровѣ? что полюбила? Первое, что поразило Елену въ Инсаровѣ, когда она еще его не видала, а только слушала рассказъ о немъ Берсенева, это — цѣль, къ которой онъ стремится. — „У него одна мысль“, — говоритъ про него Берсеньевъ: „свобожденіе его родины“. И это именно поразило Елену: и слушая, и спрашивая Берсенева, она все думала только объ этомъ: „Освободить свою родину!“ — промолвила она въ концѣ разговора, задумавшись: „эти слова даже выговорить страшно; такъ они велики“... По однимъ этимъ „страшнымъ, великимъ словамъ“ она почувствовала въ Инсаровѣ настоящаго человѣка, который ей-то на многое можетъ отвѣтить изъ того, что ее волнуетъ. Тѣмъ съ большимъ, конечно, любопытствомъ Елена всматривалась въ Инсара, когда онъ въ первый разъ пришелъ къ нимъ. Авторъ говоритъ намъ, что ей при этомъ понравилась его прямота и честное выраженіе глазъ. Она, пораженная высокой, даже, — по ея выраженію, — страшной цѣлью его жизни, съ перваго шага какъ бы старается убѣдиться въ томъ, что онъ не можетъ лгать, т.-е. не можетъ играть такими „страшными, великими словами“, — и съ первой же минуты она все болѣе и болѣе въ этомъ убѣждается. Елена говоритъ Инсарову по поводу его неожиданнаго исчезновенія со своими земляками: „Я подумала, что вы всегда знаете, что дѣлаете, и что вы ничего дурного не въ состояніи сдѣлать“. Въ своемъ дневникѣ она замѣчаетъ: „Насколько Инсаровъ лучше меня! у него есть дорога, есть — цѣль... У него оттого такъ ясно на душѣ, что онъ весь отдался своему дѣлу.“ Эта ясность и опредѣленность жизненной цѣли, это знаніе того, куда и зачѣмъ нужно идти, и вмѣстѣ съ тѣмъ эта способность искренно, беззавѣтно отдаться своей жизненной цѣли не менѣе привлекаетъ Елену въ Инсаровѣ, нежели и то, что онъ не лжетъ, что онъ не только говоритъ, но онъ дѣлалъ и дѣлать будетъ. Если мы прибавимъ ко всему этому, что Инсаровъ по своей внѣшности далеко не принадлежалъ къ „героямъ романа“, то мы поймемъ, что Елена полюбила въ своемъ Дмитріи именно человѣка, — и не по

какимъ-нибудь общимъ, приписаннымъ ею самою достоинствамъ, а потому, что она своими собственными наблюденіями убѣдилась, на самыхъ поступкахъ Инсарова видѣла, что въ немъ дѣйствительно воплощается наиболѣе высокое, съ ея точки зрѣнія, наиболѣе идеальное и при томъ наиболѣе родственное тому, что наполняетъ какъ бы особеннымъ огнемъ ея собственную душу, заставляетъ почувствовать позади себя крылья и страстное стремленіе подняться надъ всѣми обыденными желаніями и стремленіями окружающихъ ее людей. Въ Инсаровѣ Елена полюбила ту же искреннюю, глубокую жажду дѣятельнаго добра, которою она сама такъ-же искренно, такъ же глубоко была переполнена.

А вотъ какъ Елена любить. — „Такъ ты пойдешь за мною всюду?“ — говорилъ ей Инсаровъ, когда они, послѣ тяжелой внутренней борьбы, сказали, наконецъ, другъ другу роковое слово. — „Всюду, на край земли. Гдѣ ты будешь, тамъ я буду.“ — „Ты знаешь, что я бѣденъ, почти нищій?“ — „Знаю.“ — „Ты знаешь также, что я посвятилъ себя дѣлу трудному, неблагодарному, что мнѣ... что намъ придется подвергаться не однѣмъ опасностямъ, но и лишеніямъ, униженію, быть можетъ?“ — „Знаю, все знаю... Я тебя люблю.“ — „Что ты должна будешь отстать отъ всѣхъ твоихъ привычекъ, что ты, можетъ быть, принуждена будешь работать?...“ Она положила ему руку на губы: „Я люблю тебя, мой милый...“ А вотъ какова Елена, еще невѣста, во время болѣзни любимаго человека. Инсаровъ въ страшномъ жару и бреду лежитъ въ постели. Около него Берсенева. Вдругъ дверь тихо скрипнула, и осторожно вдвинулась въ комнату голова хозяйской дочери: „Здѣсь“, — заговорила она вполголоса, — „та барышня...“ Черезъ мгновеніе на порогъ появилась Елена. Берсенева вскочилъ, какъ ужаленный; но Елена не шевельнулась, не вскрикнула... казалось, она все поняла въ одно мгновеніе. Страшная блѣдность покрыла ея лицо. Она подошла къ ширмамъ, заглянула за нихъ, всплеснула руками и окаменѣла. Еще мгновеніе, и она бы бросилась къ Инсарову, но Берсенева остановилъ ее: „Что вы дѣлаете?“ — проговорилъ онъ трепещущимъ шепотомъ: „вы его погубить можете.“ Она зашаталась. Берсенева подвелъ ее къ диванчику и посадилъ. — „Онъ умираетъ? онъ безъ памяти?“ — спрашивала она съ такимъ холоднымъ спокой-



ствіемъ, что Берсенева даже испугался за нее. Онъ отвѣчалъ ей, но она не слышала его отвѣтовъ и только проговорила: „Если онъ умретъ — и я умру.“ Писаровъ въ это мгновеніе простоналъ слегка. Она затрепетала, схватила себя за голову, потомъ стала развязывать ленты шляпы. — „Что вы дѣлаете?“ повторилъ онъ. — „Я остаюсь здѣсь.“ — „Какъ... надолго?“ — „Не знаю... можетъ быть, на весь день, на ночь, навсегда... не знаю.“ — „Ради Бога, Елена Николаевна, придите въ себя... Вы видите... онъ васъ теперь защитить не можетъ“. Она опустила голову, словно задумалась, поднесла платокъ къ губамъ, и судорожныя рыданія съ потрясающей силой внезапно исторглись изъ ея груди... Она вся затрепетала, какъ только-что пойманная птичка. — „Клянитесь мнѣ, что вы тотчасъ же пошлете за мною, когда бы то ни было, днемъ, ночью... слышите-ли вы? обѣщаетесь-ли вы это сдѣлать?“ — говорила черезъ нѣсколько времени Елена, уступая уговорамъ Берсенева. — „Обѣщаюсь, передъ Богомъ,“ — отвѣчалъ онъ: „клянусь вамъ!“ Елена вдругъ схватила его за руку и, прежде чѣмъ онъ успѣлъ ее отдернуть, припала къ ней губами. — „Елена Николаевна!... что вы это?“ — только могъ пролепетать Берсенева... Восемь дней продолжалась пытка для Елены. Съ виду она казалась покойной, но ничего не могла ѣсть, не спала по ночамъ. Тупая боль стояла во всѣхъ ея членахъ; какой-то сухой, горячій дымъ, казалось, наполнялъ ея голову. — „Наша барышня, какъ свѣчка, таетъ,“ — говорила о ней ея горничная. Но вотъ является Берсенева, и радостная вѣсть: „Онъ спасенъ... онъ черезъ недѣлю будетъ здоровъ...“ — разливаетъ алую краску на ея поблѣднѣвшемъ и похудѣвшемъ за эти ужасные девять дней лицѣ. Услышавъ эти слова, Елена протянула руки, какъ будто отклоняя ударъ, и ничего не сказала, только губы ея задрожали... Она ушла къ себѣ, упала на колѣни и стала молиться. Писаровъ поправился... Елена была счастлива, — „не дни,“ — какъ она говоритъ, — „не недѣли, а цѣлые мѣсяцы,“ — счастлива такъ, что ей стало страшно своего счастья.. но „Онъ, создавшій эту ночь, это небо“, рѣшилъ, — по ея мнѣнію, — наказать ее за то, что она такъ была счастлива, за то, что на нѣкоторыя минуты отдавалась не людямъ, не дѣлательному добру, а самой себѣ, своему чувству, — и Писарова не стало... — „Я найду себѣ мѣсто: только возьмите

насъ, возьмите меня," — уговаривала она капитана корабля черезъ часъ послѣ кончины Дмитрія. Капитанъ не былъ въ состояніи ей отказать. Елена перешла въ сосѣднюю комнату, прислонилась къ стѣнѣ и долго стояла, какъ окаменѣлая. Потомъ она опустилась на колѣни, но молиться не могла. На другой день Елена писала матери: „Я навсегда прощаюсь съ вами... Я не знаю, что со мною будетъ, но я и послѣ смерти Дмитрія останусь вѣрна его памяти, дѣлу всей его жизни...“

Въ этомъ же письмѣ Елены къ роднымъ мы находимъ тотъ главный, — можно сказать, единственный упрекъ, который обыкновенно дѣлается ей. Она пишетъ матери: „Мнѣ нѣтъ другой родины, кромѣ родины Дмитрія. Тамъ готовится возстаніе, собираются на войну; я пойду въ сестры милосердія; буду ходить за больными, ранеными... А вернуться въ Россію — зачѣмъ? Что дѣлать въ Россіи?“ „Какъ?!“ — восклицаютъ критики: „незачѣмъ возвращаться въ Россію? въ Россіи нечего дѣлать? — и это говорится въ то время, когда Россіи-то и нужны люди, когда „на каждой отдѣльной личности лежитъ долгъ, святая обязанность передъ Богомъ, передъ родной, передъ самимъ собой?! И послѣ всего этого Елену возводятъ чуть не въ идеалъ?!“ — Мы и сами, конечно, не забыли тѣхъ словъ Михалевича изъ „Дворянскаго гнѣзда“, которыя только-что привели отъ лица порицателей Елены, и мы не можемъ не согласиться съ критиками, что ставить Еленѣ въ достоинство ея рѣшеніе не возвращаться на родину, конечно, нельзя. Но, вѣдь, дѣло въ томъ, что, во-первыхъ, слова Михалевича, — строго говоря, — не могутъ быть отнесены къ Еленѣ, а во-вторыхъ, несомнѣнная идеальность личности Елены зиждется совсѣмъ на другомъ. Мы прекрасно помнимъ, что Михалевичь разразился горячимъ упрекомъ противъ „байбачества“ въ Лаврецкомъ, — противъ того, что онъ въ то время, когда въ Россіи такъ много непочатаго дѣла, когда она такъ нуждается въ болѣе или менѣе образованныхъ людяхъ, не стыдится отдаваться своимъ личнымъ, эгоистическимъ интересамъ, наполнять свою жизнь единственными заботами о личномъ счастьѣ. Было бы, конечно, по меньшей мѣрѣ несправедливо дѣлать подобный упрекъ Еленѣ: мы знаемъ, что она любила въ Писаровѣ, какъ горячо она откликалась на задачи его жизни, чему,



наконецъ, она рѣшилась посвятить себя на родинѣ любимого человека послѣ его смерти. — „Все это такъ“, — скажутъ намъ: „но развѣ у себя-то, на родинѣ, для Елены не было дѣла? развѣ въ той же самой Москвѣ или даже на дачѣ въ Кунцевѣ не было, можетъ быть, сотенъ своихъ больныхъ, своихъ темныхъ, нуждающихся въ свѣтѣ людей? Вѣдь, Елена не только видѣла ихъ, но, — по увѣренію автора, — даже и помогала имъ. Къ чему же бѣжать на чужой пожаръ, когда свой некому тушить?“ — Да, это все вѣрно; но вотъ что тотъ же самый авторъ говоритъ про Елену: „Иногда ей приходило въ голову, что она желаетъ чего-то, чего никто не желаетъ, о чемъ никто не мыслить въ цѣлой Россіи... Потомъ она утихала, даже смѣялась надъ собой, безпечно проводила день за днемъ, но внезапно что-то сильное безыменное, съ чѣмъ она совладѣть не умѣла, такъ и закипало въ ней, такъ и просилось вырваться наружу“. Было бы несправедливо утверждать, что Елена проводила время въ однихъ безплодныхъ фантазіяхъ: мы знаемъ, какое дѣятельное участіе принимала она во всѣхъ несчастныхъ: „нищіе, голодные, больные ее занимали, тревожили, мучили; она видѣла ихъ во снѣ, рязспрашивала объ нихъ всѣхъ своихъ знакомыхъ“. Стало быть, не праздныя, несбыточныя фантазіи сказывались въ этихъ глубокихъ душевныхъ волненіяхъ Елены, а неудержимая жажда болѣе широкой, болѣе важной по своему значенію сферы дѣятельнаго добра, нежели та, которая была доступна ей въ родной семьѣ. Семейныя и общественныя предразсудки, несомнѣнно, становились на пути высокихъ душевныхъ стремленій Елены, и они-то именно составляли собою ту клѣтку, изъ которой она такъ рвалась на свободу. Инсаровъ освободилъ ее изъ этой клѣтки; въ томъ дѣлѣ, которому онъ съ такой любовью, увлеченіемъ и самоотверженіемъ служилъ, она нашла осуществленіе своихъ идеальныхъ порывовъ: „Освободить свою родину! Эти слова даже выговорить страшно: такъ они велики!“ — говорила она о жизненной цѣли Инсарова; на его родинѣ, продолжая служить его дѣйствительно великому дѣлу, она, конечно, могла надѣяться быть окруженной людьми, которые поймутъ, оцѣнятъ ее самоотверженіе и съ своей стороны еще поддержать ее; наконецъ, не нужно забывать, что Елена серіозно, глубоко любила Дмитрія, и для нея дѣйствительно было

вопросомъ жизни остаться вѣрной его памяти, дѣлу всей его жизни...“ Иѣтъ, мы не въ состояніи упрекать Елену въ томъ, что она не вернулась въ Россію: мы сейчасъ видѣли, какъ многое говоритъ въ пользу ея рѣшенія остаться на родинѣ любимаго человѣка.

Но не въ этомъ, конечно, рѣшеніи мы видимъ идеальность самой личности Елены. Она для насъ безспорно идеальна по той жадѣ дѣятельнаго добра, которой переполнено ея сердце, — по глубинѣ, силѣ и искренности того чувства, съ которымъ она стремится къ этому добру и отдается ему; самая любовь ея зиждется опять-таки на этомъ стремленіи къ дѣятельному добру: вѣдь, въ любимомъ человѣкѣ она нашла воплощеніе этого высокаго стремленія, и потому именно она такъ самоотверженно рѣшилась соединить съ нимъ свою судьбу: ея любовь къ Дмитрію возвышалась и озарялась высокимъ радостнымъ сознаніемъ, что рука-объ-руку съ нимъ она будетъ служить великому дѣлу, вложить въ это дѣло всѣ свои горячія стремленія, которыя, какъ мы знаемъ, такъ неудержимо вырывались изъ ея души... Елена не уступаетъ Лизѣ въ цѣльности своего нравственного облика, въ высотѣ и твердости своихъ взглядовъ и убѣжденій; но, вмѣстѣ съ этимъ, она несомнѣнно возвышается надъ Лизой страстной жаждой дѣятельнаго добра на пользу ближняго, тѣмъ самоотверженнымъ альтруизмомъ, который мы считаемъ однимъ изъ главнѣйшихъ достоинствъ настоящей человѣческой личности...

*Чернышевъ.*

**Стремленіе къ идеалу и воплощеніе его въ совместной жизни и дѣятельности съ любимымъ человѣкомъ, какъ носителемъ возвышенныхъ идей—составляютъ единственный источникъ счастливой и разумной жизни Елены.**

Г. Тургеневъ принадлежитъ къ небольшому числу тѣхъ избранныхъ, чуткихъ натуръ, въ которыхъ находятъ себѣ живой отголосокъ всѣ лучшія стремленія развивающагося русскаго общества и въ которыхъ эти стремленія, даже едва замѣтно пробивающіяся въ дѣйствительности, отражаются болѣе полными, болѣе яркими и послѣдовательными образами. Я не знаю, сдѣлаетъ ли хоть одна изъ нашихъ дѣвицъ именно то, что дѣлаетъ Елена въ романѣ Тургенева, побѣ-



жить ли въ чужую сторону за какимъ-нибудь студентомъ освобождать Болгарію; но мысль, что назначеніе женской любви заключается въ томъ, чтобъ сочувствовать идеямъ любимаго человѣка и служить ему утѣшительной опорой на пути, ведущемъ къ избранной имъ цѣли, эта мысль уже не исключительная фантазія немногихъ горячихъ головъ, но почти общее убѣжденіе всего молодого поколѣнія нашихъ женщинъ. По крайней мѣрѣ, серіозныя женщины не понимаютъ уже любви безъ раздѣленія принциповъ и убѣжденій того, кого любишь. Та ступень общественнаго развитія, на которой для женщины въ будущемъ ея мужъ стояла на первомъ планѣ наружность, мундиръ, чинъ, богатство — уже пережила нами, и теперь осталась достояніемъ однихъ неразвитыхъ женщинъ; да и тѣ уже совѣстятся признаться явно, что онѣ идутъ замужъ за мундиръ, за деньги и т. п. Для того, чтобъ стать подругой человѣка на всю жизнь, сдѣлалось необходимо нравственное побужденіе, душевное сочувствіе тому, что этотъ человѣкъ дѣлаетъ, для чего онъ живетъ. Но какъ скоро женщина пришла къ тому серіозному взгляду на замужество, она непременно придетъ и къ слѣдующему болѣе общему и еще болѣе серіозному вопросу: *чему же сочувствовать? для чего жить?* Отвѣтъ на этотъ вопросъ заключается для женщины въ личности того человѣка, котораго она, наконецъ, полюбитъ...

Въ Еленѣ Николаевнѣ Стаховой представляетъ намъ Тургеневъ именно такую дѣвушку, которой нравственныя требованія уже не удовлетворяются тѣмъ, что даетъ русское общество въ его современномъ состояніи... Наука, искусство, жизнь по Гегелю — подвергаютъ себя поочередно къ стопамъ Елены; всѣ несутъ ей дань обожанія въ лицѣ, можно сказать, благороднѣйшихъ своихъ представителей: молодой художникъ Шубинъ, молодой ученый Берсенева, практикъ и юристъ Курнатовскій — одинъ за другимъ влюбляются въ Елену, и каждый изъ нихъ счелъ бы счастливымъ, если бы она согласилась быть его спутницей въ жизни. Но ей не нравится ни художникъ Шубинъ, ни ученый Берсенева, ни дѣлецъ Курнатовскій; она понимаетъ и цѣнитъ ихъ достоинства; Шубина и Берсенева даже любитъ, какъ братьевъ, но ни за одного изъ нихъ не пойдетъ: она чувствуетъ, что все это — не то, а между тѣмъ всѣ они изъ лучшихъ изъ передовыхъ людей нашего образованнаго общества. Шубинъ —

скульпторъ, съ положительнымъ талантомъ, будущая извѣстность; Берсенева — скромный прилежный молодой человекъ, будущій профессоръ исторіи; наконецъ, Курнатовскій — дѣльный секретарь въ сенатѣ, усердный, честный чиновникъ. Спрашивается: что же нужно Еленѣ, если ее не удовлетворяютъ ни наше искусство, ни наша наука, ни наша жизнь гражданская, являющіяся передъ ней — замѣтите — въ лучшихъ своихъ представителяхъ или, по крайней мѣрѣ, въ такихъ, которыхъ, авторъ желалъ, чтобъ мы считали лучшими представителями современнаго общества? и почему все это ее не удовлетворяетъ?

Сначала Елена сама не могла понять, отчего это происходитъ. „Все, что окружало ее, казалось ей не то бессмысленнымъ, не то непонятнымъ“, говоритъ за нее авторъ: „какъ жить безъ любви? а любить некого! думала она. Иногда ей приходило въ голову, что она желаетъ чего-то, чего никто не мыслить въ цѣлой Россіи“. Но это смутное желаніе не складывалось въ опредѣленную мысль; ея мысли были ей самой неясны. Нужно, чтобъ явился человекъ, который бы удостоился ея сочувствія: тогда само собою сдѣлалось бы яснымъ, почему она не могла сочувствовать всему тому, что не онъ.

Въ Россіи такого человека не оказалось. Только иностранецъ могъ показать Еленѣ, каковы должны быть настоящіе люди. Къ счастью, такой иностранецъ нашелся. Все то, что инстинктивно и смутно до сихъ поръ только сплослось Еленѣ, предстало передъ ней въ лицѣ Инсарова вылитымъ въ положительный образъ, и этотъ образъ приковалъ ее къ себѣ на вѣки. Что жъ такое *нашла* Елена особеннаго въ Инсаровѣ — такого, о чемъ никто не мыслить въ цѣлой Россіи?

Ей понравилась *его прямота и непринужденность*; ей понравилась *твердость его воли и упорное преслѣдованіе своей цѣли*; понравилась *самая цѣль* — освобожденіе своей *интенной родины*, цѣль простая, ясная; понравилось и то, что это была цѣль, поставленная не личнымъ капризомъ фантазіи, а общая Инсарову съ послѣднимъ мужикомъ, съ послѣднимъ нищимъ въ Болгаріи. Дѣятельность съ такой прекрасной цѣлью и должна была понравиться Еленѣ, потому что въ ней она увидѣла простое исполненіе той мечты, которая постоянно не давала ей покоя. „Съ дѣтскихъ



дѣть (говорить Тургеневъ) она жаждала дѣятельности, дѣятельности добра“. Она воспитывала заброшенных собакъ и кошекъ, подавала щедро милостыню, но все это казалось ей ничтожнымъ. Въ дневникѣ своемъ она писала: „О, еслибъ мнѣ кто-нибудь сказалъ: вотъ что ты должна дѣлать. Быть доброю, этого мало; дѣлать добро... да; это главное въ жизни. Но какъ дѣлать добро?“ Въ Писаровѣ Елена увидѣла, что надобно дѣлать и какъ. Писаровъ отнялъ ее у Шубина, у Берсенева, у Курнатовскаго, у всей Россіи, и увлекъ ее за собой въ Болгарію... Она—центръ, около котораго вертятся всѣ пружины романа. На нее положилъ авторъ всего болѣе труда; ея личность постарался онъ отдѣлать съ наибольшей отчетливостью. Вездѣ она на первомъ планѣ. Мы знаемъ ея жизнь почти съ колыбели; мы видимъ, что было вложено въ нее натурой, что развилось первыми впечатлѣніями ея дѣтства, чему помогло развиться отсутствіе воспитательной феры. Любовь къ правдѣ, общая всѣмъ дѣтямъ и заглушаемая только въ послѣдствіи всякими неправдами, сросшимися съ нашей перепорченной жизнью, растетъ въ Еленѣ передъ нашими глазами; тѣсно съ нею связанное отвращеніе ко всякой лжи, не стѣсняемое никакими одуряющими наставленіями; жизнь наединѣ съ собой, и вмѣстѣ съ нею вырабатывающійся серьезный взглядъ на жизнь; жажда жизни со смысломъ и инстинктивное угадыванье этого смысла—сначала только отрицательное, а потомъ, съ появленіемъ Писарова, положительное, и, наконецъ, радостное успокоеніе въ любви къ человѣку, поставившему себѣ задачей жизни простое, но великое, народное дѣло, къ человѣку, связанному съ своей землей и живущему только ея счастьемъ—вотъ въ короткихъ словахъ рамка той занимательной исторіи, которая составляетъ содержаніе романа.

Въ какомъ отношеніи Елена Стахова находится къ нашей русской дѣятельности? Возможны-ли въ ней теперь такія женщины? Иные говорятъ, что возможность созданія Елены въ поэзіи доказываетъ возможность такихъ женщинъ и въ дѣйствительной жизни. Это что-то хитро. Развѣ мы не видали въ нашей литературѣ идеаловъ, вычитанныхъ въ чужихъ литературахъ или выдуманныхъ разстроеннымъ воображеніемъ? Развѣ Улнѣйка Гоголя мыслима въ дѣйствительности, а, вѣдь, создалась же она у него какъ-то въ фантазіи. Впрочемъ, для Елены Тургенева не нужно прибѣгать ни къ игръ

словъ ни къ натяжкамъ. Что идеаль нашего поколѣнія — гражданинъ своей земли, это было высказано не разъ и прежде Тургенева, а такъ какъ среди всякаго поколѣнія мужчинъ непременно есть женщины, настолько развитыя, чтобъ сочувствовать его идеалу, то возможность становится понятна сама собою.

Несомнѣнно то, что такая женщина, какъ Елена, въ первый разъ является въ нашей литературѣ. Любовь Елены — это самое чистое, самое благородное проявленіе чувства любви, какое только мы можемъ себѣ представить. Это — полная, глубокая преданность любимому человѣку, полное раздѣленіе его надеждъ и стремленій, это бракъ въ истинномъ смыслѣ слова...

Проникнуться сознательнымъ уваженіемъ къ идеѣ, потомъ полюбить эту идею сердцемъ, встрѣтивъ ея олицетвореніе въ живомъ человѣкѣ, и, соединивъ свою судьбу съ судьбой этого человѣка, идти во слѣдъ за нимъ, куда поведетъ его эта идея, раздѣляя съ нимъ всѣ бури и невзгоды — да это такъ возвышенно, такъ нравственно, что могло быть поставлено за образецъ и основаніе всякому браку.

Къ сожалѣнію, проявленіе этой высокой любви такъ же мало развито на дѣлѣ, какъ проявленіе патріотическихъ плановъ самого Инсарова. Тургеневъ, какъ будто нарочно избѣгаетъ той минуты, когда его героямъ настаетъ пора дѣйствовать и приводить въ исполненіе то, о чемъ они такъ прекрасно говорятъ. Конечно, Елена дѣлаетъ рѣшительный шагъ, когда высказываетъ готовность бѣжать съ Инсаровымъ, и — если бъ она это сдѣлала — мы, можетъ быть, имѣли бы случай посмотрѣть, какъ бы она „тамъ между чужими, стала отставать отъ своихъ привычекъ, работать“ и такъ далѣе. Но авторъ улаживаетъ все это проще: родители Елены узнаютъ, что она тайно обвѣнчалась съ Инсаровымъ и, послѣ обычныхъ упрековъ, дѣло оканчивается благополучно. Мать снабжаетъ Елену деньгами, и Инсаровы путешествуютъ въ довольствѣ и спокойствіи, катаются въ гондолѣ, ѣздятъ въ театръ и т. п. Труды, лишенія, борьба — все это осталось на словахъ.

Жизнь — дѣло грубое, а талантъ Тургенева въ высшей степени деликатенъ, и притомъ онъ, по преимуществу, лирическій. Его дѣло — внутренній міръ души, тонкій анализъ чувствованій, красоты природы. И Тургеневъ знаетъ, въ чемъ



его сила. Уклоненіе отъ всякихъ сценъ, гдѣ должна выйти на арену борьба живыхъ силъ, это намѣренное уклоненіе, замѣчаемое не въ одномъ „Наканунѣ“, но и во всѣхъ другихъ его произведеніяхъ, есть не ошибка съ его стороны, а признакъ глубокаго художественнаго такта.

*Басистовъ.*

### **Поэтическій образъ Елены, выросшей среди несвойственной обстановки и разцвѣтшей подъ вліяніемъ любви.**

Удивительная, славная дѣвушка эта Елена, выросшая, подобно героинѣ „Дворянскаго Гнѣзда“, Богъ знаетъ на какой почвѣ, въ какомъ семействѣ, уродившаяся ни въ мать ни въ отца. Подобныя явленія только на Руси бываютъ, и мы не знаемъ, какъ объяснить ихъ. Отецъ, — пустѣйшій и вздорный болтунъ, забывающій жену для вдовы нѣмецкаго происхожденія, домъ — для клуба. Мать, всегда склонная къ волненію и грусти, всегда больная и капризная, съ пансіонскими мечтами на старости лѣтъ (Шубинъ называетъ ее курицей), еще меньше отца могла имѣть вліяніе на развитіе дочери. Оставленная на свободѣ, она развернулась роскошнымъ поэтическимъ цвѣткомъ, созданіемъ вольнымъ и полнымъ, и не ея вина, если она охладѣла и къ отцу и къ матери. Впечатлѣнія ложились глубоко къ ней въ душу. „Слабость возмущала ее, глупость сердила, ложь она не прощала, требованія ея ни передъ чѣмъ не отступали. самыя молитвы не разъ мѣшались съ укоромъ. Стоило человеку потерять ея уваженіе, — а судъ произносила она скоро, — и ужъ онъ переставалъ существовать для нея“. Безъ подругъ и безъ этой пошлой обстановки, которая дѣлаетъ русскую дѣвушку „барышней“, нарядной куклой. а жизнь ея мелкою и ничтожною, она жаждала не нарядовъ и праздниковъ, какъ всѣ, а дѣятельнаго добра; нищія, голодные, больные ее занимали, тревожили, мучили. Всѣ притѣсненные животныя находили въ ней покровительство. и защиту. На десятомъ году она познакомилась съ нищей дѣвочкой Катей и прислушивалась къ ея разсказамъ, и потомъ хотѣлось ей надѣть сумку, убѣжать съ Катей и скитаться по дорогамъ. Безъ виѣшняго шума безъ виѣшнихъ волненій, жизнь ея перегорала во внутренней тревогѣ.

одинокую, никому не слышною борьбою. „Ея душа и разгоралась и погасала одиноко, она билась, какъ птица въ клеткѣ, а клетки не было; никто не стѣснялъ ее, никто не удерживалъ, а она рвалась и томилась... Все, что окружало ее, казалось ей не то бессмысленнымъ, не то непонятнымъ. Какъ жить безъ любви? а любить некого! думала она, и страшно становилось ей отъ этихъ думъ, отъ этихъ ощущеній“...

Елена стоитъ уже ступенью выше Лизаветы Михайловны въ „Дворянскомъ Гнѣздѣ“; она не нашла себѣ выхода въ томъ квиетизмѣ, въ томъ византійскомъ міросозерцаніи, которымъ удовлетворялась героиня „Дворянскаго Гнѣзда“; она ждала чего-то, жаждала, мучилась и страдала, плакала недоумѣвающими, но жгучими слезами. Такою является она передъ нами, когда встрѣча съ Инсаровымъ, на дачѣ въ Кунцевахъ, рѣшаетъ ея участь и опредѣляетъ окончательноее жизнь.

Отрывки изъ дневника Елены указываютъ намъ то состояніе души, когда она познакомилась съ Инсаровымъ. Состояніе это — дѣвушка, развитой духовно, которой только любовь даетъ послѣднее опредѣленіе. Все окружающее ее такъ пошло и ничтожно; привязаться ей не къ кому. Оттого у ней нѣтъ покоя, оттого ей грустно и темно, такъ что она завидуетъ пролетающимъ птицамъ. Ей некому протянуть руки; она спрашиваетъ себя, зачѣмъ у ней эта молодость, эта душа, зачѣмъ живетъ она. „Пошла бы куда-нибудь въ служанки, право: мнѣ было бы легче“, пишетъ она. Какъ могла бы она полюбить, какимъ бы могучимъ счастьемъ окружила она человѣка, избраннаго душой ея. Она никогда не мыслила, не чувствовала въ половину. И вотъ наступаетъ для нея этотъ періодъ блаженства, эта долгожданная, долго призываемая любовь, и русская литература обогатилась нѣсколькими страницами такого блестящаго описанія страсти, страницами полными роскоши молодого и свѣжаго чувства, полными волшебнаго обаянія любви, какія рѣдко случалось перечитывать намъ доселѣ. Весеннимъ благоуханіемъ вѣетъ со страницъ этихъ, и счастливо общество, въ которомъ среди нестройныхъ звуковъ и формъ неуяснившейся, полу-дикой дѣйствительности раздаются подобные гармоническіе звуки, возникаютъ такіе ясные, роскошные образы.

*К-ій.*



## „Дѣтство, Отрочество и Юность“ Толстого, какъ художественная автобіографія автора.

Повѣсти: „Дѣтство“, „Отрочество“ и „Юность“ не были плодомъ настоящей *Dichtung* и представляютъ собою родъ художественной автобіографіи и семейной хроники, — это давно уже было извѣстно. Но только теперь мы имѣемъ возможность выяснитъ съ нѣкоторой обстоятельностью этотъ характеръ раннихъ произведеній Толстого и отдѣлать въ нихъ то, что принадлежитъ творчеству „связанному“, отъ продуктовъ художественнаго вымысла. Эту возможность мы имѣемъ, благодаря обнародованію разныхъ біографическихъ свѣдѣній о Толстомъ — въ статьѣ проф. Н. П. Загоскина „Студенческіе годы Л. Н. Толстого“ („Истор. Вѣсти.“ 1894, январь) и въ книгѣ Р. Левенфельда „Графъ Толстой. Его жизнь, произведеніе и міросозерцаніе“.

Левенфельдъ, черпавшій изъ непосредственнаго источника, отъ самого Л. Толстого и членовъ его семьи и пользовавшійся также неизданнымъ дневникомъ Толстого, сообщаетъ намъ слѣдующія, не лишеныя интереса указанія, касающіяся его первыхъ произведеній. „У Толстого“, говоритъ онъ, „былъ планъ большого романа: „Исторія четырехъ эпохъ“. Онъ имѣлъ въ виду изобразить *въ формѣ личныхъ воспоминаній* духовное, или точнѣе говоря, душевное развитіе ребенка, мальчика, юноши и взрослого человѣка“. Отсюда мы заключаемъ, что въ раннюю пору творчества, къ которой относится это извѣстіе, художественная пытливость Толстого была обращена *внутрь*, что, когда впервые его духовныя очи раскрылись и внутренній голосъ призванія сказалъ ему: „виждь и внемли“, то онъ прежде всего увидѣлъ *самого себя*. Какъ извѣстно, однако, планъ большого романа „Исторія четырехъ эпохъ“ не былъ осуществленъ, но плодомъ

этого чисто субъективнаго замысла явились повѣсти: „Дѣтство“, „Отрочество“ и „Юность“, такъ что „три эпохи“ все-таки были воспроизведены. Четвертая же („взрослый человѣкъ“) была лишь намѣчена въ отрывкѣ „Утро помещика“. Но, въ концѣ концовъ — въ другомъ только видѣ, по другой программѣ — этотъ циклъ четырехъ эпохъ былъ все-таки завершёнъ, потому что фигура *Левина* есть, несомнѣнно, плодъ стремленія Толстого — изобразить самого себя уже сложившимся и достигшимъ полноты самосознанія человекомъ. Не трудно понять, почему именно послѣдняя, 4-я эпоха явилась въ художественномъ изображеніи такъ поздно: въ 50-хъ годахъ Толстой могъ, опираясь на свои воспоминанія и путемъ самоанализа, изобразить себя ребенкомъ, отрокомъ и юношей, но для воспроизведенія себя какъ взрослого человѣка, у него, при сложности и своеобразіи его натуры, въ ту эпоху еще не было достаточно данныхъ, не было еще запаса отошедшихъ въ даль прошлаго воспоминаній; онъ могъ тогда только кое-что намѣтить и понять въ себѣ, и это немногое, свидѣтельствующее о все еще продолжающемся броженіи его духа, онъ и далъ въ „Утрѣ помещика“ и въ образѣ Оленина. Но ему еще было далеко до полноты самосознанія, до окончательнаго выясненія своихъ путей въ жизни, своихъ цѣлей, идеаловъ, — все это опредѣлилось, осяло и кристаллизировалось гораздо позже, послѣ долгаго опыта жизни и большихъ подвиговъ творчества. Великій художникъ не пойметъ себя, не подведетъ себѣ итога, прежде чѣмъ создастъ свое главнѣйшее произведеніе. Для Толстого 4-я эпоха, — эпоха окончательнаго самоопредѣленія, могла наступить только послѣ созданія „Войны и мира“, — когда онъ принялся за послѣднюю часть автобіографіи и въ *Левинѣ* подвелъ итоги самому себѣ.

Обращаясь къ разсмотрѣнію съ этой автобіографической точки зрѣнія первыхъ произведеній Толстого, приведу сперва слѣдующую цитату изъ книги Левенфельда: „Въ дневникѣ Толстого мы находимъ нѣкоторыя хронологическія указанія относительно его произведеній. 9 іюня 1852 г. онъ уже можетъ отослать въ Петербургъ свою первую повѣсть „Дѣтство“. Одно за другимъ пишетъ онъ „Утро помещика“, „Набѣгъ“ и „Отрочество“... 18-го октября Левъ II — чѣ



составилъ планъ „Кавказскаго разсказа“ (вышедшаго впоследствии въ свѣтъ подъ заглавіемъ „Казаки“) 19-го ноября онъ уже думаетъ о 3-й части „Дѣтства“ и „Отрочества“, — „Юности“... Всѣ эти произведенія, представляя собою описаніе лично пережитаго, — результатъ собственнаго внутренняго опыта и наблюденія въ гораздо большей степени, чѣмъ плодъ свободной фантазіи творческаго духа, тѣмъ не менѣе поражаютъ рѣдкою самостоятельностью“.

Здѣсь для насъ любопытны и хронологическія указанія, почерпнутыя изъ „Дневника“, и самый отзывъ Левенфельда о первыхъ произведеніяхъ Толстого, — отзывъ, указывающій на субъективное и автобіографическое ихъ происхожденіе. 1852-й годъ былъ эпохою въ жизни Толстого: въ этомъ году пробудился его творческій геній, и свидѣтельство Левенфельда показываетъ намъ, какія задачи прежде всего представились уму и фантазіи молодого художника. Это были задачи самосознанія, художественнаго самоопредѣленія. Въ этомъ отношеніи начало дѣятельности Толстого рѣзко отличаются отъ первыхъ серіозныхъ (юношескія, незрѣлыя произведенія въ счетъ не идутъ) опытовъ Пушкина, Гоголя, Тургенева и отчасти сближается съ началомъ творчества Лермонтова и Гончарова, писателей, отличающихся, подобно Толстому, прообладаніемъ субъективнаго направленія художественныхъ силъ. Когда Пушкинъ писалъ „Руслана и Людмилу“ и „Кавказскаго плѣнника“, Гоголь — свои первыя повѣсти, Тургеневъ — „Записки Охотника“, ими двигала потребность отлить въ художественные образы известную сумму впечатлѣній и идей, не имѣющихъ прямого отношенія къ личности самого автора, и задача самосознанія не вставала передъ ними. У Толстого пробужденіе потребности творить было вмѣстѣ съ тѣмъ и стремленіемъ проникнуть въ свою душу, изучить и изобразить свою собственную личность въ ея развитіи и ея состояніи въ данный моментъ. Вотъ и посмотримъ, какъ была выполнена эта задача.

Изображеніе себя самого, исторія своего душевнаго развитія у Толстого неразрывно связаны съ „семейной хроникой“ и воспроизведеніемъ бытовой психологіи той среды, къ которой онъ принадлежитъ. Какъ увидимъ ниже, это не просто „художественный пріемъ“, это — необходимая постановка во-

проса, обусловленная основными свойствами таланта и самой натуры Толстого. Разработка „семейной хроники“ въ трехъ автобіографическихъ повѣстяхъ представляетъ нѣкоторыя особенности, на которыя слѣдуетъ обратить вниманіе.

Изъ книги Левенфельда и статьи проф. Загоскина мы узнаемъ, что отецъ нашего писателя, Николай Ильичъ Толстой (*Николай Ильичъ Ростовъ* „Войны и мира“) овдовѣлъ въ 1830 г., „когда Льву Н—чу истекалъ всего лишь второй годъ“ (Загоск., стр. 84). Семь лѣтъ спустя (1837) умеръ и графъ Николай Ильичъ. Тогда Л. Н. было 9 лѣтъ. Осиротѣвшая семья (опекуншей которой была графиня Остенъ-Сакенъ) переселилась въ Москву, гдѣ воспитаніемъ дѣтей завѣдовали нѣмецъ *Ө. П. Россель* и французъ *St.-Thomas*.

Вотъ именно изображеніемъ нѣмца-учителя и начинается повѣсть „Дѣтство“, гдѣ онъ названъ Карломъ Ивановичемъ. Только здѣсь дѣйствіе перенесено въ деревню. Конечно, отъ этой перестановки глава о „Карлѣ Ивановичѣ“ и вся фигура добраго нѣмца не перестаютъ быть *Wahrheit*. Но уже со второй главы („Мама“), несомнѣнно, начинается *Dichtung*. Въ этой главѣ изображена мать рассказчика, которой, какъ мы только что видѣли, Толстой помнить не могъ. Я предполагаю, что онъ, по воспоминаніямъ другихъ лицъ, по семейнымъ преданіямъ, хотѣлъ силою воображенія возстановить невѣдомый образъ своей матери. Вѣроятно молодой художникъ долго всматривался въ ея портретъ, страстно желая представить себѣ ее живою и вообразить себя ребенкомъ, согрѣтымъ ничѣмъ незамѣнимой материнской любовью, которую извѣдать ему не было дано. Перечитайте со вниманіемъ тѣ страницы „Дѣтства“, гдѣ идетъ рѣчь о „мама“, и вы легко замѣтите, что этотъ образъ какъ бы подернутъ туманомъ, онъ — не портретъ живого человека, онъ — почти видѣніе, блѣдный призракъ, вызванный изъ загробнаго міра. Молодой писатель „смутно видѣлъ“ этотъ призракъ „сквозь слезы воображенія“ (гл. II). Онъ, конечно, могъ бы отряхнуть эти слезы и, давъ волю фантазіи, создать совершенно новый образъ, поставить на вакантное мѣсто другую женщину, назвавъ ее своей „мама“. Но въ данномъ случаѣ молодой писатель не чувствовалъ внутренняго влеченія къ этого рода „*Dichtung*“. Здѣсь наглядно подтверждается истина, гласящая, что художникъ, въ своемъ творествѣ, прежде всего стремится



удовлетворить известнымъ, строго определеннымъ, въ данное время заявляющимъ о себѣ потребностямъ своего ума и чувства. Изъ такихъ потребностей вытекаетъ постановка художественной задачи. Создаваемый образъ является ея рѣшеніемъ. Въ повѣсти „Дѣтство“ Толстымъ руководила именно потребность узнать свою мать, постигнуть ея душу, почувствовать ея не осуществившуюся материнскую ласку и любовь. Художественная задача, обусловленная этимъ живымъ душевнымъ стремленіемъ, приводила къ необходимости перейти отъ Wahrheit мемуаровъ къ тому роду творчества, который такъ свойственъ генію Толстого и состоитъ въ созданіи образовъ, повидимому, объективныхъ, на самомъ же дѣлѣ основанныхъ на анализѣ собственныхъ ощущеній автора. Но въ данномъ случаѣ эти ощущенія были, такъ сказать, *отрицательными* психологическими величинами: это было ощущеніе какого-то пробѣла въ душѣ, сознаніе пустоты въ томъ мѣстѣ душевнаго обихода, гдѣ должны были бы сохраняться живые слѣды материнской любви. Стремясь заполнить этотъ пробѣлъ, молодой художникъ углубляется въ анализъ своего внутренняго міра и старается заставить трепетать ту струну, которая у него, не помнившего матери, никогда не трепетала. Насколько это удалось Толстому въ повѣсти „Дѣтство?“ Самое выдающееся мѣсто, сюда относящееся, это глава XV. „Счастливая, счастливая, невозвратимая пора дѣтства! Какъ не любить, не дѣлать воспоминаній о ней?...“ — такъ начинается эта глава, въ которой Толстой, видимо, хотѣлъ растолковать самому себѣ всю непосредственную глубину и красоту любви ребенка къ матери и матери—къ своему дитяти. „Чувствуешь, бывало, впросонкахъ, что чья-то нѣжная рука трогаетъ тебя; по одному прикосновенію узнаешь ее, и еще во снѣ невольно схватишь эту руку и крѣпко-крѣпко прижмешь ее къ губамъ. Всѣ уже разошлись; одна свѣча горитъ въ гостиной; мама сказала, что она сама разбудитъ меня; это она присѣла на кресло, на которомъ я сплю, своею чудесною нѣжною ручкою провела по моимъ волосамъ, и надъ ухомъ моимъ звучитъ милый, знакомый голосъ: — Вставай, моя душечка, пора идти спать.—Ничьи равнодушные взоры не стѣсняють ея; она не боится излить на меня всю свою нѣжность и любовь. Я не шевелюсь, но еще крѣпче цѣлую ее руку.—Вставай же, мой ангелъ! — Она другою ру-

кою беретъ меня за шею, и пальчики ея быстро шевелятся и щекотятъ меня. Въ комнатѣ тихо, полутемно; нервы мои возбуждены щекоткой и пробужденіемъ; мамаша сидитъ подлѣ самого меня; она трогаетъ меня; я слышу ея запахъ и голосъ. Все это заставляетъ меня вскочить, обвить руками ея шею, прижать голову къ ея груди и, задыхаясь, сказать: — Ахъ, милая, милая мамаша, я какъ тебя люблю! — Она улыбается своею грустной, очаровательной улыбкой, беретъ обѣими руками мою голову, цѣлуетъ меня въ лобъ и кладетъ къ себѣ на колѣни. — Такъ ты меня очень любишь? — Она молчитъ съ минуту, потомъ говоритъ: — Смотри, люби меня, никогда не забывай. Если не будетъ твоей мамашы, ты не забудешь ея?... Не забудешь, Николенька? — Она еще нѣжнѣе цѣлуетъ меня. — Полно! и не говори этого, голубчикъ мой, душечка моя! — вскрикиваю я, цѣлуя ея колѣни; и слезы ручьями льются изъ моихъ глазъ, — слезы любви и восторга“.

Я нарочно привелъ все это мѣсто цѣликомъ: оно представляется мнѣ своего рода пробнымъ камнемъ для нѣкоторыхъ сторонъ художественнаго дарованія Толстого. Приведенная страница едва ли можетъ считаться удавшейся въ художественномъ отношеніи: на этотъ разъ Толстому не удалось „схватить“ здѣсь то, что онъ хотѣлъ „схватить“, и поймать его тамъ, гдѣ оно — по выраженію Гёте — „интересно“. Много разъ — въ видѣ опыта — перечитывалъ я эту страницу, и всегда оставался холоднымъ. А между тѣмъ, она, повидимому, и рассчитана на то, чтобы тронуть читателя, чтобы вызвать живое чувство поэзіи дѣтства, любви дѣтской и материнской. Очевидность такого намѣренія и отсутствіе соотвѣтственнаго эффекта производитъ впечатлѣніе антихудожественное. Иная неудачная въ художественномъ отношеніи страница можетъ, такъ сказать, сойти съ рукъ и не выдать себя, если останется незамѣченнымъ тотъ фактъ, что авторъ „старался“, подбиралъ краски, напрягалъ свое воображеніе. Въ данномъ-же случаѣ это-то и замѣтно: ясно виденъ сочиняющій авторъ, сознательно подбирающій подходящія черты для изображенія душевныхъ состояній, которыхъ онъ не испыталъ. Чтобы это стало очевиднѣе, достаточно вспомнить ту сцену въ „Аннѣ Карениной“, гдѣ изображено свиданіе Анны съ сыномъ. Вотъ страница, которую нельзя читать безъ глубокаго душевнаго



потрясенія, — вотъ тѣ „рѣчи“ на тему о материнской и дѣтской любви, которымъ „безъ волненія внимать невозможно“. И притомъ — полное отсутствіе какихъ бы то ни было слѣдовъ преднамѣренности: потрясающій эффектъ подкрадывается незамѣтно и застаётъ читателя врасплохъ.

Этотъ поразительный контрастъ между изображеніемъ материнскаго и дѣтскаго чувства въ „Дѣтствѣ“ и его изображеніемъ въ „Аннѣ Карениной“ былъ обусловленъ не тѣмъ, что талантъ Толстого окрѣпъ и развился, а тѣмъ, что художнику стало доступно чувство, котораго онъ не вѣдалъ раньше, въ то время когда писалъ „Дѣтство“. Материнскую любовь мужчина постигаетъ двумя путями: по воспоминаніямъ дѣтства и черезъ посредство отцовскаго чувства. Второй путь гораздо важнѣе перваго: преданія дѣтства съ лѣтами забываются, и гаснутъ тѣ чувства, которыми нѣкогда была переполнена душа ребенка. Образъ матери все дальше и дальше отодвигается въ глубь прошлаго, все гуще и гуще заволакиваетъ его туманомъ забвенія. Но великій художникъ, какъ Толстой, все-таки, сумѣлъ бы, силою творческаго воображенія, разсѣять этотъ туманъ, оживить угасшія чувства и воскресить полузабытый образъ, если бы только онъ когда-либо зналъ ихъ. Но этого-то условія, какъ извѣстно, и не было, и вотъ почему въ повѣсти „Дѣтство“ такъ блѣдны, такъ художественно-бесцѣльны страницы, посвященныя „мамамъ“, вотъ почему онѣ отмѣчены всѣми признаками сочиненности, искусственнаго головного построенія. Авторъ, напизывая черты за чертами и повторяя до утомительности одно и то же въ различныхъ комбинаціяхъ (она сидитъ возлѣ меня, я слышу ея запахъ и голосъ, она улыбается мнѣ, я цѣлую ея руку и т. д.), видимо, самъ ищетъ живого художественнаго представленія и, несмотря на всѣ поиски, не находитъ его. Зато, въ послѣдствіи, когда Толстой, ставъ семьяниномъ, позналъ чувства мужа и отца и черезъ ихъ посредство постигъ материнскую любовь и душевный міръ ребенка, цѣлкомъ построенный на органической привязанности къ матери, тогда ему уже не нужно было искать и „расписывать“, — достаточно было только рассказать, какъ вошла Анна Каренина въ комнату сына, какъ ребенокъ проснулся и, потягиваясь, полусонный, прильнулъ къ матери, — заставить Анну сказать: „милый Бутикъ!“ да поставить въ две-

ряхъ фигуру растроганнаго и растерявшагося гувернера, и художественное „слово“ было „найдено“, была написана одна изъ самыхъ изумительныхъ, одна изъ самыхъ безсмертныхъ страницъ во всемірной литературѣ.

За исключеніемъ „папан“, всѣ прочіе, важнѣйшіе образы въ трехъ автобіографическихъ повѣстяхъ являются какъ бы первыми эскизами или набросками той кисти, которая впоследствии напишетъ великолѣпныя, во весь ростъ, фигуры бытовыхъ типовъ „Войны и мира“ и „Анны Карениной“. Сюда принадлежатъ: отецъ рассказчика, его бабушка, братъ Володя, знакомые изъ общества, а также и лица другихъ состояній, входяція въ обиходъ домашней помѣщичьей жизни, какъ учитель Карлъ Ивановичъ, Мими, Наталья Саввишна. Эти фигуры, хотя и не достигаютъ той высоты художественности, на которой стоятъ бытовые типы „Войны и мира“ и „Анны Карениной“, тѣмъ не менѣе являются образами съ опредѣленной, ярко очерченной фізіономіей и значительной типичностью. Для изображенія этихъ лицъ Толстой имѣлъ въ своемъ распоряженіи „натуру“, и всѣ они входили такъ или иначе въ сферу его внутренняго опыта. Въ этомъ отношеніи любопытно слѣдующее свидѣтельство Левенфельда: „Теперь, когда мы знаемъ, что онъ лишился отца и матери въ... нѣжномъ возрастѣ... мы должны признать въ родителяхъ и бабушкѣ Иртеньева произведенія художественнаго творчества, въ созданіи которыхъ свободная фантазія и наблюденія надъ широкимъ кругомъ лицъ принимали одинаковое участіе... Такъ какъ Толстой не зналъ своего отца, то онъ избралъ, до извѣстной степени, въ качествѣ образца, другого пожилого человѣка изъ круга своихъ знакомыхъ: дядя его будущей супруги со стороны матери послужилъ ему образцомъ для отца Иртеньева, а Мими въ „Дѣтствѣ“ Толстой срисовалъ съ дамы, бывшей гувернанткой въ домѣ этого самаго дяди, съ воспитательницы тещи Толстого“ (48—49).

Здѣсь представляютъ интересъ фактическія свѣдѣнія, по мысли, что образы родителей Иртеньева были созданы путемъ свободной фантазіи и наблюденій надъ широкимъ кругомъ лицъ, требуетъ, на мой взглядъ, нѣкоторыхъ оговорокъ. Фигура отца Иртеньева была списана съ опредѣленной личности, которая тутъ уже и указана. Что касается матери, то выше очерченный характеръ этого образа не позволяетъ



думать, чтобы онъ могъ быть полученъ путемъ наблюденія. Въ его созданіи участвовала одна только „свободная фантазія“, дѣйствовавшая на этотъ разъ почти апіорно, — оттого-то образъ и вышелъ такимъ блѣднымъ. Вообще, роль этихъ двухъ элементовъ, свободной фантазіи и наблюдений надъ широкимъ кругомъ лицъ, едва ли была значительною въ началѣ дѣятельности Толстого, въ особенности когда онъ писалъ „Дѣтство“, „Отрочество“ и „Юность“. Кругъ его наблюдений по необходимости ограниченъ тогда сравнительно узкими предѣлами его родни и той части великосвѣтской среды, въ которой онъ вращался. Правда, къ той же эпохѣ относятся и нѣкоторыя наблюденія надъ извѣстными типами изъ другихъ классовъ (напр. студенты изъ разночинцевъ въ „Юности“), а также надъ народной жизнью („Утро помещика“ и „Казакъ“). Но эти наблюденія были только первыми попытками выйти изъ заколдованнаго круга узкихъ, семейно-кружковыхъ впечатлѣній. Нѣкоторыя изъ этихъ попытокъ привели къ блистательнымъ результатамъ; сюда прежде всего нужно отнести великолѣпные типы „Казакъ“ (дядя Ерошка, Лукашка, Маріанка и др.). Но всѣ образы, сюда относящіеся, начиная со студентовъ-разночинцевъ въ „Юности“, несутъ на себѣ ясныя слѣды того, что художникъ, ихъ писавшій, принадлежитъ къ другому, именно великосвѣтскому кругу, что онъ смотритъ на Божій міръ глазами аристократа, и самъ, чувствуя узкость и негуманность этой точки зрѣнія, борется съ нею, старается сбросить съ себя эти очки и взглянуть на людей и вещи съ иной, высшей и болѣе человѣчной точки зрѣнія. Не всегда это ему удается, и тамъ, гдѣ наименѣе удается, этотъ протестъ, эта борьба съ самимъ собою сказывается ярче и сами по себѣ являются предметомъ художественнаго воспроизведенія. Въ этомъ отношеніи очень характерна глава XXXI „Юности“, озаглавленная „Comme il faut“. Этимъ терминомъ Толстой обозначилъ одно изъ самыхъ пагубныхъ, ложныхъ понятій, привитыхъ ему воспитаніемъ и обществомъ, въ силу котораго онъ дѣлилъ всѣхъ людей „на comme il faut и на comme il ne faut pas“; „второй родъ подраздѣлялся на людей собственно не comme il faut и простой народъ. Людей comme il faut я уважалъ и считалъ достойными имѣть со мной равныя отношенія; вторыхъ — притворялся, что презираю, но въ сущности не-

навидѣлъ ихъ, питая къ нимъ какое-то оскорбленное чувство личности; третьи для меня не существовали, — я ихъ презиралъ совершенно“. „Главное зло, — читаемъ далѣе, — состояло въ убѣжденіи, что *comme il faut* есть самостоятельное положеніе въ обществѣ, что человѣку не нужно стараться быть ни чиновникомъ, ни каретникомъ, ни солдатомъ, ни ученымъ, когда онъ *comme il faut*, что, достигнувъ этого положенія, онъ уже исполняетъ свое назначеніе и даже становится выше большей части людей“. Сознать, что это — зло, и стараться освободиться отъ него — это, конечно, первый шагъ къ той элементарной, по крайней мѣрѣ, внутренней свободѣ, которая безусловно необходима художнику. Но не такъ-то легко въ самомъ дѣлѣ ее завоевать. Протестуя противъ точки зрѣнія *comme il faut*, Толстой въ „Юности“ фактически рисуеъ разночинцевъ именно съ этой точки зрѣнія: она сквозитъ въ самомъ способѣ изображенія, всѣ эти Оперовы, Семеновы и прочіе появляются въ полѣ зрѣнія читателя какъ разъ въ той же постановкѣ и такомъ же освѣщеніи, какъ и въ глазахъ самого героя *comme il faut*: герой, а за нимъ и читатель смотритъ на нихъ, какъ на куріозные образчики изъ какого-то особаго міра, какъ на экземпляры, выхваченные изъ массы напоказъ, которые скоро сливаются опять въ безразличную кучу, утрачивая свои индивидуальныя признаки, — Семеновъ смѣшивается съ Оперовымъ, Оперовъ съ Икониннымъ, и отъ нихъ остается только общее впечатлѣніе, родъ запаха, что они не *comme il faut*.

Есть, конечно, разные пути, ведущіе къ освобожденію отъ этой узкой и негуманной точки зрѣнія на людей, столь вредной вообще, а для художника — въ частности, напримѣръ путь внутренней переработки своего духовнаго содержанія черезъ усвоеніе широкихъ идей и человѣчныхъ стремленій, путь фактическаго ознакомленія съ жизнью и психологіей людей другихъ слоевъ. Этими путями и шелъ Толстой въ началѣ своей дѣятельности и достигъ значительной степени внутренней свободы, давшей ему возможность изобразить въ „Казакахъ“ народныя типы съ глубокою художественною правдою и такъ, что читатель уже не забудетъ этихъ образовъ и не смѣшаетъ дядю Ерошку съ Лукашкой и Лукашку съ Назаркой. Но, какъ увидимъ ниже, и тутъ Толстому — въ лицѣ Оленина — не удалось вполне отвлечься отъ „ветхаго



человѣка“ и вытравить въ себѣ спеціально-аристократическую основу въ отношеніяхъ къ людямъ и жизни вообще. Другой путь къ дальнѣйшимъ завоеваніямъ въ области внутренней свободы открывался передъ нимъ. Это былъ путь болѣе широкихъ наблюденій и болѣе глубокаго изученія той самой среды, которая ограничивала его свободу, развивъ въ немъ исключительную точку зрѣнія на людей, привычку ко злу „comme il faut“. Нужно было взять быка за рога. Дѣло въ томъ, что и въ великосвѣтской средѣ, какъ и во всякой другой, есть свой „міръ“ и свой „мірокъ“. Отличительныя черты, привычки, точки зрѣнія и пр., принадлежащія средѣ, сильнѣе выражаются и получаютъ особлпво-уродливое развитіе въ ея „міркѣ“ и, наоборотъ, въ значительной степени ступшевываются и парализуются, перекрещиваясь другими бытовыми продуктами той же сословной психологін, — въ ея „мірѣ“. Это различіе проявляется съ наибольшею силою въ тѣхъ классахъ, которые играютъ или играли извѣстную историческую роль и были ареною различныхъ умственныхъ движеній. Возьмите, напримѣръ, какой-нибудь уголокъ западно-европейской буржуазной жизни: обыватели этого уголка, хотя бы они и не были проникнуты крайними буржуазными стремленіями или идеалами, непременно будутъ отражать въ себѣ черты сословной узкости, мѣщанскихъ предразсудковъ въ гораздо большей мѣрѣ и въ болѣе уродливой формѣ, чѣмъ тотъ „буржуа“, который живетъ болѣе широкой жизнью своего класса и, соприкасаясь съ различными теченіями этой жизни, находитъ въ массѣ психическихъ продуктовъ, приносимыхъ и уносимыхъ этими теченіями, и такіе, которые могутъ ему послужить противоядіемъ противъ узкости его же сословной психологін. Явленіе это гораздо сложнѣе, чѣмъ это кажется на первый взглядъ. Помимо различныхъ вліяній умственнаго и нравственнаго порядка, дѣйствующихъ на личность въ широкомъ „мірѣ“ его класса и отсутствующихъ въ „міркѣ“, здѣсь дѣйствуютъ еще особыя, пока мало изученныя, психическіе процессы, именно тѣ, которые развиваются въ общеніи личности съ ея средою и опредѣляютъ собою, то, что можно назвать *общественнымъ самочувствіемъ* человѣка. Въ „міркѣ“ сословныя черты этого самочувствія выступаютъ ярче и уродливѣе, чѣмъ въ „мірѣ“. Въ широкой классовой средѣ, населенной *массою* представителей того же

классоваго типа, спеціальныя черты сословной психологiи отвлекаются отъ индивидуумовъ въ массѣ, и личность въ известной мѣрѣ освобождаясь отъ нихъ, въ той же мѣрѣ становится человѣчнѣе; напротивъ, въ узкой средѣ, наполненной сравнительно небольшимъ числомъ представителей класса, эти черты, не отвлекаемыя притяженіемъ сословной массы, тѣмъ рѣзче проявляются въ отдѣльныхъ личностяхъ. Въ этомъ отношеніи явленія сословной психологiи должны быть отличаемы отъ другихъ коллективныхъ психическихъ процессовъ, которыхъ сила и интенсивность возрастаетъ вмѣстѣ съ увеличеніемъ массы индивидуумовъ, являющихся носителями этихъ процессовъ. Паника или, наоборотъ, отвага тѣмъ сильнѣе, чѣмъ больше толпа. То же самое думаю, относится къ умственнымъ явленіямъ: большая толпа дураковъ глупѣе небольшой кучки тѣхъ же дураковъ. Но другое дѣло черты сословной психологiи, а также, нужно прибавить, и національной. Психологически онѣ—форма, а не содержаніе. Это какъ бы та рамка, въ которую вкладывается индивидуальное содержаніе личности. Въ общеніи личности съ массою, въ живомъ взаимодѣйствіи большого числа лицъ той же психологической формы, сословной или національной, затрогивается преимущественно содержаніе, а не форма: люди обмѣниваются мыслями, чувствами, сталкиваются характерами, темпераментами, сходятся и расходятся во взглядахъ, вѣрованіяхъ, убѣжденіяхъ,—а своихъ формальныхъ, сословныхъ или национальныхъ чертъ даже не чувствуютъ, какъ не чувствуемъ мы воздуха или собственнаго тѣла, пока оно здорово. Поэтому, эти формальные элементы не выступаютъ наружу съ той назойливостью, какъ это бываетъ въ тѣсныхъ сословныхъ кругахъ, гдѣ обмѣнъ содержаніемъ скуднѣе, или въ национальныхъ группахъ, замкнутыхъ въ узкой обособленной жизни и характеризующихся тѣмъ, что у нихъ содержаніе сливается съ формою, что онѣ не способны вложить въ свою національную форму новое содержаніе идей, стремленій, нравовъ, вѣрованій, вкусовъ. Тогда формально-психологическіе элементы выступаютъ вмѣстѣ съ содержаніемъ наружу, проникаютъ въ сознаніе и даютъ въ результатъ въ одномъ случаѣ сословную обособленность и узкость, въ другомъ — національную исключительность, въ обоихъ — негуманный, чуждый человѣчности и широты укладъ духа.



Послѣ этихъ соображеній мы поймемъ, насколько необходимо было Толстому, какъ художнику и, добавимъ, какъ человѣку, перейти отъ узкой сферы великосвѣтскаго кружка къ наблюденіямъ надъ цѣлымъ „міромъ“ великосвѣтской жизни въ ея различныхъ теченіяхъ и проявленіяхъ, во всемъ разнообразіи вырабатываемыхъ ею характеровъ и умовъ, — какъ изображена она въ „Войнѣ и мирѣ“ и „Аннѣ Карениной“.

Здѣсь же у насъ на очереди анализъ тѣхъ образовъ, въ которыхъ Толстой воплотилъ свою художественную автобіографію. Этотъ анализъ прежде всего раскроетъ то броженіе душевныхъ силъ, ту внутреннюю ломку, чрезъ которую прошелъ геній Толстого — въ своемъ стремленіи сбросить съ себя гнетъ сословной психологіи и завоевать ту долю внутренней свободы, какая была безусловно необходима для того, чтобы художникъ могъ выступить на только что указанный путь широкихъ наблюденій и объективнаго творчества.

Эта внутренняя борьба и ломка были тѣсно связаны у Толстого съ процессомъ самоанализа и вопросомъ самосознанія, къ разсмотрѣнію которыхъ и перейдемъ теперь.

Въ связи съ субъективизмомъ и эмпиризмомъ, которыми такъ ярко отличается геній Толстого, находится, какъ отпрыскъ этого основного уклада, то, что можно назвать „эгоцентризмомъ“ въ искусствѣ: художественная пытливость прежде всего обращается къ личности самого художника, какъ объекту ближайшему и наиболѣе доступному для эмпирическаго изученія.

Эгоцентрическое направленіе творчества и тѣсно связанный съ нимъ самоанализъ занимаютъ первенствующее мѣсто въ раннихъ произведеніяхъ Толстого. Сюда прежде всего относятся въ „Дѣтствѣ“, „Отрочествѣ“ и „Юности“ фигуры рассказчика Николая Пртеньева и его друга, князя Нехлюдова. Что эти два образа представляютъ собою художественное воспроизведеніе собственной личности автора, въ этомъ не можетъ быть сомнѣнія для всякаго, кто сколько-нибудь вдумчиво читалъ Толстого. Только ради полноты приведу относящіяся сюда указанія Левенфельда. „Безъ опасенія смѣшать правду съ вымысломъ“, говоритъ онъ, „можно въ Николаѣ Пртеньевѣ... видѣть самого Толстого въ годы юности“ (стран. 28). На стран. 41-й, замѣчая, что „источникъ перваго произведенія Толстого — стремленіе къ при-

знаніямъ“, Левенфельдъ указываетъ и на то, что князь Нехлюдовъ есть alter ego Николая Иртеньева. „Иртеньева и Нехлюдова“ — поясняетъ онъ далѣе, стран. 57, „можно разсматривать, какъ двѣ части болѣе высокаго единства, воплощеннаго въ самомъ Толстомъ“.

Нѣтъ надобности приводить здѣсь образчики превосходнаго художественнаго анализа, впервые произведеннаго Толстымъ въ этихъ первыхъ его повѣстяхъ и направленнаго преимущественно на психію самого автора въ разныя эпохи его развитія. Пусть читатель припомнитъ или перечитаетъ тѣ страницы, гдѣ такъ мѣтко и тонко разбираются различные душевныя состоянія рассказчика, гдѣ такъ правдиво раскрывается его внутренній міръ. Укажу здѣсь только на слѣдующія двѣ важныя и характерныя черты.

Первая состоитъ въ томъ, что психологія ребенка, отрока и юноши, изображенная въ трехъ автобіографическихъ опытахъ Толстого, не есть психологія обобщеннаго, общечеловѣческаго ребенка, отрока и юноши, а самымъ тѣснымъ образомъ приурочена къ средѣ, національной почвѣ и эпохѣ: это специально психологія русской, великосвѣтской, помѣщичьей среды, прослѣженная въ трехъ возрастахъ. Бытовой колоритъ данъ не только въ обстановкѣ, во внѣшнихъ проявленіяхъ и въ способѣ выраженія душевныхъ состояній, которыя въ существѣ своемъ остаются, конечно, человѣческими вообще, но онъ внесенъ, если можно такъ выразиться, въ самый механизмъ этихъ душевныхъ состояній, — и въ силу такой окраски эти послѣднія, не переставая быть общечеловѣческими, вызываютъ въ читателѣ особый интересъ не къ своей общечеловѣческой основѣ, а къ своей бытовой окраскѣ. Въ „Дѣтствѣ“ и „Отрочествѣ“ наше заинтересованное вниманіе сосредоточивается специально на психологіи „барчука“, въ „Юности“ — на психологіи молодого человѣка *comme il faut*. Въ этомъ отношеніи три автобіографическія повѣсти приближаются къ типу настоящихъ мемуаровъ и бытовыхъ картинъ: это въ тѣсномъ смыслѣ *великосвѣтскіе* очерки. Тутъ, въ самомъ началѣ дѣятельности Толстого, ярко обнаружился его субъективизмъ и эмпиризмъ. Художники объективнаго склада, художники-наблюдатели, какъ Шекспиръ, Пушкинъ, Тургеневъ, могутъ, сколько угодно, наряжать своихъ героевъ въ національный костюмъ и приуро-



чивать ихъ къ опредѣленной, строго-ограниченной въ пространствѣ и времени, почвѣ, но изъ-подъ національнаго, сословнаго, историческаго и всякаго иного обличья душевныя движенія этихъ героевъ, ихъ характеры и натуры выступаютъ въ той широкой и мощной обобщенности, которая ихъ дѣластъ типичными для человѣка вообще, для человечества. У Толстого, въ его раннихъ произведеніяхъ преимущественно, а въ послѣдующихъ въ большей или меньшей мѣрѣ, сословное обличье и великосвѣтская психологія героевъ не только служатъ средствомъ придать образамъ необходимую для осуществленія художественнаго эффекта конкретность, но вмѣстѣ съ тѣмъ входятъ въ составъ того содержанія, которое ими анперцепируется. Поэтому на читателя изъ другой среды его первыя произведенія и многое въ послѣдующихъ производятъ впечатлѣніе чего-то чуждаго, не своего, чего-то сословнаго, спеціально великосвѣтскаго. Для всякаго читателя изъ какой бы то ни было среды, если только онъ человѣкъ образованный и имѣетъ достаточный опытъ жизни, Шекспиръ, Пушкинъ, Тургеневъ — „свой братъ“ и сразу кажутся чѣмъ-то близкимъ, роднымъ; Толстой сперва кажется чуждымъ, не своимъ — и только вчитавшись и вникнувъ въ него, только подчинившись обаянію его генія, читатель принимаетъ его въ число „своихъ“, въ число художниковъ-учителей и друзей человечества.

Вторая, очень важная и уже чисто личная, а не бытовая, черта, которую мы должны отмѣтить въ трехъ рассматриваемыхъ повѣстяхъ, состоитъ въ слѣдующемъ: здѣсь уже обнаруживается та сторона въ натурѣ Толстого, которая впоследствии займетъ видное мѣсто въ его художественномъ творчествѣ и, наконецъ, обособившись отъ него, выразится въ его дѣятельности, какъ мыслителя и моралиста. Это именно его неудержимое, какъ бы органическое влеченіе, съ одной стороны, къ такъ называемымъ „проклятымъ“ вопросамъ, съ другой — и въ особенности — къ выработкѣ нравственнаго міровоззрѣнія, даже нравственной догмы. „Въ продолженіе года, во время котораго я велъ уединенную, сосредоточенную въ самомъ себѣ, моральную жизнь“, читаемъ въ XIX гл. „Отрочества“, „всѣ отвлеченные вопросы о назначеніи человѣка, о будущей жизни, о безсмертіи души уже представлялись мнѣ; и дѣтскій слабый умъ мой

со всѣмъ жаромъ неопытности старался уяснить тѣ вопросы, предложеніе которыхъ составляетъ высшую степень, до которой можетъ достигнуть умъ человѣка, но разрѣшеніе которыхъ не дано ему“.

Въ 50-хъ и даже 60-хъ годахъ эти строки и слѣдующее за ними описаніе головоломныхъ метафизическихъ упражненій героя могли казаться читателямъ продуктомъ чисто объективныхъ замысловъ художника. Непосредственно вслѣдъ за приведеннымъ мѣстомъ читаемъ: „мнѣ кажется, что умъ человѣка въ каждомъ отдѣльномъ лицѣ проходитъ въ своемъ развитіи по тому же пути, по которому онъ развивается и въ цѣлыхъ поколѣніяхъ; что мысли, служившія основаніемъ различныхъ философскихъ теорій, составляютъ нераздѣльныя части ума; но что каждый человѣкъ болѣе или менѣе ясно сознавалъ ихъ еще прежде, чѣмъ зналъ о существованіи философскихъ теорій“. Несмотря на нѣкоторую неясность выраженія въ послѣдней фразѣ, мы все-таки улавливаемъ мысль автора, которая будетъ совершенно вѣрна, если вмѣсто словъ „въ каждомъ отдѣльномъ лицѣ“ поставимъ „въ мыслящемъ человѣкѣ“: не всѣ способны задаваться и мучиться отвлеченными вопросами, — большинство живетъ, не мудрствуя лукаво; взять хотя бы брата рассказчика, Володю, для него вовсе не существуетъ этого „пути развитія“. Какъ бы то ни было, но, прочитавъ эти строки, читатель 50-хъ или 60-хъ годовъ склоненъ былъ думать, что авторъ просто задался цѣлью — „показать это“, „провести эту мысль“ на примѣрѣ своего героя, который вслѣдствіе этого получаетъ гораздо больше интереса, чѣмъ напр., Володя, но зато теряетъ въ смыслѣ бытовой типичности: взять любопытный, но рѣдкій случай, — описанъ „казусъ“ неожиданнаго пробужденія философскихъ стремленій въ молодомъ баричѣ, поставленномъ совершенно въ сторонѣ отъ тѣхъ круговъ, гдѣ эти стремленія такъ или иначе обнаруживались. Случай — всегда возможный въ дѣйствительности, эпизодъ — вполне уместный въ мемуарахъ, фотографирующихъ дѣйствительность, но не подходящій для цѣлей художественности. Философскія упражненія Николая Иртеньева, какъ представлены они въ XIX гл. „Отрочества“, и его моральныя стремленія, изображенные въ „Юности“, рисуютъ намъ любопытную картину пробужденія и первыхъ шаговъ мощнаго, но въ вы-



сокой степени своеобразнаго ума, отмѣченнаго большой склонностью къ рефлексіи и необыкновеннымъ даромъ анализа. Эта картина нисколько не характерна для мыслящей части того круга, къ которому принадлежатъ Ник. Прутеневъ; она не можетъ быть также названа типичною для философствующей части человѣчества вообще. Она характерна только для Л. Н. Толстого. Теперь, послѣ всего, что написалъ Толстой съ тѣхъ поръ, въ особенности послѣ статей IV тома, послѣ „Исповѣди“ и сочиненій религіозно-философскихъ и этическихъ, мы уже не можемъ сомнѣваться въ томъ, что XIX глава „Отрочества“ и аналогичныя ей мѣста другихъ раннихъ повѣстей Толстого представляютъ собою не *Dichtung*, а самую подлинную *Wahrheit*. Эти страницы не принадлежатъ къ области искусства, это просто — глава изъ автобіографіи необыкновеннаго человѣка, который уже въ ранней молодости не удовлетворялся ходячими понятіями и силился собственнымъ умомъ рѣшить такъ называемые проклятые вопросы и выработать себѣ нормы высшей морали.

Для Толстого здѣсь характерна каждая мелочь. Напр., хотя бы слѣдующее мѣсто: „Отвлеченныя мысли образуются вслѣдствіе способности человѣка уловить сознаніемъ въ извѣстный моментъ состояніе души и перенести его въ воспоминаніе. Склонность моя къ отвлеченнымъ размышленіямъ до такой степени неестественно развилась во мнѣ сознаніе, что часто, начиная думать о самой простой вещи, я впадалъ въ безвыходный кругъ анализа своихъ мыслей, я не думалъ уже о вопросѣ, занимавшемъ меня, а думалъ о томъ, о чемъ я думалъ. Спрашивалъ себя: о чемъ я думаю! — я отвѣчалъ: я думаю, о чемъ я думаю. А теперь о чемъ я думаю? — я думаю, что я думаю, о чемъ думаю, и т. д. Умъ за разумъ заходилъ...“ („Отроч.“, гл. XIX). Это были первыя пробы, это была ребяческая игра той мощной мысли, которая впоследствии дастъ несравненные образцы психологическаго анализа. Подобно тому, какъ будущій великій изобрѣтатель уже въ дѣтствѣ начинаетъ упражнять свой даръ на игрушкахъ и другихъ вещахъ, разбирая и портя часы и т. д., какъ будущій великій полководецъ играетъ въ солдатики и выдумываетъ небывалые планы кампаній, мечтая о сраженіяхъ и побѣдахъ и т. п., такъ и будущій великій художникъ-психологъ въ отрочествѣ предавался головоломной — „игру-

шечной“ — работѣ рефлексіи, анализа собственныхъ мыслей и чувствъ. Это были первые — инстинктивные — взмахи крыльевъ орленка.

Какъ извѣстно, „Юность“ оканчивается указаніемъ на новый „моральный порывъ“, возникшій послѣ разныхъ ошибокъ, уклоненій отъ „правилъ жизни“, провала на экзаменахъ и т. д. „Оправившись, я рѣшился снова писать правила жизни и твердо былъ убѣжденъ, что я уже никогда не буду дѣлать ничего дурного, ни одной минуты не проведу праздно и никогда не измѣню своимъ правиламъ. Долго ли продолжался этотъ нормальный порывъ, въ чемъ онъ заключался и какія новыя начала положилъ онъ моему моральному развитію, я расскажу въ слѣдующей, въ болѣе счастливой половинѣ юности“.

*Овсяннико-Куликовскій.*

---

### **Постепенное измѣненіе жизни какъ неизбежное слѣдствіе метаморфозъ души — основная идея „Дѣтства и отрочества“.**

Повѣсть „Дѣтство, отрочество и юность“ — если не самое первое произведеніе графа Толстого, то, во всякомъ случаѣ, одно изъ первыхъ. Писалась она въ продолженіе пяти лѣтъ, отъ 1852 до 1857 года, съ значительными, впрочемъ, перерывами, такъ какъ въ теченіе этого же времени начинающимъ тогда художникомъ были написаны и нѣкоторыя другія изъ его произведеній. Повѣсть эта, рассказанная отъ лица ся героя, изображаетъ жизнь русскаго человѣка помѣщичьей среды, начиная съ первыхъ воспоминаній дѣтства и кончая его юношескимъ возрастомъ. Судя по нѣкоторымъ словамъ автора, какъ бы нечаянно сорвавшимся у него въ повѣсти, можно думать, что у него былъ грандіозный планъ — прослѣдить жизнь человѣка до самой могилы, описать всѣ возрасты, какъ описалъ онъ дѣтство, отрочество и юность. Такъ, въ одномъ мѣстѣ онъ пишетъ: „Я убѣжденъ въ томъ, что ежели мнѣ суждено прожить до глубокой старости, и рассказъ мой догонитъ мой возрастъ“ и т. д. Если наше предположеніе вѣрно, то можно отъ души пожалѣть, что графъ Толстой не выполнилъ этого плана. Вышедшая изъ-подъ его пера книга человѣческой жизни, судя по на-



чалу ея, могла бы быть смѣлымъ и поучительнымъ раскрытіемъ правды этой жизни, особенно интереснымъ потому, что уже по самой задачѣ она должна бы представить всю эту правду, все содержаніе жизни отъ первыхъ проблесковъ сознанія и до потери его въ наступающемъ безсиліи смерти и вслѣдствіе этого должна-бы полно и законченно выразить воззрѣніе художника на жизнь.

Возвращаясь отъ этихъ несбывшихся возможностей къ дѣйствительности, мы прежде всего встрѣчаемся съ вопросомъ объ основной идеѣ или замыслѣ разсматриваемой повѣсти. Богатый бытописательный матеріалъ, заключающійся въ ней, а еще болѣе господствовавшія одно время въ нашей литературѣ обличительныя стремленія, заставили нѣкоторыхъ критиковъ видѣть центръ тяжести всей повѣсти въ изображеніи помѣщичьяго быта крѣпостной Россіи. Самый выборъ сюжета объяснялся желаніемъ показать тѣ условія, подъ вліяніемъ которыхъ неизбѣжно приходилось расти и развиваться въ извѣстный характеръ всякому ребенку привилегированнаго класса нашего общества. Съ своей стороны мы охотно признаемъ, что всякій желающій, дѣйствительно, найдетъ въ повѣсти графа Толстого много характерныхъ чертъ изображаемаго времени и извѣстной общественной среды, что многія лица повѣсти, какъ, напримѣръ, отецъ Николая Иртенева, его бабушка, нѣмецъ-учитель — всѣмъ извѣстный Карлъ Ивановичъ, — нѣсколькими штрихами схваченная Наталья Саввишна, Дубковъ, князь Нехлюдовъ, имѣютъ несомнѣнное значеніе типовъ, принадлежащихъ опредѣленному времени; но, несмотря на это, намъ кажется, что графъ Толстой писалъ свою повѣсть, подчиняясь иному творческому мотиву, что передъ нимъ стояла задача показать формирующуюся душу человѣка не въ зависимости отъ тѣхъ или другихъ общественно-историческихъ условій, но въ зависимости отъ присущихъ ей законовъ развитія; что онъ хотѣлъ представить постепенное измѣненіе жизни, какъ послѣдствіе неизбѣжныхъ метаморфозъ души. Какъ реалистъ, онъ воплотилъ свою идею въ формы дѣйствительной жизни тогдашней (т.-е. до-реформенной) Россіи; какъ художникъ, онъ создалъ образы, исполненные правды и силы, образы, естественно поднимающіеся до значенія типовъ, но все это только необходимый для выраженія идеи матеріалъ, только канва, по

которой художникъ вышиваетъ узоры внутренней жизни человека. За такое предположеніе говоритъ прежде всего избранная авторомъ форма повѣсти. Форма эта, какъ извѣстно, автобіографическая. Для объективнаго изображенія быта эта форма самая неудобная, такъ какъ она ставитъ всегда между изображеніемъ и читателемъ личность рассказчика и заставляетъ постоянно считаться съ его характеромъ (если только рассказчикъ не безличное и безхарактерное я, чего нельзя, конечно, сказать про Николая Прутеньева).

Если же художникъ на первый планъ выдвигаетъ интересъ къ внутренней жизни человека, если его задача заключается въ изображеніи того или другого психического состоянія, то автобіографическая форма произведенія, напротивъ, является весьма цѣлесообразною, такъ какъ позволяетъ весь рассказъ обратить въ характеристику героя рассказчика. И графъ Толстой съ замѣчательнымъ искусствомъ воспользовался удобствами избранной имъ формы. Вчитайтесь въ языкъ, вслушайтесь въ тонъ, всмотритесь въ манеру рассказа въ отдѣльных частяхъ повѣсти, соответствующихъ дѣтству, отрочеству и юности, и вы увидите, что въ первой — рассказъ этотъ дышитъ свѣжестью и наивною поэзіею дѣтскихъ впечатлѣній; во второй — вы уже чувствуете первыя вспышки еще несознанныхъ страстей и понятій, вносящихъ пока только какую-то смутную тревогу въ спокойный дотолѣ міръ дѣтской души; въ третьей — вы слышите рассказъ юноши, постоянно увлекающагося какой-нибудь идеей, постоянно стремящагося осуществить въ своемъ лицѣ того или другого героя и больше всего боящагося простоты и естественности жизни. Но не одна только форма повѣсти подтверждаетъ высказанную нами мысль объ ея основной задачѣ; къ тому же заключенію приводитъ и содержаніе ея, значительную долю котораго составляетъ никогда не покидаемый графомъ Толстымъ психологическій анализъ, направленный въ разбираемомъ произведеніи на раскрытіе тѣхъ своеобразныхъ и забытыхъ уже нами душевныхъ состояній, которыми мы жили въ дѣтствѣ и юности.

Фабула повѣсти проста въ высшей степени. Можно даже сказать, что она вовсе отсутствуетъ, такъ какъ дѣйствіе повѣсти движется не сцѣпленіемъ какихъ-либо внѣшнихъ событій и обстоятельствъ, но естественнымъ процессомъ



роста ея героя. Поэтому и мы не будемъ слѣдить за ходомъ ея событій, а обратимся прямо къ тому достоинству, которое имѣетъ въ глазахъ автора каждый изъ описанныхъ имъ возрастовъ. — Самымъ гармоническимъ возрастомъ, самую счастливою порою въ изображеніи нашего художника является дѣтство. Въ душѣ ребенка не возникъ еще мучительный разладъ внутреннихъ противорѣчій, для него не настало еще время неизбежныхъ сомнѣній въ каждой привязанности, въ каждомъ чувствѣ; онъ радуется беззаботными и чистыми радостями, онъ любитъ полно и цѣльно, онъ жадно ловитъ еще новыя для него впечатлѣнія жизни. Все интересно для маленькаго Николеньки Иртеньева: и Карлъ Ивановичъ, котораго онъ уже умѣетъ любить, какъ сироту, какъ одинокаго человѣка; и папа, въ которомъ является ему безупречный образъ того, чѣмъ долженъ быть мужчина, и о возможности осужденія котораго ему не приходило въ голову еще ни одной мысли; и юродивый Гриша съ своими веригами и молитвами; и охота и лошади, которыхъ онъ знаетъ въ подробности. Но на вершинѣ всѣхъ воспоминаній дѣтства, на недостигаемой высотѣ красоты и поэзіи стоитъ для него образъ матери. Въ образѣ этомъ графъ Толстой представилъ ту русскую женщину нашего обеспеченнаго дворянства — чистую, нѣжную, строгую къ самой себѣ, безгранично любящую и прощающую, — которая какимъ-то чудомъ явилась въ нашей жизни среди господствующей грубости и распуценности и которая въ наше болѣе „просвѣщенное“ время готова, кажется, отойти въ область преданія. Этотъ образъ матери замѣчателенъ еще и тѣмъ, что во всемъ творествѣ графа Толстого это едва ли не единственная личность съ идеальнымъ характеромъ. Художникъ пощадилъ ее отъ разлагающаго дѣйствія своего анализа и, создавъ ее нѣсколькими легкими штрихами, окружилъ тѣмъ поэтическимъ сіяніемъ.

Сравнивая свое настоящее съ давно пережитою порою дѣтства, авторъ пишетъ: „Вернутся ли когда нибудь та свѣжесть, беззаботность, потребность любви и сна вѣры, которыми обладаешь еще въ дѣтствѣ? Какое время можетъ быть лучше того, когда двѣ лучшія добродѣтели — невинная веселость и безпредѣльная потребность любви — были единственными побужденіями въ жизни? Гдѣ тѣ горячія молитвы?

Гдѣ лучший даръ — тѣ чистыя слезы умиленія? Прилетѣлъ ангелъ-утѣшитель, съ улыбкой утиралъ слезы эти и папѣвалъ сладкія грезы неспорченному дѣтскому воображенію. Неужели жизнь оставила такіе тяжелые слѣды въ моемъ сердцѣ, что навѣки отошли отъ меня слезы и восторги эти? Неужели остались одни воспоминанія?“

Строки эти производятъ впечатлѣніе какой-то сознанный человѣкомъ утраты. Было что-то большое и прекрасное, мелькнуло въ дѣтствѣ и затѣмъ исчезло навсегда, оставивъ въ душѣ только воспоминаніе о какомъ-то блаженствѣ, о какомъ-то эдемѣ, изъ котораго изгнали тебя проснувшіяся страсти да разившійся разумъ.

Этотъ-то процессъ развитія и изображаетъ авторъ далѣе, описывая отрочество и юность, — изображаетъ съ присущею ему смѣлостью и правдою. „Случалось ли вамъ, читатель, въ извѣстную пору жизни вдругъ замѣчать, что вашъ взглядъ на вещи совершенно измѣняется, какъ будто всѣ предметы, которые вы видѣли до тѣхъ поръ, вдругъ повернулись къ вамъ другою, неизвѣстною еще стороною? Такого рода моральная перемѣна произошла во мнѣ въ первый разъ во время нашего путешествія, съ которою я и считаю начало моего отрочества. Мнѣ въ первый разъ пришла мысль о томъ, что не мы одни, т.-е. наше семейство, живемъ на свѣтѣ, что не всѣ интересы вертятся около насъ, а что существуетъ другая жизнь людей, ничего неимѣющихъ общаго съ нами, не заботящихся о насъ и даже неимѣющихъ понятія о нашемъ существованіи“...

Познакомился нашъ герой и съ чувствомъ ненависти (онъ ненавидѣлъ своего учителя — Жерома), и съ чувствомъ одиночества. Началась въ немъ и разрушительная работа мысли, словно на зло человѣку направляющаяся прежде всего на то, что для него наиболѣе дорого. „Я люблю отца, рассказываетъ Иртеньевъ, но умъ человѣка живетъ независимо отъ сердца и часто вмѣщаетъ въ себя мысли, оскорбляющія чувство, непонятныя и жестокія для него. И такія мысли, несмотря на то, что я стараюсь удалить ихъ, приходятъ мнѣ“.

Наконецъ, подростающей мысли нашего героя стали доступны и отвлеченные вопросы, и онъ сильно увлекался ими. „Дѣтскій слабый умъ мой со всѣмъ жаромъ неопытности



старался уяснить тѣ вопросы, продолженіе которыхъ составляетъ высшую ступень, до которой можетъ достигать умъ человѣка, но разрѣшеніе которыхъ не дано ему“. То ему приходила мысль, что счастье наше зависитъ отъ насъ самихъ и что человѣкъ, привыкшій переносить страданія, не можетъ не быть несчастливъ; — и вотъ, чтобы приучать себя къ этимъ страданіямъ, онъ уходилъ въ чуланъ и, какъ маленькій факиръ, стегалъ себя веревкой по голой спинѣ такъ больно, что слезы невольно выступали на глазахъ; то вспоминалось ему, что его ежечасно ожидаетъ смерть и что поэтому нелѣпо заботиться о будущемъ, а нужно только пользоваться настоящимъ, — и онъ подъ вліяніемъ этой мысли бросилъ уроки и три дня „занимался только тѣмъ, что, лежа на постели, наслаждался чтеніемъ какого нибудь романа и ѣдою пряниковъ съ кроновскимъ медомъ, которые покупалъ на послѣднія деньги“: то увлекался онъ скептицизмомъ и думалъ, что кромѣ него ничего и ничего не существуетъ во всемъ мірѣ. „Были минуты, что я, пишетъ онъ, подъ вліяніемъ этой постоянной идеи, доходилъ до такой степени сумасбродства, что иногда быстро оглядывался на противоположную сторону, надѣясь врасплохъ застать пустоту (*péant*) тамъ, гдѣ меня не было“. Для насъ здѣсь интереснѣе всего тотъ общій выводъ, который дѣлаетъ авторъ о значеніи ума въ вопросѣ человѣческаго счастья. „Жалкая ничтожная, пружина моральной дѣятельности, — умъ человѣка!“ читаемъ мы. „Слабый умъ мой не могъ проникнуть непроницаемаго, а въ непосильномъ трудѣ терялъ одно за другимъ убѣжденія, которыя, для счастья моей жизни, я никогда бы не долженъ былъ смѣть затрогивать. Изъ всего этого тяжелаго моральнаго труда я не вынесъ ничего, кромѣ изворотливости ума ослабившей во мнѣ силу воли, и привычки къ постоянному моральному анализу, уничтожившей свѣжесть чувства и ясность разсудка“.

И такъ — вотъ жребій человѣка! Выше и выше поднимаясь по ступенямъ духовнаго развитія, полнѣе и полнѣе освобождая свое сознаніе отъ господства страстей и привычекъ, человѣкъ въ то же время дальше и дальше отходитъ отъ своего счастья. Для счастья нужна какая-либо святыня, какая-либо завѣтная область, нужно что-либо безусловно прекрасное и обязательное, а развившаяся и свободная мысль человѣка не знаетъ для себя преградъ, все дѣлаетъ предметомъ своего

анализа, въ силу природы вещей всюду находятъ пятна и тѣни, въ самой прекрасной дѣйствительности видить лишь слабое подобіе идеальнаго и, облетая жизнь человѣка, отнимаетъ у него одно за другимъ условія его счастья. Мысль эта, впрочемъ, не новая: еще Шекспиръ подмѣтилъ этотъ фатумъ, тяготѣющій надъ человѣческимъ духомъ, и далъ ему вѣчное выраженіе въ Гамлетѣ. Характерно только, что и графъ Толстой находитъ нужнымъ высказать эту же мысль.

Юность, по словамъ графа Толстого, начинается съ того времени, когда благородныя мысли и стремленія къ нравственному усовершенствованію, привившіяся прежде только уму, становятся доступными и чувству и находятъ для себя живой органъ въ сложившейся уже моральной природѣ недавняго ребенка. Сущность новаго настроенія нашего героя всего лучше выражается въ слѣдующемъ искреннемъ и сильномъ порывѣ: „какъ могъ я не понимать этого (что красота, счастье и добродѣтель легки и возможны для него), какъ дурень я былъ прежде, какъ я могъ бы и могу быть хорошъ и счастливъ въ будущемъ!“ говорилъ онъ самъ себѣ: — „надо скорѣй, скорѣй, сію же минуту сдѣлаться другимъ человѣкомъ и начать жпть иначе.“ Всякій, у кого была юность не съ однимъ только разгуломъ физическихъ силъ, но и съ нравственнымъ содержаніемъ, вспомнитъ, что именно эти слова говорилъ онъ себѣ, что эти же образы красоты, счастья и добродѣтели манили его въ будущее и что въ ихъ онъ не понималъ и не хотѣлъ жизни... Но мы живемъ... А кто изъ насъ осуществилъ въ своей жизни эту красоту и счастье? Есть ли между нами даже такіе, у кого-бы потребность красоты не смѣнилась стремленіемъ къ комфорту, жажда счастья — исканіемъ пріятныхъ ощущеній, желаніе добродѣтели — необходимостью всепризнанной морали?... Какъ же свершается это паденіе жизни — не въшней жизни, которая всегда одинакова, а нашего внутренняго міра, нашей души?—Обратился къ повѣсти и посмотримъ, что вышло изъ стремленія юноши Иртеньева“ сдѣлаться другимъ человѣкомъ.

Стремленіе это выливается у Иртеньева въ цѣломъ рядѣ мечтаній. Такъ, передъ исповѣдью онъ мечталъ, что очистится отъ всѣхъ грѣховъ и больше не будетъ совершать поступковъ, которые теперь его мучатъ; мечталъ о томъ, что каждое воскресенье будетъ ходить въ церковь, что изъ



своихъ денегъ будетъ помогать бѣднымъ, что самъ будетъ прибирать свою комнату, чтобы не затруднить человека; мечталъ онъ и о томъ, какъ сдѣлается первымъ ученымъ въ Европѣ; мечталъ о томъ, какъ будетъ ходить глять на Воробьевы горы и встрѣтить тамъ ее. О ней, о воображаемой женщинѣ (которая была для него немножко Сонечка, немножко Маша, жена лакея, въ то время, кога она моетъ бѣлье въ корытѣ, и немножко женщина съ жемчугами на бѣлой шеѣ, которую онъ видѣлъ въ театрѣ), мечтаетъ онъ очень много; мечтаетъ онъ и о славѣ, о томъ, какъ люди будутъ знать и любить его, — и Богъ только знаетъ, о чемъ онъ не мечталъ тогда. Мечтанія эти не остаются безъ вліянія на его жизнь: такъ, вспомнивъ „одинъ стыдный грѣхъ“, который онъ утаилъ на исповѣди, онъ рѣшается ѣхать въ монастырь и исповѣдаться вторично. Эпизодъ этой поѣздки въ художественномъ отношеніи истинный шедевръ: графъ Толстой передаетъ его съ легкимъ оттѣнкомъ юмора, не мѣшающимъ ему отмѣтить и искреннее умиленіе юноши въ моментъ исповѣди, и въ то же время позволяющимъ указать и то тщеславное чувство, которое заставляетъ молодого ревнителя своей нравственной чистоты рассказать извозчику о цѣли своей поѣздки въ монастырь.

Сдавъ послѣдній экзаменъ въ университетѣ, герой нашъ, чтобы походить на большого, ѣздитъ по магазинамъ и тратитъ всѣ свои деньги на покупку совершенно ненужныхъ ему вещей; покупаетъ онъ также себѣ и табакъ, такъ какъ ему, какъ студенту, нужно курить. Приѣхавъ домой, онъ пробуетъ курить, но съ непривычки у него закружилась голова, ему сдѣлалось тошно и онъ, лежа на диванѣ, грустно думалъ съ разочарованіемъ: „вѣрно я еще не совсѣмъ большой, если не могу курить, какъ другіе, и что видно мнѣ не судьба, какъ другимъ, держать чубукъ между среднимъ и безымяннымъ пальцемъ, затягиваться и пускать дымъ черезъ русые усы“.

Далѣе авторъ рассказываетъ намъ, какъ стремящійся къ красотѣ и правдѣ юноша выдумалъ себѣ любовь. „Мнѣ давно уже было совѣстно, глядя на всѣхъ своихъ влюбленныхъ пріятелей, за то, что я отсталъ отъ нихъ“, говоритъ откровенный и правдивый рассказчикъ. И вотъ, увидѣвшись съ одною барышней, Сонечкой, которую онъ зналъ еще

въ дѣтствѣ, онъ рѣшилъ въ тотъ же день, что влюбленъ въ нее. Объ этомъ чувствѣ онъ разсказалъ своему другу Дмитрію Нехлюдову; по пріѣздѣ же въ деревню, на каникулы, онъ подражая влюбленнымъ, цѣлые два дня ходилъ передъ своими домашними грустнымъ и задумчивымъ; на третій день, однако, притворства уже не хватило, и онъ совсѣмъ забылъ о своей любви.

Затѣмъ графъ Толстой раскрываетъ въ своемъ героѣ столь свойственное юношамъ тщеславное желаніе выказать себя другимъ человѣкомъ, чѣмъ есть, желаніе, заводившее студента Пртеньева въ дебри самой отчаянной лжи, заставлявшее его рисоваться фразами, мысли которыхъ онъ вовсе не сочувствовалъ, или напускать на себя несвойственныя и чуждыя ему настроенія.

Но, показывая всю ложь и фальшь, которыми полна дѣйствительность юности, графъ Толстой не забываетъ и того прекраснаго, что живетъ въ мечтахъ, порывахъ и стремленіяхъ этого возраста. Стоитъ прочесть, напримѣръ, слѣдующій исполненный поэтической прелести, отрывокъ, изображающій юношескія грезы, навѣяныя картиною ясною лѣтней ночи: „Все (въ этой картинѣ) получало для меня странный смыслъ — смыслъ слишкомъ большой красоты и какого-то недоконченнаго счастья. И вотъ явилась она, съ длинною, черною косой, высокою грудью, всегда печальная и прекрасная, съ обнаженными руками, съ сладострастными объятіями. Она любитъ меня, я жертвовалъ для одной минуты ея любви всею жизнью. Но луна все выше и выше, свѣтлѣе и свѣтлѣе стояла на небѣ, пышный блескъ пруда, равномерно усиливающейся, какъ звукъ, становился яснѣе и яснѣе, тѣни становились чернѣе и чернѣе, свѣтъ прозрачнѣе и прозрачнѣе, и вглядываясь и вслушиваясь во все это, что-то говорило мнѣ, что она съ обнаженными руками и пылкими объятіями еще далеко-далеко, еще не все благо; и чѣмъ больше я смотрѣлъ на высокій, полный мѣсяцъ, тѣмъ истинная красота и благо казались мнѣ выше и выше, чище и чище, ближе и ближе къ Нему, къ источнику всего прекраснаго и благого, и слезы какой то неудовлетворенной, но волнующей радости наворачивались мнѣ на глаза“.

Итакъ, вступая черезъ отрочество, разрушившее наивный и очаровательно-чистый міръ дѣтства, въ юность, человѣкъ



встрѣчаетъ въ ней много прекрасныхъ надеждъ, чувствуетъ въ себѣ много силъ и стремленій, которыя должны бы дать ему полное и высокое счастье; но едва онъ начинаетъ жить, тратить этотъ многообѣщающій запасъ силъ, какъ жизнь его наполняется какою-то мелочностью и ложью, столь непохожими на великія ожиданія отъ нея. Сбываются ли эти ожиданія въ позднѣйшіе періоды человѣческой жизни, объ этомъ не говоритъ рассматриваемая повѣсть, опускающая передъ нами занавѣсъ раньше даже, чѣмъ оканчивается юность; но объ этомъ говорятъ другія произведенія художника Толстого.

*Бар. Дистерло.*

### **Форма и содержаніе „Дѣтства и Отрочества“ и способъ изображенія.**

Изъ всѣхъ формъ повѣствованія, рассказъ отъ собственнаго лица автора или отъ подставнаго лица, исправляющаго его должность, предпочитается писателями бѣльшею частію въ первыя эпохи дѣятельности ихъ — въ эпохи свѣжихъ впечатлѣній и силъ. Несмотря на относительную бѣдность этой формы, она представляетъ ту выгоду, что поле для картины и канва для мысли, по милости ея, всегда заготовлены впередъ и избавляютъ писателя отъ труда искать благонадежный поводъ къ рассказу. Съ нея началъ Тургеневъ и на ней еще стоитъ гр. Л. Н. Т., два повѣствователя весьма различные по качествамъ своимъ и по направленію, но сходные тѣмъ, что у обоихъ чувствуется присутствіе мысли въ рассказахъ и оба могутъ подать случай къ соображеніямъ о роли мысли вообще въ изящной словесности. Рассказъ отъ собственнаго лица освобождаетъ автора отъ многихъ условій повѣствованія и значительно облегчаетъ ему путь. Съ первыхъ пріемовъ писатель уже становится въ положеніе человѣка, не слишкомъ озабоченнаго достиженіемъ предположенной цѣли, что позволяетъ ему иногда рѣзвиться передъ своимъ читателемъ, на просторѣ, а иногда даже кончить вояжъ на полдорогѣ. При рассказѣ отъ собственнаго лица немаловажное удобство состоитъ еще и въ томъ, что писатель самъ себѣ назначаетъ границы и можетъ избавиться отъ необходимости сообщить предмету

описанія настоящей его объемъ, истинныя его очертанія. Отъ каждаго предмета онъ свободно беретъ только ту часть, которая или удачно освѣщена, или живописно выдалась впередъ. Задача писателя, разумѣется, на половину облегчена всѣми этими привилегіями, но и это еще не все. Писатель, рассказывающій отъ себя, есть вмѣстѣ съ тѣмъ и адвокатъ своего дѣла. Онъ искусно оправдывается передъ читателемъ въ своихъ недоговорахъ, и если успѣлъ возбудить его симпатію, легко получаетъ согласіе даже на сдѣлки съ лицами и характерами, которые въ строгомъ, художественномъ повѣствованіи никогда бы не могли явиться. Онъ вполне пользуется правомъ человека, состоящаго на лицѣ: съ нимъ всегда поступаютъ снисходительнѣе, чѣмъ съ отсутствующимъ. Однакожъ, по закону равновѣсія, существующему вездѣ, даже въ отношеніяхъ между авторомъ и чтецомъ его, выгоды, перечисленные нами, не бываютъ подъ сплунъ. Если съ одной стороны ослабѣваютъ требованія и изысканія критики, то они дѣлаются строже и придирчивѣе съ другой. И во-первыхъ, рассказчикъ обязанъ выразить личное мнѣніе свое о каждомъ предметѣ, встрѣчающемся на пути его, чего никогда не требуется отъ правильнаго повѣствованія, гдѣ только важно общее впечатлѣніе; затѣмъ, примѣры и наблюденія его должны отличаться самостоятельностью, зоркостью и умомъ въ степени, какой другого рода произведенія ее обязаны достигать; наконецъ, по участию живой личности автора во всѣхъ, такъ сказать, обстоятельствахъ повѣствованія, она сама должна обладать качествами, способными остановить вниманіе читателя... Только на этихъ условіяхъ предоставляется право рассказчику свободно отдаться теченію и даже капризу своей мысли и своего вдохновенія. Случалось и, вѣроятно, еще много разъ будетъ случаться, что писатели, прельщенные выгодами формы личнаго повѣствованія, принимались за нее, не взвѣсивъ предварительно важности условій, съ ней сопряженныхъ.

Авторъ „Исторіи четырехъ эпохъ“ далъ публикѣ еще только описаніе двухъ первыхъ эпохъ своихъ, именно: „Дѣтство“ и „Отрочество“, но уже способъ созданія его достаточно уяснился и можетъ быть оцѣненъ критикой. Онъ, разумѣется, говоритъ отъ себя и про себя, но здѣсь обыкновенные недостатки формы личнаго разсказа могли быть



отстранены съ успѣхомъ по существу дѣла. Авторъ передаетъ намъ дѣйствительное развитіе собственнаго нравственнаго существа съ той минуты, когда мысль, какъ синій огонекъ разгорающагося газоваго проводника едва-едва теплится, не освѣщая еще вокругъ себя ничего, до тѣхъ поръ, пока, съ развитіемъ организма, она все болѣе и болѣе крѣпнетъ и начинаетъ ярко озарять предметы и лица. Само собой разумѣется, что строгость психическаго наблюденія, необходимаго при этомъ, уже должна была исключить произволь, развязность въ пріемахъ и игру съ предметомъ описанія. Разказы гр. Л. Н. Т. имѣютъ строгое выраженіе, и отсюда тайна впечатлѣнія, производимаго ими на читателя. Съ необычайнымъ вниманіемъ слѣдитъ онъ за нарождающимися впечатлѣніями сперва ребенка, а потомъ отрока, и каждое слово его проникнуто уваженіемъ, какъ къ задачѣ, принятой имъ на себя, такъ и къ возрасту, который столько же имѣетъ неразрѣшенныхъ вопросовъ, нравственныхъ паденій и поворотовъ, сколько и всякій другой возрастъ. Все это не могло остаться безъ послѣдствій. Полнота выраженій въ лицахъ и предметахъ, глубокія психическія разъясненія и, наконецъ, картина нравовъ извѣстнаго свѣтскаго и строго приличнаго круга, картина, написанная такой тонкой кистью, какой мы давно не видали у себя при описаніи высшаго общества, были плодомъ серіознаго пониманія авторомъ своего предмета. вмѣстѣ съ тѣмъ изображеніе первыхъ колебаній воли, сознаніе мыслей у ребенка, благодаря тому же качеству, возвышаются у автора до исторіи всѣхъ дѣтей извѣстнаго мѣста и извѣстной эпохи, и какъ исторія, написанная поэтомъ, она уже заключаетъ, рядомъ съ поводами къ эстетическому наслажденію, и обильную пищу для всякаго мыслящаго человѣка.

Замѣчательная дѣятельность мысли была уже необходима, разумѣется, автору для представленія молодого существа, жизнь котораго есть только развитіе идей, въ чемъ, между прочимъ, дѣти сходятся со многими писателями — разница только въ значеніи и качествахъ идей. Но при участіи мысли въ созданіи — первый вопросъ, представляющійся обсужденію всегда одинъ: какъ проявляется мысль у автора? Повѣствованіе гр. Л. Н. Т. имѣетъ многія существенныя качества изслѣдованія, не имѣя ни малѣйшихъ внѣшнихъ признаковъ

его и оставаясь, по преимуществу, произведеніемъ изящной словесности. Искусство здѣсь находится въ дружномъ отношеніи къ мысли, постоянно присутствующей въ разсказѣ, и указать способъ, какимъ образомъ совершилось это припреніе, — значитъ подтвердить живымъ примѣромъ основныя положенія нашей статьи. Прежде всего должно замѣтить, что авторъ всегда держится перваго жизненнаго условія всякаго художественнаго повѣствованія: онъ не пытается извлечь изъ предмета описанія то, что онъ дать не можетъ, и поэтому не отступаетъ ни на шагъ отъ простаго психическаго изслѣдованія его. Нѣтъ признаковъ противозстетическаго смѣшенія цѣлей въ разсказахъ гр. Л. Н. Т. — ничего не приноситъ онъ извнѣ, заготовленнаго другими, такъ же какъ отстраняетъ отъ нихъ вліяніе какихъ-либо любимыхъ идей, почерпнутыхъ въ особенномъ представленіи общества и человѣка, болѣе или менѣе благородномъ, болѣе или менѣе имѣющемъ похвальную цѣль. Онъ избѣгнулъ этихъ пятенъ современной литературы: оттого и содержаніе произведеній его имѣетъ здоровый видъ, убѣдительность и ясность почти физическихъ предметовъ. Онъ зорко смотритъ на себя и вокругъ себя, и мысль его въ обоихъ случаяхъ устремлена только на то, чтобъ показать сущность характеровъ и происшествій за виѣшними подробностями, затемняющими ихъ значеніе для менѣе проницательныхъ глазъ. Когда достигаетъ онъ поясненія ихъ же природными свойствами, онъ останавливается, не заботясь о томъ, какой видъ начинаютъ они принимать послѣ того: работа его кончилась, и это мы называемъ художнической работой.

Затѣмъ любопытно посмотрѣть на самое приложеніе его психическаго анализа къ дѣлу. Едва вспоминаетъ онъ какое-либо дѣтское ощущеніе, какую-либо раннюю попытку ребяческой мысли, какъ въ то же время представляется ему давленіе этой мысли на самый характеръ молодого человѣка и цѣпь случаевъ, происшествій, вызванныхъ ею; другими словами, онъ облачаетъ ее въ форму искусства, даетъ ей плоть и настоящее бытіе въ области изящнаго. Въ какомъ вѣрномъ отношеніи находятся эти результаты съ первымъ поводомъ, родившимъ ихъ, читатель можетъ убѣдиться самъ въ разсказахъ гр. Л. Н. Т. Рѣдкіе писатели такъ логически послѣдовательны, такъ строго вѣрны своимъ идеямъ и рѣдкіе



такъ сильно убѣждены въ единствѣ мысли и поступка, какъ онъ. Все это показываетъ, во-первыхъ, истинное пониманіе сущности автобіографіи, а во-вторыхъ, глубокое его познаніе самой природы того возраста, котораго онъ сдѣлался историкомъ. При этомъ живомъ художественномъ объясненіи дѣтства есть одна черта у автора, которая обнаруживаетъ его способность пониманія предметовъ чисто поэтически, именно: онъ вѣруетъ въ жизненное дѣйствіе его организма и съ настоящимъ чувствомъ поэта уловляетъ ту минуту, когда природа сама по себѣ, безъ всякаго пособія со стороны, даетъ искру мысли, первый признакъ чувства и первую склонность.

Онъ слѣдитъ потомъ за ходомъ ихъ во всемъ ихъ извилистомъ полетѣ черезъ множество ощущеній и случаевъ, которые они окрашиваютъ своимъ цвѣтомъ. Какъ поступаетъ авторъ въ отношеніи самого себя, своей внутренней исторіи, такъ поступаетъ онъ и въ отношеніи внѣшней обстановки, гдѣ судьба опредѣлила ему находиться.

Онъ не обсуждаетъ тотъ кругъ, куда былъ поставленъ, и который, не очень глубоко и серьезно понимая вещи, бережетъ только внѣшній видъ достоинства и благородства: онъ его описываетъ. Кругъ этотъ служитъ рамой для автора, гдѣ вращается повѣствованіе его о странствіяхъ дѣтской мысли, безпрестанно возникающей по закону собственной производительности. Отношенія между кругомъ и юнымъ наблюденіемъ, старающимся разгадать его и испытывающимъ на себѣ его вліяніе, составляетъ хронику, исполненную занимательности, перипетій и катастрофъ, которыя, къ удивленію читателя, оковываютъ его вниманіе, какъ перипетіи и катастрофы драматическихъ героевъ, и такимъ образомъ, изъ представленія параллельнаго хода жизненныхъ явленій и психическихъ движеній образуется у него рассказъ, исполненный мысли и вполне художественный. Само собой разумѣется, что если таково общее впечатлѣніе его рассказовъ, то и всѣ подробности ихъ отличаются тѣмъ же характеромъ.

У повѣствователя нашего уже почти нѣтъ малозначительныхъ внѣшнихъ признаковъ для лица, ничтожныхъ подробностей для событія. Наоборотъ, каждая черта въ тѣхъ и другихъ доведена до значенія, иногда до разумности, смѣетъ выразиться, поражающей даже и такіе глаза, которые отъ

привычки къ темнотѣ мало способны къ различенію предметовъ. Отсюда рождается замѣчательная выпуклость какъ лицъ, такъ и происшествій. Авторъ доводитъ читателя, неослабной провѣркой всего встрѣчающагося ему, до убѣжденія, что въ одномъ жестѣ, въ незначительной привычкѣ, въ необдуманномъ словѣ человека скрывается иногда душа его, и что они часто опредѣляютъ характеръ лица такъ же вѣрно и несомнѣнно, какъ самые яркіе, очевидные поступки его. Обѣ части разсказа наполнены подобными изображеніями роли второстепенныхъ и третьестепенныхъ признаковъ въ жизни человека, но особенно выказалось это присутствіемъ мысли, наполняющей содержаніемъ все, до чего она коснулась, въ главахъ второго разсказа: „Отрочество“. Въ одной изъ нихъ, напримѣръ, авторъ рисуетъ способъ держаться двухъ подругъ, Любочки и Катеньки, и, не говоря ни слова о разности ихъ характеровъ, открываетъ нравственную сущность обѣихъ дѣвушекъ — въ манерѣ ходить, носить голову, складывать руки, говорить съ людьми и смотрѣть на подходящаго, возвышая такимъ образомъ незначительные внѣшніе признаки до вѣрныхъ, глубокихъ психическихъ свидѣтельствъ.

Происшествія въ разсказѣ имѣютъ точно такое же значеніе: вездѣ его переводъ мысли на дѣло, на сущность. Каждая дробная часть душевной, нравственной жизни отражается у автора въ такомъ же добромъ, мелкомъ, но граціозномъ и вѣрномъ случаѣ. Истина обонхъ, какъ перваго повода, такъ и результата, особенно подтверждается тѣмъ, что въ разсказѣ гр. Л. Н. Т. нѣтъ признака анахронизмовъ или хронологическаго смѣшенія происшествій. Впечатлѣнія и событія дѣтства проще, наивнѣе, граціознѣе впечатлѣній и событій отрочества, которыя становятся сложнѣе, запутаннѣе, разсудочнѣе и потому драматичнѣе. Вотъ почему мысли и оболочка ея въ области искусства, т.-е. характеры, образъ и событія слиты у автора и представляютъ одно цѣлое, дѣйствующее сильно и благотѣльно на читателя.

Мы возстали противъ авторскаго вмѣшательства вообще въ разсказъ, но, конечно, подобное изложеніе двухъ первоначальныхъ эпохъ жизни не могло быть сдѣлано иначе возмужалой рукой, которая вездѣ и проглядываетъ. Вмѣшательство автора тутъ, однакоже, отходитъ въ общую систему,



которая, какъ можно замѣтить, присутствовала при сочиненіи разсказовъ. Оно допущено, какъ поясненіе того, что смутно лежитъ въ представленіи ребенка, но что уже лежитъ въ немъ — несомнѣнно. Авторъ дѣлается только толмачомъ дѣтскихъ впечатлѣній. Такъ, буря на дорогѣ, во второмъ разсказѣ, столь превосходно описанная, конечно, не такъ полно и подробно могла отразиться въ воображеніи ребенка, но она отразилась въ немъ цѣликомъ, грудой, уже заключавшей въ себя подробности, уловленные и опредѣленные въ послѣдствіи. Возмужалый авторъ только ихъ развилъ, извлекъ изъ темнаго представленія для ясной, поэтической картины и ею пояснилъ себѣ то, что въ первые годы только чувствовалъ. Таково и вездѣ его вмѣшательство.

Оставляемъ нѣкоторыя критическія замѣчанія до полнаго выхода произведенія гр. Л. Н. Т., но скажемъ теперь же, что если послѣднія двѣ части его разсказа, которыхъ ожидаемъ съ нетерпѣніемъ, будутъ надѣлены такой же дѣльной мыслию и такимъ же изложеніемъ многообразныхъ ея проявленій въ жизни, то мы можемъ теперь же поздравить себя съ замѣчательнымъ литературнымъ явленіемъ. Конечно, послѣдующая работа автора гораздо труднѣе, чѣмъ та, которую онъ уже представилъ публикѣ; дѣтство и отрочество имѣютъ въ самомъ себѣ много такого, что подкупаетъ и привлекаетъ читателя: эпохи юношества и возмужалости уже требуютъ изображенія характера, который, по сущности своей, по своимъ стремленіямъ и даже по своимъ паденіямъ достоинъ былъ бы усилій и изысканій мысли. Тутъ предстоитъ опасность встрѣтить разнорѣчивыя мнѣнія о чловѣкѣ, чего вполне можетъ избѣгнуть эпоха дѣтства, имѣющая въ себѣ полное оправданіе. Не будемъ однакоже загадывать напередъ, а скорѣе полагаться на природную силу таланта въ авторѣ, которую онъ особенно показалъ въ сферѣ искренняго и глубокаго разъясненія душевныхъ оттѣнковъ. Судя даже по тому, что теперь имѣемъ отъ него, мы уже съ полнымъ убѣжденіемъ причисляемъ гр. Л. Н. Т. къ лучшимъ нашимъ разсказчикамъ и ставимъ его имя на ряду съ именами гг. Гончарова, Григоровича, Писемскаго и Тургенева, — именами, которыя, конечно, останутся въ памяти читателей и на страницахъ исторіи русской словесности и будутъ почтены добрымъ словомъ какъ тамъ, такъ и здѣсь.

Анненковъ.

## Художественныя достоинства „Дѣтства и Отрочества“.

Повѣсть Л. Н. Т. „Отрочество“ мы читали, перечитали и готовы опять читать. Мы испытывали тѣ же чувства удовольствія безграничнаго, съ которыми познакомились два года назадъ, читая „Дѣтство“, повѣсть того же автора. Не знаемъ, что больше хвалить въ этихъ двухъ повѣстяхъ: талантъ ли автора неоспоримый, мастерство ли разсказа, или ту умную наблюдательность, которая такъ рѣдка. Сверхъ того, гр. Л. Н. Т. во многихъ мѣстахъ своихъ повѣстей — истинный поэтъ. Всѣ эти достоинства поставили гр. Л. Н. Т. сразу, какъ семь лѣтъ назадъ г. Гончарова, съ которымъ у него очень много общаго, въ число немногихъ лучшихъ нашихъ писателей послѣдняго времени.

Насъ поразило въ гр. Л. Н. Т. то умѣнье писать, которое дается только долгими и трудными годами опытности. Ни одного слова лишняго, ни одной черты ненужной, ни одной фразы безъ картинки или безъ цѣли: это доказываетъ, что гр. Л. Н. Т. трудится и долго трудится надъ своими произведеніями и не бросаетъ ихъ въ печать недоконченными. Обѣ повѣсти, по смыслу уже самаго заглавія „Дѣтство“ и „Отрочество“, обнимаютъ предметы очень широкіе. Дѣтство и отрочество могутъ быть или такія, какъ они описаны у графа Л. Н. Т., могутъ существовать и при совершенно другихъ условіяхъ. Всѣ недавно читали дѣтство и отрочество Коперфильда, написанное авторомъ, знаменитымъ своими описаніями дѣтскаго возраста; читали у того же Диккенса исторію множества другихъ дѣтей, развившихся подъ совершенно другими условіями, какъ, напримѣръ, несчастнаго Джо въ послѣднемъ романѣ: „Холодный домъ“. Слѣдовательно, это рама очень широкая, и въ нее можно вставлять какія угодно картины. Графъ Т. написалъ на эту тему нашу русскую картину и сумѣлъ въ ней быть такимъ же глубокимъ наблюдателемъ общей человѣческой натуры, какъ и Диккенсъ — вотъ его главное достоинство. Англичанинъ пойметъ ее такъ же хорошо, какъ и русскій, хотя это и совершенно русская картина. Отъ этого же, въ исторіи дитяти, которую описываетъ гр. Т., хотя и не всѣ найдутъ общественныя



условія своего развитія, но въ то же время ее всѣ поймутъ и будутъ сочувствовать этому дитяти, потому что будутъ видѣть въ немъ себя, только подъ другими формами. Если жизнь деревенская, путешествіе на долгихъ въ Москву и пребываніе въ Москвѣ знакомятъ васъ съ эссенціею чисто русскаго общества, то въ первомъ пробужденіи ума, въ первыхъ наклонностяхъ дитяти и въ дальнѣйшемъ его развитіи мы видимъ исторію не одной русской, но и вообще человѣческой жизни.

Дѣтство, какъ обширная цѣпь разнородныхъ поэтическихъ и безотчетныхъ нашихъ представленій объ окружающемъ, дало автору возможность взглянуть на всю деревенскую жизнь въ такихъ же поэтическихъ чертахъ. Онъ выбиралъ изъ этой жизни все, что поражаетъ дѣтское воображеніе и умъ, а талантъ автора былъ такъ силенъ, что представилъ эту жизнь именно такою, какъ ее видитъ ребенокъ. Все окружающее его входитъ въ его повѣсть настолько, насколько оно поражаетъ воображеніе дитяти, и потому всѣ главы повѣсти, повидимому совершенно разрозненныя, соединяются въ одно: всѣ онѣ показываютъ взглядъ ребенка на міръ. Но большой талантъ автора виденъ еще вотъ въ чемъ. Казалось бы, при такой манерѣ изображать дѣйствительную жизнь подъ вліяніемъ дѣтскихъ впечатлѣній, трудно дать мѣсто взгляду не дѣтскому и вполне обрисовать характеры: подивитесь же, когда по прочтеніи этихъ рассказовъ, ваше воображеніе живо нарисуетъ вамъ и мать, и отца, и няню, и гувернера, и все семейство, и нарисуетъ красками поэтическими.

Въ отрочествѣ безотчетность дѣтскаго представленія исчезаетъ; умъ начинаетъ какъ будто что-то понимать и, какъ справедливо говоритъ авторъ, начинаетъ понимать, что, кромѣ родныхъ и семейства, существуетъ много другихъ людей, которые живутъ... Но „какъ живутъ, чему ихъ учать и кто ихъ учитъ, во что они играютъ, и наказываютъ ли ихъ?...“ Первый толчокъ, который получилъ умъ ребенка, во время дороги изъ деревни въ Москву, начинается съ лѣтами развиваться быстрѣе, и характеръ ребенка завязывается. Сцена на балѣ въ Москвѣ, за которую „отрока“ посадили въ чуланъ, написана съ такимъ же великимъ знаніемъ, какъ и сцены дѣтства. Что-то борется, ломается въ ребенкѣ; неопредѣленныя мысли, неясныя чувства, безотчетныя желанія, всѣ вы-

ражаются въ этомъ переходномъ возрастѣ — и они прекрасно изображены и поняты гр. Т. Слабѣе и не вполне изображены тѣ вопросы, которые занимаютъ насъ въ отрочествѣ, — занимаютъ и въ то же время пугаютъ пробуждающуюся мысль. Что именно могло занимать мысль пятнадцатилѣтняго Николая, совершенно справедливо указано авторомъ въ XVIII главѣ „Отрочества“, но указано, какъ общая программа. Не такъ онъ выразилъ дѣтство и его смутныя представленія: они слились у него съ жизнью и случаями семейной жизни; не такъ онъ выразилъ и первое броженіе неустановившагося характера: оно все видно на сценѣ на балу, въ забавахъ съ товарищами, въ ненависти къ Јером'у; но первое развитіе мысли осталось пока только программой... Впрочемъ, въ „Отрочествѣ“ оно только и начинается: дальнѣйшее развитіе должно быть въ юности, гдѣ мы, конечно, и увидимъ его. Что поражало впервые пугливую мысль въ отрочествѣ, становится яснѣе въ юности, потому что дѣлается опредѣленнѣе. Гр. Т. — истинный поэтъ, и на кого не подѣйствуетъ описаніе грозы въ „Отрочествѣ“, тому не совѣтуемъ читать стиховъ ни г. Тютчева ни г. Фета: тотъ ровно ничего не пойметъ въ нихъ; на кого не подѣйствуютъ послѣднія главы „Дѣтства“, гдѣ описана смерть матери, въ воображеніи и чувствѣ того ужъ ничѣмъ не пробьешь отверстія. Кто прочтетъ XV главу „Дѣтства“ и не задумается, у того въ жизни рѣшительно нѣтъ никакихъ воспоминаній.

Въ доказательство нашихъ словъ, позволимъ себѣ указать на описаніе грозы во время дороги, какъ отдѣльный и полный эпизодъ. Въ немъ читатель увидитъ и ту наблюдательность, о которой мы говорили, и ту поэзію, съ которой мы знакомы по стихотвореніямъ гг. Фета и Тютчева; увидитъ и мастерство Т. не говорить фразъ, ничего незначащихъ, но каждымъ словомъ рисовать новыя картины; увидитъ также и отсутствіе всякой аффектаціи въ разсказѣ и простоту необъяснимую. Кто не читалъ самой повѣсти, тотъ все-таки не пойметъ изъ нашихъ словъ всѣхъ достоинствъ разсказа Толстого. Кто, слыша въ нашей литературѣ и особенно критикѣ много толковъ о художественности, не понялъ (а это очень немудрено), что такое писатель-художникъ, тому посоветуемъ прочесть произведеніе Толстого, и онъ пойметъ художественность лучше всякихъ разсужденій. Толстой пре-



имуущественно и исключительно художникъ: всѣ эти достоинства, о которыхъ мы говорили выше, служатъ Толстому, какъ вспомогательныя средства сдѣлать свой рассказъ художественнымъ. Это его цѣль, дальше которой онъ и не идетъ. Но ею-то и стоитъ полюбоваться: какъ выставить столько лицъ, сколько ихъ въ „Дѣтствѣ и Отрочествѣ“, выставить въ идеальномъ свѣтѣ, и ни одно изъ нихъ не утрировать! Какъ спрятать до такой степени мысль за цѣлый рядъ живыхъ лицъ, что сперва кажется, будто все произведеніе написано безъ всякой мысли! Какъ умѣть изъ такихъ мелкихъ подробностей, разъединенныхъ между собою, составить цѣлую картину, полную жизни и тѣсно связанную въ частяхъ!

*Изъ „Отечественныхъ Записокъ“ 1854 г.*

## Личное участіе Толстого въ оборонѣ Севастополя.

Политическія недоразумѣнія вызвали между тѣмъ войну. 18 мая 1853 г. Меншиковъ, русскій посолъ при турецкомъ дворѣ, прекратилъ съ Турціей всякія дипломатическія отношенія. Уже 31-го числа Россія увѣдомила султана о занятіи ею Придунайскихъ княжествъ; а 2-го іюня русскія войска перешли Прутъ и заняли Молдавію. Омеръ-Паша вышелъ навстрѣчу. 28-го октября онъ перешелъ у Виддина черезъ Дунай, и, въ то время какъ европейскія державы переговаривались между собой, какое положеніе имъ занять по отношенію къ императору Николаю, со стороны Турціи была 4 ноября 1853 г. объявлена война Россіи. Событія приняли небывало быстрый ходъ. 30-го ноября русскій адмиралъ Нахимовъ уничтожилъ турецкій флотъ при Синопѣ. Побѣда русскихъ вызвала участіе западныхъ державъ, и союзники Порты — французы и англичане объявили Россіи войну. То была кровавая война, которой исторія, по мѣсту дѣйствія, дала имя Крымской.

Левъ Николаевичъ еще до начала войны просилъ о переводѣ его въ ту часть арміи, которая стояла на Дунаѣ, подъ командой Миклаша Дмитріевича Горчакова. Зимой 1853 г. Толстой опять въ Ясной Полянѣ. Возвращенію его радуется не одна тетушка, а всѣ братья его съ общимъ ихъ другомъ,

Перфильевымъ, собрались въ Ясной Полянѣ. Послѣ короткаго пребыванія на родинѣ Толстой отправляется въ Бухарестъ, гдѣ проводитъ нѣсколько дней декабря въ Дунайской арміи. Успѣхъ Горчаковскихъ войскъ былъ очень незначителенъ. Въ первые мѣсяцы 1853 г. они тщетно старались прогнать турокъ изъ Калафата. 4-го ноября смѣлому Омеру-пашѣ даже удалось укрѣпиться на сѣверномъ берегу рѣки и отбить нападеніе русскихъ при Ольтеницѣ. Въ числѣ офицеровъ побѣжденнаго войска находился и графъ Левъ Николаевичъ Толстой.

Съ конца апрѣля по іюль 1854 г. русскія войска расположены были подъ стѣнами и валами Силистріи; но храбрость Муссы-паши и искусство прусскаго артиллерійскаго офицера Граха отбили всѣ штурмы русскихъ и заставили русскаго главнокомандующаго, — такъ какъ въ это время къ Галлиполи и Варнѣ подоспѣли непріятельскія войска, — отозвать свое слабое войско обратно за Дунай, а потомъ и за Прутъ.

Изъ Силистріи Толстой перешелъ въ Яссы, а изъ Яссъ — въ Крымъ и Севастополь.

*Севастополь*, какъ это уже извѣстно, былъ одной изъ самыхъ сильныхъ морскихъ крѣпостей на берегу Чернаго моря, и союзникамъ пришлось 11 мѣсяцевъ бороться съ русской выдержкой и храбростью, прежде чѣмъ открыть эти ворота на югъ Россіи. 5-го сентября началась высадка съ непріятельскихъ союзныхъ кораблей. Главнокомандующимъ русскихъ войскъ былъ назначенъ князь Меншиковъ. Въ то время какъ союзники старались проникнуть въ глубь страны, искусству инженера Тотлебена удалось посредствомъ возведенія фортовъ и бастіоновъ сдѣлать крѣпость почти неприступной. Продолжавшееся обстрѣливаніе Севастополя съ массой человѣческихъ жертвъ, отрѣзъ подвоза жизненныхъ припасовъ принудили однако русскихъ 27 августа 1855 года къ сдачѣ Севастополя. Храбрости и самопожертвованію русскихъ войскъ, какъ матросовъ, такъ и солдатъ сухопутнаго войска не могли надвинуться и сами непріатели. Съ изумительной неутомимостью исполняли они всѣ приказанія инженера Тотлебена. Всѣ работали для укрѣпленія города, все населеніе, воодушевленное патріотизмомъ, помогало войску; женщины и дѣти не отставали отъ него; даже преступники, выпущенные изъ тюремъ, приняли участіе въ общей работѣ.



Многія недѣли, и даже мѣсяцы, носилась смерть надъ улицами города: пули бомбы такъ и свистали въ воздухѣ. Безпрерывный лязгъ оружія отнималъ послѣдній покой у обывателей. Самая ужасная и самая сильная борьба происходила на Малаховомъ курганѣ,—этой по природѣ и искусству самой сильной части Севастополя.

Офицеръ Левъ Николаевичъ Толстой принималъ дѣятельное участіе во всѣхъ этихъ опасностяхъ. Его мѣсто было одно изъ самыхъ опасныхъ — на 4-мъ бастіонѣ: не прошло почти часа, чтобы надъ головами осажденныхъ не витала смерть. И несмотря на постоянное безпокойство, поэтъ находилъ въ себѣ достаточно творческой силы, чтобы написать свой первый изъ военныхъ крымскихъ рассказовъ: „Севастополь въ декабрѣ“. Можетъ-быть, именно волненіе этихъ дней такъ повліяло, что изъ маленькаго очерка вышло гениальное произведеніе.

Толстой въ кругу своихъ товарищей былъ любимъ и уважаемъ. Его считали столь же храбрымъ и дѣльнымъ офицеромъ, какъ и любезнымъ товарищемъ, съ которымъ можно весело провести короткое время отдыха.

„Своими рассказами и быстрой импровизаціей стиховъ“, такъ передаетъ намъ одинъ изъ его батарейныхъ товарищей, „графъ воодушевлялъ всѣхъ и заставлялъ забывать тяжелыя минуты войны. Онъ былъ, въ полномъ смыслѣ слова, душой всей нашей батареи. Когда онъ находился среди насъ, то мы вовсе не замѣчали, какъ проходило время; въ его же отсутствіе (что случалось часто, потому что онъ охотно дѣлалъ небольшія прогулки въ Симферополь), товарищи обыкновенно вѣшали носы отъ скуки. Наконецъ, онъ возвращался, совсѣмъ какъ заблудшій сынъ — угрюмый, худой, недовольный цѣлымъ свѣтомъ. Тогда онъ отводилъ меня въ сторону — и начиналась генеральная исповѣдь. Онъ имѣлъ обыкновеніе рассказывать все: сколько онъ проигралъ, сколько выпилъ, гдѣ проводилъ дни и, конечно, ночи и т. д. Онъ жаловался и страдалъ отъ укоровъ совѣсти, будто, Богъ вѣсть, какія совершилъ преступленія. Понятно, бѣдному малому нужно было оказать участіе, вѣдь это былъ такой человѣкъ! Однимъ словомъ — рѣдкій человѣкъ! Откровенно говоря, я не совсѣмъ понималъ его. Во всякомъ случаѣ, это былъ превосходный товарищъ, честная душа и золотое

сердце. Кому случилось сойтись съ нимъ близко, тотъ не могъ не полюбить его и, навѣрно, никогда не забудеть“.

Въ то время когда наши войска съ безпримѣрнымъ терпѣніемъ выносили страшныя страданія, восторженная Россія читала поэтическія изображенія ея геройства въ дивныхъ образахъ одного изъ участниковъ войны. Императоръ Николай Павловичъ былъ тоже заинтересованъ произведеніями молодого офицера. Онъ тотчасъ же сдѣлалъ распоряженіе удалить его съ 4-го бастіона, чтобы сохранить жизнь подающаго такія богатая надежды таланта, и приказалъ внимательно слѣдить за участіемъ этого молодого человѣка. Левъ Николаевичъ былъ переведенъ на флангъ, по правую сторону рѣчки Бельбекъ, и назначенъ командиромъ горной батареи. И здѣсь сумѣлъ онъ соединить исполненіе обязанностей солдата съ призваніемъ поэта. Въ это время вышелъ не только „Севастополь въ маѣ“, но и второй рассказъ, плодъ кавказскихъ впечатлѣній и событій, — „Рубка лѣса“. 4 августа 1855 г. онъ командовалъ своей батареей въ сраженіи при Черной. Только что передъ этимъ въ Крымъ пріѣхалъ баронъ П. А. Вревскій. Онъ привезъ съ собой приказъ императора Александра II князю Горчакову немедленно собрать военный совѣтъ и дѣйствовать по его рѣшенію. Военный совѣтъ рѣшилъ попробовать фланговымъ нападеніемъ разбить позицію союзныхъ войскъ на югѣ и востокѣ Севастополя. Но генералъ Фаухеръ вторично отразилъ нападеніе русскихъ и занялъ въ тылу у нихъ берегъ рѣки вмѣстѣ съ Чернымъ мостомъ.

Введенный въ заблужденіе неправильно понятымъ приказомъ высшей власти, генералъ Редъ предпринялъ смѣлое намѣреніе атаковать Федюхинскія высоты и съ отважностью повелъ своихъ храбрыхъ солдатъ на вѣрную смерть.

Несчастный эпизодъ этой кровавой войны рѣшительнымъ образомъ подѣйствовалъ на судьбу молодого артиллерійскаго офицера. Начиная съ 5-го августа, нападенія союзниковъ продолжались безъ перерыва. Достоинно глубокаго удивленія то терпѣніе, которое выказали русскіе передъ смѣлой храбростью французовъ и холоднымъ мужествомъ англичанъ; но все увеличивавшееся число жертвъ, наконецъ, надломилъ энергію осажденныхъ. Послѣ 25-го августа началась страшная бом-



бардировка, которая въ ночь на 28-е августа положила рѣшительный конецъ этой кровопролитной войнѣ.

Толстой неотступно оставался при войскѣ и пережилъ всю горькую участь осажденныхъ на своемъ посту, какъ командиръ горной батареи. Въ день рѣшительной битвы онъ находился въ числѣ храбрыхъ защитниковъ укрѣпленій и вмѣстѣ съ другими покинулъ городъ только на слѣдующую ночь.

Командиръ артиллеріи Крыжановскій поручилъ Толстому изъ всѣхъ рапортовъ артиллерійскихъ офицеровъ всѣхъ бастіоновъ составить одинъ общій и лично доставить его въ столицу, потому что сейчасъ же, послѣ кровавыхъ событій 28-го августа, Толстой былъ причисленъ къ ракетной батарее и вскорѣ посланъ курьеромъ въ Петербургъ. Но раньше чѣмъ этотъ богатый событіями годъ пришелъ къ концу, графъ подалъ въ отставку. Онъ сложилъ съ себя оружіе, чтобы съ этого времени держать въ рукахъ одно оружіе — перо.

Это міровое событіе сильно подѣйствовало на умъ и сердце Льва Николаевича Толстого. Здѣсь характеръ войны былъ другой, чѣмъ на Кавказѣ: здѣсь интеллигенція отличалась такой же храбростью, если не большей, чѣмъ простые солдаты, здѣсь господствовали подчиненіе, послушаніе, патріотизмъ, воодушевленіе, какъ у низшаго рядового, такъ и у образованнаго офицера. И если и здѣсь, какъ и тамъ, на Кавказѣ, алчность, жажда славы, карьеры, крестовъ и почестей шли рядомъ съ храбростью и самопожертвованіемъ, — то здѣсь, все-таки, сглаживалась та рѣзкая противоположность, какая поразила на Кавказѣ наблюдательный глазъ писателя между легкомысліемъ офицерскихъ чиновъ и преданностью простыхъ солдатъ и сплотилась въ одно общее восторженное настроеніе, въ горячую любовь къ отечеству.

И снова воплощаетъ Толстой видѣнное и лично имъ пережитое въ образы съ доступной ему одному и изумительной вѣрностью дѣйствительности, но въ которыхъ какъ бы умышленно отсутствуетъ художественная подкладка. Для него, съ его тонкимъ чутьемъ, не существуетъ ни хорошаго ни худого; описывая храбрость и изображая густыми красками зло и ужасныя стороны войны, онъ вовсе не имѣетъ цѣли сдѣлать первую предметомъ подражанія или напугать кого-либо послѣдними; даже въ отдѣльныхъ дѣйствующихъ лич-

постяхъ въ своихъ произведеніяхъ онъ не старается вывести образцы воинственныхъ добродѣтелей или отталкивающихъ примѣровъ противоположности. Всѣ люди „не могутъ быть ни злодѣями ни героями повѣсти. Герой же моей повѣсти, котораго я люблю всѣми силами души, котораго старался воспроизвести во всей красотѣ его и который всегда былъ, есть и будетъ прекрасенъ — правда“.

Толстой не безъ расчетливаго основанія выбралъ 3 мѣсяца для изображенія Севастополя, такъ какъ они имѣли рѣшительное значеніе для войны: время развитія, время обороны и трагическаго конца, — „Севастополь въ декабрѣ“, „Севастополь въ маѣ“ и „Севастополь въ августѣ“.

„Севастополь въ декабрѣ“ рисуется намъ картины первыхъ дней осады Севастополя, когда въ городѣ не было почти ни одного укрѣпленія, не было войскъ, не было физической возможности удержать его, и, все-таки, не было ни малѣйшаго сомнѣнія, что онъ не отдастся непріятелю, — дней, когда герой, достойный древней Греціи — Корниловъ, объѣзжая войска, говорилъ: „Умремъ, ребята, а не отдадимъ Севастополя!“ А русскіе, неспособные къ фразерству, отвѣчали: „Умремъ! ура!“

Толстой ведетъ насъ къ пристани, гдѣ два или три отставныхъ матроса предлагаютъ вамъ свои услуги. Вы выбираете яликъ и плывете мимо полосатой громады кораблей, близко и далеко разбѣянныхъ по бухтѣ, и мимо небольшихъ шлюпокъ, движущихся по блестящей лазури водъ, мимо красивыхъ, свѣтлыхъ стросній города, окрашенныхъ розовыми лучами утренняго солнца. Старикъ-матросъ указываетъ вамъ на „Константина“, на которомъ всѣ пушки были цѣлы и на которомъ жилъ самъ Корниловъ.

Вашъ яликъ быстро скользитъ мимо набережной, гдѣ кипитъ пестрая жизнь. Вы выходите на берегъ и входите въ большой залъ собранія; тамъ, гдѣ раньше царило веселье, теперь лежатъ жертвы войны, — легко и тяжело раненые, на которыхъ видна заботливая рука самаритянокъ. Въ это время къ вамъ подходитъ женщина, жена матроса, и начинаетъ рассказывать намъ о храбрости своего мужа, который лежитъ тутъ съ ампутированной ногой, про его страданія, про отчаянное положеніе, въ которомъ онъ находился 4 недѣли, про то, какъ, будучи раненъ, остановилъ носилки съ тѣмъ,



чтобы посмотре́ть на заливъ русской батареи, какъ великіе князья говорили съ нимъ и пожаловали ему 25 руб., и какъ онъ сказалъ имъ, что хочетъ опять идти на бастионъ, чтобы учить молодыхъ солдатъ, если самъ не будетъ въ состояніи работать. Среди раненыхъ солдатъ и матросовъ лежитъ на койкѣ женщина съ горячимъ румянцемъ на щекахъ.

— Это нашу матроску 5-го числа въ ногу задѣло бомбой, — скажетъ вамъ путеводительница, — она мужу на бастионъ обѣдъ носила, и теперь выше колѣнъ ногу отрѣзали. — Если ваши нервы крѣпки, то загляните въ операціонную комнату, гдѣ доктора, съ окровавленными по локоть руками и съ блѣдыми угрюмыми фізіономіями исполняютъ свой тяжелый долгъ. „Что значить смерть и страданія такого ничтожнаго червяка, какъ я, въ сравненіи съ столькими смертями и съ столькими страданіями?“ болѣзненнымъ стономъ вырывается изъ груди рассказчика. Вотъ, навстрѣчу вамъ попадается похоронное шествіе: въ красномъ гробу несутъ офицера съ музыкой и развѣвающимися знаменами. Зайдите теперь въ трактиръ. Офицеры ведутъ рассказы про нынѣшнюю ночь, про то, какъ дорого и нехорошо подаютъ котлетки, про дѣло 24-го числа, про то, какъ убить тотъ-то и тотъ-то изъ товарищей, и о томъ, какъ плохо живетъ на 4-мъ бастионѣ. Улицы, ведущія туда, уже болѣе не обитаемы: неприятельская батарея выбила гдѣ окно, гдѣ уголъ стѣны, гдѣ крышу. Строенія кажутся старыми, испытавшими всякое горе и нужду ветеранами и какъ будто гордо и нѣсколько презрительно смотрятъ на васъ. Однако вездѣ господствуютъ порядокъ, спокойствіе, мужество, потому что всѣ готовы умереть за отечество. Прошло 6 мѣсяцевъ, какъ тысячи бомбъ, ядеръ и пуль не переставали летать съ бастионовъ въ траншеи и изъ траншей въ бастионы.

Войско и населеніе, кажется, привыкли уже къ вѣчному безпокойству и несутъ съ невозмутимымъ равнодушіемъ свою печальную участь. На бульварѣ, какъ и въ мирное время, играетъ полковая музыка, и толпы военного люда и женщины празднично двигаются около павильона. Внизу по тѣнистымъ, пахучимъ аллеямъ бѣлыхъ акацій ходили и сидѣли уединенно отдѣльныя группы. Одну изъ этихъ группъ составляютъ 4 офицера, которые, понятно, ни о чемъ другомъ не говорятъ, какъ о прошедшихъ и предстоящихъ сраже-

ніяхъ. Къ нимъ подходитъ штабсъ-капитанъ Михайловъ; онъ уже 13-й разъ попадаетъ на бастіонъ, и хотя онъ вызвался на это добровольно, но злосчастное число все-таки усиливаетъ его дурныя предчувствія: имъ овладѣваетъ невыразимо печальное настроеніе духа. Поэтому, войдя въ свою маленькую комнату съ землянымъ поломъ и кривыми окнами, залѣпленными бумагой, онъ садится къ столу и пишетъ прощальное письмо къ отцу. Узнавъ о томъ, его пьяный Никита, съ взбудораженными сальными волосами, вдругъ разразился непринужденными рыданіями и бросился цѣловать руки своего барина, который его любилъ, баловалъ и съ которымъ онъ жилъ уже 12 лѣтъ.

Адъютантъ Калугинъ, одинъ изъ группы 4 офицеровъ, имѣетъ лучшее помѣщеніе, чѣмъ Михайловъ, — у него даже замѣтна нѣкоторая роскошь, и офицеры сидятъ у него вокругъ стола такъ же уютно, какъ у себя дома въ лучшее время. Но среди веселья вдругъ входитъ нѣхотный офицеръ и требуетъ его немедленно къ генералу. Калугинъ спѣшитъ къ нему и возвращается съ извѣстіемъ, что предстоитъ что-то серіозное. Приближающаяся катастрофа дѣлается замѣтной и на улицахъ. Калугинъ и Гальцинъ наблюдаютъ изъ окна огненные линіи бомбъ, скрещивающихся въ воздухѣ, молніи выстрѣловъ, на мгновеніе освѣщающихъ темно-синее небо, и бѣлый дымъ пороха. Иногда становилось трудно отличить звѣзду отъ бомбы. Въ это время къ крыльцу, подъ окномъ, подскакалъ офицеръ, чтобы просить у генерала, остановившагося въ квартирѣ Калугина, подкрѣпленія, и Калугинъ верхомъ на казачьей лошади поѣхалъ на бастіонъ; Гальцинъ, простившись съ товарищемъ, вышелъ на улицу и сталъ ходить по ней взадъ и впередъ. Съ бастіоновъ несутъ и ведутъ раненыхъ; лазаретъ буквально переполненъ. Въ ту минуту когда въ комнату входилъ Гальцинъ, докторъ записывалъ уже 532-го. Даже Калугину кажется „скверно“, и ему невольно приходитъ предчувствіе о смерти; но Калугинъ былъ самолюбивъ и одаренъ деревянными нервами, то, что называютъ однимъ словомъ — храбръ; онъ не поддался первому чувству, и сталъ ободрять себя; среди страшныхъ стоновъ раненыхъ, онъ доходитъ до блиндажа. Михайловъ и другъ его, ротмистръ Праскухинъ, твердо стоятъ на томъ посту, куда призывалъ ихъ долгъ. Покидая ложементы и



идя рядомъ, они замѣтили сзади себя молнію, ярко блеснувшую, — то была бомба, летѣвшая прямо на бастіонъ. Михайловъ и Праскухинъ прилегли къ землѣ; Праскухинъ умираетъ, раненый осколкомъ въ средину груди. Михайловъ же легко раненъ въ голову. Придя въ себя, онъ спѣшитъ въ траншею къ своему другу, желая убѣдиться въ томъ, можетъ ли онъ его еще спасти. Убѣдясь въ томъ, что Праскухинъ убитъ, Михайловъ, пытая и придерживая рукой сбившуюся повязку на головѣ, потащился назадъ къ батальону, который былъ уже почти виѣ выстрѣловъ. Страшный день кончается перемиріемъ: „на нашемъ бастіонѣ и на французской траншеѣ выставлены бѣлые флаги, и между ними, въ цвѣтущей долині, кучами лежатъ изуродованные трупы. Прекрасное солнце спускается къ синему морю, и синее море, колыхаясь, блеститъ на золотыхъ лучахъ солнца. Тысячи людей толпятся, смотрятъ, говорятъ и улыбаются другъ другу. И эти люди — христіане, исповѣдующіе одинъ великій законъ любви и самоотверженія, глядя на то, что они сдѣлали, не упадутъ съ раскаяніемъ вдругъ на колѣни передъ Тѣмъ, Кто, давъ имъ жизнь, вложилъ въ душу каждого вмѣстѣ съ страхомъ смерти, любовь къ добру и къ прекрасному, и со слезами радости и счастья не обнимутся, какъ братья?“

Вотъ уже 11 мѣсяцевъ продолжается осада; все болѣе слабѣетъ надежда у осажденныхъ отбить нападеніе непріятелей. 10-го августа было новое сраженіе. Козельцевъ, раненый 10-го мая осколкомъ въ голову, на которой еще до сихъ поръ онъ носитъ повязку и теперь, чувствуя себя уже съ недѣлю совершенно здоровымъ, ѣхалъ къ полку къ концу августа въ Севастополь. Это былъ одинъ изъ самыхъ страшныхъ дней; бомбардированіе было ужасное. Почтовая станція татарской деревни Дуванка была переполнена солдатами и офицерами. За однимъ столомъ сидятъ нѣсколько совершенно юныхъ офицеровъ-добровольцевъ, только что выпущенныхъ изъ Пажескаго корпуса и сѣвшихъ теперь къ своимъ батареямъ — и вдругъ, когда Козельцевъ хотѣлъ спросить у нихъ о своемъ братѣ, онъ узнаетъ его въ 17-лѣтнемъ мальчикѣ, съ веселыми, черными глазами и румянцемъ во всю щеку. Молодой Козельцевъ не пошелъ даже въ гвардію, такъ хотѣлось ему поскорѣе попасть въ Севастополь. „Я за

тѣмъ проспая, что, все-таки, какъ-то совѣстно жить въ Петербургѣ, когда тутъ умираютъ за отечество“. И вдругъ имъ овладѣваетъ ужасъ при мысли, что сейчасъ прямо въ Севастополь подѣ бомбы... Около такъ называемаго городка, въ одномъ изъ дощатыхъ бараковъ, построенныхъ матросскими семействами, въ палаткѣ, братья нашли офицера, завѣдывавшаго обозами, считавшаго въ это время цѣлую кипу ассигнацій. Отъ него узнаютъ они, наконецъ, гдѣ стоитъ батарея младшаго Козельцева и полкъ старшаго брата. Въ сопровожденіи старшаго брата Володя проходитъ опасный путь къ бастіонамъ. Они простились на перевязочномъ пунктѣ, почти ничего не сказавъ другъ другу въ это послѣднее прощанье, потому что Володѣ по жребію достается идти на самое опасное мѣсто — въ блиндажъ на Малаховомъ курганѣ, гдѣ онъ принимаетъ дѣятельное участіе въ самый тяжелый день для Севастополя, 27-го августа. Это день рѣшительнаго штурма. Бомбардировка продолжалась почти до 12-го часа. Ровно съ боемъ 12 часовъ дня начался штурмъ Малахова кургана, 2-го, 3-го и 5-го бастіоновъ. Козельцевъ-старшій въ схваткѣ съ французами былъ такъ тяжело раненъ пулей, что никакая врачебная помощь не могла уже его спасти. Взявъ слабыми руками крестъ, прижимаясь къ нему губами и плача, онъ спросилъ священника: что, выбиты французы? — Вездѣ побѣда за нами осталась, — отвѣчалъ священникъ, чтобы утѣшить раненаго, скрывая отъ него то, что на Малаховомъ курганѣ уже развѣвалось французское знамя. — Слава Богу! проговорилъ раненый, и мысль о братѣ мелькнула на мгновеніе въ его головѣ. — Дай Богъ ему такое же счастье! подумалъ онъ. Володя командовалъ стрѣлять картечью въ то время, когда французы обходили ихъ сзади. Володя ясно видѣлъ, какъ синіе мундиры заклепывали его пушки, — никакое сопротивленіе не помогло. Володя ничкомъ лежалъ на томъ мѣстѣ, гдѣ незадолго до того стоялъ. Все въ Севастополѣ вдругъ затихло. Войска медленно выдвигались въ непроницаемой темнотѣ прочь отъ того мѣста, на которомъ они оставили столько храбрыхъ братьевъ — отъ того мѣста, которое 11 мѣсяцевъ отстаивали отъ столь сильнѣйшаго врага.

„Надолго оставить въ Россіи великіе слѣды эта эпопея Севастополя, которой героемъ былъ народъ русскій...“



Поэтъ говоритъ въ духѣ патріотическаго воодушевленія, хотя въ то же время онъ чувствуетъ боль отъ личнаго жгучаго убѣжденія, потому что великія картины смерти научили сознать его, какъ ничтожна жизнь отдѣльнаго человека въ сравненіи съ общими страданіями и вѣчными міровыми идеалами. Но, можетъ-быть, война — одно изъ заблужденій народа? Вѣдь люди не ненавидятъ другъ друга, но то, что влечетъ ихъ одного противъ другого, людей одной вѣры, однихъ міровоззрѣній, — одно только заблужденіе. Во время перемирія отношенія русскихъ и французовъ самыя дружественныя. Оба офицера, встрѣтившись въ цвѣтущей долині, гдѣ кучей лежатъ трупы людей, русскихъ и французовъ, разговариваютъ такъ, какъ въ самое мирное время.

— Э ву де ла гардъ?

— Pardon, monsieur, du 6-ème de ligne.

— Э сеси у аште? — спрашиваетъ офицеръ, указывая на деревянную желтую сигарочницу, въ которой французъ куритъ папиросу.

— А Balaclava, monsieur! C'est tout simple en bois de palme.

— Жоли, — говоритъ офицеръ.

— Si vous voulez bien garder cela comme souvenir de cette rencontre, vous m'obligerez.

И учтивый французъ выдываетъ папирску и подаетъ офицеру сигарочницу съ маленькимъ поклономъ. Офицеръ подаетъ ему свою, и всѣ присутствующіе въ группѣ, какъ французы, такъ и русскіе, кажутся очень довольными и улыбаются. Такъ говорятъ между собою офицеры, а нижніе чины — тѣ сходятся съ французами еще скорѣе. Вотъ пѣхотный бойкій солдатъ, въ розовой рубашкѣ и шинели въ накидку, подходитъ къ французу и проситъ у него огня закурить трубку. Французъ разжигаетъ, расковыриваетъ трубочку и высыпаетъ огня русскому.

— Табакъ бунъ? — спрашиваетъ солдатъ въ розовой рубашкѣ, и зрители улыбаются.

— Oui, bon tabac, tabac turc, — говоритъ французъ: — et chez vous autres tabac — russe? bon?

— Русъ — бунъ, — говоритъ солдатъ въ розовой рубашкѣ, при чемъ присутствующіе покатываются со смѣху: — Франсе нѣтъ бунъ, божуръ, мосье! — продолжаетъ все тотъ же сол-

дать. выпуская при этомъ сразу весь свой зарядъ знаній языка и треплетъ французъ по животу и смѣется. Французы тоже смѣются.

— Кафтанъ бунъ, — говоритъ бойкій солдатъ, разсматривая шитыя полы зуава, и опять смѣется.

— *Ne sors pas de ta ligne, à vos places, sacré nom!* — кричитъ французскій капралъ, и солдаты съ видимымъ неудовольствіемъ расходятся.

Подобно тому какъ здѣсь офицеръ выставленъ рядомъ съ простымъ солдатомъ, такъ можно это найти и въ изображеніи всей Севастопольской кампаніи. И если здѣсь, какъ въ „Кавказскихъ разсказахъ“, нѣтъ контраста между офицерами и рядовыми, то вездѣ чувствуется любовь автора, обращенная къ народу. Народъ, по мнѣнію Толстого, страдаетъ потому, что мы не знаемъ великихъ сокровищъ, таящихся въ немъ. Даже тѣ люди, которые имѣютъ ежедневное сообщеніе съ народомъ и должны бы были хорошо знать нравственныя добродѣтели народа, точно слѣпые проходятъ мимо нихъ, потому, что традиціонныя предразсудки притупляютъ ихъ взглядъ. Даже офицеръ нерѣдко сомнѣвается въ мужествѣ и безиримѣрной готовности солдата по первому приказу отдать свою душу за царя и отечество. Вотъ маленький образчикъ:

Князь Гальцинь, во время своего обхода по городу, останавливаетъ одного солдата, возвращающагося съ бастіона.

— Эй ты, остановись! Ты зачѣмъ идешь? — кричитъ онъ ему.

Солдатъ остановился и лѣвой рукой снялъ шапку.

— Куда ты идешь и зачѣмъ? — закричалъ онъ на него строго. Но въ это время, подойдя ближе, онъ замѣтилъ, что правая рука его была за обшлагомъ и въ крови, выше локтя.

— Раненъ, ваше благородіе.

— Чѣмъ раненъ?

— Сюда-то, должно, пулей, — сказалъ солдатъ, указывая на руку, — а ужъ здѣсь, не могу знать, чѣмъ голову-то прошибло, — и, нагнувъ ее, показалъ окровавленные и слипшіеся волосы на затылкѣ.

— А ружье чье?

— Стуцеръ французскій, ваше благородіе, отнялъ. Да я бы не пошелъ, кабы не этого солдатика проводить; а то



упадеть неравно, — прибавилъ онъ, указывая на солдата, который шелъ немного впереди, опираясь на ружье и съ трудомъ таща и передвигая лѣвую ногу.

„Князю Гальцину вдругъ ужасно стыдно стало за свои несправедливыя подозрѣнія“, заканчиваетъ авторъ этотъ маленькій эпизодъ уличной жизни въ осажденномъ городѣ.

*Левенфельдъ.*

---

## Военный бытъ въ изящной литературѣ до Толстого.

Вся читающая публика оцѣнила талантъ Толстого, и мы не считаемъ нужнымъ распространяться о томъ, что хорошо знаетъ сама публика. Но, можетъ-быть, еще немногіе изъ читателей отдають себѣ полный отчетъ въ томъ, какой огромный шагъ сдѣланъ былъ графомъ Толстымъ, какъ живописцемъ военныхъ сценъ, по изученію дѣйствительной и вседневной жизни военного русскаго человѣка. До сихъ поръ между нашими литераторами было весьма мало настоящихъ военныхъ людей, — обстоятельство чрезвычайно невыгодное въ томъ отношеніи, что нравы и бытъ военного сословія, столь многочисленнаго въ Россіи, ускользали отъ пера нашихъ писателей по ихъ малому знакомству съ этимъ нравомъ и бытомъ. Сколько ни читай книгъ, сколько ни встрѣчай офицеровъ въ гостиной, сколько ни гляди на казармы и на солдатъ во время ученья, военной жизни (точно такъ же, какъ и всякой другой жизни) не узнаешь изъ такихъ праздныхъ наблюденій. Лермонтовъ, самъ служившій въ офицерахъ и бывавшій подъ пулями, сдѣлалъ многое, но мы лишились этого человѣка, едва успѣвъ насладиться его первыми созданіями. Послѣ Лермонтова пришло время рутинны, ничѣмъ ни оправдываемой и ничѣмъ не измѣняемой. Обыкновенно люди, мало знающіе и худо изучившіе свой предметъ, сплется прикрыть скудость свою обобщеніями и хитрыми выводами, въ которыхъ бываетъ все, кромѣ истины и дѣйствительности. По причинѣ малаго знанія и страсти къ обобщеніямъ, наша литература, со времени Грушницкаго и Максима Максимыча до появленія рассказовъ графа Толстого, относилась къ русской военной жизни съ величавостью долговязаго младенца, нахватавшагося

верховъ по книжкамъ и слящагося судить о предметахъ, ему вовсе незнакомыхъ. Быть русскаго воина, его интересы и подвиги, его достоинства и слабости, его возвышенныя и темныя стороны — все это было незнакомо рѣдкимъ изъ нашихъ писателей, изрѣдка выводившихъ военнаго человѣка въ своихъ разсказахъ. Такіе писатели дѣйствовали двумя путями: или жили на счетъ Лермонтова, передѣлывая его типы на свой ладъ, или, что еще хуже, не зная ни военнаго быта ни военныхъ людей, составляли военнаго человѣка, подобно нѣмцу-критику, рисовавшему верблюдовъ не съ натуры, но изъ сокровенной глубины своего самосознанія! Но сокровенная глубина самосознанія вела лишь къ пустой дидактикѣ и карающему юмору, не каравшему равно никого и ничего на свѣтѣ. Подъ вліяніемъ этой скудости и развелись въ нашихъ романахъ нигдѣ не существующіе типы юношей, непременно усатыхъ и самодовольныхъ, комическихъ безъ комизма, очертанныхъ безъ знанія дѣла. Старосвѣтскіе литераторы въ офицерѣ изображали непременно красавца и удалыца, перваго любовника, Вельскаго или Лидина; повѣствователи новаго поколѣнія бросились въ противоположную крайность. Каждый рисовалъ не съ натуры, а *отъ себя*, и эта рисовка *отъ себя* происходила оттого, что изъ художниковъ никто не изучалъ натуры, а бродилъ въ сумракѣ своего сокровеннаго самосознанія. Намъ говорятъ, что военные люди всегда щекотливы на сатиру, и что это обстоятельство связывало руки у правоописателей, но мы смѣемъ сказать, что, по странной игрѣ случая, эта дѣйствительная или воображаемая щекотливость принесла пользу словесности, избавивъ ее отъ цѣлаго ряда нелѣпныхъ созданій, цѣлой сотни ложныхъ типовъ. Кто изъ новыхъ писателей, послѣ Лермонтова и отчасти Гоголя, могъ знать и описывать военнаго русскаго человѣка? Кто изъ нихъ могъ бы сочинить хотя одну страницу изъ „Набѣга“ и „Рубки лѣса“? А между тѣмъ поползновеніе писать военныя сцены было у многихъ, только сцены эти писались бы отъ себя изъ сокровенной глубины литературскаго самосознанія. Нѣтъ, мы отъ души радуемся, что такихъ сценъ у насъ писалось немного.

Въ такомъ отношеніи находилась русская литература наша къ военному быту, когда графъ Толстой сталъ печатать свои военные разсказы. Первымъ появился „Набѣгъ“, разсказецъ



хорошенькій и какъ будто набросанный съ небрежностью, но рассказецъ, до такой степени исполненный поэзіи военной жизни, что многіе знатоки литературы, наслаждаясь поэзіей „Набѣга“, почти не отдали справедливости другимъ сторонамъ произведенія. Дѣйствительно, въ „Набѣгѣ“ есть что-то особенно опьяняющее, волнующее душу и не дающее возможности остановиться на прозаической, вседневной сторонѣ рассказа. Эта картина выступленія войскъ, приготовленій къ бою, ночлеговъ подъ открытымъ небомъ, ощущеній подъ первыми пулями, картина смерти и веселости, рыцарства и беззаботности, удалства и унылыхъ минутъ послѣ набѣга, была дѣйствительно плѣнительна, но не менѣе плѣнительны и вѣрны были лица военныхъ людей, выведенныхъ въ набѣгѣ. Розенкранца и капитана Хлопова еще не бывало въ нашей повѣствовательной литературѣ. Съ появленіемъ „Рубки лѣса“ слава образцоваго военного рассказчика окончательно утвердилась за графомъ Толстымъ, въ то же самое время печатавшимъ свои „Очерки Севастополя“. Сильный талантъ, наблюдатель и мастеръ, военный человѣкъ, истинный воинъ по службѣ и призванію, — сказались читателю самому недальновидному.

Намъ, пишущимъ людямъ, стало радостно думать, что одинъ изъ нашихъ талантливѣйшихъ сверстниковъ присутствуетъ съ русскими войсками на сценѣ дивныхъ севастопольскихъ подвиговъ, не только въ качествѣ зрителя и живописца, но въ качествѣ настоящаго воина, до тонкости знающаго военныхъ людей и военный бытъ, военныя радости и горести военного званія. Русская литература не могла имѣть въ стѣнахъ Севастополя лучшаго и надежнѣйшаго представителя. И когда осада кончилась, и когда авторъ „Рубки лѣса“ вернулся къ намъ не только цѣлый и здоровый, но еще съ „Севастополемъ въ августѣ“ для декабрьской книжки „Современника“, онъ былъ встрѣченъ въ Москвѣ и Петербургѣ, какъ одинъ изъ первыхъ русскихъ писателей и чуть ли не единственный знатокъ поэзіи военного быта. Рукопись, имъ привезенная, не обманула ожиданій нашихъ, и послѣдній очеркъ Севастополя вышелъ едва ли не лучше двухъ первыхъ. Послѣ братьевъ Козельцовыхъ, Вланга, совѣстно вспоминать о военныхъ типахъ, когда-то выводимыхъ въ нашей литературѣ.

Передъ знаніемъ дѣла совершенно разрушились всѣ фантастическія понятія о военной жизни такъ, какъ они описы-

вались до сихъ поръ въ литературѣ нашей. И что до крайности поучительно: у графа Толстого, въ его разсказахъ изъ военнаго быта, знаніе дѣла всегда идетъ обѣ руку съ несомнѣнной поэзіею. Тутъ-то и видна справедливость стараго сравненія поэзіи съ вѣковымъ и сильнымъ деревомъ. Чѣмъ глубже сидятъ корни дерева, тѣмъ выше вздымается къ небу его вершина. У насъ многіе поэты думаютъ противное. Не давши своей житейской опытности пустить корень въ глубину родной почвы, они думаютъ, что ихъ поэзія вознесется къ небу изъ глубины самосознанія и грубыхъ дидактическихъ теорій. Не заложивъ прочнаго фундамента, они уже придаютъ изукрашенный видъ крышѣ своей постройки. Оттого ихъ зданіе валится на бокъ, оттого ихъ дерево чахнетъ и хирѣетъ и гнется къ землѣ, а они тому радуются. Это великое несчастіе дидактиковъ, утверждающихъ намъ, что верхушка вѣкового дуба должна стлаться по землѣ, а не возноситься къ небу. Въ землѣ долженъ сидѣть корень дерева; если же оно не возноситъ къ небу свои вершины, значитъ дерево или гнило, или еще очень молодо...

*Дружининъ.*

---

## Типы и картины въ военныхъ разсказахъ Толстого.

Современныя военныя событія сдѣлались въ нашей литературѣ источникомъ многихъ разсказовъ, чрезвычайно живописныхъ; они же были предлогомъ и къ установленію той новой манеры въ этихъ описаніяхъ, которую выработала литература въ послѣднее время. Каждое великое отечественное событіе всегда отзывалось въ нашей словесности и выражалось въ описаніи сраженій, походовъ, въ историческихъ запискахъ очевидцевъ. Слѣдовательно, нѣтъ ничего удивительнаго, что и нынѣшняя великая война привела литературу къ тѣмъ же результатамъ. Но въ манерѣ описанія, собственно въ литературномъ отношеніи, мы видимъ разницу между записками современниковъ другихъ войнъ и между нынѣшними писателями, видимъ другіе приемы, другую наблюдательность, другой языкъ, носящіе на себѣ рѣзкую печать литературы нашей эпохи. Вотъ на это-то мы и хотимъ обратить вниманіе.



Долгое время въ нашей литературѣ Марлинскій, а потомъ Лермонтовъ были образцами, которымъ старались подражать всѣ, когда дѣло касалось изображенія личностей, взятыхъ изъ военнаго круга; долгое время нѣкоторые писатели были образцомъ того, какъ должно вести разговоръ съ простымъ солдатомъ, какъ излагать его бесѣду, какъ выражать его чувства и мысли. Эти чувства, эти мысли одни и тѣ же, какъ у прежнихъ писателей, такъ и у новѣйшихъ: та же, любовь къ родинѣ, та же вѣрность долгу, та же непоколебимая готовность на защиту всего родного; словомъ, сущность, содержаніе тѣ же. И такъ какъ эта сущность, это содержаніе всѣмъ и каждому извѣстны, то мы и считаемъ излишнимъ еще разъ повторять всѣмъ извѣстное. Мы будемъ говорить объ одной только литературной сторонѣ рассказовъ, въ которой замѣтимъ много новаго. Чтобы начать сначала, мы должны обратиться къ одному рассказу, напечатанному еще въ 1853 году.

Авторъ этого рассказа, безспорно, одинъ изъ первыхъ талантовъ нашей современной литературы. Мы говоримъ о рассказѣ „Набѣгъ“ соч. гр. Л. Н. Т. Въ рассказѣ было такъ много новаго, и рассказъ былъ такъ простъ и естественъ, что на него даже мало обратили вниманія, какъ на вещь, которая не бросается въ глаза. Въ этомъ рассказѣ было высказано все, что впослѣдствіи тѣмъ же самымъ авторомъ было подробнѣе развито въ другихъ превосходныхъ военныхъ картинахъ, каковы: „Севастополь въ декабрѣ 1854 года“ и „Рубка лѣсу“. Какъ все неподдѣльное съ теченіемъ времени пріобрѣтаетъ только больше и больше удивленія, такъ и первый рассказъ гр. Л. Н. Т. можетъ быть названъ родоначальникомъ тѣхъ прелестныхъ военныхъ эскизовъ, въ которыхъ простота, естественность, истина вступили въ полныя свои права и совершенно измѣнили прежнюю литературную манеру рассказовъ подобнаго рода. Въ этихъ рассказахъ мы замѣтили примѣненіе всѣхъ тѣхъ же началъ, которыя въ другихъ родахъ нашей литературы, напримѣръ, оказали уже столько благотѣльнаго вліянія. Но не будемъ торопиться дѣлать заключенія и прежде познакомимся съ фактами.

Припомнимъ только первый его рассказъ „Набѣгъ“, бывшій истиннымъ и счастливымъ нововведеніемъ въ описаніи военныхъ сценъ, о которыхъ мы намѣрены говорить.

Въ этомъ разсказѣ обращаетъ на себя невольно вниманіе капитанъ Хлоповъ. На этомъ капитанѣ Хлоповѣ сосредоточена, повидимому, вся любовь автора; онъ — герой разсказа, онъ же — и нововведеніе. Однако опредѣлить это лицо было крайне трудно автору, потому что въ немъ нѣтъ ничего особеннаго. „У него была одна изъ тѣхъ спокойныхъ русскихъ фізіономій, которымъ пріятно и легко прямо смотрѣть въ глаза“. Вотъ все, что можно сказать о капитанѣ Хлоповѣ. Онъ не Максимъ Максимычъ Лермонтова, но нѣсколько съ родни ему; точно такъ же, какъ поручикъ Розенкранцъ не Печоринъ и не Мулла-Нуръ, хотя съ виду и походилъ на Мулла-Нура. Капитанъ Хлоповъ не похожъ на капитана Миронова въ „Капитанской дочкѣ“, но тоже съ родни ему. Чтобы лучше узнать капитана Хлопова, нужно прежде познакомиться съ поручикомъ Розенкранцомъ.

„На немъ (Розенкранцѣ) былъ черный бешметъ съ галунами, такія же поговицы, новые, плотно обтягивающіе ногу чувяки съ чиразами, желтая черкеска и высокая, заломленная назадъ шапка. На груди и спинѣ его лежали серебряные галуны, на которыхъ надѣты были натруска и пистолеть за поясомъ; другой пистолеть и кинжалъ въ серебряной оправѣ, висѣли на поясѣ. Сверхъ всего этого была опоясана шашка въ красныхъ сафьянныхъ ножнахъ съ галунами, и надѣта черезъ плечо вшитовка въ черномъ чехлѣ. По его одеждѣ, посадкѣ, манерѣ держаться и, вообще, по всѣмъ движеніямъ замѣтно было, что онъ старается быть похожимъ на татарина. Онъ даже говорилъ что-то на неизвѣстномъ мнѣ языкѣ татарамъ, которые ѣхали съ нимъ, но, по недоумѣвающимъ, насмѣшливымъ взглядамъ, которые бросали эти послѣдніе другъ на друга, мнѣ показалось, что они не понимаютъ его. Это былъ одинъ изъ удалцовъ-джигитовъ, образовавшихся по Марлинскому и Лермонтову. Эти люди смотрятъ на Кавказъ не иначе, какъ сквозь призму „героя нашего времени“, Мулла-Нуровъ и т. п. и во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ руководствуются не собственными наклонностями, а примѣромъ этихъ образцовъ. Поручикъ всегда ходилъ въ азіатскомъ платьѣ и оружіи, имѣлъ кунаковъ не только во всѣхъ мирныхъ аулахъ, но и въ горахъ; по самымъ опаснымъ мѣстамъ ѣзжалъ безъ охазіи, ходилъ съ мирными татарами по ночамъ засаживаться на дорогу, подкарауливать и убивать горцевъ,



былъ влюбленъ въ татарку и писалъ свои записки. Фамилія его была Розенкранцъ“.

Не таковъ капитанъ Хлоповъ: „(Въ походѣ) на немъ былъ старый истертый сюртукъ безъ эполетъ, лезгинскіе широкіе штаны, бѣлая панашка, съ опустившимся, пожелтѣвшимъ курнемъ (овчиной) и незавидная азіатская шашка черезъ плечо. Бѣленькій маштачокъ (маленькая лошадка), на которомъ онъ ѣхалъ, шелъ понуря голову, мелкой иноходью, и безпрестанно взмахивалъ жиденькимъ хвостомъ. Несмотря на то, что въ фигурѣ добраго капитана было не только мало воинственнаго, но и красиваго, въ пей выражалось такъ много равнодушія ко всему окружающему, что она внушала невольное уваженіе“.

Посмотрите, какъ разсуждаетъ о храбрости добрый капитанъ Хлоповъ. Слушая его, вы подумаете, что поручикъ Розенкранцъ, который связалъ престарѣлаго татарина въ разоренномъ аулѣ, азартнѣйшій изъ рыцарей.

„Вотъ, въ тридцать-второмъ году (говоритъ капитанъ) былъ тоже неслужащій какой-то, изъ испанцевъ, кажется. Два похода съ нами ходилъ, въ спнемъ плащѣ въ какомъ-то, да, наконецъ, и сложилъ тутъ свою голову.“

„ — Здѣсь, батюшка, никого не удивишь.“

„ — Что онъ храбрый былъ? — спросилъ я его.“

„ — А Богъ его знаетъ: все, бывало, впередъ ѣздитъ; гдѣ перестрѣлка, тамъ и онъ.“

„ — Такъ, стало-быть, храбрый, — сказалъ я.“

„ — Нѣтъ, это не значитъ храбрый, что суется туда, гдѣ его не спрашиваютъ...“

„ — Что же вы называете храбрымъ?“

„ — Храбрый, храбрый? — повторилъ капитанъ съ видомъ человѣка, которому въ первый разъ представляется подобный вопросъ: — *храбръ тотъ, который ведетъ себя какъ слѣдуетъ*, — сказалъ онъ, подумавъ немного“.

Но оставимъ частности, въ которыхъ, между тѣмъ, и выражается вся сила таланта гр. Л. Н. Т., и постараемся яснѣе высказать мысль автора. Для этого мы должны привести одну сцену изъ разсказа, хотя далеко не лучшую въ художественномъ отношеніи, но поясняющую основную мысль.

„Едва мы отступили саженъ на триста отъ аула, какъ надъ нами со свистомъ стали летать непріятельскія ядра. Я видѣлъ, какъ ядромъ убило солдата... Но зачѣмъ разска-

зывать подробности этой страшной картины, когда я самъ дорого бы далъ, чтобы забыть ее?

„Поручикъ Розенкранцъ самъ стрѣлялъ изъ винтовки, не умолкая ни на минуту, хриплымъ голосомъ кричалъ на солдатъ и во весь духъ скакалъ съ одного конца цѣпи на другой. Онъ былъ нѣсколько блѣденъ, и это очень шло къ его воинственному лицу.

„Хорошенькій прапорщикъ <sup>1)</sup> былъ въ восторгѣ: прекрасные черные глаза его блестѣли отвагой, ротъ слегка улыбался; онъ безпрестанно подѣжалъ къ капитану и просилъ его позволенія броситься *на ура*.

„ — Мы ихъ отобьемъ, — убѣдительно говорилъ онъ: — право, отобьемъ.

„ — Не нужно, — кротко отвѣчалъ капитанъ: — надо отступать.

„Рота капитана занимала опушку лѣса и лежа отстрѣливалась отъ непріятеля. Капитанъ, въ своемъ изношенномъ сюртукѣ и взъерошенной шапочкѣ, опустивъ поводья бѣлому маштачку и подкорчивъ на короткихъ стременахъ ноги, молча стоялъ на одномъ мѣстѣ. (Солдаты такъ хорошо знали и дѣлали свое дѣло, что нечего было приказывать имъ.) Только изрѣдка онъ возвышалъ голосъ, прикрикивая на тѣхъ, которые поднимали головы. Въ фигурѣ капитана было очень мало воинственнаго; но зато въ ней было столько истинны и простоты, что она необыкновенно поразила меня. „Вотъ кто истинно храбръ“, сказалось мнѣ невольно.

„Онъ былъ точно такимъ же, какимъ я всегда видалъ его: тѣ же спокойныя движенія, тотъ же ровный голосъ, то же выраженіе безхитростности на его некрасивомъ, но простомъ лицѣ; только по болѣе, чѣмъ обыкновенно, свѣтлому взгляду можно было замѣтить въ немъ вниманіе человѣка, спокойно занятаго своимъ дѣломъ. Легко сказать: *такимъ же, какимъ и всегда*; но сколько различныхъ оттѣнковъ я замѣчалъ въ другихъ: одинъ хочетъ сказаться спокойнѣе, другой суровѣе, третій веселѣе, чѣмъ обыкновенно; по лицу же капитана замѣтно, что онъ и не понимаетъ, зачѣмъ казаться.

„Французъ, который при Ватерлоо сказалъ: „la garde meurt, mais ne se rend pas“ и другіе, въ особенности французскіе ге-

<sup>1)</sup> Характеръ котораго съ необыкновеннымъ искусствомъ обрисованъ въ разсказѣ двумя-тремя словами.



рон, которые говорили достопамятныя изреченія, были храбры и дѣйствительно говорили достопамятныя изреченія; но между ихъ храбростію и храбростію капитана есть та разница, что если бы великое слово, въ какомъ бы то ни было случаѣ, даже шевелилось въ душѣ моего героя, я увѣренъ, онъ не сказалъ бы его: во-первыхъ, потому, что, сказавъ великое слово, онъ боялся бы этимъ самымъ испортить великое дѣло, а во-вторыхъ, потому, что когда человѣкъ чувствуетъ въ себѣ силы сдѣлать великое дѣло, какое бы то ни было слово не нужно. Это, по моему мнѣнію, особенная и высокая черта русской храбрости; и какъ же послѣ этого не болѣть русскому сердцу, когда между нашими молодыми воинами слышишь французскія пошлыя фразы, имѣющія претензію на подражаніе устарѣлому французскому рыцарству?...

Повторяемъ: мы стараемся уяснить идею, и потому всѣ поэтическія частности, въ которыхъ выражена идея, поневолѣ, чтобы не быть многословными, опускаемъ.

Отъ этого перваго разсказа гр. Л. Н. Т. переходимъ къ другому, напечатанному два года спустя: „Рубка лѣсу“. И мѣсто дѣйствія и самое дѣйствіе обоихъ разсказовъ одно и то же. Точно такъ же отрядъ русскій отправился въ горы Кавказа, въ первомъ случаѣ, для наказанія непокорныхъ горцевъ и разоренія ихъ аула; во-второмъ, — для рубки лѣса. Самое описаніе двухъ разсказовъ одинаково; но лица другія, хотя опять выражаютъ совершенно одну и ту же мысль. Здѣсь главное, хотя и невидимо дѣйствующее лицо — русскій солдатъ, у котораго довольно мѣтко схвачено много характеристическихъ чертъ. Въ противоположность съ простымъ русскимъ солдатомъ поставленъ нѣкто капитанъ Болховъ, какъ въ предыдущемъ разсказѣ разыгрывалъ ту же роль Розенкранцъ. Этотъ капитанъ Болховъ, Богъ знаетъ, по какимъ побужденіямъ, явился на Кавказъ; онъ совсѣмъ ужъ не Мулла-Нуръ съ виду, но въ душѣ у него очень много печоринскаго, и поэтому онъ имѣетъ вліяніе на кружокъ. Непремѣнно должно предположить, что онъ великій губитель женскихъ сердецъ: онъ все, кажется, извѣдалъ и потому считаетъ долгомъ вездѣ скучать. Точно такъ же, какъ въ „Набѣгѣ“ разоблаченъ былъ Розенкранцъ и выставленъ на видъ капитанъ Хлоповъ, точно такъ вся ходульность и мишурность капитана Болхова была поражена подобной же сценой.

„Оставивъ солдатъ разсуждать о томъ, какъ татары ускакали, когда увидали гранату, и зачѣмъ они тутъ ѣздили, и много ли ихъ еще въ лѣсу есть, я отошелъ съ ротнымъ командиромъ за нѣсколько шаговъ и сѣлъ подъ деревомъ, ожидая разогрѣвавшихся битковъ, которые онъ предложилъ мнѣ. Ротный командиръ Болховъ имѣлъ состояніе и служилъ прежде въ гвардіи. Товарищи любили его: онъ былъ довольно уменъ и имѣлъ достаточно такта. Поговоривъ о погодѣ, о военныхъ дѣйствіяхъ, объ общихъ знакомыхъ офицеровъ и убѣдившись по вопросамъ и отвѣтамъ, по взгляду на вещи, въ удовлетворительности понятій одинъ другого, мы невольно перешли къ разговору болѣе короткому. При томъ же на Кавказѣ между встрѣчающимися одного круга людьми, хотя не высказанно, но весьма очевидно проявляется вопросъ: зачѣмъ вы здѣсь? и на этотъ-то мой молчаливый вопросъ, мнѣ казалось, собесѣдникъ мой хотѣлъ отвѣтить.

„— Когда этотъ отрядъ кончится? — сказалъ онъ лѣниво. — Скучно.

„ — А мнѣ не скучно, — сказалъ я: — вѣдь въ штабѣ еще скучнѣе.

„ — О, въ штабѣ въ десять тысячъ разъ хуже, — сказалъ онъ со злостью: — нѣтъ, когда все это совсѣмъ кончится?

„ — Что же вы хотите, чтобъ кончилось? — спросилъ я.

„ — Все, совсѣмъ! Что же, готовы битки, Николаевъ? — прибавилъ онъ.

„ — Для чего же вы пошли служить на Кавказъ, — сказалъ я: — коли Кавказъ вамъ не нравился?

„ — Знаете для чего? — отвѣчалъ онъ съ рѣшительной откровенностью: — по преданію. Въ Россіи вѣдь существуетъ престранное преданіе про Кавказъ — будто это какая-то обѣтованная земля для всякаго рода несчастныхъ людей...

„ — Да, это почти правда, — сказалъ я: — большая часть изъ насъ...

„ — Но что лучше всего, — перебилъ онъ меня: — что всѣ мы, по преданію ѣдущіе на Кавказъ, ужасно ошибаемся въ своихъ расчетахъ, и рѣшительно я не вижу, почему влѣдствіе несчастной любви или разстройства дѣлъ — скорѣе ѣхать служить на Кавказъ, чѣмъ въ Казань или Калугу. Вѣдь въ Россіи воображаютъ Кавказъ какъ-то величественно, съ вѣчными дѣвственными льдами, бурными потоками, съ кин-



жалами, бурками, черкешенками — все это страшное что-то, а въ сущности ничего въ этомъ нѣтъ веселаго. Ежели бы они знали, по крайней мѣрѣ, что въ дѣвственныхъ льдахъ мы никогда не бываемъ, да и быть-то въ нихъ ничего веселаго нѣтъ, и что Кавказъ раздѣляется на губерніи: Ставропольскую, Тифлисскую и т. д., и я бы и вы не пріѣхали иначе.

„ — Да, — сказалъ я смѣясь: — мы въ Россіи совсѣмъ иначе смотримъ на Кавказъ, чѣмъ здѣсь; это — испытывали ли вы когда-нибудь? — какъ читать стихи на языкѣ, который плохо знаешь: воображаешь себѣ гораздо лучше, чѣмъ есть...

„ — Не знаю, право; но ужасно не нравится мнѣ этотъ Кавказъ, — перебилъ онъ меня.

„ — Нѣтъ, Кавказъ для меня и теперь хорошъ, только иначе...

„ — Можетъ-быть и хорошъ, — продолжалъ онъ съ какою-то раздражительностью: — знаю только то, что я не хорошъ на Кавказѣ.

„ — Отчего же такъ? — сказалъ я, чтобы сказать что-нибудь.

„ — Я чувствую себя неспособнымъ къ здѣшней службѣ, я не могу переносить опасности. — Онъ остановился и посмотрѣлъ на меня. — Безъ шутокъ.

„ Хотя это непрощенное признаніе чрезвычайно удивило меня, я не противорѣчилъ, какъ, видимо, хотѣлось того моему собесѣднику, но ожидалъ отъ него самого опроверженія своихъ словъ, какъ это всегда бываетъ въ подобныхъ случаяхъ.

„ — И что смѣшно, — продолжалъ онъ: — что здѣсь ужаснѣйшая драма разыгрывается, а самъ ѣшь битки съ лукомъ и увѣряешь, что весело.

„ — Вино есть, Николаевъ? — прибавилъ онъ, зѣвая. Этотъ натянутый разговоръ, худо скрытый смыслъ котораго очень ясенъ, былъ перебитъ слѣдующимъ разговоромъ солдатъ:

„ — Это онъ, братцы мои! — слышался въ это время встревоженный голосъ одного изъ солдатъ, и всѣ глаза обратились на опушку дальняго лѣса. Вдали, увеличиваясь и уносясь по вѣтру, поднималось голубоватое облако дыма. Когда я понялъ, что это былъ противъ насъ выстрѣлъ не-пріятеля, — все, что было на моихъ глазахъ въ эту минуту, все вокругъ приняло какой-то новый, почти величественный характеръ: и козлы ружей, и дымъ костровъ, и голубое

небо, и зеленые лафеты, и загорѣлое, усатое лицо Николаева, — все это какъ будто говорило мнѣ, что ядро, которое вылетѣло изъ дула и летитъ въ это мгновеніе въ пространство, можетъ-быть, направлено прямо въ мою грудь.

„— Вы гдѣ брали вино? — лѣниво спросилъ я Болхова, между тѣмъ какъ въ глубинѣ души моей одинаково внятно говорили два голоса — одинъ: Господи, прими духъ мой съ миромъ; другой: надѣюсь не нагнуться, а улыбаться въ то время, какъ будетъ пролетать ядро; и въ то же мгновеніе надъ головой просвистѣло что-то ужасно непріятно, и въ двухъ шагахъ шлепнулось отъ насъ ядро.

„— Вотъ ежели бы я былъ Наполеонъ или Фридрихъ, — сказать въ то время Болховъ, совершенно хладнокровно поворачиваясь ко мнѣ: — я бы непременно сказалъ какую-нибудь любезность.

„— Да вы и теперь сказали, — отвѣчалъ я, съ трудомъ скрывая тревогу, произведенную во мнѣ прошедшей опасностью.

„— Да что жъ, что сказалъ — никто не запишетъ.

„— А я запишу.

„— Да вы ежели и запишете, такъ въ *критику*, какъ говоритъ Мищенковъ, — прибавилъ онъ, улыбаясь.

„— *Тыфу ты проклятый!* — сказалъ въ это время сзади насъ Антоновъ, съ досадой плюя въ сторону: — *прошки по ногамъ не задѣла*.

„Все мое старанье казаться хладнокровнымъ и всѣ наши хитрыя фразы *показались мнѣ вдругъ невыносимо-глупыми*, послѣ этого простодушнаго восклицанія“.

Всякій истинный, дышащій правдой взглядъ на вещи тѣмъ плодотворенъ въ художественной дѣятельности, что онъ мгновенно превращается во множество лицъ, и всѣ эти лица кажутся живыми, какъ жива истина, ихъ согрѣвающая. Лишь только заученная маска, однообразная у всѣхъ, спала съ лица героевъ, которыхъ рядили черезчуръ ужъ монотонно и неестественно, вдругъ всѣ они показали свои лица характерныя и настоящія, какими они всегда были. Такъ въ томъ же самомъ рассказѣ авторъ представилъ уже намъ много лицъ типическихъ изъ солдатскаго кружка. Хотя всѣхъ ихъ авторъ коснулся только вскользь — какъ это онъ до сихъ поръ дѣлалъ во всѣхъ своихъ военныхъ рассказахъ —



однакожь лица эти ужь какъ будто намъ знакомы. Здѣсь мы почувствовали вновь вліяніе современной русской повѣсти на военные рассказы гр. Л. Н. Т. Если первую черту этого вліянія можно назвать разоблаченіемъ мишурности и вычурности, которою въ прежнее время были одѣты Розепкранцы и Болховы, и желаніе противопоставить имъ лица простыя, каковы, напримѣръ, капитанъ Хлоповъ, Тросенко и имъ подобныя, то вторую черту, заимствованную изъ современной же нашей литературы, мы должны назвать стремленіемъ къ типическимъ лицамъ изъ простонароднаго круга. Въ прежней нашей литературѣ — пробѣгите рассказы — типъ русскаго солдата былъ однообразенъ. Не такъ поступаетъ гр. Л. Н. Т. Тамъ, гдѣ онъ говоритъ, какъ человѣкъ мыслящій, у него русскій солдатъ одинъ, и характеристика его одна; гдѣ же онъ представляетъ намъ лица, какъ художникъ, тамъ у каждаго своя личность; это разнообразіе лицъ даетъ ему средства подмѣчать характеристическія черты и создавать типы. Это, мы полагаемъ, вторая причина успѣха гр. Л. Н. Т. Такъ, напримѣръ, онъ говоритъ вообще о русскомъ солдатѣ:

„Духъ русскаго солдата не основанъ такъ, какъ храбрость южныхъ народовъ, на скоро воспламеняемомъ и остывающемъ энтузіазмѣ: его такъ же трудно разжечь, какъ и заставить упасть духомъ. Для него не нужны эффекты и краснорѣчивыя рѣчи, для него нужны, напротивъ, спокойствіе, порядокъ и отсутствіе всего натянутого. Въ русскомъ — настоящемъ русскомъ — солдатѣ никогда не замѣтите хвастовства, ухорства, желанія отуманиться, разгорячиться во время опасности, напротивъ, скромность, простота и способность видѣть въ опасности совсѣмъ другое, чѣмъ опасность, составляетъ отличительныя черты его характера. Я видѣлъ солдата, раненаго въ ногу, въ первую минуту жалѣвшаго только о пробитомъ новомъ полушубкѣ; ѣздового, вылѣзающаго изъ-подъ убитой подъ нимъ лошади и растегивающаго подпругу, чтобы снять съ нея сѣдло“.

Но на этомъ не останавливается наблюдательность автора: ему, какъ художнику школы новѣйшей, нужны типы, и онъ сначала старается представить эти типы въ общихъ чертахъ, какъ программу, не болѣе. Въ этой программѣ видна мысль — а ее только на этотъ разъ и мы слѣдимъ въ произведеніяхъ

гр. Л. Н. Т. — хотя мысль уловить у такихъ художниковъ, какъ гр. Л. Н. Т., труднѣе всего. Рѣдко они обмолвливаются сухою, голою мыслью.

„Въ Россіи есть особенные типы солдатъ, подъ которые подходятъ солдаты всѣхъ войскъ: кавказскихъ, армейскихъ, гвардейскихъ, пѣхотныхъ, кавалерійскихъ, артиллерійскихъ и т. д. Чаше другихъ встрѣчающійся типъ солдата, — типъ болѣе всего милый, симпатичный и большей частью соединенный съ лучшими христіанскими добродѣтелями — кротостью, набожностью, терпѣніемъ и преданностью волѣ Божіей, есть типъ *покорнаго* вообще. Есть еще многіе другіе типы.

„Типъ *начальствующихъ* вообще встрѣчается, преимущественно, въ высшей солдатской сферѣ: ефрейторовъ, унтеръ-офицеровъ, фельдфебелей и т. п. Типы эти разнообразны: *начальствующие суровые* — типъ весьма благородный, энергическій, преимущественно военный, не исключаяющій высокихъ поэтическихъ порывовъ.

„Типъ *отчаяннаго*, точно такъ же какъ и типъ *начальствующаго*, хорошъ въ *отчаянныхъ забавникахъ*, отличительными чертами которыхъ бываютъ непоколебимая веселость, огромныя способности ко всему, богатство натуры и удалъ; и ужасно дуренъ въ *отчаянныхъ развратныхъ*, которые, однако, нужно сказать, къ чести русскаго войска, встрѣчаются весьма рѣдко и ежели встрѣчаются, то бываютъ удалены отъ товарищества самимъ обществомъ солдатскимъ. Невѣріе и какое-то удалство въ порокъ — главные черты въ характеръ этого разряда“.

Далѣе идутъ типы: *покорныхъ-хлопотливыхъ*, *забавника* и прочее.

Когда гр. Л. Н. Т. перешелъ отъ общихъ опредѣленій типовъ къ частнымъ, когда у него явились на сценѣ Максимовъ, Антоновъ, Валенчукъ, рекрутъ — передъ нами обнаружилась и та *мягкая* наблюдательность автора, въ которой такъ чудесно слиты и юморъ, и добродушіе, и веселость, и прямой взглядъ на вещи, тотъ многосторонній талантъ гр. Л. Н. Т., которымъ надѣлены очень-очень немногіе. Опять пошли картина за картиною одна другой лучше, одна другой поэтичнѣе. Но, къ сожалѣнію, мы теперь не можемъ вдаваться въ подробности, въ которыхъ такъ же много исти-



ной поэзіи, какъ и въ „Дѣтствѣ“ и въ „Отрочествѣ“ — произведеніяхъ, взятыхъ изъ другого круга жизни. За одинъ разговоръ солдатъ у огня, ночью, послѣ смерти Валенчука (XIII и XIV главы „Рубка лѣса“) мы готовы отдать иной многотомный романъ. Эти пять страничекъ проникнуты такой неподдѣльной поэзіей, что ихъ можно перечитывать по нѣскольку разъ.

Въ другой картинѣ, именно „Севастополь въ декабрѣ-мѣсяцѣ“, гр. Л. Н. Т. опять возвращается къ своимъ любимымъ лицамъ, которыхъ въ „Рубкѣ лѣса“ онъ старался подраздѣлить на типы. Безъ всякихъ разсужденій, повидимому, въ одной простой картинѣ знаменитаго „Четвертаго бастіона“, сказано вамъ гораздо болѣе, нежели можно сказать отвлеченными разсужденіями. Вглядитесь въ фізіономію простого солдата, велушайтесь въ его отрывистыя фразы, и вы почувствуете, что гр. Л. Н. Т. нигдѣ не измѣняетъ своему вѣрному и простому взгляду на предметъ. Вы почувствуете, что онъ постоянно преслѣдуетъ одну и ту же идею, только, какъ художникъ, выражаетъ ее въ картинахъ:

„Пройдя еще шаговъ триста, вы снова выходите на батарею — на площадку, пзрытую ямами и обставленную турами, насыпаннами землей, орудіями на платформахъ и земляными валами. Здѣсь найдете вы, можетъ-быть, человѣкъ пять матросовъ, играющихъ въ карты подъ брустверомъ, и морского офицера, который, замѣтивъ въ васъ новаго человѣка — любопытнаго, съ удовольствіемъ покажетъ вамъ свое хозяйство и все, что можетъ быть для васъ интереснаго. Офицеръ этотъ такъ спокойно свертываетъ папиросу изъ желтой бумаги, сидя на орудіи, такъ спокойно прохаживается отъ одной амбразуры къ другой, такъ спокойно, безъ малѣйшей аффектаціи, говоритъ съ вами, что, несмотря на пули, которыя чаще чѣмъ прежде жужжатъ надъ вами, вы сами становитесь хладнокровны и внимательно разсматриваете и слушаете рассказы офицера. Офицеръ этотъ расскажетъ вамъ — но только ежели вы его разспросите — про бомбардированіе 5-го числа, расскажетъ, какъ на его батареѣ только одно орудіе могло дѣйствовать и изъ всей прислуги осталось только восемь человѣкъ, и какъ на другое утро, 6-го числа, онъ *палилъ*<sup>1)</sup> изъ

---

<sup>1)</sup> Моряки всѣ говорятъ палить, а не стрѣлять.

всѣхъ орудій; расскажетъ вамъ, какъ 5-го попала бомба въ матросскую землянку и положила одиннадцать человѣкъ; покажетъ вамъ изъ амбразуры батареи и траншеи непріятельскія, которыя не дальше, какъ въ тридцать-сорокъ сажень. Одного я боюсь, что подъ вліяніемъ жужжанія пуль, высовываясь изъ амбразуры, чтобы посмотреть непріятеля, вы ничего не увидите, а ежели увидите, то очень удивитесь, что этотъ бѣлый каменный валъ, который такъ близко отъ васъ и на которомъ вспыхиваютъ бѣлые дымы, это-то и есть непріятель — онъ, какъ говорятъ солдаты и матросы.

„При этомъ офицеръ хладнокровно скажетъ: „Послать комендора, прислугу къ пушкѣ“ — и человѣкъ 14 матросовъ, живо, весело, кто засовывая въ карманъ трубку, кто дожевывая сухарь, постукивая подкованными сапогами по платформѣ, подойдутъ къ пушкѣ и зарядятъ ее. Вглядитесь въ лица, въ осанки, въ движенія этихъ людей; въ каждой морщинѣ этого загорѣлаго, смуглаго лица, въ каждой мышцѣ, въ ширинѣ этихъ плечъ, въ толщинѣ этихъ ногъ, обутыхъ въ громадные сапоги, въ каждомъ движеніи, спокойномъ, твердомъ, неторопливомъ, видны эти главные черты, составляющія силу русскаго — простота и твердость; но здѣсь на каждомъ лицѣ кажется, что опасность, злоба и страданія, кромѣ этихъ главныхъ признаковъ войны, проложили еще слѣды сознанія своего достоинства и высокой мысли и чувства.

„Вдругъ, ужаснѣйшій, потрясающій не одни ушные органы, но все существо ваше, гулъ поражаетъ васъ такъ, что вы вздрагиваете всѣмъ тѣломъ; вслѣдъ за тѣмъ вы слышите удаляющійся свистъ снаряда, и густой пороховой дымъ застилаетъ васъ, платформу и черныя фигуры движущихся по ней матросовъ. По случаю этого нашего выстрѣла вы услышите различные толки матросовъ и увидите ихъ одушевленіе и проявленіе чувства, котораго, можетъ-быть, вы не ожидали видѣть, это — чувство злобы, мщенія врагу, которое таится въ душѣ cadaго. „Въ самую амбразуру попали, кажись, убило двоихъ, вонъ понесли“, услышите вы радостныя восклицанія. „А вотъ онъ разсерчается, сейчасъ пустить сюда“, скажетъ кто-нибудь; и дѣйствительно, скоро вслѣдъ за этимъ вы увидите впереди себя молнію, дымъ; часовой, стоящій на брустверѣ, крикнетъ *пу-у-ика!* и вслѣдъ за этимъ мимо васъ взвизгнетъ ядро, шлепнется въ землю и воронкой взброситъ



вкругъ себя брызги грязи и камни. Батарейный командиръ разсердится за это ядро, прикажетъ зарядить другое и третье орудіе, непріятель также станетъ отвѣчать намъ, и вы испытаете интересныя вещи. Часовой опять закричитъ „пушка“, и вы услышите тотъ же звукъ и ударъ, тѣ же брызги, или закричитъ „маркела“ (мортира) и вы услышите равномерное — довольно пріятное и такое, съ которымъ трудно соединяется мысль объ ужасномъ — посвистываніе бомбы, услышите приближающееся къ вамъ и ускоряющееся это посвистываніе, потомъ увидите черный шаръ, ударъ о землю и разрывъ. Со свистомъ и визгомъ разлетятся потомъ осколки, зашуршать въ воздухѣ камни и забрызгаютъ васъ грязью. При этихъ звукахъ вы испытаете странное чувство наслажденія и вмѣстѣ страха. Въ ту минуту, какъ снарядъ, вы знаете, летитъ на васъ, вамъ непременно придетъ въ голову, что снарядъ этотъ убьетъ васъ, но чувство самолюбія поддерживаетъ васъ, и никто не замѣчаетъ ножа, который рѣжетъ вамъ сердце; но зато, когда снарядъ пролетитъ, не задѣвъ васъ, вы оживаете, и какое-то отрадное, невыразимо-пріятное чувство, но только на мгновеніе, овладѣваетъ вами, такъ что вы находите какую-то особенную прелесть въ опасности, въ этой игрѣ съ жизнью и смертью, вамъ хочется, чтобы еще и еще и поближе упало около васъ ядро или бомба. Но вотъ еще часовой прокричалъ своимъ громкимъ голосомъ „маркела!“ еще посвистываніе, ударъ и разрывъ бомбы, но вмѣстѣ съ этимъ звукомъ васъ поражаетъ стонъ человѣка; вы подходите къ раненому, который въ крови и грязи имѣетъ какой-то странный, нечеловѣческій видъ. У матроса вырвало часть груди. Въ первыя минуты на забрызганномъ грязью лицѣ его виденъ одинъ испугъ и какое-то притворное, преждевременное выраженіе страданія, свойственное человѣку въ такомъ положеніи; но въ то время, какъ ему приносятъ носилки и онъ самъ на здоровый бокъ ложится на нихъ, вы замѣчаете, что выраженіе это измѣняется выраженіемъ восторженности и высокой невысказанной мысли: глаза горятъ ярче, зубы сжимаются, голова съ усиліемъ поднимается выше, и въ это время, какъ его поднимаютъ, онъ останавливаетъ носилки и дрожащимъ голосомъ съ трудомъ говоритъ товарищамъ: „простите, братцы!“ еще хочетъ сказать что-то трогательное, но повторяетъ еще разъ: „простите, братцы!“ Въ это

время товарищъ-матросъ подходитъ къ нему, надѣваетъ фуражку на голову, которую подставляетъ ему раненый, и, размахивая руками, возвращается къ своему орудію...

Мы до сихъ поръ старались только опредѣлить характеръ писателя, его взглядъ, его направленіе — трудъ очень скользкій въ отношеніи къ такому автору, какъ гр. Л. Н. Т., который, казалось бы, рисуетъ передъ покорнымъ воображеніемъ читателя только однѣ картины своей чудесной фантазіи. Картины эти такъ хороши, что сначала не задаешь себѣ и вопроса: что кроется въ нихъ симпатичнаго и почему онѣ такъ сильно привлекаютъ къ себѣ? Есть много картинъ строгихъ, правильныхъ — и холодныхъ. Не таковы картины разбѣраемаго нами автора, и потому должно было прежде всего отдать отчетъ въ этой симпатіи. Лишь только опредѣленъ вѣрно взглядъ автора на вещи, лишь только читатель узнаетъ, чего хочетъ авторъ и куда онъ стремится — вся дѣятельность писателя вдругъ оживляется, какъ отъ какого-то магнетическаго соприкосновенія. Самый процессъ творчества дѣлается яснымъ. Отъ этого-то мы и говорили объ *идеѣ* въ произведеніяхъ гр. Л. Н. Т. Теперь намъ уже понятно, что талантъ его, описывающій событія изъ совершенно иного міра, въ который не пускаются наши лучшіе современные писатели, есть въ то же время талантъ очень близкій, родственныи имъ и по духу и по манерѣ. Передъ нимъ открытъ иной міръ, но онъ старается взять то же, чего ищутъ въ другихъ положеніяхъ наши другіе писатели, т.-е. преслѣдованіе всего мишурнаго, ложнаго, неестественнаго находитъ въ немъ явнаго гонителя, а истина, добро и лучшія свойства простого человѣка, — своего защитника. Какъ ни обширно и ни обще это опредѣленіе, но на этотъ разъ мы не сумѣемъ выразиться лучше.

Гр. Л. Н. Т. беретъ свои любимыя лица изъ того же простонароднаго круга, изъ котораго берутъ ихъ и всѣ другіе лучшіе наши писатели. Въ немъ мы видимъ товарища по труду гг. Тургеневу, Писемскому, Григоровичу, Островскому; въ созданныхъ имъ лицахъ видимъ живыхъ братій лучшимъ типическимъ лицамъ упомянутыхъ нами писателей.

Полагаемъ, послѣ этого не нужно распространяться о томъ, что всѣ остатки „Капитановъ Фрегата“, „Мулла-Нуровъ“ Марлинскаго и „Героевъ нашего времени“, переодѣтые авторомъ



въ Розенкранцовъ, Болховыхъ и имъ подобныхъ, изведены съ своихъ ложныхъ пьедесталовъ. Эти лица и подобныя имъ уже довольно давно, начиная съ 1840 года, въ нашей литературѣ, въ повѣстяхъ и романахъ начали терять по частицамъ свой блескъ. Не будемъ также распространяться и о томъ, о чемъ уже намекнули выше, что родоначальниковъ капитана Хлопова и простыхъ русскихъ солдатъ мы видѣли отчасти, хотя въ другой формѣ, и у Лермонтова въ Максимѣ Максимовичѣ, и у Пушкина въ капитанѣ Мироновѣ. Но заслуга гр. Л. Н. Т. состоитъ въ томъ, что онъ заставилъ своихъ Розенкранцовъ и Болховыхъ помѣряться силами съ капитаномъ Хлоповымъ и ему подобными, свелъ ихъ лицомъ къ лицу, выбравъ для этого самое удобное, въ буквальномъ смыслѣ, поле сраженія — и герои нашего времени окончательно и навсегда смутились передъ своими незнаменитыми соперниками! Если прежняя литература изображала иногда Розенкранцовъ и Болховыхъ съ отрицательной точки зрѣнія, то гр. Л. Н. Т. сдѣлалъ послѣдній и важный шагъ: онъ имъ противопоставилъ лица положительные, и этимъ покончилъ дѣло.

Но вотъ эта-то положительная сторона, конечно, и составляла сильный камень преткновенія таланту гр. Л. Н. Т. Однакожъ онъ побѣдилъ трудности большею частью счастливо. Преимущественно ему удалось лица солдатъ и капитанъ Хлоповъ. У другого таланта, менѣе сильнаго, нужно было бы опасаться, съ этой стороны, увлеченія идеей, излишней идеализаціи. Но гр. Л. Н. Т. умѣлъ удержаться въ границахъ, и гдѣ чувствовалъ пустое пространство, гдѣ не находилъ жизни, не старался наполнять это пустое пространство своими собственными мыслями. Онъ, какъ художникъ, позволялъ себѣ скорѣе останавливаться на характерахъ безличныхъ, но пріятныхъ, каковъ, напримѣръ, прапорщикъ Аланинъ въ „Набѣгѣ“, нежели надѣлать капитана Хлопова небывалыми чертами. Это намъ доказываетъ, что гр. Л. Н. Т. истинный художникъ у котораго талантъ господствуетъ надъ мыслью, а не мысль надъ талантомъ, у котораго инстинктъ художника господствуетъ надъ творчествомъ ума. Отъ этого у гр. Л. Н. Т. въ рассказахъ нѣтъ лица, которое было бы положительно дурно, рѣзко непріятно, какъ всѣ характеры, созданные однимъ систематическимъ умомъ, потому что этотъ умъ без-

поощаенъ и всегда любить крайности. Отъ этого-то, выше мы сказали, картины, изображаемыя гр. Л. Н. Т., дышать тою мягкою наблюдательностью, которая даетъ полный просторъ и юмору, и веселости, и добродушію, которая отзывается на многіе звуки, а не на одинъ монотонный мотивъ. Это всегда и легко замѣтить у художниковъ при созданіи второстепенныхъ лицъ въ разсказахъ, гдѣ писатели даютъ полный просторъ разгуляться своей фантазіи на свободѣ, не удерживая ея главною мыслью разсказа, при описаніи картинъ, такъ сказать, вставочныхъ. Этихъ второстепенныхъ лицъ у писателей-нехудожниковъ почти никогда не бываетъ, т.-е. они такъ безцвѣтны, что ихъ нельзя назвать лицами. Писатель-нехудожникъ слишкомъ усиленно и какъ-то напряженно держится за мысль, которую развиваетъ, и понятно, что всѣ его усилія сосредоточиваются на одномъ, главномъ дѣйствующемъ лицѣ.

Гр. Л. Н. Т. не представилъ намъ еще ни одной *повѣсти* въ настоящемъ смыслѣ слова, т.-е. повѣсти *съ любовью*. Введи авторъ въ эти разсказы любовь, нѣтъ сомнѣнія, капитанъ Хлоповъ и подобныя ему лица проиграли бы поле сраженія въ битвѣ съ Болховыми, Розенкранцами и другими блестящими лицами разсказовъ, потому что, къ сожалѣнію, на самомъ дѣлѣ, оно бываетъ такъ — и идея погибла бы. Дай торжество подобнымъ лицамъ авторъ — и онъ впалъ бы въ неестественный, натянутый тонъ, который происходитъ оттого, что писатель чувствуетъ, какъ подъ нимъ шатается міръ дѣйствительности: тогда-то обыкновенно авторъ старается всѣми убѣжденіями склонить читателя на сторону своего любимаго лица; но чѣмъ больше онъ убѣждаетъ и разсуждаетъ, тѣмъ больше онъ теряетъ достоинства художника.

Слѣдовательно, не имѣя пока повѣсти въ строгомъ смыслѣ, т.-е. въ томъ, въ какомъ мы привыкли ее понимать, мы не находимъ нужнымъ пускаться въ предположенія, какъ гр. Л. Н. Т. сумѣлъ бы выполнить и всѣ условія, налагаемыя этой формой, какъ онъ сумѣлъ бы выбрать сюжетъ, который укладывается именно въ эту, а не въ какую-либо другую форму.

Обратимся къ другой сторонѣ военныхъ разсказовъ.

Если въ изображеніи лицъ, въ манерѣ создавать характеры, мы видѣли огромное вліяніе нашей современной лите-



ратуры, то еще больше замѣтимъ его въ самомъ способѣ разсказывать. Намъ бы очень хотѣлось привести на память читателю тѣ военные рассказы прежнихъ лѣтъ, гдѣ солдатъ не говоритъ иначе, какъ избранными пословицами, шутить извѣстными шутками и прибаутками, объясняется отмѣнно складно, какъ человѣкъ образованный, у котораго передъ глазами лежатъ, напримѣръ, „пословицы“ г. Снегирева, который начитался рассказовъ г. Даля или Скобелева, и думаетъ, что онъ знаетъ языкъ простого человѣка. Неудивительно, что это было такъ въ военныхъ рассказахъ: такъ было тогда и во всей литературѣ. Языкъ простонародный былъ *terra incognita*, и потому всякій, кто скажетъ, напримѣръ, что „ученье свѣтъ, а неученье тьма“, или что-нибудь въ этомъ родѣ, считался уже знающимъ кое-что изъ русскаго простонароднаго языка. Языкъ крестьянина, языкъ солдата, языкъ купца, весь слагался изъ подобныхъ поговорокъ (даже у двухъ-трехъ извѣстныхъ писателей, которые считали себя знатоками въ этомъ дѣлѣ), такъ что представлялъ изъ себя что-то натянутое, неестественное, изъ разсказчика же дѣлалъ какого-то забавника и каламбуриста. Средину между пословицами и поговорками занимали обыкновенно цѣлыя фразы, выписанныя изъ печатныхъ книгъ, и рѣчь имѣла видъ какой-то пестрой смѣси книжнаго, литературнаго языка и народныхъ поговорокъ. Но съ того времени наша литература, обратившись къ изученію простонароднаго быта, начала изучать языкъ народный. Конечно, это изученіе было *постепенное*, и чѣмъ больше писатели всматривались въ бытъ, тѣмъ ближе къ цѣли подходилъ и самый языкъ. Последнее десятилѣтіе нашей литературы особенно много сдѣлало въ этомъ отношеніи, и мы такъ быстро развивались, что, постепенно хваля то одного, то другого писателя, спустя два-три года, уже замѣчали и недостатки въ тѣхъ, кого хвалили прежде безусловно. Въ этомъ языкѣ слышались фразы прямо записанныя съ изустной рѣчи, слышались фразы сочиненныя, слышалось желаніе передать даже самую темноту и неопредѣленность языка простолюдина, хотя онѣ могли имѣть значеніе, можетъ-быть, только для филолога, но отнюдь не для литератора. Какъ бы то ни было, но въ этомъ замѣтенъ былъ трудъ, и трудъ большой, похвальный во всѣхъ отношеніяхъ.

Вдругъ въ это время литература обогатилась множествомъ рассказовъ, какъ мы уже говорили, изъ славныхъ событій нашей нынѣшней войны. Рассказчики очутились вдругъ между двумя крайностями: между преданіемъ прежнихъ военныхъ рассказовъ, которые сочинялись авторами по способамъ, нами выше изложеннымъ, и между простонароднымъ языкомъ, выработаннымъ новѣйшими нашими писателями, изучившими этотъ бытъ. Къ прежнему языку рассказовъ, очевидно, нельзя уже было возвратиться, и такіе писатели, какъ гр. Л. Н. Т., сразу сумѣли поставить себя на настоящую точку зрѣнія и создали разговоръ простого солдата такимъ, каковъ онъ на самомъ дѣлѣ. Но для этого нуженъ былъ талантъ гр. Л. Н. Т. Другіе, желая быть до мелочей вѣрными языку, рѣшились записывать эти рассказы со словъ самихъ солдатъ, и мы получили такимъ образомъ прекрасные образчики того разговорнаго языка, котораго домогались, къ которому стремились такъ усиленно и который давался очень немногимъ. Въ этомъ отношеніи заслуживаетъ особеннаго вниманія рукописный сборникъ солдатскихъ рассказовъ г. *Сокольскаго*, изъ котораго былъ напечатанъ рассказъ рядового Таторскаго подъ названіемъ: „Восемь мѣсяцевъ въ плѣну у французовъ“ и „Дѣло подъ Журжею“, рассказъ тоже рядового Иванова, записанный г. *Кузнецовымъ*. Мысль счастливая, и мы увѣрены, что результаты ея будутъ чрезвычайно благотворны; оба рассказа въ этомъ отношеніи заслуживаютъ особеннаго вниманія. Всмотритесь въ постройку фразъ, повидимому, неправильную, часто противорѣчащую требованіямъ синтаксиса и вмѣстѣ совершенно ясную; взгляните въ это отсутствіе напыщенности, которою страдали прежніе рассказы; вслушайтесь въ этотъ юморъ и эту наблюдательность, которая не оставляетъ солдата, когда онъ рассказываетъ самое трагическое свое положеніе, когда ему предстояло быть убитымъ или взятымъ въ плѣнъ, и вы какъ будто начнете понимать, что мы далеко еще не владѣемъ ключомъ къ этому таинственному, не причудливому, но ясному разговору простого человѣка. Вотъ тотъ языкъ, слѣдовательно, которымъ должно дѣйствовать на умъ и чувство простого человѣка! Вотъ тотъ взглядъ на вещи, неподдѣльный, подъ который старается поддѣлываться каждый писатель, какъ только начинаетъ говорить отъ имени простого человѣка! Изучите



его прежде внимательно, и тогда уже посмотрите на сочиненный языкъ. Если бъ мѣсто намъ позволило, мы привели бы и сравнили здѣсь нѣсколько прежнихъ солдатскихъ разсказовъ и разсказъ, напримѣръ, рядового Иванова. Въ прежнее время, въ угоду литературнымъ требованіямъ своего времени, писатель не рѣшился бы записать такой разсказъ со словъ солдата; онъ непременно украсилъ бы его своими собственными разсужденіями, а языкъ выправилъ бы по книжнымъ правиламъ и далъ бы ему фальшивый лоскъ. Но другія времена... и тому, кто не видитъ въ нашей нынѣшней литературѣ ничего хорошаго — еще одинъ урокъ.

Послѣ такихъ разсказовъ, мы вполне понимаемъ, какъ глубоко выкинулъ гр. Л. Н. Т. въ описываемый имъ бытъ, и почему въ разсказѣ его заключалась какая-то прелесть, которую сначала трудно было уловить. Въ разсказѣ, записанномъ г. Кузнецовымъ, вы чувствуете и человѣка и солдата вмѣстѣ, и когда вспомнишь, что простой человѣкъ такъ безыскусственно и не только безъ гордости, но и безъ сознанія особеннаго достоинства своего дѣла, рассказываетъ, можетъ-быть, лучшій подвигъ своей жизни, что онъ не старается украсить разсказъ ни однимъ хитрымъ словомъ и не желаетъ скрыть своихъ естественныхъ чувствъ — когда подумаешь обо всемъ этомъ да припомнишь прежніе военные разсказы нашихъ писателей, невольно удивишься тому, какъ можно было допустить столько неестественнаго въ эти разсказы...

А намъ часто еще приходится слышать вопросъ: къ чему ведутъ эти повѣсти, драмы и романы, въ которыхъ дѣйствуютъ и разговариваютъ купцы, крестьяне, солдаты?...

*Дудышкинъ.*

---

## Правдивость и самобытность военныхъ разсказовъ Толстого.

Полный, неоспоримый, завидный успѣхъ новаго повѣствователя начался съ его очерковъ Севастополя, при началѣ, въ самомъ разгарѣ и при концѣ его знаменитой осады. Тутъ уже каждое слово, каждая мастерская подробность, каждое замѣчаніе талантливаго писателя, свидѣтеля великихъ сценъ великой

драмы, было оцѣнено и встрѣчено общемою симпатіею. Вся читающая Россія восхищалась Севастополемъ въ ноябрѣ, Севастополемъ весною, Севастополемъ въ августѣ мѣсяцѣ. Вся читающая Россія видѣла въ поэтическихъ разсказахъ графа Толстого не одни любопытные факты, сообщаемые очевидцемъ, не одни восторженные рассказы о подвигахъ, способныхъ воодушевить самаго безстрастнаго рассказчика. Всякій читатель, одаренный здравымъ смысломъ, видѣлъ и зналъ, что на небольшомъ клочкѣ земли, приковывавшемъ къ себѣ взоры всего свѣта черезъ необыкновенныя дѣла, тамъ происходившія, находился настоящій русскій военный писатель, одаренный зоркимъ глазомъ, слогомъ истиннаго художника, — писатель, готовый дѣлиться съ публикой исторіею всего имъ видѣннаго и пережитого во время осады Севастополя. Замѣчательно, что изъ числа всѣхъ непріязненныхъ державъ, войска которыхъ были подъ стѣнами нашей Трои, ни одна не имѣла у себя хроникера осады, который могъ бы соперничать съ графомъ Львомъ Толстымъ, авторомъ немногихъ замѣтокъ о Севастополѣ, небольшихъ по объему и далеко не охватывавшихъ всего предмета. Наше увѣреніе мы произносимъ со знаніемъ дѣла, ибо не только, во время войны, внимательно слѣдили за корреспондентами иностранныхъ газетъ, но даже имѣли терпѣніе перечитать большое количество разсказовъ и записокъ, набросанныхъ какъ зрителями, такъ и участниками севастопольской осады. О Турціи и Сардиніи говорить нечего — первая не имѣетъ писателей, вторая подарила намъ только небольшое число страницъ, преисполненныхъ самаго смѣшного бомбаста. Французская литература представила книгу бездарнаго Базанкура, — книгу почти единственную за все время, ибо статей и брошюръ военно-ученаго содержанія мы считать здѣсь не можемъ. Англія была богата отличными корреспондентами газетъ, и изъ нихъ нѣкоторые, особенно знаменитый корреспондентъ газеты „Times“, превосходили графа Толстого великолѣпною художественностью изложенія, замѣченною всѣми европейскими читателями. И несмотря на огромность таланта, британскіе корреспонденты были все-таки нечѣмъ инымъ, какъ фельетонистами, хотя фельетонистами великаго дарованія. Они гнались за красотой слога, были бѣдны по части безпристрастія, наконецъ, смотрѣли на дѣло не глазами поэтовъ и мыслителей, а глазами восторженной театральной



публики, описанной видомъ красныхъ мундировъ, сверкающихъ штыковъ, скачущихъ коней и стрѣляющихъ орудій. Они были фразерами, сами того не вѣдая. Они довели страсть къ живописнымъ подробностямъ до такой степени, что, за этими подробностями, почти не видали смысла великой трагедіи, передъ ихъ взорами совершавшейся. Недавно въ Англіи вышелъ особою книгою рассказы Росселя, корреспондента „Times“, — рассказы, о которыхъ мы теперь упоминаемъ. Мы прочли ихъ сизнова, — сизнова отдали полную дань похвалы ихъ блестящему автору, и все-таки остались при своемъ мнѣніи: замѣтки графа Толстого о Севастополѣ кажутся намъ произведеніемъ несравненно высшимъ. Эти замѣтки, въ которыхъ дѣйствуютъ вымышленныя лица, поражаютъ правдою и отсутствіемъ фразы, — письма великобританскаго рассказчика, въ которыхъ все списано съ натуры, озадачиваютъ внимательнаго читателя иногда стремленіемъ къ фразѣ, иногда положительною неправдою. Мы совѣтуемъ людямъ, читающимъ по-англійски, самимъ провѣрить наши замѣчанія. Пусть они возьмутъ изъ Росселевой книги, на выборъ, ея блистательнѣйшіе пассажи, повергавшіе всю Европу въ восхищеніе, какъ, напримѣръ, начало инкерманскаго дѣла, кавалерійскую атаку подъ Балаклавою, атаку русскихъ гусаровъ на шотландскій полкъ сира Коллина Кембелля, изображеніе поля инкерманскаго ночью, послѣ битвы. Все это великолѣпно, поразительно, показываетъ въ авторѣ истиннаго художника, надо въ томъ признаться. Но во сколько разъ вѣрнѣе и трогательнѣе въ замѣткахъ графа Толстого изображеніе графской пристани, звѣздной ночи во время бомбардировки, перемирія для уборки тѣлъ, наконецъ, Володи Козельцова, семнадцатилѣтняго артиллерійскаго прапорщика, въ первую ночь послѣ пріѣзда въ Севастополь. По части чисто художественной, нашъ русскій авторъ иногда не уступаетъ своему англійскому сопернику; чтобы въ томъ убѣдиться, достаточно прочитать тѣ страницы „Севастополя въ августѣ“, на которыхъ рассказанъ переходъ братьевъ Козельцовыхъ съ сѣверной стороны на южную, въ темную ночь, при волнахъ, бьющихъ въ края моста, въ виду непріятельскаго флота, огни котораго какъ-то дерзко пробиваются сквозь мглу тягостной ночи! Но не одной картинностью изображеній силенъ нашъ русскій писатель. Мысль и поэзія неразлучны съ его очерками, и эта

мысль есть мысль человека высоконравственного, эта поэзия не может назваться театральной поэзией. Английский писатель съ потрясающей вѣрностью рисуетъ намъ, въ какихъ изумительныхъ положеніяхъ лежали люди, убитые подъ Инкерманомъ — этотъ дагерротипный очеркъ, при всей его разительности, очевидно, составленъ для празднаго читателя, говорящаго за чаемъ: „Я хочу знать все, все, — и въ чемъ былъ одѣтъ непріятель, и что подумали иностранцы, упдавъ шотландскіе полки, лишенные самой необходимой части одежды!“ До дагерротиповъ подобнаго рода графъ Толстой не доходитъ, его воздержность можетъ служить урокомъ всякому писателю, особенно начинающему. Изображая намъ перемиріе во время уборки труповъ, онъ не станетъ изображать намъ положеній, въ какихъ лежали жертвы недавняго боя, но онъ заставитъ читателя почувствовать то, что чувствовалъ самъ во время сказаннаго зрѣлища. Английскій корреспондентъ, рассказывая про кавалерійское дѣло подъ Балаклагою, несмотря на всю свою горячность, подступаетъ къ своей задачѣ словно къ описанію великолѣпной скачки съ препятствіями. Графъ Толстой скупъ на великолѣпныя описанія, ибо хорошо знаетъ, что война кажется великолѣпнымъ дѣломъ только для поверхностныхъ зрителей, дилетантовъ. Подвиги, имъ изображаемые, не имѣютъ въ себѣ никакого великолѣпія, кромѣ великолѣпія, нравственнаго, если позволено такъ выразиться. Его герои не скачутъ на кровныхъ лошадяхъ при трубномъ звукѣ — они сидятъ въ душныхъ блиндажахъ, геройски переносятъ операціи, лежа на окровавленной госпитальной койкѣ, поддерживаютъ раненаго товарища и безстрашно идутъ на вылазку, во всей трогательной прозѣ военной жизни, въ фуражкахъ и розовыхъ рубашкахъ съ разстегнутымъ воротомъ, иногда даже въ стоптанныхъ сапогахъ, потому что недосугъ думать о сапогахъ, когда предстоятъ дѣла другого рода. Нужно ли сказывать, чьи картины вѣрнѣе и который изъ двухъ писателей оказалъ большую услугу массѣ своихъ согражданъ?

Превосходство нашего автора надъ многими хроникерами Крымской кампаніи заключается не въ одномъ складѣ его дарованія, преисполненнаго правды и разумности. Графъ Толстой, въ своихъ рассказахъ о Севастополѣ, важенъ какъ человекъ военный, какъ счастливѣйшій представитель обра-



зованиѣйшей части нашего достославнаго воинства. Онъ попалъ въ Крымъ не въ видѣ зрителя и живописца по приглашенію, не въ видѣ туриста, любящаго сильныя ощущенія, даже не въ видѣ литератора, явившагося на полѣ борьбы за новымъ вдохновеніемъ. Нашъ новый новеллистъ и дорогой товарищъ — русскій офицеръ, начавшій свою службу на Кавказѣ, много ночей спавшій у костра, рядомъ съ артиллерійскими солдатами, выдавшій въ свою жизнь военныя дѣла и уже присмотрѣвшійся къ той картинности военного быта, которая всегда неотразимо поражаетъ людей незнакомыхъ съ жизнью война. Для него русскій солдатъ занимателенъ не въ одиѣхъ массахъ и не въ одной полной парадной формѣ, такъ драгоцѣнной англійскимъ корреспондентамъ: графъ Толстой знаетъ и любитъ солдата во всѣхъ видахъ и во всѣхъ случаяхъ солдатской жизни. Для его ума, проницательнаго раннимъ наблюденіемъ, извѣстное число военныхъ людей уже не представляется какою-то безразличною массою одинаково одѣтаго народа, сходнаго между собой по правамъ, какъ и по костюму. Все общее, случайное, давно уже отброшено нашимъ правописателемъ военного быта; все типическое, оригинальное, самостоятельное, прямо вытекающее изъ характера русскаго человѣка, предназначеннаго на военную дѣятельность, даетъ пищу графу Толстому, какъ поэту и какъ простому рассказчику. Отчего намъ какъ нельзя болѣе понятна та завидная популярность, какою пользуется графъ Толстой. Можетъ-быть, онъ самъ не догадывается о размѣрахъ этой популярности; но по нашему собственному опыту, довольно многостороннему по этой части, ея размѣры, увеличиваясь со всякимъ днемъ, уже достигли самой завидной степени. Много разъ намъ приходилось своими ушами слышать отзывы такого рода: „Никогда, ни одинъ русскій писатель не умѣлъ такимъ образомъ изображать русскаго военного человѣка“.

Подведя итогъ всему тому, что мы уже сказали о дарованіи молодого нашего повѣствователя, мы видимъ себя въ правѣ высказать мысль весьма утѣшительную. По независимости своего таланта, по разумности своего направленія, по отвращенію ко всякой фразѣ — качеству, до крайности рѣдкому въ наше время, — графъ Левъ Толстой представляется намъ, какъ одинъ изъ безсознательныхъ представителей

той теоріи свободного творчества, которая одна кажется намъ истинною теоріею всякаго искусства. Невозможно предположить, чтобы авторъ „Дѣтства“ дошелъ до этой теоріи путемъ долгаго опыта и изслѣдованіемъ вопросовъ о значеніи искусства; но всякій знаетъ, что натурамъ, блистательно одареннымъ, писателямъ, исполненнымъ истиннаго поэтическаго чутья, пониманіе правды дается вмѣстѣ съ самимъ талантомъ. Не одинъ очень молодой поэтъ, едва вступивъ на литературное поприще, открывалъ тѣ самые пути, около которыхъ опытные критики ходили много лѣтъ, ничего не видя и ничего не открывая. Все дѣло въ свѣжести дарованія, соединенной съ тою стойкостью натуры, безъ которой никогда не предпринимается ничего прочнаго. По первымъ произведеніямъ Л. Н. Т., въ немъ не трудно было распознать писателя вполне независимаго. Самая тѣнь рутины не касалась его молодыхъ силъ. Онъ не зналъ многого, но зато и не заблуждался во многомъ. Для него какъ будто не существовало прошлаго; всѣ мелкіе грѣшки нашей словесности, — ея общественный сентиментализмъ, ея робость передъ новыми путями, ея одностороннее стремленіе къ отрицательному направленію, накопецъ, остатки стараго дидактическаго педантизма, отнявшіе столько силы у нашихъ современныхъ дѣятелей, — нисколько не отразились на талантѣ новаго повѣствователя. Когда постоянный рядъ успѣховъ, наконецъ, доставилъ графу Толстому почетное мѣсто въ строю русскихъ писателей, онъ уже твердо стоялъ на своихъ ногахъ, не чувствуя никакого расположенія увлекаться подражаніемъ кому бы то ни было. Дорожа своей первой дѣятельностью, онъ ясно увидалъ, какъ бесполезно рисковать ею, устремляясь съ своей собственной дороги на путь чуждый. Ни къ сентиментализму, ни къ дидактическимъ фразамъ любви онъ не чувствовалъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ былъ далекъ и отъ другой крайности воззрѣнія, вслѣдствіе котораго искусство чистое, но понятое черезчуръ исключительно, становится проводникомъ мелкаго дагерротипнаго реализма, не оживленнаго никакой дѣльной мыслью. Вѣря въ себя и въ свое призваніе, онъ отшатнулся отъ всѣхъ преходящихъ воззрѣній и пошелъ по той дорогѣ, куда влекла его сила таланта. Судьба, такъ благосклонная къ нашему автору при самомъ началѣ его поприща, не измѣнила ему и въ минуту кризиса. Теперь



для насъ не можетъ быть сомнѣнія въ дальнѣйшемъ направленіи всей дѣятельности графа Толстого. Онъ навсегда станетъ независимымъ и свободнымъ творцомъ своихъ произведеній. Ему нечего бояться литературной рутины: онъ не будетъ писать сентиментальныхъ диссертаций на современные темы, и вмѣстѣ съ тѣмъ не станетъ изображать какого-нибудь журчанья ручейка, если его собственное настроеніе не повлечетъ его къ журчащему ручью съ непреодолимою силой. Онъ будетъ прямъ и искрененъ въ проявленіяхъ своей поэтической фантазіи. Если ему вздумается написать пидиллю — никакой авторитетъ не склонитъ его передѣлать пидиллю въ сатиру. Если вдохновеніе застанетъ его въ минуты тяжелыя для души — графъ Толстой не станетъ насиловать себя для пидиллической картины. Весь міръ раскроется передъ нимъ со своими свѣтлыми и темными сторонами, а онъ не устремится къ той или другой сторонѣ міра по чужому указанію. Оттого въ графѣ Толстомъ еще болѣе, нежели въ другомъ его сильномъ сверстникѣ — Островскомъ, мы видимъ правильное наступательное движеніе современной пзяпной словесности въ сторону истиннаго пониманія законовъ искусства. Г. Островскій, при всѣхъ его заслугахъ, при всей важности дѣла, имъ совершоннаго, имѣлъ свои колебанія и склонялся къ дидактикѣ своего рода. Независимость и литературная самостоятельность автора „Дѣтства“ были постоянно одинаковы во всѣ періоды его дѣятельности. Нельзя не подивиться и не порадоваться этой несокрушимой стойкости направленія, устоявшей противъ всѣхъ искушеній, противъ всѣхъ иллюзій молодости, противъ литературныхъ преданій, наложившихъ свое вліяніе на души талантливыхъ, самыхъ опытныхъ нашихъ товарищей. Можно находить многіе недостатки въ произведеніяхъ Толстого, но направленію ихъ не можетъ сдѣлать упрека критикъ самый придирчивый. Тутъ нѣтъ ни преднамѣренной дидактики, ни пидиллической несостоятельности передъ темной стороной жизни, — ни заранѣе накинутаго на себя мизантропіи, ни розоваго свѣта, ни безстрастія, ни сентиментальности. Тутъ все твердо и свободно. Преднамѣренно-поучительная мысль не выглядываетъ отовсюду, какъ кость какого-нибудь сухощаваго оратора, наставительныя умозрѣнія не портятъ своимъ присутствіемъ поэзіи свободной и чистой, — чистая поэзія не

исключаетъ серіознаго взгляда на дѣла жизни. Все строго и соразмѣрно съ своей цѣлью, всѣ стороны міра равны передъ поэтическимъ взглядомъ писателя, — и самъ писатель твердо вѣритъ, что ему дано отъ судьбы полное право идти въ ту сторону, куда зоветъ его загадочная и талантливая сила, называемая вдохновеніемъ.

*Дружининъ.*

### Общее содержаніе и идея разсказа „Казакъ“.

Перломъ среди кавказскихъ разсказовъ остается все-таки новѣсть „Казакъ“, появившаяся въ первый разъ въ печати только въ 1863 году, хотя начата она была еще во время пребыванія Толстого на Кавказѣ. Молодой, знатный московскій баринъ, Оленинъ, спустившій, игрой и разными пустыми развлеченіями, значительную часть своего состоянія, прощается съ друзьями и одной зимней ночью отправляется на Кавказъ. Жизнь, которую онъ до сихъ поръ велъ, опротивѣла ему. Онъ рѣшилъ стряхнуть съ себя однообразіе и пустоту жизни въ обществѣ и сдѣлаться совсѣмъ новымъ человекомъ. Онъ поселился на берегу Терека, живетъ въ казачьей семьѣ; дядя Ерощка, старый охотникъ, любитель выпивки и пѣсенъ, посвящаетъ его въ тайны этой новой для него жизни. Его задача — вырвать съ корнемъ тѣ извращенныя мысли и чувства, которыя отравляли ему жизнь, и возвратиться къ природѣ, въ полномъ отчужденіи отъ которой жилъ онъ до сихъ поръ. Онъ ходитъ съ казаками на охоту, живетъ, ѣстъ, пьетъ, какъ они, и надѣется стать въ концѣ концовъ настоящимъ казакомъ. Красавица Марьянка, дѣвушка-казачка, дочь людей, у которыхъ онъ живетъ, возбуждаетъ сначала его вниманіе, затѣмъ удивленіе и, наконецъ, глубокую любовь, которой онъ не въ силахъ поборотъ. До сихъ поръ романтикъ старой школы разрабатывать бы эту фабулу такъ же, какъ сдѣлалъ это Толстой. Но тутъ вступаетъ въ свои права реализмъ, столь свойственный нашему писателю, и все дѣло принимаетъ совсѣмъ иной оборотъ. Страсть Оленина къ молодой дѣвушкѣ остается совершенно непонятной. Всѣмъ своимъ поведеніемъ Марьянка доказываетъ, что къ этой здоровой, простой натурѣ не при-



станеть ничто, чѣмъ Оленинъ желаетъ выказать свою любовь. Она находитъ странными его манеры, начинаетъ почти что бояться его, когда его съ трудомъ сдерживаемое чувство вырывается наружу въ двухъ-трехъ несвязныхъ словахъ. Въ душѣ она совершенно равнодушна къ нему. Какъ изображаетъ ее авторъ, она, красивая и сильная, гордая и съ богатымъ природнымъ умомъ, казачка душой и тѣломъ, живетъ въ такой сферѣ, которая совершенно недоступна для сентиментальнаго культурнаго человѣка, который охотно разстался бы съ обычными условіями жизни и не можетъ сдѣлать это, при всемъ своемъ желаніи. Марьянка создана для сына того народа, къ которому принадлежитъ она сама, въ родѣ Лукашки. По отношенію къ знатному барину, связанному съ ихъ средой только внѣшнимъ образомъ, она проявляетъ чувствъ не больше, чѣмъ рѣки и горы ея страны. Въ письмѣ, въ которомъ Оленинъ описываетъ всю безнадежность своего положенія, онъ приходитъ къ слѣдующему выводу относительно Марьянки: „Въ нелѣпыхъ мечтахъ я воображалъ ее то своею любовницею, то своею женой, и съ отвращеніемъ отталкивалъ и ту и другую мысль. Сдѣлать ее дѣвкой было бы ужасно. Это было бы убійство. Сдѣлать ее барыней, женою Дмитрія Андреевича Оленина, какъ одну изъ здѣшнихъ казачекъ, на которой женился нашъ офицеръ, было бы еще хуже. Вотъ ежели бы я могъ сдѣлаться казакомъ, Лукашкой, красть табуны, напиваться чихирю, заливаться пѣснями, убивать людей и пьянымъ влѣзать къ ней въ окно на почку, безъ мысли о томъ, кто я? и зачѣмъ я? — тогда бы другое дѣло, тогда бы мы могли понять другъ друга, тогда бы я могъ быть счастливъ. Я пробовалъ отдаваться этой жизни, и еще сильнѣе чувствовалъ свою слабость, свою изломанность. Я не могъ забыть себя и своего сложнаго, не гармоническаго, уродливаго прошедшаго. И мое будущее представляется мнѣ еще безнадежнѣе. Каждый день передо мною далекія снѣжныя горы и эта величавая, счастливая женщина. И не для меня единственно возможное на свѣтѣ счастье, не для меня эта женщина. Самое ужасное и самое сладкое въ моемъ положеніи то, что я чувствую, что я понимаю ее, а она никогда не пойметъ меня. Она не пойметъ не потому, что она ниже меня, напротивъ, она не должна понимать меня.

Она счастлива, она, какъ природа, ровна, спокойна и сама въ себѣ. А я, исковерканное, слабое существо, хочу, чтобъ она поняла мое уродство и мои мученія!“ Съ гораздо большей тяжестью на сердцѣ, чѣмъ какую чувствовалъ онъ до своего отъѣзда на Кавказъ, возвращается онъ къ своему полку въ крѣпость. Когда запрягали лошадей, онъ замѣтилъ, что ни дядя Ерошка ни Марьянка даже и не смотрятъ на него, а просто толкуютъ о своихъ дѣлахъ.

Такой исходъ любовной исторіи Оленина былъ принятъ съ удивленіемъ, какъ ни обоснованъ онъ, повидимому, данными условіями и характерами дѣйствующихъ лицъ. Но если бы отбросили условныя воззрѣнія и взглянули на дѣло просто, то легко нашли бы, что содержаніи этой повѣсти, цѣликомъ взятое изъ дѣйствительной жизни, по меньшей мѣрѣ столь же поэтично, какъ и традиціонная романтика. Какъ просто и естественно въ этой повѣсти описаніе Москвы ночью, прощальнаго настроенія друзей, кончающихъ ужинъ, въ то время какъ слуга въ передней съ нетерпѣніемъ ожидаетъ окончанія бесѣды, а передъ подъѣздомъ запряженная въ сани тройка роетъ снѣгъ! Затѣмъ эта поѣздка на югъ зимней ночью, сначала по длиннымъ улицамъ Москвы, а затѣмъ большой дорогой, между тѣмъ какъ въ воображеніи Оленина воспоминанія о прошедшей жизни перемежаются съ мечтами о будущемъ въ быстро смѣняющихся образахъ. Онъ чувствуетъ, что до сихъ поръ онъ, собственно говоря, даже не жилъ еще, несмотря на всѣ свои попытки — испробовать всѣ наслажденія и завоевать себѣ положеніе въ свѣтѣ. Не имѣя ни семьи ни внѣшнихъ побужденій къ дѣятельности онъ утерять вѣру въ счастье; но теперь, „уѣзжая изъ Москвы, онъ находился въ томъ счастливомъ молодомъ настроеніи духа, когда, сознавъ прежнія ошибки, юноша вдругъ скажетъ себѣ... что теперь начинается новая жизнь, въ которой уже не будетъ больше тѣхъ ошибокъ, не будетъ раскаянія, а навѣрное будетъ одно счастье“. При видѣ снѣжныхъ равнинъ, пробѣгающихъ мимо него, онъ думаетъ то о томъ, то о другомъ, вспоминая друзей, женщинъ, неоплаченные счета. Въ немъ крѣпко засѣла мечта о женщинѣ, которую онъ надѣется найти на Кавказѣ: „И тамъ она, между горъ, представляется воображенію въ видѣ черкешенки-рабыни, съ стройнымъ станомъ, длинною косою и



покорными глубокими глазами. Ему представляется въ горахъ уединенная хижина, и у порога *она*, дожидаящаяся его въ то время, какъ онъ, усталый, покрытый пылью, кровью, славой, возвращается къ ней, и ему чудятся ея поцѣлуй, ея плечи, ея сладкій голосъ, ея покорность. Она прелестна, но она необразованна, дика, груба. Въ длинные зимніе вечера онъ начинаетъ воспринимать ее. Она умна, понятлива, даровита и быстро усваиваетъ себѣ всѣ необходимыя знанія. Отчего же? Она очень легко можетъ выучить языки, читать произведенія французской литературы, понимать ихъ. Notre Dame de Paris, напримѣръ, должно ей понравиться. Она можетъ и говорить по-французски. Въ гостинной она можетъ имѣть больше природнаго достоинства, чѣмъ дама самаго высшаго общества. Она можетъ пѣть, просто, сильно и страстно“. Оленинъ пробуждается отъ этихъ мечтаній и находитъ, что все это вздоръ; но опять и опять ищетъ воображеніемъ этого вздора. Югъ становится все ближе, все больше измѣняется ландшафтъ; живописнѣе становится одежда людей, попадающихся навстрѣчу; все отраднѣе становится на душѣ у Оленина. Наконецъ, въ свѣжемъ утреннемъ воздухѣ онъ видитъ вдали уходящія въ облака вершины безконечныхъ горъ, составляющихъ цѣль его путешествія. Описанія Кавказа тѣсно связаны съ изображеніемъ разнообразныхъ характеровъ. Отправившись однажды на охоту одинъ, лицомъ къ лицу съ спокойной, вѣчной, равнодушной природой, онъ, казалось ему, нашелъ то, что одно только даетъ цѣнность жизни и удовлетвореніе. „Счастье вотъ что, — сказалъ онъ самъ себѣ: — счастье въ томъ, чтобы жить для другихъ. И это ясно. Въ человѣка вложена потребность счастья, стало-быть, она законна. Удовлетворяя ее эгоистически, то-есть отыскивая для себя богатства, славы, удобствъ жизни, любви, можетъ случиться, что обстоятельства такъ сложатся, что невозможно будетъ удовлетворить этимъ желаніямъ. Следовательно, эти желанія незаконны, а не потребность счастья незаконна. Какія же желанія всегда могутъ быть удовлетворены, несмотря на вѣшнія условія? Какія? Любовь, самоотверженіе!“ Какъ много изъ собственной философіи жизни вложилъ Толстой въ образъ Оленина, видно уже изъ одного этого признанія, въ которомъ выразилась суще-

ствениѣйшая сторона этики и всего вообще міросозерцанія Толстого. Характеры, встрѣчающіеся въ „Казакахъ“, не менѣе оригинальны, чѣмъ самая фабула этой повѣсти: старый, загорѣвшій отъ солнца и вѣтра сѣдобородый великанъ Ерошка, вся жизнь котораго проходитъ въ охотѣ, пьянствѣ, болтовнѣ и пѣніи, засиживающійся, подъ веселую руку, за стаканчикомъ до той поры, что его приходится прямо уносить; молодой казакъ Лукашка, убивающій человека, какъ будто рѣжетъ курицу; самъ Оленинъ и еще четыре-пять фигуръ, стоящихъ на второмъ планѣ, родители Марьянки, слуга Оленина — Ванюшка и другіе. Цабель.

### Дѣйствующія лица въ разсказѣ „Казаки“ и ихъ характерныя черты.

Съ точки зрѣнія художественнаго совершенства, лучшій типъ, созданный гр. Л. Толстымъ въ его послѣднемъ романѣ — это, мнѣ кажется, безспорно, казакъ Ерошка — типъ, глубоко постигнутый, оригинальный и живой.

Дядя Ерошка прежде всего *казакъ*. Какъ линейный казакъ, соперникъ и сосѣдъ чеченца, онъ проникнутъ насквозь духомъ молодечества; но его молодечество не чопорная бравада французскаго рыцаря, не дикое безстрашіе скандинавскаго бирзеркера; онъ не просто молодецъ, а *казакъ-молодецъ, джигитъ*, какъ онъ самъ любитъ называть подобныхъ себѣ. Джигиту, по догматамъ джигитовъ, великая честь подстеречь неосторожнаго врага и просадить ему пулей голову изъ потаеннаго мѣста; джигиту великая слава тайкомъ отправиться съ товарищемъ въ аулы мирныхъ ногайцевъ и угнать отъ нихъ въ горы табунъ или стадо, хотя бы пришлось для этого задушить спящихъ пастуховъ и разорить деревню. Искусно, а главное, *безнаказанно украсть* что-нибудь у чужого — даетъ джигиту такое же право на уваженіе товарищей, какое мы, цивилизованные люди, признаемъ за великими нашими дипломатами, умѣющими оттягать отъ иностранной державы лишнюю сотню миль или лишній милліонъ франковъ. Ему его воровство кажется столь же мало безчестнымъ, какъ англичанину плутни его дипломатіи.



Дядя Ерошка вѣритъ въ свои догматы, какъ въ свои пять пальцевъ; онъ обнаруживаетъ ихъ не только съ полною откровенностью, но даже съ хвастовствомъ и гордостью человѣка, сознающаго размѣръ своихъ заслугъ...

Къ людямъ, не понимающимъ его догматовъ — неодобреніе онъ можетъ считать только за непониманіе — дядя Ерошка относится какъ къ неразумнымъ ребятамъ полупрезрительно, полунасмѣшливо, полужалѣя. Онъ даже считаетъ за лишнее убѣждать ихъ тѣмъ болѣе, что по натурѣ своей исполненъ терпимости къ слабостямъ другихъ. Но зато онъ серіозно уважаетъ и отличаетъ истиннаго джигита, что значитъ *истиннаго человека*, по идеалу дядей Ерошекъ. Лукашка, застрѣлившій абрека, Лукашка, воровавшій съ Гирей-ханомъ, въ его глазахъ есть лучшій исполнитель своего призванія, своего долга. За его удалъ онъ полюбилъ его какъ родного сына: онъ его учитъ, интересуется имъ, любитъ на него, расхваливаетъ его другимъ; между ними устанавливается крѣпкая нравственная связь помимо расчетовъ и вѣшной случайности.

Другая черта, усложняющая характеръ стараго казака—это то, онъ что охотникъ, бродяга. Охота придаетъ его фizioноміи и его воззрѣніямъ болѣе личный колоритъ. Она дѣлаетъ его еще большимъ непосѣдою, чѣмъ обыкновенно бываетъ казакъ. Она до такой степени освоиваетъ его съ зоологическою жизнью лѣсовъ, что онъ едва отличаетъ въ своихъ понятіяхъ дикую свинью отъ чужого человѣка. Онъ въ звѣрѣ видитъ живое существо съ разсудкомъ, чувствомъ, обычаями иными, чѣмъ у казака или чеченца, но иными въ томъ же смыслѣ, какъ у нѣмца въ сравненіи съ русскимъ, у татарина съ жидомъ. Это придаетъ его міросозерцанію что-то пантеистическое и вмѣстѣ поэтическое. Тутъ онъ прячется не за общеказацкимъ догматомъ, а за плодомъ личныхъ наблюдений, за выводомъ своего многолѣтняго и внимательнаго общенія съ природою. Онъ втянулся въ нее совсѣмъ съ головою и инстинктивно чувствуетъ себя ея нераздѣльною частью, однимъ изъ тѣхъ ея созданій, которымъ нельзя считать найти, которыя наполняютъ непроходимые лѣса и камыши, и тайныя подземныя норы, и безграничныя травяныя степи. Съ зари и до зари, изъ году въ годъ сидитъ и бродитъ онъ въ этихъ камышахъ и подъ этими чинарами; онъ за-

стаетъ своими собственными глазами всевозможные моменты животной жизни: слѣдитъ выдру подъ водой, подманиваетъ тетеревовъ, обходитъ лежку кабана. Передъ нимъ и они слѣдятъ и ловятъ другъ друга, употребляютъ то же насиліе и тотъ же обманъ, какъ человѣкъ; какъ онъ, требуютъ пищи и покоя, и удовлетворенія страстямъ; какъ онъ, рождаются въ болѣзняхъ и сосутъ молоко матери, мужаются, укрѣпляясь тѣломъ и смысломъ, болѣютъ и умираютъ, скорбятъ и радуются. Какъ у него, у нихъ есть жены и семейства, и домашній кровъ, и родная земля, любовь и дружба, страхъ и гнѣвъ. Другіе могутъ этого не знать, могутъ искажать съ разными цѣлями представленія свои о животныхъ тваряхъ. Но дядѣ Ерошкѣ не знать звѣря нельзя, и унижать звѣря нѣтъ никакой причины. Онъ лучше всѣхъ знаетъ, что между нимъ и кабаномъ бездна не безмѣрно велика; знаетъ уже по тому одному — какое напряженіе физическихъ силъ, энергій и умственной изобрѣтательности необходимо ему употребить для одолѣнія этого звѣря, то-есть для фактическаго доказательства своего превосходства надъ нимъ. Это напряженіе ощущается имъ слишкомъ осязательно и непосредственно, чтобы не быть сознаннымъ.

Отсюда прямо вытекаютъ религіозныя представленія дяди Ерошки. Онъ не въ силахъ раздѣлить свою судьбу отъ судьбы милліоновъ другихъ созданій, такъ близко къ нему подходящихъ, составляющихъ, такъ сказать, его домочадцевъ, знакомцевъ и соотечественниковъ. У дяди Ерошки то же приравненіе себя къ животному, но только болѣе реальное, основанное на опытѣ. Онъ видѣлъ, какъ умирали чеченцы, олени и казаки, и видѣлъ, что гдѣ они гнили — трава вырастала. Старый казакъ когда-то сказалъ ему, что *все то фальшь, что уставщики говорятъ*; эта мысль и застряла у него въ головѣ, потому что она вполне подтверждала его собственный опытъ. Удивительно ли, что формальныя толкованія раскольниковыхъ книгъ полуграмотными начѣтчиками, толкованія о какихъ-то неувидимыхъ, отвлеченныхъ предметахъ языкомъ печеловѣчески-изломаннымъ — казались одною фальшью человѣку лѣса и поля, привыкшему не къ рѣчи, а къ дѣлу, не къ скучной книгѣ, а къ свѣжей природѣ.

Религіозныя воззрѣнія дяди Ерошки даже не кажутся намъ какимъ-нибудь исключительнымъ явленіемъ въ жизни



простого народа. Это не какой-нибудь Lucifer Бартольда Ауэрбаха, не какой-нибудь esprit fort, возстающій противъ старыхъ догматовъ во имя чего-либо новаго. Дядя Ерошка, по болтливости стараго кутилы и празднаго охотника, весь нараспашку за кружкой чихиря. Оленинъ простъ, но его миѣнію; онъ его не опасается, не стѣсняется имъ, а говорить по душѣ. Въ сущности же онъ и религіозенъ не болѣе большинства. Надо еще замѣтить, что дядя Ерошка даже и въ такомъ откровенномъ расположеніи духа боится формулировать свои сомнѣнія въ сколько-нибудь рѣшительный выводъ; онъ разомъ прекращаетъ разговоръ, когда замѣчаетъ соблазнительность его исхода...

Третья характерная черта дяди Ерошки — это его эпикуреизмъ на казацкій ладъ. Онъ не можетъ подчиниться условіямъ гражданской жизни, дисциплинѣ арміи, дисциплинѣ закона. Онъ не боится труда, но не выноситъ принужденія. Въдь издыхаютъ же въ клѣткахъ самые сильные и здоровые звѣри. Рожденный въ лѣсахъ Терека, среди горъ, онъ не можетъ разстаться съ почвою, его вскормившей. Онъ пытается корочкою хлѣба, когда нечего съѣсть, но онъ зато не работаетъ и не служитъ. Онъ всегда господинъ своего времени и своей воли: идетъ куда вздумаетъ, зачѣмъ вздумаетъ, къ кому вздумаетъ. Попробуйте назначить горному хищнику — орлу или коршуну — гдѣ и какъ онъ долженъ ловить свою добычу. Для дяди Ерошки жизнь есть свобода, иначе онъ не въ состояніи мыслить жизнь. День и ночь онъ шатается по камышамъ, по колючимъ кустарникамъ, по глухимъ лѣсамъ. Онъ едва спитъ: до зари уже съ ружьемъ. *Сидитъ въ хатѣ онъ просто не умѣетъ.*

„Что дома-то сидѣть? только нагрѣвши, пьянъ надуешься. Еще бабы тутъ придутъ, тары да бары; мальчишки кричатъ, угоришь еще; то ли дѣло на зорькѣ выйдешь?...“ и т. д.

Но уже если разъ онъ дома, ему хочется побаловать себя, ему хочется веселой компаніи за бутылкой чихиря, и, конечно, чужого чихиря, потому что своего хозяйства у него нѣтъ. Поэтому онъ такъ любитъ простыхъ людей, въ родѣ Оленина, то-есть такихъ, у которыхъ можно выпить. Онъ ихъ по чутью узнаетъ и сходится съ ними въ одну минуту. Но тутъ дѣйствуетъ не одно побужденіе выпивки и блюдолизничества. Дядя Ерошка не унижается чужимъ угощеніемъ и

не считаетъ его за подачку, за милость. Онъ твердо убѣжденъ, что самъ понадобится не нынче — завтра, и что его услуга будетъ нисколько не меньше, хотя и въ другомъ родѣ. У него нѣтъ чихиря, но можетъ быть кабанья свѣжина, и тогда ему вся станица кланяется; пѣтъ пороха, но зато бываютъ фазаны. Оттого онъ за чужимъ столомъ, какъ за своимъ: посылаетъ Оленинскаго деньщика покупать чихирь на деньги Оленина, будто въ свой собственный погребъ, всѣмъ распоряжается безъ всякаго смущенія и стѣсненія. Но въ немъ чувствуется не безстыдникъ, не эксплуататоръ, а щедрая душа, привыкшая вездѣ раскошеливаться. Посмотрите, сколько привлекательнаго въ этомъ откровенномъ, безхитростномъ подступѣ его къ Оленину, въ минуту перваго знакомства. Это именно подступъ простой души, не знающей и знать не желающей той условной лжи, которой сложная система стремится совсѣмъ замѣнить нашу жизнь...

„Ерошка очарователенъ именно своею реальностію, полнотою, а не выдуманностью и односторонностью. Онъ — человекъ практическій, живетъ легко и весело. Впечатлѣнія его не глубоки, но живы, взглядъ широкій, свѣтлый и спокойный. Иначе бы и не дожить ему въ такомъ кабаньемъ здоровьѣ до сѣдой бороды, не быть бы въ 70 лѣтъ румяно-рожимъ кутилой и плясуномъ. Изъ этихъ условій вытекаетъ его благорасположеніе къ людямъ, его поэтическое чувство природы; но въ жизни его не существовало никакихъ условій, способныхъ очистить его характеръ, языкъ и привычки отъ вліяній обстановки, ремесла и вѣковыхъ преданій; и онъ является съ ними со всѣми, какъ есть, живой, выпуклый, навсегда памятный.

Казакъ Лука — джигитъ, удалецъ, но не можетъ такъ симпатически дѣйствовать на чувства читателя, какъ дѣйствуетъ старый циникъ Ерошка. Въ Лукашкѣ много сухой серьезности, односторонности и прозы. Это идеаль казакъ, упорно вѣрующій въ малѣйшій догматъ казачества, не знающій ни въ чемъ отступленія, сомнѣнія, колебаній. Въ него не вложено ни одной искры поэзіи, ни одной соринки скептицизма, отчего отъ него нѣсколько пахнетъ умственною ограниченностью. Въ Ерошкѣ сидитъ, хотя очень глубоко, бѣсъ новизны, реформы. Ерошка оттрепанъ на всѣ бока своимъ житейскимъ опытомъ; инстинктивно онъ понялъ отно-



сительность и условность многого. Рѣзкость его дѣсныхъ вкусовъ и казацкихъ догматовъ смягчились столько же этимъ долготѣннымъ опытомъ, сколько несомнѣнно-поэтическимъ складомъ его души. Но Луку мы застаемъ во всемъ весеннемъ сокотеченіи грубыхъ силъ; ослабленіе физической жизни еще не уступило умственнымъ силамъ его господства надъ его дѣйствіями. Оттого онъ рѣзокъ, суровъ и исключителенъ. Въ убійствѣ абрека, даже при созерцаніи трупа его, онъ еще не умѣетъ видѣть что-нибудь иное, кромѣ собственнаго подвига; онъ дрожитъ отъ радости, какъ коршунъ, задравшій перепелку, и полонъ только одной казацкой гордости. Но это не кровожадность, не дрянное чувство радости о гибели другого. Это — безсознательное, вполне естественное ощущеніе хищной птицы или кошки, удовлетворившей своей органической потребности. Безиравственнаго тутъ уже ничего не откопашь. Такова же его любовь къ Марьянѣ: прямая, откровенная, пропечатанная до послѣдней буквы въ каждомъ его жестѣ и словѣ. Онъ не скрываетъ, чего хочетъ отъ Марьянки — ни отъ нея самой, ни отъ людей; онъ даже не подозрѣваетъ, что у кого-нибудь могутъ быть поводы скрывать это. Марьянка лучше другихъ дѣвокъ, больше по вкусу ему: но онъ нечуть не мечтаетъ, будто бы она для него незамѣнима: она — или никто... Вовсе нѣтъ: не пошла Марьянка — другую бы взять, казачекъ хорошихъ много; не удастся ему къ Марьянкѣ въ окно влѣзть — поворачиваетъ къ Ямкѣ, и дѣло съ концомъ. Для Марьянки онъ не пожертвуетъ также своими военно-казацкими интересами. Ихъ только онъ считаетъ *настоящимъ дѣломъ*, а всѣ свои бесѣды съ Марьянкой, всѣ свои попойки у Ямки — однимъ баловствомъ, гуляньемъ, пригоднымъ между дѣломъ и въ свой часъ. Марьянка не закрыта отъ него никакими иллюзіями; онъ не считаетъ разрушеніемъ своей любви открыто-высказаннаго ей подозрѣнія въ невѣрности; онъ въ этой невѣрности видитъ весьма естественное событіе, хотя лично ему невыгодное. Онъ не изнываетъ въ психическихъ мученіяхъ, какъ сдѣлалъ бы на его мѣстѣ какой-нибудь Грыцько или Остапъ Марко-Вовчка, а просто-на-просто грозитъ Марьянѣ и ругается съ нею. Такъ же ругается онъ и въ отвѣтъ на постоянные ея отказы его желаніямъ: „Хорунжиха! замужъ выйдешь“, ворчитъ онъ презрительно на свою возлюбленную.

Такъ же откровенны, можно сказать, всенародны его кутежи у Ямки, его связи съ прежнею любовницей; все это основано на казацкихъ принципахъ, допускается казацкою моралью — стало-быть, изъ чего тутъ скрываться? Оттого въ его пьянствѣ и развратѣ не видишь ничего омерзительнаго, унижающаго, какъ нельзя видѣть ничего этого въ жизни дикаго коня. Что бы ни дѣлалъ звѣрь — онъ никогда не представляется намъ безправственнымъ, грязнымъ, но всегда естественнымъ, исполненнымъ своего особеннаго достоинства и своей особенной красоты; потому что онъ всегда вѣренъ самому себѣ, никогда не ниже себя. Когда гуляетъ Лука, чувствуешь, что этому организму надо выпить и нагуляться именно настолько, что это не извращенье инстинктовъ, не болѣзненное раздраженіе вкусовъ, которыя такъ часто встрѣчаются въ иныхъ слояхъ общества.

Отношенія Лукашки къ матери, вставленныя авторомъ словно мимоходомъ, прекрасно дорисовываютъ его портретъ. Эти отношенія опять-таки глубоко казацкія, глубоко простонародныя. Что ни говори, а въ настоящей русской семьѣ, не только мужицкой, но даже и купеческой, взрослые сыновья безъ отца дѣлаются хозяевами, властелинами своихъ матерей. Лука — суровый и эгонстическій хозяинъ, какъ все наше простонародье. Баба, хотя она и мать, не слышитъ отъ него ласки и празднаго разговора. Какъ казакъ, онъ особенно презираетъ бабѹ: баба не воинъ, не джигитъ, бабѣ только пироги печь; что съ нею толковать? Спросилъ чихирю, прикрикнувъ для порядка да и за дѣло. Помыслы Луки, какъ и всякаго казака, внѣ семьи; ему дома скучно и почти неприлично. А между тѣмъ онъ уважаетъ мать по-своему: онъ ей достанетъ все, что нужно, онъ не дастъ ее обидѣть, онъ на нее не только не осмѣлится руки поднять, но даже нехорошее слово сказать. И народъ кругомъ, и сама мать, и самъ Лука увѣрены, что онъ почтительный, добрый сынъ, какъ слѣдуетъ казаку и православному быть, хотя онъ презираетъ иѣжничанье и возню съ бабой. Чѣмъ онъ виноватъ? Онъ слѣдуетъ только тому, чему научили его собственные гувернеры — Ерошки и Гирейханы; онъ помнитъ только свои лекціи, прослушанныя когда-то въ камышахъ Терека и на вынкѣ кордона. Конечно, пріятно было бы устроить чувствительный пейзажъ съ одной стороны изъ престарѣлой матери,



обливающей слезами стремя сыновняго коня, лобзающей сына въ уста и въ очи, называющей его „желаннымъ“ и „сизымъ голубемъ“, и „дитяткой ненагляднымъ“; а съ другой стороны отъ этого статнаго юноши съ поникшимъ челомъ и съ слезою, повисшей на черномъ усѣ: „Прощай, моя ясочка, родимая моя!“ могъ бы тихо прошептать онъ; „кто-то будетъ мнѣ расчесывать шелковыя кудри мои, кто-то будетъ миловать да голубить“; а она бы еще; а онъ бы еще, и кончить потомъ многими точками. Я знаю, что эта сцена вышла бы поразительною подъ талантливымъ перомъ нашего знаменитаго изслѣдователя простонародной жизни — Марка-Вовчка. Но что же дѣлать? Иѣкоторые односторонніе писатели не любятъ почему-то поразительныхъ сценъ; надо и имъ когда-нибудь уступить.

Лукашка выступаетъ грубымъ прозаикомъ еще въ одномъ обстоятельстве своей жизни: въ дружбѣ съ Оленнинымъ. Несмотря на беззавѣтную доброту Оленнина, на его горячія желанія сдѣлать для счастья Луки все, отъ него зависящее, Лукашка ведетъ себя настоящимъ болваномъ; надъ сердечными изліяніями Оленнина онъ внутренно подсмѣивается и долго не вѣритъ чистотѣ его намѣреній. Даже послѣ подарка Оленнинскаго, Лука не разубѣждается, а ждетъ все, что Оленнинъ выпроситъ у него что-нибудь себѣ, замѣнитъ подареннаго коня; онъ радъ-радехонекъ, что можетъ отдѣлаться однимъ книжаломъ. Только впослѣдствіи, когда ему сказали старикъ, что русскіе всегда такіе дураки и богачи, онъ какъ будто понялъ Оленнина, и пересталъ его подозрѣвать. Васъ, можетъ быть, удивляетъ, отчего этотъ безсердечный юноша, безъ всякой причины, такъ упорно не хотѣлъ вѣрить теплымъ словамъ дружбы? Вещь очень простая, читатель! для него эти слова имѣютъ то же значеніе, какъ для насъ съ тобою стереотипныя фразы пишемъ: *многоуважаемый господинъ* или *имѣю честь остаться душевно вамъ преданнымъ*. Казаки и чеченцы не словами, а дѣлами, съ мальства научили его, что чужого коня можно достать или своимъ золотомъ, или своею кровью; что безъ собственной выгоды одинъ человекъ для другого пальцемъ не пошевелитъ; что не только слова, даже клятвы даются именно тѣми, кто скорѣе всего готовъ ихъ нарушить. Послушайте, какъ учить его довѣрію къ людямъ его сѣдой дядька и гувернеръ — Ерошка:

„Гирей-хану вѣрить можно, его весь родъ — люди хорошіе; его отецъ вѣрный кунакъ былъ. Только слушай дядю, я тебя худу не научу: вели ему клятву взять, тогда вѣрно будетъ; а поѣдешь съ нимъ, все пистолетъ наготовѣ держи... Вѣришь — вѣрь, а безъ ружья спать не ложись“. Грубый въ страстяхъ, грубый въ любви, грубый въ дружбѣ — вотъ, значитъ, и весь Лукашка — подумаете вы, весь идеалъ казака. Нѣтъ, далеко не весь. Казакъ — вѣчный воинъ, вѣчный борецъ. Тутъ все его содержаніе, вся его добродѣтель и мораль. Лукашка переполненъ этой существенно-казацкой добродѣтелью. Къ ней прикованы его фантазія и его сознаніе. Долгъ въ отношеніи къ ней — для него святъ и неуклоненъ, какъ Божья заповѣль. Она —  *duty*; все остальное — пустая, ребяческая забава. Лукашка, такъ безцеремонно трактующій свою невѣсту-любовницу, такъ безпросынно гуляющій въ станицѣ съ своимъ другомъ Назаркою — тотъ же Лукашка сидитъ, не смыкая глазъ, цѣлыя ночи на берегу Терека, оберегая родную станицу; онъ первый бросается на пули и ножи арбековъ; онъ когда нужно, не раздумывая, переплываетъ Терекъ, подвергая себя всевозможнымъ опасностямъ. Рыцарскій духъ казака горитъ въ немъ жаркимъ, для всѣхъ замѣтнымъ, пламенемъ. Сами товарищи лучше всего чувствуютъ въ немъ присутствіе этого избраннаго духа, и невольно уступаютъ ему въ дѣлѣ первый шагъ и первый голосъ, помимо всѣхъ чиновныхъ и сѣдыхъ старшинъ...

Въ типѣ Марьянки нѣтъ ни малѣйшаго недостатка определенности; она намъ ясна до осязательности. Это — здоровая, красивая, молодая дѣвка, такъ же точно вѣрная во всемъ своей сферѣ и своей породѣ, какъ буйволица вѣрна своимъ. Посмотрите, какими глазами смотритъ она на свою красоту, на свои отношенія къ Лукашкѣ. Жизнь успѣла уже показать ей, что всѣ молодыя дѣвки въ свою пору правятся парнямъ, что за всѣми ухаживаютъ, отъ всѣхъ добиваются поцѣлуевъ и обѣщаній; стало-быть, ничего особенно лестнаго, исключительнаго не можетъ быть въ отношеніяхъ къ ней ея Лукашки. Лукашка добивается своего, для себя, а не для нея. Лукашка будетъ ее бить, когда станетъ ся мужемъ; ластится онъ до поры до времени, пока она еще не въ рукахъ. Она знаетъ, что не одна она привлекала его, что онъ даже къ ней ходитъ отъ своей прежней душеньки. Отсюда попятно



ея довольно равнодушное и нѣсколько строгое поведеніе по отношенію къ Лукѣ. Нельзя сказать, что она его не любитъ; она желала бы изъ всѣхъ казаковъ имѣть мужемъ Лукашку; Лукашка — молодецъ собою, первый храбрецъ, на виду у всей станицы. Она тоже изъ первыхъ дѣвокъ въ станицѣ; это ей всѣ говорятъ, и она на столько сама понимаетъ; поэтому имъ сподручнѣе всего быть мужемъ и женою. Тутъ не одно благоразуміе: и физическая страсть уже говоритъ въ этомъ крѣпкомъ, молодомъ тѣлѣ. Но странно бы было приписать этой страсти подавляющее значеніе, какъ поступаетъ обыкновенно въ отношеніи своихъ героинь Жоржъ-Зандъ и ея крошечные копировщицы и копировщики.

„Благоразуміе и чувство туземнаго приличія заставляють Марьянку сдерживать нетерпѣніе молодого казака; она не прочь цѣловаться съ нимъ, она позволяетъ ему ласкать себя и слушаетъ съ большимъ удовольствіемъ его любовныя рѣчи; она горитъ въ его объятіяхъ; но всякое рѣшительное требованіе Лукашки отклоняется настойчиво и сурово, потому что суровыя стороны жизни побѣждаютъ въ сознаніи Марьянки увлеченіе любви. Любовь хороша, но любовь все же таки роскошь: а жизнь уже показала ей, что прежде роскоши нужно еще удовлетворить многому и важному другому. Эти неизбѣжныя и постоянныя условія приковываютъ ея мысль, мѣшая ей уступить скоротечной вспышкѣ, которой радости стоили бы несоразмѣрно дорого. Нѣтъ спора, что это — проза, скучная и матеріальная проза, въ томъ смыслѣ, какой обыкновенно придаютъ этому слову. Въ этомъ и заслуга писателя, что онъ не обманываетъ насъ и не сочиняетъ намъ Ганусей и игрушечекъ, ясочекъ и лебедушекъ, *такихъ какъ краля*, которыя распускаютъ свои волосы на берегу озера и поютъ, ничего не дѣлая, меланхолическія пѣсни къ вѣтру буйному, къ соколику ясному, которыя влюбляются въ разныхъ таинственныхъ Петро — *такихъ чернобривыхъ да хорошихъ*, вмѣстѣ съ ними плачутъ и мечтають объ Аркадіи въ Бахмутскомъ уѣздѣ. Посмотрите, напротивъ, съ какою откровенною правдивостью рисуетъ намъ гр. Л. Толстой нравы своихъ Ромео и Юлій даже въ моменты ихъ нѣжнѣйшихъ воркованій:

— „Дай сѣмечекъ, прибавилъ онъ (Лука), протягивая руку. Марьянка совсѣмъ улыбнулась и открыла воротъ ру-

бахн. — Всѣ не бери, сказала она. — Право, все о тебѣ скучился, ей-Богу, сказалъ сдержанно спокойнымъ шопотомъ Лука, доставая сѣмечки изъ-за пазухи дѣвки и еще ближе ближе пригнувшись къ ней, сталъ шопотомъ говорить что-то, смѣясь глазами:

— „Не приду, сказано! вдругъ громко сказала Марьянка, отклоняясь отъ него... и т. д.“.

Это изъ самыхъ деликантныхъ сценъ; другія рѣчи и сцены еще выразительнѣе.

„Ишь, хорунжиха!“ думаетъ Лука про свою невѣсту: „и не пошутить, чортъ! Дай срокъ“.

— „Вишь чортъ проклятый! напугалъ меня. Ну, пошелъ же домой“ со смѣхомъ говоритъ въ другомъ мѣстѣ Марьянка про Луку. Офицера Бѣлецкаго она цѣлуетъ безъ всякаго смущенія и замахивается на него кулакомъ въ видѣ гостинной любезности. Юнымъ подругамъ своимъ кричитъ: „заперлись, черти!“ Когда Оленинъ неожиданно расцѣловалъ ее при всей публикѣ, она только громко захохотала. Въ жару самаго патетическаго и рѣшительнаго объясненія Оленина, предлагающаго ей всю жизнь свою, вмѣстѣ съ своею рукою, она перерываетъ его словами: „ну, что брешешь!...“ и т. д. Еще характернѣе предпоследняя сцена Оленина съ Марьянкой, когда у нихъ между собою все уже улажено. Оленинъ не знаетъ, куда дѣтъ, въ чемъ выразить свое блаженство; ему хочется слышать слова любви и ласки изъ устъ дорогого созданія; онъ нѣсколько разъ обращать къ ней все тотъ же вопросъ о любви, словно разсмаковывая свое счастье въ этихъ праздныхъ, но такъ понятныхъ повтореньяхъ; и Марьянкѣ все это кажется до крайности страннымъ, ненужнымъ, чуть не безумнымъ. Она обдастъ самую бабьею, стряпушкинскою прозою всѣ поэтическіе запросы своего обожателя...“

Итакъ, Марьянка гр. Толстого является женщиною своей среды и породы, т. е. расчетливою, матеріальною, ставящею прежде всѣхъ своихъ страстей требованіе благоразумія. Ей непонятно и даже невѣроятно все, что только не основывается на узкомъ простонародномъ расчетѣ. Она считаетъ глупостью, баловствомъ нѣжныя рѣчи и безразсудное нестерпѣніе своихъ любовниковъ. По нравственныхъ идеаламъ своимъ, это — *бюргерша* въ самомъ обидномъ смыслѣ, который стали придавать этому слову; по формамъ, въ кото-



рыхъ проявляются ея взгляды, это — истая мужичка. И все это составляетъ достоинство ея художественнаго характера, ибо все это трижды справедливо; ибо никто изъ насъ не встрѣчалъ въ простомъ быту другихъ женщинъ, кромѣ Марьянокъ и Устенокъ. Всѣ мы слышали отъ нихъ: „ну, что брешешь“; всѣ получали любезности въ видѣ удара кулакомъ; но никто изъ насъ, надѣюсь, не натыкался въ русскихъ избахъ на Ганусь, не слышалъ разговоровъ о розовыхъ облачкахъ и желаній летѣть за птичкою, dahin, dahin!

Нельзя не удивляться при этомъ тому рѣдкому въ нашей литературѣ чувству правды и художественности, которое удержало автора отъ малѣйшей попытки сообщить фигурѣ героини болѣе иѣжный колоритъ. Подобныя попытки обыкновенно соблазняютъ даже высоко-талантливыхъ писателей, въ родѣ Диккенса; и онѣ очень понятны. Не трудно оставаться въ сферѣ суроваго реализма, создавая загорѣлую фигуру охотника Ерошки. Но не такъ легко поэту побѣдить враждебное ему стремленіе къ идеализаціи, къ опоэтизированию красавицы-женщины, его героини и средоточія всей его драмы. Нужно много такта и неподкупнаго творческаго чутья, чтобы съ первой страницы до послѣдней, ни разу не смягчить грубаго тона рѣчи, ни разу не дать забыть, что героиня наша — казацкая дѣвка Марьянка, ходящая въ одной рубахѣ, и собственноручно запрягающая въ арбу отцовскихъ буйволовъ. А между тѣмъ, сколько въ романѣ графа Толстого тропинокъ и лазеекъ, въ которыя не преминули бы свернуть съ прямого пути писатели, менѣе искренніе и не столь строго воспитавшіе свои художественныя силы. Сколько поводовъ къ идиллическимъ картинамъ, драматическимъ эффектамъ, поэтическимъ діалогамъ, психологическимъ фантазіямъ. Графъ Толстой прошелъ между этими шхерами художественныхъ произведеній съ искусствомъ опытнаго и увѣреннаго въ себѣ лоцмана; онъ нигдѣ не измѣнилъ своей цѣли, своему пониманію. Онъ не слушалъ плѣнительнаго голоса сиренъ, сбивающихъ съ толку слабохарактерныхъ народныхъ питателей, преимущественно писателей-женщинъ; оттого ему удалось разыграть свою тему до конца въ одномъ и томъ же данномъ тонѣ, безъ фальши и искусственныхъ переходовъ.

Однако, нельзя не остановиться на такой приблизительной и общей оцѣнкѣ характера Марьяны, на которой мы держимся до сихъ поръ. Нельзя же думать, чтобы подъ этими грубыми рѣчами и движеніями не отыскалось своего рода душевной нѣжности, чтобы сквозь однообразный покровъ этого обиденнаго равнодушія и спокойствія не прорѣзались иногда бѣглыми молніями человѣческія волненія, сомнѣнія и желанія. Они должны имѣть свою мужицкую одежду, но они все-таки должны быть, потому что сквозь мужицкія черты и сквозь рѣчь мужицкую — глядѣть и говорить человѣческая душа.

Марьянка равнодушна и благоразумна, но нельзя не замѣтить, что она гораздо выше Устенки и другихъ своихъ подругъ, болѣе живущихъ увлеченіемъ, болѣе уступающихъ желаніямъ минуты. Марьяна среди нихъ будто царица, по увѣренію автора: ей уступаютъ лучшее мѣсто и лучшихъ кавалеровъ, при ней стихаются безчинные разговоры; Марьяну обходитъ пьяный Ергушовъ, обнимающій всѣхъ дѣвокъ подъ рядъ, и даже старухъ заодно съ дѣвками; о Марьянѣ избѣгаетъ говорить съ Оленнымъ циникъ Ерошка; самъ безстрашный Лукашка нѣсколько смиряется передъ этою строгою казачкою, а Оленникъ совсѣмъ ей подчиняется.

Марьяна горда, и это — главное ея качество. Въ ея сферѣ, женщины, подобныя Устенкѣ, не могутъ имѣть значенія и вліянія. Онѣ дѣлаются не сегодня такъ завтра игрушками и рабами своихъ любовниковъ; съ ними будутъ такъ же мало церемониться, какъ съ Яшками и Дуняшками. А Марьяна не хочетъ примириться съ мыслью о своей ничтожности и безропотной покорности мужчине. Она, конечно, не реформаторша, не эмансипированная дѣвица, не имѣетъ теоретическихъ и ясно сознанныхъ цѣлей; но у нея гордый, независимый темпераментъ. Она инстинктивно упирается противъ ярма. Она временами чувствуетъ къ Лукашкѣ что-то отталкивающее, какъ къ будущему господину своему, и ревниво старается отстаивать свою свободу, пока она еще въ ея рукахъ. Она всячески даетъ ему чувствовать свою независимость и оскорбляется внутренно его требовательнымъ тономъ. Конечно, къ этимъ чувствамъ тѣсно примѣшиваются и другія, противоположныхъ свойствъ; она въ то же время любитъ и жалѣетъ его. Безъ этого спле-



теи́я разнообразныхъ качествъ, могла ли быть достигнута жизненность изображенія? Зная, что разъ поддавшись мужчине́, она будетъ его вещью, Марьяна сурово отбивается отъ просьбъ Лукашки, хотя не видитъ ничего предосудительнаго и опаснаго для себя въ его ласкахъ. Можно ли обвинить ее, что она такъ мало страстна, такъ дешево цѣнитъ ласки и клятвы мужчини́, какъ будто жизнь пріучила ее къ нѣжности, къ любовной болтовнѣ, къ духовному наслажденію своимъ чувствомъ? Какъ будто кромѣ объятій, лазанья за сѣмечками и ночного стука въ окно, она могла бы чего-нибудь дождаться отъ любезниковъ казацкой станицы? Замужество представляется ей, какъ и Устенкѣ, временемъ нужды; она должна будетъ рожать дѣтей, печь мужу хлѣбы, цѣдить чихирь. Что же настроить ее на соловьиныя пѣсни, на не земное томленье? Надо быть пустой и необдуманной дѣвчонкой, въ родѣ Устенки, чтобы для какого-нибудь часа физическихъ наслажденій забыть все остальное. Марьяна умна, горда и мужичка; поэтому не можетъ быть особенно страстною и особенно нѣжною. Она слишкомъ хорошо, хотя инстинктивно, понимаетъ, какъ мало заслуживаютъ страсти и нѣжности тѣ отношенія, къ которымъ ее пріучили, и которыя ей сулятъ впереди. Конечно, она была бы другою, родившись не въ станицѣ на берегу Терека дочерью хорунжаго, а на берегахъ Невы, гдѣ издаются журналы и воспитываются въ институтахъ. Но какъ казачка, Марьянка, какъ хорунжиха, она должна быть именно такою и никакою другою.

Замѣчательно, что вниманіе Оленина очень скоро отдаляетъ Марьяну отъ Лукашки. Сначала это можетъ показаться грубымъ и матеріальнымъ до безобразія. Оленинъ богатъ, у него цѣлая хата вещей, у его отца есть холопы, и Марьяна безъ дальнихъ думъ мѣняетъ на него своего давши́яго жениха-пролетарія. „А Лукашку куда дѣнемъ? грубо спрашиваетъ она во время сватовства Оленина. И между тѣмъ авторъ нигдѣ не даетъ намъ замѣтить, чтобы она разлюбила Луку: черезъ это, подозрѣніе въ бездушномъ расчетѣ, руководящемъ ея выборомъ, повидимому, получаетъ серіозное основаніе. Но мы не хотимъ смотрѣть такъ близоруко на дѣло. Намъ кажется особенно тонкимъ и мастерскимъ этотъ особенно трудный для изображенія переходъ

чувствъ Марьяны отъ Лукашки къ Оленину, эта едва очеркнутая, въ нѣсколькихъ намекахъ прорывающаяся, внутренняя борьба молодой казачки. Луку она любитъ и считаетъ женихомъ попрежнему; съ нимъ ей легче и понятнѣе; будущая связь съ нимъ гораздо для нея достовѣрнѣе. Но въ то же время она незамѣтно привязывается къ Оленину. Ее манитъ къ нему именно то, чего она отъ роду не видѣла у казаковъ и отъ казаковъ, что-то нѣжное, тихое, подчиняющееся, и вмѣстѣ барское, благородное. Она, конечно, ничего этого ясно не различаетъ и подчиняется какому-то таинственному, необъяснимому для нея влеченію. Она чувствуетъ, что Оленинъ *что-то не то*, что-то высшее и лучшее, хотя и не такая пара ей, какъ Лукашка. Ее чаруютъ и интересуютъ, противъ воли, его странныя, ласковыя и слезныя рѣчи, къ которымъ она совершенно не привыкла“...

„Для нея самой привлекательное въ Оленинѣ было то, что онъ могъ бояться ее, что она для него много значила. Ясно, что на этомъ сознаніи и укоренились ея первыя симпатіи къ юнкеру. Въ Лукашкѣ же, наоборотъ, самое отталкивающее для нея было то, что онъ не боялся ее, недостаточно уважалъ и искалъ.“

Но между тѣмъ старая привязанность къ Лукашкѣ не вымерла въ ней; ей казалось почти невозможнымъ стать женой барина и русскаго; она не чувствовала ни малѣйшей органической связи между собою и имъ ни въ прошедшемъ ни въ будущемъ. Ихъ образованіе, привычки, вѣрованія, обстановка, родня, языкъ — все было слишкомъ не похоже одно на другое. Уступая частью благоразумному расчету, частью зародившейся симпатіи къ невѣдомымъ дотошъ качествамъ образованнаго человѣка, она соглашалась одно время стать женою Оленина. Но Луку она словно не хотѣла забыть. Когда Оленинъ случайно упомянулъ про гульбу Лукашки, Марьяна вспыхнула, какъ отъ кровной обиды.

„Большіе черные глаза блестѣли на него строго и недружелюбно. Ему стало совѣстно за то, что онъ сказалъ.“

— „Что-жъ, онъ никому худа не дѣлаетъ, вдругъ сказала Марьяна: — на свои деньги гуляетъ, и, спустивъ ноги, она соскочила съ печи и вышла, сильно хлопнувъ дверью.“

А между тѣмъ она уже хорошо знала чувство Оленина къ ней. Наконецъ страшный случай, на который никто не



расчитывалъ, — смертельная рана Лукашки и гибель казаковъ, разомъ отрезвили Марьяну. Казацкая натура ея оказалась явственно и несомнѣнно. Она ощутила свое органическое родство съ казакомъ и безконечное отдаленіе отъ пришельца.

Трагическое происшествіе подавило капризные и роскошныя чувства, мало-по-малу проросшія въ сердцѣ Марьянки, и вызвало на сцену опять однѣ суровыя и трагическія стороны духа. Оленинъ нашелъ ее въ слезахъ, угрюмую.

— „О чемъ ты, что ты?

— „Что? повторила она грубымъ и жестокимъ голосомъ: — казаковъ перебили, вотъ что!

— „Лукашку? спросилъ Оленинъ.

— „Уйди, чего тебѣ надо...

— „Марьяна, сказалъ Оленинъ, подходя къ ней.

— „Никогда ничего тебѣ отъ меня не будетъ.

— „Марьяна, не говори, умолялъ Оленинъ.

— „Уйди, постылый! крикнула дѣвка, топнувъ ногою и угрожающе придвинулась къ нему. И такое отвращеніе, презрѣніе и злоба выразились на лицѣ ея, что Оленинъ вдругъ понялъ, что ему нечего надѣяться...“ и т. д.

Она словно захотѣла отомстить ему въ эту тяжкую минуту за свою собственную слабость, за невольную измѣну своему жениху-казаку, умирающему теперь отъ ранъ.

Типъ Оленина не есть одно бездушное олицетвореніе извѣстныхъ мыслей. Оленинъ — лицо очень живое и очень распространенное. Онъ дѣйствительно не очень образованъ школою, и въ этомъ отношеніи есть, по-преимуществу, нашъ современный, русскій типъ. Его выработка предоставлена жизни, поэтому должна быть исполнена противорѣчій, рѣзкихъ перемѣнъ и неправильностей. Это — судьба и исторія всѣхъ насъ. „Всѣ мы учились понемногу чему-нибудь и какъ-нибудь“, но изъ насъ однако вырабатываются люди послѣ долгой житейской ломки. Оленинъ былъ трактирнымъ героемъ не по натурѣ, но, попавъ случайно въ компанію Сашекъ Б., молодой мальчишка увлекся этою стороною и заплатилъ ей неизмѣнную дань; онъ былъ на верху блаженства, прохаживаясь подъ-руку съ флигель-адъютантомъ и называя князя уменьшительнымъ именемъ. Оленинъ — человѣкъ обыкновенный по своей біографіи, по обстановкѣ,

въ которой находится. Но онъ все-таки изъ лучшихъ людей. Въ немъ живетъ духъ ищущій и стремящійся, въ его душѣ не потухнетъ то внутреннее пламя, которое особенно сообщаетъ человѣчность нашей жизни. Онъ не остался Сашкою Б. въ Москвѣ, не сдѣлался Бѣлецкимъ на линіи; онъ искалъ удовлетворенія своимъ позывамъ сначала въ данной обстановкѣ, потомъ, къ своему счастью нашелъ новую сферу, гдѣ ему могло быть лучше, и за которую поэтому онъ ухватился. Оленинъ въ нашихъ глазахъ не есть типъ цивилизованнаго человѣка вообще, а напротивъ — человѣкъ весьма опредѣленнаго образованія и опредѣленнаго общественнаго слоя, принесшій на борьбу съ иными началами только силы и слабости одного своего слоя, одного своего воспитанія. Намъ нѣтъ пока дѣла до того — такую ли ограниченную или болѣе обширную цѣль имѣлъ въ виду самъ авторъ, вводя въ романъ своего героя; обсуждая художественныя стороны его типовъ, мы имѣемъ право смотрѣть только на то, что онъ, дѣйствительно, сказалъ и изобразилъ, и насколько не касаемся того, что онъ, можетъ быть, замышляетъ. Авторъ не представилъ намъ Оленина какимъ-нибудь Фаустомъ, познавшимъ сначала всю глубину науки, потомъ все обаяніе власти, испытавшимъ огонь сплывѣйшихъ страстей и безуміе физическихъ наслажденій, и уже въ послѣдствіи, на концѣ своего поприща, нашедшимъ себѣ счастье въ тихой жизни на лонѣ природы. Оленинъ еще очень молодъ, и ему пока наскучила только пустая жизнь въ сообществѣ свѣтскихъ кутлѣ, свѣтскихъ франтовъ и свѣтскихъ барышень. Въ немъ таились поэтическія задушевные струны, которыя обнаружались особенно рѣзко послѣ жизни въ сферѣ, ихъ несколько не удовлетворявшей. Случай бросаетъ его именно въ такую обстановку, гдѣ особенно много пищи этимъ его главнымъ, но еще не удовлетвореннымъ струнамъ. Онъ поддается вліянію новой обстановки просто шагъ за шагомъ, по мѣрѣ своего механическаго приближенія къ ней. *Чувство горь*, охватившее его еще издали, завладѣваетъ имъ окончательно, когда онъ очутился среди этихъ горъ. Поэтъ, почувавъ годный ему воздухъ, очнулся внутри свѣтскаго франта и вздохнулъ во всю грудь; пошлыя черты лица московскаго хлыща преобразуются подъ напѣвомъ могущественной свѣжести природы съ серьезный и теплый образъ естественнаго человѣка. Кому кажется



страннымъ и исключительнымъ такое чарующее вліяніе природы на человѣка, кто видитъ въ этой перемѣнѣ только дидактическую уловку автора для униженія неодобряемыхъ имъ принциповъ — тотъ, значитъ, самъ никогда не ощущалъ въ своей груди могущественной власти горъ и лѣсовъ, тотъ лишенъ органа для воспріятія этого поразительнѣйшаго изъ всѣхъ впечатлѣній человѣка и для наслажденія этимъ чистѣйшимъ изъ всѣхъ наслажденій. Не только сама природа — однѣ уже картины ея, набросанныя такою живописною и тонкою кистью въ романѣ „Казакъ“, производятъ необыкновенное обаяніе. Какъ живая, встаетъ передъ нами эта глухая станція надъ бурными волнами Терека съ своими стройными казачками въ цвѣтныхъ бешметахъ, веселымъ хохотомъ казаковъ, мычаніемъ буйволовъ и коровъ на солнечномъ заходѣ. Слышишь скрипъ этихъ тяжелыхъ воротъ, сквозь которыя проламывается своими крутыми боками огромная буйволица; слышишь шлепанье по лужамъ и далекіе оклики на кордонѣ... И вдали надъ всѣмъ владычествующія горы, горы и лѣса... Разумѣется я не буду пытаться повторять глубоко-поэтическія картины ночей и утра, степей и лѣса, которыя непобѣдимо овладѣваютъ художественнымъ чувствомъ читателя въ романѣ гр. Толстого. Сторона описательная — одна изъ сильнѣйшихъ сторонъ романа, одно изъ главныхъ его достоинствъ. Кончая романъ, можно серіозно забыться и подумать, что самъ жила въ когда-то на линіи, самъ просиживалъ ночи съ веселымъ старикомъ на крылечкѣ за стаканомъ чихиря, бродилъ по лѣсамъ и садамъ, и любовался на шумные хороводы казацкихъ дѣвокъ. Я увѣренъ, что никакой этнографическій или географическій очеркъ, никакое описаніе путешествія не могли бы меня живѣе и полнѣе познакомить съ чуждою для меня жизнью и природою, какъ этотъ романъ гр. Толстого.

Мудрено ли же, что природа, до такой степени покоряющая насъ даже въ портретахъ своихъ, подавила Оленина, прикоснувшись къ ея живью, посмотрѣвшаго ей прямо въ глаза. Казаки и казачки явились для него нераздѣльными частицами этой природы, такимъ же, какъ звѣри и деревья. На Терекѣ жили чинары и чеченцы, казаки, олени... надъ всѣми надъ ними простирался одинъ и тотъ же голубой сводъ неба, и сіяло всѣми своими красотами одно и то же утрепнее,

полднєвное и вечернее солнце. Всѣхъ ихъ поила одна и та же вода, покрывалъ одинъ и тотъ же лѣсъ. Чуткая душа Оленина не могла устоять противъ этой простой, всеуравняющей силы: Оленинъ понялъ быть казака и прелесть этого быта. Бѣлецкій, его пріятель, этого не понималъ и понимать не хотѣлъ, но зато гораздо скорѣе понялъ, что дѣвки въ станицахъ рослыя, веселыя, и гораздо удачнѣе ухаживалъ за этими веселыми дѣвками. Большинство изъ насъ, конечно, поступило бы, какъ Бѣлецкій.

*Марковъ.*

## Общее содержаніе и построеніе „Войны и мира“.

Это произведеніе предлагаетъ читателю исполнскую картину жизни 1805—1812 гг., гдѣ съ кропотливостью миниатюриста вырисованы фигуры. Насъ плѣняетъ не та плпная судьба, въ отдѣльности взятая, — насъ плѣняетъ совместное дѣйствіе всѣхъ силъ, во дворцѣ и въ хижинѣ, на улицахъ и внутри домовъ, въ гостиной и на полѣ брани, — силъ, направленныхъ къ тому, чтобъ постепенно, но неуклонно привести къ гибели императора французовъ съ его арміей. Героемъ романа является судьба, насколько она обнаруживается во второстепенныхъ вещахъ. Методъ изображенія — аналитическій, онъ исходитъ отъ наблюденія частнаго, придаетъ фигурамъ полноту характеристическихъ подробностей и, слѣдуя той же основѣ, живописуетъ каждое положеніе до мельчайшихъ чертъ. Отдѣлы, какіе обыкновенно встрѣчаются въ большинствѣ романовъ, гдѣ вниманіе читателя не приковывается съ одинаковой энергіей, съ трудомъ можно указать въ „Войнѣ и мирѣ“. Все тутъ тщательнѣйшимъ образомъ обработано и сконцентрировано въ тонкій экстрактъ. Романъ этотъ есть созданіе великаго писателя, умудреннаго опытомъ человѣка и солдата, русскаго патріота. Все здѣсь, дѣйствія людей и положеніе вещей, какъ бы необходимо и законосообразно. Толстой не вѣритъ въ великихъ людей на манеръ Карлейля. Онъ скорѣе сторонникъ философіи исторіи Бокля и охотно насмѣхается надъ тѣмъ недостойнымъ толкованіемъ исторіи, которое пытается великія дѣянія объяснить малыми причинами. Такъ онъ почти



съ пропическимъ намѣреніемъ предпочитаетъ показывать Наполеона и Александра не въ блескѣ ихъ величія, а въ болѣе случайныхъ положеніяхъ, изображая ихъ во время туалета и замѣняя костюмъ героя во всякомъ случаѣ не менѣе интереснымъ неглиже. Особенной полнотой жизни дышатъ его описанія войны, которыя исполнены имъ съ изумительнымъ знаніемъ дѣла и богатствомъ фантазіи. Образы выступаютъ одинъ изъ-за другого и снова смыкаются въ красивыя группы. Въ цѣломъ, романъ сохраняетъ единство и глубоко прочувствованъ, отличается многообразіемъ и одушевленіемъ. Особенно замѣчательны мастерскія картины битвы Аустерлицкой, Фридландской и Бородинской. Онѣ совсѣмъ не похожи на то, что обыкновенно разумѣется подъ такими описаніями. Толстой не показываетъ театра военныхъ дѣйствій, какимъ онъ былъ бы отмѣченъ на картѣ генеральнаго штаба, но точно изображаетъ лишь столько, чтобъ каждый въ состояніи былъ какъ бы фактически наблюдать и присутствовать во время битвы. Вслѣдствіе этого описаніе дышитъ свѣжестью и естественностью впечатлѣнія, которое усиливаетъ до высшей степени иллюзію въ читателѣ и заставляетъ съ полной силой чувствовать ужасающую силу войны. Надо самому простоять подъ градомъ пуль, чтобъ такъ прочувствовать и написать, какъ это видимъ у Толстого.

Но Толстой съ такой же увѣренностью распутываетъ сѣть пинтригъ, которая завязывается въ салонѣ, и оттуда захватываетъ различныя явленія общественной жизни. Въ старомъ князѣ Николаѣ Болконскомъ онъ представляетъ типъ русскаго вельможи, натуру сильную, исполненную эгоизма и быстро воспламеняющуюся гнѣвомъ, признающую закономъ лишь свою волю и тиранствующую надъ окружающими, но при этомъ энергія и твердость характера привлекаетъ нашу симпатію. Сынъ его Андрей есть воплощеніе скептицизма, развитаго разсудочностью сомнѣнія въ своихъ силахъ и волѣ. Стоя на верху общественной лѣстницы, блистая въ гостинныхъ, выказывая отвагу на полѣ брани, эта личность внутренне чувствуетъ индифферентизмъ къ жизни и не стремится ни къ какой великой идеѣ. Только тогда, когда онъ, смертельно раненый при Аустерлицѣ, лежитъ на полѣ битвы, является у него мысль о могуществѣ Божіемъ.

Однимъ разумомъ нельзя наполнить содержательность жизни, удовлетворить можетъ только то, въ чемъ принимаютъ участіе сердце и фантазія. Таково, по крайней мѣрѣ, мнѣніе Толстого, и потому-то онъ противопоставляетъ скептику Андрею своего собственнаго героя, насколько вообще можно говорить о героѣ въ этомъ романѣ, — противопоставляетъ графа Пьера Безухова, дѣлая его въ то же время выразителемъ патріотической идеи цѣлаго. Проживъ долгіе годы съ женой, которая его обманывала, онъ создалъ великія задачи эпохи. Онъ „идетъ въ народъ, подобно позднѣйшимъ нигилистамъ, но не для того, чтобъ бунтовать этотъ народъ противъ государственной власти, а для того, чтобъ познать душу народа и при защитѣ отечества совершить великое дѣло“. Онъ остается въ Москвѣ, покинутой жителями, и ожидаетъ прибытія французовъ, чтобы убить ихъ императора. Его забираютъ въ плѣнъ, и тутъ-то онъ узнаетъ цѣну жизни, сродняясь съ идеями гуманности и самоотверженія, которыя возрождаютъ его въ семейной жизни, какъ полезнаго члена общества.

Невозможно въ немногихъ словахъ представить хотя бѣглый обзоръ всѣхъ дѣйствующихъ лицъ романа. Но двѣ женскія фигуры выступаютъ изъ этой массы лицъ такъ рельефно, что ихъ нельзя обойти молчаніемъ, — Марія, сестра князя Андрея и Наташа Ростова. Первое — идеальное, второе — реальное выраженіе свѣтлой женственности; та вся переполнена страстнымъ желаніемъ небеснаго блаженства, эта вся отдается радостямъ земнымъ. Въ Маріи кажется тѣмъ больше смиренія, что она живетъ при своемъ доходѣ до дикаго гнѣва отцѣ, потомъ она въ Николаѣ Ростовѣ находитъ прекраснаго мужа и, будучи женой, сохраняетъ въ себѣ мечтательность своей натуры. Наташѣ, напротивъ, всю прелесть ея существа придаютъ ей земныя страсти, находящія себѣ успокоенія послѣ долгаго кипѣнія. Сердце ея испытало различныя разочарованія и испытанія. Она порхаетъ отъ одного къ другому, пока здоровое зерно ея натуры не обнаруживается въ обязанностяхъ жены относительно ея мужа и матери относительно ея дѣтей.

*Цабель.*



## Лица и событія въ романѣ „Война и Миръ“.

### I.

Въ романѣ „Война и Миръ“, какъ и во всякой комедіи, написанной по правиламъ искусства, дѣйствіе начинается съ того, что предъ зрителемъ выступаетъ цѣлый рядъ лицъ, болѣе или менѣе играющихъ значительную роль въ произведеніи. Дѣйствіе открывается въ іюлѣ 1805 г. въ салонѣ Анны Павловны Шереръ, фрейлины императрицы Маріи Оеодоровны, куда къ вечернему чаю съѣхалась вся высшая знать Петербурга.

Вотъ на первомъ планѣ — князь Василій Курагинъ, весьма скучная личность, пустой себялюбивый эгоистъ подѣ маской скромнаго бюрократа и свѣтскаго лоска. Затѣмъ дочь его — княжна Эленъ, — напыщенная, блестящая красавица. А вотъ молодая, маленькая княгиня Лиза Болконская — „самая обворожительная женщина“ въ Петербургѣ: живая, веселая, какъ птичка, съ ежеминутной улыбкой на устахъ, при чемъ показывается рядъ прелестныхъ бѣлыхъ зубовъ. Мужъ маленькой княгини, — молодой князь Андрей Болконскій, — небольшого роста, весьма красивый, съ выразительными, но черствыми чертами лица, съ скучающимъ видомъ и медленной покойной походкой, — представляетъ полнѣйшій контрастъ съ маленькой оживленной женой. Они мало симпатизируютъ другъ другу, несмотря на недавнюю женитьбу.

А вотъ и лицо совсѣмъ иного типа, появленіе котораго производитъ нѣкоторую сенсацію въ кругу обычныхъ корректныхъ посѣтителей мадамъ Шереръ. Это молодой человекъ — массивный, толстый, со стриженной головой, въ очкахъ, свѣтлыхъ панталонахъ, съ огромнымъ жабо и въ коричневомъ фракѣ; все вмѣстѣ взятое шокируетъ хозяйку дома.

Онъ крайне мѣшковатъ, — не знаетъ, какъ ступить, теряется въ разговорѣ, но зато всѣ наружные недостатки — непозволительные въ глазахъ А. П. — искупаются вполне прекраснымъ сердцемъ и врожденной скромностью. Добрая, открытая улыбка придаетъ его умному, серіозному лицу такой добродушный видъ, что невольно вызываетъ всеобщую симпатію. Онъ, правда, любитъ вино, поклонникъ женщинъ, а главное, увлекается житейской философіей.

Въ обществѣ онъ пзвѣстенъ подъ именемъ м-гъ Пьера, а на дѣлѣ незаконный сынъ богатѣйшаго въ Россіи стараго графа Безухова.

Всѣ эти лица необыкновенно удачно и художественно обрисованы въ романѣ Толстого. Предъ нами живые люди, вполне реальные, полные жизни; къ однимъ влечетъ, отъ другихъ отталкиваетъ. Вначалѣ авторъ знакомитъ съ нѣкоторыми лицами романа, а затѣмъ переноситъ въ Москву, а именно на Поварскую, въ домъ Ростовыхъ, гдѣ въ этотъ день — въ честь именинницъ — самой графини и ея дочери Наташи — дается парадный обѣдъ.

Ростовы, несмотря на всѣ ихъ недостатки или, скорѣе, слабости, — прекрасные люди! Графиня, въ былое время, славившаяся восточной красотой, и теперь еще важная дама, несмотря на свои 45 лѣтъ и на двѣнадцать человѣкъ дѣтей, только слабая здоровьемъ и очень чувствительная — вся живетъ для мужа и четырехъ дѣтей, оставшихся въ живыхъ. Графъ по природѣ человѣкъ добрый и мягкосердечный, но прожившій состояніе по безнечности и на большіе пріемы, клубъ и охоту.

Старшая дочь, семнадцатилѣтняя Вѣра, хорошенькая, разсудительная дѣвушка, но нѣсколько жеманная и холодная.

Сестры и братья въ насмѣшку прозвали ее *m-me Genlis*. Старшій сынъ Николай — еще юный студентъ, съ малиновымъ воротникомъ, красивый, кудрявый, съ черными успехами, пятнадцатилѣтній пылкій энтузіастъ. Этотъ благородный, чистосердечный юноша — одно изъ самыхъ удачныхъ и жизненныхъ твореній Толстого. Не менѣе прелестное созданіе его сестра Наташа. Дома, въ семейномъ кругу, это милая тринадцатилѣтняя дѣвочка, забавляющаяся еще съ своей „Мими“, хотя въ ней уже проглядываютъ первые порывы переходнаго возраста, — нѣжная дѣвическая душа. Младшій сынъ Петръ — Петруша — Петя — толстенекій мальчуганъ въ курточкѣ, румяный и живой.

Кромѣ родныхъ дѣтей, въ семьѣ Ростовыхъ воспитывается обѣднѣвшій кузень Борисъ, мать котораго въ настоящее время гоститъ въ домѣ родителей, и Соня — племянница самого графа, которую онъ любитъ, какъ родную дочь.

Борисъ — товарищъ дѣтства Николая Ростова, красивый блондинъ, высокаго роста, съ правильными, но холодными



чертамъ лица. Насколько Николай легкомысленъ и чисто-сердеченъ, настолько Борисъ холоденъ и сдержанъ не по лѣтамъ.

Благодаря проискамъ матери, умѣющей замолвить слово у вліятельныхъ лицъ, Борисъ сразу попадаетъ въ гвардію, между тѣмъ какъ Николай при объявленіи войны простымъ юнкеромъ вступаетъ въ Павлоградскій полкъ.

Въ настоящую минуту и офицеръ и студентъ, оба заняты тѣмъ, что „строить куры“ своимъ кузинамъ. Борисъ ухаживаетъ за Наташей, Николай — за Соней и пресправно цѣлуются съ ними, забравшись въ оранжерею.

Таковы главные лица романа.

Сцена переноситъ насъ въ домъ стараго гр. Безухова — отца Пьера, — лежащаго на смертномъ одрѣ. Вокругъ умирающаго разыгрывается обыденная въ этихъ случаяхъ комедія: наслѣдники съ замираніемъ сердца ожидаютъ, когда мпліонеръ-дядя испуститъ послѣдній вздохъ. На этотъ разъ развязка комедіи завершается къ полному удовольствію читателя. Алчные наслѣдники по боковой линіи, каковы: Василій Курагинъ и др., остаются ни при чемъ, только честный Пьеръ — незаконный сынъ покойнаго графа — наследуетъ его имя, титулъ и многомпліонное состояніе.

Между тѣмъ война объявлена.

Князь Андрей Болконскій, назначенный въ адъютанты къ главнокомандующему Кутузову, долженъ немедленно ѣхать на театръ военныхъ дѣйствій, но прежде отвозитъ жену въ „Лысыя горы“, помѣстье его отца — стараго князя Болконскаго.

Старый князь — типичная и весьма оригинальная личность. Человѣкъ стараго закала, генераль-аншефъ при Павлѣ I, одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ людей своего времени — страшный скряга, несмотря на большія средства, — желчный, раздражительный, тяжелаго характера. Съ нимъ въ деревнѣ живетъ дочь его княжна Марія, — безотвѣтная, покорная отцу, „ангелъ доброты“, но очень некрасивая собой. Отецъ любитъ дочь по-своему, но обходится съ ней крайне грубо и деспотично.

Легко понять, какой страхъ внушаетъ суровый князь своей маленькой невѣсткѣ — княгинѣ Лизѣ, — такъ внезапно перенесенной изъ блестящаго Петербурга въ холодную атмо-

сферу княжескаго дома; тѣмъ болѣе, что она готовится стать матерью съ постоянной боязнію за исходъ критической минуты.

Теперь вернемся въ главную квартиру Кутузова, а именно въ Браунау, въ Австрію. Здѣсь мы видимъ князя Андрея Болконскаго и Николая Ростова, прикомандированнаго юнкеромъ къ гусарскому Павлоградскому полку.

Предъ нами развертываются картины браннаго поля во всей ихъ ужасающей дѣйствительности.

Николай Ростовцевъ встрѣчаетъ „огненное крещеніе“ съ дерзкой отвагой, съ веселымъ лицомъ — какъ школьникъ, старающійся отличиться на экзаменѣ предъ многочисленной публикой.

Вначалѣ война не удачна для русскихъ, а равно и для ихъ союзниковъ — австрійцевъ. Послѣднимъ Бонапартъ нанесъ тяжкое пораженіе при Ульмѣ.

Послѣ пораженія австрійцевъ, Кутузовъ, предоставленный своимъ слабымъ силамъ, принужденъ отступить и ждать соединенія съ войсками, шедшими на подкрѣпленіе изъ Россіи. Но маршалъ Мортье преграждаетъ ему путь, Кутузовъ отражаетъ французовъ и, хотя тѣснимый ими, продолжаетъ отступление. Боясь быть отрѣзаннымъ отъ соединенія съ главными силами, онъ даетъ приказъ князю Багратиону, во что бы то ни стало, задержать непріятеля съ своимъ четырехтысячнымъ корпусомъ, чтобъ спасти остальную армію.

Всѣ перипетіи этой кровавой драмы мастерки переданы авторомъ. Читатель какъ бы очевидцемъ присутствуетъ на полѣ брани, слышитъ пальбу, стоны раненыхъ, умирающихъ. Особенно ярко очерчена личность князя Багратиона. Въ то время какъ чередуются военныя событія, нашъ другъ „Пьеръ“ — нынѣ графъ Безуховъ — становится виднымъ лицомъ Москвы, завиднымъ женихомъ. Первымъ накидывается на него князь Василій Курагинъ. Давъ себѣ слово захватить выгодную партію въ свои руки, онъ женить его на своей дочери, красавицѣ Эленѣ. Послѣдняя, испорченная, тщеславная кокетка, не прочь попытать счастья и благодаря своей величественной красотѣ легко покоряетъ сердце честнаго, но недалёковиднаго Пьера. Ободренный первымъ успѣхомъ, Василій Курагинъ задумываетъ женить и сына Анатолія на богатѣйшей наслѣдницѣ — княжнѣ Маріи Болконской, сестрѣ князя Андрея.



Но на этотъ разъ затѣя не удастся. Благодаря своему цинизму, красавецъ Анатоль, сватаясь за княжну, въ то же время заводитъ у нея въ домѣ любовную интрижку съ ея компаньонкой — дѣвицей Бурьенъ.

Перенесемся опять на поле битвы — въ Аустерлицъ — на арену состязанія трехъ императоровъ — гдѣ сошлась на бой шестидесятитысячная армія. Кутузовъ и Шварценбергъ, какъ болѣе опытные генералы, медлятъ сдѣлать вызовъ, но мѣнѣе молодыхъ генераловъ беретъ перевѣсъ.

Планъ атаки составленъ австрійцемъ Вейротеромъ, но Кутузовъ порицаетъ его и отказывается привести его въ исполненіе. Тогда между союзниками возникаютъ нерѣшительность, взаимное недовѣріе. Между австрійцами и русскими возгорается зависть, начальствующія лица обвиняютъ другъ друга въ медленномъ размѣщеніи войскъ и даже взваливаютъ впоследствии одни на другихъ отвѣтственность за пораженіе. Между тѣмъ Наполеонъ рѣшается дѣйствовать. „Заснувъ подъ утро, онъ, однако, встаетъ въ веселомъ расположеніи духа, здоровый, твердо вѣря въ свою счастливую звѣзду, и въ такомъ настроеніи, когда все доступно, все возможно человеку, садится на лошадь и ѣдетъ осматривать поле до начала битвы. Его покойное, безстрастное лицо при всей своей неподвижности сіяетъ сознаніемъ заслуженнаго счастья, какъ лицо влюбленнаго юноши“.

Снявъ съ бѣлой правой руки перчатку, Наполеонъ махнулъ рукой. И въ ту же минуту маршалы въ сопровожденіи адъютантовъ поскакали по разнымъ направленіямъ.

Вскорѣ затѣмъ французская армія, выступивъ изъ-за разсѣявшагося тумана, совершенно неожиданно появилась предъ глазами русскихъ, считавшихъ ее за двѣ версты. Послѣдніе отступили въ безпорядкѣ. Князь Андрей бросается въ середину бѣгущихъ и, поднимая надъ головой знамя, призываетъ солдатъ сомкнуться, но въ ту же минуту его оглушаетъ ударъ по головѣ, и онъ замертво падаетъ, сжимая въ рукѣ древко съ оторваннымъ знаменемъ. „Какая прекрасная смерть!“ сказалъ Наполеонъ, объѣзжая вечеромъ поле битвы. Николай Ростовъ, невредимый, но честно исполнившій долгъ, по окончаніи битвы, получивъ отпускъ, ѣдитъ къ роднымъ. Поручику не терпѣлось показать свой блестящій гусарскій доломанъ.

Въ Москвѣ онъ встрѣчаетъ Пьера Безухова, который дрался на дуэли съ нѣкоторымъ Долоховымъ за кокетку жену.

Между тѣмъ вѣсть о смерти князя Андрея доходить и до „Лысыхъ горъ“ какъ разъ въ то время, когда жена его „маленькая княжна“—ожидаетъ съ часу на часъ сдѣлаться матерью.

Но, къ счастью, слухъ о смерти Андрея оказывается ложнымъ: раненый князь былъ поднятъ на полѣ битвы и, благодаря хорошему уходу, остался живъ. Въ скоромъ времени онъ самъ пріѣзжаетъ въ деревню,—худой, блѣдный, —но, увы! слишкомъ поздно: маленькая княжна при послѣднемъ издыханіи. Все время предчувствовавшая дурной исходъ, молодая мать умираетъ, давъ жизнь первенцу-сыну.

Пораженный неожиданнымъ ударомъ, князь Андрей, и безъ того уже разочарованный военной службой, выходитъ въ отставку, чтобъ посвятить себя всецѣло воспитанію новорожденнаго малютки-сына и заняться улучшеніемъ быта отцовскихъ крѣпостныхъ.

Въ „Лысыя горы“ пріѣзжаетъ къ Андрею другъ его, Пьеръ Безуховъ, — не менѣе несчастный мужъ, окончательно порвавшій съ женою и не знающій, чѣмъ наполнить пустоту жизни. То бросается, очертя голову, въ масонство, то задается либеральными планами объ улучшеніи быта крѣпостныхъ въ своихъ огромныхъ помѣстьяхъ — и вотъ оба друга философствуютъ напропалую.

Между тѣмъ снова возгорается война, все ближе надвигаясь къ границамъ Россіи.

Николай Ростовъ опять уѣзжаетъ, оставляя родной домъ, любимую сестренку Наташу — это прекрасное, полное жизни существо, расстаётся и съ хорошенькой кузиной Соней, обожающей своего двоюроднаго брата, и догоняетъ свой полкъ уже въ Польшѣ.

Въ это время товарищъ Николая, командиръ партизановъ Денисовъ, извѣстный герой, но крайне горячій, затѣваетъ ссору съ главнымъ интендантомъ, кидая ему въ лицо названіе „вора“, затѣмъ ѣдетъ на рекогносцировку, гдѣ получаетъ серіозную рану, грозящую смертью.

Николай немедленно по полученіи извѣстія о болѣзни друга ѣдетъ навѣстить его въ лазаретъ, гдѣ находитъ несчастнаго въ ужасно грязной палаткѣ, среди умирающихъ тифозныхъ.



Пораженный такой тяжелой картиной и понявъ въ первый разъ, какія горькія слѣдствія ведетъ за собой война, — въ душѣ молодого воина зарождаются мрачныя думы о горькой участи солдата. До сихъ поръ ему доводилось видѣть лишь свѣтлыя стороны боевой жизни.

Первая часть романа заканчивается описаніемъ этихъ плачевныхъ картинъ войны, написанныхъ авторомъ съ поражающимъ интересомъ.

## II.

Прошло два года. Въ послѣдній разъ мы оставили князя Андрея въ „Лысыхъ горахъ“, разочарованнымъ военной службой и жизнью. Въ исходѣ зимы 1809 г., когда пахнуло весной, наступили теплые майскіе дни, на деревьяхъ показались молодые листочки, князь Андрей пріѣзжаетъ по дѣламъ въ имѣніе своего сосѣда графа Ростова. Здѣсь онъ случайно сталкивается съ прелестными дѣвушками — Наташей и Соней. Оживленная болтовня и веселый искрепный смѣхъ молодежи вмѣстѣ съ расцвѣтающей природой пробуждаютъ и въ его сердцѣ жажду къ жизни. На утро онъ говоритъ себѣ: „Иѣтъ, жизнь не кончена въ 31 годъ!“

Является желаніе къ труду, онъ пишетъ опять свой проектъ военнаго устава и, закончивъ, везетъ въ Петербургъ на усмотрѣніе военнаго министра. Но встрѣтивъ недружелюбный пріемъ у Аракчеева, — человѣка недовѣрчиваго ко всякимъ новшествамъ и устарѣлыхъ взглядовъ, онъ ѣдетъ къ Сперанскому, — этому смѣлому и великодушному новатору, благодаря внушеніямъ котораго императоръ Александръ задумываетъ произвести рѣшительныя реформы. Здѣсь онъ встрѣчаетъ самый радушный пріемъ.

Пьеръ Безуховъ, съ своей стороны, пришелъ къ убѣжденію, что въ большинствѣ братья-масоны ухаживаютъ за нимъ, какъ за богатымъ человѣкомъ, полезнымъ для выпотнѣнія ихъ плановъ, и мало-по-малу отдаляется отъ сношеній съ ними. Онъ чувствуетъ, что почва ускользаетъ изъ-подъ ногъ, долго не знаетъ, на чемъ остановиться; по настоянію тещи, вновь сходится съ женой, которая возвращается въ высшемъ обществѣ сѣверной столицы.

Въ это же время въ Петербургъ пріѣзжаетъ гр. Ростовъ съ семействомъ. въ надеждѣ поправить свои разстроенныя

дѣла и найти подходящую партію для дочерей. Вскорѣ старшая дочь Вѣра выходитъ замужъ за гвардейскаго капитана Берга, человѣка далеко не симпатичнаго, но вполне корректнаго и практичнаго нѣмца. Младшая — шестнадцатилѣтняя Наташа — еще слишкомъ молода для замужества, хотя давно уже забыла свою ребяческую любовь къ кузену, да Борисъ и самъ старается вычеркнуть изъ своей жизни этотъ дѣтскій романъ. Ловко направивъ ладью жизни, онъ рассчитываетъ выгодной женитьбой составить себѣ блестящую карьеру.

Наташа и не помышляетъ о замужествѣ: она съ полнымъ увлеченіемъ отдается невиннымъ удовольствіямъ и веселью.

Ростовы получаютъ приглашеніе на блестящій балъ, гдѣ будетъ самъ государь и весь дипломатическій корпусъ. Это первый великосвѣтскій балъ, на который ѣдутъ Соня съ Наташей. Боже! сколько хлопотъ, заботъ! Прекрасно и чрезвычайно живо описываетъ Толстой лихорадочное нетерпѣніе и поспѣшныя приготовленія къ балу въ домѣ Ростовыхъ.

Столько правды, тонкой наблюдательности, врожденнаго изящества, жизненности въ этой сценѣ!

Даровитый писатель нигдѣ не переходитъ должной страницы, нигдѣ не впадаетъ въ банальность.

Наконецъ, наступаетъ давно желанный день! Дѣвушки садятся въ карету съ отцомъ и матерью и ѣдутъ на балъ. Имъ нѣсколько холодно съ непривычки въ бальномъ открытомъ костюмѣ, но онѣ обѣ — такія свѣженькія, хорошенькія, безъ капли жеманства, въ своихъ воздушныхъ тюлевыхъ платьяхъ на розовой тафтѣ, съ пышной розой въ волосахъ. Несмотря на свой скромный нарядъ, ихъ милыя лица привлекаютъ всеобщее вниманіе.

Но вотъ является графиня Елена Безухова — эта „царица“ петербургскихъ баловъ, затѣмъ пріѣзжаетъ государь — и наши дѣвочки отступаютъ на второй планъ. Имъ остается лишь быть простыми зрительницами бала, къ великому прискорбію Наташи, у которой одно страстное желаніе потанцевать. Она уже готова заплакать съ досады, но смущеніе дѣвушки не укрылось отъ друга ея, Пьера Безухова, тоже присутствующаго на балу ради жены. И вотъ, по его настоянію, на выручку является интересный полковникъ въ бѣломъ кавалергардскомъ мундирѣ, и ангажируетъ на вальсъ. Личико Наташи озаряется несказанной радостью, счастьемъ.



Князь Андрей Болконскій, приглашая Наташу, исполнять лишь желаніе Пьера, но сдѣлавъ съ ней нѣсколько туровъ, онъ весь подъ обаяніемъ ея невпниной граціи и простоты.

Ея веселый, искренній смѣхъ, оживленіе, милая застѣнчивость, безыскусственная прелесть манеръ и даже „ошибки во французскомъ языкѣ“ — все, что отличало ее отъ великосвѣтскихъ дѣвицъ Петербурга, производитъ глубокое впечатлѣніе на князя.

Вернувшись съ бала, онъ чувствуетъ себя инымъ человекомъ, совсѣмъ обновленнымъ.

До этого дня онъ не зналъ любви, такъ какъ маленькая княгиня Лиза не сумѣла подойти къ его сдержанной и гордой натурѣ. На этотъ разъ сердце его не обмануло — онъ побѣжденъ, и подъ вліяніемъ этого чувства ступшевываются мрачное состояніе духа, равнодушіе къ жизни, всѣ разочарованія.

Пьеръ съ удовольствіемъ выслушиваетъ признанія своего друга и даже совѣтуетъ ближе познакомиться съ чудной Наташей.

II Наташа также не равнодушна ко вниманію князя, и все пришло къ скорому и желанному концу, — но для женитьбы Андрею необходимо согласіе отца. Суровый, непреклонный князь весьма недружелюбно встрѣчаетъ признанія сына и проситъ или, скорѣе, приказываетъ сыну отложить свадьбу и уѣхать на годъ за границу.

Наташа, счастливая предложеніемъ князя Андрея, очарованная его обхожденіемъ, внезапно спускается съ облаковъ. Она негодуетъ въ душѣ на стараго деспота, и разлука съ любимымъ женихомъ повергаетъ ее въ глубокую тоску: она почти не выѣзжаетъ, проводитъ время взаперти, въ мечтахъ. Но, спустя немного, кипучая натура беретъ верхъ, она сбрасываетъ съ себя уныніе, старается казаться счастливой и веселой, но это не всегда удается — рана не заживаетъ. Ростовы всей семьей уѣзжаютъ въ Отрадное. Здѣсь, среди монотонной деревенской жизни, покпнутая невѣста снова изнываетъ въ тоскѣ, цѣлыми часами сидя безъ дѣла, то лихорадочно набрасываясь на занятія, то безутѣшно рыдая.

„Ахъ, какъ я боюсь за нее!“ говоритъ себѣ графиня. Заботливая мать предчувствуетъ, что такое натянутое положеніе можетъ привести къ печальной катастрофѣ. Къ тому,

говоря откровенно, бракъ этотъ ей далеко не по сердцу: важный и гордый князь Андрей ей не симпатиченъ.

Ей бы скорѣе хотѣлось хорошей партіи для сына Николая. Но и тутъ неудача. Въ ту минуту, какъ она лепечетъ мысль женить его на богатой, — Николай объявляетъ графинѣ о своемъ желаніи жениться на кузинѣ Сонѣ. Бѣдная графиня даже не на шутку заболѣваетъ, и предполагаемая ею поѣздка съ мужемъ въ Москву — для закупки Наташинаго приданаго и представленія невѣсты будущему свекру — откладывается на время.

Старый князь Болконскій, съ неудовольствіемъ отнесшійся къ предполагаемой женитьбѣ сына, весьма нелюбезно и даже грубо встрѣчаетъ будущую невѣстку. Этотъ холодный пріемъ глубоко оскорбляетъ молодую невѣсту, и вообще пребываніе въ Москвѣ еще болѣе даетъ ей чувствовать всю горечь разлуки съ женихомъ. Ожиданіе становится со дня на день тяжелѣе, Наташа сильно хандритъ. Добрая кузина Соня употребляетъ всѣ усилія, уговаривая быть терпѣливѣй.

„Я не понимаю такой любви!“ едва сдерживая рыданія, говоритъ Наташа. „Развѣ возможно все только ждать и ждать!“

То впадая въ полную апатію, то чувствуя приливъ страсти, она не довольствуется тѣмъ, что любима и любить, — ей хотѣлось бы броситься въ объятія любимаго человѣка, шептать ему страстные рѣчи, которыми такъ полно ея сердце.

Въ такомъ отчаянномъ нравственномъ состояніи и томленіи, — желая ее развлечь, отецъ предлагаетъ дочери поѣхать въ оперу. Это ея первый выѣздъ въ театръ. Графъ по своей недалекости не понимаетъ ея душевнаго настроенія.

Рядъ освѣщенныхъ ложъ съ дамами въ брильянтахъ на обнаженныхъ шеяхъ и рукахъ, партеръ, пестрѣющій всевозможными вышитыми мундирами и позолотой, — все ослѣпляетъ глаза молодой дѣвушки.

Тысячи огней зрительнаго зала, удушливая атмосфера, аплодисменты, шарканье ногами и сама сцена — все приводитъ Наташу въ какое-то опьяненіе. А самое волненіе дѣлаетъ ее особенной, привлекательной и хорошенькой въ этотъ вечеръ. Никогда еще не испытанныя ощущенія, — что сотни глазъ смотрятъ на ея обнаженные руки и шею, — непріятно и въ то же время сильно охватываютъ ее всю, вызывая цѣлый рой воспоминаній, желаній, волненій... Забывъ, гдѣ она на-



ходится, она смотритъ на сцену, ничего не видя, а голову осаждаютъ тысячи самыхъ несвязныхъ, фантастическихъ мыслей. А тутъ еще красавецъ Курагинъ — изящный кавалергардъ — и Наташа окончательно сбита съ толку, страшно взволнована. Анатолий Курагинъ — уже знакомый читателю — бездушный щеголь, достойный братецъ красавицы графини Эленъ.

Наташа встрѣчается съ нимъ въ ложѣ его сестры. Пораженный невинной красотой и свѣжестью дѣвушки, онъ немедленно забрасываетъ удочку и даетъ себѣ слово добиться побѣды и, какъ кажется, довольно легкой. И, дѣйствительно, полная неопытность Наташи, а особенно ея душевное настроеніе, съ которымъ она борется напрасно, отдають ее беззащитной во власть этого ловкаго соблазнителя, не разборчиваго на средства. Его замѣтное предпочтеніе, очень умно рассчитанное, льститъ самолюбію молодой дѣвушки, наконецъ, не на шутку волнуетъ, и вскорѣ, не отдавая себѣ отчета въ чувствахъ, ее влечетъ къ красавцу Анатолю, а между тѣмъ сердце сжимаетъ невыразимый страхъ.

Послѣдній, пользуясь своимъ преимуществомъ, не даетъ времени опомниться своей жертвѣ. Спустя нѣсколько дней послѣ встрѣчи въ театрѣ, онъ продолжаетъ темную игру въ салонѣ своей сестрицы Эленъ и подъ ея покровительствомъ. Ему удается влюбить въ себя Наташу, нашептывая страстные признанія, а разъ, оставшись наединѣ, даже имѣетъ дерзость цѣловать ее.

Смущенная, ослѣпленная Наташа не сознаетъ себя, она не въ силахъ бороться и сама дивится, какъ можно любить двоихъ въ одно время.

Она вполне увѣрена, что любитъ князя Андрея, и въ то же время влюбляется въ Анатоля. Наконецъ, послѣ жестокаго отчаянія, она рѣшается возвратить слово князю Андрею, несмотря на мольбы и увѣщанія Сони, узнавшей ихъ тайну. беречься Курагина.

Соня все время зорко слѣдитъ за Наташей, давъ себѣ слово оберегать ее и при первой необходимости прійти къ ней на помощь. Благодаря ея бдительности и сердечной привязанности, ей удается разстроить планъ похищенія, на который слишкомъ слабая и мягкая Наташа дала уже согласіе.

Безъ сомнѣнія, влюбленная дѣвушка не чувствуетъ не только

признательности, но укоряетъ жестоко кухню за ся вмѣшательство въ „чужія дѣла“. Она не слушаетъ ни увѣщаній ни утѣшеній, а когда Пьеръ Безуховъ доводитъ до ея свѣдѣнія, что ея поклонникъ женатъ и даже успѣлъ бросить жену, — она окончательно теряетъ рассудокъ и отравляется мышьякомъ.

Къ счастью, доза такъ незначительна, что Наташа остается жива, но сильно страдаетъ.

Черезъ нѣсколько дней возвращается въ Москву князь Андрей. О, зачѣмъ онъ такъ долго не ѣхалъ!

Повидимому, онъ довольно равнодушно принялъ извѣстіе объ измѣнѣ невесты и поручаетъ Пьеру передать ей ея портретъ и письма.

Добрѣйшій Пьеръ, никогда не умѣвшій отказать въ услугѣ, беретъ на себя это щекотливое порученіе. Но увидя страшное горе Наташи, когда сердце ея и безъ того разбито, невыразимое чувство жалости наполняетъ сердце Пьера.

„Ахъ, не говорите со мною такъ! я не стою этого!“ восклицаетъ Наташа на всѣ его утѣшенія. Но чѣмъ болѣе она винитъ себя, тѣмъ болѣе Пьеръ старается поднять ее въ ея собственныхъ глазахъ. „Нѣтъ, — восклицаетъ онъ, — вся жизнь еще впереди для васъ. Если бъ я былъ не я, а самый красивѣйшій, самый умнѣйшій изъ людей, самый лучшій человѣкъ въ мірѣ, и былъ бы свободенъ, — я бы на колѣняхъ просилъ руки и любви вашей“.

Такъ заканчивается эта интимная сцена, которую авторъ ведетъ съ такимъ неподражаемымъ искусствомъ и тонкостью, но и съ такой естественностью, что ни у кого нехватитъ мужества сердиться на бѣдную Наташу, такую слабую, не послѣдовательную, но чистосердечную, правдивую, женственную даже во всѣхъ ея слабостяхъ и непостоянствѣ.

Мы увидимъ въ будущемъ, къ какимъ послѣдствіямъ эта драма, а особенно послѣдняя сцена приведутъ ее и другихъ лицъ романа.

### III.

Авторъ быстро переноситъ насъ снова на театръ военныхъ дѣйствій. Наступаетъ двѣнадцатый годъ. Наполеонъ переправился черезъ Неманъ, начиная злополучную для него войну закончившуюся знаменитымъ въ исторіи отступленіемъ, русскихъ.



Но прежде, чѣмъ продолжать, остановимся на философскихъ теоріяхъ гр. Толстого объ „отвѣтственности человечества“, — теоріяхъ совсѣмъ особенныхъ и абсолютныхъ. Толстой всегда при случаѣ не прочь пофилософствовать.

Авторъ „Войны и мира“ въ полномъ смыслѣ фаталистъ. По его мнѣнію, исторія неизбѣжно слѣдуетъ фатализму. Онъ говоритъ, что вѣйны являются не слѣдствіемъ одной какой-нибудь случайности, что событія совершаются лишь потому, что должны свершиться, а что касается отдѣльных личностей, то онѣ являются лишь безсознательнымъ орудіемъ въ движеніи человечества, и безъ ихъ вѣдома событія покоряются общему закону совпаденія. „Такъ называемые „великіе люди“, — говоритъ авторъ, — не иное что, какъ „этикетки“ исторіи, часто ихъ именемъ называются историческія событія, тогда какъ они не имѣютъ никакой внутренней связи съ самымъ фактомъ.

А при такомъ взглядѣ на исторію, личная воля совершенно игнорируется, и великія событія значительно умаляются, а потому исторія теряетъ и свой интересъ.

Прикладывая свой масштабъ къ грознымъ событіямъ, охватившимъ всю Россію, Толстой отказывается признать ихъ слѣдствіемъ злополучнаго нарушенія континентальнаго равновѣсія или слѣдствіемъ необузданной страсти Наполеона къ военнымъ лаврамъ или нѣчто другое въ этомъ же родѣ.

И сами главныя дѣйствующія лица этой драмы, каковы: Наполеонъ, Александръ, Кутузовъ, въ глазахъ автора не болѣе, какъ шахматы, передвигаемые рукою судьбы.

Но вернемся къ переправѣ черезъ Нѣманъ, вѣсть о которой какъ громомъ поражаетъ императора Александра на балу въ Вильнѣ. Въ негодованіи на обманувшаго Наполеона, государь воскликнулъ: „Клянусь, что не помирюсь, пока хоть одинъ вооруженный непріятель останется на русской землѣ!“

По зрѣломъ размысленіи государь призываетъ флигель-адъютанта Балашева и вручаетъ ему собственноручное письмо къ Наполеону, въ которомъ говоритъ, что вся отвѣтственность за войну падаетъ на него, какъ на зачинщика.

Съ пріѣздомъ Балашева во французскій лагерь, Толстой даетъ очень забавный, хотя нѣсколько преувеличенный, портретъ неаполитанскаго короля Мюрата и излишнее строгое изображеніе маршала Даву. Но если историкъ не всегда

безпристрастенъ, то тѣмъ простительнѣй романисту. Даже съ Наполеономъ Толстой обходится не лучше, чѣмъ съ его генералами: ему такъ и хочется сорвать съ него ореолъ.

Понятно, что порученіе Балашева остается безъ послѣдствій, а военныя событія идутъ своимъ чередомъ.

Въ западной арміи мы встрѣчаемъ князя Андрея Болконскаго, въ чинѣ генерала, подъ начальствомъ Барклая-де-Толли, и Николая Ростова, въ чинѣ капитана, эскадроннымъ командиромъ Павлоградскихъ гусаръ.

По обыкновенію, генералы спорятъ, рѣшаютъ, но ни къ чему не приходятъ: одни настаиваютъ наступать, другіе совѣтуютъ отступать къ границамъ Россіи, уничтожая по пути все могущее попасть въ руки непріятеля. Послѣднее беретъ верхъ, но это не мѣшаетъ аррьергарду завязать кой-гдѣ стычки съ непріятелемъ.

Одна изъ такихъ выпадаетъ на долю эскадрона, подъ командой И. Ростова, а именно 13-го іюля подъ Островной. Завидя отрядъ уланъ, отброшенный французскими синими драгунами, и, горя желаніемъ помочь своимъ братьямъ, Ростовъ бросается на драгунъ и обращаетъ ихъ въ бѣгство. Но вмѣсто ожидаемой кары за свое самоволіе, его представляютъ къ Георгію за молодецкій подвигъ и назначаютъ командиромъ двухъ эскадроновъ.

Здѣсь, подъ Островной, въ первый разъ пришлось И. Ростову постоять за свою жизнь, и тяжелое чувство охватило блестящаго гусара, когда для спасенія своей жизни нужно убить другого.

Чтобъ понять его чувства, лучше прочесть краснорѣчивое описаніе боя, когда Ростовъ, бросившись на французскаго офицера, сшибаетъ его съ ногъ и уже заноситъ надъ головой его саблю, но въ ту же минуту останавливается — онъ очнулся!

Можетъ-быть, старымъ ветеранамъ покажется смѣшной такая излишняя чувствительность въ офицерѣ, но зато какъ человѣчно, какъ трогательно! — и если смотрѣть на войну съ этой точки зрѣнія, то увидишь ясно, что война что-то отвратительное и противоестественное.

Войска продолжаютъ отступать внутрь Россіи. Театръ военныхъ операцій приближается къ Москвѣ. Во то время ею командовалъ генераль-губернаторъ графъ Растопчинъ.



Самъ государь тоже спѣшитъ въ первопрестольную столицу, что возбуждаетъ народный патріотизмъ.

Событія быстро идутъ на смѣну одно другому. Смоленскъ сожженъ и взятъ, русская армія, тѣснимая французской, спѣшитъ отступленіемъ. Генералы спорятъ, взваливая неудачи другъ на друга. Вся Россія въ сильномъ волненіи и съ восторгомъ привѣтствуетъ назначеніе главнокомандующимъ Кутузова, — назначеніе, почти силой вырванное у императора Александра, несмотря на проски враждебной придворной партіи.

Съ назначеніемъ Кутузова со всѣхъ сторонъ откликнулась Русь, воодушевленіе громадное, надежда и довѣріе къ арміи возрастаютъ. Здѣсь не лишнимъ будетъ привести эпизодъ, самъ по себѣ не важный, но послѣдствія котораго имѣли большое значеніе на судьбу нѣкоторыхъ главныхъ лицъ романа.

Николай Ростовъ, командированный за фуражомъ, заѣзжаетъ по дорогѣ въ имѣніе князя Болконскаго, какъ разъ во дни его кончины.

Дочь его, княжна Марія, въ послѣдній разъ поклонившись могилѣ покойнаго отца, собирается ѣхать въ Москву; но дворовые и крестьяне, узнавъ объ этомъ, рѣшили не выпускать своей молодой госпожи изъ родового имѣнія, грозя, въ противномъ случаѣ, отирячь лошадей.

Въ эту фатальную минуту появляется Н. Ростовъ, и на его грозный окрикъ вся толпа мгновенно отхлыниваетъ отъ господскаго дома, и княжна безпрепятственно выѣзжаетъ изъ своихъ владѣній въ Москву.

Ростовъ предлагаетъ княжнѣ свои услуги и сопровождаетъ верхомъ за 12 верстъ отъ ея имѣнія. Тронутая до глубины души рыцарственнымъ поступкомъ Николая и его любезностью, она кидаетъ на молодого офицера одинъ изъ тѣхъ кроткихъ, душевныхъ взглядовъ, которые такъ преобразуютъ ея лицо.

Этотъ взоръ глубоко проникаетъ въ сердце Ростова и оставляетъ въ немъ пріятное воспоминаніе о романтической встрѣчѣ.

Вслѣдъ за этимъ приключеніемъ мы снова въ главной квартирѣ генерала Кутузова у Царева-Займища.

Кутузовъ — одна изъ важныхъ историческихъ личностей, наиболѣе пользующаяся горячей симпатіей Толстого.

Насколько онъ умаляетъ достоинства и значеніе другихъ историческихъ личностей, настолько высоко ставитъ Кутузова. Онъ является главнымъ героемъ той части романа, гдѣ дѣло идетъ о „войнѣ“, такъ же какъ главными дѣйствующими лицами второй части (миръ) — Пьеръ Безуховъ и Наташа.

Легко понять, почему Толстой отдаетъ особенное предпочтеніе Кутузову. Нельзя не любить и не уважать этого безкорыстнаго стараго „солдата“, любящаго свою родину выше всего на свѣтѣ.

Онъ невольно внушаетъ довѣріе, на него можно положиться, потому что въ немъ бьется сердце „русскаго чело-вѣка“, говоритъ Толстой. Вынужденный отступить внутрь Россіи, къ Москвѣ, онъ, ударяя себя въ грудь, говоритъ дрожащимъ голосомъ: „Я заставилъ турокъ ѣсть конину, даю слово, что заставлю сдѣлать то же и французовъ“.

Можетъ-быть, Толстой и потому еще такъ добродушно относится къ интересной личности стараго вождя, что самъ-то старый воинъ инстинктивно чувствовалъ то же, „что чело-вѣческая воля беспомощна предъ законами судьбы“.

Желая, вѣроятно, еще ярче выставить образъ Кутузова въ противовѣсъ послѣднему, Толстой рѣзкими штрихами очерчиваетъ несимпатичную личность графа Растопчина.

Онъ представляетъ московскаго генералъ-губернатора непоследовательнымъ, тщеславнымъ администраторомъ, подчасъ излишне жестокимъ, трусливымъ, блѣднѣющимъ даже при одной мысли о бунтѣ и готовымъ бѣжать при наступленіи непріятеля, котораго, между тѣмъ, далъ слово искоренить „до тла“. Въ противоположность Кутузову, старающемуся при всякомъ случаѣ ступенчатся, скрыть свои заслуги, имѣя въ виду лишь достиженіе желанной цѣли, графъ Растопчинъ старается привлечь на себя всеобщее вниманіе. Авторъ „Войны и мира“ лишаетъ его даже того кроваваго ореола, которымъ славится его имя въ исторіи за сожженіе Москвы.

Онъ говоритъ, что графъ дѣйствовалъ неэнергично, только кипятился, терялъ время по пустякамъ, пуская въ ходъ свое краснорѣчіе, печатавъ напыщенные, чудныя прокламаціи, говоря, что „честь и слава тому, кто схватитъ злодѣя (Наполеона) и посадитъ на гауптвахту“, да еще давалъ торжественныя клятвы, что злодѣя не впуститъ въ Москву, за что отвѣчаетъ своей головой.



Эти два лица въ романѣ Толстого, которыхъ онъ съ особеннымъ удовольствіемъ противопоставляетъ одному другому, обрисованы авторомъ такъ исторически вѣрно, съ такой психологической глубиной, съ такимъ умѣньемъ понять внутреннее содержаніе человѣка, что въ этомъ случаѣ за Толстымъ остается послѣднее слово, и каковы эти лица вышли изъ-подъ пера автора, таковыми они навсегда останутся въ исторіи.

#### IV.

Третья часть „Войны и мира“ начинается художественнымъ описаніемъ Бородинской битвы (или „Московской“, какъ зовутъ ее французы). Вѣрный своимъ философскимъ теоріямъ, гр. Толстой утверждаетъ, что эта кровопролитная битва, стоившая жизни болѣе 80.000 человѣкъ, была начата Наполеономъ и принята Кутузовымъ безъ всякаго повода и уважительныхъ причинъ, тѣмъ болѣе что не представляла никакихъ особенныхъ выгодъ ни французамъ ни русскимъ. Онъ даже рѣшается утверждать, что въ этомъ случаѣ, какъ и въ другихъ, личная воля Наполеона играла незначительную роль.

Въ этотъ день, по мнѣнію автора, Наполеонъ и Кутузовъ отступаютъ на второй планъ, а истинными героями этого достопамятнаго дня являются одни лишь солдаты и исключительно „солдаты русской арміи“.

Дѣйствительно, русскіе солдаты доказали въ этотъ разъ удивительную стойкость. Раздраженная взятіемъ и опустошеніемъ Смоленска, а особенно угрозой французамъ взять Москву — эту древнюю святыню, армія Кутузова готова умереть до послѣдняго солдата, но не уступить ни пяди земли русской, сознавая вполне хладнокровно, что нынѣшній бой есть вопросъ „жизни или смерти“ для той или другой стороны.

Самое выраженіе солдатскихъ лицъ — серьезное и сосредоточенное — выдавало ихъ душевное настроеніе. „Представьте, — рассказывалъ одинъ офицеръ, — мой батальонъ отказался отъ порціи водки, говоря: сегодня — не время пить!“

Авторъ заходитъ дальше; онъ не только чрезмѣрно возвышаетъ значеніе солдата въ ущербъ начальствующимъ, но рѣшается утверждать, что успѣхъ битвы всецѣло зависитъ отъ солдата и его умственного и душевнаго склада.

„Исходъ сраженія, — говоритъ Толстой, — зависитъ ни отъ позицій, ни отъ оружія, ни отъ численности войскъ, но лишь отъ настроенія солдата“. Откинувъ теорію Толстого, — картина битвы описана мастерски. Чтобъ лучше ознакомить насъ съ событіями достопамятнаго дня, гр. Толстой приводитъ различные эпизоды.

Пьеръ Безуховъ бѣжитъ изъ Москвы, влекомый любопытствомъ и желаніемъ раздѣлить опасное положеніе своихъ „собратій“, и является на войну въ самую сумятицу.

На первыхъ порахъ ему неудача. Солдаты недоумчиво осматриваютъ съ головы до ногъ этого огромнаго „барина“ въ зеленомъ платьѣ, въ бѣлой шляпѣ, совсѣмъ непохожаго на военныхъ, не понимая, зачѣмъ, онъ явился; но своимъ безстрашіемъ подъ сильнымъ огнемъ и канонадой онъ скоро пріобрѣтаетъ ихъ полное довѣріе и симпатію.

Съ своей стороны, видя, какъ покойно и безпечно солдаты и ополченцы идутъ на смерть, Пьеръ чувствуетъ умиленіе, нѣжность къ этимъ безвѣстнымъ героямъ, но въ то же время презрѣніе и равнодушіе къ офицерству, съ ихъ жаждой къ орденамъ и чинамъ, съ ихъ нетерпѣливымъ ожиданіемъ первой открывшейся вакансіи на повышеніе.

Здѣсь же на полѣ битвы Пьеръ встрѣчаетъ своего друга князя Андрея, но въ самомъ мрачномъ настроеніи. Послѣ семейныхъ потерь, измѣны невѣсты, преслѣдуемый тяжелымъ предчувствіемъ, онъ сильно возбужденъ, раздражается упреками на весь міръ, противъ начальства, товарищей и всякихъ филантроповъ, кричащихъ о правахъ человѣка и рыцарскомъ великодушіи — „пустыхъ краснобаевъ, не идущихъ дальше слова“, по его словамъ. Но Пьеръ не заражается этимъ пессимизмомъ, и возвращается на театръ войны.

Онъ ищетъ всякаго случая быть полезнымъ, и ему приходится быть очевидцемъ кровопролитнаго сраженія при Бородинѣ.

Но прежде чѣмъ раскрыть предъ глазами зрителя страшныя картины смерти, авторъ даетъ неожиданную, но тѣмъ болѣе захватывающую картину вида Бородинскаго поля до начала битвы.

Изъ-за предразсвѣтной мглы показывается солнце и озаряетъ большую равнину, гдѣ съ минуты на минуту должны сойтись на кровавый пиръ десятки тысячъ людей.



Вотъ и мы вмѣстѣ съ Пьеромъ Безуховымъ на знаменитой батарее Раевского, — главномъ военномъ пунктѣ, — позиціи, непрерывно переходившей отъ французовъ къ русскимъ и обратно.

Пьеръ, поглощенный событіями дня, не сознаетъ грозившей ему опасности и попадаетъ въ самый разгаръ битвы. Онъ ни на минуту не теряетъ присутствія духа, несмотря на то, что бомбы и гранаты жужжатъ и свистятъ вокругъ него, убивая солдатъ и осыпая его самого осколками и землей. Онъ даже вступаетъ въ схватку съ французскимъ офицеромъ, но, за неимѣніемъ оружія, схватываетъ противника за горло и готовъ задушить его собственными руками, но, къ счастью, близъ него раздался свистъ, пролетѣло ядро, онъ нагнулъ голову и выпустилъ противника. И нашъ безпечный герой выходитъ изъ боя здоровымъ и невредимымъ, — безъ малѣйшей царапины.

Между тѣмъ сраженіе охватило все поле.

Въ теченіе восьми часовъ идетъ кровопролитный бой.

Пѣхота на пѣхоту, артиллерія на артиллерію, не отступая ни на шагъ. Всѣ войска въ дѣлѣ, вызваны резервы, а еще неизвѣстно, за кѣмъ останется поле, — за русскими или французами.

Это уже не сраженіе, а настоящая бойня безъ отдыха, безъ исхода, почти бесполезное избіеніе, — но и самъ Наполеонъ не въ силахъ остановить его.

Наконецъ, около трехъ часовъ пополудни, Кутузову доносятъ, что французы отбиты на лѣвомъ флангѣ и сильно помяты на правомъ.

„Побѣда за нами, и завтра погонимъ ихъ изъ священной земли русской!“ воскликнулъ Кутузовъ и — зарыдалъ.

И немедленно отдаетъ приказъ по всей линіи прекратить бой до слѣдующаго дня и, чтобы ободрить измученныя войска, объявляетъ на завтра атаку.

И тогда и до настоящаго времени, французы и русскіе, — каждый себѣ приписываютъ успѣхъ этого дня.

Если считать, что побѣда на сторонѣ того, за кѣмъ осталось поле битвы, то несомнѣнно, что побѣда принадлежитъ Наполеону. Съ другой стороны, это фактъ, что Бородинская битва, благодаря доблести русскаго солдата, нанесла рѣшительное пораженіе замысламъ Наполеона. И съ этой

минуты можно было предсказать всё несчастія вторженія въ Москву, т.-е. бесполезное сожженіе и разрушеніе столицы, неизбежное отступленіе и гибель въ сѣняхъ Россіи болѣе чѣмъ 500.000 французскихъ войскъ.

Кутузовъ шелъ къ одной цѣли, — своимъ отступленіемъ во внутрь Россіи преградить дальнѣйшій путь Наполеону, и вотъ теперь онъ воочію видитъ, что задуманный планъ вполне удался.

Къ вечеру и на слѣдующее утро прискакали курьеры въ главную квартиру съ донесеніемъ, что потери русскихъ сверхъ ожиданія. Около половины дѣйствующихъ войскъ легло на полѣ битвы, и продолжать сраженіе представлялось невозможнымъ.

И вотъ, по зрѣломъ размысленіи, за неимѣніемъ наличныхъ силъ, рѣшено военнымъ совѣтомъ: оставить Москву на произволъ врага, — лучше сохранить остатки арміи — единственное спасеніе Россіи, чѣмъ потерять и то и другое.

Затѣмъ Кутузовъ, не медля ни минуты, рѣшается дѣйствовать съ обычнымъ ему мужествомъ, не давъ времени врагамъ оклеветать его, рискуя даже вызвать гнѣвъ царя, которому ужъ послано донесеніе о Бородинской побѣдѣ.

Вернемся къ князю Андрею Болконскому, смертельно раненному въ этомъ сраженіи.

Въ ту минуту когда, съ обычными ему хладнокровіемъ и презрѣніемъ къ смерти, онъ ждалъ приказа наступать, раздался окликъ солдата: „Берегись!“ — Наклонитесь, князь! крикнулъ адъютантъ, но тотъ стоялъ недвижимо, и осколки бомбы попали ему въ животъ и раны смертельно.

Солдаты поспѣшили на помощь, перенесли на перевязочный пунктъ, гдѣ судьба сталкивается его съ тяжело раненымъ красавцемъ Анатолемъ Курагинымъ, бывшимъ причиной разрыва князя съ Наташей.

Говоря о молодой графинѣ Ростовой, вернемся къ ней въ древнюю столицу. Жители первопрестольной слѣшатъ ее покинуть, напуганные извѣстіемъ о приближеніи непріятеля. Въ этомъ случаѣ Толстой съ большой похвалой отзывается о московской аристократіи, рѣшившейся на такой шагъ. Тѣмъ болѣе, что москвичамъ было, конечно, не безызвѣстно, что Наполеонъ при занятіи Берлина и Вѣны не причинилъ вреда дворянамъ. Значитъ, отъѣздомъ руководилъ не страхъ передъ врагомъ, но общее всѣмъ русскимъ чувство: лучше



покинуть священную столицу, чѣмъ отдаться во власть французовъ, лучше оставить богатства, роскошь въ жертву пожара и грабежа, — что станетъ неизбежнымъ съ ихъ отъѣздомъ, — но не подчиниться Бонапарту!

Такимъ образомъ и мирные жители Москвы принесли жертву на алтарь отечества — для спасенія Россіи!

Всякій, конечно, старался вывезти, что было болѣе цѣннаго, и Ростовы, уложивъ на нѣсколько подводъ мебель, посуду, картины и др. вещи, готовились отправиться въ имѣніе. Много раненыхъ собралось у воротъ дома, умоляя взять ихъ съ собою.

Наташа, растроганная мольбами и стонами несчастныхъ, просила убѣдительно отца и даже сердилась — отдать имъ подводы. Графъ, хотя и неохотно, сдался на просьбы дочери, и вещи пришлось бросить въ жертву врага, а на подводы уложили раненыхъ. Между послѣдними находился и князь Андрей, но Наташа узнала объ этомъ позже.

2-го сентября Наполеонъ подступилъ къ Москвѣ и остановился на Поклонной горѣ, откуда открывается чудный видъ на всю Москву и окрестности.

Долго наслаждался Наполеонъ красивымъ мѣстоположеніемъ Москвы въ своемъ гордомъ величіи. Затѣмъ медленно продолжалъ путь верхомъ по улицамъ Москвы, чтобы дать время депутаціи „бояръ“ поднести ему городскіе ключи на бархатной подушкѣ, какъ то было въ Берлинѣ и Вѣнѣ. Онъ уже готовилъ рѣчь къ дворянамъ. Милостиво и кротко встрѣтитъ онъ депутатовъ.

И вдругъ ему доносятъ, къ его крайнему изумленію, что Москва „пуста“: значитъ, ни торжественной встрѣчи ни депутацій при восторженныхъ кликахъ напуганной черни!!...

Французскія войска входятъ въ городъ и расходятся по квартирамъ. Высочайшее повелѣніе — предупредить грабежъ — оказывается невозможнымъ: искушеніе слишкомъ велико среди роскоши и богатствъ столицы, брошенныхъ на произволъ врага.

Не прошло десяти минутъ съ размѣщенія войскъ по квартирамъ, какъ арміи не существовало.

Можно сказать, говоритъ авторъ, что армія, голодная и истощенная войною, вмѣстѣ съ разрушеніемъ богатой столицы распалась, забывъ всякую дисциплину: солдатъ обратился въ мародера.

Затѣмъ Толстой останавливаетъ вниманіе на причинѣ сожженія Москвы.

Уже ранѣе мы говорили, что авторъ „Войны и мира“, вопреки гр. Растопчину, отрицаетъ, что Москва сожжена по его приказу, да и русскій народъ никогда не приписывалъ ему этой инициативы, не ставя ни въ заслугу ни въ упрекъ.

Вѣриѣ, что народъ приписывалъ ея сожженіе варварству французовъ. А по мнѣнію самого Толстого, ни русскимъ ни французамъ — нельзя поставить этого въ упрекъ.

Просто, Москва сгорѣла, какъ городъ преимущественно деревянный, какъ горятъ фабрики, деревни, домъ, брошенный хозяевами и занятый какимъ-нибудь проходимцемъ.

Всѣ отдѣльныя сцены — какъ занятіе Москвы французами, разграбленіе — описаны мастерски, полны самаго высокаго драматизма и разнообразны подробностями, весьма необыкновенными. Пьеръ Безуховъ играетъ въ этомъ случаѣ весьма значительную роль. Онъ остается въ Москвѣ послѣ занятія ея французами, готовый принять участіе въ ея защитѣ, — чтобъ явиться достойнымъ имени „человѣка“; но узнавъ, что Москву не будутъ защищать, чувствуетъ необходимость пожертвовать собой на пользу родины и задумываетъ собственноручно убить Наполеона и тѣмъ избавить Россію и всю Европу отъ главнаго виновника всѣхъ народныхъ бѣдствій. Чѣмъ предпріятіе опаснѣе, тѣмъ оно заманчивѣе для Пьера.

И вотъ онъ бродитъ въ горящей Москвѣ, изъ одной улицы въ другую, спрятавъ книжалъ подъ плащомъ, выжидая благоприятной минуты для встрѣчи съ грознымъ императоромъ, окруженнымъ свитой.

Вдругъ раздается отчаянный крикъ. Обрушился горящій домъ, увлекаая съ собой подъ развалинами трехлѣтняго ребенка, спавшаго въ колыбели, на глазахъ у матери, обезумѣвшей отъ горя. Забывъ о своемъ грандіозномъ, отважномъ планѣ возмездія, честный Пьеръ бросается въ горящій домъ, и вскорѣ появляется снова хотя съ обгорѣлой бородой и волосамъ, но съ маленькой дѣвочкой на рукахъ.

Скоро его вниманіе привлекаетъ другая, не менѣе драматичная сцена. На углу Поварской и сада Гронцкихъ пріютились семья армянъ, успѣвшая кое-что спасти отъ пожара и сторожившая свои пожитки; но цѣлая толпа французскихъ



мародеровъ окружила несчастныхъ, желая поживиться. Имъ особенно хотѣлось овладѣть богатымъ ожерельемъ на шеѣ у молодой армянки, — которое ужь одинъ изъ негодяевъ срыгаетъ съ нея силой.

Пьеръ, увидѣвъ въ чемъ дѣло, бросается на негодяевъ и обращаетъ ихъ въ бѣгство. Но не прошло и нѣсколькихъ минутъ, какъ они снова вернулись съ товарищами, окружили Пьера и арестовали его. Первымъ дѣломъ его обыскиваютъ и, найдя при немъ кинжалъ, принимаютъ за убійцу, поджигателя или бунтовщика, связываютъ ему руки назадъ и ведутъ въ тюрьму.

Въ то время какъ эти событія, полныя драматизма, происходятъ въ Москвѣ, посмотримъ, что дѣлаетъ Николай Ростовъ.

Онъ не участвовалъ въ Бородинскомъ сраженіи, такъ какъ былъ посланъ въ Воронежъ закупить лошадей для своей дивизіи. Въ городѣ онъ застаётъ княжну Марію Болконскую, которая встрѣчается съ восторгомъ своего бывшего избавителя.

При воспоминаніи о романтической встрѣчѣ въ имѣніи, некрасивое лицо княжны освѣщается такой лучезарной улыбкой, что все лицо преображается, она кажется скорѣе красивой, чѣмъ дурной. „Подобно тому, — говоритъ авторъ, — какъ зажигается свѣтъ внутри рѣзного расписного фонаря, и съ неожиданно поражающей красотой выступаетъ на стѣнкахъ сложная художественная работа, казавшаяся прежде темной и безсмысленной“.

Николай любезно отвѣчаетъ на радушный пріемъ княжны. Тонкія черты ея блѣднаго меланхолическаго лица, лучезарный взглядъ, врожденная скромность и грація, а особенно трогательное выраженіе грусти во всей ея фигурѣ вызываютъ невольную симпатію въ молодомъ человѣкѣ.

Достаточно взглянуть, чтобы сказать — чѣмъ кончится эта деревенская идиллія, къ великому прискорбію Сони и къ полному удовольствію старой графини Ростовой, тѣмъ болѣе, что матеріальное положеніе семьи пришло въ окончательный упадокъ. Покончивъ служебныя дѣла, Николай возвращается въ полкъ, а княжна Марія, получившая извѣстіе, что братъ Андрей сильно раненъ, немедленно ѣдетъ въ Ярославль, гдѣ послѣдній находится въ семьѣ Ростовыхъ. Она пріѣзжаетъ въ самое время: брату остается жить нѣсколько часовъ.

Князь Андрей умираетъ тихо, примпренный съ своей молодой невѣстой и на рукахъ сестры.

Вернемся опять къ Пьеру Безухову, находящемуся въ плѣну у французовъ. Житейскія невзгоды, выпавшія на его долю, сломали бы и не такого силача, какъ онъ; вынеся всевозможныя униженія и оскорбленія, онъ не сегодня — завтра ждетъ, что его разстрѣляютъ, какъ разстрѣляли на его глазахъ уже шестерыхъ. Авторъ съ невыразимо тонкимъ чутьемъ раскрываетъ предъ нами неожиданный переломъ, совершающійся въ этомъ колоссальномъ, мужественномъ, но не уравновѣшенномъ организмѣ своего героя — предъ лицомъ грубой, слѣпой силы, непреодолимо заявляющей объ себѣ, уничтожающей малѣйшее противодѣйствіе, попирая всякое проявленіе индивидуальной силы. Особенно повліялъ на Пьера видъ военныхъ экзекуцій, невольнымъ зрителемъ которыхъ пришлось ему быть не разъ, и бессильный прійти на помощь, онъ сразу почувствовалъ, что все, что до сихъ поръ составляло для него смыслъ человѣческой жизни, порвалось навсегда.

Но самымъ непредвидѣннымъ исходомъ этихъ душевныхъ страданій и тоски является полное отрезвленіе: весь мистицизмъ, всѣ тревожныя думы, неясныя и неопредѣленныя ощущенія, такъ осаждавшія голову Пьеру, исчезли, давъ мѣсто мирному настроенію духа, удовлетворенію собою, которыхъ онъ тщетно искалъ до сей минуты въ филантропіи, въ масонствѣ, въ сутолокѣ великосвѣтской жизни и, наконецъ, въ самопожертвованіи на пользу ближнихъ.

Къ тому же, благодаря его крѣпкому организму, всѣ эти тяжкія испытанія скользнули по немъ, не оставляя слѣда. Онъ даже находилъ нѣкоторое удовольствіе переносить эти страданія, лишенія, видѣть грозныя картины смерти; ему нравились эти сильныя ощущенія, которыя неизгладимыми чертами запечатлѣвались въ душѣ Пьера.

Однако положеніе вещей измѣнилось. Простоявъ съ мѣсяць въ Москвѣ, французская армія готовилась къ выступленію. Напрасно Наполеонъ со дня на день ожидалъ парламентеровъ съ предложеніемъ о мирѣ. Кутузовъ, расположившись въ 25 верстахъ отъ Москвы, не показывалъ и виду, что желаетъ начать переговоры о мирѣ. Онъ прекрасно понималъ, что „плодъ еще не дозрѣлъ“, и заботился только, чтобъ



русскіе отряды не тратили даромъ силъ, и не допускали до столкновений съ французами, считая гибель врага недалекой и неизбѣжной. „Время и терпѣніе — вотъ наши союзники“, отвѣчалъ онъ, когда его укоряли въ бездѣйствіи.

А Наполеонъ, потерявъ терпѣніе ждать и сознавая, что почва ускользаетъ изъ-подъ ногъ, два раза посылалъ Лористона съ порученіемъ къ Кутузову. Послѣдній отклонялъ всякія предложенія о мирѣ, говоря посланному, что обѣихъ не можетъ быть и рѣчи, „пока хоть одинъ вооруженный непріятель останется на русской землѣ“. „На меня падетъ проклятіе потомства, всей Россіи, если я пойду на какія-нибудь уступки, соглашенія, да и народъ не допуститъ до этого“.

Разъ ночью, протянувшись на походной кровати, подперевъ рукой свою большую голову съ краснымъ шрамомъ на лицѣ и устремивъ въ темноту единственный здоровый глазъ, Кутузовъ глубоко задумался, какъ вдругъ къ избу подкакалъ офицеръ генеральнаго штаба Болховитиновъ и, соскочивъ съ лошади, безъ доклада входитъ въ избу съ донесеніемъ, что Наполеонъ покинулъ Москву, со всей арміею идетъ на Вязьму по Смоленской дорогѣ, — короче сказать, отступаетъ къ границамъ Россіи.

„— Милосердый Боже! — воскликнулъ Кутузовъ, поднявшись быстро съ постели и, обратившись лицомъ къ образамъ: — Ты услышалъ мои молитвы — Россія спасена!...“

И онъ залился слезами.

Рѣдко приходится видѣть болѣе трогательную сцену: до глубины души растроганный старый воинъ — строгій къ себѣ и другимъ, — у котораго одно стремленіе, одно желаніе, одно чувство: „святая Русь“!

Истинно не обманулъ опытнаго вождя. Французы оставили Москву — значитъ исходъ войны очевиденъ. Однимъ словомъ, война окончена.

Оставалось одно — идти по слѣдамъ французской арміи, прикрывая ея отступленіе, „какъ бы замата падающія съ сухого дерева листья“.

Такъ бы и случилось, если бъ не мѣшали отступленію французскихъ войскъ, какъ совѣтовалъ Кутузовъ, имѣя въ виду беречь насколько возможно остатки арміи — на пользу отечества, а не обрекать солдатъ на вѣрную смерть. Сра-

женіе подъ Краснымъ было дано противъ его желанія, гдѣ трое сутокъ билась разстроенная французская армія съ истощенной войною русской арміей — не придя ни къ чему. Слова Кутузова оправдались на дѣлѣ. Французская армія, шедшая до Вязьмы тремя стройными колоннами, стала постепенно убывать, а затѣмъ представляла уже одну безформенную массу, растерявъ по дорогѣ бѣольшую часть дѣйствующихъ войскъ. А еще Кутузова обвиняли въ преднамѣренномъ бездѣйствіи! И до сей минуты находятся люди, готовые утверждать, что можно было окружить французовъ, задержать ихъ отступленіе и даже захватить въ плѣнъ!

Авторъ „Войны и мира“ приводитъ неопровержимыя доказательства, что хотя исполненіе этихъ мечтаній вполнѣ льстило народному самолюбію, но на дѣлѣ они не исполнимы.

Поспѣшное, „почти стремительное“ бѣгство французской арміи дѣлало невозможнымъ какія бы то ни было соображенія комбинацій.

Къ тому же припомнимъ, что и тѣ и другіе (охотники и дичь) были въ довольно плачевномъ состояніи. Одно достоверно извѣстно, что русская армія отъ Тарутина до Краснаго потеряла до 50.000 съ отставшими. Нужно прибавить къ тому же, — жестокіе морозы причиняли большія опустошенія въ войскахъ, бѣдные солдаты по колѣно въ снѣгу при 15° мороза терпѣли невыразимыя страданія.

У кого хватитъ духа упрекнуть этихъ несчастныхъ, — тысячами умиравшихъ за родину, — будто они не постояли за честь своей земли, такъ какъ не выполнили невыполнимыхъ плановъ, надуманныхъ военными теоретиками, сидя въ тепломъ кабинетѣ?

Все, что возможно было выполнить, — все было сдѣлано. Если партизанскіе отряды не остановили отступленія французскихъ войскъ, то единственно потому, что это было не въ ихъ власти.

Что касается значенія партизанской войны, то, кажется, авторъ нѣсколько преувеличиваетъ ихъ военныя заслуги, представляя маленькія стычки большими дѣлами.

Въ одной изъ такихъ стычекъ, вблизи деревни Шамшево, мы встрѣчаемъ уже знакомыхъ читателю Денисова и Долохова.

Каждый изъ нихъ командуетъ двумя сотнями партизановъ. Они сговариваются напасть на транспортъ раненыхъ, слѣ-



дующій за корпусомъ Даву. Подъ командой Денисова въ отрядъ находится Цетя Ростовъ.

Ему уже разъ случилось быть въ огнѣ подъ Вязьмой, а теперь онъ страстно желаетъ принять участіе въ болѣе серьезной стычкѣ. Увы! желаніе бѣднаго юноши услышано слишкомъ скоро. Едва показался транспортъ плѣнныхъ, какъ онъ, очертя голову, бросается впередъ, и въ ту же минуту падаетъ, пораженный пулей въ голову. Вмѣстѣ съ другими плѣнными Долоховъ и Денисовъ отбиваются у французовъ и Пьера Безухова, находившагося въ транспортѣ.

## V.

Часть романа, посвященная войнѣ, оканчивается этимъ эпизодомъ и смертью Кутузова въ Вильнѣ, куда старый герой удался послѣ изгнанія французовъ.

Онъ умираетъ покойно, вполне довольный, что его единственное желаніе исполнилось, и дальнѣйшія событія меньшей важности мало его интересуютъ. Сознаніе честно выполненнаго долга относительно горячо любимой имъ родины служило достаточнымъ утѣшеніемъ въ непріязни, съ которой на него смотрѣли въ офиціальномъ кругу; эта опала тѣмъ болѣе незаслуженная и несправедливая, что моральное и физическое утомленіе во время битвы сильно потрясли и безъ того уже престарѣлаго фельдмаршала.

Отъ тяжелыхъ и мрачныхъ картинъ войны — во второй части романа „миръ“ переносимся мы къ болѣе свѣтлымъ и мирнымъ картинамъ частной и семейной жизни, кромѣ одной раздирающей душу сцены въ домѣ Ростовыхъ, когда съ театра военныхъ дѣйствій получено извѣстіе о трагической смерти несчастнаго Пети.

Наташа еще не оправилась отъ тяжелаго потрясенія со смерти князя Андрея, какъ новый ударъ разразился въ семьѣ. Она все время находилась въ какомъ-то тупомъ отчаяніи, оцѣпенѣніи, цѣлыми часами сидя въ бездѣйствіи, опустивъ безсилно руки, устремивъ неподвижный взоръ въ пространство. Иногда ей казалось, что предъ ней встаетъ блѣдное лицо несчастнаго жениха, — какимъ она видѣла его на смертномъ одрѣ, — тогда ею овладѣвало полное отчаяніе, затѣмъ она плакала по цѣлымъ часамъ, до полного изнеможенія.

Смерть Пети вывела ее изъ этого оцѣпѣненія, а также и отчаяніе матери, — графини Ростовой. Наташа поняла, что ей нужно забыть себя, свое личное горе, — и всю любовь, на которую способно ея сердце, отдать своимъ близкимъ. Природный живой характеръ взялъ верхъ, заговорила любовь къ жизни, и она даже стыдился, что не подумѣла за время болѣзни.

Конечно, она не отдавала себѣ отчета, что рана начинается заживать, что моральное исцѣленіе — только вопросъ времени, особенно если явится къ тому поводъ. Случай не заставилъ себя ждать въ лицѣ нашего друга, Пьера Безухова, и какъ разъ въ-время и совершенно при неожиданныхъ обстоятельствахъ.

Освобожденный изъ плѣна Пьеръ вернулся въ Москву. Здѣсь онъ узналъ о смерти своего друга, князя Андрея, а также и о смерти жены своей, Элены Безуховой, умершей отъ такой страшной болѣзни. Къ послѣднему онъ отнесся довольно спокойно: послѣ того, что было между нимъ и женой, эта смерть не могла поразить его; несравненно тяжелѣе отозвалась на немъ смерть друга. Узнавъ о пріѣздѣ въ Москву сестры послѣдняго, княжны Марин, онъ немедленно ѣдетъ къ ней.

Здѣсь, въ домѣ княжны, происходитъ его встрѣча съ Наташей, которую родители прислали лечиться въ Москву. Въ первую минуту Пьеръ не узналъ молодой графини, сильно похудѣвшей, блѣдной, въ глубокомъ траурѣ, совсѣмъ не такой, какой видѣлъ ее раньше. А между тѣмъ образъ молодой дѣвушки неотступно преслѣдовалъ его все время съ той самой минуты, какъ онъ увидѣлъ ее въ тоскѣ и мрачномъ отчаяніи послѣ измѣны Андрею.

Только тогда, когда въ разговорѣ Наташа улыбнулась, глаза Пьера открылись, онъ сразу понялъ, кого онъ видитъ. Онъ такъ смѣшался, такое волненіе охватило его, что и княжна и Наташа не могла ошибиться насчетъ его чувствъ.

Но въ первую минуту этому открытію молодая графиня не придавала значенія. Только, когда Пьеръ все чаще и чаще сталъ заглядывать къ княжнѣ Марин, Наташа поняла его чувства, и глубокая почтительность и горячая любовь покорили сердце молодой дѣвушки. Въ пользу Пьера говорило еще одно: сердце Наташи жаждало привязанности, требовало



отвѣта. Она не заставила ждать своего поклонника. Жажда въ жизни проснулась помимо воли и безъ борьбы овладѣла всѣмъ ея существомъ.

Походка, выраженіе лица — все поразительно измѣнилось.

Спустя нѣсколько мѣсяцевъ, Пьеръ и Наташа стали мужемъ и женой.

Не такъ скоро пришелъ къ развязкѣ романъ Николая Ростова съ княжной Маріей.

Незадолго до этого умеръ графъ Ростовъ, оставя дѣла къ самомъ плачевномъ положеніи, такъ что по ликвидаціи движимаго имуществва пришлось тронуть и часть недвижимаго.

Однако, Николай Ростовъ, какъ благородный человѣкъ, не отказался отъ отцовскихъ долговъ, принявъ ихъ уплату на себя.

Пьеръ одолжилъ ему тридцать тысячъ для расчета съ кредиторами, настоятельно требовавшими уплаты, а другіе согласились на отсрочку; и самъ Николай, несмотря на то, что въ недалекомъ будущемъ могъ получить командованіе полкомъ, отказался отъ военной карьеры, вышелъ въ отставку и, взявъ гражданское мѣсто, поселился въ Москвѣ въ небольшой квартирѣ вмѣстѣ съ матерью и Соней.

Понятно, что мечты старой графини женить сына на богатой наслѣдницѣ разбились влухъ и прахъ, да и самъ Николай, любившій княжну и мечтавшій на ней жениться, какъ честный и благородный человѣкъ, не смѣлъ подумать предложить руку одной изъ богатѣйшихъ невѣстъ въ Россіи — при своихъ стѣсненныхъ обстоятельствахъ.

Да и княжна, пріѣхавшая навѣстить графиню послѣ несенной утраты, встрѣтивъ непонятно холодный пріемъ со стороны Николая, уѣхала съ отчаяніемъ въ сердцѣ.

Но, къ счастью, недоразумѣніе вскорѣ объяснилось. Княжна поняла все благородство молодого графа и тѣмъ болѣе полюбила его. Осенью состоялась свадьба, и молодые супруги уѣхали въ „Лысыя горы“ въ сопровожденіи матери-графини и бѣдной Сони, — безъ зависти, безъ упрековъ, вполне покорной своей злополучной судьбѣ, — счастливой счастіемъ любимаго ею Николая.

## VI.

Романъ Толстого „Война и миръ“ такой богатый по содержанію и въ то же время весьма простой. Сколько ху-

дожественно нарисанных картинъ, сколько прелестныхъ очерковъ съ самымъ нѣжнымъ колоритомъ!

Не знаемъ, удалось ли намъ дать вѣрное представленіе объ его научномъ значеніи, а особенно дать почувствовать читателю всю прелесть этого выходящаго изъ ряда произведенія.

Разборъ романа „Война и миръ“ представляетъ не мало-важный трудъ, такъ какъ объ части романа, на которыя онъ дѣлится по своему заглавію, близко связаны одна съ другой, хотя совершенно различны по содержанію. Да если внимательно слѣдить за ходомъ развитія романа, то и нежелательно разъединять ихъ. Первая часть, „Война“, трактующая о военныхъ событіяхъ и, вторая, „Миръ“, рисующая жизнь отдѣльныхъ личностей, семьи, — объ эти части представляютъ одно цѣлое отъ начала до конца, но не смѣшиваясь ни одна съ другою.

Каждая часть носитъ лично ей присущій характеръ, форму, колоритъ, подобно тому какъ орнаментъ, украшающій колонну, на первый взглядъ представляетъ одно цѣлое сложное, но на дѣлѣ каждая часть его имѣетъ свой собственный стиль и узоръ, или подобно металлической проволоки, которая, бесконечно свиваясь, въ то же время ни одинъ рядъ ея не смѣшивается съ другимъ.

Можетъ-быть, если разбирать романъ до тонкости, найдемъ, что первая часть (Война) превосходитъ вторую (Миръ) красотой изображеній, грандіозностью и живостью картинъ, яркостью колорита.

Одно не подлежитъ сомнѣнію, насколько намъ извѣстно, что до сихъ поръ не приходилось встрѣчать такихъ полныхъ и вѣрныхъ дѣйствительности описаній сраженій, каковы: Аустерлицкая и Бородинская.

А что за чудная картина — пожаръ Москвы! А отступление французовъ изъ стѣнъ древней первопрестольной столицы къ границамъ Россіи? Случалось ли читать болѣе грандіозную, научно изложенную драму и съ такой поразительной реальностью?

Но мы, несмотря на все, отдаемъ предпочтеніе второй части (Миръ): такъ поразительно дѣйствуютъ на насъ своей мягкостью, изяществомъ эскизы семейной жизни, переданные авторомъ съ необычайной силой. Предъ нами живые люди, — мы переживаемъ ихъ радости и горе. Въ этой части про-



изведенія Толстой особенно показалъ себя даровитымъ художникомъ-романистомъ и съ философской тенденціей.

Этимъ мы хотимъ сказать, что онъ глубокій психологъ, обладающій даромъ прозрѣнія, его всегда влечетъ къ гуманности и символическому. Онъ такъ глубоко изучаетъ характеръ дѣйствующихъ лицъ, разбираетъ ихъ такъ толко, что рискуетъ сдѣлать неспмпатичными. Ему не довольно представить ихъ въ главныхъ чертахъ, съ обыденной физіономіей, — онъ выставляетъ ихъ со всѣми ихъ достоинствами, недостатками, противорѣчіями.

Толстой — страшно суровый психологъ, отъ котораго ничто не укроется, онъ насквозь видитъ измѣнчивую разнообразную человѣческую натуру. Какъ безжалостно, но вѣрно обнажаетъ предъ читателемъ даже самыхъ излюбленныхъ своихъ героевъ, каковы: Пьеръ Безуховъ, Наташа, Кутузовъ!

И странно! чѣмъ болѣе лица его произведеній подвержены человѣческимъ слабостямъ, чѣмъ болѣе подходятъ къ намъ своими ошибками, недостатками, тѣмъ болѣе вызываютъ наше участіе, тѣмъ ближе намъ.

Возьмемъ, напр., честнаго, прекраснаго Пьера Безухова, — это нѣжное золотое сердце, — готоваго на всякія самопожертвованія. Но автору какъ будто правится, при всѣхъ его добрыхъ качествахъ, представить своего героя подчасъ грубымъ и вульгарнымъ. Геркулесъ видомъ, въ зеленомъ кафтанѣ, бѣлой шляпѣ, въ очкахъ, мѣшковатый, неловкій, онъ просто смѣшонъ. И не то же ли съ нравственной стороны; нерѣшительный, апатичный, неэнергичный или доходящій до дикихъ вспышекъ гнѣва — развѣ это не жалкій подчасъ человѣкъ?

Это въ нѣкоторомъ родѣ наивный, разсѣянный, мечтательный ребенокъ, застѣнчивый въ обществѣ, теряющій время по пустякамъ, безъ пользы для себя и другихъ, — допускаетъ женить себя противъ воли, не зная зачѣмъ, на женщину недостойной, утѣшается масонствомъ, мистицизмомъ, и опять-таки на короткое время. Наконецъ, въ концѣ концовъ ищетъ забвенія въ неблагородныхъ развлеченіяхъ — попойкахъ, разгулѣ, пока несчастное приключеніе не приводитъ къ полному познанію жизни, и вотъ онъ обращенъ на истинный путь.

Развѣ не поразительно глубоко очерченъ этотъ характеръ, и не достаточно разоблачаетъ его авторъ? А между тѣмъ мы

готовы извинить Пьеру всё его странности и даже недостатки за его простодушіе, за его пыжное сердце.

А бѣдная Наташа, — поразительныя противорѣчія представляетъ ея характеръ!

Ей предлагаетъ руку человѣкъ высокаго званія, богатый, умный, а у невѣсты нехватаетъ терпѣнія на годъ подождать возвращенія жениха, которому она отдала руку и сердце.

И вдругъ, въ оперѣ, въ случайной встрѣчѣ, страстно влюбляется въ какого-то бездушнаго красиваго щеголя.

Благодаря только любви и предусмотрительности подруги, ей не удастся бѣжать изъ родительскаго дома. Затѣмъ снова невѣста терзается любовью къ жениху, узнавъ, что онъ смертельно раненъ. Смерть жениха повергаетъ ее въ самое мрачное отчаяніе, а затѣмъ снова — почти что въ третій разъ — дѣлается невѣстой и выходитъ за Пьера Безухова.

Но чѣмъ же такое странное и легкомысленное существо, какъ Наташа, вызываетъ нашу симпатію? Почему насъ такъ трогаютъ, волнуютъ ея страданія, хотя она страдаетъ по собственной винѣ?

Что касается князя Андрея, — человѣка весьма умнаго, съ либеральными взглядами, кончающаго такой геройской смертью, — для чего же авторъ представляетъ его такимъ спесивымъ, суровымъ, нетерпѣливымъ? Для чего приписываетъ ему такой тяжелый, странный характеръ, разочарованность, что дѣлаетъ его несимпатичнымъ и сухимъ?

Но если, согласно изображенію автора, это лицо не вызываетъ сильной симпатіи, тѣмъ не менѣе мы не можемъ не уважать его.

Что сказать о несчастной княжнѣ Марьѣ Болконской — этомъ ангелѣ доброты, покорности, самоотреченія? Однако Толстой имѣетъ жестокость представить ее некрасивой, почти безобразной, а набожность — нѣсколько странной, доходящей до мистицизма и даже до ханжества.

Что сказать о старомъ князѣ Болконскомъ — этомъ суровомъ деспотѣ, эгоистѣ, своеправномъ сумасбродѣ, нерѣдко жестокомъ — находившемъ особенное удовольствіе мучить покорную дочь?

Даже и своего любимаго героя — Кутузова — „великаго человѣка“, по словамъ Толстого, представляешь мрачнымъ,



ворчливымъ, взыскчивымъ и въ то же время нѣсколько пошлымъ въ присутствіи государя.

Но всѣ эти главные лица романа — съ перваго до послѣдняго — имѣютъ одно достоинство, высшее достоинство каждаго разумнаго существа: они живутъ — и живутъ полной жизнью!

Если мѣстами авторъ выставляетъ темныя стороны своихъ героевъ, то тѣмъ рельефнѣй и правдивѣй являются эти изображенія.

Толстой въ своемъ романѣ вводитъ насъ въ особый міръ, — въ эпоху, богатую великими событіями, великими людьми, когда въ атмосферѣ чуялась гроза.

Для французовъ эта эпоха явилась откровеніемъ „русской жизни“, и глубоко поразила ихъ. Не ошибемся, сказавъ, что ни одно изъ всѣхъ имѣющихся сочиненій по исторіи и этнографіи не давало такого полного и вѣрнаго понятія о характерѣ русскихъ, какъ эти три тома „Войны и мира“.

Что бы ни рисовалъ авторъ, русскую ли аристократію начала XIX стол., — легкомысленную, поверхностную аристократію еще подѣ влияніемъ Екатерининской эпохи, — говорящей не иначе, какъ по-французски, растягивая слова (что считалось признакомъ хорошаго тона); или въ противоположность утонченной придворной аристократіи авторъ вводитъ насъ въ кругъ гвардейской молодежи, гдѣ подѣ влияніемъ винныхъ паровъ обнаруживаются во всей наготѣ дурныя стороны русскаго человѣка; или изъ Петербурга переноситъ въ Москву — городъ болѣе тихій и мирный, — гдѣ меньше „французятъ“; или изъ Москвы въ деревню, гдѣ знакомитъ съ патриархальной обстановкой помѣщиковъ-землевладѣльцевъ, живущихъ на широкую ногу; или въ солдатскій лагерь, въ избу, служащую главной квартирой главнокомандующему — всюду онъ знакомитъ насъ съ различными типами русской національности, во всѣхъ слояхъ общества, набросанными широкими штрихами, съ удивительнымъ умѣніемъ быстро переноситъ читателя отъ одного къ другому.

Это настоящая Россія, — Россія здѣсь вся налицо въ этомъ прекраснѣйшемъ романѣ!

И съ философской точки зрѣнія романъ „Война и миръ“ — одно изъ замѣчательнѣйшихъ произведеній литературы.

Не говоря о нѣкоторыхъ странныхъ оцѣнкахъ міровыхъ событій, о нѣсколько подчасъ длинныхъ разсужденіяхъ гр. Толстого на почвѣ его своеобразныхъ идей, а именно „о значеніи человѣческой воли въ міровыхъ событіяхъ“, нельзя не отнестись съ похвалою къ его энергичнымъ возраженіямъ противъ войны, когда онъ съ такимъ поразительнымъ умѣньемъ доказываетъ, какъ личная воля, индивидуальная сила, разумъ — все отступаетъ передъ грубой животной силой.

Наконецъ, напрашивается еще вопросъ: таковъ ли Пьеръ Безуховъ въ дѣйствительности, какимъ онъ намъ представляется съ перваго взгляда, не болѣе ли онъ сложная натура?

Не хотѣлъ ли Толстой показать въ лицѣ этого взрослого ребенка съ честными, но нѣсколько смутными понятіями о жизни, который, получивъ воспитаніе во Франціи, вернулся оттуда, вкусивъ передовыхъ идей, — человѣка переходной эпохи и какъ типъ русскаго общества на грани новой эры?

Попавъ въ плѣнъ къ французамъ, Пьеръ приходитъ къ „познанію жизни“, слушая теоріи простого солдата, своего товарища по заключенію. Развѣ это на аллегорія? Можетъ-быть, авторъ хотѣлъ доказать, что все спасеніе, вся будущность молодого поколѣнія этой эпохи зависятъ оттого, сумеетъ ли она отказаться отъ всѣхъ традицій прошлаго вѣка и сблизиться съ народною средой.

Какъ бы то ни было, но мы никогда не закончили бы нашей статьи, если бы хотѣли воздать должное этому чудному роману, размѣрамъ котораго нельзя не удивляться.

Планъ романа обширный: онъ захватываетъ цѣлую часть Россіи, безчисленное множество лицъ, однихъ коронованныхъ особъ трое съ ихъ маршалами, генералами, офицерами, солдатами, дворянами и крестьянами.

Тысячи самыхъ разнообразныхъ, быстро смѣняющихся картинъ проходятъ предъ нашими глазами, одинаково прекрасныхъ, поразительныхъ, вмѣющихъ связь одна съ другою, но всѣмъ понятныхъ, несбивчивыхъ. Есть нѣкоторые эпизоды, такіе богатые содержаніемъ, что каждый, отдѣльно взятый, могъ бы составить цѣлый томъ.

Ни въ современной французской литературы ни въ какой другой нѣтъ произведенія, равнаго этому замѣчательному роману.



Трудно сказать, какому писателю слѣдуетъ Толстой. Его манера писать совсѣмъ оригинальная, своеобразная. Иногда въ своей эпопее онъ, какъ будто, напоминаетъ Вальтеръ-Скотта, но у него нѣтъ такихъ длинныхъ описаній, мысли точнѣе и дѣйствительнѣй. Иногда онъ нѣсколько напоминаетъ Диккенса прелестью и глубокой чувствительностью семейныхъ сценъ или Меримэ — по живости и опредѣленности изображеній.

Но скорѣе всего онъ вѣренъ самъ себѣ.

Авторъ „Войны и мира“ до мозга костей русскій писатель.

Чтобы закончить нашъ очеркъ, оставимъ слово за И. С. Тургеневымъ, который, какъ національный писатель и притомъ глубоко даровитый, больше всѣхъ вправѣ произнести сужденіе:

„Война и миръ“, — говоритъ онъ, — великое произведеніе великаго писателя. Это настоящая Россія!“ *Баденъ.*

---

## Русское образованное общество въ романѣ „Война и миръ“.

На страницахъ, отведенныхъ „миру“, мы видимъ, какъ жило въ это страшное время русское образованное общество первой четверти прошедшаго столѣтія. Тутъ дѣйствіе размѣщается въ трехъ пунктахъ. Съ первыхъ страницъ авторъ вводитъ читателя въ салонъ петербургской фрейлины Шереръ. Это — салонъ большого свѣта, гдѣ сплетни мѣшались съ тщеславіемъ и ничтожество дѣлало себѣ карьеру. Тутъ выступаетъ наружу вся фальшь жизни высшихъ слоевъ общества, нравственно обанкротившагося и несостоятельнаго.

Вторымъ центромъ является имѣніе князя Болконскаго. Это — убѣжище непримиримаго недовольства, сознательной оппозиціи существующему порядку или, вѣрнѣе, безпорядку, убѣжище вельможной гордости, знающей цѣну себѣ. Третій центръ — домъ Ростовыхъ. Здѣсь царитъ московское хлѣбосольство и гостепріимство съ несмолкаемымъ весельемъ, съ непрерывными пирами. Къ каждой изъ этихъ сферъ причастно главное лицо „Войны и мира“ — Пьеръ Безухій, типически воплощающее въ себѣ сильныя и слабыя стороны русскаго

человѣка. Онъ — мягкосердечный, открытой души до наивности, отзывчивый на всякое добро, увлекающійся, впечатлительный, но слабохарактерный и непостоянный. Онъ полонъ энергіи, но неустойчивъ въ своихъ влеченіяхъ, пылливъ и любознателенъ до комизма, и ни въ чемъ не обнаруживаетъ инициативы; онъ разсѣянъ до того, что способенъ забыть о своемъ честномъ словѣ, и рѣшителенъ до истинно-геройской отваги.

По возвращеніи изъ-за границы, гдѣ онъ воспитывался, Пьеръ Безухій въ Петербургѣ очутился въ положеніи человека, не знавшаго, куда себя дѣвать. Въ салонѣ Шереръ его медвѣжья неуклюжесть и неотполированный демократизмъ выказались во всей своей дикости. Онъ не скрывалъ своего либерализма, вывезеннаго изъ-за границы, мечталъ о республикѣ въ Россіи, о побѣдѣ надъ Наполеономъ, о перерожденіи порочнаго рода человѣческаго и тому подобныхъ несбыточныхъ фантазіяхъ, а въ дѣйствительности жизнь его протекала въ попойкахъ, скандальныхъ забавахъ, въ какомъ-то опьяненіи пустотой и бездѣльемъ. Чопорный высшій кругъ шокировался близостью такого камергера. Но это не помѣшало одному изъ главныхъ представителей этого круга почти насильно повѣнчать Пьера съ своей дочерью сомнительной репутаціи. Бракъ этотъ не могъ наполнить жизнь Пьеру. Безсердечная Эленъ, по отцу Курагина, (жена его), никогда ничего не любила въ свѣтѣ, кромѣ собственнаго тѣла. И Пьеръ отрезвился. При всей своей покладистости, онъ энергически покончилъ счеты съ женою, при первомъ же оскорбленіи, нанесенномъ ею.

Тутъ опять онъ очутился совершенно свободнымъ человекомъ, не знающимъ, что съ собой дѣлать, на что обратиться непочатый запасъ кипучей жизни, какъ разрѣшить сомнѣнія, появившіяся въ его душѣ подъ дѣйствіемъ семейной бури. Его сильнѣе прежняго стали тревожить вопросы о цѣли жизни вообще и его собственной въ частности. „Что дурно? Что хорошо? Что надо любить, что ненавидѣть? Для чего жить, и что такое я? Что такое жизнь, что смерть? Какая сила управляетъ всѣмъ?“ спрашивалъ онъ себя. И Пьеръ приходитъ къ тому заключенію, что знать мы можемъ только то, что ничего не знаемъ. И это высшая степень человѣческой премудрости. Такія же сомнѣнія, почти буквально,



долго тревожили и самого автора „Войны и миръ“. Въ его признаніяхъ читаемъ: „я искалъ во всѣхъ знаніяхъ, и не только не нашелъ, но убѣдился, что всѣ тѣ, которые такъ же, какъ и я, искали въ знаніи, точно такъ же ничего не нашли. И не только не нашли, но ясно признали, что то самое, что приводило меня въ отчаяніе, — бессмыслица жизни, — есть единственное, несомнѣнное знаніе, доступное человѣку“.

Случайная встрѣча Пьера съ масономъ втянула его въ масонство. Онъ рѣшилъ служить дѣлу религіи и добродѣтели. Темное небо какъ будто прояснилось на время. Волны душевныя улеглись, въ сердцѣ ощущалась тишина. Теперь какъ будто не оставалось и тѣни сомнѣній. Прошрое съ его ошибками было позади. Будущее представлялось Пьеру счастливымъ и полнымъ добродѣтели. Призваніе свое онъ видѣлъ въ служеніи благу человѣчества.

Первой заботой Пьера, по пріѣздѣ въ его кіевское имѣніе, было желаніе какъ можно скорѣе освободить крестьянъ, улучшить ихъ участь, уничтожить тѣлесныя наказанія, облегчить барщину, понастроить школъ и больницъ. Управляющіе только дивились всѣмъ этимъ затѣямъ празднаго барина, и надували этого чудака наружнымъ исполненіемъ его распоряженій. Пьеръ радовался видимому довольству крестьянъ, благодарившихъ барина по настоянію приказчиковъ, его стремленіе дѣлать добро людямъ удовлетворялось, онъ чувствовалъ миръ въ своей душѣ, какъ человѣкъ, славно пообѣдавшій послѣ продолжительнаго голода.

Дѣйствительно, все это оказалось миражемъ. Пьеръ мало-по-малу присмотрѣлся къ масонству, которое въ дѣлахъ добродѣтели и нравственнаго самосовершенствованія оставляло желать многого. Отъ него не ускользнуло то, что и тутъ подъ благородной личиной скрывались суета мірская, гора честолюбій, взаимныя интриги. Масоны преисправно занимались балами, обѣдами и фестивалями. „Братья мои масоны, — размышляетъ Пьеръ въ минуты хандры, — клянутся кровью въ томъ, что они всѣмъ готовы жертвовать для ближняго, а не платятъ по одному рублю на сборы для бѣдныхъ, интригуютъ Астрея противъ ищущихъ манны, и хлопчутъ о настоящемъ шотландскомъ коврѣ и объ актѣ, смысла котораго не знаетъ и тотъ, кто писалъ его, и котораго никому не нужно. Всѣ мы исповѣдуемъ христіанскій законъ прощенія

обидъ и любви къ ближнему, — законъ, вслѣдствіе котораго мы воздвигли въ Москвѣ сорокъ сороковъ церквей, а вчера засѣкли кнутомъ бѣжавшаго человѣка, и служитель того же самаго закона любви и прощенія, священникъ, давалъ цѣловать солдату крестъ передъ казнью“. Съ подобной ложью и путаницей Пьеръ никакъ не въ силахъ былъ примириться и, чтобы забыть гнетущія сомнѣнія и неразрѣшимые вопросы жизни, отдавался всевозможнымъ увлеченіямъ.

Уже изъ сказаннаго видно, что Толстой въ типѣ Безухаго достаточно ясно показалъ испытанную имъ самимъ борьбу вѣры въ возможность добра и правды съ ложью и зломъ дѣйствительной жизни. Но скептицизмъ, какъ плодъ разочарованій, вынесенныхъ изъ наблюденій этой лжи и зла, все-таки не восторжествовалъ въ Пьерѣ. Такое торжество досталось на долю его другу Андрею Болконскому.

Старикъ Болконскій и сынъ его Андрей — типическіе представители нашей знати. Старикъ Болконскій — высокомеренъ, суровъ, патріархаленъ и величественъ. Онъ одичалъ въ своей гордости. Онъ внушаетъ безграничный страхъ всѣмъ живущимъ съ нимъ, даже своей любящей дочери, которую тиранитъ вѣчнымъ своимъ гнетомъ и дикой любовью. Но она не впадаетъ въ отчаяніе. Жизнь княжны Марьи — настоящая каторга. Утѣшеніемъ служить ей религія. „Божьи люди“, странницы, составляютъ ея сообщество. Она бесѣдуетъ съ ними о возвышенныхъ предметахъ, ихъ жизнь кажется ей идеальной. Оставьте всѣ земныя заботы и безъ всякихъ помысловъ о завтрашнемъ днѣ и его низменныхъ нуждахъ странствовать, вдохновляться высокими чувствами, отдаться молитвѣ за всѣхъ — вотъ какія стремленія увлекали княжну Марью. Но, вспоминая о престарѣломъ отцѣ, она убѣждалась, что не можетъ покинуть его, и горько плакала о томъ, что любить его болѣе, чѣмъ Бога. Совершенную противоположность ей составляетъ князь Андрей, типъ скептика, слѣдующаго только внушеніямъ холоднаго разсудка.

Князь Андрей исполненъ сознанія своего аристократизма, своего родовитаго превосходства надъ всякими рангами, достигающимъся обыкновеннымъ смертнымъ. Обладая такой гордостью и всѣмъ лоскомъ, потребнымъ для родовитости, онъ въ то же время отличается пронизательнымъ умомъ, силой воли, пониманіемъ своего долга, непоколебимой твердостью



и энергіей съ той минуты, когда призываютъ къ дѣятельности серьезные и реальные интересы отечества. Тогда онъ не имѣетъ времени думать о впечатлѣніи, какое произведетъ онъ на окружающихъ. Именно въ „Мирѣ“ читатель видитъ князя Андрея вѣчно скучающимъ, не ладящимъ съ собою, жаждущимъ переменъ, словно неспособнымъ отдаться никакимъ радостямъ жизни и всегда склоннымъ за все винить судьбу. Межъ тѣмъ на страницахъ „Войны“ личность князя Андрея выступаетъ въ самомъ привлекательномъ свѣтѣ. Заслуги его неоспоримы, сражается онъ съ отвагой, даже съ какимъ-то отчаяніемъ. Раненый при Аустерлицѣ и перенесенный во французскій госпиталь, князь Андрей сильно колеблется въ своемъ невѣріи. „Хорошо бы это было, ежели бы все было такъ ясно и просто, какъ оно кажется княжнѣ Марѣ“, подумалъ онъ при видѣ образка, который сестра уговорила его навѣсить на грудь. И тутъ же рѣшилъ: „ничего, ничего нѣтъ вѣрнаго, кромѣ ничтожества всего того, что мнѣ понятно, и величія чего-то не понятнаго, но важнѣйшаго!“ Съ „ничтожествомъ всего“ передъ лицомъ смерти раскрывается и ничтожество прежняго идеала князя Андрея. Такимъ идеаломъ былъ для него раньше Наполеонъ. Теперь при встрѣчѣ съ нимъ этотъ великій человѣкъ показался князю Андрею совсѣмъ маленькимъ съ его „безучастнымъ, ограниченнымъ и счастливымъ отъ несчастья другихъ взглядомъ“. Тутъ онъ умомъ доходитъ до вѣры, но не знаетъ, какъ найти въ ней удовлетвореніе. Въ жизни не оказывалось ничего заманчиваго. Казалось, не для чего было жить. Только встрѣча съ обольстительной дѣвушкой пробудила въ князѣ Андреѣ спасительную любовь къ жизни. То была Наташа Ростова.

Наташа — настоящая душа дома Ростовыхъ, гдѣ все вокругъ дышало привѣтомъ и радушіемъ. Старикъ Ростовъ былъ истиннымъ гениемъ хлѣбосольтва. Графиня дополняла его своей любезностью и добротой. Старшій сынъ Николай какъ бы рожденъ былъ для военной жизни. Профессія военнаго казалась ему первой въ мірѣ. Въ лагерь онъ чувствовалъ себя какъ дома, грудью отстаивалъ свой долгъ и военную честь. Крѣпкій тѣломъ, здоровый духомъ, онъ всегда веселъ, доволенъ, потому что не знаетъ ни сомнѣній ни разочарований. Это — типъ тѣхъ счастливицевъ, которые, не требуя

отъ жизни невозможнаго, сразу попадаютъ въ свою колею и остаются въ ней натурами цѣльными и нравственно-безупречными. Николай Ростовъ нашелъ такое свое назначеніе въ гулѣ войны того времени. Если и приходилось ему видѣть неприглядныя стороны военной славы, въ родѣ сценъ при осмотрѣ госпиталей, то подобныя наблюденія бывали все-таки рѣдки. И въ общемъ итогѣ военная карьера доставила Николаю Ростову одни пріятныя впечатлѣнія, а по окончаніи ея онъ такъ же ровно и безмятежно счастливъ былъ въ своей семейной жизни съ княжной Марьей.

Сестра его, Наташа, восхитительна въ своей натуральной жизненности и веселости. Смѣхъ ея — молодой, искренній, что называется, отъ души — читатель слышитъ на всѣхъ страницахъ, пока ея душа остается не пораненной житейскимъ зломъ. Своимъ весельемъ она одушевляетъ и заражаетъ всю семью. Она весело кокетничаетъ со своими поклонниками и вздыхателями, восторгающимися ея красотой. Она считаетъ себя влюбленной въ князя Бориса, въ друга отца ея, Денисова и потомъ въ князя Андрея. Съ послѣднимъ дѣло зашло далеко. Наташа считалась невѣстой Болконскаго, но это не была настоящая любовь, ибо внезапно въ Наташѣ возгорѣлась страсть, сразу принявшая было ужасающіе размѣры. Встрѣтился красавчикъ-ловеласъ Анатолій Курагинъ и вскружилъ голову Наташѣ. Только случайность спасла ее отъ позорнаго паденія. Пьеръ Безухій во-время вмѣшался въ дѣло, обличивъ Курагина въ томъ, что онъ женатъ давно и подло обманываетъ Наташу. Она зачухла отъ стыда, и только въ религіозномъ экстазѣ нашла себѣ исцѣленіе ея пораненная душа.

Пьеръ Безуховъ былъ давнимъ другомъ Наташи. Горе и раскаяніе сдѣлали ее еще привлекательнѣе въ его глазахъ. Онъ даже чувствовалъ скоро небезопасными для себя посѣщенія дома Ростовыхъ. Теперь вѣчно мучившій его вопросъ о тщетѣ и безумности всего земного замѣнился для него представленіемъ ея. „Слышалъ ли онъ, или самъ велъ ничтожные разговоры, читалъ ли онъ, или узнавалъ про подлость и бессмысленность людскую, онъ не ужасался, какъ прежде, не спрашивалъ себя, изъ чего хлопочутъ люди, когда все такъ кратко и неизвѣстно, но вспоминалъ ее въ томъ видѣ, въ которомъ онъ видѣлъ ее въ послѣдній разъ, и всѣ сомнѣнія его исчезли, не потому что она отвѣчала на вопросы,



которые представлялись ему, но потому, что представление о ней перенесло его мгновенно въ другую, свѣтлую область душевной дѣятельности, въ которой не могло быть праваго или виноватаго, въ область красоты и любви, для которой стоило жить“. Отъ посѣщенія Ростовыхъ, кромѣ того, отвлекло Пьера Безухова и другое важное обстоятельство. Въ звѣриномъ числѣ Апокалипсиса онъ прочелъ имя Наполеона и „L’Russe Besuhof“, и съ той минуты сталъ считать своимъ призваніемъ положить конецъ существованію антихриста. Онъ сталъ слѣдить съ величайшимъ интересомъ за событіями дня. Всеобщее одушевленіе, готовность жертвовать имуществомъ и жизнью охватило тогда всѣхъ русскихъ людей въ отпоръ французамъ. Пьеръ побывалъ въ русскомъ лагерѣ, и все, что увидалъ онъ тамъ, произвело на него глубокое впечатлѣніе. Религіозный жаръ, проявленный одинаково крестьянами, солдатами и офицерами, разогрѣлъ въ Пьерѣ желаніе, уже и раньше начинавшее волновать его, — желаніе принять участіе въ великой борьбѣ за родину, исполнить задачу, для которой Провидѣніе назначило его, связавъ его имя съ мистическимъ числомъ 666, съ антихристомъ, т.-е. Наполеономъ. И еще неотвратимѣе подчинился онъ этой маніи, попавъ въ центральный редутъ въ страшный день Бородинскаго сраженія.

Межъ тѣмъ, въ другой части театра военныхъ дѣйствій, полкъ князя Андрея стоялъ подъ непріятельскимъ огнемъ. Болконскій наканунѣ провелъ ночь въ думахъ о Наташѣ, пытаясь понять ее, и объ Анатоліи Курагинѣ, котораго онъ искалъ съ тѣхъ поръ, какъ до него дошли слухи о подлости его. На слѣдующій день князь Андрей получилъ смертельную рану. Его перенесли въ госпиталь, и по роковой случайности онъ очутился рядомъ съ своимъ соперникомъ, которому только что отняли ногу. Въ больномъ онъ узнаетъ Анатолія Курагина. Близость смерти, несчастіе ближняго озарили умъ скептика новымъ свѣтомъ. Тутъ только онъ понялъ высокій и глубокій смыслъ жизни: „Состраданіе, любовь къ братьямъ, къ любящимъ, любовь къ ненавидящимъ насъ, любовь къ врагамъ, да, та любовь, которую проповѣдывалъ Богъ на землѣ, которой меня учила княжна Марья и которой я не понималъ, вотъ отчего мнѣ жалко было жизни, вотъ оно то, что еще оставалось мнѣ, ежели бы я былъ живъ. Но теперь уже

поздно. Я знаю это!~ Въ этомъ отношеніи князя Андрея уже слышится голосъ нашего писателя, указывающій изстрадавшимся душамъ на сферу религіи, какъ на единственную точку опоры для мысли, пораженной измѣнчивостью всѣхъ человѣческихъ благъ. Этотъ взглядъ Толстого прекрасно разъясненъ Страховымъ въ его статьяхъ о „Войнѣ и мирѣ“. Критикъ сопоставляетъ съ такимъ открытіемъ князя Андрея обращеніе къ религіи княжны Марьи, Пьера послѣ измѣны жены, Наташи послѣ обмана Курагина. „Душа, отрекающаяся отъ міра“, замѣчаетъ Страховъ, „становится выше міра и обнаруживаетъ новую красоту — всепрощеніе и любовь“.

Самъ Толстой еще яснѣе говоритъ о томъ же въ своихъ признаніяхъ: „Вѣра есть сила жизни. Если человѣкъ живетъ, то онъ во что-нибудь да вѣритъ. Если бъ онъ не вѣрилъ, что для чего-нибудь надо жить, то онъ бы не жилъ. Если онъ не видитъ и не понимаетъ призрачности, конечности, онъ вѣритъ въ это конечное; если онъ понимаетъ призрачность конечнаго, онъ долженъ вѣрить въ безконечное. Безъ вѣры нельзя жить“.

Князь Андрей, смертельно раненый, также пересталъ ощущать свои прежнія тревоги и мученія душевныя; недовольства жизнью и боязни смерти какъ бы не существовало. Онъ умеръ на рукахъ Наташи и княжны Марьи. Судьба Пьера была иная.

По прибытіи французовъ въ Москву начались пожары. Пьеръ во время одного изъ такихъ пожаровъ спасъ ребенка, возбуждѣвъ подозрѣніе и былъ забранъ въ тюрьму. Оттуда онъ, вмѣстѣ съ другими плѣнными, сопровождалъ французскую армію. Подвергаясь лишеніямъ всякаго рода, перенося стужу и голодъ, онъ не только остается живъ, но едва ощущаетъ всѣ подобныя тягости, отъ которыхъ умираютъ его товарищи. И это объясняется нашимъ писателемъ. Пьеръ испыталъ тамъ впервые успокоеніе души, онъ впервые ощутилъ довольство собою, какого искалъ давно. При видѣ сожженныхъ и разоренныхъ селеній, при видѣ страданій людей кругомъ, его личные тревоги исчезали совсѣмъ. Вѣра его въ апокалипсическое число, намѣреніе его убить Наполеона, прежняя ненависть къ безсердечной женѣ — все это казалось какимъ-то давнишнимъ сновидѣніемъ. Живые взгляды на жизнь и счастье, какіе высказывалъ онъ раньше, когда



жить въ роскоши, замѣнились болѣе вѣрными понятіями о цѣляхъ и предѣлахъ человѣческаго существованія.

Словомъ, съ Пьеромъ случилось совершенно то же, что и съ самимъ авторомъ „Войны и мира“. „Спасло меня, — говоритъ онъ, — только то, что я успѣлъ вырваться изъ своей исключительности и увидеть жизнь настоящую простого рабочаго народа и понять, что это только есть настоящая жизнь. Я понялъ, что, если хочу понять жизнь и смыслъ ея, мнѣ надо жить не жизнью паразита, а настоящей жизнью и, принявъ тотъ смыслъ, который придаетъ ей настоящее человѣчество, слившись съ этою жизнью, провѣрить его“.

Наши гусары отбили плѣнныхъ у французскаго коновоя, сопровождавшаго Пьера и его товарищей. Когда Москва начала оправляться отъ бѣдствій, Пьеръ вернулся туда и нашелъ тамъ княжну Марью съ Наташей Ростовой. Онъ уже былъ вдовцомъ. Жена его умерла. Опытъ жизни измѣнилъ его. Даже наружность стала не та. Остались только благородныя черты его характера несглаженными. Онъ какъ будто вышелъ изъ нравственной бани, по словамъ Наташи, которая сдѣлалась его женой.

Въ эпилогѣ „Войны и мира“ описывается тихая, гармоничная и счастливая жизнь Наташи съ Пьеромъ и Николая Ростова съ княжной Марьей. Кромѣ Николая Ростова, не знавшаго разлады съ самимъ собою, всѣ они вышли обновленными изъ личныхъ невзгодъ и несчастій. Послѣ различныхъ превратностей, послѣ всякихъ отрицательныхъ сомнѣній въ смыслъ жизни, они достигли твердой и положительной цѣли въ семьѣ, гдѣ нѣтъ мѣста терзающимъ душу отчаяніямъ, гдѣ всѣ свѣтлыя стороны человѣческаго сердца находятъ себѣ плодотворное примѣненіе. Это и есть та область красоты и любви, въ которой, по словамъ Толстого, нѣтъ ни праваго ни виноватаго. Пьеръ Безухій, прежде искавшій спасенія отъ хандры и отвращенія къ жизни въ кутежахъ и опьяняющихъ развлеченіяхъ, въ европейскихъ доктринахъ и въ масонствѣ, послѣ несчастій, перенесенныхъ вмѣстѣ съ народомъ, понялъ истинное значеніе трудовой жизни и научился цѣнить ея радости въ любящей и любимой семьѣ.

*Цабель.*

## Смыслъ произведенія Толстого „Война и миръ“.

Всего яснѣе, намъ кажется, смыслъ „Войны и мира“ выражается въ тѣхъ словахъ, автора, которыя мы поставили эпиграфомъ: „Нѣтъ величія“, говорятъ онъ, „тамъ, гдѣ нѣтъ простоты, добра и правды“.

Задача художника состояла въ томъ, чтобы изобразить истинное величіе, какъ онъ его понимаетъ, и противопоставить его ложному величію, которое онъ отвергаетъ. Эта задача выразилась не только въ противопоставленіи Кутузова и Наполеона, но и во всѣхъ малѣйшихъ подробностяхъ борьбы, вынесенной цѣлою Россіею, въ образѣ чувствъ и мыслей каждаго солдата, во всемъ нравственномъ мірѣ русскихъ людей, во всемъ ихъ бытѣ, во всѣхъ явленіяхъ ихъ жизни, въ ихъ манерѣ любить, страдать, умирать. Художникъ изобразилъ со всею ясностью, въ чемъ русскіе люди полагаютъ человѣческое достоинство, въ чемъ тотъ идеаль величія, который присутствуетъ даже въ слабыхъ душахъ, и не оставляетъ сильныхъ даже въ минуты ихъ заблужденій и всякихъ нравственныхъ паденій. Идеаль этотъ состоитъ, по формулѣ, данной самимъ авторомъ, въ простотѣ, добрѣ и правдѣ. Простота, добро и правда побѣдили въ 1812 году силу, не соблюдавшую простоты, исполненную зла и фальши. Вотъ смыслъ „Войны и мира“.

Другими словами, художникъ далъ намъ новую, русскую формулу героической жизни, ту формулу, подъ которую подходитъ Кутузовъ и подъ которую никакъ не можетъ подойти Наполеонъ. О Кутузовѣ авторъ прямо говоритъ: „Простая, скромная и потому истинно величественная фигура эта не могла улесться въ ту лживую форму европейскаго героя, мнимо управляющаго людьми, которую придумала исторія“ (т. VI, стран. 88). Но то же самое слѣдуетъ разумѣть обо всѣхъ русскихъ людяхъ, обо всѣхъ фигурахъ, выведенныхъ въ „Войнѣ и мирѣ“. Ихъ чувства, мысли и желанія, насколько въ нихъ есть героическаго, насколько въ нихъ проявляется стремленіе къ героическому и пониманіе героическаго, не укладываются въ тѣ чужія и лживыя формы, которыя созданы Европою. Весь русскій душевный строй *проще, скромнѣе*, представляетъ ту гармонію, то равновѣсіе силъ, которыя одни согласны



съ истиннымъ величіемъ и нарушеніе которыхъ мы ясно чувствуемъ въ величіи другихъ народовъ. Обыкновенно насъ плѣняютъ и долго еще будутъ плѣнять блескъ и мощь тѣхъ формъ жизни, которыя создаются силами, не соблюдающими гармоніи, вышедшими изъ взаимнаго равновѣсія. Этихъ яркихъ формъ всякаго рода страстей, всякаго рода душевныхъ напряженій, разрастающихся до ослѣпляющаго величія, — много создала Европа, много создалъ древній міръ. Мы, младшій изъ великихъ народовъ, невольно увлекаемся этими формами чуждой жизни; но въ глубинѣ души у насъ хранится другой, своеобразный идеалъ, въ сравненіи съ которымъ часто меркнутъ и являются безобразіемъ — воплощенія въ дѣйствительности и въ искусствѣ идеаловъ, несогласныхъ съ нашимъ душевнымъ строемъ.

Чисто-русскій героизмъ, чисто-русское героическое во всевозможныхъ сферахъ жизни — вотъ что далъ намъ гр. Л. Н. Толстой, вотъ главный предметъ „Войны и мира“. Если мы оглянемся на нашу прошлую литературу, то намъ будетъ яснѣе, какую огромную заслугу оказалъ намъ художникъ, и въ чемъ состоитъ эта заслуга. Основатель нашей самобытной литературы, Пушкинъ, одинъ только въ своей великой душѣ носилъ сочувствіе всѣмъ родамъ и видамъ величія, всѣмъ формамъ героизма, почему и могъ онъ постигнуть и русскій идеалъ, почему и могъ стать основателемъ русской литературы. Но въ его дивной поэзіи этотъ идеалъ проступалъ только чертами, только указаніями, безошибочными и ясными, но неполными и неразвитыми.

Явился Гоголь, и не совладалъ съ безмѣрною задачею. Раздался плачъ по идеалѣ, полились „сквозь видимый міру смѣхъ незримыя слезы“, свидѣтельствовавшія, что художникъ не хочетъ отказаться отъ идеала, но и не можетъ достигнуть его воплощенія. Гоголь сталъ отрицать эту жизнь, которая такъ упорно не выдавала ему своихъ положительныхъ сторонъ. „Нѣтъ у насъ героическаго въ жизни; мы всѣ или Хлестаковы, или Поприцины“ — вотъ заключеніе, къ которому пришелъ несчастный идеалистъ.

Задача всей литературы послѣ Гоголя состояла только въ томъ, чтобы отыскать русскій героизмъ, сгладить то отрицательное отношеніе, въ которое сталъ къ жизни Гоголь, уразумѣть русскую дѣйствительность болѣе правильнымъ,

болѣе широкимъ образомъ, чтобы не могъ отъ насъ укрыться тотъ идеаль, безъ котораго народъ такъ же не могъ бы существовать, какъ тѣло безъ души. Для этого требовалась тяжкая и долгая работа, и ее-то сознательно и бессознательно несли и совершали всѣ наши художники.

Но первый разрѣшилъ задачу гр. Л. Н. Толстой. Онъ первый одолѣлъ всѣ трудности, выносилъ и побѣдилъ въ своей душѣ процессъ отрицанія и, освободившись отъ него, сталъ творить образы, воплощающіе въ себѣ положительныя стороны русской жизни. Онъ первый показалъ намъ въ неслыханной красотѣ то, что ясно видѣла и понимала только безупречно-гармоническая, всему великому доступная душа Пушкина. Въ „Войнѣ и мирѣ“ мы опять нашли свое героическое, и теперь его уже никто отъ насъ не отниметъ.

Попробуемъ частичнѣе и опредѣленнѣе указать, что сдѣлано гр. Л. Н. Толстымъ. Не вся задача рѣшена, не вся широкая область русской души исчерпана гр. Л. Н. Толстымъ, но та половина задачи, которая въ настоящую минуту была всего настоятельнѣе и важнѣе, получила въ „Войнѣ и мирѣ“ рѣшеніе, по своей силѣ и ясности не уступающее никакому другому созданію поэзіи, принадлежащее къ высшимъ ея проявленіямъ, какія только существуютъ и будутъ существовать.

Не весь русскій идеаль воплотился у гр. Л. Н. Толстого, но съ неотразимою силою и прелестью у него раздался „голосъ за простое и доброе, поднявшійся въ душахъ нашихъ противъ ложнаго и хищнаго“. Этотъ голосъ въ первый разъ слышался у Пушкина, а смыслъ его въ первый разъ понять и засвидѣтельствованъ Ап. Григорьевымъ, употребившимъ и приведенное нами въ кавычкахъ выраженіе. Замѣчательно то буквальное сходство, которое оказывается въ формулѣ Григорьева и въ опредѣленіи гр. Л. Н. Толстымъ истиннаго величія. Это величіе должно совмѣщать *простоту, добро и правду*, т.-е. быть чуждо всего *ложнаго*.

*Голосъ за простое и доброе противъ ложнаго и хищнаго* — вотъ существенный, главнѣйшій смыслъ „Войны и мира“. Это тотъ прекрасный и своеобразный элементъ нашей литературы, который былъ открытъ въ ней и прослѣженъ съ великою чуткостью Ап. Григорьевымъ. Но критикъ, столь вѣрно понимавшій глубочайшія струны нашей поэзіи, едва ли предвидѣлъ и ожидалъ, что этотъ голосъ послѣ его смерти раз-



дастся несравненно сильнѣе, чѣмъ онъ когда-либо его слышалъ, что могучій звукъ этого прекраснаго голоса нѣкогда покроетъ весь гамъ нашей литературы и примкнетъ по своей несравненной чистотѣ и силѣ къ дивнымъ звукамъ Пушкинской поэзіи.

Особенный смыслъ этого голоса — вотъ что намъ слѣдуетъ опредѣлить. Если мы для этого прослѣдимъ всѣ лица и событія „Войны и мира“, то мы ясно увидимъ, что симпатіи автора имѣютъ нѣкоторую односторонность, выкупаемую тѣмъ большею проникательностью и глубиною относительно той стороны, въ которую обращены эти симпатіи. Существуетъ на свѣтѣ какъ будто два рода героизма: одинъ — дѣятельный, тревожный, порывающійся, другой — страдательный, спокойный, терпѣливый. Ап. Григорьевъ замѣтилъ въ нашей литературѣ появленіе лицъ, представляющихъ въ своей натурѣ это различіе, и называлъ ихъ двумя различными типами: *хищнымъ* и *смирнымъ*. Гр. Л. Н. Толстой, очевидно, съ величайшимъ сочувствіемъ относится къ страдательному или смирному героизму и, очевидно же, мало питаетъ сочувствія къ героизму дѣятельному и хищному. Въ пятомъ и шестомъ томѣ эта разница въ симпатіи выступила еще рѣзче, чѣмъ въ первыхъ томахъ. Къ категоріи дѣятельнаго героизма относятся не только французы вообще и Наполеонъ въ особенности, но и множество русскихъ лицъ, напр. Растопчинъ, Ермоловъ, Милорадовичъ, Долоховъ и пр. Къ категоріи смирнаго героизма принадлежитъ прежде всего самъ Кутузовъ, величайшій образецъ этого типа, Тушинъ, Тимохинъ, Дохтуровъ, Коновницынъ, и пр., и пр.; вообще — вся масса нашихъ военныхъ и вся масса русскаго народа. Весь рассказъ „Войны и мира“ какъ будто имѣетъ цѣлью доказать превосходство смирнаго героизма надъ героизмомъ дѣятельнымъ, который повсюду оказывается не только побѣжденнымъ, но и смѣшнымъ, не только безсильнымъ, но и вреднымъ. Самая ясная и живая фигура, въ которой гр. Л. Н. Толстой съ удивительной силою очертилъ типъ людей, думающихъ быть дѣятельными героями, есть Растопчинъ. Мы слышали, что это лицо угадано авторомъ совершенно вѣрно, что самыя подробныя и многолѣтнія историческія изысканія только подтверждаютъ поэтическую проникательность гр. Л. Н. Толстого<sup>1)</sup>.

---

<sup>1)</sup> Такъ отзывался покойный Александръ Николаевичъ Поповъ.

Передъ величіемъ совершающихся событій, люди, подобные Растопчину, являются ничтожными и жалкими, не потому, чтобы это были личности очень слабыя сами по себѣ, а потому, что они порываются вмѣшаться въ ходъ событій, неизмѣримо превышающихъ собою размѣры ихъ силъ. Въ этомъ преувеличеніи своего значенія, въ этомъ нелѣпомъ и дерзкомъ самообольщеніи, у автора оказываются виновными не только отдѣльныя лица, но цѣлые народы, напримѣръ французы, приведшіе на насъ Европу, и цѣлыя сферы въ самой Россіи, напримѣръ придворная сфера, сфера военныхъ штабовъ и т. д. Авторъ показываетъ, какъ повсюду — увѣренность въ своей силѣ, признаніе за своею личностью способности измѣнять и направлять событія ведетъ только къ ошибкамъ и неизбежно соединяется съ игрою самыхъ дурныхъ страстей, самолюбія, тщеславія, зависти, ненависти и пр.

Такимъ образомъ, по смыслу всего разсказа, у хищнаго типа отнято всякое поприще дѣйствія. Между тѣмъ, вообще говоря, невозможно отрицать, чтобы люди рѣшительные, смѣлые не имѣли никакой важности въ ходѣ дѣла, чтобы русскій народъ не порождалъ людей, дающихъ просторъ своимъ личнымъ взглядамъ и силамъ. Совершенно справедливо, что при такомъ развитіи личности, она, большею частию, отличается весьма непривлекательными чертами; но несомнѣнно также, что въ этихъ людяхъ проявляются и прекрасныя свойства русской душевной силы.

Итакъ, есть сторона русскаго характера, которая не вполне схвачена и изображена авторомъ. Нужно ждать еще художника, который бы сумѣлъ такъ отнестись къ этой сторонѣ, какъ, напримѣръ, Пушкинъ относился къ Петру I:

Ужасенъ онъ въ окрестной мглѣ!  
Какая дума на челѣ,  
Какая сила въ немъ сокрыта!  
А въ семъ конѣ какой огонь!  
Куда ты скачешь, гордый конь,  
И гдѣ опустишь ты копыта?  
*О, могучій властелинъ судьбы!*  
Не такъ ли ты надъ самой бездной,  
На высотѣ, уздой желѣзной  
Россію вздернулъ на дыбы?

(Мѣдный всадникъ.)



Но пока нѣтъ у насъ чистыхъ и ясныхъ образовъ дѣятельнаго героизма, пока этотъ героизмъ не нашелъ себѣ своего поэта-выразителя, мы должны смиренно преклониться передъ поэтомъ, прославившимъ и воплотившимъ передъ нами героизмъ смиренія. Мы только можемъ гадать и смутно прозрѣвать черты иного величія, также свойственнаго русской натурѣ, а то величіе, которое изображено гр. Л. Н. Толстымъ, мы уже видимъ воочию, въ ясномъ воплощеніи.

II въ существенномъ пунктѣ мы не можемъ не согласиться съ поэтомъ, т.-е. мы вполне признаемъ превосходство смирнаго героизма надъ героизмомъ дѣятельнымъ. Гр. Л. Н. Толстой изобразилъ намъ если не самыя сильныя, то, во всякомъ случаѣ, самыя лучшія стороны русскаго характера, тѣ его стороны, которымъ принадлежить и должно принадлежать верховное значеніе. Какъ нельзя отрицать, что Россія побѣдила Наполеона не дѣятельнымъ, а смиреннымъ героизмомъ, такъ вообще нельзя отрицать, что *простота, добро и правда* составляютъ высшій идеалъ русскаго народа, которому долженъ подчиняться идеалъ сильныхъ страстей и исключительно сильныхъ личностей. Мы сильны *всѣмъ народомъ*, сильны тою силою, которая живетъ въ самыхъ простыхъ и смиренныхъ личностяхъ, — вотъ что хотѣлъ сказать гр. Л. Н. Толстой, и онъ совершенно правъ. Прибавимъ, что мы должны бы были преклониться передъ лучшими чертами нашего народнаго идеала и въ томъ случаѣ, если бы намъ не было доказано, что простота, добро и правда могутъ побѣдить всякую ложную, злую и неправую силу. Если вопросъ идетъ о силѣ, то онъ рѣшается тѣмъ, на какой сторонѣ побѣда; но простота, добро и правда намъ милы и дороги сами по себѣ, все равно, побѣдятъ они, или нѣтъ.

Всѣ сцены частной жизни и частныхъ отношеній, введенныя гр. Л. Н. Толстымъ, имѣютъ одну и ту же цѣль, — показать, какъ страдаетъ и радуется, любитъ и умираетъ, ведетъ свою семейную и личную жизнь тотъ народъ, высшій идеалъ котораго заключается въ простотѣ, добрѣ и правдѣ. Разница, столь ясно изображенная, между Кутузовымъ и Наполеономъ, та же самая разница существуетъ между Пьеромъ и капитаномъ Рамбалемъ, толкующими о своихъ любовныхъ приключеніяхъ, между Бурьенкой и княжной Марьей и т. д. Тотъ же народный духъ, который проявился въ Бородинской

битвѣ, проявляется и въ предсмертныхъ думахъ князя Андрея, и въ душевномъ процессѣ Пьера, и въ разговорахъ Наташи съ матерью, и въ складѣ вновь образовавшихся семействъ. — словомъ, во всѣхъ душевныхъ движеніяхъ частныхъ лицъ „Войны и мира“.

Вездѣ и повсюду или господствуетъ духъ простоты, добра и правды, или является борьба этого духа съ уклоненіями людей на иные пути, и рано или поздно — его побѣда. Въ первый разъ мы увидѣли несравненную прелесть чисторусскаго идеала, смпреннаго, простого, безконечно-нѣжнаго и въ то же время незыблемо-твердаго и самоотверженнаго. Огромная картина гр. Л. Н. Толстого есть достойное изображеніе русскаго народа. Это дѣйствительно неслыханное явленіе, — эпопея въ современныхъ формахъ искусства.

*Страховъ.*

---

## „Война и миръ“, какъ художественное цѣлое.

„Нѣтъ величія тамъ, гдѣ нѣтъ простоты, добра и правды“.  
*Война и миръ*, т. VI, стран. 62.

Наконецъ, великое произведеніе кончено. Наконецъ, оно передъ нами, оно навсегда наше, и исчезли всякія наши волненія. Въ то время какъ гр. Л. Н. Толстой какъ будто замедлилъ окончаніемъ своего труда, мы невольно мучились страхомъ и надеждой. Художникъ, какъ мы видимъ теперь, спокойно и увѣренно продолжалъ свою работу; твердою рукою онъ доканчивалъ ея послѣднія части; но мы, простые смертные, съ невольнымъ замираніемъ сердца ждали совершенія таинственнаго дѣла. Мы дивились до изумленія, какъ могла творческая сила, не ослабѣвая ни на минуту, дѣйствовать въ такихъ громадныхъ размѣрахъ, и, еще, не сумѣвъ понять всего величія открывшихся передъ нами силъ, не успѣвъ привыкнуть къ этому величію, малодушно страшились за окончаніе великаго и безцѣннаго дѣла. Самыя нелѣпыя опасенія приходили намъ въ голову.

Но, наконецъ, картина готова, и вся передъ нами. Красота ея открывается съ новою, съ поразительною силою. Только теперь всѣ подробности заняли свое надлежащее



мѣсто, ясно обозначился центръ, ясно выступилъ колоритъ отдѣльныхъ частей, и, обнимая картину однимъ взглядомъ, мы можемъ отчетливо видѣть ея общее освѣщеніе, связь всѣхъ ея фигуръ и неотразимую мысль, которая составляетъ душу всего произведенія, которая даетъ ему полное единство, полную жизнь. Всмотритесь, вчитайтесь, попробуйте обозрѣть весь рассказъ какъ одно цѣлое, — впечатлѣніе будетъ усиливаться и возрастать по мѣрѣ вашего вниманія и изученія.

Какая громада и какая стройность! Ничего подобнаго не представляетъ намъ ни одна литература. Тысячи лицъ, тысячи сценъ, всевозможныя сферы государственной и частной жизни, исторія, война, всѣ ужасы, какіе есть на землѣ, всѣ страсти, всѣ моменты человѣческой жизни, отъ крика новорожденнаго ребенка до послѣдней вспышки чувства умирающаго старика, всѣ радости и горести, доступныя человѣку, всевозможныя душевныя настроенія, отъ ощущеній вора, укравшаго червонцы у своего товарища, до высочайшихъ движеній героизма и думъ внутренняго просвѣтленія — все есть въ этой картинѣ. А между тѣмъ, ни одна фигура не заслоняетъ другой, ни одна сцена, ни одно впечатлѣніе не мѣшаютъ другимъ сценамъ и впечатлѣніямъ, все на мѣстѣ, все ясно, все раздѣльно и все гармонируетъ между собою и съ цѣлымъ. Подобнаго чуда въ искусствѣ, притомъ чуда, достигнутаго самыми простыми средствами, еще не бывало на свѣтѣ. Эта простая и въ то же время невообразимо искусная группировка не есть дѣло внѣшнихъ соображеній и прилаживаній; она могла быть только плодомъ гениальнаго прозрѣнія, которое однимъ взглядомъ, простымъ и яснымъ, объемлетъ и проникаетъ все многообразное теченіе жизни.

Ревниво всматриваемъ мы наше сокровище, это неожиданное богатство нашей литературы, честь и украшеніе ея современнаго періода: нѣтъ ли гдѣ недостатковъ! Нѣтъ ли пропусковъ, противорѣчій? Нѣтъ ли какихъ-нибудь важныхъ несовершенствъ, за которыя мы, конечно, съ избыткомъ были бы вознаграждены сильными сторонами „Войны и мира“, но которыя намъ все-таки больно было бы видѣть въ этомъ произведеніи? Нѣтъ, нѣтъ ничего, что могло бы помѣшать полной радости, что смущало бы нашъ восторгъ. Всѣ лица

выдержаны, всё стороны дѣла схвачены, и художникъ до послѣдней сцены не отступилъ отъ своего безмѣрно-широкаго плана, не опустилъ ни одного существеннаго момента, и довелъ свой трудъ до конца безъ всякаго признака измѣненія въ тонѣ, взглядѣ, въ пріемахъ и силѣ творчества. Дѣло поистинѣ пзумительное! Для ясности попробуемъ сдѣлать коротенькій очеркъ двухъ послѣднихъ томовъ.

Пятый томъ содержитъ занятіе Москвы французами и все время ихъ пребыванія въ ней. Шестой — бѣгство французовъ и эпилогъ — развязку всѣхъ событій, государственныхъ и частныхъ. Надъ пятымъ томомъ царить ужасъ, а надъ шестымъ, несмотря на всё его мрачныя картины, уже носится вѣяніе мира, уже ясно, что все стихаетъ, борьба кончена, и скоро наступитъ обыкновенное теченіе жизни. Пятый томъ, начинающійся совѣтомъ въ Филяхъ, на которомъ рѣшено было отдать Москву, и оканчивающійся сценою, когда Кутузовъ получаетъ извѣстіе о выступленіи французовъ изъ столицы, поразителенъ изображеніемъ того страшнаго удара, который былъ нанесенъ русскимъ душамъ потерей Москвы. Люди потерялись, ошалѣли, обезумѣли отъ жестокаго потрясенія. Растопчинъ, Шеръ, поспѣшители питейнаго дома на Варваркѣ — всё потеряли голову, всё чувствовали и дѣйствовали подъ давленіемъ неописаннаго ужаса. Самъ Кутузовъ, до конца вѣрившій и ни разу не колебавшійся, задумался, какъ никогда онъ не задумывался. Главное лицо пятаго тома, Пьеръ, на которомъ всего яснѣе отражается нравственный процессъ, совершавшійся въ русскихъ душахъ, своими похождениями всего лучше пзображаетъ чувства, овладѣвшія тогда всѣми. Его бѣгство изъ своего дворца, переодѣваніе, попытка убить Наполеона, и прочее — все свидѣтельствуетъ о глубокомъ душевномъ потрясеніи, о страстномъ желаніи такъ или иначе раздѣлить бѣдствія своей родины, страдать тогда, когда всё страдаютъ. Онъ, наконецъ, добивается своего, и въ плѣну — успокоивается. Въ плѣну онъ сливается съ массою простонародныхъ лицъ и въ этой массѣ встрѣчаетъ человѣка, который всего яснѣе, всего глубже показываетъ ему силу и красоту русскаго народа, — Платона Каратаева. Убѣжавши съ Бородинскаго поля, Безухій размышлялъ такъ: „Какъ ужасенъ страхъ, и какъ позорно я отдался ему! А они... они все



время до конца были тверды, спокойны... Они въ понятіи Пьера были солдаты, тѣ, которые были на батарее, и тѣ, которые его кормили, и тѣ, которые молились на икону. Они — эти странные, невѣдомые ему досель, они ясно и резко отдѣлялись въ его мысли отъ другихъ людей (стран. 35, т. V). Затѣмъ во снѣ ему видится масонъ-благодѣтель, говорящій о добрѣ, о возможности быть тѣмъ, чѣмъ были они. „И они со всѣхъ сторонъ, съ своими простыми, добрыми лицами, окружали благодѣтеля“. Такъ образъ народа съ неизгладимою силою отпечатлѣлся въ душѣ Пьера на Бородинскомъ полѣ. Но это впечатлѣніе еще разъ, съ большею силою, въ болѣе конкретныхъ формахъ, повторилось для Пьера тогда, когда онъ всего способнѣе былъ его принять, въ плѣну, среди величайшихъ страданій. „Платонъ Каратаевъ“, говоритъ авторъ, „остался навсегда въ душѣ Пьера самымъ сильнымъ и дорогимъ воспоминаніемъ и олицетвореніемъ всего русскаго, добраго и круглаго“ (тамъ же, стран. 233). Въ лицѣ Каратаева Пьеръ видѣлъ то, какъ русскій народъ мыслить и чувствуетъ при самыхъ крайнихъ бѣдствіяхъ, какъ великая вѣра живетъ въ его простыхъ сердцахъ. Душевная красота Каратаева поразительна, выше всякой похвалы. Вспомнимъ, какъ долго наша литература занималась простымъ народомъ, сколько попытокъ было сдѣлано, чтобы уловить его духъ и силу, сколько подобныхъ попытокъ есть у самого гр. Л. Н. Толстого. Вся эта литература, всѣ эти попытки превзойдены и навсегда заслонены несравненною фигурою Каратаева, показывающею, какъ глубоко овладѣлъ художникъ труднѣйшими задачами, волновавшими цѣлый литературный періодъ, и его самого вмѣстѣ съ другими.

Итакъ, внутренній смыслъ пятаго тома сосредоточенъ на Пьерѣ и Каратаевѣ, какъ на лицахъ, которыя, страдая вмѣстѣ со всѣми, но оставаясь безъ дѣйствія, имѣли возможность подумать и выносить въ душѣ впечатлѣніе великаго общаго бѣдствія. Для Пьера глубокій душевный процессъ окончился нравственнымъ обновленіемъ; Наташа говоритъ, что Пьеръ морально очистился, что плѣнъ былъ для него нравственною банею (т. VI, стр. 136). Каратаеву нечему было учиться; онъ словомъ и дѣломъ училъ другихъ, и умеръ, завѣщавъ свой духъ Пьеру.

Рядомъ съ этими событіями внутренней духовной жизни стоятъ въ пятомъ томѣ всякаго рода внѣшнія событія. Отъѣздъ Ростовыхъ, хлопоты и порыванія Растопчина, убійство Верещагина, капитанъ Рамбаль со своими разсказами, Мишо, доносящій царю о взятіи Москвы, разстрѣливаніе русскихъ поджигателей и т. д. Всѣ эти сцены съ изумительной живостью рисуютъ намъ ходъ всего дѣла въ эту тяжелую эпоху, тогдашнюю жизнь Москвы, Россіи, отъ царя до послѣдняго солдата.

Но творчество нашего художника достигаетъ своей высшей силы тамъ, гдѣ оно касается вѣчныхъ, непреходящихъ интересовъ души человѣческой. Участіе князя Андрея въ общихъ дѣлахъ кончилось на Бородинскомъ полѣ, гдѣ онъ былъ смертельно раненъ. Ему предстояли теперь уже одни частныя его дѣла — свиданіе съ Наташею и смерть. Изображеніе этого свиданія и внутренняго просвѣтленія, испытаннаго княземъ Андреемъ передъ смертью, есть верхъ художественнаго совершенства, дѣйствительное откровеніе тайнъ человѣческаго сердца, потрясающее насъ своею неизмѣримою глубиною. Другой разсказъ не менѣе поразителенъ. Въ пятомъ же томѣ разсказывается, какъ среди всеобщихъ бѣдствій завязалась любовь между княжною Марьею и Николаемъ Ростовымъ. Чистота и нѣжность этихъ отношеній невыразимы, безконечны. Невольно изумляешься тому, какъ просты и вмѣстѣ какъ чисты оба эти существа, какой ясный свѣтъ можетъ горѣть въ самыхъ обыкновенныхъ людяхъ. Итакъ, князь Андрей умираетъ, Николай Ростовъ влюбляется въ свою будущую жену, Пьеръ страдаетъ — вся гамма человѣческой жизни еще разъ взята художникомъ въ пятомъ томѣ.

Шестой томъ — развязка, — конецъ страшныхъ событій и начало новой жизни. Характеръ отступленія французской арміи и образъ дѣйствій нашихъ войскъ показанъ съ такою же ясностью и вѣрностью, какъ и смыслъ Бородинской битвы и значеніе гибели Москвы для насъ и для французовъ. Событія идутъ быстро, но не опущено ничего требуемаго полнотою картины. Обрисована партизанская война, положеніе бѣгущихъ французовъ, жестокость однихъ русскихъ, благодушіе другихъ, „чувство величественнаго торжества въ соединеніи съ жалостью къ врагамъ и сознаніемъ своей



правоты", какъ говоритъ авторъ (т. VI, стран. 91). Наконецъ, Кутузовъ, подобно тому какъ въ пятомъ томѣ, является въ началѣ, „когда уже стало ясно, что непріятель вездѣ бѣжитъ“ (стран. 88), и въ концѣ, когда онъ въ Вильнѣ выслушиваетъ выговоръ государя (стран. 107).

Мы видимъ при этомъ, какъ погибали юноши (смерть Пети Ростова), какъ невѣсты горевали о женихахъ и сестры о братьяхъ (Наташа и княжна Марья о князѣ Андреѣ), какъ матери убивались о дѣтяхъ (графиня Ростова о Петѣ). Когда же кончилась война, наступаютъ свиданія въ Москвѣ тѣхъ лицъ, которыя были разлучены войною, начинаются рассказы и разспросы, завязываются новыя отношенія, и начинается новая жизнь.

Внутренній смыслъ хроники заканчивается послѣдними поученіями, преподаваемыми Пьеру его собственными страданіями и предсмертными рѣчами и смертью Каратаева. Живо и глубоко изображаетъ художникъ обновленіе Пьера. Въ этомъ обновленіи олицетворено обновленіе всей Россіи, то раскрытіе духовныхъ силъ, которое должно было послѣдовать за испытаніями и борьбою. Для Пьера, какъ и для Россіи, начался новый, лучшій періодъ. Очитившійся, укрѣпленный и просвѣтленный страданіемъ, Пьеръ заслуживаетъ любовь Наташи и испытываетъ все счастье, къ какому только способенъ.

Тутъ опять художникъ вступаетъ въ область неизмѣнныхъ, непреходящихъ интересовъ человѣческой жизни, и опять поднимается до высоты удивительной и несравненной. Онъ рисуетъ намъ двѣ семьи, — двѣ новыя семьи, сложившіяся подъ вліяніемъ всѣхъ рассказанныхъ имъ событій и составляющія какъ бы вѣнецъ дѣла, какъ бы плодъ на одной изъ безчисленныхъ вѣтокъ дерева, выдержавшаго благотворную бурю, — Россіи. Никогда еще не было на свѣтѣ подобнаго описанія супружеской жизни, потому что не было описанія русской семьи, т.-е. самой лучшей изъ всѣхъ семей на свѣтѣ. Любовь между мужемъ и женою въ полномъ расцвѣтѣ ихъ силъ, чистая, нѣжная, твердая, незыблемо глубокая, — въ первый разъ изображена намъ во всей ея высокой силѣ и безъ единой прикрасы.

Картина двухъ новыхъ семействъ удивительно гармонически заканчиваетъ всю хронику. Когда начинался рассказъ,

передъ нами открывались два семейства, уже давно сложившіяся, — семейство Болконскихъ, въ которомъ были взрослые сынъ и дочь, и семейство Ростовыхъ, въ которомъ Николай былъ еще только студентомъ, а Наташѣ было двѣнадцать лѣтъ. Черезъ пятнадцать лѣтъ (такой періодъ, обнимаемый хроникой), передъ нами являются двѣ молодые семьи съ маленькими дѣтьми. Съ геніальнымъ тактомъ художникъ началъ свою семейную хронику съ людей настолько взрослыхъ, что мы можемъ ими заинтересоваться, и кончилъ картинами, въ которыхъ даже грудныя дѣти намъ безконечно милы, такъ какъ принадлежатъ къ семействамъ, съ которыми мы сжились и сроднились во время разсказа.

Полная картина человѣческой жизни.

Полная картина тогдашней Россіи.

Полная картина того, что называется исторією и борьбой народовъ.

Полная картина всего, въ чемъ люди полагаютъ свое счастье и величіе, свое горе и униженіе.

Вотъ что такое „Война и миръ“.

*Страховъ.*

---

## Художественность, объективность, образность и правдивость, какъ отличительныя черты романа „Война и миръ“.

Въ 1868 году появилось одно изъ лучшихъ произведеній нашей литературы, „Война и миръ“. Успѣхъ его былъ необыкновенный. Давно уже ни одна книга не читалась съ такою жадностью. Притомъ, это былъ успѣхъ самаго высокаго разряда. „Войну и миръ“ внимательно читали не только простые любители чтенія, до сихъ поръ восхищающіеся Дюма и Февалемъ, но и самые взыскательные читатели, — всѣ, имѣющіе основательное или неосновательное притязаніе на ученость и образованность; читали даже тѣ, которые вообще презираютъ русскую литературу, и ничего не читаютъ по-русски. И такъ какъ кругъ нашихъ читателей съ каждымъ годомъ возрастаетъ, то вышло, что ни одно изъ нашихъ классическихъ произведеній, — изъ тѣхъ, которыя не только имѣютъ успѣхъ, но и заслуживаютъ успѣха, — не расходи-



лось такъ быстро и въ такомъ количествѣ экземпляровъ, какъ „Война и миръ“. Прибавимъ къ этому, что еще ни одно изъ замѣчательныхъ произведеній нашей литературы не имѣло такого большого объема, какъ новое произведеніе гр. Л. Н. Толстого.

Приступимъ же прямо къ анализу совершившагося факта. Успѣхъ „Войны и мира“ есть явленіе чрезвычайно простое и отчетливое, не заключающее въ себѣ никакой ложности и запутанности. Этому успѣху нельзя приписать никакимъ побочнымъ, постороннимъ для дѣла причинамъ. Гр. Л. Н. Толстой не старался увлечь читателей ни какими-нибудь запутанными и таинственными приключеніями, ни описаніемъ грязныхъ и ужасныхъ сценъ, ни изображеніемъ страшныхъ душевныхъ мукъ, ни, наконецъ, какими-нибудь дерзкими и новыми тенденціями,—словомъ, ни однимъ изъ тѣхъ средствъ, которыя дразнятъ мысль или воображеніе читателей, болѣзненно раздражаютъ любопытство картинами неизвѣданной и неиспытанной жизни. Ничего не можетъ быть проще множества событій, описанныхъ въ „Войнѣ и мирѣ“. Все случаи обыкновенной семейной жизни, разговоры между братомъ и сестрой, между матерью и дочерью, разлука и свиданіе родныхъ, охота, святки, мазурка, игра въ карты и пр.,— все это съ такою же любовью возведено въ перлъ созданія, какъ и Бородинская битва. Простые предметы занимаютъ въ „Войнѣ и мирѣ“ такъ же много мѣста, какъ, напримѣръ, въ „Евгеніи Онегинѣ“ безсмертныя описанія жизни Лариныхъ, зимы, весны, поѣздки въ Москву и т. п.

Правда, рядомъ съ этимъ гр. Л. Н. Толстой выводитъ на сцену великія событія и лица огромнаго историческаго значенія. Но никакъ нельзя сказать, чтобы именно этимъ былъ возбужденъ общій интересъ читателей. Если и были читатели, которыхъ привлекло изображеніе историческихъ явленій или даже чувство патріотизма, то, безъ всякаго сомнѣнія, было не мало и такихъ, которые вовсе не любятъ искать исторіи въ художественныхъ произведеніяхъ, или же сильнѣйшимъ образомъ вооружены противъ всякаго подкупа патріотическаго чувства, и которые, однакоже, прочли „Войну и миръ“ съ живѣйшимъ любопытствомъ. Замѣтимъ мимоходомъ, что „Война и миръ“ вовсе не есть историческій романъ, т.-е. вовсе не имѣетъ въ виду дѣлать изъ исто-

рическихъ лицъ романтическихъ героевъ и, рассказывая ихъ похождения, соединять въ себѣ интересъ романа и исторіи.

Итакъ, дѣло чистое и ясное. Какія бы цѣли и намѣренія ни были у автора, какихъ бы высокихъ и важныхъ предметовъ онъ ни касался, успѣхъ его произведенія зависить не отъ этихъ намѣреній и предметовъ, а оттого, что онъ сдѣлалъ, руководясь этими цѣлями и касаясь этихъ предметовъ, то-есть отъ *высокаго художественнаго выполненія*.

Если гр. Л. Н. Толстой достигъ своихъ цѣлей, если онъ заставилъ всѣхъ вперить глаза на то, что занимало его душу, то только потому, что вполне владѣлъ своимъ орудіемъ — искусствомъ. Въ этомъ отношеніи примѣръ „Войны и мира“ чрезвычайно поучителенъ. Едва ли многіе отдали себѣ отчетъ въ мысляхъ, руководившихъ и одушевлявшихъ автора, но всѣ одинаково поражены его творчествомъ. Люди, приступавшіе къ этой книгѣ съ предвзятыми взглядами, — съ мыслью найти противорѣчіе своей тенденціи, или ея подтвержденіе, — часто недоумѣвали, не успѣвали рѣшить, что имъ дѣлать, негодовать или восторгаться, но всѣ одинаково признавали необыкновенное мастерство загадочнаго произведенія. Давно уже искусство не обнаруживало въ такой степени своего всеобѣднаго, неотразимаго дѣйствія.

Но художественность не дается даромъ. Да не подумаетъ кто-нибудь, что она можетъ существовать отдѣльно отъ глубокихъ мыслей и глубокихъ чувствъ, что она можетъ быть явленіемъ не серьезнымъ, не имѣющимъ важнаго смысла. Въ этомъ случаѣ нужно отличать истинную художественность отъ ея фальшивыхъ и уродливыхъ формъ. Попробуемъ анализировать творчество, обнаружившееся въ книгѣ графа Л. Н. Толстого, и мы увидимъ, какая глубина лежитъ въ его основаніи.

Чѣмъ всѣ были поражены въ „Войнѣ и мирѣ“? Конечно, объективностью, образностью. Трудно представить себѣ образы болѣе отчетливые, краски болѣе яркія. Точно видишь все то, что описывается, и слышишь всѣ звуки того, что совершается. Авторъ ничего не рассказываетъ отъ себя; онъ прямо выводитъ лица и заставляетъ ихъ говорить, чувствовать и дѣйствовать; при чемъ каждое слово и каждое движеніе вѣрно до изумительной точности, то-есть вполне носятъ характеръ лица, которому принадлежатъ. Какъ будто



имѣешь дѣло съ живыми людьми, и притомъ видишь ихъ гораздо яснѣе, чѣмъ умѣешь видѣть въ дѣйствительной жизни. Можно различать не только образъ выраженій и чувствъ cadaго дѣйствующаго лица, но и манеры cadaго, любимые жесты, походку. Важному князю Василю пришлось однажды, въ необыкновенныхъ и трудныхъ обстоятельствахъ, пройти на цыпочкахъ; авторъ въ совершенствѣ знаетъ, какъ ходить каждое изъ его лицъ. „Князь Василій, говоритъ онъ, не умѣлъ ходить на цыпочкахъ, и неловко подпрыгивалъ всѣмъ тѣломъ“ (т. I, стран. 115). Съ такою же ясностью и отчетливостью авторъ знаетъ всѣ движенія, всѣ чувства и мысли своихъ героевъ. Когда онъ разъ вывелъ ихъ на сцену, онъ уже не вмѣшивается въ ихъ дѣла, не помогаетъ имъ, предоставляя каждому изъ нихъ вести себя сообразно со своею натурой.

Изъ того же стремленія соблюсти объективность, происходитъ, что у гр. Толстого нѣтъ картинъ или описаній, которыя онъ дѣлалъ бы отъ себя. Природа у него является только такъ, какъ она отражается въ дѣйствующихъ лицахъ; онъ не описываетъ дуба, стоящаго среди дороги, или лунной ночи, въ которую не спалось Наташѣ и князю Андрею, а описываетъ то впечатлѣнiе, которое этотъ дубъ и эта ночь произвели на князя Андрея. Точно такъ, битвы и событiя всякаго рода рассказываются не по тѣмъ понятiямъ, которыя составилъ себѣ о нихъ авторъ, а по впечатлѣнiямъ лицъ, въ ихъ дѣйствующихъ. Шенграбенское дѣло описано, большею частью, по впечатлѣнiямъ князя Андрея; Аустерлицкая битва — по впечатлѣнiямъ Николая Ростова; прiѣздъ императора Александра въ Москву изображенъ въ волненiяхъ Пети, и дѣйствiе молитвы о спасенiи отъ нашествiя — въ чувствахъ Наташи. Такимъ образомъ, авторъ нигдѣ не выступаетъ изъ-за дѣйствующихъ лицъ и рисуетъ событiя не отвлеченно, а, такъ сказать, плотью и кровью тѣхъ людей, которые составляли собою матеріалъ событiй.

Въ этомъ отношенiи „Война и миръ“ представляетъ истинныя чудеса искусства. Схвачены не отдѣльныя черты, а цѣликомъ та жизненная атмосфера, которая бываетъ различна около различныхъ лицъ и въ разныхъ слояхъ общества. Самъ авторъ говоритъ о *любобной и семейной атмосферѣ* дома Ростовыхъ; но припомните другiя изображенiя того же рода: атмосфера, окружавшая Сперанскаго; атмосфера, господство-

вавшая около *дядюшки* Ростовыхъ; атмосфера театральной залы, въ которую попала Наташа; атмосфера военного госпиталя, куда зашелъ Ростовъ, и пр. пр. Лица, вступающія въ одну изъ этихъ атмосферъ или переходящія изъ одной въ другую, неизбежно чувствуютъ ихъ вліяніе, и мы переживаемъ его вмѣстѣ съ ними.

Такимъ образомъ достигнута высшая степень объективности, т.-е. мы не только видимъ передъ собою поступки, фигуру, движенія и рѣчи дѣйствующихъ лицъ, но и вся ихъ внутренняя жизнь предстаетъ передъ нами въ такихъ же отчетливыхъ и ясныхъ чертахъ; ихъ душа, ихъ сердце ничѣмъ не заслоняются отъ нашихъ взоровъ. Читая „Войну и миръ“, мы въ полномъ смыслѣ слова *созерцаемъ* тѣ предметы, которые избралъ художникъ.

Но что же это за предметы? Объективность есть общее свойство поэзіи, которое должно всегда въ ней присутствовать, какіе бы предметы она ни изображала. Самыя идеальныя чувства, самая высокая жизнь духа должны быть изображаемы объективно. Пушкинъ совершенно объективенъ, когда воспоминаетъ о нѣкоторой *величавой женѣ*; онъ говоритъ:

Ея чела я помню покрывало  
И очи, свѣтлыя, какъ небеса.

Онъ слышалъ ея голосъ:

Пріятнымъ, сладкимъ голосомъ, бывало,  
Съ младенцами бесѣдуетъ она.

Точно такъ, онъ вполне объективно изображаетъ ощущенія „Пророка“:

И внялъ я неба содроганье,  
И горній ангеловъ полетъ,  
И гадъ морскихъ подводный ходъ,  
И дольней лозы прозябанье.

Объективность гр. Л. Н. Толстого, очевидно, обращена въ другую сторону, — не на идеальные предметы, а на то, что мы противопоставляемъ идеалу, — на такъ называемую дѣйствительность, на то, что не достигаетъ идеала, уклоняется отъ него, противорѣчитъ ему и, однакоже, существуетъ, какъ бы свидѣтельствуя о его безсплн. Гр. Л. Н. Толстой есть *реалистъ*, т.-е. принадлежитъ къ давно господствующей



щему и весьма сильному направленію нашей литературы. Онъ глубоко сочувствуетъ стремленію нашихъ умовъ и вкусовъ къ реализму, и его сила заключается въ томъ, что онъ умѣетъ вполне удовлетворить этому стремленію.

Въ самомъ дѣлѣ, реалистъ онъ великолѣпный. Можно подумать, что онъ не только изображаетъ свои лица съ неподкупной вѣрностью дѣйствительности, а какъ будто даже умышленно совлекаетъ ихъ съ идеальной высоты, на которую мы, по вѣчному свойству человѣческой природы, такъ охотно и легко ставимъ людей и событія. Безжалостно, безпощадно гр. Л. Н. Толстой обнаруживаетъ всѣ слабыя стороны своихъ героевъ; онъ не утаиваетъ ничего, не останавливается ни передъ чѣмъ, такъ что наводитъ даже страхъ и тоску о несовершенствѣ человѣка. Многія чувствительныя души не могутъ, напр., переварить мысль объ увлеченіи Наташи Курагинымъ; не будь этого, — какой вышелъ бы прекрасный образъ, нарисованный съ изумительной правдивостью; но поэтъ-реалистъ безпощаденъ.

Если смотрѣть на „Войну и миръ“ съ этой точки зрѣнія, то можно принять эту книгу за самое ярое *обличеніе* александровской эпохи, — за неподкупное разоблаченіе всѣхъ язвъ, которыми она страдала. Обличены — своекорыстіе, пустота, фальшивость, развратъ, глупость тогдашняго высшаго круга; безмысленная, лѣнивая, обжорливая жизнь московскаго общества и богатыхъ помѣщиковъ, въ родѣ Ростовыхъ; затѣмъ, величайшіе безпорядки вездѣ, особенно въ арміи, во время войнъ; повсюду показаны люди, которые, среди крови и битвъ, руководятся личными выгодами и приносятъ имъ въ жертву общее благо; выставлены страшныя бѣдствія, происшедшія отъ несогласія и мелочного честолюбія начальниковъ, — отъ отсутствія твердой руки въ управленіи; выведена на сцену цѣлая толпа трусовъ, подлецовъ, воровъ, развратниковъ, шулеровъ; ярко показана грубость и дикость народа (въ Смоленскѣ мужъ, бьющій жену; бунтъ въ Богучаровѣ).

Но гр. Л. Н. Толстой изображалъ темныя черты предметовъ не потому, чтобы желать ихъ выставить на видъ, а потому, что хотѣлъ изображать предметы вполне, со всѣми ихъ чертами, слѣдовательно, и съ темными. Цѣлью его была *правда* въ изображеніи, — неизмѣнная вѣрность дѣйствительности, и эта-то правдивость и приковывала къ себѣ все вниманіе чита-

телей. Патріотизмъ, слава Россіи, нравственныя правила — все забывалось, все отходило на задній планъ передъ этимъ реализмомъ, выступившимъ во всеоружіи. Читатель жадно слѣдилъ за этими картинами; какъ будто художникъ, ничего не проповѣдуя, никого не обличая, подобно нѣкоторому волшебнику, переносилъ его изъ одного мѣста въ другое и давалъ ему самому видѣть, что тамъ дѣлалось.

Все ярко, все образно и, въ то же время, все реально, все вѣрно дѣйствительности, какъ дагерротипъ или фотографія; вотъ въ чемъ сила гр. Л. Н. Толстого. Чувствуешь, что авторъ не хотѣлъ преувеличить ни темныхъ ни свѣтлыхъ сторонъ предметовъ, не хотѣлъ набросать на нихъ никакого особеннаго колорита или эффектнаго освѣщенія, — что онъ всею душою стремится передать дѣло въ его настоящемъ, дѣйствительномъ видѣ и свѣтѣ, — вотъ неодолимая прелесть, побуждающая самыхъ упорныхъ читателей! Да, мы, русскіе читатели, давно уже упорны въ отношеніи къ художественнымъ произведеніямъ, давно уже вооружены сильнѣйшимъ образомъ противъ того, что называется поэзією, идеальными чувствами и мыслями; мы какъ будто потеряли способность увлекаться идеализмомъ въ искусствѣ, и упрямо упираемся противъ малѣйшаго соблазна въ эту сторону. Мы или не вѣримъ въ идеалъ, или (что гораздо вѣрнѣе, такъ какъ не вѣрить въ идеалъ можетъ частное лицо, но не народъ) ставимъ его такъ высоко, что не вѣримъ въ силу художества, — въ возможность какого-либо воплощенія идеала. При такомъ положеніи дѣла, художеству осталась одна дорога — реализмъ; что вы сдѣлаете, чѣмъ вооружитесь противъ правды. — противъ изображенія жизни, какъ она есть?

Но реализмъ реализму рознь; искусство, въ сущности, никогда не отказывается отъ идеала, всегда стремится къ нему; и чѣмъ яснѣе и живѣе слышно это стремленіе въ созданіяхъ реализма, тѣмъ они выше, тѣмъ ближе къ настоящей художественности. Не мало у насъ людей, которые понимаютъ это дѣло грубо, именно — воображаютъ, что они должны для наилучшаго успѣха въ искусствѣ превратить свою душу въ простой фотографическій приборъ, и снимать въ него тѣ картинки, какія попадутся. Наша литература представляетъ множество подобныхъ картинокъ: зато простодушные читатели, воображавшіе, что передъ ними выступаютъ дѣйствительные



художники, не мало потомъ удивлялись, видя, что изъ этихъ писателей ровно ничего ни выходитъ. Дѣло, однакоже, понятное; эти писатели были вѣрны дѣйствительности не потому, чтобы она у нихъ ярко была озарена ихъ идеаломъ, а потому, что сами не видѣли дальше того, что писали. Они стояли въ уровень съ тою дѣйствительностью, которую описывали.

Гр. Л. Н. Толстой не реалистъ-обличитель, но онъ и не реалистъ-фотографъ. Тѣмъ и дорого его произведеніе, въ томъ его сила и причина успѣха, что, удовлетворяя вполнѣ всѣмъ требованіямъ нашего современнаго искусства, онъ выполнитъ ихъ въ самомъ чистомъ ихъ видѣ, въ самомъ глубокомъ ихъ смыслѣ. Сущность русскаго реализма въ искусствѣ никогда еще не обнаруживалась съ такою ясностью и силою; въ „Войнѣ и мирѣ“ онъ поднялся на новую ступень, вошелъ въ новый періодъ своего развитія.

Сдѣлаемъ еще шагъ въ характеристикѣ этого произведенія, и мы уже будемъ близко къ цѣли.

Въ чемъ заключается особенная, ярко выступающая черта таланта гр. Л. Н. Толстого? Въ необыкновенно тонкомъ и вѣрномъ изображеніи душевныхъ движеній. Гр. Л. Н. Толстого можно назвать по преимуществу *реалистомъ-психологомъ*. По прежнимъ своимъ произведеніямъ онъ давно извѣстенъ, какъ изумительный мастеръ въ анализѣ всякаго рода душевныхъ переменъ и состояній. Этотъ анализъ, разрабатываемый съ какимъ-то пристрастіемъ, доходилъ до мелочности, до неправильной напряженности. Въ новомъ произведеніи всѣ крайности его отпали, и осталась вся его прежняя точность и проникательность; сила художника нашла свои предѣлы, и улеглась въ свои берега. Все вниманіе его устремлено на душу человѣческую. У него рѣдки, кратки, и неполны описанія обстановки, костюмовъ, словомъ — всей внѣшней стороны жизни; но зато нигдѣ не упущено впечатлѣніе и вліяніе, производимое этою внѣшнею стороною на душу людей, а главное мѣсто занимаетъ ихъ внутренняя жизнь, для которой внѣшняя служитъ только поводомъ или неполнымъ выраженіемъ. Малѣйшіе оттѣнки душевной жизни и самыя глубокія ея потрясенія изображены съ одинаковой отчетливостью и правдивостью. Чувство праздничной скуки въ Отраденскомъ домѣ Ростовыхъ и чувство всего русскаго войска въ самый разгаръ Бородинской битвы, молодые душевные

движенія Паташи и волненія старика Болконскаго, теряющаго память и близкаго къ удару паралича, — все ярко, все живо и точно въ разсказѣ гр. Л. Н. Толстого.

Итакъ, вотъ гдѣ сосредоточивается весь интересъ автора, а въ силу того, и весь интересъ читателя. Какія бы огромныя и важныя событія ни происходили на сценѣ, — будетъ ли это Кремль, захлебнувшійся народомъ, вслѣдствіе пріѣзда государя, или свиданіе двухъ императоровъ, или страшная битва съ громомъ пушекъ и тысячами умирающихъ, — ничто не отвлекаетъ поэта, а вмѣстѣ съ нимъ и читателя, отъ пристальнаго взглядыванія во внутренній міръ отдѣльных лицъ. Художника какъ будто вовсе не занимаетъ событіе, а занимаетъ только то, какъ дѣйствуетъ при этомъ событіи человѣческая душа, — что она чувствуетъ и вноситъ въ событіе?

Спросите теперь себя, чего же ищетъ поэтъ? Какое упорное любопытство заставляетъ его слѣдить за малѣйшими ощущеніями всѣхъ этихъ людей, начиная отъ Наполеона и Кутузова до тѣхъ маленькихъ дѣвочекъ, которыхъ князь Андрей засталъ въ своемъ разоренномъ саду?

Отвѣтъ одинъ: художникъ ищетъ слѣдовъ красоты души человѣческой, — ищетъ въ каждомъ изображаемомъ лицѣ той искры Божіей, въ которой заключается человѣческое достоинство личности, — словомъ, старается найти и опредѣлить со всею точностью, какимъ образомъ и въ какой мѣрѣ идеальныя стремленія человѣка осуществляются въ дѣйствительной жизни.

*Страховъ.*

## Природа въ произведеніяхъ Толстого.

У графа Л. Толстого, какъ и у Гончарова, описаній природы чѣмъ дальше, тѣмъ меньше — но здѣсь эта переменна рѣзче бросается въ глаза, потому что въ раннихъ произведеніяхъ Толстого пейзажъ играетъ гораздо большую роль, чѣмъ въ „Обыкновенной исторіи“ и „Обломовѣ“. Въ „Дѣтствѣ“, „Отрочествѣ“ и „Юности“ близость автора къ природѣ чувствуется на каждомъ шагу; онъ живетъ вмѣстѣ съ нею, и она живетъ вмѣстѣ съ нимъ, точно раздѣляя его радость и его горе. Впечатлѣнія прошлыхъ лѣтъ воскресають въ памяти автора именно съ той окраской, которую



они тогда имѣли; онъ видитъ природу то какъ ребенокъ, безнечно наслаждающійся настоящей минутой или смутно чувствующій ея тяжесть, то какъ юноша, открывающій въ себѣ самомъ — а вмѣстѣ съ тѣмъ и во всемъ окружающемъ — новыя стороны, прежде не бывалыя или не существовавшія для сознанія. Прочтите въ „Дѣтствѣ“ начало главы, озаглавленной „Охота“ — и васъ охватитъ давно, можетъ-быть, забытое ощущеніе безотчетнаго, наивнаго веселья, точно вливающегося во всѣ поры вашего организма. „Говоръ народа, топотъ лошадей и телѣгъ, веселый свистъ перепеловъ, жужжаніе насѣкомыхъ, которыя неподвижными стаями вились въ воздухѣ, запахъ полыни, соломы и лошадиного пота, тысячи различныхъ цвѣтовъ и тѣней, которыя разливало палящее солнце по свѣтло-желтому жнивью, синей дали лѣса и бѣло-лиловымъ облакамъ, бѣлыя паутины, которыя носились въ воздухѣ или ложились по жнивью — все это я видѣлъ, слышалъ и чувствовалъ“. Цвѣта, звуки, запахи сливаются здѣсь въ одно цѣлое, соединительнымъ звеномъ котораго служитъ „радость жизни“, полнота бытія, точно сосредоточившагося въ одномъ безсознательно-счастливомъ моментѣ. Тѣмъ же характеромъ отличаются дорожныя картины въ первой главѣ „Отрочества“, — картины, эффектно смѣняемыя описаніемъ грозы, ея приближенія, разгара, ея послѣднихъ раскатовъ. Иногда автору достаточно немногихъ словъ, чтобы вставить рассказъ въ подходящую къ нему рамку. Инокленька сидитъ у окна, въ ожиданіи отъѣзда изъ деревни, — того отъѣзда, который долженъ былъ навсегда разлучить его съ матерью. „Во всемъ воздухѣ была какая-то пыльная мгла; горизонтъ былъ сѣро-лиловаго цвѣта; но ни одной тучки не было на небѣ. Сильный западный вѣтеръ поднималъ столбами пыль съ полей и дорогъ, шумъ высокихъ липъ и березъ сада и далеко относилъ падашіе желтые листья“. Кто изъ насъ не знаетъ, по собственному опыту, какъ глубоко врѣзывается въ память печальная обстановка печальной минуты, какъ крѣпка и неразрывна внутренняя связь, соединяющая ту и другую? Пейзажъ, въ такихъ случаяхъ — болѣе чѣмъ фонъ картины; онъ составляетъ точно необходимую ея принадлежность.

Въ „Юности“ не даромъ преобладаютъ описанія весны и ранняго лѣта; они знаменуютъ собою этапы того пути,

которымъ идетъ сердце, пробуждающееся къ новой жизни. Настроеніе юноши, глазами котораго мы смотримъ, чувствуется вездѣ, но не мѣшаетъ намъ видѣть и самый пейзажъ, его волновавшій. „Въ воздухѣ было совершенно тихо и пахло свѣжестью; зелень деревьевъ, листьевъ и ржи была неподвижна и необыкновенно чиста и ярка. Казалось, каждая травка, каждый листъ жили своею отдѣльною, полною и счастливою жизнью...“ „Я смотрѣлъ въ садъ, слушалъ звуки ночи и мечталъ о любви и счастьи. Тогда все получало для меня другой смыслъ: и видъ старыхъ березъ, блестящихъ, съ одной стороны, на лунномъ небѣ своими кудрявыми вѣтвями, съ другой — мрачно застилавшихъ кусты и дорогу своими черными тѣнями, и спокойный, пышный, равномерный, какъ звукъ, возраставшій блескъ пруда, и лунный блескъ капель росы въ цвѣтахъ, и звукъ перепела за прудомъ, и тихій чуть слышимый скрипъ двухъ старыхъ березъ другъ о друга, и паденіе зацѣпившагося за вѣтку яблока на сухіе листья — все это получало для меня странный смыслъ, — смыслъ слишкомъ большой красоты и какого-то недоконченнаго счастья...“ Много общаго съ этими картинами представляютъ описанія природы въ „Двухъ гусарахъ“, и „Семейномъ счастьѣ“. Тихая лѣтняя ночь вызываетъ и въ Лизѣ и въ Марьѣ Александровнѣ сладкія грезы о любви, о счастьи. Превосходно изображены Толстымъ тѣ рѣдкія, блаженные минуты, когда все, въ самомъ человѣкѣ и кругомъ него, дышитъ нѣгою и покоемъ, когда теряется сознаніе границы между дѣйствительностью и мечтою, когда давно знакомое производитъ впечатлѣніе чего-то чудеснаго и новаго. „Въ аллеяхъ свѣтъ и тѣнь сливались такъ, что аллеи казались не деревьями и дорожками, а прозрачными, колыхающимися и дрожащими домами. Когда я смотрѣла впередъ по аллеѣ, по которой мы шли, мнѣ все казалось, что туда дальше нельзя было идти, что тамъ кончался міръ возможнаго, что все это навсегда должно быть заковано въ своей красотѣ. Но мы подвигались, и волшебная стѣна красоты раздвигалась, впускала насъ... снова замыкалась, и я переставала вѣрить въ то, что можно было идти еще дальше, переставала вѣрить во все, что было“. Въ томъ же родѣ — и такъ же художественно закончена — картина, предпосланная послѣдней сценѣ „Семейнаго счастья“. Природа „ждетъ тихаго



весенняго дождика“ — и вмѣстѣ съ нею чего-то ждешь, о чемъ-то жалѣя, героиня романа.

Рядомъ съ описаніями, насквозь проникнутыми субъективнымъ элементомъ, въ первыхъ произведеніяхъ гр. Толстого встрѣчаются страницы другого рода, не столь тѣсно соединенныя съ дѣйствіемъ. Сюда относятся, напримѣръ, изображенія любимаго вида княгини Нехлюдовой („Юность“) или озера четырехъ кантоновъ, какимъ оно представляется изъ Люцерна („Изъ записокъ князя Д. Нехлюдова“). До чего могло дойти, на этой дорогѣ, дарованіе писателя — объ этомъ всего лучше можно судить по картинѣ паденія срубленнаго дерева въ разсказѣ „Три смерти“: „На всемъ лежалъ холодный матовый покровъ еще падавшей, не освѣщенной солнцемъ росы. Ни одна травка внизу ни одинъ листъ на верхней вѣтви дерева не шевелились. Только изрѣдка слышавшіеся звуки крыльевъ въ чащѣ дерева или шелеста по землѣ нарушали тишину лѣса. Вдругъ странный, чуждый природѣ звукъ разнесся, и замеръ на опушкѣ лѣса. Но снова послышался звукъ и равномерно сталъ повторяться внизу около ствола одного изъ неподвижныхъ деревьевъ. Одна изъ макушъ необычайно затрепетала, сочные листья ея зашептали что-то, и малиновка, сидѣвшая на одной изъ вѣтвей ея, со свистомъ перепорхнула два раза и, подергивая хвостикомъ, слѣла на другое дерево. Топоръ низомъ звучалъ глуше и глуше... Дерево вздрогнуло всѣмъ тѣломъ, согнулось и быстро выпрямилось, испуганно колеблясь, на своемъ корнѣ. На мгновенье все затихло, но снова погнулось дерево, послышался трескъ въ его стволѣ, и, ломая сучья и спустивъ вѣтви, оно рухнулось макушкой на сырую землю... Звукъ топора и шаговъ затихли. Малиновка свистнула и вспорхнула выше. Вѣтка, которую она зацѣпила своими крыльями, покачалась нѣсколько времени и замерла, какъ и другія со всѣми своими листьями. Деревья еще радостнѣе красовались на новомъ просторѣ своими неподвижными вѣтвями. Первые лучи солнца, пробивъ сквозившую тучу, блеснули въ небѣ и пробѣжали по землѣ и небу. Туманъ волнами сталъ переливаться въ лощинахъ; роса, блести, заиграла на зелени; прозрачныя побѣлѣвшія тучки, спѣша, разбѣгались по посинѣвшему своду. Птицы томозились въ чащѣ и, какъ потерянные, щебетали что-то счастливое, сочные листья

радостно и спокойно шептались въ вершинахъ, и вѣтви живыхъ деревъ медленно, величаво зашевелились надъ мертвымъ, поникшимъ деревомъ“. Нигдѣ гр. Толстой не подходитъ такъ близко къ тургеневской манерѣ, оставаясь, безъ сомнѣнія, вполнѣ самимъ собою; ни одна изъ написанныхъ имъ картинъ природы не приближается настолько къ типу чисто-художественнаго описанія. Правда, смерть дерева не даромъ сопоставлена со смертью людей — но прелесть образа не зависитъ здѣсь отъ скрывающейся въ немъ идеи.

Въ кавказскихъ военныхъ разсказахъ гр. Толстого мы встрѣчаемся въ первый разъ съ тѣмъ родомъ описаній, который почти одинъ находитъ себѣ мѣсто въ позднѣйшихъ произведеніяхъ автора: это, если можно такъ выразиться, описанія мимоходомъ, не останавливающія дѣйствія, вставленные въ его промежутки, иногда просто идущія съ нимъ рядомъ, иногда бросающія на него отраженный свѣтъ, но всегда сжатыя, безыскусственные, отличающіеся крайней простотой приѣмовъ. Вотъ, напримѣръ, легкіе эскизы трехъ моментовъ туманнаго дня, въ который происходитъ „рубка лѣса“. „Свѣтлый кругъ солнца, просвѣчивающій сквозь молочно-бѣлый туманъ, уже поднялся довольно высоко; сѣро-лиловый горизонтъ постепенно расширялся и хотя гораздо дальше, но такъ же рѣзко ограничивался обманчивою бѣлою стѣною тумана... Туманъ уже совершенно поднялся и, принимая формы облаковъ, постепенно исчезалъ въ темно-голубой синевѣ неба. Въ воздухѣ слышалась свѣжесть утренняго мороза, вмѣстѣ съ тепломъ весенняго солнца; тысячи различныхъ тѣней и цвѣтовъ мѣшались въ сухихъ листьяхъ лѣса, и на торной глянцовитой дорогѣ отчетливо видѣлись слѣды шинъ и подковныхъ шиповъ... Начинало смеркаться. По небу ползли сине-бѣловатыя тучи. Туманъ, превратившійся въ мелкую сырую мглу, мочилъ землю и солдатскія шинели; горизонтъ суживался, и вся окрестность принимала мрачныя тѣни“. Въ севастопольскихъ разсказахъ очень мало даже такихъ описаній; страшная серіозность предмета поглощаетъ писателя и не оставляетъ мѣста для отступленій. Въ „Казакахъ“ описанія природы встрѣчаются нерѣдко и достигаютъ иногда довольно обширныхъ размѣровъ, но характеръ ихъ, большею частью, тотъ же, какъ и въ кавказскихъ военныхъ разсказахъ. Иногда они имѣютъ цѣлью дать



понятіе о мѣстности, какою она является въ тотъ или другой моментъ дня, въ то или другое время года (см., напримѣръ, изображеніе станицы подъ палящимъ августовскимъ солнцемъ, въ гл. 29-й, или выступленіе казаковъ утромъ пасмурнаго дня, въ гл. 40-й) — и средствомъ къ достиженію цѣли служить простой перечень главныхъ особенностей картины. Авторъ, очевидно, не заботится о художественности описаній, допускаетъ въ нихъ по временамъ даже явную небрежность („въ прудѣ оголялись истоптанные скотиной иловатые берега пруда“). Съ настроеніемъ дѣйствующаго лица описанія связываются рѣдко, но когда эта связь существуетъ, она всегда способствуетъ оживленію картины (ночное „спѣнье“ Луки надъ Терекомъ; страхъ, овладѣвающій Оленинымъ въ чащѣ лѣса).

Въ „Войнѣ и мирѣ“ пейзажъ играетъ еще болѣе скромную роль, чѣмъ въ „Казакахъ“: преобладаютъ, опять-таки, описанія „мимоходомъ“, но и ихъ сравнительно немного. „Солнце совсѣмъ вышло изъ-за тучъ; красивый звукъ одинокаго выстрѣла и блескъ яркаго солнца слились въ одно бодрое и веселое впечатлѣніе... Разорванныя сине-лиловые тучи, краснѣя на восходѣ, быстро гнались вѣтромъ. Становилось все свѣтлѣе и свѣтлѣе. Ясно виднѣлась та курчавая травка, которая засѣдаетъ всегда по проселочнымъ дорогамъ, еще мокрая отъ вчерашняго дождя; висячія вѣтви березъ, тоже мокрыя, качались отъ вѣтра и роняли въ бокъ отъ себя свѣтлыя капли“. Иногда описаніе до такой степени сливается съ рассказомъ, что отдѣлить одно отъ другого едва ли возможно: туманъ, напримѣръ, является точно участникомъ сраженія при Аустерлицѣ, панорама бородинскаго поля развертывается передъ нами вмѣстѣ съ ощущеніями Пьера въ различные моменты битвы. Въ „Аннѣ Карениной“ описанія природы — весьма немногочисленные — связаны почти всѣ съ ходомъ дѣйствія. Картины весны и лѣта въ деревнѣ служатъ какъ бы рамкой для сельскихъ работъ и предпріятій Левина. „Левинъ оглянулся вокругъ себя, и не узналъ мѣста, такъ все перемѣнилось. Огромное пространство луга было скошено и блестѣло особеннымъ, новымъ блескомъ, со своими уже пахнущими рядами, на вечернихъ косыхъ лучахъ солнца. И окошенные кусты у рѣки, и сама рѣка, прежде не видная, а теперь блестящая сталью въ

своихъ извивахъ, и движущійся и поднимающійся народъ, и крутая стѣна травы недокошеннаго мѣста луга, и ястреба, вившіеся надъ оголеннымъ лугомъ — все это было совершенно ново“. Господствующее здѣсь впечатлѣніе — впечатлѣніе неожиданности, новизны — обусловливается и вызывается всѣмъ предыдущимъ. Сначала занятому, потомъ утомленному косьбой Левину некогда было раньше любоваться окружающимъ его видомъ; картина скошеннаго луга поражаетъ его именно въ ту минуту, когда онъ просыпается отдохнувшій, освѣженный, весь проникнутый радостнымъ ощущеніемъ исполненнаго и еще предстоящаго труда... Съ удивительной силой таинственное общеніе природы и человѣка выступаетъ на видъ въ описаніи той лѣтней ночи, которая рѣшила участь Левина. „Какъ красиво! — подумалъ Левинъ, глядя на странную, точно перламутровую раковину изъ бѣлыхъ барашковъ-облачковъ, остановившуюся надъ самой головой его на срединѣ неба. — Какъ все прелестно въ эту прелестную ночь! И когда успѣла образоваться эта раковина? Недавно я смотрѣлъ на небо, и на немъ ничего не было — только двѣ бѣлыя полосы“. Неожиданная встрѣча съ Кити даетъ другое направленіе мыслямъ и чувствамъ Левина. „Онъ взглянулъ на небо, надѣясь найти тамъ ту раковину, которою онъ любовался... На небѣ не было и слѣда раковины, а былъ ровный, разстилавшійся по цѣлой половинѣ неба коверъ все уменьшающихся и уменьшающихся барашковъ. Небо поглубѣло и просіяло; и съ тою же нѣжностью, но и съ тою же недосыгаемостью отвѣчало на его вопрошающій взглядъ“. Одинъ и тотъ же свѣжій осенній день дѣйствуетъ различно на Анну и на Вронскаго. „Остановившись и взглянувъ на колебавшіяся отъ вѣтра вершины осины съ обмытыми, ярко блистающими на холодномъ солнцѣ листьями, она поняла, что онѣ не простятъ, что все и всѣ къ ней теперь будутъ безжалостны, какъ это небо, какъ эта зелень... Все, что онъ (Вронскій) видѣлъ въ окно кареты, все въ этомъ холодномъ чистомъ воздухѣ, на этомъ блѣдномъ свѣтѣ заката, было такъ же свѣжо, весело и сильно, какъ и онъ самъ: и крыши домовъ, блестяція въ лучахъ спускавшагося солнца, и неподвижная зелень картофеля, и косыя тѣни, падавшія отъ домовъ и отъ деревьевъ, и отъ кустовъ, и отъ самыхъ бороздъ картофеля. Все было



красиво, какъ хорошенькій пейзажъ, только что оконченный и покрытый лакомъ“.

Почему описанія природы, оторванныя отъ дѣйствія, цѣныя и значительныя сами по себѣ, въ силу своей художественной отдѣлки, исчезаютъ, съ начала шестидесятыхъ годовъ, изъ произведеній гр. Л. Толстого — объ этомъ можно догадаться, если сравнить между собою слѣдующіе отрывки изъ „Юности“ и изъ „Анны Карениной“. „Я сказалъ, указывая на заходящее солнце, — говоритъ Николай Пртеньевъ въ „Юности“, — Дмитрій, посмотри, какая прелесть!... Дмитрій вообще былъ хладнокровенъ къ природѣ. Природа дѣйствовала на него совсѣмъ иначе, чѣмъ на меня, — она дѣйствовала на него не столько красотою, сколько занимательностью, онъ любилъ ее болѣе умомъ, чѣмъ чувствомъ“... „Сергѣй Ивановичъ, — читаемъ мы въ „Аннѣ Карениной“, — любовался все время красотой заглохшаго отъ листвы лѣса, указывая брату (Левину) то на темную съ тѣнистой стороны, пестрящую желтыми трилистниками, готовящуюся къ цвѣту, старую листву, то на изумрудомъ блестящемъ молодые побѣги деревъ нынѣшняго года. Константинъ Левинъ не любилъ говорить и слушать про красоты природы. Слова снимали для него красоту съ того, что онъ видѣлъ“. Мы едва ли ошибемся, если предположимъ, что въ лицѣ Николая Пртеньева и Константина Левина здѣсь, какъ и во многихъ другихъ случаяхъ, слѣдуетъ видѣть самого автора. Прежде графъ Толстой допускалъ возможность изобразить словами красоты природы; онъ указывалъ на нихъ читателямъ, подобно тому какъ Пртеньевъ указывалъ Нехлюдову на прелесть заходящаго солнца. Въ послѣдствіи времени указанія этого рода стали представляться ему не достигающими цѣли или производящими впечатлѣніе, противоположное тому, къ возбужденію котораго они направлены. Сообразно съ этимъ, описанія природы становились у него все рѣже, проще и короче, облакаясь въ поэтическія краски лишь тогда, когда служили оправой, рамкой для личнаго чувства. Это было, можетъ-быть, первымъ признакомъ, первымъ выраженіемъ другой, болѣе глубокой перемены въ міросозерцаніи великаго писателя. Прежде, чѣмъ извѣрится въ искусство вообще, графъ Толстой извѣрился въ одну отрасль, въ одну сторону его.

*Арсеньевъ.*

## Творчество Толстого.

Однажды, сравнивая себя, какъ художника, съ Пушкинымъ, Л. Толстой сказалъ Берсу, что разница ихъ, между прочимъ, та, что Пушкинъ, описывая художественную подробность, дѣлаетъ это легко и не заботится о томъ, будетъ ли она замѣчена и понятна читателямъ; онъ же какъ бы пристанетъ къ читателю съ этою художественною подробностью, пока ясно не растолкуетъ ея“.

Сравненіе болѣе проникновенное, чѣмъ можетъ казаться съ перваго взгляда. Дѣйствительно, Л. Толстой „пристаетъ къ читателю“ не боится ему надоѣсть, углубляетъ черту, повторяетъ, упорствуетъ, накладываетъ краски, мазокъ за мазкомъ, сгущая ихъ все болѣе и болѣе тамъ, гдѣ Пушкинъ, едва прикасаясь, скользитъ кистью, какъ будто нерѣшительною и небрежною, на самомъ дѣлѣ — бесконечно увѣренною и вѣрною. Всегда кажется, что Пушкинъ, особенно въ прозѣ своей, скупъ и даже какъ бы сухъ, что онъ даетъ мало, такъ что хотѣлось бы еще и еще. Л. Толстой даетъ столько, что намъ уже больше нечего желать, — мы сыты, если не пресыщены.

Описанія Пушкина напоминаютъ легкую водяную темперу старинныхъ флорентинскихъ мастеровъ или помпейскую стѣнопись съ ихъ ровными, тусклыми, воздушно-прозрачными красками, не скрывающими рисунка, подобными дымкѣ утренней мглы. У Л. Толстого болѣе тяжелыя и грубыя краски великихъ сѣверныхъ мастеровъ: рядомъ съ глубокими, непроницаемо-черными и все-таки живыми тѣнями — лучи внезапнаго, ослѣпляющаго, какъ будто насквозь пронизывающаго свѣта, который вдругъ зажигаетъ и выдвигаетъ изъ мрака какую-нибудь отдѣльную черту — наготу тѣла, складку одежды въ стремительно-быстромъ движеніи, часть искаженнаго страстью или страданіемъ лица, и даетъ имъ поразительную, почти отталкивающую и пугающую жизненность, какъ будто художникъ отыскиваетъ въ доведенномъ до послѣднихъ предѣловъ естественномъ — сверхъестественное, въ доведенномъ до послѣднихъ предѣловъ тѣлесномъ — сверхтѣлесное.

Кажется, во всемірной литературѣ нѣтъ писателя, равнаго Л. Толстому въ изображеніи человѣческаго тѣла посредствомъ



слова. Злоупотребляя повтореніями, и то довольно рѣдко, такъ какъ, большею частью, онъ достигаетъ ими того, что ему нужно, никогда не страдаетъ онъ столь обычными у другихъ, даже сильныхъ и опытныхъ мастеровъ, длиннотами, нагроможденіями различныхъ сложныхъ тѣлесныхъ признаковъ при описаніи наружности дѣйствующихъ лицъ; онъ точенъ, простъ и возможно кратокъ, выбирая только немногія маленькія, никѣмъ не замѣчаемыя, личныя, особенныя черты, и приводя ихъ не сразу, а постепенно, одну за другою, распредѣляя по всему теченію разсказа, вплетая въ движеніе событій, въ живую ткань дѣйствія... Такъ, при первомъ появленіи князя Болконскаго, мы видимъ сначала только въ общемъ, мгновенномъ очеркѣ, въ четырехъ-пяти строкахъ „невысокую фигурку старика въ напудренномъ парикѣ, съ маленькими сухими руками и сѣрыми висячими бровями, иногда, когда онъ насупливался, застывшими блескъ умныхъ и молодыхъ блестящихъ глазъ“. Тутъ одно, можетъ-быть, излишнее повтореніе: „блескъ блестящихъ глазъ“. Когда онъ садится за токарный станокъ, — „по движеніямъ небольшой ноги, по твердому налеганію жилистой сухожаровой руки (мы уже знаемъ, что у него руки сухія, но Л. Толстой любитъ возвращаться къ рукамъ своихъ героевъ) видна была въ князѣ еще упорная и много выдерживающая сила свѣжей старости“. Когда онъ заговариваетъ съ дочерью, княжной Марьей, то „холодною улыбкою выказываетъ еще крѣпкіе и желтоватые зубы“. Когда садится за столъ и пригибается къ ней, начиная обычный урокъ геометріи, она „чувствуетъ себя со всѣхъ сторонъ окруженною тѣмъ табачнымъ и старчески-ѣдкимъ запахомъ отца“, который такъ давно ей знакомъ. И вотъ — онъ весь передъ нами, какъ живой: ростъ, сложеніе, руки, ноги, глаза, брови, положеніе бровей, зубы, цвѣтъ зубовъ, улыбка, даже особенный свойственный каждому человѣку запахъ.

Это — ему одному въ такой мѣрѣ свойственный даръ, который можно бы назвать ясновидѣніемъ плоти.

Языкъ человѣческихъ тѣлодвиженій, ежели менѣе разнообразенъ, зато болѣе непосредственъ и выразителенъ, обладаетъ большею силою внушенія, чѣмъ языкъ словъ. Словами легче лгать, чѣмъ движеніями тѣла, выраженіями лица. Истинную, скрытую природу человѣка выдають они скорѣе,

чѣмъ слова. Одинъ взглядъ, одна морщина, одинъ трепетъ мускула въ лицѣ, одно движеніе тѣла могутъ выразить то, чего нельзя сказать никакими словами. Последовательные ряды этихъ безсознательныхъ, произвольныхъ движеній, отпечатлѣваясь, наслаясь на лицѣ и на всемъ виѣшнемъ обликѣ тѣла, образуютъ то, что мы называемъ выраженіемъ лица, и что можно бы также назвать выраженіемъ тѣла, потому что не только у лица, но и у всего тѣла есть свое выраженіе, своя духовная прозрачность,—какъ бы свое лицо. Извѣстные чувства побуждаютъ насъ къ соотвѣтственнымъ движеніямъ и, наоборотъ, извѣстные привычныя движенія приближаютъ насъ къ соотвѣтственнымъ внутреннимъ состояніямъ. Молящійся складываетъ руки, склоняетъ колѣни; но и складывающій руки, склоняющій колѣни приближаетъ себя къ молитвенному состоянію. Такимъ образомъ существуетъ непрерывный токъ не только отъ внутренняго къ виѣшнему, но и отъ виѣшняго къ внутреннему.

Л. Толстой съ неподражаемымъ искусствомъ пользуется этою обратною связью виѣшняго и внутренняго. По тому закону всеобщаго, даже механическаго сочувствія, который заставляетъ неподвижную напряженную струну дрожать въ отвѣтъ сосѣдней звенящей струнѣ по закону безсознательнаго подражанія, который при видѣ плачущаго или смѣющагося возбуждаетъ и въ насъ желаніе плакать или смѣяться, — мы испытываемъ, при чтеніи подобныхъ описаній, въ нервахъ и мускулахъ, управляющихъ выразительными движеніями нашего собственнаго тѣла, начало тѣхъ движеній, которыя описываетъ художникъ въ наружности своихъ дѣйствующихъ лицъ; и посредствомъ этого сочувственнаго опыта, невольно совершающагося въ нашемъ собственномъ тѣлѣ, т.-е. по самому вѣрному, прямому, краткому пути, входимъ въ ихъ внутренній міръ, — начинаемъ жить съ ними, жить въ нихъ.

И какой безконечно-сложный, разнообразный смыслъ получаетъ у него порой одно движеніе, одно положеніе члѣвѣческихъ членовъ!

Послѣ Бородинскаго сраженія, въ палаткѣ для раненыхъ, докторъ, въ окровавленномъ фартукѣ, съ окровавленными руками, „держитъ одной изъ нихъ спгару между мизинцемъ и большимъ пальцемъ, чтобы не запачкать ея“. Это положеніе пальцевъ обозначаетъ: и непрерывность ужасной ра-



боты, и отсутствіе брезгливости, и равнодушіе къ ранамъ и крови вслѣдствіе долгой привычки, и усталость, и желаніе забыться. Сложность всѣхъ этихъ внутреннихъ состояній сосредоточена въ одной маленькой тѣлесной подробности, — въ положеніи двухъ пальцевъ, описаніе котораго занимаетъ полстроки.

Когда князь Андрей, узнавъ, что Кутузовъ, посылаетъ отрядъ Багратіона на вѣрную смерть, испытываетъ сомнѣніе, имѣетъ ли главнокомандующій право такъ самоувѣренно жертвовать жизнью тысячъ людей, — онъ „взглядываетъ на Кутузова, и ему невольно бросаются въ глаза, въ полураршии отъ него, чисто промытыя сборки шрама на вискѣ Кутузова, гдѣ измаильская пуля пронизала ему голову, и его вытекшій глазъ“. „Да, онъ имѣетъ право такъ спокойно говорить о гибели этихъ людей!“ думаетъ Болконскій. И здѣсь опять одна ничтожная тѣлесная подробность, — сборки шрама и вытекшій глазъ Кутузова, — рѣшаетъ сложный, отвлеченный нравственный вопросъ объ отвѣтственности людей, руководящихъ судьбами народовъ, объ отношеніи военно-государственнаго строя къ цѣнности отдѣльныхъ человѣческихъ жизней.

Между Пьеромъ и княземъ Васи́лемъ — очень запутанныя, щекотливыя отношенія. Князь Васи́лій хочетъ выдать за Пьера свою дочь Эленъ и съ нетерпѣніемъ ожидаетъ, чтобы Пьеръ сдѣлалъ ей предложеніе. Тотъ все не рѣшается. Однажды, оставшись съ отцомъ и дочерью наединѣ, подымается онъ, собираясь уходить, и говоритъ, что уже поздно. „Князь Васи́лій строго-вопросительно посмотрѣлъ на него, какъ будто то, что онъ сказалъ, было такъ странно, что нельзя было и разслышать. Но вслѣдъ за тѣмъ выраженіе строгости измѣнилось, и князь Васи́лій дернулъ Пьера за руку, посадилъ его и ласково улыбнулся. — „Ну, что Леля? обратился онъ тотчасъ же къ дочери“ и потомъ опять къ Пьеру, напоминая ему некстати довольно глупый анекдотъ о какомъ-то Сергѣѣ Кузьмичѣ. „Пьеръ улыбнулся, но по его улыбкѣ видно было, что онъ понималъ, что не анекдотъ Сергѣя Кузьмича интересовалъ въ это время князя Васи́лія; и князь Васи́лій понялъ, что Пьеръ понимаетъ это. Князь Васи́лій вдругъ пробурлилъ что-то и вышелъ. Пьеру показалось, что даже князь Васи́лій былъ смущенъ... Онъ

оглянулся на Эленъ, — и она, казалось, была смущена и взглядомъ говорила: „что жъ, вы сами виноваты“. — Вотъ какое сложное, многостороннее значеніе имѣетъ у Л. Толстого одна улыбка, выраженіе одного лица: оно повторяется, отражается на лицахъ и въ душахъ окружающихъ цѣлымъ рядомъ едва уловимыхъ полусознательныхъ мыслей и ощущеній, какъ лучъ — въ зеркалахъ, какъ звукъ — въ отголоскахъ. Пьеръ видитъ Наташу послѣ долгой разлуки и смерти перваго ея жениха, князя Андрея. Она такъ измѣнилась, что онъ не узнаетъ ея. „Но нѣтъ, это не можетъ быть“, подумалъ онъ. „Это строгое, худое и блѣдное, постарѣвшее лицо? Это не можетъ быть она. Это только воспоминаніе того“. Но въ это время княжна Марья сказала: „Наташа“. „И лицо съ внимательными глазами, — съ трудомъ, съ усиліемъ, какъ отворяется заржавѣвшая дверь, улыбнулось, и съ этой растворенной двери вдругъ пахнуло и обдало Пьера тѣмъ давно забытымъ счастьемъ, о которомъ, въ особенности теперь, онъ не думалъ. Пахнуло, охватило и поглотило его всего. Когда она улыбнулась, уже не могло быть сомнѣній: это была Наташа и онъ любилъ ее“. Во время этой сцены, одной изъ самыхъ значительныхъ и рѣшающихъ для дѣйствія всего романа, произнесено только четыре слова княжной Марьей: „Вы не узнаете развѣ?“ Но мы чувствуемъ, что безмолвная улыбка Наташи — сильнѣе словъ, и что дѣйствительно эта улыбка могла, должна была рѣшить судьбу Пьера.

Не только живыя, — и мертвыя лица „говорятъ“ у него. Лицо маленькой княгини и въ гробу было то же, какъ у живой: — „Ахъ, что вы со мной сдѣлали?“ все говорило оно. Посредствомъ движеній тѣла изображаетъ онъ и такую неуловимую особенность ощущенія, какъ ладъ музыки, пѣсни: „Барабанищкѣ-запѣвала строго оглянулъ солдатъ-пѣсенниковъ и зажмурился. Потомъ, убѣдившись, что всѣ глаза устремлены на него, онъ какъ будто осторожно приподнялъ обѣими руками какую-то невидимую, драгоценную вещь надъ головой, подержалъ ее нѣсколько секундъ и вдругъ отчаянно бросилъ ее: „Ахъ, вы, сѣни мои, сѣни!“ „Сѣни новыя мои“ — подхватили двадцать голосовъ“.

По тому же способу, переводя самыя отвлеченныя отъ тѣла, внутреннія состоянія на языкъ наглядныхъ, виѣшнихъ,



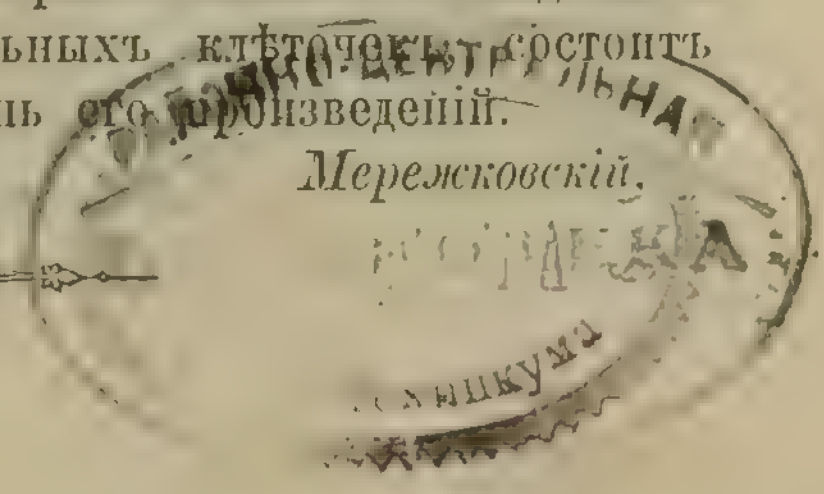
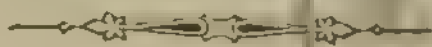
тѣлесныхъ движеній, передаетъ онъ чувство духовнаго безсилія, которое овладѣло Наполеономъ послѣ Бородинскаго сраженія: „это было какъ во снѣ, когда человѣку представляется наступающій на него злодѣй, и человѣкъ во снѣ размахнулся и ударилъ своего злодѣя съ тѣмъ страшнымъ усиленіемъ, которое, онъ знаетъ, должно уничтожить его, и чувствуетъ, что рука его, безсильная и мягкая, падаетъ, какъ тряпка“.

Ему одинаково послушны и первозданныя стихійныя громады, и разсѣяныя въ нашей внутренней атмосферѣ, какъ пыль, легчайшія молекулы, атомы чувствъ. Та же рука, которая двигаетъ горами, управляетъ и этими атомами. И, можетъ-быть, второе изумительнѣе перваго. Оставляя въ сторонѣ все общее, литературно условное, искусственное, отыскиваетъ онъ во всѣхъ ощущеніяхъ самое частное, личное, особенное, какъ бы тончайшія жала ихъ, и оттачиваетъ, заостряетъ эти жала до остроты почти болѣзненной, такъ что они пронзаютъ, впиваются, какъ иглы, и мы уже никогда не будемъ въ состояніи отдѣлаться отъ нихъ, — особенность его ощущеній навѣки сдѣлается нашею особенностью, мы будемъ чувствовать, какъ онъ, не только пока мы его читаемъ, но и послѣ, когда вернемся въ дѣйствительную жизнь. Можно сказать, что первая впечатлительность людей, читавшихъ произведенія Л. Толстого, становится нѣсколько иною, чѣмъ до этого чтенія.

Тайна его дѣйствія заключается, между прочимъ, въ томъ, что онъ замѣчаетъ незамѣтное, слишкомъ обыкновенное, и при освѣщеніи сознаніемъ, именно вслѣдствіе этой необыкновенности, кажущееся необычайнымъ. Такъ, первый сдѣлалъ онъ открытіе, повидимому, столь простое, легкое и однако, въ продолженіе тысячелѣтій ускользавшее отъ вниманія наблюдателей, — то, что улыбка отражается не только на лицѣ, но въ звукѣ голоса, что голосъ, такъ же, какъ лицо, можетъ быть „улыбающимся“. Платонъ Каратаевъ, ночью, въ темнотѣ, когда Пьеръ не видитъ лица его, что-то говоритъ ему „пзмѣняющимся отъ улыбки голосомъ“.

Изъ такихъ-то маленькихъ, поразительныхъ наблюденій и открытій, какъ изъ первоначальныхъ кѣсточковъ состоитъ самая основа, — вся живая ткань его произведеній.

Мережковский.



Во всѣхъ книжныхъ магазинахъ гг. Москвы, Петербурга,  
Кіева, Одессы, Варшавы, и друг.

ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ НОВЫЯ ИЗДАНІЯ КНИГЪ

В. Покровскаго:

## СИСТЕМАТИЧЕСКІЙ ДИКТАНТЪ

для среднеучебныхъ заведеній, городскихъ и начальныхъ училищъ.

### Часть I. ЭТИМОЛОГІЯ.

Одобренъ Учен. Ком. Мин. Нар. Просв. для среднихъ учебныхъ заведеній, городскихъ и начальныхъ училищъ, Учебн. Ком. при Свят. Синодѣ для духовныхъ училищъ и Учил. Сов. при Свят. Синодѣ для церковно-приходскихъ школъ.

Изданіе одиннадцатое, значительно увеличенное.

Москва 1904 г. Цѣна 50 к., въ переплетѣ 55.

Во второмъ изданіи „Систематическаго диктанта“ ч. I полнѣй и раздѣльнѣй изложены сомнительные гласные звуки, введены упражненія на всѣ §§ орфографическихъ правилъ, усвоеніе которыхъ возможно безъ грамматики, и добавлено четыре §§: § 60 (прописныя буквы въ именахъ существительныхъ и прилагательныхъ); § 100 (союзы, *также* (въ отличіе отъ *парѣчья такъ же*), *тоже* (въ отличіе отъ мѣстоименія *то же*), *же* (*жѣ* употребляемый отдѣльно и слитно); § 101 союзъ: *чтобы* (въ отличіе отъ мѣстоименія *что бы*), *абы*, *бы* и § 102 союзъ *ли* (*ль*, употребляемый отдѣльно и слитно); 8 связныхъ статей (отъ № 110—117) на упражненія въ правописаніи всѣхъ частей рѣчи.

Въ третьемъ изданіи внесенъ § 10 (*ъ* и *ь*, сливающиеся въ *ы*).

Въ четвертое изданіе вошли слѣдующіе новые §§: § 5 (окончаніе *ей* въ нарицательныхъ именахъ, отвѣчающихъ на вопросы: *кто?* *что?*); § 7 (буква *ь* въ собственныхъ словахъ: Алексѣй, Матвѣй, Елисей, Еремѣй...); § 8 (*ь* въ окончаніи словъ: змѣй, ротозѣй и въ именахъ предметовъ, оканчивающихся на *ой*, а въ произведенныхъ отъ нихъ на *йка*); § 27—31 (буквы: *сѣ*, *сѣ*, *сѣ*, *сѣ*, *жѣ* и *жѣ* въ словахъ); § 32 (буквы *и* и *и* послѣ *и*); § 57 (окончаніе *а* во множественномъ числѣ существительныхъ ср. р. на *а*); § 58 (окончаніе *а* во множественномъ числѣ существительныхъ средн. рода на *а*); § 61 (окончаніе *овъ* и *евъ* въ род. пад. множ. числа); § 138 (употребительнѣйшія иностранныя слова). Кроме того, въ этомъ изданіи прибавлено 17 связныхъ статей какъ на отдѣльныя, такъ и на всѣ части рѣчи (№№ 26, 27, 28, 30, 38, 39, 51, 68, 69, 85, 87, 89, 92, 94, 100 и 131).

Пятое изданіе напечатано съ четвертаго безъ перемѣны.

Въ шестомъ изданіи внесены: § 21 (звуки *а* и *о* въ словахъ отъ корня *рост*); § 33 (сомнительный звукъ *и*); § 34 (скрадывающиеся въ произношеніи согласные звуки); § 57 (буква *ь* въ предл. пад. средн. р. им. сущ. съ оконч. *ье*); § 58 (буква *и* въ дат. и предл. пад. им. сущ. съ основою *і*); § 59 (окончаніе *и* и *ь* въ предл. пад. именъ сущ. на *іе*, *ье*); § 71 (окончаніе *снѣ*, *ьнѣ* въ именахъ существительныхъ); § 72 (окончаніе *иваніе*, *ованіе*, *иваніе*, *сваніе* въ им. существительныхъ); § 109 (употребленіе удвоеннаго *и* въ словахъ); § 110 (употребленіе *и* въ словахъ); § 139 (смягченіе зубныхъ (*д*, *т*—*ж* (*жд*), *ч* (*щ*)); § 140 (смягченіе губныхъ (*д*, *н*, *в*, *ф*, *м*)); § 141 (смѣшанные примѣры на §§ 139—141); § 142 (смѣшанные примѣры на §§ 134—142).



Седьмое изданіе напечатано съ шестого безъ перемѣны.

Въ восьмомъ изданіи внесено употребленіе *с* послѣ гортанныхъ (г, к, х); и шипящихъ (ж, ч, ш, щ) въ срединѣ рѣчи.

Въ девятомъ изданіи увеличены вдвое упражненія на первоначальныя правила, усвоеніе которыхъ возможно безъ изученія грамматики.

Десятое изданіе напечатано безъ перемѣны съ девятаго.

Въ одиннадцатомъ изданіи на каждый § всѣхъ частей рѣчи внесено по новому упражненію. Увеличено число упражненій и на всѣ части рѣчи.

---

## СИСТЕМАТИЧЕСКІЙ ДИКТАНТЪ.

Часть II. СИНТАКСИСЪ.

Одобренъ Учен. Ком. Мин. Нар. Просв. и Учебн. Ком. при Свят. Синодѣ.

Изданіе десятое.

Москва 1904 г. Цѣна 60 к., въ переплетѣ 75 к.

---

## СПРАВОЧНЫЙ ОРФОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ.

Пособіе для учащихся.

Помѣщено до двѣнадцати тысячъ словъ.

Одобренъ Учен. Ком. Мин. Нар. Просв. для учениковъ-среднеучебныхъ заведеній, городскихъ и начальныхъ училищъ.

Изданіе шестое, исправленное и дополненное.

Москва 1904 г. Цѣна 25 к.

О справочномъ орфографическомъ словарѣ въ журналѣ Мин. Нар. Просвѣщенія было напечатано слѣдующее:

„Что касается до „Справочнаго орфографическаго словаря“, то онъ составленъ довольно полно и по лучшимъ пособіямъ. При собственныхъ именахъ лицъ, указаны, народныя формы; при именахъ существ. нарицательныхъ указаны, гдѣ нужно, падежныя формы; при глаголахъ указаны формы неопредѣленнаго наклоненія и 3-го лица множ. числа, а иногда и формы другихъ лицъ; при словахъ сложныхъ изъ предложныхъ префиксовъ и именъ приведены примѣры, объясняющіе, когда слѣдуетъ писать отдѣльно предлогъ, когда — вмѣстѣ съ именемъ. Вообще книжка составлена удовлетворительно“ (Ж. М. Н. Просв. 1898 г., июль).

# Во всѣхъ книжныхъ магазинахъ

продаются слѣдующія книги

## В. Покровскаго:

Щеголи въ сатирической литературѣ XVIII вѣка. Ц. 1 р. 50 к.

Щеголихи въ сатирической литературѣ XVIII в. Ц. 1 р. 50 к.

Бѣлинскій, какъ критикъ и создатель исторіи новой русской литературы. Ц. 50 к. *Одобр. Учен. Ком. Мин. Нар. Просв.*

СОДЕРЖАНИЕ: I. Критика Бѣлинскаго — литературная школа для писателей и общества того времени. — II. Бѣлинскій и Мерзляковъ. — III. Бѣлинскій и Полевой. — IV. Бѣлинскій и Надеждинъ. — V. Бѣлинскій и Шевыревъ. — VI. Булгаринъ, Сенковскій и Бѣлинскій. — VII. Бѣлинскій, какъ создатель исторіи новой русской литературы. — VIII. Взглядъ Бѣлинскаго на народную поэзію и древнюю книжную словесность. — IX. Ошибочность воззрѣній Бѣлинскаго на нѣкоторыя произведенія новѣйшей литературы.

Поэзія, какъ главный факторъ эстетическаго развитія. Ц. 1 р. *Включена Мин. Нар. Просв. въ „Каталогъ книгъ для ученическихъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній“.*

Столѣтіе сатирическаго журнала „Что-нибудь отъ бездѣлья на досугѣ“. Содержаніе: Характеръ сатиры журнала. Общее содержаніе. Отношеніе къ предшественникамъ. Литературная дѣятельность писателя. Ц. 20 к.

О педагогическомъ значеніи класснаго чтенія отрывковъ изъ образцовыхъ писателей. Ц. 60 к.

Отношенія А. С. Пушкина къ отечественнымъ писателямъ. Содержаніе: I. Введеніе. — II. Пушкинъ приглашаетъ другихъ поэтовъ къ служенію музамъ. — III. Радостное привѣтствіе Пушкинымъ произведеній поэтовъ. — IV. Живое участіе Пушкина къ дѣятельности поэтовъ. — V. Уваженіе Пушкина къ достоинству имени писателя. — VI. Альтруистическія и симпатическія чувствованія Пушкина къ писателямъ, Ц. 20 к.



„Мой досугъ или уединеніе“. (Страница изъ русской журналистики XVIII вѣка.) Ц. 20 к.

**Сборникъ историко-литературныхъ статей В. Г. Бѣлинскаго по новой русской литературѣ.** Ц. 1 р. (8<sup>о</sup>, 428 стр.) *Допущенъ Уч. Ком. Мин. Нар. Просв. въ ученическія, старшаго возраста, библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній и въ бесплатныя народныя читальни и библіотеки.*

**Исторической хрестоматіи** (Сборника историко-критическихъ изслѣдованій) выпуски:

- I вып. О народной словесности. Изд. 2-е. Ц. 1 р. 75 к.
- II „ О книжной словесности XI—XVI вв. Изданіе 2-е. Ц. 1 р. 50 к.
- III „ О книжной словесности XVI—XVII вв. Ц. 2 р.
- IV „ О Петровской и Елизаветинской эпохахъ и ихъ литературныхъ представителяхъ. Ц. 2 р.
- V „ О ложно-классическомъ направленіи въ иностранной и русской литературахъ. Ц. 2 р. 50 к.
- VI „ Объ европейскомъ просвѣщеніи XVII—XVIII вв. и о вліяніи его на русскую литературу и общество. Ц. 2 р.
- VII „ О литературной дѣятельности Екатерины II. Ц. 1 р. 50 к.
- VIII „ О Фонвизинѣ и значеніи его литературной дѣятельности. Ц. 1 р.
- IX „ О Державинѣ и значеніи его литературной дѣятельности. Ц. 1 р.
- X „ О просвѣщеніи въ древней Руси. Ц. 3 р.
- XI „ О просвѣщеніи въ XVIII в. Ц. 3 р. 50 к.
- XII „ О положеніи и состояніи русскаго общества въ XVIII в. Ц. 1 р. 50 к.
- XIII „ О русскихъ сатирическихъ журналахъ. Ц. 3 р.

**Сокращенная историческая хрестоматія.** Ч. I. (Сборникъ историко-литературныхъ изслѣдованій о народной словесности и книжной словесности до эпохи Петра.) Пособіе при изученіи русской словесности для учениковъ среднихъ учебныхъ заведеній (8<sup>о</sup>, 659 стр.). Изд. 2-е. Ц. 1 р. 25 к. *Рекоменд. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.*

**Тоже.** Ч. II. (Сборникъ историко-литературныхъ статей о Кантемирѣ, Ломоносовѣ, Сумароковѣ, Екатеринѣ II, Фонвизинѣ и Державинѣ.) Пособіе при изученіи литературы для учениковъ среднеучебныхъ заведеній (8<sup>о</sup>, 656 стр.). Ц. 1 р. 50 к. *Одобрена Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.*



**Сокращенная историческая хрестоматія. Ч. III.** (Сборникъ историко-критическихъ статей о Карамзинѣ, Крыловѣ, Жуковскомъ и Грибоѣдовѣ.) Пособіе при изученіи русской словесности для учениковъ старшихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній. Ц. 1 р. 50 к. (8°, 818 стр.). *Одобр. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.*

**Тоже. Ч. IV.** (Сборникъ историко-критическихъ статей о Пушкинѣ.) Пособіе при изученіи русской словесности для учениковъ старшихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній. Цѣна 1 р. 50 к. (8°, 673 стр.). *Одобр. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.*

**Тоже. Ч. V.** (Сборникъ историко-критическихъ статей о Гоголѣ, Лермонтовѣ и Кольцовѣ.) Цѣна 1 р. 50 к. (8°, 632 стр.). *Одобр. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.*

**Тоже Ч. VI.** (Сборникъ историко-критическихъ статей о С. Т. Аксаковѣ, Григоровичѣ, Гончаровѣ, Островскомъ, Тургеневѣ и Л. Толстомъ. (8°, 733 стр.) Ц. 1 р. 25 к. *Допущ. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.*

**Тоже. Ч. VII.** (Сборникъ историко-критическихъ статей о Майковѣ, Фетѣ, А. Толстомъ и Тютчевѣ.) Ц. 1 р.

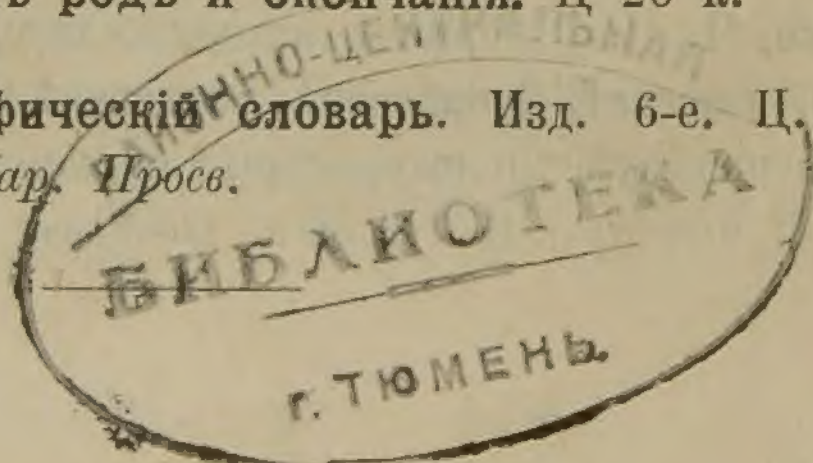
**Сборники русскихъ диктантовъ со стороны ихъ содержанія.** Изд. 2-е. Ц. 20 к. *Одобр. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв. для фундаментальныхъ библиотекъ.*

**Систематическій диктантъ для среднеучебныхъ заведеній, городскихъ и начальныхъ училищъ. Ч. I. Этимологія.** Изд. 11-е, исправленное и дополненное. Ц. 50 к. *Одобр. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв. для среднеучебн. зав., городскихъ и нач. училищъ, Уч. Ком. при Св. Синодѣ для духовныхъ училищъ и Учил. Сов. при Св. Синодѣ для церковно-приходскихъ школъ.*

**Тоже. Ч. II. Синтаксисъ.** Изд. 9-е. Ц. 60 к. *Одобр. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв. и Учебн. Ком. при Св. Синодѣ.*

**Имена существительныя, употребляющіяся только во множественномъ числѣ. Ихъ родъ и окончанія.** Ц. 20 к.

**Справочный ореографическій словарь.** Изд. 6-е. Ц. 25 к. *Одобр. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.*



11304.



